

ХРЕСТОМАТИЯ ПО КУРСУ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

*УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 52100 и 020400 — “Психология”*

Редактор-составитель Е.Е.Соколова

МОСКВА
РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
1999

ББК 88
УДК 159.9
X 91

Рекомендовано кафедрой общей психологии факультета психологии
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Рецензенты:

В.А.Иванников, доктор психологических наук,
В.В.Умрихин, кандидат психологических наук

Хрестоматия по курсу введение в психологию. Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — “Психология” / Ред.-сост. Е.Е.Соколова. — М.: Российское психологическое общество, 1999. — 545 с.

ISBN 5-89573-049-3

© Составление. Факультет психологии
Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, 1999

Предисловие

Настоящая хрестоматия представляет собой учебное пособие по курсу “Введение в психологию”, включенному в план подготовки психологов всех специальностей. Она подготовлена на основе программы курса, разработанной коллективом преподавателей кафедры общей психологии факультета психологии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (См.: Сборник программ дисциплин учебного плана бакалавра по направлению 52100 — “Психология” и учебного плана дипломированного специалиста по направлению 020400 — “Психология”. М.: Роспедагенство, 1996. С.232—238). Включенные в хрестоматию тексты охватывают по тематике подавляющее большинство представленных в программе проблем психологической науки, однако структура хрестоматии значительно отличается от структуры программы. Обусловлено это тем обстоятельством, что в курсе “Введение в психологию” логически выделяются два круга проблем, которые, хотя и пересекаются, имеют различные “центры”. Первый круг проблем связан с историей развития взглядов на предмет и методы психологии и с современными решениями этой проблемы в различных школах и направлениях психологической науки. Второй круг проблем имеет отношение к исследованию закономерностей развития психики и сознания. Поэтому нам показалось вполне логичным и обоснованным выделить в структуре хрестоматии два основных раздела — “Историческое введение в психологию” и “Эволюционное введение в психологию”.

Самый же первый, предшествующий им раздел — “Общее представление о пси-

хологии как науке” — является своего рода “Введением в введение в психологию” и включает тексты авторов, затрагивающих проблемы, не рассматривающиеся в обоих упомянутых выше разделах. В отрывке из книги А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского “История и теория психологии” дается общее представление о психологическом познании как деятельности, которая рассматривается в системе трех “координат” — предметно-логической, социальной и личностной. Обсуждается также проблема научной школы в психологии (с выделением типов научных школ) и ее исследовательской программы как структурной единицы научной деятельности школы. Другие включенные в данный раздел тексты дают представление о различии житейской и научной психологии (Ю.Б.Гиппенрейтер), о задачах и методах отдельных отраслей психологической науки (В.А.Иванников), о месте психологии в системе наук (А.Р.Лурия).

Во втором разделе — “Историческое введение в психологию” — выделяются две части. Первая включает тексты авторов, рассматривающих в основном те стадии развития психологической науки, когда она выступала как наука о душе и — позже — как эмпирическая наука о сознании. Первый этап развития психологии освещается в обзорных текстах А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского (психологическая наука в античности и в эпоху феодализма), второй этап — в отрывке из книги С.Л.Рубинштейна (психология в XVII — начале XX вв.) и в оригинальных текстах психологов конца XIX — начала XX вв., в которых представлены разные

варианты интроспективной психологии сознания (В.Вундт, У.Джемс, Г.И.Челпанов). Критическому анализу метода интроспекции в сравнении с методом самонаблюдения посвящен отрывок из методологической работы Б.М.Теплова “Об объективном методе в психологии”. Заканчивается раздел отрывком из впервые опубликованной в 1914 г. книги отечественного психолога Н.Н.Ланге, посвященным обзору современных ему направлений в психологии и анализу возникшего в этот период психологического кризиса, а также небольшим отрывком из написанной в середине 20-х гг. методологической работы Л.С.Выготского “Исторический смысл психологического кризиса”, посвященной анализу причин и движущих сил этого кризиса.

Вторая, большая по объему, часть этого раздела посвящена различным направлениям психологии XX века. Однако, тексты в ней сгруппированы не по направлениям, а по основным психологическим проблемам, которые разрабатывались зачастую в школах, весьма далеких друг от друга по своим методологическим основаниям.

Первый раздел данной части посвящен проблеме бессознательного. Открывается он отрывками из классической работы З.Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, в которой рассматриваются различные варианты так называемых “ошибочных действий” (оговорки, описки, забывание имен, намерений и т.п.) с точки зрения проявления в них бессознательных для субъекта желаний. Второй текст Фрейда содержит изложение его представлений о строении психической жизни индивида (сознание, предсознательное, бессознательное). В отрывке из работы К.Г.Юнга развивается представление о коллективном бессознательном в контексте предложенной Юнгом собственной модели структуры психического бытия человека. Небольшой отрывок из книги Д.Н.Узнадзе дает представление о понимании им установки как целостного бессознательного состояния субъекта и о классических экспериментальных исследованиях фиксированной установки, проведенных в его школе. Завершается данный раздел обзорной статьей А.Г.Асмолова, в которой предлагается одна из

возможных классификаций бессознательных явлений.

Второй раздел данной части целиком посвящен разработке проблем поведения как предмета психологии в классическом бихевиоризме (Дж.Уотсон) и необихевиоризме (Э.Толмен). Еще один текст Э.Толмена «Когнитивные карты у крыс и у человека», необходимый для представления его варианта необихевиоризма, опубликован в ранее вышедшей «Хрестоматии по зоопсихологии и сравнительной психологии» (Ред.-сост. Н.Н.Мешкова, Е.Ю.Федорович. М.: РПО, 1997) и поэтому во избежание дублирования не включен в настоящую хрестоматию.

Третий раздел посвящен так называемому целостному подходу к изучению сознания в двух практически одновременно возникших школах “целостной психологии” — более известной берлинской школе гештальтпсихологии и менее известной лейпцигской школе комплексных переживаний. В работе гештальтпсихолога В.Келера рассматриваются условия возникновения в сознании целостных образных структур (гештальтов) и дается критика элементаризма как методологической установки прежней психологии, обнаружившей свою несостоятельность. В работе представителя лейпцигской школы Г.Фолькельта рассматриваются качественные отличия целостных структур у детей (называемых в лейпцигской школе “комплекскачествами”) от целостных структур “взрослого” сознания (гештальт-качеств, или гештальтов).

Четвертый раздел включает тексты представителей двух направлений, возникших в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в., — когнитивной психологии (Р.Солсо) и гуманистической психологии (К.Роджерс). Оба эти направления олицетворяют собой современные варианты двух по сути противоположных методологических ориентаций в психологии, возникших еще в начале XX в., — “объяснительной” (номотетической) и “описательной” (идиографической). Поскольку первая наиболее распространена в естественных науках, а вторая — в гуманитарных, то эти психологические направления могут быть названы иначе “естественнонаучной” и “гуманитарной” ориентациями в психологии.

Пятый раздел содержит тексты, в которых представлено решение проблемы социальной обусловленности сознания во французской социологической школе, с одной стороны (Э.Дюркгейм), и в школе Л.С.Выготского — с другой. Здесь же дается отрывок из работы А.Р.Лурия, обобщающей проведенные им исследования в русле культурно-исторической школы Л.С.Выготского.

Шестой раздел дает представление об основных положениях деятельностного подхода в психологии. Обзорная статья В.В.Давыдова обобщает результаты разработки проблемы деятельности в марксистской философии, ставшей методологической основой возникновения деятельностных концепций в психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев), затрагивает дискуссионные и спорные проблемы деятельностного подхода. Сюда же включены два фрагмента из работ А.Н.Леонтьева. Один из них в самом сжатом виде излагает идеи его теории деятельности, которые более развернуто будут представлены в третьем большом разделе настоящей хрестоматии. Другой посвящен анализу методологического значения введения категории деятельности в психологию, проблемам структуры деятельности, соотношению “внешней” и “внутренней” ее форм и различиям в трактовке данной категории в школах А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна.

Третий большой раздел хрестоматии — “Эволюционное введение в психологию” — в целом строится на единой методологической основе — идеях школы А.Н.Леонтьева. Первая его часть посвящена проблемам возникновения и развития психики в филогенезе. В отрывке из работы А.Н.Леонтьева “Проблемы развития психики” критически анализируются предлагаемые в психологии критерии психического, обосновывается необходимость введения нового — объективного — критерия и излагаются знаменитые эксперименты школы Леонтьева по формированию светочувствительности кожи у человека, призванные доказать на материале функционального генеза его гипотезу об условиях возникновения чувствительности в филогенезе. Текст П.Я.Гальперина также посвящен условиям возникновения психического отражения в филогене-

зе и эволюционным уровням действий. Два отрывка из произведений А.Н.Леонтьева, следующие далее, излагают его концепцию стадий психического развития в филогенезе. В статье К.Э.Фабри дается критика позиции Леонтьева в контексте более поздних зоопсихологических исследований. Подробнее проблемы эволюции психики рассматриваются в “Хрестоматии по зоопсихологии и сравнительной психологии”, поэтому в настоящую хрестоматию не включены некоторые тексты, имеющие к ним отношение.

Развитию сознания человека в процессах его предметной деятельности посвящена вторая часть третьего раздела. Большой ее объем занимают тексты А.Н.Леонтьева, посвященные условиям возникновения и развития сознания в антропогенезе и социогенезе, а также структуре сознания как образа мира (чувственная ткань, значения, личностные смыслы). Некоторые особенности онтогенеза психики (строение и возникновение высших психических функций) рассматриваются в отрывке из ранней работы А.Н.Леонтьева “Развитие памяти”. В статье Д.Б.Эльконина представлена его оригинальная концепция периодизации психического развития в онтогенезе, в основе которой лежит понятие ведущей деятельности. В данную часть включен также обзорный текст В.В.Давыдова о современном состоянии проблемы сознания в философии и психологии.

Тексты третьей части рассматриваемого раздела дают общее представление о понимании личности и ее структуры в некоторых психологических школах и направлениях. Открывается часть классическим текстом У.Джемса, давшего первое и чрезвычайно популярное представление о структуре личности. В работах Э.Фромма и В.Франкла рассматриваются некоторые “высшие” (экзистенциальные) проблемы психологии личности, в частности, двух основных модусов существования человека (обладание и бытие) и смысла жизни и путей его обретения. Отрывок из книги А.Н.Леонтьева “Деятельность. Сознание. Личность” посвящен проблемам структуры и этапов развития личности с позиций деятельностного подхода. Завершает данную часть небольшой обобщающий отрывок из книги В.В.Пе-

тухова, в котором излагаются три варианта понимания личности в современной психологии.

Четвертая часть третьего раздела посвящена анализу различных подходов к решению психофизиологической проблемы. Здесь представлены взгляды А.Н.Леонтьева на психофизиологические функции в их отношении к деятельности и оригинальная концепция системной динамической локализации высших психических функций А.Р.Лурия. Здесь же даются два отрывка из работ известного отечественного физиолога Н.А.Бернштейна, в которых излагаются его концеп-

ции “физиологии активности” и уровней построения движений, имеющие непосредственное отношение к решению психофизиологической проблемы.

Предложенный вариант хрестоматии представляет собой одну из первых попыток создания хрестоматий по курсу “Введение в психологию” и поэтому не может быть свободен от недостатков. Редактор-составитель и издательство с благодарностью примут любую критику в свой адрес, направленную на улучшение содержания и структуры хрестоматии.

Е.Е. Соколова,
доцент кафедры общей психологии
факультета психологии
Московского государственного университета,
имени М.В.Ломоносова,
кандидат психологических наук

Раздел I

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКЕ

*А.В.Петровский,
М.Г.Ярошевский*

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Наука — особая форма
знания

Одним из главных направлений работы человеческого духа является производство знания, обладающего особой ценностью и силой, а именно — научного. К его объектам относятся также и психические формы жизни. Представления о них стали складываться с тех пор, как человек, чтобы выжить, ориентировался в поведении на других людей, сообщая с ними свое собственное.

С развитием культуры житейский психологический опыт своеобразно преломлялся в творениях мифологии (рели-

гии) и искусства. На очень высоком уровне организации общества, наряду с этими творениями, возникает отличный от них способ мыслительной реконструкции зримой действительности. Им и явилась наука. Ее преимущества, изменившие облик планеты, заданы ее интеллектуальным аппаратом, сложнейшая “оптика” которого, определяющая особое видение мира, в том числе психического, веками создавалась и шлифовалась многими поколениями искателей истины о природе вещей.

Теория и эмпирия

Научное знание принято делить на теоретическое и эмпирическое. Слово “теория” греческого происхождения. Оно означает систематически изложенное обобщение, позволяющее объяснить и предсказывать явления. Обобщение соотносится с данными опыта, или (опять же по-гречески) эмпирии, т.е. наблюдений и экспериментов, требующих прямого контакта с изучаемыми объектами.

Зримое, благодаря теории, “умственными глазами” способно дать верную картину действительности, тогда как эмпирические свидетельства органов чувств — иллюзорную.

¹*Петровский А.В., Ярошевский М.Г.* История и теория психологии: В 2 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Т. 1. С. 7—41.

Об этом говорит вечно поучительный пример вращения Земли вокруг Солнца. В известных своих стихах “Движение”, описывая спор отрицавшего движение софиста Зенона с киником Диогеном, великий Пушкин занял сторону первого.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Зенон в своей известной апории “стадия” поставил проблему о противоречиях между данными наблюдения (самоочевидным фактом движения) и возникающей теоретической трудностью (прежде чем пройти стадию — мера длины — требуется пройти ее половину, но прежде этого — половину половины и т.д.), т.е. невозможно коснуться бесконечного количества точек пространства в конечное время.

Опровергая эту апорию молча (не желая даже рассуждать) простым движением, Диоген игнорировал Зенонов парадокс при его логическом решении. Пушкин же, выступив на стороне Зенона, подчеркнул великое преимущество теории напоминанием об “упрямом Галилее”, благодаря которому за видимой, обманчивой картиной мира открылась реальная, истинная.

В то же время эта истинная картина, противоречащая тому, что говорит чувственный опыт, была создана, исходя из его показаний, поскольку использовались наблюдения перемещений Солнца по небосводу.

Здесь выступает еще один решающий признак научного знания — его опосредованность. Оно строится посредством присутствующих науке интеллектуальных операций, структур и методов. Это целиком относится и к научным представлениям о психике. На первый взгляд, ни о чем субъект не имеет столь достоверных сведений, как о фактах своей душевной жизни. (Ведь “чужая душа — потемки”.) При этом такого мнения придерживались и некоторые ученые, согласно которым психологию отличает от других дисциплин субъективный метод, или интроспекция (“смотрение внутрь”), особое “внутреннее зрение”, поз-

воляющее человеку выделить элементы, из которых образуется структура сознания. Однако прогресс психологии показал, что, когда эта наука имеет дело с явлениями сознания, достоверное знание о них достигается благодаря объективному методу.

Именно он дает возможность косвенным, опосредованным путем преобразовать испытываемые индивидом состояния из субъективных феноменов в факты науки.

Сами по себе свидетельства самонаблюдения, или, иначе говоря, самоотчеты личности о своих ощущениях, переживаниях и т.п., — это “сырой” материал, который только благодаря его обработке аппаратом науки становится ее эмпирией. Этим научный факт отличается от житейского.

Сила теоретической абстракции и обобщений рационально осмысленной эмпирии открывает закономерную причинную связь явлений.

Для наук о физическом мире это всем очевидно. Опора на изученные ими законы этого мира позволяет предвосхищать грядущие явления, например, нерукотворные солнечные затмения и эффекты контролируемых людьми ядерных взрывов.

Конечно, психологии по своим теоретическим достижениям и практике изменения жизни далеко до физики. Ее явления неизмеримо превосходят физические по сложности и трудности познания. Великий физик Эйнштейн, знакомясь с опытами великого психолога Пиаже, заметил, что изучение физических проблем — это детская игра сравнительно с загадками детской игры.

Тем не менее и по поводу детской игры, как особой формы человеческого поведения, отличной от игр животных (в свою очередь, любопытного феномена), психология знает отныне немало. Изучая ее, она открыла ряд факторов и механизмов, касающихся закономерностей интеллектуального и нравственного развития личности, мотивов ее ролевых реакций, динамики социального восприятия и др.

Простое, всем понятное слово “игра” — это крошечная вершина гигантского айсберга душевной жизни, сопряженной с глубинными социальными процессами, историей культуры, “излучениями” таинственной человеческой природы.

Сложилась различные теории игры, объясняющие посредством методов науч-

ного наблюдения и эксперимента ее многообразные проявления. От теории и эмпирии протянулись нити к практике, прежде всего педагогической (но не только к ней).

От предметного знания к деятельности

Наука — это и знание, и деятельность по его производству. Знание оценивается в его отношении к объекту. Деятельность — по вкладу в запас знаний.

Здесь перед нами три переменные: реальность, ее образ и механизм его порождения. Реальность — это объект, который посредством деятельности (по исследовательской программе) превращается в предмет знания. Предмет запечатлевается в научных текстах. Соответственно и язык этих текстов предметный.

В психологии он передает доступными ему средствами (используя свой исторически сложившийся “словарь”) информацию о психической реальности. Она существует сама по себе независимо от степени и характера ее реконструкции в научных теориях и фактах. Однако только благодаря этим теориям и фактам, изреченным на предметном языке, она выдает свои тайны. Человеческий ум разгадывает их не только в силу присущей ему исследовательской мотивации (любопытности), но и исходя из прямых запросов со стороны социальной практики. Эта практика в ее различных формах (будь то обучение, воспитание, лечение, организация труда и др.) проявляет интерес к науке лишь постольку, поскольку она способна сообщить отличные от житейского опыта сведения о психической организации человека, законах ее развития и изменения, методах диагностики индивидуальных различий и т.д.

Такие сведения могут быть восприняты практиками от ученых лишь в том случае, если переданы на предметном языке. Ведь именно его термины указывают на реалии психической жизни, с которыми имеет дело практика.

Но устремленная к этим реалиям наука передает, как мы уже отмечали, накапливаемое знание о них в своих особых теоретико-экспериментальных формах. Дистанция от них до жаждущей их ис-

пользовать практики может быть очень велика.

Так, в прошлом веке пионеры экспериментального анализа психических явлений Э. Вебер и Г. Фехнер, изучая безотносительно к каким бы то ни было вопросам практики отношения между фактами сознания (ощущениями) и внешними стимулами, ввели в научную психологию формулу, согласно которой интенсивность ощущения прямо пропорциональна логарифму силы раздражителя.

Формула была выведена в лабораторных опытах, запечатлев общую закономерность. Конечно, никто в те времена не мог предвидеть значимость этих выводов для практики.

Прошло несколько десятилетий. Закон Вебера-Фехнера излагался во всех учебниках. Его воспринимали как некую чисто теоретическую константу, доказавшую, что таблица логарифмов приложима к деятельности человеческой души.

В современной же ситуации зафиксированное этим законом отношение между психическим и физическим стало понятием широко используемым там, где нужно точно определить, какова чувствительность сенсорной системы (органа чувств), ее способность различать сигналы. Ведь от этого может зависеть не только эффективность действий организма, но само его существование.

Другой создатель современной психологии Г. Гельмгольц своими открытиями механизма построения зрительного образа создал теоретико-экспериментальный ствол многих ответвлений практической работы, в частности, в области медицины. Ко многим сферам практики (прежде всего, связанной с развитием детского мышления) проторились пути от концепций Выготского, Пиаже и других исследователей интеллектуальных структур.

Авторы этих концепций экстрагировали предметное содержание психологических знаний в общении с таким объектом, как человек, его поведение и сознание. Но и в тех случаях, когда объектом служила психика иных живых существ (в работах Э. Торндайка, И.П. Павлова, В. Келера и других), знанию, добытому в опытах над ними, предшествовали теоретические схемы, испытание которых на верность психической реальности имело своим резуль-

татом обогащение предмета психологической науки. Оно касалось факторов модификации поведения, приобретения организмом новых форм активности.

Обогащенное предметное поле науки стало почвой, быстро давшей ростки для практики выработки навыков, конструирования программ обучения и др.

Во всех этих случаях, идет ли речь о теории, эксперименте или практике, наука выступает в ее предметном измерении, проекцией которого служит предметный язык. Именно его терминами описываются расхождения между исследователями, ценность их вклада и т.п. И это естественно, поскольку, соотносясь с реальностью, они обсуждают вопросы о том, обоснована ли теория, точна ли формула, достоверен ли факт.

Между ними могут быть существенные расхождения. Например, между Сеченовым и Вундтом, Торндайком и Келером, Выготским и Пиаже. Но во всех ситуациях их мысль была направлена на определенное предметное содержание.

Нельзя объяснить, почему они разошлись, не зная предварительно, по поводу чего они разошлись (хотя, как мы увидим, этого недостаточно, чтобы объяснить смысл противостояний между лидерами различных школ и направлений). Иначе говоря, какой фрагмент психической реальности они из объекта изучения превратили в предмет психологии.

Вундт, например, направил экспериментальную работу на вычленение исходных “элементов сознания”, понимаемых им как нечто непосредственно испытываемое. Сеченов же относил к предметному содержанию психологии не “элементы сознания”, а “элементы мысли”, под которыми понимались сочетания сенсомоторных актов, т.е. форма двигательной активности организма.

Торндайк описывал поведение как слепой отбор реакций, случайно оказавшихся удачными, тогда как Келер демонстрировал зависимость адаптивного поведения от понимания организмом смысловой структуры ситуации, Пиаже изучал эгоцентрическую (не адресованную другим людям) речь ребенка, видя в ней отражение “мечты и логики сновидения”, а Выготский экспериментально доказал, что эта речь способна выполнять функцию организации дей-

ствий ребенка соответственно “логике действительности”.

Каждый из исследователей превращал определенный пласт явлений в предмет научного знания, включающего как описание фактов, так и их объяснение. И одно, и другое (и эмпирическое описание, и его теоретическое объяснение) представляют предметное “поле”. Именно к нему относятся такие, например, явления, как двигательная активность глаза, оббегающего контуры предметов, сопоставляющего их между собой и тем самым производящего операцию сравнения (Сеченов), беспорядочные движения кошек и низших обезьян в экспериментальном (проблемном) ящике, из которого животным удается выбраться только после множества неудачных попыток (Торндайк), осмысленные, целенаправленные реакции высших обезьян, способных выполнять сложные экспериментальные задания, например, построить пирамиду, чтобы достать высоко висящую приманку (Келер), устные рассуждения детей наедине с собой (Пиаже), увеличение у ребенка количества таких рассуждений, когда он испытывает трудности в своей деятельности (Выготский). Эти феномены нельзя рассматривать как “фотографирование” посредством аппарата науки отдельных эпизодов неисчерпаемого многообразия психической реальности. Они явились своего рода моделями, на которых объяснялись механизмы человеческого сознания и поведения — его регуляции, мотивации, научения и др.

Предметный характер носят также (и, стало быть, выражаются в терминах предметного языка) теории, интерпретирующие указанные феномены (сеченовская рефлексорная теория психического, торндайковская теория “проб, ошибок и случайного успеха”, келеровская теория “инсайта”, пиажевская теория детского эгоцентризма, преодолеваемого в процессе социализации сознания, теория мышления и речи Выготского). Эти теории выступают как отчужденные от деятельности, приведшей к их построению, поскольку они призваны объяснять не эту деятельность, а независимую от нее связь явлений, реальное, фактическое положение вещей.

Научный вывод, факт, гипотеза соотносятся с объективными ситуациями, существующими на собственных основаниях, не-

зависимо от познавательных усилий человека, его интеллектуальной экипировки, способов его деятельности — теоретической и экспериментальной. Между тем объективные и достоверные результаты достигаются субъектами, деятельность которых полна пристрастий и субъективных предпочтений. Так, эксперимент, в котором справедливо видят могучее орудие постижения природы вещей, может строиться исходя из гипотез, имеющих преходящую ценность. Известно, например, что внедрение эксперимента в психологию сыграло решающую роль в ее преобразовании по образу точных наук. Между тем ни одна из гипотез, вдохновлявших создателей экспериментальной психологии — Вебера, Фехнера, Вундта, — не выдержала испытания временем. Из взаимодействия ненадежных компонентов рождаются надежные результаты типа закона Вебера-Фехнера — первого настоящего психологического закона, который получил математическое выражение.

Фехнер исходил из того, что материальное и духовное представляют “темную” и “светлую” стороны мироздания (включая космос), между которыми должно быть строгое математическое соотношение.

Вебер считал, что различная чувствительность различных участков кожной поверхности объясняется ее разделенностью на “круги”, каждый из которых снабжен одним нервным окончанием. Вундт выдвигал целую вереницу оказавшихся ложными гипотез — начиная от предположения о “первичных элементах” сознания и кончая учением об апперцепции как локализованной в лобных долях особой психической силе, изнутри управляющей как внутренним, так и внешним поведением.

За знанием, которое воссоздает объект адекватно критериям научности, скрыта особая форма деятельности субъекта (индивидуального и коллективного).

Обращаясь к ней, мы оказываемся лицом к лицу с другой реальностью. Не с психической жизнью, постигаемой средствами науки, а с жизнью самой науки, имеющей свои собственные особые “измерения” и законы, для понимания и объяснения которых следует перейти с предметного языка (в указанном смысле) на другой язык.

Поскольку теперь перед нами наука выступает не как особая форма знания, но как особая система деятельности, назовем этот язык (в отличие от предметного) деятельностью.

Прежде чем перейти к рассмотрению этой системы, отметим, что термин “деятельность” употребляется в различных идейно-философских контекстах. Поэтому с ним могут соединяться самые различные воззрения — от феноменологических и экзистенциалистских до бихевиористских и информационных “моделей человека”. Особую осторожность следует проявлять в отношении термина “деятельность”, вступая в область психологии. Здесь принято говорить и о деятельности как орудийном взаимодействии организма со средой, и об аналитико-синтетической деятельности мысли, и о деятельности памяти, и о деятельности “малой группы” (коллектива) и т.д.

В научной деятельности, поскольку она реализуется конкретными индивидами, различающимися по мотивации, когнитивному стилю, особенностям характера и т.д., конечно, имеется психический компонент. Но глубоким заблуждением было бы редуцировать ее к этому компоненту, объяснять ее в терминах, которыми оперирует, говоря о деятельности, психология.

Она рассуждает о ней, как явствует из сказанного, на предметном языке. Здесь же необходим поворот в другое измерение.

Поясним простой аналогией с процессом восприятия. Благодаря действиям глаза и руки конструируется образ внешнего предмета. Он описывается в адекватных ему понятиях о форме, величине, цвете, положении в пространстве и т.п. Но из этих данных, касающихся внешнего предмета, невозможно извлечь сведений об устройстве и работе органов чувств, снявших информацию о нем. Хотя, конечно, без соотнесенности с этой информацией невозможно объяснить анатомию и физиологию этих органов.

К “анатомии” и “физиологии” аппарата, конструирующего знание о предметном мире (включая такой предмет, как психика) и следует обратиться, переходя от науки как предметного знания к науке как деятельности.

Научная деятельность в системе трех координат

Всякая деятельность субъективна. Вместе с тем она всегда социальна, ибо ее субъект действует под жестким диктатом социальных норм. Одна из них требует производить такое знание, которое бы непременно получило признание в качестве отличного от известного запаса представлений об объекте, то есть было мечено знаком новизны. Над ученым неизменно тяготеет “запрет на повтор”.

Таково социальное предназначение его дела. Общественный интерес сосредоточен на результате, в котором “погашено” все, что его породило. Однако при высокой новизне этого результата интерес способна вызвать личность творца и многое с ней сопряженное, хотя бы оно и не имело прямого отношения к его вкладу в фонд знаний.

Об этом свидетельствует популярность биографических портретов людей науки и даже их автобиографических записок, куда занесены многие сведения об условиях и своеобразии научной деятельности и ее психологических “отсветов”.

Среди них выделяются мотивы, придающие исследовательскому поиску особую энергию и сосредоточенность на решаемой задаче, во имя которой “забываешь весь мир”, а также такие психические состояния, как вдохновение, озарение, “вспышка гения”.

Открытие нового в природе вещей переживается личностью как ценность, превосходящая любые другие. Отсюда и притязание на авторство.

Быть может, первый уникальный прецедент связан с научным открытием, которое легенда приписывает одному из древнегреческих мудрецов Фалесу (VII век до н.э.), предсказавшему солнечное затмение. Тирану, пожелавшему вознаградить его за открытие, Фалес ответил: “Для меня было бы достаточной наградой, если бы ты не стал приписывать себе, когда станешь передавать другим то, чему от меня научился, а сказал бы, что автором этого открытия являюсь скорее я, чем кто-либо другой”. В этой реакции сказались превосходящая любые другие ценности и притязания социальная потребность в признании персонального авторства. Психологический

смысл открытия (значимость для личности) оборачивался социальным (значимость для других, непременно сопряженная с оценкой обществом заслуг личности в отношении безличностного научного знания). Свой результат, достигнутый благодаря внутренней мотивации, а не “изготовленный” по заказу других, адресован этим другим, признание которыми успехов индивидуального ума переживается как награда, превосходящая любые другие.

Этот древний эпизод иллюстрирует изначальную социальность личностного “параметра” науки как системы деятельности. Он затрагивает вопрос о восприятии научного открытия в плане отношения к нему общественной среды — макросоциума.

Но исторический опыт свидетельствует, что социальность науки как деятельности выступает не только при обращении к вопросу о восприятии знания, но и к вопросу о его производстве. Если вновь обратиться к древним временам, то фактор коллективности производства знаний уже тогда получил концентрированное выражение в деятельности исследовательских групп, которые принято называть школами.

Многие психологические проблемы, как мы увидим, открывались и разрабатывались именно в этих школах, ставших центрами не только обучения, но и творчества. Научное творчество и общение неразделимы. Менялся от одной эпохи к другой тип их интеграции. Однако во всех случаях общение выступало неотъемлемой координатой науки как формы деятельности.

Ни одной строчки не оставил Сократ, но он создал “мыслильню” — школу совместного думания, культивируя искусство майевтики (“повивального искусства”) как процесс рождения в диалоге отчетливого и ясного знания.

Мы не устаем удивляться богатству идей Аристотеля, забывая, что им собрано и обобщено созданное многими исследователями, работавшими по его программам. Иные формы связи познания и общения утвердились в средневековье, когда доминировали публичные диспуты, шедшие по жесткому ритуалу (его отголоски звучат в процедурах защиты диссертаций). Им на смену пришел непринужденный дружеский диалог между людьми науки в эпоху Возрождения.

В новое время с революцией в естествознании возникают и первые неформальные объединения ученых, созданные в противовес официальной университетской науке. Наконец, в XIX веке возникает лаборатория как центр исследований и очаг научной школы.

“Сейсмографы” истории науки новейшего времени фиксируют “взрывы” научного творчества в небольших, крепко спаянных группах ученых. Энергией этих групп были рождены такие радикально изменившие общий строй научного мышления направления, как квантовая механика, молекулярная биология, кибернетика.

Ряд поворотных пунктов в прогрессе психологии определила деятельность научных школ, лидерами которых являлись В. Вундт, И.П. Павлов, З. Фрейд, К. Левин, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский и другие. Между самими лидерами и их последователями шли дискуссии, служившие катализаторами научного творчества, изменявшими облик психологической науки. Они исполняли особую функцию в судьбах науки как формы деятельности, представляя ее коммуникативное “измерение”.

Оно, как и личностное “измерение”, неотчленимо от предмета общения — тех проблем, гипотез, теоретических схем и открытий, по поводу которых оно возникает и разгорается.

Предмет науки, как уже отмечалось, строится посредством специальных интеллектуальных действий и операций. Они, как и нормы общения, формируются исторически в тигле исследовательской практики. Подобно всем другим социальным нормам, они заданы объективно, и индивидуальный субъект “присваивает” их, погружаясь в эту практику. Все многообразие предметного содержания науки в процессе деятельности определенным образом структурируется соответственно правилам, которые являются инвариантными, общезначимыми по отношению к этому содержанию.

Эти правила принято считать обязательными для образования понятий, перехода от одной мысли к другой, извлечения обобщающего вывода.

Наука, изучающая эти правила, формы и средства мысли, необходимые для ее эффективной работы, получила имя логики. Соответственно и тот параметр исследова-

тельного труда, в котором представлено рациональное знание, следовало бы назвать логическим (в отличие от личностно-психологического и социального).

Однако логика обнимает любые способы формализации порождений умственной активности, на какие бы объекты она ни была направлена и какими бы способами их ни конструировала. Применительно же к науке как деятельности ее логико-познавательный аспект имеет свои особые характеристики. Они обусловлены природой ее предмета, для построения которого необходимы свои категории и объяснительные принципы.

Учитывая их исторический характер, обращаясь к науке с целью ее анализа в качестве системы деятельности, назовем третью координату этой системы — наряду с социальной и личностной — предметно-логической.

Логика развития науки

Термин “логика”, как известно, многозначен. Но как бы ни расходились воззрения на логические основания познания, под ними неизменно имеются в виду всеобщие формы мышления в отличие от его содержательных характеристик.

Предметно-исторический подход к интеллектуальным структурам представляет особое направление логического анализа, которое должно быть отграничено от других направлений также и терминологически. Условимся называть его логикой развития науки, понимая под ней (как и в других логиках) и свойства познания сами по себе, и их теоретическую реконструкцию, подобно тому, как под термином “грамматика” подразумевается и строй языка, и учение о нем.

Основные блоки исследовательского аппарата психологии меняли свой состав и строй с каждым переходом научной мысли на новую ступень. В этих переходах и выступает логика развития познания как закономерная смена его фаз. Оказавшись в русле одной из них, исследовательский ум движется по присущему ей категориальному контуру с неотвратимостью, подобной выполнению предписаний грамматики или логики. Это можно оценить как еще один голос в пользу присвоения рас-

сма­три­вае­мым здесь особенностям научного поиска имени логики. На каждой стадии единственно рациональными (логичными) признаются выводы, соответствующие принятой детерминационной схеме. Для многих поколений до Декарта рациональными считались только те рассуждения о живом теле, в которых полагалось, что оно является одушевленным, а для многих поколений после Декарта — лишь те рассуждения об умственных операциях, в которых они выводились из свойств сознания как незримого внутреннего агента (хотя бы и локализованного в мозге).

Для тех, кто понимает под “логикой” только всеобщие характеристики мышления, имеющие силу для любых времен и предметов, сказанное даст повод предположить, что здесь к компетенции логики оп­ро­мет­чи­во отнесено содержание мышления, которое, в отличие от его форм, действительно меняется, притом не только в масштабах эпох, но и на наших глазах. Это вынуждает напомнить, что речь идет об особой логике, именно о логике развития науки, которая не может быть иной, как предметно-исторической, а стало быть, во-первых, содержательной, во-вторых, имеющей дело со сменяющимися друг друга интеллектуальными “формациями”. Такой подход не означает смешения формальных аспектов с содержательными, но вынуждает с новых позиций трактовать проблему форм и структур научного мышления. Они должны быть извлечены из содержания в качестве его инвариантов.

Ни одно из частных (содержательных) положений Декарта, касающихся деятельности мозга, не только не выдержало испытания временем, но даже не было принято натуралистами его эпохи (ни представление о “животных духах” как частицах огнеподобного вещества, носящегося по “нервным трубкам” и раздувающего мышцы, ни представление о шишковидной железе как пункте, где “контакат” телесная и бестелесная субстанции, ни другие соображения). Но основная детерминистская идея о машинообразности работы мозга стала на столетия компасом для исследователей нервной системы. Считать ли эту идею формой или содержанием научного мышления? Она формальна в смысле инварианта, в смысле “ядерного” компонента множества исследовательских программ, наполняв-

ших ее разнообразным содержанием от Декарта до Павлова. Она содержательна, поскольку относится к конкретному фрагменту действительности, который для формально-логического изучения мышления никакого интереса не представляет. Эта идея есть содержательная форма.

Логика развития науки имеет внутренние формы, т.е. динамические структуры, инвариантные по отношению к непрерывно меняющемуся содержанию знания. Эти формы являются организаторами и регуляторами работы мысли. Они определяют зону и направление исследовательского поиска в неисчерпаемой для познания действительности, в том числе и в безбрежном море психических явлений. Они концентрируют поиск на определенных фрагментах этого мира, позволяя их осмыслить посредством инструмента, созданного многовековым опытом общения с реальностью, вычерпывания из нее наиболее значимого и устойчивого.

В смене этих форм, в их закономерном преобразовании и выражена логика научного познания — изначально историческая по своей природе. При изучении этой логики, как и при любом ином исследовании реальных процессов, мы должны иметь дело с фактами. Но очевидно, что здесь перед нами факты совершенно иного порядка, чем открываемые наблюдением за предметно-осмысленной реальностью, в частности психической. Это реальность, обнажаемая, когда исследование объектов само становится объектом исследования. Это “мышление о мышлении”, рефлексия о процессах, посредством которых только и становится возможным знание о процессах как данности, не зависимой ни от какой рефлексии. <...>

Имеется ли в таком случае опорный пункт, отправляясь от которого, интерпретации, о которых идет речь, приобрели бы высокую степень достоверности? Этот пункт следует искать не вне исторического процесса, а в нем самом.

Прежде чем к нему обратиться, следует выявить вопросы, которые в действительности регулировали исследовательский труд.

Применительно к психологическому познанию мы прежде всего сталкиваемся с усилиями объяснить, каково место психических (душевных) явлений в материаль-

ном мире, как они соотносятся с процессами в организме, каким образом посредством них приобретает знание об окружающих вещах, от чего зависит позиция человека среди других людей и т.д. Эти вопросы постоянно задавались не только из одной общечеловеческой любознательности, но под повседневным диктатом практики — социальной, медицинской, педагогической. Проследивая историю этих вопросов и бесчисленные попытки ответов на них, мы можем извлечь из всего многообразия вариантов нечто стабильно инвариантное. Это и дает основание “типологизировать” вопросы, свести их к нескольким вечным, таким, например, как психофизическая проблема (каково место психического в материальном мире), психофизиологическая проблема (как соотносятся между собой соматические — нервные, гуморальные — процессы и процессы на уровне бессознательной и сознательной психики), психоностическая (от греческого “гнозис” — познание), требующая объяснить характер и механизм зависимостей восприятий, представлений, интеллектуальных образов от воспроизводимых в этих психических продуктах реальных свойств и отношений вещей.

Чтобы рационально интерпретировать указанные соотношения и зависимости, необходимо использовать определенные объяснительные принципы. Среди них выделяется стержень научного мышления — принцип детерминизма, т.е. зависимости любого явления от производящих его фактов. Детерминизм не идентичен причинности, но включает ее в качестве основной идеи. Он приобретал различные формы, проходил, подобно другим принципам, ряд стадий в своем развитии, однако неизменно сохранял приоритетную позицию среди всех регулятивов научного познания.

К другим регуляторам относятся принципы системности и развития. Объяснение явления, исходя из свойств целостной, органичной системы, одним из компонентов которой оно служит, характеризует подход, обозначаемый как системный. При объяснении явления исходя из закономерных претерпеваемых им трансформаций опорой служит принцип развития. Применение названных принципов к проблемам позволяет накапливать их содержа-

тельные решения под заданными этими принципами углами зрения. Так, если остановиться на психофизиологической проблеме, то ее решения зависели от того, как понимался характер причинных отношений между душой и телом, организмом и сознанием. Менялся взгляд на организм как систему — претерпевали преобразования и представления о психических функциях этой системы. Внедрялась идея развития, и вывод о психике как продукте эволюции животного мира становился общепринятым.

Такая же картина наблюдается и в изменениях, которые испытала разработка психоностической проблемы. Представление о детерминационной зависимости воздействий внешних импульсов на воспринимающие их устройства определяло трактовку механизма порождения психических продуктов и их познавательной ценности. Взгляд на эти продукты как элементы или целостности был обусловлен тем, мыслились ли они системно. Поскольку среди этих продуктов имелись феномены различной степени сложности (например, ощущения или интеллектуальные конструкты), внедрение принципа развития направляло на объяснение генезиса одних из других.

Аналогичная роль объяснительных принципов и в других проблемных ситуациях, например, когда исследуется, каким образом психические процессы (ощущения, мысли, эмоции, влечения) регулируют поведение индивида во внешнем мире и какое влияние, в свою очередь, оказывает само это поведение на их динамику. Зависимость психики от социальных закономерностей создает еще одну проблему — психосоциальную (в свою очередь распадающуюся на вопросы, связанные с поведением индивида в малых группах и по отношению к ближайшей социальной среде, и на вопросы, касающиеся взаимодействия личности с исторически развивающимся миром культуры).

Конечно, и применительно к этим вопросам успешность их разработки зависит от состава тех объяснительных принципов, которыми оперирует исследователь — детерминизма, системности, развития. В плане построения реального действия существенно разнятся, например, подходы, представляющие это действие по типу механической детерминации (по типу реф-

лекса как автоматического сцепления центrostремительной и центробежной полу-дуг), считающие его изолированной единицей, игнорирующей уровни его построения, и подходы, согласно которым психическая регуляция действия строится на обратных связях, предполагает рассмотрение его в качестве компонента целостной структуры и считает его перестраивающимся от одной стадии к другой.

Естественно, что не менее важно и то, каких объяснительных принципов мы придерживаемся и в психосоциальной проблеме: считаем ли детерминацию психосоциальных отношений человека качественно отличной от социального поведения животных, рассматриваем ли индивида в целостной социальной общности или считаем эту общность производной от интересов и мотиваций индивида, учитываем ли динамику и системную организацию этих мотиваций в плане их поуровневого развития, а не только системного взаимодействия.

В процессе продвижения в проблемах на основе объяснительных принципов добывается знание о психической реальности, соответствующее критериям научности. Оно приобретает различные формы: фактов, гипотез, теорий, эмпирических обобщений, моделей и др. Этот уровень знания обозначим как теоретико-эмпирический. Рефлексия относительно этого уровня является постоянным занятием исследователя, проверяющего гипотезы и факты путем варьирования экспериментов, сопоставления одних данных с другими, построения теоретических и математических моделей, дискуссий и других форм коммуникаций.

Изучая, например, процессы памяти (условия успешного запоминания), механизмы выработки навыка, поведение оператора в стрессовых ситуациях, ребенка — в игровых и тому подобных, психолог не задумывается о схемах логики развития науки, хотя в действительности они незримо правят его мыслью. Да и странно, если бы было иначе, если бы он взамен того, чтобы задавать конкретные вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений, стал размышлять о том, что происходит с его интеллектуальным аппаратом при восприятии и анали-

зе этих явлений. В этом случае, конечно, их исследование немедленно бы расстроилось из-за переключения внимания на совершенно иной предмет, чем тот, с которым сопряжены его профессиональные интересы и задачи.

Тем не менее за движением его мысли, поглощенной конкретной, специальной задачей, стоит работа особого интеллектуального аппарата, в преобразованиях структур¹ которого представлена логика развития психологии.

Логика и психология научного творчества

Научное знание, как и любое иное, добывается посредством работы мысли. Но и сама эта работа благодаря усилиям древних философов стала предметом знания.

Тогда-то и были открыты и изучены всеобщие логические формы мышления как не зависящие от содержания сущности. Аристотель создал силлогистику — теорию, выясняющую условия, при которых из ряда высказываний с необходимостью следует новое.

Поскольку производство нового рационального знания является главной целью науки, то издавна возникла надежда на создание логики, способной снабдить любого здравомыслящего человека интеллектуальной “машиной”, облегчающей труд по добыванию новых результатов. Эта надежда воодушевляла великих философов эпохи научной революции XVII столетия Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница. Их роднило стремление трактовать логику как компас, выводящий на путь открытий и изобретений. Для Бэкона таковой являлась индукция. Ее апологетом в XIX столетии стал Дж. Милль, книга которого “Логика” пользовалась в ту пору большой популярностью среди натуралистов. Ценность схем индуктивной логики видели в их способности предсказывать результат новых опытов на основе обобщения прежних. Индукция (индукция значит наведение) считалась мощным инструментом победно шествовавших естественных наук, получивших именно по этой причине название индук-

¹ Эти структуры призвано выявить в потоке исторических событий особое направление исследований, ставящее своей целью категориальный анализ развития психологического познания (см. ниже).

тивных. Вскоре, однако, вера в индукцию стала гаснуть. Те, кто произвел революционные сдвиги в естествознании, работали не по наставлениям Бэкона и Милля, рекомендовавшим собирать частные данные опыта с тем, чтобы они навели на обобщающую закономерность.

После теории относительности и квантовой механики мнение, будто индукция служит орудием открытий, окончательно отвергается. Решающую роль теперь отводят гипотетико-дедуктивному методу, согласно которому ученый выдвигает гипотезу (неважно, откуда она черпается) и выводит из нее положения, доступные контролю в эксперименте. Из этого было сделано заключение в отношении задач логики: она должна заниматься проверкой теорий с точки зрения их непротиворечивости, а также того, подтверждает ли опыт их предсказания.

Некогда философы работали над тем, чтобы в противовес средневековой схоластике, применявшей аппарат логики для обоснования религиозных догматов, превратить этот аппарат в систему предписаний, как открывать законы природы. Когда стало очевидно, что подобный план невыполним, что возникновение новаторских идей и, стало быть, прогресс науки обеспечиваются какие-то другие способности мышления, укрепилась версия, согласно которой эти способности не имеют отношения к логике. Задачу последней стали усматривать не в том, чтобы обеспечить производство нового знания, но чтобы определить критерии научности для уже приобретенного. Логика открытия была отвергнута. На смену ей пришла логика обоснования, занятия которой стали главными для направления, известного как “логический позитивизм”. Линию этого направления продолжил видный современный философ К. Поппер.

Одна из его главных книг называется “Логика научного открытия”. Название может ввести в заблуждение, если читатель ожидает увидеть в этой книге правила для ума, ищущего новое знание. Сам

автор указывает, что не существует такой вещи, как логический метод получения новых идей или как логическая реконструкция этого процесса, что каждое открытие содержит “иррациональный элемент” или “творческую интуицию”. Изобретение теории подобно рождению музыкальной темы. В обоих случаях логический анализ ничего объяснить не может. Применительно к теории его можно использовать лишь с целью ее проверки — подтверждения или опровержения. Но диагноз ставится в отношении готовой, уже выстроенной теоретической конструкции, о происхождении которой логика судить не берется. Это дело другой дисциплины — эмпирической психологии.

Исследовательский поиск относится к разряду явлений, обозначаемых в психологии как “поведение, направленное на решение проблемы” (problem solving). Одни психологи полагали, что решение достигается путем “проб, ошибок и случайного успеха”, другие — мгновенной перестройкой “поля восприятия” (так называемый инсайт), третьи — неожиданной догадкой в виде “ага-переживания” (нашедший решение восклицает: “Ага!”), четвертые — скрытой работой подсознания (особенно во сне), пятые — “боковым зрением” (способностью заметить важную реалию, ускользающую от тех, кто сосредоточен на предмете, обычно находящемся в центре всеобщего внимания) и т.д.¹

Большую популярность приобрело представление об интуиции как особом акте, излучаемом из недр психики субъекта. В пользу этого воззрения говорили самоотчеты ученых, содержащие свидетельства о неожиданных разрывах в рутинной связи идей, об озарениях, дарящих новое видение предмета (начиная от знаменитой “Эврика!” Архимеда). Указывают ли, однако, подобные психологические данные на генезис и организацию процесса открытия?

Логический подход обладает важными преимуществами, коренящимися во всеобщности его постулатов и выводов, в их открытости для рационального изучения и про-

¹ В популярной литературе описываются различные эпизоды, с которыми предание связывает открытия. Эти эпизоды один американский автор объединил под формулой “три «В»”. Имеются в виду начальные буквы английских слов: “Bath” (ванна, из которой выскочил Архимед), “Bus” (омнибус, на ступеньке которого Пуанкаре неожиданно пришло в голову решение трудной математической задачи) и “Bed” (постель, где физиологу Леви приснился опыт, доказывающий химическую передачу нервного импульса).

верки. Психология же, не имея по поводу протекания умственного процесса, ведущего к открытию, надежных опорных пунктов, застряла на представлениях об интуиции, или “озарении”. Объяснительная сила этих представлений ничтожна, поскольку никакой перспективы для причинного объяснения открытия, а тем самым и фактов возникновения нового знания, они не намечают.

Если принять рисуемую психологией картину событий, которые происходят в “поле” сознания или “тайниках” подсознания перед тем, как ученый оповестит мир о своей гипотезе или концепции, то возникает парадокс. Эта гипотеза или концепция может быть принята только при ее соответствии канонам логики, т.е. лишь в том случае, если она выдержит испытание перед лицом строгих рациональных аргументов. Но “изготовленной” она оказывается средствами, не имеющими отношения к логике: интуитивными “прозрениями”, “инсайтами”, “ага-переживанием” и т.п. Иначе говоря, рациональное возникает как результат действия внерациональных сил.

Главное дело науки — открытие законов. Но выходит, что ее люди вершат свое дело, не подчиняясь доступным рациональному постижению законам. Такой вывод следует из анализа рассмотренной нами ситуации, касающейся соотношения логики и психологии, неудовлетворенность которой нарастает в силу не только общих философских соображений, но и острой потребности в том, чтобы сделать более эффективным научный труд, ставший массовой профессией.

Необходимо вскрыть глубинные предметно-логические структуры научного мышления и способы их преобразования, ускользающие от формальной логики, которая не является ни предметной, ни исторической. Вместе с тем природа научного открытия не обнажит своих тайн, если ограничиться его содержательным логическим аспектом, оставляя без внимания два других — социальный и психологический, которые, в свою очередь, должны быть переосмыслены в качестве интегральных компонентов целостной системы.

Историк М. Грмек выступил со “Словом в защиту освобождения истории научных открытий от мифов”. Среди этих мифов он выделил три:

1. Миф о строго логической природе научного рассуждения. Этот миф воплощен в представлении, сводящем научное исследование к практическому приложению правил и категорий классической логики, тогда как в действительности оно невозможно без творческого элемента, неуловимого этими правилами.

2. Миф о чисто иррациональном происхождении открытия. Он утвердился в психологии в различных “объяснениях” открытия интуицией или гением исследователя.

3. Миф о социологических факторах открытия. В данном случае имеется в виду так называемый экстернализм — концепция, которая игнорирует собственные закономерности развития науки и пытается установить прямую связь между общественной ситуацией творчества ученого и результатами его исследований.

Эти мифы имеют общий источник: диссоциацию единой триады, образуемой тремя координатами приобретения знаний, о которых уже было сказано выше.

Чтобы преодолеть диссоциацию, необходимо воссоздать адекватную реальности целостную и объемную картину науки как деятельности. Это, в свою очередь, требует такого преобразования традиционных представлений о различных аспектах научного творчества, которое позволит продвинуться в направлении искомого синтеза. Центром преобразовательной работы должно стать изучение под новым углом зрения интеллектуальной структуры науки. Речь идет именно о ее структуре, а не о содержании, поскольку только на уровне форм мыслительной активности, ее схем могут быть прослежены устойчивые, инвариантные организаторы этой активности. Важнейшими среди этих инвариантов являются, во-первых, глобальные объяснительные принципы науки (детерминизм, системность, развитие), во-вторых, проблемы, представляющие всю область психологии (психофизическая, психофизиологическая, психосоциальная и др.), и, в-третьих, категории как основные и наиболее устойчивые формы и регуляторы освоения неисчерпаемой психической реальности.

Принципы, проблемы и категории взаимосвязаны и разделяются только с целью разграничить в психологическом познании его различные составляющие.

Общение — координата науки как деятельности

Переход к объяснению науки как деятельности требует взглянуть на нее не только с точки зрения предметно-логического характера ее когнитивных структур. Дело в том, что они действуют в мышлении лишь тогда, когда “обслуживают” проблемные ситуации, возникающие в научном сообществе.

Говоря о социальной обусловленности жизни науки, следует различать несколько аспектов. Особенности общественного развития в конкретную эпоху преломляются сквозь призму деятельности научного сообщества (особого социума), имеющего свои нормы и эталоны. В нем когнитивное неотделимо от коммуникативного, познание — от общения. Когда речь идет не только о сходном осмыслении терминов (без чего обмен идей невозможен), но об их преобразовании (ибо именно оно совершается в научном исследовании как форме творчества), общение выполняет особую функцию. Оно становится креативным.

Общение ученых не исчерпывается простым обменом информацией. Иллюстрируя важные преимущества обмена идеями по сравнению с обменом товарами, Бернард Шоу писал: “Если у вас яблоко и у меня яблоко, и мы обмениваемся ими, то остаемся при своих — у каждого по яблоку. Но если у каждого из нас по одной идее и мы передаем их друг другу, то ситуация меняется. Каждый сразу же становится богаче, а именно — обладателем двух идей”.

Эта наглядная картина преимуществ интеллектуального общения не учитывает главной ценности общения в науке как творческом процессе, в котором возникает “третье яблоко”, когда при столкновении идей происходит “вспышка гения”. Процесс познания предполагает трансформацию значений.

Если общение выступает в качестве непрерывного фактора познания, то информация, возникающая в научном общении, не может интерпретироваться только как продукт усилий индивидуального ума. Она

порождается пересечением линий мысли, идущих из многих источников.

Говоря о производстве знания, мы до сих пор основной акцент делали на его категориальных регуляторах. Такая абстракция позволила выделить его предметно-логический (в отличие от формально-логического) аспект. Мы вели изложение безотносительно к взаимодействию, пересечению, дивергенции и синтезу категориальных ориентаций различных исследователей.

Реальное же движение научного познания выступает в форме диалогов, порой весьма напряженных, простирающихся во времени и пространстве. Ведь исследователь задает вопросы не только природе, но также другим ее испытателям, ища в их ответах¹ информацию (приемлемую или неприемлемую), без которой не может возникнуть его собственное решение. Это побуждает подчеркнуть важный момент. Не следует, как это обычно делается, ограничиваться указанием на то, что значение термина (или высказывания) само по себе “немо” и сообщает нечто существенное только в целостном контексте всей теории. Такой вывод лишь частично верен, ибо неявно предполагает, что теория представляет собой нечто относительно замкнутое. Конечно, термин “ощущение”, к примеру, лишен исторической достоверности, вне контекста конкретной теории, смена постулатов которой меняет и его значение.

В теории Вундта, скажем, ощущение означало элемент сознания, в теории Сеченова оно понималось как чувство — сигнал, в функциональной школе как сенсорная функция, в современной когнитивной психологии как момент перцептивного цикла и т.д., и т.п.

Различное видение и объяснение одного и того же психического феномена определялось “сеткой” тех понятий, из которых “сплетались” различные теории. Можно ли, однако, ограничиться внутритеоретическими связями понятия, чтобы раскрыть его содержание? Дело в том, что теория работает не иначе, как сталкиваясь с другими, “выясняя отношения с ними”. (Так, функциональная психология опровергала установ-

¹ Конечно, эти ответы формулируются не для него, но, вслушиваясь в них, он оказывается участником диалога, когда, опираясь на извлеченный из текстов ответ (который он не мог бы получить, если бы не обращался к этим текстам с собственным вопросом), не удовлетворяется им, а вступает в спор, приводит контраргументацию, продвигаясь тем самым в познании обсуждаемого предмета.

ки вундтовской школы, Сеченов дискутировал с интроспекционизмом и т.п.) Поэтому ее значимые компоненты неотвратно несут печать этих взаимодействий.

Язык, имея собственную структуру, живет, пока он применяется, пока он вовлечен в конкретные речевые ситуации, в круговорот высказываний, природа которых диалогична.

Динамика и смысл высказываний не могут быть “опознаны” по структуре языка, его синтаксису и словарю. Нечто подобное мы наблюдаем и в отношении языка науки. Недостаточно воссоздать его предметно-логический словарь и синтаксис (укорененные в категориях), чтобы рассмотреть науку как деятельность. Следует соотнести эти структуры с “коммуникативными сетями”, актами общения как стимуляторами преобразования знания, рождения новых проблем и идей.

Если И.П. Павлов отказался от субъективно-психологического объяснения реакций животного, перейдя к объективно-психологическому (о чем он оповестил в 1903 году Международный конгресс в Мадриде), то произошло это в ответ на запросы логики развития науки, где эта тенденция наметилась по всему исследовательскому фронту. Но совершился такой поворот, как свидетельствовал сам ученый, после “нелегкой умственной борьбы”. И была эта борьба, как достоверно известно, не только с самим собой, но и в ожесточенных спорах с ближайшими сотрудниками.

Если В. Джеймс, патриарх американской психологии, прославившийся книгой, где излагалось учение о сознании, выступил в 1905 году на Международном психологическом конгрессе в Риме с докладом “Существует ли сознание?”, то сомнения, которые он тогда выразил, были плодом дискуссий — предвестников появления бихевиоризма, объявившего сознание своего рода пережитком времен алхимии и схоластики.

Свой классический труд “Мышление и речь” Л.С. Выготский предваряет указанием, что книга представляет собой результат почти десятилетней работы автора и его сотрудников, что многое, считавшееся вначале правильным, оказалось прямым заблуждением.

Выготский подчеркивает, что он подверг критике Ж. Пиаже и В. Штерна. Но он критиковал и самого себя, замыслы своей группы (в которой выделялся покончивший с собой в возрасте около 20 лет Л.С. Сахаров, имя которого сохранилось в модифицированной им методике Аха). Впоследствии Выготский признал, в чем заключался просчет: “...в старых работах мы игнорировали то, что знаку присуще значение”¹.

Переход от знака к значению совершился в диалогах, изменивших исследовательскую программу Выготского, а тем самым и облик его школы.

Личность ученого, его программа и школа

Нами были рассмотрены две координаты науки как системы деятельности — когнитивная (воплощенная в логике ее развития) и коммуникативная (воплощенная в динамике общения). Они неотделимы от третьей координаты — личностной. Творческая мысль ученого движется в пределах “познавательных сетей” и “сетей общения”.

Но она является самостоятельной величиной, без активности которой развитие психологии было бы чудом, а общение невозможно.

Коллективность исследовательского труда приобретает различные формы. Одной из них является научная школа. Понятие о ней неоднозначно, и под ее именем фигурируют различные типологические формы. Среди них выделяются: а) научно-образовательная школа; б) школа — исследовательский коллектив; в) школа как направление в определенной области знаний. Наука в качестве деятельности — это “производство” не только идей, но и людей. Без этого не было бы эстафеты знаний, передачи традиций, а тем самым и новаторства. Ведь каждый новый прорыв в непознанное возможен не иначе, как благодаря предшествующему (даже если последний опровергается).

Наряду с личным вкладом ученого социокультурная значимость его творчества оценивается и по критерию создания им школы. Так, говоря о роли И.М. Сеченова, его ближайший ученик М.Н. Шатерников

¹ *Выготский Л.С.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 1. С.158.

отмечал в качестве его главной заслуги то, что он *“с выдающимся успехом сумел привлечь молодежь к самостоятельной разработке научных вопросов и тем положил начало русской физиологической школе”*¹.

Здесь подчеркивается деятельность Сеченова как учителя, сформировавшего у тех, кому посчастливилось пройти его школу (на лекциях и в лаборатории), способность самостоятельно разрабатывать свои проекты, отличные от сеченовских. Но отец русской физиологии и объективной психологии создал не только научно-образовательную школу. В один из периодов своей работы — и можно точно указать те несколько лет, когда это происходило, — он руководил группой учеников, образовавших школу как исследовательский коллектив.

Такого типа школа представляет особый интерес в плане анализа процесса научного творчества. Ибо именно в этих обстоятельствах обнажается решающее значение исследовательской программы в управлении этим процессом. Программа является величайшим творением личности ученого, ибо в ней прозреваются результаты, который в случае ее успешного исполнения явится миру в образе открытия, дающего повод вписать имя автора в летопись научных достижений.

Разработка программы предполагает осознание ее творцом проблемной ситуации, созданной (не только для него, но для всего научного сообщества) логикой развития науки и наличием орудий, оперируя которыми, можно было бы найти решение.

Программа, относящаяся к нейрофизиологии, зародилась у Сеченова в связи с психологической задачей, касающейся механизма волевого акта. Открытие им в головном мозгу “центров, задерживающих рефлексy”, принесло ему всеевропейскую славу. Открытие являлось его личным достижением (совершено оно в Париже, в лаборатории Клода Бернара, который не придал сеченовскому результату серьезно-го значения).

Но, вернувшись в Петербург, Сеченов стал трактовать свое открытие как компонент более общей программы по исследова-

ванию отношений между нервными центрами. Соответственно он мог теперь раздать своим ученикам различные фрагменты этой программы. Она стала объединяющим началом работы собравшейся вокруг него группы молодых исследователей. Через несколько лет, опираясь на эту программу, произвести новое знание более не удавалось, и школа как исследовательский коллектив распалась. Вчерашние ученики пошли каждый своим путем.

Вместе с тем Сеченов стал учителем для следующих поколений исследователей нейрорегуляции поведения и в этом смысле лидером школы как направления в науке. За появлением и исчезновением научных школ как исследовательских коллективов скрыта судьба их программ. Каждый из этих коллективов — это малая социальная общность, отличающаяся “лицом необщим выражением”. Различия между ними определяются программами. В каждой преломляются запросы предметной логики в той форме, в какой они “запеленованы” интеллектуальной чувствительностью ее творца. Эти запросы, как отмечалось, динамичны, историчны.

Так, в годы становления психологии в качестве самостоятельной науки велик был авторитет школы Вундта. Ее программа получила имя структуралистской (главная проблема виделась в выявлении путем эксперимента элементов, из которых строится сознание). Но вскоре из школы вышли молодые психологи, предложившие новые исследовательские программы. Они стали лидерами школ, в деятельности которых наметился сдвиг к новой интерпретации предметной области психологии. (Таковой, например, выступила так называемая вюрцбургская школа с ее лидером — учеником Вундта — О. Кюльпе.)

Параллельно на смену структурализму пришел функционализм. Но его ждала сходная участь. Европейские ученики функционалиста Штумпфа разработали качественно новую программу. Она приобрела имя гештальт-теории. В США в кругу приверженцев функциональной школы родился “манифест” бихевиоризма.

И вюрцбургская школа, и берлинская школа гештальтистов были малыми научными группами. Каждая состояла из нес-

¹ См.: Шатерников М.Н. Биографический очерк И.М. Сеченова // Сеченов И.М. Избр. труды. М., 1935. С. 15.

кольких человек. Между тем их последующее влияние на прогресс науки оказалось несравненно более значимым, чем вклад сотен других психологов, работавших в те же годы. Это было обусловлено эвристической силой их новаторских исследовательских программ.

Программы исполнялись коллективно, в чем проявлялась коммуникативная составляющая науки как деятельности. Но в них проявлялись и две другие составляющие этой системы: когнитивная и личностная. Смена программ отражала объективный рост знания.

Структурная школа сошла со сцены не из-за случайных обстоятельств, а закономерно, уступив место функциональной. Последняя, в свою очередь, утратив влияние, сменилась гештальтистской (а в США — бихевиористской). В смене программ, изменявших характер понимания, объяснения, анализа психических феноменов, действо-

вал фактор, названный логикой развития науки. Но постичь вектор действия этой логики с тем, чтобы перевести “зов будущего” на язык программы, способной работать, может только человек науки, подготовленный к этому своей жизнью, наделенный великим творческим потенциалом.

Исследовательская программа как организатор деятельности фокусирует в себе все три переменные: когнитивную, коммуникативную и личностную.

* * *

Трактовка трехаспектности науки как деятельности, исследовательской программы как структурной единицы этой деятельности и принципа категориального анализа, призванного реконструировать логику развития науки, впервые представлена и реализована в работах М.Г. Ярошевского.

А.Р.Лурия

[НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ]¹

Отношение психологии к другим наукам

Психология может развиваться, лишь сохраняя тесную связь с другими науками, которые не замещают ее, но обеспечивают важной информацией для того, чтобы она могла успешно раскрывать свой собственный предмет.

Первой наукой, с которой психология должна сохранять теснейшую связь, является *биология*.

Если психология животных имеет дело с теми формами поведения животных, которые развиваются в процессе их взаимодействия со средой, то совершенно ясно, что полное понимание законов их поведения не может иметь место без знания основных форм жизни, которые составляют предмет биологии. Нужно достаточно отчетливо представлять те различия, которые имеют место в существовании растений и животных, чтобы выделить то основное, что отличает всякий вид активного поведения, основанного на ориентировке в окружающей среде, от тех форм жизни, которые исчерпываются процессами обмена веществ и могут протекать вне условий активной ориентировки в действительности. Нужно ясно представлять, что именно меняется в условиях жизни с переходом от существования одноклеточных в одно-

родной водной среде к несравненно более сложным формам жизни многоклеточных, особенно в условиях наземного существования, предъявляющего неизменно большие требования к активной ориентировке в условиях среды, ориентировке, которая только и может обеспечить успешное получение пищи и избегание опасности. Нужно хорошо усвоить различие в принципах существования между миром насекомых, у которых существуют прочные врожденные программы, обеспечивающие успешное выживание в устойчивых условиях, и все же способных сохранить вид даже при меняющихся условиях, и высших позвоночных с их немногочисленным потомством, которое может выжить только при развитии новых индивидуально-изменяемых форм поведения, обеспечивающих приспособление к меняющейся среде. Без таких знаний общих биологических принципов приспособления никакое отчетливое понимание особенностей поведения животных не может быть обеспечено, и всякая попытка понять сложные формы психической деятельности человека потеряет свою биологическую основу.

Вот почему для научной психологии совершенно необходим учет основных законов биологии и таких ее новых разделов, как экология (учение об условиях среды и ее влияний) и этология (учение о врожденных формах поведения). Естественно, что факты, составляющие предмет психологической науки, ни в коей мере не могут быть сведены к фактам биологии.

Второй наукой, с которой психология должна сохранять самую тесную связь, является *физиология* и, в частности, тот ее раздел, который посвящен *высшей нервной деятельности*.

Физиология занимается механизмами, осуществляющими те или иные функции организма, а физиология высшей нервной деятельности — механизмами работы нервной системы, осуществляющими “уравновешение” организма со средой.

Легко видеть, что знание той роли, которую в этом последнем процессе играют различные этажи нервной системы, тех законов, по которым протекает регуляция обменных процессов в организме, законы

¹ Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 9—32.

(Здесь и далее тематические заголовки в квадратных скобках даны редактором-составителем.)

работы нервной ткани, осуществляющей процессы возбуждения и торможения, и тех сложных нервных образований, которые осуществляют процессы анализа и синтеза, замыкания нервных связей, обеспечивают процессы иррадиации и концентрации возбуждения так же, как и знание основных форм работы нервных клеток, находящихся в нормальном или тормозном (фазовом) состоянии — все это совершенно необходимо для того, чтобы психолог, изучающий основные виды психической деятельности человека, не ограничивался их простым описанием, а представлял, на какие механизмы опираются эти сложнейшие формы деятельности, какими аппаратами они осуществляются, в каких системах они протекают. Игнорировать законы физиологии значило бы лишить психологию одного из важнейших источников научного знания.

Решающее значение для психологии имеет ее связь с *общественными науками*.

Основные формы психической деятельности человека возникают в условиях общественной истории, протекают в условиях сложившейся в истории *предметной деятельности*, опираются на те средства, которые сформировались в условиях труда, употребления орудий и *языка*. Человек, который был бы лишен общения с окружающими, развивался бы вне условий предметного мира, сложившегося в истории общества, не пользовался бы орудиями и языком, человек, который не усваивал бы опыта всего человечества, передаваемого с помощью языка, этого хранителя информации, не имел бы и небольшой доли тех возможностей, которыми располагает его фактическое поведение. Естественно, что формы деятельности человека *осуществляются* его мозгом и опираются на законы его высших нервных процессов, но никакая нервная система сама по себе не могла бы обеспечить формирования употребления орудий и языка и объяснить возникновение сложнейших, возникших в общественной истории, форм человеческой деятельности.

Подлинное отношение психологии к физиологии заключается в том, что психология изучает те формы и способы деятельности, которые возникли в процессе общественной истории и которые *определяют* поведение, а физиология высшей

нервной деятельности — те естественные механизмы, которые *осуществляют* или реализуют это поведение.

Попытаться свести психологию человека к физиологии высшей нервной деятельности, как это одно время предлагалось механистически мыслящими учеными, было бы аналогично той ошибке, которую допустил бы архитектор, если бы он попытался свести происхождение и анализ стилей готики и барокко или ампира к законам сопротивления материалов, которые, конечно, должны учитываться архитектором, но которые ни в коей мере не могут объяснить происхождение архитектурных стилей.

Успех дальнейшего развития психологии во многом зависит от правильного понимания соотношения этих обеих наук, и как всякое игнорирование физиологии, так и попытки свести психологию к физиологии неизбежно задержат развитие психологической науки.

Только что сказанное делает ясным, какое огромное значение для психологии имеет ее связь с *общественными науками*. Если решающую роль в формировании поведения животного играют биологические условия существования, то такую же роль в формировании поведения человека играют условия *общественной истории*, создающей такие новые формы сложного, опосредованного условиями труда, отношения к действительности, которые являются источниками новых, специфически человеческих форм психической деятельности.

Мы еще увидим, что первое применение орудия, первая форма общественного труда внесли коренную перестройку в основные биологические законы построения поведения и что возникновение, а затем и использование языка, позволяющего хранить и передавать опыт поколений, привело к появлению новой, не существующей у животных формы развития — развития путем усвоения общественного опыта. Современная психологическая наука, изучающая прежде всего специфически человеческие формы психической деятельности, не может сделать ни одного шага без учета тех данных, которые она получает от общественных наук — исторического материализма, обобщающего основные законы развития общества, языкознания, изучаю-

щего основные формы сложившегося в общественной истории языка.

Только тщательный учет общественных условий, формирующих психическую деятельность человека, позволяет психологии получить свою прочную научную основу. Мы встретимся с применением этого принципа на протяжении всех последующих страниц, при рассмотрении всех конкретных фактов психологической науки. Таково отношение научной психологии к тем смежным дисциплинам, в тесном контакте с которыми она развивается.

Основные разделы психологии

Психология, которая еще недавно была одной нерасчлененной наукой, представляет сейчас широко разветвленную систему дисциплин, изучающих психическую деятельность человека в различных аспектах. После того, что мы уже сказали выше, ясно, что некоторые из разделов психологии изучают естественные основы психических процессов и приближаются к биологии и физиологии, в то время как другие изучают общественные основы психической деятельности и приближаются к общественным наукам.

Основное место занимает *общая психология*, изучающая основные формы психической деятельности и составляющая стержень всей системы психологических дисциплин. В состав общей психологии, кроме теоретического эволюционного введения в науку о психической деятельности, входит рассмотрение ряда специальных разделов. К ним относится анализ *познавательных процессов* (начиная от ощущений и восприятий и кончая наиболее сложными формами мышления; этот раздел включает в свой состав анализ основных условий протекания психических процессов и анализ законов внимания, памяти, воображения и т. д.), процессов *аффективной жизни* (потребностей человека, сложных форм переживаний), анализ психологического строения деятельности человека и регуляции его активности и, наконец, — психологию *личности* и индивидуальных различий.

<...> Разработке общих проблем психологии были посвящены труды многих выдающихся ученых; к числу их относятся

такие классики психологии, как В. Вундт в Германии, У. Джемс в США, А. Бинэ, П. Жанэ во Франции и современные ученые Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов в СССР, А. Валлон, А. Пьерон, П. Фресс во Франции, Э. Толман, Дж. Миллер, Дж. Брунер в США, Д. Хэбб в Канаде, Д. Бродбент в Англии и др.

К общей психологии примыкает группа *биологических разделов* психологической науки. Все они рассматривают естественнонаучные основы психической деятельности человека.

Первой из этих дисциплин является *сравнительная психология*, или *психология животных*. Эта дисциплина рассматривает особенности поведения животных на последовательных этапах эволюции, изучает те особенности поведения животных, которые зависят от условий их существования и от их анатомического строения; она включает в свой состав описание того, как меняются формы поведения животного в зависимости от тех требований, которые предъявляет к ним среда, и от тех основных типов приспособления к условиям существования, которые носят очень различный характер при усложнении форм жизни.

Второй из дисциплин, относящихся к биологической группе психологических наук, является *физиологическая психология*, или *психофизиология*.

Основы этой науки были заложены еще во второй половине XIX века теми учеными, которые ставили перед собой задачу исследовать психические процессы человека с применением разных физиологических методов и изучить физиологические механизмы психологических процессов; именно эти ученые организовали первые психологические лаборатории и детально разработали такие разделы психологической науки, как учение об ощущении, его измерении и основных механизмах, учение об основных законах памяти и внимания, учение о психофизиологических механизмах движения и т. д.

Естественно, что физиологическая психология сближается с физиологией, в частности, с физиологией органов чувств и физиологией высшей нервной деятельности, отличие же состоит в том, что ученые, занимающиеся этой проблемой, дела-

ют своим предметом анализ конкретных форм психической деятельности, изучая ощущения и восприятия, внимание и память человека и строение его двигательных процессов, их изменения в процессе упражнения и утомления, и пытаются, пользуясь наиболее точными методиками, установить их физиологические механизмы и те законы, которые лежат в основе их протекания. Психофизиология, оставаясь специальной психологической дисциплиной, относится к физиологии так же, как биохимия к химии или биофизика к физике, она ни на минуту не отвлекается от того, что изучаемые ею процессы входят в состав сложной психической деятельности человека, не забывает сложных особенностей их структуры и лишь пытается вскрыть лежащие в их основе физиологические механизмы.

Значительная часть знаний о законах протекания отдельных психических процессов была накоплена именно этим разделом психологической науки, и имена крупных ученых Фехнера и Вебера (первые измерили ощущения), Вундта (первые широко применил психофизиологические методы исследования психических процессов), Эббингауса и Мюллера (первые подошли к точным методам измерения памяти и ее физиологических механизмов), так же как и имена Пьерона во Франции, Титченера (США) и крупных современных психологов Линдсли (США), Бродбента (Англия), Фресса (Франция) и других тесно связаны с развитием этой области психологической науки.

Этот раздел психологической науки получил огромную информацию из работ видных классиков физиологии — И.П. Павлова, разработавшего учение о высшей нервной деятельности, Н.Е. Введенского, разработавшего учение о патогенезе, А.А. Ухтомского, работы которого позволили ввести новый раздел науки о поведении — учение о доминантах, Л.А. Орбели, сделавшего важный вклад в эволюционную физиологию, а также современных физиологов — П.К. Анохина, разработавшего учение о функциональных системах, Н.А. Бернштейна, внесшего новое понимание организации движения, Г.В. Гершуни и С.В. Кравкова, обогативших науку данными о законах работы слуха и зрения, и других.

Третьей дисциплиной, входящей в состав биологической группы психологических наук, является *нейропсихология*.

Задачей этой дисциплины является изучение той роли, которую играют отдельные аппараты нервной системы в построении психических процессов.

Легко видеть, что роль подкорковых образований и древней коры в протекании психической деятельности совершенно иная, чем роль новой коры и больших полушарий мозга. Есть все основания полагать, что и роль отдельных зон мозговой коры в организации сложных психических процессов неодинакова и что лобные, височные, теменные и затылочные отделы мозга вносят в протекание психической деятельности свой, совершенно особый вклад.

Эта новая область психологии использует для своих исследований тщательный психологический анализ как раздражений, так и разрушений отдельных участков мозга, прослеживает те изменения в психических процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга и делает из своих наблюдений выводы в отношении *внутреннего* строения психических процессов.

Эту область психологии представляют исследователи разных стран, к их числу относятся К.С. Лешли и К. Прибрам (США), А.Р. Лурия (СССР), О. Зангвилл (Англия), Б. Милнер (Канада) и другие. Рядом с нейрохирургией можно поставить *патопсихологию*, которая изучает особенности психических процессов, наблюдаемых у больных с психическими заболеваниями, и позволяет ближе подойти как к научному изучению душевных болезней, так и к выявлению некоторых общих закономерностей психической деятельности, выявляющейся при патологических состояниях.

Патопсихология успешно разрабатывалась многими учеными-психиатрами (Крепелин в Германии, Жанэ во Франции, Бехтерев в России) и современными психологами (Б.В. Зейгарник в СССР, Пишо во Франции и др.).

Специальный раздел, стоящий на границах психофизиологии и нейропсихологии, составляет изучение *нейронных механизмов психической деятельности*. Ученые, разрабатывающие эту область, (Хьюбел и Визел в Англии, Юнг в Германии, Джаспер

в Канаде, Е.Н. Соколов и О.С. Виноградова в СССР) ставят перед собой задачу проследить формы работы отдельных групп нейронов и провести анализ тех наиболее элементарных нервных процессов, которые лежат в основе поведения. Важные открытия физиологических механизмов активации и привыкания были получены при исследовании простейших форм поведения на нейронном уровне.

Особое место в системе психологических наук занимает *детская, или генетическая, психология*.

Значение этого раздела психологических наук для общей психологии заключается в том, что детская, или генетическая, психология изучает формирование психической деятельности в процессе развития ребенка и позволяет проследить, как складываются сложные психические процессы и какие этапы они проходят в своем развитии.

Детская, или генетическая, психология позволяет подойти к высшим психическим процессам человека как к продукту развития, этим она дает возможность рассматривать сложные формы психической деятельности человека не как изначально существующие “свойства” психики или “способности”, а как результат длительно-го формирования психических процессов.

Именно поэтому детская психология, прослеживающая формирование (генезис) высших форм психической деятельности, получила решающее значение не только для такой практической области, как педагогика, но и для общей психологии. Именно благодаря ее успехам, связанным с вкладом, который внесли в исследование психического развития ребенка такие выдающиеся исследователи, как Ж. Пиаже и Л.С. Выготский, общая психология получила убедительные доказательства того, что основные формы психических процессов (восприятие и действие, запоминание и мышление) имеют сложное строение, которое формируется в процессе развития ребенка. Значение детской, или генетической, психологии позволило ей занять место в современной психологической науке.

Важное место занимает еще одна отрасль психологической науки, которую следует поставить рядом с генетической психологией и которую обычно называют

дифференциальной психологией, или психологией индивидуальных различий.

Известно, что люди обладают не только общими чертами, изучаемыми общей психологией, но и обнаруживают их *индивидуальные различия*. Такими различиями могут быть различия в свойствах нервной системы, в индивидуальных особенностях эмоциональной жизни и характера, особенности в познавательных процессах и одаренности.

Дифференциальная психология ставит задачу изучения этих индивидуальных различий, описания типов поведения и психической деятельности людей, отличающихся друг от друга характерными особенностями.

Дифференциальная психология имеет решающее значение для оценки уровня развития ребенка, индивидуальных форм овладения трудом и для анализа тех типологических особенностей, знание которых необходимо для решения практических проблем психологии.

Основы дифференциальной психологии были в свое время заложены немецким психологом В. Штерном (1871–1938); в наше время проблемами индивидуальных различий успешно занимались Э. Спирмен в Англии, Терстоун в США и Б.М. Теплов в СССР.

К только что отмеченным областям психологии примыкают и такие, которые теснейшим образом связаны с *общественными науками*. В них рассматриваются те общественно-исторические условия, в которых формировалась психическая деятельность человека, и те описанные формы, в которых она проявляется.

Существенное место в этой группе занимает *этнопсихология*, или наука о тех особенностях, которыми отличаются психические процессы в различных исторических формациях и укладах и в условиях различных культур.

На ранних этапах развития психологии были сделаны попытки создать “психологию народов” как особую форму социальной психологии и разработать науку, которая могла бы раскрыть психологические основы формирования языка, мифов, верований, права и т.п. Такая попытка, сделанная одним из основателей современной психологии В. Вундтом, опубликованная под названием “Психология народов”,

оказалась неудачной. Вундт пытался дать психологическое объяснение тем явлениям социальной жизни, которые имеют не психологические, а экономические или общественно-исторические основы, именно поэтому попытки “психологизировать историю” надолго задержали развитие этой важной области психологической науки, которая должна была проследить обратный процесс — формирующее влияние, которое оказывают общественно-исторические условия на развитие психологической деятельности человека.

Эта задача стала предметом исследований многих крупных ученых разных стран (Фрезер и Малиновский в Англии, Жанэ и Леви-Брюль во Франции, Турнвальд в Германии, М. Мид в США), и именно эти исследования заложили основу для современной этнопсихологии. В настоящее время исследование особенностей психической деятельности людей, принадлежащих к различным культурам, составляет один из важных разделов психологической науки.

Специальный раздел науки, выделившийся за последние десятилетия в самостоятельную отрасль науки, стоящий на границе психологии и лингвистики, составляет *психолингвистика*. Задача психолингвистики — проследить основные законы речевой деятельности как средства общения, процессов кодирования и декодирования речевой информации и тех психологических процессов, которые опираются на коды языка и воплощаются в речевой деятельности человека.

Важным, хотя еще недостаточно развитым разделом психологической науки является *социальная психология*. Эта дисциплина изучает психологические законы общения людей между собой, психологические особенности распространения информации средствами массового воздействия (печать и кино), особенности поведения в процессе труда, соревнования и т.д. Предмет специальной отрасли социальной психологии составляет изучение человеческих взаимоотношений в условиях малых групп, анализ тех факторов, которые лежат в основе конкретных видов взаимодействия людей: формирования авторитета, выдвижения лидеров и т.п.

К этой группе дисциплин, сохраняющих свою близость к общественным на-

укам, относится и *психология искусства*, изучающая психологические основы художественного творчества и те психологические законы, которые лежат в основе художественных произведений и обеспечивают максимальное их воздействие на читателя и зрителя.

Мы познакомились лишь с основными ветвями психологической науки, но и они могут показать, какую разветвленную систему дисциплин представляет современная психология.

Методы психологии

Наличие достаточно объективных, точных и надежных методов — одно из основных условий развития каждой науки.

Роль метода науки связана с тем, что сущность изучаемого процесса не совпадает с теми проявлениями, в которых он выступает; необходимы специальные приемы, которые позволяют проникать за пределы явлений, доступных непосредственному наблюдению, в те внутренние законы, которые составляют сущность изучаемого процесса. Такой *путь от явления к сущности*, использующий целый ряд объективных приемов исследования, характерен для истинно научных исследований.

В чем состоят методы, которыми пользуется психология? Существовал длительный период, когда психология определялась как наука о субъективном мире человека; определению содержания науки соответствовал и набор ее методов. Согласно идеалистической концепции, обособившей психику от всех остальных явлений природы и общества, предметом психологической науки являлось изучение субъективных состояний сознания. Эти процессы сознания отличались, по мнению психологов-идеалистов, от остальных процессов объективной действительности тем, что *явление совпадало с сущностью*: те формы сознания, которые человек мог наблюдать на самом себе (ясность или неясность сознания, переживание свободы волевого акта и т.д.), рассматривались этими психологами как основные свойства духа, или как сущность субъективных психических процессов. Это совпадение явлений с сущностью составляло, по их мнению, основу психологии и определяло ее метод, т.е. основным и един-

ственным считалось *субъективное описание явлений сознания*, получаемое в процессе *самонаблюдения* (интроспекции). Признание самонаблюдения основным методом психологии не только отделяло психологию от других наук, но и фактически *закрывало все пути для развития психологии как подлинной науки*. Оно исключало объективное, причинное объяснение психических процессов и сводило психологию к субъективным описаниям форм душевной жизни и психических явлений.

Легко понять, что такая “наука”, отказывающаяся от рассмотрения психических процессов как продуктов объективного развития, не ставящая вопросов об их происхождении и об их объективных механизмах, не могла существовать и в течение длительного времени оставалась своеобразным разделом идеалистической философии, не включаясь в круг подлинных наук.

Поэтому с того периода, когда психологию стали понимать как науку об особой форме психической деятельности, позволяющей человеку ориентироваться в окружающей действительности, отражать ее, формировать программы поведения и контролировать их выполнение, отношение к основному методу психологической науки коренным образом изменилось.

Задача психологов заключалась в том, чтобы создать *объективные методы* изучения психических процессов человека, ни в коем случае не ограничиваясь методом самонаблюдения и относясь к нему лишь как к одному из подсобных приемов, который скорее имел эвристическое значение, позволяя ставить вопросы, чем давал возможность причинно объяснять явления и находить лежащие в их основе законы. Коренной пересмотр самонаблюдения как метода научного познания был связан и с тем, что само самонаблюдение стало рассматриваться как сложный вид психической деятельности, являющийся продуктом длительного развития, использующий речевую формулировку наблюдаемых явлений и имеющий очень ограниченное применение потому, что *далеко не все психические процессы протекают сознательно*, а также потому, что *самонаблюдение за своими психическими процессами может внести значительные изменения в их протекание*.

Основной задачей психологической науки стала разработка таких объективных методов исследования, которые пользовались бы *обычными для всех остальных наук приемами наблюдения* за протеканием того или иного вида деятельности и *экспериментального изменения условий ее протекания* и могли бы *проникнуть за пределы ее внешнего описания к лежащим в ее основе закономерностям*.

Основным приемом психологической науки стало *наблюдение за поведением человека в естественных и экспериментальных условиях* с анализом тех изменений, которые наступают при определенных, изменяемых экспериментатором, условиях. На этом пути и были созданы *три основных метода* психологического исследования, условно названные методом структурного анализа, экспериментально-генетическим методом и экспериментально-патологическим (или методом синдромного анализа).

Метод структурного анализа психологических процессов заключается в следующем: психолог, изучающий ту или иную форму психической деятельности, ставит перед испытуемым соответствующую *задачу* и прослеживает *структурное строение тех процессов* (приемов, средств, форм поведения), с помощью которых испытуемый решает данную задачу.

Это означает, что психолог не только регистрирует конечный результат (запоминание предложенного материала, двигательная реакция на сигнал, ответ на предложенную задачу), но внимательно прослеживает *процесс* решения предложенной задачи, те вспомогательные средства, на которые испытуемый опирался, и т.д. Такое описание психологической структуры изучаемого процесса и анализ ее составных частей представляет значительные трудности и требует ряда специальных вспомогательных приемов.

Эти приемы, позволяющие осуществить достаточно полный структурный анализ, могут носить *прямой* или *косвенный* характер.

К *прямым* приемам относится *изменение структуры задачи*, предлагаемой испытуемому (с постепенным усложнением, внесением в нее новых требований, делающих необходимым включение в решение задачи новых операций), а также предло-

жение испытуемому *ряда способов*, помогающих решению (выбор внешних опор, вспомогательных приемов и т.д.). Использование этих прямых приемов структурного анализа *изменяет объективное протекание психологического процесса* и дает возможность установить, какие из предложенных операций вызывают максимальные трудности и какие из использованных приемов приводят к максимальному эффекту.

Описанные формы структурного анализа применимы прежде всего к объективному исследованию таких смежных форм психической деятельности, как усвоение или запоминание материала, решение задач, выполнение конструктивных или логических операций, изучение строения сложных форм осмысленных поступков.

К *косвенным* или *дополнительным* приемам исследования относится использование таких признаков, которые, не являясь сами элементами деятельности человека, могут быть показателями его общего состояния, испытываемых им напряжений и т.п. К таким приемам, например, относится использование методов регистрации физиологических процессов (электроэнцефалограммы, электромиограммы, кожно-гальванического рефлекса, плетизмограммы), которые сами не вскрывают особенностей протекания психической деятельности, но могут отражать общие физиологические условия, характерные для их протекания.

Естественно, что применение этих косвенных или дополнительных приемов получит смысл лишь при четкой организации самой психической деятельности, которую изучает психолог.

Рядом со структурно-аналитическим методом, занимающим ведущее место в психологии, можно поставить *экспериментально-генетический метод*, имеющий особенно большое значение для детской (генетической) психологии.

Известно, что высшие психические процессы являются продуктом длительного развития. Поэтому для психолога особенно важно проследить, как шел этот процесс, какие этапы в него включены и какие факторы определяют возникновение высших психических процессов.

Ответ на этот вопрос можно получить, не только прослеживая, как выполняются

одни и те же задачи на последовательных ступенях развития ребенка (этот метод получил в психологии название *генетических срезов*), но и создавая *экспериментальные условия*, которые позволили бы выявить, как формируется та или иная психическая деятельность. Для этой цели испытуемому, которому предлагается решить ту или иную задачу, ставят в различные условия. В одних случаях требуют от него самостоятельного решения задачи, в других — оказывают ему помощь, используя, с одной стороны, различные средства внешних наглядно-действенных опор, с другой — громкое проговаривание путей решения, и наблюдают, как он воспользуется этой помощью.

Применяя приемы, составляющие суть экспериментально-генетического метода, исследователь оказывается в состоянии не только выявить те условия, при использовании которых субъект может оптимально овладеть данной деятельностью, но и экспериментально *сформировать* сложные психические процессы, ближе подойти к их структуре. Экспериментально-генетический метод был широко использован в советской психологии в исследованиях Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, П.Я.Гальперина и дал много ценных фактов, прочно вошедших в психологическую науку.

Третьим методом психологии, особенно важным для нейропсихологии и патопсихологии, является *экспериментально-патологический*, или метод *синдромного анализа* тех изменений в поведении, которые наступают при патологических состояниях мозга или при исключительном развитии какой-либо одной стороны психических процессов.

Этот метод применим в относительно редких случаях. Психолог, зная один фактор, заведомо изменяющий протекание психических процессов, может узнать, какое влияние этот фактор оказывает на протекание всей психической деятельности субъекта в целом.

В наиболее ясных формах этот метод выступает в нейропсихологических исследованиях. Он заключается в том, что психолог, наблюдающий за людьми, у которых очаговое поражение мозга вызывает перемещение или искажение одного из условий нормального протекания психических процессов (например, зрительного воспри-

ятия, слухоречевой памяти или прочного сохранения программы деятельности), подвергает детальному анализу протекание целого комплекса психических процессов и устанавливает, какие из них остаются сохранными и какие нарушаются. Подобный анализ дает возможность установить, какие именно психические процессы внутренне связаны с нарушенным (или исключенным) фактором и какие не зависят от него; он позволяет описать целый *синдром* (иначе говоря, комплекс изменений, возникающих при изменении одной какой-либо функции) и дает возможность выявить взаимную зависимость (корреляцию) отдельных психологических процессов.

Подобный метод может быть применим в общей психологии или психологии индивидуальных различий, в которых сверхразвитие какой-либо стороны психической жизни (например, яркой зрительной памяти) или какая-нибудь индивидуальная особенность нервных процессов (например, слабость или недостаточная подвижность нервных процессов) может вызвать перестройку всех психических процессов и стать решающим фактором в возникновении целого комплекса индивидуальных особенностей личности.

Все описанные нами в общих чертах методы являются методами *психологического исследования*. Однако, наряду с ними, большое значение для психологии имеют краткие методы количественной и качественной *оценки* психических процессов (знаний, навыков, умений) и простые методы *измерения* уровня их развития.

Такие методы имеют широкое применение в психологии и известны под название *психологических тестов* (проб). Психологические тесты (пробы) состоят из задач, которые предъявляются широкому кругу испытуемых для установления их знаний, навыков или умений. Для того, чтобы эти тесты (пробы) могли дать объективные и измеримые данные, они предварительно проводятся на большом количестве испытуемых (детях определенного возраста или людях одного образования). Из всех этих задач отбираются те, которые успешно решает значительное число (например, две трети) всех испытуемых, лишь после этого они предъявляются тем субъектам, знания, навыки или умения которых подлежат измерению. Результаты этих

исследований оцениваются в условных баллах или в ранговых оценках (указывающих, какое место данный испытуемый мог бы занять по отношению к соответствующей группе испытуемых).

Применение психологических тестов (проб) может иметь известное значение для ориентировки в психических особенностях больших популяций. Критическая оценка этого метода будет дана ниже при рассмотрении его значения для измерения индивидуальных различий испытуемых.

Легко видеть, что значение всех описанных методов неодинаково для тех разделов психологической науки, о которых было сказано выше, и если метод структурного анализа остается основным для всех разделов психологии, то экспериментально-генетический метод занимает ведущее место в детской, а метод синдромного анализа — в патологической или дифференциальной психологии.

Практическое значение психологии

Психология имеет большое значение не только для решения ряда основных теоретических вопросов о психической жизни и сознательной деятельности человека.

Она имеет также практическое значение, возрастающее по мере того, как основным вопросом общественной жизни становится управление поведением человека на научных основах и учет человеческого фактора в промышленности и общественных отношениях.

Психологическая наука имеет большое практическое значение для ряда областей, из которых мы упомянем лишь главные.

Первой из этих областей является область *промышленности и труда*, а раздел прикладной психологии, который занимается связанными с этими областями вопросами, называется *инженерной психологией* и *психологией труда*.

Современная индустрия, включающая управление механизмами, транспортом, авиацией и т.п., предполагает сложное взаимодействие *системы “человек—машина”*. Сложная техника должна быть приспособлена к возможностям человека; необходимо создать такие условия, при которых управление системами протека-

ло бы в оптимальном варианте и могло бы осуществляться с наименьшими затратами времени и с наименьшим числом ошибок. Эти требования должны прежде всего относиться к рациональному построению пультов управления, которые в современных механизмах состоят из большого числа индикаторов, требующих максимальной обзорности и доступности информации. Естественно, что эти требования могут быть удовлетворены лишь при учете законов человеческого восприятия, объема человеческой памяти и тех способов их организации, которые могли бы наилучшим образом приспособить машину к возможностям человека. С другой стороны, современная индустрия ставит ряд вопросов подбора людей, наиболее подходящих к условиям тех или иных форм работы и организации условий, которые обеспечивали бы оптимальные условия сохранения внимания и минимального истощения человека. Они ставят вопрос о том, какие психологические факторы необходимо учесть для обеспечения максимальной надежности работы и минимальной аварийности.

Все эти вопросы разрабатываются инженерной психологией и психологией труда, которые становятся важной составной частью научной организации производства.

Второй сферой практического применения психологии является *обучение и воспитание подрастающего поколения*, иначе говоря сфера *педагогики*.

Известно, что возрастающий объем знаний, которые должны быть усвоены в процессе школьного обучения, требует наиболее рациональной организации методов обучения. Это существенно зависит от психологических особенностей ребенка, возраста детей и их познавательных процессов при обучении в школе.

Педагогическая психология является той отраслью прикладной психологии, которая должна обеспечить научное обоснование программ и методов обучения, установить круг тех понятий, которые доступны детям соответствующего возраста и те способы подачи материала, которые обеспечат его наилучшее усвоение. Развившийся за последнее время новый раздел педагогики — программированное обучение (или теория программированного, поэтапного усвоения знаний) вносит научную

психологическую основу для разработки оптимальной последовательности предлагаемого материала и применения наиболее эффективных методов обучения. Такие вопросы, как степень развернутости процесса поэтапного усвоения знаний, соотношение наглядных и словесно-логических средств обучения, способы оптимальной формулировки правил, приемы, обеспечивающие адекватное усвоение понятий и перенос принципов, усвоенных в процессе обучения, составляют только часть тех вопросов, которые изучаются педагогической психологией, вносящей существенный вклад в научное обоснование педагогического процесса.

Второй стороной использования психологии для рационального построения обучения и воспитания является анализ *тех психологических особенностей детей*, которые мешают их успешному обучению.

Известно, что успешность обучения зависит не только от рационально организованных программ и методов, но и от состава учащихся. В каждом классе наряду с успевающими учениками имеются и такие, которые не могут успешно овладеть школьной программой и задерживают успешную работу всего класса.

Однако существенным является тот факт, что неуспеваемость, которую обнаруживают эти ученики, может иметь различную основу.

Одни ученики не успевают потому, что они являются умственно отсталыми и органическое недоразвитие их мозга делает их неспособными воспринимать сколько-нибудь сложный материал. Эти дети должны быть выведены из массовой школы и переведены в специальную, вспомогательную школу. Другие являются полностью нормальными детьми, но их неуспеваемость связана с тем, что они, пропустив известную часть программы, не могут успешно продвигаться дальше и усвоение дальнейшего материала не имеет в их знаниях нужной основы. Эти дети нуждаются в специальных дополнительных занятиях, которые могут ликвидировать их пробелы. Третьи ученики обнаруживают трудности в обучении потому, что они являются физически ослабленными, перенесли какое-нибудь заболевание. Они могут успешно сосредотачивать свое внимание лишь в течение ограниченного времени, быстро ис-

тощаются и не в состоянии овладеть соответствующим материалом; они должны учиться при соблюдении соответствующего режима и в этих условиях могут успешно справиться с программой. Наконец, четвертая группа учеников испытывает трудности обучения не потому, что входящие в ее состав дети являются умственно отсталыми, а потому, что они имеют какие-либо частные дефекты, например, дефекты слуха, которые препятствуют своевременному и полноценному речевому общению и приводят к временной задержке развития. Такие дети должны быть переведены в школы для тугоухих, где специальные приемы и методы позволяют компенсировать их дефекты.

Важнейшей задачей должно быть *своевременное распознавание тех причин, которые приводят к неуспеваемости различных групп детей, и диагностика различных форм неуспеваемости*. Эта задача может быть выполнена лишь при ближайшем участии психологов, которые могут описать психологические особенности неуспевающих детей, выяснить основные причины задержки в их развитии и оказать существенную помощь в устранении описанных дефектов.

Третьей сферой практического применения психологии является *медицина*.

Известно, что протекание любой болезни зависит не только от болезнетворного агента и состояния организма, но и от того, как больной сам представляет свою болезнь, как относится к ней, как оценивает ее, иначе говоря, от того, что врачи-терапевты называют “внутренней картиной болезни”. Однако само отношение к болезни связано с рядом психологических факторов, особенностями эмоционального строя личности, характера тех обобщений, которыми располагает личность. Изучение характерологических особенностей и строя личности, которыми занимается психология, имеет поэтому важное значение в медицине, позволяет ближе подойти к научной основе практики психотерапии, психогигиены и психопрофилактики.

Особое место занимает психология в специальных отраслях медицины — неврологии и психиатрии.

Здесь она может оказать существенную помощь в решении двух важнейших вопросов — *диагностики и природы заболе-*

вания, с одной стороны, и восстановления нарушенных функций — с другой.

Известно, что очаговые поражения мозга лишь частично выражаются в таких симптомах классической неврологии, как изменение чувствительности, рефлексов, тонуса и движений. Значительная часть больших полушарий головного мозга не имеет прямого отношения ни к одному из упомянутых процессов и поражение этих участков не приводит к их заметным нарушениям. Эти части больших полушарий связаны с осуществлением высших форм психической деятельности — анализом поступающей информации, формированием планов и программ действий, контролем над протеканием сознательной деятельности. Именно поэтому поражение этих отделов мозга, не вызывая отчетливых физиологических симптомов, может привести к заметным нарушениям сложных форм психической деятельности.

В течение последних десятилетий возникла новая область психологической науки, о которой мы уже упоминали выше, — *нейропсихология*. Она позволила увидеть, какие факторы, входящие в состав сложных форм психической деятельности, связаны с определенными участками мозга и какие виды нарушений психических процессов имеют место при их поражении. Благодаря этому стало возможно ввести новый и практически важный метод диагностики локальных поражений мозга, использующий психологический анализ характера нарушений высших психических процессов топической (локальной) диагностики мозговых поражений. Этот метод прочно вошел в практику неврологической и нейрохирургической клиники. <...>

Не менее важное значение имеет психология и для уточнения диагностики психических заболеваний. Нарушения восприятия и действия, памяти и мышления носят совершенно различный характер при различных формах умственного недоразвития и при различных психических заболеваниях. Поэтому применение методов экспериментальной патопсихологии в психиатрической клинике позволяет существенно уточнить диагностику психических заболеваний и входит как существенная составная часть в общую психопатологию.

Большое практическое значение имеет психология в разработке основ *восстанов-*

ления функций, нарушенных при мозговых поражениях.

Еще сравнительно недавно считалось, что функции, нарушенные в результате локальных поражений мозга, не восстанавливаются и поражение мозга (особенно его ведущего, доминирующего полушария) приводит к необратимым расстройствам и обрекает больного на полную инвалидность.

Однако учение о сложном системном построении высших психических процессов показало, что каждая сложная форма психической деятельности осуществляется с помощью целой системы совместно работающих зон мозга, и позволило коренным образом пересмотреть эти положения. Оно показало, что функциональные системы, нарушающиеся при любом очаговом поражении мозга, могут быть перестроены на основе создания новых функциональных систем, опирающихся на неповрежденные отделы мозга. Таким образом, нарушенные функции могут быть восстановлены на новых основах.

Теория восстановления высших психических функций, нарушенных при локальных поражениях мозга, путем специального восстановительного обучения, разработанная в психологической науке, стала одной из важных составных частей современной медицины.

Следует, наконец, упомянуть и последнюю область практического применения психологии — *судебную психологию*. Следователь и судья постоянно имеют дело со сложными формами психической деятель-

ности человека, с его мотивами и психологическими чертами, с границами его восприятия и памяти, с особенностями его мышления. Поэтому учет психологических характеристик этих процессов должен быть обязательным компонентом в подготовке и деятельности судебно-следственных работников.

Психология разработала научный подход к двум важным разделам судебно-следственной практики: анализу свидетельских показаний и психологической диагностике причастности к преступлению.

Было доказано, что свидетельские показания обеспечивают достоверный материал лишь в известных пределах и степень этой достоверности может быть установлена с помощью специального экспериментально-психологического исследования.

С другой стороны, совершенное преступление оставляет следы не только во внешней обстановке, но и в психике самого преступника, поэтому существуют объективные психологические методы, с помощью которых эти следы могут быть обнаружены.

Естественно, что включение психологии в решение этих вопросов позволяет сделать важный вклад в построение судебно-следственного дела на научной основе и составляет важный раздел практического приложения психологии.

Таким образом, психология является не только важным разделом науки, но и имеет широко разветвленные области практического применения, давая научную основу для важных областей практики.

Ю.Б.Гиппенрейтер

[ПСИХОЛОГИЯ ЖИТЕЙСКАЯ И НАУЧНАЯ]¹

Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский, эмпирический опыт людей. Например, физика опирается на приобретаемые нами в повседневной жизни знания о движении и падении тел, о трении и инерции, о свете, звуке, теплоте и многом другом.

Математика тоже исходит из представлений о числах, формах, количественных соотношениях, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.

Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Есть даже выдающиеся житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также некоторые (хотя и не все) представители профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, священнослужители и др. Но, повторяю, и обычный человек располагает определенными психологическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что каждый человек в какой-то мере может *понять* другого, *повлиять* на его поведение, *предсказать* его поступки, *учесть* его индивидуальные особенности, *помочь* ему и т. п.

Давайте задумаемся над вопросом: чем же отличаются житейские психологические знания от научных? Я назову вам пять таких отличий. *Первое*: житейские психологические знания конкретны; они при-

урочены к конкретным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Говорят, официанты и водители такси — тоже хорошие психологи. Но в каком смысле, для решения каких задач? Как мы знаем, часто — довольно прагматических. Также конкретные прагматические задачи решает ребенок, ведя себя одним образом с матерью, другим — с отцом, и снова совсем иначе — с бабушкой. В каждом конкретном случае он точно знает, как надо себя вести, чтобы добиться желаемой цели. Но вряд ли мы можем ожидать от него такой же проницательности в отношении чужих бабушки или мамы. Итак, житейские психологические знания характеризуются конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются.

Научная же психология, как и всякая наука, стремится к *обобщениям*. Для этого она использует *научные понятия*. Отработка понятий — одна из важнейших функций науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, соотносятся друг с другом, связываются в законы.

Например, в физике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось описать с помощью трех законов механики тысячи различных конкретных случаев движения и механического взаимодействия тел.

То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, отношения с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие обобщающие понятия, которые не только экономизируют описания, но и за конгломератом частностей позволяют увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее индивидуальные особенности. Нужно отметить одну особенность научных психологических понятий: они часто совпадают с житейскими по своей внешней форме, т. е. попросту говоря, выражаются теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения этих слов, как правило, раз-

¹ Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. С. 10—18.

личны. Житейские термины обычно более расплывчаты и многозначны.

Однажды старшекласников попросили письменно ответить на вопрос: что такое личность? Ответы оказались очень разными, а один учащийся ответил так: “Это то, что следует проверить по документам”. Я не буду сейчас говорить о том, как понятие “личность” определяется в научной психологии, — это сложный вопрос <...>. Скажу только, что определение это сильно расходится с тем, которое было предложено упомянутым школьником.

Второе отличие житейских психологических знаний состоит в том, что они носят *интуитивный* характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются путем практических проб и прилаживаний.

Подобный способ особенно отчетливо виден у детей. Я уже упоминала об их хорошей психологической интуиции. А как она достигается? Путем ежедневных и даже ежечасных испытаний, которым они подвергают взрослых и о которых последние не всегда догадываются. И вот в ходе этих испытаний дети обнаруживают, из кого можно “вить веревки”, а из кого нельзя.

Часто педагоги и тренеры находят эффективные способы воспитания, обучения, тренировки, идя тем же путем: экспериментируя и зорко подмечая малейшие положительные результаты, т. е. в определенном смысле “идя наощупь”. Нередко они обращаются к психологам с просьбой объяснить психологический смысл найденных ими приемов.

В отличие от этого научные психологические знания *рациональны* и вполне *осознанны*. Обычный путь состоит в выдвижении словесно формулируемых гипотез и проверке логически вытекающих из них следствий.

Третье отличие состоит в *способах* передачи знаний и даже в самой *возможности их передачи*. В сфере практической психологии такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно вытекает из двух предыдущих особенностей житейского психологического опыта — его конкретного и интуитивного характера. Глубокий психолог Ф.М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных им произведениях, мы их все прочли — стали мы

после этого столь же пронизательными психологами? Передается ли житейский опыт от старшего поколения к младшему? Как правило, с большим трудом и в очень незначительной степени. Вечная проблема “отцов и детей” состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому молодому человеку приходится самому “набивать шишки” для приобретения этого опыта.

В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большим, если можно так выразиться, КПД. Кто-то давно сравнил представителей науки с пигмеями, которые стоят на плечах у великанов — выдающихся ученых прошлого. Они, может быть, гораздо меньше ростом, но видят дальше, чем великаны, потому что стоят на их плечах. Накопление и передача научных знаний возможна благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных средств, т. е. речи и языка, чем мы, собственно говоря, и начали сегодня заниматься.

Четвертое различие состоит в методах получения знаний в сферах житейской и научной психологии. В житейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В научной психологии к этим методам добавляется *эксперимент*.

Суть экспериментального метода состоит в том, что исследователь не ждет стечения обстоятельств, в результате которого возникает интересующее его явление, а вызывает это явление сам, создавая соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьирует эти условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление подчиняется. С введением в психологию экспериментального метода (открытия в конце прошлого века первой экспериментальной лаборатории) психология, как я уже говорила, оформилась в самостоятельную науку.

Наконец, *пятое* отличие, и вместе с тем преимущество, научной психологии состоит в том, что она располагает обширным, разнообразным и подчас *уникальным фактическим материалом*, недоступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской психологии. Материал этот

накапливается и осмысливается, в том числе в специальных отраслях психологической науки, таких, как возрастная психология, педагогическая психология, пато- и нейропсихология, психология труда и инженерная психология, социальная психология, зоопсихология и др. В этих областях, имея дело с различными стадиями и уровнями психического развития животных и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными условиями труда — условиями стресса, информационных перегрузок или, наоборот, монотонии и информационного голода и т. п., — психолог не только расширяет круг своих исследовательских задач, но и сталкивается с новыми неожиданными явлениями. Ведь рассмотрение работы какого-либо механизма в условиях развития, поломки или функциональной перегрузки с разных сторон высвечивает его структуру и организацию.

Приведу короткий пример. Вы, конечно, знаете, что у нас в г. Загорске существует специальный интернат для слепоглохонемых детей. Это дети, у которых нет слуха, нет зрения и, конечно, первоначально нет речи. Главный “канал”, через который они могут вступать в контакт с внешним миром, — это осязание.

И вот через этот чрезвычайно узкий канал в условиях специального обучения они начинают познавать мир, людей и себя! Процесс этот, особенно вначале, идет очень медленно, он развернут во времени и во многих деталях может быть увиден как бы через “временную лупу” (термин, который использовали для описания этого феномена известные советские ученые А.И. Мещеряков и Э.В. Ильенков). Очевидно, что в случае развития нормального здорового ребенка многое проходит слишком быстро, стихийно и незамеченно. Таким образом, помощь детям в условиях жестокого эксперимента, который поставила над ними природа, помощь, организуемая психологами совместно с педагогами-дефектологами, превращается одновременно в важнейшее средство познания общих психологических закономерностей — развития восприятия, мышления, личности.

Итак, обобщая, можно сказать, что разработка специальных отраслей психологии является Методом (методом с большой бук-

вы) общей психологии. Такого метода лишена, конечно, житейская психология.

Теперь, когда мы убедились в целом ряде преимуществ научной психологии перед житейской, уместно поставить вопрос: а какую позицию научные психологи должны занять по отношению к носителям житейской психологии?

Предположим, вы окончили университет, стали образованными специалистами-психологами. Вообразите себя в этом состоянии. А теперь вообразите рядом с собой какого-нибудь мудреца, не обязательно живущего сегодня, какого-нибудь древнегреческого философа, например. Этот мудрец — носитель многовековых размышлений людей о судьбах человечества, о природе человека, его проблемах, его счастье. Вы — носитель научного опыта, качественно другого, как мы только что видели. Так какую же позицию вы должны занять по отношению к знаниям и опыту мудреца? Вопрос этот не праздный, он неизбежно рано или поздно встанет перед каждым из вас: как должны соотноситься в вашей голове, в вашей душе, в вашей деятельности эти два рода опыта?

Я хотела бы предупредить вас об одной ошибочной позиции, которую, впрочем, нередко занимают психологи с большим научным стажем. “Проблемы человеческой жизни, — говорят они, — нет, я ими не занимаюсь. Я занимаюсь научной психологией. Я разбираюсь в нейронах, рефлексах, психических процессах, а не в “муках творчества”.

Имеет ли эта позиция некоторые основания? Сейчас мы уже можем ответить на этот вопрос: да, имеет. Эти некоторые основания состоят в том, что упомянутый научный психолог вынужден был в процессе своего образования сделать шаг в мир отвлеченных общих понятий, он вынужден был вместе с научной психологией, образно говоря, загнать жизнь *in vitro*¹, “разъять” душевную жизнь “на части”. Но эти необходимые действия произвели на него слишком большое впечатление. Он забыл, с какой целью делались эти необходимые шаги, какой путь предполагался дальше. Он забыл или не дал себе труда осознать, что великие ученые — его предшественники — вводили новые поня-

¹ В пробырку (лат.)

тия и теории, выделяя существенные стороны реальной жизни, предполагая затем вернуться к ее анализу с новыми средствами.

История науки, в том числе психологии, знает немало примеров того, как ученый в малом и абстрактном усматривал большое и жизненное. Когда И.П.Павлов впервые зарегистрировал условнорефлекторное отделение слюны у собаки, он заявил, что через эти капли мы в конце концов проникнем в муки сознания человека. Выдающийся советский психолог Л.С.Выготский увидел в “курьезных” действиях типа завязывания узелка на память способы овладения человеком своим поведением.

О том, как видеть в малых фактах отражение общих принципов и как переходить от общих принципов к реальным жизненным проблемам, вы нигде не прочтете.

Вы можете развить в себе эти способности, впитывая лучшие образцы, заключенные в научной литературе. Только постоянное внимание к таким переходам, постоянное упражнение в них может сформировать у вас чувство “биения жизни” в научных занятиях. Ну, а для этого, конечно, совершенно необходимо обладать житейскими психологическими знаниями, возможно более обширными и глубокими.

Уважение и внимание к житейскому опыту, его знание предостерегут вас еще от одной опасности. Дело в том, что, как известно, в науке нельзя ответить на один вопрос без того, чтобы не возникло десять новых. Но новые вопросы бывают разные: “дурные” и правильные. И это не просто слова. В науке существовали и существуют, конечно, целые направления, которые заходили в тупик. Однако, прежде чем окончательно прекратить свое существование, они некоторое время работали вхолостую, отвечая на “дурные” вопросы, которые порождали десятки других дурных вопросов.

Развитие науки напоминает движение по сложному лабиринту со многими тупиковыми ходами. Чтобы выбрать правильный путь, нужно иметь, как часто говорят, хорошую интуицию, а она возникает только при тесном контакте с жизнью.

В конечном счете, мысль моя простая: научный психолог должен быть одновременно

хорошим житейским психологом. Иначе он не только будет мало полезен науке, но и не найдет себя в своей профессии, попросту говоря, будет несчастен. Мне бы очень хотелось уберечь вас от этой участи.

Один профессор сказал, что если его студенты за весь курс усвоят одну-две основные мысли, он сочтет свою задачу выполненной. Мое желание менее скромно: хотелось бы, чтобы вы усвоили одну мысль уже за одну эту лекцию. Мысль эта следующая: *отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее свою силу.*

Итак, научная психология, *во-первых*, опирается на житейский психологический опыт; *во-вторых*, извлекает из него свои задачи; наконец, *в-третьих*, на последнем этапе им проверяется.

А теперь мы должны перейти к более близкому знакомству с научной психологией.

Знакомство с любой наукой начинается с определения ее предмета и описания круга явлений, которые она изучает. Что же является *предметом психологии*? На этот вопрос можно ответить двумя способами. Первый способ более правильный, но и более сложный. Второй — относительно формальный, но зато краткий.

Первый способ предполагает рассмотрение различных точек зрения на предмет психологии — так, как они появлялись в истории науки; анализ оснований, почему эти точки зрения сменяли друг друга; знакомство с тем, что в конечном счете от них осталось и какое понимание сложилось на сегодняшний день.

Все это мы будем рассматривать в последующих лекциях, а сейчас ответим кратко.

Слово “психология” в переводе на русский язык буквально означает “наука о душе” (гр. *psyche* — “душа” + *logos* — “понятие”, “учение”).

В наше время вместо понятия “душа” используется понятие “психика”, хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и выражений, производных от первоначального корня: одушевленный, душевный, бездушный, родство душ, душевная болезнь, задушевный разговор и т. п.

С лингвистической точки зрения “душа” и “психика” — одно и то же. Однако с развитием культуры и особенно науки

значения этих понятий разошлись. Об этом мы будем говорить позже.

Чтобы составить предварительное представление о том, что такое “психика”, рассмотрим *психические явления*. Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего, субъективного опыта.

Что такое внутренний, или субъективный, опыт? Вы сразу поймете, о чем идет речь, если обратите взор “внутрь себя”. Вам хорошо знакомы ваши ощущения, мысли, желания, чувства.

Вы видите это помещение и все, что в нем находится; слышите, что я говорю, и пытаетесь это понять; вам может быть сейчас радостно или скучно, вы что-то вспоминаете, переживаете какие-то стремления или желания. Все перечисленное — элементы вашего внутреннего опыта, субъективные или психические явления.

Фундаментальное свойство субъективных явлений — *их непосредственная представленность субъекту*. Что это означает?

Это означает, что мы не только видим, чувствуем, мыслим, вспоминаем, желаем, но и *знаем*, что видим, чувствуем, мыслим и т.п.; не только стремимся, колеблемся или принимаем решения, но и *знаем* об этих стремлениях, колебаниях, решениях. Иными словами, психические процессы не только происходят в нас, но также непосредственно нам открываются. Наш внутренний мир — это как бы большая сцена, на которой происходят различные события, а мы являемся одновременно и действующими лицами, и зрителями.

Эта уникальная особенность субъективных явлений открываться нашему сознанию поражала воображение всех, кто задумывался над психической жизнью человека. А на некоторых ученых она произвела такое впечатление, что они связали с ней решение двух фундаментальных вопросов: о предмете и о методе психологии.

Психология, считали они, должна заниматься только тем, что переживается

субъектом и непосредственно открывается его сознанию, а единственный метод (т.е. способ) изучения этих явлений — самонаблюдение. Однако этот вывод был преодолен дальнейшим развитием психологии.

Дело в том, что существует целый ряд *других форм проявления психики*, которые психология выделила и включила в круг своего рассмотрения. Среди них — факты поведения, неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, наконец, творения человеческих рук и разума, т. е. продукты материальной и духовной культуры. Во всех этих фактах, явлениях, продуктах психика проявляется, обнаруживает свои свойства и поэтому через них может изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а в ходе острых дискуссий и драматических трансформаций представлений о ее предмете.

В нескольких последующих лекциях мы подробно рассмотрим, как в процессе развития психологии расширялся круг изучаемых ею феноменов. Этот анализ поможет нам освоить целый ряд основных понятий психологической науки и составить представление о некоторых ее основных проблемах. Сейчас же в порядке подведения итога зафиксируем важное для нашего дальнейшего движения различие между психическими явлениями и *психологическими фактами*. Под психическими явлениями понимаются субъективные переживания или элементы внутреннего опыта субъекта. Под психологическими фактами подразумевается гораздо более широкий круг проявлений психики, в том числе их объективные формы (в виде актов поведения, телесных процессов, продуктов деятельности людей, социально-культурных явлений), которые используются психологией для изучения психики — ее свойств, функций, закономерностей.

В.А.Иванников

[ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ]¹

[Предмет и задачи общей психологии]

Сегодня психология участвует не только в решении научных задач, но и в реальной жизни, помогая развиваться конкретным коллективам, семье, отдельному человеку.

При выделении психологии как отдельной науки никто не думал о разделении ее на отдельные отрасли, связанные с различными сферами жизни человека. Психология была единой наукой, изучавшей все проявления психики человека и животных, поэтому при выделении прикладных отраслей традиционный раздел психологии получил название общей психологии.

Что изучает общая психология?

Человек думает, говорит — он обладает речью и мышлением; человек вспоминает просмотренный кинофильм, мечтает об отпуске. Это возможно благодаря памяти и воображению. Жизнь любого из нас наполнена волнениями о разных событиях, которые радуют или огорчают, т.е. вызывают определенные чувства. Ежедневно мы стремимся к чему-либо, проявляя волю и настойчивость в достижении малых и больших целей.

Человеческие ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение, чувства, воля — все это отдельные стороны нашей психики, или **психические процессы**.

Каждый из нас отличается личными устойчивыми особенностями, более или менее постоянными качествами. Один любит рыбную ловлю, другой — заядлый коллекционер, у третьего — “божий дар” музыканта. Стало быть, у нас разные интересы, разные способности. И вообще мы все очень разные. Один веселый, другой спокойный, третий вспыльчивый. Интересы, способности, темперамент, характер — это психические свойства человека.

Но наличие устойчивых психических свойств не означает, что человек постоянно пребывает в одном и том же состоянии. Порой мы бываем угрюмы, раздражительны, тревожны, порой — веселы, общительны, а иногда испытываем мучительный разлад с собой. Это — психические состояния.

Все эти процессы, состояния, свойства личности, связанные в один тугой узел, и составляют наш внутренний мир, нашу душевную жизнь, т.е. психику. А наука, изучающая психику человека, общие закономерности психической деятельности, — это и есть общая психология. И еще, выделение отраслей этой науки в другие, самостоятельные области — это, с одной стороны, требование жизни, а с другой — показатель зрелости психологии. Показатель того, что она приобрела способность решать задачи многих областей жизни. Это прорыв психологии в практику.

За сто лет, прошедших со времени создания первой лаборатории экспериментальной психологии, были разгаданы многие тайны мышления, внимания, памяти и других психических процессов. Открывались новые факты, которые не могли быть доступны простому наблюдению. Так, например, ученые выяснили, что построение образа предметов является активной работой всего организма, начиная от двигательной активности органа восприятия до общей физической активности человека. Казалось бы, чтобы увидеть предмет, достаточно перевести на него взгляд. Но какую работу проделывают при этом наши глаза! Попробуйте во время фотосъемки потрясти свой аппарат — вместо четкой фотографии вы получите смазанное изображение. А вот глаз практически никогда не находится в покое, он постоянно дви-

¹ *Иванников В.А.* Психология сегодня. М.: Знание, 1981. С. 15—93.

жется (эти движения очень малы и потому незаметны), однако без помех воспринимает движущиеся предметы. Более того, такое состояние глаз, как оказалось, есть необходимейшее условие нормального восприятия предметов. Остановить глаз невозможно, он постоянно либо совершает небольшие скачки в разные стороны, либо медленно “дрейфует”. Чтобы видеть, глаз должен постоянно двигаться, “ощупывая” предметы и выискивая наиболее характерные признаки объектов, по которым те опознаются.

Интересные и неожиданные результаты были получены при исследовании памяти. Очень многие жалуются на свою память. Если человеку показать тридцать слов или цифр, то из них он обычно запоминает с первого раза пять—семь, в иных случаях — семь—девять. Но оказалось, что помним мы гораздо больше, только быстро забываем. Если эти тридцать слов расположить таблицей, т. е. в виде пяти строк, каждая из которых включает шесть слов, и, показывая на короткое время, попросить запомнить слова каждой строки, то результаты не меняются, однако если сразу после того как изображение исчезает, указать, какую строчку надо воспроизвести, испытуемый почти без ошибок делает это. Значит, какое-то время испытуемый помнит почти все. А потом этот материал не откладывается в памяти, с тем чтобы его можно было бы извлечь в нужное время. Обычно мы запоминаем не все, что видели или слышали, а то, что надо для дела. Много усилий уделяют психологи изучению человеческого мышления. В обыденной речи мышлением называют самые различные психические явления. Мы говорим: “Я думаю о своем сыне”, “Я думаю о летнем отдыхе”. Но чаще всего это не мысли, а воспоминания, образы воображения, мечты. Мысль — всегда решение какой-либо новой задачи, анализ ее условий, выбор путей, которые могут привести к нужному результату, и их опробование. И в повседневной жизни подлинное мышление — не такое уж частое событие. Большую часть своих поступков мы совершаем не задумываясь, по привычному шаблону.

Попробуйте решить вот такую задачу: из емкости, вмещающей 15 литров воды, надо отлить ровно 3 литра, но вам дали всего две мерки — 8 и 5 литров. Вы без

труда решаете такую задачу: надо вначале взять из емкости 8 литров, а затем из них отлить 5 и останется нужных 3 литра. Решите еще несколько таких задач:

Емкость	Мерки	Надо получить
1. 12 л	6 и 2 л	4 л
2. 16 л	9 и 3 л	6 л
3. 10 л	7 и 4 л	3 л
4. 8 л	4 и 2 л	2 л

Если вы задачи № 3 и 4 решили тем же способом, что и две первые задачи, то вы, действуя привычно, не заметили, что есть более простой способ их решения: № 3 — $10 - 7 = 3$, № 4 — от 8 сразу отнять искомого 2 литра. Это следствие сформировавшейся установки на способ решения аналогичных задач.

Каковы законы движения мысли? Как перед человеком возникает мыслительная задача, каким образом отыскиваются способы ее решения, от чего зависит успешность решения? Все эти и многие другие вопросы служат предметом изучения психологов. Результаты, полученные в психологических исследованиях мышления, не только помогают понять движение человеческой мысли, но имеют важное значение при создании “думающих” машин, воспроизводящих некоторые стороны мыслительной деятельности человека.

В настоящее время одна из центральных проблем — разработка психологии личности, поиск ответа на вопросы о том, что представляет собой личность, чем она определяется: какое значение имеют врожденные биологические особенности человека и какое — социальные условия жизни, в которых складывается личность. Идет интенсивное изучение внутренних побудительных сил поведения, деятельности человека — его потребностей, интересов, убеждений, установок и причин, их определяющих. Для дальнейшего развития нашего общества первостепенное значение имеет ясное понимание того, что такое всесторонне развитая, гармоничная личность, в чем состоит своеобразие способностей человека к разным видам деятельности, каковы условия, ведущие к их развитию и проявлению.

Но главная задача общей психологии — создание теории психики, объединяющей и объясняющей все полученные в иссле-

дованиях факты и закономерности. И первые вопросы, которые возникают при построении такой теории, — вопросы о роли психики в живом мире, о тех функциях, которые она выполняет в эволюции и в жизни каждого организма, о механизмах психического отражения предметов, явлений, закономерностей окружающего мира. Эти вопросы общая психология решает в тесной связи с зоопсихологией и психофизиологией.

В 20-х годах нашего века советский ученый А.Н.Северцев поставил вопрос об эволюционной роли психики. Он пришел к выводу, что приспособление высших животных с их сложной организацией к быстро меняющимся условиям внешней среды было бы невозможно без изменения их поведения, регулируемого психикой. В работах советского психолога А.Н.Леонтьева были показаны необходимость и условия появления и развития психического отражения — от простейшей чувствительности до сложных форм человеческого сознания.

Психическое отражение представляет собой важнейшее звено человеческой деятельности, благодаря которому осуществляется ориентировка в окружающем мире, необходимая для того, чтобы направить практические действия на удовлетворение материальных и духовных потребностей. Человеческая психика в отличие от психики животных имеет общественно-историческую природу: она складывалась и совершенствовалась в ходе развития общества, в результате усвоения каждым новым поколением опыта предшествующих поколений.

В понимании психики большую роль играет изучение ее мозговых механизмов. Так, например, исследование процессов, происходящих в мозгу при воздействии внешних раздражителей, позволило понять, почему каждый новый раздражитель (стимул) выделяется на фоне других, воспринимается ясно и четко. Если при этом регистрировать физиологические реакции человека, то можно проследить, скажем, сужение сосудов руки и расширение сосудов головы, движения глаз и головы в направлении к месту раздражителя, при этом отмечаются также изменения электрофизиологической активности мозга и другие реакции, обеспечивающие наилучшие

условия восприятия данного и последующих раздражителей. Этот комплекс реакций был назван ориентировочной реакцией.

Если стимул повторяется несколько раз, то описанные реакции на него уменьшаются вплоть до полного исчезновения, а сам стимул перестает обращать на себя внимание: либо вовсе не замечается, либо почти сливается с фоном. Были выделены нейроны, которые меняют свою активность по мере повторения стимула. Одни нейроны (их назвали нейронами новизны) вначале отвечают на новый стимул усилением своей активности, но по мере повторения стимула их активность уменьшается, а потом и вовсе исчезает. Другие (нейроны привыкания) при появлении нового стимула тормозят активность, а по мере повторения постепенно восстанавливают ее до прежнего уровня. Команды от этих нейронов поступают в соответствующие центры, выключая один и возбуждая другой. В результате одни реакции прекращаются (например, текущая деятельность), а другие появляются (сужение или расширение сосудов, изменение чувствительности органов чувств и т.д.). При повторении раздражителя нейроны новизны и привыкания меняют свою активность и ориентировочная реакция угасает.

Закономерности возникновения и угасания ориентировочных реакций, установленные психофизиологией, дают возможность объяснить многие факты внимания и восприятия, их учет оказывается необходимым для выявления оптимальных условий функционирования психических процессов.

Все прикладные отрасли психологии, решая свои собственные теоретические и практические задачи, обогащают общую психологию новыми фактами и идеями, на основе которых разрабатывается общая теория — фундамент всех отраслей психологии. У общей психологии, как и у других областей психологического знания, имеется хорошая возможность для своего дальнейшего развития.

Что же дает общая психология любому из нас? Чем вооружает родителей как воспитателей и учителей собственных детей?

Общая психология помогает объяснить различные типичные явления психики,

помогает устанавливать причины психических явлений. Психологические знания о свойствах памяти, ощущениях, представлениях, чувствах, волевых качествах и т.п. позволят современным родителям увидеть индивидуальные особенности своих детей, обнаружить у них зарождение новых, очень важных для будущего качеств, новых чувств, новых черт воли и формирующегося характера. Информированность в вопросах психологии удержит от ошибок в воспитании, проистекающих из упрощенных житейских представлений о психических явлениях. Знание общей психологии крайне важно для самосознания и самовоспитания.

Психология и медицина

Вторая половина XX века характерна ускорением ритма жизни. Невиданные ранее скорости передвижений, поток информации, вызывающий бурные эмоции при невозможности повлиять на ход событий, увеличение числа конфликтов на работе, дома, в службах быта, распространение профессий, требующих постоянного эмоционального напряжения, — все это способствовало быстрому росту сердечно-сосудистых и душевных заболеваний, травм мозга, связанных с техническими авариями. В диагностике и лечении душевных заболеваний психологи приняли участие с момента организации первых клиник для душевнобольных. Но постепенно стала выявляться также существенная роль психологии при сосудистых и онкологических заболеваниях (в том числе при опухолях мозга), при черепно-мозговых травмах и других так называемых соматических болезнях.

Значительная часть сосудистых заболеваний, травм и опухолей приводит к поражению различных участков головного мозга. При этом нарушается нормальное осуществление различных психических функций и для уточнения места поражения мозга и, главное, для восстановления нарушенных психических функций нужен психолог.

При инфарктах, онкологических и других соматических заболеваниях течение болезни и выздоровление больного во многом зависит от реакции больного на заболевание, от его душевного состояния.

Одни впадают в панику, не соответствующую тяжести заболевания, и становятся инвалидами, хотя по своему состоянию могли бы жить почти нормальной жизнью. Другие, напротив, не понимая тяжести своего состояния, ведут неправильный образ жизни, усугубляя свою болезнь. И в том, и в другом случае требуется вмешательство психолога, создающего правильное отношение больного к своему заболеванию, формирующего вместе с врачом хорошее настроение и желание скорейшего выздоровления.

Первые медицинские клиники, в которые пришел психолог (или в которых врачам пришлось заниматься психологией), были клиниками нервных и душевных заболеваний. Если задача врача — поставить диагноз и подобрать лечебные средства, то цель психолога в клинике — выявить нарушения психики больного. Выявляется реакция больного на заболевание, идет поиск компенсации возникающих психических отклонений, врачу даются рекомендации о путях нормализации психических процессов при выздоровлении. Принимает участие психолог также и в психотерапевтическом лечении.

Нарушения психических процессов, приводящие человека в клинику, не всегда видны не только окружающим, но и самому больному (или видны всем, кроме больного). Попадая к врачу, больные обычно жалуются на быструю утомляемость, затруднения в работе, на плохое внимание, память и плохую сообразительность (пациентов с такими жалобами примерно 50% от всех поступивших в клинику, причем большинство жалуется на ухудшение памяти и внимания). Вторая группа жалоб включает изменение характера, повышенную раздражительность, снижение интереса ко всему, подавленное настроение. Встречаются больные, которые жалуются только на бессонницу, головные боли и боли в других органах. Есть и такие, которые ни на что не жалуются, а объективные обследования нередко выявляют значительные расстройства психики этих людей. И при этом оказывается, что часто нарушено не то, на что жалуется больной. Дело в том, что нарушение одной функции (памяти, внимания, мышления) обязательно сказывается на других психических функциях. Еще не так давно психика представлялась набором отдель-

ных способностей — восприятия, памяти, мышления, эмоций и т.д. Сейчас мы уже не можем не рассматривать психику как единое целое, которое проявляется то как работа памяти, то как мыслительная деятельность, то как внимание в зависимости от тех задач, которые в данный момент решает человек. Ведь для запоминания чего-либо необходимо это увидеть или услышать, обратить на это внимание, понять и связать со своим прежним опытом, удивиться или остаться равнодушным, захотеть запомнить, реально запечатлеть и воспроизвести. Поэтому мы различаем память как способность к запечатлению событий и память как реальную человеческую деятельность по сохранению и воспроизведению того, что связано с жизнью человека и необходимо ему. И вот когда больной жалуется на свою память, психолог должен найти звено нарушения памяти и объяснить причину нарушения.

Это может быть первичное расстройство оперативной памяти на текущие события (корсаковский синдром, был описан С.С. Корсаковым при алкогольных отравлениях). При таком нарушении памяти больной не может вспомнить, что с ним только что было, не помнит то, что было вчера, хотя все, что было до заболевания, помнит хорошо.

Больные с корсаковским синдромом не узнают лечащего врача, здороваются с ним по несколько раз в день, не помнят, навещали ли их сегодня родственники.

Но память может быть нарушена и при сохранной способности запечатления и воспроизведения запоминаемого материала. При резко сниженной умственной работоспособности (вследствие каких-то заболеваний) больной жалуется на свою память. Объективное обследование действительно обнаруживает у него нарушения памяти в виде резких колебаний объема запоминаемого. Когда здоровому человеку несколько раз предлагали запомнить по десять слов, с 4—6 раз он уверенно воспроизводил все десять. У больных со сниженной умственной работоспособностью результаты выглядят примерно так: при первом представлении десяти слов они запоминают 5—7, затем — 3—6, затем 2, 6, 3, 1, 5, 0, 1, т.е. если в норме наблюдается увеличение числа запоминаемых слов, то у больных быстро наступа-

ет истощение и результаты ухудшаются, причем особенно резко при опосредованном запоминании. При опосредованном запоминании человек может пользоваться любыми знаками, которые можно соотносить с запоминаемыми словами. Например, испытуемый может нарисовать что-то, отложить карточку на каждое слово и т.д. Обычно такие приемы помогают запоминанию и воспроизведению. Больные же с пониженной работоспособностью ухудшают свои результаты по сравнению с непосредственным запоминанием. Поэтому психолог, заметив значительные колебания в запоминании или подозревая снижение работоспособности, обычно предлагает больному задание на опосредованное запоминание. Значит, при снижении работоспособности мы наблюдаем нарушение памяти, но не как первичный дефект, а как вторичное расстройство памяти при сохранной способности к запечатлению.

Еще одна возможная причина нарушения памяти — аффективное состояние человека. Эмоциональная неустойчивость, появляющаяся вследствие болезни или травмы, приводит к дезорганизации памяти — забываются намерения, выпадают из памяти события, нужная информация, нарушается внимание и как следствие появляется недифференцированное отрывочное запоминание. Такие нарушения памяти наблюдаются и в норме при сильных эмоциональных переживаниях, волнении, страхе (например, во время ответственных экзаменов, при авариях и других стрессовых ситуациях).

Значительные расстройства памяти наблюдаются и при нарушении мотивационной сферы у больного. Каждый по своему опыту знает, что лучше запоминаются события, которые вызвали интерес, были связаны с выполнением действий. Влияние мотивации на запоминание очень хорошо показано в опытах советского психолога Б.В.Зейгарник по воспроизведению незаконченных действий. Испытуемому предлагали выполнять ряд заданий, но половину из них не давали завершить, предлагая другую работу. Чередование задач, которые испытуемому позволяли доводить до конца и незавершенных, было случайным. Сразу после опыта у испытуемого спрашивали, какие задания он выполнял.

В первую очередь и в большем количестве испытуемый называл те задания, которые ему не дали завершить. У больных с нарушенной мотивационной сферой, эмоциональной вялостью, общей пассивностью такой эффект не наблюдается — незавершенные и завершенные задания воспроизводятся одинаково.

При обследовании больных психологу приходится постоянно помнить о том, что некоторые психологические феномены являются не следствием болезни как таковой, а реакцией на ослабление памяти. Так, при значительных расстройствах запоминания в ответах испытуемых появляется множество вымышленных фактов, т.е. провалы памяти заполняются придуманными событиями. Это может выглядеть как нарушение мышления, но фактически это неосознанная попытка больного восполнить дефекты своей памяти.

Таким образом, на примере нарушений памяти видно, что за дефектом той или иной психической функции стоят различные причины, различные нарушения, проявляющиеся в исследуемой функции. И задача психолога заключается в том, чтобы этот первичный дефект вычленил и объяснить, почему и как страдают различные психические функции. Это необходимо сделать и потому, что в ходе лечения следует контролировать динамику изменения состояния больного и восстановления отдельных психических функций — успешность лечения определяется степенью восстановления психических процессов.

Большие и сложные задачи стоят сегодня перед психологами при решении проблем социального устройства людей, перенесших то или иное психическое заболевание. Так, значительная часть больных шизофренией нигде не работает, лишается контактов с другими людьми. Причины подобного положения многочисленны — это и нарушения познавательных психических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления), и разрушения на этой основе профессиональных навыков и знаний, это и нарушение сознания, деградация личности больного, мотивов поведения. Значение таких нарушений зависит от объективных характеристик человека до заболевания (характер работы, уровень образования, семейное положение и пр.). Задача психолога со-

стоит в том, чтобы после всестороннего анализа личности больного и его психических функций предложить ему соответствующую профессию. Часто больные не работают лишь вследствие отрицательного отношения к труду и поощрения такого отношения со стороны семьи. Поэтому, наряду с восстановлением трудовых навыков или обучением новой профессии, требуется большая работа по изменению отношения больных к трудовой деятельности. Известно, что при благоприятном отношении членов семьи к возможности больного трудиться или при необходимости этого (отсутствие других трудоспособных в семье) на работу устраиваются больные даже с нарушенными трудовыми установками.

Роль психолога в области социально-трудовой реабилитации состоит в разработке психологически обоснованных рекомендаций для больных по восстановлению трудоспособности, созданию взаимоотношений в семье больного и в трудовом коллективе, куда он приходит работать.

Большая и важная работа ведется психологами по выявлению и отбору детей с задержками умственного развития для направления их в специальные школы, по разработке методик обучения таких детей, по организации помощи в коррекции их поведения, по их трудоустройству. Имеющиеся данные показывают, что среди неуспевающих учеников значительную часть составляют дети с задержками умственного развития и дети с аномальной психикой. Особенности умственно отсталых детей заключаются не только в нарушении у них познавательных процессов, но и в глубоких нарушениях эмоционально-волевой сферы, приводящих к негативным последствиям в формировании личности. Раннее выявление таких детей и специальная организация их отношений с окружающими, специальные методы их обучения позволяют сгладить последствия дефектов умственного развития. Своеобразие интеллектуальной деятельности умственно отсталых детей заключается в том, что они не всегда правильно понимают инструкции, не учитывают всех условий выполнения действий, не могут спланировать способы их выполнения, нарушают последовательность операций, теряют цель и т.д. Коррекционно-педагогическая рабо-

та с такими детьми позволяет обучать их при условии подбора адекватных методов обучения и особой организации процесса усвоения. Умственно отсталым детям по сравнению с нормальными требуется более детальная ориентировка в предмете с отработкой каждой мелкой операции и введение специальных приемов сокращения и автоматизации операций.

В последние годы во все более широких масштабах проводится психологическая экспертиза (трудовая, судебная, военная).

В области трудовой и судебной экспертизы от психолога требуется психологический анализ нарушения личности больного, его познавательной и эмоционально-волевой сферы, анализ нарушения отдельных психических процессов. Такая информация, предоставляемая психологами, есть одно из важнейших условий выработки правильного заключения о возможностях трудовой деятельности или вменяемости (и, отсюда, ответственности за свое поведение) обследуемого человека.

В последние годы у нас интенсивно развивается новая отрасль науки, находящаяся на стыке психологии и медицины, — психотерапия <...>. Психотерапия, как способ лечения, конечно, должна проводиться врачом. Задача психолога — дать медицине теоретические обоснования для разработки методов психотерапии и совместно с врачом участвовать в профилактике психических нарушений. Причиной многих нарушений психики бывают психические травмы, которые человек получает, когда затрагиваются самые важные для него личностные ценности. Воздействуя словом на больного, врач должен знать причину, вызвавшую заболевание, уметь переключить внимание больного на незатронутые болезнью чувства, противопоставив их патологически зафиксированным переживаниям. Эту работу по выявлению строения сознания больного и содержания его бессознательных переживаний вместе с врачом должен проводить психолог.

Одна из причин, вызывающих душевный дискомфорт, а затем патологическое душевное состояние, — неопределенность в межличностных отношениях, возникающая из-за конфликтов (семейных, производственных и др.). Неопределенность вообще является фактором, вызывающим в про-

стых случаях мобилизацию организма, а в более сложных — тревожность, тяжелые эмоциональные состояния. Неопределенность в этико-моральной сфере человека может приводить к психическим травмам, если не срабатывают механизмы психологической защиты. К сожалению, эти вопросы в психологии пока еще очень слабо разработаны. Поведение человека в ситуации неопределенности исследуется лишь в лабораторных условиях. Но тем не менее уже удалось убедиться в том, что человек, попадая в ситуации неопределенности, старается избавиться от нее пусть даже ценой создания ложных представлений. Так, если испытуемого заставить предсказывать события, которые на самом деле наступают случайно, то человек всегда старается найти какую-то закономерность наступления событий. И несмотря на случайный характер чередования событий, ему кажется, что он находит такие правила или “образ” изменений среды и в своем поведении старается использовать найденную логику.

Каждый на своем опыте знает, как мучительно переносится неопределенность (например, детьми в ожидании отметки на письменных экзаменах).

Проигрывание различных вариантов разрешения неопределенности служит одним из путей психологической защиты. Постепенное уменьшение неопределенности нередко используется в обыденной жизни как средство смягчения психической травмы от неприятных известий. Так, прежде чем сообщить человеку плохие новости, его вынуждают с помощью других сообщений как бы проигрывать в уме возможные неприятные события, ожидать их с большой вероятностью.

Если лечение патологических состояний осуществляет с помощью психотерапии врач, то применение психотерапии как метода профилактики нежелательных состояний требует участия и психолога. Есть виды работ, где из-за особенностей профессии и организации труда возникают факторы, вызывающие неблагоприятные психические состояния. Например, труд на рыболовецких океанических судах почти полгода проходит вдали от родины, от семьи, без выходных, с ночными сменами, в однообразной обстановке, с риском для жизни в случае аварии и т.д.

Эти факторы вызывают чувство тревоги, <...>, нарушение сна, переутомление, снижение интереса, вялость, бурные взрывы чувств в конфликтных ситуациях, трудности во взаимодействии руководителя и подчиненных. Задача психолога — не допустить появления душевного дискомфорта с перерастанием его в болезненные состояния и неврозы. Безусловно, эта работа проводится в тесном контакте с врачом. Но у психолога здесь есть свои специфические задачи, разрешение которых способствует сохранению психического здоровья людей.

Кабинеты психотерапии сейчас успешно работают во многих городах нашей страны. Здесь лечат неврозы, психосоматические заболевания (т.е. заболевания организма, имеющие нервно-психическую основу) — сердечно-сосудистые, гастриты, язвенную болезнь, аллергические поражения кожи, бронхиальную астму.

Большое значение для психологии и медицины имеет новая отрасль медицинской психологии — нейропсихология.

Еще сравнительно недавно — в начале нашего века — мозг представлялся мозаикой центров письма, счета, речи, понимания слов, восприятия музыки, пространства, конструктивных, моторных действий, движений глаз и т.д. Но таких центров набиралось все больше и больше, и коры головного мозга уже не хватало, чтобы все их разместить. К тому же часто случались ошибки при диагнозе: например, у больного явно была нарушена речь, а при операции выяснялось: поражен не центр речи, как предполагалось, а совсем другой участок мозга. То было время, когда высшие психические функции человека понимались принципиально так же, как и простые физиологические отправления. В физиологии тогда господствовали механицизм и атомизм. Целостные физиологические функции еще не рассматривались, но были достаточно изучены простые функции. Так, было известно, что печень выделяет желчь, поджелудочная железа — инсулин, болевое раздражение вызывает ответный рефлекс, раздражение сетчатки светом — ощущение света. Считалось, что чтение, речь, письмо, счет, двигательные, конструктивные действия представляют собой такие же простые функции, и, значит, каждая из них осуществляется своим особым нервным

центром коры головного мозга. Но в конце 20-х годов нашего века советский психолог Л.С. Выготский пришел к убеж

дению, что сложные психические функции человека есть многозвенные действия, включающие несколько отдельных простых актов. В отличие от простых психических функций (ощущения запаха, света, звука) сложные психические процессы (восприятие сюжетных картин, звукового состава речи, сложных грамматических структур, выполнение арифметических счетных операций, произвольное запоминание и т.д.) представляют собой системные действия, достигающие своей цели через ряд простых промежуточных актов.

Значит, чтобы представить организацию сложных психических процессов на уровне мозга и на ее основе разрабатывать методы диагностики локальных (т.е. ограниченных) поражений мозга, требовалось выяснить строение каждой психической функции и выделить все звенья, составляющие сложную систему. Эту работу могли проделать только психологи. Поэтому не был случайным приход психологов в неврологические и нейрохирургические клиники. И хотя работа по созданию теории высших психических функций, по выяснению их взаимосвязей, по их мозговой организации еще далека от завершения, сегодня уже сложилось достаточно четкое представление о строении психических функций, об их локализации в коре головного мозга, а это дает возможность успешно вести диагностическую и лечебную работу с больными. Рассмотрим это на примере двигательных действий. Человеку, чтобы осуществлять те или иные двигательные действия, необходимо воспринимать положение собственных конечностей, суставов, степени сокращения мышц. Такое восприятие достигается с помощью сигналов, идущих от мышц и суставов в определенные центры мозга, и если оно нарушено, то человек не может придать, скажем, руке нужную позу, поддерживать равновесие тела при движении и т.д. Не менее важно правильное восприятие пространства (право — лево, верх — низ, вперед — назад). Ведь любое движение всегда осуществляется в пространстве. При нарушении пространственного восприятия человек не может решить, куда повернуть, возвращаясь, допустим, в свою больничную

палату, — направо или налево; не может правильно застелить постель — располагает одеяло поперек кровати, не может при еде правильно держать ложку.

Сложное двигательное действие (например, письмо) строится из отдельных движений, и чтобы это действие совершалось плавно и непрерывно, необходимо своевременное завершение каждого отдельного движения, которое служит сигналом к началу нового движения. Если этого не происходит, то действие застревает на каком-то одном движении. Больной, начав писать слово, например, с буквы О, повторяет на одном месте круговое движение, не в силах переключиться на следующую букву.

Любое двигательное действие здорового человека предполагает программу и конечную цель этого действия, а также способность контролировать его ход. Если же эта способность нарушена, выполнение действия затрудняется. Больной заменяет сложную программу на более простую или автоматически повторяет какой-то один элемент программы, например, вместо чередования фишек (две черные, две белые) выкладывает подряд фишки одного цвета. Аналогично построены речевая деятельность и умение проводить счетные операции, восприятие, произвольное запоминание. Удалось установить, что сложные психические функции состоят из элементарных и что каждой элементарной соответствует определенный участок коры головного мозга. Например, за восприятие положения конечностей, состояния мышц и суставных сочленений “отвечает” один участок коры (постцентральная область), за пространственное восприятие — другой участок (теменно-затылочные отделы), за своевременность перехода от одного движения к другому — третий участок (премоторная кора), за выработку программ и контроль действия — четвертый участок (отделы лобных долей). Таким образом, сложная психическая функция оказывается размещенной по многим участкам коры головного мозга. И каждый из них, выполняя свою простую задачу, обеспечивает успех сложной функции. Все участки объединены в целостную систему. Она — материальная основа высших психических функций человека. Итак, в человеческом мозге нет отдельных, единичных центров

для каждой сложной психической функции — расположение их мозаично, разбросано по всей коре мозга. Природа нашла в таком способе размещения и строения сложных функций большой резерв экономии массы мозга.

Мозг похож на “конструктор”, из деталей которого можно собрать множество предметов. В различных психических функциях есть общие звенья, общие элементы. А каждый участок коры головного мозга входит не в одну, а в несколько функциональных систем. Если спросить, что общего между пространственными движениями (например, приданием рукам определенного положения в пространстве), арифметическими счетными операциями, восприятием географических карт, часов, пониманием логико-грамматических структур речи, письмом, то ответить будет трудно — на первый взгляд общего-то ничего нет. Но при патологии теменно-затылочных отделов мы видим нарушение всех перечисленных процессов, и причина этих нарушений в том, что во все эти процессы входит одно общее для всех них звено — пространственное восприятие и представление. Больной с таким поражением мозга не может правильно воспроизвести заданное положение рук в пространстве и сказать, глядя на часы без цифр, который час, не может писать и списывать буквы, воспроизвести по памяти карту (помещает Москву за Уралом, Волгу западнее Дона). Он делает ошибки в элементарных арифметических примерах: так, больной, вычитая из тридцати одного семь, получает либо двадцать два, либо двадцать четыре и не знает, какой ответ правильный (он от тридцати отнимает семь, а затем не знает, что делать с оставшейся единицей). Больной испытывает большие трудности при понимании речи с логическими отношениями (фразы “брат отца” и “отец брата”, “что после лета” и “перед летом”, “какое число перед десятью”, “под столом” и “над столом”). Описанный способ локализации высших психических функций приводит к тому, что функция нарушается при поражении различных отделов мозга, но каждый раз она будет нарушаться по-разному в соответствии со специализацией нарушенного участка мозга, т.е. из нее каждый раз станет выпадать то звено, чья работа обеспечивалась пораженным нервным

центром. Рассмотрим это на примере нарушения речевой деятельности.

Чтобы правильно понимать речь и самому говорить правильно, необходимо уметь анализировать звуковой состав речи. Если такая способность нарушена — а это случается при значительных поражениях височных отделов мозга, — то больной воспринимает речь как жужжание воды или шум листьев. При меньших поражениях аппарата речевого слуха речь на родном языке воспринимается как чужая, а при повторениях слов, в письме и в собственной речи допускаются ошибки в виде замены звуков, похожих по звучанию (б—п, д—т, с—з и т.д.). Сочетание слогов ба—па воспринимается как папа либо как баба. Вместо слова “комната” больной под диктовку пишет “гонмада”. Речь такого больного бессвязна, на слух она как набор слов с нарушенным звучанием или близких по звучанию (слово “колос” больной произносит как “холст”, “корос”). При поражении теменно-затылочных отделов коры возникают нарушения понимания логико-грамматических отношений между словами. Больной без труда понимает фразу “отец и мать ушли в кино и дома остались старая няня и дети”, но не может понять выражение “на ветке дерева гнездо птицы”. Для него звучат одинаково слова “солнце освещается землей” и “земля освещается солнцем”, “брат отца” и “отец брата”.

Правильное произношение нужных звуков достигается за счет определенного положения губ и языка говорящего. Если поражаются нижние отделы постцентральной зоны коры, то нормальный образ положения губ и языка не формируется или сильно искажается. В результате из-за невозможности найти нужное положение языка и губ речь больного расстраивается. В более простых случаях больной путает близкие по произношению (артикуляции) звуки (д, т, н—л, б, п—м) и вместо слова “халат” со слуха пишет “ханат”, “хадат”, вместо слова “стол” — “стот”, “снот”, “слол”, “слон”.

При поражении нижних отделов премоторной коры нарушается способность плавных слитных переходов от одного звука к другому, от одного слова к следующему. Больной как бы застревает на одном слове или слоге и вместо слова

“муха” повторяет “муму... му... му”, а при письме под диктовку пишет “нос—нос”, “зуб—зос”, “сон—вос—сос”. Наконец, для нормальной речи необходимо правильное построение фразы, выстраивание слов в предложение и плавный переход от одного слова к другому. При поражении нижних заднелобных отделов коры возникают трудности самостоятельного построения фразы вплоть до полной невозможности рассказать о чем-то. Больной в состоянии повторить фразу, употребить привычные речевые обороты (назвать дни недели, ряд чисел), но не может рассказать что-либо на заданную тему.

Таким образом, речь оказывается нарушенной при поражении очень многих участков коры головного мозга, но каждый раз эти расстройства бывают разными. Задача психолога в том, чтобы при нарушении речи (или другой функции) найти то звено, которое разладилось, указав место поражения мозга.

В последние годы диагностическая работа психолога в клинике постепенно уступает место восстановительной работе. Если в постановке диагноза нейрохирургу помогают и невропатологи, и патофизиологи, и различного рода методики, в том числе с применением ЭВМ, то реабилитационная работа по восстановлению нарушенных психических функций и возвращению больного к нормальной жизни и работе немыслима без участия психолога. Ведь чтобы восстановить поврежденную болезнью психическую функцию, надо знать ее строение, знать, чем и как можно заменить пораженный участок мозга. Разрушенные нервные клетки не восстанавливаются, и реабилитационная работа фактически заключается в построении психической функции на другой мозговой основе. Вот пример восстановления способности читать у больного с поражением затылочной области.

В результате ранения в голову больной перестал узнавать буквы, хотя продолжал хорошо воспринимать их зрительно (в более легких случаях больные путают буквы, похожие по написанию, “и” и “н”, “з” и “е”). Однако моторные образы у букв у него сохранились (мог самостоятельно писать) и, обводя пальцем букву, он легко узнавал ее. Под руководством профессора А.Р. Лурия началась

работа по обучению чтению с помощью руки. Вначале больной обводил контуры буквы, затем только воспроизводил пальцем ее контуры в воздухе, на следующем этапе рука пряталась в карман и палец там рисовал букву. Постепенно пациент научился довольно свободно читать с помощью руки. И хотя внешне его чтение было похоже на обычное, как у всех, можно было легко убедиться в том, что это не так. Достаточно было крепко сжать пальцы больного так, чтоб он не мог ими шевелить, и он терял способность читать: разрушалась вновь сформированная система, включающая движение руки как необходимое звено. Такой метод восстановления утраченной функции основывался на положениях Л.С.Выготского и А.Н.Леонтьева о прижизненном построении высших психических функций и соответствующих функциональных мозговых систем.

В последние годы под руководством профессора Л.С. Цветковой ведутся успешные работы и по восстановлению нарушенной речевой деятельности. Поскольку, как мы видели, речевая деятельность нарушается по-разному при различных поражениях мозга, то и методы восстановления речи каждый раз должны подбираться соответственно психологической природе дефекта. Так, при нарушенной способности зрительно узнавать буквы можно воспользоваться сохранностью двигательных образов букв и построить на основе движений новую функциональную систему. При нарушении регуляции положения языка и губ применяется “озвученное чтение”: больному предъявляют изображение предмета или сюжетной картинке и называют предмет или описывают содержание картинке — так делается попытка восстановить нарушенную функцию через нормальные сохранившиеся воспринимающие системы (зрение и слух), которые осуществляют опосредованно нарушенный контроль за произносимыми словами.

Для восстановления нарушенной способности переходить от одного слога или слова к следующему, строить фразы (конструкции предложения) используется метод внешнего развертывания слов и предложений с опорой на серию фишек или карточек. <...>

[Психологическая жизнь коллектива]

Человек — общественное существо. В этом его отличие от других живых существ. Это значит, что главное место в его жизни занимает решение не биологических задач (питание, защита от неблагоприятных условий среды, поддержание вида), а социальных, общественных задач (производство, воспитание и обучение, наука и культура и пр.). Это значит, что в его психике главное место занимают не природные образования, а свойства, приобретенные при жизни в обществе. Эти новые свойства есть не что иное, как присвоенный человеком исторический опыт человечества. <...>

Вне общества человек не может жить. Ребенок, лишенный в раннем возрасте контактов с людьми, вырастает разве что в человекообразное существо. Известно, что слепоглухие от рождения (или потерявшие зрение и слух в первые годы жизни) нормально растут, но психика их остается полностью неразвитой. Проходят годы, но в психике и в поведении таких детей не вырабатывается ничего или очень мало человеческого. Только специальными приемами, включающими ребенка в совместную со взрослыми деятельность, можно присоединить таких детей к обществу, сформировать у них полноценную человеческую психику.

Без контактов со взрослыми ребенок не становится человеком. Даже в нормальной, по общему мнению, семье ребенок, лишенный настоящих, богатых контактов, развивается неполноценно. Ребенок — “локатор, настроенный на тысячи источников” информации, “раздражителей”. Окружающие его взрослые что-то приемлют, а что-то осуждают в тех, кто живет и работает с ними рядом, терпимы или нетерпимы к слабостям других, быстро и искренне откликаются на их горе или проявляют нравственную глухоту, приходят на помощь или отходят в сторону — совокупность всех этих и многих других качеств и составляет живой портрет взрослого, зеркально отражаемый в портрете ребенка. Закон зеркальности — неумолимый закон воспитания. <...>

Всей живой природе свойственно тяготение к группе, к объединению. Чаще всего объединения связаны с продолжением рода. Но нередки сообщества животных, направленные в основном на совместную добычу пищи, защиту от врагов, неблагоприятных условий внешней среды и т.д. Для людей объединение в сообщество является необходимым условием: почти все их потребности удовлетворяются посредством коллективной трудовой деятельности общества; формирование сознания людей также происходит только в обществе. Производя предметы потребления, люди вступают друг с другом в определенные отношения, координируют усилия, обмениваются результатами труда. Ребенок не сможет принять участие в жизни общества, не научившись общаться с другими людьми и не усвоив форм и приемов человеческих взаимоотношений.

Поведение человека всегда вариативно, отличается даже в похожих ситуациях, и при сравнении поведения отдельных людей может возникнуть вопрос: а существует ли вообще сходство в поведении?

Вот взять, скажем, крайнюю форму отрицательных поступков ребят — правонарушения. Зачастую у похожих поступков разные мотивы. Один украл ружье, чтобы иметь престижную в глазах товарищей вещь, другой — чтобы защитить себя от грубости отца-алкоголика, один угнал чужой автомобиль ради “шикарной” поездки в лес, другой — чтобы показать друзьям, что он не трус. Исследователи пытаются заглядывать глубже кажущихся различий или подобий в поступках. Социальная психология рассматривает людей как членов, участников различных групп.

Живя в обществе, человек принадлежит одновременно стране, нации, классу, партии, трудовому коллективу, семье, дружеской компании и пр. Эти объединения различны и по причинам, их породившим, и по сложности отношений внутри них, и по степени и форме зависимости человека от них. Но во всех случаях человек, являясь членом одной или нескольких групп, не может вести себя без учета норм поведения данной группы. Каждый из нас действует с учетом мнения других о наших поступках, особенно мнения тех социальных групп, к которым мы принадлежим. Эта ориентация на общественное

мнение проявляется по-разному. Либо непосредственно в нашем поведении, когда мы действуем так, как того требует и ждет от нас группа, что не всегда соответствует нашим желаниям; либо в эмоциональных переживаниях, когда мы поступаем не так, как того хотят окружающие, отступаем от правил и переживаем это отклонение от “нормы”; либо в мысленных поисках — прежде всего для самих себя — аргументов, оправдывающих наше поведение, если оно отличается от принятого в обществе.

Общественное мнение во все времена было реальной силой. Его призывали на помощь, старались обмануть, боялись. Эта зависимость от общественного мнения великолепно выражена в известных словах Фамусова: “Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!” или в другом не менее популярном замечании о том, что “...злые языки страшнее пистолета”. Как могут влиять мнения группы на поведение ее членов, показывают наблюдения исследователей в различных коллективах.

При опросе учащихся одной из школ было выявлено: ребята осуждают списывание контрольных работ. Но если младшие (1—4-й классы) осуждают и тех, кто списывает и тех, кто дает списывать, то в 7—8-х классах ребята осуждают списывание вообще, но считают, что еще хуже не помочь товарищу на контрольной. Если тот, кто сделал контрольную, откажет в помощи тому, кто не сделал и обратился к нему, его все осудят. Для школьников старших классов мнение сверстников часто сильнее учительского. Действовать в согласии с мнением своих товарищей по классу нередко важнее, чем в согласии со своим внутренним “Я”. Статистика правонарушений говорит, что почти пятая часть подростков, совершивших преступление, сделала это, стремясь доказать свою взрослость и получить одобрение своей группы.

Необходимо помнить, что под влиянием группы человек изменяет не только свое поведение и свои сознательные оценки. Качественно меняются и другие свойства — характеристики отдельных психических процессов: пороги восприятия, объем памяти, продуктивность мышления и пр. Интересные результаты были получены психологами при исследовании изменений болевой чувствительности человека в ин-

дивидуальных и групповых опытах. Вначале у каждого школьника (12—14 лет) определяли порог болевой чувствительности к электрическому току. Экспериментатор постепенно увеличивал силу тока до тех пор, пока подросток условным сигналом не сообщал, что он больше не может переносить боль. Предельная величина переносимой силы тока у разных ребят оказывалась разной. Затем объединили в пары школьников с близкими порогами болевой чувствительности и повторили опыт. В этих условиях все участники опытов переносили силу тока в среднем на 13% большую, чем в первом опыте. В третьей серии опытов каждый подросток выбирал себе партнера для парных испытаний самостоятельно. И пороги болевой чувствительности увеличились еще больше — в среднем на 37%. О чем говорят эти опыты? О том, что даже то, как преодолевают подростки боль, зависит от группового влияния, а не просто от их силы воли.

Влияние группового мнения выявляется, например, при зрительной оценке длины линий. Испытуемому школьнику предъявлялась на карточке эталонная линия, а затем его просили найти равную ей на другой карточке, где были изображены три линии разной длины. Если опыт проводился с каждым учеником отдельно, то ученик решал задачу правильно. Но вот экспериментатор подговаривал нескольких ребят давать неправильные ответы, т.е. формировал группу из 7—8 человек, которая давала заведомо неверные ответы в присутствии наивного испытуемого, отвечавшего последним и не знающего о сговоре всех остальных участников опыта. Из 123 таких испытуемых 37%, следуя мнению группы, дали неверные ответы. А остальные хотя и дали правильный ответ, но волновались, считая, что он может быть ошибочным. В этом опыте показана роль группового давления и механизм подчинения ему, проиллюстрировано участие группы в выработке установок у своих членов. <...>

Если в семье у родителей и в среде взрослых родственников выработаны единые подходы и мнения к различным духовным ценностям и об этом говорится вслух постоянно и доказательно, то и дети принимают позиции родных, которые переходят позднее в их установки.

Единые требования семьи к детям, единые правильные взгляды на жизнь и создают поле “группового давления” со знаком плюс.

Ребенок принес домой чужую вещь, например, игрушку. И все домашние как бы в один голос осуждают его, высказывая суровые и справедливые оценки. Так дается коллективный урок нравственности.

“Выключи эту муру”, — говорит отец сыну, услышав симфоническую музыку по радио. “Ну, опять завели симфонию, переключи на другую программу”, — требует мать в присутствии дочки. Мнение родителей для ребенка, как правило, самое авторитетное. Оно и рождает отношение ребенка к серьезной музыке и, возможно, на всю жизнь, если кто-то, к счастью, не “сломает” эту установку и не сформирует новую. <...>

Психологи давно заметили: если один человек имеет положительную установку по отношению к другому, а другой выражает положительное отношение к какому-то явлению, то у первого человека часто тоже формируется положительное отношение (установка) к этому явлению. Проще говоря, если ребенок любит и уважает отца и мать не только за то, что они его родители, но прежде всего за их общественные и трудовые достижения, то практически все, что говорят или делают родители, формирует у растущего человека положительные установки на различные важные явления жизни: труд, познание, дружбу и т.д. Именно установка положительно оцениваемого коллектива (группы) определяет поведение отдельного человека. Но если человека помещают во враждебную для него группу, то конформного поведения не наблюдается, т.е. человек не подстраивается под мнение враждебной группы, а следует своим собственным оценкам. То же самое происходит и при формировании установок. Если определенные взгляды подавать человеку как исходящие от положительной для него группы, то эти взгляды принимаются, если же их подавать от имени враждебной группы, то они отвергаются.

Установки играют огромную роль в оценке различных событий и явлений. Так, еще до встречи ребенка с каким-то явлением уже обычно существует определенное отношение к нему, сформированное ранее. Это отношение и придает опреде-

ленную окраску психическим переживаниям ребенка. Опыты показали, что в информационном сообщении легче воспринимается и запоминается то, что соответствует собственным установкам. В эксперименте, поставленном американскими учеными, 144 студентам прочитали доклад об экономической программе Рузвельта. В докладе было 50% аргументов за программу и 50% — против. Студенты составляли три группы: группу с положительным отношением к программе, с отрицательным и с нейтральным. Опрос после доклада показал, что доводы “за” запомнили лучше те, кто имел положительную установку к программе; доводы “против” запомнили лучше студенты с отрицательной установкой, а группа с нейтральной установкой одинаково запомнила доводы и “за” и “против”.

В доме курят все взрослые, но детям внушаются мысли о вреде курения, о том, что “сигарета сушит мозг”, что табак способствует раковым заболеваниям и т. д. Дети не могут довериться таким сообщениям — они противоречат их первичным установкам, сформированным наблюдениями за действиями родителей, которые курят с удовольствием. Эта установка и рождает у ребят подход к курению как к удовольствию.

Учителя запрещают мальчикам носить длинные волосы. Но с экранов телевизоров, кино, обложек журналов смотрят на детей молодые люди, почитаемые обществом, — спортсмены, актеры, рабочие, у которых прически современны и соответствуют идеалу школьников. Вот потому-то учащиеся и ищут ту информацию, которая поддержала бы их позицию. Как не вспомнить мудрое изречение Амброза Бирса: “Спрашивать совета — искать одобрения уже принятому решению”.

Наличие установок широко учитывается в массовой пропаганде при определенной интерпретации событий. Об одном и том же событии можно дать информацию разными способами, формируя разное отношение к этому событию. Например, факт прохода войск через болота можно подать так:

1) войска продвинулись на 5 миль;

2) войска застряли после 5-мильного марша.

В первом сообщении подчеркнут факт продвижения вперед — успех войск, во вто-

ром — то, что они застряли и не могут двигаться вперед.

Два сообщения могут вызвать у слушателей различную оценку, разное отношение к событиям или к тем, кто о них сообщал, если первичные установки к событиям уже существуют и прочны.

Наличие установок сильно сказывается на восприятии и оценке другого человека, на приписывании ему определенных мотивов поведения и конкретных намерений. В одном из опытов двум группам школьников показали одну и ту же фотографию. Одной группе сказали, что это опасный преступник, рецидивист, второй — что это крупный ученый. Затем попросили дать словесный портрет человека на фотографии. В первой группе испытуемые говорили, что глубоко посаженные глаза свидетельствуют о злобном характере; во второй — подчеркивали глубину мысли ученого. Противоположные оценки давались в двух группах по всем чертам лица в соответствии с заранее заданным образом преступника или ученого.

Все эти примеры показывают, что поведение человека, его взгляды на мир, оценки в существенных чертах зависят от общества, от коллектива людей, определяются его включенностью в различные социальные группы (класс, партия, трудовой или учебный коллектив). Думается, здесь небезынтересно рассмотреть еще один аспект сферы социальной психологии — деятельность группы.

Что такое социальная группа? Это объединение людей, действующих совместно как единое целое. Психология не может изучать человека абстрактного, т.е. вне реальной его жизни в обществе. С самого начала истории трудовая деятельность людей была коллективной. А современное производство без кооперации попросту невысказано. Труд остается коллективным даже тогда, когда человек работает в одиночку: во-первых, он пользуется опытом предшествующих поколений, а во-вторых, производит вещи (или идеи), которые будут нужны другим людям и учитывают их потребности и вкусы. Эту зависимость людей друг от друга и роль труда в объединении людей превосходно выразил Антуан де Сент-Экзюпери: “Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо нет

ничего в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком”. И далее он предупреждает о возможных последствиях, к которым могут привести людей их неправильно осознанные потребности: “Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пыль, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить”.

Чтобы правильно понять причины того или иного поведения людей и эффективно вести воспитательную работу через различные каналы, успешно руководить производством, требуются знания о жизни реальных коллективов, об их влиянии на становление личности, о правилах формирования самих коллективов, их структуре и особенностях руководства, о специфике взаимоотношений людей в них. <...>

В каждом большом коллективе формируются свои группы из 3—5—7 человек, получившие название неформальных, так как формально, официально такие группы нигде не обозначены и чаще всего об их существовании никто не думал и уж, конечно, никто не принимал их в расчет при управлении работой коллектива. Что такое неформальная группа? Это объединение людей по интересам и ценностям, которые они разделяют. Каждый вновь входящий в коллектив работник полностью адаптируется лишь после вступления в какую-то неформальную группу. Причем каждая из них, как правило, ведет себя в отношении с другими группами или официальным руководством как единое целое, защищая интересы всех в своей группе. Претензии к одному из ее членов вызывают ответную реакцию всех остальных. Группа выступает стабилизатором настроения своих членов, их уверенности в себе, обеспечивает их адаптацию, если изменяются условия. Известно, например, что при миграции в другие края или страны быстрее адаптируются те, кто переезжал группой. При опросе сотрудников одного предприятия выяснилось, что из 265 человек, имеющих на предприятии друзей (т.е. состоящих членами неформальных групп), 78% выражают удовлетворенность своей работой и 63% отмечают, что у них обычно хорошее настроение. Из 99 человек, не имеющих на предприятии друзей, хоро-

шее настроение обычно наблюдается только у 45% опрошенных.

Мнение группы для ее членов является очень значимым. Для некоторых людей оно значит гораздо больше, чем поощрение или наказание со стороны официальных руководителей. Человек, потерявший свое место в группе, как правило, старается уйти из этого коллектива или переходит в другую, если коллектив большой и насчитывает несколько неформальных групп. В небольших коллективах формирование неформальной группы должно быть заботой официального руководителя. Если личные отношения сотрудников не формируются на основе общих норм поведения, то такой коллектив, как правило, менее работоспособен. Рано или поздно в таких коллективах возникают конфликты, которые оттесняют деловые вопросы на второй план. Поэтому для небольших коллективов реальной проблемой является подбор людей на совместимость, на способность организовать единую, сплоченную группу.

В каждой производственной группе выделяются лица, которые берут на себя большие обязанности, чем этого требует их служебное положение. Такого человека остальные члены группы признают ее лидером, неформальным руководителем. Он выступает как источник значимой информации и консультант по многим производственным и непроизводственным вопросам, регулирует отношения в группе, представляет ее вовне, а поведение лидера служит образцом групповых норм и ценностей.

Каждый из членов группы занимает в ней свое определенное место. Одни пользуются большим авторитетом, другие меньшим. С развитием группы могут происходить изменения в положении отдельных ее членов и реже смена лидера.

Руководителям больших коллективов необходимо учитывать наличие неформальных групп и их лидеров. <...>

Иногда в группах выделяются два лидера: к мнению одного прибегают, решая деловые вопросы, другой пользуется высоким авторитетом в организации общения. С учетом их различных качеств и обстоятельств жизни группы за каждым из них закрепляется свое место в групповой иерархии.

В небольших коллективах, составляющих по численности одну неформальную группу, особенно важно обеспечивать добрые отношения между официальным руководителем (бригадир, мастер) и неформальным лидером. Иногда рекомендуется во главе таких маленьких групп ставить неформальных лидеров. <...>

Особенности отношений между членами группы и самими группами, между руководителем и лидером, между руководителем и подчиненными образуют то, что называется психологическим климатом в коллективе. Этот климат в значительной мере определяет состояние работающих или обучающихся в данном коллективе: их удовлетворенность работой, желание трудиться с полной отдачей, хорошее настроение. Поэтому поддержание благоприятного психологического климата в коллективе является одной из главных задач руководителя. Ведь духовно-нравственная атмосфера коллектива во многом определяет решение производственных вопросов. Известно, что передовые бригады и лучшие спортивные команды отличаются хорошим психологическим климатом. Все это говорит о том, что необходимо учитывать при подборе кадров психологическую совместимость людей, т.е. совместимость установок, интересов, ценностей, норм поведения, привычек и личностных качеств.

Задачей каждого руководителя должно быть создание в коллективе нравственной и деловой атмосферы, достижение взаимопонимания в производственных вопросах. <...>

Крайне важен стиль руководства в создании психологического климата в производственных группах. Уже в первых социально-психологических работах были условно выделены три разных типа руководства: авторитарный (директивный), демократический и анархический (попустительский). В книге Г. Гибша и М. Форверга описаны три разных стиля руководства бригадами.

При авторитарном руководстве бригадир все решения принимает сам. Возражения и советы бригады отвергаются. Любое нарушение намеченного порядка порицается, даже если рабочие не виноваты. Руководитель держится в стороне от рабочих. При демократическом стиле многие воп-

росы по работе бригадир решает с учетом мнения рабочих, постоянно находится вместе с бригадой, следит, чтобы загруженность каждого была равномерной. Обращение с рабочими спокойное, доброжелательное. При анархическом (попустительском) стиле руководства бригадир пускает дело на самотек. Он редко бывает с бригадой, в ее жизнь не вмешивается, и задания она часто получает не от него, рабочие сами распределяют их.

Эти три бригады отличались и по производственным успехам, и по психологическому климату. По объему выполненной работы первое место занимала бригада, руководимая авторитарно (из девяти раз она шесть была на первом и трижды на втором месте). Бригада, руководимая демократически, дважды была первой и четыре раза занимала второе место. Однако по психологическому климату выделялась демократически руководимая бригада. Она была более сплоченной. За один и тот же период из нее уволился один человек, а из авторитарной ушли пятеро. Анархически руководимая бригада имела наихудшие показатели в работе и наименьшую групповую сплоченность. Итак, в конечном счете по совокупности показателей наилучшей оказалась бригада с демократическим стилем руководства. Авторитарный же стиль приемлем и дает хорошие показатели лишь на короткое время, когда надо быстро решить какую-то задачу. Длительного же авторитарного руководства группа не выдерживает (много производственных травм, увольнений). Анархический стиль оказывается негодным во всех ситуациях — и по результатам работы, и по психологическому климату в коллективе. Конечно, в реальной жизни такие “чистые” стили руководства почти не встречаются. Однако как ведущую тенденцию в руководстве их можно выделить для последующей корректировки работы руководителей.

Большое внимание социальная психология уделяет человеческому общению. На неумение устанавливать контакты с другими людьми жалуются многие молодые специалисты, работающие на производстве, где по роду выполняемых обязанностей им необходимо постоянно вступать в контакты с коллегами, рабочими, руководством предприятия. <...> Уже выяснены суще-

ственные факторы, влияющие на взаимоотношения людей <...>. Верное понимание обращенной к человеку речи достигается только при правильном понимании ситуации, по поводу которой речь произносится. Например, фраза жены “Я купила сегодня тебе сапоги” может означать:

1) надень их и иди погуляй с собакой, это теперь твоя обязанность и незачем ссылаться на плохую погоду;

2) все готово к отъезду на дачу. Я успела купить сапоги;

3) хотя тебе сапоги не нравились, я их тебе купила и ты будешь их носить;

4) наконец я купила сапоги, какие мне хотелось.

Не зная контекста, человек, конечно, получает новую информацию: сообщение о покупке сапог. Но насколько она беднее той, которая фактически содержится в словах говорящего!

Большое значение имеют внеречевые средства передачи информации — поза, жест, мимика, пространственное расположение партнера и т.д. В разных национальных культурах значения этих средств могут не совпадать, и человек, не знающий традиций данной культуры и поступающий в соответствии со своим прошлым опытом, может попасть в неловкое положение, неправильно интерпретировать события. Например, в Китае о печальных событиях принято говорить с улыбкой, чтобы не огорчать собеседника, траурный цвет там белый, а не черный, как в Европе. В отличие от европейцев у народов Востока нет обычая пожимать руку. Для европейцев нормальное расстояние между говорящими около 70 см, для жителей Среднего Востока и Южной Америки это слишком далеко. Мексиканец при разговоре постарается подойти к европейцу поближе, для того же особенно с непривычки будет естественно отступать, поддерживая “естественную” дистанцию, при этом он будет чувствовать себя неловко: ведь ему непонятно, как трактовать поведение партнера!

Большие надежды возлагают на социальную психологию службы массовой информации.

Повышение эффективности пропаганды, выявление социально-психологических причин правонарушений, разработка мероприятий по исправлению правонарушите-

лей, обеспечение устойчивости семьи и многие другие вопросы не могут быть успешно решены сегодня без участия специалистов по социальной психологии.

Психология и школа

В одном из своих писем студентам педагогического института замечательный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: “Что самое главное, самое важное в педагогическом труде? Самое главное, дорогие друзья, — это видеть в своем ученике живого человека. Умственный труд ребенка, его успехи и неудачи в учении — это его духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может привести к печальным результатам”.

Плох тот учитель, который видит в учениках только “существо”, усваивающее какой-то пункт программы. Такой учитель не замечает главного — воспитательного эффекта своего поведения. А воспитание в школе идет, если можно так выразиться, всем ходом событий — тоном разговора учителя, его манерой держаться, его оценками, отношением к разным ученикам. Воспитывают и поведение товарищей по классу, и способы, уровень проведения мероприятий — вся атмосфера школьной жизни.

Для подлинного решения многих вопросов воспитания учителю необходимо полное знание о ребенке, о законах его умственного развития, формирования его как личности, знания возрастных особенностей его психики. Учитывая это, все крупные педагоги так или иначе занимались изучением психологии детей. Наиболее отчетливо потребность в знании детской психологии выразил известный советский ученый П.П.Блонский теоретически и практически, когда... ушел из педагогики в психологию, “чтобы не потерять окончательно педагогики”. Анализ процесса обучения и воспитания в школе показывает, что существует много проблем, решение которых невозможно без привлечения данных психологии, без работы в школе специалиста-психолога.

Кто из учителей не убеждался: чтобы управлять процессом обучения, мало знать подлежащий усвоению материал, методику организации обучения, надо знать “объект”, на который направлено обуче-

ние — ученика, уметь определить его возможности, его состояние, обучаемость, мотивы.

Много вопросов к психологу возникает и при построении учебных программ, при анализе неуспеваемости, организации помощи отстающим. Еще раз сошлемся на авторитет В.А.Сухомлинского.

“...Нельзя требовать от ребенка невозможного. Любая программа по любому предмету — это определенный уровень, круг знаний, но не живой ребенок. К этому уровню, к этому кругу знаний разные дети идут по-разному. Один ребенок уже в первом классе может совершенно самостоятельно прочитать задачу и решить ее, другой же сделает это в конце второго, а то и третьего года обучения... Искусство и мастерство обучения и воспитания заключаются в том, чтобы раскрыть силы и возможности каждого ребенка, дать ему радость успеха в умственном труде”.

Процесс воспитания очень сложен. Чтобы получить нужный эффект, необходимо строить особые отношения учитель—ученик. Надо уметь понимать мотивы поведения ребенка, уметь снимать негативное отношение к учебе, к учителям, учитывать возрастные, индивидуальные особенности учеников, воспитательные последствия любых действий учителя и массовых мероприятий.

Необходимо также разрабатывать психологию учительского труда, которая помогла бы педагогу совершенствовать свое мастерство. Ведь он, как и ученики, живет в обществе, помимо работы у него есть свои интересы, свои заботы и проблемы, радости и огорчения. Он, как и все, подвержен настроениям. Но плохо, если педагог в школе дает волю своему настроению, не скрывает своих симпатий и антипатий к ученикам, не замечает воспитательных последствий своих поступков. Стиль поведения учителя в школе никак не может быть нейтральным, личным делом учителя или расцениваться только со стороны этики поведения. Ведь чуть ли не каждое его действие имеет огромное воспитательное значение и может приводить к серьезным последствиям в формировании личности ребенка. Профессия учителя в чем-то сродни профессии актера — и тот и другой не могут демонстрировать на работе свое настроение, свое

отношение к событиям. Случается, что собственный душевный дискомфорт учителя оборачивается его обособленностью. Он замыкается в своих переживаниях, бедах. И вот уж не способен остро и чутко воспринимать “душевные токи”, идущие от детей, не может отозваться на радость, на боль ребенка. Это значит, что наступает душевная глухота и слепота, по сути, профессиональная дисквалификация.

Давно назрел вопрос о создании психологии учительского труда. Подготовка учителя, помимо обучения предмету, который он станет преподавать, обучения педагогике и основам детской психологии, должна включать такие разделы науки, как психология отношений, психология коллективов, личности, а также специальные практикумы по саморегуляции поведения.

Одна из задач работы психолога, занимающегося современной школой, — анализ процессов обучения и поиск путей их оптимизации. Перед психологом встают такие проблемы, как:

1. Обеспечить условия развивающего обучения, чтобы оно не сводилось просто к усвоению учениками новых знаний и навыков, а совершенствовало их психические способности.

2. Сформировать у школьников потребность в обучении, познавательные интересы.

3. Привести обучение в соответствие с возрастными особенностями детской психики.

Эти проблемы порождают множество вопросов по составлению программ обучения, отбору учебных дисциплин, организации школьного обучения, выбору критериев оценки психического развития и обученности и т. д.

Главные черты человеческого характера видны уже в раннем детстве. Об этом не раз писали классики педагогики. А.С.Макаренко утверждал, что основное воспитание человека заканчивается к пяти годам. Я.Корчак высказывал те же мысли. В.А.ухомлинский горячо призывал быть внимательным к личности ребенка с самого раннего возраста.

Нельзя уповать на природу ребенка, надеяться на то, что он сам по себе вырастет хорошим во всех отношениях. Педагоги и родители, формируя детский характер, должны учитывать все его слож-

ности, изменения. “Воспитание может сделать все, — писал Марк Твен, который был не только большим писателем, но и глубоким знатоком детской психологии. — Ему доступен любой взлет и любые падения. Безнравственное оно может превратиться в нравственное, а нравственное объявить безнравственным, оно может ангелов низводить до простых смертных и простых смертных возводить в ангелы. И любое из этих чудес оно может сотворить за какой-нибудь год, даже полгода”.

Работы психологов за последние два десятилетия выявили новые возрастные возможности детей. Это позволило сократить сроки начального обучения с 4 до 3 лет и существенно изменить учебные программы.

Советская психология выделяет шесть периодов психического развития ребенка: младенческий — до года, раннее детство — от года до 3 лет, дошкольный — от 3 до 7 лет, младший школьный — от 7 до 11—12 лет, подростковый — от 11—12 до 14—15 лет и ранний юношеский — до 17—18 лет. Каждому возрастному периоду присущи свои особенности психики, свои виды деятельности, свои потребности, особая восприимчивость (сензитивность) к различным воздействиям и условиям жизни.

Для младенчества самая характерная черта — развитие непосредственно эмоционального общения ребенка со взрослым (обычно с матерью) и первичное, также с помощью взрослого, познание мира. В раннем детстве развивается предметная деятельность ребенка — он постоянно действует с предметами, стараясь овладеть способами обращения с ними, осваивает простейшие навыки самообслуживания, начальные формы общественного поведения. В дошкольном возрасте решающее значение для психического развития ребенка приобретает ролевая игра. В ней идет ознакомление с такими видами деятельности взрослых, которые в своей реальной сложности ребенку недоступны (игра в школу, в больницу и т.д.). Но самое существенное, что возникает в игре, — это реальные отношения детей в коллективе, “подлинная социальная практика ребенка” (Д.Б.Эльконин). Возникает первый жизненный опыт отношений между людьми (сотрудничество, помощь, конфликты).

Игра — средство активного познания окружающего мира, его освоения.

На первых возрастных этапах физическое и психическое развитие особенно тесно переплетаются, оказывая друг на друга положительное или отрицательное воздействие. Так, ограничение (вследствие заболеваний) физической активности в раннем детстве приводит к обеднению деятельности и задержкам в развитии психическом. Наоборот, повышенная физическая активность ребенка в этом возрасте способствует более раннему психическому развитию и создает предпосылки для новых видов деятельности ребенка, развития его двигательной активности. Поэтому забота о физическом здоровье ребенка в младшем возрасте — это и забота о его нормальном психическом развитии.

При переходе от дошкольного к школьному детству происходят серьезные изменения в психологическом облике ребенка. Учение — новый для него вид деятельности, пользующийся вниманием и уважением со стороны окружающих, приобщающий ребенка к “взрослому” миру. Ребенок занимает новое положение — положение школьника, имеющее общественную значимость и предусматривающее определенный круг прав и обязанностей. Это меняет его жизненную позицию, его отношение к действительности, к другим людям, к самому себе, способствует возникновению осознанных мотивов учения. Уже на ступени младшего школьного возраста возможно формирование “теоретического” отношения к изучаемым предметам, выражающегося в осознанном стремлении разобраться в логике научного знания, способах его добытия, желании совершенствоваться, приобретаемая новые знания и умения.

Однако все эти изменения происходят не автоматически. В огромной мере они зависят от того, как построен сам процесс школьного обучения. Обучение в школе всегда идет вслед за развитием науки, чаще всего новые разделы просто добавляются к школьной программе. Пока наука развивалась не очень быстрыми темпами, этот путь обогащения учебных программ устраивал школу. С ускорением же темпов развития науки все прибавляющиеся знания создают что-то вроде абсурдной ситуации для обучающихся — не хватает жизни, чтобы все выучить в одной лишь отрасли знаний! Поэтому воз-

никает проблема отбора материала, выбора целей обучения.

В середине прошлого века ученый-химик, например, мог за два-три часа просмотреть все рефераты в своей области науки, опубликованные в течение года. В наше время химику пришлось бы тратить на чтение таких рефератов значительно больше времени. Практически у научного работника, который захотел бы читать все новинки только по своей отрасли, не осталось бы времени для собственных исследований.

Выход из создавшегося тупика один — изменение целей обучения. Основной целью современной школы должна стать выработка у детей умения давать научную оценку мира. Ребята должны научиться ориентироваться в физике, химии, математике и т. д., усвоив понятия, лежащие в основе большинства явлений, изучаемых данной наукой.

Однако до сих пор по большинству разделов школьных дисциплин обучают не умению ориентироваться в предмете, а в основном умению запоминать, конкретным знаниям и навыкам решения отдельных типов задач. Даже в математике задачи даются, во-первых, только решаемые; во-вторых, только с полным набором необходимых для решения условий; в-третьих, без лишних данных в отличие от реальных жизненных и научных задач, где попадают и нерешаемые задачи, и с неполными условиями, и с избыточными для решения сведениями. Это приводит к узости в усвоении материала. Узость проявляется при малейшем изменении условий решаемой задачи. <...>

В обучении, ориентированном только на приобретение знаний и закрепление навыков, никогда не формируется ни познавательная мотивация, ни умение ориентироваться в предмете. Поэтому получаемая сумма знаний лежит в голове ученика “мертвым грузом”. Такое обучение не становится развивающим, не ведет за собой психического развития и не формирует потребности в обучении. Занятия в школе переживаются как скучная необходимость.

Еще в начале 30-х годов выдающийся психолог Л.С.Выготский выдвинул и обосновал точку зрения, согласно которой обучение должно идти впереди психического развития ребенка, “вести его за собой”. Это

значит, что обучение призвано не только опираться на достигнутый детьми уровень развития мышления, внимания, памяти и других психических процессов, но и активно строить новые способы ориентировки в действительности, новые уровни познавательной деятельности. В дальнейшем это положение Л.С.Выготского было развито и конкретизировано его учениками и последователями. Советские психологи П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Н.Ф.Талызина и другие выяснили конкретные закономерности связи обучения и умственного развития детей и на этой основе разработали принципы новых программ и методы обучения ряду учебных предметов.

Было установлено, что к подлинному развитию ведет только такое обучение, которое формирует у ребенка умение анализировать изучаемый материал, ориентироваться в нем, выделять главное, существенное. В каждой науке и соответственно в каждом учебном предмете отражено определенное предметное содержание, определенная сторона действительности. Структура каждого такого предмета должна базироваться на исходных, фундаментальных отношениях, без выяснения которых усвоение знаний превращается в слепое заучивание формулировок, правил, способов решения задач. На выявление таких фундаментальных отношений и должны быть в первую очередь направлены действия учащегося. При этом первоначально и сам материал, и действия по его усвоению должны быть представлены во внешней, максимально развернутой форме, т.е. в форме реальных действий с реальными предметами и их изображениями, схемами, чертежами. Только впоследствии в результате ряда превращений такие действия могут стать внутренними, т.е. выполняться “в уме”, без опоры на реальные предметы.

Попробуем проиллюстрировать это несколькими примерами. Исходя из приведенных выше общих положений, Д.Б.Эльконин разработал новую программу обучения чтению в начальной школе. Она строится на выделении и усвоении детьми главного компонента соотношения графического (письменного) и звукового (произносимого или слышимого) образа слова, соотношения звуков в слове с отображающим

его отношением букв. Чтобы читать, мало помнить, какой звук обозначает данная буква, надо уметь анализировать звуковой состав слова — выделять звуки и устанавливать их последовательность. Однако именно этому никогда всерьез не учили в школе, считая, что выделение звукового состава слова и определение последовательности звуков — дело чрезвычайно простое и доступное каждому без всякого обучения. Необходимо было найти такие формы и способы обучения, которые открывали бы ребенку звуковую сторону речи, формировали бы умение находить отношения звуков. В качестве подобного действия было избрано составление таблиц звукового состава слова из фишек — цветных квадратиков, каждый из которых обозначает одну букву. В процессе обучения дети получают карточку с изображением предмета и рядом клеток, количество которых соответствует количеству звуков в слове, обозначающем этот предмет. Ребенок должен назвать предмет и заполнить клетки фишками, указывая, какой звук обозначает каждая из них. Постепенно вводятся разные фишки для обозначения звуков разного типа: гласные звуки обозначаются фишками одного цвета, согласные — фишками другого цвета, позднее разными цветами обозначаются также твердые и мягкие согласные. Развернутое действие по анализу звукового состава слова при помощи фишек сменяется анализом, производимым только на слух. И лишь в конечном итоге фишки заменяются буквами. При таком обучении дети не просто приобретают навыки чтения. Оно ведет к значительному сдвигу в общем умственном развитии, к совершенно новому (по сути дела, научному, лингвистическому) осознанию речи и позднее оказывает неоценимую помощь в овладении орфографией.

Другим примером может служить разработанная под руководством П.Я.Гальперина методика обучения письму. Сравнивались три типа обучения. Первый из них был, так сказать, классическим. Ученику давался образец буквы и показывалось ее написание. Он должен был повторить действие и научиться правильно писать букву. Результаты обучения такого типа показали: для правильного написания первой буквы ученику необходимо 174 повторе-

ния, второй — 163 и 20 повторений для двадцатой по счету буквы.

Второй тип обучения был основан на анализе строения букв, выделении опорных точек, определяющих место, в котором линия меняет свое направление. Однако такой анализ производил взрослый, ученику же давались уже размеченные образцы. Он переносил опорные точки с образца на специально разграфленную бумагу, а потом соединял их. При таком способе обучения для правильного написания первой буквы потребовалось 22 пробы, второй — 17 и от 5 до 11 проб для пятнадцатой—двадцатой букв. При третьем типе обучения ребенка учили самостоятельно анализировать буквы, находить опорные точки и затем использовать их (проставлять в образце, наносить на бумагу и соединять). При таком обучении на первую букву затрачивалось 14 повторений, на вторую — 8, а начиная с девятой, все буквы писались правильно с первого раза. Выигрыш от такого способа обучения очевиден: время обучения сокращается в несколько раз, а качество обучения значительно повышается.

Остановимся, наконец, на методике обучения счету, разработанной П.Я.Гальпериним и В.В.Давыдовым.

Традиционное обучение счету, так же как чтению и письму, не основывается на психологическом анализе действия счета и выделении лежащего в его основе отношения вещей. За единицу принимается либо отдельный предмет, либо элемент совокупности, множества. В результате дети хотя и обучаются считать, но выполняют это действие механически и нередко заходят в тупик, сталкиваясь с более сложными математическими действиями и отношениями.

Психологами было выделено главное отношение, лежащее в основе понятия единицы и числа, — отношение меры и измеряемого. Дети выполняли действия по измерению при помощи реальных мерок как дискретных (раздельных), так и непрерывных величин — протяженностей, объемов сыпучих тел и др. Они убеждались в том, что в зависимости от единицы измерения величина одного и того же предмета может быть выражена разными цифрами. Понятие единицы, числа насыщалось, таким образом, реальным содер-

жанием. И дети, наряду с овладением счетом, учились по-новому видеть мир, выражать в отношениях вещей их количественную сторону. Это сказывалось и в легкости последующего перехода к выполнению действий сложения и вычитания, решения арифметических задач, и в возникновении правильной зрительной (теперь уже без реального действия измерения!) оценки соотношений величины в затрудненных условиях, обычно вызывающих неизбежные ошибки.

Приведенные примеры не единственные. В последние годы в школу пришли психологи, они практически показали возможности психологии в создании научно обоснованных методов обучения.

Вместе с проблемой разработки новых программ и методик есть в школьном обучении не менее сложная проблема формирования положительных учебных мотивов, формирования учебных интересов.

Учебная деятельность школьника полимотивирована, это значит, что имеется несколько причин, по которым ученик ходит в школу и изучает школьные предметы. Это и познавательный интерес, и стремление приобщиться к миру взрослых, и потребность доставить удовольствие родителям хорошими отметками, и удовлетворение своего самолюбия, и желание не огорчать первого учителя, и многое другое. Обычно выделяют три типа мотивов учебной деятельности: познавательные, социальные и собственно учебные. Познавательные — это когда ученик учится ради познания. Тесно связаны с учением и учебные мотивы — желание стать умнее, получить больше знаний. Социальные мотивы могут быть положительными (стать специалистом и приносить пользу родине, доставить радость родителям, самоутвердиться и т.д.) и отрицательными (избегнуть наказания). Среди мотивов обычно выделяется один главный, который в большей мере определяет учебную деятельность (ведущий мотив). Соотношение этих мотивов не остается неизменным. В процессе обучения происходит смена ведущего мотива.

Школьная практика и специальные работы психологов показали, что успехи в обучении самым тесным образом связаны с мотивацией. Было замечено, что отрицательная мотивация обучения не приво-

дит к успехам в развитии. Не всегда является развивающим и учение с положительной мотивацией. Все дело в том, какое место в системе интересов ребенка занимает новое знание, новое умение. Если никакого, то это новое, появившись в сознании ребенка, исчезает почти бесследно, не оставляя того развивающего эффекта, на который рассчитывали обучающие. Развивает то, что входит в основную ведущую деятельность, отвечает ведущему мотиву. Даже самая лучшая программа и методика обучения предмету не даст эффекта, если ученик не хочет заниматься этим предметом. <...>

В психолого-педагогическом эксперименте слабо успевающим было предложено заниматься с неуспевающими младших классов, и такое изменение позиции заставило старшего восполнять свои пробелы в знаниях, чтобы успешно выполнять функции “учителя”. Постепенно это приводило к повышению интереса к школьным предметам, повышению самооценки и изменению реального положения его собственных учебных дел.

В одной московской школе в экспериментальный класс собрали всех неуспевающих, создав более благоприятные условия для учебы. Первой задачей учителей было постараться заменить отрицательное отношение к учебе положительным. В течение первого года обучения это достигалось путем поощрения учеников, успешно выполняющих простые задачи. Уже на фоне измененной мотивации к обучению проводились и другие мероприятия по преодолению отставания в учебе.

Сейчас психологи считают (и в этом их убеждает опыт лучших школ нашей страны), что оценивать следует у детей не просто знание, а успех, победу, преодоление трудностей в учении. Успех — вот первопричина радости в учении. Замечательный педагог и психолог-практик В.А.Сухомлинский призывал: “Не ловите детей на незнании, отметка — не наказание, отметка — радость”. <...>

В психологии уже стало аксиомой: ребенок развивается только в деятельности. Растущий человек не может быть без дела — он растет в делах, мужает в поступках. В деятельности дети проверяют усвоенные ими представления и правила, вырабатывают свое отношение к поступ-

кам других. Собственный поступок для них и эксперимент, и проба сил, и самоутверждение, и выражение направленности личности. Поступок, мотивы которого родились из сплава мыслей и чувств растущего человека, свидетельствует о том, что интересы и склонности его уже избирательны, что процесс самовоспитания становится основным, главным в его развитии. <...>

В школе почти все поощрения и наказания связаны с успехами и неудачами в изучении школьных предметов. А поскольку дети не равны по своим психофизиологическим и другим возможностям, то успехи в школе у всех разные. Более того, глядя на ученика сквозь призму его отметок за предмет, учителя рассматривают слабоуспевающего либо как ленивого, либо как неспособного. И сами ученики эти отметки за предмет воспринимают не только как оценку своим способностям, но и своей личности. Поэтому учебные успехи уже в первом классе могут определить отношения ребенка со взрослыми, с другими детьми, могут определить отношение его к самому себе.

Исследования показали: к слабым ученикам учителя подчас относятся хуже, чем к сильным. Установлено, что “плохому” ученику дается на ответ меньше времени. При неверном ответе его не просят подумать, ему не предлагают вопросы в качестве подсказки и ругают за поведение и учебу слабого ученика чаще. Его реже спрашивают, если он поднимает руку, с ним меньше работают на уроке. А желание учиться у такого всегда оценивается ниже, чем у сильного. Часто оцениваются по-разному объективно одинаковые ответы.

Такое отношение к слабому ученику не может не сказываться на формировании его личности. Оно усугубляет учебные трудности, снижает интерес к учебе; это ведет к тому, что плохой ученик начинает искать на уроке и вообще в школе возможности развлечься, что, в свою очередь, усиливает негативное отношение к нему учителей и других учеников. На такое их отношение ученик зачастую отвечает грубостью, агрессивностью, ложью, прогулами. А всегда ли первый ученик, имеющий одни отличные отметки, самый лучший товарищ, самый авторитетный?

Самый способный и самый справедливый, самый смелый? <...>

Механизм формирования отрицательных черт личности у всех детей одинаков. При невыполнении требований старших или детского коллектива ребенок порицается, наказывается. Возникающая аффективная реакция требует выхода из эмоционально неприятного положения. А поскольку аффект возникает всегда, когда желания ребенка превышают его возможности, то выход находится, например, в снижении притязаний, и тогда вырастает тихий, забытый и пассивный человек, неуверенный в своих силах, хотя объективно в своей области он может хорошо делать свое дело. Чаще ребенок ищет причину неудач не в реальных своих возможностях, а в чрезмерных требованиях или других объективных, по его мнению, условиях, т.е. фактически причину он выдумывает, а затем начинает оправдывать свое поведение, прибегая к лжи, грубости и т.д. Если конфликт продолжается долго, то формируются устойчивые негативные черты характера. Иногда выход находится в игнорировании своих неудач в школе и желании самоутвердиться в других делах (спорт, уличные компании и т.д.).

Нормальный выход из конфликта — это работа над собой в плане расширения своих возможностей — выбирается детьми, к сожалению, относительно редко. Поэтому перевоспитание должно идти через переключение с интереса к себе на интерес к какой-то реальной деятельности, а затем, после того как достигнуты успехи там, на интересы коллектива. При этом необходимо помнить, что формирование нового поведения возможно лишь при положительных мотивах, а не в результате принуждения. Ни об одном ребенке нельзя сказать, что он плохой. Ведь дети растут, меняются. Они сложны. Один и тот же бывает в чем-то плох, в чем-то хорош. <...>

Особую проблему создают в начальных классах дети с задержками умственного развития. Ведь при поступлении в школу проверка готовности к школьному обучению отсутствует. Причины умственной отсталости детей не всегда лежат в органических дефектах развития мозга. Часто отставание от сверстников связано с недос-

таточными контактами ребенка со взрослыми и другими детьми (неблагополучная семья, физические дефекты, препятствующие общению, частые болезни, ограничивающие активность ребенка, и т.д.).

Неудачи обучения таких детей уже в первом классе приводят к резко негативным изменениям в их характере, к формированию агрессивности, лживости, повышенной обидчивости, невозможности общения с классом, а в конечном счете и к полной порой неспособности учиться в школе с детьми своего возраста. Практика работы психологов показывает, что этих нежелательных последствий в формировании личности детей с задержками психического развития можно избежать, если проверять заранее готовность к обучению, организовать специальные формы учебы таких детей.

Все отмеченные недостатки в школьном воспитании и образовании требуют привлечения в той или иной форме к школьной работе психолога. Есть проблемы, требующие совместных усилий педагога и психолога, а есть такие, с которыми, кроме психолога, не сможет справиться никто. Это, например, диагностика умственного и личностного развития, анализ отношений в детском коллективе и отношений учитель — ученик, рекомендации по профессиональной ориентации и т.д. <...>

Психология и техника

В наш век НТР большинство современных машин, освобождая человека от огромных физических нагрузок и расширяя диапазон его активности, резко увеличивает его психическую нагрузку. Представим себе, к примеру, психическое напряжение летчика или подводника. Современные ЭВМ, частично снимая нагрузки на простые психические функции (память, восприятие, внимание, счет), предъявляют повышенные требования к планирующим и прогностическим способностям человека. Чем сложнее техника, тем больше она требует от человека; использовать многие психические функции (и часто на пределе их возможностей), уметь решать сложные задачи, контролировать свое эмоциональное состояние, обладать высокой профессиональной выучкой и т. д. Пульт управле-

ния современной мартеновской печи — это несколько десятков приборов, а на пульте современной электростанции приборов и индикаторов около 2 тыс., современный реактивный самолет имеет около полутысячи индикаторов, кнопок и рукояток. Легко себе представить, что произойдет, если все приборы и ручки управления расположить без учета возможностей человеческих движений, восприятия, памяти или если общая конструкция машины будет безостановочно требовать от работника максимального использования всех его психических возможностей.

Раньше срок жизни орудий и машин исчислялся столетиями; за этот срок путем проб и ошибок удавалось нащупать наиболее подходящую форму орудия и машинных характеристик. Современная же техника изменяется столь быстро, обходится так дорого, что отлаживать и приспособлять машину в ходе ее работы некогда — необходимо заранее научно обосновывать требования будущего работника к машине и создавать ее с учетом его человеческих возможностей. Эти задачи призваны решать психология труда и инженерная психология. Они разрабатывают методы оценки состояний и психических возможностей человека в трудовой деятельности, оценки степени владения профессией, психологической оценки машин и изделий. Они же дают рекомендации по психологическому проектированию новой техники и деятельности человека.

Современная техника приносит нам не только облегчение и удобства. За комфорт, скорость, свободу от физических нагрузок приходится порой расплачиваться травмами, а то и смертельным исходом. Причиной аварий машин зачастую выступают неправильные действия самого управляющего техникой. 70—80% всех катастроф в авиации и на автотранспорте происходит из-за таких действий. Ежегодно в мире в автокатастрофах погибает около 200 тыс. человек и 7 млн человек получают травмы. <...>

Но еще чаще возникает проблема эффективности использования новой машины, а в ряде случаев вообще ее нормальной работы.

...На двух новых шлифовальных станках органы управления были расположены очень низко (на расстоянии 47—65 см от пола) и примерно в 1 м от основного

рабочего места. Такое расположение вне зоны оптимальной досягаемости заставляло станочника бесполезно терять время и быстро утомляло. В результате производительность станков оказалась на 22—37% ниже расчетной. Все эти неудачи произошли от того, что, конструктор станков исходил лишь из технических характеристик и не учел физических возможностей человека. Приведенный пример демонстрирует очень грубую ошибку проектировщика, которую можно было заметить без всякого научного анализа.

Но возникают проблемы, которые не решаются на уровне элементарного здравого смысла. Вот факт, имевший место в электротехнической промышленности. Каждому ясно, если два станка наматывают провод на катушку, то, естественно, больше наматывает тот, у которого скорость намотки выше. И конструкторы стремились всемерно ее увеличить. На последних станках удалось добиться очень высокой скорости. Но увеличения производительности не последовало, а процент брака увеличился. В чем причина? Найти ее помог психологический анализ деятельности намотчиц. Оказалось, виновата во всем... скорость намотки провода! Она была выше психических возможностей работниц — люди не успевали замечать дефекты намотки, обрывы, перекосы. В результате станки приходилось часто останавливать, простои тормозили выработку. Когда психологами Московского университета была предложена оптимальная скорость намотки провода, производительность труда возросла на 15%. <...>

Некоторое время казалось, что проблема соотношения человека и техники может быть решена путем отбора подходящих именно для данной профессии людей. Предполагалось, что для каждой профессии существуют свои психофизиологические особенности, свой оптимальный тип человека, который станет работать в данной профессии наиболее успешно. Есть люди, заведомо не способные работать успешно в данной профессии.

И первые работы психологов подтверждали такую точку зрения. Например, предложенный психологом Г. Мюнстербергом метод отбора водителей трамваев привел к значительному снижению количества несчастных случаев. Однако все оказалось не так просто. Психологи ожидали,

что среди передовиков производства будут люди только одного типа (по психофизиологическим показателям). Казалось, что люди со слабым типом нервной системы не выдержат там, где велики физические и нервные нагрузки, где всегда надо быть в напряжении, быстро решать сложные задачи. Но ожидания психологов не подтвердились. Среди передовых шоферов, ткачих и представителей других профессий процент лиц со слабым и сильным типом нервной системы оказался примерно одинаков. Значит ли это, что тип нервной системы не играет никакой роли в профессиональной деятельности? Нет. Среди шоферов лиц со слабым типом нервной системы намного меньше, чем с сильным, а в сложных условиях горных дорог и длительных рейсов слабый тип среди шоферов, как правило, не удерживается. Нет слабого типа и среди диспетчеров аэропортов, операторов сложных и опасных производств (химическое, энергетическое). Как же они оказываются среди передовиков, если они вообще не удерживаются в некоторых профессиях? Дело в том, что слабый тип не вообще хуже сильного, а лишь по определенным характеристикам. По другим же своим свойствам он может оказаться лучше. Он обладает более высокой чувствительностью и большей эмоциональностью. Он осторожнее. Чаще следует правилам. Поэтому среди шоферов, часто попадающих в аварии, людей этого типа фактически нет.

Шофер сильного типа, обладая уверенностью, что в трудной ситуации сумеет избежать аварии, часто думает во время работы о посторонних вещах. Шофер со слабым типом постоянно занят оценкой дорожной ситуации и прогнозом ее изменений, заранее готовится к возможным действиям. Зато машина такого водителя быстрее изнашивается — он как бы перекладывает на машину свою неуверенность и страх перед аварией, постоянно работая педалями и рычагами переключения скорости.

В.Г. Местников описал работу двух разметчиков высокого класса, обладающих различными профессионально важными свойствами, но добивающихся одинаково высоких трудовых результатов.

Психологический анализ деятельности передовиков производства показал: люди с различным типом нервной системы добиваются успеха в работе существенно раз-

личными способами, находя свой индивидуальный стиль. Это позволяет любому человеку успешно трудиться в большинстве профессий, не требующих повышенной выносливости и эмоциональной устойчивости. Но тот факт, что различные типы людей находят свой индивидуальный почерк, заставляет думать над разными способами обучения профессии. Сейчас всех учат одинаково, по единому образцу, а научиться работать ученики должны каждый по-своему, как им удобно. Иначе некоторые не выдерживают и отсеиваются. Особенно велик отсев в сложных профессиях. Например, в летных училищах он достигает от 30 до 70%, принося государству значительный ущерб. Поэтому, наряду с индивидуальными способами отбора, для ряда специальностей более выгодным бывает отбор кандидатов по психофизиологическому соответствию профессии. Во время второй мировой войны в США стали применять психологический отбор курсантов в летные училища. В результате отсева вдвое уменьшился.

При обследовании 500 учеников автошколы по психофизиологическим методикам была выявлена группа потенциальных аварийщиков. Действительно, 46 человек этой группы в течение года после окончания училища дважды попадали в аварии.

Статистика показывает, что водители автомашин-холостяки, алкоголики, неврастеники попадают в аварии втрое чаще, чем остальные. <...>

Хороший эффект дает перераспределение обязанностей и участков работы среди рабочих с различными индивидуальными особенностями. Так, на одной из шахт перемещение рабочих, сделанное на основе только самых простых физиологических показателей, позволило уменьшить травматизм и поднять производительность труда.

Особенно часто отбор приходится вести по степени эмоциональной устойчивости человека в экстремальных, стрессовых ситуациях. Работа современного оператора на первый взгляд проста. Часто все дежурство заполнено лишь ожиданием неполадок и их устранением. Операторские помещения на многих участках обставлены удобной мебелью, хорошо освещены, в них можно послушать музыку. Но среди операторов аэропортов (диспетчеров) 35% страдает язвенной болезнью, у многих ги-

пертония, неврозы. Такая же картина и среди операторов химического производства, диспетчеров энергосистем, машинистов скоростных локомотивов.

Особенности работы оператора в том, что: 1) ему приходится иметь дело с большим числом объектов, множеством их параметров и характеристик. Например, диспетчер крупного аэропорта помнит о десятке самолетов на земле и в воздухе, их тип, высоту и скорость полета, запас горючего, очередность посадки и взлета и многое другое; 2) оператор часто имеет дело с высокими скоростями и сложностью управляемых процессов (авиация, химическое производство, электроэнергетика); 3) управление объектами и процессами является не прямым, а дистанционным, и оператору непосредственно недоступны сами процессы, например, химического производства; 4) неисправности или ошибки в управлении часто грозят крупными авариями с большими материальными потерями, риском для жизни людей.

Сложность управления такими объектами, большие нагрузки на внимание, память и мышление, постоянное ожидание опасности создают значительное напряжение. Так, при полете на современном истребителе пульс у летчика доходит до 120 ударов в 1 мин, а при переходе через звуковой барьер — до 160. При стыковке космических кораблей или дозаправке самолетов в воздухе отмечается до 180 сокращений сердца в 1 мин, а дыхание при этом учащается до 30—50 раз в 1 мин.

При создании в лаборатории экстремальных условий работы около 30% испытуемых действуют значительно хуже, около 40% практически не меняют своих результатов и 30% улучшают свою деятельность. По особенностям поведения человека в стрессовой (особо напряженной) ситуации выделяют пять типов операторов: напряженный, трусливый, тормозной, агрессивно-бесконтрольный и прогрессивный. Как и всякая классификация, упомянутое деление несколько условно, однако довольно точно описывает изменения деятельности оператора в экстремальных условиях <...>.

Такая классификация типов поведения определяется не только индивидуально-психологическими особенностями человека, но и степенью владения своей профессией.

Когда оператор только начинает осваивать свою профессию, то даже в поведении прогрессивного типа наблюдаются скованность, излишняя возбудимость и напряженность, неуверенность в своих действиях. По мере освоения профессии и совершенствования трудовых навыков напряженность снижается, появляются уверенность и надежность в работе. Наоборот, плохое владение навыками, неумение разобраться в причинах аварии и устранить ее приводят к страху перед возможной аварией, скованности действий, суетливости, нервным срывам. Поэтому повышение профессионального мастерства становится одной из самых важных проблем современного производства и психологии, чья задача — разработать научно обоснованные рекомендации обучения профессии. <...> Разработанные под руководством З.А. Решетовой новые методы обучения на часовом заводе ускорили адаптацию молодых рабочих, а также снизили текучесть кадров. Оказалось, одна из причин ухода молодых рабочих с завода та, что они не справлялись с заданиями и, занимая последние места в бригадах, не смогли смириться с более низким статусом по сравнению со статусом своих приятелей и знакомых. <...>

Хороший результат в обучении операторов дает активный способ подачи информации. Традиционное обучение операторов страдает теми же недостатками, что и школьно-вузовское: оно слишком формально, так как работа идет в основном с печатным словом. Учащемуся дается для заучивания подробное описание установки, управление и ремонт которой предстоит освоить. Письменно же излагаются и инструкции по эксплуатации. В распоряжении ученика также полная технологическая схема и список возможных неполадок при работе установки. Все это создает большую нагрузку на память и внимание, и будущий оператор вынужден искать особые оценки состояний объекта и отказов в работе.

По предложению психологов в обучении операторов сейчас широко применяются наглядные средства обучения — командно-информационные мнемосхемы, сокращающие сроки обучения и повышающие его качество. <...>

Наряду с квалификацией, стиль работы и ее итоги определяются состоянием человека. Высокая надежность и эффективность

наблюдается только при оптимальном состоянии работающего. Например, из-за утомления появляется неуверенность при вырабатке решений, в действиях, внимание легко отвлекается на побочные раздражители, снижается чувствительность и пропускаются нужные сигналы, ухудшается координация движений, нарушается память, снижаются интеллектуальные способности (быстрота принятия и нахождение правильных, нестандартных решений).

Одно из условий, вызывающих нежелательные состояния человека в процессе труда, — монотонность многих производственных процессов и связанных с ними действий (конвейер, управление движущимися объектами и т.д.).

На железнодорожном транспорте одна из серьезнейших проблем — борьба с утомлением машинистов. По данным психологов, около 60% железнодорожных аварий связано с потерей машинистами бдительности. Описано много случаев, когда они засыпали или впадали в особое состояние типа гипнотического. В таких случаях человек, ведущий состав, несмотря на предупреждающие сигналы семафоров, не останавливает локомотива, и он врывается в вагоны стоящего на станции поезда. Причина таких состояний машинистов — недогруженность их деловой информацией и перегрузка стереотипной, не требующей осмысления (мелькание шпал, деревьев, равномерное покачивание). Против сонливости применяют периодически подаваемые звуковые сигналы, световые раздражители, устраиваются специальные “рукоятки бдительности”, которые автоматически включают сирену.

Для борьбы с монотонностью меняется, если возможно, технология труда в сторону снижения однообразия. Одно из средств снимать усталость от монотонии — повышение интереса к труду, изменение его смысла. Немецкий психолог К. Левин заметил что человек не может длительно выполнять однообразные действия по инструкции и, чтобы продолжать работу, выдумывает для себя особый смысл в тех действиях, которые ему предлагает экспериментатор. Применяются отвлекающие моменты — музыка, освещение, изменение ритма работы.

Эффективный заслон однообразию — смена рабочих операций в течение дня,

недели, месяца. Это не дает накопиться усталости от однообразия.

В сложных условиях работы хроническое утомление приводит к переутомлению и другим нарушениям здоровья операторов. Наиболее подробно такие состояния описаны в работе Ф.Д.Горбова и В.И.Лебедева. Они показали множество случаев переутомления и невротических реакций летчиков. При переутомлении в первую очередь теряется интерес к прежде любимому делу, с трудом выполняется самая обычная профессиональная задача. Как ни странно, но переутомленный с большей охотой берется за дела сложные, чем за простые. И как правило, выполняет их успешно, без проявления невротических симптомов. При выполнении простых заданий (например, пилотирование самолета по курсу) возникают ощущения остановки самолета, онемение рук и ног, потемнение в глазах.

В условиях, требующих быстрого переключения или раздвоения внимания, возникают невротические срывы с потерей сознания или памяти. Например, полеты строем на заданной высоте или дозаправка в воздухе требует от летчика умения постоянно переключать внимание с приборной доски на другие самолеты. В таких условиях бывают потери сознания, нарушения полета, аварии.

Описанные выше случаи изменения психики и поведения человека в труде проявляются, как правило, в экстремальных условиях. Однако чаще всего психологу труда или инженерному психологу приходится иметь дело не с исключительными случаями, а с обычной деятельностью. Работа психолога на производстве преимущественно связана с организацией рабочего места (поза рабочего, размещение рукояток, индикаторов, поле обзора, пространственная организация панелей, освещение и т.д.), с разработкой информационных индикаторов, мнемосхем для сложных систем, разработкой режимов труда и отдыха, а также с инженерно-психологической (эргономической) экспертизой создаваемых машин и изделий. <...>

Большое внимание в последнее время стало уделяться анализу групповых отношений внутри малых производственных коллективов (экипажи самолетов, космических кораблей, группы операторов, машинисты блюминга).

В современном производстве многими процессами и объектами нередко управляет всего несколько человек, имеющих персональные четкие функции и осуществляющих единую взаимосвязанную деятельность.

В такой группе неизбежно формируется субординация, подчас складываются присущие только данной группе способы взаимодействий. Нередко два отличных пилота, объединенных в единый экипаж, не только не показывают хороших результатов, но могут из-за несогласованности действий создать аварийную ситуацию. Нецелесообразно объединять в одном таком малом коллективе лидеров, не способных уступать, а также людей, плохо относящихся друг к другу, людей с быстрыми и, наоборот, медленными реакциями на события, управляющих вместе одним объектом.

Все подобные рекомендации — на уровне простого здравого смысла. Однако есть отношения и более сложные, они не раскрываются без научного анализа, а при этом значат очень много для жизни коллектива. Как мы уже видели, такие отношения изучаются особой отраслью психологической науки — социальной психологией,

Не только психология труда и инженерная психология вносят вклад в создание и использование новой техники. Немалое значение для технического прогресса имеют исследования, ведущиеся в общей, педагогической, социальной психологии и даже в такой, казалось бы, далекой от техники области, как зоопсихология.

Например, результаты исследований сигнального общения птиц позволили предложить меры по отпугиванию пернатых от аэропортов, где раньше их скопления часто создавали аварийные ситуации для самолетов; птицы попадали в двигатели, разбивали стекла кабины пилотов. Записывая на магнитофонную ленту крики тех или видов птиц, предупреждающих пернатую родню об опасности, и воспроизводя эти крики через громкоговоритель, можно достаточно эффективно отпугивать птиц от взлетных полос.

Итоги исследований химических сигналов насекомых продиктовали подбор химических веществ, привлекающих или отпугивающих этих насекомых. С помощью таких веществ можно заманить в ловушку всех самцов определенного вида, оставив самок бесплодными.

Раздел II

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

Часть 1. Из истории развития представлений о предмете психологии

*А.В.Петровский,
М.Г.Ярошевский*

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ — ОСОБАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ ¹

Термин “психология” древнегреческого происхождения. Он составлен из двух слов: “псюхе” — душа и “логос” — знание или изучение. Предложен же был этот термин не в Древней Греции, внесшей бесценный вклад в наше понимание психической жизни, а в Европе в XVI веке. Мнения историков о том, кто изобрел слово “психология”, расходятся. Одни считают его автором соратника Лютера Филиппа Меланхтона, другие — философа Гоклениуса, который применил слово “психология” в 1590 году для того, чтобы можно было обозначить им книги ряда авторов. Это слово получило всеобщее признание после работ не-

мецкого философа Христиана Вольфа, книги которого назывались “Рациональная психология” (1732) и “Эмпирическая психология” (1734). Учитель же Вольфа — Лейбниц пользовался еще термином “пневматология”. До XIX века это слово не употреблялось ни в английской, ни во французской литературе.

Об использовании слова “психолог” (с ударением на последнем слоге) в русском языке говорит реплика Мефистофеля в пушкинской “Сцене из Фауста”: “Я психолог... о вот наука!..” Но в те времена психологии как отдельной науки не было. Психолог означал знатока человеческих страстей и характеров.

В XVI веке под “душой” и “логосом” понималось нечто иное, чем в период античности. Если бы, например, спросили у Аристотеля (у которого мы впервые находим не только разработанную систему психологических понятий, но и первый очерк истории психологии), к чему относится знание о душе, то его ответ существенно отличался бы от позднейших, ибо такое знание, с его точки зрения, имеет объектом любые биологические явления, включая жизнь растений, а также те процессы в человеческом теле, которые мы сейчас считаем сугубо соматическими (вегетативными, “растительными”).

¹Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Т.1. С. 42—47, 50—52.

Еще удивительнее был бы ответ предшественников Аристотеля. Они понимали под душой движущее начало всех вещей, а не только организмов. Так, например, по мнению древнегреческого мудреца Фалеса, магнит притягивает другие тела потому, что обладает душой. Это учение о всеобщей одушевленности материи — гилозоизм — может показаться примитивным с точки зрения последующих успехов в познании природы, однако оно было крупным шагом вперед на пути от анимистического (мифологического) мышления к научному.

Гилозоизм видел в природе единое материальное целое, наделенное жизнью, понятой как способность ощущать, запоминать и действовать. Принцип монизма, выраженный в этом воззрении, делал его привлекательным для передовых мыслителей значительно более поздних эпох (Телезио, Дидро, Геккеля и других).

Анимизм же (от лат. “анима” — душа) каждую конкретную вещь наделял сверхъестественным двойником — душой. Перед взором анимистически мыслившего человека мир выступал как скопление произвольно действующих душ. Элементы анимизма представлены, как отмечал Г.В. Плеханов, в любой религии. Анимистические донаучные взгляды на душу веками влияли на понимание человеческих мыслей, чувств, поступков. Эти рудименты дают о себе знать и в значительно более поздние времена в представлениях об обитающем в мозгу “внутреннем человеке” (скрывающемся под термином “душа”, “сознание”, “Я”), который воспринимает впечатления, размышляет, принимает решения и приводит в действие мышцы.

Господствовавшая в средние века религиозная идеология придала понятию о душе определенное мировоззренческое содержание (душа рассматривалась как бесплотная, нетленная сущность, переживающая брешное тело, служащая средством общения со сверхъестественными силами, испытывающая воздаяние за земные поступки и т.д.).

Именно это отнюдь не “языческое” содержание имплицитно было заложено в древнегреческом по своей этимологии слове “психология”, когда оно впервые стало прилагаться к совокупности сведений о душевных явлениях. Нет ничего более ошибочного, как делать на этом основа-

нии вывод, будто человечество не знало тогда иных взглядов на психику и сознание, кроме религиозно-идеалистических. Царившая в университетах схоластическая философия (ее и представляли те, кто создал термин “психология”) действительно подчинялась диктату церкви. Однако даже в пределах этой философии возникали, отражая запросы новой социальной практики, передовые идеи.

В борьбе с церковно-богословской концепцией души утверждалось самосознание равнявшейся из феодальных пут личности. Отношением к этой концепции определялся общий характер любого учения.

В эпоху Возрождения, когда студенты какого-нибудь университета хотели с первой лекции оценить профессора, они кричали ему: “Говорите нам о душе!”. Наиболее важное в те времена могли рассказать о душе не профессора, кругозор которых был ограничен сочинениями античных авторов и комментариями к ним, а люди, представления которых не излагались ни в лекциях, ни в книгах, объединенных Гоклениусом под общим названием “Психология”. Это были врачи типа Вивеса или Фракасторо, художники и инженеры типа Леонардо да Винчи, а позднее — Декарт, Спиноза, Гоббс и многие другие мыслители и натуралисты, не преподававшие в университетах и не претендовавшие на то, чтобы разрабатывать психологию. Длительное время по своему официальному статусу психология считалась философской (и богословской) дисциплиной. Иногда она фигурировала под другими именами. Ее называли ментальной философией (от лат. mental — психический), душесловием, пневматологией. Но было бы ошибочно представлять ее прошлое по книгам с этими заглавиями и искать ее корни в одной только философии. Концентрация психологических знаний происходила на многих участках интеллектуальной работы человечества. Поэтому история психологии (до момента, когда она около ста лет назад начала вести свою историческую летопись в качестве самостоятельной экспериментальной науки) не совпадает с эволюцией философских учений о душе (так называемая метафизическая психология) или о душевных явлениях (так называемая эмпирическая психология).

Означает ли это, что в интересах научного прогресса, радикально изменившего объяснение явлений, некогда названных словом “душа”, следует отказаться от термина “психология”, хранящего память об этом древнем слове-понятии?

Ответ на данный вопрос дал Л.С. Выготский: “Мы понимаем исторически, — писал он, — что психология как наука должна была начаться с идеи души. Мы также мало видим в этом просто невежество и ошибку, как не считаем рабство результатом плохого характера. Мы знаем, что наука как путь к истине непременно включает в себя в качестве необходимых моментов заблуждения, ошибки, предрассудки. Существенно для науки не то, что они есть, а то, что, будучи ошибками, они все же ведут к правде, что они преодолеваются. Поэтому мы принимаем имя нашей науки со всеми отложившимися в нем следами вековых заблуждений как живое указание на их преодоление, как боевые рубцы от ран, как живое свидетельство истины, возникающей в невероятно сложной борьбе с ложью”¹.

Психологию на ее многовековом историческом пути считали наукой о душе, сознании, психике, поведении. С каждым из этих глобальных терминов сочеталось различное предметное содержание, не говоря уже о конфронтации противоположных взглядов на него. Однако при всех расхождениях, сколь острыми бы они ни были, сохранялись общие точки, где пересекались различные линии мысли. Именно в этих точках “вспыхивали” искры знания как сигналы для следующего шага в поисках истины. Не будь этих общих точек, люди науки говорили бы каждый на своем языке, непонятном для других исследователей этого предметного поля, будь то их современники, либо те, кто пришел после них.

Эти точки, ориентируясь на которые мы способны вернуть к жизни мысль былых искателей истины, назовем категориями и принципами психологического познания <...>.

Информацию о прошлом психологии хранят не только сменявшие друг друга

философские системы, но и история естественных наук (в особенности биологии), медицины, педагогики, социологии.

Объективная природа психики такова, что, находясь в извечной зависимости от своих биологических оснований, она приобретает на уровне человека социальную сущность.

Поэтому ее причинное объяснение необходимо предполагает выявление ее обусловленности природными и общественно-историческими факторами. Исследуются же эти факторы не самой психологией, а соответствующими “сестринскими” науками, от успехов которых она неизменно зависит. Но и они, в свою очередь, зависят от нее, поскольку изучаемые ею явления и закономерности вопреки эпифеноменализму² играют важную роль в биологической и социальной жизни. Невозможно адекватно отобразить становление психологических проблем, гипотез, концепций, абстрагируясь от развития знаний о природе и обществе, а также игнорируя обширные области практики, связанные с воздействием на человека.

История науки — это особая область знания. Ее предмет существенно иной, чем предмет той науки, развитие которой она изучает. Следует иметь в виду, что об истории науки можно говорить в двух смыслах. История — это реально совершающийся во времени и пространстве процесс. Он идет своим чередом независимо от того, каких взглядов придерживаются на него те или иные индивиды.

Это же относится и к развитию науки. Как непрменный компонент культуры она возникает и изменяется независимо к тому, какие мнения по поводу этого развития высказывают различные исследователи в различные эпохи и в различных странах.

Применительно к психологии веками рождались и сменяли друг друга представления о душе, сознании, поведении. Воссоздать правдивую картину этой смены, выявить, от чего она зависела, и призвана история психологии.

Психология как наука изучает факты, механизмы и закономерности психической

¹ *Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 1. С. 429.*

² Эпифеноменализм — учение о том, что психические акты не имеют самостоятельной ценности и не являются причинными факторами поведения.

жизни. История же психологии описывает и объясняет, как эти факты и законы открывались (порой в мучительных поисках истины) человеческому уму. Итак, если предметом психологии является одна реальность, а именно реальность ощущений и восприятий, памяти и воли, эмоций и характера, то предметом истории психологии служит другая реальность, а именно — деятельность людей, занятых познанием психического мира.

Поскольку же знание является продуктом умственной работы, то обычно история психологии выступает как история научно-психологической мысли. <...>

Имеется определенная последовательность в смене “формаций” научного мышления. Каждая “формация” определяет типичную для данной эпохи картину психической жизни. Закономерности этой смены (преобразования одних понятий, категорий, интеллектуальных структур в другие) изучаются историей науки, и только ею одной. Такова ее первая уникальная задача.

Вторая задача, которую она призвана решать, заключается в том, чтобы раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками. Подчеркивая единство науки, великий физик Макс Планк писал, что наука представляет собой внутренне единое целое. Ее разделение на отдельные отрасли обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу.

Уже была отмечена зависимость успехов психологии от успешного развития механики, биологии, социологии, кибернетики. В свою очередь, ее достижения восприняли многие отрасли знания.

Еще одной проблемой, никем, кроме истории науки, не разрабатываемой, является выяснение зависимости процессов порождения и восприятия знаний (в нашем случае — знаний о психике) от социокультурного контекста, от идеологических влияний. Не выяснены, например, причины, по

которым от учения Демокрита сохранились лишь фрагменты (да и то известные из вторых рук), тогда как от Платона дошло чуть ли не полное собрание сочинений. Но не исключается, что в самом этом факте отразилось своеобразие борьбы различных людей вокруг вопросов, хотя и теоретических, но захватывающих их коренные земные интересы.

Существует легенда, будто Платон пытался уничтожить сочинения Демокрита¹, скупая их с этой целью. (А в те времена уничтожить произведения какого-нибудь автора было нетрудно).

Во всяком случае, Платон, заимствуя у Демокрита сведения, касающиеся природы, ни в одной из своих работ его, как указывает А.Ф. Лосев, не упоминает.

Если от прославленных авторов одной и той же эпохи в одном случае доходят, по существу, все труды, в другом, по существу, ничего не остается, то есть основания объяснять это не случайностью, а умышленными акциями против одного из них. Столкновение умов может превратиться в установку на истребление сочинений какого-либо автора или даже его самого. Вненаучные средства, как известно, пускались в ход не только в древние времена. Свободную мысль, естественнонаучное исследование природы человека пытались приостановить кострами инквизиции, застенками, полицейскими мерами.

Разве не свидетельствует, например, об этом предписание Главного комитета по делам печати царской России “арестовать и подвергнуть судебному преследованию” книгу И.М. Сеченова “Рефлексы головного мозга” как ведущую к “развращению нравов”?²

Борьбу непримиримых воззрений отражают и многие современные дискуссии.

Научные проблемы, идеи, теории зарождаются и трансформируются под влиянием потребностей общества, социальной практики. Так, новая наука, которая строилась на опыте, эксперименте, математике и объясняла мир из его собственных законов, а не исходя из божьей воли, возникла, когда рушились феодальные порядки, ставшие препятствием для развития производительных сил общества.

¹ Демокрит являлся автором множества работ, охватывающих различные области знания.

² Научное наследство. М., 1956. Т. 3 С.64.

В наши дни научно-технический прогресс, сопряженный с революционными изменениями, которые произвела компьютеризация в материальном и духовном производстве, изменил, как было сказано, и стиль психологического мышления.

Из этого явствует и третья, решаемая только историей психологии, задача: изучить взаимоотношения между общественными запросами и научным творчеством как процессом, имеющим свою специфику.

Исторический анализ этой специфики позволяет проникнуть в лабораторию исследовательского труда отдельной личности.

Здесь перед нами четвертая задача истории науки. За творческой личностью стоит целый мир мыслей, неповторимых пе-

реживаний, нескончаемых споров ученого с другими людьми и с самим собой, интеллектуальных радостей и поражений, незавершенных исканий и сбывшихся надежд. Приобщиться к этому миру — значит осознать гуманистическое, личностное начало науки.

Решая эти четыре задачи, история науки и определяет свой собственный предмет. Грубо говоря, этот предмет дан в системе трех координат: историологической (развитие знаний о психическом, опосредованное сменой стилей мышления), социальной (прежде всего отношения между наукой и обществом, а также между самими “обитателями” мира науки) и личностной (неповторимость творческих исканий отдельного ученого).

*А.В.Петровский,
М.Г.Ярошевский*

[ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА О ДУШЕ]¹

Некогда студенты шутили, советуя на экзамене по любому предмету на вопрос о том, кто его впервые изучал, смело отвечать: “Аристотель”. Этот древнегреческий философ и естествоиспытатель, живший в IV веке до н.э., заложил первые камни в основание многих дисциплин. Его по праву следует считать также отцом психологии как науки. Им был написан первый курс общей психологии “О душе”. Кстати, касаясь предмета психологии, мы следуем в своем подходе к нему за Аристотелем. Сперва он изложил историю вопроса, мнения своих предшественников, объяснил отношение к ним, а затем, используя их достижения и просчеты, предложил свои решения.

Как бы высоко ни поднялась мысль Аристотеля, обессмертив его имя, за ним стояли поколения древнегреческих мудрецов. Притом не только философов-теоретиков, но и испытателей природы, натуралистов, медиков. Их труды — это предгорья возвышающейся в веках вершины: учения Аристотеля о душе. Этому учению предшествовали революционные события в истории представлений об окружающем мире.

АНИМИЗМ

Переворот заключался в преодолении древнего анимизма (от лат. “анима” —

душа, дух) — веры в скрытый за видимыми вещами сонм духов (душ) как особых “агентов” или “призраков”, которые покидают человеческое тело с последним дыханием, а по некоторым учениям (например, знаменитого философа и математика Пифагора), являясь бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние греки называли душу словом “псюхе”. Оно и дало позднее имя нашей науке.

В имени сохранились следы изначального понимания связи жизни с ее физической и органической основой (сравните русские слова: “душа”, “дух”, и “дышать”, “воздух”). Интересно, что уже в ту древнейшую эпоху, говоря о душе (“псюхе”), люди как бы соединяли в единый комплекс присущее внешней природе (воздух), организму (дыхание) и психике (в ее последующем понимании). Конечно, в своей житейской практике они все это прекрасно различали. Когда знакомишься со знанием человеческой психологии по их мифам, не можешь не восхищаться тонкостью понимания ими стиля поведения своих богов, наделенных коварством, мудростью, мстительностью, завистью и иными качествами, которые придавал небожителям творец мифов — народ, познавший эту психологию в земной практике своего общения с ближними.

Мифологическая картина мира, где тела заселяются душами (их “двойниками” или призраками), а жизнь зависит от произвола богов, веками царил в общественном сознании.

ГИЛОЗОИЗМ

Революцией в умах стал переход от анимизма к гилозоизму (от греч. слов, означающих: “материя” и “жизнь”). Весь мир — универсум, космос — мыслился отныне изначально живым. Границы между живым, неживым и психическим не проводилось. Все они рассматривались как порождение единой первичной материи (праматерии), и тем не менее это философское учение стало великим шагом на пути познания природы психического. Оно покончило с анимизмом (хотя он и после этого на протяжении столетий, вплоть до наших

¹ Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Т. 1. С. 53—77, 81, 86—93.

дней, находил множество приверженцев, считающих душу внешней для тела сущностью). Гилозоизм впервые поставил душу (психику) под общие законы естества.

Утверждался непреложный и для современной науки постулат об изначальной вовлеченности психических явлений в круговорот природы.

Гераклит и идея развития как закон (Логос)

Гилозоисту Гераклиту космос явился в образе “вечно живого огня”, а душа (“психея”) — в образе его искорки. Все сущее подвержено вечному изменению: “Наши тела и души текут, как ручьи”. Другой афоризм Гераклита гласил: “Познай самого себя”. Но в устах философа это вовсе не означало, что познать себя — значит уйти в глубь собственных мыслей и переживаний, отвлекшись от всего внешнего. “По каким бы дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос”, — учил Гераклит.

Этот термин “логос”, введенный Гераклитом, но применяемый поныне, приобрел великое множество смыслов. Но для него самого он означал закон, по которому “все течет”, и явления переходят друг в друга. Малый мир (микрокосм) отдельной души идентичен макрокосму всего миропорядка. Поэтому постигать себя (свою психею) — значит углубляться в закон (Логос), который придает вселенскому ходу вещей сотканную из противоречий и катаклизмов динамическую гармонию.

После Гераклита (его называли “темным” из-за трудности понимания и “плачущим”, так как будущее человечества он считал еще страшнее настоящего) в запас средств, позволяющих читать “книгу природы” со смыслом, вошла идея закономерного развития всего сущего, в том числе “текущих, как ручьи” тел и душ.

Демокрит и идея причинности

Учение Гераклита о том, что от Закона (а не от произвола богов — властителей неба и земли) зависит ход вещей, перешло к Демокриту. Сами боги — в его изображении — не что иное, как сферические скопления огненных атомов. Че-

ловек также создан из различного сорта атомов, самые подвижные из них — атомы огня. Они образуют душу.

Единым и для души, и для космоса он признал не сам по себе закон, а закон, согласно которому нет беспричинных явлений, но все они — неотвратимый результат соударения атомов. Случайными кажутся события, причину которых мы не знаем.

Демокрит говорил, что хотя бы одно причинное объяснение готов был бы предпочесть царской власти над персами. (Персия была тогда сказочно богатой страной.) Впоследствии принцип причинности назвали детерминизмом. И мы увидим, как именно благодаря ему добывалось по крупице научное знание о психике.

Гиппократ и учение о темпераментах

Демокрит дружил со знаменитым медиком Гиппократом. Для медика важно было знать устройство живого организма, причины, от которых зависят здоровье и болезнь. Определяющей причиной Гиппократ считал пропорцию, в которой смешаны в организме различные “соки” (кровь, желчь, слизь). Пропорция в смеси была названа темпераментом. И с именем Гиппократа связывают дошедшие до наших дней названия четырех темпераментов: сангвинический (преобладает кровь), холерический (желтая желчь), меланхолический (черная желчь), флегматический (слизь). Для будущей психологии этот объяснительный принцип при всей его наивности имел очень важное значение. Недаром названия темпераментов сохранились поныне. Во-первых, на передний план ставилась гипотеза, согласно которой бесчисленные различия между людьми умещались в несколько общих картин поведения. Тем самым Гиппократ положил начало научной типологии, без которой не возникли бы современные учения об индивидуальных различиях между людьми. Во-вторых, источник и причину различий Гиппократ искал внутри организма. Душевные качества ставились в зависимость от телесных.

О роли нервной системы в ту эпоху еще не знали. Поэтому типология являлась, говоря нынешним языком, гуморальной (от лат. “гумор” — жидкость). Следует, впро-

чем, заметить, что в новейших теориях признается теснейшая связь между нервными процессами и жидкими средами организма, его гормонами (греческое слово, означающее то, что возбуждает). Отныне и медики, и психологи говорят о единой нейрогуморальной регуляции поведения.

Анаксагор и идея организации

Афинский философ Анаксагор не принял ни гераклитово воззрение на мир как огненный поток, ни демокритову картину атомных вихрей. Считая природу состоящей из множества мельчайших частиц, он искал в ней начало, благодаря которому из беспорядочного скопления и движения этих частиц возникают целостные вещи. Из хаоса — организованный космос. Он признал таким началом “тончайшую вещь”, которой дал имя “нус” (разум). От того, какова степень его представленности в различных телах, зависит их совершенство. “Человек, — говорил Анаксагор, — является самым разумным из животных вследствие того, что имеет руки”. Вышло, что не разум определяет преимущества человека, но его телесная организация определяет высшее психическое качество — разумность.

Все три принципа, утвержденные философами, о которых шла речь (Гераклитом, Демокритом, Анаксагором), создавали главный жизненный нерв будущего научного способа осмысления мира, в том числе и научного познания психических явлений. Какими бы извилистыми путями ни шло это познание в последующие века, оно имело своими регуляторами три идеи: закономерного развития, причинности и организации (системности). Открытые две с половиной тысячи лет назад объяснительные принципы стали на все времена основой объяснения душевных явлений.

“Софисты”: поворот от природы к человеку

Новую особенность этих явлений открыла деятельность философов, названных софистами — “учителями мудрости”. Их интересовала не природа с ее не зависящими от человека законами, но сам человек, которого первый софист Протагор

назвал “мерой всех вещей”. Впоследствии кличка “софист” стала применяться к лжемудрецам, которые с помощью различных уловок выдают мнимые доказательства за истинные. Но в истории психологического познания деятельность софистов открыла новый объект: отношения между людьми с использованием средств, призванных доказать и внушить любое положение, независимо от его достоверности.

В связи с этим детальному обсуждению были подвергнуты приемы логических рассуждений, строение речи, характер отношений между словом, мыслью и воспринимаемыми предметами. Как можно что-либо передать посредством языка, спрашивал софист Горгий, если его звуки ничего общего не имеют с обозначаемыми ими вещами? И это не софизм в смысле логического ухищрения, а реальная проблема. Она, как и другие вопросы, обсуждавшиеся софистами, подготавливала развитие нового направления в понимании души. Были оставлены поиски ее природной “материи” (огненной, атомной и др.). На передний план выступили речь и мышление как средства манипулирования людьми. Их поведение ставилось в зависимость не от материальных причин, как представлялось прежним философам, вовлекшим душу в космический круговорот. Теперь она попадала в сеть произвольно творимых логико-лингвистических хитросплетений.

Из представлений о душе исчезали признаки ее подчиненности строгим законам и неотвратимым причинам, действующим в физической природе. Язык и мысль лишены подобной неотвратимости. Они полны условностей в зависимости от человеческих интересов и пристрастий. Тем самым действия души приобретали зыбкость и неопределенность. Возвратить им прочность и надежность, но коренящиеся не в вечных законах мироздания, а в самом мышлении человека, стремился Сократ.

Сократ и новое понятие о душе

Об этом философе, ставшем на все века идеалом бескорыстия, честности и независимости мысли, мы знаем со слов его учеников. Сам же он никогда ничего

не писал и считал себя не учителем мудрости, а человеком, пробуждающим у других стремление к истине путем особой техники диалога, своеобразие которого стали впоследствии называть сократическим методом. Подбирая определенные вопросы, Сократ помогал собеседнику “родить” ясное и отчетливое знание. Он любил говорить, что продолжает в области логики и нравственности дело своей матери — повивальной бабки. Уже знакомая нам формула Гераклита “познай самого себя” означала у Сократа обращенность не к вселенскому закону (Логосу), но к внутреннему миру субъекта, его убеждениям и ценностям, его умению действовать как разумное существо согласно пониманию лучшего.

Сократ был мастером устного общения. С каждым встречным человеком он затеивал беседу с целью заставить его задуматься о своих беспечно применяемых понятиях. Впоследствии его стали называть пионером психотерапии, цель которой — с помощью слова обнажить то, что скрыто за покровом сознания. В его методике таились идеи, сыгравшие через много столетий ключевую роль в психологических исследованиях мышления.

Во-первых, работа мысли ставилась в зависимость от задачи, создающей препятствие в ее привычном течении. Именно с такими задачами сталкивали вопросы, которые Сократ обрушивал на своего собеседника, вынуждая его тем самым обратиться к работе собственного ума. Во-вторых, эта работа изначально носила характер диалога. Оба признака — детерминирующая тенденция, создаваемая задачей, и диалогизм, предполагающий, что познание изначально социально, поскольку коренится в общении субъектов, — стали в XX веке главными ориентирами экспериментальной психологии мышления.

После Сократа, в центре интересов которого выступила умственная деятельность индивидуального субъекта (ее продукты и ценности), понятие о душе наполнилось новым предметным содержанием. Его составляли совершенно особые реалии, которых физическая природа не знает. Мир этих реалий стал сердцевинной философии гениального ученика Сократа Платона.

Платон: душа как созерцательница идей

Платон создал в Афинах свой научно-учебный центр, названный Академией, у входа в которую было написано: “Не знающий геометрии да не войдет сюда”. Геометрические фигуры, общие понятия, математические формулы, логические конструкции являли собой умопостижимые объекты, наделенные в отличие от калейдоскопа чувственных впечатлений неизблемостью и обязательностью для любого индивидуального ума. Возведя эти объекты в особую действительность, Платон увидел в них сферу вечных идеальных форм, скрытых за небосводом в образе царства идей.

Все чувственно-воспринимаемое, начиная от непосредственно ощущаемых близких предметов до воспринимаемых далеких звезд, — это лишь затемненные идеи, их несовершенные слабые копии. Утверждая принцип первичности сверхпрочных, вечных общих идей по отношению ко всему преходящему в тленном телесном мире, Платон стал родоначальником философии идеализма.

Каким же образом осевшая в бренной плоти душа приобщается к вечным идеям? Всякое знание, согласно Платону, есть воспоминание. Душа вспоминает (для этого требуются специальные усилия) то, что ей довелось созерцать до своего земного рождения.

Открытие внутренней речи как диалога

Опираясь на опыт Сократа, доказавшего нераздельность мышления и общения (диалога), Платон сделал следующий шаг. Он под новым углом зрения оценил процесс мышления, не получивший выражения в сократовом внешнем диалоге. В этом случае, по мнению Платона, его сменяет диалог внутренний. “Душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая”.

Феномен, описанный Платоном, известен современной психологии как внутренняя речь, а процесс ее порождения из речи

внешней (социальной) получил имя “интериоризации” (от лат. “интериор” — внутренний).

У самого Платона нет этих терминов. Тем не менее перед нами феномен, прочно вошедший в состав нынешнего научного знания об умственной деятельности человека.

Личность как конфликтующая структура

Дальнейшее развитие понятия о душе шло в направлении его дифференциации путем выделения в ней различных “частей” и функций. У Платона их разграничение приняло этический смысл. Это пояснял платоновский миф о вознице, правящем колесницей, в которую впряжены два коня: дикий, рвущийся идти собственным путем любой ценой, и породистый, благородный, поддающийся управлению. Возница символизировал разумную часть души, кони — два типа мотивов: низшие и высшие побуждения. Разум, призванный согласовать эти два мотива, испытывает, согласно Платону, большие трудности из-за несовместимости низменных и благородных влечений.

В сферу изучения души вводились такие важнейшие аспекты, как конфликт мотивов, имеющих нравственную ценность, и роль разума в его преодолении и интеграции поведения. Через много столетий версия о взаимодействии трех компонентов, образующих личность как динамическую, раздираемую конфликтами и полную противоречий организацию, ожил в психоанализе Фрейда.

Природа, культура и организм

Знание о душе — от его первых зачатков на античной почве до современных систем — росло в зависимости от уровня знаний о внешней природе, с одной стороны, и от общения с ценностями культуры — с другой. Ни природа, ни культура сами по себе не образуют область психического. Однако ее нет без взаимодействия с ними.

Коренной поворот в познании этой области и работе по построению предмета психологии принадлежал Аристотелю. Философы до Сократа, размышляя о психических явлениях, ориентировались

на природу. Они искали в качестве эквивалента этих явлений одну из ее стихий, образующих единый мир, которым правят естественные законы. Лишь сопоставив эти воззрения с древней верой в души как особые двойники тела, можно ощутить их взрывную силу.

Грянула великая интеллектуальная революция, от которой следует вести счет новому воззрению на психику. После софистов и Сократа в объяснениях души наметился поворот к пониманию ее деятельности как феномена культуры. Ибо входящие в состав души абстрактные понятия и нравственные идеалы выводимы из вещества природы. Они — порождения духовной культуры.

Для обеих ориентаций — и на природу, и на культуру — душа выступала как внешняя по отношению к организму реалья, либо вещественная (огонь, воздух и др.), либо бесплотная (средоточие понятий, общезначимых норм и др.). Шла ли речь об атомах (Демокрит) или об идеальных формах (Платон) — предполагалось, что и одно, и другое заносится в организм извне.

Аристотель: душа как форма тела

Аристотель преодолел этот способ мышления, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Не физические тела и не бестелесные идеи стали для него источником этого знания, но организм, где телесное и духовное образуют нераздельную целостность. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона. Душа, по Аристотелю, это не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела.

Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к медицинской профессии. Семнадцатилетним юношей он появился в Афинах у шестидесятилетнего Платона и ряд лет занимался в его Академии, с которой в дальнейшем порвал. Известная картина Рафаэля “Афинская школа” изображает Платона указывающим рукой на небо, Аристотеля — на землю. В этих образах запечатлено различие в ориентациях двух великих мыслителей. По Аристотелю, идейное богатство мира скрыто в чув-

ственно-воспринимаемых земных вещах и раскрывается в их опирающемся на опыт исследовании.

Аристотель создал свою школу на окраине Афин, названную Ликеем (по этому названию в дальнейшем словом “лицей” стали называть привилегированные учебные заведения). Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. “Правильно думают те, — говорил Аристотель своим ученикам, — кому представляется, что душа не может существовать без тела и не является телом”.

Кто же имелся в виду под теми, кто “правильно думает”?

Очевидно, что не натурфилософы, для которых душа — это тончайшее тело. Но и не Платон, считавший душу паломницей, странствующей по телам и другим мирам. Решительный итог размышлений Аристотеля: “Душу от тела отделить нельзя”, — делал бессмысленными все вопросы, стоявшие в центре учения Платона о прошлом и будущем души.

Выходит, что, упоминая тех, кто “правильно думает”, Аристотель имел в виду собственное понимание, согласно которому переживает, мыслит, учится не душа, а целостный организм. “Сказать, что душа гневается, — писал он, — равносильно тому, как если бы кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома”.

Биологический опыт и изменение объяснительных принципов психологии

Аристотель был и философ, и исследователь природы. Одно время он обучал наукам юного Александра Македонского, который впоследствии приказал отправлять своему старому учителю образцы растений и животных из завоеванных им стран. Накапливалось огромное количество фактов — сравнительно-анатомических, зоологических, эмбриологических и других, богатство которых стало опытной основой наблюдений и анализа поведения живых существ.

Психологическое учение Аристотеля строилось на обобщении биологических фактов. Вместе с тем это обобщение привело к преобразованию главных объяснительных принципов психологии: организации (системности), развития и причинности.

Организация живого (системно-функциональный подход)

Уже сам термин “организм” требует рассматривать его под углом зрения организации, то есть упорядоченности целого, которое подчиняет себе свои части для решения какой-либо задачи. Устройство этого целого и его работа (функция) нераздельны. “Если бы глаз был живым существом, его душой было бы зрение”, — говорил Аристотель.

Душа организма — это его функция, деятельность. Трактую организм как систему, Аристотель выделял в ней различные уровни способностей к деятельности.

Понятие о способности, введенное Аристотелем, было важным новшеством, навсегда вошедшим в основной фонд психологических знаний. Оно разделяло возможности организма (заложенные в нем психологические ресурсы) и их реализацию на деле. При этом намечалась схема иерархии способностей как функций души: а) вегетативная (имеется и у растений); б) чувственно-двигательная (у животных и человека); в) разумная (присущая только человеку). Функции души становились уровнями ее развития.

Закономерность развития

Тем самым в психологию вводилась в качестве важнейшего объяснительного принципа идея развития. Функции души располагались в виде “лестницы форм”, где из низшей и на ее основе возникает функция более высокого уровня. (Вслед за вегетативной — растительной — формируется способность ощущать, из которой развивается способность мыслить.)

При этом в отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю весь органический мир. (Впоследствии это было названо биогенетическим законом.)

Различие между чувственным восприятием и мышлением было одной из первых психологических истин, открытых древними. Аристотель, следуя принципу развития, стремился найти звенья, ведущие от одной ступени к другой. В этих поисках он открыл особую область пси-

хических образов, которые возникают без прямого воздействия вещей на органы чувств. Сейчас их принято называть представлениями памяти и воображения (Аристотель говорил о фантазии). Эти образы подчинены открытому опять-таки Аристотелем механизму ассоциации — связи представлений.

Объясняя развитие характера, он утверждал, что человек становится тем, что он есть, совершая те или иные поступки.

Учение о формировании характера в реальных поступках, которые у людей как существ “политических” всегда предполагают нравственное отношение к другим, ставило психическое развитие человека в причинную, закономерную зависимость от его деятельности.

Понятие о конечной причине

Изучение органического мира побудило Аристотеля придать новый импульс главному нерву аппарата научного объяснения — принципу причинности (детерминизма). Вспомним, что Демокрит хотя бы одно причинное объяснение считал стоящим всего персидского царства. Но для него образцом служило столкновение, соударение материальных частиц — атомов. Аристотель же, наряду с этим типом причинности, выделяет другие. Среди них — целевую причину или “то, ради чего совершается действие”, ибо “природа ничего не делает напрасно”.

Конечный результат процесса (цель) заранее воздействует на его ход. Психическая жизнь в данный момент зависит не только от прошлого, но и потребного будущего. Это было новым словом в понимании ее причин (детерминации). Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии: системности, развития, детерминизма.

Аристотелем было открыто и изучено множество конкретных психических явлений. Но так называемых “чистых фактов” в науке нет. Любой ее факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий и объяснительных схем, которыми вооружен исследовательский ум. Обогадив эти принципы, Аристотель представил совершенно иную сравнительно с его предшественниками (подготовившими его синтез) картину устройства, функций и развития души.

Психологическая мысль эпохи эллинизма

После походов македонского царя Александра (IV век до н.э.) возникает крупнейшая мировая монархия древности. Вскоре она распалась, и ее распад открыл новый период в истории древнего мира — эллинистический. Его отличал синтез элементов культур Греции и стран Востока.

Положение личности в обществе коренным образом изменилось. Свободный грек утрачивал связь со своим родным городом, его стабильной социальной средой и оказывался перед лицом непредсказуемых перемен. Со все большей остротой он ощущал зыбкость своего существования в изменившемся, ставшим чужим мире. Эти сдвиги в реальном положении и в самовосприятии личности наложили отпечаток на представления о ее душевной жизни. В них она осмысливалась под новым углом зрения.

Вера в могущество разума, в великие интеллектуальные достижения прежней эпохи ставится под сомнение. Возникает философия скептицизма, рекомендуемая вообще воздерживаться от суждений, касающихся окружающего мира, по причине их недоказуемости, относительности, зависимости от обычаев и т.п. (Пиррон, конец IV века до н.э.). Такая интеллектуальная установка исповедовалась, исходя из этической мотивации. Полагалось, что отказ от поисков истины позволит обрести душевный покой, достичь состояния атараксии (от греческого слова, означавшего отсутствие волнений).

В других концепциях этого периода также идеализировался образ жизни мудреца, отрешенного от игры внешних стихий и благодаря этому способного сохранить свою индивидуальность в непрочном мире, противостоять потрясениям, постоянно угрожающим существованию. Этот мотив направлял интеллектуальные поиски двух других доминировавших в эллинистический период философских школ — стоиков и эпикурейцев. Связанные корнями со школами классической Греции, они переосмыслили ее идейное наследство соответственно духу новой эпохи.

Стоики: пневма и избавление от страстей

Эта школа возникла в IV веке до н.э. и получила свое название по имени того места в Афинах (“стоя” — портик храма), где ее основатель Зенон (не смешивать с софистом Зеноном) проповедовал свое учение. Представляя космос как единое целое, состоящее из бесконечных модификаций огненного воздуха — пневмы, стоики рассматривали человеческую душу как одну из таких модификаций.

Понятие о пневме (в исходном значении — вдыхаемый воздух) у первых натурфилософов мыслилось как единое природное, материальное начало, которое пронизывает как внешний физический космос, так и живой организм (служа носителем жизни) и пребывающую там псюхе (т.е. область ощущений, чувств, мыслей).

У Анаксимена, как у Гераклита и других натурфилософов, воззрение на психею как частицу воздуха или огня означало ее порождение внешним, материальным космосом. У стоиков же слияние псюхе и природы приобрело иной смысл. Сама природа спиритуализировалась, наделялась признаками, свойственными разуму, но не индивидуальному, а сверхиндивидуальному.

Согласно этому учению, мировая пневма идентична мировой душе, “божественному огню”, который является Логосом или, как считали позднейшие стоики, — судьбой. Счастье человека усматривалось в том, чтобы жить согласно Логосу.

Как и их предшественники в классической Греции, стоики верили в примат разума, в то, что человек не достигает счастья из-за незнания, в чем оно состоит. Но если прежде рисовался образ гармоничной личности, в полноценной жизни которой сливаются разумное и чувственное (эмоциональное), то у мыслителей эллинистической эпохи, когда на людей обрушивались невзгоды, порождавшие страх, неудовлетворенность, тревогу, отношение к аффектам изменяется.

Стоики объявили вредными любые аффекты. В них усматривалась “порча разума”, поскольку они возникают при неправильной деятельности ума. Удовольствие и страдание — это ложные сужде-

ния о настоящем. Желание и страх — столь же ложные суждения о будущем.

От аффектов следует лечить как от болезней. Их нужно “с корнем вырывать из души”. Только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений (положительных или отрицательных), способен правильно руководить поведением. Именно это позволяет человеку выполнять свое предназначение, свой долг.

Эта этико-психологическая доктрина обычно сопрягалась с установкой, которую, говоря современным языком, можно было бы назвать психотерапевтической. Люди испытывали потребность в том, чтобы устоять перед превратностями жизни с ее драматическими поворотами, лишаящими душевного равновесия. Изучение мышления и его отношения к эмоциям носило не абстрактно-теоретический характер. Оно соотносилось с тем, чем люди живы, с обучением искусству жить. Все чаще к философам обращались для обсуждения и решения личных, нравственных проблем. Из искателей истин они становились целителями душ, прообразом будущих священников, духовников.

Эпикурейцы: атомизм и безмятежность духа

На других космологических началах, но с той же этической ориентацией на поиски счастья и искусства жить сложилась школа Эпикура (конец IV века до н.э.). В своих представлениях о природе она опиралась на атомизм Демокрита, внося в него, однако, важную коррективу. (За диссертацию о различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура Карл Маркс получил диплом доктора философии.) Отойдя от демокритова учения о неотвратимости движения атомов по законам, исключаяющим случайность, Эпикур предполагал, что эти частицы могут отклоняться от своих закономерных траекторий. Этот вывод имел этико-психологическую подоплеку.

В отличие от версии о “жесткой” причинности, царящей во всем, что совершается в мире (и, стало быть, в душе как разновидности атомов), допускались самопроизвольность, спонтанность изменений, их случайный характер. С одной стороны, этот взгляд запечатлел ощущение

непредсказуемости того, что может произойти с человеком в потоке событий, делающих существование непрочным. С другой стороны, [отсюда] вытекало, что в самой природе вещей заложена возможность самопроизвольных отклонений и тем самым непредопределенности поступков (стало быть, и свободы выбора).

Это отражало отмеченную выше индивидуализацию личности как величины, способной действовать на свой страх и риск. Впрочем, слово “страх” здесь можно употребить только метафорически.

Весь смысл эпикурейского учения заключался в том, чтобы, проникнувшись им, люди спаслись от страха.

Учение об атомах служило именно этой цели. Живое тело, как и душа, состоит из движущихся в пустоте атомов. Со смертью они рассеиваются по общим законам все того же вечного космоса. “Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, когда же смерть наступает, то нас уже нет”.

Представленная в учении Эпикура картина природы и места человека в ней служила тому, чтобы достичь безмятежности духа, свободы от страхов и, прежде всего, перед смертью и богами (которые, обитая между мирами, не вмешиваются в дела людей, ибо это нарушило бы их безмятежное существование).

Как и многие стоики, эпикурейцы (соответственно изменению реалий жизни отдельной личности в эллинистическую эпоху) размышляли о путях ее независимости от всего внешнего. Лучший путь они усматривали в самоустранении от всех общественных дел. Именно такое поведение позволит избежать огорчений, тревог, отрицательных эмоций и тем самым испытать наслаждение, ибо оно не что иное, как отсутствие страдания.

Последователем Эпикура в древнем Риме был Лукреций (I век до н.э.). Он критиковал стоиков за учение о разлитом в природе в форме пневмы разуме. В действительности, согласно Лукрецию, существуют только атомы, проносящиеся по механическим законам, под действием которых возникает и сам разум.

Первичным в познании являются ощущения, преобразуемые (наподобие того “как паук тклет паутину”) в другие образы, ведущие к разуму.

Как и мыслители предшествующего эллинистического периода, Лукреций свое учение (изложенное в поэтической форме) считал наставлением по искусству жить в водовороте бедствий, с тем, чтобы люди навсегда избавились от страхов перед загробным наказанием и потусторонними силами, ибо в мире нет ничего, кроме атомов и пустоты.

Александрийская наука

В эллинистический период возникли новые центры культуры, где различные течения восточной мысли взаимодействовали с западной. Среди этих центров выделялись созданные в Египте (в III веке до н.э.) при царской династии Птолемеев (основанной одним из полководцев Александра Македонского) библиотека и музей в Александрии. Музей представлял собой, по существу, исследовательский институт с лабораториями, комнатами для занятий со студентами. В нем был проведен ряд важных исследований в различных областях знания, в том числе в анатомии и физиологии (например, врачами Герофилом и Эразистратом, труды которых не сохранились).

К важнейшим открытиям этих врачей, усовершенствовавших технику изучения организма, в том числе головного мозга, относится установление различий между чувствительными и двигательными нервами.

Открытие было забыто, но через две с лишним тысячи лет вновь установлено и легло в основу важнейшего для физиологии и психологии учения о рефлексе.

Среди других великих исследователей душевной жизни в ее связях с телесной выступил древнеримский врач Гален (II век н.э.). В труде “О частях человеческого тела” он, опираясь на множество наблюдений и экспериментов и обобщив познания медиков Востока и Запада (в том числе александрийских), описал зависимость жизнедеятельности целостного организма от нервной системы.

В те времена запрещалось анатомирование человеческих тел. Опыты ставились на животных. Но Гален, работая хирургом у гладиаторов (которых, как известно, заставляли сражаться в цирке с дикими зверями), смог расширить представления и о человеке, в том числе о его головном мозге, где, как он полагал, производится и

хранится высший сорт пневмы как носительницы разума.

Широкой известностью в течение многих столетий пользовалось развитие Галеном (вслед за Гиппократом) учение о темпераментах как пропорции в смеси нескольких основных “соков”. Темперамент с преобладанием “теплого” он описывает как мужественный и энергичный, с преобладанием “холодного” — как медлительный и т.д. Большое внимание он уделял аффектам. Еще Аристотель писал, что возможно объяснять гнев либо межличностными отношениями (например, как стремление отомстить за обиду), либо “кипением крови” в организме.

Гален утверждал, что первичным при аффектах являются изменения в организме (“повышение сердечной теплоты”). Стремление же отомстить — вторично. Через много веков между психологами вновь возникнут дискуссии вокруг вопроса о том, что первично: субъективное переживание либо телесное потрясение.

Бедствия, которые переживали в жесточайших войнах с Римом и под его владычеством народы Востока, способствовали развитию идеалистических учений о душе. Именно они подготовили воззрения, которые ассимилировала христианская религия.

Филон:

пневма как дыхание

Огромную популярность приобрело учение философа-мистика из Александрии Филона (I век н.э.), учившего, что тело — это прах, который получает жизнь от дыхания божества. Это дыхание и есть пневма. Представление о пневме, которое занимало важное место в античных учениях о душе, носило, как отмечалось, сугубо гипотетический характер, что создавало почву для иррациональных, недоступных эмпирическому контролю картин зависимости происходящего с человеком от сверхчувственных, небесных сил — посредников между земным миром и Богом.

После Филона пневме приписывают функцию общения брешней части души с бестелесными сущностями, связующими ее со Всевышним. Возникает особый раздел религиозной догматики, описывающей эти “пневматические” сущности. Он был назван пневматологией.

Плотин:

понятие о рефлексии

Принцип абсолютной нематериальности души утвердил Плотин (III век н.э.) — древнегреческий философ, основатель в Риме школы неоплатонизма. Во всем телесном усматривалась эманация (истечение) божественного, духовного первоначала.

Если отвлечься от религиозной метафизики, проникнутой мистикой, то применительно к прогрессу психологической мысли в представлениях Плотина о душе содержался новый важный момент.

У Плотина психология впервые в ее истории становится наукой о сознании, понятом как “самосознание”. Поворот интересов к внутренней психической жизни человека сложился в античной культуре задолго до Плотина. Однако лишь кризис рабовладельческого общества придал этому повороту смысл отрешенности от реального мира и замкнул сознание на его собственных феноменах.

Еще не было предпосылок (при всей тенденции к индивидуализации, которая, как отмечалось, нарастала в эллинистический период) для осознания субъектом самого себя в качестве конечного самостоятельного центра психических актов. Эти акты считались производными от пневмы (как тончайшего огнеподобного воздуха) у стоиков, атомных потоков — у эпикурейцев.

Плотин, вслед за Платоном, учил, что индивидуальная душа происходит от мировой души, к которой она и устремлена. Другой вектор активности индивидуальной души направлен к чувственному миру. (Здесь Плотин также следовал за Платоном). Но у нее Плотин выделил еще одно направление, а именно — обращенность на себя, на собственные, незримые действия и содержания. Она как бы следит за своей работой, является ее “зеркалом”.

Через много столетий эта способность субъекта не только ощущать, чувствовать, помнить или мыслить, но обладать также внутренним представлением об этих функциях, получила название рефлексии. Эта способность не является фикцией. Она служит неотъемлемым “механизмом” деятельности сознания человека, соединяю-

щим его ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в “самом себе”.

Плотин отграничил этот “механизм” от других психических процессов, на объяснении которых в течение веков была сосредоточена мысль многих поколений исследователей психики. Сколь широк бы ни был спектр этих объяснений, он, в конечном счете, сводился к поискам зависимости душевных явлений от физических причин, процессов в организме, общения с другими людьми.

Рефлексия, открытая Платином, не могла быть объяснена ни одним из этих факторов. Она выглядела самодостаточной, невыводимой сущностью. Таковой она и оставалась на протяжении веков, став исходным понятием интроспективной психологии сознания.

В новое время, когда сложились реальные социальные основы для самоутверждения субъекта в качестве независимой свободной личности, претендующей на уникальность своего психического бытия, рефлексия выступила в теоретических представлениях о ней как основание и главный источник знаний об этом бытии.

Таковой она трактовалась и в первых программах создания психологии в качестве науки, имеющей свой собственный предмет, отличающий ее от других наук. Действительно, ни одна наука не занята изучением способности к рефлексии. Однако, выделяя рефлексию как одно из направлений деятельности души, Плотин в ту отдаленную эпоху не мог, конечно, и помыслить индивидуальную душу самодостаточным источником своих внутренних образов и действий. Она для него — эманация сверхпрекрасной сферы высшего первоначала всего сущего.

Августин: понятие о внутреннем опыте

Учение Платина оказало влияние на Августина (IV—V века н.э.), творчество которого ознаменовало переход от античной традиции к средневековому христианскому мировоззрению.

Августин придал трактовке души (считая ее орудием, которое правит телом) особый характер, утверждая, что ее основу образует воля (а не разум). Тем самым он

стал инициатором учения, названного волюнтаризмом (от лат. “волюнтас” — воля).

Воля индивида, завися от божественной, действует в двух направлениях: управляет действиями души и поворачивает ее к себе самой. Все изменения, происходящие с телом, становятся психическими благодаря волевой активности субъекта. Так, из впечатлений, которые сохраняют органы чувств, воля творит воспоминания.

Все знание заложено в душе, которая живет и движется в Боге. Оно не приобретается, а извлекается из души опять-таки благодаря направленности воли.

Основанием истинности этого знания служит внутренний опыт: душа поворачивается к себе, чтобы постичь с предельной достоверностью собственную деятельность и ее незримые продукты.

Идея о внутреннем опыте, отличном от внешнего, но обладающем высшей истинностью, имела у Августина теологический смысл, поскольку проповедовалось, что эта истинность даруется Богом.

В дальнейшем трактовка внутреннего опыта, будучи освобождена от религиозной окраски, слилась с представлением об интроспекции как особом методе исследования сознания, которым владеет психология в отличие от других наук. <...>

Крушение античной цивилизации

Древнегреческая цивилизация в силу нарастающей социально-экономической деградации общества, которое ее породило, разрушилась. В тот период была утрачена большая часть достигнутых знаний. В начале исчезла потребность читать книги. Вскоре никто не мог их уже и понять. Они сжигались для нагревания воды в общественных банях или же исчезали сотнями других неизвестных путей.

Жестокие удары по распадавшейся античной культуре наносила христианская церковь, которая разрушала ее памятники и создавала атмосферу воинственной нетерпимости ко всему “языческому”. В IV веке был уничтожен научный центр в Александрии. В начале VI века императором Юстинианом закрывается просуществовавшая около тысячи лет Афинская

школа — последний очажок античной философии. Победившее христианство, ставшее в Европе господствующей идеологией феодального общества, культивировало ненависть ко всякому знанию, основанному на опыте и разуме, внушало веру в непогрешимость церковных догматов и греховность самостоятельного, отличного от предписанного священными книгами понимания устройства и предназначения человеческой души.

Естественнонаучное исследование природы приостановилось. Его сменили религиозные спекуляции. <...>

Психологические идеи средневековой Европы

В период средневековья в умственной жизни Европы воцарилась схоластика (от греч. “схоластикос” — школьный, ученый). Этот особый тип философствования (“школьная философия”) с XI до XVI вв. сводился к рациональному (использующему логические приемы) обоснованию христианского вероучения.

Томизм: “Аристотель с тонзурой”

В схоластике имелись различные течения. Но общей для них служила установка на комментирование текстов. Позитивное изучение предмета и обсуждение реальных проблем подменялось вербальными ухищрениями.

В страхе перед появившимся на интеллектуальном горизонте Европы Аристотелем католическая церковь вначале его запретила, но затем, изменив тактику, принялась “осваивать”, адаптировать соответственно своим нуждам. С этой задачей наиболее тонко справился Фома Аквинский (1225—1274), учение которого, согласно папской энциклике 1879 г., канонизировано как истинно католическая философия (и психология), получившая название томизма (несколько модернизированного в наши дни под именем неотомизма).

Томизм складывался в противовес стихийно-материалистическим трактовкам Аристотеля, в недрах которых зарождалась опасная для церкви концепция двойственной истины.

Зерна этой концепции были брошены опиравшимся на Аристотеля Ибн Рошдом, последователи которого в европейских университетах (аверроисты) полагали, что несовместимость с официальной догмой представлений о вечности (а не сотворении) мира, об уничтожаемости (а не бессмертии) индивидуальной души ведет к выводу о том, что каждая из истин имеет свою область. Истинное для одной области может быть ложным для другой и наоборот.

Фома же, отстаивая одну истину — религиозную, “нисходящую свыше”, считал, что разум должен служить ей так же истово, как и религиозное чувство. Фоме и его сторонникам удалось расправиться с аверроистами в парижском университете. Но в Англии, в Оксфордском университете, концепция “двойственной истины” в дальнейшем восторжествовала, став идеологической предпосылкой успехов философии и естественных наук.

Иерархический шаблон Фома распространил и на описание душевной жизни, различные формы которой размещались в виде своеобразной лестницы в ступенчатом ряду — от низшего к высшему. Каждое явление имеет свое место. Положены грани между всем существующим и однозначно определено, чему где быть. В ступенчатом ряду расположены души (растительная, животная, человеческая). Внутри самой души иерархически располагаются способности и их продукты (ощущение, представление, понятие).

Понятие об интроспекции, зародившееся у Плотина, превратилось в важнейший источник религиозного самоуглубления у Августина, вновь выступило как опора модернизированной и теологической психологии у Фомы. Работа души рисуется Фомой в виде следующей схемы: сперва она совершает акт познания — ей является образ объекта (ощущение или понятие), затем она осознает, что ею произведен сам этот акт, и, наконец, проделав обе операции, она “возвращается” к себе, познавая уже не образ и не акт, а самое себя как уникальную сущность.

Перед нами, таким образом, — замкнутое сознание, из которого нет выхода ни к организму, ни к внешнему миру. Томизм превратил великого древнегреческого философа в столп богословия, в “Аристоте-

ля с тонзурой”. (Тонзура — это выбритое место на макушке — знак принадлежности к католическому духовенству).

Номинализм

В Англии, где социальные устои феодализма подрывались наиболее энергично, против томистской концепции души выступил номинализм (от лат. “номен” — имя). Он возник в связи со спором о природе общих понятий (так называемых универсалий). Спор шел о том, существуют ли эти общие понятия самостоятельно вне нашего мышления (подобно другим вещам) или бестелесны, ибо эти понятия только имена и реально познаются лишь индивидуальные вещи.

Самым энергичным образом проповедовал номинализм профессор Оксфордского университета В. Оккам (XIV век). Отвергая томизм и отстаивая учение о “двойственной истине” (из которого явствовало, что религиозные догматы не могут быть основаны на разуме), он призывал опираться на чувственный опыт, для ориентации в котором существуют только термины, имена, знаки.

Номинализм способствовал развитию естественнонаучных взглядов на познавательные возможности человека. К знакам как главным регуляторам душевной активности неоднократно обращались многие мыслители последующих веков, в том числе в XX веке.

“Бритва Оккама”

Обращались они и к так называемой “бритве Оккама”, к его правилу, согласно которому “не следует умножать сущности без надобности”, иначе говоря, прибегать к объяснению каких-либо явлений многими силами или факторами, когда можно обойтись их меньшим числом. “Бесполезно делать посредством многого то, что можно сделать посредством меньшего”. К этой “бритве” впоследствии обратились психологи, чтобы утвердить своего рода “закон экономии”. (Изучая, например, поведение животных, не надеяться их умом человека, если оно может быть объяснено более простым способом.)

Итак, в период феодализма под пластами чисто рассудочных построений, чуж-

дых реальным особенностям психической деятельности, назначение которой теократия учила видеть в том, чтобы готовиться к неземной, истинной жизни, бил ключ новых идей, обращавших мысль к опытно-му познанию души и ее проявлений.

В противовес принятым схоластикой приемам выведения отдельных психических явлений из сущности души и ее сил, для действия которых нет других оснований, кроме воли божьей, складывалась другая методология, сердцевинной которой являлся опытный и детерминистический подход. Социально-экономический прогресс обусловил укрепление, а затем и окончательное торжество этого подхода в следующий исторический период.

Период Возрождения

Переходный период от феодальной культуры к буржуазной получил имя эпохи Возрождения. Идеологи этого периода считали его главной особенностью возрождение античных ценностей. К античности обращались и люди прежних эпох, решая каждый раз собственные проблемы.

Без античных сокровищ не было бы ни арабоязычной, ни латиноязычной культур. (В Западной Европе, как известно, языком образованных людей была латынь.)

Мыслители Возрождения полагали, что они очищают античную картину мира от “средневековых варваров”. Восстановление античных памятников культуры в их подлинном виде действительно стало компонентом нового идейного климата, однако воспринималось в них, прежде всего, созвучное новому образу жизни и обусловленной им интеллектуальной ориентации. <...>

Одним из титанов Возрождения был Леонардо да Винчи (1452—1519). Он представлял новую науку, которая существовала не в университетах, где по-прежнему изоцрялись в комментариях к текстам древних, а в мастерских художников и строителей, инженеров и изобретателей. Их опыт радикально изменял культуру и строй мышления. В своей производственной практике они были преобразователями мира. Высшая ценность придавалась не божественному разуму, а, говоря языком Леонардо, “божественной науке живописи”. При этом под живописью понималось не только искусство изображения мира в ху-

дожественных образах. “Живопись, — писал Леонардо, — распространяется на философию природы”.

Изменения в реальном бытии личности коренным образом изменяли ее самосознание. Субъект осознает себя как центр направленных вовне (в противовес августино-томистской интроспекции) духовных сил, которые воплощаются в реальные, чувственные (в отличие от христианской чистой духовности) ценности. Субъект, подражая природе, преобразует ее своим творчеством, практическими деяниями. <...>

Френсис Бэкон: эксперимент и индукция

Наиболее резко и решительно шли атаки на изжившее себя, хотя и прочно поддерживаемое церковью, негативное отношение к опыту в Англии. Здесь глашатаям эмпиризма выступил Френсис Бэкон

(XVI век), сделавший главный упор на создание эффективного метода науки с тем, чтобы она на деле способствовала обретению человеком власти над природой. В своем труде “Новый Органон” (само название которого означало вызов “царю философов” Аристотелю, чья книга “Органон” содержала канонизированную схоластикой логическую теорию дедуктивного вывода как перехода от общего к частному) Бэкон отдал пальму первенства индукции (от лат. “индукция” — наведение), то есть такому толкованию множества эмпирических данных, которое позволяет их обобщать с тем, чтобы предсказывать грядущие события и тем самым овладевать их ходом.

Идея методологии, исходившей из познания причин вещей с помощью опыта и индукции, воздействовала на создание антисхоластической атмосферы, в которой развивалась новая научная мысль, в том числе психологическая.

С.Л.Рубинштейн

[РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ]¹

Психология и очень старая, и совсем еще молодая наука. Она имеет за собой тысячелетнее прошлое, и тем не менее она вся еще в будущем. Ее существование как самостоятельной научной дисциплины исчисляется лишь десятилетиями; но ее основная проблематика занимает философскую мысль с тех пор, как существует философия. Годам экспериментального исследования предшествовали столетия философских размышлений, с одной стороны, и тысячелетия практического познания психологии людей — с другой. <...> Новая эпоха как в философской, так и психологической мысли начинается с развитием в XVII в. материалистического естествознания.

Если для каждого этапа исторического развития можно вскрыть преемственные связи, соединяющие его как с прошлым, так и с будущим, то некоторые периоды, сохраняя эти преемственные связи, все же выступают как поворотные пункты, с которых начинается новая эпоха; эти периоды связаны с будущим теснее, чем с прошлым. Таким периодом для философской и психологической мысли было время великих рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза) и великих эмпириков (Ф.Бэкон, Т.Гоббс), которые порывают с традициями богословской “науки” и закладывают методологические основы современного научного знания.

Особое место в истории психологии принадлежит среди них *Р.Декарту*, идеи которого оказали особенно большое влияние на ее дальнейшие судьбы. От Декарта ведут свое начало важнейшие тенденции, раскрывающиеся в дальнейшем развитии психологии. Декарт вводит одновременно два понятия: понятие рефлекса — с одной стороны, современное интроспективное понятие сознания — с другой. Каждое из этих понятий отражает одну из вступающих затем в антагонизм тенденций, которые сочетаются в системе Декарта.

Один из основоположников механистического естествознания, объясняющий всю природу движением протяженных тел под воздействием внешнего механистического толчка, Декарт стремится распространить этот же механический идеал на объяснение жизни организма. В этих целях он вводит в науку понятие рефлекса, которому суждено было сыграть такую большую роль в современной физиологии нервной деятельности. Исходя из этих же тенденций, подходит Декарт к изучению аффектов — явлений, которые он считает непосредственно связанными с телесными воздействиями. Так же как затем Б.Спиноза, который с несколько иных философских позиций тоже подошел к этой излюбленной философско-психологической проблеме XVII в., посвятив ей значительную часть своей “Этики”, Декарт стремится подойти к изучению страстей, отбрасывая религиозно-моральные представления и предрассудки, — так, как подходят к изучению материальных природных явлений или геометрических тел. Этим Декарт закладывает основы механистического натуралистического направления в психологии.

Но вместе с тем Декарт резко противопоставляет в заостренном дуализме душу и тело. Он признает существование двух различных субстанций: материя — субстанция протяженная (и не мыслящая) и душа — субстанция мыслящая (и не протяженная). Они определяются разнородными атрибутами и противостоят друг другу как независимые субстанции. Этот разрыв души и тела, психического и физического, становится в дальнейшем камнем преткновения и сложнейшей проблемой философской мысли. Центральное место зай-

¹ Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т.1. С.62—73.

мет эта психофизическая проблема у *Б.Спинозы*, который попытается снова объединить мышление и протяжение как два атрибута единой субстанции, признав соответствие “порядка и связи идей” — “порядку и связи вещей”, а душу идеей тела.

Заостренный у Р.Декарта дуализм — раздвоение и отрыв духовного и материального, психического и физического, который Спиноза пытается преодолеть, приводит к борьбе мировоззрений, разгорающейся после Декарта, к созданию ярко выраженных систем механистического материализма или натурализма, с одной стороны, субъективизма, идеализма или спиритуализма — с другой. Материалисты (начиная с Т.Гоббса) попытаются свести психическое к физическому, духовное к материальному; идеалисты (особенно ярко и заостренно у Дж.Беркли) материальное — к духовному, физическое — к психическому.

Но еще существеннее для психологии, чем заложенное в системе Декарта дуалистическое противопоставление души и тела, психического и физического, та новая трактовка, которую получает у Декарта самое понимание душевных явлений. У Декарта впервые оформляется то понятие сознания, которое становится центральным понятием психологии последующих столетий. Оно коренным образом отличается от понятия “душа” (псюхе) у Аристотеля. Из общего принципа жизни, каким оно было у Аристотеля, душа, дух превращается в специальный принцип сознания. В душе совершается раздвоение жизни, переживания и познания, мысли, сознания. Декарт не употребляет термина “сознание”; он говорит о мышлении, но определяет его как “все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собой”¹. Другими словами, Декарт вводит принцип интроспекции, самоотражения сознания в себе самом. Он закладывает, таким образом, основы интроспективного понятия сознания, как замкнутого в себе внутреннего мира, которое отражает не внешнее бытие, а самого себя.

Выделив понятие сознания из более широкого понятия психического и совершив этим дело первостепенного значения для истории философской и психологической мысли, Декарт с самого начала придал это-

му понятию содержание, которое сделало его узловым пунктом философского кризиса психологии в XX в. Механистическая натуралистическая трактовка человеческого поведения и элементарных психофизических процессов сочетается у Декарта с идеалистической, спиритуалистической трактовкой высших проявлений духовной жизни. В дальнейшем эти две линии, которые у Декарта исходят из общего источника, естественно и неизбежно начинают все больше расходиться.

Идеалистические тенденции Декарта получают дальнейшее свое развитие у *Н.Мальбранша* и особенно у *Г.Лейбница*. Представление о замкнутом в себе внутреннем мире сознания превращается у Лейбница в общий принцип бытия: все сущее в его монадологии мыслится по образу и подобию такого замкнутого внутреннего мира, каким оказалось у Декарта сознание. Вместе с тем в объяснении душевных явлений, как и в объяснении явлений природы, Лейбниц самым существенным образом расходится с Декартом в одном для него центральном пункте: для Декарта все в природе сводится к протяженности, основное для Лейбница — это сила; Декарт ищет объяснения явлений природы в положениях геометрии, Лейбниц — в законах динамики. Для Декарта всякое движение — результат внешнего толчка; из его системы выпала всякая внутренняя активность; для Лейбница она — основное. С этим связаны недостаточно еще осознанные и освоенные основные его идеи в области психологии. В центре его психологической системы — понятие *apperception*. Он оказал в дальнейшем существенное влияние на *И.Канта*, *И.Ф.Гербарта* и *В.Вундта*. У *Г.Лейбница* же в его “бесконечно малых” перцепциях, существующих помимо сознания и рефлексии, впервые намечается понятие бессознательного.

Интуитивно- или интроспективно-умозрительный метод, который вводится Декартом для познания духовных явлений, и идеалистически-рационалистическое содержание его учения получает дальнейшее, опосредованное Лейбницем, но лишенное оригинальности его идей, продолжение в абстрактной рационалистической системе *Х.Вольфа* (“*Psychologia empirica*”, 1732 и

¹ *Декарт Р.* Начала философии // Избранные произведения. М., 1950. Ч.1. § 9. С.429.

особенно “Psychologia rationalis”, 1740). Продолжение идеи Вольфа, дополненное эмпирическими наблюдениями над строением внутреннего мира, получает свое выражение в сугубо абстрактной и научно в общем бесплодной немецкой “психологии способностей” (И.Н.Тетенс); единственное ее нововведение, оказавшее влияние на дальнейшую психологию, это трехчленное деление психических явлений на разум, волю и чувство.

С другой стороны, тенденция, исходящая от того же Р.Декарта, связанная с его механистическим материализмом, получает продолжение у французских материалистов XVIII в., материализм которых, как указывал К.Маркс, имеет двойственное происхождение: от Декарта, с одной стороны, и от английского материализма — с другой. Начало картезианскому течению французского материализма кладет Э.Леруа; свое завершение оно получает у П.Ж.Ж.Кабаниса (в его книге “Rapport du Physique et du Morale chez l’Homme”), у П.А.Гольбаха и особенно у Ж.О. де Ламетри (“Человек — машина”); механистический материализм декартовской натурфилософии сочетается с английским сенсуалистическим материализмом Дж.Локка.

Радикальный сенсуалистический материализм зарождается с появлением капиталистических отношений в наиболее передовой стране того времени — Англии. Английский материализм выдвигает два основных принципа, оказавшие существенное влияние на развитие психологии. Первый — это принцип *сенсуализма*, чувственного опыта, как единственного источника познания; второй — это принцип *атомизма*, согласно которому задача научного познания психических, как и всех природных явлений, заключается в том, чтобы разложить все сложные явления на элементы, на атомы и объяснить их из связи этих элементов.

Умозрительному методу рационалистической философии английский эмпиризм противопоставляет опыт. Новые формы производства и развитие техники требуют не метафизических умозрений, а положительного знания природы: начинается расцвет естествознания.

Молодая буржуазия, вновь пришедший к жизни класс, чужда тенденций стареющего мира к уходу от жизни в умозрение. Интерес к потусторонним сущностям метафизики меркнет перед жадным практическим интересом к явлениям жизни в их чувственной осязательности. Устремленная к овладению природой в связи с начинающимся развитием техники мысль обращается к опыту. Ф.Бэкон, родоначальник английского материализма, первый в философии капиталистической эпохи иногда наивно, но ярко и знаменательно выражает эти тенденции.

Тенденции материалистического сенсуализма вслед за Бэконом продолжает П.Гассенди, воскресивший идеи Эпикура. Идеи Бэкона систематизирует Т.Гоббс (1588—1679), который развивает материалистическое и сенсуалистическое учение о психике. Он выводит все познание, а также и волю из ощущений, а ощущение признает свойством материи. У Гоббса, по определению Маркса, “материализм становится *односторонним*”. У Бэкона “материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку”. У Гоббса “чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность *геометра*”. “Материализм становится *враждебным человеку*. Чтобы преодолеть *враждебный человеку бесплотный дух* в его собственной области, материализму приходится самому умертвить свою плоть и сделаться *аскетом*”¹.

Дальнейшее развитие и непосредственное применение к психологии принципы эмпирической философии получают у Дж.Локка (1632—1704).

Критика умозрительного метода, направленного на познание субстанций, в локковской теории познания ведется в интересах поворота от умозрительной метафизики к опытному знанию. Но наряду с ощущением источником познания внешнего мира Локк признает “внутреннее чувство”, или рефлексю, отражающую в нашем сознании его же собственную внутреннюю деятельность; она дает нам “внутреннее бессознательное восприятие, что мы существуем”². Самый опыт, таким образом, разделяется на внешний и внутренний. Гно-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 143.

² Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. философ. произв.: В 2 т. М., 1960. Т. 1. С.600.

сеологический дуализм надстраивается у Локка над первоначальной материалистической основой сенсуализма. У Локка оформляются основы новой “эмпирической психологии”. На смену психологии как науки о душе выдвигается “психология без души” как наука о явлениях сознания, непосредственно данных во внутреннем опыте. Это понимание определяло судьбы психологии вплоть до XX в.

Из всей плеяды английских эмпиристов именно Локк имел бесспорно наибольшее значение непосредственно для психологии. Если же мы присмотримся к позиции Локка, то неизбежно придем к поразительному на первый взгляд, но бесспорному выводу: несмотря на то, что Локк как эмпирист противостоит рационализму Р.Декарта, он по существу в своей трактовке внутреннего опыта как предмета психологии дает лишь эмпирический вариант и сколок все той же декартовской концепции сознания. Предметом психологии является, по Локку, внутренний опыт; внутренний опыт познается путем рефлексии, отражения нашего внутреннего мира в себе самом; эта рефлексия дает нам “внутреннее непогрешимое восприятие своего бытия”: такова локковская транскрипция декартовского “*cogito, ergo sum*” (“я мыслю, значит я существую”). Вместе с тем Локк по существу устанавливает интроспекцию как специфический путь психологического познания и признает ее специфическим и притом “непогрешимым” методом познания психики. Так в рамках эмпирической психологии устанавливается интроспективная концепция сознания как особого замкнутого в себе и самоотражающегося внутреннего мира. Сенсуалистические идеи Локка далее развивает во Франции Э.Б. де Кондильяк (1715—1780), который придает локковскому сенсуализму более радикальный характер. Он отвергает, как и Д.Дидро (который выпускает свой трактат по психологии под показательным названием “Физиология человека”), К.А.Гельвеций, Ж.О. де Ламетри, Ж.Б.Р.Робини и другие французские материалисты, “рефлексию”, или внутреннее чувство, Локка в качестве независимого от ощущения источника познания. В Германии сенсуалистический материализм выступает обогащенный новыми мотивами, почерпнутыми из классической немецкой идеалистической фило-

софии первой половины XIX в., из философии Л.Фейербаха.

Второй из двух основных принципов английского сенсуалистического материализма, который мы обозначили как принцип атомизма, получает свою конкретную реализацию в психологии в учении об ассоциациях. Основоположниками этого ассоциативного направления в психологии, оказавшегося одним из наиболее мощных ее течений, являются Д.Юм и Д.Гартли. Гартли закладывает основы ассоциативной теории на базе материализма. Его ученик и продолжатель *Дж.Пристли* (1733—1804) провозглашает обусловленность всех психических явлений колебаниями мозга и, отрицая принципиальную разницу между психическими и физическими явлениями, рассматривает психологию как часть физиологии.

Идея ассоциативной психологии получает в дальнейшем особое развитие — но уже не на материалистической, а на феноменалистической основе — у Д. Юма. Влияние, оказанное Юмом на развитие философии, особенно английской, способствовало распространению ассоциативной психологии.

Под несомненным влиянием ньютоновской механики и ее закона притяжения Юм вводит в качестве основного принципа ассоциацию, как своего рода притяжение представлений, устанавливающее между ними внешние механические связи. Все сложные образования сознания, включая сознание своего “я”, а также объекты внешнего мира являются лишь “пучками представлений”, объединенных между собой внешними связями — ассоциациями. Законы ассоциаций объясняют движение представлений, течение психических процессов и возникновение из элементов всех сложных образований сознания.

Таким образом, и внутри ассоциативной психологии друг другу противостоят материалистическое направление, которое связывает или даже сводит психические процессы к физиологическим, и субъективно-идеалистическое направление, для которого все сводится к ассоциации субъективных образов-представлений. Эти два направления объединяет механицизм. Ассоциативное направление оказалось самым мощным течением оформившейся в середине XIX в. психологической науки.

Отмечая значение тех социальных сдвигов, которые совершаются в истории Европы на переломе от XVII к XVIII в., для истории науки, Ф.Энгельс характеризует это время как период превращения знания в науку (“знание стало наукой, и науки приблизились к своему завершению, т. е. сомкнулись, с одной стороны, с философией, с другой — с практикой”)¹. В отношении психологии нельзя полностью сказать того же, что говорит Энгельс в этом контексте о математике, астрономии, физике, химии, геологии. Она в XVIII в. еще не оформилась окончательно в подлинно самостоятельную науку, но и для психологии именно в это время были созданы философские основы, на которых затем в середине XIX в. было воздвигнуто здание психологической науки. У Р.Декарта параллельно с понятием рефлекса впервые выделяется современное понятие сознания; у Дж.Локка оно получает эмпирическую интерпретацию (в понятии рефлексии), определяющую его трактовку и в экспериментальной психологии в период ее зарождения и первых этапов развития. Обоснование у английских и французских материалистов связи психологии с физиологией и выявление роли ощущений создает предпосылки для превращения психофизиологических исследований органов чувств первой половины XIX в. в исходную базу психологической науки. Р.Декарт и Б.Спиноза закладывают основы новой психологии аффектов, отзвуки которой сказываются вплоть до теории эмоций Джемса—Ланге. В этот же период у английских эмпириков — у Д.Гартли, Дж.Пристли и затем у Д.Юма — под явным влиянием идей ньютоновской механики формулируется основной объяснительный принцип, которым будет оперировать психологическая наука XIX в., — принцип ассоциаций. В этот же период у Г.Лейбница в понятии апперцепции (которое затем подхватывает В.Вундт) намечаются исходные позиции, с которых в недрах психологической науки XIX в. на первых порах будет вестись борьба против механистического принципа ассоциации в защиту идеалистически понимаемой активности.

Немецкая идеалистическая философия конца XVIII и начала XIX в. на развитие

психологии сколько-нибудь значительно непосредственного влияния не оказала.

Из представителей немецкого идеализма начала XIX в. часто отмечалось влияние И.Канта. Кант, однако, лишь попутно касается некоторых частных вопросов психологии (например, проблемы темперамента в “Антропологии”), громит с позиций “трансцендентального идеализма” традиционную “рациональную психологию” и, поддаваясь влиянию в общем бесплодной немецкой психологии способностей (главного представителя которой — И.Н.Тетенса — он очень ценит), относится крайне скептически к возможности психологии как науки. Но влияние его концепции отчетливо сказывается на первых исследованиях по психофизиологии органов чувств в трактовке ощущений (И.Мюллер, Г.Гельмгольц), <...> однако психофизиология развивается как наука не благодаря этим кантовским идеям, а вопреки им.

Из философов начала XIX в. — периода, непосредственно предшествовавшего оформлению психологии как науки, наибольшее внимание проблемам психологии уделяет стоящий особняком от основной линии философии немецкого идеализма И.Ф.Герbart. Главным образом в интересах педагогики, которую он стремится обосновать как науку, основывающуюся на психологии, Герbart хочет превратить психологию в “механику представлений”. Он подверг резкой критике психологию способностей, которую до него развили представители английского ассоцианизма, и попытался ввести в психологию метод математического анализа.

Эта попытка превратить психологию как “механику представлений” в дисциплину, оперирующую, наподобие ньютоновской механики, математическим методом, у Гербарта не увенчалась и не могла увенчаться успехом, так как математический анализ у него применялся к малообоснованным умозрительным построениям. Для того чтобы применение математического анализа получило в психологии почву и приобрело подлинно научный смысл, необходимы были конкретные исследования, которые вскоре начались в плане психофизиологии и психофизиологии.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 599.

Подводя итоги тому, что дал XVIII в., вершиной которого в науке был материализм, Ф.Энгельс писал: “Борьба против абстрактной субъективности христианства привела философию восемнадцатого века к противоположной односторонности; субъективности была противопоставлена объективность, духу — природа, спиритуализму — материализм, абстрактно-единичному — абстрактно-всеобщее, субстанция... Восемнадцатый век, следовательно, не разрешил великой противоположности, издавна занимавшей историю и заполнявшей ее своим развитием, а именно: противоположности субстанции и субъекта, природы и духа, необходимости и свободы; но он противопоставил друг другу обе стороны противоположности во всех их остроте и полноте развития и тем самым сделал необходимым уничтожение этой противоположности”¹.

Этого противоречия не разрешила и не могла разрешить немецкая идеалистическая философия конца XVIII и начала XIX в.; она не могла создать новых философских основ для психологии.

В 1844—1845 гг., когда формируются взгляды К.Маркса, им не только закладываются основы общей научной методологии и целостного мировоззрения, но и намечаются специально новые основы для построения психологии.

Еще до того в этюдах и экскурсах, служивших подготовительными работами для “Святого семейства” (1845), имеющих самое непосредственное отношение к психологии и особенное для нее значение, в “Немецкой идеологии” (1846—1847), посвященной анализу и критике послегегелевской и фейербаховской философии, Маркс и Энгельс формулируют ряд положений, которые закладывают новые основы для психологии. В 1859 г., т. е. одновременно с “Элементами психофизики” Г.Т.Фехнера, от которых обычно ведут начало психологии как экспериментальной науки, выходит в свет работа Маркса “К критике политической экономии”, в предисловии к которой он с классической четкостью формулирует основные положения своего мировоззрения, в том числе свое учение о взаимоотношении сознания и бытия. Однако ученые, которые в середине

XIX в. вводят экспериментальный метод в психологию и оформляют ее как самостоятельную экспериментальную дисциплину, проходят мимо этих идей нарождающегося тогда философского мировоззрения; психологическая наука, которую они строят, неизбежно стала развиваться в противоречии с основами марксистской методологии. То, что в этот период сделано классиками марксизма для обоснования новой, подлинно научной психологии, однако, обрывается лишь временно, с тем чтобы получить дальнейшее развитие почти через столетие в советской психологии.

Оформление психологии как экспериментальной науки

Переход от знания к науке, который для ряда областей должен быть отнесен к XVIII в., а для некоторых (как-то механика) еще к XVII в., в психологии совершается к середине XIX в. Лишь к этому времени многообразные психологические знания оформляются в самостоятельную науку, вооруженную собственной, специфической для ее предмета методикой исследования и обладающей своей системой, т.е. специфической для ее предмета логикой построения относящихся к нему знаний.

Методологические предпосылки для оформления психологии как науки подготовили главным образом те, связанные с эмпирической философией, течения, которые провозгласили в отношении познания психологических, как и всех других, явлений необходимость поворота от умозрения к опытному знанию, осуществленного в естествознании в отношении познания физических явлений. Особенно значительную роль сыграло в этом отношении материалистическое крыло эмпирического направления в психологии, которое связывало психические процессы с физиологическими.

Однако, для того чтобы переход психологии от более или менее обоснованных знаний и воззрений к науке действительно осуществился, необходимо было еще соответствующее развитие научных областей, на которые психология должна опираться, и выработка соответствующих методов исследования. Эти последние предпосыл-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С.599—600.

ки для оформления психологической науки дали работы физиологов первой половины XIX в.

Опираясь на целый ряд важнейших открытий в области физиологии нервной системы (Ч.Белла, показавшего наличие различных чувствующих и двигательных нервов и установившего в 1811 г. основные законы проводимости¹, И.Мюллера, Э.Дюбуа-Реймона, Г.Гельмгольца, подвергших измерению проведение возбуждения по нерву), физиологи создали целый ряд капитальных трудов, посвященных общим закономерностям чувствительности и специально работе различных органов чувств (работы И.Мюллера и Э.Г.Вебера, работы Т.Юнга, Г.Гельмгольца и Э.Геринга по зрению, Г.Гельмгольца по слуху и т. д.). Посвященные физиологии органов чувств, т.е. различным видам чувствительности, эти работы в силу внутренней необходимости переходили уже в область психофизиологии ощущений.

Особенное значение для развития экспериментальной психологии приобрели исследования Э.Г.Вебера, посвященные вопросу об отношении между приростом раздражения и ощущением, которые были затем продолжены, обобщены и подвергнуты математической обработке Г.Т.Фехнером <...>. Этим трудом были заложены основы новой специальной области экспериментального психофизического исследования.

Результаты всех этих исследований объединил, отчасти дальше развил и систематизировал в психологическом плане в своих "Основах физиологической психологии" В.Вундт (1874). Он собрал и усовершенствовал в целях психологического исследования методы, выработанные первоначально физиологами.

В 1861 г. В.Вундт изобретает первый элементарный прибор специально для целей экспериментального психологического исследования. В 1879 г. он организует в Лейпциге лабораторию физиологической психологии, в конце 80-х гг. преобразованную в Институт экспериментальной психологии. Первые экспериментальные работы Вундта и многочисленных учеников были посвящены психофизиологии ощу-

щений, скорости простых двигательных реакций, выразительным движениям и т.д. Все эти работы были, таким образом, сосредоточены на элементарных психофизиологических процессах; они целиком еще относились к тому, что сам Вундт называл *физиологической психологией*. Но вскоре эксперимент, проникновение которого в психологию началось с элементарных процессов, лежащих как бы в пограничной между физиологией и психологией области, стал шаг за шагом внедряться в изучение центральных психологических проблем. Лаборатории экспериментальной психологии стали создаваться во всех странах мира. Э.Б.Титченер выступил пионером экспериментальной психологии в США, где она вскоре получила значительное развитие.

Экспериментальная работа стала быстро шириться и углубляться. Психология превратилась в самостоятельную, в значительной мере экспериментальную науку, которая все более строгими методами начала устанавливать новые факты и вскрывать новые закономерности. За несколько десятилетий, прошедших с тех пор, фактический экспериментальный материал, которым располагает психология, значительно возрос; методы стали разнообразнее и точнее; облик науки заметно преобразился. Внедрение в психологию эксперимента не только вооружило ее очень мощным специальным методом научного исследования, но и вообще иначе поставило вопрос о методике психологического исследования в целом, выдвинув новые требования и критерии научности всех видов опытного исследования в психологии. Именно поэтому введение экспериментального метода в психологию сыграло такую большую, пожалуй, даже решающую роль в оформлении психологии как самостоятельной науки.

Наряду с проникновением экспериментального метода значительную роль в развитии психологии сыграло проникновение в нее принципа эволюции.

Эволюционная теория современной биологии, распространившись на психологию, сыграла в ней двойную роль: во-первых, она ввела в изучение психических

¹ Тот же Чарльз Белл явился, между прочим, и автором замечательного трактата о выразительных движениях.

явлений новую, очень плодотворную точку зрения, связывающую изучение психики и ее развития не только с физиологическими механизмами, но и с развитием организмов в процессе приспособления к среде. Еще в середине XIX в. Г.Спенсер строит свою систему психологии, исходя из принципа биологической адаптации. На изучение психических явлений распространяются принципы широкого биологического анализа. Сами психические функции в свете этого биологического подхода начинают пониматься как явления приспособления, исходя из той роли функции, которые они выполняют в жизни организма. Эта биологическая точка зрения на психические явления получает в дальнейшем значительное распространение. Превращаясь в общую концепцию, не ограничивающуюся филогенезом, она вскоре обнаруживает свою ахиллесову пятую, приводя к биологизации человеческой психологии.

Эволюционная теория, распространившаяся на психологию, привела, во-вторых, к развитию прежде всего зоопсихологии. В конце прошлого столетия благодаря ряду выдающихся работ (Ж.Леба, К.Ллойд-Моргана, Л.Хобхауза, Г.Дженнингса, Э.Л.Торндайка и других) зоопсихология, освобожденная от антропоморфизма, вступает на путь объективного научного исследования. Из исследований в области филогенетической сравнительной психологии (зоопсихологии) возникают новые течения общей психологии и в первую очередь поведенческая психология. <...>

Проникновение в психологию принципа развития не могло не стимулировать и психологических исследований в плане онтогенеза. Во второй половине XIX в. начинается интенсивное развитие и этой

отрасли генетической психологии — психологии ребенка. В 1877 г. Ч.Дарвин публикует свой “Биографический очерк одного ребенка”. Около того же времени появляются аналогичные работы И.Тэна, Э.Эггера и других. Вскоре, в 1882 г., за этими научными очерками-дневниками, посвященными наблюдениям за детьми, следует продолжающая их в более широком и систематическом плане работа В.Прейера “Душа ребенка”. Прейер находит множество последователей в различных странах. Интерес к детской психологии становится всеобщим и принимает интернациональный характер. Во многих странах создаются специальные исследовательские институты и выходят специальные журналы, посвященные детской психологии. Появляется ряд работ по психологии ребенка. Представители каждой сколько-нибудь крупной психологической школы начинают уделять ей значительное внимание. В психологии ребенка получают отражение все течения психологической мысли.

Наряду с развитием экспериментальной психологии и расцветом различных отраслей генетической психологии как знаменательный в истории психологии факт, свидетельствующий о значимости ее научных исследований, необходимо еще отметить развитие различных специальных областей так называемой прикладной психологии, которые подходят к разрешению различных вопросов жизни, опираясь на результаты научного, в частности экспериментального, исследования. Психология находит себе обширное применение в области воспитания и обучения, в медицинской практике, в судебном деле, хозяйственной жизни, военном деле, искусстве.

В. Вундт

СОЗНАНИЕ И ВНИМАНИЕ ¹

На вопрос о задаче психологии примыкающие к эмпирическому направлению психологи обыкновенно отвечают: эта наука должна изучать состояния сознания, их связь и отношения, чтобы найти в конце концов законы, управляющие этими отношениями.

Хотя это определение и кажется неопровержимым, однако оно до известной степени делает круг. Ибо, если спросить вслед за тем, что же такое сознание, состояние которого должна изучать психология, то ответ будет гласить: сознание представляет собою сумму сознаваемых нами состояний. Однако это не препятствует нам считать вышеприведенное определение наиболее простым, а поэтому пока и наилучшим. Ведь всем предметам, данным нам в опыте, присуще то, что мы, в сущности, можем не определить их, а лишь указать на них; или, если они сложны по природе своей, перечислить их свойства. Такое перечисление свойств мы, как известно, называем описанием, и к вышеприведенному вопросу о сущности психологии мы всего удобнее подойдем, если попытаемся возможно более точно описать во всех его свойствах сознание, состояния которого являются предметом психологического исследования.

В этом нам должен помочь небольшой инструмент, который хорошо знаком каждому, сколько-нибудь причастному к музыке человеку, — метроном. В сущности, это не что иное, как часовой механизм с вер-

тикально поставленным маятником, по которому может передвигаться небольшой груз для того, чтобы удары следовали друг за другом через равные интервалы с большей или меньшей скоростью. Если груз передвинуть к верхнему концу маятника, то удары следуют друг за другом с интервалом приблизительно в 2 секунды; если переместить его возможно ближе к нижнему концу, то время сокращается приблизительно до $\frac{1}{3}$ секунды. Можно установить любую степень скорости между этими двумя пределами. Однако можно еще значительно увеличить число возможных степеней скорости ударов, если совсем снять груз с маятника, причем интервал между двумя ударами сокращается до $\frac{1}{4}$ секунды. Точно так же можно с достаточной точностью установить и любой из медленных темпов, если имеется помощник, который вместо того чтобы предоставить маятнику свободно качаться, раскачивает его из стороны в сторону, отсчитывая интервалы по секундным часам. Этот инструмент не только пригоден для обучения пению и музыке, но и представляет собой простейший психологический прибор, который, как мы увидим, допускает такое многостороннее применение, что с его помощью можно демонстрировать все существенное содержание психологии сознания. Но чтобы метроном был пригоден для этой цели, он должен удовлетворять одному требованию, которому отвечает не всякий применяющийся на практике инструмент: именно сила ударов маятника должна быть в достаточной мере одинаковой, так, чтобы, даже внимательно прислушиваясь, нельзя было заметить разницу в силе следующих друг за другом ударов. Чтобы испытать инструмент в этом отношении, самое лучшее изменять произвольно субъективное ударение отдельных ударов такта, как это показано наглядно на следующих двух рядах тактов (см. рис. 1).

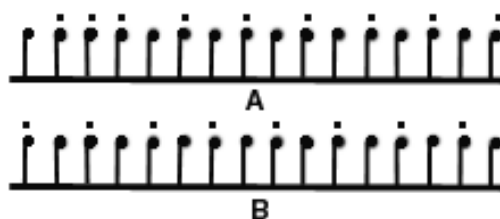


Рис. 1

¹ Хрестоматия по вниманию/ Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузыря, В.Я.Романова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С.8—24.

В этой схеме отдельные удары обозначены нотами, а более сильные удары — ударениями, поставленными над нотами. Ряд А представляет поэтому так называемый восходящий, а ряд В — нисходящий такт. Если окажется, что в ударах маятника мы по произволу можем слушать то восходящий, то нисходящий такт, т. е. можем слышать один и тот же удар то подчеркнутым более сильно, то звучащим более слабо, то такой инструмент будет пригодным для всех излагающихся ниже психологических экспериментов.

Хотя только что описанный опыт должен был служить лишь для испытания метронома, однако из него можно уже сделать один заслуживающий внимания психологический вывод. Именно при этом опыте замечается, что для нас в высшей степени трудно слышать удары маятника совершенно равными по силе, иначе говоря, слышать их не ритмически. Мы постоянно впадаем вновь в восходящий или нисходящий такт. Мы можем выразить этот вывод в таком положении: наше сознание ритмично по природе своей. Едва ли это обуславливается каким-либо специфическим, лишь сознанию присущим свойством, скорее это явление находится в тесной связи со всей нашей психофизической организацией. Сознание ритмично потому, что вообще наш организм устроен ритмично. Так, движения сердца, дыхание наше, ходьба ритмичны. Правда, в обычном состоянии мы не ощущаем биений сердца. Но уже дыхательные движения воздействуют на нас как слабые раздражения, и прежде всего движения при ходьбе образуют ясно различаемый задний фон нашего сознания. Ноги при ходьбе представляют собой как бы естественные маятники, движения которых, подобно движениям маятника метронома, обыкновенно следуют друг за другом ритмически, через равные интервалы времени. Когда мы воспринимаем в наше сознание впечатления через одинаковые интервалы, мы располагаем их в аналогичной этим нашим собственным внешним движениям ритмической форме, причем особый вид этой ритмической формы в каждом данном случае (хотим ли мы, например, составить ряд из нисходящих или из восходящих тактов) в известных границах остается предоставленным нашему свободному выбору, как это быва-

ет, например, при движениях ходьбы и их видоизменениях — в обычной ходьбе, в беге, в прыганье и, наконец, в различных формах танцев. Наше сознание представляет собою не какое-нибудь отдельное от нашего физического и духовного бытия существо, но совокупность наиболее существенных для духовной стороны этого бытия содержаний.

Из вышеописанных опытов с метрономом можно получить и еще один результат, если мы будем изменять длину восходящих или нисходящих рядов тактов. В приведенной выше схеме каждый из рядов А и В состоит из 16 отдельных ударов или, если считать повышение и понижение за один удар, 8 двойных ударов. Если мы внимательно прослушаем ряд такой длины при средней скорости ударов метронома в $1-1\frac{1}{2}$ секунды и после короткой паузы повторим ряд точно такой же длины, то мы непосредственно заметим их равенство. Равным образом, тотчас же замечается и различие, если второй ряд будет хотя бы на один удар длиннее или короче. При этом безразлично, будет ли этот ряд состоять из восходящих или нисходящих тактов (по схеме А или В). Ясно, что такое непосредственное воспризнание равенства последующего ряда с предшествующим возможно лишь в том случае, если каждый из них был дан в сознании целиком, причем, однако, отнюдь не требуется, чтобы оба они сознавались вместе. Это станет ясным без дальнейших объяснений, если мы представим себе условия аналогичного воспризнания при сложном зрительном впечатлении. Если посмотреть, например, на правильный шестиугольник и затем во второе мгновение вновь на ту же фигуру, то мы непосредственно познаем оба впечатления как тождественные. Но такое воспризнание становится невозможным, если разделить фигуру на многие части и рассматривать их в отдельности. Совершенно также и ряды тактов должны восприниматься в сознании целиком, если второй из них должен производить то же впечатление, что и первый. Разница лишь в том, что шестиугольник, кроме того, воспринимается во всех своих частях разом, тогда как ряд тактов возникает последовательно. Но именно в силу этого такой ряд тактов как целое имеет ту выгоду, что дает возможность точно опре-

делить границу, до которой можно идти в прибавлении отдельных звеньев этого ряда, если желательно воспринять его еще как и целое. При этом из такого рода опытов с метрономом выясняется, что объем в 16 следующих друг за другом в смене повышений и понижений (так называемый $\frac{2}{8}$ такт) ударов представляет собою тот максимум, которого может достигать ряд, если он должен еще сознаваться нами во всех своих частях. Поэтому мы можем смотреть на такой ряд как на меру объема сознания при данных условиях. Вместе с тем выясняется, что эта мера в известных пределах независима от скорости, с которой следуют друг за другом удары маятника, так как связь их нарушается лишь в том случае, если или вообще ритм становится невозможным вследствие слишком медленного следования ударов друг за другом, или же в силу слишком большой скорости нельзя удержать более простой ритм $\frac{2}{8}$ такта, и стремление к связному восприятию порождает более сложные сочетания. Первая граница лежит приблизительно около $2\frac{1}{2}$, последняя — около 1 секунды.

Само собою разумеется, что, называя наибольший, еще целиком удерживаемый при данных условиях в сознании ряд тактов “объемом сознания”, мы разумеем под этим названием не совокупность всех состояний сознания в данный момент, но лишь составное целое, воспринимаемое в сознании, как единое. Образно выражаясь, мы измеряем при этом, если сравнить сознание с плоскостью ограниченного объема, не саму плоскость во всем ее протяжении, но лишь ее поперечник. Этим, конечно, не исключается возможность многих других разбросанных содержаний, кроме измеряемого. Но, в общем, их тем более можно оставить без внимания, что в этом случае благодаря сосредоточению сознания на измеряемом содержании все лежащие вне его части образуют неопределенные, изменчивые и по большей части легко изолируемые содержания.

Если объем сознания в указанном смысле и представляет собою при соблюдении определенного такта, например $\frac{2}{8}$, относительно определенную величину, которая в указанных границах остается неизменной при различной скорости ударов маятника, зато изменение самого такта



Рис. 2

оказывает тем большее влияние на объем сознания. Такое изменение отчасти зависит от нашего произвола. В равномерно протекающем ряде тактов мы можем с одинаковым успехом слышать как $\frac{2}{8}$ такта, так и более сложный, например, $\frac{4}{4}$ такта.

Такой ритм получается, когда мы вводим различные степени повышения, например, ставим самое сильное из них в начале ряда, среднее по силе — в середине и каждое из слабых — посередине обеих половин всего такта, как это показано на только что приведенной схеме (рис. 2), в которой самое сильное повышение обозначено тремя ударами, среднее — двумя и самое слабое — одним. Помимо произвольного удара, однако, и этот переход к более сложным тактам в высокой степени зависит от скорости в последовательности ударов. Тогда как именно при больших интервалах лишь с трудом возможно выйти за пределы простого $\frac{2}{8}$ такта, при коротких интервалах, наоборот, необходимо известное напряжение для того, чтобы противостоять стремлению к переходу к более сложным ритмам. Когда мы слушаем непосредственно, то при интервале в $\frac{1}{2}$ секунды и менее очень легко возникает такт вроде вышеприведенного $\frac{4}{4}$ такта, который объединяет восемь ударов в один такт, тогда как простой $\frac{2}{8}$ такт содержит в себе лишь два удара. Если теперь измерить по вышеуказанному способу объем сознания для такого, более богато расчлененного ряда тактов, то окажется, что еще пять $\frac{4}{4}$ такта, построенных по приведенной выше схеме, схватываются как одно целое, и если их повторить после известной паузы, они воспризнаются как тождественные. Таким образом, объем сознания при этом более сложном ритмическом делении составляет не менее 40 ударов такта вместо 16 при наиболее простой группировке. Можно, правда, произвольно составить еще более сложные расчленения такта, например, $\frac{6}{4}$ такта. Но так как это усложнение ритма со своей стороны требует из-

вестного напряжения, длина ряда, воспринимаемого еще как отдельное целое, не увеличивается, но скорее уменьшается.

При этих опытах обнаруживается еще дальнейшее замечательное свойство сознания, тесно связанное с его ритмической природой. Три степени повышения, которые мы видели в вышеприведенной схеме $\frac{4}{4}$ такта, образуют именно *maximum* различия, который нельзя перейти. Если мы причтем сюда еще понижения такта, то четыре степени интенсивности исчерпают все возможные градации в силе впечатлений. Очевидно, что это количество степеней определяет также и ритмическое расчленение целого ряда, а вместе с тем и его объединение в сознании, и, наоборот, ритм движений такта обуславливает то число градаций интенсивности, которое в расчленении рядов необходимо в качестве опорных пунктов для объединения в сознании. Таким образом, оба момента находятся в тесной связи друг с другом: ритмическая природа нашего сознания требует определенных границ для количества градаций в ударе, а это количество, в свою очередь, обуславливает специфическую ритмическую природу человеческого сознания.

Чем обширнее ряды тактов, объединяемых в целое при описанных опытах, тем яснее обнаруживается еще другое весьма важное для сущности сознания явление. Если обратить внимание на отношение воспринятого в данный момент удара такта к непосредственно предшествовавшим и, далее, сравнить эти непосредственно предшествовавшие удары с ударами объединенного в целое ряда, воспринятыми еще раньше, то между всеми этими впечатлениями обнаружатся различия особого рода, существенно отличные от различий в интенсивности и равнозначных с ними различий в ударе. Для обозначения их всего целесообразнее воспользоваться выражениями, сложившимися в языке для обозначения зрительных впечатлений, в которых эти различия равным образом относительно независимы от интенсивности света. Эти обозначения — ясность и отчетливость, значения которых почти совпадают друг с другом, но все-таки указывают различные стороны процесса, поскольку ясность более относится к собственному свойству впечатления, а отчетливость — к его ограничению от других впечатлений.

Если мы перенесем теперь эти понятия в обобщенном смысле на содержания сознания, то заметим, что ряд тактов дает нам самые различные степени ясности и отчетливости, в которых мы ориентируемся по их отношению к удару такта, воспринимаемому в данный момент. Этот удар воспринимается всего яснее и отчетливее; ближе всего стоят к нему только что минувшие удары, а затем чем далее отстоят от него удары, тем более они теряют в ясности. Если удар миновал уже настолько давно, что впечатление от него вообще исчезает, то, выражаясь образно, говорят, что оно погрузилось под порог сознания. При обратном процессе образно говорят, что впечатление поднимается над порогом. В подобном же смысле для обозначения постепенного приближения к порогу сознания, как это мы наблюдаем в отношении давно минувших ударов в опытах с маятником метронома, пользуются образным выражением потемнения, а для противоположного изменения — прояснения содержания сознания. Пользуясь такого рода выражениями, можно поэтому следующим образом формулировать условия объединения состоящего из разнообразных частей целого, например, ряда тактов: объединение возможно до тех пор, пока ни одна составная часть не погрузилась под порог сознания. Для обозначения наиболее бросающихся в глаза различий ясности и отчетливости содержания сознания обыкновенно пользуются в соответствии с образами потемнения и прояснения еще двумя наглядными выражениями: о наиболее отчетливо воспринимаемом содержании говорят, что оно находится в фиксации точки (*Blickpunkt*) сознания, о всех же остальных — что они лежат в зрительном поле (*Blickfeld*) сознания. В опытах с метрономом, таким образом, воздействующий на нас в данный момент удар маятника каждый раз находится в этой внутренней точке фиксации, тогда как предшествующие удары тем более переходят во внутреннее зрительное поле, чем далее они отстоят от данного удара. Поэтому зрительное поле можно наглядно представить себе как окружающую фиксационную точку область, которая непрерывно тускнеет по направлению к периферии, пока, наконец, не соприкоснется с порогом сознания.

Из последнего образного выражения уже ясно, что так называемая точка фиксации сознания, в общем, обозначает лишь идеальное сосредоточие центральной области, внутри которой могут ясно и отчетливо восприниматься многие впечатления. Так, например, воздействующий на нас в данный момент удар при опытах с метрономом, конечно, находится в фиксационной точке сознания, но только что перед ним воспринятые удары сохраняют еще достаточную степень ясности и отчетливости, чтобы объединяться с ним в более ограниченной, отличающейся от остального зрительного поля своею большею ясностью области. И в этом отношении психические процессы соответствуют заимствованному из сферы зрительных восприятий образу, где также один из пунктов так называемого зрительного поля является точкой фиксации, кругом которой может быть ясно воспринято еще значительное количество впечатлений. Именно этому обстоятельству обязаны мы тем, что вообще можем в одно мгновение схватить какой-либо цельный образ, например, прочесть слово. Для центральной части зрительного поля нашего сознания, непосредственно прилегающей к внутренней фиксационной точке, давно уже создано под давлением практических потребностей слово, которое принято и в психологии. Именно мы называем психический процесс, происходящий при более ясном восприятии ограниченной сравнительно со всем полем сознания области содержания, вниманием. Поэтому о тех впечатлениях или иных содержаниях, которые в данное мгновение отличаются от остальных содержания сознания особенной ясностью, мы говорим, что они находятся в фокусе внимания. Сохраняя прежний образ, мы можем поэтому мыслить их как центральную, расположенную вокруг внутренней фиксационной точки область, которая отделена от остального, все более тускнеющего по направлению к периферии зрительного поля более или менее резкой пограничной линией. Отсюда сейчас же возникает новая экспериментальная задача, дающая важное добавление к вышеизложенному измерению всего объема сознания. Она заключается в ответе на возникающий теперь вопрос: как велик этот более тесный объем внимания?

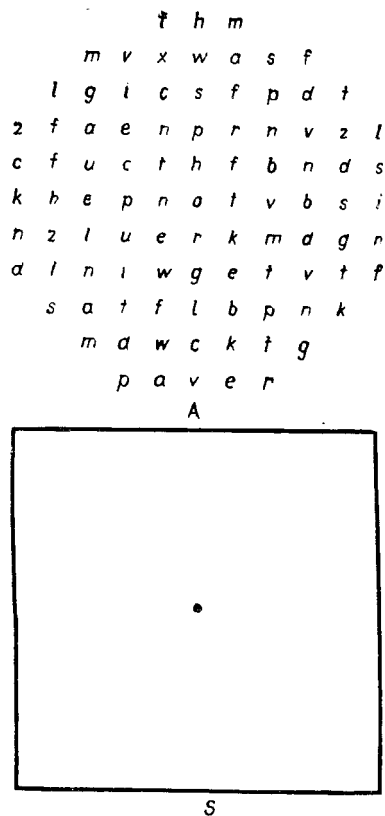


Рис.3

Насколько удобны ритмические ряды, в силу присущего им расчленения, для определения всего объема сознания, настолько же малоприспособны они, в силу того же самого свойства, для разрешения второй задачи. Ибо ясно, что как раз вследствие той связи, которую ритм известного ряда тактов устанавливает между фокусом внимания и остальным полем сознания, точное разграничение между обеими областями становится невозможным. Правда, мы замечаем с достаточной ясностью, что вместе с непосредственно воздействующим ударом такта в фокус внимания попадают также и некоторые предшествующие ему удары, но сколько именно — это остается неизвестным. В этом отношении чувство зрения находится, конечно, в более благоприятных условиях. В чувстве зрения именно можно наблюдать, что физиологические условия зрения, взятые сами по себе, независимо от психологического ограничения нашего ясного восприятия ограничивают восприятие протяженных предметов, так как

более ясное отличие впечатления ограничено так называемой областью “ясного видения”, окружающей фиксационную точку. В этом легко убедиться, если твердо фиксировать одним глазом на расстоянии 20—25 см центральную букву О на прилагаемой таблице (рис. 3), а другой глаз закрыть. Тогда можно, направляя внимание на расположенные по краям точки зрительного поля, воспринимать еще буквы, лежащие на периферии этого круга из букв, например, верхнее h или находящееся справа f. Этот опыт требует известного навыка в фиксации, так как при естественном, непринужденном зрении мы всегда бываем склонны направлять на тот пункт, на который обращено наше внимание, также и нашу оптическую линию. Если же приучиться направлять свое внимание на различные области зрительного поля, в то время как фиксационная точка остается неизменной, то такие опыты покажут, что фиксационная точка внимания и фиксационная точка поля зрения отнюдь не тождественны и при надлежащем управлении вполне могут отделяться друг от друга, ибо внимание может быть обращено и на так называемую непрямо видимую, т. е. находящуюся где-либо в стороне, точку. Отсюда становится в то же время ясным, что отчетливое восприятие в психологическом и отчетливое видение в физиологическом смысле далеко не необходимо совпадают друг с другом. Если, например, фиксировать среднюю букву О в вышеприведенной фигуре, в то время как внимание обращено на лежащую в стороне букву n, то расположенные вокруг n буквы f, g, s, i воспринимаются отчетливо, тогда как находящиеся вокруг О буквы h, t, r, n отступают в более темное зрительное поле сознания. Нужно только сделать эту таблицу из букв такой величины, чтобы при рассмотрении ее с расстояния в 20—25 см она приблизительно равнялась объему области ясного видения, причем за критерий последнего принимается возможность отчетливо различать буквы такой величины, как шрифт этой книги. Поэтому только что упомянутые наблюдения сейчас же показывают нам, что объем фокуса внимания и области отчетливого видения в физиологическом смысле также настолько далеко расходятся друг с другом,

насколько отчетливое видение в физиологическом смысле при вышеуказанных условиях, очевидно, охватывает гораздо большую область, чем объем фокуса внимания. Помещенная выше фигура содержит 95 букв. Если бы мы должны были все физиологически отчетливо видимые предметы отчетливо воспринимать также и в психологическом смысле, то, фиксируя букву О, мы схватили бы все буквы таблицы. Но это отнюдь не бывает, и в каждый данный момент мы всегда различаем лишь немногие буквы, окружающие внутреннюю фиксационную точку внимания, будет ли она совпадать с внешней фиксационной точкой зрительного поля, как при обычном зрении, или же при нарушении этой связи лежать где-либо эксцентрически.

Хотя уже и эти наблюдения над одновременным восприятием произвольно сгруппированных простых объектов, например, букв, с достаточной определенностью указывают на довольно тесные границы объема внимания, однако с помощью только их нельзя решить вопрос о величине этого объема вполне точно, т. е. выразить его в числах, подобно тому, как это оказалось возможным при определении объема сознания посредством опытов с метрономом. Однако эти опыты над зрением можно без сложных приборов видоизменить таким образом, что они будут пригодны для разрешения этой задачи, если только не упускать из виду, что непосредственные результаты естественным образом и здесь имеют значение лишь при допущении особых условий. Для этой цели скомбинируем несколько таких таблиц букв, как вышеприведенная, каждый раз с новым расположением элементов. Кроме того, нужно изготовить несколько большую по размерам ширму из белого картона с маленьким черным кружком посередине. Этой ширмой S закрывают выбранную для отдельного опыта фигуру А и просят экспериментируемое лицо, которому фигура неизвестна, фиксировать находящийся в центре маленький черный кружочек, причем другой глаз остается закрытым. Затем с большой скоростью сдвигают ширму на мгновение в сторону и вновь возможно быстрее закрывают ею фигуру. Скорость при этом должна быть достаточно большой

для того, чтобы в то время, как фигура остается открытой, не произошло ни движения глаза, ни отклонения внимания за поле зрения¹. При повторении опыта необходимо точно так же каждый раз выбирать таблицы букв, так как в противном случае отдельное моментальное впечатление будет дополняться предшествовавшими восприятиями. Чтобы получить однозначные результаты, нужно найти такие условия опыта, при которых влияние прежних впечатлений отпадало бы и задача, следовательно, сводилась бы к вопросу: как велико число простых, вновь вступающих в сознание содержаний, которые могут попасть в данный момент в фокус внимания? Относительно постановки вопроса можно было бы, конечно, возразить против нашего метода проведения опытов, что буква является не простым содержанием сознания и что можно было бы выбрать еще более простые объекты, например, точки. Но так как точки ничем не отличаются друг от друга, то это вновь в высшей степени затруднило бы опыт или даже сделало бы его невозможным. С другой стороны, в пользу буквенных обозначений говорит их привычность, благодаря которой буквы обычного шрифта схватываются так же быстро, как и отдельная точка — факт, в котором легко убедиться через наблюдение. Вместе с тем буквенные обозначения благодаря своим характерным отличиям имеют ту выгоду, что они легко удерживаются в сознании даже после мгновенного воздействия, почему после опыта возможно бывает дать отчет об отчетливо воспринятых буквах. Если мы будем производить опыты указанным образом, то заметим, что неопытный еще наблюдатель по большей части может непосредственно схватить не более 3—4 букв. Но уже после немногих, конечно, как было сказано, каждый раз с новыми объектами произведенных опытов число удерживаемых в сознании букв повышается до 6. Но уже выше этого числа количество удержанных букв не поднимается, несмотря на дальнейшее упражнение, и остается неиз-

менным у всех наблюдателей. Поэтому его можно считать постоянной величиной внимания для человеческого сознания.

Впрочем, нужно заметить, что это определение объема внимания связано с одним условием, как раз противоположным приведенному нами при объяснении измерения объема сознания. Последнее было возможно лишь благодаря воздействию рядов впечатлений, связанных в объединенное целое. При измерении объема внимания мы, наоборот, должны были изолировать друг от друга отдельные впечатления, так, чтобы они образовывали любые не объединенные и неупорядоченные группы элементов. Эта разница условий зависит не исключительно от того, что один раз, при опытах с метрономом участвует чувство слуха, другой раз, при опытах со зрением — зрительное чувство. Скорее, наоборот, мы уже сразу можем высказать предположение, что в первом случае главную роль играют психологические условия соединения элементов в единое целое, в другом, — наоборот, изоляция их. Поэтому сам собою возникает вопрос: какое изменение произойдет, если мы заставим до известной степени обменяться своими ролями зрение и слух, т.е. если на зрение будут воздействовать связные, объединенные в целое впечатления, а на слух, напротив, — изолированные? Простейший же способ связать отдельные буквы в упорядоченное целое — это образовать из них слова и предложения. Ведь сами буквы — не что иное, как искусственно выделенные из такого естественного образования элементы. Если произвести описанные выше опыты (с тахистоскопом) над этими действительными составными частями речи, то результаты, в самом деле, получатся совершенно иные. Положим, что экспериментируемому лицу предлагается слово вроде следующего: *wahlverwandtschaften*, тогда даже малоопытный наблюдатель может сразу прочесть его без предварительной подготовки. В то время, следовательно, как изолированных элементов он с трудом мог воспринять 6, теперь он без малейшего затруднения воспринимает 20 и более элемен-

¹ Для более точного и равномерного выполнения этого опыта целесообразно воспользоваться одним простым прибором, так называемым тахистоскопом (от греч. *tachiste* — как можно скорее и *scopos* — смотрю), у которого падающая ширма на очень короткое и точно измеримое время позволяет видеть открывающуюся фигуру. Но если нет этого аппарата под руками, то достаточно и вышеописанного опыта, для которого требуется только большая быстрота рук.

тов. Очевидно, что по существу это тот же случай, который самим нам встречался и при опытах с ритмическими слуховыми восприятиями. Лишь условия связи здесь иные, поскольку то, что в зрительном образе дается нам как единовременное впечатление, при слухе слагается из последовательности простых впечатлений. С этим стоит в связи еще другое различие. Слово только тогда может быть схвачено в одно мгновение, если оно уже раньше было известно нам как целое или по крайней мере при сложных словах, в своих составных частях. Слово совершенно неизвестного нам языка удерживается поэтому не иначе, как лишь в комплексе необъединенных в целое букв, и мы видим, что тогда воспринимается не более 6 изолированных элементов. Напротив, при ритмическом ряде ударов маятника дело совсем не в форме такта, связывающего отдельные удары, так как мы можем мысленно представить себе любое ритмическое расчленение, лишь бы оно не противоречило общей природе сознания, например, не превышало вышеупомянутое условие *maximum* в 3 повышения. При всем том, как вытекает из этого требования, указанная разница в восприятии последовательного и одновременного целого, как оно бывает при опытах над слухом и зрением, в сущности говоря, лишь кажущаяся. Адекватный нашему ритмическому чувству размер, в общем, относится к нему не иначе, как соответствующее нашему чувству речи целое слово или целое предложение. Поэтому и в опытах с чтением, совершенно так же как и в опытах с метрономом, мы должны будем предположить, что вниманием схватывается не целое, состоящее из многих элементов слов как целое, но что в объем его каждый данный момент попадает лишь ограниченная часть этого целого, от которой психическое сцепление элементов переходит к тем частям, которые находятся в более отдаленных зрительных полях сознания. В самом деле, существует общеизвестный факт, который дает поразительное доказательство этому сцеплению воспринятой вниманием части целого слова или предложения со смутно сознаваемыми содержаниями. Это прежде всего тот факт, что при беглом чтении мы очень легко можем просмотреть опечатки или описки. Это было бы невозможно, если бы для того, что-

бы читать, мы должны были бы одинаково отчетливо воспринять в нашем сознании все элементы сравнительно длинного слова или даже целого предложения. В действительности же в фокус внимания в каждый данный момент попадают лишь немногие элементы, от которых затем тянутся нити психических связей к лишь неотчетливо воспринятым, даже отчасти лишь физиологически в области непрямого видения падающим впечатлениям; совершенно также и в слуховом восприятии ритма моментально воздействующие слуховые впечатления соединяются с предшествовавшими, отошедшими в область более смутного сознания, и подготавливают наступление будущих, еще ожидающихся. Главная разница обоих случаев лежит не столько в формальных условиях объема внимания и сознания, сколько в свойстве элементов и их сочетаний.

Если мы обратимся теперь, получив такие результаты от опытов над зрением, вновь к нашим наблюдениям над метрономом, то очевидно, что через эту аналогию тотчас же возникает вопрос, нельзя ли и при опытах с маятником найти такие условия, которые делали бы возможной такую же изоляцию простых элементов, какая была нужна для измерения объема внимания в области чувства зрения. Действительно, и в опытах с метрономом такая изоляция ударов такта произойдет тотчас же, как только мы не будем делать мысленно никаких ударений, слушая удары маятника, так что не будет даже простейшего размера в $\frac{2}{8}$ такта. Ввиду ритмической природы нашего сознания и всей нашей психофизической организации это, конечно, не так легко, как может показаться с первого взгляда. Все-таки мы всегда будем склонны воспринимать эти удары маятника как ряд, протекающий по крайней мере в $\frac{2}{8}$ размера с равными интервалами. Тем не менее, если только в ударах маятника нет заметной объективной разницы, удастся достигнуть этого условия без особого труда. Только при этом промежутке между ударами такта должен быть достаточно большой, чтобы мешать нашей склонности к ритмическому расчленению и в то же время допускать еще объединение ударов в целое. Этому требованию, в общем, отвечает интервал в $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ секунды. В этих пределах можно после не-

которого упражнения довольно свободно схватывать удары маятника то ритмически, то неритмически. Если мы добьемся этого и так же, как и при ритмических опытах, будем через небольшую паузу после восприятия известного числа ударов метронома слышать одинаковое или чуть большее или меньшее число, то и в этом случае можно еще отчетливо различать равенство первого и второго рядов. Если, например, при первом опыте мы выберем ряд А в 6 ударов, при другом же ряд В в 9 ударов (рис. 4), то при повторении обоих рядов тотчас же обнаружится, что при ряде А еще возможно вполне отчетливо различить равенство, а при ряде В это невозможно, и уже на 7-м или 8-м ударе сличение рядов становится в высшей степени ненадежным.

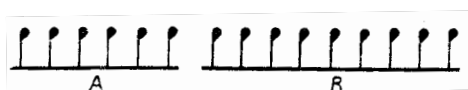


Рис. 4

Поэтому мы приходим к тому же выводу, что и в опытах со зрением: шесть простых впечатлений представляют собой границу объема внимания.

Так как эта величина одинакова и для слуховых и для зрительных впечатлений, данных как последовательно, так и одновременно, то нужно заключить, что она означает независимую от специальной области чувств психическую постоянную. Действительно, при впечатлениях других органов чувств получается тот же результат, и если исключить ничтожные колебания, число 6 остается максимум еще схватываемых вниманием простых содержаний. Например, если взять для опыта любые слоги, только не соединенные в слова, и сказать ряд их другому лицу с просьбой повторить, то при таком ряде, как:

ap ku no li sa ro,

повторение еще удается. Напротив, оно уже невозможно при ряде:

ra ho xu am na il ok ru.

Уже при 7 или 8 бессмысленных слогах заметно, что повторение большею частью не удается; с помощью упражнения можно добиться повторения разве лишь 7 слогов. Итак, мы приходим к тому же результату, который получился и при тактах А и В.

Но есть еще одно согласующееся с этим результатом наблюдение. Оно тем более замечательно, что принадлежит третьей области чувств, осязанию, и, кроме того, сделано независимо от психологических интересов, по чисто практическим побуждениям. После долгих тщетных попыток изобрести наиболее целесообразный шрифт для слепых, наконец, в половине прошлого столетия французский учитель слепых Брайль разрешил эту практически столь важную проблему. Сам слепой, он более чем кто-либо другой был в состоянии на собственном опыте убедиться, насколько его система удовлетворяет поставленным требованиям. Таким образом, он пришел к выводу, что, во-первых, известное расположение отдельных точек является единственно пригодным средством для изобретения легко различаемых знаков для букв и что, во-вторых, нельзя при конструкции этих знаков брать более 6 известным образом расположенных точек, если мы хотим, чтобы слепой еще легко и верно различал эти символы с помощью осязания. Таким образом, из шести точек (рис. 5, I), комбинируя их различным образом, он изобрел различные символы для алфавита слепых (рис. 5, II). Это ограничение числа точек шестью, очевидно, было не случайным. Это ясно уже из того, что большее число, например, 9 (рис. 5, III), дало бы большие затруднения на практике. Тогда можно было бы, например, обозначить известными символами важнейшие из знаков препинания и числа, которые отсутствуют в системе Брайля. Но достичь этого невозможно, так как при большем, чем 6, числе точек вообще нельзя отчетливо воспринимать разницу между символами. В этом легко убедиться с помощью непосредственного наблюдения, если скомбинировать более чем 6 выпук-

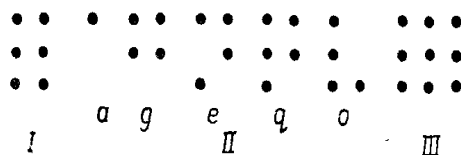


Рис. 5

лых точек и осязать их. Таким образом, мы вновь приходим к той границе, которая получилась и при опытах над чувствами зрения и слуха.

Однако значение этих выводов относительно объема сознания и внимания отнюдь не исчерпывается количественным определением этого объема. Значение их прежде всего в том, что они проливают свет на отношения содержаний сознания, находящихся в фокусе внимания, с теми, которые принадлежат более отдаленному зрительному полю сознания. Для того чтобы установить те отношения, которые прежде всего выясняются при этих опытах, мы воспользуемся для обозначения обоих процессов (вхождения в сознание и в фокус внимания) двумя краткими терминами, примененными в подобном смысле уже Лейбницем. Если восприятие входит в более обширный объем сознания, то мы называем этот процесс перцепцией, если же оно попадает в фокус внимания, то мы называем его апперцепцией. При этом мы, конечно, совершенно отвлекаемся от тех метафизических предположений, с которыми связал Лейбниц эти понятия в своей монадологии, и употребляем их скорее в чисто эмпирическо-психологическом смысле. Под перцепцией мы будем понимать просто фактическое вхождение какого-либо содержания в сознание, под апперцепцией — сосредоточение на нем внимания. Перцептируемые содержания, следовательно, сознаются всегда более или менее смутно, хотя всегда поднимаются над порогом сознания; апперципируемые содержания, напротив, сознаются ясно, они, выражаясь образно, поднимаются над более узким порогом внимания. Отношение же между обеими этими областями сознания заключается в том, что каждый раз, когда апперципируется известное изолированное содержание сознания, остальные, только перцептируемые психические содержания исчезают, как если бы их совсем не было; напротив, когда апперципируемое содержание связано с определенными перцептируемыми содержаниями сознания, оно сливается с ними в одно цельное восприятие, границу которого будет лишь порог сознания (а не внимания). С этим, очевидно, стоит в тесной связи то обстоятельство, что объем апперцепции относительно уже и постояннее, объем же перцепции не только шире, но и изменчивее. Меняется же он, как это ясно показы-

вает сравнение простых и сложных ритмов, непременно вместе с объемом психических образований, объединенных в некоторое целое. При этом различие между просто перцептируемыми и апперципируемыми частями такого целого отнюдь не исчезает. В фокус внимания скорее же попадает всегда лишь ограниченная часть этого целого, как это в особенности убедительно доказывает тот наблюдающийся при экспериментах с чтением факт, что мы можем варьировать отдельные просто перцептируемые составные части, причем общее восприятие от этого не нарушается. Более широкая область смутно перцептируемых содержаний относится к фокусу внимания — если воспользоваться образом, который сам представляет собою пример этого явления, — как фортепьянное сопровождение к голосу. Незначительные неточности в аккордах сопровождения мы легко прослушиваем, если только сам голос не погрешает ни в тональности, ни в ритме. Тем не менее впечатление от целого значительно ослабело бы, если бы не было этого сопровождения.

В этом отношении между перцептируемыми и апперципируемыми содержаниями сознания имеет значение еще другой момент, который проливает свет на выдающуюся важность апперцептивных процессов. Мы исходили из того, что для нас необычайно трудно воспринять ряд ударов маятника как совершенно равных, так как мы всегда склонны придать им известный ритм. Это явление, очевидно, находится в связи с основным свойством апперцепции, проявляющимся во всех процессах сознания. Именно мы не в состоянии, как это хорошо известно и из повседневной жизни, постоянно и равномерно направлять наше внимание на один и тот же предмет.

Если же захотим достигнуть этого, то скоро заметим, что в апперцепции данного предмета наблюдается постоянная смена, причем она то становится интенсивнее, то ослабевает. Если воспринимаемые впечатления однообразны, то эта смена легко может стать периодической. В особенности легко возникает такая периодичность в том случае, когда самые внешние процессы, на которые обращено наше внимание, протекают периодически. Как раз это и наблюдается при ряде тактов. Поэтому колебания внимания непосредственно свя-

зываются в этом случае с периодами впечатлений. Вследствие этого мы ставим ударение на том впечатлении, которое совпадает с повышением волны апперцепции, так что равные сами по себе удары такта становятся ритмическими. Каков именно будет ритм, это отчасти зависит от нашего произвола, а также от того, в каком объеме стремимся мы связать впечатление в одно целое. Если, например, удары такта следуют друг за другом слишком быстро, то это стремление к объединению легко ведет к сложным ритмическим расчленениям, как это мы действительно видели выше. Подобные же отношения между апперципируемыми и просто перципируемыми состояниями сознания получаются также и при других, и в особенности при одновременных впечатлениях, однако в иной форме, смотря по области чувств. Если, например, мы покажем в опытах с тахистоскопом короткое слово, то оно схватывается как целое одним актом. Если же дать длинное слово, например:

“Wahlverwandschaften”,

то мы легко замечаем уже при непосредственном наблюдении, что время восприятия становится длиннее и процесс восприятия состоит тогда из двух, иногда даже из трех очень быстро следующих друг за другом актов апперцепций, которые могут протекать некоторое время и после момента впечатления. Еще яснее будет это следование актов апперцепции друг за другом, если вместо слова выбрать предложение, приблизительно равное по длине, например следующее:

Morgenstunde hat Gold im Munde.

В этой фразе разложение восприятия на несколько актов существенно облегчается разделением фразы на слова. Поэтому при восприятии подобной фразы замечаются обыкновенно три следующих друг за другом акта апперцепции, и лишь при последнем из них мы схватываем в мысли целое. Но и здесь это возможно лишь в том случае, если предшествовавшие последней апперцепции части предложения еще находятся в зрительном поле сознания. Если же взять настолько длинное предложение, что части эти будут уже исчезать из поля зрения сознания, то наблюдается то же явление, что и при ритмических рядах тактов, выходящих за границы возможных ритмических расчленений: мы

можем связать в заключительном акте апперцепции лишь одну часть такого последовательного данного целого. Таким образом, восприятие сложных тактов и восприятие сложных слов или предложений по существу протекают сходно. Различие заключается лишь в том, что в первом случае апперципируемое впечатление соединяется с предшествовавшим, оставшимся в поле перцепции впечатлением с помощью ритмического деления, во втором же случае — с помощью смысла, объединяющего части слова или слова. Поэтому весь процесс отнюдь не сводится только к последовательной апперцепции частей. Ведь предшествовавшие части уже исчезли из апперцепции и стали просто перципируемыми, и лишь после того они связываются с последним апперципируемым впечатлением в одно целое. Сам же процесс связывания совершается в едином и мгновенном акте апперцепции. Отсюда вытекает, что во всех этих случаях объединения более или менее значительного комплекса элементов связующей эти элементы функцией является апперцепция, причем она, в общем, всегда связывает непосредственно апперципируемые части целого с примыкающими к ним только перципируемыми частями. Поэтому большое значение отношений между обеими функциями, перцепцией и апперцепцией заключается в высшей степени богатом разнообразии этих отношений и в том приспособлении к потребностям нашей духовной жизни, которое находит себе выражение в этом разнообразии. Апперцепция то сосредоточивается на одной узкой области, причем бесконечное разнообразие других воздействующих впечатлений совершенно исчезает из сознания, то с помощью расчленения последовательных содержаний, обусловленного ритмической (oszillatorisch) природой ее функции, переплетает своими нитями обширную, занимающую все поле сознания, ткань психических содержаний. Но во всех этих случаях апперцепция остается функцией единства, связующей все эти разнообразные содержания в упорядоченное целое, процессы же перцепции противостоят ей до известной степени как центробежные и подчиненные ей. Процессы апперцепции и перцепции, взятые вместе, образуют целое нашей душевной жизни.

У.Джемс

ПОТОК СОЗНАНИЯ¹

Порядок нашего исследования должен быть аналитическим. Теперь мы можем приступить к изучению сознания взрослого человека по методу самонаблюдения. Большинство психологов придерживаются так называемого синтетического способа изложения. Исходя от *простейших идей*, ощущений и рассматривая их в качестве атомов душевной жизни, психологи слагают из последних высшие состояния сознания — *ассоциации, интеграции* или *смещения*, как дома составляют из отдельных кирпичей. Такой способ изложения обладает всеми педагогическими преимуществами, какими вообще обладает синтетический метод, но в основание его кладется весьма сомнительная теория, будто высшие состояния сознания суть сложные единицы. И вместо того чтобы отправляться от фактов душевной жизни, непосредственно известных читателю, именно от его целых конкретных состояний сознания, сторонник синтетического метода берет исходным пунктом ряд гипотетических простейших идей, которые непосредственным путем совершенно недоступны читателю, и последний, знакомясь с описанием их взаимодействия, лишен возможности проверить справедливость этих описаний и ориентироваться в наборе фраз по этому вопросу. Как бы там ни было, но постепенный переход в изложении от простейшего к сложному в данном случае вводит нас в заблуждение.

Педанты и любители отвлеченностей, разумеется, отнесутся крайне неодобрительно к отстранению синтетического метода, но человек, защищающий цельность человеческой природы, предпочтет при изучении психологии аналитический метод, отправляющийся от конкретных фактов, которые составляют обыденное содержание его душевной жизни. Дальнейший анализ вскроет элементарные психические единицы, если таковые существуют, не заставляя нас делать рискованные спекулятивные предположения. Читатель должен иметь в виду, что в настоящей книге в главах об ощущениях больше всего говорилось об их физиологических условиях. Помещены же эти главы были раньше просто ради удобства. С психологической точки зрения их следовало бы описывать в конце книги. Простейшие ощущения были рассмотрены нами ранее как психические процессы, которые в зрелом возрасте почти неизвестны, но там ничего не было сказано такого, что давало бы повод читателю думать, будто они суть элементы, образующие своими соединениями высшие состояния сознания.

Основной факт психологии. Первичным конкретным фактом, принадлежащим внутреннему опыту, служит убеждение, что в этом опыте происходят какие-то сознательные процессы. *Состояния сознания* сменяются в нем одно другим. Подобно тому, как мы выражаемся безлично: “светает”, “смеркается”, мы можем и этот факт охарактеризовать всего лучше безличным глаголом “думается”.

Четыре свойства сознания. Как совершаются сознательные процессы? Мы замечаем в них четыре существенные черты, которые рассмотрим вкратце в настоящей главе: 1) каждое состояние сознания стремится быть частью личного сознания; 2) в границах личного сознания его состояния изменчивы; 3) всякое личное сознание представляет непрерывную последовательность ощущений; 4) одни объекты оно воспринимает охотно, другие отвергает и, вообще, все время делает между ними выбор.

Разбирая последовательно эти четыре свойства сознания, мы должны будем употребить ряд психологических терминов, ко-

¹ Джемс У. Психология. М.: Педагогика, 1991. С.56—80.

торые могут получить вполне точное определение только в дальнейшем. Условное значение психологических терминов общеизвестно, а в этой главе мы их будем употреблять только в условном смысле. Настоящая глава напоминает набросок, который живописец сделал углем на полотне и на котором еще не видно никаких подробностей рисунка.

Когда я говорю: **“всякое душевное состояние”** или **“мысль есть часть личного сознания”**, то термин *личное сознание* употребляется мною именно в таком условном смысле. Значение этого термина понятно до тех пор, пока нас не попросят точно объяснить его; тогда оказывается, что такое объяснение — одна из труднейших философских задач. Эту задачу мы разберем в следующей главе, а теперь ограничимся одним предварительным замечанием. В комнате, скажем в аудитории, витает множество мыслей ваших и моих, из которых одни связаны между собой, другие — нет. Они так же мало обособлены и независимы друг от друга, как и все связаны вместе; про них нельзя сказать ни того, ни другого безусловно: ни одна из них не обособлена совершенно, но каждая связана с некоторыми другими, от остальных же совершенно независима. Мои мысли связаны с моими же другими мыслями, ваши — с вашими мыслями. Есть ли в комнате еще где-нибудь чистая мысль, не принадлежащая никакому лицу, мы не можем сказать, не имея на это данных опыта. Состояния сознания, которые мы встречаем в природе, суть непременно личные сознания — умы, личности, определенные конкретные “я” и “вы”.

Мысли каждого личного сознания обособлены от мыслей другого, между ними нет никакого непосредственного обмена, никакая мысль одного личного сознания не может стать непосредственным объектом мысли другого сознания. Абсолютная разобщенность сознаний, не поддающийся объединению плюрализм составляют психологический закон. По-видимому, элементарным психическим фактом служит не “мысль вообще”, не “эта или та мысль”, но “моя мысль”, вообще “мысль, принадлежащая кому-нибудь”. Ни одновременность, ни близость в пространстве, ни качественное сходство содержания не могут слить воедино мыслей, которые разъ-

единены между собой барьером личности. Разрыв между такими мыслями представляет одну из самых абсолютных граней в природе.

Всякий согласится с истинностью этого положения, поскольку в нем утверждается только существование “чего-то”, соответствующего термину “личное сознание”, без указаний на дальнейшие свойства этого сознания. Согласно этому можно считать непосредственно данным фактом психологии скорее личное сознание, чем мысль. Наиболее общим фактом сознания служит не “мысли и чувства существуют”, но “я мыслю” или “я чувствую”. Никакая психология не может оспаривать во что бы то ни стало факт существования личных сознаний. Под личными сознаниями мы разумеем связанные последовательности мыслей, сознаваемые как таковые. Худшее, что может сделать психолог, — это начать истолковывать природу личных сознаний, лишив их индивидуальной ценности.

В сознании происходят непрерывные перемены. Я не хочу этим сказать, что ни одно состояние сознания не обладает продолжительностью; если бы это даже была правда, то доказать ее было бы очень трудно. Я только хочу моими словами подчеркнуть тот факт, что ни одно раз минувшее состояние сознания не может снова возникнуть и буквально повториться. Мы то смотрим, то слушаем, то рассуждаем, то желаем, то припоминаем, то ожидаем, то любим, то ненавидим, наш ум попеременно занят тысячами различных объектов мысли. Скажут, пожалуй, что все эти сложные состояния сознания образуются из сочетаний простейших состояний. В таком случае подчинены ли эти последние тому же закону изменчивости? Например, не всегда ли тождественны ощущения, получаемые нами от какого-нибудь предмета? Разве не всегда тождествен звук, получаемый нами от нескольких ударов совершенно одинаковой силы по тому же фортепианному клавишу? Разве не та же трава вызывает в нас каждую весну то же ощущение зеленого цвета? Не то же небо представляется нам в ясную погоду таким же голубым? Не то же обонятельное впечатление мы получаем от одеколона, сколько бы раз мы ни пробовали нюхать ту же склянку? Отрицательный ответ на эти вопросы может

показаться метафизической софистикой, а между тем внимательный анализ не подтверждает того факта, что центростремительные токи когда-либо вызывали в нас дважды абсолютно то же чувственное впечатление.

Тождествен воспринимаемый нами объект, а не наши ощущения: мы слышим несколько раз подряд ту же ноту, мы видим зеленый цвет того же качества, обоняем те же духи или испытываем боль того же рода. Реальности, объективные или субъективные, в постоянное существование которых мы верим, по-видимому, снова и снова предстают перед нашим сознанием и заставляют нас из-за нашей невнимательности предполагать, будто идеи о них суть одни и те же идеи. Когда мы дойдем до главы “Восприятие”, мы увидим, как глубоко укоренилась в нас привычка пользоваться чувственными впечатлениями как показателями реального присутствия объектов. Трава, на которую я гляжу из окошка, кажется мне того же цвета и на солнечной, и на теневой стороне, а между тем художник, изображая на полотне эту траву, чтобы вызвать реальный эффект, в одном случае прибегает к темно-коричневой краске, в другом — к светло-желтой. Вообще говоря, мы не обращаем особого внимания на то, как различно те же предметы выглядят, звучат и пахнут на различных расстояниях и при различной окружающей обстановке. Мы стараемся убедиться лишь в тождественности вещей, и любые ощущения, удостоверяющие нас в этом при грубом способе оценки, будут сами казаться нам тождественными.

Благодаря этому обстоятельству свидетельство о субъективном тождестве различных ощущений не имеет никакой цены в качестве доказательства реальности известного факта. Вся история душевного явления, называемого ощущением, может ярко иллюстрировать нашу неспособность сказать, совершенно ли одинаковы два порознь воспринятых нами чувственных впечатления или нет. Внимание наше привлекается не столько абсолютным качеством впечатления, сколько тем поводом, который данное впечатление может дать к одновременному возникновению других впечатлений. На темном фоне менее темный предмет кажется белым. Гельмгольц вычислил, что белый мрамор на картине,

изображающей мраморное здание, освещенное луной, при дневном свете в 10 или 20 тыс. раз ярче мрамора, освещенного настоящим лунным светом.

Такого рода разница никогда не могла быть непосредственно познана чувственным образом: ее можно было определить только рядом побочных соображений. Это обстоятельство заставляет нас предполагать, что наша чувственная восприимчивость постоянно изменяется, так что один и тот же предмет редко вызывает у нас прежнее ощущение. Чувствительность наша изменяется в зависимости от того, бодрствуем мы или нас клонит ко сну, сыты мы или голодны, утомлены или нет; она различна днем и ночью, зимой и летом, в детстве, зрелом возрасте и в старости. И тем не менее мы нисколько не сомневаемся, что наши ощущения раскрывают перед нами все тот же мир с теми же чувственными качествами и с теми же чувственными объектами. Изменчивость чувствительности лучше всего можно наблюдать на том, какие различные эмоции вызывают в нас те же вещи в различных возрастах или при различных настроениях духа в зависимости от органических причин. То, что раньше казалось ярким и возбуждающим, вдруг становится избитым, скучным, бесполезным; пение птиц вдруг начинает казаться монотонным, завывание ветра — печальным, вид неба — мрачным.

К этим косвенным соображениям в пользу того, что наши ощущения в зависимости от изменчивости нашей чувствительности постоянно изменяются, можно прибавить еще одно доказательство физиологического характера. Каждому ощущению соответствует определенный процесс в мозгу. Для того чтобы ощущение повторилось с абсолютной точностью, нужно, чтобы мозг после первого ощущения не подвергался абсолютно никакому изменению. Но последнее, строго говоря, физиологически невозможно, следовательно, и абсолютно точное повторение прежнего ощущения невозможно, ибо мы должны предполагать, что каждому изменению мозга, как бы оно ни было мало, соответствует некоторое изменение в сознании, которому служит данный мозг.

Но если так легко обнаружить неосновательность мысли, будто простейшие ощущения могут повторяться неизмен-

ным образом, то еще более неосновательным должно казаться нам мнение, будто та же неизменная повторяемость наблюдается в более сложных формах сознания. Ведь ясно, как Божий день, что состояния нашего ума никогда не бывают абсолютно тождественными. Каждая отдельная мысль о каком-нибудь предмете, строго говоря, есть уникальная и имеет лишь родовое сходство с другими нашими мыслями о том же предмете. Когда повторяются прежние факты, мы должны думать о них по-новому, глядеть на них под другим углом, открывать в них новые стороны. И мысль, с помощью которой мы познаем эти факты, всегда есть мысль о предмете плюс новые отношения, в которые он поставлен, мысль, связанная с сознанием того, что сопровождает ее в виде неясных деталей. Нередко мы сами поражаемся странной переменной в наших взглядах на один и тот же предмет. Мы удивляемся, как могли мы думать известным образом о каком-нибудь предмете месяц тому назад. Мы переросли возможность такого образа мыслей, а как — мы и сами не знаем.

С каждым годом те же явления представляются нам совершенно в новом свете. То, что казалось призрачным, стало вдруг реальным, и то, что прежде производило впечатление, теперь более не привлекает. Друзья, которыми мы дорожили, превратились в бледные тени прошлого; женщины, казавшиеся нам когда-то неземными созданиями, звезды, леса и воды со временем стали казаться скучными и прозаичными; юные девы, которых мы некогда окружали каким-то небесным ореолом, становятся с течением времени в наших глазах самыми обыкновенными земными существами, картины — бессодержательными, книги... Но разве в произведениях Гете так много таинственной глубины? Разве уж так содержательны сочинения Дж. Ст. Милля, как это нам казалось прежде? Предаваясь менее наслаждениям, мы все более и более погружаемся в обыденную работу, все более и более проникаемся сознанием важности труда на пользу общества и других общественных обязанностей. Мне кажется, что анализ цельных, конкретных состояний сознания, сменяющих друг друга, есть единственный правильный психологический метод, как

бы ни было трудно строго провести его через все частности исследования. Если вначале он и покажется читателю темным, то при дальнейшем изложении его значение прояснится. Пока замечу только, что, если этот метод правилен, выставленное мною выше положение о невозможности двух абсолютно одинаковых идей в сознании также истинно. Это утверждение более важно в теоретическом отношении, чем кажется с первого взгляда, ибо, принимая его, мы совершенно расходимся даже в основных положениях с психологическими теориями локковской и гербартовской школ, которые имели когда-то почти безграничное влияние в Германии и у нас в Америке. Без сомнения, часто удобно придерживаться своего рода атомизма при объяснении душевных явлений, рассматривая высшие состояния сознания как агрегаты неизменяющихся элементарных идей, которые непрерывно сменяют друг друга. Подобным же образом часто бывает удобно рассматривать кривые линии как линии, состоящие из весьма малых прямых, а электричество и нервные токи — как известного рода жидкости. Но во всех этих случаях мы не должны забывать, что употребляем символические выражения, которым в природе ничего не соответствует. Неизменно существующая идея, появляющаяся время от времени перед нашим сознанием, есть фантастическая фикция.

В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. Непрерывным рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую переменную в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение “сознание непрерывно” включает в себе две мысли: 1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временному пробелу и следующие за ним как части одной и той же личности; 2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко.

Разберем сначала первый, более простой случай. Когда спавшие на одной кровати Петр и Павел просыпаются и начи-

нают припоминать прошлое, каждый из них ставит данную минуту в связь с собственным прошлым. Подобно тому как ток анода, зарытого в землю, безошибочно находит соответствующий ему катод через все промежуточные вещества, так настоящее Петра вступает в связь с его прошедшим и никогда не сплетается по ошибке с прошлым Павла. Так же мало способно ошибиться сознание Павла. Прошедшее Петра присваивается только его настоящим. Он может иметь совершенно верные сведения о том состоянии дремоты, после которого Павел погрузился в сон, но это знание, безусловно, отличается от сознания его собственного прошлого. Собственные состояния сознания Петр помнит, а Павловы только представляет себе. Припоминание аналогично непосредственному ощущению: его объект всегда бывает проникнут живостью и родственностью, которых нет у объекта простого воображения. Этими качествами живости, родственности и непосредственности обладает настоящее Петра.

Как настоящее есть часть моей личности, мое, так точно и все другое, проникающее в мое сознание с живостью и непосредственностью, — мое, составляет часть моей личности. Далее мы увидим, в чем именно заключаются те качества, которые мы называем живостью и родственностью. Но как только прошедшее состояние сознания представилось нам обладающим этими качествами, оно тотчас присваивается нашим настоящим и входит в состав нашей личности. Эта “сплошность” личности и представляет то нечто, которое не может быть временным пробелом и которое, познавая существование этого временного пробела, все же продолжает сознавать свою непрерывность с некоторыми частями прошедшего.

Таким образом, сознание всегда является для себя чем-то цельным, не раздробленным на части. Такие выражения, как “цепь (или ряд) психических явлений”, не дают нам представления о сознании, какое мы получаем от него непосредственно: в сознании нет связей, оно течет непрерывно. Всего естественнее к нему применить метафору “река” или “поток”. Говоря о нем ниже, будем придерживаться термина “поток сознания” (мысли или субъективной жизни).

Второй случай. Даже в границах того же самого сознания и между мыслями, принадлежащими тому же субъекту, есть род связности и бессвязности, к которому предшествующее замечание не имеет никакого отношения. Я здесь имею в виду резкие перемены в сознании, вызываемые качественными контрастами в следующих друг за другом частях потока мысли. Если выражения “цепь (или ряд) психических явлений” не могут быть применены к данному случаю, то как объяснить вообще их возникновение в языке? Разве оглушительный взрыв не разделяет на две части сознание, на которое он воздействует? Нет, ибо сознание грома сливается с сознанием предшествующей тишины, которое продолжается: ведь, слыша шум от взрыва, мы слышим не просто грохот, а грохот, внезапно нарушающий молчание и контрастирующий с ним.

Наше ощущение грохота при таких условиях совершенно отличается от впечатления, вызванного тем же самым грохотом в непрерывном ряду других подобных шумов. Мы знаем, что шум и тишина взаимно уничтожают и исключают друг друга, но ощущение грохота есть в то же время сознание того, что в этот миг прекратилась тишина, и едва ли можно найти в конкретном реальном сознании человека ощущение, настолько ограниченное настоящим, что в нем не нашлось бы ни малейшего намека на то, что ему предшествовало.

Устойчивые и изменчивые состояния сознания. Если мы бросим общий взгляд на удивительный поток нашего сознания, то прежде всего нас поразит различная скорость течения в отдельных частях. Сознание подобно жизни птицы, которая то сидит на месте, то летает. Ритм языка отметил эту черту сознания тем, что каждую мысль облек в форму предложения, а предложение развил в форму периода. Остановочные пункты в сознании обыкновенно бывают заняты чувственными впечатлениями, особенность которых заключается в том, что они могут, не изменяясь, созерцаться умом неопределенное время; переходные промежутки заняты мыслями об отношениях статических и динамических, которые мы по большей части устанавливаем между объектами, воспринятыми в состоянии относительного покоя.

Назовем остановочные пункты *устойчивыми частями*, а переходные промежутки *изменчивыми частями* потока сознания. Тогда мы заметим, что наше мышление постоянно стремится от одной устойчивой части, только что покинутой, к другой, и можно сказать, что главное назначение переходных частей сознания в том, чтобы направлять нас от одного прочного, устойчивого вывода к другому.

При самонаблюдении очень трудно подметить переходные моменты. Ведь если они — только переходная ступень к определенному выводу, то, фиксируя на них наше внимание до наступления вывода, мы этим самым уничтожаем их. Пока мы ждем наступления вывода, последний сообщает переходным моментам такую силу и устойчивость, что совершенно поглощает их своим блеском. Пусть кто-нибудь попытается захватить вниманием на полдороге переходный момент в процессе мышления, и он убедится, как трудно вести самонаблюдение при изменчивых состояниях сознания. Мысль несется стремглав, так что почти всегда приводит нас к выводу раньше, чем мы успеваем захватить ее. Если же мы и успеваем захватить ее, она мигом видоизменяется. Снежный кристалл, схваченный теплой рукой, мигом превращается в водяную каплю; подобным же образом, желая уловить переходное состояние сознания, мы вместо того находим в нем нечто вполне устойчивое — обыкновенно это бывает последнее мысленно произнесенное нами слово, взятое само по себе, независимо от своего смысла в контексте, который совершенно ускользает от нас.

В подобных случаях попытка к самонаблюдению бесплодна — это все равно, что схватывать руками волчок, чтобы уловить его движение, или быстро завертывать газовый рожок, чтобы посмотреть, как выглядят предметы в темноте. Требование указать эти переходные состояния сознания, требование, которое наверняка будет предъявлено иными психологами, отстаивающими существование подобных состояний, так же неосновательно, как аргумент против защитников реальности движения, приводившийся Зеноном, который требовал, чтобы они показали ему, в каком месте покоится стрела во время полета, и из их неспособности дать быстрый ответ на

такой нелепый вопрос заключал о несостоятельности их основного положения.

Затруднения, связанные с самонаблюдением, приводят к весьма печальным результатам. Если наблюдение переходных моментов в потоке сознания и их фиксирование вниманием представляет такие трудности, то следует предположить, что великое заблуждение всех философских школ проистекало, с одной стороны, из невозможности фиксировать изменчивые состояния сознания, с другой — из чрезмерного преувеличения значения, которое придавалось более устойчивым состояниям сознания. Исторически это заблуждение выразилось в двоякой форме. Одних мыслителей оно привело к сенсуализму. Будучи не в состоянии подыскать устойчивые ощущения, соответствующие бесчисленному множеству отношений и форм связи между явлениями чувственного мира, не находя в этих отношениях отражения душевных состояний, поддающихся определенному наименованию, эти мыслители начинали по большей части отрицать вообще всякую реальность подобных состояний. Многие из них, например, Юм, дошли до полного отрицания реальности большей части отношений как вне сознания, так и внутри. Простые идеи — ощущения и их воспроизведение, расположенные одна за другой, как кости в домино, без всякой реальной связи между собой, — вот в чем состоит вся душевная жизнь, с точки зрения этой школы, все остальное — одни словесные заблуждения. Другие мыслители, интеллектуалисты, не в силах отвергнуть реальность существующих вне области нашего сознания отношений и в то же время не имея возможности указать на какие-нибудь устойчивые ощущения, в которых проявлялась бы эта реальность, также пришли к отрицанию подобных ощущений. Но отсюда они сделали прямо противоположное заключение. Отношения эти, по их словам, должны быть познаны в чем-нибудь таком, что не есть ощущение или какое-либо душевное состояние, тождественное тем субъективным элементам сознания, из которых складывается наша душевная жизнь, тождественное и составляющее с ними одно сплошное целое. Они должны быть познаны чем-то, лежащим совершенно в иной сфере, актом чистой мысли, Интеллектом или Разумом, кото-

рые пишутся с большой буквы и должны означать нечто, неизмеримо превосходящее всякие изменчивые явления нашей чувственности.

С нашей точки зрения, и интеллектуалисты и сенсуалисты не правы. Если вообще существуют такие явления, как ощущения, то, поскольку несомненно, что существуют реальные отношения между объектами, постольку же и даже более несомненно, что существуют ощущения, с помощью которых познаются эти отношения. Нет союза, предлога, наречия, приставочной формы или перемены интонации в человеческой речи, которые не выражали бы того или другого оттенка или перемены отношения, ощущаемой нами действительно в данный момент. С объективной точки зрения, перед нами раскрываются реальные отношения; с субъективной точки зрения, их устанавливает наш поток сознания, сообщая каждому из них свою особую внутреннюю окраску. В обоих случаях отношений бесконечно много, и ни один язык в мире не передает всех возможных оттенков в этих отношениях.

Как мы говорим об ощущении синевы или холода, так точно мы имеем право говорить об ощущении “и”, ощущении “если”, ощущении “но”, ощущении “через”. А между тем мы этого не делаем: привычка признавать субстанцию только за существительными так укоренилась, что наш язык совершенно отказывается субстантивировать другие части речи.

Обратимся снова к аналогии с мозговыми процессами. Мы считаем мозг органом, в котором внутреннее равновесие находится в неустойчивом состоянии, так как в каждой части его происходят непрерывные перемены. Стремление к перемене в одной части мозга является, без сомнения, более сильным, чем в другой; в одно время быстрота перемены бывает больше, в другое — меньше. В равномерно вращающемся калейдоскопе фигуры хотя и принимают постоянно все новую и новую группировку, но между двумя группировками бывают мгновения, когда перемещение частиц происходит очень медленно и как бы совершенно прекращается, а затем вдруг, как бы по мановению волшебства, мгновенно образуется новая группировка, и, таким образом, относительно устойчивые формы сменяются другими, которых мы не узнали

бы, вновь увидев их. Точно так же и в мозгу распределение нервных процессов выражается то в форме относительно долгих напряжений, то в форме быстро переходящих изменений. Но если сознание соответствует распределению нервных процессов, то почему же оно должно прекращаться, несмотря на безостановочную деятельность мозга, и почему, в то время как медленно совершающиеся изменения в мозгу вызывают известного рода сознательные процессы, быстрые изменения не могут сопровождаться особой, соответствующей им душевной деятельностью?

Объект сознания всегда связан с психическими обертнами. Есть еще другие, не поддающиеся названию перемены в сознании, так же важные, как и переходные состояния сознания, и так же вполне сознательные. На примерах всего легче понять, что я здесь имею в виду. Предположим, три лица одно за другим крикнули вам: “Ждите!”, “Слушайте!”, “Смотрите!”. Наше сознание в данном случае подвергается трем совершенно различным состояниям ожидания, хотя ни в одном из воздействий перед ним не находится никакого определенного объекта. По всей вероятности, никто в данном случае не станет отрицать существования в себе особенного душевного состояния, чувства предполагаемого направления, по которому должно возникнуть впечатление, хотя еще не обнаружилось никаких признаков появления последнего. Для таких психических состояний мы не имеем других названий, кроме “жди”, “слушай” и “смотри”.

Представьте себе, что вы припоминаете забытое имя. Припоминание — это своеобразный процесс сознания. В нем есть как бы ощущение некоего пробела, и пробел этот ощущается весьма активным образом. Перед нами как бы возникает нечто, намекающее на забытое имя, нечто, что манит нас в известном направлении, заставляя нас ощущать неприятное чувство бессилия и вынуждая в конце концов отказаться от тщетных попыток припомнить забытое имя. Если нам предлагают неподходящие имена, стараясь навести нас на истинное, то с помощью особенного чувства пробела мы немедленно отвергаем их. Они не соответствуют характеру пробела. При этом пробел от одного забытого слова не похож на пробел от другого, хотя оба про-

бела могут быть нами охарактеризованы лишь полным отсутствием содержания. В моем сознании совершаются два совершенно различных процесса, когда я тщательно стараюсь припомнить имя Спалдинга или имя Баулса. При каждом припоминанном слове мы испытываем особое чувство недостатка, которое в каждом отдельном случае бывает различно, хотя и не имеет особого названия. Такое ощущение недостатка отличается от недостатка ощущения: это вполне интенсивное ощущение. У нас может сохраниться ритм забытого слова без соответствующих звуков, составляющих его, или нечто, напоминающее первую букву, первый слог забытого слова, но не вызывающее в памяти всего слова. Всякому знакомо неприятное ощущение пустого размера забытого стиха, который, несмотря на все усилия припоминания, не заполняется словами.

В чем заключается первый проблеск понимания чего-нибудь, когда мы, как говорится, схватываем смысл фразы? По всей вероятности, это совершенно своеобразное ощущение. А разве читатель никогда не задавался вопросом: какого рода должно быть то душевное состояние, которое мы переживаем, намереваясь что-нибудь сказать? Это вполне определенное намерение, отличающееся от всех других, совершенно особенное состояние сознания, а между тем много ли входит в него определенных чувственных образов, словесных или предметных? Почти никаких. Повремените чуть-чуть, и перед сознанием явятся слова и образы, но предварительное намерение уже исчезнет. Когда же начинают появляться слова для первоначального выражения мысли, то она выбирает подходящие, отвергая несоответствующие. Это предварительное состояние сознания может быть названо только "намерением сказать то-то и то-то".

Можно допустить, что добрые $\frac{2}{3}$ душевной жизни состоят именно из таких предварительных схем мыслей, не облеченных в слова. Как объяснить тот факт, что человек, читая какую-нибудь книгу вслух в первый раз, способен придавать чтению правильную выразительную интонацию, если не допустить, что, читая первую фразу, он уже получает смутное представление хотя бы о форме второй фразы, которая сливается с сознанием смысла данной фразы и изменяет в сознании читающего его экспрессию, за-

ставляя сообщать голосу надлежащую интонацию? Экспрессия такого рода почти всегда зависит от грамматической конструкции. Если мы читаем "не более", то ожидаем "чем", если читаем "хотя", то знаем, что далее следует "однако", "тем не менее", "все-таки". Это предчувствие приближающейся словесной или синтаксической схемы на практике до того безошибочно, что человек, не способный понять в иной книге ни одной мысли, будет читать ее вслух выразительно и осмысленно.

Читатель сейчас увидит, что я стремлюсь главным образом к тому, чтобы психологи обращали особенное внимание на смутные и неотчетливые явления сознания и оценивали по достоинству их роль в душевной жизни человека. Гальтон и Гексли <...> сделали некоторые попытки опровергнуть смешную теорию Юма и Беркли, будто мы можем сознавать лишь вполне определенные образы предметов. Другая попытка в этом направлении сделана нами, если только нам удалось показать несостоятельность не менее наивной мысли, будто одни простые объективные качества предметов, а не отношения познаются нами из состояний сознания. Но все эти попытки недостаточно радикальны. Мы должны признать, что определенные представления традиционной психологии лишь наименьшая часть нашей душевной жизни.

Традиционные психологи рассуждают подобно тому, кто стал бы утверждать, что река состоит из бочек, ведер, кварт, ложек и других определенных мерок воды. Если бы бочки и ведра действительно запрудили реку, то между ними все-таки протекала бы масса свободной воды. Эту-то свободную, незамкнутую в сосуды воду психологи и игнорируют упорно при анализе нашего сознания. Всякий определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободной, текущей вокруг него "воды" и замирает в ней. С образом связано сознание всех окружающих отношений, как близких, так и отдаленных, замирающее эхо тех мотивов, по поводу которых возник данный образ, и зарождающееся сознание тех результатов, к которым он поведет. Значение, ценность образа всецело заключается в этом дополнении, в этой полутени окружающих и сопровождающих его элементов мысли, или, лучше ска-

зять, эта полутень составляет с данным образом одно целое — она плоть от плоти его и кость от кости его; оставляя, правда, самый образ тем же, чем он был прежде, она сообщает ему новое назначение и свежую окраску.

Назовем сознание этих отношений, сопровождающее в виде деталей данный образ, *психическими обертонами*. <...>

Содержание мысли. Анализируя познавательную функцию при различных состояниях нашего сознания, мы можем легко убедиться, что разница между поверхностным *знакомством* с предметом и *знанием о нем* сводится почти всецело к отсутствию или присутствию психических обертонов. Знание о предмете есть знание о его отношениях к другим предметам. Беглое знакомство с предметом выражается в получении от него простого впечатления. Большинство отношений данного предмета к другим мы познаем только путем установления неясного сродства между идеями при помощи психических обертонов. Об этом чувстве сродства, представляющем одну из любопытнейших особенностей потока сознания, я скажу несколько слов, прежде чем перейти к анализу других вопросов.

Между мыслями всегда существует какое-нибудь рациональное отношение. Во всех наших произвольных процессах мысли всегда есть известная тема или идея, около которой вращаются все остальные детали мысли (в виде психических обертонов). В этих деталях обязательно чувствуется определенное отношение к главной мысли, связанный с нею интерес и в особенности отношение гармонии или диссонанса, смотря по тому, содействуют они развитию главной мысли или являются для нее помехой. Всякая мысль, в которой детали по качеству вполне гармонируют с основной идеей, может считаться успешным развитием данной темы. Для того чтобы объект мысли занял соответствующее место в ряду наших идей, достаточно, чтобы он занимал известное место в той схеме отношений, к которой относится и господствующая в нашем сознании идея.

Мы можем мысленно развивать основную тему в сознании главным образом посредством словесных, зрительных и иных представлений; на успешное разви-

тие основной мысли это обстоятельство не влияет. Если только мы чувствуем в терминах родство деталей мысли с основной темой и между собой и если мы сознаем приближение вывода, то полагаем, что мысль развивается правильно и логично. В каждом языке какие-то слова благодаря частым ассоциациям с деталями мысли по сходству и контрасту вступили в тесную связь между собой и с известным заключением, вследствие чего словесный процесс мысли течет строго параллельно соответствующим психическим процессам в форме зрительных, осязательных и иных представлений. В этих психических процессах самым важным элементом является простое чувство гармонии или разлада, правильного или ложного направления мысли.

Если мы свободно владеем английским и французским языками и начинаем говорить по-французски, то при дальнейшем ходе мысли нам будут приходить в голову французские слова и почти никогда при этом мы не собьемся на английскую речь. И это родство французских слов между собой не есть нечто, совершающееся бессознательным механическим путем, как простой физиологический процесс: во время процесса мысли мы сознаем родство. Мы не утрачиваем настолько понимания французской речи, чтобы не сознавать вовсе лингвистического родства входящих в нее слов. Наше внимание при звуках французской речи всегда поражается внезапным введением в нее английского слова.

Наименьшее понимание слышимых звуков выражается именно в том, что мы сознаем в них принадлежность известному языку, если только мы вообще сознаем их. Обыкновенно смутное сознание того, что все слышимые нами слова принадлежат одному и тому же языку и специальному словарю этого языка и что грамматические согласования соблюдены при этом вполне правильно, на практике равносильно признанию, что слышимое нами имеет определенный смысл. Но если внезапно в слышимую речь введено неизвестное иностранное слово, если в ней слышится ошибка или среди философских рассуждений вдруг попадает какое-нибудь площадное, тривиальное выражение, мы получим ощущение диссонанса и наше полусознательное согласие с общим тоном речи мгновенно

исчезает. В этих случаях сознание разумности речи выражается скорее в отрицательной, чем в положительной форме.

Наоборот, если слова принадлежат тому же словарю и грамматические конструкции строго соблюдены, то фразы, абсолютно лишённые смысла, могут в ином случае сойти за осмысленные суждения и проскользнуть, нисколько не поразив неприятным образом нашего слуха. Речи на молитвенных собраниях, представляющие вечно одну и ту же перетасовку бессмысленных фраз, и напыщенная риторика получающих гроши за строчку газетных писак могут служить яркими иллюстрациями этого факта. “Птицы заполняли вершины деревьев их утренней песнью, делая воздух сырым, прохладным и приятным”, — вот фраза, которую я прочитал однажды в отчете об атлетическом состязании, состоявшемся в Джером-Парке. Репортер, очевидно, написал ее второпях, а многие читатели прочитали, не вдумываясь в смысл.

Итак, мы видим, что во всех подобных случаях само содержание речи, качественный характер представлений, образующих мысль, имеют весьма мало значения, можно даже сказать, что не имеют никакого значения. Зато важное значение сохраняют по внутреннему содержанию только остановочные пункты в речи: основные послышки мысли и выводы. Во всем остальном потоке мысли главная роль остается за чувством родства элементов речи, само же содержание их почти не имеет никакого значения. Эти чувства отношений, психические обертоны, сопровождающие термины данной мысли, могут выражаться в представлениях весьма различного характера. На диаграмме (рис. 1) легко увидеть, как разнородные психические процессы ведут одинаково к той же цели. Пусть А будет некоторым впечатлением, почерпнутым из внешнего опыта, от которого отправляется мысль нескольких лиц. Пусть Z будет практическим выводом, к которому всего естественнее приводит данный опыт. Одно из данных лиц придет к выводу по одной линии, другое — по другой; одно будет при этом процессе мысли пользоваться английской словесной символикой, другое — немецкой; у одного будут преобладать зрительные образы, у другого — осязательные; у одного элементы

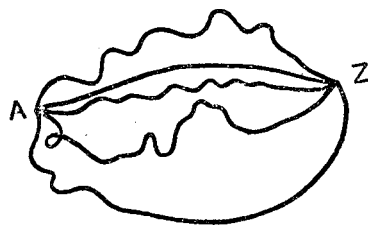


Рис. 1

мысли будут окрашены эмоциональным волнением, у другого — нет; у одних лиц процесс мысли совершается разом, быстро и синтетически, у других — медленно и в несколько приемов. Но когда предпоследний элемент в мысли каждого из этих лиц приводит их к одному общему выводу, мы говорим, и говорим совершенно правильно, что все лица, в сущности, думали об одном и том же. Каждое из них было бы чрезвычайно изумлено, заглянув в предшествующий одинаковому выводу душевный процесс другого и увидав в нем совершенно иные элементы мысли.

Четвертая особенность душевных процессов, на которую нам нужно обратить внимание при первоначальном поверхностном описании потока сознания, заключается в следующем: *сознание всегда бывает более заинтересовано в одной стороне объекта мысли, чем в другой, производя во все время процесса мышления известный выбор между его элементами, отвергая одни из них и предпочитая другие.* Яркими примерами этой избирательной деятельности могут служить явления направленного внимания и обдумывания. Но немногие из нас сознают, как непрерывна деятельность внимания при психических процессах, с которыми обыкновенно не связывают этого понятия. Для нас совершенно невозможно равномерно распределить внимание между несколькими впечатлениями. Монотонная последовательность звуковых ударов распадается на ритмические периоды то одного, то другого характера, смотря по тому, на какие звуки мы будем мысленно переносить ударение. Простейший из этих ритмов двойной, например: тик-так, тик-так, тик-так. Пятна, рассеянные по поверхности, при восприятии мысленно объединяются нами в ряды и группы. Линии объединяются в фигуры. Всеобщность различений “здесь” и “там”,

“это” и “то”, “теперь” и “тогда” является результатом того, что мы направляем внимание то на одни, то на другие части пространства и времени.

Но мы не только делаем известное удаление на некоторых элементах восприятий, но и объединяем одни из них и выделяем другие. Обыкновенно большую часть находящихся перед нами объектов мы оставляем без внимания. Я попытаюсь вкратце объяснить, как это происходит.

Начнем анализ с низших форм психики: что такое сами чувства наши, как не органы подбора? <...>Из бесконечного хаоса движений, из которых, по словам физиков, состоит внешний мир, каждый орган чувств извлекает и воспринимает лишь те движения, которые колеблются в определенных пределах скорости. На эти движения данный орган чувств реагирует, оставляя без внимания остальные, как будто они вовсе не существуют. Из того, что само по себе представляет беспорядочное неразличимое сплошное целое, лишенное всяких оттенков и различий, наши органы чувств, отвечая на одни движения и не отвечая на другие, создали мир, полный контрастов, резких ударений, внезапных перемен и картинных сочетаний света и тени.

Если, с одной стороны, ощущения, получаемые нами при посредстве органа чувств, обусловлены известным соотношением концевой аппаратуры органа с внешней средой, то, с другой, из всех этих ощущений внимание наше избирает лишь некоторые наиболее интересные, оставляя в стороне остальные. Мы замечаем лишь те ощущения, которые служат знаками объектов, достойных нашего внимания в практическом или эстетическом отношении, имеющих названия *субстанций* и потому возведенных в особый чин достоинства и независимости. Но помимо того особого интереса, который мы придаем объекту, можно сказать, что какой-нибудь столб пыли в ветреный день представляет совершенно такую же индивидуальную вещь и в такой же мере заслуживает особого названия, как и мое собственное тело.

Что же происходит далее с ощущениями, воспринятыми нами от каждого отдельного предмета? Между ними рассудок снова делает выбор. Какие-то ощущения он избирает в качестве черт, правильно характеризующих данный предмет, на дру-

гие смотрит как на случайные свойства предмета, обусловленные обстоятельствами минуты. Так, крышка моего стола называется прямоугольной, согласно одному из бесконечного числа впечатлений, производимых ею на сетчатку и представляющих ощущение двух острых и двух тупых углов, но все эти впечатления я называю перспективными видами стола; четыре же прямых угла считаю его истинной формой, видя в прямоугольной форме на основании некоторых собственных соображений, вызванных чувственными впечатлениями, существенное свойство этого предмета,

Подобным же образом истинная форма круга воспринимается нами, когда линия зрения перпендикулярна к нему и проходит через его центр; все другие ощущения, получаемые нами от круга, суть лишь знаки, указывающие на это ощущение. Истинный звук пушки есть тот, который мы слышим, находясь возле нее. Истинный цвет кирпича есть то ощущение, которое мы получаем, когда глаз глядит на него на недалеком расстоянии не при ярком освещении солнца и не в полумраке; при других же условиях мы получаем от кирпича другое впечатление, которое служит лишь знаком, указывающим на истинное; именно в первом случае кирпич кажется краснее, во втором — синее, чем он есть на самом деле. Читатель, вероятно, не знает предмета, которого он не представлял бы себе в каком-то типичном положении, какого-то нормального разреза, на определенном расстоянии, с определенной окраской и т.д. Но все эти существенные характерные черты, которые в совокупности образуют для нас истинную объективность предмета и контрастируют с так называемыми субъективными ощущениями, получаемыми когда угодно от данного предмета, суть такие же простые ощущения. Наш ум делает выбор в известном направлении и решает, какие именно ощущения считать более реальными и существенными.

Далее, в мире объектов, индивидуализированных таким образом с помощью избирательной деятельности ума, то, что называется *опытом*, всецело обуславливается воспитанием нашего внимания. Вещь может попадаться человеку на глаза сотни раз, но если он упорно не будет

обращать на нее внимания, то никак нельзя будет сказать, что эта вещь вошла в состав его жизненного опыта. Мы видим тысячи мух, жуков и молей, но кто, кроме энтомолога, может почерпнуть из своих наблюдений подробные и точные сведения о жизни и свойствах этих насекомых? В то же время вещь, увиденная раз в жизни, может оставить неизгладимый след в нашей памяти. Представьте себе, что четыре американца путешествуют по Европе. Один привезет домой богатый запас художественных впечатлений от костюмов, пейзажей, парков, произведений архитектуры, скульптуры и живописи. Для другого во время путешествия эти впечатления как бы не существовали: он весь был занят собиранием статистических данных, касающихся практической жизни. Расстояния, цены, количество населения, канализация городов, механизмы для замыкания дверей и окон — вот какие предметы поглощали все его внимание. Третий, вернувшись домой, дает подробный отчет о театрах, ресторанах и публичных собраниях и больше ни о чем. Четвертый же, быть может, во все время путешествия окажется до того погружен в свои думы, что его память, кроме названий некоторых мест, ничего не сохранит. Из той же массы воспринятых впечатлений каждый путешественник избрал то, что наиболее соответствовало его личным интересам, и в этом направлении производил свои наблюдения.

Если теперь, оставив в стороне случайные сочетания объектов в опыте, мы зададимся вопросом, как наш ум рационально связывает их между собой, то увидим, что и в этом процессе подбор играет главную роль. Всякое суждение <...> обуславливается способностью ума раздробить анализируемое явление на части и извлечь из последних то именно, что в данном случае может повести к правильному выводу. Поэтому гениальным человеком мы назовем такого, который всегда сумеет извлечь из данного опыта истину в теоретических вопросах и указать надлежащие средства в практических. В области эстетической наш закон еще более несомненен. Артист заведомо делает выбор в средствах художественного воспроизведения, отбрасывая все тона, краски и размеры, которые не гармони-

руют друг с другом и не соответствуют главной цели его работы. Это единство, гармония, “конвергенция характерных признаков”, согласно выражению Тэна, которая сообщает произведениям искусства их превосходство над произведениями природы, всецело обусловлены элиминацией. Любой объект, выхваченный из жизни, может стать произведением искусства, если художник сумеет в нем оттенить одну черту как самую характерную, отбросив все случайные, не гармонирующие с ней элементы.

Делая еще шаг далее, мы переходим в область этики, где выбор заведомо царит над всем остальным. Поступок не имеет никакой нравственной ценности, если он не был выбран из нескольких одинаково возможных. Борьбаться во имя добра и постоянно поддерживать в себе благие намерения, искоренять в себе соблазнительные влечения, неуклонно следовать тяжелой стезей добродетели — вот характерные проявления этической способности. Мало того, все это лишь средства к достижению целей, которые человек считает высшими. Этическая же энергия *par excellence* (по преимуществу) должна идти еще дальше и выбирать из нескольких целей, одинаково достижимых, ту, которую нужно считать наивысшей. Выбор здесь влечет за собой весьма важные последствия, налагающие неизгладимую печать на всю деятельность человека. Когда человек обдумывает, совершить преступление или нет, выбрать или нет ту или иную профессию, взять ли на себя эту должность, жениться ли на богатой, то выбор его в сущности колеблется между несколькими равно возможными будущими его характерами. Решение, принятое в данную минуту, предопределяет все его дальнейшее поведение. Шопенгауэр, приводя в пользу своего детерминизма тот аргумент, что в данном человеке со сложившимся характером при данных условиях возможно лишь одно определенное решение воли, забывает, что в такие критические с точки зрения нравственности моменты для сознания сомнительна именно предполагаемая законченность характера. Здесь для человека не столь важен вопрос, как поступить в данном случае, — важнее определить, каким существом ему лучше стать на будущее время.

Рассматривая человеческий опыт вообще, можно сказать, что способность выбора у различных людей имеет очень много общего. Род человеческий сходится в том, на какие объекты следует обращать особое внимание и каким объектам следует давать названия; в выделенных из опыта элементах мы оказываем предпочтение одним из них перед другими также весьма аналогичными путями. Есть, впрочем, совершенно исключительный случай, в котором выбор не был произведен ни одним человеком вполне аналогично с другим. Всякий из нас по-своему разделяет мир на две половинки, и для каждого почти весь интерес жизни сосредоточивается на одной из них, но пограничная черта между обеими половинками одинакова: “я” и “не-я”. Интерес совершенно особенного

свойства, который всякий человек питает к тому, что называет “я” или “мое”, представляет, быть может, загадочное в моральном отношении явление, но во всяком случае должен считаться основным психическим фактом. Никто не может проявлять одинаковый интерес к собственной личности и к личности ближнего. Личность ближнего сливается со всем остальным миром в общую массу, резко противопологаемую собственному “я”. Даже полураздавленный червь, как говорит где-то Лотце, противопоставляет своему страданию всю остальную Вселенную, хотя и не имеет о ней и о себе самом ясного представления. Для меня он — простая частица мира, но и я для него — такая же простая частица. Каждый из нас раздваивает мир по-своему.

Г.И. Челпанов

[ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ]¹

Определение психологии. Термин “психология” происходит от греческих слов “псюхе” и “логос” и значит “*учение о душе*”. Но так как существование души совсем не очевидно, то и определение психологии как учения о душе для многих представляется неправильным. Поэтому в последнее время предлагают другое определение психологии, именно, говорят, что психология есть *наука о душевных явлениях или о законах душевной жизни*. Нам следует разобрать оба эти определения. Но что такое душевные явления?

Под *душевными явлениями* нужно понимать наши чувства, представления, мысли, желания и т.п. Что мы называем чувством, мыслями, желаниями, всякий хорошо знает. Всякий, кто произносит эти слова, уже знает, что они обозначают. Ясно, что так называемые душевные явления нам непосредственно известны, каждый может воспринять их с полной определенностью.

Но существует ли душа, и что мы понимаем под душой?

Для признания существования *души*, между прочим, имеется следующее основание. Мы не можем мыслить о том или другом чувстве, о том или другом представлении, вообще о том или ином душевном явлении без того, чтобы в то же самое время не мыслить о чем-то таком, что “имеет” чувства, представления. Мы не можем

представить себе душевные явления, как не принадлежащие ничему; мы не можем представить себе ни чувств, ни мыслей, ни желаний, которые были бы ничьими. Сделайте попытку представить чувство радости, которое не принадлежало бы ничему, — такая попытка вам не удастся. Мы, думая о мыслях, чувствах, желаниях и т.п., всегда представляем себе *нечто*, что “мыслит”, “чувствует”, “имеет желания” и т.п. Это “нечто” философы называют *субъектом*, “я”, *душой*. Душа, по их мнению, есть причина душевных явлений: только благодаря деятельности души мы имеем представления, чувства и вообще душевные явления. Она есть *носительница*, *основа* душевных явлений, душевные же явления суть обнаружения души: душа в своей деятельности обнаруживает свои свойства. Исследование природы и свойств души и есть, по мнению некоторых философов, задача психологии.

Различие между приведенными определениями психологии очевидно.

По одному определению, психология занимается исследованием психических *явлений*; по другому определению, психология занимается исследованием природы *души*, которая сама по себе недоступна для нашего непосредственного познания, т.е. в существовании души мы не можем убедиться с такою очевидностью, с какою мы убеждаемся в том, что существуют чувства, представления и т.п.

Какое же из этих двух определений нужно считать правильным?

Прежде думали, что есть две психологии, именно: психология *рациональная* и психология *эмпирическая*. Различие между этими двумя психологиями заключалось в том, что психология рациональная изучает свойства души, именно, есть ли она что-либо материальное или нематериальное, смертное или бессмертное и т.п. Психология эмпирическая занимается исследованием душевных явлений. Различие в названиях происходило оттого, что эмпирическая психология разрабатывается путем исследования того, что дается в *опыте* <...>, рациональная же психология разрабатывается путем *умозрения*, *умозаключения* или *рассуждения* <...>. Умозрение,

¹ Челпанов Г.И. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). 15-е изд. Харьков, 1918. С.1—11.

именно, означает познание при помощи *разума* в отличие от познания посредством *опыта*. Как мы видели выше, существование души есть предмет умозаключения, умозрения. В настоящее время такого самостоятельного существования двух психологий допустить нельзя. Следует признать, что учение о душе и учение о душевных явлениях составляют две части одной и той же психологии. Полная система психологии должна состоять из двух частей, и, именно, потому, что умозрение и опытное познание не могут быть совершенно отделены друг от друга. Умозрительное познание природы и свойств души без опытного познания природы душевных явлений невозможно. Поэтому и построение так называемой рациональной психологии без эмпирической невозможно. С другой стороны, и построение эмпирической психологии находится до известной степени в зависимости от умозрения.

Мы в настоящем сочинении будем излагать только эмпирическую психологию, следовательно, будем изучать природу психических явлений.

Предмет психологии. Итак, задача эмпирической психологии заключается в определении законов душевных явлений. Под душевными или психическими явлениями, как мы видели, следует понимать наши мысли, чувства, волевые решения и т.п. Их называют также: “психические состояния”, “состояния сознания”. Что такое состояние сознания, мы определять не станем: оно понятно для всякого, кто пережил то или другое психическое состояние. “Видеть” что-либо, “слышать” что-либо, иметь “чувства радости”, переживать чувство страдания, прийти к какому-нибудь решению и т.п. значит иметь то или другое состояние сознания. Состояния сознания и являются *предметом* психологии.

Для того, чтобы особенности предмета психологии сделались для нас ясными, нам необходимо рассмотреть его отличие от предмета естествознания в широком смысле слова, или наук о природе, т.е., другими словами, мы должны рассмотреть *отличие психических явлений от явлений физических или материальных*, которые составляют предмет наук о природе.

Это различие сводится к следующим трем пунктам.

Психические явления не могут быть воспринимаемы и познаваемы через посредство внешних органов чувств (глаза, уха и т.п.). Если я изучаю какой-нибудь минерал, то все его свойства становятся для меня познаваемы при участии деятельности органов чувств. Его форму, цвет я воспринимаю при помощи глаза, его твердость, шероховатость — при помощи органа осязания и т.п. Для изучения звуковых, электрических явлений, теплоты, химических процессов и т.п., я должен “видеть”, “слышать”, “осязать”, “обонять” и т.п.; словом, я должен пользоваться своими органами чувств. Таким образом, все физические или материальные явления я воспринимаю при помощи органов чувств. Совсем не то с психическими явлениями. Ни одного из них я не в состоянии воспринять при помощи какого-либо органа чувств. Например, я испытываю “чувство обиды”; я его познаю, я знаю его свойства, потому что я отличаю его от всех других чувств, но для всякого ясно, что это психическое явление или состояние сознания я знаю не через посредство какого-либо органа чувств (глаза, уха и пр.). В настоящую минуту у меня есть “мысль о справедливости”. Я эту мысль отличаю от других мыслей, но о свойствах ее я знаю не через посредство какого-либо органа чувств. В психологии принято этот способ познания называть *самонаблюдением*, познанием при помощи *внутреннего опыта* в отличие от *внешнего опыта*, которым пользуются в науках о физической природе. Таким образом, *психические явления могут познаваться только путем самонаблюдения или внутреннего опыта*.

Второе различие между психическими явлениями и физическими заключается в том, что в то время, как *физические явления одновременно могут быть доступны непосредственному наблюдению большого числа лиц, психические явления непосредственно доступны наблюдению только того лица, которое их переживает*. Например, какой-либо минерал может быть одновременно наблюдаем множеством лиц, а “чувство радости”, которое я переживаю, никто не может наблюдать, кроме меня. Метеор, который проносится по небесному своду, может быть наблюдаем тысячами людей, моя “мысль” о доме доступна лишь для меня одного.

Третье существенное различие между физическими и психическими явлениями или между “физическим” и “психическим” заключается в том, что *предметам и процессам мира физического могут быть приписаны свойства протяженности, между тем как психическим явлениям свойства протяженности приписаны быть не могут*. Например, если мы возьмем какой бы то ни было предмет наук о природе, мы всегда можем о нем сказать, что он “большой” или “малый”, что он “толстый” или “тонкий”, что он находится “справа”, “слева”, и т.п. Если мы возьмем какой-нибудь физический процесс, например, горение, какую-либо химическую реакцию, то мы о нем должны сказать, что он *совершается где-нибудь в пространстве*. Всем предметам и процессам, физическим или материальным, может быть приписана пространственная протяженность. Наоборот, если мы возьмем какие бы то ни было процессы психические, то мы увидим, что протяженность им ни в коем случае приписана быть не может. Например, о “чувстве сомнения”, которое в данную минуту находится у меня в сознании, я не могу сказать, что оно имеет ширину, длину, толщину и т.п. О моей “мысли о великом переселении народов” я никак не могу сказать, что она находится вправо или влево от “мысли о барометрическом давлении”. Самая попытка применить свойства протяженности к психическим явлениям всегда должна оканчиваться полной неудачей. Нельзя также сказать, что психические явления “совершаются” где-нибудь в пространстве. О психических явлениях можно сказать, что они совершаются во времени: они совершаются одновременно или одно вслед за другим.

Задача психологии. Мы видели, что *задача психологии заключается в определении законов душевной жизни или законов душевных явлений*. Для того, чтобы это определение было ясно, нам следует рассмотреть, что понимается под *законом*. Закон — это *определенная постоянная связь между явлениями*. Если мы, например, усматриваем, что между теплотой и расширением тел есть постоянная связь, то мы можем сказать, что положение “тела расширяются от теплоты” есть закон природы. Возьмем в пример один какой-либо закон, например, закон при-

чинной связи. Если между двумя явлениями А и В существует такая связь, что появление А влечет за собой появление В, и уничтожение А влечет за собою уничтожение В, то мы говорим, что между явлениями А и В есть причинная связь. Установление причинной связи есть одна из задач наук о природе. Такую же задачу поставляет и психология, т.е. она желает определить *причинную связь между психическими явлениями*. Если мы говорим, что “ощущение горького вкуса вызывает неприятное чувство”, то мы устанавливаем причинную связь между известным “ощущением” и известным “чувством”. В психической жизни мы замечаем известную *закономерность*, т.е. психические явления следуют друг за другом, повинуюсь известным законам. Определение этой закономерности и есть задача психологии. Но следует заметить, что законы, устанавливаемые психологией, не обладают той *всеобщностью*, которая присуща законам физики и химии. Если мы, например, говорим, что “угол падения равен углу отражения”, то мы нигде и никогда не допускаем исключений из правил этого закона. Этот закон *всеобщ.* Если мы в психологии говорим, что “науки облагораживают человека”, то мы этим выражаем закон или общее положение, которое отличается далеко не всеобщим характером, потому что весьма часты случаи, когда науки не облагораживают человека. Таким образом, законы психологические не отличаются всеобщностью.

Вспомогательным средством для открытия законов или общих положений психологии является *описание* психических явлений. Описывая по возможности точные психические явления, мы имеем возможность объединять сходные явления в один общий класс, т.е. *классифицировать* психические явления. Так как психические явления по большей части оказываются очень сложными явлениями, то для определения их природы необходимо бывает разложить их на составные части, или *анализировать* их. Например, созерцание какой-либо трагедии вызывает в нас сложное душевное состояние. Раскрыть, какие именно мысли, чувства и т.п. входят в состав данного сложного психического явления, значит анализировать его.

Психология для анализа прибегает, между прочим, к рассмотрению *генезиса или происхождения* того или другого психического явления, той или другой психической “способности”. Например, я вижу предмет, который находится на известном расстоянии от меня, иными словами, я “воспринимаю расстояние до предмета”. На первый взгляд кажется, что эта способность восприятия расстояния представляет собою простое явление; кажется, что восприятие расстояния совершается при помощи одного только зрительного органа. Если же мы рассмотрим генезис этой способности, то убедимся в ее сложном характере. Если, например, мы пожелаем исследовать, каковы свойства или в каком положении находится способность восприятия расстояния у ребенка, то мы убедимся в том, что она на известной стадии развития отсутствует у него: на этой стадии ребенок может при помощи глаза отличать только темное от светлого, но не может воспринимать расстояния или удаления предметов. Эта способность приобретает им на последующей стадии развития, благодаря присоединению мускульных и осязательных ощущений. Следовательно, если мы рассмотрим генезис восприятия расстояния, то раскроется не только сложный характер, но равным образом и составные элементы этого восприятия. Таким образом, рассмотрение генезиса психических способностей дает нам возможность анализировать их.

Психология и естествознание. Весьма часто говорят, что психология есть часть естествознания, но это утверждение неправильно. Конечно, между психологией и естествознанием есть некоторые общие черты. Можно, например, сказать, что психология есть такая же *опытная наука*, как и естествознание. Психология, как и естествознание, ставит своей задачей исследование законов *явлений*. Психология, как и естествознание, ставит своей целью точное *описание* явлений, но, как мы видели, между *предметом* естествознания и между предметом психологии есть настолько существенное различие, что смешивать их нет никакой возможности. Поэтому нельзя считать правильным положение, что психология есть часть естествознания.<...>

Самонаблюдение — основа психологии. Мы видели, что психические явления

могут быть познаваемы только при помощи самонаблюдения. Познание при помощи самонаблюдения в психологии принято называть также *субъективным методом* в отличие от *объективного* метода естествознания. Объективный метод — это познание через посредство внешних органов чувств (термин “объективный” в этом случае употребляется потому, что дело идет о наблюдении чего-то объективного, вне нас находящегося). Самонаблюдение называется также *интроспективным методом*, или интроспекцией, что значит “смотреть внутрь”. Но не следует думать, что в данном случае может идти речь о каком-нибудь действительном смотре внутрь. “Самонаблюдение”, как уже было сказано выше, есть только искусственный термин для обозначения способа познания, отличного от познания через посредство органов чувств. Как мы видели, все психические процессы непосредственно доступны наблюдению только того, кто их переживает.

Но если психические явления доступны только для того лица, которое их переживает, то спрашивается, *каким образом они могут сделаться предметом наблюдения для другого лица?* Ведь мы часто говорим, что мы наблюдаем психическую жизнь того или другого лица, например, психическую жизнь ребенка. В обиходной жизни часто говорят: “мы видим радость”, “мы видим печаль” другого лица. Но этот способ выражения неправилен, потому что о психических состояниях другого лица мы можем только *умозаключать*; видеть же, слышать или вообще непосредственно воспринимать их мы не можем. Для пояснения этого возьмем пример. В моем присутствии кто-либо плачет. Я думаю, что он переживает чувство страдания. Но могу ли я сказать, что я “воспринимаю” его чувство страдания? Нет, потому что я воспринимаю только ряд *физических* изменений, составляющих предмет внешнего опыта. Я вижу капли жидкости, истекающие из его глаз, я вижу изменившиеся черты лица; я слышу прерывистые звуки, которые называются плачем. Все это я воспринимаю при помощи органов чувств, это есть предмет внешнего опыта. Кроме этого я ничего непосредственно не воспринимаю. Откуда же я знаю о существовании страдания у другого? Я знаю о нем путем *умозаключения*. Когда я сам раньше страдал, когда у меня

было чувство страдания, то у меня из глаз текли слезы, я сам издавал прерывистые звуки. Теперь я, “видя” слезы и “слыша” плач, умозакключаю, что у него есть чувство страдания.

Из этого примера можно видеть, что непосредственно воспринимать психические процессы, переживаемые другими индивидуумами, мы не можем: о них мы можем только умозакключать, *непосредственно* же воспринимать их мы можем только в самих себе. Психическая жизнь всех живых существ становится для нас понятной благодаря *умозакключениям*. Если мы, например, видим, что собака обращается в бегство, увидя палку, то мы заключаем, что она переживает чувство страха и старается избежать страдания совершенно так, как это делаем и мы. О психических процессах, переживаемых другими индивидуумами, мы знаем только на основании того, что мы сами переживали. *Каждое психическое явление, таким образом, становится для нас понятным, благодаря тому, что мы его переводим на язык наших собственных переживаний, на наше самонаблюдение.* Вследствие этого мы можем утверждать, что единственный способ познания психических процессов есть самонаблюдение: без самонаблюдения мы ничего не могли бы знать о психической жизни других существ.

Самонаблюдение и объективное наблюдение. Положение, что самонаблюдение есть единственный способ познания психических процессов, некоторые понимают в том смысле, что психолог должен строить психологические законы на основании наблюдений *только самого себя* и эти наблюдения считать справедливыми относительно психической жизни вообще. Но так как, по их мнению, это не может быть верным способом исследования, потому что то, что справедливо относительно психической жизни психолога, наблюдающего самого себя, может быть совершенно несправедливо относительно психической жизни *вообще*, то, по их мнению, психология, построенная на самонаблюдении, не может иметь никакого научного значения.

Но такое понимание термина “самонаблюдение” нужно считать совершенно неправильным. Те психологи, которые утверждают, что самонаблюдение есть основа психологии, не думают, что это утверждение равносильно требованию, чтобы психо-

логия строилась на основании наблюдения только самого себя. По их мнению, самонаблюдение не исключает наблюдения психической жизни других индивидуумов, психической жизни животных, ребенка и т.п., т.е., другими словами, *самонаблюдение не исключает объективного наблюдения*, но следует заметить, что результаты объективного наблюдения становятся для нас понятными только в том случае, если мы переведем их на понятия, известные нам из нашего самонаблюдения.

Таким образом, *объективное наблюдение* психических процессов может осуществиться только благодаря самонаблюдению.

Источники психологии. Не из наблюдения только самого себя, а из наблюдения вообще всех живых существ психолог стремится строить законы душевной жизни. Эти наблюдения психология черпает из целого ряда других наук. Тот материал, который необходим психологу для построения системы психологии, мы можем изобразить при помощи следующей таблицы. Психологу нужны три группы данных:

I. *Данные сравнительной психологии.*

1. Сюда входит так называемая “психология народов” (этнография, антропология), а также история, художественные произведения и т.п.

2. Психология животных.

3. Психология ребенка.

II. *Аномальные явления.*

1. Душевные болезни.

2. Гипнотические явления, сон, сновидения.

3. Психическая жизнь слепых, глухонемых и т.п.

III. *Экспериментальные данные.*

Итак, мы видим, что для современного психолога прежде всего необходимо иметь данные сравнительной психологии. Сюда относится “психология народов” (по-немецки *Völkerpsychologie*), в которую входит история и развитие религиозных представлений, история мифов, нравов, обычаев, языка, история искусств, ремесел и т.п. у некультурных народов. Все так называемые “высшие чувства”: эстетические, моральные, чувство справедливости у современного культурного человека, являются в таком *сложном* виде, что анализировать их для нас почти невозможно. Мы должны

рассмотреть состояние этих чувств у малокультурных народов. Там они являются в очень простой, зачаточной форме. Проследивая постепенное развитие этих чувств на разных ступенях культуры, мы можем видеть те элементы, из которых они складываются. Изучая состояние этих чувств у малокультурных народов, мы можем таким образом понять их природу и у культурных народов. *История*, описывая прошлую жизнь народов, описывает и такие моменты в их жизни, как народные движения и т.п., это дает богатый материал для так называемой психологии массы. Изучение *развития языка* доставляет также очень важный материал для психологии. Язык есть воплощение человеческой мысли. Если мы проследим развитие языка, то мы вместе с этим можем проследить ход развития человеческих представлений. Весьма важный материал для психологии доставляют также и художественные произведения; например, для изучения такой страсти, как “скупость”, нам следует обратиться к изображению ее у Пушкина, Гоголя и Мольера.

Психология животных важна потому, что в психической жизни животных те же самые “способности”, которые у человека являются в неясной форме, возникают в простой, элементарной форме, вследствие чего доступны более легкому изучению; например, инстинкт у животных выступает в гораздо более ясной форме, чем у человека.

Психология ребенка имеет важное значение потому, что, благодаря ей, мы можем видеть, каким образом высшие способности развиваются из элементарных. Например, развитие способности речи можно было проследить у ребенка, начиная с самой зачаточной формы.

Изучение *анормальных* явлений, куда относятся душевные болезни, так называемые гипнотические явления, а равным образом сон и сновидения, также необходимо для психолога. То, что у нормального человека выражено неясно, у душевнобольного выражается чрезвычайно ясно. Например, явление потери памяти замечается и у нормального человека, но особенно отчетливо оно выступает у душевнобольных.

Если, далее, мы возьмем так называемых дефектных, у которых отсутствует,

например, орган зрения, слуха и т.п., то наблюдения над ними могут для психологии представить чрезвычайно важный материал. У слепого нет органа зрения, но есть представление о пространстве, которое, конечно, отличается от представления о пространстве у зрячего. Исследование особенностей представления о пространстве слепого дает нам возможность определить природу представления о пространстве вообще.

Вот тот многочисленный материал, на основании которого строится система психологии. Все приведенные здесь наблюдения: наблюдение над животными, наблюдение над психической деятельностью душевнобольного и т.п., представляют собою результаты *объективного* наблюдения, потому что то, что мы в этом случае наблюдаем, есть нечто, вне нас находящееся, но не следует думать, что в этом отношении психология становится тождественной с естествознанием. Все-таки нельзя сказать, что в психологии применяется объективный метод, потому что весь объективно добытый материал становится доступным для психолога только благодаря тому, что он переводит его на язык самонаблюдения. Если он так или иначе истолковывает психическую жизнь ребенка, если он так или иначе понимает психическую жизнь душевнобольного и т.п., то это только потому, что он раньше имел случай пережить аналогичные состояния. Словом, *весь объективно получаемый материал становится доступным для нас благодаря самонаблюдению*.

Поэтому, резюмируя, мы можем сказать, что *психология при изучении психических явлений должна пользоваться субъективным методом или самонаблюдением*.

О возможности эксперимента в психологии. Известно, что естествознание обязано своим развитием применению *эксперимента*, опыта. Поэтому важно решить вопрос, нельзя ли применить эксперимент к исследованию психических явлений. Сущность эксперимента мы можем пояснить следующим образом. Изучение при помощи *эксперимента* отличается от изучения при помощи *наблюдения* просто. Если мы изучаем какое-либо явление, не делая никаких попыток произвести изменение условий, при которых оно соверша-

ется, то такое изучение мы можем назвать наблюдением просто. Если мы, например, рассматриваем радугу, изучаем взаимное расположение цветов ее и т.п., то это будет изучением явления при помощи простого наблюдения. Но если мы, изучая какое-нибудь явление, пытаемся изменить условия или обстоятельства, при которых оно совершается, то такое изучение может быть названо изучением при помощи эксперимента. Например, мы желаем определить влияние сопротивления воздуха на скорость движения падающих тел. Для этой цели мы при помощи воздушного насоса выкачиваем воздух из стеклянного цилиндра и в созданном таким образом безвоздушном пространстве производим падение тел и видим, что все тела падают с одинаковой скоростью в безвоздушном пространстве (в данном случае мы наблюдаем падение тела при двух условиях: сначала при наличии воздуха, а потом без воздуха). На этом примере можно видеть, что *в эксперименте мы производим изменения в обстоятельствах, при которых совершается изучаемое явление.*

Но нельзя ли применить эксперимент к изучению психических явлений, т.е. нельзя ли в психических процессах изменять обстоятельства, при которых совершается изучаемое явление? Кажется на первый взгляд, что такого рода изменение обстоятельств, при которых совершается то или другое психическое явление, невозможно. Изменять мы можем явления внешней природы. Каким же образом можно было бы вмешаться в ход явлений психических? По-видимому, с сознанием, с явлениями душевной жизни нельзя оперировать так, как мы оперируем с вещами внешнего мира. На самом же деле, если изменение психических явлений невозможно прямо, то возможно

косвенно; именно, мы можем видоизменить деятельность того или другого органа чувств и вместе с этим изменять и состояние сознания. Произведем какой-либо эксперимент. Положим, что мы желаем определить, сочетание каких цветов кажется нам красивым. Для этого мы берем, например, полоску зеленой бумажки и, помещая рядом с нею полоску бумажки синего цвета, предлагаем кому-либо сказать, считает ли он это сочетание цветов “красивым”. Если он, положим, находит это сочетание некрасивым, тогда мы вместо синей бумажки приставляем красную, и, положим, субъект находит это сочетание красивым. Мы в этом случае, удаляя одну бумажку и помещая другую, произвели *изменения* в деятельности зрительного органа, а вместе с этим вызвали изменение состояния сознания. Другими словами, мы произвели психологический эксперимент. О других психологических экспериментах мы скажем впоследствии, а теперь отметим, что эксперимент в психологии возможен, так как возможно изменение тех условий, при которых совершаются психические явления.

Психология и физиология. Вместе с этим делается понятным и значение *физиологии* (науки о телесных отправлениях) для психологии, так как психологические эксперименты до сих пор производились главным образом в физиологии. Но здесь можно также видеть, до какой степени несправедлив довольно распространенный в наше время взгляд, что будто бы *психология есть часть физиологии*. В действительности для построения психологии необходим такой обширный материал, что *экспериментальная психология*, которая в настоящее время неправильно называется также и *физиологической*, составляет только часть психологии вообще.

Б.М. Теплов

[ОБ ИНТРОСПЕКЦИИ И САМОНАБЛЮДЕНИИ]¹

Что следует понимать под субъективным методом в психологии? Для ответа на вопрос обратимся прежде всего к первоисточнику — к тем психологам, которые считали, что субъективный метод — единственно возможный в психологии, и все усилия направляли к разработке этого метода. К ним относится большинство столпов буржуазной идеалистической психологии. Возьмем для примера двух главных представителей официально утвержденной психологии в дореволюционной России: профессора Московского университета Г.И.Челпанова и профессора Петербургского университета А.И.Введенского.

В учебнике психологии, по которому учились гимназисты того времени, Челпанов писал так: “Психические явления могут быть познаваемы только при помощи самонаблюдения. Познание при помощи самонаблюдения в психологии принято называть субъективным методом в отличие от объективного метода естествознания” (1905. С. 7).

Аналогичное, только в более резкой форме, писал и Введенский: “Душевные явления сознаются или воспринимаются только тем лицом, которое их переживает” (1914. С. 15). “Чужой душевной жизни мы не можем воспринимать; сама она навсегда остается вне пределов возможного опыта” (Там же. С. 74). Наблюдение

душевных явлений в самом себе “называется самонаблюдением, или внутренним наблюдением, или интроспекцией, систематическое же употребление самонаблюдения для научных целей называется субъективным, или интроспективным, методом” (Там же. С. 13).

Итак, психические явления могут познаваться только в себе самом; познание их осуществляется при помощи интроспекции (внутреннее зрение) или самонаблюдения; систематическое употребление интроспекции для научных целей и есть субъективный метод; метод этот, как явствует из вышесказанного, — единственно возможный в психологии.

Как же быть с познанием чужой психической жизни? В этом вопросе Введенский, надо отдать ему справедливость, занимал наиболее последовательную позицию — позицию крайнего агностицизма, своего рода “психологического солипсизма”. “Я вправе, — писал он, — смело утверждать, без всякого опасения противоречить каким-либо заведомо существующим фактам, что, кроме самого меня, ровно никто не одушевлен во всей вселенной” (Там же. С. 72). И дальше: “Мне нельзя узнать, где есть одушевленность помимо меня и где ее нет, так что без всякого противоречия с наблюдаемыми мною фактами я могу всюду, где захочу, либо допускать, либо отрицать ее” (Там же. С. 73). Таким образом, профессор университета, облеченный обязанностью читать курс психологии, считал себя вправе допускать психическую жизнь у шкафа и отрицать ее у самого близкого ему человека. Естественно, что никакого интереса не может представить содержание курса психологии, читавшегося с таких позиций.

Более обтекаемую и по видимости наукообразную позицию занимал Челпанов.

<...> “Нельзя сказать, — писал Челпанов, — что в психологии применяется объективный метод, потому что весь объективно добытый материал становится доступным для психолога только благодаря тому, что он переводит его на язык самонаблюдения. Если он так или иначе истолковывает психическую жизнь ребенка, если он так или иначе понимает психи-

¹ *Теплов Б.М.* Об объективном методе в психологии// Избранные труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1985. Т. 2. С.291—302.

ческую жизнь душевнобольного и т. п., то это только потому, что он раньше имел случай пережить аналогичные состояния” (1905. С. II).

Самый знаменитый из американских интроспекционистов, Б.Э.Титченер, не смущаясь, продолжал такое же рассуждение и по отношению к изучению психологии животных. Психолог, писал он, “старается, насколько это только возможно, поставить себя на место животного, найти условия, при которых его собственные выразительные движения были бы в общем того же рода; и затем он старается воссоздать сознание животного по свойствам своего человеческого сознания” (1914. Т. 1. С. 26).

Как видно, сущность субъективного метода заключается в том, что психолог истолковывает психическую жизнь других взрослых людей, детей, душевнобольных и даже животных с точки зрения тех сведений, которые он получил при помощи самонаблюдения. Репертуар тех психических процессов, которые могут быть таким путем найдены, естественно, ограничивается и должен по существу метода ограничиваться тем, что пришлось пережить самому психологу. Представления, чувства, мысли другого человека, ребенка и даже животного — это все те же представления, чувства и мысли ученого-психолога, ибо никаких других он не знает и не имеет права знать.

Следовательно, действительное познание чужих чувств или мыслей (такое познание предполагается невозможным!) заменяется тем, что психолог приписывает другим людям (или даже животным) те чувства и мысли, которые он считает, исходя из собственного опыта, наиболее разумным приписать им в данном случае. <...>

Научная несостоятельность субъективного метода в его развернутом виде слишком очевидна. Однако не следует забывать, что явно нелепое требование приписывать детям, душевнобольным и животным психические процессы из запаса собственного интроспективного опыта есть прямое и необходимое следствие исходной посылки: самонаблюдение есть единственный адекватный метод познания психики. Если принять эту посылку, то следует или отказаться от изучения, например, психики ребенка, или принять метод “истолкования через самонаблюдение”.

Все изложенное учение о субъективном методе в психологии покоится на вере в то, что у человека имеется специальное орудие для *непосредственного* познания своей психики (внутреннее восприятие, или интроспекция) и что другое — опосредствованное — познание психического невозможно, а следовательно, невозможно и объективное, общезначимое познание чужой душевной жизни, и поэтому оно должно заменяться чисто субъективным *переводом на язык самонаблюдения*. Нетрудно понять, что здесь мы имеем дело с неприкрытым субъективным идеализмом, что основной тезис интроспективной психологии — “психология есть наука о непосредственном опыте” (В.Вундт, Т.Липпс и другие, вплоть до большинства современных англо-американских психологов-идеалистов) — имеет вызывающе идеалистический характер.

Для марксизма ощущение есть образ, отражение объективного мира. В ощущении и восприятии мы непосредственно воспринимаем объективную реальность. Самих же ощущений и восприятий мы непосредственно не воспринимаем; о них мы узнаем опосредствованно. То же относится и к таким *внутренним* процессам, как представление, воспоминание, мышление и т.д. И в них мы имеем образы объективного мира. Я непосредственно знаю *содержание* своих мыслей, представлений и т.п., но не сами *процессы* мышления, представления, воспоминания. Я непосредственно знаю, о *чем* я думаю, это дано мне в субъективном образе (термин “образ” я употребляю в широком философском смысле, а не в более узком смысле представления, наглядного образа), но я непосредственно не воспринимаю *процесса* своего мышления. Когда человек говорит: “я вспомнил”, “я подумал” и т.п., то это не значит, что он “видит” внутренним взором *процессы* воспоминания или думания, что он их каким-то способом *внутренне воспринимает*.

Глубоко прав был Сеченов, заявивший в полемике с К.Д.Кавелиным, что “особого психического зрения, как специального орудия для исследования психических процессов, в противоположность материальным, нет” (1947. С. 197), что это орудие есть “фикция” (Там же. С. 211). И в другом месте: “... у человека нет никаких

специальных умственных орудий для познания психических фактов, вроде внутреннего чувства или психического зрения, которое, сливаясь с познаваемым, познавало бы продукты сознания непосредственно, по существу” (Там же. С. 222).

Объективный метод в психологии предполагает безоговорочный отказ от всяких пережитков веры в то, что научное исследование должно основываться на так называемой интроспекции, понимаемой как орудие непосредственного познания психических процессов.

Опыт говорит: показания самонаблюдения типа обычных отчетов людей о том, что и почему они делали и о чем они думали, никогда не выходят за пределы обычных *жизнейских* понятий — *вспомнил, подумал, понял, решил, обратил внимание* и т.п. Самонаблюдение, понимаемое как *внутреннее восприятие, интроспекция*, не дает никаких возможностей для анализа того, что значит *вспомнил, подумал, понял, решил*.

Процессы, сложнейшие по объективной природе, по образующей их системе связей, для самонаблюдения выступают обычно как абсолютно простые. Мы в учебниках психологии характеризуем восприятие как “очень сложный процесс, в основе которого лежит выделение некоторой группы ощущений, объединение их в целостный образ, определенное понимание или осмысливание этого образа и узнавание соответствующего предмета или явления” (Теплов Б.М., 1950. С. 55).

Однако для самонаблюдения восприятие в нормальных условиях — процесс абсолютно простой, в котором нельзя усмотреть всех вышеописанных составных частей. Восприятие становится “сложным процессом” лишь в особо затрудненных условиях или при нарушениях мозговой деятельности.

Люди осуществляют самонаблюдение в течение десятков тысяч лет, и пределы тех единиц, на которые самонаблюдение может разложить психическую деятельность, давно уже обнаружались. От того, что человека посадят в лабораторию, дадут ему инструкцию и будут записывать его показания, острота и глубина его *внутреннего зрения* не изменятся. Психолог, ставящий интроспективный эксперимент с целью узнать механизм процес-

са мышления или запоминания, подобен физику, который посадил бы человека в специальную комнату и дал ему инструкцию с величайшим вниманием *рассмотреть* атомное строение тела. Никакой планомерный подбор тел, подлежащих *рассмотрению*, никакая *тренировка* наблюдателей не сделают этого действия менее нелепым. Простым глазом нельзя увидеть атомное строение тела. Простым *внутренним глазом* нельзя увидеть механизм психических процессов. Всякие попытки в этом направлении — потеря времени. К познанию самих психических процессов можно подойти только опосредствованно, путем объективного исследования.

Всякая наука есть опосредствованное познание. Забвение этого ведет к настойчивому стремлению непосредственно *увидеть* психический процесс, ведет к неверию в силу *объективного метода, который через наблюдение объективных условий возникновения психического процесса и объективных его проявлений, результатов дает подлинно научное познание самого процесса.*

Объективный метод в психологии есть метод опосредствованного познания психики, сознания. Он исключает всякого рода *психологический агностицизм*. Для *объективного метода чужая психическая жизнь не менее доступна научному изучению, чем своя собственная, так как фундаментом этого метода не является интроспекция.*

Положение об *объективной познаваемости психики* есть важнейшая методологическая предпосылка материалистической психологии. Возможность такого познания вытекает из раскрытого выше понимания предмета психологии: субъективное является предметом научной психологии не само по себе, а лишь в единстве с объективным.

Психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или других действиях, речевых реакциях, в изменении работы внутренних органов и т. д. Это — неотъемлемое свойство психики, забвение которого неизбежно ведет к подмене “психических реальностей” “психическими фикциями” (Сеченов).

В связи с этим следует напомнить, что для Сеченова, первым выдвинувшего идею рефлекторной природы психики, не

существовало рефлексов в буквальном смысле слова “без конца”. “Во всех случаях, — писал он, — где сознательные психические акты остаются без всякого внешнего выражения, явления эти сохраняют тем не менее природу рефлексов”; и в этих случаях “конец рефлекса есть акт, вполне эквивалентный возбуждению мышечного аппарата, т.е. двигательного нерва и его мышцы” (1947. С. 152).

Наиболее важным для психологии является выражение психических процессов во внешней деятельности человека, в его поступках, словах, в его поведении. Сеченов писал: “Психическая деятельность человека выражается, как известно, внешними признаками, и обыкновенно все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой по последним, т. е. по внешним, признакам” (Там же. С. 70). И далее: “О характере человека судят все без исключения по внешней деятельности последнего” (Там же. С. 114).

Учитель и друг Сеченова, великий русский материалист Чернышевский неоднократно указывал на то, что познание человека и его психической деятельности достигается главным образом через изучение его действий, поступков. В одной из последних работ он писал: “Достоверные сведения об уме и характере человека мы до сих пор не можем приобретать никакими рассуждениями по каким-нибудь общим основаниям. Они приобретаются только изучением поступков человека” (1951. Т. X. С. 820—821). <...>

Порочность субъективного метода в психологии проявляется вовсе не в том, что он придает значение изучению *высказываний* человека, а в том, что он придает решающее значение высказываниям человека *о себе, о своих переживаниях*.

Нередко думают, что словесные высказывания испытуемого в обычных экспериментах по изучению ощущений и восприятий есть показания самонаблюдения. Это ошибка. Показания о том, что испытуемый видит, слышит, вообще ощущает или воспринимает, — это показания о предметах и явлениях объективного мира. Только субъективный идеалист может настаивать на том, что такие показания надо относить к числу показаний самонаблюдения.

Никакой здравомыслящий человек не скажет, что военный наблюдатель, дающий такие, например, сведения: “Около опушки леса появился неприятельский танк”, — занимается интроспекцией и дает показания самонаблюдения. Но какое же основание говорить о показаниях самонаблюдения или об использовании интроспекции в обычных экспериментах по изучению ощущений или восприятий, когда испытуемые отвечают на такие, например, вопросы: какой из двух квадратов светлее? Какой из двух звуков выше (или громче)? Есть ли в темном поле зрения светлый круг? Сколько вы видите светящихся точек? и т.п. Совершенно очевидно, что здесь испытуемый занимается не интроспекцией, а *экстропспекцией*, не *внутренним восприятием*, а самым обычным внешним восприятием. Совершенно очевидно, что он дает здесь не показания самонаблюдения, а показания о предметах и явлениях внешнего мира. Нельзя, следовательно, говорить о показаниях испытуемых в нормальных экспериментах по изучению ощущений и восприятий как о показаниях самонаблюдения. Иначе пришлось бы признать, что все естествознание строится на показаниях самонаблюдения, так как нельзя себе представить научное наблюдение или эксперимент, которые могли бы обойтись без суждений восприятия.

Но ведь дело, в сущности, не меняется, если военный наблюдатель или разведчик дает показания по памяти, т.е. показания о том, что он видел несколько часов назад. И эти показания никто не назовет показаниями самонаблюдения; это высказывания о предметах внешнего мира, а вовсе не о самом себе, хотя по таким высказываниям и можно определенным путем вынести суждения о памяти человека, дающего показания. Следовательно, и о показаниях испытуемых во многих экспериментах, посвященных изучению памяти, нельзя сказать, что они являются показаниями самонаблюдения.

Итак, далеко не все словесные показания испытуемых, получаемые в психологических экспериментах, можно назвать показаниями самонаблюдения. Показаниями самонаблюдения следует называть лишь высказывания испытуемых *о себе, о своих действиях и переживаниях*.

Вообще же нужно решительно отвести ложную и вредную мысль о том, что использование в психологическом исследовании, и в частности в психологическом эксперименте, словесных реакций или словесного отчета испытуемых есть признак субъективности метода, свидетельство отхода от строго объективного метода исследования. <...> Объективность или субъективность метода менее всего определяется тем, какие реакции — речевые, двигательные, вегетативные — изучаются.

Важнейшее условие объективности метода — возможно более строгий и полный учет воздействий на испытуемого и его реакций. Это относится и к речевым воздействиям на испытуемого, и к его речевым реакциям. Не отказ от них, а стремление к строгому их учету — вот что следует из требования объективности метода.

Решительно отвергая интроспекцию как особое *внутреннее восприятие*, являющееся орудием непосредственного познания психических процессов, объективный метод в психологии, конечно, не отрицает у человека способности давать *словесный отчет* самому себе или другим людям (в том числе и психологу-исследователю) о своих действиях и переживаниях (о содержании своих переживаний). В этом смысле можно говорить о наличии у человека способности к самонаблюдению, резко противопоставляя, однако, термины *самонаблюдение* и *интроспекция*. *Самонаблюдение в единственно приемлемом значении этого слова не есть “внутреннее наблюдение”, не есть результат непосредственного восприятия своих психических процессов или психических особенностей своей личности.*

Существует очень распространенный предрассудок: всякое знание о себе — о своей психической деятельности, о своих психических особенностях — человек якобы получает путем интроспекции, т.е. путем некоего непосредственного, недоступного другим людям познания. Этот взгляд ложный. *Наиболее важные знания о себе человек получает опосредствованно, т.е. теми же принципиальными способами, которые доступны и другим людям.*

Путем интроспекции нельзя установить запасы своей памяти, нельзя узнать, что я помню и знаю. Надо решительно отказаться от взгляда на память как на кладовую, в которой хранится все, что за-

помнилось, и которую можно обозреть *внутренним взором*, т.е. с помощью интроспекции. Запоминание есть образование сложной системы связей, а воспроизведение — оживление этих связей, причем строго детерминированное, вызванное определенным стимулом.

Чтобы узнать, запомнил ли человек данное содержание или нет, надо испытать, воспроизводится ли это содержание при тех стимулах, при тех воздействиях, которые — насколько можно предполагать — связаны у данного человека с интересующим нас содержанием. (Такого рода *воздействиями* и являются различные вопросы, задания и т.п.) И чем разнообразнее будут эти воздействия, тем достовернее будет результат. Совершенно так же поступает и сам человек, желая узнать, запомнил ли он данное содержание. Он должен спросить себя о чем-то, к этому содержанию относящемся, должен дать себе некоторое задание и по результатам этого испытания судить о том, запомнил ли он. Неважно, конечно, что он это делает не вслух. Средства, которыми я располагаю, чтобы узнать, что я помню, принципиально говоря, те же самые, которыми располагают другие люди, определяющие запасы моей памяти. Я узнаю об этом не непосредственно, не путем интроспекции, а опосредствованно, ибо иным путем что-то узнать нельзя.

Задача психологов — превратить стихийно применяющийся каждым человеком опосредствованный путь в научно отточенный метод. А для этого надо прежде всего отказаться от мешающей и уводящей в сторону мысли о том, что здесь может оказать какую-то помощь интроспекция.

Итак, интроспекция не является средством определения собственных знаний. Совсем очевидно, что она не является средством определять собственные умения и навыки. Единственный путь для этого — попробовать *сделать*, т.е. путь опосредствованный, объективный. Внутреннее восприятие тут ничем не поможет. Если человек иногда (но далеко не всегда!) лучше, чем другие, знает, что он *умеет*, то только потому, что он чаще имел случай испробовать себя, а не потому, что у него имеется какое-то особое *орудие* для познания собственных умений.

Нетрудно убедиться также и в том, что не интроспекцией человек познает особенности своей личности: темперамент, характер, способности, интересы. Обо всем этом человек может судить очень опосредствованно, принципиально говоря, теми же способами, какими судят о нем другие люди, — в первую очередь по тому, как он ведет себя в тех или других ситуациях, как он поступает, что он делает. А наблюдать дела людей гораздо легче, чем собственные. Поэтому жизненный опыт показывает, что наиболее адекватную характеристику человека могут в огромном большинстве случаев дать другие люди, а не он сам. Глубокий смысл имеет в этой связи одно замечание К.Маркса: “В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он рождается без зеркала в руках и не фихтеанским философом: “Я есмь я”, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 62).

Человек сначала научается судить о других людях, а потом уже о себе. Человек судит о себе в основном теми же способами, которые он выработал, учась судить о других людях. Человек не имеет особого орудия для восприятия себя как личности. Он “рождается без зеркала в руках”.

Представляется поэтому странным, с точки зрения научной методологии, когда психологи, желая, например, узнать интересы школьников, спрашивают самих школьников о том, каковы их интересы. (Это спрашивание имеет разные формы, например, форму сочинений на темы “Чем я интересуюсь?” или “Мои интересы”.) Конечно, и врачи для установления диагноза задают больным разного рода вопросы, но они никогда не задают вопроса: “Какая у вас болезнь?”. Никому не приходит в голову, что установление диагноза болезни есть дело самого больного. Почему же может приходиться мысль, что установление круга интересов школьника есть дело самого школьника? Очевидно, потому, что сохраняется еще убеждение в том, что человек имеет некоторое недоступное другим людям орудие для непосредственного усмотрения своих интересов. Если бы все психологи были твердо убеждены, что установление круга интересов может быть произведено лишь опосредствованным путем, то едва ли они

стали бы возлагать эту задачу на самих школьников. Тогда сочинения и опросы, подобные вышеуказанным, применялись бы не для того, чтобы узнать, каковы интересы школьников, а для того, чтобы установить, как высказываются школьники о своих интересах, насколько адекватно они осознают их.

В последние годы в советской психологии господствовал взгляд, согласно которому самонаблюдение является хотя и не единственным и даже не основным, но все же одним из необходимых и важных методов психологии. Так именно освещается вопрос в книге С.Л.Рубинштейна “Основы общей психологии” (1946), в первых четырех изданиях моего учебника психологии для средней школы, в учебном пособии для педагогических вузов под редакцией К.Н.Корнилова, А.А.Смирнова и Б.М.Теплова (1948), в двух учебниках К.Н.Корнилова, выпущенных в 1946 г. Такую позицию защищали в последнее время Самарин и Левентуев в “Учительской газете” (от 26 мая и 9 июня 1951 г.).

Этот взгляд нельзя считать правильным. *Самонаблюдение не может рассматриваться как один из методов научной психологии, хотя данные самонаблюдения (в указанном значении этого термина) и являются важным объектом изучения в психологии* (как и в ряде других наук).

Прежде всего надо обратить внимание на одну терминологическую несообразность. При описании методов психологии каждый из методов называется, исходя из того, что делает исследователь: метод эксперимента, наблюдения, метод анализа продуктов деятельности и т. д. Если исследователь ведет наблюдение за игрой дошкольников “в магазин”, то мы называем это методом наблюдения, а не методом “игры в магазин”. Если исследователь изучает в психологических целях детские рисунки, то мы говорим о методе анализа продуктов деятельности, а не о методе рисования. Но если исследователь собирает и анализирует показания самонаблюдения испытуемых, то мы почему-то говорим о “методе самонаблюдения”, хотя *методом работы исследователя* является здесь вовсе не самонаблюдение. Не отражает ли эта терминологическая несообразность и некоторую более глубокую ошибку? Не означает ли это иногда, что,

обращаясь к самонаблюдению испытуемых, экспериментатор, в сущности, перекладывает на них свою задачу? Они, испытуемые, как бы командуются “на место происшествия”, недоступное для самого исследователя, с тем чтобы произвести там научные наблюдения, а на долю экспериментатора остается лишь систематизация и обработка результатов этих наблюдений.

Если сводить психическое к субъективному и полагать, что субъективное доступно только самонаблюдению лица, его переживающего, то такое понимание становится неизбежным. Тогда действительно в психологическом эксперименте задача научного наблюдения должна перепоручаться испытуемым, и тогда действительно не только можно, но и должно говорить о “методе самонаблюдения”. Но если отказаться от сведения психики к субъективному, если отвергнуть тезис об объективной непознаваемости психики, то не остается оснований для того, чтобы испытуемые из лиц изучаемых превращались в лиц, изучающих собственную психику. Тогда становится бессмысленным называть метод, включающий в себя использование показаний самонаблюдения испытуемых, *методом самонаблюдения*. Во многих науках — в медицине, истории литературы, истории искусства — используются показания людей о самих себе, о своих переживаниях, о своей работе, т.е. то, что называется *показаниями самонаблюдения*. Но никто еще, кажется, не говорил, что медицина или история литературы работают *методом самонаблюдения*.

Превращение самонаблюдения в особый метод исследования, специфический для психологии и только для нее, есть самое яркое проявление субъективного метода в психологии. <...>

Отказываясь считать самонаблюдение одним из методов научной психологии, мы должны самым решительным образом противопоставить нашу позицию позиции американского бихевиоризма.

Бихевиоризм отказывается от метода самонаблюдения. Но он отказывается от

него для того, чтобы отказаться от изучения психики, сознания человека. Формальный сочинитель бихевиоризма Дж. Уотсон писал: “Если бихевиоризму предстоит будущность..., то он должен полностью порвать с понятием сознания”. “Те исследователи, которые не в состоянии отказаться от “сознания”, со всеми его осложнениями, должны искать лучшего применения своим силам в какой-нибудь иной области”.

Бихевиоризм исходит все из того же идеалистического по своей сущности положения, которое лежит в основе интроспективной психологии: психика, сознание доступны только интроспективному познанию, они не могут быть изучены объективным методом. (На это обстоятельство справедливо указал в свое время С.Л. Рубинштейн.)

“Состояния сознания, — пишет Уотсон, — подобно так называемым явлениям спиритизма, не носят объективно доказуемого характера, а потому никогда не смогут стать предметом истинно научного исследования”. “С точки зрения бихевиоризма, не существует никаких доказательств “психических существований” или “психических процессов” какого бы то ни было рода”.

Сначала бихевиористы выступали под флагом механистического материализма. Но в основе их построения лежал, как мы видим, идеалистический тезис. Поэтому так просто и быстро грубый механицизм первых бихевиористов превратился в столь же грубый идеализм их продолжателей. <...>

Советская материалистическая психология прямо противоположна американскому бихевиоризму. Основная задача нашей психологии — материалистически объяснить психику, сознание человека. Бихевиоризм отказался от метода самонаблюдения для того, чтобы отказаться от сознания. Марксистская психология должна отказаться от самонаблюдения как *метода* научного исследования потому, что сознание человека может и должно быть изучено последовательно объективными методами.

Н.Н.Ланге

БОРЬБА ВОЗЗРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ¹

Кто знаком с современной психологической литературой, с ее направлениями и тенденциями, особенно в отношении принципиальных вопросов, не может, я думаю, сомневаться, что наша наука переживает ныне тяжелый, хотя и крайне плодотворный, кризис. Этот кризис, или поворот (начало которого можно отнести еще к 70-м гг. прошлого столетия), характеризуется, вообще говоря, двумя чертами: во-первых, общей неудовлетворенностью той прежней доктриной или системой, которая может быть названа, вообще, ассоциационной² и сенсуалистической психологией, и, во-вторых, появлением значительного числа новых попыток углубить смысл психологических исследований, причем обнаружилось, однако, огромное расхождение взглядов разных психологических направлений или школ.

Ассоциационная психология была построена, главным образом, трудами Дж. и Дж.С.Миллей, А.Бена, Г.Спенсера и их предшественников в Англии. В наше время ее сторонниками, более или менее правверными, можно считать Т.Рибо и Т.Цигена, отчасти Г.Эббингауза. Воззрения этих психологов далеко не во всем совпадают. Но главные, существенные учения у них общие и характерные для ассоцианизма. Последовательный ассоцианизм рассматривает психичес-

кую жизнь как копию или отражение в сознании внешнего мира, то есть отмечает по преимуществу параллелизм фактов сознания с фактами окружающей среды. Это соответствие касается, во-первых, содержаний сознания, во-вторых, связей между этими содержаниями. Содержания сознания распадаются на два класса — ощущений и представлений, причем представления рассматриваются как копия ощущений. Последовательность в смене этих вторичных состояний, то есть их ассоциация, есть тоже копия последовательностей, в которых на нас действовали внешние раздражения. Иначе говоря, ассоцианизм сводит душевную жизнь почти исключительно к памяти, воспроизводящей или повторяющей во вторичных состояниях свойства и последовательности ощущений.

В противоположность ассоцианизму или по крайней мере в дополнение к нему новая психология выдвигает вперед своеобразие психической жизни и ее автономный характер. Эта автономность, главным образом, обнаруживается в общем *селективном* характере сознания, в том, что оно *выбирает* или *подбирает* целесообразно психические состояния. Как совершается такой отбор и в чем он состоит, разные психологи определяют весьма различно, но во всяком случае *волюнтарный* характер психики всегда подчеркивается гораздо ярче, чем в ассоцианизме. Далее, все противники ассоцианизма возражают и против сенсуализма, то есть сведения всех психических познавательных фактов лишь к ощущениям и их копиям — представлениям. Более глубокий и беспристрастный психологический анализ показывает им, что наряду с этими определенными и устойчивыми фактами мы находим в сознании состояния переходные и неопределенные, наряду с образами — мышление *без* образов и т.д. Предположение, будто все психические процессы сводятся лишь к внешним ассоциациям, оказывается тоже несостоятельным, и наряду с ассоциациями выдвигаются разные акты, интенции, разные *функции* сознания и т.п. Коротко говоря, вместо механического образа психической жизни как конгломерата отдель-

¹ Ланге Н.Н. Психический мир. М.; Воронеж, 1996. С.69—100.

² В современном употреблении — ассоциативной.

ных образов и ощущений (полипняка образов, как выражался *И.Тен*) эта жизнь рассматривается как сложная органическая функция, как процесс в слитном потоке изменений, как целесообразное построение и т.п. Механическая схема заменяется органической.

Начало этого движения новой психологии, противопологающей себя окоченевшему в отвлеченных формулах и конструкциях ассоцианизму и сенсуализму, должно отнести еще к семидесятым годам прошлого столетия. Оно было открыто, с одной стороны, *Ф.Бреннано* (Психология с эмпирической точки зрения, 1874), родоначальником австрийской школы психологии (*Х.Эренфельс*, *А.Мейнонг*, *С.Витасек* и др.), с другой — *В.Вундтом*, особенно после того, как его учение об отличии ассоциативных сочетаний представлений от апперцептивных и теория аффектов получили более или менее окончательную формулировку, то есть приблизительно со второго издания его “Основ физиологической психологии” (Очерки психологии, 1880), особенно же после выхода его “Grundriss der Psychologie” (1896). Не менее важную роль в этом движении должно признать и за знаменитым двухтомным трудом *У.Джемса*, его “Принципами психологии” (1893). Поразительная яркость его психологических наблюдений, свободных от мертвого схематизма, тонкое умение подмечать своеобразие психических процессов в их отличии от свойств внешних предметов и решительность в разрушении догматических предрассудков ходячего ассоцианизма — все это внесло в психологию новую и полную жизненности струю. Далее, *К.Штумпф* в течение многих лет постоянно вносит в психологию ряд обновляющих ее идей, начиная с возрождения нативизма в области пространственных восприятий (в чем ему, впрочем, предшествовал физиолог *Э.Геринг*), затем учение о новой форме соединения представлений — их слиянии, или сплаве (*Verschmelzung*), — в отличие от ассоциации, потом теорию реального взаимодействия между физиологическим и психическим процессами взамен устарелого психофизического параллелизма, наконец, в 1907 г., плодотворные идеи о необходимости различать психические явления или

содержания от психических функций или отправлений (функциональная психология в противоположность структурной). Наряду со *Штумпфом* должен быть поставлен *Т.Липпе*, обновляющее и реформирующее значение идей которого испытывает ныне каждый психолог, в какой бы области науки он ни работал. Наконец, к этому перечню наиболее видных представителей новой психологии присоединим еще *Э.Гуссерля* <...> и новое движение в области экспериментального исследования мышления, начатое уже *А.Бине* и ныне плодотворно продолжаемое так называемой Вюрцбургской школой (*О.Кюльпе*, *А.Мессер*, *Н.Ах* и т.д.), и многих других.

В этом общем обновлении психологической науки особенно замечательно то обилие новых *основных психологических категорий*, которые вводятся разными представителями этого течения. К тому крайне ограниченному числу основных понятий, которыми пользовались ассоцианисты (ощущение, представление, ассоциация), ныне чуть не каждый психолог делает свои добавления: “поток сознания” и “переходные состояния сознания” у *Джемса*, “предметное сознание” в противоположность “сознаниям Я” у *Липпе*, его же “вчувствования”, “интенция” у *Гуссерля*, “допущение” (*Annahme*) у *Мейнонга*, “акты” у *Мессера*, “функции” у *Штумпфа*, “положения сознания” у *К.Марбе*, “психические позы” (*les attitudes*) у *А.Бине*, “подсознательное” у *Дж.Ястрова* и *П.Жане* и т.д. и т.д. В этом огромном и новом движении при явном разрушении прежних схем и еще недостаточной определенности новых категорий, при, так сказать, бродячем и хаотическом накоплении новых терминов и понятий, в которых даже специалисту не всегда легко разобраться, мы получаем такое впечатление, будто самый объект науки — психическая жизнь — изменился и открывает перед нами такие новые стороны, которых раньше мы совсем не замечали, так что для описания их прежняя психологическая терминология оказывается совершенно недостаточной.

При этом, однако, обнаруживается вторая характерная черта новых психологических направлений, на которую мы указали выше: крайнее разнообразие течений, отсутствие общепризнанной системы науки, огромные

принципиальные различия между отдельными психологическими школами. Все признают ассоцианизм и сенсуализм недостаточными, но чем заменить прежние, столь простые и ясные, хотя и узкие, психологические схемы — на это каждая “школа” отвечает по-своему. Ныне общей, то есть общепризнанной, системы в нашей науке не существует. Она исчезла вместе с ассоцианизмом. Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои. Достаточно сравнить общие изложения психологии у *Вундта*, *Липпса*, *Джемса*, *Эббингауза*, *Йодля* и *Витасека*, чтобы в этом убедиться: каждое из этих изложений построено по совершенно иной системе, чем другие. В дальнейшем мы встретим целый ряд доказательств, подтверждающих такую общую характеристику современной психологии. Все основные психологические понятия и категории — ощущение, представление, восприятие, ассоциация, память, внимание, мышление, чувствование, воля — понимаются и толкуются ныне совершенно разное психологами разных направлений. То, что для одних является сложными явлениями, другие считают специфическими, элементарными фактами, например: сознание протяженности для *Вундта* — в противоположность взглядам на него у *Джемса* и *Штумпфа*, специфичность акта суждения для *Брентано*, *Гуссерля*, *Мейнонга* — в противоположность воззрениям *Йодля*, *Эббингауза* и других, элементарный характер волевого fiat для *Джемса* и других волюнтаристов — в противоположность эмоциональной (аффективной) теории воли у *Вундта* и ассоциационной у *Эббингауза* и т.д. В то время как некоторые для всех психологических процессов предполагают физиологические корреляты или даже все психические закономерности сводят к физиологическим (*Авенариус*, *З.Экснер*, *Циген*, отчасти и *Эббингауз*), другие признают существование особых чисто психических закономерностей (*Вундт*, *Джемс*, школа *Мейнонга* и др.). Одни видят задачу психологии лишь в описании содержания сознания, другие признают в сознании еще особого рода функции и акты, отличные от этих содержаний (*Штумпф*, *Гуссерль*, *Мейнонг*, *Мессер* и др.). Этот перечень принципиальных разногласий можно было бы легко продолжить на целые страницы, ибо нет ни одного почти психологического вопроса, который не был бы втянут в эту борьбу разных направлений.

Можно сказать, не боясь преувеличения, что описание любого психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы *Эббингауза* или *Вундта*, *Штумпфа* или *Авенариуса*, *Мейнонга* или *Бине*, *Джемса* или *Г.Мюллера*. Конечно, чисто фактическая сторона должна остаться при этом той же; однако в науке, по крайней мере в психологии, разграничить описываемый факт от его теории, то есть от тех научных категорий, при помощи которых делается это описание, часто очень трудно и даже невозможно, ибо в психологии (как, впрочем, и в физике, по мнению *П.Дюгема*) всякое описание есть всегда уже и некоторая теория.

Специальные психологические журналы приносят нам ежемесячно десятки, по-видимому, чисто фактических исследований, особенно экспериментального характера, которые кажутся для поверхностного наблюдателя независимыми от этих принципиальных разногласий в основных научных категориях, разделяющих разные психологические школы. Однако, внимательнее приглядываясь к этим исследованиям, легко убедиться, что уже в самой постановке вопросов и в том или ином употреблении психологических терминов (как то: память, ассоциация, ощущение, внимание и др.) содержится всегда то или иное понимание их, соответствующее той или иной теории, а следовательно, и весь фактический результат исследования сохраняется или отпадает вместе с правильностью или ложностью этой психологической системы. Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут, таким образом, оказаться при изменении в смысле основных психологических понятий ложными или, во всяком случае, утратившими свое значение. Мы должны помнить, что такие кризисы, разрушающие или обесценивающие целые ряды фактов, которые усердно и старательно устанавливались в специальных работах, кризисы в самых основах науки, не раз уже бывали в разных научных областях. Они действуют подобно землетрясениям, возникающим благодаря глубоким деформациям в недрах Земли. Достаточно напомнить, например, падение алхимии, несмотря на множество точных опытов у старых алхимиков, или такие же радикальные перевороты в истории медицины.

Итак, мы должны признать, что в современной психологии происходит ныне некоторый общий кризис. Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теорией. Этот кризис, по существу благотворный, несомненно ведет нас к более углубленному пониманию психической жизни. Но в настоящее время разыскание новых основ для нашей науки порождает сильные колебания и значительные разногласия между отдельными психологическими направлениями. Нашей задачей должна быть ныне выработка из этих борющихся теорий обновленной системы науки, которая явилась бы столь же ясной и твердой, каков был в первой половине прошлого века ассоцианизм. Задача эта должна состоять в критической оценке современных психологических направлений и попытке их соглашения в связи с тем обширным фактическим материалом, который дает нам сама психология, далее физиология и биология, зоопсихология и нервная патология и, наконец, социология и социальная психология. Некоторую попытку содействовать разрешению этой общей задачи мы даем читателю в следующих главах.

Из сказанного видно, что понимание современной психологии необходимо предполагает некоторое знакомство как с ассоциационной психологией, так и с важнейшими из современных систем, стремящихся дополнить и реформировать этот ассоцианизм. Поэтому мы даем в дальнейшем пять кратких характеристик, имеющих целью ввести читателя в принципиальное понимание современных движений в психологии. Эти очерки излагают учения ассоцианизма, психологию *Вундта*, *Джемса*, актуалистов и волюнтаристов. Не претендуя на полноту, они должны служить лишь для более ясного понимания дальнейшего.

1. Общий очерк ассоциационной психологии

Как уже сказано, эта психология возникла в английской эмпиристической философии, получила биологический и эволюционный характер у *Г.Спенсера* и была

дополнена некоторыми физиологическими основами, в частности учением о локализации психических явлений в коре большого мозга. В таком составе (например, в наше время у *Т.Цигена*) эта психология может быть изображена вкратце следующим образом.

Психическая жизнь есть совокупность дискретных душевных явлений, возникающих в нашем опыте. Носитель, или сущность, этих явлений — душа — нам неизвестна, ибо она есть метафизическое понятие. Поэтому и все попытки прежней метафизической психологии указать основные силы души, то есть ее “способности”, совершенно бесплодны. Такие способности, вроде, например, мышления, фантазии, воли, суть лишь отвлеченные слова, обозначающие общие, сходные свойства в некотором ряде душевных явлений. Они имеют столь же мало объяснительного значения, как, например, “способность” пищеварения для физиологии пищеварения. Все психические факты или явления, как бы они ни были различны, могут быть разложены на некоторые элементы, каковыми надо считать: 1) ощущения или реальные состояния разного рода, возникающие при воздействии на нас внешних раздражений, 2) представления или идеальные факты, являющиеся, в сущности, копиями, или репродукциями, ощущений, но более бледными. К ощущениям принадлежат как ощущения внешних чувств — зрительные, слуховые и т.д., так и ощущения органические — холода, тепла, голода, жажды, боли, мускульного сокращения и т.п., и, наконец, ощущения отношений, или относительные ощущения сходства, различия и т.п.¹ Сверх того, все эти ощущения могут иметь кроме своего указанного специфического содержания еще характер приятности или неприятности. Таково же различие и соответственных представлений или идеальных состояний.

Ощущения и порядок их смены в сознании зависят от порядка, в котором воздействуют на нас внешние раздражители. Представления же, то есть вторичные состояния, комбинируются в единовременные или последовательные комплексы по осо-

¹ Некоторые из психологов этого направления не считают нужным выделять эту третью группу ощущений как нечто особое, например, *Циген*. Для него само сходство и различие ощущений совпадает с сознанием этого сходства и различия. Другие же ассоцианисты признают особый класс ощущений отношения, как, например, *Спенсер*.

бым законам ассоциации. Можно различать ассоциации по смежности (в пространстве и времени) и ассоциации по сходству содержаний. Первые суть копии тех последовательностей, в которых были даны нам в опыте комплексы ощущений, вторые же могут быть сведены к первым. Именно, если некоторое представление A вызывает или внушает нам сходное с ним представление A^1 , то сходство их состоит в частичном тождестве их содержаний.

$$A = a+b+c+d.$$

$$A^1 = a+b+k+l.$$

Каждый из этих комплексов (a, b, c, d) и (a, b, k, l), как уже имеющийся в нашем прежнем опыте, объединен ассоциацией смежности. Поэтому новое появление группы (a, b, c, d) может через посредство признаков a и b вызвать и ассоциированные с ними по смежности признаки k и l ¹.

Ассоциации представлений, вообще, объяснимы физиологически, поскольку физиологической основой представлений мы можем считать “следы”, оставленные в коре полушарий соответственными ощущениями, связь же между этими “следами” обусловлена особыми, в опыте возникающими ассоциативными путями проведения нервных токов.

Из этих элементов — ощущений разного рода и соответственных им представлений — складывается вся душевная жизнь, все ее состояния суть разные комплексы или ассоциации указанных элементов. Так, восприятие любой реальной вещи есть комплекс непосредственно данных ощущений, ассоциативно восполненный некоторыми представлениями. *Память*, вообще, есть совокупность представлений, ассоциативно возбуждаемых. *Фантазия* есть тоже своего рода память, но память, в которой представления комбинируются в новые комплексы под влиянием разных эмоций. *Внимание* есть господство в сознании определенной группы представлений, причем прочие представления ими вытесняются или угнетаются. Всякое *суждение* можно рассматривать как ассоциативную связь представлений, между которыми существует сознание отношения (сходства, различия и т.д.). *Эмоции* суть совокупности органических ощущений или соответствен-

ных им представлений, соединенные с сознанием удовольствия или страдания. *Понятия* могут быть определены как ассоциация слов с рядом сходных между собою представлений и т.д.

Что касается *воли*, то есть волевых действий и сознательных поступков, при которых наши движения обусловлены нашими представлениями, то ее надо понимать как постепенно развивающееся в опыте усложнение простых рефлекторных актов, первоначально бессознательных и прирожденных. Рефлекторное движение оставляет в сознании представление об этом движении, которое ассоциируется с ощущением того раздражения, которое вызвало этот рефлекс. Таким образом, при повторении вновь того же раздражения возникает и представление или воспоминание о прежнем движении, то есть движение перестает быть слепым. Эти представления о движениях входят далее в разнообразные ассоциации со всей совокупностью других представлений, и, таким образом, между ощущением или раздражением, с одной стороны, и движением — с другой, помещаются разнообразные опытные представления, оказывающие влияние на характер и направление самих движений, что и составляет сущность волевого акта, то есть действия, определяемого сознательными мотивами личного опыта.

Наконец, *психическая личность* понимается как комплекс психических явлений, наиболее устойчивый и постоянный среди смены других впечатлений. Он складывается, главным образом, из всегда сопутствующих нам ощущений нашего тела и собственных представлений. Единство этого комплекса, конечно, весьма относительное, так же как и других опытных комплексов, соответствующих представлениям прочих опытных вещей.

Такова общая схема учений ассоциативной психологии, которую мы здесь наметили лишь в самых общих чертах ввиду ее общеизвестности, но которая у представителей этого направления, особенно у *Дж.С.Милля, Бена, Спенсера, Рибо*, разработана самым широким и последовательным образом. Эта схема у *Спенсера* дополняется учением о наследственности, так что многие стадии в психической эво-

¹ Так рассуждает последовательный ассоцианизм (например, у *Эббингауза*). У других мы встречаем утверждение двух независимых видов ассоциаций, у *Спенсера* же — даже попытку свести ассоциации смежности к ассоциациям сходства (смежность в пространстве есть сходство мест).

люции переносятся из опыта данного индивидуума на опыт его предков. Кроме того, у того же *Спенсера*, а также у *Цигена*, *Рибо*, *Экснера* и других эта схема сливается легко с основными учениями нервной физиологии, в частности с учением о локализации разных психических явлений в отдельных участках большого мозга и о существовании между последними нервных проводников, развивающихся или делающихся проводимыми лишь под влиянием опыта (ассоциационные системы волокон).

Против этой-то ассоциационной и физиологической психологии и произошел ныне тот поворот, или кризис, о котором мы сказали выше. Посмотрим теперь, что выставляет новая психология против старого ассоцианизма, в чем она видит его недостатки и чем старается их возместить.

2. Психология В. Вундта

В. Вундт, главный основатель современной экспериментальной психологии, внес существенные поправки и дополнения к ассоцианизму. Можно даже сказать, что вся его деятельность как психолога была, главным образом, борьбой против крайностей этой теории. И эта критика явилась тем более важной, что в основе ее лежат не какие-нибудь априорные соображения, а те факты, с которыми *Вундт* постоянно встречался в разнообразных формах психологического эксперимента. Полное изложение его психологических учений слишком сложно, чтобы могло найти здесь место. Но мы должны вкратце охарактеризовать, во-первых, его новое, расширенное понятие об ассоциации, во-вторых, его учение об апперцепции как процессе, восполняющем ассоциацию.

Уже в первых своих экспериментальных работах, посвященных исследованию процессов чувственного восприятия (*“Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmungen”*, 1859—1862), *Вундт*, в то время еще ассистент физиологической лаборатории *Г.Гельмгольца*, пришел к выводу (близкому к воззрениям самого *Гельмгольца*), что наше восприятие чувственных вещей есть очень сложный психологический процесс, отнюдь не состоящий только из ощущений и репродуцированных представлений (воспоминаний бывших ощущений). Восприятия чувственных вещей, их перцепции, представляют слож-

ные психологические образования, в которых участвуют особые *синтезы ощущений*, дающие в результате совсем новые качества, в синтезируемых ощущениях еще не содержащиеся. Впоследствии *Вундт* стал называть такие процессы вообще творческими синтезами психики. Важнейшими продуктами такого психологического синтеза ощущений оказались пространственные перцепции, далее, перцепции временных рядов ощущений и др. Все они, по исследованиям *Вундта*, в качествах отдельных ощущений, нами получаемых, еще не содержатся, но, как сказано, возникают лишь в процессе психического синтеза этих качеств. Таким образом, была признана своеобразная психическая деятельность уже в чувственных восприятиях, в которых ассоцианисты видели только простые, пассивные ощущения.

Именно эти процессы психического синтеза, эти связи, вносимые в ощущения и представления самой психикой, *Вундт* и назвал ассоциациями, тогда как прежняя психология понимала под этим термином лишь временные последовательности в смене воспоминаний. Термин “ассоциация” получил, таким образом, у *Вундта* гораздо более широкое значение, а временная последовательность воспоминаний оказалась лишь одним из частных случаев этих синтезов, притом не первичным, а уже вторичным; первичными же являются ассоциации между самими ощущениями. Ассоциация означает у *Вундта* всякого рода психические синтезы, порождающие новые качества в комплексах как ощущений, так и представлений, как одновременных состояний, так и последовательных, как познавательных, так и эмоциональных психических явлений. Она для *Вундта* есть общее обозначение для всех вносимых от самого субъекта психических синтезов или связей между всякого рода душевными состояниями, в результате чего эти состояния обогащаются новыми качествами. Сюда подходит, следовательно, и все то, что *Джемс* ныне называет “переходными состояниями сознания”, а *Эббингауз* — интуитивными сознаниями отношений (сходства, различия, протяженности, временных отношений и т.д.). В этих синтезах, то есть сознаниях отношений или ассоциациях разного рода, обнаруживается, следовательно, особая психическая переработка данных извне ощущений. Психическая жизнь, таким обра-

зом, перестала быть лишь отражением, пассивным воспроизведением внешней действительности, но получила, даже в простых восприятиях, особую свою реальность, исследование закономерностей которой и является собственной задачей психологии. То, что в ассоцианизме было лишь внешней склейкой, внешним сложением, у *Вундта* оказалось жизненным психическим процессом.

Нет нужды здесь входить в подробное обсуждение отдельных видов этих синтезов, или ассоциаций у *Вундта* (слияние, ассимиляция, компликация, воспризнание, воспоминание), тем более что далеко не все установленные им формы, или виды, этих ассоциаций выдержали критику последующих исследований. К сказанному достаточно лишь прибавить, что тот случай ассоциации, который прежняя психология считала основным и даже единственным, то есть ассоциация представлений по смежности, в психологии *Вундта* оказался, напротив, весьма сложным процессом. Если, например, вид знакомого вызывает в нас воспоминание его имени, то, по *Вундту*, дело не просто в том, что в прежнем опыте два впечатления (зрительное и слуховое) были одновременно восприняты, а ныне прямо одно вызывает другое, как смежное. Этот процесс репродукции предполагает то, что 1) в прошлом нашем опыте одновременные впечатления синтезировались в некоторое *цельное* восприятие предмета (в данном случае нашего знакомого), 2) при новой встрече получаемое впечатление незнакомого человека быстро меняется благодаря отдельным чертам знакомого лица и вызывает неопределенное сначала, смутное *чувство знакомости* и 3) если это узнавание несколько задерживается почему-либо, если ассимиляция нового впечатления с прежним происходит не сразу, то возникает постепенная, последовательная ассимиляция, одним из моментов которой является *имя лица*. Иначе говоря, ассоциация смежности есть задержанный процесс узнавания.

Второе существенное дополнение, которое *Вундт* внес в психологию, есть его учение об апперцепции и об апперцептивных соединениях представлений как особых

процессах, существующих наряду с ассоциациями и ассоциативными сочетаниями. Для чистого ассоцианизма, который рассматривал психическую жизнь как агломерат отдельных идей, лишь хронологически сцепленных в ряды, всегда являлось крайне трудным объяснить, чем отличаются осмысленные связи представлений от их случайных ассоциаций. Для ассоцианиста это различие было различием лишь по внешним результатам, а не психологическим: осмысленной оказывается та ассоциация, которая соответствует внешней действительности, хотя по психологической природе она совершенно одинакова с любой случайной связью. Такой симплицизм делал непонятным психологическое отличие суждений от простых ассоциаций, мышления от вихря бредовых идей, случайного набора слов от осмысленной фразы, планомерного разрешения проблем от ряда бессвязных воспоминаний. Кроме того, ассоцианизм, обращая психическую жизнь в ряд наличных переживаний, лишь с натяжкой мог объяснить единство сознания. Сознание, понимаемое атомистически, обращалось в сумму переживаний, его единство оказывалось обусловленным лишь физиологическими причинами, от фактов мыслимых субъектом связей между его переживаниями независимым. Сознание оказывалось лишь общим отвлеченным термином, обозначающим сознаваемость всех отдельных переживаний как таковых, но само не составляло реального фактора психической жизни, не имело своей особой структуры и функций и не могло поэтому оказывать какое-нибудь влияние на ход и характер этой жизни. И этот симплицизм прежней психологии тоже делал для нее непонятными некоторые очевидные факты, в которых ясно проявляются особая структура сознания, его реакции на содержание переживаний, в частности факты внимания.

В восполнение этих недостатков *Вундт* и вводит в свою психологию, во-первых, особую функцию сознания — апперцепцию, во-вторых, особые, обусловленные ею апперцептивные сочетания представлений¹.

¹ Должно заметить, что сначала, пока Вундт был еще более физиологом, чем психологом, понятие апперцепции употреблялось им в довольно неопределенной и сомнительной форме, весьма напоминающей старое учение об особых “способностях” — силах, со всеми его метафизическими несуразностями. Позднее он усиленно перерабатывал свои воззрения для устранения этого недостатка. Мы имеем в виду, конечно, его современный взгляд.

Кроме появления и исчезновения чувствований и представлений мы сознаем в себе, говорит Вундт, более или менее ясно процесс, который называем вниманием. Этот процесс состоит в том, что известное психическое содержание из всех других присутствующих в сознании становится более ясным и отчетливым. Назовем фигурально область ясного сознания фиксационным его полем, или полем внимания. Вхождение известного психического содержания в это поле внимания и есть апперцепция этого содержания, тогда как простое появление его в сознании вообще есть лишь перцепция, или, точнее, перцепирование. Содержания апперцепируются, то есть привлекают наше внимание, прежде всего, теми чувствованиями, которыми они окрашены. Такие чувствования — удовольствия и неудовольствия, напряжения и возбуждения — проникают в фиксационную часть сознания раньше, чем соответственные им содержания представлений сливаются с чувствованиями удовольствия и неудовольствия, разрешения и успокоения, характеризующими самый процесс внимания, и определяют в совокупности состав представлений, заполняющих внимание. Охарактеризовать, то есть дать точный отчет в этих мотивах внимания, в каждом данном случае, точно указать характерные для каждого представления чувствования в большинстве случаев мы совершенно не в силах по огромной их сложности. В ассоциативно воспроизводимых представлениях каждое следующее звено определяется однозначно предыдущим, в апперцептивных же последовательностях есть, конечно, тоже причинная закономерность, но здесь участвует и влияет *вся совокупность* того, что было вообще пережито данным индивидуумом, вся предшествующая история его развития, которую в каждом частном случае совершенно невозможно точно проанализировать. Апперцептивный процесс обусловлен всей индивидуальностью, в нем выражается вся психическая личность.

Должно различать два вида, или типа, апперцепции: новое содержание или внезапно для нас вступает в фиксационное поле сознания, или мы уже прежде этого вступления сознаем мотивы нашего внимания, между собою конкурирующие. Первый случай можно назвать импульсивной (пассивной) апперцепцией, второй — волевой, активной.

Первая соответствует действиям по влечению, вторая — произвольным действиям, в которых борются разные мотивы. И *Вундт* тем легче мог сблизить понятия апперцепции и воли, что для него и внешний волевой акт есть тоже, в сущности, не что иное, как апперцепция, именно апперцепция будущего действия или движения, за которой следует само реальное движение. Эту свою эмоциональную (аффективную) теорию воли *Вундт* противопоставляет интеллектуалистическим объяснениям, в которых воля строится из представлений (например, моторных, кинестетических). В основе воли лежат импульсивные чувствования или, точнее, ряды их, слитые в цельные комплексы. Такие комплексы импульсивных влечений *Вундт* называет аффектами. Воля, говорит он, не есть какая-нибудь первичная, и, однако, специфичная энергия сознания. Она не первична, ибо состоит из таких же элементов чувствований и представлений, как и другие факты в сознании. Но она специфична в том смысле, что соединения этих элементов в аффекты, влечения столь же своеобразны, как и соединения их в другие своеобразные, например, ассоциативные, сочетания. Иначе говоря, состав волевых процессов сложен, но этот состав — в смысле процесса — вполне типичен, своеобразен и несводим, например, к процессам ассоциации.

Ассоциативные сочетания представлений, как мы видели, суть пассивные переживания. Они могут являться мотивами для воли, но сами слагаются без ее участия, автоматически. Но есть другие сочетания представлений, которые возникают из процесса апперцепции, волевого по существу. Своеобразной чертой таких особых, апперцептивных сочетаний является кроме их активного характера то, что они тоже, как и сама апперцепция, обусловлены особыми сложными чувствованиями, именно чувствованиями общего единства или общего смысла в ряде частей. Эти чувствования как бы витают над цельностью данного состава представлений, и им соответствуют особые цельные представления, представления цельного смысла (*Gesamtvorstellungen*). Возьмем какой-нибудь ряд чисто ассоциационный (например, бессвязный ряд слов, первых пришедших в голову, — школа, сад, дом, твердый, мягкий, длинный, видеть и т.д.) и другой ряд в виде какой-нибудь осмысленной фразы (например, из Гете: “Весна пришла во всей сво-

ей красе, ранняя гроза прогремела в горах” и т.д.). Чем, спрашивается, различаются психологически эти два ряда? Недостаточно просто сказать, что первый ряд есть случайный набор слов, а второй имеет сам по себе смысл. Ибо случайность первого лишь кажущаяся, его происхождение было закономерно обусловлено ассоциациями. Осмысленность же второго ряда может и отсутствовать, например, для ребенка, который выучивает его просто на память. Притом и в этом втором ряде даже для понимающего его действуют тоже отчасти и ассоциативные связи. Но суть различия действительно в том, что для субъекта, понимающего вторую фразу, в ней есть кое-что, кроме ассоциаций. Именно у писателя, когда он составлял ее, должно было заранее предшествовать отдельным ее словам некоторое цельное общее представление, хотя бы еще и неопределенное. Это цельное и определило ход фразы. Для нас как читателей этой фразы этого цельного при начале ее прочтения, правда, еще не имеется, мы имеем лишь устремленное на целое чувство ожидания. Но и это ожидание достаточно для того, чтобы восприятие постепенно выясняющихся для нас частей фразы направлялось апперцептивно к получению этого цельного представления в конце прочтения фразы. В первом же ряде слов, чисто ассоциативном, это общее сочетание вообще отсутствует. В нем нет общей связности мысли, он похож на кучу камней, из которых можно построить дом, но для этого нужен кроме камней еще и общий план. Итак, суть осмысленной фразы состоит в особом соединении многого в субъективное единство, в особое общее сочетание частей, которое характерно для апперцептивных связей в их отличии от ассоциативных.

Такие и подобные им апперцептивные сочетания представлений возникают, как сказано, под влиянием воли или внимания. Они в известном смысле основываются на ассоциациях (поскольку и в последних уже даны разные отношения между представлениями), но, однако, не могут быть вполне сведены к этим последним, ибо в апперцептивных сочетаниях сами эти отношения становятся отдельными, самостоятельными содержаниями для сознания, стоящими наряду с содержаниями соотносящихся, или ассоциированных, представлений. Эти сознания отношений оказываются, таким образом, выделенными в

сознании формами мысли, а представление для них — лишь материалом. Развитие таких форм и составляет всю высшую душевную жизнь, которая в обиходной психологии называется деятельностью рассудка, фантазии и других способностей. Но все это, в сущности, лишь различные виды апперцептивных сочетаний.<...>

3. Психология У.Джемса

Другой психолог, воззрения которого оказали такое же сильное влияние на современную науку о душе, как и учения *В.Вундта*, есть *У.Джемс*. Он, как и *Вундт*, является реформатором современной психологии, и так же, как у *Вундта*, эта реформа направлена, главным образом, против ассоцианизма, против психологии *А.Бена* и *Г.Спенсера*. Но если сила *Вундта* состоит в построении некоторой системы новой психологии, в точном и последовательном проведении в ней основных начал, *Джемс* прежде всего повлиял на современную психологию необычайным мастерством в описании отдельных групп психических фактов, во всей их жизненности и непосредственности, помимо всяких теорий и искусственных построений. Он точно открыл современным психологам глаза на эту своеобразную психическую действительность, обратил нас к непосредственному опыту, показав все его неисчерпаемое богатство, которое было до тех пор закрыто теоретическими построениями. У многих после появления “Принципов психологии” *Джемса* (1890) точно спала какая-то повязка с глаз, и мы, так сказать, лицом к лицу встретились с этой непосредственной психической жизнью. Это влияние *Джемса* можно сравнить со струей свежего воздуха, которая вдруг ворвалась через открытое окно в душную комнату, перепутывая бумаги на столе и внося в мертвенную тишину теорий хаос и яркость реальной жизни.

Главным предметом ассоциационной психологии всегда было выяснение сложного состава наших идей о внешнем мире. Она видела свою задачу в том, чтобы показать, как простые идеи, соединяясь друг с другом через ассоциацию, составляют все содержание нашего знания о внешнем мире. А так как для эмпириста внешний мир есть лишь явление в сознании и совпадает со сферой

доступного нам опыта, то задача ассоциационной психологии получила следующее значение: показать, как из простых идей строится для нас картина действительного мира или, если угодно, сам действительный мир как опытный объект. В противоположность этому *Джемса* интересует не сходство между нашими идеями и действительностью, а, напротив, своеобразие и отличие фактов сознания от внешней действительности, предметом его психологических описаний является психика в ее отличиях от внешней действительности, психические переживания как таковые, помимо их реальной значимости для познания окружающей нас действительности. Он стоит в психологии на точке зрения дуализма: есть внешний материальный мир, или окружающая нас среда, и есть своеобразная психическая жизнь в нас, обусловленная отчасти этой средой, но тем не менее существенно отличная от нее. Изучение этих отличий, этого своеобразия и есть прежде всего предмет психологии. Психологическая точка зрения состоит в том, чтобы видеть в наших идеях и вообще переживаниях не то, что в них соответствует действительности, а то, что в них отлично от этой действительности, смотреть на них не как на показатели этой действительности, а именно как на наши душевные и субъективные переживания во всей их конкретной и субъективной особенности. Психолога интересует, как искажается действительность в ее субъективном переживании. Согласно с этим *Джемс* выдвигает соответствия психики не с внешним миром, как ассоцианисты, а гораздо более с субъективными физиологическими и биологическими особенностями того организма, которому принадлежит данная психическая жизнь.

Психическая жизнь есть сплошной ряд последовательно переживаемых нами качествностей, то, что *Джемс* фигурально называет *потоком сознания*. Этим сравнением он прежде всего хочет обозначить ту особен-

ность психики, которую *Вундт* именует актуальностью души, то есть то, что душевные явления — ощущения, представления, мысли, желания, чувствования — суть не какие-нибудь сохраняющиеся вещи, а лишь процессы, постоянно сменяющие друг друга состояния. Если даже тот же самый внешний предмет вторично нами воспринимается, то новое переживание его не может никогда вполне быть сходным с предыдущим восприятием, ибо в каждое психическое переживание включено влияние всей предыдущей психической жизни данного индивидуума, и, следовательно, психический поток никогда не представляет полного возвращения к пережитому, он есть всегда нечто, отчасти по крайней мере, новое, еще не бывшее. Уже это обстоятельство делает невозможным воззрение на психическую жизнь как на перетасовки и ассоциации одних и тех же сохраняющихся идей, как то было в ассоциационной психологии. Ассоцианизм ложно гипостазировывает наши переживания или представления, обращает их в вещи, тогда как в действительности они суть только процессы. Но этого мало. Как мы сказали, психическая жизнь есть постоянная смена качествностей. Это значит, что каждое переживание, как таковое, как психический факт, есть нечто простое, некоторое неделимое качество. Любое восприятие, например, этого листа бумаги сложно в том смысле, что оно зависит от разных органов чувств: от глаза и его зрения, от кожи и ее осязания и т.п., но, как психический факт, в смысле его содержания, оно есть лишь некоторая простая качествность, и, если бы я ничего не знал заранее о своем глазе и коже, не испытывал раньше по отдельности зрительных и осязательных качеств, я столь же мало мог бы отделить в восприятии листа белой бумаги осязательные элементы от зрительных, как не может во вкусе лимонада отделить кислоты от сладости тот, кто раньше не испытал по отдельности вкуса сахара и вкуса лимона¹.

¹ Это учение *Джемса* о чисто качественном составе наших переживаний и о неповторяемости их вполне усвоил в последнее время *А.Бергсон*, и его учение о “реальном времени” психической жизни есть лишь повторение воззрений *Джемса*. Но *Бергсон* основательно дополнил это учение *Джемса* тем, что признал в нашей психике еще другую сторону или другой аспект, обращенный к познанию внешнего мира с его повторяющимися качествами, с его количественными отношениями, с его математическим временем и т.д. Ибо если вместе с *Джемсом* признать лишь первый аспект, то совершенно необъяснимым будет то, как мы можем нашей лишь качественной психикой познать мир количеств, да и сама психология, если психические явления суть лишь неповторяющиеся оригиналы, будет невозможна как наука: перед ней будет лишь беспредельное число совершенно несравнимых объектов, которых невозможно даже описать ввиду того, что каждый из них есть в полном смысле слова *unicum*.

Эта постоянная смена разных качеств, составляющая поток нашего сознания, представляет, однако, цельный и непрерывный ряд благодаря тому, что все эти качества связаны между собой сознаниями отношений — пространственных, временных сходств, различий и т.д. Эти сознания отношения *Джемса* называет переходными состояниями в том именно смысле, что они зависят и по своему возникновению и по своему содержанию от связываемых ими устойчивых состояний. Недостаточное исследование этих переходных состояний есть, по его мнению, главный недостаток ассоциационной психологии (упрек вряд ли верный, ибо, не говоря уже о *Г.Спенсере*, который посвятил много внимания этим переходным ощущениям отношений, мы находим у *Д.Юма* весьма разработанную теорию этой стороны сознания). Наконец, характерной чертой нашего потока сознания надо признать его селективность, то есть то, что в нем всегда имеет место подбор или отбор известных состояний и отклонение, угнетение других. Психические содержания не все имеют для нас одинаковое значение, но один важнее, интереснее, ценнее для нас, а другие менее ценны, менее значительны. Первые выделяются, вторые отступают на задний план, первые имеют для нас большую действительность, вторые — меньшую. Сознание в этом смысле может быть сравнено с полем зрения, в котором лишь фиксируемая часть видится нами ясно, а остальное — смутно и неопределенно. Или мы можем сравнить его с положением человека, окруженного густым туманом, в котором выступают для него лишь ближайшие (более интересные) предметы, а более далекие (менее интересные) постепенно и неопределенно уходят в туман, так что нельзя даже определить, где кончается граница их видимости и что находится на этом пределе. Этот селективный характер потока сознания распространяет свое влияние решительно на все наши переживания и придает им тот глубоко своеобразный и субъективный оттенок, который резко отличает их от всякого внешнего бытия, в котором все вещи имеют одинаковую степень реальности.

Итак, для ассоциационной психологии отдельные представления являлись теми душевными атомами, из которых она слагала сознание как их сумму, для *Джемса* же

первичным фактом является поток сознания как некоторая психическая реальность, отдельные же переживания суть только мимолетные состояния этого живого процесса; для ассоциационной психологии все эти переживания существуют, так сказать, на одной плоскости, для *Джемса* же иные из них выдаются, как заметные вершины в общем потоке, а другие теряются в глубине и полумраке; для первой сознание есть дискретная множественность сложных образований, для второго оно есть сплошной ряд чистых качеств; для первой отдельные представления внешним образом прижимают друг к другу, следуют лишь во времени друг за другом, для *Джемса* же каждое следующее переживание, так сказать, впитывает в себя предыдущее, получает от предыдущего особый оттенок, так что психика становится внутренним образом все содержательнее и индивидуально своеобразнее.

Столь же глубоко противоположны воззрения *Джемса* учениям ассоцианистов и во всех почти частных вопросах психологии. Не входя здесь в слишком большие подробности, укажем еще лишь на два из этих вопросов, именно, на его отношение к теории психофизического параллелизма и к теории психической эволюции. Ассоциационная психология, видящая в психических закономерностях прежде всего ассоциацию смежности, склонялась всегда, уже с самого начала своего, к мысли, что психические закономерности имеют вторичный характер, представляют лишь отражение в сознании первичных закономерностей внешней природы. Она всегда была склонна рассматривать психическую жизнь лишь как эпифеномен реального мира, как отражение этого реального мира в зеркале сознания. А с тех пор, как она вступила в тесное общение с физиологией, что произошло у *Спенсера*, а затем было дальнейшим образом развито *Т.Цигеном*, *Г.Эббингаузом* и многими другими, в ней окончательно укрепился принцип, что последовательность психических явлений зависит от последовательности физиологических явлений в мозге. Эти последние представляют реальные причинные связи, и психика на них никакого влияния оказать не может. Следовательно, и движения и действия человека и животных, рассматриваемые с физической стороны, представ-

ляют движение физических автоматов, и если бы сознание совсем угасло в них, их действия остались бы прежними. Эта “теория автомата” <...> нашла в *Джемсе* сильного противника. Он признает научную привлекательность таких воззрений, но полагает, что вероятность и практическая очевидность в отдельных случаях энергически свидетельствуют против попытки объяснить все наши действия чисто механически. Если бы сознание не оказывало никакого влияния на организм, было бы непонятно, почему оно могло развиваться в процессе эволюции и постепенно совершенствоваться вместе с развитием животных видов. Эволюция психической жизни доказывает, что последняя биологически полезна, то есть влияет как-то на физиологические процессы в организме. Она, по всей вероятности, играет роль избирательного принципа, в частности, сознание неудовольствия или боли должно влиять задерживающим образом на те движения и действия, которые вызвали это чувство, должно их угнетать или останавливать.

Существенно отличаются воззрения *Джемса* от взглядов ассоцианистов и на тот эволюционный процесс, с помощью которого образовались врожденные формы сознания. *Джемс*, как и *Спенсер*, полагает, что то, что является ныне врожденным (априорным) для индивидуального сознания, — инстинкты, логические формы мышления, сложный состав пространственных представлений и т.п. — есть результат наследственности от предыдущих поколений, для которых эти априорные формы были индивидуальным приобретением. Но процесс этого первоначального приобретения *Джемс* представляет иначе, чем *Спенсер* и ассоцианисты вообще. Для *Спенсера* оно явилось прямым приспособлением психики к окружающей среде: образовавшиеся при таком приспособлении ассоциации стали постепенно от бесчисленных повторений наследственными, причем лишь те организмы, которые имели правильные, то есть биологически полезные, ассоциации, могли выживать в этой борьбе за существование. Соответственно тому, согласно *Спенсеру*, психологический анализ состава нашей современной психики может показать нам и весь старинный процесс ее происхождения и развития.

Джемс, напротив, признает более правильной теорию *А.Вейсмана*, согласно которой индивидуальный опыт вообще не наследуется. Он не считает возможным в составе нашей психики открыть условия ее происхождения, ибо этими условиями были реальные физиологические факторы, необъяснимые ассоциационно. Способ, которым мы ныне познаем сложные объекты, вовсе не должен непременно напоминать тот способ, которым возникли первоначально элементы познания и инстинктов. *Джемс* именно полагает, что эти элементы не были прямым приспособлением психики к окружающей среде, а возникли из подбора первоначально случайных физиологических особенностей, прокинувшихся в зародышевой плазме или в природных особенностях нервной системы данного индивида, но которые, оказавшись затем полезными, подверглись отбору в борьбе за существование. По-видимому, говорит он, высшие эстетические, нравственные, умственные стороны нашей жизни возникли первоначально из воздействий побочного, случайного характера окружающей среды на зародышевую плазму, на ее молекулярное строение, проникли в наш мозг не по парадной лестнице, не через воздействие этой среды на органы чувств, а по черной лестнице эмбриологии, зародились в известном смысле не извне, а внутри дома. Но, оказавшись полезными в борьбе за существование, то есть дав тем индивидуумам, в которых они случайно прокинулись, лишние шансы жизни, они укрепились этим отбором.

Таким образом, для *Джемса* эти наследственные формы психики являются первоначально случайными идиосинкразиями и, следовательно, подлежат уже не психологическому, через ассоциации, объяснению, но лишь физиологическому или эмбриологическому.

4. Психология актов или функций

В своих последних обзорах годовых итогов психологии (за 1910 и 1911 гг.) *А.Бине*, один из самых проникательных, беспристрастных и тонких психологов нашего времени, усиленно обращает внимание на непрерывно растущий ряд новых исследований мышления без образов. Исследования эти, в которых сам *Бине* явился деятельным участником своими

работами “О психологии знаменитых счетчиков и игроков в шахматы” (1894) и “Экспериментальное изучение ума” (1903), состоят, вообще говоря, в возможно точнейшем субъективном наблюдении наших переживаний, когда мы размышляем о каком-нибудь вопросе или предмете. Такие исследования производятся обыкновенно вдвоем: “экспериментатор” задает “наблюдателю” какой-нибудь вопрос (например: “Что вы думаете делать завтра?”), а наблюдатель, ответив на вопрос (например: “Я предполагаю завтра уехать на дачу”), должен затем немедленно точно описать все свои переживания, которые испытал в этом опыте. При таких опытах обнаружилось то замечательное обстоятельство, что процесс мышления идет совершенно определенно и точно к своей цели, а отдать себе отчет, что мы при этом переживаем, крайне трудно; лишь какие-то обрывки образов мелькают в сознании (например, при словах “завтра”, “уеду”, “на дачу” и т.п.), а часто даже не обрывки образов, а неопределенные чувствования (ожидания, внимания, удивления, успокоения и пр.). *Процесс* мышления, твердый и целесообразный сам по себе, очевидно, не исчерпывается этими случайными и эскизными содержаниями, промелькнувшими в сознании, и не состоит из них; эти образы (включая и словесные), скорее, суррогаты мышления, чем его действительная природа. Иначе говоря, в нашем мышлении есть что-то иное, кроме содержания образов и представлений слов, это процесс, не исчерпывающийся подобными содержаниями сенсорного характера. Недавно было доказано, например, что возможно ожидать какое-нибудь событие, даже вполне определенное, не имея, однако, вовсе образа этого события: этот образ, значит, не составляет природы нашего ожидания. Равно возможно узнавать предмет, вовсе не относя его к прежнему опыту, узнавание вовсе не есть сравнение двух образов — настоящего и прошлого. Возможно также чувствовать, что какое-нибудь слово не подходит к данному случаю, что рассуждение ошибочно, что данное предположение невероятно, что какой-нибудь поступок скверен, не совершая при этом никаких определенных форм суждения и не отдавая себе отчета в мотивах таких оценок. *Джемс* называл такие

неопределенные факты, несводимые к содержанию образов и слов, “обертонами сознания”, сливающимися в какой-то общий “тембр данной мысли”.

Все эти новые экспериментальные исследования мысли, которые мы лишь вкратце упоминаем здесь (исследования *К.Марбе*, *Н.Аха*, *Г.Уатта*, *А.Мессера*, *К.Бюлера*, *Р.Вудвортса*, *Г.Штерринга*, *Астера*, *Дюра*, *Бове*, *А.Лука*, *Абрамовского* и др.), вместе с прежними исследованиями самого *А.Бине* относительно процессов счета у знаменитых счетчиков, процессов игры *á l’aveugle* у шахматистов и представлений смысла слов и фраз у детей и взрослых приводят к общему заключению, что ходячая психологическая теория о том, что мысль есть только совокупность образов (зрительных, слуховых, осязательных, двигательных), должна быть отвергнута. Эта теория была лишь сенсуалистическим предрассудком, фиктивной конструкцией ассоциационной психологии, которая разрушается ныне показаниями более точного психологического наблюдения. Мышление не есть только последовательный ряд образов: эти образы являются лишь значками, отдельными светлыми пунктами в каком-то психологическом процессе нечувственного характера, и этот процесс должен быть отличаться от таких содержаний.

Изложенные воззрения *Бине* являются, однако, лишь частью гораздо более обширного течения в современной психологии, которое в совокупности можно назвать *функциональной*, или *актуальной* психологией. Если ассоциационная психология сводила все психические процессы к ассоциациям представлений и, вообще, содержаний сознания, то указанное направление считает это невозможным. Кроме ассоциаций оно признает целый ряд других психических актов или функций, содержание же сознания считает лишь материалом для этих функций. Соответственно тому и задача психологии определяется, как 1) анализ содержаний сознания, 2) изучение функций сознания. Эти акты, однако, разные психологи понимают и определяют весьма различно. Одно из направлений, пользующееся ныне широким распространением, ведет свое начало от австрийского психолога *Брентано*, получило более точную формулировку у *Гуссерля*, *Мейнонга* и *Штумпфа*,

разделяется *Витасеком, Мессером, Бюлером, Ахом* и многими другими. *Ф.Брентано* (“Психология с эмпирической точки зрения”, 1874) доказывал, что *суждения* вовсе не суть ассоциации представлений, но что в них есть нечто вполне своеобразное, именно утверждение или отрицание, относящееся не к фактам сознания, то есть не к представлениям, но к их объектам, к самой действительности, которая подразумевается в суждении и составляет его действительный смысл. Если, например, представление “небо” вызывает по ассоциации представление “голубого цвета”, это есть хронологическая последовательность (или, допустим даже, одновременность) двух представлений, но здесь нет еще вовсе суждения “небо — голубого цвета”. Эта последняя связь относится к чему-то трансцендентному нашим представлениям, к действительному (или хотя бы воображаемому) *предмету, и является* связью особого рода, отличной от простой ассоциации. Такой *объективный смысл* суждений *Брентано* называет *интенцией*, интенциональным актом, то есть направленностью нашей мысли на некоторый объект, вне нашей мысли находящийся и мыслимый нами в данном представлении.

Э.Гуссерль и *А.Мейнонг* основали на этом целую теорию познания. Сущность этой теории состоит в утверждении, что ощущения и представления, а также и чувствования и желания лишь содержание или *материал*, но в этих ощущениях и представлениях мы мыслим самые объекты, и к ним, а не представлениям относятся и наши чувствования и желания. Это составляет *смысл* или объективное значение наших ощущений, представлений и желаний. Когда я воспринимаю белый цвет этой бумаги, или, когда мыслю, что $2 \times 2 = 4$, или когда желаю взять этот предмет, ощущение белого цвета получает объективное значение, моя мысль относится мною не к представлениям в моем сознании, а к действительной математической истине, мое желание имеет тоже объективный, интенциональный смысл. Все это суть особого рода интенциональные акты — познавательные, эмоциональные, волевые, в которых во всех есть особое признание, или верование в их объективное значение. Эти акты как таковые не имеют

сами по себе чувственного характера, они не могут быть разложены на ощущения и представления, они составляют особые психические функции, отличные от *содержания* сознания.

Таким образом, наряду с изучением чувственного содержания сознания, которым занималась ассоциационная и сенсуалистическая психология, возникает новая задача — изучить и описать эти функции или акты, составляющие структуру сознания. Подобные же по существу дела воззрения выставил и *К.Штумпф* в своей статье “Психические явления и функции”. Он называет *явлениями* содержания сознания — ощущения, представления, отдельные чувствования и т.п. — и отличает от них *функции* сознания — замечание явлений, их соединение в комплексы, образование понятий, восприятие объектов и суждение, душевные движения и желания. Эти функции сознания мы должны отличать от явлений или содержания сознания, ибо функция может быть одной и той же при разных содержаниях, как и одно и то же содержание сознания может являться материалом для разных функций. Такие же воззрения находим мы и у *Т.Линнса*, тоже отличающего содержание сознания от его актов. И у многих из современных американских психологов встречаются подобные же учения, например, *М.Калкинс* различает *структуральную* психологию, анализирующую содержание сознания (ощущения, представления, чувствования и т.п.), и *функциональную*, изучающую психические отправления. Особенное развитие получили эти взгляды в так называемой Вюрцбургской школе, в исследованиях *Мессера, Уатта, Аха* и других.

Заметим, однако, в заключение этого очерка, что понятие акта или функции толкуется разными представителями этого направления далеко не одинаково. Некоторые полагают, что функции сами по себе непосредственно не сознаются нами, сознаются же только содержания или явления, другие утверждают сознательность самих актов. Иные считают сознательными лишь эмоциональные акты, а умственные — предположениями научной гипотезы, другие признают и те и другие сознательными. *Линнс* оттеняет активный их характер в противоположность *пассивному* или рецептивному характеру явления. *Штумпф* —

функциональный в противоположность содержанию явлений. Бине видит в этих актах вообще *моторные* приспособления и называет их *les attitudes*, позами, готовностями (к движению). Умственная готовность (*attitude*), говорит он, кажется вполне подобной физической готовности, это — подготовка к акту, эскиз действия, оставшийся внутри нас и сознаваемый через те субъективные ощущения, которые его сопровождают. Предположим, что мы готовы к нападению, нападение не состоит только в действительных движениях и ударах, в его состав входят также известные нервные действия, определяющие ряд актов нападения и производящие их; устраним теперь внешние мускульные эффекты, останется готовность, останутся все нервные и психические предрасположения к нападению, в действительности не осуществив-

шемуся; такой готовый, наступающий жест и есть готовность (*attitude*). Она есть двигательный факт, следовательно, центробежный. Можно сказать с некоторым преувеличением, что вся психическая жизнь зависит от этой остановки реальных движений, действительные действия тогда замещаются действиями в возможности, готовностями.

Не входя здесь в критику всех этих учений, заметим только, что понятие психического акта вообще должно быть так определено, чтобы оно не повело нас назад, к старому и бесплодному учению о психических способностях, и вообще не заключало в себе ничего метафизического. Весьма возможно, однако, что в таком случае это понятие отождествится просто с понятием психического процесса, то есть закономерности в ряде психических содержаний.

Л.С.Выготский

[ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ]¹

Основная суть вопроса остается той же везде и сводится к двум положениям.

1. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из идеалистических предпосылок, как естествознание — из материалистических, т. е. эмпирическая психология была идеалистической в основе.

2. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии <...>. Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла: мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии, или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию². Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержаний и психологию актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию.

В сущности, мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее, пронизывающей все ее развитие, и, таким образом, примкнули к бесспорному историческому поло-

жению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением *ближайших причин*, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это, в сущности, тот же факт тяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней “психотелеологии” и “психобиологии”, которое Дессуар назвал пением в два голоса современной психологии и которое, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.

Мы должны теперь кратко остановиться на ближайших причинах кризиса или на его движущих силах.

Что толкает к кризису, к разрыву и что *переживает* его пассивно, только как неизбежное зло? Разумеется, мы остановимся лишь на движущих силах, лежащих *внутри* нашей науки, оставляя все другие в стороне. Мы имеем право так сделать, потому что внешние — социальные и идейные — причины и явления представлены так или иначе, в конечном счете, силами внутри науки и действуют в виде этих последних. Поэтому наше намерение есть анализ ближайших причин, лежащих в науке, и отказ от более глубокого анализа.

Скажем сразу: *развитие прикладной психологии во всем ее объеме — главная движущая сила кризиса в его последней фазе.*

Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии — спору нет; но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, т.е. для методолога, нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии: в ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии; она дает лучшие методологические работы. Представление о смысле происходящего и возможности реальной психологии можно составить себе только из изучения этой области.

Центр в истории науки передвинулся; то, что было на периферии, стало оп-

¹Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса// Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 1. С.386—389.

²Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М., 1922. Ч. I. С. 10.

ределяющей точкой круга. Как и о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать: камень, который презрели строители, стал во главу угла.

Три момента объясняют сказанное. Первый — *практика*. Здесь (через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию) психология *впервые* столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной, политической, военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой. Она заставляет усвоить и ввести в науку огромные, накопленные тысячелетиями запасы практически-психологического опыта и навыков, потому что и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт. (Всякий психолог испытал на себе перестраивающее влияние прикладной науки.) Она для развития психологии сыграет ту же роль, что медицина для анатомии и физиологии и техника для физических наук. Нельзя преувеличивать значение новой практической психологии для *всей* науки; психолог мог бы сложить ей гимн.

Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией зануточной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы.

Это переводит нас прямо *ко второму моменту* — к методологии. Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, т. е. методологии науки. Этому нисколько не противоречит то легкомысленное, “беззаботное”, по слову Мюнстерберга, отношение психотехники к своим принципам; на деле и практика, и методология психотехники часто паразитически беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских лекарей о медицине; ее методология изобретается всякий раз *ad hoc*, и ей недостает критического вкуса; ее часто называют дачной психологией, т. е. облегченной, временной, полусерьезной. Все это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создает железную методологию. Как говорит Мюнстерберг, не только в общей части, но и при рассмотрении специальных вопросов мы принуждены будем всякий раз возвращаться к исследованию принципов психотехники (1922. С. 6).

Поэтому я и утверждаю: несмотря на то что она себя не раз компрометировала, *что ее практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно*. Принцип практики и философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла. В этом весь смысл кризиса.

Л. Бинсвангер говорит, что не от логики, гносеологии или метафизики ожидаем мы решения самого общего вопроса — вопроса вопросов всей психологии, проблемы, включающей в себя проблемы психологии, — о субъективирующей и объективирующей психологии, — но от методологии, т. е. учения о научном методе. Мы сказали бы: от методологии психотехники, т. е. от *философии практики*. Сколь ни очевидно ничтожна практическая и теоретическая цена измерительной шкалы Бине или других психотехнических испытаний, сколь ни плох сам по себе тест, как идея, как методологический принцип, как задача, как перспектива это огромно. Сложнейшие противоречия психологической методологии

переносятся на почву практики и только здесь могут получить свое разрешение. Здесь спор перестает быть бесплодным, он получает конец. Метод — значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.

Третий момент реформирующей роли психотехники может быть понят из двух первых. Это то, что психотехника *есть односторонняя* психология, она толкает к разрыву и оформляет реальную психологию. За границы идеалистической психологии переходит и психиатрия: чтобы лечить и излечить, нельзя опираться на интроспекцию; едва ли вообще можно до большего абсурда довести эту идею, чем приложив ее к психиатрии. Психотехника, как отметил И.Н.Шпильрейн, тоже осознала, что не может отделить психологических функций от физиологических, и ищет целостного понятия. Я писал об учителях (от которых психологи требуют вдохновения), что едва ли хоть один из них доверил бы управление кораблем вдохновению капитана и руководство фабрикой — воодушевлению инженера: каждый выбрал бы ученого моряка и опытного техника. И вот эти высшие требования, которые вообще только и могут быть предъявлены к науке, высшая серьезность практики будут живительны для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. Для отбора вагоновожатых не годится эйдетическая психология Гуссерля, которой нет дела до истины ее утверждений, для это-

го не годится и созерцание сущностей, даже ценности ее не интересуют. Все это нимало не страшит ее от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, есть цель такой психологии, но *психотехника — в одном слове*, т.е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением.

И вот Мюнстерберг, этот воинствующий идеалист, закладывает основы психотехники, т.е. материалистической в высшем смысле психологии. Штерн, не меньший энтузиаст идеализма, разрабатывает методологию дифференциальной психологии и с убийственной силой обнаруживает несостоятельность идеалистической психологии.

Как же могло случиться, что крайние идеалисты работают на материализм? Это показывает, как глубоко и объективно необходимо заложены в развитии психологии обе борющиеся тенденции; как мало они совпадают с тем, что психолог сам говорит о себе, т.е. с субъективными философскими убеждениями; как невыразимо сложна картина кризиса; в каких смешанных формах встречаются обе тенденции; какими изломанными, неожиданными, парадоксальными зигзагами проходит линия фронта в психологии, часто *внутри* одной и той же системы, часто *внутри* одного термина — наконец, как *борьба двух психологий не совпадает с борьбой многих воззрений и психологических школ, но стоит за ними и определяет их*; как обманчивы внешние формы кризиса и как надо в них вычитывать стоящий за их спиной истинный смысл.

Часть 2. Современные проблемы и направления психологии

1. Проблема бессознательного в психоанализе и грузинской школе психологии установки

З. Фрейд

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ¹

Забывание имен и словосочетаний

Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи забывания имен, я почти регулярно нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма целесообразной практикой Цюрихской школы (Блейлер, Юнг, Риклин) я могу это выразить в такой форме: ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне “личный комплекс”. Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации (двусмысленное слово, созвучие); его можно вообще обозначить как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его природу.

а) Пациент просит меня рекомендовать ему какой-либо курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию немецкого врача,

практикующего там, но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам: “Как называется эта местность близ Генуи там, где лечебница д-ра N, в которой так долго лечилась такая-то дама?” — “Разумеется, как раз ты и должен был забыть это название. Она называется — Нерви”. И в самом деле, с *нервами* мне приходится иметь достаточно дела.

б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание; название он мне скажет сейчас. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что семь летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный противодействием, он, однако, уже вспомнил название: ресторан называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти семь лет я жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал. Почему я позабыл в данном случае и название, и сам факт? Я думаю, потому, что это название слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне опять-таки “профессиональный комплекс”.

в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, через которую я так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в

¹Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 216—218, 236, 247, 249—251, 257—259, 264, 287—288.

расписании поездов. Станция называется Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, жившую близ Рейхенгалля; имя сестры *Роза*, стало быть, это тоже был “Rosenheim” (“жилище Розы”). Название было у меня похищено “семейным комплексом”.

г) Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров.

Однажды ко мне на прием пришел молодой человек, младший брат одной моей пациентки; я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я забыл его имя — вполне обыкновенное, это я знал — и не мог никак восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать вывески, и как только его имя встретилось мне, я с первого же разу узнал его. Анализ показал мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же или же поступил бы как раз наоборот? Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя матери было одно и то же — Амалия. Я понял затем и замещающие имена, которые навязались мне, не выясняя дела: Даниэль и Франц. Эти имена — так же как и имя Амалия — встречаются в шиллеровских “Разбойниках”, с которыми связывается шутка венского фланера Даниэля Шпитцера.

д) В другой раз я не мог припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем удалось получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зрение; это вызвало во мне воспоминание об одном молодом человеке, который ослеп вследствие огнестрельного ранения; с этим соединилось, в свою очередь, представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя, — фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они

не были в родстве. Но нашел я искомое имя тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека, принадлежащего к моему семейству.

Непрерывный ток “самоотношения” (“Eigenbeziehung”) идет, таким образом, через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу о других людях, с собой самим, словно при всяком известии о других приходят в действие мои личные комплексы. Это ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью; в этом заключается скорее общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем других. Я имею основание полагать, что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня.

Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним малознакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он забыл, и на первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции это неизбежно), он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его фамилию, и просил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал о прекрасном знании людей: “Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!”. Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий S. Freud. (Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз обратное.)

е) Действие “самоотношения” обнаруживается также в следующем примере, сообщенном Юнгом¹:

“Y. безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за X. Несмотря на то, что Y. издавна знает X. и даже находится с ним в деловых сноше-

¹См. Dementia praecox. S. 52.

ниях, он все же постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось, что когда надо было написать X. письмо, ему приходилось справляться о его фамилии у других”.

Впрочем, в этом случае забывание мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах “самоотношения”. Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения господина Y. к своему счастливому сопернику; он не хочет о нем знать: “и думать о нем не хочу”. <...>

Обмолвки

<...> м) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги д-ра В. Штекеля из статьи в “Berliner Tageblatt” от 4 января 1904 года под заглавием “Unbewusste Geständnisse” (“Бессознательные признания”).

“Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руководюсь соображениями заработка и — что разумеется само собой — имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользуюсь больной, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей прелести предстоящего пребывания в Аббации и прибавляю: “Если вы, на что я надеюсь, не скоро встанете с постели”. Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив — желание дольше лечить эту богатую больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и которое я отверг бы с негодованием”.

н) Другой пример (д-р В. Штекель). “Моя жена нанимает на послеобеденное время француженку и, столковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее рекомендации. Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это так: “Je cherche encore pour les après-midi, pardon, les avants-midi”¹. Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет ли она место на лучших условиях, — намерение, которое она действительно выполнила”.

о) (Д-р Штекель). “Я читаю одной даме вслух книгу Левит, и муж ее, по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела заметное впечатление, я говорю: “До свидания, *mesye*”. Посвященный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были обращены к мужу и что говорил я ради него”.

п) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. “Здравствуйте, г-н Пелони”, — говорил он, обращаясь к Асколи, и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился, однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь он приехал к нему из Триеста за медицинской помощью. <...>

Описки

<...> г) Цитирую по д-ру В. Штекелю следующий случай, достоверность которого также могу удостоверить:

“Прямо невероятный случай описки и очитки произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа “продажной”, надо было дать отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз — в рукописи и в гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно гласило: “Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым *корыстным* образом отстаивали <...> общественное благо” <...>. Само собой понятно, что должно было быть написано: “самым *бескорыстным* образом”. <...> Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь патетическую фразу. <...>

¹ “Я ищу еще место на послеобеденное, пардон, на дообеденное время”.

Забывание впечатлений и намерений

<...> Я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я отличаю забывание впечатлений и переживаний, т. е. забывание того, что знаешь, от забывания намерений, т. е. неисполнения чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты (*Unlustmotiv*).

А. Забывание впечатлений и знаний

а) Летом моя жена подала мне безобидный по существу повод к сильному неудовольствию. Мы сидели визави за столом с одним господином из Вены, которого я знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня были, однако, основания не возобновлять знакомства. Жена моя, однако, расслышавшая лишь громкое имя своего визави, весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору с соседями, так как время от времени обращалась ко мне с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора. Мне не терпелось; наконец, это меня рассердило. Несколько недель спустя я пожаловался одной родственнице на поведение жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно злопамятен, не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода, то очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться, щадить жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем, что моя жена сказала всего несколько часов тому назад; оказалось, однако, что я бесследно забыл слова жены. Пришлось попросить ее же напомнить мне их. Легко понять, что эту забывчивость надо рассматривать как аналогичную тому расстройству способности суждения, которому мы подвержены, когда дело идет о близких нам людях.

б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения докумен-

тов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, предо мной с необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить название улицы, но был уверен, что стоит мне пройти по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрину со шкатулками, несмотря на то, что я исходил эту часть города во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов, имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное множество раз проходил мимо его витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы жившему в том же доме. С тех пор как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая себе отчета в мотивах, избегал и этой местности, и этого дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы, и только этой одной тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив неохоты, послуживший в данном случае виной моей неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забывания здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное поручение и здесь порождает забвение. <...> Впрочем, в данном случае имелась налицо и более прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль играли деньги. <...>

Б. Забывание намерений

Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить ошибочное действие, как забывание

намерений. Намерение — это импульс к действию, уже встретивший одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода изменение в мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание намерений, которому мы подвергаемся изо дня в день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении мотивов выявилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся объяснить его психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось необходимого для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием возникновения самого намерения и которое, стало быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормальным отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение как произвольное. Если я утром принимаю решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то мне, как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо. Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так называемое “постгипнотическое внушение на долгий срок”¹. Обычно этот феномен изображается следу-

ющим образом: внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подойдет время его выполнения. Тогда оно просыпается и заставляет действовать.

В двоякого рода случаях жизни даже и дилетант отдает себе отчет в том, что забывание намерений никак не может быть рассматриваемо как элементарный феномен, не поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности непризнанных мотивов. Я имею в виду любовные отношения и военную дисциплину. Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправдания перед своей дамой в том, что он, к сожалению, совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: “Год тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь”. Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же проникательной, как врач при психоанализе, возразила бы: “Как странно, что подобного рода деловые препятствия не случались раньше”. Конечно, и она тоже не подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном нежелании, как и из сознательного уклонения.

Подобно этому, и на военной службе различие между упущением по забывчивости и упущением намеренным принципиально игнорируется — и не без основания. Солдату *нельзя* забывать ничего из того, что требует от него служба. И если он все-таки забывает, несмотря на то, что требование ему известно, то потому, что мотивам, побуждающим его к выполнению данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что *забыл* почистить пуговицы, может быть уверен в наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения: “Эта проклятая служба мне вообще противна”. Ради этого уменьшения наказания,

¹ Ср. *Bernheim*. Neue Studien über Hypnotismus, Suggestion und Psychotherapie, 1892.

по соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой, или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.

Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто относящееся к ним не было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности. И действительно, наличие психической оценки здесь не может быть отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действия, представляющиеся ему самому важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может поэтому распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений; совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно наверное не возникло бы вовсе.

Так же как и при рассмотренных выше нарушениях функций, я и здесь собрал и попытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если можно так выразиться, к *встречной воле*. В целом ряде подобных случаев я находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого еще не перестал сопротивляться, и демонстрировал против него своей забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том, что мне это не удастся. Теперь я уже решился отказаться от этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся. Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее сказал одному другу, просившему меня отправить также и от его имени к известному сроку поздравительную телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и не удивительно, что пророчество это оправдалось. В силу мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не способен выразить свое участие, когда это приходится по необхо-

димости делать в утрированной форме, ибо употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой степени участия, которое я испытываю, непозволительно. С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю смерти изъято у меня из этого действительного состояния; раз решившись выразить его, я уже не забываю сделать это. <...>

Действия, совершаемые “по ошибке”

<...> а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен был признать, что это ошибочное действие, — вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, — означало известную похвалу тому дому, где это случилось. Оно было равносильно мысли “здесь я чувствую себя как дома”, ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно, никогда не звоню.)

Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно принятой, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.

б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажом выше, “забраться чересчур высоко”. В первый раз я испытывал в это время честолюбивый “сон наяву”, грезил о том, что “возношусь все выше и выше”. Я не услышал даже, как отворилась

соответствующая дверь, когда уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком далеко, также “погруженный в мысли”; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мною фантазию, то нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно “захожу слишком далеко”, упрек, который у меня мог связаться с не особенно почетительным выражением: “вознесся слишком высоко”. <...>

Комбинированные ошибочные действия

<...> а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай: “Несколько лет тому назад я согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что общество поможет мне добиться постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого интереса, принимал участие в заседаниях, происходящих каждую пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в театре в Ф., и с тех пор я стал регулярно забывать о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился своей забывчивости, стал упрекать себя — некрасиво, мол, манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих людях, — и решил в следующую пятницу непременно не позабыть. Все время я вспоминал об этом намерении, пока, наконец, не оказался перед дверью зала заседаний, но, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже состоялось. Я ошибся днем: была уже суббота!”

б) Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и закладывания предметов; он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне достоверен.

Одна дама едет со своим шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют художника и между прочим подносят ему в подарок античную золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее шурином недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно каким образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом шурина и уведомляет его, что на следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день медаль так искусно была заложена куда-то, что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность: желание оставить вещь у себя.

Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных ошибочных действий могли нам дать что-либо новое, что не было бы нам известно уже из примеров отдельных ошибочных действий, но смена форм, ведущих, однако, все к тому же результату, создает еще более выпуклое впечатление о наличии воли, направленной к достижению определенной цели, и гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих примерах сознательному намерению никак не удастся помешать успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удается посетить заседание общества, дама оказывается не в состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того, чтобы преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения: нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.

З. Фрейд

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХОАНАЛИЗЕ¹

Мне хотелось бы кратко и насколько возможно ясно изложить, в каком смысле следует употреблять выражение “бессознательное” в психоанализе, и только в психоанализе.

Представление — или всякий другой психический элемент в определенный момент может быть в *наличности* в моем сознании, а в последующий может оттуда *исчезнуть*, через некоторый промежуток времени оно может совершенно неизменным снова всплыть, как мы говорим, в нашей памяти, без каких-либо предшествующих новых чувственных восприятий. Учитывая это явление, мы вынуждены принять, что представление сохранялось в нашей душе и в этот промежуток времени, хотя было скрыто от сознания. Но в каком оно было виде, сохраняясь в душевной жизни и оставаясь скрытым от сознания, относительно этого мы не можем делать никаких предположений.

В этом пункте мы можем встретить философское возражение, что скрытое представление не может рассматриваться как объект психологии, но только как физическое предрасположение к повторному протеканию тех же психических явлений, в данном случае того же представления. Но мы на это ответим, что такая теория переступает область собственно психоло-

гии, что она просто обходит проблему, устанавливая идентичность понятий “сознательного” и “психического”, и что она, очевидно, не вправе оспаривать у психологии право объяснять собственными средствами одно из ее обыденнейших явлений — память.

Итак, мы назовем представление, имеющееся в нашем сознании и нами воспринимаемое, — “сознательным”, и только таковое заслуживает смысла этого выражения — “сознательное”; наоборот, скрытые представления, если мы имеем основание признать, что они присутствуют в душевной жизни, как это наблюдается в памяти, мы должны обозначить термином “бессознательные”.

Следовательно, бессознательное представление есть такое представление, которого мы не замечаем, но присутствие которого мы должны тем не менее признать на основании посторонних признаков и доказательств.

Это следовало бы считать совершенно неинтересной описательной или классифицирующей работой, если бы она не оставляла нашего внимания ни на чем другом, кроме явлений памяти или ассоциаций, относящихся к бессознательным промежуточным членам. Но хорошо известный эксперимент после “гипнотического внушения” показывает нам, насколько важно различать сознательное от бессознательного, и поднимает значение этого различия. При этом эксперименте, как производил его Bernheim, субъект приводится в гипнотическое состояние и затем пробуждается из него. В то время, когда он, в гипнотическом состоянии, находился под влиянием врача, ему было приказано произвести известное действие в назначенное время, например, спустя полчаса. После пробуждения субъект снова находится, по всей видимости, в полном сознании и обычном душевном состоянии, воспоминание о гипнотическом состоянии отсутствует, и, несмотря на это, в заранее назначенный момент в душе его выдвигается импульс сделать то или другое, и действие выполняется сознательно, хотя и без понимания, почему это делается. Едва ли возможно иначе объяснить это явление, как предположением, что в душе этого челове-

¹ З. Фрейд, психоанализ и русская мысль. М.: Республика, 1994. С. 29—34.

ка приказание оставалось в скрытой форме или бессознательным, пока не наступил данный момент, когда оно перешло в сознание. Но оно всплыло в сознании не во всем целом, а только как представление о действии, которое требуется выполнить. Все другие ассоциированные с этим представлением идеи — приказание, влияние врача, воспоминание о гипнотическом состоянии — остались еще и теперь бессознательными.

Но мы можем еще большему научиться из этого эксперимента. Это нас приведет от чисто описательного к *динамическому* пониманию явления. Идея внушенного в гипнозе действия в назначенный момент стала не только объектом сознания, она стала *деятельной*, и это является наиболее важной стороной явления: она перешла в действие, как только сознание заметило ее присутствие. Так как истинным побуждением к действию было приказание врача, то едва ли можно допустить что-нибудь иное, кроме предположения, что идея приказания стала также *деятельной*.

Тем не менее эта последняя воспринята была не в сознании, не так, как ее производное — идея действия, она осталась бессознательной и была в то же самое время *действующей и бессознательной*.

Постгипнотическое внушение есть продукт лаборатории, искусственно созданное явление. Но если мы примем теорию истерических явлений так, как она была установлена сначала Р. Janet и разработана затем Breuer'ом, к нашим услугам будет огромное количество естественных фактов, которые еще яснее и отчетливее покажут нам психологический характер постгипнотического внушения.

Душевная жизнь истерических больных полна действующими, но бессознательными идеями; от них происходят все симптомы. Это действительно характерная черта истерического мышления — над ним властвуют бессознательные представления. Если у истерической женщины рвота, то это, может быть, произошло от мысли, что она беременна. И об этой мысли она может ничего не знать, но ее легко открыть в ее душевной жизни при помощи технических процедур психоанализа и сделать эту мысль для нее сознательной. Если вы видите у нее жесты и подергивания, подражающие “припадку”, она ни в каком случае не

сознает своих произвольных действий и наблюдает их, быть может, с чувством безучастного зрителя. Тем не менее анализ может доказать, что она исполняет свою роль в драматическом изображении одной сцены из ее жизни, воспоминание о которой становится бессознательно деятельным во время приступа. То же господство деятельных, бессознательных идей анализом вскрывается как самое существенное в психологии всех других форм невроза.

Из анализа невротических явлений мы узнаем, таким образом, что скрытая или бессознательная мысль не должна быть непременно слабой и что присутствие такой мысли в душевной жизни представляет косвенное доказательство ее принудительного характера, такое же ценное доказательство, как и доставляемое сознанием.

Мы чувствуем себя вправе, для согласования нашей классификации с этим расширением наших познаний, установить основное различие между различными видами скрытых и бессознательных мыслей. Мы привыкли думать, что всякая скрытая мысль такова вследствие своей слабости и что она становится сознательной, как только приобретает силу. Но мы теперь убедились, что существуют скрытые мысли, которые не проникают в сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы предлагаем скрытые мысли первой группы называть *предсознательными*, тогда как выражение *бессознательные* (в узком смысле) сохранить для второй группы, которую мы наблюдаем при неврозах. Выражение *бессознательное*, которое мы до сих пор употребляли только в описательном смысле, получает теперь более широкое значение. Оно обозначает не только скрытые мысли вообще, но преимущественно носящие определенный динамический характер, а именно те, которые держатся вдали от сознания, несмотря на их интенсивность и активность.

Прежде чем продолжать мое изложение, я хочу коснуться еще двух возражений, которые тут могут возникнуть. Первое может быть сформулировано так: вместо того, чтобы устанавливать гипотезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не знаем, не лучше ли было бы принять, что сознание делимо, что отдельные мысли или иные душевные явления могут образовать особую область сознатель-

ного, выделившуюся из главной области сознательной психической деятельности и ставшую чуждой для последней. Хорошо известны патологические случаи, как случай д-ра Azam'a, как будто очень подходят для доказательства, что делимость сознания не является созданием фантазии.

Я позволю себе возразить относительно этой теории, что она строит свое основание просто на неправильном употреблении слова "сознательное". Мы не имеем никакого права настолько распространять смысл этого слова, что им обозначается такое сознание, о котором обладатель его ничего не знает. Если философы затрудняются поверить в существование бессознательной мысли, то существование бессознательного сознания кажется мне еще менее приемлемым. Случаи, в которых описывается, как у д-ра Azam'a, деление сознания, могли бы скорее рассматриваться как блуждания сознания, причем последнее, что бы оно собою ни представляло, — колеблется между двумя различными психическими комплексами, которые попеременно становятся то сознательными, то бессознательными.

Другое возражение, которое можно было бы предположить, состоит в том, что мы применяем к нормальной психологии выводы, вытекающие главным образом из изучения патологических состояний. Это возражение мы можем устранить фактом, который нам известен благодаря психоанализу. Известные функциональные нарушения, очень часто встречающиеся у здоровых, как, например, оговорки, ошибки памяти и речи, забывание имен и т. п., легко могут быть объяснены влиянием сильных бессознательных мыслей, совершенно так же, как и невротические симптомы. Мы приведем еще второй, более убедительный аргумент при дальнейшем изложении.

Сопоставляя предсознательные и бессознательные мысли, мы будем вынуждены покинуть область классификации и составить мнение о функциональных и динамических отношениях в деятельности психики. Мы нашли *действующее предсознательное*, которое без труда переходит в сознание, и *действующее бессознательное*, которое остается бессознательным и кажется отрезанным от сознания.

Мы не знаем, идентичны ли были вначале эти два рода психической деятельности,

или они противоположны по своей сущности, но мы можем спросить, почему они сделались различными в потоке психических явлений. На этот вопрос психология немедленно дает нам ясный ответ. Продукт действующего бессознательного никаким образом не может проникнуть в сознание, но для достижения этого необходима затрата некоторого усилия. Если мы попробуем это на себе, в нас появляется ясное чувство *обороны*, которое необходимо преодолеть, а если мы вызовем его у пациента, то получим недвусмысленные признаки того, что мы называем *сопротивлением*. Из этого мы узнаем, что бессознательные мысли исключены из сознания при помощи живых сил, сопротивляющихся их вхождению, тогда как другие мысли, предсознательные, не встречают на этом пути никаких препятствий. Психоанализ не оставляет сомнений в том, что отдаление бессознательных мыслей вызывается исключительно только тенденциями, которые в них воплотились. Ближайшая и наиболее вероятная теория, которую мы можем установить при такой стадии наших знаний, заключается в следующем. Бессознательное есть закономерная и неизбежная фаза процессов, которые проявляет наша психическая деятельность; каждый психический акт начинается как бессознательный и может или остаться таковым, или, развиваясь далее, дойти до сознания, смотря по тому, натолкнется он в это время на сопротивление или нет. Различие между предсознательной и бессознательной деятельностью не очевидно, но возникает только тогда, когда на сцену выступает чувство "обороны". Только с этого момента различие между предсознательными мыслями, появляющимися в сознании и имеющими возможность всегда туда вернуться, и бессознательными мыслями, которым это воспрещено, получает как теоретическое, так и практическое значение. Грубую, но довольно подходящую аналогию этих предполагаемых отношений сознательной деятельности к бессознательной представляет область обыкновенной фотографии. Первая стадия фотографии — негатив; каждое фотографическое изображение должно проделать "негативный процесс", и некоторые из этих негативов, хорошо проявившиеся, будут употреблены для "позитивного процесса", который заканчивается изготовлением портрета.

Но различие между предсознательной и бессознательной деятельностью и признание разделяющей их перегородки не является ни последним, ни наиболее значительным результатом психоаналитического исследования душевной жизни. Существует психический продукт, который встречается у самых нормальных субъектов и тем не менее является в высшей степени поразительной аналогией с наиболее дикими проявлениями безумия, и для философов он оставался не более понятным, чем само безумие. Я разумею сновидения. Психоанализ углубляется в анализ сновидений; толкование сновидений — это наиболее совершенная из работ, выполненных до настоящего времени молодой наукой. Типический случай образования построения сновидения может быть описан следующим образом: вереница мыслей была пробуждена дневной духовной деятельностью и удержала кое-что из своей действительности, благодаря чему она избежала общего понижения интереса, который приводит к сну и составляет духовную подготовку для сна. В течение ночи этой веренице мыслей удастся найти связь с какими-либо бессознательными желаниями, которые всегда имеются в душевной жизни сновидца с самого детства, но бывают обыкновенно *вытеснены* и исключены из его сознательного существа. Поддержанные энергией, исходящей из бессознательного, эти мысли, остатки дневной деятельности, могут стать снова деятельными и всплыть в сознании в образе сновидения. Таким образом, происходят тройного рода вещи.

1. Мысли проделали превращение, переодевание и искажение, которые указывают на участие бессознательных союзников.

2. Мыслям удалось овладеть сознанием в такое время, когда оно не должно было бы им быть доступно.

3. Кусочек бессознательного всплыл в сознании, что для него иначе было бы невозможно.

Мы овладели искусством отыскивать *“дневные остатки”* и *скрытые мысли сновидений*; сравнивая их с явным содержанием сновидения, мы можем судить о превращениях, которые они проделали, и о тех способах, какими совершались эти превращения.

Скрытые мысли сновидения ничем не отличаются от продуктов нашей обычной сознательной душевной деятельности. Они заслуживают названия предсознательных и действительно могут стать сознательными в известный момент бодрствования. Но благодаря соединению с бессознательными стремлениями, которое они совершили ночью, они были ассимилированы последними, приведены до известной степени в состояние бессознательных мыслей и подчинены законам, управляющим бессознательной деятельностью. Мы имеем тут случай наблюдать то, чего не могли бы предполагать на основании рассуждений или из какого-либо другого источника эмпирических знаний, — что законы бессознательной душевной деятельности во многом отличаются от законов сознательной деятельности. Подробным изучением мы достигаем знания особенностей *бессознательного* и можем надеяться, что более глубокое исследование явлений, образующих сновидения, даст нам еще больше.

Это исследование закончено едва наполовину, и изложение полученных результатов пока невозможно без того, чтобы не затронуть в высшей степени запутанную проблему снотолкования. Но я не хотел бы закончить настоящую статью, не указав, что изменением и успехом в нашем понимании бессознательного мы обязаны психоаналитическому изучению сновидений.

Бессознательное казалось нам вначале только загадочной особенностью определенного психического процесса; теперь оно значит для нас больше, оно служит указанием на то, что этот процесс входит в сущность известной психической категории, которая известна нам по другим важным характерным чертам, и что оно принадлежит к системе психической деятельности, заслуживающей нашего полного внимания.

Систему, которую мы узнаем по тому признаку, что отдельные явления, ее составляющие, не доходят до сознания, мы обозначаем термином *“бессознательного”*, за недостатком лучшего и более точного выражения. Я предлагаю для обозначения этой системы буквы *Ubw*, как сокращение слова *“Unbewusst”*, бессознательное. Это третий и наиболее важный смысл, который приобрело в психоанализе выражение *“бессознательное”*.

К.Г.Юнг

[СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА]¹

Бессознательные процессы не фиксируются прямым наблюдением, но их продукты, переходящие через порог сознания, могут быть разделены на два класса. Первый содержит познаваемый материал сугубо личностного происхождения; эти программы являются индивидуальными приобретениями или результатами инстинктивных процессов, формирующих личность как целое. Далее следуют забытые или подавленные содержания и творческие процессы. Относительно их ничего особенного сказать нельзя. У некоторых людей подобные процессы могут протекать осознанно. Есть люди, сознающие нечто, не осознаваемое другими. Этот класс содержаний я называю подсознательным разумом или *личностным* бессознательным, потому что, насколько можно судить, оно всецело состоит из личностных элементов; элементов, составляющих человеческую личность как целое.

Есть и другой класс содержаний психики с очевидностью неизвестного происхождения; все события из этого класса не имеют своего источника в отдельном индивидууме. Данные содержания имеют характерную особенность — они мифологичны по сути. Специфика здесь выражается в том, что содержания эти принадлежат как бы типу, не воплощающему свойства отдельного разума или психического бытия человека, но, скорее, типу, не-

сущему в себе свойства *всего человечества, как некоего общего целого*. Когда я впервые столкнулся с подобными явлениями, то был несколько удивлен и, убедившись, что наследственными факторами их не объяснишь, решил, что разгадка кроется в расовых признаках. Чтобы решить вопрос, я отправился в Соединенные Штаты и исследовал сны чистокровных негров, после чего, к великой радости, убедился, что искомые признаки ничего общего с так называемым кровным или расовым наследованием не имеют, как не имеют и личностного индивидуального происхождения. Они принадлежат человечеству в целом и, таким образом, являются *коллективными* по природе.

Эти коллективные паттерны, или типы, или образцы, я назвал *архетипами*, используя выражение Бл. Августина. Архетип означает *типос* (печать — *imprint* — отпечаток), определенное образование архаического характера, включающее равно как по форме, так и по содержанию *мифологические мотивы*. В чистом виде мифологические мотивы появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре. Некоторые из них хорошо известны: фигура Героя, Освободителя, Дракона (всегда связанного с Героем, который должен победить его), Китом или Чудовищем, которые проглатывают героя. Мифологические мотивы выражают психологический механизм интроверсии сознательного разума в глубинные пласты бессознательной психики. Из этих пластов актуализируется содержание безличностного, мифологического характера, другими словами, архетипы, и поэтому я называю их *безличностными* или *коллективным бессознательным*. Я глубоко понимаю, что даю здесь лишь слабый эскиз понятия о коллективном бессознательном, требующим отдельного рассмотрения, но хочу привести пример, иллюстрирующий символическую основу явления и технику вычленения специфики коллективного бессознательного от личностного. Когда я поехал в Америку исследовать бессознательные явления у негров, я считал, что все коллективные паттерны наследуются расовыми признаками либо являются “априорными категориями воображения”,

¹ Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб., 1994. С. 30—38.

как их совершенно независимо от меня назвали французы Губерт и Маусс. Один негр рассказал мне сон, в котором появилась фигура человека, распятого на колесе. Нет смысла описывать весь сон, так как он не имеет отношения к разбираемой проблеме. Разумеется, он содержал личностный смысл, равно как и намеки на безличностные идеи, но нас здесь интересует только мотив. Негр был с юга, необразованный, с низким интеллектом. Наиболее вероятным было предположить, что исходя из христианской основы, привитой неграм, он должен был увидеть человека, распятого на *кресте*. Крест — символ личностного постижения. Но маловероятно предположить, что во сне он мог увидеть человека, распятого на *колесе*. Подобный образ весьма необычен. Конечно, я не могу доказать, что по “счастливой” случайности, он не увидел нечто подобное на картине или не услышал от кого-либо, но если ничего такого у него не было, то мы имеем дело с *архетипическим образом*, потому что распятие на колесе — *мифологический мотив*. Это древнее солнечное колесо, и распятие означает жертву богу-солнцу, чтобы умиловить его, так как и человеческие жертвы и жертвы животных издавна приносились в целях повышения плодородия земли, т. е. солнце-колесо — очень архаичная идея, древнейшая из существовавших когда-либо у религиозных людей. Ее следы можно обнаружить в мезолите и палеолите, в чем убеждают родезийские скульптуры. Как показывает современная наука, изобретение колеса относится к бронзовому веку; в палеолите колеса как такового еще не существовало (оно не было изобретено). Родезийское колесо-солнце по возрасту сродни самым ранним наскальным изображениям животных, и поэтому является первым изображением, вероятно, архетипического образа-солнца. Но этот об-

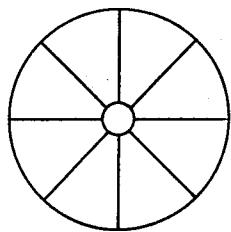


Рис.1

раз не является натуралистическим изображением, так как он всегда разделен на четыре или восемь частей (рис. 1). Этот образ, разделенный круг, является символом, который можно обнаружить на протяжении всей истории человечества, а также и в снах наших современников. Можно предположить, что изобретение колеса началось с этого образа. Многие изобретения возникли из мифологических предчувствий и первобытных образов. К примеру, искусство алхимии — мать современной химии. Наш сознательный научный разум начался в колыбели бессознательного ума. Человек на колесе в сновидении негра является повторением греческого мифологического мотива Иксиона, который за свою обиду на людей и богов был привязан Зевсом к бесконечно вращающемуся колесу. Я привожу этот пример мифологического мотива во сне лишь для того, чтобы проиллюстрировать идею коллективного бессознательного. Один пример, разумеется, еще не доказательство. Но в данном случае нельзя предполагать, что негр изучал греческую мифологию, и исключается возможность того, что он мог видеть какие-либо изображения греческих мифологических фигур. Тем более, что изображения Иксиона крайне редки. Я мог бы предоставить вам убедительные и подробные доказательства существования этих мифологических структур в бессознательном разуме. Но за недостатком времени я сначала раскрою вам значение сновидений и снов-сериалов, а затем предоставлю все исторические параллели, символизм идей и образов которых редко знаком даже специалистам. Мне пришлось работать годы, собирая материал. Когда мы займемся техникой анализа сновидений, я более подробно остановлюсь на разборе мифологического материала, а сейчас лишь хочу предварительно заметить, что в слое бессознательного содержатся мифологические паттерны и что бессознательное формирует содержания, которые невозможно предписать индивиду и которые, более того, могут оказаться в крайнем противоречии с личностной психологией сновидца. Поразительными порой оказываются и детские сновидения, символика которых подчас поражает глубиной мысли настолько, что невольно воскликнешь

сам себе: “Да как это возможно, чтобы ребенок мог такое увидеть во сне?”.

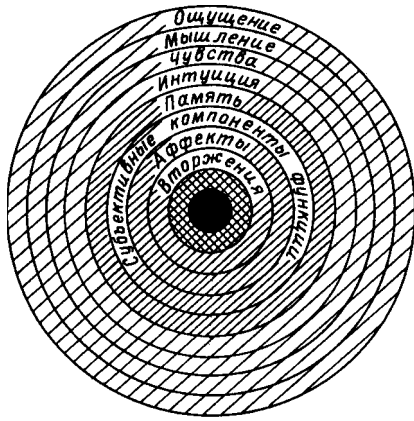
В действительности все достаточно просто. Наш разум имеет свою историю, подобно тому, как ее имеет наше тело. Возможно, кому-то и покажется удивительным, что человек имеет аппендикс. А знает ли он, что должен его иметь? Он просто рождается с ним, и все. Миллионы людей не знают, что имеют зубную железу, однако они ее имеют. Так и наш бессознательный разум, подобно телу, является хранилищем реликтов и воспоминаний о прошлом. Исследование структуры коллективного бессознательного может привести к таким открытиям, какие делаются и в сравнительной астрономии. Не следует думать, что здесь прячется что-то мистическое. Хотя стоит мне заговорить о коллективном бессознательном, как меня сразу же стараются обвинить в обскурантизме. А речь идет всего лишь о новой области науки, и допущение существования коллективных бессознательных процессов граничит с тривиальным здравым смыслом. Возьмем ребенка: он не рождается с готовым сознанием, но его разум не есть *табула раса* (*tabula rasa*). У младенца наличествует определенный мозг, и мозг английского ребенка будет действовать не так, как у австралийца, но в контексте жизненных путей современного гражданина Англии. Сам мозг рождается с определенной структурой, работает современным образом, но этот же самый мозг имеет и свою историю. Он складывается в течение миллионов лет и содержит в себе историю, результатом которой является. Естественно, что он функционирует со следами этой истории, в точности подобным телу, и если поискать в основах мозговой структуры, то можно обнаружить там следы архаического разума.

Идея коллективного бессознательного действительно очень проста. Если бы это было не так, можно было бы говорить о чуде. Но я вовсе не торгую чудесами, а исхожу из опыта. С моим опытом вы бы пришли к таким же выводам по поводу этих архаических мотивов. Случайно вступив в мифологию, я всего-навсего прочел больше книг, нежели, возможно, вы.

Так вот, однажды, когда я работал в клинике, случился пациент с диагнозом

психоза и весьма своеобразными видениями. Он рассказал мне об этих видениях и предлагал при этом “взглянуть тоже”. Чуть позже я натолкнулся на книгу одного исследователя из Германии (Albrecht Dieterich, “Eine Mithras-liturgie”), опубликовавшего главу о магическом папирусе. Я прочел ее с большим интересом и на седьмой странице обнаружил видение моего лунатика “слово в слово”. Это меня потрясло. Как могло оказаться, чтобы мой клиент мог увидеть подобное? И это был не просто один образ, но серия, и в книге буквально все повторялось. Данный случай я опубликовал в “Символах трансформации”.

Наиболее глубоко лежащий слой, в который мы можем проникнуть в исследовании бессознательного, — это то место, где человек уже не является отчетливо выраженной индивидуальностью, но где его разум смешивается и расширяется до сферы общечеловеческого разума, не сознательного, а бессознательного, в котором мы все одни и те же. Подобно анатомической схожести тел, имеющих два глаза, два уха, одно сердце и т.д., с несущественными индивидуальными различиями, разумы также схожи в своей основе. Это легко понять, изучая психологию первобытных людей. Наиболее ярким фактом в мышлении первобытных является отсутствие различия между индивидуумами, совпадение субъекта с объектом, как определил Леви-Брюль, мистическое участие (*participation mystique*). Первобытное мышление выражает основную структуру нашего разума, тот психологический пласт, который в нас составляет коллективное бессознательное, тот низлежащий уровень, который одинаков у всех. Поскольку базовая структура мозга и разума одна и та же у всех, то функционирование на этом уровне не несет в себе каких-либо различий. И здесь мы не осознаем происходящее с вами или со мной. На низлежащем коллективном уровне царит целостность, и никакой анализ здесь невозможен. Если же вы начинаете думать о сопричастности, как о факте, означающем, что в своей основе мы идентичны друг другу во всех своих проявлениях, то неизбежно приходите к весьма специфическим теоретическим выводам. Дальнейшие рассуждения на этот счет







-  Эктопсихическая сфера
-  Эндопсихическая сфера
-  Личностное бессознательное
-  Коллективное бессознательное

Рис.2. Структура психического бытия человека

нежелательны и даже таят в себе опасность. Но некоторые из этих выводов вы должны использовать на практике, поскольку они помогают в объяснении множества вещей, составляющих жизнь человека.

Я хочу подытожить сказанное, используя диаграмму (рис. 2).

На первый взгляд изображенное здесь может показаться сложным, но, в сущности, все выглядит достаточно просто. Представьте, что наша ментальная сфера выглядит наподобие светящегося глобуса. Поверхность, из которой выходит свет, является доминирующей функцией личности. Если вы человек, адаптирующийся в окружающем мире, главным образом, с помощью мышления, то ваша поверхность и будет поверхностью мыслящего человека. Ведь вы осваиваете мир вещей и событий путем мышления, и, следовательно, то, что вы при этом демонстрируете, и есть ваше мышление. Если же вы принадлежите к другому типу, то налицо будет проявление другой функции.

На диаграмме в качестве периферической функции выступает *ощущение*. С его помощью человек получает информацию о внешнем мире. Второй круг — *мышление*: на основании информации, полученной от органов чувств, человек дает предмету имя. Затем идет *чувство*, которое будет сопутствовать его наблюдениям. И,

в конце концов, человек осознает, откуда берутся те или иные явления и что может произойти с ними в дальнейшем. Это *интуиция*, с помощью которой мы “видим в темной комнате”. Эти четыре функции формируют эктопсихическую систему.

Следующая сфера в диаграмме представляет сознательный ЭГО-комплекс, к которому обращены функции. Начнем по порядку: память, функция, контролируемая волей и находящаяся под контролем ЭГО-комплекса. Субъективные компоненты функций могут быть подавлены или усилены силой воли. Эти компоненты не так контролируемы, как память, хотя и она, как вы знаете, несколько ненадежна. Теперь мы переходим к аффектам и инвазиям, которые контролируются одной только силой. Единственно, что вы можете сделать, это пресечь их. Сожмите кулаки, чтобы не взорваться, ведь они могут оказаться сильнее вашего ЭГО-комплекса.

Разумеется, никакая психическая система не может быть отражена в такой грубой диаграмме. Это, скорее, шкала оценок, показывающая, как энергия или интенсивность ЭГО-комплекса, манифестирующая себя в волевом усилии, уменьшается по мере приближения к темной сфере — *бессознательному*. Прежде всего мы вступаем в личностное подсознание, некий порог в сфере *бессознательного*. Это часть психики, содержащая те элементы, которые могут быть осознанными. Многие вещи именуются бессознательными, но это относительно. Есть люди, для которых осознано практически все, что может осознать человек. Конечно, в нашем цивилизованном мире есть много неосознанных вещей, хотя индусы, китайцы, к примеру, осознают то, к чему наши психоаналитики идут долгим, сложным путем. Более того, живущий в естественных, природных условиях человек удивительным образом осознает то, о чем городской житель просто не догадывается, а если и вспоминает, то лишь под влиянием психоанализа. Я обнаружил это еще в школе. Я жил в деревне, среди крестьян, и знал то, чего не знали другие мальчишки в городе. Просто мне представился случай и это во многом помогло мне. Анализируя сны или симптомы фантазий невротиков или обычных людей, вы проникаете в сферу бессознательного, вы переступаете этот искусственный порог.

Весьма примечательно то, что человек может развить свое сознание до такой степени, что может сказать: “Ничто человеческое мне не чуждо”. (*Nihil humanum a me alienum puto*).

В конце концов мы подходим к ядру, которое вообще не может быть осознано — сфере архетипического разума. Его возможные содержания появляются в форме образов, которые могут быть понятны только в сравнении с их историческими параллелями. Если вы не распознаете определенный материал как исторический и не проведете параллели, то не сможете собрать все содержания в сознании, и последние останутся проектированными <...>. Содержания *коллективного бессознательного* не контролируются волей и ведут себя так, словно никогда в нас и не существовали — их можно обнаружить у окружающих, но

только не в самом себе. К примеру, плохие абиссинцы нападают на итальянцев; или, как в известном рассказе Анатоля Франса: два крестьянина живут в постоянной вражде. И когда у одного из них спрашивают, почему он так ненавидит своего соседа, он отвечает: “Но ведь он на другом берегу реки!”.

Как правило, когда коллективное бессознательное констеллируется в больших социальных группах, то результатом становится публичное помешательство, ментальная эпидемия, которая может привести к революции или войне и т. п. Подобные движения очень заразительны — заражение происходит потому, что во время активизации коллективного бессознательного человек перестает быть самим собой. Он не просто участвует в движении, он и *есть* само движение.

Д. Н. Узнадзе

ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ¹

Постановка проблемы установки

1. Иллюзия объема. Возьмем два разных по весу, но совершенно одинаковых в других отношениях предмета — скажем, два шара, которые отчетливо отличались бы друг от друга по весу, но по объему и другим свойствам были бы совершенно одинаковы. Если предложить эти шары испытуемому с заданием сравнить их между собой по объему, то, как правило, последует ответ: более тяжелый шар — меньше по объему, чем более легкий. Причем иллюзия эта обычно выступает тем чаще, чем значительнее разница по весу между шарами. Нужно полагать, что иллюзия здесь обусловлена тем, что с увеличением веса предмета обычно увеличивается и его объем, и вариация его по весу, естественно, внушает субъекту и соответствующую вариацию его в объеме.

Но экспериментально было бы продуктивнее разницу объектов по весу заменить разницей их по объему, т. е. предлагать повторно испытуемому два предмета, отличающихся друг от друга по объему, причем один (например, меньший) — в правую, а другой (большой) — в левую руку. Через определенное число повторных воздействий (обычно через 10—15 воздействий) субъект получает в руки пару равных по объему шаров с заданием сравнить их между собой. И вот оказывается, что

испытуемый не замечает, как правило, равенства этих объектов: наоборот, ему кажется, что один из них явно больше другого, причем в преобладающем большинстве случаев в направлении *контраста*, т. е. бóльшим кажется ему шар в той руке, в которую в предварительных опытах он получал меньший по объему шар. При этом нужно заметить, что явление это выступает в данном случае значительно сильнее и чаще, чем при предложении неодинаковых по весу объектов. Бывает и так, что объект кажется большим в другой руке, т. е. в той, в которую испытуемый получал больший по объему шар.

В этих случаях мы говорим об *ассимилятивном* феномене. Так возникает иллюзия объема.

Но объем воспринимается не только гаптически, как в этом случае; он оценивается и с помощью зрения. Спрашивается, как обстоит дело в этом случае.

Мы давали испытуемым на этот раз тахистоскопически пару кругов, из которых один был явно больше другого, и испытуемые, сравнив их между собою, должны были указать, какой из них больше. После достаточного числа (10—15) таких однородных экспозиций мы переходили к критическим опытам — экспонировали тахистоскопически два равновеликих круга, и испытуемый, сравнив их между собою, должен был указать, какой из них больше.

Результаты этих опытов оказались следующие: испытуемые воспринимали их иллюзорно; причем иллюзии, как правило, возникали почти всегда по контрасту. Значительно реже выступали случаи прямого, ассимилятивного характера. Мы не приводим здесь данных этих опытов². Отметим только, что число иллюзий доходит почти до 100% всех случаев.

2. Иллюзия силы давления. Но, наряду с иллюзией объема, мы обнаружили и целый ряд других аналогичных с ней феноменов и прежде всего иллюзию давления (1929 г.).

Испытуемый получает при посредстве барестезиометра одно за другим два раздражения — сначала сильное, потом

¹ Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М.: Наука, 1966. С. 140—152, 164—169, 180—183.

² Ср.: *Uznadze D. Ueber die Gewichtsteuschung und ihre Analoga. Psychol. For. B. XIV, 1931.*

сравнительно слабое. Это повторяется 10—15 раз. Опыты рассчитаны на то, чтобы упрочить в испытуемом впечатление данной последовательности раздражений. Затем следует так называемый критический опыт, который заключается в том, что испытуемый получает для сравнения вместо разных два одинаково интенсивных раздражения давления.

Таблица 1

Реакция	+	-	=	?
Иллюзия давления, % ...	45,6	25,0	15,0	14,4

- + число случаев контраста;
 - число ассимиляций;
 - = число адекватных оценок;
 - ? число неопределенных ответов.
- То же значение имеют эти знаки и во всех нижеследующих таблицах.

Результаты этих опытов показывают, что испытуемому эти впечатления, как правило, кажутся не одинаковыми, а разными, а именно: давление в первый раз ему кажется более слабым, чем во второй раз. Таблица 1, включающая в себя результаты этих опытов, показывает, что число таких восприятий значительно выше, чем число адекватных восприятий.

Нужно заметить, что в этих опытах, как и в предыдущих, мы имеем дело с иллюзиями как противоположного, так и симметричного характера: чаще всего встречаются иллюзии, которые сводятся к тому, что испытуемый оценивает предметы критического опыта, т. е. равные экспериментальные раздражители как неодинаковые, а именно: раздражение с той стороны, с которой в предварительных опытах он получал более сильное впечатление давления, он расценивает как более слабое (иллюзия контраста). Но бывает в определенных условиях и так, что вместо контраста появляется феномен ассимиляции, т. е. давление кажется более сильным как раз в том направлении, в котором и в предварительных опытах действовало более интенсивное раздражение.

Мы находим, что более 60% случаев оценки действующих в критических опытах равных раздражений давления нашими испытуемыми воспринимается иллюзорно. Следовательно, не подлежит

сомнению, что явления, аналогичные с иллюзиями объема, имели место и в сфере восприятия давления, существенно отличающегося по структуре рецептора от восприятия объема.

3. Иллюзия слуха. Наши дальнейшие опыты касаются слуховых впечатлений. Они протекают в следующем порядке: испытуемый получает в предварительных опытах при помощи так называемого “падающего аппарата” (Fallpararat) слуховые впечатления попарно: причем первый член пары значительно сильнее, чем второй член той же пары. После 10—15 повторений этих опытов следуют критические опыты, в которых испытуемые получают пары равных слуховых раздражений с заданием сравнить их между собой.

Результаты этих опытов суммированы в табл. 2, которая показывает, что в данном случае число иллюзий доходит до 76%. Следует заметить, что здесь, как, впрочем, и в опытах на иллюзию давления (табл. 1), число ассимилятивных иллюзий выше, чем это бывает обыкновенно; зато, конечно, значительно ниже число случаев контраста, которое в других случаях нередко поднимается до 100%. Нужно полагать, что здесь играет роль то, что в обоих этих случаях мы имеем дело с последовательным порядком предложения раздражений, т. е. испытуемые получают раздражения одно за другим, но не одновременно, с заданием сравнить их между собой, и нами замечено, что число ассимиляций значительно растет за счет числа феноменов контраста.

Таблица 2

Реакция	+	-	=	?
Слуховая ассимиляция, % ...	57,0	19,0	1,0	3,0

Ниже мы попытаемся объяснить, почему это бывает так.

Цифры, полученные в этих опытах, не оставляют сомнения, что случаи феноменов, аналогичных с феноменом иллюзий объема, имеют место и в области слуховых восприятий.

4. Иллюзия освещения. Еще в 1930 г. я имел возможность высказать предположение¹, что явления начальной переоценки степени освещения или затемнения при

¹ См. *Узнадзе Д.* Об основном законе смены установки // Психология. 1930. Вып. 9.

светлостной адаптации могут относиться к той же категории явлений, что и описанные нами выше иллюзии восприятия. В дальнейшем это предположение было проверено в моей лаборатории следующими опытами: испытуемый получает два круга для сравнения их между собой по степени их освещенности, причем один из них значительно светлее, чем другой. В предварительных опытах (10—15 экспозиций) круги эти экспонируются испытуемым в определенном порядке: сначала темный круг, а затем — светлый. В критических же опытах показываются два одинаково светлых круга, которые испытуемый сравнивает между собой по их освещенности. Результаты опытов, как показывает таблица 3, не оставляют сомнения, что в критических опытах, под влиянием предварительных, круги не кажутся нам одинаково освещенными: более чем в 73% всех случаев они представляются нашим испытуемым значительно разными. Итак, феномен наш выступает и в этих условиях.

Таблица 3

Реакция	+	-	=	?
Иллюзия освещения, % ...	56,6	16,6	21,6	6,2

5. Иллюзия количества. Следует отметить, что при соответствующих условиях аналогичные явления имеют место и при сравнении между собой количественных отношений. Испытуемый получает в предварительных опытах два круга, из которых в одном мы имеем значительно большее число точек, чем в другом. Число экспозиций колеблется и здесь в пределах 10—15. В критических опытах испытуемый получает опять два круга, но на этот раз число точек в них одинаковое. Испытуемый, однако, как правило, этого не замечает, и в большинстве случаев ему кажется, что точек в одном из этих кругов заметно больше, чем в другом, а именно больше в том круге, в котором в предварительных опытах он видел меньшее число этих точек.

Таким образом, феномен той же иллюзии имеет место и в этих условиях.

6. Иллюзия веса. *Фехнер* в 1860 г., а затем *Г. Мюллер* и *Шуман* в 1889 г. обратили внимание еще на один, аналогичный нашим, феномен, ставший затем известным под названием *иллюзии* веса. Он заключа-

ется в следующем: если давать испытуемому задачу повторно, несколько раз подряд, поднять пару предметов заметно неодинакового веса, причем более тяжелый правой, а менее тяжелый левой рукой, то в результате выполнения этой задачи у него вырабатывается состояние, при котором и предметы одинакового веса начинают ему казаться неодинаково тяжелыми, причем груз в той руке, в которую предварительно он получал более легкий предмет, ему начинает казаться чаще более тяжелым, чем в другой руке.

Мы видим, что по существу то же явление, которое было указано нами в ряде предшествующих опытов, имеет место и в области восприятия веса.

7. Попытки объяснения этих феноменов. *Теория Мюллера.* Если просмотрим все эти опыты, увидим, что в сущности всюду в них мы имеем дело с одним и тем же явлением: все указанные здесь иллюзии имеют один и тот же характер — они возникают в совершенно аналогичных условиях и, следовательно, должны представлять собой разновидности одного и того же феномена. Поэтому теория Мюллера, построенная специально с целью объяснения одного из указанных явлений, именно иллюзии веса, не может в настоящее время считаться удовлетворительной. Она имеет в виду специфические особенности восприятия веса и, конечно, для объяснения иллюзий других чувственных модальностей должна оказаться несостоятельной.

В самом деле, Мюллер рассуждает следующим образом: когда мы даем испытуемому в руки несколько раз по паре неодинаково тяжелых предметов, то, в конце концов, у него вырабатывается привычка для поднимания первого, т. е. более тяжелого члена пары мобилизовать более сильный мускульный импульс, чем для поднимания второго члена пары. Если же теперь, после повторения этих опытов достаточное число раз (10—15 раз), дать тому же испытуемому в каждую руку по предмету одинакового веса, то предметы эти будут казаться ему опять неодинаково тяжелыми. Ввиду того, что у него выработалась привычка правой рукой поднимать более тяжелый предмет, он мобилизует при поднимании тяжести этой рукой более сильный импульс, чем при поднимании другой рукой. Но раз в данном

случае фактически приходится поднимать предметы одинакового веса, то, понятно, мобилизованный в правой руке импульс к более тяжелому “быстрее и легче отрываёт” тяжесть с подставки, чем это имеет место с левой стороны, и тяжесть справа легче “летит вверх”, чем тяжесть слева.

Психологическую основу иллюзии, следовательно, следует полагать, согласно этой теории, в переживании быстроты поднимания тяжести: когда она как бы “летит вверх”, она кажется легкой, когда же, наоборот, она поднимается выше медленно, то она как бы “прилипает к подставке” и переживается как более тяжелый предмет. Такова теория Мюллера.

Мы видим, что решающее значение, согласно этой теории, имеет впечатление “взлета вверх” или “прилипания” тяжести к подставке: без этих впечатлений мы не чувствовали бы различия между обеими тяжестями — иллюзия бы не имела места.

Но ведь явления этого рода мы можем переживать лишь в случаях поднимания тяжестей, т. е. там, где имеет смысл говорить о впечатлениях “взлета вверх” или “прилипания к подставке”. Между тем, по существу то же явление, как мы видели, имеет место и в ряде случаев, где о впечатлениях этого рода и речи не может быть. Так, мы имеем дело с иллюзиями объема, силы давления, слуха, освещения, количества, словом, с иллюзиями, которые по существу нужно трактовать как разновидности одного и того же явления, не имеющего существенной или вовсе никакой связи с какими-нибудь определенными периферическими процессами. Оставаясь одним и тем же феноменом, в тактильной сфере она становится иллюзией давления, в зрительной и гаптической — иллюзией объема, в мускульной — иллюзией веса и т. д. По существу же она остается одним и тем же феноменом, для понимания сущности которого особенности отдельных чувственных модальностей, в которых он проявляется, существенной роли не играют. Поэтому совершенно ясно, что для объяснения этого феномена мы должны отвлечься от теории Мюллера и искать его в другом направлении.

И вот прежде всего возникает вопрос: что находим мы общего, в условиях наших опытов, в деятельности отдельных сенсорных модальностей, что можно было бы признать общей основой, на которой вырастают констатированные нами аналогичные друг другу явления иллюзии?

Теория “обманутого ожидания”. В психологической литературе мы встречаем теорию, которая, казалось бы, вполне отвечает поставленному здесь нами вопросу. Это — теория “обманутого ожидания”. Правда, при ее разработке упомянутые нами аналоги иллюзии веса были еще неизвестны: они были впервые опубликованы нами в связи с проблемой об основах данной иллюзии позднее¹. Тем больше внимания заслуживает эта теория сейчас, когда наличие этих аналогов определенно указывает, что в основе интересующих здесь нас феноменов должно лежать нечто, имеющее по существу лишь формальное значение и потому могущее оказаться годным для объяснения тех случаев, которые, касаясь материала различных чувственных модальностей, столь сильно отличаются друг от друга со стороны содержания.

Теория “обманутого ожидания” пытается объяснить иллюзию веса следующим образом: в результате повторного поднимания тяжестей (или же для объяснения наших феноменов мы могли бы сейчас добавить — повторного воздействия зрительного, слухового или какого-либо другого впечатления) у испытуемого вырабатывается *ожидание*, что в определенную руку ему будет дан всегда более тяжелый предмет, чем в другую, и когда в критическом опыте он не получает в эту руку более тяжелого предмета, чем в другую, его ожидание оказывается обманутым, и он, недооценивая вес полученного им предмета, считает его более легким. Так возникает, согласно этой теории, впечатление контраста веса, а в соответствующих условиях и другие обнаруженные нами аналоги этого феномена.

Нет сомнения, что теория эта имеет определенное преимущество перед мюллеровской, поскольку она в основе признает возможность проявления наших феноменов всюду, где только может идти речь об “обманутом ожидании”, следовательно, не

¹ См. *Узнадзе Д.* Об основном законе смены установки.

только в одной, но и во всех наших чувственных сферах. Наши опыты именно и показывают, что интересующая здесь нас иллюзия не ограничивается сферой одной какой-нибудь чувственной модальности, а имеет значительно более широкое распространение.

Тем не менее принять эту теорию не представляется возможным. Прежде всего она мало удовлетворительна, поскольку не дает никакого ответа на существенный в нашей проблеме вопрос — вопрос о том, почему, собственно, в одних случаях возникает впечатление контраста, а в других — ассимиляции. Нет никаких оснований считать, что субъект действительно “ожидает”, что он и в дальнейшем будет получать то же соотношение раздражителей, какое он получал в предварительных опытах. На самом деле такого “ожидания” у него не может быть, хотя бы после того, как выясняется после одной—двух экспозиций, что он получает совсем не те раздражения, которые он, быть может, действительно “ожидал” получить. Ведь в наших опытах иллюзии возникают не только после одной—двух экспозиций, но и далее.

Но и независимо от этого соображения теория “обманутого ожидания” все же должна быть проверена и притом проверена, если возможно, экспериментально; лишь в этом случае можно будет судить окончательно о ее приемлемости.

Мы поставили специальные опыты, которые должны были разрешить интересующий здесь нас вопрос о теоретическом значении переживания “обманутого ожидания”. В данном случае мы использовали состояние гипнотического сна, поскольку оно предоставляет в наше распоряжение выгодные условия для разрешения поставленного вопроса. Дело в том, что факт рапорта, возможность которого представляется в состоянии гипнотического сна, и создает нам эти условия.

Мы гипнотизировали наших испытуемых и в этом состоянии провели на них предварительные опыты. Мы давали им в руки обычные шары — один большой, другой — малый и заставляли их сравнивать эти шары по объему между собой. По окончании опытов, несмотря на факты обычной постгипнотической амнезии, мы все же специально внушали испытуемым, что они должны основательно забыть все, что с ними

делали в состоянии сна. Затем отводили испытуемого в другую комнату, там будили его и через некоторое время, в бодрствующем состоянии, проводили с ним наши критические опыты, т. е. давали в руки равные по объему шары с тем, чтобы испытуемый сравнил их между собой.

Наши испытуемые почти во всех случаях находили, что шары эти не равны, что шар слева (т.е. в той руке, в которую в предварительных опытах во время гипнотического сна они получали больший по объему шар) заметно меньше, чем шар справа.

Таким образом, не подлежит сомнению, что иллюзия может появиться и под влиянием предварительных опытов, проведенных в состоянии гипнотического сна, т. е. в состоянии, в котором и речи не может быть ни о каком “ожидании”. Ведь совершенно бесспорно, что наши испытуемые не имели ровно никакого представления о том, что с ними происходило во время гипнотического сна, когда над ними проводились критические опыты, и “ожидать” они, конечно, ничего не могли. Бесспорно, теория “обманутого ожидания” оказывается несостоятельной для объяснения явлений наших феноменов.

8. Установка как основа этих иллюзий. Что же, если не “ожидание”, в таком случае определяет поведение человека в рассмотренных выше экспериментах? Мы видим, что везде, во всех этих опытах, решающую роль играет не то, что специфично для условий каждого из них, — не сенсорный материал, возникающий в особых условиях этих задач, или что-нибудь иное, характерное для них, — не то обстоятельство, что в одном случае речь идет, скажем, относительно объема, гаптического или зрительного, а в другом — относительно веса, давления, степени освещения или количества. Нет, решающую роль в этих задачах играет именно то, что является общим для них всех моментом, что объединяет, а не разъединяет их.

Конечно, на базе столь разнородных по содержанию задач могло возникнуть одно и то же решение только в том случае, если бы все они в основном касались одного и того же вопроса, чего-то общего, представленного в своеобразной форме в каждом отдельном случае. И действительно, во всех этих задачах вопрос сво-

дится к определению количественных отношений: в одном случае спрашивается относительно взаимного отношения объемов двух шаров, в другом — относительно силы давления, веса, количества. Словом, во всех случаях ставится на разрешение вопрос как будто об одной и той же стороне разных явлений — об их количественных отношениях.

Но эти отношения не являются в наших задачах отвлеченными категориями. Они в каждом отдельном случае представляют собой вполне конкретные данности, и задача испытуемого заключается в определении именно этих данностей. Для того, чтобы разрешить, скажем, вопрос о величине кругов, мы сначала предлагаем испытуемому несколько раз по два неравных, а затем, в критическом опыте, по два равных круга. В других задачах он получает в предварительных опытах совсем другие вещи: два неодинаково сильных впечатления давления, два неодинаковых количественных впечатления, а в критическом опыте — два одинаковых раздражения. Несмотря на всю разницу материала, вопрос остается во всех случаях по существу один и тот же: речь идет всюду о характере отношения, которое мыслится внутри каждой задачи. Но отношение здесь не переживается в каком-нибудь обобщенном образе. Несмотря на то, что оно имеет *общий* характер, оно дается всегда в каком-нибудь *конкретном* выражении. Но как же это происходит?

Решающее значение в этом процессе, нужно полагать, имеют наши *предварительные* экспозиции. В процессе повторного предложения их у испытуемого вырабатывается какое-то *внутреннее состояние*, которое подготавливает его к восприятию дальнейших экспозиций. Что это внутреннее состояние действительно существует и что оно действительно подготовлено повторным предложением предварительных экспозиций, в этом не может быть сомнения: стоит произвести критическую экспозицию сразу, без предварительных опытов, т.е. предложить испытуемому вместо неравных сразу же равные объекты, чтобы увидеть, что он их воспринимает адекватно. Следовательно, несомненно, что в наших опытах эти равные объекты он воспринимает по типу предварительных экспозиций, а именно как неравные.

Как же объяснить это? Мы видели выше, что об “ожидании” здесь говорить нет оснований: нет никакого смысла считать, что у испытуемого вырабатывается “ожидание” получить те же раздражители, какие он получал в предварительных экспозициях.

Но мы видели, что и попытка объяснить все это вообще как-нибудь иначе, ссылаясь еще на какие-нибудь известные психологические факты, тоже не оказывается продуктивной. Поэтому нам остается обратиться к специальным опытам, которые дали бы ответ на интересующий здесь нас вопрос. Это наши гипнотические опыты, о которых мы только что говорили.

Результаты этих опытов даны в табл. 4 (в процентах).

Таблица 4

Реакция	+	-	=
16 испытуемых, % ...	82	17	1

Мы видим, что результаты эти в основном точно те же, что и в обычных наших опытах (табл. 1), а именно: несмотря на то, что испытуемый, вследствие постгипнотической амнезии, ничего не знает о предварительных опытах, не знает, что в одну руку он получал больший по объему шар, а в другую меньший, одинаковые шары критических опытов он все же воспринимает как неодинаковые: иллюзия объема и в этих условиях остается в силе.

О чем же говорят нам эти результаты? Они указывают на то, что, бесспорно, не имеет никакого значения, *знает испытуемый что-нибудь о предварительных опытах или он ничего о них не знает*: и в том, и в другом случае в нем создается какое-то состояние, которое в полной мере обуславливает результаты критических опытов, а именно, равные шары кажутся ему неравными. Это значит, что в результате предварительных опытов у испытуемого появляется состояние, которое, несмотря на то, что его ни в какой степени нельзя назвать сознательным, все же оказывается фактором, вполне действенным и, следовательно, вполне реальным фактором, направляющим и определяющим содержание нашего сознания. Испытуемый ровно ничего не знает о том, что в предварительных опытах он получал в руки шары неодинакового объема, он вообще ничего не знает

об этих опытах, и, тем не менее, показания критических опытов самым недвусмысленным образом говорят, что их результаты зависят в полной мере от этих предварительных опытов.

Можно ли сомневаться после этого, что в психике наших испытуемых существует и действует фактор, о наличии которого в сознании и речи не может быть, — состояние, которое можно поэтому квалифицировать как *внесознательный* психический процесс, оказывающий в данных условиях решающее влияние на содержание и течение сознательной психики.

Но значит ли это, что мы допускаем существование области “бессознательного” и, таким образом, расширяя пределы психического, находим место и для отмеченных в наших опытах психических актов? Конечно, нет! Ниже, когда мы будем говорить специально о проблеме бессознательного, мы покажем, что в принципе в широко известных учениях о бессознательном обычно не находят разницы между сознательными и бессознательными психическими процессами. И в том, и в другом случае речь идет о фактах, которые, по-видимому, лишь тем отличаются друг от друга, что в одном случае они сопровождаются сознанием, а в другом — лишены такого сопровождения; по существу же содержания эти психические процессы остаются одинаковыми: достаточно появиться сознанию, и бессознательное психическое содержание станет обычным сознательным психическим фактом.

Но в нашем случае речь идет не о такого рода различии между сознательными душевными явлениями и теми специфическими процессами, которые, будучи лишены сознания, протекают вне его пределов. Здесь вопрос касается двух различных областей психической жизни, из которых каждая представляет собой особую, самостоятельную ступень развития психики и является носителем специфических особенностей. В нашем случае речь идет о ранней, досознательной ступени психического развития, которая находит свое выражение в констатированных выше экспериментальных фактах и, таким образом, становится доступной научному анализу.

Итак, мы находим, что в результате предварительных опытов в испытуемом

создается некоторое специфическое состояние, которое не поддается характеристике как какое-нибудь из явлений сознания. Особенностью этого состояния является то обстоятельство, что оно предваряет появление определенных фактов осознания или предшествует им. Мы могли бы сказать, что это состояние, не будучи сознательным, все же представляет своеобразную тенденцию к определенным содержаниям сознания. Правильнее всего было бы назвать это состояние *установкой* субъекта, и это потому, что, во-первых, это не частичное содержание сознания, не изолированное психическое содержание, которое противопоставляется другим содержаниям сознания и вступает с ними во взаимоотношения, а некоторое *целостное состояние* субъекта; во-вторых, это не просто какое-нибудь из содержаний его психической жизни, а момент ее *динамической определенности*. И, наконец, это не какое-нибудь определенное, частичное содержание сознания субъекта, а целостная *направленность* его в определенную сторону на определенную активность. Словом, это, скорее, *установка* субъекта как целого, чем какое-нибудь из его отдельных переживаний, — *его основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи*.

Но если это так, тогда все описанные выше случаи иллюзии представляются нам как проявление деятельности установки. Это значит, что в результате воздействия объективных раздражителей, в нашем случае, например, шаров неодинакового объема, в испытуемом в первую очередь возникает не какое-нибудь содержание сознания, которое можно было бы формулировать определенным образом, а скорее, некоторое специфическое состояние, которое лучше всего можно было бы характеризовать как *установку* субъекта в определенном направлении.

Эта установка, будучи целостным состоянием, ложится в основу совершенно определенных психических явлений, возникающих в сознании. Она не следует в какой-нибудь мере за этими психическими явлениями, а, наоборот, можно сказать, предваряет их, определяя состав и течение этих явлений.

Для того, чтобы изучить эту установку, было бы целесообразно наблюдать ее дос-

таточно продолжительное время. А для это-то было бы важно *закрепить, зафиксировать* ее в необходимой степени. Этой цели служит *повторное* предложение испытуемому наших экспериментальных раздражителей. Эти повторные опыты мы обычно называем *фиксирующими* или просто *установочными*, а самую установку, возникающую в результате этих опытов, *фиксирующей установкой*.

Чтобы подтвердить высказанные здесь нами предположения, дополнительно были проведены следующие опыты. Мы давали испытуемому нашу обычную *предварительную* или, как мы будем называть в дальнейшем, *установочную* серию — два шара неодинакового объема.

Новый момент был введен лишь в критические опыты. Обычно в качестве критических тел испытуемые получали в руки шары, по объему равные меньшему из установочных. Но в этой серии мы пользовались в качестве критических шарами, которые по объему были больше, чем больший из установочных. Это было сделано в одной серии опытов. В другой серии критические шары заменялись другими фигурами — кубами, а в оптической серии опытов — рядом различных фигур.

Результаты этих опытов подтвердили высказанное нами выше предположение: испытуемым эти критические тела казались неравными — иллюзия и в этих случаях была налицо.

Раз в критических опытах в данном случае принимала участие совершенно новая величина (а именно шары, которые отличались по объему от установочных, были больше, чем какой-нибудь из них), а также ряд пар других фигур, отличающихся от установочных, и, тем не менее, они воспринимались сквозь призму выработанной на другом материале установки, то не подлежит сомнению, что материал установочных опытов не играет роли и установка вырабатывается лишь на основе *соотношения*, которое остается постоянным, как бы ни менялся материал и какой бы чувственной модальности он ни касался.

Еще более яркие результаты получим мы в том же смысле, если проведем на этот раз не критические, как выше, а уста-

новочные опыты при помощи нескольких фигур, значительно отличающихся друг от друга по величине¹.

Например, предлагаем испытуемому тахистоскопически, последовательно друг за другом, ряд фигур: сначала треугольники — большой и малый, затем квадраты, шестиугольники и ряд других фигур попарно в том же соотношении.

Словом, установочные опыты построены таким образом, что испытуемый получает повторно лишь определенное соотношение фигур: например, справа — большую фигуру, а слева — малую; сами же фигуры никогда не повторяются, они меняются при каждой отдельной экспозиции.

Надо полагать, что при такой постановке опытов, когда постоянным остается лишь соотношение (большой—малый), а все остальное меняется, у испытуемых вырабатывается установка именно на это соотношение, а не на что-нибудь другое. В критических же опытах они получают пару равных между собой фигур (например, пару равных кругов, эллипсов, квадратов и т.п.), которые они должны сравнить между собой.

Каковы же результаты этих опытов? Остановимся лишь на тех из них, которые представляют непосредственный интерес с точки зрения поставленного здесь вопроса. Оказывается, что, несмотря на непрерывную меняемость установочных фигур, при сохранении нетронутыми их соотношений, факт обычной нашей иллюзии установки остается вне всякого сомнения. Испытуемые в ряде случаев не замечают равенства критических фигур, причем господствующей формой иллюзии и в этом случае является феномен контраста.

Нужно, однако, отметить, что в условиях абстракции от конкретного материала, т.е. в предлагаемых вниманию читателя опытах, действие установки оказывается, как правило, менее эффективным, чем в условиях ближайшего сходства или полного совпадения установочных и критических фигур. Это, однако, вовсе не означает, что в случаях совпадения фигур установочных и критических опытов мы не имеем дела с задачей оценки соотношения этих фигур. Задача по существу и в

¹ См. *Ходжава З.* Фактор фигуры в действии установки // Труды Тбилис. гос. ун-та, 1941. Т. XVIII.

этих случаях остается та же. Но меньшая эффективность этих опытов в случаях полной абстракции от качественных особенностей релятов становится понятной сама собою.

Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в нашей психике не только сознательных, но и *досознательных* процессов, которые, как выясняется, мы можем характеризовать как область наших *установок*. <...>

<...> Но если допустить, что, помимо обычных явлений сознания, у нас имеется и нечто другое, что, не являясь содержанием сознания, все же определяет его в значительной степени, то тогда перед нами открывается возможность судить об явлениях или фактах, подобных *Einsicht*, с новой точки зрения, а именно: открывается возможность обосновать наличие этого “другого” и, что особенно важно, вскрыть в нем определенное реальное содержание.

Если признать, что живое существо обладает способностью реагировать в соответствующих условиях активацией установки, если считать, что именно в ней — в этой установке — мы находим новую сферу своеобразного отражения действительности, о чем мы будем говорить подробнее ниже, то тогда станет понятным, что именно в этом направлении и следует искать ключ к пониманию действительного отношения живого существа к условиям среды, в которой ему приходится строить свою жизнь.

Основные условия деятельности

Мы должны исходить из мысли о наличии двух основных условий, без которых акты поведения человека или какого-либо другого живого существа были бы невозможны. Это прежде всего наличие какой-либо *потребности* у субъекта поведения, а затем и *ситуации*, в которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Это — основные условия возникновения всякого поведения и прежде всего установки к нему. Нам необходимо ближе познакомиться с этими условиями.

1. Потребность. В науке нередко приходится встречаться с термином “потребность”. Особенно часто используется он в экономических науках. Здесь, однако, мы не думаем лишь о том значении, которое мыслится в понятии потребности специально с позиций экономических наук. В данном случае мы имеем в виду самое широкое значение этого слова — не только экономическое. Если представить себе, что организм испытывает нужду в чем-нибудь, например, в экономическом благе, в какой-нибудь другой ценности — практической или теоретической безразлично, в самой активности или, наоборот, в отдыхе и т.п., то во всех этих случаях можно говорить, что мы имеем дело с той или иной потребностью. Словом, как потребность можно квалифицировать всякое состояние психофизического организма, который, нуждаясь в изменениях окружающей среды, дает импульсы к необходимой для этой цели активности.

При этом нужно помнить, что активность должна быть понимаема в данном случае не только как прием, гарантирующий нам средства удовлетворения потребностей, а одновременно и как источник, дающий возможность непосредственного их удовлетворения.

Дело в том, что необходимо различать два основных рода потребностей — потребности *субстанциональные* и потребности *функциональные*.

В первом случае мы имеем в виду потребности, для удовлетворения которых необходимо что-нибудь субстанциональное, нечто, по получении чего потребность оказывается удовлетворенной. Так, например, состояние голода представляет собой пример определенной субстанциональной потребности: для того, чтобы утолить голод, необходимо иметь, например, хлеб.

Но эта категория еще не исчерпывает всех имеющихся у нас потребностей. Как мы только что отметили, в живом организме намечается стремление к тому или иному виду активности. В организме констатируется не нужда в чем-либо субстанциональном: он стремится к активности как таковой, он нуждается просто в самой деятельности. Это значит, что естественное состояние живого организма вовсе не заключается в неподвижности. Наоборот, живой организм находится в состоянии

постоянной подвижности. Он прекращает ее лишь временно и условно. Это — тогда, когда организм принужден обратиться к отдыху, хотя, впрочем, и здесь абсолютной приостановки деятельности у него никогда не бывает: органические процессы и в этих случаях, как и во всех других, продолжают быть активными. В зависимости от условий, в которых приходится жить организму в каждый данный момент, у него появляется потребность к деятельности и функционированию в том или ином направлении. Этого рода потребности мы и называем *функциональными* потребностями¹.

Эти две основные группы исчерпывают все богатства потребностей, имеющих у животных. Но они же служат основными категориями и тех потребностей, какие появляются у человека по мере развития условий его социальной, его культурной жизни. Культура порождает у него ряд новых потребностей, и чем дальше она развивается, тем обширнее становится их круг. В качестве примера потребности, которую можно было бы считать чисто человеческой, можно назвать *теоретическую* потребность. Правда, в литературе мы нередко имеем случаи, когда речь заходит относительно таких, как я думаю, чисто человеческих признаков у животных, в частности у обезьян, каким является, например, любознательность. Но, строго говоря, нет оснований антропоморфизировать даже признаки высших обезьян. Сейчас я хочу лишь отметить, что, бесспорно, в качестве своеобразной группы потребностей, выработавшихся у человека, можно назвать группу *теоретических* потребностей.

Но являются ли эти последние чем-либо новым, с точки зрения той основной группировки потребностей, которую мы наметили выше? Субстанциональной считать теоретическую потребность или функциональной?

Если мы вдумаемся в понятие теоретической потребности, мы найдем, что речь идет здесь о случаях, в которых субъект, стоящий перед теоретическим разрешением задачи, *останавливается*, прекращает соответствующие манипуляции, к которым он прибегает в процессе работы над

задачей, и обращает ее, эту задачу, в специальный объект своего размышления. Вот, собственно, перед нами момент объективации (о чем мы будем говорить ниже), за которым начинается процесс теоретического отношения к задаче².

Спрашивается: что мы имеем здесь? К какой категории можно отнести потребность, которую мы стремимся удовлетворить в этом случае?

Конечно, говорить здесь о функциональных потребностях вряд ли имеются основания. Акты теоретической мысли направлены, несомненно, не на цель удовлетворения той или иной функциональной потребности. Они, эти акты, нужны для вполне определенных целей, скажем, для разрешения вопроса о том, в чем, собственно, заключается задача или какие правила было бы целесообразнее всего применить при ее решении. Нет сомнения, что задача теоретического отношения к предмету стоит несравненно ближе именно к этой категории потребностей, чем к категории функциональных потребностей. При разрешении задач последней категории нет никакой нужды в теоретической работе: наличная в этих случаях потребность вовсе не требует процессов осознания, часто необходимых в случаях удовлетворения потребностей субстанциональных. И в этом нет ничего удивительного, поскольку при удовлетворении субстанциональных потребностей всегда может возникнуть вопрос, как и в какой степени данный материал способен удовлетворить наличную потребность. А это — уже вопрос, который требует осознания в теоретическом плане, прежде чем взяться за его практическое разрешение.

Таким образом, теоретические потребности возникают лишь в помощь нашим субстанциональным потребностям. Поскольку они рассчитаны всегда на то, чтобы обеспечить удовлетворение этих последних, мы могли бы сказать, что теоретические потребности представляют собой лишь дальнейшее осложнение субстанциональных потребностей. Не касаясь сейчас высших ступеней развития теоретического мышления, мы можем утверждать, что оно — на начальных стадиях своего разви-

¹ См. *Узнадзе Д.Н.* Психология ребенка, 1946.

² См. *Узнадзе Д.Н.* Проблема внимания // Психология. 1947. Вып. 4.

тия во всяком случае — ничего иного не представляет, как форму дальнейшего осложнения процесса удовлетворения субстанциональных потребностей.

Правда, мы знаем немало случаев действий, направленных на удовлетворение функциональных потребностей. Но это бывает обычно лишь при возникновении какого-нибудь из препятствий, затрудняющих нас при выполнении актов, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Однако возникающая в данном случае задача — определить, что же является причиной этих затруднений, — это уже задача вовсе не функционального характера. Она является самостоятельной задачей, разрешение которой требуется в данном случае в интересах субъекта, настроенного на удовлетворение функциональных потребностей, но — не непосредственно, а лишь косвенно, как необходимое условие для достижений его прямых целей.

Коротко говоря, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, в которой для осуществления прямых целей субъекта — удовлетворения его функциональных потребностей — предварительно требуется разрешение теоретической задачи — выяснения причин, затрудняющих осуществление этих целей.

Таким образом, потребности теоретического характера могут иметь место и в случаях удовлетворения функциональных потребностей, но от этого сами они далеко еще не становятся потребностями функционального содержания.

Итак, мы находим, что одним из основных условий активности субъекта является наличие в нем какой-нибудь определенной потребности, которая может быть субстанциональной или функциональной. На человеческой ступени развития мы становимся свидетелями выступления нового вида потребностей, т. е. *теоретической* потребности. Но анализ показывает, что она относится, скорее, к категории субстанциональных, чем функциональных потребностей.

2. Ситуация. Необходимым условием появления установки в определенном направлении, кроме потребности, является и наличие соответствующей ей *ситуации*. Если ее нет, то нет и установки: без наличия факта совместного и согласованного

воздействия ситуации и потребности на субъект нет основания к тому, чтобы в этом последнем образовалась установка и чтобы, следовательно, он был готов к действию.

Конечно, потребность может существовать и вне ситуации, делающей возможным ее удовлетворение. Но в таком случае она не имеет законченного, индивидуально определенного характера. Она получает его лишь в результате воздействия наличной ситуации, могущей принести ей удовлетворение: потребность конкретизируется, она становится индивидуально определенной потребностью, удовлетворение которой возможно в конкретных условиях данной ситуации лишь при наличии этой последней. Пока такой ситуации нет, потребность продолжает оставаться неиндивидуализированной. Но достаточно появиться определенной ситуации, нужной для удовлетворения этой потребности, чтобы в субъекте возникла конкретно очерченная установка и он почувствовал бы в себе импульс к деятельности в совершенно определенном направлении.

Таким образом, для возникновения установки необходимо наличие соответствующей ситуации, в условиях которой она принимает вполне определенный, конкретный характер. Следовательно, объективным фактором, определяющим установку, следует считать именно такого рода ситуацию.

Мы видим, что установка создается не на основе наличия одной только потребности или одной только объективной ситуации: для того, чтобы она возникла как установка к определенной активности, нужно, чтобы потребность совпала с наличием ситуации, включающей в себя условия для ее удовлетворения.

Здесь было бы интересно коснуться учения Левина о “побуждающем характере” определенного круга представлений (*Aufforderungscharakter*). Характер этот выступает, по его мнению, в случаях наших отношений к вещам и явлениям, в которых мы нуждаемся. Когда у нас возникает какая-нибудь потребность, то объекты или явления, имеющие к ней отношение, приобретают некоторую силу по отношению к нам: они заставляют нас действовать в определенном направлении, они призывают нас к определенным актам

деятельности: хлеб влечет голодного к тому, чтобы он схватил и съел его; постель влечет усталого лечь в нее. Но эта побуждающая, эта направляющая сила обнаруживается только в тех случаях, в которых субъект имеет соответствующую потребность. Достаточно ее удовлетворить, чтобы вещи и явления потеряли эту силу.

Это учение Левина интересно в том отношении, что оно представляет собой результат правильного наблюдения, согласно которому вещи и явления, когда они выступают компонентами ситуации удовлетворения какой-нибудь актуальной потребности, действительно становятся как бы силой по отношению к субъекту этой потребности: они как бы тянут его к себе в буквальном смысле слова. Но это бывает лишь в тех случаях, когда соответствующая потребность определенно имеется у субъекта. Левин в этом случае дает фактическое наблюдение, которое соответствует предположению о возникновении установки в определенном направлении лишь у субъекта, имеющего определенную потребность, и при наличии ситуации, необходимой для ее удовлетворения.

Итак, мы видим, что для возникновения установки в определенном направлении требуются условия субъективного и объективного характера: нужно наличие как потребности, так и ситуации, в которой она может быть удовлетворена.

Это — два основных условия, которые абсолютно необходимы для того, чтобы могла возникнуть какая-нибудь определенная установка. Конечно, вне субъективных и объективных условий вообще никакой активности не бывает. Но в данном случае мы утверждаем не только это. Здесь мы хотели бы обратить внимание и на то обстоятельство, что необходимым и действительным условием возникновения установки следует считать как бы некоторое единство обоих этих условий. В нашем случае это единство осуществляется в следующем: потребность, которая имеется в субъекте, становится вполне определенной конкретной потребностью лишь после того, как выясняется объективная ситуация в форме какой-нибудь конкретной ситуации, предоставляющей субъекту возможность удовлетворения данной потребности; оба момента — и ситуация, и потребность — определяются

как конкретные факты в связи друг с другом. <...>

Разновидности состояния установки

1. Фиксированная установка. При наличии потребности, которая должна быть удовлетворена, и соответствующей ситуации живой организм обращается к определенной целенаправленной деятельности. Но как мы убедились, эта деятельность, в первую очередь, зарождается в форме установки, которая в дальнейшем раскрывается в виде доступных наблюдателю внутренних и внешних актов поведения. Сейчас перед нами стоит вопрос, как и в каких формах происходит этот процесс зарождения установки.

В наших опытах дело начинается, как правило, рядом экспозиций экспериментальных объектов (установочные опыты) с тем, чтобы затем перейти к критическим экспозициям и показать, как подействовали на них предшествовавшие им установочные опыты.

В чем же заключается роль этих установочных опытов? Выше мы уже говорили относительно феномена фиксации, который является результатом повторного предложения этих опытов испытуемому.

Мы полагаем, что в итоге многократного повторения этих опытов у испытуемого фиксируется установка, возникающая при каждой отдельной экспозиции. Повторение в данном случае, по-видимому, играет решающую роль, оно дает возможность зафиксировать возникающую при каждой отдельной экспозиции установку. Поэтому эти повторные установочные опыты можно было бы назвать фиксирующими.

Другое дело, как возможно, чтобы повторение в данном случае играло роль фактора, содействующего процессу фиксации. Этого вопроса здесь мы не будем касаться. Отметим только, что однократной экспозиции установочных объектов в большинстве случаев не бывает достаточно для того, чтобы соответствующая этой экспозиции установка осталась у испытуемого до такой степени доминирующей, чтобы предлагаемые затем равные объекты воспринимались на ее основе и, следовательно, казались бы неравными. Поэтому число экспозиций должно быть увеличено

настолько, чтобы можно было говорить о достаточно фиксированной установке.

Фиксация установки может происходить и в следующих условиях: скажем, в условиях какой-нибудь определенной ситуации у меня появилась соответствующая этим условиям установка, которая, повлияв на акт моего поведения, сыграла свою роль и затем прекратила свое действие. Но что же фактически происходит с ней после этого? Исчезает ли она совершенно бесследно, будто ее никогда и не было, или она каким-то образом продолжает существовать, сохраняя способность все же оказывать некоторое влияние на наше поведение?

Если верно экспериментально подкрепленное выше положение о том, что установка представляет собой целостную модификацию личности или субъекта вообще, то тогда не вызывает сомнений, что она, сыграв свою роль, сейчас же должна уступить место другой, новой, актуально действующей установке. Но это еще не значит, что она-то сама окончательно и раз навсегда выходит из строя. Наоборот, в случае, если субъект попадает в ту же ситуацию с теми же намерениями, что и раньше, в нем должна возобновиться и прежняя установка заметно быстрее, чем это нужно было бы для возникновения новой установки в условиях совершенно новой ситуации. Это дает нам право считать, что раз активированная установка, вообще говоря, не пропадает, то она сохраняет в себе готовность снова актуализироваться, лишь только вступят в силу подходы для этого условия.

Само собой разумеется, готовность эта не всегда одинакова. Нужно полагать, что она зависит в значительной мере от степени прочности установки, которая измеряется числом повторных установочных опытов: чем чаще повторяются эти опыты (в пределах оптимума для каждого данного испытуемого), тем прочнее фиксируется установка и тем более сильная способность актуализации вырабатывается в ней.

С другой стороны, в наших опытах окончательно выясняется и то, что существуют единичные случаи действия установки, которые и помимо всякого повторения оставляют по себе значительный след; установки, лежащие в их основе,

фиксируются и независимо от повторения установочных опытов и, таким образом, приобретают значительно большую способность к актуализации.

Во всех этих случаях достаточно, чтобы начала действовать ситуация, похожая на актуальную, чтобы это оказалось достаточным для активирования установки и направления субъекта в соответствующую сторону.

Таким образом, мы видим, что бывают случаи, в которых, вследствие частых повторений установочных опытов или высокого личностного их веса, установка становится до такой степени легко возбудимой, что она актуализируется и в условиях воздействия неадекватных раздражителей, закрывая этим возможность проявления адекватной установки.

Конечно, нет никакой необходимости, чтобы в условиях действия фиксированной установки адекватная данной ситуации форма установки всегда ступшеывалась и заменялась другой, близкой к ней, но все же отличной от нее фиксированной установкой. Дело в том, что ничто не мешает нам допустить, что могут иметь место и такие случаи, когда субъекту приходится иметь дело с ситуацией, вполне тождественной с той, в которой выработалась данная форма фиксированной установки. В таких случаях, конечно, актуализированная фиксированная установка будет вполне совпадать с той, которую для данного случая мы должны считать адекватной.

Таким образом, в обычных, не экспериментальных условиях жизни мы встречаемся не только с случаями замены адекватной для данной ситуации установки близкой к ней фиксированной, но и с такими, в которых фиксированная установка оказывается вполне тождественной адекватной.

С другой стороны, могут иметь место и случаи, в которых к активности пробуждаются не те установки, которые фиксировались когда-нибудь в течение жизни данного индивидуума, а те, которые сделались фиксированными в истории его вида. Мне не раз приходилось в другой связи указывать на факты проявления такого рода активности, например, в жизни ребенка — на факты, относительно которых нельзя сказать, что они обусловлены потребностью получить именно средства, реализуемые

этой активностью. В жизни ребенка часты случаи, когда он обращается к деятельности исключительно потому, что в нем проявляется сильное стремление к ней: в нем пробуждается потребность функционировать, быть активным. Эта потребность, которую я называю функциональной тенденцией, нужно полагать, является наследственно приобретенной формой фиксированной установки¹.

2. Диффузная установка. Но установочные опыты не являются обязательно и во всех случаях фиксированными. В некоторых случаях они играют совершенно другую роль. Дело в том, что бывает редко, чтобы для возникновения какой-нибудь индивидуально определенной установки было бы достаточно одного-единственного случая воздействия ситуации на субъекта. Нужно полагать, что на начальных стадиях зарождения какой-нибудь новой установки она определяется как индивидуально очерченный факт, не сразу. Становится необходимым более или менее длительный процесс для того, чтобы установка определилась как таковая, чтобы она дифференцировалась, вычленилась как состояние, специфически адекватное для наличных условий поведения.

Мы полагаем, следовательно, что при первом своем зарождении установка яв-

ляется сравнительно еще не дифференцированным, не индивидуализированным состоянием. И вот для того, чтобы она дифференцировалась как определенная, адекватная для данных условий, становится необходимым повторное предложение соответствующих раздражений. В таких случаях повторение установочных опытов имеет совершенно определенную, отличную от фиксационных, цель — она направлена на дифференциацию установки.

Это бывает особенно необходимо для зарождения новых, еще не знакомых субъекту установок. Когда в таких случаях начинает действовать на субъекта какой-нибудь новый, впервые ему встречающийся объект, то вызываемая им установка должна носить диффузный, мало определенный характер. Мы можем сказать, что она недостаточно еще дифференцировалась и в результате этого субъект не может точно идентифицировать этот объект. Только с течением времени, по мере увеличения числа повторных воздействий того же объекта, вызываемая им установка постепенно дифференцируется и определяется как установка, специфичная именно для данного случая.

Следовательно, установочные опыты бывают не только *фиксирующими*, но и *дифференцирующими*.

¹ Ср.: *Узнадзе Д.Н.* Психология ребенка, 1946.

А.Г. АСМОЛОВ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, УСТАНОВКА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Может ли анализ сферы бессознательного на основе такой категории советской психологии, как категория деятельности, углубить представления о природе неосознаваемых явлений? И есть ли вообще необходимость в привлечении к анализу сферы бессознательного этой категории?

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем провести мысленный эксперимент и взглянем глазами участников первого симпозиума по проблеме бессознательного (1910) на прошедший по этой же проблеме симпозиум в Тбилиси (1979). По-видимому, Г. Мюнстерберг, Т. Рибо, П. Жане, Б. Харт не почувствовали бы себя на этом симпозиуме чужими. Г. Мюнстерберг, как и в Бостоне (1910), разделит бы всех участников на три группы: широкую публику, врачей и психофизиологов. Представители первой группы говорят о космическом бессознательном и о сверхчувственных способах общения сознаний. Врачи обсуждают проблему роли бессознательного в патологии личности, прибегая к различным вариантам представлений о раздвоении сознания, расщепления «я». Физиологи же утверждают, что бессознательное есть не что иное как продукт деятельности мозга. Лишь положения двух теорий оказались бы

совершенно неожиданными для Г. Мюнстерберга. Это — теория установки Д.Н. Узнадзе и теория деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. Принципиальная новизна состоит прежде всего в исходном положении этих концепций: *для того, чтобы изучить мир психических явлений, нужно выйти за их пределы и найти такую единицу анализа психического, которая сама бы к сфере психического не принадлежала.*

Если это требование не соблюдается, то мы возвращаемся к ситуации бостонского симпозиума. Дело в том, что пытаться понять природу неосознаваемых явлений либо только из них самих, либо исходя из анализа физиологических механизмов или субъективных явлений сознания — это все равно, что пытаться понять природу стоимости из анализа самих денежных знаков <...>. В натуре индивида можно, разумеется, обнаружить те или иные динамические силы, импульсы, побуждающие к поведению. Однако, как показывает весь опыт развития общепсихологической теории деятельности (см. А.Н. Леонтьев, 1983; С.Л. Рубинштейн, 1973), лишь анализ системы деятельности индивида, реализующей его жизнь в обществе, может привести к раскрытию содержательной характеристики многоуровневых психических явлений. С предельной четкостью эта мысль выражена А.Н. Леонтьевым. Он пишет: «Включенность живых организмов, системы процессов их органов, их мозга в предметный, предметно-дискретный мир приводит к тому, что система этих процессов наделяется содержанием, отличным от их собственного содержания, содержанием, принадлежащим самому предметному миру.

Проблема такого «наделения» порождает предмет психологической науки!».

Любые попытки понять содержание и функции сознания, бессознательного, установки вне контекста реального процесса жизни, взаимоотношений субъекта в мире с самого начала обесмысливают анализ этих уровней отражения действительности. Рассматривать сознание, бессознательное и установку вне анализа деятельности — это значит сбрасывать со счетов

¹ Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М.; Воронеж, 1996. С. 373—395.

ключевой для понимания механизмов управления любой саморазвивающейся системы вопрос, поставленный Н.А. Бернштейном: “...для чего существует то или иное приспособление в организме...”? <...>. Психика в целом, сознание и бессознательное в частности представляют собой возникшие в ходе приспособления к миру функциональные органы деятельности субъекта. Эволюция деятельности живых существ привела к появлению сознания и бессознательного, как качественно отличающихся уровней ориентировки в действительности. Для обслуживания деятельности они с необходимостью появились; вне деятельности их просто не существует. Поэтому-то логическая операция их изъятия из процесса взаимоотношений субъекта с действительностью перекрывает дорогу к изучению закономерностей осознаваемых и неосознаваемых психических явлений. Одним из следствий подобной операции является то, что исследователи бессознательного до сих пор ограничиваются чисто отрицательной характеристикой этой сферы психических явлений. “Что такое бессознательное?” — спрашиваете вы и получаете из всех психологических словарей ответ, который, если отбросить многочисленные вариации, сводится к следующему: “Бессознательное — характеристика любой активности или психической структуры, которую индивид не осознает” (Инглиш, 1958, с. 569).

Подобный ответ — это не только безобидная тавтология, подчиненная формуле “бессознательное — это то, что не осознается”. В этом определении полностью отсутствует указание на то, что детерминирует неосознаваемые явления. За данной дефиницией бессознательного проступает хорошо известный образ обитающего в сознании гомункулюса, который пристально разглядывает одни развертывающиеся в психической жизни события, а на другие закрывает глаза. Приблизиться же к пониманию природы бессознательного можно лишь при том условии, что будут выделены детерминирующие бессознательное различные обстоятельства жизнедеятельности человека — побуждающие субъекта предметы потребностей (мотивы), преследуемые субъектом цели, имеющиеся в ситуации средства достижения этих целей, многочисленные, не связанные прямо с ре-

шаемой человеком задачей, изменения стимуляции и т.п. О необходимости выделения детерминирующих неосознаваемых процессы явлений действительности прозорливо писал С.Л. Рубинштейн: “...Бессознательное влечение — это влечение, предмет которого не осознан. Осознать свое чувство — значит не просто испытать связанное с ним волнение, а именно соотносить его с причиной и объектом, его вызвавшим”. (Рубинштейн, 1956, с. 160). Тем самым, как минимум, в определение бессознательного должны быть включены те детерминанты, принадлежащие предметному миру, которые определяют содержание этой формы отражения действительности. Тогда первоначальная дефиниция бессознательного примет следующий вид: “Бессознательное представляет собой совокупность психических процессов, детерминируемых такими явлениями действительности, о влиянии которых на его поведение субъект не отдает себе отчета”. Подчеркнем, что в эту первоначальную характеристику бессознательного указание на то, что субъект не отдает себе отчета о детерминантах поведения, вводится лишь как указание на тот рабочий прием, через который психолог узнает о бессознательном, а не раскрывающая природу этой формы отражения особенность. Для выявления сущностной позитивной характеристики бессознательного необходимо обратиться прежде всего к двум специфическим чертам бессознательного. Первая из этих черт — *нечувствительность к противоречиям*: в бессознательном действительность переживается субъектом через такие формы уподобления, отождествления себя с другими людьми и явлениями, как непосредственное эмоциональное вчувствование, идентификация, эмоциональное заражение, объединение в одну группу порой совершенно различных явлений через “сопричастие” (классический пример Л. Леви-Брюля о том, что индейцы бразильского племени бероро отождествляют себя с попугаями араара), а не познается им через выявления логических противоречий и различий между объектами по тем или иным существенным признакам. И вторая черта — *вневременной характер* бессознательного: в бессознательном прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, объединяются друг с другом

в одном психическом акте, а не находятся в отношении линейной необратимой последовательности. Причудливые сцепления событий в сновидениях и фантазмах; спрессованность прошлого, настоящего и будущего в некоторых клинических симптомах и проявлениях повседневной жизни в одно, не знающее причинных связей видение мира — все это отнюдь не мистические, а реальные факты. И весь вопрос заключается в том, как подойти к этим фактам.

Если исходно взять за образец закономерности сознания, в частности, подчиненность некоторых видов понятийного рационального мышления формальной логике, то указанные факты будут восприняты как еще один аргумент в пользу чисто негативной дефиниции бессознательного по отношению к сознанию: в сфере сознания господствует логика; бессознательное — царство алогичного, иррационального и т.п. Подобное восприятие указанных выше феноменов исходит из такой типичной установки позитивистского мышления, как эгоцентризм в познании сложных социально-культурных и психических явлений. Ведь именно эгоцентризм, и в первую очередь, такая его форма как “европоцентризм”, заставляет принимать логику европейского мышления за образец и превращать ее в натуральную, естественную характеристику сознания, при этом благополучно забывая, что сама эта формальная логика есть культурное приобретение. А если *логика не дана* сознанию от природы, а *задана* культурой, то правомерно и применительно к сознанию допустить наличие нескольких сосуществующих логик. Несмотря на фундаментальные исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия (1930) и Леви-Брюля (1930), посвященные анализу мышления в разных культурах, шоры европоцентризма вынуждают одномерно плоско трактовать не только закономерности бессознательного, но и сознания. Однако на этом приключения позитивистской мысли, попавшей в рабство эгоцентризма, не заканчиваются. Изучению качественного своеобразия бессознательного препятствует еще одна форма научного эгоцентризма, названная нами “эволюционный снобизм”. Исходя из “эволюционного снобизма”, исследователи нередко расценивают формы психического отражения,

предшествующие сознанию, как более примитивные, архаичные и т.п. Так, даже если на словах признается, что функционирование бессознательного не просто алогично, а подчинено иной логике, то эта логика интерпретируется как архаичная. Таким образом, вновь осуществляется возврат к чисто негативному пониманию бессознательного по отношению к сознанию. Из-за “эволюционного снобизма” такие проявления бессознательного в детском мышлении, как его аутистический характер, слабость интроспекции, нечувствительность к противоречиям, воспринимаются как алогичность инфантильных форм мышления, их примитивность, в отличие от форм понятийного мышления и т.п. А эти инфантильные формы — не примитивнее и не грубее. Они — другие, иные, чем те, которые присущи сознанию.

Если мы с самого начала нацелим свои поиски на выявление качественного своеобразия неосознаваемых форм психического отражения и сумеем преодолеть косность научного эгоцентризма, то увидим, что указанные выше феномены и такие характеристики бессознательного, как отсутствие противоречий и вневременной характер, свидетельствуют не об ущербности, алогичности бессознательного, а об *иной его логике*, или, точнее, об *иных логиках*, стоящих за всеми этими проявлениями. Причем, *иных логиках* не в смысле их архаичности и таинственности в стиле С. Леклера, а *иных логиках* функционирования бессознательного в деятельности субъекта, обеспечивающих полновесный адаптивный эффект.

Существует ли такой критерий, который бы позволил отнести самые различные проявления бессознательного к одному общему классу явлений, выявить их функциональное значение в процессе регуляции деятельности субъекта и дать их позитивную характеристику по отношению к сознанию? Давайте повнимательнее взглянемся в такие, казалось бы, не связанные друг с другом феномены, как аутизм детского мышления, слабость интроспекции, нечувствительность к противоречиям. Давайте прибавим к этому пестрому ряду такие факты, как особая продуктивность неоречевленной (неосознаваемой, предречевой) мысли, проявляющаяся во “внезапных” решениях...; неоднократно подвергав-

шаяся изучению в клинике шизофрении (Б.В. Зейгарник и др.) причудливость, множественность, разнообразие, “странность” смысловых связей (легкое увязывание всего со всем, феномен “смысловой опухоли” и т.п.) как бы высвобождаемых в условиях распада нормально вербализуемой мыслительной деятельности; оправданность применяемой иногда очень оригинальной методики и т.н. “мозгового штурма”, при которых нахождение оригинальных решений обсуждаемой проблемы достигается путем стимуляции генеза множества “неодуманных до конца”, не оречевленных полностью проектов решения и т.п. За всеми этими феноменами просматривается один, позволяющий отнести их к общему классу, критерий. И слабость интроспекции, и нечувствительность к противоречиям, и запрет на рефлексивность в методике “мозгового штурма”, и аутизм... — звенья одной цепи, главным стержнем которой является *отсутствие противопоставленности в неосознаваемых формах психического отражения субъекта и окружающей его действительности. В неосознаваемом психическом отражении мир и субъект образуют одно неделимое целое.* На наш взгляд, слитность субъекта и мира в неосознаваемом психическом отражении представляет собой сущностную характеристику всей сферы бессознательного, конкретными выражениями, проявлениями которой служат перечисленные выше факты. Так, например, причина слабости интроспекции ребенка лежит в невыделенности его Я из окружающей действительности. Нечувствительность к противоречиям как в инфантильных формах мышления, так и в сновидениях имеет в своей основе ту же самую причину — отсутствие противопоставления в этих формах психической реальности субъекта и окружающего его мира. Ведь действительность сама по себе не знает логических противоречий. Причина эффективности методики “мозгового, штурма” — своеобразное уравнивание в неосознаваемых формах психического отражения самых невероятных, “безумных” вариантов и привычных вариантов решения задачи вследствие установки на полное снятие любого контроля по отношению к своим высказываниям и таким образом слияния своего Я с процессом решения задачи. Перечень феноменов, глубинная при-

чина которых лежит в нерасчлененности субъекта и действительности, можно было бы продолжить. Но уже из сказанного следует, что выделенная нами характеристика бессознательного позволяет объяснить сходство внешне не связанных между собою явлений и дать общую позитивную характеристику неосознаваемой формы психического отражения. Качественное отличие этой формы психического отражения от сознания проявится еще более явно, если мы напомним, что сознание представляет собой “...отражение предметной действительности в ее отделенности от наличных отношений к ней субъекта... В сознании образ действительности не сливается с переживанием субъекта: в сознании отражаемое выступает как “предстоящее субъекту” [А.Н.Леонтьев]. Та же характеристика сознания красочно описывается Д.Н. Узнадзе при анализе специфики механизма объективации. Функция присущего только человеку механизма объективации, по выражению Д.Н. Узнадзе, проявляется в том, что человек видит, что существует мир и он в этом мире. Итак, отраженные в сознании предметы и явления мира отделены от наличных отношений субъекта к действительности; отраженные в бессознательном события окружающего мира слиты в одном узле с наличными отношениями субъекта в действительности, образуют одно нераздельное целое с этими отношениями. Каждый из этих уровней психического отражения вносит свой вклад в регуляцию деятельности субъекта; каждый из этих уровней приспособлен для решения своего специфического класса жизненных задач. Так, благодаря слитости субъекта с миром в бессознательном, субъект произвольно воспринимает мир и запоминает его, не отдавая себе отчета об этом. Однако регуляцией произвольных непреднамеренных актов, а также автоматизированных видов поведения тип жизненных задач, для которых необходимо бессознательное, функция бессознательного не исчерпывается. Упоминаемые выше проявления продуктивности доречевого мышления недвусмысленно говорят о том, что бессознательное, не зная “логики” сознания, именно в силу этого незнания открыто бесконечному количеству “иных логик” действительности, которые еще пока не стали достоянием цивилизации.

При анализе сферы бессознательного в контексте общепсихологической теории деятельности открывается возможность ввести содержательную характеристику этих качественно отличных классов неосознаваемых явлений, раскрыть функцию этих явлений в регуляции деятельности и проследить их генезис. Если, опираясь на положения школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия, бросить взгляд на историю становления взглядов о бессознательном, то мы увидим, что разные аспекты проявлений бессознательно разрабатывались при анализе четырех следующих проблем: проблемы передачи опыта из поколения в поколение и функции этого опыта в социально-типическом поведении личности как члена той или иной общности; проблемы мотивационной детерминации поведения личности; проблемы произвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов деятельности субъекта; проблемы поиска диапазона чувствительности органов чувств. На основании анализа этих проблем представляется, на наш взгляд, возможным выделить четыре особых класса проявлений бессознательного: надындивидуальные надсознательные явления; неосознаваемые побудители поведения личности (неосознаваемые мотивы и смысловые установки); неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы); неосознаваемые резервы органов чувств (подпороговые субсенсорные раздражители).

Далее мы попытаемся выделить те направления, в которых шло исследование этих классов неосознаваемых явлений, дать краткое описание основных особенностей каждого класса и показать, что в каждом из этих классов проявляется основная черта бессознательного — слитость субъекта и мира в неосознаваемом психическом отражении.

1. Надындивидуальные надсознательные явления

Начнем с описания надындивидуальных надсознательных явлений, поскольку, во-первых, эти явления всегда были покрыты туманом таинственности и служили почвой для самых причудливых мифоло-

гических построений; во-вторых, именно на примере этих явлений наиболее рельефно открывается социальный генезис сферы бессознательного в целом.

С нашей точки зрения, реальный факт существования класса надсознательных надындивидуальных явлений предстает в разных ипостасях во всех направлениях, затрагивающих проблему передачи опыта человечества из поколения в поколение или пересекающуюся с ней проблему дискретности — непрерывности сознания.

Для решения этой фундаментальной проблемы привлекались такие понятия, как “врожденные идеи” (Р.Декарт), “архетипы коллективного бессознательного” (К.Юнг), “космическое бессознательное” (Судзуки), “космическое сознание” (Э.Фромм), “бессознательное как речь Другого” (Ж.Лакан), “коллективные представления” (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль) и “бессознательные структуры” (К.Леви-Стросс, М.Фуко).

Принципиально иной ход для решения этой проблемы предлагается в исследованиях выдающегося мыслителя В.И. Вернадского. Если все указанные авторы, будь то Р. Декарт, Э. Фромм или К. Юнг, в качестве точки отсчета для понимания надындивидуальных надсознательных явлений избирают отдельного *индивида*, то В.И. Вернадский видит источник появления нового пласта реальности в коллективной бессознательной работе *человечества*. Он называет этот пласт реальности — ноосферой. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — в *ноосферу*, отмечает В.И. Вернадский. Однако и идеи В.И. Вернадского о ноосфере, несмотря на подчеркивание им социального, материального характера возникновения ноосферы, до сих пор с большим трудом пробивают себе дорогу в мышлении современных ученых и порой воспринимаются как изящная фантазия.

А вопросы о природе надындивидуальных надсознательных явлений так и остаются только вопросами. Как проникнуть во все эти надындивидуальные бессознательные структуры? Каково их происхождение? В большинстве случаев ответ на эти вопросы очень близок к их сказочному решению в “Синей птице” Мориса Метерлинка. В этой волшебной сказке добрая

фея дарит детям чудодейственный алмаз. Стоит лишь повернуть этот алмаз, и люди начинают видеть скрытые души вещей. Как и в любой настоящей сказке, в этой сказке есть большая правда. Окружающие людей предметы человеческой культуры действительно имеют “душу”. И “душа” эта — не что иное, как поле значений, существующих в форме опредмеченных в процессе деятельности в орудиях труда схем действия, в форме ролей, понятий, ритуалов, церемоний, различных социальных символов, норм, социальных образцов поведения.

Надсознательные явления, действительно, имеют социальное происхождение. В их основе лежит объективно существующая и являющаяся продуктом совместной деятельности человечества система *значений* (А.Н. Леонтьев), опредмеченных в той или иной культуре в виде различных схем поведения, социальных норм и т.п. *Надсознательные явления представляют собой усвоенные субъектом как членом той или иной группы образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых на его деятельность актуально не осознается субъектом и не контролируется им.* Эти образцы (например, этнические стереотипы), усваиваясь через такие механизмы социализации, как подражание и идентификация, определяют особенности поведения субъекта именно как представителя данной социальной общности, то есть социально-типические особенности поведения, в проявлении которых субъект и группа выступают как одно неразрывное целое. В советской психологии представления о “надсознательном” и его роли в творческой деятельности развиваются М.Г. Ярошевским (1978), который показывает, что творческая активность ученого детерминируется присутствием его научной группы или науке его времени в целом надсознательными категориальными установками аппарата познания, воплощающимися в выдвигаемых ученых гипотезах и проектах их решения.

Таким образом, идеи о потоке сознания, об архетипах коллективного бессознательного и т.п. имеют вполне земную основу. За всеми этими представлениями стоит реальный факт существования надиндивидуального надсознательного, имеющего четко прослеживаемый социальный

генезис и представляющего собой усваиваемые субъектом образцы поведения и познания, порожденные всей совокупной деятельностью человечества.

2. Неосознаваемые побудители деятельности (неосознаваемые мотивы и смысловые установки личности)

Неосознаваемые побудители деятельности личности всегда были центральным предметом исследования в традиционном психоанализе. Они принимают участие в регуляции деятельности, выступая в виде смысловых установок. Не пересказывая здесь развиваемых нами представлений об иерархической уровневой природе установок как механизмов стабилизации, “цементирования” деятельности личности, напомним лишь, что в соответствии с основными структурными единицами деятельности (деятельность, действие, операция) выделяются уровни смысловых, целевых и операциональных установок, а также уровень психофизиологических механизмов установки (Асмолов, 1979). Общая функция установок любого уровня в регуляции деятельности характеризуется тремя следующими моментами: а) установка определяет устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности и выступает как механизм стабилизации деятельности личности, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях; б) установка освобождает субъекта от необходимости принимать решения и произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях; в) (фиксированная) установка может выступать в качестве фактора, обуславливающего инерционность, косность динамики деятельности и затрудняющего приспособление к новым ситуациям.

Таковы основные особенности функции установок любого уровня в регуляции деятельности. И об этих особенностях мы можем сегодня говорить как о научно обоснованном факте, благодаря фундаментальным исследованиям Д.Н. Узнадзе и его школы. Что же касается специфических проявлений смысловых, целевых и опера-

циональных установок в деятельности, то они определяются прежде всего тем, какое содержание — личностный смысл или значение (А.Н. Леонтьев) — выражает установка в деятельности субъекта. И здесь еще раз хочется выделить одно положение, без которого мы будем постоянно путаться при рассмотрении в одной связке категорий “установка” и “бессознательное”, “установка” и “сознание”, “установка” и “деятельность”. Для более явного выявления связи между всеми этими категориями необходимо всегда помнить весьма полезное, введенное в лингвистике, различие: план содержания и план выражения. Установка как готовность к реагированию есть своего рода носитель, *форма выражения* того или иного содержания в деятельности субъекта. Если фактор, приводящий к актуализации установки, осознается субъектом, то установка, соответственно, выражает в деятельности это осознаваемое содержание. В тех же случаях, когда какой-либо объективный фактор деятельности, например, мотив деятельности, не осознается, то актуализируемая им смысловая установка выражает в деятельности неосознаваемое содержание, в случае смысловой установки — вытесняемый субъектом личностный смысл происходящих событий.

Итак, *ко второму классу проявлений бессознательного относятся неосознаваемые мотивы и смысловые установки — побуждения и нереализованные предрасположенности к действиям, детерминируемые тем желаемым будущим, ради которого осуществляется деятельность и в свете которого различные поступки и события приобретают личностный смысл.* О существовании этого класса явлений стало известно благодаря исследованиям отсроченного постгипнотического внушения, приводящего к выполнению действия, импульс которого не известен самому совершившему это действие после выхода из гипнотического состояния человеку. Подобные явления в психопатологии описывались как раздвоение сознания, симптомы отчуждения частей собственного тела, выполняемых в сомнамбулическом состоянии действий при истерии, определяемые “отщепленными” от сознания личности побуждениями. Эти явления были обозначены термином “подсознательное” (П. Жане). Впоследствии для объяснения природы

этих явлений, а затем и для понимания разнородных мотивационных структур личности в целом основателем психоанализа З. Фрейдом было введено понятие бессознательное в узком смысле слова — “динамическое вытесненное бессознательное”. Под бессознательным понимались нереализованные влечения, которые из-за их конфликта с социальными запросами общества не допускались в сознание или изгонялись, отчуждались из него с помощью такого защитного механизма психики как вытеснение. Будучи вытеснены из сознания личности, эти влечения образуют сферу бессознательного — скрытые аффективные комплексы, предрасположенности к действиям, активно воздействующие на жизнь личности и проявляющиеся порой в непрямых символических формах (юморе, сновидениях, забывании имен и намерений, обмолвках и т.п.). Существенная и часто выпускаемая из виду черта динамических проявлений бессознательного состоит в том, что осознание личностью причинной связи нереализованных влечений с приведшими к их возникновению в прошлом травматическими событиями не приводит к исчезновению переживаний, обусловленных этими влечениями (например, страхов), так как узнанное субъектом воспринимается им как нечто безличное, чуждое, происходящее не с ним. Эффекты бессознательного в поведении устраняются только в том случае, если вызвавшие их события переживаются личностью совместно с другим человеком (например, в психоаналитическом сеансе) или с другими людьми (групповая психиатрия), а не только узнаются ею. Особо важное значение для понимания этого класса проявлений бессознательного и приемов его перестройки имеют феномены и механизмы бессознательного в межличностных отношениях, связанных с установлением эмоциональной интеграции, психологического слияния взаимодействующих людей в одно нераздельное целое. К этим феноменам относятся эмпатия, первичная идентификация (неосознанное эмоциональное отождествление с притягательным объектом, например, младенца с матерью), трансфер (возникающий в психоаналитическом сеансе перенос нереализованных стремлений пациента на психоаналитика), <...> проекция (неосознанное наделение другого человека присущи-

ми данной личности желаемыми или нежелаемыми свойствами). Во всех этих проявлениях бессознательного побуждающий субъекта мир и сам субъект представляют одно неразрывное целое.

Личностные смыслы, “значения-для-меня” тех или иных событий мира составляют как бы сердцевину описываемого класса неосознаваемых явлений — класса неосознаваемых мотивов и смысловых установок. Явления этого класса не могут быть преобразованы под влиянием тех или иных односторонних вербальных воздействий. Это положение, основанное на целом ряде фактов, полученных в экспериментальных исследованиях А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца (1945), Е.В. Субботского (1977) и других, в свою очередь, вплотную подводит нас к особенности смысловых образований, определяющей методические пути их исследования. Эта особенность состоит в том, что *изменение смысловых образований всегда опосредствовано изменением самой деятельности субъекта*. Именно учет этой важнейшей особенности смысловых образований (системы личностных смыслов и выражающих их в деятельности смысловых установок) позволяет пролить свет на некоторые метаморфозы в развитии психоанализа, объяснение которых выступает как своего рода проверка предлагаемой нами классификации.

Во-первых, неэффективность психотерапии, ограничивающейся чисто вербальными односторонними воздействиями, то есть той терапией, которую столь ядовито высмеял еще З. Фрейд в своей работе “О “диком” психоанализе” (1923), как раз и объясняется тем, что по самой своей природе смысловые образования нечувствительны к вербальным воздействиям, несущим чисто информативную нагрузку. Повторяем, что смыслы изменяются только в ходе реорганизации деятельности, в том числе и деятельности общения, в которой происходит “речевая работа” (Ж. Лакан). Не случайно поэтому Жак Лакан, выдвинувший лозунг “Назад к Фрейду”, перекликается в этом пункте с основоположником психоанализа, замечая: “Функция языка заключается не в информации, а в побуждении. Именно ответа другого я ищу в речи. Именно мой вопрос констатирует меня как субъекта”. Иными словами, только деятельность, в том числе и деятельность общения, выражаю-

щая те или иные смыслообразующие мотивы и служащая основой для эмоциональной идентификации с Другим, может изменить личностные смыслы пациента. Во-вторых, в неэффективности влияния указанного типа вербальных воздействий на сферу смыслов — воздействий, которыми часто подменяется диалог между психоаналитиком и пациентом, — следует искать, на наш взгляд, одну из причин явно наметившегося сдвига от индивидуальных методов к групповым методам психотерапии, например, к таким методам, как психодрама, Т-группы и т.п., в которых так или иначе реконструируется деятельность, приводящая в конечном итоге к изменению личностных смыслов и выражающих их в деятельности смысловых установок.

Подытоживая представления о природе неосознаваемых побудителей деятельности, об их сущности, перечислим основные особенности динамических смысловых систем личности:

1) производность от деятельности субъекта и его социальной позиции в системе общественных отношений;

2) интенциональность (ориентированность на предмет деятельности: смысл всегда кому-то или чему-то адресован, смысл всегда есть смысл чего-то);

3) независимость от осознания (личностный смысл может быть осознан субъектом, но самого по себе осознания недостаточно для изменения личностного смысла);

4) невозможность воплощения в значениях (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин) и неформализуемость (Ф.В. Бассин).

5) феноменально смысловые образования проявляются в виде кажущихся случайными, немотивированными “отклонениями” поведения от нормативного для данной ситуации (например, обмолвки, лишние движения и т.п.).

3. Неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы)

В основе регуляции произвольных и автоматизированных актуально неконтролируемых способов выполнения деятельности субъекта (операций) лежат

такие проявления бессознательного, как неосознаваемые операциональные установки и стереотипы. Они возникают в процессе решения различных задач (перцептивных, мнемических, моторных, мыслительных) и детерминируются неосознанно превосходящим образом событий и способов действия, опирающимся на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях. Динамика возникновения этих актуально-неосознаваемых форм психического отражения красочно описывалась в психологии сознания как переход содержания сознания из фокуса сознания на его периферию (В. Вундт). Для обозначения разных стадий этих проявлений бессознательного в регуляции деятельности привлекались два круга терминов, фиксирующих либо неосознаваемую подготовку субъекта к действию с опорой на прошлый опыт — “бессознательные умозаключения” (Г. Гельмгольц), “преперцепция” (В. Джемс), “предсознательное” (З. Фрейд), “гипотеза” (Дж. Брунер), “вероятностное прогнозирование” (И.М. Фейгенберг) и т.п.; либо непроизвольный контроль уже развертывающейся активности субъекта — “динамический стереотип” (И.П. Павлов), “схема” (Ф. Бартлетт), “акцептор действия” (П.К. Анохин), и т.п. *Функция этих проявлений бессознательного состоит в том, что субъект может одновременно перерабатывать информацию о действительности на нескольких различных уровнях и сразу совершать целый ряд актов поведения* (запоминать и отыскивать решения задач, не ставя осознанных целей решать и запоминать; обходить препятствия, не утруждая себя отчетом об их существовании; “делать семь дел сразу” и т.п.).

Пожалуй, одна из первых попыток вывести общий закон, которому подчиняются неосознаваемые явления этого класса, принадлежит Клапареду. Он сформулировал закон осознания, суть которого заключается в следующем: чем больше мы пользуемся тем или иным действием, тем меньше мы его осознаем. Но стоит на пути привычного действия появиться препятствию, как возникает потребность в осознании, которая и является причиной того, что действие вновь попадает под контроль со стороны сознания. Однако закон Клапареда описывает лишь феноменальную динамику этого класса явлений. Объяснить

же возникновение осознания появлением потребности в осознании — это то же самое, что объяснить происхождение крыльев у птиц появлением потребности летать (Выготский, 1956).

Кардинальный шаг в развитии представлений о сущности неосознаваемых регуляторов деятельности был сделан в советской психологии. Не излагая здесь всего массива экспериментальных и теоретических исследований этого пласта бессознательного, укажем только на те два направления, в которых велись эти исследования.

В генетическом аспекте изучение “предсознательного” было неразрывно связано с анализом проблемы развития произвольной регуляции высших форм поведения человека. “Произвольность в деятельности какой-либо функции является всегда оборотной стороной ее осознания”, — писал один из идейных вдохновителей и родоначальников этого направления Л.С. Выготский. В свете изложенного выше понимания бессознательного как формы психического отражения, в которой субъект и мир представляют одно нераздельное целое, особенно очевидной становится необходимость столь жесткого увязывания Л.С. Выготским между собой произвольности и осознанности деятельности человека. Ведь произвольность всегда предполагает контроль со стороны субъекта за своим поведением при наличии намерения осуществить желаемый им акт поведения, подчинить то или иное поведение, например, запоминание своей власти. Но для такого контроля, как минимум, необходимо как бы бросить взгляд на свое собственное поведение со стороны, противопоставить себя окружающей действительности. Там, где нет произвольного контроля, там нет противопоставления себя миру, а тем самым нет осознания. Проблема произвольности — осознанности поведения была подвергнута глубокому анализу в известных работах по произвольной и непроизвольной регуляции деятельности (А.В. Запорожец, П.И. Зинченко).

В функциональном плане изучение неосознаваемых регуляторов деятельности непосредственно вписывается в проблему автоматизации различных видов внешней и внутренней деятельности. Так, А.Н. Леонтьевым проанализирован процесс превращения в ходе обучения действия, на-

правляемого осознаваемой предвидимой целью, в операцию, условия осуществления которой только “презентируются” субъекту. В основе осознания, таким образом, лежит изменение места предметного содержания в структуре деятельности, являющееся следствием процесса автоматизации — деавтоматизации деятельности. Это положение радикально отличается от представлений о динамике осознания в интроспективной психологии сознания. Если интроспективный психолог ищет причину изменения состояний сознания внутри самого сознания, то для представителей деятельного подхода к “физиологии активности” ключ к изменению состояний сознания — в самом движении деятельности, ее развитии, ее автоматизации и дезавтоматизации. В ходе процесса автоматизации происходит стирание грани между субъектом и объектом, растворение субъекта в деятельности. Н.А. Бернштейн приводит яркий пример такого слияния субъекта с миром, происходящего в процессе автоматизации деятельности, обращаясь к фрагменту из произведения Л.Н. Толстого “Анна Каренина”: “Чем далее Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой... полное жизни тело, и как бы по волшебству, без мысли о ней, работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой”.

В основе функционирования автоматизированных форм поведения лежат операциональные установки и стереотипы. Проведенные с позиции представлений об уровневой природе установки как механизма стабилизации деятельности исследования позволили экспериментально выявить две существенно отличающиеся неосознаваемые формы регуляции автоматизированного поведения. Было показано, что традиционно изучавшиеся классическим методом фиксации установки Д.Н. Узнадзе относятся к так называемым *установкам на целевой признак*, то есть признак сравниваемых установочных объектов, который с самого начала осознается субъектом. Установки на целевой признак лежат в основе “сознательных операций” (А.Н. Леонтьев), которые возникли вследствие автоматизации действия. Такого рода сознательные операции возникают в ходе неоднократных повторений

действия, например, при обучении вождению автомобиля, косье или письму. Содержание цели действия, вначале осознаваемое субъектом, занимает в строении другого, более сложного действия место условия его выполнения. Вследствие изменения места цели в структуре деятельности, сдвига цели на условие, происшедшего при автоматизации действия, данное действие превращается в сознательную операцию. По своему происхождению сознательные операции появляются вследствие автоматизации действий; по способу регуляции сознательные операции — потенциально произвольно контролируемые; по уровню отражения — вторично неосознаваемые (при появлении затруднений в ходе их осуществления могут осознаваться); по динамике протекания — гибкие, лабильны. Таковы черты сознательных операций. Установки на целевой признак, регулирующие протекания сознательных операций, если говорить в терминологии Д.Н. Узнадзе, исходно принадлежат плану объективации. Иными словами, основной массив экспериментальных исследований школы Д.Н. Узнадзе посвящен изучению особенностей именно этих лишь *вторично неосознаваемых установок*, установок на целевой признак. От вторично неосознаваемых установок на целевой признак принципиально отличаются *операциональные установки на неосознаваемый признак* (иногда говорят “иррелевантный признак”). Эти установки регулируют *приспособительные операции*. Приспособительные операции относятся к реактивному иерархически самому низкому уровню реагирования в структуре деятельности субъекта. Они возникают в процессе непроизвольного подражания или прилаживания, подгонки к предметным условиям ситуации, например, приспособления ребенка к языковым условиям, в результате которого усваиваются различные грамматические формы, используемые в речевом общении. Приспособительные операции характеризуются тремя следующими свойствами: по способу регуляции приспособительные операции — непроизвольны; по уровню отражения — изначально неосознаваемы; по динамике протекания — косные, ригидны. В экспериментальном исследовании М.Б. Михалевской было выявлено, что установки, выработанные на побочный

неосознаваемый признак, существенно отличаются от установок на целевой признак по выраженности иллюзии фиксированной установки. Оказалось, что установочный эффект, обусловленный установкой на неосознаваемый признак, гораздо сильнее и потому дольше сохраняется, чем эффект установки на целевой признак. Полученные данные представляют тройкий интерес. Во-первых, четко выявлена зависимость основных свойств установки от места установочного признака в структуре деятельности. Во-вторых, показано, что за установками на целевой признак, изучаемыми в школе Д.Н. Узнадзе, стоит иная психологическая реальность, чем за установками на операциональный иррелевантный признак. Эти факты, тем самым, подтверждают положение о существовании разных установок по параметру степени осознанности того признака, на который они фиксируются, и, тем самым, переводят в плоскость экспериментальных исследований старую дискуссию о неосознаваемых и осознаваемых установках. В-третьих, в будущем выделенные установочные эффекты могут быть использованы в качестве лакмусовой бумажки того, с каким уровнем деятельности в экспериментах мы имеем дело — с действием, автоматизировавшимся в сознательную операцию, то есть с пластом активной регуляции в деятельности, или же с приспособительной операцией, выражающей пласт реактивной адаптации субъекта к действительности.

4. Неосознаваемые резервы органов чувств

При анализе проблемы определения порогов ощущения, диапазона чувствительности человека к разным внешним раздражителям были обнаружены факты воздействия на поведение таких раздражителей, о которых он не мог дать отчета (И.М. Сеченов, Г.Т. Фехнер). Для обозначения разных аспектов этих субъективно неосознаваемых подпороговых раздражителей предложены понятия “предвнимание” (У. Найссер) и “субсенсорная область” (Г.В. Гершуни). Процессы “предвнимания” связаны с переработкой информации за пределами произвольно контролируемой деятельности, которая, непосредственно не

затрагивая цели и задачи субъекта, снабжает его полным неизбирательным отображением действительности, обеспечивая приспособительную реакцию на те или иные еще не распознанные изменения ситуации (например, так называемый феномен “шестого чувства” — что-то остановило, что-то заставило вздрогнуть и т.п.). Психофизиологической основой процессов предвнимания являются субсенсорные раздражители. Субсенсорной областью названа зона раздражителей (неслышимых звуков, невидимых световых сигналов и т.п.), вызывающих непроизвольную объективно регистрируемую реакцию и способных осознаваться при придании им сигнального значения. Изучение процессов предвнимания и субсенсорных раздражителей позволяет выявить резервные возможности органов чувств человека, зависящие от целей и смысла решаемых им задач. На примере анализа проявлений этого класса неосознаваемых психических процессов явно выступает адаптивная функция бессознательного в целенаправленной деятельности человека.

Развитие представлений о природе бессознательного, специфике его проявлений, и функций в регуляции поведения человека является необходимым условием создания целостной объективной картины психической жизни личности.

* * *

Самое важное и вместе с тем очевидное, к чему мы приходим при анализе сферы бессознательного с позиций деятельностного подхода, заключается в том, что три пути к изучению психики человека вовсе не представляют собой трех параллельных прямых, которым не суждено пересечься в пространстве научного мышления современной психологической науки. Сегодня совершенно ясно, что благодаря взаимопроникновению подходов, связанных с исследованием бессознательного, деятельности и установки, каждый из них в буквальном смысле слова обретает свое второе дыхание. Деятельностный подход, если он и дальше будет настороженно относиться к богатейшей феноменологии бессознательного, окажется не в состоянии объяснить многие факты, касающиеся закономерностей развития и функционирования мотивационно-смысловой сферы личности, по-

знавательных процессов, различных автоматизированных видов поведения. Ведь старый образ, олицетворяющий сознание с верхушкой айсберга в процессе психической регуляции деятельности, — это не только красивая метафора. Он наглядно отражает реальное соотношение осознаваемого и неосознаваемого уровней психики в регуляции деятельности, в жизни человека. Вот поэтому исследования познания, личности, динамики межличностных отношений, оставляющие за бортом неосознаваемый уровень регуляции деятельности, являются по меньшей мере односторонними. В свою очередь, только выявив функциональное значение бессознательного и установки в процессе регуляции деятельности, мы сможем глубже проникнуть в природу этих проявлений психической реальности. Именно анализируя бессознательное и его функцию в деятельности человека, мы приходим к позитивной характеристике бессознательного как уровня психического отражения, в *котором субъект и мир представлены как одно неразделимое целое*. Установка же выступает как форма выражения в деятельности человека того или иного содержания — личностного смысла или значения, которое может быть как осознанным, так и неосознанным. Функция установки в регуляции деятельности — это обеспечение целенаправленного и устойчивого характера протекания деятельности личности.

Анализ бессознательного с позиций теории деятельности позволяет, во-первых, наметить те проблемы и направления, в

русле которых изучались явления выделенных нами классов (проблема передачи и усвоения опыта; проблема детерминации деятельности; проблемы произвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов внешней и внутренней деятельности; проблема поиска диапазона чувствительности), во-вторых, вычленив в пестром потоке этих явлений четыре качественно различных класса (надиндивидуальные надсознательные явления, неосознаваемые мотивы и смысловые установки личности, неосознаваемые механизмы регуляции способов деятельности, неосознаваемые резервы органов чувств) и обозначить генезис и функцию явлений разных классов в деятельности субъекта. Необходимость содержательной характеристики бессознательного как формы психического отражения, в которой субъект и мир представляют одно неразрывное целое, а также подобной классификации неосознаваемых явлений состоит в том, что нередко встречающееся противопоставление всех трех разнородных явлений уживается с полной утратой их специфики, что существенно затрудняет продвижение на нелегком пути их изучения. Между тем лишь выявление общих черт и специфики этих “утаенных” планов сознания (Л.С. Выготский) позволит найти адекватные методы их исследования, раскрыть их функцию в регуляции деятельности и тем самым не только дополнить, но и изменить существующую картину представлений о деятельности, сознании и личности.

Дж. Б. Уотсон

БИХЕВИОРИЗМ¹

Бихевиоризм (behaviorism, от англ. behavior — поведение) — особое направление в психологии человека и животных, буквально — наука о поведении. В своей современной форме бихевиоризм представляет продукт исключительно американской науки, зачатки же его можно найти в Англии, а затем и в России. В Англии в 90-х годах *Ллойд Морган* начал производить эксперименты над поведением животных, порвав, таким образом, со старым антропоморфическим направлением в зоопсихологии. Антропоморфическая школа устанавливала у животных такие сложные действия, которые не могли быть названы “инстинктивными”. Не подвергая этой проблеме экспериментальному исследованию, она утверждала, что животные “разумно” относятся к вещам и что поведение их, в общем, подобно человеческому. Ллойд Морган ставил наблюдаемых животных в такие условия, при которых они должны были разрешить определенную задачу, например, поднять щеколду, чтобы выйти из огороженного места. Во всех случаях он установил, что разрешение задачи начиналось с беспорядочной деятельности, с проб и ошибок, которые случайно приводили к верному решению. Если же животным снова и снова ставилась та же задача, то в конце концов они научались разрешать ее без ошибок: у животных развивалась более или менее совершенная привычка. Другими словами, метод Моргана был подлинно *генетическим*. Эксперименты Моргана побудили *Торндайка* в Америке к его работе (1898). В течение следующего

десятилетия примеру Торндайка последовало множество других ученых-зоологов. Однако никто из них ни в коей мере не приблизился к бихевиористической точке зрения. Почти в каждом исследовании этого десятилетия поднимался вопрос о “сознании” у животных. Уошборн дает в своей книге “*The animal Mind*” (1-е издание, 1908) общие психологические предпосылки, лежащие в основе работ того времени о психологии животных. Уотсон в своей статье “*Psychology as the Behaviorist Views It*” (“*Psychological Review*”, XX, 1913) первый указал на возможность новой психологии человека и животных, способной вытеснить все прежние концепции о сознании и его подразделениях. В этой статье впервые появились термины *бихевиоризм, бихевиорист, бихевиористический*. В своей первоначальной форме бихевиоризм основывался на недостаточно строгой теории образования привычек. Но вскоре на нем сказались влияние работ Павлова и Бехтерева об условных секреторных и двигательных рефлексах, и эти работы, в сущности, и дали научное основание бихевиоризму. В тот же период возникла школа так называемой *объективной психологии*, представленная Иксюлем, Беером и Бете в Германии, Ньюэлем и Боном во Франции и Лебом в Америке. Но хотя эти исследователи и способствовали в большой мере накоплению фактов о поведении животных, тем не менее их психологические интерпретации имели мало значения в развитии той системы психологии, которая впоследствии получила название “бихевиоризм”. Объективная школа в том виде, как она была развита биологами, была, по существу, дуалистической и вполне совместимой с психофизическим параллелизмом. Она была скорее реакцией на антропоморфизм, а не на психологию как науку о сознании.

Сущность бихевиоризма. С точки зрения бихевиоризма подлинным предметом психологии (человека) является поведение человека от рождения и до смерти. Явления поведения могут быть наблюдаемы точно так же, как и объекты других естественных наук. В психологии поведения могут быть использованы те же общие методы, которыми пользуются в естественных на-

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 96—106.

уках. И поскольку при объективном изучении человека бихевиорист не наблюдает ничего такого, что он мог бы назвать сознанием, чувствованием, ощущением, воображением, волей, постольку он больше не считает, что эти термины указывают на подлинные феномены психологии. Он приходит к заключению, что все эти термины могут быть исключены из описания деятельности человека, этими терминами старая психология продолжала пользоваться потому, что эта старая психология, начавшаяся с Вундта, выросла из философии, а философия, в свою очередь, из религии. Другими словами, этими терминами пользовались потому, что вся психология ко времени возникновения бихевиоризма была виталистической. Сознание и его подразделения являются поэтому не более как терминами, дающими психологии возможность сохранить — в замаскированной, правда, форме — старое религиозное понятие “душа”. Наблюдения над поведением могут быть представлены в форме стимулов (С) и реакций (Р). Простая схема С — Р вполне пригодна в данном случае. Задача психологии поведения является разрешенной в том случае, если известны стимул и реакция. Подставим, например, в приведенной формуле вместо С прикосновение к роговой оболочке глаза, а вместо Р мигание. Задача бихевиориста решена, если эти данные являются результатом тщательно проверенных опытов. Задача физиолога при изучении того же явления сводится к определению соответственных нервных связей, их направления и числа, продолжительности и распространения нервных импульсов и т. д. Этой области бихевиоризм не затрагивает, как не затрагивает он и проблему физико-химическую — определение физической и химической природы нервных импульсов, учет работы произведенной реакции и т. п. Таким образом, в каждой человеческой реакции имеются бихевиористическая, нейрофизиологическая и физико-химическая проблемы. Когда явления поведения точно сформулированы в терминах стимулов и реакций, бихевиоризм получает возможность предсказывать эти явления и руководить (овладеть) ими — два существенных момента, которых требует всякая наука. Это можно выразить еще иначе. Предположим, что наша задача заключается в том, чтобы заставить чело-

века чихать; мы разрешаем ее распылением толченого перца в воздухе (овладение). Не так легко поддается разрешению соотношение С — Р в “социальном” поведении. Предположим, что в обществе существует в форме закона стимул “запрещение” (С), каков будет ответ (Р)? Потребуется годы для того, чтобы определить Р исчерпывающим образом. Многие из наших проблем должны еще долго ждать разрешения вследствие медленного развития науки в целом. Несмотря, однако, на всю сложность отношения “стимул-реакция”, бихевиорист ни на одну минуту не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не могла быть описана в этих терминах.

Основная задача бихевиоризма заключается, следовательно, в накоплении наблюдений над поведением человека с таким расчетом, чтобы в каждом данном случае — при данном стимуле (или, лучше сказать, ситуации) — бихевиорист мог сказать наперед, какова будет реакция, или, если дана реакция, какой ситуацией данная реакция вызвана. Совершенно очевидно, что при такой широкой задаче бихевиоризм еще далек от цели. Правда, эта задача очень трудна, но не неразрешима, хотя иным она казалась абсурдной. Между тем человеческое общество основывается на общей уверенности, что действия человека могут быть предсказаны заранее и что могут быть созданы такие ситуации, которые приведут к определенным типам поведения (типам реакций, которые общество предписывает индивидам, входящим в его состав). Церкви, школы, брак — словом, все вообще исторически возникшие институты не могли бы существовать, если бы нельзя было предсказывать — в самом общем смысле этого слова — поведение человека; общество не могло бы существовать, если бы оно не в состоянии было создавать такие ситуации, которые воздействовали бы на отдельных индивидов и направляли бы их поступки по строго определенным путям. Правда, обобщения бихевиористов основывались до настоящего времени преимущественно на обычных, бессистемно применявшихся методах общественного воздействия. Бихевиоризм надеется завоевать и эту область и подвергнуть экспериментально-научному, достоверному исследованию отдельных людей и общественные группы. Другими слова-

ми, бихевиоризм полагает стать лабораторией общества. Обстоятельство, затрудняющее работу бихевиориста, заключается в том, что стимулы, первоначально не вызывавшие какой-либо реакции, могут впоследствии вызвать ее. Мы называем это процессом *обусловливания* (раньше это называли образованием привычек). Эта трудность заставила бихевиориста прибегнуть к генетическому методу. У новорожденного ребенка он наблюдает так называемую физиологическую систему рефлексов, или, лучше, врожденных реакций. Беря за основу весь инвентарь безусловных, незаученных реакций, он пытается превратить их в условные. При этом обнаруживается, что число сложных незаученных реакций, появляющихся при рождении или вскоре после него, относительно невелико. Это приводит к необходимости совершенно отвергнуть теорию инстинкта. Большинство сложных реакций, которые старые психологи называли инстинктами, например, ползание, лазание, опрятность, драка (можно составить длинный перечень их), в настоящее время считаются надстроенными или условными. Другими словами, бихевиорист не находит больше данных, которые подтверждали бы существование наследственных форм поведения, а также существование наследственных специальных способностей (музыкальных, художественных и т.д.). Он считает, что при наличии сравнительно немногочисленных врожденных реакций, которые приблизительно одинаковы у всех детей, и при условии овладения внешней и внутренней средой возможно направить формирование любого ребенка по строго определенному пути.

Образование условных реакций. Если мы предположим, что при рождении имеется только около ста безусловных, врожденных реакций (на самом деле их, конечно, гораздо больше, например, дыхание, крик, движение рук, ног, пальцев, большого пальца ноги, торса, дефекация, выделение мочи и т. д.); если мы предположим далее, что все они могут быть превращены в условные и интегрированы — по законам перестановок и сочетаний, — тогда все возможное число надстроенных реакций превысило бы на много миллионов то число реакций, на которое способен отличающийся максимальной гибко-

стью взрослый человек в самой сложной социальной обстановке. Эти незаученные реакции вызываются некоторыми определенными стимулами. Будем называть такие стимулы безусловными [(Б)С], а все такие реакции — безусловными реакциями [(Б)Р], тогда формула может быть выражена так:

$$\frac{(Б)С}{А} \rightarrow \frac{(Б)Р}{1}$$

После образования условной связи

$$\left. \begin{array}{l} B \\ C \\ D \\ E \end{array} \right\} \rightarrow 1$$

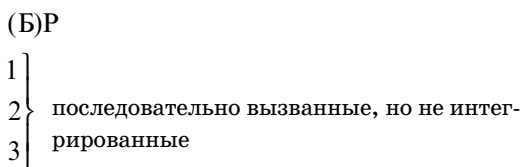
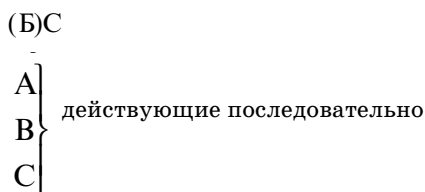
и т.д.

Пусть в этой схеме *A* будет безусловным стимулом, а *1* — безусловной реакцией. Если экспериментатор заставляет *B* (а в качестве *B*, насколько нам известно, может служить любой предмет окружающего мира) воздействовать на организм одновременно с *A* в течение известного периода времени (иногда достаточно даже одного раза), то *B* затем также начинает вызывать *1*. Таким же способом можно заставить *C*, *D*, *E* вызывать *1*, другими словами, можно любой предмет по желанию заставить вызывать *1* (замещение стимулов). Это кладет конец старой гипотезе о существовании какой-то врожденной либо мистической связи или ассоциации между отдельными предметами. Европейцы пишут слова слева направо, японцы же пишут вдоль страницы — сверху вниз. Поведение европейцев также закономерно, как и поведение японцев. Все так называемые ассоциации приобретены в опыте. Это показывает, как растет сложность воздействующих на нас стимулов по мере того, как наша жизнь идет вперед.

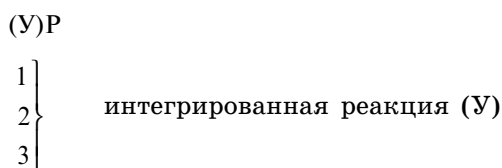
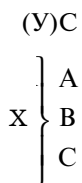
Каким образом, однако, становятся более сложными реакции? Физиологи исследовали интеграцию реакций главным образом, однако, с точки зрения их количества и сложности. Они изучали последовательное течение какого-либо акта в целом (на-

пример, рефлекс почесывания у собак), строение нервных путей связанных с этим актом, и т. п. Бихевиориста же интересует происхождение реакции. Он предполагает (как это показано в нижеприведенной схеме), что при рождении *A* вызывает 1, *B* — 2, *C* — 3. Действуя одновременно, эти три стимула вызовут сложную реакцию, составными частями которой являются 1, 2, 3 (если не произойдет взаимного торможения реакций). Никто все же не назовет это интеграцией. Предположим, однако, что экспериментатор присоединяет простой стимул *X* всякий раз, как действуют *A*, *B* и *C*. Через короткое время окажется, что этот стимул *X* может действовать один, вызывая те же три реакции 1, 2, 3, которые раньше вызывались стимулами *A*, *B*, *C*.

Изобразим схематически, как возникает интеграция или новые реакции всего организма:



После образования условной связи:



Часто возбудителем интегрированной реакции является словесный (вербальный) стимул. Всякий словесный приказ является таким именно стимулом. Таким об-

разом, самые сложные наши привычки могут быть представлены как цепи простых условных реакций.

Бихевиоризм заменяет поток сознания потоком активности, он ни в чем не находит доказательства существования потока сознания, столь убедительно описанного Джемсом, он считает доказательным только наличие постоянно расширяющегося потока поведения. На приведенной схеме показано, чем бихевиоризм заменяет джемсовский поток сознания.

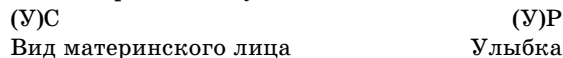
На этой схеме перечислены (весьма неполно) действия новорожденного (непрерывные линии). Она показывает, что реакции “любовь”, “страх”, “гнев”, появляются при рождении так же, как чихание, икание, питание, движение туловища, ног, гортани, хватание, дефекация, выделение мочи, плач, эрекция, улыбка и т. д. Она показывает далее, что протягивание рук, мигание и т. п. появляются в более позднем возрасте. Из этой схемы становится также ясным, что некоторые из этих врожденных реакций продолжают существовать в течение всей жизни индивидуума, в то время как другие исчезают. Важнее всего то, что, как показывает схема (пунктирные линии), условные реакции всегда непосредственно надстраиваются на основе врожденных.

Так, например, новорожденный ребенок улыбается [(B)P], поглаживание губ [(B)C] и других зон тела (как и некоторые внутриорганические стимулы) вызывают эту улыбку.

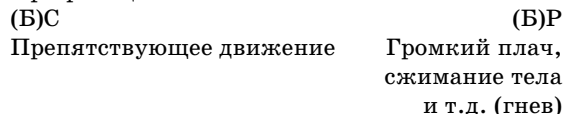
Ситуацию при этой врожденной реакции можно представить следующим образом:



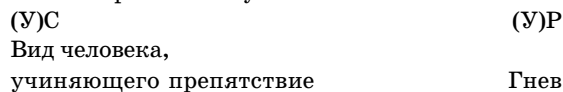
После образования условной связи:



При реакции гнева:



После образования условной связи:



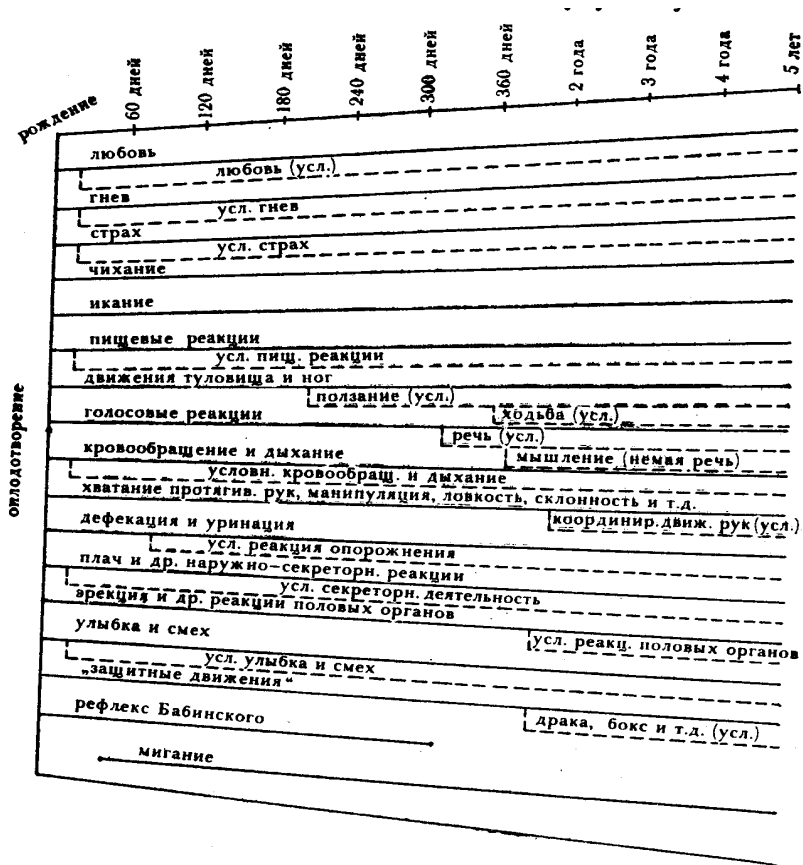


Рис. 1. Поток активности. Черная непрерывная линия обозначает безусловную основу всякой системы поведения. Пунктирная линия показывает, как каждая система усложняется при образовании условных реакций

Рассмотрим реакцию страха. Работы Уотсона и Рейнера, Мосса Лекки, Джонса и других указывают на то, что основным безусловным стимулом [(Б) С], вызывающим реакцию страха, является громкий звук или потеря опоры. Все дети, за исключением только одного из тысячи, над которыми производился эксперимент, задерживали дыхание, морщили губы, плакали, а те, кто постарше, уползали, когда раздавался позади их громкий звук или когда одеяло, на котором они лежали, внезапно выдергивалось из-под них. Ничто другое, насколько удалось наблюдать, не вызывает реакции страха в раннем детстве. Но очень легко заставить ребенка бояться какого угодно другого предмета. Экспериментатору достаточно для этого, показывая данный предмет, ударить, скажем, в стальную полосу за спиной ребенка и повторить эту процедуру несколько раз. Схема этой ситуации такова:

(Б)С	(Б)Р
Громкий звук, потеря опоры	Вздрагивание, плач и т.д. страх
После образования условной связи:	
(У)С	(У)Р
Кролики, собака, предмет, опущенный мехом	Страх

Другим интересным явлением, связанным с условными эмоциональными реакциями, является *перенесение*. Когда пытаются изобразить этот процесс в терминах Фрейда, натываются на тайну. Между тем экспериментальное изучение дало существенный фактический материал для выяснения его происхождения. Опыты над человеком и над собакой показали, что можно и того и другого заставить отвечать секреторной (слюнной) или двигательной реакцией на тон в 250 колебаний в секунду. Но эта реакция происходит не только тогда, когда действует условный стимул и каждый раз раздается именно этот тон, но

и тогда, когда звучат более высокие или более низкие тона. Экспериментатор может, применяя особые приемы, ограничить ряд стимулов, вызывающих реакцию. Он может ограничить их настолько, чтобы только тон в 256 колебаний в секунду (\pm дробь колебания) мог вызывать данную реакцию. Такая реакция называется дифференциальной, точно настроенной. Очевидно, совершенно то же самое происходит в случае условной эмоциональной реакции. Приучите ребенка к тому, чтобы один вид кролика вызывал в нем страх, и тогда, если ничего другого не будет сделано, крыса, собака, кошка, любая опушенная мехом вещь будут вызывать в ребенке страх. Бихевиорист имеет основание думать, что в точности то же самое происходит и с реакциями любви и гнева. Это указывает на то, что одна прочная условная реакция в эмоциональной сфере может произвести обширные изменения во всей жизни индивида. Такие “перенесенные” страхи представляют, следовательно, собой реакции недифференцированные, “неопределенные”, диффузные. Образование условных связей начинается в жизни ребенка гораздо раньше, чем думали до сих пор. Это процесс, который в короткий срок усложняет реакцию: ребенок 2—3 лет уже располагает тысячами реакций, воспитанных в нем окружающей его средой. Объяснение возникающих при этом сложных реакций бихевиоризм находит в механизме условных рефлексов. Бихевиористу нет необходимости при этом погружаться в бездонность “бессознательного” фрейдовской школы.

Процесс размыкания условной связи.

Ввиду исключительной практической важности вопроса бихевиористами были проведены эксперименты в области размыкания условной связи или переключения ее. Нижеприведенный простой эксперимент иллюстрирует сказанное. У ребенка 1,5 лет была выработана условная отрицательная реакция: при виде сосуда с золотыми рыбками он отходил либо убегал. Приводим слова экспериментатора: “Ребенок как только увидит сосуд с рыбками, говорит: “Кусается”. С какой бы быстротой он ни шел, он замедляет шаг, как только приблизится к сосуду на 7—8 шагов. Когда я хочу задержать его силой и подвести к бассейну, он начинает плакать и пытается вырваться и убежать. Никаким убеждением,

никакими рассказами о прекрасных рыбках, о том, как они живут, движутся и т. д., нельзя разогнать этот страх. Пока рыбок нет в комнате, вы можете путем словесного убеждения заставить ребенка сказать: “Какие милые рыбки, они вовсе не кусаются”, но стоит показать рыбку, и реакция страха возвращается. Испробуем другой способ. Подведем к сосуду старшего брата, 4-летнего ребенка, который не боится рыбок. Заставим его опустить руки в сосуд и схватить рыбку. Тем не менее младший ребенок не перестанет проявлять страх, сколько бы он ни наблюдал, как безбоязненно его брат играет с этими безвредными животными. Попытки пристыдить его также не достигнут цели. Испытаем, однако, следующий простой метод. Поставим стол от 10 до 12 футов длиной. У одного конца стола поместим ребенка во время обеда, а на другой конец поставим сосуд с рыбками и закроем его. Когда пища будет поставлена перед ребенком, попробуем приоткрыть сосуд с рыбками. Если это вызовет беспокойство, отодвиньте сосуд так, чтобы он больше не смущал ребенка. Ребенок ест нормально, пищеварение совершается без малейшей помехи. На следующий день повторим эту процедуру, но пододвинем сосуд с рыбками несколько ближе. После 4—5 таких попыток сосуд с рыбками может быть придвинут вплотную к подносу с пищей, и это не вызовет у ребенка ни малейшего беспокойства. Тогда возьмем маленькое стеклянное блюдо, наполним его водой и положим туда одну из рыбок. Если это вызовет смущение, отодвинем блюдо, а к следующему обеду поставим его снова, но уже поближе. Через три-четыре дня блюдо уже может быть поставлено вплотную к чашке с молоком. Прежний страх преодолен, произошло размыкание условной связи, и это размыкание стало уже постоянным. Я думаю, что этот метод основан на вовлечении висцерального компонента общей реакции организма; другими словами, для того, чтобы изгнать страх, необходимо включить в цепь условий также и пищеварительный аппарат. Я полагаю, что причина непрочности многих психоаналитических методов лечения заключается в том, что не воспитывается условная реакция кишечника одновременно с вербальными и мануальными компонентами. По-моему, психоаналитик

не может при помощи какой бы то ни было системы анализа или словесного увещевания вновь включить в цепь условий пищеварительный аппарат потому, что слова в нашем прошлом обучении не служили стимулами для кишечных реакций” (Уотсон). Бихевиорист полагает, что факты такого рода окажутся ценными не только для матерей и нянь, но и для психопатолога.

Представляет ли мышление проблему?

Всевозрастающее преобладание речевых навыков в поведении растущего ребенка естественно вводит нас в бихевиористическую теорию мышления. Она полагает, что мышление есть поведение, двигательная активность, совершенно такая же, как игра в теннис, гольф или другая форма мускульного усилия. Мышление также представляет собой мускульное усилие, и именно такого рода, каким пользуются при разговоре. Мышление является просто речью, но речью при скрытых мускульных движениях. Думаем ли мы, однако, только при помощи слов? Бихевиористы в настоящее время считают, что всякий раз, когда индивид думает, работает вся его телесная организация (скрыто), каков бы ни был окончательный результат: речь, письмо или беззвучная словесная формулировка. Другими словами, с того момента, когда индивид поставлен в такую обстановку, при которой он должен думать, возбуждается его активность, которая может привести в конце концов к надлежащему решению. Активность выражается: 1) в скрытой деятельности рук (мануальная система ре-

акций), 2) чаще — в форме скрытых речевых движений (вербальная система реакций), 3) иногда — в форме скрытых (или даже открытых) висцеральных реакций (висцеральная система реакций). Если преобладает 1-я или 3-я форма, мышление протекает без слов.

Бихевиористы высказывают предположение, что мышление в последовательные моменты может быть кинестетическим, вербальным или висцеральным (эмоциональным). Когда кинестетическая система реакций заторможена или отсутствует, тогда функционируют вербальные процессы; если заторможены те и другие, то становятся доминирующими висцеральные (эмоциональные) реакции. Можно, однако, допустить, что мышление должно быть вербальным (беззвучным) в том случае, если достигнута окончательная реакция или решение. Эти соображения показывают, как весь организм вовлекается в процесс мышления. Они указывают на то, что мануальная и висцеральная реакции принимают участие в мышлении даже тогда, когда вербальных процессов нет налицо; они доказывают, что мы могли все же каким-то образом мыслить даже в том случае, если бы мы не имели вовсе слов. Итак, мы думаем и строим планы всем телом. Но поскольку речевые реакции, когда они имеются налицо, обычно доминируют, по-видимому, над висцеральными и мануальными, можно сказать, что мышление представляет собой в значительной мере беззвучную речь.

Э. Ч. Толмен

ПОВЕДЕНИЕ КАК МОЛЯРНЫЙ ФЕНОМЕН¹

Общая позиция, принятая в этой работе, бихевиористская, но это особый вариант бихевиоризма, ибо имеются различные варианты бихевиоризма. Уотсон, архибихевиорист, предлагает один его вид. Ряд авторов, в частности Хольт, Перри, Сингер, де Лагуна, Хантер, Вейсс, Лешли и Форст, предложили другие, до некоторой степени различные варианты². Здесь не могут быть предприняты полный анализ и сравнение всех этих точек зрения. Мы представим только их некоторые отличительные черты как введение к пониманию нашего собственного варианта.

УОТСОН: МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Уотсон в основном, по-видимому, описывает поведение в терминах простой связи “стимул — реакция”. Сами эти стимулы и реакции он, по-видимому, представляет себе в относительно непосредственных физических и физиологических значениях.

Так, в первом полном изложении своей концепции он писал: “Мы используем термин “стимул” в психологии так, как он используется в физиологии. Только в психологии мы должны несколько расширить употребление этого термина. В психологической лаборатории, когда мы имеем дело с относительно простыми факторами, такими как влияние волн эфира различной длины, звуковых волн и т. п., изучая их влияние на приспособление человека, мы говорим о стимуле. С другой стороны, когда факторы, которые приводят к реакциям, являются более сложными, как, например, в социальном мире, мы говорим о ситуациях. Ситуация с помощью анализа распадается на сложную группу стимулов. В качестве примера стимула можно назвать такие раздражители, как пучок света различной длины волны; звуковую волну различной амплитуды и длины, фазы и их комбинации; частицы газа, подаваемые через такие небольшие отверстия, что они оказывают воздействие на оболочку носа; растворы, которые содержат частицы вещества такой величины, что приводят в активность вкусовые почки; твердые объекты, которые воздействуют на кожу и слизистую оболочку; лучистые стимулы, которые могут вызвать ответ на их температуру; вредные стимулы, такие как режущие, колющие, ранящие ткань. Наконец, движения мускулов и активность желез сами служат стимулами вследствие того воздействия, которое они оказывают на афферентный нерв, заканчивающийся в мускуле.

Подобным образом мы используем в психологии термин “реакция”, но опять мы должны расширить его использование. Движения, которые являются результатом удара по сухожилию или по подошве стопы, являются “простыми” реакциями, которые изучаются в физиологии и медици-

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 108—115.

² Мак-Дауголл (*Dougall W. Mc. Men or Robots // Psychologies of 1925. Worcester, 1926. P. 277*) утверждал, что он был первым, кто определил психологию как исследование поведения: “Еще в 1905 г. я начал свою попытку исправить это положение дел (т. е. неадекватность психологии “идей”), предложив определить психологию как науку о поведении, используя слово “позитивная” для того, чтобы отличить ее от этики, нормативной науки о поведении”. Ср. его же: “Мы можем определить психологию как позитивную науку о поведении живых существ” (*Psychology, the study of behavior. N. Y., 1912. P. 19*). Но честь (или позор) в возвышении этого определения психологии до “изма” должна быть приписана Уотсону. Для более глубокого рассмотрения см.: *Roback A. A. Behaviorism and psychology. Cambridge, 1925. P. 231—242* (там же библиография).

не. Наше исследование в психологии также имеет дело с простыми реакциями такого типа, но чаще — с рядом сложных реакций, происходящих одновременно”¹.

Необходимо отметить, однако, что наряду с этим определением поведения в терминах строго физических или физиологических *сокращений мускулов*, которые в него входят, Уотсон был склонен соскальзывать на различные и иногда противоречивые позиции. Так, например, в конце только что цитированного отрывка он говорит: “В последнем случае (когда наше исследование в психологии имеет дело с несколькими различными реакциями, происходящими одновременно) мы иногда используем популярный термин “акт” или приспособление, обозначая этим то, что целая группа реакций интегрируется таким образом (инстинкт или навык), что индивид делает что-то, что мы называем словами: “питается”, “строит дом”, “плавает”, “пишет письмо”, “разговаривает”². Эти новые “интегрированные реакции”, вероятно, имеют качества, отличные от качеств физиологических элементов, из которых они составлены. Действительно, Уотсон сам, по-видимому, предполагает такую возможность, когда замечает: “Для изучающего поведение вполне возможно полностью игнорировать симпатическую нервную систему и железы, а также гладкую мускулатуру и даже центральную нервную систему, чтобы написать исчерпывающее и точное исследование эмоций — их типы, их отношение к навыкам, их роль и т. п.”³.

Это последнее утверждение, кажется, однако, противоречит первому. Ибо если, как он утверждал в предыдущей цитате, изучение поведения не касается ничего другого, кроме как “стимула, определяемого физически”, и “сокращения мускула и секреции желез, описываемых физиологически”, тогда, конечно, для изучения поведения будет *невозможно* не учитывать “симпатическую нервную систему и железы, а также гладкую мускулатуру и даже центральную нервную систему, чтобы написать исчерпывающее и точное исследование эмоций”.

Кроме того, в его совсем недавнем заявлении⁴ мы находим такие утверждения, как следующее: “Некоторые психологи, по-видимому, представляют, что бихевиорист интересуется только рассмотрением незначительных мускульных реакций. Ничего не может быть более далекого от истины. Давайте вновь сделаем акцент на то, что бихевиорист прежде всего интересуется поведением целого человека. С утра до ночи он наблюдает за исполнением круга его ежедневных обязанностей. Если это кладка кирпичей, ему хотелось бы подсчитать количество кирпичей, которое он может уложить при различных условиях, как долго он может продолжать работу, не прекращая ее из-за усталости, как много времени потребуется ему, чтобы обучиться своей профессии, сможем ли мы усовершенствовать его эффективность или дать ему задание выполнить тот же объем работы в меньший отрезок времени. Иными словами, в ответной реакции бихевиорист интересуется ответом на вопрос: “Что он делает и почему он делает это?”. Конечно, с учетом этого утверждения никто не может исказить платформу бихевиоризма до такой степени, чтобы говорить, что бихевиорист является только физиологом мускулов”⁵.

В этих утверждениях ударение делается на целостный ответ в противоположность физиологическим элементам таких целостных реакций. Наш вывод сводится к тому, что Уотсон в действительности имеет дело с двумя различными понятиями поведения, хотя сам он, по-видимому, ясно их не различает. С одной стороны, он определяет поведение в терминах составляющих его физических и физиологических элементов, т. е. в терминах процессов, происходящих в рецепторе, в проводящих путях и в эффекторе. Обозначим это как *молекулярное* определение поведения. С другой стороны, он приходит к признанию, хотя, может быть, и неясному, что поведение как таковое является чем-то большим, чем все это, и отличается от суммы своих физиологических компонентов. Поведение как таковое является “эмерджентным фе-

¹ *Watson J. B. Psychology from the standpoint of a behaviorist. Philadelphia, 1919. P. 10.*

² *Op. cit. P. 11.*

³ *Op. cit. P. 195.*

⁴ *Watson J. B. Behaviorism. N. Y., 1930.*

⁵ *Op. cit. P. 15.*

номеном, который имеет собственные описательные свойства”¹. Обозначим это последнее понимание как молярное описание поведения².

МОЛЯРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В настоящем исследовании защищается второе, молярное определение поведения. Мы будем утверждать следующее. Несомненно, что каждый акт поведения можно описать в терминах молекулярных процессов физического и физиологического характера, лежащих в его основе. Но поведение — молярный феномен, и актам поведения как “молярным” единицам свойственны некоторые собственные черты. Именно эти молярные свойства поведенческих актов интересуют нас, психологов, в первую очередь. Молярные свойства при настоящем состоянии наших знаний, т. е. до разработки многих эмпирических корреляций между поведением и их физиологическими основами, не могут быть объяснены путем умозаключения из простого знания о лежащих в их основе молекулярных фактах физики и физиологии. Как свойства воды в мензурке не устанавливаются каким-либо путем до опыта из свойств отдельных молекул воды, так и никакие свойства актов поведения не выводимы прямо из свойств, лежащих в их основе и составляющих их физических и физиологических процессов. Поведение как таковое, по крайней мере в настоящее время, не может быть выведено из сокращений мускулов, из составляющих его движений, взятых самих по себе. Поведение должно быть изучено в его собственных свойствах.

Акт, рассматриваемый как акт “поведения”, имеет собственные отличительные

свойства. Они должны быть определены и описаны независимо от каких-либо лежащих в их основе процессов в мышцах, железах или нервах. Эти новые свойства, отличительные черты молярного поведения, по-видимому, зависят от физиологических процессов. Но описательно и *per se* (сами по себе) они есть нечто другое, чем эти процессы.

Крыса бежит по лабиринту; кошка выходит из дрессировочного ящика; человек направляется домой обедать; ребенок прячется от незнакомых людей; женщина умывается или разговаривает по телефону; ученик делает отметку на бланке с психологическим тестом; психолог читает наизусть список бессмысленных слогов; я разговариваю с другом или думаю, или чувствую — *все это виды поведения* (как *молярного*). И необходимо отметить, что при описании упомянутых видов поведения мы не отсылаем к большей частью хорошо известным процессам в мускулах и железах, сенсорных и двигательных нервах, так как эти реакции имеют достаточно определенные собственные свойства.

ДРУГИЕ СТОРОННИКИ МОЛЯРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нужно отметить, что данное молярное представление о поведении, т. е. представление о том, что поведение имеет собственные свойства, которые его определяют и характеризуют и которые являются чем-то другим, чем свойства лежащих в его основе физических и физиологических процессов, защищается и другими теоретиками, в частности Хольтом, де Лагуной, Вейссом и Кантором.

Хольт: “Часто слишком материалистически думающий биолог так робеет при

¹Для более ясного понимания термина “эмерджентный”, который теперь становится таким популярным среди философов (См. *Dougall W. Mc. Modern materialism and emergent evolution. N. Y., 1929*), нужно подчеркнуть, что в данном случае при обозначении поведения как имеющего “эмерджентные” свойства мы используем этот термин только в описательном смысле, не затрагивая философского статуса понятия эмерджентности. Явления “эмерджентного” поведения коррелируют с физиологическими феноменами мускулов, желез и органов чувств. Но описательно они отличаются от последних. Мы не будем говорить здесь о том, сводятся ли в конечном счете “эмерджентные” свойства к процессам физиологического порядка.

²Начало различению молярного и молекулярного бихевиоризма положил Броуд (См. *Broad C.D. The Mind and its place in nature. N. Y., 1920. P. 616*): нам его предложил доктор Вильямс (См. *Williams O. C. Metaphysical interpretation of behaviorism. Harvard Ph. D. thesis, 1928*).

Броуд намеревался первоначально отличать бихевиоризм, который обращает внимание только на наблюдаемую телесную активность, от бихевиоризма, который учитывает гипотетические процессы в молекулах мозга и нервной системы.

встрече с некоторым пугалом, именуемым “душой”, что спешит разложить каждый случай поведения на его составные части — рефлексy, не пытаясь сначала наблюдать его как целое”¹.

“Феномены, характерные для интегрального организма, больше не являются только возбуждением нерва или сокращением мускула, или только игрой рефлексов, выстреливающих на стимул. Они существуют и существенны для рассматриваемых явлений, но являются только их компонентами, так как интегрируются. И эта интеграция рефлекторных дуг со всем, что они включают в себя в состоянии систематической взаимозависимости, дает в результате нечто, что уже не является только рефлекторным актом. Биологические науки давно признали эту новую и другую вещь и назвали ее поведением”².

Де Лагуна: “Целостный ответ, вызываемый дистантным раздражителем и подкрепляемый контактным стимулом (например, вытягивание шеи, клевание и глотание), образует функциональное единство. Акт есть *целое* и стимулируется или наследуется как целое... Там, где поведение является более сложным, мы найдем подобное отношение”³.

“Функционирование группы (сенсорных клеток) как целого есть *функционирование*, а не только химическая реакция, так как в любом случае оно не является результатом реагирования отдельных клеток, которые ее составляют”⁴.

Вейсс: “Исследование внутренних нервных условий образует, конечно, часть биохевиористской программы, но невозможность проследить траекторию нервного

возбуждения на протяжении всей нервной системы выступает ограничением для изучения действующего стимула и реакции в области воспитания, индустриальной или социальной областях жизни не больше, чем для физиков невозможность точно определить, что происходит в электролитах гальванического элемента в то время, когда идет электрический ток, является ограничением в исследовании электричества”⁵.

Кантор: “Все более и более психологи пытаются выразить факты в терминах сложного организма, а не его специфических частей (мозга и т. п.) или изолированных функций (нервных)”⁶.

“Психологический организм, в отличие от биологического организма, может рассматриваться как сумма реакций плюс их различные интеграции”⁷.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ КАК МОЛЯРНОГО ФЕНОМЕНА

Соглашаясь, что поведение имеет собственные описательные особенности, мы должны четко уяснить, каковы они.

Первым пунктом в ответе на этот вопрос должен быть установленный факт, что поведение в собственном смысле всегда, по видимому, характеризуется направленностью на цель или исходит из целевого объекта или целевой ситуации⁸. Полное определение любого отдельного акта поведения требует отношения к некоторому специфическому объекту — цели или объектам, на которые этот акт направлен, или, может быть, исходит от него, или и то и другое. Так, например, поведение крысы,

¹ Holt E. B. The freudian wish. N. Y., 1915. P. 78.

² Op. cit. P. 155. Настоящая глава, а также большинство последующих были написаны до появления наиболее известной книги Хольта (См. Holt E. B. Animal drive and learning process. N. Y., 1931).

³ Laguna Cr. A. de. Speech, its function and development. New Haven, 1927. P. 169.

⁴ Laguna Cr. A. de. Sensation and perception. // J. Philos. Psychol. Sci. Meth. 1916. 13. P. 617—630.

⁵ Weiss A. P. The relation between physiological psychology and behavior psychology. — “J. Philos. Psychol. Sci. Meth.”, 1919, 16, 626—634; Он же. A Theoretical basis of human behavior. Columbus, 1925.

⁶ Kantor J. R. The evolution of psychological textbooks since 1912. // Psychol. Bull. 1922. V. 19. P. 429—442.

⁷ Kantor J. R. Principles of psychology. N. Y., 1924.

⁸ Мы будем использовать термины “цель” и “результат”, чтобы описать ситуации, исходящие из цели, и ситуации, направленные на достижение цели, т. е. для обозначения того, что можно назвать “от чего” и “к чему”.

заключающееся в “пробежках по лабиринту”, имеет в качестве своей первой и, может быть, главной характеристики то, что оно направлено на пищу. Подобно этому, у Торндайка поведение кошек по открыванию дрессировочного ящика будет иметь в качестве своей первой определяющей особенности то, что оно направлено на освобождение из клетки, т. е. на получение свободы. Или, с другой стороны, поведение испытуемого, который повторяет в лаборатории бессмысленные слоги, имеет в качестве первой описательной характерной черты то, что оно направлено на выполнение инструкции, исходящей от экспериментатора. Или, наконец, замечания мои и моего друга во время беседы с ним имеют в качестве определяющей черты настройку на взаимную находчивость, готовность подхватить и продолжить разговор.

В качестве второй характерной черты поведенческого акта отметим, что поведение, направленное на цель или исходящее из нее, характеризуется не только направленностью на целевой объект, но также и специфической картиной обращения (*commerce, intercourse, engagement, communion with*) с вмешивающимися объектами, используемыми в качестве средств для достижения цели¹. Например, пробежка крысы направлена на получение пищи, что выражается в специфической картине пробежки по каким-то одним коридорам, а не по другим. Подобно этому, поведение кошек у Торндайка не только характеризуется направленностью на освобождение из ящика, но и дает специфическую картину кусания, жевания и царапания ящика. Или, с другой стороны, поведение человека состоит не только в факте возвращения со службы домой. Оно характеризуется также специфической картиной обращения с объектами, выступающими в качестве средств для достижения цели, — машиной, дорогой и т. д. Или, наконец, поведение психолога — это не только поведение, направляемое инструкцией, исходящей от другого психолога; оно характеризуется также тем, что само раскрывается как специфическая картина соотношений этой цели с объек-

тами, используемыми в качестве средств, а именно: чтение вслух и повторение бессмысленных слогов; регистрация результатов повторения и т. д.

В качестве третьей описательной характеристики поведенческого акта мы находим следующую его особенность. Такой акт, направленный на специфический целевой объект или исходящий из него, вместе с использованием объектов в качестве средств характеризуется также *селективностью, избирательностью*, выражающейся в *большей готовности* выбирать средства, ведущие к цели более *короткими* путями. Так, например, если крысе даются два альтернативных объекта-средства, ведущих к данной цели, один более коротким, а другой более длинным путем, она будет в этих условиях выбирать тот, который ведет к цели более коротким путем. То, что справедливо для крыс, несомненно, будет справедливо — и выступает более ясно — и для более развитых животных, а также для человека. Все это эквивалентно тому, чтобы сказать, что избирательность в отношении объектов, выступающих в качестве средств, находится в связи с “направлением” и “расстоянием” средства от целевого объекта, т. е. определяется целью. Когда животное встречается с альтернативами, оно всегда быстрее или медленнее приходит к выбору той из них, которая в конце концов приводит к целевому объекту или к его избеганию в соответствии с данной потребностью, причем более коротким путем.

Подведем итоги. Полное описательное определение любого поведенческого акта *per se* требует включить в него следующие особенности. В нем различаются:

а) целевой объект или объекты, которые его направляют или из которых оно исходит;

б) специфическая картина отношения к объектам, которые используются в качестве средств для достижения цели;

в) относительная селективность к объектам, выступающим в качестве средств, проявляющаяся в выборе тех из них, которые ведут к достижению цели более коротким путем.

¹ Термины “*commerce, intercourse, engagement, communion with*” используются для описания специфического вида взаимодействия между поведенческим актом и окружающими условиями. Но для удобства мы будем использовать большей частью единственный термин “*commerce with*” — “обращение с”.

В. Келер

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ГЕШТАЛТПСИХОЛОГИИ¹

В одной из своих статей Вертгеймер описал следующие наблюдения.

Вы смотрите на ряд точек (рис. 1), расстояния между которыми поочередно то больше, то меньше. Тот факт, что эти точки самопроизвольно группируются по две, причем так, что меньшее из расстояний всегда находится внутри группы, а большее — между группами, возможно, не особенно впечатляет.



Рис. 1

Тогда вместо точек (рис. 2) возьмем ряд вертикальных параллельных прямых и несколько увеличим различие между двумя расстояниями.

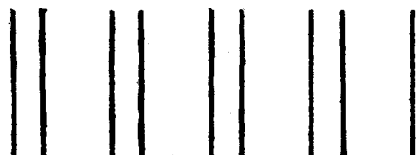


Рис. 2

Эффект группировки здесь сильней. Насколько силен этот эффект, можно почувствовать, если попытаться сформировать другие группы так, чтобы две линии с большим расстоянием между ними образовали одну группу, а меньшее расстояние

было бы между двумя группами. Вы почувствуете, что это требует специального усилия. Увидеть одну такую группу, может быть, достаточно легко, но сгруппировать весь ряд так, чтобы видеть все эти группы одновременно, мне, например, не по силам. Большинство людей никогда не смогут добиться, чтобы эти новые группы стали для них такими же ясными, устойчивыми и оптически реальными, как предыдущая группировка; и в первый же момент расслабления или при наступлении усталости они видят спонтанно возникающую первую группировку, как будто некоторые силы удерживают вместе пары близко расположенных линий.

Является ли расстояние решающим фактором само по себе?

Две точки или две параллельные линии можно рассматривать как границы, заключающие между собой часть пространства. В двух наших примерах это удается лучше тогда, когда они находятся ближе друг к другу и можно сформулировать следующее утверждение: члены ряда, которые “лучше” ограничивают часть пространства, лежащую между ними, при восприятии группируются вместе. Этот принцип объясняет тот факт, что параллельные линии образуют более устойчивые группы, чем точки. Очевидно, они лучше, чем точки, ограничивают пространство между собой. Мы можем изменить наш последний рисунок, добавив короткие горизонтальные линии, так что большее пространство (между более удаленными линиями) покажется лучше ограниченным (рис. 3).



Рис. 3

Теперь легко видятся группы из более удаленных друг от друга линий с их горизонтальными добавлениями (даже тогда, когда открытое расстояние между этими добавлениями больше, чем меньшее расстояние между соседними линиями).

Но будем осторожны в выводах. Может быть, здесь действуют 2 различных принципа: принцип расстояния и принцип ограничения?

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 163—171.

На следующем рисунке все члены ряда точек удалены друг от друга на равные расстояния, но имеется определенная последовательность в изменении их свойств (в данном случае цвета — рис. 4). Не имеет значения, какого рода это различие свойств. Даже в следующем случае (рис. 5) мы наблюдаем то же явление, а именно: члены ряда “одного качества” (каково бы оно ни было) образуют группы, и когда качество меняется, мы видим новую группу. Можно убедиться в реальности этого явления, пытаясь увидеть этот ряд в другой группировке. В большинстве случаев люди не могут увидеть этот ряд как прочно организованную серию в любой другой математически возможной группировке.



Рис. 4

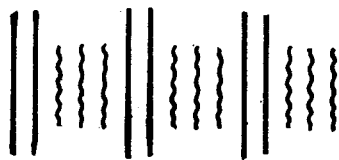


Рис. 5

Этим наши наблюдения не кончаются. Если снова взглянуть на ряд параллельных прямых, мы видим, что образование групп касается не только параллельных линий. Все пространство внутри группы, наполовину ограниченное ближайшими линиями, несмотря на то, что оно такое же белое, как и вся остальная бумага, отличается от нее, воспринимается по-другому. Внутри группы есть впечатление “чего-то”, мы можем сказать “здесь что-то есть”, тогда как между группами и вокруг рисунка впечатление “пустоты”, там “ничего нет”. Это различие, тщательно описанное Рубином, который назвал его различием “фигуры” и “фона”, еще более удивительно тем, что вся группа с заключенным в ней белым пространством, кажется “выступающей вперед” по сравнению с окружающим фоном. В то же время можно заметить, что прямые, благодаря которым заключенная между ними область кажется твердой и

выступающей из фона, принадлежат этой области, они являются краями этой области, но не кажутся краями неопределенного фона между группами¹.

Можно еще много говорить даже о таком простом аспекте зрительного восприятия. Я, однако, обращусь к наблюдениям другого плана.

На предыдущих рисунках группы прямых включали по 2 параллельных прямых каждая. Добавим третью прямую в середину каждой группы (рис. 6). Как можно было предположить заранее, три прямые, близко расположенные друг к другу, объединяются в одну группу и эффект группировки становится еще сильнее, чем ранее. Мы можем добавить еще две линии в каждую группу между тремя уже начерченными прямыми (рис. 7).



Рис. 6

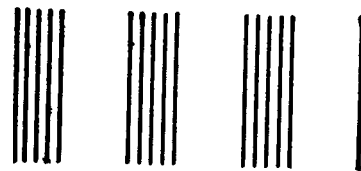


Рис. 7

Стабильность группировки увеличилась еще больше, и белое пространство внутри групп почти незаметно. Если продолжать эту процедуру и дальше, наши группы превратятся в черные прямоугольники. Их будет три, и каждый, глядя на этот рисунок, увидит три темные фигуры. Такая постепенная процедура, в результате которой мы видим эти темные прямоугольники как “вещи”, выступающие из фона, есть крайний случай группировки, которую мы наблюдали раньше. Это не геометрический трюизм. Это нечто не относящееся к геометрии. Тот факт, что однородно окрашенные поверхности или пятна кажутся целыми, определенными

¹ Подобные законы обнаружены для формирования групп во временных рядах (См. Wertheimer, 1923; Koffka, 1922).

единицами, связан с особенностями нашего зрения. Когда даны рядом предметы с одинаковыми свойствами, как правило, образуются группы. С увеличением плотности группы этот эффект увеличивается и достигает максимума и группы превращаются в сплошные окрашенные поверхности. (Поверхности эти могут иметь тысячи различных форм — от обычных прямоугольников, к которым мы привыкли, до совершенно необычных форм вроде чернильных пятен или облаков с их причудливыми очертаниями).

Мы начали обсуждение с наблюдения группы, так как с помощью этого примера легче увидеть проблему. Конечно, единство черных прямоугольников ярче и устойчивее, чем единство наших первых точек и прямых; но мы так привыкли к факту, что однородно окрашенные поверхности, окруженные поверхностью другого цвета, кажутся отдельными целыми, что не видим здесь проблемы. Многие наблюдения гештальтпсихологов таковы: они касаются фактов и явлений, настолько часто встречающихся в повседневной жизни, что мы не видим в них ничего удивительного.

Нам снова придется возвратиться немало назад. Мы брали ряды точек или прямых линий и наблюдали, как они группируются. Теперь известно, что в самих членах этих рядов заключена проблема, а именно явление, что они воспринимаются как целые единицы. Мы здесь имеем дело с образованиями разного порядка или ранга, например, прямыми линиями (I порядок) и их группами (II порядок). Если единица существует, она может быть частью большей единицы или группы более высокого порядка.

Будучи целой единицей, непрерывная фигура имеет характер “фигуры”, выступает как нечто твердое, выделяющееся из фона. Представьте себе, что мы заменили прямоугольник, раскрашенный черным, прямоугольным кусочком бумаги черного цвета того же размера и прижали к листу. Ничего как будто не изменилось. Этот кусок имеет тот же характер твердого целого. Представьте себе далее, что этот кусок бумаги начинает расти в направле-

нии, перпендикулярном своей поверхности. Он становится толще и наконец превращается в предмет в пространстве. Опять никаких важных изменений. Но приложение наших наблюдений стало намного шире. Не только “вещь” выглядит как целое и нечто твердое, то же касается и групп, о которых говорилось вначале. У нас нет причин считать, что принципы группировки, о которых было сказано (и другие, о которых я не имел возможности упомянуть), теряют силу, когда мы переходим от пятен и прямоугольников к трехмерным вещам¹.

Наши наблюдения связаны с анализом поля. Мы имели дело с естественными и очевидными структурами поля. Произвольное и абстрактное мышление образуется в моем зрительном поле группы пятен или прямоугольников. Я вижу их не менее реально, чем их цвет, черный, белый или красный. Пока мое зрительное поле остается неизменным, я почти не сомневаюсь, что принадлежит к какой-нибудь единице, а что — нет. Мы обнаружили, что в зрительном поле есть единицы различных порядков, например, группы, содержащие несколько точек, причем большая единица содержит меньшие, которые труднее разделить, подобно тому как в физике молекула как более крупная единица содержит атомы, меньшие единицы, составные части которых объединены крепче, чем составные части молекулы. Здесь нет никаких противоречий и сомнений относительно объективных единиц. И так же как в физическом материале с бесспорными единицами и границами между этими единицами, в зрительном поле произвольный мысленный анализ не в силах спорить с наблюдением. Восприятие разрушается, когда мы пытаемся установить искусственные границы, когда реальные единицы и границы между ними ясны. В этом главная причина того, что я считаю понятие “ощущение” опасным. Оно скрывает тот факт, что в поле существуют видимые единицы различного порядка. Ведь когда мы наивно представляем себе поле в терминах нереальных элементов различного цвета и яркости, как будто они безразлично

¹ “Вещи” снова могут быть членами групп высших порядков. Вместо пятен мы можем взять ряд людей и наблюдать группировку. В архитектуре можно найти много подобных примеров (группы колонн, окон и т. д.).

заполняют пространство и т. д., от этого описания ускользают видимые, реально существующие целые единицы с их видимыми границами.

Наибольшая опасность понятия “ощущение” состоит в том, что считается, будто эти элементы зависят от местных процессов в нервной системе, причем каждый из них в принципе определяется одним стимулом. Наши наблюдения полностью противоречат этой “мозаичной” теории поля. Как могут местные процессы, которые не зависят друг от друга и никак не взаимодействуют друг с другом, образовывать такое организованное целое? Как можно понять относительность границ между группами, если считать, что это только границы между маленькими кусочками мозаики, — ведь мы видим границу, только когда кончается целая группа. Гипотеза маленьких независимых частей не может дать нам объяснение. Все понятия, нужные для описания поля, не имеют отношения к концепции независимых элементов. Более конкретно: нельзя выяснить, как формируются группы или единицы, рассматривая поочередно сначала одну точку, затем другую, т. е. рассматривая их независимо друг от друга. Приблизиться к пониманию этих фактов можно, только принимая во внимание, как местные условия на всем поле *вливают друг на друга*. Сам по себе белый цвет не делает белую линию, начерченную на черном фоне, реальной оптической единицей в поле; если нет фона *другого* цвета или яркости, мы не увидим линию. Именно отличие стимуляции фона от стимуляции внутри линии делает ее самостоятельной фигурой. То же самое касается единиц более высокого порядка: не независимые и абсолютные свойства одной линии, затем другой и т. д. объединяют их в одну группу, а то, что они *одинаковы, отличны от фона и находятся так близко друг к другу*. Все это показывает нам решающую роль отношений, связей, а не частных свойств. И нельзя не учитывать роль фона. Ведь если есть определенная группа, скажем, две параллельные прямые на расстоянии полсантиметра друг от друга, то достаточно нарисовать еще две прямые снаружи группы так, чтобы они были ближе к первым прямым, чем те друг к другу, чтобы первая группа разрушилась и образовались две новые группы из пря-

мых, которые сейчас находятся ближе друг к другу (рис. 8).

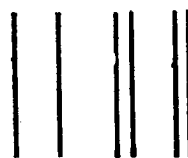


Рис. 8

Наша первая группа существует, только пока вокруг нее есть однородный белый фон. После изменений окружающего фона то, что было внутренней частью группы, стало границей между двумя группами. Отсюда можно сделать еще один вывод: характер “фигуры” и “фона” настолько зависит от образования единиц в поле, что эти единицы не могут быть выведены из суммы отдельных элементов; не могут быть выведены из них и “фигура” и “фон”. Еще одно подтверждающее этот вывод наблюдение: если мы изобразим две параллельные прямые, которые образуют группу, затем еще такую же пару, но значительно более удаленную от первой пары прямых, чем они друг от друга, и т. д., увеличивая ряд, то все группы в этом ряду станут более устойчивыми, чем каждая из них, взятая сама по себе. Даже таким образом проявляется влияние частей поля друг на друга.

Тот факт, что не изолированные свойства данных стимулов, а отношение этих свойств между собой (все множество стимулов) определяет образование единиц, заставляет предположить, что динамические взаимодействия в поле определяют, что становится единицей, что исключается из нее, что выступает как “фигура”, что — как “фон”. Сейчас немногие психологи отрицают, что, выделяя в зрительном поле эти реальные единицы, мы должны описать адекватную последовательность процессов той части мозга, которая соответствует нашему полю зрения. Единицы, их более мелкие составные части, границы, различия “фигуры” и “фона” описываются как психологические реальности <...>. Отметим, что относительное расстояние и соотношение качественных свойств являются основным фактором, определяющим образование единиц, мы вспоминаем, что, должно быть, такие же факторы определяли бы

это, если бы эти эффекты были результатом динамических взаимодействий в физиологическом поле. Большинство физических и химических процессов, о которых мы знаем, зависит от взаимоотношения свойств и расстояния между материалом в пространстве. Различие стимуляции вызывает точки, линии, области различных химических реакций в определенном пространственном соотношении на сетчатке. Если есть поперечные связи между продольными проводящими системами зрительного нерва где-нибудь в зрительной области нервной системы, то динамические взаимодействия должны зависеть от качественных, пространственных и других соотношений качественных процессов, которые в данное время существуют в общем зрительном процессе, протекающем в мозгу. Неудивительно, что явления группировки и т. д. зависят от их взаимоотношения.

С существованием реальных единиц и границ в зрительном поле ясно связан факт, что в этом поле есть “формы”. Практически невозможно исключить их из нашего обсуждения, потому что эти единицы в зрительном поле всегда имеют формы¹. Вот почему в немецкой терминологии их называют “Gestalten”. Реальность форм в зрительном пространстве нельзя объяснить, считая, что зрительное поле состоит из независимых отдельных элементов. Если бы зрительное поле состояло из плотной, возможно, непрерывной мозаики этих элементов, служащих материалом, не было бы никаких зрительных форм. Математически, конечно, они могли быть сгруппированы вместе определенным образом, но это не соответствовало бы той реальности, с которой эти конкретные формы *существуют* с не меньшей достоверностью, чем цвет или яркость. Прежде всего математически мыслимо *любое* сочетание этих элементов, тогда как в восприятии нам даны вполне *определенные* формы при определенных условиях <...>. Если проанализировать те условия, от которых зависят реальные формы, мы обнаружим, что это качественные и пространственные соотношения стимуляции. Естественно, так как эти *единицы*,

теперь хорошо известные, появляются в определенных формах, мы должны были предположить, что они являются функцией этих соотношений. Я помню из собственного опыта, насколько трудно четко различать совокупности стимулов, т. е. геометрическую конфигурацию их, и зрительные формы как реальность. На этой странице, конечно, есть черные точки как части букв, которые, если их рассматривать вместе, образуют такую зрительную форму (рис. 9).



Рис. 9

Видим ли мы эту форму как зрительную реальность?

Конечно, нет, так как много черных точек изображено между ними и вокруг них. Но если бы эти точки были *красными*, все люди, не страдающие цветовой слепотой или слепотой на формы из-за поражения мозга, увидели бы эту группу как форму.

Это справедливо не только для плоских форм, изображенных на листе бумаги, но и для трехмерных вещей вокруг нас. Мне хотелось бы предупредить от заблуждения, что эти проблемы единиц и их форм имеют значение только для эстетики или других подобных вещей высокого уровня, но не связаны с повседневной жизнью. На самом деле на любом объекте, на любом человеке можно продемонстрировать эти принципы зрительного восприятия.

Мы пришли к физиологическому выводу: если в системе имеется динамическое взаимодействие местных процессов, они будут влиять друг на друга и изменять друг друга до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие путем определенного распределения этих процессов. Мы рассматривали зрительное поле в состоянии покоя, т. е. наблюдали психологическую картину в условиях равновесия в соответствующих процессах головного мозга. В физике достаточно примеров того, как процесс, начавшийся в системе при определенных усло-

¹ Я не думаю, что слово “configuration” адекватно передает смысл немецкого “Gestalt”. Слово “configuration” означает, что элементы собраны вместе в определенном порядке, а мы должны избежать этой функционалистской идеи.

виях, смещает равновесие системы в короткое время. Время, за которое достигается равновесие зрительных процессов, видимо, тоже невелико. Если мы предъявляем стимулы внезапно, например, при помощи проекции, мы видим поле, его границы и их формы постоянными, неподвижными.

В состоянии равновесия поле ни в коем случае не является “мертвым”. Взаимные напряжения в фазе образования поля (которые, разумеется, взаимозависимы) не исчезают, когда устанавливается равновесие. Просто они (и соответствующие процессы) имеют такую интенсивность и напряжение, что взаимно уравновешивают друг друга. Местные процессы в состоянии равновесия — это определенное количество энергии, распределенное в поле. Физиологическая теория должна разрешить две различные проблемы, которые относятся к описанным свойствам зрительного поля. Эти свойства, включающие зависимость местного процесса от соотношения стимуляции широко вокруг, включающие далее образование единиц, их форм и т. д., кажутся почти удивительными и часто считаются результатом действия сверхъестественных душевных сил. Первая задача, следовательно, состоит в том, чтобы показать, что подобные свойства вовсе не сверхъестественны в физическом мире. Таким образом, встает более общая задача — продемонстрировать соответствующий тип процессов в точной науке, особенно если можно показать, что в зрительном отделе нервной системы при определенных условиях, вероятно, происходят процессы общего типа. После этого встает другая задача — найти процессы того специфического типа, которые лежат в основе образования зрительного поля. Эта вторая задача, учитывая недостаточность наших физиологических знаний, гораздо труднее. Мы делаем только первые шаги к решению этой проблемы, но одно замечание можно сделать уже сейчас. Вследствие неодинаковой стимуляции в различных участках сетчат-

ки, в различных участках зрительной коры происходят различные химические реакции и, таким образом, появляется различный химический материал в кристаллической и коллоидной формах. Если эти неодинаковые участки находятся в функциональной связи, то, конечно, между ними не может быть равновесия. Когда участки с неодинаковыми свойствами имеют общую границу, в системе есть “свободная энергия”. В этом контуре должен быть основной источник энергии для динамического взаимодействия. То же самое будет в физике или физической химии при соответствующих условиях <...>.

Наше предположение дает физиологический коррелят для формы как зрительной реальности. С позиции независимых элементарных процессов такой коррелят найти нельзя. Эта мозаика не содержит никаких реальных форм или, если хотите, содержит все возможные формы, но ни одной реальной. Очевидно, коррелятом реальной формы может быть только такой процесс, который нельзя разделить на независимые элементы. К тому же равновесие процесса, которое, как мы допускаем, лежит в основе зрительного поля, есть распределение напряжения и процессов в пространстве¹, которые сохраняются как одно целое. Поэтому мы сделали нашей рабочей гипотезой предположение, что во всех случаях это распределение является физиологическим коррелятом пространственных свойств зрения, особенно формы. Так как наша концепция физиологических единиц относительна, то, считая, что любое резкое уменьшение связей динамического взаимодействия в границах определенного участка приводит к тому, что внутренняя область этого участка становится реальной единицей, мы можем без противоречия рассматривать весь зрительный процесс как одно целое в данный момент и утверждать формирование специфических (более близко связанных) единиц с их формами в зависимости от пространственного соотношения стимулов.

¹ Понятие пространства требует специального рассмотрения, поскольку в мозгу оно не может быть измерено в см, см², см³ <...>.

Г. Фолькельт

[ЦЕЛОСТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ]¹

За последние годы мы продолжали в различных направлениях и по отдельным частям проблемы те опыты изучения детского графического выражения простых одноцветных и многоцветных плоских фигур и тел, изложение которых с иллюстрациями нами было дано в 1925 г. на Мюнхенском психологическом конгрессе. Все с новых сторон и все настойчивее обнаруживалось, что маленький ребенок воспроизводит плоские фигуры *целостнее*, чем взрослый, причем на ранних ступенях это воспроизведение сплошь, а на последующих — во многих отношениях *целостнее* того воспроизведения, которое имеет место у взрослого человека. Исключением могут служить разве только те

случаи, когда взрослый в своем изображении стремится к сочетанию известных свойств и способов воздействия вещей в ярко выраженном *экспрессионистическом* направлении. Графическое выражение маленького ребенка действительно в некоторых основных чертах родственно экспрессионизму: как маленький ребенок, так и экспрессионист стремятся не столько к изображению исключительно внешне-оптических *проявлений* вещей, сколько к воспроизведению их *целостной сущности*, а следовательно также и к воспроизведению оборотной стороны или оптически совершенно не воспринимаемых свойств вещи. Сверх того они стремятся дать выражение полному взаимоотношению (“Auseinandersetzung” — выражение Д. Шмарзова) между самой сущностью вещи и ее наблюдателем.

Единственно характерным и показательным для новейшей психологии является то, что она, при описании всех переживаний, значительно сильнее, чем это делалось раньше, выделяет их целостные черты. Она заранее не стремится к описанию первоначально изолированных совокупностей и их отдельных целостных черт и не переходит, под их влиянием, к ярко выраженному, отнюдь не целостному расчленению на так называемые “элементарные содержания” (Elementarinhalt), как это раньше зачастую имело место².

В противовес этому наше теперешнее психологическое исследование много сильнее и в высшей степени сознательно (зачастую опять-таки слишком односторонне!)

¹ Фолькельт Г. Экспериментальная психология дошкольника. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. С. 113—119.

² Необходимость анализировать как раньше, так и теперь сохраняет свое значение и до тех пор сохранит его, пока будет существовать психология. Однако существуют два направления в анализе: одно стремится в сторону возможно более целостных черт, другое — в сторону возможно менее целостных, т. е. таких моментов, которые по возможности не могут быть подвергнуты дальнейшему анализу. Прежде первое из этих двух направлений сильно пренебрегалось за счет второго, т. е. необходимость анализировать понималась весьма односторонне и сужалась до *элементарного анализа* (Elementaranalyse), иначе говоря, до изолирования так называемых элементов. При этом обычно совершенно упускался из виду целостный анализ, т. е. тот анализ, который стремится к описательному выделению целостных свойств. Это изменение в выборе предпочитаемого направления, по которому должно идти расчленение, иногда неправильно понимается как отказ так называемой целостной психологии от анализа вообще. На самом же деле эта психология, во-первых, при описании целостных качеств всегда до известной степени аналитична, так как все описания, даже наиболее направленные на целостное, всегда учитывают, выделяют и обозначают направление некоторых определенных черт этих совокупностей, подвергающихся описанию; во-вторых, она безусловно признает виды анализа, направленные на нецелостные моменты, *поскольку они верны*, и безусловно не сможет длительно игнорировать такого рода расчленение. Правда, психология, направленная

направлено в сторону целостного изучения. Это новое направление в исследовании¹ сыграло важную и эффективную роль для психологии как взрослого, так и ребенка. Однако настойчивее и убедительнее, чем в отношении сознания *взрослого*, психические целые в их своеобразии и доминирующем значении находят свое доказательство в известных проявлениях психической жизни *ребенка*. По крайней мере, для человека, в данном деле *стоящего несколько в стороне*, эта большая убедительность на *детском* материале несомненна.

К самым веским доказательствам данного факта я отношу выражение в рисунке маленьких детей известных обобщающих примитивных целостностей, а следовательно и целостных качеств, на своеобразное строение которых уже указывали многочисленные другие примеры, с которыми мы имели дело в рамках данного сообщения. Что же касается выражения простых изображений двух или трех измерений на рисунках маленьких детей, то в этом отношении я должен отослать к психологическим описаниям и иллюстрациям, опубликованным раньше².

Из них, например, видно, что весьма часто цилиндр изображается не как сумма или соединение кожуха и поверхностей срезов, а как сверху, снизу и кругом своеобразно округленное целое, в виде одного единого в высшей степени целостного *овала*. Или, например, когда ребенок изображает куб в виде квадрата, а это зачастую имеет место, квадрат этот часто означает не одну отдельно взятую поверхность всего куба, как обычно прежде предполагалось, а сжатое выражение многосторонней или даже всесторонней квадратности куба.

Дальнейшей основной чертой ранних детских рисунков, сделанных по простым планиметрическим или стереометрическим образцам, является следующее: подлежащие передаче формы двух или трех измерений находят свое выражение *не в соответствии с объектом* (и притом этого соответствия здесь нет ни в духе понимания взрослых, ни в духе понимания детей), а главным образом в соответствии с тем *воздействием*, которое они оказывают на наблюдателя. Это значит, что предмет не изображается в его изолированном вещественном бытии. Ребенок вообще не передает нечто ему противостоящее, отделенное от него той пропастью, которая существует между нами, взрослыми, и *“предметами”*, и которая действительно делает эти предметы чем-то *“противопоставленным”* по отношению к нам. Напротив, ребенок часто выражает в рисунке преимущественно способ воздействия предмета на него самого, так как для него предмет многообразно сплетен с его наблюдателем и образует с ним тесный комплекс. Здесь мы видим многочисленные, весьма своеобразные целостности, в ярко выраженном виде встречающиеся лишь в детских переживаниях. Эти целостности охватывают в переживании ребенка, с одной стороны, его психическо-телесную примитивность, а с другой стороны, самую вещь. В них часто решающее господство над целым принадлежит *взаимодействующим связям* между обоими полюсами, между ребенком и вещью. Это господство заходит *так далеко, что нередко вещественность едва проглядывает из-под действительности отношения ребенка к вещи*³. Наибольшее же воздей-

преимущественно на целостности, учит еще и тому, что *самая суть анализа должна быть основательно* передумана (der Sinn aller Analyse gründlich umzudenken ist): ни то направление в анализе, которого придерживались раньше, ни то — за которое стоят теперь, никогда не растворяет данное психическое целое в его *частях* или даже в его *кусках*, напротив оба, и даже тот элементарный анализ, который отчетливо стремится к возможно более неразложимым конечным формам, не в состоянии добиться ничего другого, кроме *выделения* известных черт или моментов, присущих первоначальным психическим совокупностям. И в этом отношении *примат целого неувязим*.

¹ Сравни преимущественно труды Ф. Крюгера, особенно Über psychische Ganzheit в журнале “Neue Psychol. Stud.”, В. 1, 1926. К этому совсем краткое резюме: H. Volkelt. Über die Forschungsrichtung des Psychologischen Instituts der Universität Leipzig, Erfurt, K. Stenger, 1925.

² См. Volkelt H. Primitive Komplexqualitäten in Kinderzeichnungen. Bericht üb. d. VIII. Leipziger Kongress d. exper. Psychol., Jena, 1924, а также Успехи детской экспериментальной психологии (первая часть настоящего перевода).

³ Некоторые формулировки на этих страницах явились в результате совместной работы с Л. Гоффман.

ствие впечатления от оптического объекта состоит в первую очередь отнюдь не в оптически воспринятых качествах данных предметов, а преимущественно в таких особенностях, которые играют главную роль при *тактильно-моторном* взаимоотношении (Auseinandersetzung) ребенка с объектами. Таким образом наибольшее влияние должно быть отнесено за счет качеств предмета, могущих быть воспринятыми тактильно-моторным путем, и за счет тактильно-моторных воздействий самого предмета на ребенка, особенно же за счет реактивных и активных ответных проявлений самого ребенка. Все эти перекрестные воздействия значительно и во многих отношениях превосходят оптическое, они даже часто сильно отодвигают оптическое на задний план в пользу других, преимущественно тактильно-моторных сторон переживания, отличающихся, как правило, очень сильно акцентуированной *эмоциональной аффективной и волютивной окраской*.

Таким образом становится ясным, что детское графическое изображение этих переживаний, имеющих своим основным моментом, как правило, неоптически-предметное, отнюдь не заключается в непосредственной передаче или в копии изолированно-оптического. Графически выражая эти свои переживания, ребенок часто стремится уловить каким бы то ни было образом преимущественно неоптическое. Для нас, взрослых, в общем преобладающее значение имеют оптические свойства и задачи оптического изображения при графической передаче предмета <...>. Однако, основываясь на этом, мы отнюдь не должны отыскивать преимущественно оптического осознания предмета в графическом изображении его ребенком. Напротив того, способы *выражения*, имеющие место в детской графике, носят значительно более *опосредствованный* характер. Они являются посредником между нами и тем чрезвычайно многим и разнообразным, что не может быть передано *непосредственно* оптическим путем уже по одному тому, что оно само содержит очень многое, часто почти исключительно неоптическое. До сих пор эту опосредствованную функцию выражения в детском рисунке мы обозначали просто словом “*символическая*”. Скоро

мы однако убедимся и притом яснее, чем это было уже намечено в последних изложениях, что термин “символический” крайне недостаточен для выражения описанного своеобразия графического выражения в раннем детстве.

Наилучшими примерами примитивного выражения такого взаимоотношения ребенка и объекта может служить *изображение углов*, например, у ромба, треугольника или у куба, или передача острия конуса. Заостренность всех этих форм передается на ранних ступенях развития повсюду в виде своеобразного выражения динамики углов и заострений и того, главным образом, тактильно-моторного взаимного противопоставления, которое существует между ними и ребенком, а вовсе не в виде копирующего срисовывания соответствующих линий или поверхностей, образующих данный угол или заострение. Как графическое выражение острия мы здесь встречаем один или даже несколько лучей, острые наросты, вздутые, колючие выступы или, очень часто, одну основательную точку, помещенную в направлении действия острия <...>.

Во всех этих случаях находит свое выражение не только то фигурное или пространственное, что присуще углу или острию, но и взаимодействие между углом или острием, с одной стороны, и рукой ребенка, с другой. Часто даже подчеркивается почти исключительно это взаимодействие, причем перевес находится на стороне то одних, то других черт соответствующего переживания, объединенного в один тесный комплекс.

Или, например, фигура, состоящая из квадратной решетки, охотно передается в виде конгломерата маленьких квадратов или кружков, которые должны выражать наличие дырок в фигуре и даже самый момент проникания через эти дырки <...>.

Или при передаче круглых предметов в детском решении обычно участвует то, что эти предметы могут кататься, и что есть возможность их постижения кругом со всех сторон <...>.

Короче говоря, всякий раз, тем или иным способом, привлекается для участия в графическом изображении то жизненное, деятельное, нередко многостороннее *взаимопротивопоставление*, которое имеет место между ребенком и объектом

и нередко играет почти исключительную, решающую роль в этом деле.

Опыты, недавно произведенные нами над учениками *деревенской школы для взрослых (Fortbildungsschüler)* и над несколькими “простыми людьми” более старшего возраста, жителями захолустного провинциального городка, показали нам, насколько глубоко коренятся в человеческой натуре вышеуказанные примитивности, характеризующие стиль ребенка в период раннего детства. Этим испытуемым мы предлагали для рисования те же объекты, которые до того были даны и детям, и, как правило, их рисунки отличались от работ маленьких детей большой склонностью к перспективе. Однако наряду с этим, нередко в виде странного смешения стилей, повсюду выступали весьма примитивные черты, уже знакомые нам из работ маленьких детей. Например, мы находим в этих рисунках вышеуказанное стремление передавать вещи не с одной *единой точки зрения*, создающейся при их рассмотрении с определенного места, а так, чтобы дать выражение *самой сущности* вещей. Так в некоторых рисунках, изображающих *куб*,

мы находим характерное соединение различной окраски или разнообразных отметок, расположенных на различных его сторонах, т. е. таких основных свойств, которые, будучи присущи различным частям куба, не могут быть восприняты при рассмотрении вещи с одной стороны. Или даже мы встречаемся с соединением в одно комплексное, относительно гештальтированное примитивное целое таких свойств объекта, которые сами по себе расположены друг рядом с другом в совершенно расчлененном виде. Так, например, к нашему удивлению мы здесь снова натолкнулись на слияние круглости и удлиненности *цилиндра* в один характерный *овал*, т. е. на то, что мы так часто наблюдали у детей дошкольного возраста. Совершенно очевидно, что преподавание рисования в народной школе зачастую прививает лишь побег, которые очень быстро снова отмирают.

Своеобразие этого естественного примитивного стиля выступает, как и следовало ожидать, еще с большей силой, когда *усложняются* условия восприятия подлежащих передаче объектов, например, *сокращается время экспозиции*.

К.Роджерс

ПОЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК¹

В основном мои взгляды на значение понятия “хорошая жизнь” основаны на опыте работы с людьми в очень близких, интимных отношениях, называемых психотерапией. Таким образом, мои взгляды основаны на опыте или чувствах, в противоположность, например, научному или философскому основанию. Наблюдая за людьми с расстройствами и проблемами, жаждущими добиться хорошей жизни, я составил себе представление о том, что они под этим подразумевают.

Мне следовало бы с самого начала пояснить, что мой опыт получен благодаря выгодной позиции определенного направления в психотерапии, которое развивалось в течение многих лет. Вполне возможно, что все виды психотерапии в чем-то основном схожи между собой, но, поскольку сейчас я уверен в этом менее, чем раньше, я хотел бы, чтобы вам было ясно, что мой психотерапевтический опыт развивался в русле направления, которое мне кажется наиболее эффективным. Это — психотерапия, “центрированная на клиенте”.

Разрешите мне попытаться кратко описать, как выглядела бы эта психотерапия, если бы она была оптимальной во всех отношениях. Я чувствую, что больше всего узнал о хорошей жизни из опыта психотерапии, в процессе которой происходило много изменений. Если бы психотерапия была во всех отношениях оптимальной (как

интенсивная, так и экстенсивная), терапевт был бы способен войти в интенсивные субъективные личностные отношения с клиентом, относясь к нему не как ученый к объекту изучения, не как врач к пациенту, а как человек к человеку. Тогда терапевт почувствовал бы, что его клиент — безусловно, человек с различными достоинствами, обладающий высокой ценностью независимо от его положения, поведения или чувств. Это также значило бы, что терапевт искренен, не прячется за фасадом защит и встречает клиента, выказывая чувства, которые он испытывает на органическом уровне. Это значило бы, что терапевт может разрешить себе понять клиента; что никакие внутренние барьеры не мешают ему чувствовать то, что чувствует клиент в каждый момент их отношений; и что он может выразить клиенту какую-то часть своего эмпатического понимания. Это значит, что терапевту было бы удобно полностью войти в эти отношения, не зная когнитивно, куда они ведут; и что он доволен, что создал атмосферу, которая дает возможность клиенту с наибольшей свободой стать самим собой.

Для клиента оптимальная психотерапия значила бы исследование все более незнакомых, странных и опасных чувств в себе; исследование, которое только потому и возможно, что клиент начинает постепенно понимать, что его принимают без всяких условий. Поэтому он знакомится с такими элементами своего опыта, осознание которых в прошлом отрицалось, так как они были слишком угрожающими и разрушающими структуру его “Я”. В этих отношениях он обнаруживает, что переживает во всей полноте, до конца эти чувства так, что на данный момент он и *есть* его страх или гнев, нежность или сила. И когда он живет этими различными по интенсивности и разнообразными чувствами, он обнаруживает, что он чувствует свое “Я”, что он и *есть* все эти чувства. Он видит, что его поведение конструктивно изменяется в соответствии с его новым прочувствованным “Я”. Он подходит к осознанию, что ему больше не нужно бояться того, что может содержаться в опыте, и он может свободно приветствовать его как часть изменяющегося и развивающегося “Я”.

¹ Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994. С. 234—247.

Это маленький набросок того, к чему близко подходит центрированная на клиенте психотерапия, если она оптимальная. Я представляю ее здесь просто в качестве контекста, в котором сформировались мои представления о хорошей жизни.

Наблюдение с отрицательным выводом

Когда я старался жить, понимая опыт своих клиентов, я постепенно пришел к одному отрицательному выводу о хорошей жизни. Мне кажется, что хорошая жизнь — это не застывшее состояние. По моему мнению, она не является состоянием добродетели, довольства, нирваны или счастья. Это — не условия, к которым человек приспособляется, в которых он реализуется или актуализируется. Используя психологические термины, можно сказать, что это не состояние уменьшения влечения, уменьшения напряженности и не гомеостаз¹.

Мне кажется, что при использовании этих терминов подразумевалось, что когда достигнуто одно или несколько из этих состояний, то и цель жизни достигнута. Конечно, для многих людей счастье или приспособленность — синонимы хорошей жизни. Даже ученые в области общественных наук часто говорили, что цель процесса жизни — уменьшение напряженности, достижение гомеостаза, или равновесия.

Поэтому я с удивлением и с некоторым беспокойством понял, что мой личный опыт не подтверждает ни одно из этих положений. Если я сосредоточусь на опыте некоторых индивидов, достигших наивысшей степени продвижения во время психотерапевтических отношений и в последующие годы, кажется, показавших действительный прогресс на пути к хорошей жизни, то, по-моему, их состояние нельзя точно описать ни одним из вышеприведенных терминов, относящихся к статичности существования. Я думаю, они сочли бы себя оскорбленными, если бы их захотели описать таким словом, как “приспособленные”; и они считали бы неправильным описывать себя как “счастливых”, “довольных” или даже “актуализующихся”. Хорошо зная их, я посчитал бы невер-

ным сказать, что у них уменьшена напряженность побуждений или что они находятся в состоянии гомеостаза. Поэтому мне приходится спрашивать себя, можно ли обобщить их случаи, есть ли какое-нибудь определение хорошей жизни, соответствующее жизненным фактам, которые я наблюдал. Я считаю, что дать ответ совсем не просто, и мои дальнейшие утверждения весьма гипотетичны.

Наблюдение с положительным выводом

Если попытаться вкратце изложить описание этого понятия, я полагаю, это сведется примерно к следующему:

Хорошая жизнь — это *процесс*, а не состояние бытия.

Это — направление, а не конечный пункт. Это направление выбрано всем организмом при психологической свободе двигаться *куда угодно*.

Это организмически выбранное направление имеет определенные общие качества, проявляющиеся у большого числа разных и единственных в своем роде людей.

Таким образом, я могу объединить эти утверждения в определении, которое по крайней мере может служить основой для рассмотрения и обсуждения. Хорошая жизнь с точки зрения моего опыта — это процесс движения по пути, выбранному человеческим организмом, когда он внутренне свободен развиваться в любом направлении, причем качества этого направления имеют определенную всеобщность.

Характеристики процесса

Разрешите мне определить характерные качества этого процесса движения, качества, возникающие в психотерапии у каждого клиента.

Возрастающая открытость опыту

Во-первых, этот процесс связан с возрастающей открытостью опыту. Эта фраза приобретает для меня все больший смысл. Открытость диаметрально противоположна защите. Защитная реакция, описанная

¹ Гомеостаз — подвижное равновесное состояние какой-либо системы, сохраняемое путем ее противодействия нарушающим это равновесие внешним или внутренним факторам.

мною в прошлом, — это ответ организма на опыт, который воспринимается или будет воспринят как угрожающий, как не соответствующий существующему у индивида представлению о самом себе или о себе в отношениях с миром. Этот угрожающий опыт на время перестает быть таковым, так как он или искажается при осознании, или отрицается, или не допускается в сознание. Можно сказать, что я на самом деле не могу правильно понять все свои переживания, чувства и реакции, которые существенно расходятся с моими представлениями о себе. Во время психотерапии клиент все время обнаруживает, что он переживает такие чувства и отношения, какие до этого не был способен осознать, которыми не был способен “владеть” как частью своего “Я”.

Однако, если бы человек мог быть полностью открыт своему опыту, каждый стимул, идущий от организма или от внешнего мира, передавался бы свободно через нервную систему, без малейшего искажения каким-либо защитным механизмом. Не было бы необходимости в механизме “подсознания”, с помощью которого организм заранее бывает предупрежден о любом опыте, угрожающем личности. Наоборот, независимо от того, воздействовал ли стимул окружающего мира на чувствительные нервы своим очертанием, формой, цветом или звуком, или это след памяти прошлого опыта, или — висцеральное ощущение страха, удовольствия или отвращения, — человек будет “жить” этим опытом, который будет полностью доступен осознанию.

Таким образом, оказывается, что одним из аспектов процесса, который я называю “хорошая жизнь”, является движение от полюса защитных реакций к полюсу открытости своему опыту. Человек все в большей мере становится способным слышать себя, переживать то, что в нем происходит. Он более открыт своим чувствам страха, упадка духа, боли. Он также более открыт своим чувствам смелости, нежности и благоговения. Он свободно может жить своими субъективными чувствами так, как они в нем существуют, и он также свободен осознавать эти чувства. Он способен в большей мере жить опытом своего организма, а не закрывать его от осознания.

Возрастает стремление жить настоящим

Второе качество процесса, который мне представляется как хорошая жизнь, связано со все большим стремлением жить полнокровной жизнью в каждый ее момент. Эту мысль легко истолковать неправильно; она пока еще неясна мне самому. Однако разрешите мне попытаться объяснить, что я имею в виду.

Я думаю, если бы человек был полностью открыт новому опыту и у него не было бы защитных реакций, каждый момент его жизни был бы новым. Сложное сочетание внутренних и внешних стимулов, существующее именно в этот момент, никогда не существовало ранее в такой форме. Следовательно, этот человек подумал бы: “То, каким я буду в следующий момент, и то, что я сделаю, вырастает из этого момента и не может быть предсказано заранее ни мной, ни другими”. Мы нередко встречали клиентов, выражающих именно такие чувства.

Чтобы выразить текучесть, присущую этой жизни, можно сказать, что скорее “Я” и личность возникают из опыта, чем опыт толкуется и искажается, чтобы соответствовать представленной заранее структуре “Я”. Это значит, что вы скорее участник и наблюдатель протекающих процессов организмического опыта, чем тот, кто осуществляет над ними контроль,

Жить настоящим моментом означает отсутствие неподвижности, строгой организации, наложения структуры на опыт. Вместо этого имеется максимум адаптации, обнаружение структуры в опыте, текущая, изменяющаяся организация “Я” и личности.

Именно это стремление жить настоящим моментом, мне кажется, явно проявляется в людях, вовлеченных в процесс хорошей жизни. Можно почти с уверенностью сказать, что это — ее наиболее существенное качество. Оно связано с обнаружением структуры опыта в процессе жизни в этом опыте. С другой стороны, большинство из нас почти всегда привносят заранее сформированную структуру и оценку в наш опыт и, не замечая этого, искажают опыт и втискивают его в нужные рамки, чтобы он соответствовал предвзятым идеям. При этом они раздражаются, что из-за текуче-

сти опыта прилаживание его к нашим заботливо сконструированным рамкам становится совершенно неуправляемым. Когда я вижу, что клиенты приближаются к хорошей, зрелой жизни, для меня одно из ее качеств состоит в том, что их ум открыт тому, что происходит *сейчас*, и в этом настоящем процессе они обнаруживают любую структуру, которая, оказываясь, ему присуща.

Возрастающее доверие к своему организму

Еще одна характеристика человека, живущего в процессе хорошей жизни, — все увеличивающееся доверие к своему организму как средству достижения наилучшего поведения в каждой ситуации в настоящем.

Решая, что предпринять в какой-нибудь ситуации, многие люди опираются на принципы, на правила поведения, установленные какой-то группой или учреждением, на суждения других (начиная с жены и друзей и кончая Эмилией Поуст¹) или на то, как они вели себя в подобной ситуации в прошлом. Однако, когда я наблюдаю за клиентами, чей жизненный опыт так многому научил меня, я обнаруживаю, что они могут больше доверять своей цельной организмической реакции на новые ситуации. Это происходит потому, что, будучи открыты своему опыту, они все больше обнаруживают, что, если делают то, что “чувствуется правильным”, это оказывается надежным ориентиром поведения, приносящего им истинное удовлетворение.

Когда я старался понять причину этого, то обнаружил, что рассуждаю следующим образом. Человек, полностью открытый своему опыту, имел бы доступ ко всем факторам, имеющимся в его распоряжении в данной ситуации: социальным требованиям, его собственным сложным и, вероятно, противоречивым потребностям: воспоминаниям о подобных ситуациях в прошлом, восприятию неповторимых качеств данной ситуации и т. д. На основе всего этого он и строил бы свое поведение. Конечно, эти сведения были бы очень сложными. Но он мог бы разрешить своему це-

лостному организму с участием сознания рассмотреть каждый стимул, потребность и требование, его относительную напряженность и важность. Из этого сложного взвешивания и уравнивания он мог бы вывести те действия, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы все его нужды в данной ситуации. Такого человека можно по аналогии сравнить с гигантской вычислительной электронной машиной. Поскольку он открыт своему опыту, в машину вводятся все данные чувственных впечатлений, памяти, предшествующего общения, состояния висцеральных и внутренних органов. Машина вбирает в себя все эти многочисленные данные о напряжениях и силах и быстро вычисляет, как действовать, чтобы в результате был получен наиболее экономичный вектор удовлетворения потребностей в этой конкретной ситуации. Это — поведение нашего гипотетического человека.

У большинства из нас есть недостатки, которые приводят к ошибкам в этом процессе. Они состоят во включении информации, которая не принадлежит данной конкретной ситуации, или в исключении информации, которая ей *принадлежит*. Возникают ошибочные варианты поведения, когда в вычисления вводятся воспоминания и предшествующие знания, как будто они и есть *эта* реальность, а не просто воспоминания и знания. Ошибка может произойти также и тогда, когда в сознание не допускаются определенные пугающие переживания, следовательно, они не входят в вычисления или вводятся в машину в искаженном виде. Но наш гипотетический человек считал бы свой организм вполне достойным доверия, потому что все доступные данные были бы использованы и представлены скорее в правильном, нежели в искаженном виде. Отсюда его поведение, возможно, было бы более близким к тому, чтобы удовлетворить его нужды увеличить возможности, установить связи с другими и т. д.

В этом взвешивании, уравнивании и вычислениях его организм ни в коей мере не был бы непогрешимым. Исходя из доступных данных, он всегда давал бы наилучший из возможных ответов, но иногда

¹ Эмилия Поуст — в то время известный в США автор книги о хороших манерах в хорошем обществе. — *Прим. перев.*

эти данные отсутствовали бы. Однако вследствие открытости опыту любые ошибки, любое неудовлетворительное поведение были бы вскоре исправлены. Вычисления находились бы всегда в процессе корректировки, потому что они постоянно проверялись бы в поведении.

Возможно, вам не понравится моя аналогия с ЭВМ. Разрешите мне опять обратиться к опыту тех клиентов, которых я знал. Когда они становятся более открытыми своему опыту, то обнаруживают, что могут больше доверять своим реакциям. Если они чувствуют, что хотят выразить свой гнев, то делают это и обнаруживают, что это вовсе не так уж страшно, потому что они в той же мере осознают и другие свои желания — выразить привязанность, связь и отношение к другим людям. Они удивлены, что *могут* интуитивно решить, как вести себя в сложных и беспокойных человеческих отношениях. И только после этого они осознают, как надежны были их внутренние реакции, приведшие к правильному поведению.

Процесс более полноценного функционирования

Я хотел бы представить более последовательную картину хорошей жизни, воедино соединив три нити, описывающие этот процесс. Получается, что психически свободный человек все более совершенно выполняет свое назначение. Он становится все более способным к полнокровной жизни в каждом из всех своих чувств и реакций. Он все более использует все свои органические механизмы, чтобы как можно правильнее чувствовать конкретную ситуацию внутри и вне его. Он использует всю находящуюся в его сознании информацию, какой только может снабдить его нервная система, понимая при этом, что весь его цельный организм может быть — и часто является — мудрее, чем его сознание. Он в большей мере способен дать возможность всему своему свободному, сложно функционирующему организму выбрать из множества возможных именно тот вариант поведения, который действительно будет более удовлетворять его в настоящий момент. Он больше способен поверить своему организму в его функционировании не потому, что он безошибочен, а потому, что

он может быть полностью открытым для последствий его действий и сможет исправить их, если они его не удовлетворяют.

Он будет более способен переживать все свои чувства, менее бояться любого из них, он сможет сам просеивать факты, будучи более открытым сведениям из всех источников. Он полностью вовлечен в процесс бытия и “становления самим собой” и поэтому обнаруживает, что действительно и реально социализируется. Он более полно живет настоящим моментом и узнает, что это самый правильный способ существования. Он становится более полно функционирующим организмом и более совершенно функционирующим человеком, так как полностью осознает себя, и это осознание пронизывает его переживания с начала и до конца.

Некоторые вовлеченные вопросы

Любое представление о том, что составляет хорошую жизнь, имеет отношение ко многим вопросам. Представленная здесь моя точка зрения не является исключением. Я надеюсь, что скрытые в ней следствия послужат пищей для размышлений. Есть два или три вопроса, которые я хотел бы обсудить.

Новая перспектива соотношения свободы и необходимости

Связь с первым скрытым следствием может не сразу бросаться в глаза. Оно касается старой проблемы “свободы воли”. Разрешите мне попытаться показать, как в новом свете мне представляется эта проблема.

В течение некоторого времени меня приводил в недоумение существующий в психотерапии парадокс между свободой и детерминизмом. Одними из наиболее действенных субъективных переживаний клиента в психотерапевтических отношениях являются те, в которых он чувствует власть открытого выбора. Он *свободен* — стать самим собой или спрятаться за фасадом, двигаться вперед или назад, вести себя как пагубный разрушитель себя и других или делать себя и других более сильными — в буквальном смысле слова он свободен жить или умереть, в обоих — психологическом

и физиологическом — смыслах этих слов. Однако, как только я вхожу в область психотерапии с объективными исследовательскими методами, я, как и многие другие ученые, связываю себя полным детерминизмом. С этой точки зрения каждое чувство и действие клиента детерминировано тем, что ему предшествовало. Такой вещи, как свобода, не может быть. Эта дилемма, которую я стараюсь описать, существует и в других областях — просто я ее обозначил более четко, и от этого она не становится менее неразрешимой.

Однако эту дилемму можно увидеть в новой перспективе, если рассмотреть ее в рамках данного мной определения полноценно функционирующего человека. Можно сказать, что в наиболее благоприятных условиях психотерапии человек по праву переживает наиболее полную и абсолютную свободу. Он желает или выбирает такое направление действий, которое является самым экономным вектором по отношению ко всем внутренним и внешним стимулам, потому что это именно то поведение, которое будет наиболее глубоко его удовлетворять. Но это то же самое направление действий, про которое можно сказать, что с другой, удобной точки зрения оно определяется всеми факторами наличной ситуации. Давайте противопоставим это картине действий человека с защитными реакциями. Он хочет или выбирает определенное направление действий, но обнаруживает, что *не может* вести себя согласно своему выбору. Он детерминирован факторами конкретной ситуации, но эти факторы включают его защитные реакции, его отрицание или искажение значимых данных. Поэтому он уверен, что его поведение будет не полностью удовлетворять его. Его поведение детерминировано, но он не свободен сделать эффективный выбор. С другой стороны, полноценно функционирующий человек не только переживает, но и использует абсолютную свободу, когда спонтанно, свободно и добровольно выбирает и желает то, что абсолютно детерминировано.

Я не настолько наивен, чтобы предположить, что это полностью решает проблему субъективного и объективного, свободы и необходимости. Тем не менее это имеет для меня значение, потому что чем больше

человек живет хорошей жизнью, тем больше он чувствует свободу выбора и тем больше его выборы эффективно воплощаются в его поведении.

Творчество как элемент хорошей жизни

Мне кажется, совершенно ясно, что человек, вовлеченный в направляющий процесс, который я назвал “хорошей жизнью”, — это творческий человек. С его восприимчивой открытостью миру, с его верой в свои способности формировать новые отношения с окружающими он будет таким человеком, у которого появятся продукты творчества и творческая жизнь. Он не обязательно будет “приспособлен” к своей культуре, но почти обязательно не будет конформистом. Но в любое время и в любой культуре он будет жить созидая, в гармонии со своей культурой, которая необходима для сбалансированного удовлетворения его нужд. Иногда, в некоторых ситуациях, он мог бы быть очень несчастным, но все равно продолжал бы двигаться к тому, чтобы стать самим собой, и вести себя так, чтобы максимально удовлетворить свои самые глубокие потребности.

Я думаю, что ученые, изучающие эволюцию, могли бы сказать про такого человека, что он с большей вероятностью адаптировался бы и выжил при изменении окружающих условий. Он смог бы хорошо и творчески приспособиться как к новым, так и к существующим условиям. Он представлял бы собой подходящий авангард человеческой эволюции.

Основополагающее доверие к человеческой природе

В дальнейшем станет ясно, что другой вывод, имеющий отношение к представленной мной точке зрения, заключается в том, что в основном природа свободно функционирующего человека созидательна и достойна доверия. Для меня это неизбежное заключение из моего двадцатипятилетнего опыта психотерапии. Если мы способны освободить индивида от защитных реакций, открыть его восприятие как для широкого круга своих собственных нужд, так и для требований окружения и общества, можно верить, что его последующие

действия будут положительными, созидательными, продвигающими его вперед. Нет необходимости говорить, кто будет его социализировать, так как одна из его собственных очень глубоких потребностей — это потребность в отношениях с другими, в общении. По мере того как он будет все более становиться самим собой, он будет в большей мере социализирован — в соответствии с реальностью. Нет необходимости говорить о том, кто должен сдерживать его агрессивные импульсы, так как по мере его открытости всем своим импульсам его потребности в принятии и отдаче любви будут такими же сильными, как и его импульс ударить или схватить для себя. Он будет агрессивен в ситуациях, где на самом деле должна быть использована агрессия, но у него не будет неудержимо растущей потребности в агрессии. Если он движется к открытости всему своему опыту, его поведение в целом в этой и других сферах будет более реалистичным и сбалансированным, подходящим для выживания и дальнейшего развития высокосоциализированного животного.

Я мало разделяю почти преобладающее представление о том, что человек в основе своей иррационален и, если не контролировать его импульсы, он придет к разрушению себя и других. Поведение человека до утонченности рационально, когда он строго намеченным сложным путем движется к целям, которых стремится достичь его организм. Трагедия в том, что наши защитные реакции не дают нам возможность осознать эту рациональность, так что сознательно мы движемся в одном направлении, в то время как организмически — в другом. Но у нашего человека в процессе хорошей жизни число таких барьеров уменьшается, и он все в большей степени участвует в рациональных действиях своего организма. Единственный необходимый контроль над импульсами, существующий у такого человека, — это естественное внутреннее уравновешивание одной потребности другою и обнаружение вариантов поведения, направленных на наиболее полное удовлетворение всех нужд. Очень уменьшился бы опыт чрезвычайного удовлетворения одной потребности (в агрессии, сексе и т. д.) за счет удовлетворения других нужд (в товарищеских отношениях, в не-

жных отношениях и т. д.), который в большей мере присущ человеку с защитными реакциями. Человек участвовал бы в очень сложной деятельности организма по саморегуляции — его психическом и физиологическом контроле — таким образом, чтобы жить во все возрастающей гармонии с собой и другими.

Более полнокровная жизнь

Последнее, о чем бы я хотел упомянуть, — это то, что процесс хорошей жизни связан с более широким диапазоном жизни, с ее большей яркостью по сравнению с тем “суженным” существованием, которое ведет большинство из нас. Быть частью этого процесса — значит быть вовлеченным в часто пугающие или удовлетворяющие нас переживания более восприимчивой жизни, имеющей более широкий диапазон и большее разнообразие. Мне кажется, что клиенты, которые значительно продвинулись в психотерапии, более тонко чувствуют боль, но у них также и более яркое чувство экстаза; они более ясно чувствуют свой гнев, но то же можно сказать и о любви; свой страх они ощущают более глубоко, но то же происходит и с мужеством. И причина того, что они таким образом могут жить более полноценно, с большей амплитудой чувств, заключается в том, что они в глубине уверены в самих себе как надежных оруди-ях при встрече с жизнью.

Я думаю, вам станет понятно, почему такие выражения, как “счастливый”, “довольный”, “блаженство”, “доставляющий удовольствие”, не кажутся мне полностью подходящими для описания процесса, который я назвал “хорошей жизнью”, хотя человек в процессе хорошей жизни в определенное время и испытывает подобные чувства. Более подходящими являются такие прилагательные, как “обогащающий”, “захватывающий”, “вознаграждающий”, “бросающий вызов”, “значимый”. Я убежден, что процесс хорошей жизни не для малодушных. Он связан с расширением и ростом своих возможностей. Чтобы полностью опуститься в поток жизни, требуется мужество. Но более всего в человеке захватывает то, что, будучи свободным, он выбирает в качестве хорошей жизни именно процесс становления.

Р.Л. Солсо

[ВВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНУЮ ПСИХОЛОГИЮ]¹

Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических процессов — от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сферы поведения. Взятый нами курс — курс на понимание природы человеческой мысли — является одновременно амбициозным и волнующим. Поскольку это требует очень широкого круга знаний, то и диапазон изучения будет обширен; а поскольку эта тема предполагает рассмотрение человеческой мысли с новых позиций, то вероятно, что и ваши взгляды на интеллектуальную сущность человека изменятся радикально.

Эта глава названа “Введение”; однако, в некотором смысле вся эта книга есть введение в когнитивную психологию. В этой главе дана общая картина когнитивной психологии, а также рассмотрена ее история и описаны теории, объясняющие, как знания представлены в уме человека.

Прежде чем мы коснемся некоторых технических аспектов когнитивной пси-

хологии, будет полезно получить некоторое представление о тех предпосылках, на которых мы, люди, основываемся, когда обрабатываем информацию. Чтобы проиллюстрировать, как мы интерпретируем зрительную информацию, рассмотрим пример обычного события: водитель спрашивает у полицейского дорогу. Хотя участвующий здесь когнитивный процесс может показаться простым, на деле это не так.

Водитель: Я не из этого города; не могли бы вы мне сказать, как попасть в “Плати-Пакуй”?

Полицейский: А Вам нужны хозяйственные товары или спортивные? У них тут два разных магазина.

В: А-а, м-м-м...

П: Вообще-то это не важно, поскольку они оба находятся напротив друг друга через улицу.

В: Я собственно ищу сантехнику — новое сиденье для унитаза.

П: Ну, тогда это у них в хозяйственном.

В: В хозяйственном.

П: Да, в отделе сантехники. Так что... Вы знаете, где цирк?

В: Это то здание с чем-то вроде конуса или это то, которое...

П: Нет, это там, знаете, — эта самая выставочная площадка; ну, помните, там проходила “Экспо-84”.

В: А, да, я знаю, где эта выставка.

П: Ну вот, это там, на месте Экспо. Вообще отсюда туда трудно попасть, но если Вы поедете отсюда вниз, проедете по этой улице один светофор, а потом до сигнальной мачты, повернете направо один квартал до следующего светофора, а затем налево через железнодорожный переезд, мимо озера до следующего светофора рядом со старой фабрикой... Знаете, где старая фабрика?

В: Это та улица через мост, где указатель одностороннего движения до старой фабрики?

П: Нет, там двухстороннее движение.

В: А, это значит другой мост. Ладно, я знаю, какая улица.

П: Вы можете узнать ее по большому плакату, где написано “Если вы потеряли драгоценность, вы никогда ее не возместите”. Что-то в этом роде. Это реклама ночного депозитного отделения. Я его называю “Бозодеп”, потому что это в Бозвелловском банке. Короче, Вы едете мимо старой фабрики — это где железные ворота — и поворачиваете налево — нет, направо — потом один квартал налево и Вы на Благодатной.

¹ Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996. С. 28—36, 41—47.

Благодатную улицу вы не пропустите. Это будет по правой стороне на этой улице.

В: Да Вы шутите. Я же остановился в мотеле на Благодатной.

П: Да-а?

В: Я поехал не в ту сторону и теперь я на другом конце города. Подумать только, два квартала от моего мотеля! Я мог туда пешком пойти.

П: А в каком Вы мотеле?

В: В Университетском.

П: Ах в Университетском... Что же, Вы не нашли места попроще?

В: Нет. Но зато там совершенно замечательная библиотека.

П: Хм-м.

Весь описанный эпизод занял бы не более двух минут, но то количество информации, которую восприняли и проанализировали эти два человека, просто поражает. Как должен психолог рассматривать такой процесс? Один выход — это просто на языке “стимул-реакция” (S—R): например, светофор (стимул) и поворот налево (реакция). Некоторые психологи, особенно представители традиционного бихевиористского подхода уверены, что всю последовательность событий можно адекватно (и гораздо более детально) описать в таких терминах. Однако, хотя

Характеристика	Тема в когнитивной психологии
Способность обнаруживать и интерпретировать сенсорные стимулы	Обнаружение сенсорных сигналов
Склонность сосредотачиваться на некоторых сенсорных стимулах и игнорировать остальные	Внимание
Детальное знание физических характеристик окружения	Знания
Способность абстрагировать некоторые элементы события и объединять эти элементы в хорошо структурированный план, придающий значение всему эпизоду	Распознавание образов
Способность извлекать значение из букв и слов	Чтение и переработка информации
Способность сохранять свежие события и объединять их в непрерывную последовательность	Кратковременная память
Способность формировать образ «когнитивной карты»	Мысленные образы
Понимание каждым участником роли другого	Мышление
Способность использовать «мнемонические трюки» для воспроизведения информации	Мнемоника и память
Тенденция хранить языковую информацию в общем виде	Абстрагирование речевых высказываний
Способность решать задачи	Решение задач
Общая способность к осмысленным действиям	Человеческий интеллект
Понимание, что направление движения можно точно перешифровать в набор сложных моторных действий (вождение автомобиля)	Языковое / моторное поведение
Способность быстро извлекать из долговременной памяти конкретную информацию, нужную для применения непосредственно в текущей ситуации	Долговременная память
Способность передавать наблюдаемые события на разговорном языке	Языковая переработка
Знание, что объекты имеют конкретные названия	Семантическая память
Неспособность действовать совершенным образом	Забывание и интерференция

эта позиция и привлекает своей простотой, она не в состоянии описать те когнитивные системы, которые участвуют в подобном обмене информацией. Чтобы это сделать, необходимо определить и проанализировать конкретные компоненты когнитивного процесса и затем объединить их в большую когнитивную модель. Именно с такой позиции исследуют сложные проявления человеческого поведения когнитивные психологи. Какие конкретно компоненты выделил бы когнитивный психолог в вышеприведенном эпизоде и как он стал бы их рассматривать? Мы можем начать с некоторых предположений относительно когнитивных характеристик, которыми обладают полицейский и водитель. В левой части таблицы 1 приведены соответствующие положения, а в правой — темы когнитивной психологии, связанные с этими положениями.

Информационный подход

Приведенные положения можно объединить в более крупную систему, или когнитивную модель. Модель, которой обычно пользуются когнитивные психологи, называется *моделью переработки информации*.

С самого начала нашего изучения когнитивных моделей важно понять их ограничения. Когнитивные модели, опирающиеся на модель переработки информации, — это эвристические построения, используемые для организации существующего объема литературы, стимуляции дальнейших исследований, координации исследовательских усилий и облегчения коммуникаций между учеными. Существует тенденция приписывать моделям большую структурную незыблемость, чем это может быть подтверждено эмпирическими данными.

Модель переработки информации полезна для вышеперечисленных задач; однако, чтобы лучше отразить достижения когнитивной психологии, были разработаны и другие модели. С такими альтер-

нативными моделями я буду знакомить вас по мере необходимости. Модель переработки информации предполагает, что процесс познания можно разложить на ряд этапов, каждый из которых представляет собой некую гипотетическую единицу, включающую набор уникальных операций, выполняемых над входной информацией. Предполагается, что реакция на событие (например, ответ: “А, да, я знаю, где эта выставка”) является результатом серии таких этапов и операций (например, восприятие, кодирование информации, воспроизведение информации из памяти, формирование понятий, суждение и формирование высказывания). На каждый этап поступает информация от предыдущего этапа, и затем над ней выполняются свойственные для данного этапа операции. Поскольку все компоненты модели переработки информации так или иначе связаны с другими компонентами, трудно точно определить начальный этап; но для удобства мы можем считать, что вся эта последовательность начинается с поступления внешних стимулов¹.

Эти стимулы — признаки окружения в нашем примере — не представлены непосредственно в голове полицейского, но они преобразуются в значимые символы, в то, что некоторые когнитологи называют “внутренними репрезентациями”. На самом нижнем уровне энергия света (или звука), исходящая от воспринимаемого стимула, преобразуется в нервную энергию, которая в свою очередь обрабатывается на вышеописанных гипотетических этапах с тем, чтобы сформировать “внутреннюю репрезентацию” воспринимаемого объекта. Полицейский понимает эту внутреннюю репрезентацию, которая в сочетании с другой контекстуальной информацией дает основу для ответа на вопрос.

Модель переработки информации породила два важных вопроса, вызвавших значительные споры среди когнитивных психологов: *какие этапы проходит информация при обработке? и в каком виде*

¹ Можно, конечно, утверждать, что эта последовательность преобразований начинается со знаний субъекта о мире, которые позволяют ему избирательно направлять внимание на отдельные аспекты зрительных стимулов и игнорировать другие аспекты. Так, в приведенном примере полицейский описывает водителю дорогу, останавливаясь преимущественно на том, где водителю придется проезжать, и не обращает внимания (по крайней мере активного) на другие признаки: дома, пешеходов, солнце, другие ориентиры.

информация представлена в уме человека? Хотя на эти вопросы нет легкого ответа, данная книга по большей части посвящена им обоим, так что их полезно не упустить из виду. Среди прочего когнитивные психологи пытались ответить на эти вопросы путем включения в свои исследования методов и теорий из конкретных психологических дисциплин; некоторые из них описаны ниже.

Сфера когнитивной психологии

Современная когнитивная психология заимствует теории и методы из 10 основных областей исследований (рис. 1): восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, языковые функции, психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный интеллект; каждую из них мы рассмотрим отдельно.

Восприятие

Отрасль психологии, непосредственно связанная с обнаружением и интерпретацией сенсорных стимулов, называется психологией *восприятия*. Из экспериментов по восприятию мы хорошо знаем о чувствительности человеческого организма к сенсорным сигналам и — что более важно для когнитивной психологии — о том, как интерпретируются эти сенсорные сигналы.

Описание, данное полицейским в приведенной уличной сцене, значительно зависит от его способности “видеть” суще-

ственные признаки окружения. “Видение”, однако, — это непростая вещь. Чтобы воспринимались сенсорные стимулы — в нашем случае они преимущественно зрительные, — надо, чтобы они имели определенную величину: если водителю предстоит выполнить описанный маневр, эти признаки должны иметь определенную интенсивность. Кроме того, сама сцена постоянно изменяется. По мере изменения положения водителя, появляются новые признаки. Отдельные признаки получают в перцептивном процессе преимущественную важность. Указательные знаки различаются по цвету, положению, форме и т.д. Многие изображения при движении постоянно меняются, и чтобы превратить их указания в действия, водитель должен быстро корректировать свое поведение.

Экспериментальные исследования восприятия помогли идентифицировать многие из элементов этого процесса; с некоторыми из них мы встретимся в следующей главе. Но исследование восприятия само по себе не может адекватно объяснить ожидаемые действия; здесь участвуют и другие когнитивные системы, такие как распознавание образов, внимание и память.

Распознавание образов

Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные события; чаще всего они воспринимаются как часть более значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоня-



Рис. 1. Основные направления исследований в когнитивной психологии

ем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сенсорных стимулов. Так, когда полицейский говорит водителю “проехать через железнодорожный переезд мимо озера... рядом со старой фабрикой”, его слова описывают сложные объекты (переезд, озеро, старая фабрика). В какой-то момент полицейский описывает плакат и предполагает при этом, что водитель грамотный. Но задумаемся над проблемой чтения. Чтение — это сложное волевое усилие, при котором от читающего требуется построить осмысленный образ из набора линий и кривых, которые сами по себе не имеют смысла. Организуя эти стимулы так, чтобы получились буквы и слова, читающий может затем извлечь из своей памяти значение. Весь этот процесс, выполняемый ежедневно миллиардами людей, занимает долю секунды, и он просто поразителен, если учесть, сколько в нем участвует нейроанатомических и когнитивных систем.

Внимание

Полицейский и водитель сталкиваются с несметным количеством признаков окружения. Если бы водитель уделял внимание им всем (или почти всем), он точно никогда бы не добрался до хозяйственного магазина. Хотя люди — это существа, собирающие информацию, очевидно, что при нормальных условиях мы очень тщательно отбираем количество и вид информации, которую стоит принимать в расчет. Наша способность к переработке информации очевидно ограничена на двух уровнях — сенсорном и когнитивном. Если нам одновременно навязывают слишком много сенсорных признаков, у нас может возникнуть “перегрузка”; и если мы пытаемся обработать слишком много событий в памяти, тоже возникает перегрузка. Последствием этого может оказаться сбой в работе.

В нашем примере полицейский, интуитивно понимая, что если он перегрузит

систему, то пострадает результат, игнорирует множество тех признаков, которые водитель конечно бы заметил. И если иллюстрация, приведенная рядом с текстом диалога, является точной репрезентацией когнитивной карты водителя, то последний действительно безнадежно запутался.

Память

Мог бы полицейский описать дорогу, не пользуясь памятью? Конечно нет; и в отношении памяти это даже более верно, чем в отношении восприятия. И в действительности память и восприятие работают вместе. В нашем примере ответ полицейского явился результатом работы двух типов памяти. Первый тип памяти удерживает информацию ограниченное время — достаточно долго, чтобы поддержать разговор. Эта система памяти хранит информацию в течение короткого периода — пока ее не заменит новая. Весь разговор занял бы около 120 секунд и маловероятно, чтобы все его детали навсегда сохранились и у полицейского, и у водителя. Однако, эти детали *хранились* в памяти достаточно долго для того, чтобы они оба сохраняли последовательность элементов, составляющих диалог¹, и *некоторая часть* этой информации могла отложиться у них в постоянной памяти. Этот первый этап памяти называется кратковременной памятью (КВП), а в нашем случае это особый ее вид, называемый *рабочей памятью*.

С другой стороны, значительная часть содержания ответов полицейского получена из его долговременной памяти (ДВП). Наиболее очевидная часть здесь — знание им языка. Он не называет озеро лимонным деревом, место выставок — автопокрышкой, а улицу — баскетболом; он извлекает слова из своей ДВП и использует их более менее правильно. Есть и другие признаки, указывающие на то, что ДВП участвовала в его описании: “...помните, у них была выставка Экспо-84?”. Он смог за долю се-

¹ Так, например, полицейский какое-то время должен был помнить, что водитель ищет “Плати-Пакуй”, что он знает, где находится выставка, и даже (как минимум до окончания своего вопроса “В каком мотеле Вы остановились?”) то, что водитель остановился в мотеле. Аналогично, водитель какое-то время должен помнить, что есть два магазина “Плати-Пакуй” (хотя бы для того, чтобы ответить, что ему нужен тот, где продается сантехника); что полицейский спросил его, знает ли он, где была выставка Экспо; что ему надо проехать мимо старой мельницы и т.п.

кунды воспроизвести информацию о событии, происшедшем несколько лет назад. Эта информация не поступала из непосредственного перцептивного опыта; она хранилась в ДВП вместе с огромным количеством других фактов.

Значит, информация, которой владеет полицейский, получена им из восприятия, КВП и ДВП. Кроме того, мы можем сделать вывод, что он был мыслящим человеком, поскольку вся эта информация была им представлена в виде некоторой схемы, которая “имела смысл”.

Воображение

Для того, чтобы ответить на вопрос, полицейский построил мысленный образ окружения. Этот мысленный образ имел форму когнитивной карты: т.е. своего рода мысленной репрезентации для множества зданий, улиц, дорожных знаков, светофоров и т.п. Он был способен извлечь из этой когнитивной карты значимые признаки, расположить их в осмысленной последовательности и преобразовать эти образы в языковую информацию, которая позволила бы водителю построить сходную когнитивную карту. Затем эта повторно выстроенная когнитивная карта дала бы водителю вразумительную картину города, которая могла бы потом быть преобразована в акт вождения автомобиля по определенному маршруту. <...>

Язык

Чтобы правильно ответить на вопрос, полицейскому нужны были обширные знания языка. Это подразумевает знание правильных названий для ориентиров и, что тоже важно, знание синтаксиса языка — т.е. правил расположения слов и связей между ними. Здесь важно признать, что приведенные словесные последовательности могут не удовлетворить педантичного профессора филологии, но вместе с тем они передают некоторое сообщение. Почти в каждом предложении присутствуют существенные грамматические правила. Полицейский не сказал: “них ну это хозяйственном в у”; он сказал: “Ну, это у них в хозяйственном”, — и мы все можем понять, что имеется в виду. Кроме построения грамматически правильных предло-

жений и подбора соответствующих слов из своего лексикона, полицейский должен был координировать сложные моторные реакции, необходимые для произнесения своего сообщения.

Психология развития

Это еще одна область когнитивной психологии, которая весьма интенсивно изучалась. Недавно опубликованные теории и эксперименты по когнитивной психологии развития значительно расширили наше понимание того, как развиваются когнитивные структуры. В нашем случае мы можем только заключить, что говорящих объединяет такой опыт развития, который позволяет им (более или менее) понимать друг друга. <...>

Мышление и формирование понятий

На протяжении всего нашего эпизода полицейский и водитель проявляют способность к мышлению и формированию понятий. Когда полицейского спросили, как попасть в “Плати-Пакуй”, он ответил после некоторых промежуточных шагов; вопрос полицейского “Вы знаете, где цирк?” показывает, что если бы водитель знал этот ориентир, то его легко можно было бы направить в “Плати-Пакуй”. Но раз он не знал, полицейский выработал еще один план ответа на вопрос. Кроме того, полицейский очевидно был сбит с толку, когда водитель сказал ему, что в мотеле “Университетский” замечательная библиотека. Мотели и библиотеки — это обычно несовместимые категории, и полицейский, который так же, как и вы, знал об этом, мог бы спросить: “Что же это за мотель такой!”. Наконец, употребление им некоторых слов (таких как “железнодорожный переезд”, “старая фабрика”, “железная ограда”) свидетельствует, что у него были сформированы понятия, близкие к тем, которыми располагал водитель.

Человеческий интеллект

И полицейский, и водитель имели некоторые предположения об интеллекте друг друга. Эти предположения включали — но не ограничивались этим — способность

понимать обычный язык, следовать инструкциям, преобразовывать вербальные описания в действия и вести себя соответственно законам своей культуры. <...>

Искусственный интеллект

В нашем примере нет непосредственной связи с компьютерными науками; однако специальная сфера компьютерных наук, именуемая “Искусственный интеллект” (ИИ) и нацеленная на моделирование познавательных процессов человека, оказала огромное влияние на развитие когнитивной науки — особенно с тех пор, как для компьютерных программ искусственного интеллекта потребовались знания о том, как мы обрабатываем информацию. Соответствующая и весьма захватывающая тема <...> затрагивает вопрос о том, может ли “совершенный робот” имитировать человеческое поведение. Вообразим, например, эдакого сверхробота, овладевшего всеми способностями человека, связанными с восприятием, памятью, мышлением и языком. Как бы он ответил на вопрос водителя? Если бы робот был идентичен человеку, то и ответы его были бы идентичны, но представьте себе трудности разработки программы, которая бы ошиблась — так же, как это сделал полицейский (“вы поворачиваете налево”), — и затем, заметив эту ошибку, исправила бы ее (“нет, направо”). <...>

Представления современной когнитивной психологии

Возрождение когнитивной психологии

<...> Начиная с конца 50-х гг. интересы ученых снова сосредоточились на внимании, памяти, распознавании образов, образах, семантической организации, языковых процессах, мышлении и других “когнитивных” темах, однажды сочтенных под давлением бихевиоризма неинтересными для экспериментальной психологии. По мере того как психологи все более поворачивались лицом к когнитивной психологии, организовывались новые журналы и научные группы, и когнитивная психология еще более упрочивала свои позиции,

становилось ясно, что эта отрасль психологии сильно отличается от той, что была в моде в 30-х и 40-х годах. Среди важнейших факторов, обусловивших эту неоконитивную революцию, были такие:

“Неудача” бихевиоризма. Бихевиоризму, который вообще изучал внешние реакции на стимулы, не удалось объяснить разнообразие человеческого поведения. Стало, таким образом, очевидным, что внутренние мысленные процессы, косвенно связанные с непосредственными стимулами, влияют на поведение. Некоторые полагали, что эти внутренние процессы можно определить и включить их в общую теорию когнитивной психологии.

Возникновение теории связи. Теория связи спровоцировала проведение экспериментов по обнаружению сигналов, вниманию, кибернетике и теории информации — т.е. в областях, существенных для когнитивной психологии.

Современная лингвистика. В круг вопросов, связанных с познанием, были включены новые подходы к языку и грамматическим структурам.

Изучение памяти. Исследования по вербальному научению и семантической организации создали крепкую основу для теорий памяти, что привело к развитию моделей систем памяти и появлению проверяемых моделей других когнитивных процессов.

Компьютерная наука и другие технологические достижения. Компьютерная наука и особенно один из ее разделов — искусственный интеллект (ИИ) — заставили пересмотреть основные постулаты, касающиеся обработки и хранения информации в памяти, а также научения языку. Новые устройства для экспериментов значительно расширили возможности исследователей.

От ранних концепций репрезентации знаний и до новейших исследований считалось, что знания в значительной степени опираются на сенсорные входные сигналы. Эта тема дошла к нам еще от греческих философов и через ученых эпохи ренессанса — к современным когнитивным психологам. Но *идентичны ли* внутренние репрезентации мира его физическим свойствам? Все больше свидетельств того, что многие внутренние репрезентации реальности — это не то же

самое, что сама внешняя реальность — т.е. они *не изоморфны*. Работа Толмена с лабораторными животными заставляет предположить, что информация, полученная от органов чувств, хранится в виде абстрактных репрезентаций.

Несколько более аналитичный подход к теме когнитивных карт и внутренних репрезентаций избрали Норман и Румельхарт (1975). В одном из экспериментов они попросили жителей общежития при колледже нарисовать план своего жилья сверху. Как и ожидалось, студенты смогли идентифицировать рельефные черты архитектурных деталей — расположение комнат, основных удобств и приспособлений. Но были также упущения и просто ошибки. Многие изобразили балкон вровень с наружной стороной здания, хотя на самом деле он выступал из нее. Из ошибок, обнаруженных в схеме здания, мы можем многое узнать о внутреннем представлении информации у человека. Норман и Румельхарт пришли к такому выводу:

“Репрезентация информации в памяти не является точным воспроизведением реальной жизни; на самом деле это сочетание информации, умозаключений и реконструкций на основе знаний о зданиях и мире вообще. Важно отметить, что когда студентам указывали на ошибку, они все очень удивлялись тому, что сами нарисовали”.

На этих примерах мы познакомились с важным принципом когнитивной психологии. Наиболее очевидно то, что наши представления о мире не обязательно идентичны его действительной сущности. Конечно, репрезентация информации связана с теми стимулами, которые получает наш сенсорный аппарат, но она также подвергается значительным изменениям. Эти изменения, или модификации, очевидно связаны с нашим прошлым опытом¹, результатом которого явилась богатая и сложная сеть наших знаний. Таким обра-

зом, поступающая информация абстрагируется (и до некоторой степени искажается) и хранится затем в системе памяти человека. Такой взгляд отнюдь не отрицает, что *некоторые* сенсорные события непосредственно аналогичны своим внутренним репрезентациям, но предполагает, что сенсорные стимулы могут при хранении подвергаться (и часто это так и есть) абстрагированию и модификации, являющихся функцией богатого и сложно переплетенного знания, структурированного ранее. <...>

Проблема того, как знания представлены в уме человека, относится к наиболее важным в когнитивной психологии. В этом разделе мы обсуждаем некоторые вопросы, непосредственно связанные с ней. Из множества уже приведенных примеров и еще большего их количества, ожидающего нас впереди, ясно следует, что наша внутренняя репрезентация реальности имеет некоторое сходство с реальностью внешней, но когда мы абстрагируем и преобразуем информацию, мы делаем это в свете нашего предшествующего опыта.

Концептуальные науки² и когнитивная психология

В этой книге часто будут употребляться два понятия — о когнитивной модели и о концептуальной науке. Они связаны между собой, но различаются в том смысле, что “концептуальная наука” — это очень общее понятие, тогда как термин “когнитивная модель” обозначает отдельный класс концептуальной науки. При наблюдении за объектами и событиями — как в эксперименте, где те и другие контролируются, так и в естественных условиях — ученые разрабатывают различные понятия с целью:

- организовать наблюдения;
- придать этим наблюдениям смысл;
- связать между собой отдельные моменты, вытекающие из этих наблюдений;

¹Ряд теоретиков придерживаются мнения, что некоторые структуры — например, языковые — являются универсальными и врожденными.

²У Солсо концептуальная наука — это наука, предметом которой являются понятия и теоретические построения, а не физическая природа, как в естественных науках. Понятие концептуальной науки уже, чем понятие гуманитарной науки, к которой относятся психология, философия, социология, история и т.д. Ближе всего концептуальная наука соответствует нашему термину “методология науки”, науковедение.

- развивать гипотезы;
- предсказывать события, которые еще не наблюдались;
- поддерживать связь с другими учеными.

Когнитивные модели — это особая разновидность научных концепций, и они имеют те же задачи. Определяются они обычно по-разному, но мы определим когнитивную модель как *метафору, основанную на наблюдениях и выводах, сделанных из этих наблюдений, и описывающих, как обнаруживается, хранится и используется информация*¹.

Ученый может подобрать удобную метафору, чтобы возможно элегантнее выстроить свои понятия. Но другой исследователь может доказать, что данная модель неверна и потребовать пересмотреть ее или вообще от нее отказаться. Иногда модель может оказаться настолько полезной в качестве рабочей схемы, что даже будучи несовершенной она находит свою поддержку. Например, хотя в когнитивной психологии постулируются два вышеописанных вида памяти — кратковременная и долговременная — есть некоторые свидетельства <...>, что такая дихотомия неверно представляет реальную систему памяти. Тем не менее, эта метафора весьма полезна при анализе когнитивных процессов. Когда какая-нибудь модель теряет свою актуальность в качестве аналитического или описательного средства, от нее просто отказываются. <...>

Возникновение новых понятий в процессе наблюдений или проведения экспериментов — это один из показателей развития науки. Ученый не изменяет природу — ну разве что в ограниченном смысле, — но наблюдение за природой *изменяет* представления ученого о ней. А наши представления о природе, в свою очередь, направляют наши наблюдения! Когнитивные модели, так же как и другие модели концептуальной науки, есть *следствие* наблюдений, но в определенной степени они же — *опреде-*

ляющий фактор наблюдений. Этот вопрос связан с уже упоминавшейся проблемой: в каком виде наблюдатель репрезентирует знания. Как мы убедились, есть много случаев, когда информация во внутренней репрезентации не соответствует точно внешней реальности. Наши внутренние репрезентации перцептов могут исказить реальность. “Научный метод” и точные инструменты — это один из способов подвергнуть внешнюю реальность более точному рассмотрению. На самом деле не прекращаются попытки представить наблюдаемое в природе в виде таких когнитивных построений, которые были бы точными репрезентациями природы и одновременно совместимы со здравым смыслом и пониманием наблюдателя <...>.

Логику концептуальной науки можно проиллюстрировать на примере развития естественных наук. Общеизвестно, что материя состоит из элементов, существующих независимо от непосредственного их наблюдения человеком. Однако, то, как эти элементы классифицируются, оказывает огромное влияние на то, как ученые воспринимают физический мир. В одной из классификаций “элементы” мира разделены на категории “земля”, “воздух”, “огонь” и “вода”. Когда эта архаичная алхимическая систематика уступила дорогу более критическому взгляду, были “обнаружены” такие элементы, как кислород, углерод, водород, натрий и золото, и тогда стало возможным изучать свойства элементов при их соединении друг с другом. Были открыты сотни различных законов, касающихся свойств соединений из этих элементов. Так как элементы очевидно вступали в соединения упорядоченно, возникла идея, что элементы можно было бы расположить по определенной схеме, которая придавала бы смысл разрозненным законам атомарной химии. Русский ученый Дмитрий Менделеев взял набор карточек и написал на них названия и атомные веса всех известных тогда элементов — по одному на

¹ Некоторые философы утверждают, что концептуальная наука и когнитивные модели предсказуемы на том основании, что природа структурирована и роль ученого состоит именно в том, чтобы обнаружить “самую глубокую” структуру. Я бы не подписался под таким утверждением. Природа — включая познавательную природу человека — объективно существует. Концептуальная наука строится человеком и для человека. Построенные учеными понятия и модели — суть метафоры, отражающие “реальную” природу вселенной и являющиеся исключительно человеческими творениями. Они есть продукт мысли, который *может* отражать реальность.

каждой. Располагая эти карточки так и смяк снова и снова, он наконец получил осмысленную схему, известную сегодня как периодическая таблица элементов.

То, что он сделал — это подходящий пример того, как естественная, природная информация структурируется мыслью человека, так что она одновременно точно изображает природу и поддается пониманию. Важно, однако, помнить, что периодическое расположение элементов имело много интерпретаций. Интерпретация Менделеева была не единственной из возможных; возможно, она не была даже лучшей; в ней даже могло *не быть* естественного расположения элементов, но предложенный Менделеевым вариант помог понять часть физического мира и был очевидно совместим с “реальной” природой.

Концептуальная когнитивная психология имеет много общего с задачей, которую решал Менделеев. “Сырому” наблюдению за тем, как приобретаются, хранятся и используются знания, не хватает формальной структуры. Когнитивные науки, так же как и естественные, нуждаются в схемах, которые были бы интеллектуально совместимы и научно достоверны одновременно.

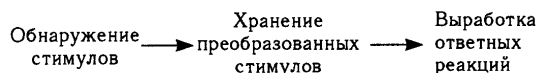
Когнитивные модели

Как мы уже говорили, концептуальные науки, включая когнитивную психологию, имеют метафорический характер. Модели явлений природы, в частности, когнитивные модели, — это служебные абстрактные идеи, полученные из умозаключений, основанных на наблюдениях. Строение элементов *может* быть представлено в виде периодической таблицы, как это сделал Менделеев, но важно не забывать, что эта классификационная схема является метафорой. И утверждение, что концептуальная наука является метафорической, несколько не уменьшает ее полезность. Действительно, одна из задач построения моделей — это лучше постичь наблюдаемое. А концептуальная наука нужна для другого: она задает исследователю некую схему, в рамках которой можно испытывать конкретные гипотезы и которая позволяет ему предсказывать события на основе этой модели. Периодическая таб-

лица очень изящно удовлетворяла обеим этим задачам. Исходя из расположения элементов в ней, ученые могли точно предсказывать химические законы соединения и замещения, вместо того, чтобы проводить бесконечные и беспорядочные эксперименты с химическими реакциями. Более того, стало возможным предсказывать еще не открытые элементы и их свойства при полном отсутствии физических доказательств их существования. И если вы занимаетесь когнитивными моделями, не забывайте аналогию с моделью Менделеева, поскольку когнитивные модели, как и модели в естественных науках, основаны на логике умозаключений и полезны для понимания когнитивной психологии.

Короче говоря, модели основываются на выводах, сделанных из наблюдений. Их задача — обеспечить умопостигаемую репрезентацию характера наблюдаемого и помочь сделать предсказания при развитии гипотез. Теперь рассмотрим несколько моделей, используемых в когнитивной психологии.

Начнем обсуждение когнитивных моделей с довольно грубой версии, делившей все когнитивные процессы на три части: обнаружение стимулов, хранение и преобразование стимулов и выработку ответных реакций:



Эта суховатая модель, близкая упоминавшейся ранее S—R модели, часто использовалась в том или ином виде в прежних представлениях о психических процессах. И хотя она отражает основные этапы развития когнитивной психологии, но в ней так мало подробностей, что она едва ли способна обогатить наше “понимание” когнитивных процессов. Она также не способна породить какие-либо новые гипотезы или предсказывать поведение. Эта примитивная модель аналогична древним представлениям о вселенной как состоящей из земли, воды, огня и воздуха. Подобная система действительно представляет один из возможных взглядов на когнитивные явления, но она неверно передает их сложность.

Одна из первых и наиболее часто упоминаемых когнитивных моделей касает-

ся памяти. В 1890 году Джеймс расширил понятие памяти, разделив ее на “первичную” и “вторичную” память. Он предполагал, что первичная память имеет дело с происшедшими событиями, а вторичная память — с постоянными, “неразрушимыми” следами опыта.

Позднее, в 1965 году Во и Норман предложили новую версию этой же модели и оказалось, что она во многом приемлема. Она понятна, она может служить источником гипотез и предсказаний,— но она также слишком упрощена. Можно ли с ее помощью описать *все* процессы человеческой памяти? Едва ли; и развитие более сложных моделей было неизбежно. <...> В нее была добавлена новая система хранения и несколько новых путей информации. Но даже эта модель является неполной и требует расширения.

За последнее десятилетие построение когнитивных моделей стало излюбленным времяпрепровождением психологов, и не-

которые из их творений поистине великолепны. Обычно проблема излишне простых моделей решается добавлением еще одного “блока”, еще одного информационного пути, еще одной системы хранения, еще одного элемента, который стоит проверить и проанализировать. Подобные творческие усилия выглядят вполне оправданными в свете того, что мы сейчас знаем о богатстве когнитивной системы человека.

Теперь вы можете сделать вывод, что изобретение моделей в когнитивной психологии вышло из-под контроля подобно ученику волшебника. Это не совсем верно, ибо это настолько обширная задача — т.е. анализ того, как информация обнаруживается, представляется, преобразуется в *знания*, и как эти знания используются,— что как бы мы ни ограничивали наши концептуальные метафоры упрощенными моделями, нам все равно не удастся исчерпывающим образом разъяснить всю сложную сферу когнитивной психологии <...>.

Э. Дюркгейм

[СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА]¹

Вместе с обществами видоизменяются и индивиды вследствие изменений, происходящих в числе социальных единиц и в их отношениях.

Во-первых, они все более освобождаются от гнета организма. Животное находится почти исключительно в зависимости от физической среды; его биологическое строение предопределяет его существование. Человек, наоборот, зависит от социальных причин. Конечно, животные также образуют общества; но, так как они весьма малы, то коллективная жизнь в них очень проста; она в то же время и неподвижна, так как равновесие таких малых обществ непременно устойчиво. По двум этим причинам она легко закрепляется в организме; она не только имеет в нем свои корни, но целиком воплощается в нем, так что теряет свои собственные черты. Она функционирует благодаря системе инстинктов, рефлексов, не отличающихся, по существу, от тех, которые обеспечивают функционирование органической жизни. Они содержат, правда, ту особенность, что приспособляют индивида к социальной среде, а не к физической; их причины — явления совместной жизни. Однако они по своей природе те же, что в известных случаях без предварительного воспитания вызывают движения, необходимые для полета и ходьбы. Совсем иное видим мы у человека, потому что образу-

емые им общества обширнее; даже самые малые из известных человеческих обществ превосходят по величине большинство обществ животных. Будучи более сложными, они также более изменчивы, и благодаря обоим этим причинам социальная жизнь в человечестве не закрепляется в биологической форме. Даже там, где она наиболее проста, она сохраняет свою специфичность. Постоянно существуют верования и обычаи, которые являются общими для людей, не будучи начертанными в их тканях. Но эта черта проявляется резче по мере приращения социального вещества и плотности. Чем больше ассоциировавшихся лиц и чем сильнее они воздействуют друг на друга, тем более также продукт этих воздействий выходит из пределов организма. Человек, таким образом, оказывается во власти причин *sui generis*, относительная доля которых в устройстве человеческой природы становится все значительней.

Более того, влияние этого фактора увеличивается не только относительно, но и абсолютно. Та же причина, которая увеличивает значение коллективной среды, влияет на органическую среду так, что делает ее более доступной действию социальных причин и подчиняет ее им. Так как больше индивидов живут вместе, то общая жизнь богаче и разнообразнее; но, чтобы это разнообразие было возможно, необходима меньшая определенность органического типа, с тем чтобы он был в состоянии разветвляться. Мы видели, в самом деле, что стремления и способности, передаваемые по наследству, становятся все более общими и неопределенными, и следовательно, не подверженными принятию формы инстинктов. Таким образом, происходит явление, как раз обратное тому, которое наблюдается в начале эволюции. У животных организм ассимилирует социальные факты и, лишая их особой природы, превращает в факты биологические. Социальная жизнь материализируется. В человечестве, наоборот (особенно в высших обществах), социальные причины замещают органические. Организм спиритуализируется.

Вследствие этого изменения формы зависимости индивид преобразуется. Так как

¹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 322—327.

та деятельность, которая перевозбуждает специфическое действие социальных причин, не может закрепиться в организме, то к телесной жизни присоединяется новая жизнь, также *sui generis*. Черты, отличающие эту более сложную, более свободную, более независимую от поддерживающих ее органов жизнь, проявляются все резче по мере того, как она прогрессирует и укрепляется. По этому описанию можно узнать существенные черты психической жизни. Без сомнения, было бы преувеличением утверждать, что психическая жизнь начинается только вместе с обществами, но верно и то, что она становится значительной только тогда, когда общества развиваются. Вот почему, как это часто замечали, прогресс сознания находится в обратном отношении к прогрессу инстинкта. Что бы об этом ни говорили, не первое разлагает последний; инстинкт, продукт накопленных в течение поколений опытов, обладает слишком большою силою сопротивления, чтобы перестать существовать только потому, что он становится сознательным. Истина в том, что сознание захватывает лишь те области, которые покинул инстинкт, или те, где он не может установиться. Не оно заставляет отступать его; оно только заполняет оставленное им свободное пространство. С другой стороны, если он регрессирует, вместо того чтобы увеличиваться с увеличением общей жизни, то причина этого лежит в большей важности социального фактора. Таким образом, важное различие между человеком и животным, а именно большее развитие психической деятельности, сводится к его большей социальности. Чтобы понять, почему психические функции с первых шагов человека были подняты на неизвестную животным степень совершенства, надо было бы сперва узнать, каким образом случилось, что люди, вместо того чтобы жить одиноко или небольшими группами, стали образовывать более обширные общества. Если, повторяя классическое определение, человек — разумное животное, то потому, что он общественное животное или, по крайней мере, бесконечно более общественное, чем другие животные¹.

Но это не все. Пока общества не достигают определенных размеров и определен-

ной степени концентрации, единственная истинно развитая психическая жизнь — это та, которая присуща всем членам группы, которая у всех одинакова. По мере того как общества становятся обширнее и особенно плотнее, возникает психическая жизнь нового рода. Индивидуальные различия, сначала затерянные и слившиеся в массу социальных сходств, выделяются из нее, становятся рельефнее. Масса явлений, оставшихся вне сознаний, так как они не затрагивали коллективного существа, становятся объектами представлений. В то время как прежде индивиды действовали только увлекаемые друг другом, кроме случаев, когда их поведение вызывалось физическими потребностями, теперь всякий из них становится источником самопроизвольной деятельности. Образуются отдельные личности, которые начинают сознавать себя, и однако, это приращение индивидуальной психической жизни не ослабляет социальную, а только преобразует ее. Она становится свободнее, обширнее, и так как в конце концов она не имеет другого субстрата, кроме индивидуальных сознаний, то последние в силу этого увеличиваются, становятся более сложными и гибкими.

Таким образом, та же причина, которая вызвала различия, отделяющие человека от животных, принудила его возвыситься над самим собой. Все увеличивающееся расстояние между дикарем и цивилизованным человеком не имеет другого источника. Если из первоначального смутного мира чувств выделилась мало-помалу способность порождать идеи; если человек научился образовывать понятия и формулировать законы; если его ум охватывает все увеличивающиеся объемы пространства и времени; если, не ограничиваясь сохранением прошлого, он все больше посягает на будущее; если его эмоции и стремления, сначала простые и малочисленные, так умножились и разветвились, то все это потому, что социальная среда непрерывно изменялась. Действительно, эти изменения — если только они не возникли из ничего — могли иметь причинами только соответствующие изменения окружающей среды. Но человек зависит только от тройного

¹ Определение Катрфажа, делающее из человека религиозное животное, есть частный случай предыдущего, ибо религиозность человека — следствие его высокой социальности <...>.

рода среды: от организма, внешнего мира, общества. Если игнорировать случайные изменения, происходящие от наследственных комбинаций, а их роль в прогрессе человечества, конечно, не очень значительна, то организм не изменяется самопроизвольно; необходимо, чтобы он был к этому принужден какой-нибудь внешней причиной. Что касается физического мира, то с начала истории он остается приблизительно тем же, если только не принимать в расчет изменений социального происхождения¹. Следовательно, остается только общество, которое достаточно изменилось, чтобы этим можно было объяснить параллельные изменения природы индивида.

Итак, теперь нет ничего безрассудного в утверждении, что, какие бы успехи ни сделала психофизиология, она всегда сможет представлять собой только часть психологии, так как большая часть психических явлений не происходит от органических причин. Это поняли философы-спиритуалисты, и великая услуга, оказанная ими науке, состоит в борьбе со всеми доктринами, сводящими психическую жизнь к некоему расцвету физической жизни. Они весьма справедливо думали, что первая в своих высших проявлениях слишком свободна и сложна, чтобы быть только продолжением последней. Только из того, что она отчасти независима от организма, не следует вовсе, что она не зависит ни от какой материальной причины и что ее должно поместить вне природы. Все те факты, объяснения которых нельзя найти в строении тканей, происходят от свойств социальной среды; по крайней мере, это гипотеза, имеющая на основании предыдущего весьма большое правдоподобие. Но социальное царство не менее естественно, чем органическое. Следовательно, из того, что есть обширная область сознания, генезис которой не объясним одной только психофизиологией, не надо заключать, что оно образовалось само по себе и что оно не подвластно никакому научному исследованию, но только, что оно относится к другой положительной науке,

которую можно было бы назвать социопсихологией. Составляющие ее содержание явления действительно смешанной природы; они имеют те же существенные черты, что и другие психические факты, но происходят от социальных причин.

Не следует, стало быть, подобно Спенсеру, представлять социальную жизнь как простую равнодействующую индивидуальных существ; наоборот, скорее последние вытекают из первой. Социальные факты не представляют собой простого продолжения психических фактов; последние главным образом не что иное, как продолжение первых внутри сознаний. Это положение весьма важно, так как противоположная точка зрения постоянно подвергает социолога риску принять причину за следствие, и наоборот. Например, если (как это часто случается) в организации семьи видят логически необходимое выражение человеческих чувств, внутренне присущих всякому сознанию, то опрокидывают реальный порядок фактов; как раз наоборот: социальная организация отношений родства вызвала чувства родителей и детей. Они были бы совсем иные, если бы социальная структура была иной, и доказательством этого служит то, что действительно отцовское чувство неизвестно во многих обществах². Можно было бы привести много других примеров подобной же ошибки³. Бесспорна та истина, что нет ничего в социальной жизни, чего не было бы в индивидуальных сознаниях; но почти все, что в них находится, взято ими у общества. Большая часть наших состояний сознания не появилась бы у изолированных существ и проявилась бы совсем иначе у существ, сгруппированных иным образом. Значит, они вытекают не из психологической природы человека вообще, но из способа, каким ассоциировавшиеся люди воздействуют друг на друга, согласно их количеству и степени сближения. Так как они продукты групповой жизни, то только природа группы может объяс-

¹ Изменения почвы, течения вод под влиянием земледельцев, инженеров и т. д.

² Это имеет место в обществах, где господствует материнская семья.

³ Приведем только один пример — религию, которую объясняли из индивидуальных эмоций, между тем как эти эмоции только продолжение у индивида социальных состояний, порождающих религии. Мы затронули этот вопрос в статье “Etudes de science social” (Revue philosophique, juin 1886).

нить их. Само собою разумеется, что они не были бы возможны, если бы индивидуальные строения не были годны для этого; но последние — только отдаленные условия их, а не определяющие причины. Спенсер сравнивает в одном месте¹ работу социолога с вычислением математика, который из формы известного числа ядер

выводит способ, каким они должны комбинироваться, чтобы удерживаться в равновесии. Сравнение это неточно и неприложимо к социальным фактам. Здесь скорее форма целого определяет форму частей. Общество не находит в сознаниях вполне готовыми основания, на которых оно покоится; оно само создает их себе².

¹ См. Introduction à la science sociale, ch. 1.

² На наш взгляд, этого довольно, чтобы ответить людям, надеющимся доказать, что все в социальной жизни индивидуально, так как общество состоит только из индивидов. Бесспорно, оно не имеет другого субстрата; но, поскольку индивиды образуют общество, возникают новые явления, которые имеют причиной ассоциацию и которые, реагируя на индивидуальные сознания, в большой мере формируют их. Вот почему — хотя общество ничто без индивидов — каждый из последних — скорее продукт общества, чем его автор.

Э. Дюркгейм

[ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ]¹

Прежде чем искать метод, пригодный для изучения социальных фактов, важно узнать, что представляют собой факты, носящие данное название.

Вопрос этот тем более важен, что данный термин обыкновенно применяют не совсем точно.

Им зачастую обозначают почти все происходящие в обществе явления, если только последние представляют какой-либо общий социальный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые не могли бы быть названы социальными. Каждый индивид пьет, спит, ест, рассуждает, и общество очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись регулярно. Если бы все эти факты были социальными, то у социологии не было бы своего собственного предмета, и ее область слилась бы с областью биологии и психологии. Но в действительности во всяком обществе существует определенная группа явлений, отличающихся резко очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными

чувствами и когда я признаю в душе их реальность, последняя остается все-таки объективной, так как я не сам создал их, а усвоил их благодаря воспитанию.

Как часто при этом случается, что нам неизвестны детали налагаемых на нас обязанностей, и для того чтобы узнать их, мы вынуждены справляться с кодексом и советоваться с его уполномоченными истолкователями! Точно так же верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, денежная система, употребляемая мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии, и т. д.— все это функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и чувствования обладают тем примечательным свойством, что существуют вне индивидуальных сознаний.

Эти типы поведения или мышления не только находятся вне индивида, но и наделены принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от его желания. Конечно, когда я добровольно сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи бесполезным, мало или совсем не ощущается. Тем не менее оно является характерным свойством этих фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно проявляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить нормы права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если еще есть время; или уничтожая и восстанавливая его в его нормальной форме, если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить его, если иначе его исправить нельзя. Относится ли сказанное к чисто нравственным правилам?

¹ Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 411—418.

Общественная совесть удерживает от всякого действия, оскорбляющего их, посредством надзора за поведением граждан и особых наказаний, которыми она располагает. В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчиняюсь условиям света, если я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны и моего класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле этого слова. В других случаях имеет место принуждение, хотя и косвенное, но не менее действенное. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать установленную валюту, но я не могу поступить иначе. Если бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной.

Если я промышленник, то никто не заставляет меня работать, употребляя приемы и методы прошлого столетия, но если я сделаю это, я наверняка разорюсь. Даже если фактически я смогу освободиться от этих правил и успешно нарушить их, то я могу сделать это лишь после борьбы с ними. Если даже в конце концов они и будут побеждены, то все же они достаточно дают почувствовать свою принудительную силу оказываемым ими сопротивлением. Нет такого новатора, даже удачливого, предприятия которого не сталкивались бы с оппозицией этого рода.

Такова, стало быть, категория фактов, отличающихся весьма специфическими свойствами; ее составляют способы мышления, деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие которой они ему навязываются. Поэтому их нельзя смешивать ни с органическими явлениями, так как они состоят из представлений и действий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном сознании и через его посредство. Они составляют, следовательно, новый вид, и им то и должно быть присвоено название *социальных*. Оно им вполне подходит, так как ясно, что, не имея своим субстратом индивида, они не могут иметь другого суб-

страта, кроме общества, будь то политическое общество в целом или какие-либо отдельные группы, в нем заключающиеся: религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т. д. С другой стороны, оно применимо только к ним, так как слово “социальный” имеет определенный смысл лишь тогда, когда обозначает исключительно явления, не входящие ни в одну из установленных и названных уже категорий фактов. Они составляют, следовательно, собственную область социологии. Правда, слово “принуждение”, при помощи которого мы их определяем, рискует встретить ревностных сторонников абсолютного индивидуализма. Поскольку они признают индивида вполне автономным, то им кажется, что его унижают всякий раз, как дают ему почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но так как теперь несомненно, что большинство наших идей и стремлений не выработаны нами, а приходят к нам извне, то они могут проникнуть в нас, лишь заставив признать себя; вот все, что выражает наше определение. Кроме того, известно, что социальное принуждение не исключает непременно индивидуальность¹.

Но так как приведенные нами примеры (юридические и нравственные правила, религиозные догматы, финансовые системы и т. п.) все состоят из уже установленных верований и обычаев, то на основании сказанного можно было бы подумать, что социальный факт может быть лишь там, где есть определенная организация. Однако существуют другие факты, которые, не представляя собой таких кристаллизованных форм, обладают той же объективностью и тем же влиянием на индивида. Это так называемые социальные течения.

Так, возникающие в многолюдных собраниях великие движения энтузиазма, негодования, сострадания не зарождаются ни в каком отдельном сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас, вопреки нам самим. Конечно, может случиться, что, отдаваясь им вполне, я не буду чувствовать того давления, которое они оказывают на меня. Но оно проявится тотчас, как только я

¹ Это не значит, что всякое принуждение нормально. Мы к этому вернемся впоследствии.

попытаюсь бороться с ними. Пусть какой-нибудь индивид попробует противиться одной из этих коллективных манифестаций, и тогда отрицаемые им чувства обратятся против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается с такой ясностью в случаях сопротивления, то, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. Таким образом, мы являемся жертвами иллюзии, заставляющей нас верить в то, что мы сами создали то, что навязано нам извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, и маскирует испытанное давление, то она его не уничтожает. Так, воздух все-таки обладает весом, хотя мы и не чувствуем его. Даже если мы со своей стороны содействовали возникновению общего чувства, то впечатление, полученное нами, будет совсем другим, чем то, которое мы испытали бы, если бы были одни. Поэтому когда собрание разойдется, когда эти социальные влияния перестанут действовать на нас и мы останемся наедине с собой, то чувства, пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы замечаем тогда, что мы их гораздо более испытали, чем создали. Случается даже, что они вызывают в нас ужас, настолько они были противны нашей природе. Так, индивиды, в обыкновенных условиях совершенно безобидные, соединяясь в толпу, могут вовлекаться в акты жестокости. То, что мы говорим об этих мимолетных вспышках, применимо также к тем более длительным движениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас или во всем обществе или в более ограниченных кругах по поводу религиозных, политических, литературных, художественных и других вопросов.

Данное определение социального факта можно подтвердить еще одним характерным наблюдением, стоит только обратить внимание на то, как воспитывается ребенок. Если рассматривать факты такими, каковы они есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все воспитание заключается в постоянном усилии приучить ребенка видеть, чувствовать и действовать так, как он не привык бы самостоятельно. С самых первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в опреде-

ленные часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию; позднее мы принуждаем его считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы принуждаем его к работе и т. д. Если с течением времени это принуждение и перестает ощущаться, то только потому, что оно постепенно рождает привычки, внутренние склонности, которые делают его бесполезным, но заменяют его лишь вследствие того, что сами из него вытекают. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание должно было бы отвергать такие приемы и предоставлять ребенку полную свободу; но так как эта педагогическая теория никогда не практиковалась ни одним из известных народов, то она составляет лишь *desideratum* автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным фактам. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание имеет целью создать социальное существо; на нем, следовательно, можно увидеть в общих чертах, как образовалось это существо в истории. Это давление, ежеминутно испытываемое ребенком, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и имеющей своими представителями и посредниками родителей и учителей.

Таким образом, характерным признаком социальных явлений служит не их распространенность. Какая-нибудь мысль, присущая сознанию каждого индивида, какое-нибудь движение, повторяемое всеми, не становятся от этого социальными фактами. Если этим признаком и довольствовались для их определения, то это потому, что их ошибочно смешивали с тем, что может быть названо их индивидуальными воплощениями. К социальным фактам принадлежат верования, стремления, обычаи группы, взятой коллективно; что же касается тех форм, в которые облакаются коллективные состояния, передаваясь индивидам, то это явления иного порядка. Двойственность их природы наглядно доказывается тем, что обе эти категории фактов часто встречаются в разъединенном состоянии. Действительно, некоторые из этих образов мыслей или действий приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, создает из них осадок и изолирует от отдельных событий, их отражающих. Они

как бы приобретают, таким образом, особое тело, особые свойственные им осязательные формы и составляют реальность *sui generis*, очень отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективная привычка существует не только как нечто имманентное ряду определяемых ею действий, но по привилегии, не встречаемой нами в области биологической, она выражается раз и навсегда в какой-нибудь формуле, повторяющейся из уст в уста, передающейся воспитанием, закрепляющейся даже письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, народных афоризмов и преданий, догматов веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, кодексов вкуса, устанавливаемых литературными школами и пр. Существование всех их не исчерпывается целиком применениями их в жизни отдельных лиц, так как они могут существовать и не будучи применяемы в настоящее время.

Конечно, эта диссоциация не всегда одинаково четко проявляется. Но достаточно ее неоспоримого существования в поименованных нами важных и многочисленных случаях, для того чтобы доказать, что социальный факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме того, даже тогда, когда она не дана непосредственно наблюдению, ее можно часто обнаружить с помощью некоторых искусственных приемов; эту операцию даже необходимо произвести, если желают освободить социальный факт от всякой примеси и наблюдать его в чистом виде. Так, существуют известные течения общественного мнения, вынуждающие нас с различной степенью интенсивности, в зависимости от времени и страны, одного, например, к браку, другого к самоубийству или к более или менее высокой детности и т. п. Это, очевидно, социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в отдельных случаях. Но статистика дает нам средство изолировать их. Они в действительности изображаются довольно точно цифрой рождаемости, браков и самоубийств, т. е. числом, получающимся от деления среднего годового итога браков, рож-

дений, добровольных смертей на число лиц, по возрасту способных жениться, производить, убивать себя¹. Так как каждая из этих цифр охватывает без различия все отдельные случаи, то индивидуальные условия, способные сказываться на возникновении явления, взаимно нейтрализуются и вследствие этого не определяют этой цифры. Она выражает лишь известное состояние коллективной души.

Вот что такое социальные явления, освобожденные от всякого постороннего элемента. Что же касается их частных проявлений, то и в них есть нечто социальное, так как они частично воспроизводят коллективный образец. Но каждое из них в большой мере зависит также и от психоорганической конституции индивида, и от особых условий, в которых он находится. Они, следовательно, не относятся к собственно социологическим явлениям. Они принадлежат одновременно двум областям, и их можно было бы назвать социопсихическими. Они интересуют социолога, не составляя непосредственного предмета социологии. Точно так же и в организме встречаются явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками, как, например, биологической химией.

Но, скажут нам, явление может быть общественным лишь тогда, когда оно свойственно всем членам общества, или, по крайней мере, большинству из них, следовательно, при условии всеобщности. Без сомнения, однако, оно всеобще лишь потому, что социально (т. е. более или менее обязательно), а отнюдь не социально потому, что всеобще. Это такое состояние группы, которое повторяется у индивидов, потому что оно навязывается им. Оно находится в каждой части, потому что находится в целом, а вовсе не потому оно находится в целом, что находится в частях. Это особенно очевидно относительно верований и обычаев, передающихся нам уже вполне сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и усваиваем их, потому что они, как творение коллективное и вековое, облечены особым авторитетом, который мы вследствие воспитания привыкли уважать и признавать. А надо заметить, что огромное большинство соци-

¹ Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково часто прибегают к самоубийству.

альных явлений приходит к нам этим путем. Но даже тогда, когда социальный факт возникает отчасти при нашем прямом содействии, природа его все та же. Коллективное чувство, вспыхивающее в собрании, выражает не только то, что было общего между всеми индивидуальными чувствами. Как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Оно есть результирующая совместной жизни, продукт действий и противодействий,

возникающих между индивидуальными сознаниями. И если оно отражается в каждом из них, то это в силу той особой энергии, которой оно обязано своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, то это не вследствие самопроизвольного и предустановленного согласия, а потому, что их движет одна и та же сила и в одном и том же направлении. Каждого увлекают все.

Л.С.Выготский

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА¹

*Вечные законы природы превращаются
все более и более в исторические законы.
Ф. Энгельс*

1. Проблема

В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, таким образом, различать две основные линии. Одна — это линия естественного развития поведения, тесно связанная с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая — линия культурного совершенствования психологических функций, выработки новых способов мышления, овладения культурными средствами поведения.

Так, например, ребенок старшего возраста может запоминать лучше и больше, чем ребенок младшего возраста по двум совершенно различным причинам. Процессы запоминания проделали в течение этого срока известное развитие, они поднялись на высшую ступень, но по какой из двух линий шло это развитие памяти, — это может быть вскрыто только при помощи психологического анализа.

Ребенок, может быть, запоминает лучше потому, что развились и усовершенствовались нервно-психические процессы, лежащие в основе памяти, развилась орга-

ническая основа этих процессов, короче — “мнема” или “мнемические функции” ребенка. Но развитие могло идти и совершенно другим путем. Органическая основа памяти, или мнема, могла и не измениться за этот срок сколько-нибудь существенным образом, но могли развиться самые приемы запоминания, ребенок мог научиться лучше пользоваться своей памятью, он мог овладеть мнемотехническими способами запоминания, в частности — способом запоминать при помощи знаков.

В действительности всегда могут быть открыты обе линии развития, потому что ребенок старшего возраста запоминает не только больше, чем ребенок младшего, но он запоминает также иначе, иным способом. В процессе развития происходит все время это качественное изменение форм поведения, превращение одних форм в другие. Ребенок, который запоминает при помощи географической карты или при помощи плана, схемы, конспекта, может служить примером такого культурного развития памяти.

Есть все основания предположить, что культурное развитие заключается в усвоении таких приемов поведения, которые основываются на использовании и употреблении знаков в качестве средств для осуществления той или иной психологической операции; что культурное развитие заключается именно в овладении такими вспомогательными средствами поведения, которые человечество создало в процессе своего исторического развития, и какими являются язык, письмо, система счисления и др. В этом убеждает нас не только изучение психологического развития примитивного человека, но и прямые и непосредственные наблюдения над детьми.

Для правильной постановки проблемы культурного развития ребенка имеет большое значение выделенное в последнее время понятие детской примитивности. Ребенок-примитив — это ребенок, не проделавший культурного развития или стоящий на относительно низкой ступени этого развития. Выделение детской примитивности, как особой формы недо-

¹ *Выготский Л.С.* Проблема культурного развития ребенка // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1991. N 4. С. 5—18.

развития, может способствовать правильному пониманию культурного развития поведения. Детская примитивность, т. е. задержка в культурном развитии ребенка, бывает связана большей частью с тем, что ребенок по каким-либо внешним или внутренним причинам не овладел культурными средствами поведения, чаще всего — языком.

Однако примитивный ребенок — здоровый ребенок. При известных условиях ребенок-примитив проделывает нормальное культурное развитие, достигая интеллектуального уровня культурного человека. Это отличает примитивизм от слабоумия. Правда, детская примитивность может сочетаться со всеми степенями естественной одаренности.

Примитивность, как задержка в культурном развитии, осложняет почти всегда развитие ребенка, отягченного дефектом. Часто она сочетается с умственной отсталостью. Но и при такой смешанной форме все же примитивность и слабоумие остаются двумя различными по своей природе явлениями, судьба которых также глубоко различна. Одно есть задержка органического или естественного развития, коренящаяся в дефектах мозга. Другое — задержка в культурном развитии поведения, вызванная недостаточным овладением средствами культурного мышления. Приведем пример:

Девочка 9 лет, вполне нормальна, примитивна. Девочку спрашивают: 1) В одной школе некоторые дети хорошо пишут, а некоторые хорошо рисуют, все ли дети в этой школе хорошо пишут и рисуют? — Ответ: Откуда я знаю, что я не видела своими глазами, то я не могу объяснить. Если бы я видела своими глазами. 2) Все игрушки моего сына сделаны из дерева, и деревянные вещи не тонут в воде. Могут потонуть игрушки моего сына или нет? — Ответ: Нет. — Почему? — Потому что дерево никогда не тонет, а камень тонет. *Сама видела.* 3) Все мои братья жили у моря, и все они умеют хорошо плавать. Все ли люди, которые живут около моря, умеют хорошо плавать или не все? — Ответ: Некоторые хорошо, некоторые совсем не умеют: *сама видела.* У меня есть двоюродная сестра, она не умеет плавать. 4) Почти все мужчины выше, чем женщины. Выше ли мой дядя, чем его жена, или нет? — Ответ: Не знаю. Если бы я видела,

то я бы сказала, если бы я видела вашего дядю: он высокий или низкий, то я сказала бы вам. 5) Мой двор меньше сада, а сад меньше огорода. Меньше ли двор, чем огород, или нет? — Ответ: Тоже не знаю. А как вы думаете: разве, если я не видела, я разве могу вам объяснить? *А если я скажу большой огород, а если это не так?*¹

Или другой пример: мальчик-примитив. Вопрос: Чем не похоже дерево и бревно? Ответ: Дерево не видал, ей-богу не видал, дерева не знаю, ей-богу не видал. Перед окном растет липа. На вопрос с указанием на липу — а это что? Ответ: Это липа.

Задержка в развитии логического мышления и в образовании понятий проистекает непосредственно из того, что дети не овладели еще достаточно языком, этим главным орудием логического мышления и образования понятий. “Наши многочисленные наблюдения доказывают, — говорит А. Петрова, из исследований которой мы заимствуем приведенные выше примеры, — что полная замена одного, неокрепшего, языка другим, также не завершенным, не проходит безнаказанно для психики. Эта замена одной формы мышления другою особенно понижает психическую деятельность там, где она и без того небогата”.

В нашем примере девочка, сменившая еще не окрепший татарский язык на русский, так и не овладела до конца умением пользоваться языком как орудием мышления. Она обнаруживает полное неумение пользоваться словом, хотя и говорит, т. е. умеет им пользоваться как средством сообщения. Она не понимает, как можно заключать на основании слов, а не на основании того, что она видела своими глазами.

Обычно обе линии психологического развития, естественного и культурного, сливаются так, что их бывает трудно различить и проследить каждую в отдельности. В случае резкой задержки одной какой-нибудь из этих двух линий происходит их более или менее явное разъединение, как это мы видим в случаях детской примитивности.

Эти же случаи показывают нам, что культурное развитие не создает чего-либо нового сверх и помимо того, что заключено, как возможность, в естественном раз-

¹ Петрова А.Н. Дети-примитивы // Вопросы педологии и детской психоневрологии / Под ред. М.О. Гуревича. М., 1926. Вып. 2.

витии поведения ребенка. Культура вообще не создает ничего нового сверх того, что дано природой, но она видоизменяет природу сообразно целям человека. То же самое происходит и в культурном развитии поведения. Оно также заключается во внутренних изменениях того, что дано природой в естественном развитии поведения.

Как еще показал Геффдинг, высшие формы поведения не располагают такими средствами и фактами, каких не было бы уже при низших формах этой самой деятельности. “То обстоятельство, что ассоциация представлений делается при мышлении предметом особого интереса и сознательного выбора, не может, однако, изменить законов ассоциаций; мышлению в собственном смысле точно так же невозможно освободиться от этих законов, как невозможно, чтобы мы какой-либо искусственной машиной устранили законы внешней природы; но психологические законы точно так же, как и физические, мы можем направить на служение нашим целям”.

Когда мы, следовательно, намеренно вмешиваемся в течение процессов нашего поведения, то это совершается только по тем же законам, каким подчинены эти процессы в своем естественном течении, точно так же, как только по законам внешней природы мы можем ее видоизменять и подчинять своим целям. Это указывает нам верное соотношение, существующее между культурным приемом поведения и примитивными его формами.

2. Анализ

Всякий культурный прием поведения, даже самый сложный, может быть всегда полностью и без всякого остатка разложен на составляющие его естественные нервно-психические процессы, как работа всякой машины может быть в конечном счете сведена к известной системе физико-химических процессов. Поэтому первой задачей научного исследования, когда оно подходит к какому-нибудь культурному приему поведения, является *анализ этого приема*, т.е. вскрытие его составных частей, естественных психологических процессов, образующих его.

Этот анализ, проведенный последовательно и до конца, всегда приводит к одно-

му и тому же результату, именно он показывает, что нет такого сложного и высокого приема культурного мышления, который бы не состоял в конечном счете из некоторых элементарных процессов поведения. Путь и значение такого анализа легче всего могут быть пояснены при помощи какого-нибудь конкретного примера.

В наших экспериментальных исследованиях мы ставим ребенка в такую ситуацию, в которой перед ним возникает задача запомнить известное количество цифр, слов или другой какой-либо материал. Если эта задача не превышает естественных сил ребенка, ребенок справляется с ней естественным или примитивным способом. Он запоминает, образуя ассоциативные или условно-рефлекторные связи между стимулами и реакциями.

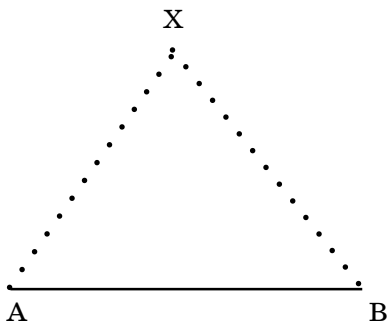
Ситуация в наших экспериментах, однако, почти никогда не оказывается такой. Задача, встающая перед ребенком, обычно превышает его естественные силы. Она оказывается не разрешимой таким примитивным и естественным способом. Тут же перед ребенком лежит обычно какой-нибудь совершенно нейтральный по отношению ко всей игре материал: бумага, булавки, дробь, веревка и т. д. Ситуация оказывается в данном случае очень похожей на ту, которую Келер создавал для своих обезьян. Задача возникает в процессе естественной деятельности ребенка, но разрешение ее требует обходного пути или применения орудия.

Если ребенок изобретает этот выход, он прибегает к помощи знаков, завязывая узелки на веревке, отсчитывая дробинки, прокалывая или надрывая бумагу и т. д. Подобное запоминание, основывающееся на использовании знаков, мы рассматриваем как типический пример всякого культурного приема поведения. Ребенок решает внутреннюю задачу с помощью внешних средств; в этом мы видим самое типическое своеобразие культурного поведения.

Это же отличает ситуацию, создаваемую в наших экспериментах, от ситуации Келера, которую сам этот автор, а за ним и другие исследователи пытались перенести на детей. Там задача и ее разрешение находились всецело в плане внешней деятельности. У нас — в плане внутренней. Там нейтральный объект приобретал

функциональное значение орудия, здесь — функциональное значение знака.

Именно по этому пути развития памяти, опирающейся на знаки, и шло человечество. Такая, мнемотехническая по существу, операция является специфически человеческой чертой поведения. Она невозможна у животного. Сравним теперь натуральное и культурное запоминание ребенка. Отношение между одной и другой формой может быть наглядно выражено при помощи приводимой нами схемы треугольника.



При натуральном запоминании устанавливается простая ассоциативная или условно-рефлекторная связь между двумя точками *A* и *B*. При мнемотехническом запоминании, пользуясь каким-либо знаком, вместо одной ассоциативной связи, *AB*, устанавливаются две другие, *AX* и *BX*, приводящие к тому же результату, но другим путем. Каждая из этих связей *AX* и *BX* является таким же условно-рефлекторным процессом замыкания связи в коре головного мозга, как и связь *AB*. Мнемотехническое запоминание, таким образом, может быть разложено без остатка на те же условные рефлексы, что и запоминание естественное.

Новым является факт замещения одной связи двумя другими. Новой является конструкция или комбинация нервных связей, новым является направление, данное процессу замыкания связи при помощи знака. Новыми являются не элементы, но структура культурного приема запоминания.

3. Структура

Второй задачей научного исследования и является выяснение структуры этого приема. Хотя всякий прием культурного поведения и составляется, как показывает анализ, из естественных психологических

процессов, однако он объединяет их не механически, а структурно. Это значит, что все входящие в состав этого приема процессы представляют собою сложное функциональное и структурное единство.

Это единство образует, во-первых, задача, на разрешение которой направлен данный прием, и, во-вторых, средство, при помощи которого он осуществляется. С точки зрения генетической мы совершенно верно назвали *первый* и *второй* моменты. Однако структурно именно второй момент является главенствующим и определяющим, так как одна и та же задача, разрешаемая различными средствами, будет иметь и различную структуру. Стоит только ребенку в описанной выше ситуации обратиться к помощи внешних средств для запоминания, как весь строй ее процессов будет определен характером того средства, которое он избрал.

Запоминание, опирающееся на различные системы знаков, будет различным по своей структуре. Знак, или вспомогательное средство культурного приема, образует таким образом структурный и функциональный центр, который определяет состав и относительное значение каждого частного процесса. Включение в какой-либо процесс поведения знака, при помощи которого он совершается, перестраивает весь строй психологических операций наподобие того, как включение орудия перестраивает весь строй трудовой операции.

Образующиеся при этом структуры имеют свои специфические закономерности. В них одни психологические операции замещаются другими, приводящими к тому же результату, но совершенно другим путем. Так, например, при мнемотехническом запоминании сравнение, догадка, оживление старой связи, иногда логическая операция становятся на службу запоминания. Именно структура, объединяющая все отдельные процессы, входящие в состав культурного приема поведения, превращает этот прием в психологическую функцию, выполняющую свою задачу по отношению к поведению в целом.

4. Генез

Однако структура эта не остается неизменной, и в этом заключается самое важное из всего, что мы сейчас знаем о куль-

турном развитии ребенка. Эта структура не создается извне. Она возникает закономерно на известной ступени естественного развития ребенка. Она не может быть навязана ребенку извне, но всегда возникает изнутри, хотя и складывается под решающим воздействием внешней среды. Раз возникши, она не остается неизменной, а подвергается длительному внутреннему изменению, которое обнаруживает все признаки развития.

Новый прием поведения не просто остается закрепленным, как известный внешний навык. Он имеет свою внутреннюю историю. Он включается в общий процесс развития поведения ребенка, и мы получаем поэтому право говорить о генетическом отношении, в котором одни структуры культурного мышления и поведения стоят к другим, о развитии приемов поведения. Это развитие, конечно, особого рода, глубоко отличное от развития органического, имеющее свои особые закономерности.

Схватить и верно выразить своеобразие этого типа развития представляет величайшие трудности. Мы попытаемся ниже набросать наметившуюся в экспериментальных исследованиях схему этого развития и сделать некоторые шаги, чтобы приблизиться к верному пониманию этого процесса. Бинэ, столкнувшийся в своих исследованиях с этими двумя типами развития, пытался решить задачу наиболее просто. Он исследовал память выдающихся счетчиков и при этом имел случай сравнить запоминание человека, обладающего действительно выдающейся памятью, с запоминанием человека, обладающего памятью самой заурядной, но не уступающего первому в деле запоминания огромного количества цифр.

Мнема и мнемотехника были, таким образом, впервые противопоставлены друг другу в экспериментальном исследовании и впервые была сделана попытка найти объективные различия этих двух по существу различных приемов памяти. Бинэ назвал свое исследование и самое явление, которому оно было посвящено, симуляцией памяти. Он полагает, что большинство психологических операций могут быть симулированы, т. е. замещены другими, которые напоминают их только по внешности и которые отличаются от них по природе. Такой симуляцией выдающейся па-

мяти представляется Бинэ мнемотехника, которую он в отличие от натуральной называет искусственной памятью.

Мнемотехник, которого исследовал Бинэ, запоминал при помощи простого приема. Он заменял числовую память словесной. Каждую цифру он заменял соответствующей буквой, буквы складывал в слова, из слов получались фразы, и, вместо бессвязного ряда цифр, ему оставалось запомнить и воспроизвести сочиненный им таким образом маленький роман. На этом примере легко видеть, в какой степени мнемотехническое запоминание приводит к *замещению* одних психологических операций другими. Именно этот основной факт и бросился в глаза исследователям, он же дал им повод говорить в данном случае о симуляции естественного развития.

Это определение едва ли можно признать счастливым. Оно верно указывает на то, что при внешне сходных операциях (оба счетчика запоминали и воспроизводили одинаково точно одинаковое количество цифр) по существу одна операция симулировала другую. Если бы это обозначение имело в виду выразить только *своеобразие второго* типа развития памяти, против него нельзя было бы спорить. Но оно вводит в заблуждение, заключая в себе ту мысль, что здесь имела место симуляция, т. е. обман. Это — практическая точка зрения, подсказанная специфическими условиями исследования субъектов, выступающих со своими фокусами с эстрады и поэтому склонных к обману. Это скорее точка зрения судебного следователя, чем психолога.

Ведь на деле, как это признает и Бинэ, подобная симуляция не есть просто обман; каждый из нас обладает своего рода мнемотехникой, и сама мнемотехника, по мнению этого автора, должна преподаваться в школах наравне со счетом в уме. Не хотел же этот автор сказать, что в школах должно преподаваться искусство симуляции.

Так же мало счастливым представляется нам обозначение этого типа культурного развития как фиктивного развития, т. е. приводящего только к фикции органического развития. Здесь опять верно выражается негативная сторона дела, именно то, что при культурном развитии поднятие функции на высшую ступень, повы-

шение ее деятельности основывается не на органическом, а на функциональном развитии, т. е. на развитии самого приема. Однако и это название закрывает ту несомненную истину, что в данном случае имеет место *не фиктивное, а реальное развитие особого типа*, обладающее своими особыми закономерностями.

Нам хотелось бы отметить с самого начала, что это развитие подвержено влиянию тех же двух основных факторов, которые участвуют и в органическом развитии ребенка, именно биологического и социального. Закон конвергенции внутренних и внешних данных, как его называет Штерн, всецело приложим и к культурному развитию ребенка. И здесь только на известной ступени внутреннего развития организма становится возможным усвоение того или иного культурного приема, и здесь внутренне подготовленный организм нуждается непременно в определяющем воздействии среды для того, чтобы это развитие могло совершиться. Так, на известной стадии своего органического развития ребенок усваивает речь, на другой стадии он овладевает десятичной системой.

Однако соотношение обоих факторов в этом типе развития существенно изменено. Хотя активная роль и здесь выпадает на долю организма, который овладевает представленными в среде средствами культурного поведения, но органическое созревание играет скорее роль *условия, чем двигателя процесса культурного развития*, потому что структура этого процесса определена извне. Большинство исследований до сих пор односторонне трактовало эту проблему. Так, например, мы имеем много исследований, посвященных выяснению того, как биологическое созревание ребенка обуславливает постепенное усвоение речи, но проблема обратного влияния речи на развитие мышления изучена очень мало. Все средства культурного поведения по самой своей природе социальны.

Ребенок, усваивающий русский или английский язык, и ребенок, усваивающий язык примитивного племени, овладевают в зависимости от среды, в которой протекает их развитие, двумя совершенно различными системами мышления. Если в какой-нибудь области положение о том, что поведение индивида есть функция поведе-

ния социального целого, к которому он принадлежит, имеет *полный смысл*, то это именно в сфере культурного развития ребенка. Это развитие как бы идет извне. Оно может быть определено скорее как экзо-, чем как эндорост. Оно является функцией социально-культурного опыта ребенка.

Третьей, и последней задачей в исследовании культурного развития ребенка и является выяснение *психогенеза культурных форм поведения*. Мы набросаем кратко схему этого процесса развития, как она наметилась в наших экспериментальных исследованиях. Мы постараемся показать, что культурное развитие ребенка проходит, если можно доверять искусственным условиям эксперимента, четыре основных стадии или фазы, последовательно сменяющие друг друга и возникающие одна из другой. Взятые в целом, эти стадии описывают полный круг культурного развития какой-либо психологической функции. Данные, полученные неэкспериментальным путем, вполне совпадают с намеченной нами схемой, прекрасно укладываются в нее, приобретают, распределяясь в ней, свой смысл и свое предположительное объяснение. Мы проследим кратко описание четырех стадий культурного развития ребенка так, как они последовательно сменяют друг друга в процессе простого эксперимента, описанного выше.

Первую стадию можно было бы назвать стадией примитивного поведения или примитивной психологии. В эксперименте она сказывается в том, что ребенок, обычно более раннего возраста, пытается соответственно мере своей заинтересованности запомнить предлагаемый ему материал естественным или примитивным способом. Сколько он при этом запоминает, определяется мерой его внимания, мерой его индивидуальной памяти, мерой его заинтересованности. Обычно только трудности, встречаемые на этом пути ребенком, приводят его ко *второй стадии*.

В нашем опыте это происходит обычно так. Или ребенок сам "открывает" мнемотехнический прием запоминания, или мы приходим на помощь ребенку, который не может справиться с задачей силами своей натуральной памяти. Мы раскладываем, например, перед ребенком картинки и подбираем слова для запоминания так,

чтобы они находились в какой-нибудь естественной связи с картинками. Ребенок, слушая слово, взглядывает на картинку, а затем легко воспроизводит весь ряд, так как картинки помимо его намерения напоминают ему только что прослушанные им слова.

Ребенок обычно очень быстро ухватывается за способ, к которому мы его подвели, но не зная обычно, *каким способом* картинки помогли ему припомнить слова, он ведет себя так. Когда ему вновь предъявляется ряд слов, он опять, на этот раз уже по своей инициативе, кладет около себя картинки, опять взглядывает на них, но так как связи на этот раз нет, а ребенок не знает, как использовать картинку для того, чтобы запомнить данное слово, он при воспроизведении, взглядывая на картинку, воспроизводит не то слово, которое было ему задано, а то, которое напоминает ему картинка.

Эту стадию условно называем мы *стадией "наивной психологии"* по аналогии с тем, что немецкие исследователи называют "наивной физикой" в поведении обезьян и детей при употреблении орудий. Употребление простейших орудий у детей предполагает наличие известного наивного физического опыта относительно простейших физических свойств своего собственного тела и тех объектов и орудий, с которыми ребенок имеет дело. Очень часто этот опыт оказывается недостаточным, и тогда "наивная физика" обезьяны или ребенка приводит его к неудаче.

Нечто подобное видим мы и в нашем эксперименте, когда ребенок уловил внешнюю связь между использованием картинок и запоминанием слов. Однако "наивная психология", т. е. накопленный им наивный опыт относительно собственных процессов запоминания, оказывается еще слишком незначительным для того, чтобы ребенок мог адекватно использовать картинку в качестве знака или средства для запоминания. Так точно, как в магическом мышлении примитивного человека связь мыслей принимается за связь вещей, так здесь у ребенка связь вещей принимается за связь мыслей. Если там магическое мышление обусловлено недостатком знания законов природы, то здесь оно обусловлено недостатком знания собственной психологии.

Эта вторая стадия играет обычно роль переходной. От нее ребенок обычно очень быстро в эксперименте переходит к третьей стадии, которую можно назвать *стадией внешнего культурного приема*. Ребенок после нескольких проб обычно обнаруживает, если его психологический опыт достаточно велик, в чем дело, научается правильно пользоваться карточкой. Теперь он заменяет процессы запоминания довольно сложной внешней деятельностью. Когда ему представляется слово, он выискивает из множества лежащих перед ним картинок ту, которая оказывается для него наиболее тесно связанной с заданным словом. При этом вначале он обычно старается использовать естественную связь, существующую между картинкой и словом, а затем довольно быстро переходит к созданию и образованию новых связей.

Однако и эта третья стадия длится в эксперименте сравнительно недолго и сменяется *четвертой стадией*, непосредственно возникающей из третьей. Внешняя деятельность ребенка при запоминании с помощью знака переходит во внутреннюю деятельность. Внешний прием как бы вращивается и становится внутренним. Проще всего наблюдать это тогда, когда ребенок должен запомнить предъявляемые ему слова, пользуясь картинками, разложенными в определенном порядке. После нескольких раз ребенок обычно "заучивает" уже и самые картинки и ему нет больше надобности прибегать к ним. Он связывает теперь задаваемое слово с *названием той картинки*, порядок которых он уже знает.

Такое "вращивание целиком" основывается на том, что внешние стимулы заменяются внутренними. Мнемотехническая карта, лежащая перед ребенком, стала его внутренней схемой. Наряду с этим приемом вращивания мы наблюдали еще несколько типов перехода третьей стадии в четвертую, из которых мы назовем только два главнейших.

Первый из них можно назвать вращиванием *по типу шва*. Подобно тому, как шов, соединяя две части органической ткани, очень быстро приводит к образованию соединительной ткани, так что сам шов становится более ненужным, подобно этому происходит и выключение знака, при помощи которого была опосредствована та или иная психологическая операция.

Легче всего это наблюдать при сложных реакциях выбора у ребенка, когда каждый из предъявляемых стимулов связывается с соответствующим ему движением при помощи вспомогательного знака, например, той же картинки. После ряда повторений знак становится более ненужным, стимул непосредственно вызывает соответствующую реакцию. Наши исследования в этом отношении всецело подтвердили то, что было найдено еще Леманом, который установил, что при сложной реакции выбора сначала вдвигаются между стимулом и реакцией названия, или другие какие-либо ассоциативные посредники. После упражнения эти промежуточные члены выпадают, реакция переходит в простую сенсорную, а затем в простую моторную форму. Время реакции у Лемана при этом падало с 300 до 240 и 140. Прибавим к этому, что то же самое явление, только в менее развернутом виде, наблюдалось исследователями и в процессе простой реакции, которая, как это показал Вундт, по мере упражнения падает до времени простого рефлекса.

Наконец, вторым типом перехода третьей стадии в четвертую, или вращивания внешнего приема внутрь, является следующий. Ребенок, усвоив *структуру* какого-нибудь внешнего приема, уже в дальнейшем строит внутренние процессы по этому типу. Он сразу начинает прибегать к внутренним схемам, начинает использовать в качестве знака свои воспоминания, прежние знания и т. д. В этом случае исследователя поражает, как однажды разрешенная задача приводит к правильному решению задач во всех аналогичных ситуациях при глубоко измененных внешних условиях. Здесь, естественно, вспоминаются такие же переносы, которые наблюдал Келер, у обезьяны, раз верно разрешившей стоявшую перед ней задачу.

Эти схематически намеченные нами четыре стадии являются только первой предположительной наметкой того пути, по которому идет развитие культурного поведения. Однако нам хотелось бы указать, что путь, намечаемый этой схемой, совпадает с некоторыми данными, имеющимися уже в психологической литературе по этому вопросу. Мы приведем три примера, обнаруживающих в главных чертах совпадение с этой схемой.

Первый — это развитие арифметических операций у ребенка. Первую стадию здесь образует натуральная арифметика ребенка, т. е. все его оперирование с количествами до того, как он умеет считать. Сюда входят непосредственно восприятие количеств, сравнение больших и меньших групп, опознавание какой-нибудь количественной группы, распределение по одному там, где надо разделить, и т. д.

Следующей, стадией “наивной психологии”, является та наблюдающаяся у всех решительно детей стадия, когда ребенок, зная внешние приемы счета, повторяет, подражая взрослым, — один, два, три, когда хочет что-либо сосчитать, но совершенно еще не знает, как именно при помощи чисел производится счет. На этой стадии находится девочка, описанная Штерном, которая на его просьбу сосчитать, сколько у него пальцев, ответила, что она умеет считать только свои. Третьей стадией является пора счета на пальцах, и четвертой — счет в уме, когда пальцы становятся более не нужны.

Так же легко располагается в этой схеме развитие памяти в детском возрасте. Три типа, намеченные Мейманом: механический, мнемотехнический и логический (дошкольный возраст, школьный и зрелый), явно совпадают с первой, третьей и четвертой стадиями нашей схемы. Мейман и сам, в другом месте, пытается показать, что эти три типа представляют собою генетический ряд, в котором один тип переходит в другой. С этой точки зрения логическая память взрослого человека и есть “вращенная внутрь” мнемотехническая память.

Если бы эти предположения хоть сколько-нибудь оправдались, мы получили бы новое доказательство тому, как важно применять историческую точку зрения в подходе к изучению высших функций поведения. Во всяком случае есть одно чрезвычайно веское обстоятельство, которое говорит в пользу этого предположения. Это прежде всего тот факт, что словесная память, т. е. запоминание чего-либо в словах, является памятью мнемотехнической. Напомним, что Компейрэ еще определял язык как мнемотехническое орудие. Мейман справедливо показал, что слова в отношении нашей памяти имеют двойную функцию. Они могут выступать или сами по себе, как материал памяти,

или в качестве знака, при помощи которого совершается запоминание.

Стоит еще напомнить установленную в экспериментах Бюлером независимость запоминания смысла от запоминания слов и важную роль, которую играет внутренняя речь в процессе логического запоминания, для того чтобы генетическое родство мнемотехнической и логической памяти выступало со всей ясностью через соединяющее их звено памяти словесной. Отсутствующая в схеме Меймана вторая стадия обычно, вероятно, проходит очень быстро в развитии памяти и поэтому ускользает от наблюдения.

Наконец, укажем и на то, что такая центральная проблема для истории культурного развития ребенка, как проблема развития речи и мышления, оказывается в согласии с нашей схемой. Эта схема, думается нам, позволяет нащупать верный подход к этой в высшей степени сложной и запутанной проблеме. Как известно, одни авторы считают речь и мышление совершенно различными процессами, из которых один служит выражением или внешним одеянием другого. Другие, наоборот, отождествляют мышление и речь и вслед за Мюллером определяют мысль как речь минус звук.

Что говорит по этому поводу история культурного развития ребенка? Она показывает, во-первых, что генетически мышление и речь имеют совершенно различные корни. Уже это одно должно предостеречь нас от поспешного отождествления того, что генетически оказывается различным. Как установило исследование, и в онто- и в филогенезе развитие речи и мышления идет до известного этапа независимыми путями. Доинтеллектуальные корни речи в филогенезе, как язык птиц и животных, были известны очень давно. Келеру удалось установить в филогенезе доречевые корни интеллекта. Точно так же доинтеллектуальные корни в онтогенезе речи, как крик и лепет ребенка, были известны давно. Келеру, Бюлеру и другим удалось и в развитии ребенка установить доречевые корни интеллекта. Эту пору первого проявления интеллектуальных действий у ребенка, предшествующую образованию речи, Бюлер предложил называть шимпанзеподобным возрастом.

Самым замечательным в интеллектуальном поведении обезьян и ребенка этого возраста является независимость интеллекта от речи. Именно это обстоятельство приводит Бюлера к заключению, что интеллектуальное поведение в форме “инструментального мышления” предшествует образованию речи <...>.

В известный момент обе линии развития пересекаются, перекрещиваются. Этот момент в развитии ребенка Штерн назвал величайшим открытием, которое делает ребенок в своей жизни. Именно, он открывает “инструментальную функцию” слова. Он открывает, что “каждая вещь имеет свое имя” <...>. Этот перелом в развитии ребенка сказывается объективно в том, что ребенок начинает *активно* расширять свой словарь, спрашивая о каждой вещи: как это называется. Бюлер, а вслед за ним Коффка указывают, что с психологической стороны существует полная параллель между этим открытием ребенка и изобретениями обезьян. Функциональное значение слова, открываемое ребенком, подобно функциональному значению палки, открываемому обезьяной. Слово, говорит Коффка, входит в структуру вещи так, как палка в ситуацию “стремления получить плод”.

Следующим наиболее важным этапом в развитии мышления и речи является переход внешней речи во внутреннюю. Когда и как совершается этот важнейший процесс развития внутренней речи? Исследования Пьяже над эгоцентризмом детской речи позволяют, думается нам, дать ответ на этот вопрос. Пьяже показал, что речь становится психологически внутренней прежде, нежели она становится внутренней физиологически. Эгоцентрическая речь ребенка является внутренней речью по психологической функции (это — речь для себя) и внешней по форме. Она есть переходная форма от внешней речи к внутренней, и в этом ее огромное значение для генетического изучения. Коэффициент эгоцентрической речи резко падает на границе школьного возраста (с 0,50 до 0,25). Это указывает, что именно в эту пору совершается переход внешней речи во внутреннюю.

Нетрудно заметить, что *три главных этапа в развитии мышления и речи, как они нами намечены, вполне отвечают трем основным стадиям культурного развития, как они последовательно*

проявляются в эксперименте. Доречевое мышление отвечает в этой схеме первой стадии натурального или примитивного поведения. “Величайшее открытие в жизни ребенка”, — как указали Бюлер и Коффка, представляет полную параллель с изобретением орудий, следовательно, соответствует третьей стадии нашей схемы. Наконец, переход внешней речи во внутреннюю, эгоцентризм в детской речи, составляет переход из третьей в четвертую стадию, означающий превращение внешней деятельности во внутреннюю.

5. Метод

Своеобразие культурного развития ребенка требует применения соответствующего метода исследования. Этот метод можно было бы условно назвать “инструментальным”, так как он основан на раскрытии “инструментальной функции” культурных знаков в поведении и его развитии.

В плане экспериментального исследования этот метод опирается на *функциональную методику двойной стимуляции*, сущность которой сводится к организации поведения ребенка при помощи двух рядов стимулов, из которых каждый имеет различное “функциональное значение” в поведении. При этом неизменным условием разрешения стоящей перед ребенком задачи является “инструментальное употребление” одного ряда стимулов, т. е. использование его в качестве вспомогательного средства для выполнения той или иной психологической операции.

Есть основание полагать, что изобретение и употребление этих знаков в качестве вспомогательных средств при разрешении какой-либо задачи, стоящей перед ребенком, с *психологической точки зрения* представляют структуру поведения, сходную с изобретением и употреблением орудий.

Внутри общего отношения стимул — реакция, лежащего в основе обычной методики психологического эксперимента, следует еще, с точки зрения развитых здесь мыслей, различать двоякую функцию, выполняемую стимулом по отношению к поведению. Стимул может играть в одном случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную задачу, стоящую перед ребенком (запом-

нить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо); в другом случае — роль средства, при помощи которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи психологические операции (запоминания, сравнения, выбора и т.п.). В обоих случаях функциональное отношение между актом поведения и стимулом существенно разное. В обоих случаях стимул совершенно по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обуславливает и организует наше поведение. Своеобразием психологической ситуации, создаваемой в наших экспериментах, является одновременное наличие стимулов одного порядка, из которых каждый играет качественно и функционально иную роль.

Выраженное в наиболее общей форме основное допущение, лежащее в основе этого метода, гласит: ребенок в овладении собой (своим поведением) идет в общем тем же путем, что и в овладении внешней природой, т. е. извне. Человек овладевает собой как одной из сил природы, извне — при помощи особой культурной техники знаков. Положение Бэкона о руке и интеллекте могло бы служить девизом всех подобных исследований:

Nec manus nuda, nec intellectus sibi permis sus multum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur (“Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы; дело совершается орудиями”).

Этот метод, по самому своему существу, является методом историко-генетическим. В исследование он вносит историческую точку зрения: “Поведение может быть понято только как история поведения” (Блонский). Это положение является исходной точкой всего метода.

Применение этого метода возможно в плане: а) *анализа* состава культурного приема поведения, б) *структуры* этого приема как целого и как функционального единства всех входящих в его состав процессов, в) *психогенеза* культурного поведения ребенка. Метод этот является не только ключом к пониманию высших, возникающих в процессе культурного развития форм поведения ребенка, но и путем к практическому овладению ими в воспитании и школьном обучении.

Этот метод опирается как на свою основу на естественнонаучные методы изучения

поведения, в частности — на метод условных рефлексов. Своеобразие его заключается в изучении сложных функциональных структур поведения и их специфических закономерностей. Объективность — вот что роднит его с естественнонаучными методами изучения поведения. В исследовании он пользуется объективными средствами психологического эксперимента. При исследовании высших функций поведения, складывающихся из сложных внутренних процессов, этот метод пытается экспериментально вызвать самый процесс образования высших форм поведения, вместо того чтобы изучать сложившуюся уже функцию в ее развитом виде. При этом особенно благоприятной для изучения оказывается третья стадия — внешнего культурного приема поведения.

Связывая сложную внутреннюю деятельность с деятельностью внешней, заставляя, например, ребенка при запоминании выбирать и раскладывать карточки, при образовании понятий — передвигать и распределять фигуры и пр., мы создаем внешний, объективный ряд реакций, фун-

кционально связанный с внутренней деятельностью и служащий отправной точкой для объективного исследования. Мы поступаем при этом так, как — допустим сравнение — поступил бы тот, кто хотел бы проследить путь, который проходит рыба в глубине от той точки, где она погружается в воду, до той, где она снова всплывает на поверхность. Мы набрасываем веревочную петлю на рыбу и по движению того конца веревки, который мы держим в руках, стараемся восстановить кривую этого пути. В наших экспериментах мы также все время стараемся держать в своих руках внешнюю нить от внутреннего процесса.

Примерами применения этого метода могут служить произведенные автором и по его почину экспериментальные исследования памяти, счета, образования понятий и других высших функций поведения у детей. Эти исследования мы надеемся опубликовать особо. Здесь мы хотели только в самом сжатом очерке представить проблему культурного развития ребенка.

А.Р.Лурия

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Мы никоим образом не были первыми, кто понял, что сравнение интеллектуальной деятельности людей разных культур может дать ценную информацию о происхождении и организации интеллектуальной деятельности человека. В течение ряда десятилетий, прежде чем я встретился с Л. С. Выготским, в психологии широко обсуждался вопрос, различны ли основные интеллектуальные способности у взрослых людей, которые выросли в разных культурных условиях. Еще в начале столетия Дюркгейм считал, что процессы мышления не являются результатом естественной эволюции или проявлением внутренней духовной жизни, а формируются обществом. Идеи Дюркгейма вдохновили многих исследователей. Среди них следует выделить французского психолога Пьера Жанэ, считавшего, что сложные формы памяти, а также представления о пространстве, времени и числе являются продуктом конкретной истории общества, а не являются категориями, имманентно присущими мышлению, как полагала идеалистическая психология.

В 20-е гг. эти дебаты сконцентрировались на двух проблемах: изменяется ли в зависимости от культуры содержание мышления, т. е. основные категории, используемые для описания опыта, и различаются ли в зависимости от культуры

основные интеллектуальные функции человека. Люсьен Леви-Брюль, имевший большое влияние на психологов того времени, считал, что мышление неграмотных людей подчиняется иным правилам, чем мышление образованных людей. Он охарактеризовал “примитивное” мышление как “дологичное” и “хаотично организованное”, не воспринимающее логических противоречий и допускающее, что естественными явлениями управляют мистические силы.

Противники Леви-Брюля, например, английский этнограф-психолог В. Х. Риверс, напротив, полагали, что интеллект человека “примитивной” культуры в своей основе не отличается от интеллекта современного образованного человека, живущего в технически развитом обществе. По мнению Риверса, люди, живущие в примитивных условиях, мыслят по тем же логическим законам, что и мы. Основное различие мышлений заключается в том, что они обобщают факты внешнего мира в иные категории, отличные от привычных для нас. Различные представители гештальтпсихологии также занимались проблемой “примитивного” мышления. Так, Хейнц Вернер подчеркивал разницу мышления современного взрослого и “примитивного” человека. Он говорил о “структурной общности” мышления “примитивного” человека, ребенка и умственно неполноценного взрослого и рассматривал недифференцированное “синкретическое” мышление как характерную черту их познавательной деятельности. Другие представители гештальтпсихологии также предполагали существование общих свойств мышления у людей всех культур. Они считали, что принципы восприятия и мышления, такие, как “замкнутость” или “хорошая форма”, являются универсальными категориями мышления.

Эта дискуссия представляла для нас огромный интерес, хотя обсуждение проводилось при отсутствии каких бы то ни было психологических данных. Материалы, на которые опирался Леви-Брюль, а также его антропологические и социологические критики, были не более чем забавные истории, собранные путешествен-

¹ Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: Научная автобиография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 47—69.

никами и миссионерами во время своих путешествий в дальние страны, где они контактировали с экзотическими народами. Профессиональный антропологический подход еще только разрабатывался, так что необходимых сведений, являющихся результатом научных наблюдений, фактически не было. Существовало только небольшое число исследований сенсорных процессов у “примитивных” народов, проведенных в начале столетия профессиональными психологами. Однако эти материалы не имели прямого отношения к спорным вопросам, касающимся высшей, а не элементарной познавательной деятельности.

Не лучше обстояло дело и в области психологической теории. Старое разделение психологии на два раздела — естественный (объяснительный) и феноменологический (описательный) — отнимало у психологов единую концепцию, в пределах которой они могли бы изучать влияние культуры на развитие мышления. Теория Л. С. Выготского обеспечивала это необходимое единство, но у нас не было данных для проверки наших идей.

Мы задумали провести широкое исследование интеллектуальной деятельности взрослых людей, принадлежащих к технически отсталому, неграмотному, “традиционному” обществу. В то время в отдаленных районах нашей страны шли быстрые культурные преобразования, и мы надеялись проследить изменения в процессах мышления, являющиеся следствием общественных перемен. Начало 30-х гг. в нашей стране было очень подходящим временем для осуществления этих экспериментов. В то время с введением коллективизации и механизации сельского хозяйства во многих сельских районах шли быстрые изменения. Мы могли бы проводить работу в отдаленных русских деревнях, однако избрали для своих исследований поселки и стоянки кочевников Узбекистана и Киргизии, где огромные различия прошлой и современной культуры обещали дать максимальную возможность для наблюдения за изменениями основных форм и содержания мышления людей. С помощью Л. С. Выготского я составил план научной экспедиции в эти районы.

Узбекистан по праву гордится высокой древней культурой, выдающимися дости-

жениями в области науки и поэзии, связанными с такими личностями, как Улугбек, математик и астроном, оставивший замечательную обсерваторию под Самаркандом, философ Аль-Бируни, врач Авиценна, поэты Саади и Низами и др. Однако в течение многих веков народные массы оставались неграмотными и большей частью изолированными от этой высокой культуры. Они жили главным образом в деревнях, полностью зависели от богатых землевладельцев и всемогущих феодалов. Их основным занятием было хлопководство. В горных районах Киргизии, прилегающих к Узбекистану, превалировало скотоводство. Консервативное учение религии ислама имело огромное влияние на население и изолировало женщин от участия в общественной жизни.

После революции в этих районах произошли глубокие социально-экономические и культурные изменения. Старая классовая структура общества распалась, во многих деревнях были открыты школы, и возникли новые формы производственной, общественной и экономической деятельности. Наблюдаемый нами период был периодом коллективизации сельского хозяйства и других радикальных социально-экономических перемен, а также эмансипации женщин. Так как этот период был переходным, мы смогли сравнивать как малоразвитые, неграмотные группы населения, живущие в деревнях, так и группы, уже вовлеченные в современную жизнь, испытывающие на себе влияние происходящей общественной перестройки.

Никто из наблюдаемых нами людей не получил высшего образования. При этом они заметно различались по своей практической деятельности, способам общения и культурным взглядам. Наши испытуемые делились на пять групп:

1. Женщины, живущие в отдаленных деревнях, неграмотные и не вовлеченные в какую-либо современную общественную деятельность. В то время, когда мы проводили свое исследование, число таких женщин было еще значительным. Беседы с ними проводили женщины, так как только они имели право входить в женскую часть помещения.

2. Крестьяне, живущие в отдаленных деревнях, еще не вовлеченные в общественный труд и продолжавшие вести инди-

видуальное хозяйство. Эти крестьяне были неграмотны.

3. Женщины, посещавшие краткосрочные курсы воспитательниц детских садов. Как правило, в прошлом они не получили никакого формального образования и были почти неграмотны.

4. Активные члены колхоза и молодежь, окончившая краткосрочные курсы. Они занимали должности председателей колхозов, руководителей в разных областях сельского хозяйства или бригадиров; имели значительный опыт планирования производства, распределения труда и учета продукции. Работая совместно с другими членами колхоза, они приобрели гораздо более широкие взгляды, чем крестьяне-единоличники. Но они посещали школу лишь в течение короткого времени и многие из них были малограмотными.

5. Женщины-студентки, принятые в учительский техникум после двух или трехлетнего обучения. Однако их образовательный уровень был все еще довольно низок. Только последние три группы благодаря своему участию в социалистическом хозяйстве приобщились к новым формам общественных отношений и к новым жизненным принципам, что должно было привести к радикальному изменению содержания и формы их мышления. Эти социальные изменения дали им возможность соприкоснуться с техническими знаниями, грамотностью и другими формами культуры.

Первые же две группы в значительно меньшей степени испытывали влияние условий, которые были необходимы для основательного психологического сдвига, поэтому мы ожидали, что они проявят преобладание тех форм мышления, которые возникают из элементарных форм деятельности, направляемой физическими характеристиками знакомых предметов. Мы также предполагали, что на их мышление окажет влияние и общение, необходимое для людей, занимающихся плановым, коллективизированным сельским хозяйством. Сравнивая процессы умственной деятельности представителей этих групп, мы рассчитывали увидеть изменения, вызванные культурной и социально-экономической перестройкой жизненного уклада.

Методы исследования, соответствующие нашим задачам, должны были вклю-

чать нечто большее, чем простое наблюдение. Мы собирались проводить тщательно разработанный экспериментальный опрос и давать испытуемым специальные задания, однако подобное исследование неминуемо должно было встретиться с рядом трудностей. Возможность проводить кратковременные психологические эксперименты в полевых условиях была в высшей степени проблематична. Мы опасались, что если мы будем давать испытуемым необычные задачи, не имеющие отношения к их привычной деятельности, то это может вызвать у них смущение или подозрительность. Изолированные тесты, проведенные в такой обстановке, могут дать информацию, искажающую действительные способности испытуемых. Поэтому мы начали прежде всего с установления контакта с будущими испытуемыми. Мы пытались наладить с ними дружеские отношения для того, чтобы экспериментальные задания казались им естественными и ничем не угрожающими. В особенности мы заботились о том, чтобы материалы тестов были тщательно продуманы.

Как правило, эксперименты начинались с долгих разговоров в спокойной атмосфере чайной, где жители деревень проводили большую часть своего свободного времени, или на полевых станах, или на горных пастбищах вокруг вечернего костра. Эти разговоры часто велись с группами людей. Даже когда беседы проводились с одним человеком, вокруг экспериментатора собиралась группа из двух или трех человек, которые внимательно прислушивались к беседе, иногда вставляя свои замечания или комментируя ответы испытуемого. Часто беседа принимала форму свободного обмена мнениями, и тогда проблема могла решаться одновременно двумя или тремя испытуемыми, причем каждый из них предлагал свой ответ. Только постепенно экспериментаторы начинали вводить специально подготовленные задания, похожие на "загадки", знакомые местным жителям и поэтому кажущиеся естественным продолжением беседы. Если испытуемый решал предложенную задачу, экспериментатор проводил с ним своего рода "клиническую" беседу, чтобы определить, каким образом он пришел к решению и что он подразумевал под тем или другим отве-

том. Ответ испытуемого обычно вызывал дополнительные вопросы, и тогда начиналась своего рода дискуссия. Чтобы меньше смущать собеседников во время свободного разговора, который велся на узбекском языке, экспериментатор поручал запись результатов своему помощнику, который обычно садился вблизи от беседующих и старался не привлекать к себе внимание. Он делал записи в течение всей процедуры. Позднее он обрабатывал свои записи и переписывал их начисто. Эта трудоемкая процедура (даже после короткого эксперимента) занимала половину дня, однако иначе нельзя было вести эксперименты в полевых условиях.

Мы также старались сделать содержание задач, предъявляемых испытуемым, возможно более естественным. Было бы нелепо предлагать им задачи, никак не связанные с их обычной жизнью. Поэтому мы не применяли стандартные психометрические тесты. Вместо этого мы пользовались специально разработанными тестами, которые испытуемые воспринимали как вполне осмысленные и которые могли иметь несколько решений, причем каждое из этих решений демонстрировало какой-то аспект познавательной деятельности. Например, способность распределять объекты по категориям — мы исследовали, что этот тип задач можно было решить или функционально-графическим способом, связанным на внешнем виде или функциональном значении объекта, или абстрактным, категориальным способом. Испытуемый мог решать дедуктивные задачи, т. е. приходиться к соответствующему выводу, либо используя лишь то, что ему известно из его собственного опыта, либо пользуясь той информацией, которая заключена в задаче и выходит за пределы его собственного опыта.

Мы также вводили в занятия задачи на обучение. Предлагая испытуемым свою помощь в решении трудной задачи, мы старались показать и способы решений данной задачи, а затем предлагали решать другие, подобные этой. Таким образом, мы могли установить, как испытуемые включают новые способы решения задач в свой репертуар умственной деятельности.

Мы проверяли основную гипотезу о зависимости познавательных процессов от социального и культурного опыта испы-

туемых. Сначала мы изучали, каким образом испытуемые на лингвистическом уровне кодируют такие основные категории своего визуального опыта, как цвет и форма; затем изучали процессы классификации и абстрагирования. И наконец, мы анализировали такую сложную познавательную деятельность, как решение словесных задач и самоанализ. В каждой из этих областей эксперимента мы обнаружили зависимость организации познавательной деятельности от уровня общественной организации трудовой жизни.

Основной факт в области перцептивных процессов заключался в том, что способы обозначения и группировки геометрических фигур, занумерованных для облегчения идентификации, у разных групп испытуемых были различны (рис. 1).

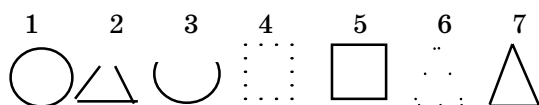


Рис. 1

Женщины и крестьяне, живущие в отдаленных кишлаках (группы 1,2), давали следующие типичные обозначения этих фигур:

- 1) тарелка;
- 2) палатка;
- 3) браслет;
- 4) бусы;
- 5) зеркало;
- 6) часы;
- 7) подставка для чайника.

Более грамотные испытуемые, получившие начальные знания, знакомые с колхозной техникой (группы 3,4), большей частью давали фигурам геометрические названия, а женщины из школы по подготовке учителей (группа 5) пользовались только последними.

Различия в назывании фигур сопровождалась различиями и в классификации этих фигур, в определении их как одинаковых. Для крестьян, не участвующих в общественных формах труда, основным способом группировки было конкретное сходство, поэтому фигуры 2 и 7 считались подобными, так как “и то и другое — оконные рамы”; а 6 и 4 были часами, но 3, 1, 5 не имели никакого сходства между собой.

Особенно нас заинтересовало то, что испытуемые отвергали наши утверждения о том, что такие фигуры, как 1 и 3, схожи между собой. Надо отметить, что эти фигуры очень похожи на те, которые использовали гештальтпсихологи, чтобы продемонстрировать так называемые всеобщие законы восприятия. В своих экспериментах, в которых, как правило, участвовали образованные испытуемые, они пришли к выводу, что такие фигуры обычно группируются вместе, потому что обе они являются “представителями” абстрактного класса окружностей. Их испытуемые игнорировали “индивидуальные” черты этих фигур и учитывали лишь основную — принадлежность к одному “геометрическому классу” и на этой основе приходили к решению. Отсталые крестьяне в наших экспериментах не видели сходства в этих фигурах, так как они воспринимали их как предметы из своего обихода и соответственным образом пытались обозначать их. “Нет, совсем они не похожи, — сказал один крестьянин, — потому что первая — это монета, а вторая — луна”. Конечно, имеющие начальное образование испытуемые классифицировали эти фигуры, руководствуясь их общей конфигурацией, но мы более не могли приписывать этот способ классификации какому-то “универсальному закону восприятия”. Категориальное восприятие объектов, например, восприятие формы, отражает исторически развившийся и унаследованный способ классификации предметов в окружающем нас мире. Более образованные испытуемые могут классифицировать объекты, основываясь на одном “идеальном” их свойстве, но это не является естественным законом человеческого восприятия.

Эту проблему можно поставить иначе. Человек может различить три миллиона различных оттенков, но существует только шестнадцать или двадцать названий цветов. Означает ли это, что восприятие и классификация оттенков изменяются в связи с наличием названий самых различных цветов в языке испытуемого? Имеют ли язык и соответствующие виды практической деятельности с цветами решающее значение для их восприятия и классификации? Мы исследовали восприятие и классификацию цветов различными группами испытуемых и

получили результаты, совпадающие с результатами наших исследований восприятия геометрических фигур.

Мы просили испытуемых различных групп называть и классифицировать мотки окрашенной шерсти. Необразованные испытуемые, в особенности женщины, многие из которых были отличными ткачихами, пользовались очень малым количеством категориальных названий цветов. Вместо этого они называли окрашенные мотки шерсти названиями сходно окрашенных предметов из их окружения. Например, разные оттенки зеленого они обозначали названиями разных растений: “цвет травы весной”, “цвет тутовых листьев летом”, “цвет молодого горошка”. Когда этим испытуемым предлагали сложить вместе одинаково окрашенные нитки, многие категорически отказывались делать это, говоря, что каждый моток ниток отличается от другого. Некоторые испытуемые раскладывали их по порядку переходящих друг в друга оттенков. Такого типа изолированное восприятие отдельных мотков шерсти отсутствовало у испытуемых других экспериментальных групп, которые руководились категориальными названиями цветов, и легко группировали похожие цвета.

Следующая серия наших опытов была посвящена классификации предметов. В отличие от набора различно окрашенных мотков шерсти или изображений геометрических фигур предметы, окружающие нас в повседневной жизни, трудно разделить на категории на основе какой-то общей физической черты. Их можно классифицировать на категории многими способами, и нас интересовала сущность этой категоризации.

Исследуя динамику развития ребенка, Л.С.Выготский установил различные типы категорий, используемые детьми разного возраста. На ранних этапах развития ребенка слова не являются организующим фактором в том, как ребенок категоризирует свой опыт. На следующем этапе категоризации ребенок начинает сравнивать предметы по одному их физическому свойству, например, по цвету, форме или размеру. Но во время сравнения ребенок быстро забывает о свойстве, которое он первоначально избрал как основу классификации, и переключается

на другое свойство. В результате он часто собирает группу предметов, не обладающих только одним общим признаком. Логическая основа таких группировок часто представляет собой целый комплекс признаков, объединенных общей ситуацией. Предметы объединены общей ситуацией, в которой каждый из них участвует индивидуально. Примером подобной группировки может быть категория “еда”, куда ребенок включает “стул”, чтобы сидеть за столом, “скатерть”, чтобы покрыть стол, “нож”, чтобы резать хлеб, “тарелку”, чтобы положить хлеб, и т. д.

Детерминирующим фактором классификации предметов в ситуационные комплексы этого рода является не определенное понятие, выраженное в слове, а, скорее, функционально-образное восприятие объектов и их взаимоотношений, наблюдаемое в реальной жизни. Л.С.Выготский установил, что группирование предметов по ситуационному принципу типично для дошкольников и младших школьников.

Дети старшего и особенно юношеского возраста перестают обобщать объекты на основе непосредственных впечатлений. Основой классификации становятся тогда некоторые очевидные свойства предметов. Каждый предмет включается в определенную категорию. Создаются системы объектов, объединенных в разные категории; развивается иерархическая понятийная схема, выражающая различную “степень общности” объектов. Например, роза — цветок, цветок — растение, растение — часть органического мира. Когда человек переходит к такому способу мышления, он прежде всего сосредоточивается на “категориальных” взаимоотношениях между объектами, а не на конкретных способах, которыми они взаимодействуют в реальных ситуациях.

Легко понять, что психологические закономерности, управляющие таким понятийным мышлением, резко отличаются от закономерностей построения обобщений на базе конкретного опыта. Категориальное мышление является не просто отражением личного опыта, оно отражает общественный опыт, выраженный посредством речевой системы. Таким образом, по мере овладения языком, грамотой функционально-образные операции мышления заменяются семантическими и ло-

гическими операциями, в которых слова становятся основным средством абстрагирования и обобщения.

Мы полагали, что поскольку отвлеченное мышление является продуктом теоретической деятельности, которой обучают в школе, сложные формы абстракции и обобщения будут обнаружены только у тех испытуемых, которые получили какое-то формальное образование. Однако большинство наших испытуемых получили лишь начальное образование или совсем не посещали школу, и нас интересовали принципы, которыми они будут руководствоваться при группировании предметов, встречающихся им в повседневной жизни.

Почти все испытуемые внимательно выслушивали инструкции и охотно принимались за работу. Однако обычно вместо попыток подобрать “сходные предметы” они принимались отбирать предметы, “подходящие для определенной цели”. Другими словами, они заменяли теоретическую задачу практической. Эта тенденция стала очевидной с самого начала нашей экспериментальной работы, когда испытуемые начали отбирать изолированные предметы и называть их индивидуальные функции. Например, “этот предмет” был необходим, чтобы выполнить одну работу, а “тот” — для другой работы. Они не видели никакой необходимости сравнивать и группировать все предметы и разносить их по особым категориям. Позднее, в результате обсуждений и различных наводящих вопросов, многие из испытуемых преодолели эту тенденцию. Однако даже тогда они были склонны рассматривать задачу, как практическую, группируя предметы согласно их роли в определенной ситуации, вместо того чтобы совершать теоретическую операцию, располагая их по категориям согласно их общему признаку. В результате каждый испытуемый группировал предметы идиосинкразическим путем, в зависимости от той образной ситуации, которую он себе представлял. Конкретные группы, создававшиеся нашими испытуемыми на базе этого “ситуационного” мышления, были очень стабильны. Когда мы пытались предложить испытуемым другой способ классификации предметов, основанный на абстрактных принципах, они обычно отвергали его на том основании,

что такой подход не отражает присущие предметам связи и что человек, занимающийся подобной группировкой, просто “глуп”. Лишь в редких случаях они признавали возможность применения такого способа классификации, но тогда они действовали очень неохотно, уверенные, что подобная группировка не имеет большого значения. Имеющей важное значение была для них лишь классификация, основанная на практическом опыте.

Следующий пример иллюстрирует тип рассуждений, с которыми нам пришлось встретиться.

Рахмату, неграмотному крестьянину тридцати одного года из отдаленного района, показали рисунок молотка, пилы, полена и топора. “Какие предметы похожи? И что лишнее?” — спросили его. “Они все похожи, — сказал он. — Я думаю, что все они нужны. Смотрите, если Вам нужно разрубить что-нибудь, Вам нужен топор. Так что все они нужны”.

Мы попытались объяснить задачу, говоря: “Послушай, вот трое взрослых и один ребенок. Конечно, ребенок не принадлежит к этой группе”.

Рахмат отвечал: “Нет, мальчик должен остаться с другими!” “Видишь ли, все трое работают, и если им придется бегать за разными вещами, они никогда не закончат работу, а мальчик может бегать за них. Мальчик научится, и это будет лучше — они смогут вместе хорошо работать”.

Затем мы сказали: “Вот у тебя три колеса и клещи. Конечно, клещи и колеса совсем не похожи друг на друга, правда?”

“Нет, все они подходят друг к другу. Я знаю, что клещи не похожи на колеса, но они понадобятся, если надо закрепить что-то в колесе”.

“Но ведь то, что в колесе, того нет в клещах, не правда ли?”

“Да, я это знаю, но нужно иметь и колеса, и клещи. Клещами можно работать с железом, а это трудно, знаешь ли”.

“Все же, разве неправда, что нельзя употреблять одно и то же слово для колес и для клещей?”

“Конечно, нельзя”.

Мы вернулись к первоначальной группе предметов, включающей молоток, пилу, полено и топор.

“Какие из этих предметов можно назвать одним словом?”

“Как это? Если мы назовем все три вещи “топор” — это будет неверно”.

“Но один человек выбрал три предмета — молоток, пилу и топор и сказал, что они схожи”.

“Пила, молоток и топор все должны работать вместе, но полено тоже должно быть вместе с ними!”

“Как ты думаешь, почему он выбрал эти три вещи, а не полено?”

“Может быть у него много дров, но если он останется без дров, он ничего не сможет делать”.

“Правильно, но ведь молоток, пила и топор — орудия”.

“Да, но даже если у нас есть орудия, все же нам нужно и дерево. Иначе мы ничего не сможем построить”.

Затем испытуемому показали рисунки птицы, ружье, кинжала и пули. Он сказал: “Ласточка сюда не подходит, нет, а ружье, оно заряжено пулей и убивает ласточку. Зато нужно разрезать птицу кинжалом — по-другому это сделать нельзя. То, что я сначала сказал про ласточку, — неверно. Все эти вещи подходят друг к другу”.

“Но ведь это — оружие. А как же насчет ласточки?”

“Нет, она не оружие”.

“Так это означает, что эти три предмета похожи друг на друга, а ласточка к ним не подходит?”

“Нет, птица тоже должна быть с ними. Иначе нечего будет стрелять”.

Затем ему показали рисунки стакана, сковородки, очков и бутылки. Он заметил: “Эти три подходят, но я не знаю, зачем ты сюда положил очки. Нет, пожалуй, они тоже подходят. Если человек плохо видит, ему приходится надевать очки, чтобы пообедать”.

“Но один человек сказал мне, что одна из этих вещей не подходит к группе”.

“Может быть, это у него в роду — думать таким образом. А я скажу, что все они подходят. В стакане нельзя варить пищу — в него можно наливать что-нибудь. Для готовки нужна сковорода, а чтобы лучше видеть — нужны очки. Нам нужны все эти четыре вещи — вот почему их положили вместе”.

Эта тенденция опираться на практическую деятельность, встречающуюся в жизни, преобладала у необразованных и неграмот-

ных испытуемых. Испытуемые, которые уже получили основы школьного образования или посещали краткосрочные курсы, давали смесь практических и теоретических методов обобщения. Категориальную классификацию в качестве основного метода группировки предметов применяла наиболее образованная группа испытуемых. Такие испытуемые на вопрос, какие три из следующих предметов — стакан, сковородка, очки и бутылка — имеют общую черту, немедленно отвечали: “Стакан, очки и бутылка. Они сделаны из стекла, а сковородка — металлическая”; или при предъявлении серии “верблюд, овца, лошадь, повозка” говорили: “Повозка сюда не подходит. Все остальное — животные”. Эти и многие другие примеры доказывают, что испытуемые выделяли общие признаки объектов, чтобы делать обобщения (например, “стекло”), и могли отнести разные предметы к общей категории (например, “животные”).

Итак, результаты этих экспериментов сводятся к следующему: первичная функция языка изменяется с повышением образовательного уровня. Когда люди пользуются представлением о конкретной ситуации в качестве способа группирования предметов, они используют язык лишь для того, чтобы он помог им припомнить и объединить в группу компоненты практической ситуации, а не для того, чтобы иметь возможность выделить общий признак и найти объединяющую объекты категорию. Перед нами возник вопрос: имеют ли для необразованных людей абстрактные термины их языка, такие, как “орудие”, “сосуд” или “животные”, действительно более конкретное значение, чем для более образованных испытуемых. Ответ на этот вопрос оказался утвердительным.

Приведем примеры. Мы предъявили трем испытуемым (1—3) рисунок топора, пилы и молотка и спросили: “Считаете ли вы, что все эти вещи — орудия?” Все трое испытуемых отвечали утвердительно. “А как насчет полена?”

1. “Оно тоже подходит к этим вещам. Мы делаем из дерева разные вещи — двери, ручки инструментов”.

2. “Можно сказать, что полено — это орудие, так как дерево нужно для работы вместе с инструментами, чтобы делать вещи. Куски дерева идут на изготовление орудий”.

“Но, — возражали мы, — один человек сказал, что полено — это не орудие, потому что им нельзя ни пилить, ни рубить”.

3. “Наверное, вам это сказал какой-нибудь полоумный. Дерево нужно для инструментов — вместе с железом оно может резать”.

“Но не могу же я назвать полено инструментом?”

3. “Можете — из него можно делать ручки”.

“И ты действительно можешь сказать, что дерево — орудие?”

2. “Конечно! Из него делают шесты, ручки. Мы называем все нужные нам вещи орудиями”.

“Назовите все известные вам орудия”.

3. “Топор, повозка и также дерево — мы привязываем к нему лошадь, если поблизости нет столба. Послушай, если бы у нас не было вот такой доски (показывает), мы не смогли бы задержать воду в этом арыке, так что эта доска тоже орудие, и то дерево, которое идет на изготовление классной доски, — тоже орудие”.

“Назовите все орудия, которыми можно делать вещи”.

1. “У нас есть поговорка — взгляни в поле, и ты увидишь орудие”.

3. “Топор, колун, пила, ярмо, упряжь и ремень, нужный для седла”.

“Вы действительно можете назвать дерево орудием?”

2. “Да, конечно. Если у нас не будет дерева для топора, мы не сможем работать и не сможем построить повозку”.

Ответы этих испытуемых были типичны для грамотных: пытаюсь определить абстрактный, категориальный смысл слова, испытуемые сначала включали в него предметы, действительно принадлежащие данной категории, однако вскоре совсем выходили за пределы этой категории и добавляли предметы, которые просто встречались в их описи вместе с теми, которые входили в указанный класс, или же предметы, которые могли бы встретиться вместе с некоторой воображаемой ситуацией. Для этих людей слова имели функцию, совершенно отличную от той, которую они имеют для образованных людей. Они употреблялись не для кодирования предметов, не для их обобщения в абстрактном понятии, а для того чтобы установить практические связи между вещами.

Однако испытуемые, получившие основы школьного образования и принимавшие участие в коллективных формах трудовой деятельности, легко переходили к абстрактному мышлению. Приобретение нового социального опыта, новые идеи, образование изменяют отношение людей к языку, тогда слова становятся основным инструментом абстракции и обобщения.

Эта работа по определению значений слов одновременно с работой по классификации привела нас к выводу, что способы обобщения, типичные для мышления людей, живущих в обществе, где рудиментарные, практические функции довлеют над их деятельностью, отличаются от моделей обобщения у лиц, получивших формальное образование. Процессы абстрагирования и обобщения не являются инвариантными на всех этапах социально-экономического и культурного развития. Такие процессы сами являются продуктами культурной среды.

На базе полученных результатов, показывающих сдвиг в способности людей классифицировать предметы, встречающиеся в их повседневной жизни, мы предположили, что когда люди овладевают словесным и логическим кодированием, позволяющим им абстрагировать существенные черты предметов и включать их в категории, они смогут перейти и к более сложному логическому мышлению. Если люди группируют предметы и устанавливают значение слов на базе практического опыта, можно ожидать, что и выводы, сделанные ими из определенной предпосылки в логической задаче, тоже будут зависеть от их непосредственного практического опыта. В таком случае приобретение новых знаний на словесно-логической основе было бы невозможным. Как известно, переход от сенсорного к рациональному сознанию, к словесно-логической форме приобретения опыта классики марксизма считают наиболее важным феноменом в истории человечества.

Наличие общих теоретических понятий, которым подчинены практические знания, создает логическую систему кодирования. Теоретическая мысль, развиваясь, все более усложняется и приобретает сложную абстрактную структуру. Система логических и грамматических структур фун-

кционирует в качестве основы суждения; эта система также включает более сложные словесные и логические “приемы”, позволяющие выполнять операции по дедукции, не опираясь на непосредственный опыт.

В ходе культурного развития возникает способность делать выводы из силлогизмов, в которых ряд частных суждений ведет к объективно новому заключению. Два предложения, первое из которых дает общее утверждение, а второе — специфическое утверждение, представляют собой большую и малую посылки силлогизма. Взрослый образованный человек воспринимает эти посылки не как две отдельные фразы, а как некую логическую связь, ведущую к выводу. Например, я могу сказать:

Драгоценные металлы не ржавеют.
Золото — драгоценный металл.

Вывод “Золото не ржавеет” настолько очевиден, что многие психологи были склонны рассматривать подобное логическое заключение как основное свойство человеческого сознания.

Так, приверженцы Вюрцбургской психологической школы, например, говорили о “логических ощущениях”, полагая, что эти “ощущения” присущи человеческому сознанию в течение всей истории человечества. Пиаже, изучая развитие интеллектуальной деятельности у детей, выразил сомнение относительно врожденного характера таких “логических ощущений”. В то время, когда мы проводили свои исследования, никто еще не знал, являются такие логические схемы неизменными на разных стадиях социального развития или нет. Потому мы решили исследовать реакции испытуемых на задачи, требующие вывода из силлогизма.

Чтобы определить, создаются суждения людей на логической основе, т. е. на основе больших и малых посылок, или же на основе собственного практического опыта, мы создали два типа силлогизмов. В одних силлогизмах содержание было взято из непосредственного практического опыта людей, содержание других было оторвано от такого опыта, так что выводы можно было сделать только на базе логической дедукции.

Мы опасались, что испытуемые не воспримут большую и малую посылки как части единой задачи, забудут или исказят эти посылки, и тогда их вывод будет построен не на тех данных, которые предъявлялись. Чтобы гарантировать себя от этого, мы сначала предъявили большой и малый силлогизмы, а потом просили испытуемых повторить весь силлогизм. Особое внимание уделялось искажениям посылок и любым вопросам испытуемых, так как они были важным свидетельством того, в какой степени посылки воспринимались как объединенная система. После того как испытуемый мог правильно повторить посылки, мы просили его сделать соответствующий вывод.

Один из первых фактов, который мы обнаружили, состоял в том, что неграмотные испытуемые не видели логической связи между частями силлогизма. Для них каждая из трех отдельных фраз представляла собой изолированное суждение. Это проявлялось уже тогда, когда испытуемые пытались повторить отдельные предложения задачи, они припоминали их как отдельные, не связанные между собой предложения, часто упрощая и изменяя их форму. Во многих случаях предложения фактически теряли весь свой характер силлогизма. Это можно показать на следующих примерах.

Драгоценные металлы не ржавеют.
Золото — драгоценный металл.
Ржавеет оно или нет?

Воспроизведение этого силлогизма тремя испытуемыми (1—3) было следующим:

1. Драгоценные металлы ржавеют или нет? Золото ржавеет или нет?

2. Драгоценные металлы ржавеют. Драгоценное золото ржавеет. Ржавеет ли драгоценное золото или нет? Ржавеют ли драгоценные металлы или нет?

3. Это все — драгоценное. Золото — тоже драгоценное. Ржавеет оно или нет?

Эти примеры показывают, что силлогизмы не воспринимались испытуемыми как объединенная логическая система. Отдельные части силлогизма запоминались как обособленные, логически не связанные между собой фразы. Некоторые испытуемые улавливали вопросительную форму последнего предложения и переносили

ее на обе посылки. В других случаях вопрос, сформулированный в силлогизме, повторялся, но без связи с предшествовавшей посылкой, как не имеющий к ним отношения.

Полученные результаты показали, что дальнейшее изучение логической операции требует проведения с нашими испытуемыми предварительной работы по силлогизмам для того, чтобы помочь им понять универсальную природу посылок и их логическую связь и основную задачу — сделать вывод. В этой работе мы предлагали испытуемым силлогизмы со знакомым содержанием. Содержание силлогизмов первого типа бралось из практического опыта испытуемого, например:

Хлопок растет там, где жарко и сухо.
В Англии холодно и сыро.
Может там расти хлопок или нет?

Силлогизмы второго типа включали материалы, незнакомые испытуемым, и выводы из них должны были быть чисто теоретическими, например:

На Дальнем севере, где снег, все медведи белые.
Новая Земля — на Дальнем севере.
Какого цвета там медведи?

Испытуемые, живущие в наиболее отсталых районах, отказывались делать какие-либо выводы даже из первого типа силлогизмов. Они заявляли, что никогда не бывали в этом незнакомом месте и не знают, растет там хлопок или нет. Только после длительных разъяснений их убеждали отвечать на основе самих слов, и они неохотно соглашались сделать вывод: “Из твоих слов понятно, что хлопок там не может расти, если там холодно и сыро. Когда холодно и сыро, хлопок растет плохо”.

Такие испытуемые наотрез отказывались делать выводы из силлогизмов второго типа. Как правило, они отказывались даже принять большую посылку, заявляя: “Я никогда не был на севере и никогда не видел медведей”. Один из наших испытуемых сказал: “Если Вы хотите, чтобы Вам ответили на этот вопрос, спросите людей, которые там побывали и видели их”. Зачастую они игнорировали посылку и за-

меняли ее собственными сведениями, говоря, например: “Разные бывают медведи. Если родился красным, таким он и останется”. Короче говоря, они пытались избежать решения задачи.

Можно проиллюстрировать эти трудности следующими протоколами беседы с 37-летним жителем кишлака. Мы предъявили силлогизм: “Хлопок может расти только там, где жарко и сухо. В Англии холодно и сыро. Может ли там расти хлопок?”

“Я не знаю”.

“Подумай об этом”.

“Я был только в Кашгаре. Ничего больше я не знаю”.

“Но на основании того, что я сказал, может ли хлопок там расти?”

“Если земля хорошая, хлопок будет там расти, но если там сыро и земля плохая, он расти не будет. Если там похоже на Кашгар, он там тоже будет расти. Конечно, если почва там рыхлая, он тоже будет там расти”.

Затем силлогизм был повторен.

“Что ты можешь заключить из моих слов?”

“Если там холодно, он не будет расти. Если почва хорошая и рыхлая — будет”.

“Но на какую мысль наводят мои слова?”

“Знаешь, мы — мусульмане, мы — кашгарцы. Мы никогда нигде не бывали и не знаем, жарко там или холодно”.

Был предъявлен другой силлогизм.

“На Дальнем Севере, где снег, все медведи белые. Новая Земля — на Дальнем севере. Какого цвета там медведи?”

“Медведи бывают разные”.

Силлогизм повторяется.

“Я не знаю. Я видел черного медведя. Других я никогда не видел. В каждой местности свои животные — если она белая, они будут белые, если желтая — они будут желтые”.

“Но какие медведи водятся на Новой Земле?” “Мы всегда говорим только о том, что мы видим. Мы не говорим о том, чего мы не видели”.

“Но на какую мысль наводят мои слова?”

Силлогизм снова повторяется.

“Ну, это вот на что похоже: наш царь не похож на вашего, а ваш не похож на нашего. На твои слова может ответить

только кто-то, кто там был, а если человек там не был, он ничего не может сказать на твои слова”.

“Но на основе моих слов: “На севере, где всегда снег, медведи — белые”, — можешь ты догадаться, какие медведи водятся на Новой Земле?”

“Если человеку шестьдесят или восемьдесят лет и он видел белого медведя и рассказал об этом — ему можно верить, но я никогда его не видел, и потому не могу сказать. Это мое последнее слово. Те, кто видел, могут сказать, а те, кто не видел, ничего сказать не могут”.

В этот момент в разговор вступил молодой узбек: “Из ваших слов понятно, что медведи там белые”.

“Ну, кто же из вас прав?”

Первый испытуемый отвечал; “Что петух умеет делать, он и делает. Что я знаю, я говорю, и ничего кроме этого”

Результаты этой и многих других бесед показывают, что в решении логических задач у испытуемых преобладают процессы аргументации и дедукции, связанные с непосредственным практическим опытом. Эти люди высказывали совершенно верные суждения о фактах, о которых они знали из своего непосредственного опыта; в этих случаях они могли делать выводы согласно законам логики и облекать свои мысли в слова. Однако при отсутствии опоры на свой опыт и обращении к системе теоретического мышления три фактора резко ограничивали их возможности. Первый — это недоверие к первоначальным посылкам, которые не основывались на их личном опыте, что делало для них невозможным использование этих посылок. Второй — это то, что такие послылки не были для них универсальными; они воспринимались испытуемыми как частное утверждение, отражающее лишь единственный частный случай. Третий фактор — это то, что в итоге силлогизмы распадались у испытуемых на три изолированных высказывания, не объединенных единой логикой. В результате испытуемые решали задачу путем догадки или обращаясь к личному опыту. Неграмотные крестьяне могли объективно использовать логические связи, лишь опираясь на личный опыт, однако они не воспринимали силлогизм как прием, помогающий сделать логический вывод.

Как и в других наших исследованиях, у образованных испытуемых картина резко менялась. Они решали силлогизмы так, как это делает любой образованный человек. Из каждого силлогизма они выводили правильное заключение независимо от того, были посылки правильны фактически и близки ли они к непосредственному опыту испытуемого.

Я кратко описал только три вида экспериментов из числа тех, которые мы провели в течение двух наших экспедиций в Среднюю Азию. Помимо этих опытов проводились также тщательные исследования процесса решения задач, характера аргументации, используемой испытуемыми, воображения и оценки собеседниками собственной личности. Мы назвали эти последние наблюдения “антидекартовскими экспериментами”, так как мы установили, что критическое от-

ношение к себе является конечным продуктом социально детерминированного психологического развития, а не его отправной точкой, как это следует из идей Декарта. Я не буду приводить здесь все детали этих экспериментов, потому что их схема оставалась постоянной. Во всех случаях мы обнаруживали, что изменения практических форм деятельности, в особенности перестройка деятельности, основанная на формальном образовании и социальном опыте, вызывали качественные изменения в процессах мышления испытуемых. Более того, мы смогли установить, что перестройка организации мышления может произойти за относительно короткое время при наличии достаточно резких изменений социально-исторических условий, подобных тем, которые последовали за Октябрьской революцией 1917 г.

А. Н. Леонтьев

[КАТЕГОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ]¹

Два подхода в психологии — две схемы анализа

Последние годы в советской психологии происходило ускоренное развитие отдельных ее ветвей и прикладных исследований. В то же время теоретическим проблемам общей психологии уделялось гораздо меньше внимания. Вместе с тем советская психология, формируясь на марксистско-ленинской философской основе, выдвинула принципиально новый подход к психике и впервые внесла в психологию ряд важнейших категорий, которые нуждаются в дальнейшей разработке.

Среди этих категорий важнейшее значение имеет категория *деятельности*. Вспомним знаменитые тезисы К. Маркса о Фейербахе, в которых говорится, что главный недостаток прежнего метафизического материализма состоял в том, что он рассматривал чувственность только в форме созерцания, а не как человеческую деятельность, практику; что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, который, однако, понимал ее абстрактно, а не как действительную чувственную деятельность человека².

Именно так обстояло дело и во всей домарксистской психологии. Впрочем, и в современной психологии, которая разви-

вается вне марксизма, ситуация остается прежней. Деятельность и в ней интерпретируется либо в рамках идеалистических концепций, либо в естественнонаучных, материалистических по своей общей тенденции направлениях — как ответ на внешние воздействия пассивного субъекта, обусловленный его врожденной организацией и научением. Но именно это и раскалывает психологию на естественнонаучную и психологию как науку о духе, на психологию бихевиористскую и “менталистскую”. Возникающие в связи с этим в психологии кризисные явления сохраняются и сейчас; они только “ушли в глубину”, стали выражаться в менее явных формах.

Характерное для наших дней интенсивное развитие междисциплинарных исследований, связывающих психологию с нейрофизиологией, с кибернетикой и логико-математическими дисциплинами, с социологией и историей культуры, само по себе еще не может привести к решению фундаментальных методологических проблем психологической науки. Оставляя их нерешенными, оно лишь усиливает тенденцию к опасному физиологическому, кибернетическому, логическому или социологическому редуционизму, угрожающему психологии утратой своего предмета, своей специфики. Не является свидетельством теоретического прогресса и то обстоятельство, что столкновение различных психологических направлений потеряло сейчас свою прежнюю остроту: воинствующий бихевиоризм уступил место компромиссному необихевиоризму (или, как говорят некоторые авторы, “субъективному бихевиоризму”), гештальтизм — неогештальтизму, фрейдизм — неофрейдизму и культурной антропологии. Хотя термин “эkleктический” приобрел у американских авторов значение чуть ли не высшей похвалы, эkleктические позиции никогда еще не приводили к успеху. Научный синтез разнородных комплексов, добытых психологических фактов и обобщений, разумеется, не может быть достигнут путем их простого соединения с помощью общего переплета. Он требует дальнейшей разработки кон-

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. С. 136—159.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 1.

цептуального строя психологии, поиска новых научных теорий, способных стянуть разошедшиеся швы здания психологической науки.

При всем многообразии направлений, о которых идет речь, общее между ними, с методологической точки зрения, состоит в том, что они исходят из двучленной схемы анализа: *воздействие на реципирующие системы субъекта → возникающие ответные — объективные и субъективные — явления, вызываемые данным воздействием.*

Схема эта с классической ясностью выступила уже в психофизике и физиологической психологии прошлого столетия. Главная задача, которая ставилась в то время, заключалась в том, чтобы изучить зависимость элементов сознания от параметров вызывающих их раздражителей. Позже, в бихевиоризме, т. е. применительно к изучению поведения, эта двучленная схема нашла свое прямое выражение в знаменитой формуле $S \rightarrow R$.

Неудовлетворительность этой схемы заключается в том, что она исключает из поля зрения исследования тот содержательный процесс, в котором осуществляются реальные связи субъекта с предметным миром, его предметную деятельность (нем. *Tätigkeit* — в отличие от *Aktivität*). Такая абстракция от деятельности субъекта оправдана лишь в узких границах лабораторного эксперимента, имеющего своей целью выявить элементарные психофизиологические механизмы. Достаточно, однако, выйти за эти узкие границы, как тотчас обнаруживается ее несостоятельность. Это и вынуждало прежних исследователей допускать при объяснении психологических фактов вмешательство особых сил, таких, как активная апперцепция, внутренняя интенция и т. п., т. е. все же апеллировать к деятельности субъекта, но только в ее мистифицированной идеализмом форме.

Принципиальные трудности, создаваемые в психологии двучленной схемой анализа и тем “постулатом непосредственности”¹, который скрывается за ней, породили настойчивые попытки преодолеть ее. Одна из линий, по которой шли

эти попытки, нашла свое выражение в подчеркивании того факта, что эффекты внешних воздействий зависят от их преломления субъектом, от тех психологических “промежуточных переменных” (Э. Толмен и другие), которые характеризуют его внутреннее состояние. В свое время С. Л. Рубинштейн выразил это в формуле, гласящей, что “внешние причины действуют через внутренние условия”². Конечно, формула эта является бесспорной. Если, однако, под внутренними условиями подразумеваются текущие состояния субъекта, подвергающегося воздействию, то она не вносит в схему $S \rightarrow R$ ничего принципиально нового. Ведь даже неживые объекты при изменении своих состояний по-разному обнаруживают себя во взаимодействии с другими объектами. На влажном, размягченном грунте следы будут отчетливо отпечатываться, а на сухой, слежавшейся почве — нет. Тем яснее проявляется это у животных и человека: голодное животное будет реагировать на пищевой раздражитель иначе, чем сытое, а у человека, интересующегося футболом, сообщение о результатах матча вызовет совсем другую реакцию, чем у человека, к футболу вполне равнодушного.

Введение понятия промежуточных переменных, несомненно, обогащает анализ поведения, но оно вовсе не снимает упомянутого постулата непосредственности. Дело в том, что хотя переменные, о которых идет речь, и являются промежуточными, но только в смысле внутренних состояний самого субъекта. Сказанное относится и к “мотивирующим факторам” — потребностям и влечениям. Разработка роли этих факторов шла, как известно, в очень разных направлениях — и в бихевиоризме, и в школе К. Левина, и особенно в глубинной психологии. При всех, однако, различиях между собой этих направлений и различиях в понимании самой мотивации и ее роли неизменным оставалось главное: противопоставленность мотивации объективным условиям деятельности, внешнему миру.

Особо следует выделить попытки решить проблему, идущие со стороны так называемой культурологии. Признанный

¹ См.: Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 158.

² Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 226.

основоположник этого направления Л. Уайт¹ развивал идею “культурной детерминации” явлений в обществе и в поведении индивидов. Возникновение человека и человеческого общества приводит к тому, что прежде прямые, натуральные связи организма со средой становятся опосредствованными культурой, развивающейся на базе материального производства². При этом культура выступает для индивидов в форме значений, передаваемых речевыми знаками-символами. Исходя из этого, Л. Уайт предлагает трехчленную формулу поведения человека: *организм человека x культурные стимулы → поведение*.

Формула эта создает иллюзию преодоления постулата непосредственности и вытекающей из него схемы $S \rightarrow R$. Однако введение в эту схему в качестве посредствующего звена культуры, коммуницируемой знаковыми системами, неизбежно замыкает психологическое исследование в круг явлений сознания — общественного и индивидуального. Происходит простая подстановка: место мира предметов теперь занимает мир выработанных обществом знаков, значений. Таким образом, мы снова стоим перед двучленной схемой $S \rightarrow R$, но только стимул интерпретируется в ней как “культурный стимул”. Это и выражает дальнейшая формула Л. Уайта, посредством которой он поясняет различие в детерминации психических реакций (minding) животных и человека. Он записывает эту формулу так:

$Vm = f(Vb)$ — у животных,

$Vm = f(Vc)$ — у человека,

где V — переменные, m — психика, b — телесное состояние (body), c — культура.

В отличие от идущих от Дюркгейма социологических концепций в психологии, которые так или иначе сохраняют идею первичности взаимодействия человека с

предметным миром, современная американская культурология знает лишь воздействие на человека “экстрасоматических объектов”, которые образуют континуум, развивающийся по своим собственным “супрапсихологическим” и “супрасоциологическим” законам (что и делает необходимой особую науку — культурологию). С этой, культурологической, точки зрения человеческие индивиды являются лишь “каталитическими агентами” и “средой выражения” культурного процесса³. Не более того.

Совсем другая линия, по которой шло усложнение анализа, вытекающего из постулата непосредственности, была порождена открытием регулирования поведения посредством обратных связей, отчетливо сформулированным еще Н. Н. Ланге⁴.

Уже первые исследования построения сложно-двигательных процессов у человека, среди которых нужно особенно назвать работы Н. А. Бернштейна⁵, показавшие роль рефлекторного кольца с обратными связями, дали возможность по-новому понять механизм широкого круга явлений.

За время, которое отделяет нас от первых работ, выполненных еще в 30-е гг., теория управления и информации приобрела общенаучное значение, охватывая процессы как в живых, так и неживых системах.

Любопытно, что разработанные за эти годы понятия кибернетики позже были восприняты большинством психологов как совершенно новые. Произошло как бы их второе рождение в психологии — обстоятельство, создавшее у некоторых энтузиастов кибернетического подхода впечатление, что найдены наконец новые методологические основы всеобъемлющей психологической теории. Очень скоро, однако, обнаружилось, что кибернетический подход в психологии также имеет свои границы,

¹ См. White L. The Science of Culture. N. Y., 1949.

² Упоминание им о том, что общество организовано на основе отношений собственности, служило иногда поводом относить Л. Уайта якобы к сторонникам исторического материализма; правда, один из его апологетов оговаривается при этом, что исторический материализм идет у него не от Маркса, а от “здорового смысла”, от идеи выживания (business of living) (Barnes H. Outstanding Contributions to Anthropology, Culture, Culturology and Cultural Evolution. N. Y., 1960).

³ White L. The Science of Culture. P. 181.

⁴ См. Ланге Н. Н. Психологические исследования. Одесса, 1893.

⁵ См.: Бернштейн Н. А. Физиология движения // Конради Г. П., Слоним А. Д., Фарфель В. С. Физиология труда. М., 1934; Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947.

перейти которые можно только ценой подмены научной кибернетики некоей “кибернетической мифологией”; подлинно же психологические реальности, такие, как психический образ, сознание, мотивация и целеобразование, фактически оказались утраченными. В этом смысле произошло даже известное отступление от ранних работ, в которых развивался принцип активности и представление об уровнях регулирования, среди которых особо выделялся уровень предметных действий и высшие познавательные уровни.

Понятия современной теоретической кибернетики образуют очень важную плоскость абстракции, позволяющую описывать особенности структуры и движения широчайшего класса процессов, которые с помощью прежнего понятийного аппарата не могли быть описаны. Вместе с тем исследования, идущие в этой новой плоскости абстракции, несмотря на их бесспорную продуктивность, сами по себе не способны дать решение фундаментальных методологических проблем той или иной специальной области знаний. Поэтому нет ничего парадоксального в том, что и в психологии введение понятий об управлении, информационных процессах и о саморегулирующихся системах еще не отменяет упомянутого постулата непосредственности.

Вывод состоит в том, что, по-видимому, никакое усложнение исходной схемы, вытекающей из этого постулата, так сказать, “изнутри” не в состоянии устранить те методологические трудности, которые она создает в психологии. Чтобы снять их, нужно заменить двучленную схему анализа принципиально другой схемой, а этого нельзя сделать, не отказавшись от постулата непосредственности.

Главный тезис, обоснованию которого посвящается дальнейшее изложение, заключается в том, что реальный путь преодоления этого, по выражению Д. К. Узнадзе, “рокового” для психологии постулата открывается введением в психологию категории предметной деятельности.

Выдвигая это положение, нужно сразу же уточнить его: речь идет именно о *деятельности*, а не о поведении и не о тех нервных физиологических процессах, ко-

торые реализуют деятельность. Дело в том, что вычленяемые анализом “единицы” и язык, с помощью которых описываются поведенческие, церебральные или логические процессы, с одной стороны, и предметная деятельность, — с другой, не совпадают между собой.

Итак, в психологии сложилась следующая альтернатива: либо сохранить в качестве основной двучленную схему — *воздействие объекта → изменение текущих состояний субъекта* (или, что принципиально то же самое, схему $S \rightarrow R$), либо исходить из трехчленной схемы, включающей среднее звено (“средний термин”) — деятельность субъекта и соответственно ее условия, цели и средства, звено, которое опосредствует связи между ними.

С точки зрения проблемы детерминации психики эта альтернатива может быть сформулирована так: мы встаем либо на позицию, что сознание определяется окружающими вещами, явлениями, либо на позицию, утверждающую, что сознание определяется общественным бытием людей, которое, по определению Маркса и Энгельса, есть не что иное, как реальный процесс их жизни¹.

Но что такое человеческая жизнь? Это есть совокупность, точнее, система сменяющих друг друга деятельностей. В деятельности и происходит переход объекта в его субъективную форму, в образ; вместе с тем в деятельности совершается также переход деятельности в ее объективные результаты, в ее продукты. Взятая с этой стороны, деятельность выступает как процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюсами “субъект — объект”. “В производстве объективируется личность; в потреблении субъективируется вещь”, — замечает Маркс².

О категории предметной деятельности

Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального субъекта. В более узком смысле, т. е. на психологическом уровне, это единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 5.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 25.

состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными словами, деятельность — это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие.

Введение категории деятельности в психологию меняет весь понятийный строй психологического знания. Но для этого нужно взять эту категорию во всей ее полноте, в ее важнейших зависимостях и детерминациях: со стороны ее структуры и в ее специфической динамике, в ее различных видах и формах. Иначе говоря, речь идет о том, чтобы ответить на вопрос, как именно выступает категория деятельности в психологии. Вопрос этот ставит ряд далеко еще не решенных теоретических проблем. Само собой разумеется, что я могу затронуть лишь некоторые из них.

Психология человека имеет дело с деятельностью конкретных индивидов, протекающей или в условиях открытой коллективности — среди окружающих людей, совместно с ними и во взаимодействии с ними, или с глазу на глаз с окружающим предметным миром — перед гончарным кругом или за письменным столом. В каких бы, однако, условиях и формах ни протекала деятельность человека, какую бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из общественных отношений, из жизни общества. При всем своем своеобразии деятельность человеческого индивида представляет собой систему, включенную в систему отношений общества. Вне этих отношений человеческая деятельность вообще не существует. Как именно она существует, определяется теми формами и средствами материального и духовного общения (*Verkehr*), которые порождаются развитием производства и которые не могут реализоваться иначе, как в деятельности конкретных людей¹.

Само собой разумеется, что деятельность каждого отдельного человека зависит при этом от его места в обществе, от условий, выпадающих на его долю, от того, как она складывается в неповторимых индивидуальных обстоятельствах.

Особенно следует предостеречь против понимания деятельности человека как от-

ношения, существующего между человеком и противостоящим ему обществом. Это приходится подчеркивать, так как затопляющие сейчас психологию позитивистские концепции всячески навязывают идею противопоставленности человеческого индивида обществу. Для человека общество якобы составляет лишь ту внешнюю среду, к которой он вынужден приспособливаться, чтобы не оказаться “неадаптированным” и выжить, совершенно так же, как животное вынуждено приспособливаться к внешней природной среде. С этой точки зрения деятельность человека формируется в результате ее подкрепления, хотя бы и не прямого (например, через оценку, выражаемую “референтной” группой). При этом упускается главное — то, что в обществе человек находит не просто внешние условия, к которым он должен приравнивать свою деятельность, но что сами эти общественные условия несут в себе мотивы и цели его деятельности, ее средства и способы; словом, что общество производит деятельность образующих его индивидов. <...>

Основной, или, как иногда говорят, конституирующей, характеристикой деятельности является ее предметность. Собственно, в самом понятии деятельности уже имплицитно содержится понятие ее предмета (*Gegenstand*). Выражение “беспредметная деятельность” лишено всякого смысла. Деятельность может *казаться* беспредметной, но научное исследование деятельности необходимо требует открытия ее предмета. При этом предмет деятельности выступает двояко: первично — в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично — как образ предмета, как продукт психического отражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осуществиться не может.

Уже в самом зарождении деятельности и психического отражения обнаруживается их предметная природа. Так, было показано, что жизнь организмов в гомогенной, хотя и изменчивой среде может развиваться лишь в форме усложнения той системы элементарных отправлений, которая поддерживает их существование. Толь-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 19.

ко при переходе к жизни в дискретной среде, т. е. к жизни в мире предметов, над процессами, отвечающими воздействиям, имеющим прямое биотическое значение, надстраиваются процессы, вызываемые воздействиями, которые сами по себе могут быть нейтральными, абиотическими, но ориентирующими организм по отношению к воздействиям первого рода. Формирование этих процессов, опосредствующих фундаментальные жизненные отправления, происходит в силу того, что биотические свойства предмета (например, его пищевые свойства) выступают как скрытые за другими, “поверхностными” его свойствами, поверхностными в том смысле, что, прежде чем испытать на себе эффекты, вызываемые биотическим воздействием, нужно, образно говоря, пройти через эти свойства (таковы, например, механические свойства твердого тела по отношению к химическим его свойствам). <...>

Итак, предыстория человеческой деятельности начинается с приобретения жизненными процессами предметности. Последнее означает также появление элементарных форм психического отражения — превращение раздражимости (*irribilitas*) в чувствительность (*sensibilitas*), в “способность ощущения”.

Дальнейшая эволюция поведения и психики животных может быть адекватно понята именно как история развития предметного содержания деятельности. На каждом новом этапе возникает все более полная подчиненность эффекторных процессов деятельности объективным связям и отношениям свойств предметов, во взаимодействие с которыми вступает животное. Предметный мир как бы все более “втягивается” в деятельность. Так, движение животного вдоль преграды подчиняется ее “геометрии” — уподобляется ей и несет ее в себе, движение прыжка подчиняется объективной метрике среды, а выбор обходного пути — межпредметным отношениям.

Развитие предметного содержания деятельности находит свое выражение в идущем вслед развитии психического отражения, которое регулирует деятельность в предметной среде.

Всякая деятельность имеет кольцевую структуру: *исходная афферентация* → *эффекторные процессы, реализующие контак-*

ты с предметной средой → *коррекция и обогащение с помощью обратных связей исходного афферентирующего образа*. Сейчас кольцевой характер процессов, осуществляющих взаимодействие организма со средой, является общепризнанным и достаточно хорошо описан. Однако главное заключается не в самой по себе кольцевой структуре, а в том, что психическое отражение предметного мира порождается не непосредственно внешними воздействиями (в том числе и воздействиями “обратными”), а теми процессами, с помощью которых субъект вступает в практические контакты с предметным миром и которые поэтому необходимо подчиняются его независимым свойствам, связям, отношениям. Последнее означает, что “афферентатором”, управляющим процессами деятельности, первично является сам предмет и лишь вторично — его образ как субъективный продукт деятельности, который фиксирует, стабилизирует и несет в себе ее предметное содержание. Иначе говоря, осуществляется двойной переход: переход *предмет* → *процесс деятельности* и переход *деятельность* → *ее субъективный продукт*. Но переход процесса в форму продукта происходит не только на полюсе субъекта. Еще более явно он происходит на полюсе объекта, трансформируемого человеческой деятельностью; в этом случае регулируемая психическим образом деятельность субъекта переходит в “покоящееся свойство” (*ruhende Eigenschaft*) ее объективно-го продукта.

На первый взгляд кажется, что представление о предметной природе психики относится только к сфере собственно познавательных процессов; что же касается сферы потребностей и эмоций, то на нее это представление не распространяется. Это, однако, не так.

Взгляды на эмоционально-потребностную сферу как на сферу состояний и процессов, природа которых лежит в самом субъекте и которые лишь изменяют свои проявления под давлением внешних условий, основываются на смешении, по существу, разных категорий, на смешении, которое особенно дает о себе знать в проблеме потребностей.

В психологии потребностей нужно с самого начала исходить из следующего капитального различия: различия

потребности как внутреннего условия, как одной из обязательных предпосылок деятельности и потребности как того, что направляет и регулирует конкретную деятельность субъекта в предметной среде. “Голод способен поднять животное на ноги, способен придать поискам более или менее страстный характер, но в нем нет никаких элементов, чтобы направить движение в ту или другую сторону и видоизменить его сообразно требованиям местности и случайностям встреч”¹, — писал И. М. Сеченов. Именно в направляющей своей функции потребность и является предметом психологического познания. В первом же случае потребность выступает лишь как состояние нужды организма, которое само по себе не способно вызвать никакой определенно направленной деятельности; ее функция ограничивается активацией соответствующих биологических отправления и общим возбуждением двигательной сферы, проявляющимся в ненаправленных поисковых движениях. Лишь в результате ее “встречи” с отвечающим ей предметом она впервые становится способной направлять и регулировать деятельность.

Встреча потребности с предметом есть акт чрезвычайный. Он отмечался уже Ч. Дарвином, о нем свидетельствуют некоторые данные И. П. Павлова; о нем говорит Д. Н. Узнадзе как об условии возникновения установки, и его блистательное описание дают современные этологи. Этот чрезвычайный акт есть акт опредмечивания потребности — “наполнения” ее содержанием, которое черпается из окружающего мира. Это и переводит потребность на собственно психологический уровень.

Развитие потребностей на этом уровне происходит в форме развития их предметного содержания. Кстати сказать, это обстоятельство только и позволяет понять появление у человека новых потребностей, в том числе таких, которые не имеют своих аналогов у животных, “отвязаны” от биологических потребностей организма и в этом смысле являются “автономными”².

Их формирование объясняется тем, что в человеческом обществе предметы потребностей производятся, а благодаря этому производятся и сами потребности³.

Итак, потребности управляют деятельностью со стороны субъекта, но они способны выполнять эту функцию лишь при условии, что они являются предметными. Отсюда и происходит возможность оборота терминов, который позволил К. Левину говорить о побудительной силе (*Aufforderungscharakter*) самих предметов⁴.

Не иначе обстоит дело с эмоциями и чувствами. И здесь необходимо различать, с одной стороны, беспредметные стенические, астенические состояния, а с другой — собственно эмоции и чувства, порождаемые соотношением предметной деятельности субъекта с его потребностями и мотивами. Но об этом нужно говорить особо. В связи же с анализом деятельности достаточно указать на то, что предметность деятельности порождает не только предметный характер образов, но также предметность потребностей, эмоций и чувств.

Процесс развития предметного содержания потребностей не является, конечно, односторонним. Другая его сторона состоит в том, что и сам предмет деятельности открывается субъекту как отвечающий той или иной его потребности. Таким образом, потребности побуждают деятельность и управляют ею со стороны субъекта, но они способны выполнять эти функции при условии, что они являются предметными.

Предметная деятельность и психология

То обстоятельство, что генетически исходной и основной формой человеческой деятельности является деятельность внешняя, чувственно-практическая, имеет для психологии особый смысл. Ведь психология всегда, конечно, изучала деятельность, например, деятельность мыслительную, деятельность воображения, запоминания и т. д. Только такая внутренняя деятельность, подпадающая под декартовскую категорию

¹ Сеченов И. М. Избранные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 581.

² Allport G. Pattern and Growth in Personality. N. Y., 1961.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 48. Ч. 1. С. 26—31.

⁴ См. Levin K. A. Dynamic Theory of Personality. N. Y., 1928.

cogito, собственно, и считалась психологической, единственно входящей в поле зрения психолога. Психология, таким образом, отлучалась от изучения практической, чувственной деятельности.

Если внешняя деятельность и фигурировала в старой психологии, то лишь как *выражающая* внутреннюю деятельность, деятельность сознания. Прошедший на рубеже нашего столетия бунт бихевиористов против подобной менталистской психологии скорее углубил, чем устранил разрыв между сознанием и внешней деятельностью, только теперь, наоборот, внешняя деятельность оказалась отлученной от сознания.

Подготовленный объективным ходом развития психологических знаний вопрос, который встал сейчас во весь рост, состоит в том, входит ли изучение внешней практической деятельности в задачу психологии. Ведь “на лбу” деятельности “не написано”, предметом какой науки она является. Вместе с тем научный опыт показывает, что выделение деятельности в качестве предмета некоей особой области знания — “праксиологии” — не является оправданием. Как и всякая эмпирически данная реальность, деятельность изучается разными науками; можно изучать физиологию деятельности, но столь же правомерным является ее изучение, например, в политической экономии или социологии. Внешняя практическая деятельность не может быть изъята и из собственно психологического исследования. Последнее положение может, однако, пониматься существенно по-разному.

Еще в 30-х гг. С. Л. Рубинштейн¹ указывал на важное теоретическое значение для психологии мысли Маркса о том, что в обыкновенной материальной промышленности мы имеем перед собой раскрытую книгу человеческих сущностных сил и что психология, для которой эта книга остается закрытой, не может стать содержательной и реальной наукой, что психология не должна игнорировать богатство человеческой деятельности.

Вместе с тем в своих последующих публикациях С. Л. Рубинштейн подчер-

кивал, что, хотя в сферу психологии входит и та практическая деятельность, посредством которой люди изменяют природу и общество, предметом психологического изучения “является только их специфически психологическое содержание, их мотивация и регуляция, посредством которой действия приводятся в соответствие с отраженными в ощущении, восприятии, сознании объективными условиями, в которых они совершаются”².

Итак, практическая деятельность, по мысли автора, входит в предмет изучения психологии, но лишь тем особым своим содержанием, которое выступает в форме ощущения, восприятия, мышления и вообще в форме внутренних психических процессов и состояний субъекта. Но это утверждение является по меньшей мере односторонним, так как оно абстрагируется от того капитального факта, что деятельность — в той или иной ее форме — входит в самый процесс психического отражения, в само содержание этого процесса, его порождение.

Рассмотрим самый простой случай: процесс восприятия упругости предмета. Это процесс внешнедвигательный, с помощью которого субъект вступает в практический контакт, в практическую связь с внешним предметом и который может быть направлен на осуществление даже не познавательной, а непосредственно практической задачи, например, на его деформацию. Возникающий при этом субъективный образ — это, конечно, психическое и, соответственно, бесспорный предмет психологического изучения. Однако, для того чтобы понять природу данного образа, я должен изучить процесс, его порождающий, а он в рассматриваемом случае является процессом внешним, практическим. Хочу я этого или не хочу, соответствует или не соответствует это моим теоретическим взглядам, я все же вынужден включить в предмет моего *психологического* исследования внешнее предметное действие субъекта. <...>

Иными словами, именно во внешней деятельности происходит размыкание круга внутренних психических процессов

¹ См.: Рубинштейн С. Л. Проблемы психологии в трудах К. Маркса // Советская психотехника. 1934. № 7.

² Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 40.

как бы навстречу объективному предметному миру, властно врывающемуся в этот круг.

Итак, деятельность входит в предмет психологии, но не особой своей “частью” или “элементом”, а своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности.

Вернемся, однако, к описанному случаю порождения психического отражения элементарного свойства вещественного предмета в условиях практического контакта с ним. Случай этот был приведен в качестве только поясняющего, грубо упрощенного примера. Он имеет, однако, и реальный генетический смысл. Едва ли нужно сейчас доказывать, что на первоначальных этапах своего развития деятельность необходимо имеет форму внешних процессов и что, соответственно, психический образ является продуктом этих процессов, практически связывающих субъект с предметной действительностью.

Очевидно, что на ранних генетических этапах научное объяснение природы и особенностей психического отражения невозможно иначе, как на основе изучения этих внешних процессов. При этом последнее означает не подмену исследования психики исследованием поведения, а лишь демистификацию природы психики. Ведь иначе нам не остается ничего другого, как признать существование таинственной “психической способности”, которая состоит в том, что под влиянием внешних толчков, падающих на рецепторы субъекта, в его мозге — в порядке параллельного физиологическим процессам явления — вспыхивает некий внутренний свет, озаряющий человеку мир, что происходит как бы излучение образов, которые затем локализируются, “объективируются” субъектом в окружающем пространстве. <...>

Соотношение внешней и внутренней деятельности

Старая психология имела дело только с внутренними процессами — с движением представлений, их ассоциацией в сознании, с их генерализацией и движением

их субститутов — слов. Эти процессы, как и непознавательные внутренние переживания, считались единственно составляющими предмет изучения психологии.

Начало переориентации прежней психологии было положено постановкой проблемы о происхождении внутренних психических процессов. Решающий шаг в этом отношении был сделан И. М. Сеченовым, который еще сто лет тому назад указывал, что психология незаконно вырывает из целостного процесса, звенья которого связаны самой природой, его середину — “психическое”, противопоставляя его “материальному”. Так как психология родилась из этой, по выражению И. М. Сеченова, *противоестественной* операции, то потом уже “никакие уловки не могли склеить эти разорванные его звенья”. Такой подход к делу, писал далее И. М. Сеченов, должен измениться. *“Научная психология по всему своему содержанию не может быть ничем иным, как рядом учений о происхождении психических деятельностей”*¹.

Дело историка — проследить этапы развития этой мысли. Замечу только, что начавшееся тщательное изучение филогенеза и онтогенеза мышления фактически раздвинуло границы психологического исследования. В психологию вошли такие парадоксальные с субъективно-эмпирической точки зрения понятия, как понятие о практическом интеллекте или ручном мышлении. Положение о том, что внутренним умственным действиям генетически предшествуют внешние, стало едва ли не общепризнанным. С другой стороны, т. е. двигаясь от изучения поведения, была выдвинута гипотеза о прямом, механически понимаемом переходе внешних процессов в скрытые, внутренние; вспомним, например, схему Д. Б. Уотсона: *речевое поведение → шепот → полностью беззвучная речь*².

Однако главную роль в развитии конкретно-психологических взглядов на происхождение внутренних мыслительных операций сыграло введение в психологию понятия об *интериоризации*.

Интериоризацией называют, как известно, переход, в результате которого внешние по своей форме процессы с внешни-

¹ Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. I. С. 209.

² См. Watson J. B. The Ways of the Behaviorism. N. Y., 1928.

ми же, вещественными предметами преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются специфической трансформации — обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности. Это, если воспользоваться краткой формулировкой Ж. Пиаже, переход, “ведущий от сенсомоторного плана к мысли”¹.

Процесс интериоризации детально изучен сейчас в контексте многих проблем — онтогенетических, психолого-педагогических и общепсихологических. При этом обнаруживаются серьезные различия как в теоретических основаниях исследования этого процесса, так и в теоретической его интерпретации. Для Ж. Пиаже важнейшее основание исследований происхождения внутренних мыслительных операций из сенсомоторных актов состоит, по-видимому, в невозможности вывести операторные схемы мышления непосредственно из восприятия. Такие операции, как объединение, упорядочение, центрация, первоначально возникают в ходе выполнения внешних действий с внешними объектами, а затем продолжают развиваться в плане внутренней мыслительной деятельности по ее собственным логико-генетическим законам². Иные исходные позиции определили взгляды на переход от действия к мысли П. Жане, А. Валлона, Д. Брунера.

В советской психологии понятие об интериоризации (“вращивании”) обычно связывают с именем Л. С. Выготского и его учеников, которым принадлежат важные исследования этого процесса. Последовательные этапы и условия целенаправленного, “не стихийного” преобразования внешних (материализованных) действий в действия внутренние (умственные) особенно детально изучаются П. Я. Гальпериным³.

Исходные идеи, которые привели Выготского к проблеме происхождения внут-

ренней психической деятельности из внешней, принципиально отличаются от теоретических концепций других современных ему авторов. Идеи эти родились из анализа особенностей специфически человеческой деятельности — деятельности трудовой, продуктивной, осуществляющейся с помощью орудий, деятельности, которая, является изначально общественной, т. е. которая развивается только в условиях кооперации и общения людей. Соответственно Л. С. Выготский выделял два главных взаимосвязанных момента, которые должны быть положены в основание психологической науки. Это орудийная (“инструментальная”) структура деятельности человека и ее включенность в систему взаимоотношений с другими людьми. Они-то и определяют собой особенности психологических процессов у человека. Орудие опосредствует деятельность, связывающую человека не только с миром вещей, но и с другими людьми. Благодаря этому его деятельность *впитывает в себя опыт человечества*. Отсюда и проистекает, что психические процессы человека (его “высшие психологические функции”) приобретают структуру, имеющую в качестве своего обязательного звена общественно-исторически сформировавшиеся средства и способы, передаваемые ему окружающими людьми в процессе сотрудничества, в общении с ними. Но передать средство, способ выполнения того или иного процесса невозможно иначе, как во внешней форме — в форме действия или в форме внешней речи. Другими словами, высшие специфические человеческие психические процессы могут родиться только во взаимодействии человека с человеком, т. е. как *интерпсихологические*, и лишь затем начинают выполняться индивидом самостоятельно; при этом некоторые из них утрачивают далее свою исходную внешнюю форму, превращаясь в процессы *интрапсихологические*⁴.

К положению о том, что внутренние психические деятельности происходят из

¹ Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. 1965. № 6. С. 33.

² См.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.

³ См.: Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. 1. С. 441—469.

⁴ См.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 198—199.

практической деятельности, исторически сложившейся в результате образования основанного на труде человеческого общества, и что у отдельных индивидов каждого нового поколения они формируются в ходе онтогенетического развития, присоединялось еще одно очень важное положение. Оно состоит в том, что одновременно происходит изменение самой формы психического отражения реальности: возникает *сознание* — рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого себя. Но что такое сознание? Сознание есть *со-знание*, но лишь в том смысле, что индивидуальное сознание может существовать только при наличии общественного сознания и языка, являющегося его реальным субстратом. В процессе материального производства люди производят также язык, который служит не только средством общения, но и носителем фиксированных в нем общественно выработанных значений.

Прежняя психология рассматривала сознание как некую метапсихологическую плоскость движения психических процессов. Но сознание не дано изначально и не порождается природой: сознание порождается обществом, оно *производится*. Поэтому сознание — не постулат и не условие психологии, а ее проблема — предмет конкретно-научного психологического исследования.

Таким образом, процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность *перемещается* в предсуществующий внутренний “план сознания”; это — процесс, в котором этот внутренний план *формируется*.

Как известно, вслед за первым циклом работ, посвященных изучению роли внешних средств и их “вращивания”, Л.С.Выготский обратился к исследованию сознания, его “клеточек” — словесных значений, их формирования и строения. Хотя в этих исследованиях значение выступило со стороны своего, так сказать, обратного движения и поэтому как то, что лежит за жизнью и управляет деятельностью, для Л.С.Выготского оставался незыблемым противоположный тезис: не значение, не сознание лежит за жизнью, *а за сознанием лежит жизнь*.

Исследование формирования умственных процессов и значений (понятий) как бы вырезает из общего движения деятельности лишь один, хотя и очень важный его участок: усвоение индивидом способов мышления, выработанных человечеством. Но этим не покрывается даже только познавательная деятельность — ни ее формирование, ни ее функционирование. *Психологически* мышление (и индивидуальное сознание в целом) шире, чем те логические операции и те значения, в структурах которых они свернуты. Значения сами по себе не порождают мысль, а опосредствуют ее, так же как орудие не порождает действия, а опосредствует его.

На позднейшем этапе своего исследования Л.С.Выготский много раз и в разных формах высказывал это капитально важное положение. Последний оставшийся “утаенным” план речевого мышления он видел в его мотивации, в аффективно-волевой сфере. Детерминистическое рассмотрение психической жизни, писал он, исключает “приписывание мышлению магической силы определять поведение человека одной собственной системой”¹. Вытекающая отсюда положительная программа требовала, сохранив открывшуюся активную функцию значения, мысли, еще раз обернуть проблему. А для этого нужно было возвратиться к категории предметной деятельности, распространив ее и на внутренние процессы — процессы сознания.

Именно в итоге движения теоретической мысли по этому пути открывается принципиальная общность внешней и внутренней деятельности как опосредствующих взаимосвязи человека с миром, в которых осуществляется его реальная жизнь.

Соответственно этому главное различие, лежавшее в основе классической картезианско-локковской психологии, — различие, с одной стороны, внешнего мира, мира протяжения, к которому относится и внешняя, телесная деятельность, а с другой — мира внутренних явлений и процессов сознания — должно уступить свое место другому различию: с одной стороны — предметной реальности и ее идеализированных, превращенных форм (*verwandelte Formen*), с другой стороны —

¹ *Выготский Л. С. Избранные психологические произведения. М., 1956. С. 54.*

деятельности субъекта, включающей в себя как внешние, так и внутренние процессы. А это означает, что расщепление деятельности на две части, или стороны, якобы принадлежащие к двум совершенно разным сферам, устраняется. Вместе с тем это ставит новую проблему — проблему исследования конкретного соотношения и связи между различными формами деятельности человека. <...>

Несколько забегаая вперед, скажем сразу, что взаимопереходы, о которых идет речь, образуют важнейшее движение предметной человеческой деятельности в ее историческом и онтогенетическом развитии. Переходы эти возможны потому, что *внешняя и внутренняя деятельность имеют одинаковое общее строение*. Открытие общности их строения представляется мне одним из важнейших открытий современной психологической науки.

Итак, внутренняя по своей форме деятельность, происходя из внешней практической деятельности, не отделяется от нее и не становится над ней, а сохраняет принципиальную и притом двухстороннюю связь с ней.

Общее строение деятельности

Общность макроструктуры внешней, практической деятельности и деятельности внутренней, теоретической позволяет вести ее анализ, первоначально отвлекаясь от формы, в которой они протекают.

Идея анализа деятельности как метод научной психологии человека была заложена, как я уже говорил, еще в ранних работах Л.С. Выготского. Были введены понятия орудия, орудийных (“инструментальных”) операций, понятие цели, а позже и понятие мотива (“мотивационной сферы сознания”). Прошли, однако, годы, прежде чем удалось описать в первом приближении общую структуру человеческой деятельности и индивидуального сознания¹. Это первое описание сейчас, спустя четверть века, представляется во многом неудовлетворительным, чрезмер-

но абстрактным. Но именно благодаря его абстрактности оно может быть взято в качестве исходного, отправного для дальнейшего исследования.

До сих пор речь шла о деятельности в общем, собирательном значении этого понятия. Реально же мы всегда имеем дело с *особенными* деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь, может быть, уже в совсем иных, изменившихся условиях.

Отдельные конкретные виды деятельности можно различать между собой по какому угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной характеристике, по их физиологическим механизмам и т. д. Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и придает ей определенную направленность. По предложенной мной терминологии предмет деятельности есть ее действительный мотив². Разумеется, он может быть как вещественным, так и идеальным, как данным в восприятии, так и существующим только в воображении, в мысли. Главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или иной потребности.

Итак, *понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива*. Деятельности без мотива не бывает; “немотивированная” деятельность — это деятельность, не лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом.

Основными “составляющими” отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их *действия*. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т. е. процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, поня-

¹ См.: *Леонтьев А. Н.* Очерки развития психики. М., 1947.

² Такое суженное понимание мотива как того предмета (вещественного или идеального), который побуждает и направляет на себя деятельность, отличается от общепринятого; но здесь не место вдаваться в полемику по этому вопросу.

тие цели соотносится с понятием действия.

Возникновение в деятельности целенаправленных процессов — действий — исторически явилось следствием перехода к жизни человека в обществе. Деятельность участников совместного труда побуждается его продуктом, который первоначально непосредственно отвечает потребности каждого из них. Однако развитие даже простейшего технического разделения труда необходимо приводит к выделению как бы промежуточных, частичных результатов, которые достигаются отдельными участниками коллективной трудовой деятельности, но которые *сами по себе* не способны удовлетворять их потребности. Их потребность удовлетворяется не этими “промежуточными” результатами, а долей продукта их совокупной деятельности, получаемой каждым из них в силу связывающих их друг с другом отношений, возникших в процессе труда, т. е. отношений *общественных*.

Легко понять, что тот “промежуточный” результат, которому подчиняются трудовые процессы человека, должен быть выделен для него также и субъективно — в форме представления. Это и есть выделение цели, которая, по выражению Маркса, “как закон определяет способ и характер его действий...”¹.

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление прежде слитых между собой в мотиве функций. Функция побуждения, конечно, полностью сохраняется за мотивом. Другое дело — функция направления: действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. Допустим, что деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее мотив. Однако для удовлетворения потребности в пище он должен выполнять действия, которые *непосредственно* на овладение пищей не направлены. Например, цель данного человека — изготовление орудия лова; применит ли он в дальнейшем изготовленное им орудие сам или передаст его другим и получит часть общей добычи — в обоих случаях то, что побуждало его деятельность, и то, на что были направлены его действия, не совпа-

дают между собой; их совпадение представляет собой специальный, частный случай, результат особого процесса, о котором будет сказано ниже.

Выделение целенаправленных действий в качестве составляющих содержание конкретных деятельностей естественно ставит вопрос о связывающих их внутренних отношениях. Как уже говорилось, деятельность не является аддитивным процессом. Соответственно действия — это не особые “отдельности”, которые включаются в состав деятельности. Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи действий. Например, трудовая деятельность существует в трудовых действиях, учебная деятельность — в учебных действиях, деятельность общения — в действиях (актах) общения и т. д. Если из деятельности мысленно вычтешь осуществляющие ее действия, то от деятельности вообще ничего не останется. Это же можно выразить иначе: когда перед нами разворачивается конкретный процесс — внешний или внутренний, то со стороны его отношения к мотиву он выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели — в качестве действия или совокупности, цепи действий.

Вместе с тем деятельность и действие представляют собой подлинные и притом не совпадающие между собой реальности. Одно и то же действие может осуществлять разные деятельности, может переходить из одной деятельности в другую, обнаруживая таким образом свою относительную самостоятельность. Обратимся снова к грубой иллюстрации: допустим, что у меня возникает цель — прибыть в пункт N, и я это делаю. Понятно, что данное действие может иметь совершенно разные мотивы, т. е. реализовать совершенно разные деятельности. Очевидно и обратное, а именно, что один и тот же мотив может конкретизоваться в разных целях и соответственно породить разные действия.

В связи с выделением понятия действия как важнейшей “образующей” человеческой деятельности (ее момента) нужно принять во внимание, что сколько-нибудь развернутая деятельность предполагает достижение *ряда* конкретных целей, из числа которых некоторые связаны между

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189.

собой жесткой последовательностью. Иначе говоря, деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, подчиняющихся *частным целям*, которые могут выделяться из общей цели; при этом случай, характерный для более высоких ступеней развития, состоит в том, что роль общей цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его осознанности в *мотив-цель*.

Одним из возникающих здесь вопросов является вопрос о целеобразовании. Это очень большая психологическая проблема. Дело в том, что от мотива деятельности зависит только зона объективно адекватных целей. Субъективное же выделение цели (т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность, способную удовлетворить потребность, опредмеченную в ее мотиве) представляет собой особый, почти не изученный процесс. В лабораторных условиях или в педагогическом эксперименте мы обычно ставим перед испытуемым, так сказать, “готовую” цель; поэтому самый процесс целеобразования обычно ускользает от исследователя. Пожалуй, только в опытах, сходных по своему методу с известными опытами Ф. Хоппе, этот процесс обнаруживается хотя и односторонне, но достаточно отчетливо, по крайней мере со своей количественно-динамической стороны. Другое дело — в реальной жизни, где целеобразование выступает в качестве важнейшего момента движения той или иной деятельности субъекта. Сравним в этом отношении развитие научной деятельности, например, Ч. Дарвина и Л. Пастера. Сравнение это поучительно не только с точки зрения существования огромных различий в том, как происходит субъективно выделение целей, но и с точки зрения психологической содержательности процесса их выделения.

Прежде всего в обоих случаях очень ясно видно, что цели не изобретаются, не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных обстоятельствах. Вместе с тем выделение и осознание целей представляет собой отнюдь не автоматически происходящий и не одномоментный акт, а относительно длительный процесс *апробирования целей действием* и их, если можно так выразиться, предметного на-

полнения. Индивид, справедливо замечает Гегель, “не может определить *цель* своего действия, пока он не действовал...”¹.

Другая важная сторона процесса целеобразования состоит в конкретизации цели, в выделении условий ее достижения. Но на этом следует остановиться особо.

Всякая цель — даже такая, как “достичь пункта *N*”, — объективно существует в некоторой предметной ситуации. Конечно, для сознания субъекта цель может выступить в абстракции от этой ситуации, но его *действие* не может абстрагироваться от нее. Поэтому помимо своего интенционального аспекта (*что* должно быть достигнуто) действие имеет и свой операционный аспект (*как*, каким способом это может быть достигнуто), который определяется не самой по себе целью, а объективно-предметными условиями ее достижения. Иными словами, *осуществляющееся* действие отвечает задаче; задача — это и есть цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие имеет особое качество, особую его “образующую”, а именно способы, какими оно осуществляется. Способы осуществления действия я называю *операциями*.

Термины “действие” и “операция” часто не различаются. Однако в контексте психологического анализа деятельности их четкое различие совершенно необходимо. Действия, как уже было сказано, соотносительны целям, операции — условиям. Допустим, что цель остается той же самой, условия же, в которых она дана, изменяются; тогда меняется именно и только операционный состав действия.

В особенно наглядной форме несовпадение действий и операций выступает в орудийных действиях. Ведь орудие есть материальный предмет, в котором кристаллизованы именно способы, операции, а не действия, не цели. Например, можно физически расчленить вещественный предмет при помощи разных орудий, каждое из которых определяет способ выполнения данного действия. В одних условиях более адекватным будет, скажем, операция резания, а в других — операция пиления; при этом предполагается, что человек умеет владеть соответствующими орудиями —

¹ Гегель Г.В. Ф. Соч. М., 1959. С. 212—213

ножом, пилой и т. п. Так же обстоит дело и в более сложных случаях. Допустим, что перед человеком возникла цель графически изобразить какие-то найденные им зависимости. Чтобы сделать это, он должен применить тот или иной способ построения графиков — осуществить определенные операции, а для этого он должен уметь их выполнять. При этом безразлично, как, в каких условиях и на каком материале он научился этим операциям; важно другое, а именно, что формирование операций происходит совершенно иначе, чем целеобразование, т. е. порождение действий.

Действия и операции имеют разное происхождение, разную динамику и разную судьбу. Генезис действия лежит в отношениях обмена деятельностью; всякая же операция есть результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и наступающей его “технизации”. Простейшей иллюстрацией этого процесса может служить формирование операций, выполнения которых требует, например, управление автомобилем. Первоначально каждая операция, например, переключение передач, формируется как действие, подчиненное именно этой цели и имеющее свою сознательную “ориентировочную основу” (П. Я. Гальперин). В дальнейшем это действие включается в другое действие, имеющее сложный операционный состав, например, в действие изменения режима движения автомобиля. Теперь переключение передач становится одним из способов его выполнения — операцией, его реализующей, и оно уже перестает осуществляться в качестве особого целенаправленного процесса: его цель не выделяется. Для сознания водителя переключение передач в нормальных случаях как бы вовсе не существует. Он делает другое: трогает автомобиль с места, берет крутые подъемы, ведет автомобиль накатом, останавливает его в заданном месте и т. п. В самом деле: эта операция может, как известно, вовсе выпасть из деятельности водителя и выполняться автоматом. Вообще судьба операций — рано или поздно становится функцией машины¹.

Тем не менее операция все же не составляет по отношению к действию никакой “отдельности”, как и действие по отношению к деятельности. Даже в том случае, когда операция выполняется машиной, она все же реализует действия *субъекта*. У человека, который решает задачу, пользуясь счетным устройством, действие не прерывается на этом экстрацеребральном звене; как и в других своих звеньях, оно находит в нем свою реализацию. Выполнять операции, которые не осуществляют никакого целенаправленного действия субъекта, может только “сумасшедшая”, вышедшая из подчинения человеку машина.

Итак, в общем потоке деятельности, который образует человеческую жизнь в ее высших, опосредствованных психическим отражением проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные (особенные) деятельности — по критерию побуждающих их мотивов. Далее выделяются действия — процессы, подчиняющиеся сознательным целям. Наконец, это операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели.

Эти “единицы” человеческой деятельности и образуют ее макроструктуру. Особенность анализа, который приводит к их выделению, состоит в том, что он пользуется не расчленением живой деятельности на элементы, а раскрывает характеризующие ее внутренние отношения. Это отношения, за которыми скрываются преобразования, возникающие в ходе развития деятельности, в ее движении. Сами предметы способны приобретать качества побуждений, целей, орудий только в системе человеческой деятельности; изъятые из связей этой системы, они утрачивают свое существование как побуждения, как цели, как орудия. Орудие, например, рассматриваемое вне связи с целью, становится такой же абстракцией, как операция, рассматриваемая вне связи с действием, которое она осуществляет. <...>

Деятельность может утратить мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она превратится в действие, реализующее, может быть, совсем другое отношение к миру, другую деятельность; наоборот, действие

¹ См.: Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек // Психологические исследования. М., 1970. Вып. 2. С. 8—9.

может приобрести самостоятельную побудительную силу и стать особой деятельностью; наконец, действие может трансформироваться в способ достижения цели, в операцию, способную реализовать различные действия.

Подвижность отдельных “образующих” системы деятельности выражается, с другой стороны, в том, что каждая из них может становиться более дробной или, наоборот, включать в себя единицы, прежде относительно самостоятельные. Так, в ходе достижения выделявшейся общей цели может происходить выделение промежуточных целей, в результате чего целостное действие дробится на ряд отдельных последовательных действий; это особенно характерно для случаев, когда действие протекает в условиях, затрудняющих его выполнение с помощью уже сформировавшихся операций. Противоположный процесс состоит в укрупнении выделяемых единиц деятельности. Это случай, когда объективно достигаемые промежуточные результаты сливаются между собой и перестают сознаваться субъектом.

Соответственно происходит дробление или, наоборот, укрупнение также и “единиц” психических образов: переписываемый неопытной рукой ребенка текст членится в его восприятии на отдельные буквы и даже на их графические элементы; позже в этом процессе единицами восприятия становятся для него целые слова или даже предложения.

Перед невооруженным глазом процесс дробления или укрупнения единиц деятельности и психического отражения — как при внешнем наблюдении, так и интроспективно — сколько-нибудь отчетливо не выступает. Исследовать этот процесс можно, только пользуясь специальным анализом и объективными индикаторами. К числу таких индикаторов принадлежит, например, так называемый оптокинетический нистагм, изменения циклов которого, как показали исследования, позволяют при выполнении графических действий уста-

новить объем входящих в их состав двигательных “единиц”. Например, написание слов на иностранном языке расчленяется на гораздо более дробные единицы, чем написание привычных слов родного языка. Можно считать, что такое членение, отчетливо выступающее на окулограммах, соответствует расщеплению действия на входящие в его состав операции, по-видимому наиболее простые, первичные¹. <...>

Имеются отдельные деятельности, все звенья которых являются существенно внутренними; такой может быть, например, познавательная деятельность. Более частый случай состоит в том, что внутренняя деятельность, отвечающая познавательному мотиву, реализуется существенно внешними по своей форме процессами; это могут быть либо внешние действия, либо внешне-двигательные операции, но никогда не отдельные их элементы. То же относится и к внешней деятельности: некоторые из осуществляющих внешнюю деятельность действий и операций могут иметь форму внутренних, умственных процессов, но опять-таки именно и только либо как действия, либо как операции — в их целостности, неделимости. Основание такого, прежде всего фактического, положения вещей лежит в самой природе процессов интериоризации и экстериоризации: ведь никакое преобразование отдельных “осколков” деятельности вообще невозможно. Это означало бы не трансформацию деятельности, а ее деструкцию.

Выделение в деятельности действий и операций не исчерпывает ее анализа. За деятельностью и регулирующими ее психическими образами открывается грандиозная физиологическая работа мозга. Само по себе положение это не нуждается в доказательстве. Проблема состоит в другом — в том, чтобы найти те действительные отношения, связывающие деятельность субъекта, опосредствованную психическим отражением, и физиологические мозговые процессы.

¹ См.: Гиппенрейтер Ю. Б., Пик Г. Л. Фиксационный оптокинетический нистагм как показатель участия зрения в движениях // Исследование зрительной деятельности человека. М., 1973; Гиппенрейтер Ю. Б., Романов В. Я., Самсонов И. С. Метод выделения единиц деятельности // Восприятие и деятельность. М., 1975.

А. Н. Леонтьев

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ¹

1. Первое, что должно быть выделено среди многообразных форм человеческой активности, — это различные типы сложных деятельностей, осуществляющие соответственно различные формы отношения человека к действительности (практическая деятельность, познавательная деятельность, эстетическая деятельность и т. п.).

Внутри этих типов сложной деятельности мы выделяем *отдельные деятельности* (различая их по конкретному предмету). Предмет деятельности и является одновременно тем, что побуждает данную деятельность, т. е. ее *мотивом*. Мотив деятельности всегда, следовательно, совпадает с ее предметом.

Отвечая той или иной потребности, мотив деятельности переживается субъектом в форме *желания, хотения* и т. п. (или, наоборот, в форме переживания отворачивания и т. п., что составляет специальные случаи отрицательно мотивированной деятельности, объективно создаваемой данным содержанием ее, входящим в “двойную структуру”). Эти формы переживания суть формы отражения *отношения субъекта к мотиву*, формы переживания *смысла деятельности*.

По характеру мотивации деятельности, а следовательно, и по характеру соответствующей потребности субъекта мы различаем идеально-мотивированные де-

ятельности (отвечающие высшим потребностям) и деятельности витально-мотивированные (отвечающие так называемым естественным потребностям).

Осуществление деятельности связано с чувством (эмоцией, аффектом). Эта форма переживания есть форма отражения отношения результата деятельности (достигаемого, достигнутого, могущего быть достигнутым) *к ее мотиву*, которая возникает на несовпадении предмета деятельности, т. е. того, на что она направлена, и *ее результата*, т. е. того, к чему она реально приведет (или может привести).

В случае развитой деятельности аффект возникает и в связи с *действием*. Он определяется отношением результата действия к предмету действия.

2. Мы называем сложными те деятельности, которые включают в себя действия. Значит, содержание всякой сложной деятельности составляют действия.

Действие отличается от деятельности тем, что предмет, на который оно направлено, не совпадает с его мотивом. То и другое здесь разделено. Мотив, побуждающий действие, лежит в предмете (совпадает с ним) той деятельности, в которую включено данное действие.

Условием осознания действия (а действие всегда сознательно) является сознание отношения, связывающего предмет действия с предметом деятельности: предмет действия и выступает для субъекта всегда в определенном отношении к мотиву, т. е. как сознательная цель действия. (Именно несовпадение предмета и мотива является критерием для отличия действия от деятельности; если мотив данного процесса лежит в нем самом, это — деятельность, если же он лежит вне самого этого процесса, это — действие.)

Это сознаваемое отношение предмета действия к его мотиву и есть *смысл действия*; форма переживания (сознания) смысла действия есть сознание его *цели*.

(Поэтому, предмет, имеющий для меня смысл, есть предмет, выступающий как предмет возможного целенаправленного действия; действие, имеющее для меня смысл, есть соответственно действие, воз-

¹ Леонтьев А. Н. *Философия психологии: Из научного наследия*. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 48—51.

можное по отношению к той или иной цели.)

Изменение смысла действия есть всегда изменение его мотивации.

(Это изменение смысла действия возможно лишь благодаря несовпадению цели действия с его результатом; это происходит потому, что цель есть сознательная цель и, следовательно, всегда связана с осознанием отношения предмета действия к предмету деятельности. Но это же несовпадение является предпосылкой того, что действие приобретает мотив себе, т. е. становится деятельностью.)

Выделение в связи с актуальным мотивом цели действия есть процесс образования намерения (я намерен пойти на концерт, но я хочу слушать музыку).

Действия могут замещаться в деятельности одно — другим. Психологическая проблема выбора действия есть психологическая проблема решительности.

Действие связано с аффектом, поскольку оно составляет содержание определенной деятельности, а не само по себе. Будучи включено в другую деятельность, действие может приобрести иную эмоциональную окраску.

Действие может быть по своей форме *практическим* (т. е. иметь материальный предмет) или *идеальным*, теоретическим (т. е. предмет может быть идеальным). Практическое действие есть всегда внешнее действие, теоретическое действие может быть внутренним.

3. Особый вид действий представляют собой действия волевые в узком смысле этого слова, т. е. переживаемые субъектом, как требующие внутреннего усилия и действия поступки. (Мы подчеркиваем, что речь идет о волевых действиях в *узком смысле*, так как в широком смысле волевым является решительно всякое действие, что вытекает из самого определения действия.)

Волевое действие характеризуется наличием момента подчинения одного мотива другому, причем оба эти мотива имеют противоположные аффективные знаки. Такого рода подчинение мотивов может происходить при двояком условии:

1) в случае когда действие входит или начинает входить одновременно в две различные деятельности, заключающие в себя аффективно противоположные мотивы, и

2) в случае когда действие является генетически простой деятельностью и, следовательно, его предмет сам служит мотивом; таким образом, в этом случае волевое действие возникает из подчинения одной, простой деятельности (которая тем самым превращается в действие) другой, сложной деятельности, имеющей противоположный по своему знаку мотив.

В случае когда действие входит в двоякую деятельность, но мотивация обеих этих деятельностей, будучи различной, не является, однако, противоположной по своему знаку, мы называем такое действие поступком. Поступок требует сознания отношений, существующих между обеими деятельностями, и учета обоих мотивов; поступок есть, следовательно, действие сложномотивированное, имеющее сложный смысл.

4. Действие может иметь цель, данную в таких условиях, которые определяют собой самый способ действия. Цель, данная в условиях, определяющих способ действия, и есть не что иное, как задача.

То содержание действия (способ его), которое определяется не самой целью, но именно условиями, в которых она дана, мы называем *операцией*. Действие, определяемое задачей, всегда, следовательно, включает в себя операцию.

О том, является ли данное содержание действия операцией или нет, мы можем судить по следующему признаку. Если данное содержание действия возникает в зависимости от предмета (цели) действия, то это — не операция; если, наоборот, данное содержание возникает в действии в зависимости от условий, в которых дана цель, то это — *операция*.

Операция, таким образом, отличается от действия тем, что она определяется не целью, а условиями, в которых дана цель.

Операция кристаллизуется для сознания в значении. Овладеть значением чего-нибудь и есть овладеть способом возможного действия с данным предметом, словом (значением слова) или даже действием же (применением действия).

Операция приобретает формы умения и навыка.

5. В осуществлении всякой деятельности, действия или операции обнаруживают себя многообразные психофизиологические функции организма: сенсорные, двига-

тельные функции, мнемическая функция, функция “тоническая” и т. п. Без этих функций (и соответствующих органов) невозможно осуществление никакой деятельности; они являются, следовательно, необходимым условием деятельности. Однако деятельность, действие, операция не сводятся к этим функциям и не могут быть выведены из них.

Переход к рассмотрению психофизиологических функций есть, таким образом, переход к собственно психофизиологическому анализу.

(Психофизиология мыслится нами как специальная наука, занимающая по отношению к психологии такое же, примерно, положение, как биохимия по отношению к физиологии.)

В.В.Давыдов

[ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ]¹

Все гуманитарные науки, в том числе психология и педагогика, с разных сторон изучают человеческую деятельность. Изложим общее понимание деятельности, которое сложилось в диалектико-материалистической философии и диалектической логике. Лишь опираясь на такое понимание деятельности, можно правильно сформулировать новые проблемы в различных частных областях ее изучения.

Основы диалектико-материалистического понимания деятельности заложил К.Маркс. Так, при описании общих особенностей человеческого труда он характеризует его прежде всего как *деятельность* человека, *изменяющую* природу и использующую при этом свойства одних природных вещей в качестве орудий воздействия на другие вещи, превращая их тем самым в орган своей деятельности. Воздействуя на природу и изменяя ее, человек в то же время изменяет и свою собственную природу².

Согласно К. Марксу, “труд есть *положительная, творческая деятельность*”³, т.е. созидательная деятельность, осуществляемая в рамках общественных связей и отношений⁴. “...Свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой характер человека... Именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утверждает себя как *родовое существо*. Это производство есть его деятельная родовая жизнь”⁵. В отличие от одностороннего производства животных человек как родовое (общественное) существо “производит универсально; ...воспроизводит всю природу; ...умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет применить к предмету присущую мерку...”⁶.

Конспектируя и цитируя труды Гегеля по диалектической логике, В.И. Ленин резюмировал ряд его положений о характере и особенностях деятельности человека (эти конспекты и соответствующие оценки различных суждений Гегеля содержатся в “Философских тетрадах” В.И. Ленина)⁷. Приведем одно такое резюме, выражающее вместе с тем собственное его понимание существенных особенностей деятельности: “Деятельность человека... *изменяет* внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества)...”⁸. В.И. Ленин выделял две формы объективного процесса: “природа (механическая и химическая) и *целеполагающая* деятельность человека”⁹.

Понятие деятельности с античных времен разрабатывалось в идеалистической философии и особенно глубоко в немецкой классической философии (Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг). В работах Гегеля по диалектической логике (или, как принято говорить в философской литературе, в “Логике” с большой буквы) были описаны всеобщие

¹ Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 10—33.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. С. 188.

³ Там же. Т. 46. Ч. II. С. 113.

⁴ См. там же. Т. 6. С. 441.

⁵ Там же. Т. 42. С. 93 — 94.

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 93—94.

⁷ Взгляды В.И. Ленина, касающиеся человеческой деятельности, представлены именно в его “Философских тетрадах”, значительную часть которых занимают конспектирование и анализ трудов Гегеля по диалектической логике. Эти взгляды изложены нами в книге: Проблемы развивающего обучения. М., 1986. С. 14—21.

⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 199.

⁹ Там же. С. 170.

схемы деятельности, ее историческое развитие в процессах преобразования человеком природы и самого себя. Анализируя подход Гегеля и Маркса к деятельности¹, философ и логик Э.В. Ильенков пришел к следующему выводу о содержании самой диалектической логики. “Диалектическая логика, — писал он, — есть поэтому не только всеобщая схема деятельности, творчески преобразующая природу, но одновременно и всеобщая схема изменения любого естественно-природного и социально-исторического материала, в котором эта деятельность выполняется и объективными требованиями которого она всегда связана”².

Этот вывод в принципе соответствует, на наш взгляд, следующему положению В.И. Ленина, сформулированному им при конспектировании работы Гегеля по логике: “Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития “всех материальных, природных и духовных вещей”, т.е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т.е. итог, сумма, вывод *истории* познания мира”³ (В средней части этого положения, представленной в кавычках, В.И. Ленин цитирует Гегеля.)

Таким образом, философско-логическое понятие деятельности выделяет и определяет существенную специфику жизни людей, которая состоит в том, что они целенаправленно изменяют и преобразуют природную и социальную действительность. Первичной формой такого преобразования является производство материальных орудий, с помощью которых люди создают предметы, удовлетворяющие их жизненные потребности. Материальное производство (труд) имеет универсальный характер, поскольку в принципе может создавать любые орудия и предметы. Такое производство осуществляется людьми только в определенных взаимосвязях и отношениях, совокупность которых образует

производственные или общественные отношения людей. В процессе исторического развития материального производства и общественных отношений возникло и приобрело относительную самостоятельность духовное производство, — но и в этой форме труда сохраняются основные качества материального производства: его универсально-преобразовательный и общественный характер.

В диалектико-материалистической философии деятельность — *исходное понятие* (или категория), определяющее специфику, сущность общественно-исторического бытия людей. “В отличие от законов природы законы общества обнаруживают себя только в деятельности и через деятельность людей. Такова специфика исторической действительности, характерные черты ее бытия”⁴. Теория общественно-исторического бытия людей строится на основе понятия деятельности. Рассматривая это положение “о теории”, нужно учитывать своеобразие диалектической логики. Во-первых, истолкование в ней смысла “теории”, во-вторых, ее монистический принцип.

“Теорией” в этой логике принято считать только такое мыслительное образование, которое строится путем *восхождения мысли от абстрактного к конкретному*. “Абстрактное” понимается в качестве исходного основания или “клеточки” процесса развития некоторой целостной системы. “Конкретным” является сама эта развитая целостная система⁵.

“Под монизмом понимается... логическое воззрение, согласно которому любое цельное и последовательное теоретическое построение возможно лишь на базе единственного исходного основоположения... проведенного через всю цепь научного рассуждения, и соответственно убеждение в том, что в основе каждой логически строй-

¹ К. Маркс на материалистической основе использовал и развил диалектическую логику Гегеля. В “Философских тетрадах” есть такое суждение В.И. Ленина: “Если *Marx* не оставил “*Логики*” (с большой буквы), то он оставил *логику* “Капитала”... В “Капитале” применена к одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед”. — Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 301.

² Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М., 1984. С. 8–9.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 84.

⁴ Плетников Ю. К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма // Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990. С. 96.

⁵ См.: Материалистическая диалектика. М., 1985. С. 253–256.

ной и систематически развернутой научной концепции лежит один и только один фундаментальный принцип, из которого выведены все остальные теоретические положения этой концепции”¹. И далее: “С точки зрения монистического требования диалектической логики, исходное понятие всякой научной теории должно фиксировать специфическую природу... рассматриваемой группы явлений, с тем чтобы последующее развертывание системы теоретических определений адекватно воссоздавало основную закономерность развертывания этой специфической природы в данное многообразие явлений”².

Итак, теория некоторой целостной развитой системы в качестве абстрактной основы должна иметь одно-единственное исходное понятие (или категорию), фиксирующее специфику (сущность) этой системы. Анализ фактических материалов в свете исходного понятия позволяет строить цепь теоретических рассуждений. Благодаря этому выявляются и конкретизируются специфические закономерности *развития* некоторой системы как объекта теории. Принцип восхождения мысли от абстрактного к конкретному применим к построению теории развивающейся целостной системы.

Мы полагаем, что именно понятие деятельности может быть той исходной абстракцией, конкретизация которой позволит создать общую теорию развития общественного бытия людей и различные частные теории его отдельных сфер. На этом пути стоят большие препятствия, одно из которых как раз и связано с трудностями дальнейшей разработки философско-логического понимания деятельности.

В последние десятилетия проведены серьезные исследования, связанные с различ-

ными философско-логическими аспектами понятия деятельности³. Можно выделить ряд принципиальных уточнений этого понятия. Наиболее интересны среди них, на наш взгляд, следующие. Это прежде всего специальное подчеркивание того обстоятельства, что деятельность существует лишь в системе объективных и необходимых общественно-производственных материальных отношений, которые возникают независимо от воли и сознания людей. Очень важным является также раскрытие смысла целостности деятельности, реализуемой человеком-субъектом в процессе постановки и достижения цели, т.е. в процессе целеполагания. Суть деятельности — в созидании человеческого мира человеком, в творении собственных общественных отношений и самого себя (это составляет и сущность культуры). Поэтому цель возникает у человека в качестве образа предвидимого результата созидания. Преобразующий и целеполагающий характер деятельности позволяет ее субъекту выйти за рамки любой ситуации и встать над задаваемой ею детерминацией, вписывая ее в более широкий контекст культурно-исторического бытия, и тем самым найти средство, выходящее за пределы возможностей данной детерминации. Деятельность постоянно и неограниченно преодолевает лежащие в ее основе “программы” (поэтому ее нельзя ограничивать преобразованием наличного бытия по уже установившимся культурным нормам). В этом обнаруживается принципиальная открытость и универсальность деятельности. Ее нужно понимать как форму исторического культурного творчества. Вместе с тем созидание или творение человеком своей неповторимой индивидуальной жизнедеятельности есть начало его личности⁴.

¹ Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 489.

² Там же. С. 491.

³ См.: Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, 1973; Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов, 1974; Казан М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М., 1974; Воронович Б. А., Плетников Ю. К. Категория деятельности в историческом материализме. М., 1975; Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. Киев, 1977; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978; Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М., 1978; Демин М. В. Природа деятельности. М., 1984; Деятельность: теории, методология, проблемы.

⁴ Перечисленные здесь характеристики деятельности представлены в материалах дискуссионного сборника статей “Деятельность: теории, методология, проблемы” (С. 3—16, 65, 95, 104, 177—122 и др.) В этом сборнике, по нашему мнению, сконцентрированы общие результаты основных разработок в области теории деятельности.

Некоторые специалисты гуманитарного профиля, считая недостаточными позиции той или иной **конкретной** теории деятельности, признают вместе с тем эвристическое значение этого понятия или отдельных его составляющих (например, действия) и используют их в своих работах. В исследовательской практике возникло представление о “деятельностном подходе” к изучению отдельных сторон поведения, сознания и личности человека. Это представление выражает некоторую общую направленность в подходе к человеку на основе использования различных моментов понятия деятельности.

Следует отметить, что наряду с диалектико-материалистическим пониманием целостной деятельности в конце XIX – начале XX вв. разрабатывались представления, касающиеся в основном такой существенной ее составляющей, как действие. Так, Дж. Дьюи в русле философии прагматизма создал теорию действий, которые истолковывались в качестве инструменталистского содержания человеческих понятий¹. М. Вебер, проанализировав разные виды индивидуальных социальных действий, выделил в них особое значение ценностных установок и ориентаций². Ж. Пиаже на логико-математической и психологической основе предложил развернутую концепцию действия и операционального интеллекта человека³.

В последнее десятилетие в мировом научном сообществе вновь оживился интерес к проблемам теории деятельности, о чем свидетельствует проведение трех соответствующих международных конгрессов (1986 г., Западный Берлин; 1990 г., Финляндия; 1995 г., Москва), создание международной организации по изучению этих проблем.

Представляет, на наш взгляд, интерес книга финского ученого Ю. Энгештрема⁴. Хотя она в основном посвящена вопросам развивающего обучения, ее автор вполне правомерно сначала изложил свой концептуальный аппарат анализа целостной че-

ловеческой деятельности и проанализировал основные направления ее изучения, сложившиеся в мировой гуманитарной науке. При этом он выделил следующие направления: 1) исследование знаковых систем (Ч. Пирс, К. Поппер); 2) исследование межсубъектности (М. Мид); 3) исследование культурно-исторической школы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев).

Первое направление редуцирует человеческую деятельность к индивидуальному познанию и не объясняет того, как в совместной деятельности людей создается материальная культура. Второе воспроизводит социально-интегративную реальность человеческой деятельности, которая все еще понимается как существующая для сознания, а не как практическая или материальная. В рамках третьего направления вводится понятие совместной деятельности людей, основанной на материальном производстве, опосредствованной техническими и психологическими орудиями (традиции последнего направления продолжают автором книги).

Ю. Энгештрем рассматривает филогенез деятельности, анализируя формы активности у животных и их трансформацию в формы собственно человеческой деятельности. Он подчеркивает роль использования людьми орудий в процессе такой трансформации. Специальное место в книге отводится внутренним противоречиям человеческой деятельности, ведущим из которых автор считает противоречие между индивидуальной и родовой деятельностью. Это противоречие рождается в процессе разделения труда и имеет различные исторические формы. В последующем Ю. Энгештрем, опираясь на свои общие представления о деятельности и ее структуре, разворачивает концепцию развивающего обучения.

Исследование деятельности в отечественной психологии происходило с позиций ее диалектико-материалистического философского понимания, — оно было конкретизировано применительно к психологическому материалу. Общепси-

¹ См.: Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Берлин, 1922.

² См.: Вебер М. Избр. произв. М., 1990.

³ См.: Пиаже Ж. Избр. психол. труды. М., 1969.

⁴ См: Engestrom Y. Learning by expanding. An activitytheoretical approach to developmental research. Helsinki, 1987.

хологическую теорию деятельности, начиная с 1920-х гг., создавали многие ученые, но особенно большой вклад в нее внесли С.Л. Рубинштейн¹ и А.Н. Леонтьев². Различные варианты психологической теории деятельности появляются в западных странах (например, теория немецкого психолога К.Хольцкампа³).

У психологической теории, где понятие деятельности стало исходным и главным, много последователей. Если конкретизировать это исходное понятие, то можно создавать развернутую психологическую теорию развития деятельности, сознания и личности человека. Это будет соответствовать монистическому принципу построения научной теории, согласно которому она должна разворачиваться на единой основе — на основе одного понятия. Именно таковым в психологии является, на наш взгляд, понятие деятельности.

Однако в последние годы некоторые психологи стремятся показать, будто бы в нашей науке наблюдается абсолютизация одного понятия (категории), что психология не может плодотворно развиваться на базе одного понятия (при этом подразумевается понятие деятельности) и должна строиться на основе системы несводимых друг к другу понятий. Также отмечается особенное значение для современной психологии таких философских и междисциплинарных (и вместе с тем для психологии базовых) понятий, как отражение, сознание, общественные отношения, деятельность, общение, личность⁴.

Перечисленные категории, конечно, могут быть базовыми для психологии (что, впрочем, установлено уже давно). Но даже их простое, взаимосвязанное перечисление теоретической системы из себя не представляет. Теория любой системы — при монистическом ее истолковании — строится на *едином* основании, исходя из одного понятия (какое понятие признать отправным и первым из их набора — зависит от общей позиции автора теории). Только в этом случае она строится диалектичес-

ким способом восхождения мысли от абстрактного к конкретному, способом выведения всех понятий из одного исходного и основополагающего, т.е. из абстрактно всеобщей “клеточки”. В противном случае научной теории не получится — внешнюю форму теоретизирования получит эмпирическое описание, в котором будут эклектически соединяться несводимые друг к другу представления. Указанное выше перечисление базовых понятий психологии как раз и толкает ее к эклектике. В эклектической же психологии понятие деятельности можно поставить не первым в ряду других, рядоположенно с понятиями сознания, общественных отношений; в такой психологии понятие общественных отношений можно поставить перед понятием деятельности (как это сделано в приведенном перечислении).

Выше мы стремились показать, что в диалектико-материалистической философии понятие деятельности определяет существенную исходную основу человеческого бытия. И деятельность человека, первичной формой которой является производство орудий, всегда осуществляется им внутри совокупности общественных отношений. “Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство”⁵. Хотя производство (шире — воздействие на природу, ее преобразование или деятельность) всегда находится в рамках общественных отношений, оно все же есть внутреннее основание общества, необходимые общественные (или производственные) отношения *оформляют* его, придают ему необходимые рамки. Поэтому прежде всего в науке следует рассматривать материально-производственную деятельность людей, оформляющуюся соответствующими общественными отношениями; поэтому нельзя начинать изучение жизни людей сразу с их производственных отношений, не раскрыв предварительно того, какое содержа-

¹ См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Изд. 3-е. М., 1989.

² См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.

³ См.: Holzkamp K. Grundlagen der Psychologie. Frankfurt; New York, 1983.

⁴ См.: Ломов Б. Ф. Задачи психологической науки... // Психологический журнал. 1983. №6. С. 15.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 441.

ние охватывается и оформляется их рамками. "...Исследование человеческой деятельности имеет принципиальное значение для... генезиса материальных общественных отношений..."¹.

Иными словами, лишь изучение деятельности создает необходимые условия для раскрытия генезиса общественных отношений. Это имеет большой смысл для теоретической психологии, построение которой целесообразно начинать именно с понятия деятельности (и тем самым именно это понятие нужно ставить *впереди* всех других как основание для их теоретического выведения).

В последнее время в нашей психологии обсуждается вопрос о соотношении категорий деятельности и *общения*. Б.Ф. Ломов сформулировал следующие положения: "Общение — это одна из сторон образа жизни человека, не менее существенная, чем деятельность"². И далее: "...Ни одна из них (этих категорий. — В.Д.) не является для психологии исключительной, определяющей сущность ее предмета"³.

С обоими этими положениями согласиться нельзя. Во-первых, деятельность при ее диалектико-материалистическом понимании выступает основой всей общественной жизни людей, — общение же как процессуальное выражение их общественных отношений лишь оформляет в определенных рамках содержание деятельности. Общение людей может существовать лишь в процессе реализации деятельности. С точки зрения принципа восхождения от абстрактного к конкретному деятельность тем самым есть *более* существенная категория, чем общение. Во-вторых, категория деятельности, с этой же точки зрения, является для психологии *исключительной*, поскольку именно она определяет как некоторая "клеточка" ее предмет (конечно, при учете собственно психологического подхода к деятельности).

Некоторые психологи пытаются строить психологию на основе понятия *отно-*

шения (В.Н. Мясищев и др.). Если при этом имеется в виду "общественное отношение", то с данной попыткой можно связать приведенное несколько выше наше рассуждение, согласно которому такое отношение генетически зависит от человеческой деятельности. Если же при этом подразумевается отношение человека к природе, то хорошо известно, что смысл этого понятия весьма близок к понятию воздействия на природу, т.е. к понятию производственной деятельности⁴.

В этом плане несостоятельна, на наш взгляд, и попытка "расширить" исходную теоретическую базу современной психологии за счет присоединения к понятию деятельности понятий *установки, отношения, общения* (вместо выведения этих понятий из исходного понятия деятельности)⁵.

Преобразование понятия деятельности в основополагающее для всей психологии человека (в ее "клеточку") не означает его абсолютизации. Во-первых, оно может быть теоретическим инструментом только в процессе его конкретизации при выведении других психологических понятий (прежде всего понятий идеального, общения, сознания, личности). Во-вторых, его само необходимо раскрыть на основе определенных предпосылок, имеющих в живом мире (поведение и психика животных). Но необходимо еще раз повторить, что понятие деятельности нельзя ставить в один ряд с другими психологическими понятиями, поскольку среди них оно должно быть исходным, первым и главным. На его основе в процессе теоретической переработки фактических материалов нужно выводить другие понятия.

Поэтому вопрос о месте понятия деятельности в современной психологии исключительно важен. От его решения зависит, быть ли ей подлинной монистической теорией, либо стать эмпирическим и эклектическим систематизированием фактического материала.

¹ Плетников Ю. К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма. С. 93.

² Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 256.

³ Там же. С. 258.

⁴ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 441 (сноска).

⁵ См.: Васильев Ф. Е. К проблеме единства общепсихологической теории // Вопросы философии. 1986. №10.

В настоящее время в психологии уже многое известно о содержании и строении деятельности человека, что позволило, например, А.Н. Леонтьеву создать развернутую теорию. Так, он обосновал положение о том, что ядро психологической теории деятельности — *принцип предметности*. Предмет при этом понимался им не как некий объект, существующий сам по себе и лишь воздействующий на субъект, а как то, на что направлено действие субъекта, к чему он определенным образом относится и что выделяется им из объекта в процессе его преобразования при выполнении внешнего или внутреннего действия¹.

Предметная детерминация деятельности возможна благодаря ее особому качеству — *уподобляемости* свойствам и отношениям преобразуемого ею объективного мира. Функцию уподобления выполняют поисково-опробующие действия субъекта, строящие образы соответствующих объектов. Первоначально деятельность детерминируется предметом, а затем она опосредствуется и регулируется его образом как своим продуктом.

В работах А.Н. Леонтьева представлено психологическое строение деятельности, имеющее следующие составляющие: *потребность — мотив — цель — условия достижения цели* (единство цели и условий составляет *задачу*). Достижение цели в определенных условиях (или решение задачи) осуществляется человеком посредством выполнения *действий* (самое действие состоит из *операций*, соответствующих условиям задачи). Целостная деятельность в процессе реализации постоянно изменяется и трансформируется, — тогда, например, действие при изменении его цели может стать операцией и т.п.

Человек в многогранной жизни осуществляет много конкретных видов деятельности, которые различаются между собою

прежде всего своим *предметным содержанием*. Иными словами, каждый вид деятельности имеет вполне определенное содержание своих потребностей, мотивов, задач и действий. Одна из главных проблем психологического исследования состоит в том, чтобы определить предметное содержание каждого вида деятельности. Лишь после достаточно четкого решения этой проблемы то или иное психологическое образование, наблюдаемое у человека, можно определить в качестве конкретного вида его деятельности².

Первичной формой деятельности является ее коллективное или совместное выполнение. «В сущности, — писал А.Н. Леонтьев, — деятельность... предполагает не только действия только отдельно взятого человека, но и действия его в условиях деятельности других людей, т.е. предполагает некоторую совместную деятельность»³. На основе совместной деятельности, имеющей коллективного субъекта, возникает индивидуальная деятельность многих субъектов. Особенности и закономерности выполнения совместной и индивидуальной деятельности различны, хотя их строение имеет общие черты. Становление индивидуальной деятельности внутри и на основе совместной представляет собой тот процесс, который следует называть *интериоризацией*.

А.Н. Леонтьев подчеркивал социально-исторический смысл деятельности отдельно взятого человека, ее связь с процессами материального и речевого общения людей⁴. Однако следует отметить, что А.Н. Леонтьев так и не организовал экспериментальных исследований, специально направленных на изучение психологических закономерностей процесса интериоризации как перехода от совместной (коллективной) деятельности к ее индивидуальному выполнению⁵. Эти исследования начали интен-

¹ См.: Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 169.

² В нашей психологической литературе специально обсуждаются вопросы предметного характера деятельности, ее строения и трансформации. См.: Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. М., 1990.

³ Леонтьев А. Н. Анализ деятельности // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 14. Психология. 1983. №2. С. 9.

⁴ См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981 С. 422.

⁵ Исследования интериоризации, выполненные под руководством П.Я. Гальперина, связаны с изучением лишь одной стороны этого процесса — поэтапного формирования умственных действий на основе их предметных аналогов. При этом не исследовались те действия, которые связаны с их коллективным, совместным выполнением.

сивно проводиться нашими сотрудниками в 1970-80-е гг.¹. В последнее время подобные работы налажены в некоторых западных странах². Результаты этих исследований могут стать экспериментальной основой для разработки современной теории процесса интериоризации, предпосылки которой были созданы в свое время еще Л.С. Выготским <...>.

Мы кратко сформулировали главные положения междисциплинарной теории деятельности, которые служат основой особого направления в современной философии, логике, социологии и психологии. Сейчас в распоряжении специалистов имеется обширный фактический материал, позволяющий конкретизировать эти положения, развернуть, раскрыть их содержание. И вместе с тем анализ такого материала показывает, что многие важные проблемы теории деятельности еще далеки от своего адекватного решения. Каковы же эти проблемы? Остановимся на некоторых из них.

Первая проблема связана с необходимостью развернутого определения такого ключевого понятия теории деятельности, как “преобразование”. Преобразование чаще всего истолковывают как изменение объекта. Но анализ свидетельствует, что не всякое изменение есть преобразование. Очень многие изменения, вносимые людьми в природную и социальную действительность, затрагивают лишь ее внешний облик, сохраняя при этом ее внутренний образ, и, следовательно, не могут быть названы подлинным ее преобразованием. Есть основание полагать, что преобразование — это изменение внутреннего образа объекта, выявление и изменение его *сущности*.

К сожалению, в современной логике нет однозначного понимания сущности. Более того, много десятилетий противостоят друг

другу два подхода к сущности. Первый подход был сформулирован в формальной логике, второй — в диалектической. Согласно формально-логическому подходу, сущность объекта — это то, что объединяет его с другими сходными объектами в некоторый общий класс. Иными словами, сущностью может быть любая черта объекта, общая и одинаковая у него с другими объектами.

Поэтому выделение человеком в объектах более или менее одинаковых черт или выделение отношений рода и вида является движением в сфере сущностей, переходом от одной сущности объекта к другой. В этом случае преобразование объекта состоит в том, что человек вид объекта превращает в его род (простой пример: человек в паре ботинок в определенной ситуации выделяет его родовую характеристику — быть обувью). Построение и жизненное использование человеком различных схем классификации с формально-логической точки зрения можно считать преобразованием объектов или познавательной деятельностью.

В диалектической логике сущность — это генетически исходное или всеобщее отношение системы объектов, порождающее особенные и индивидуальные ее черты. Сущность — это закономерность развития самой системы. Наиболее яркий пример диалектического преобразования — целенаправленное выращивание какого-либо объекта как сложной системы. Так, обнаружение и отбор полноценных зерен пшеницы, их посев, создание условий для, их нормального произрастания и, наконец, получение хорошего урожая — все это демонстрирует реальное преобразование человеком некоторой области природы или его целенаправленную деятельность.

¹ См.: Кравцов Г. Г. Некоторые психологические особенности учебной деятельности младших подростков // Экспериментальные исследования по проблемам педагогической психологии. М., 1976. Вып. 2; Матис Т. А. Психологические особенности организации совместной учебной деятельности школьников // Психологические проблемы учебной деятельности школьника. М., 1977; Коростелев А. Ю. Психологические особенности совместного учебного действия // Вопросы психологии. 1980. №4; Рубцов В. В., Гузман Р. Я. Психологические особенности способов организации совместной деятельности в процессе решения учебной задачи // Вопросы психологии. 1982. №5; Агеев В. В., Давыдов В. В., Рубцов В. В. Опробование как механизм построения совместных действий // Психологический журнал. 1985. №4; Цукерман Г. А. Зачем детям учиться вместе. М., 1985; Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. М., 1987; Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск, 1993.

² См.: Перре-Клермон А. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. М., 1991.

На наш взгляд, каждый из указанных подходов к сущности объектов находит свое выражение в особом типе их преобразования как изменения внутреннего облика. Первый тип преобразования связан с расчленением многообразия объектов на основе их родо-видовых отношений, с построением соответствующих классификаций, с их использованием в целях практической ориентации в действительности. Второй тип преобразования связан с поиском в некотором многообразии объектов такого их отношения, развитие которого порождает само это многообразие и которое связано также с созданием условий, с необходимостью обеспечивающих полноценное осуществление этого развития.

Этим двум основным типам преобразования соответствуют и два типа деятельности, один из которых нацелен на изменение существующего внешнего порядка объектов, другой — на реализацию их внутренних потенциалов, на раскрытие условий происхождения целостных систем.

Теория деятельности издавна подвергалась серьезной критике или отрицанию в некоторых философских и психологических направлениях (например, в феноменологии, экзистенциализме и т.д.). В последние десятилетия эта критика значительно обострилась по глубинным социальным причинам, связанным с провалом ряда социальных экспериментов, с уже имеющимися и предстоящими экологическими катастрофами, — все они соотносились с таким изменением и преобразованием социальной и природной действительности, которые фактически были *насилием* над нею.

Основания для такой критики имеются, поскольку внутри деятельностного подхода существует технократский активизм, лишенный гуманистических начал. Он служит теоретической базой таких преобразований, которые не проявляют и не развивают сущность действительности по ее собственным законам, а уродуют, коверкают и извращают ее наперекор историческим интересам человека и подлинным возможностям самой действительности. Такой активизм не совпадает с

гегелевско-марксовской теорией деятельности, согласно которой люди могут применять к предмету присущую именно ему мерку. "...В силу этого человек, — писал Маркс, — строит также и по законам красоты"¹, т.е. по законам совершенства самой действительности.

Конечно, люди могут не коверкать природу и социум, но эта возможность часто не имеет условий для полноценной реализации. Необходимы специальный анализ исторических причин указанного активизма, рассмотрение исторических условий реализации деятельности, преобразующей действительность по законам ее совершенства. Это очень важно для того, чтобы показать ограниченность этой антидеятельностной идеи, согласно которой человек призван лишь просто понять, объяснить и обжить мир, а не изменять его (этот вопрос специально и интересно разобран в статье П.П. Гайденко)².

Мы изложили свое понимание проблемы преобразования. Она требует углубленного изучения — прежде всего со стороны логиков и социологов, которые могут достаточно развернуто представить специалистам других дисциплин определение сущности, наличие ее различных типов и внутреннюю связь преобразования сущности определенного типа с гуманистической теорией деятельности.

Вторая во многом еще не решенная **проблема** теории деятельности затрагивает соотношение непосредственно коллективной и индивидуальной деятельности, соотношение коллективного и индивидуального субъектов. Многие сторонники рассматриваемой теории признают наличие процесса интериоризации, т.е. процесса становления индивидуальной деятельности на основе коллективной. Они выделяют при этом факт определенного сходства структур обеих форм деятельности, однако очень мало внимания обращают на их различие. Но как раз характеристики именно этого различия и не-сходства являются особой проблемой теории деятельности.

Связи коллективной и индивидуальной деятельности широко исследуются во многих странах (работы А. Перре-Клермон,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 94.

² См.: Гайденко П. П. Проблема рациональности на исходе XX века // Вопросы философии. 1991. №6.

В.В.Рубцова, Ю. Энгештрема и др.). И очень важно, чтобы анализ результатов этих исследований был направлен на выявление специфики структуры и функций каждой формы деятельности. Отметим, что некоторые ученые до сих пор отрицают сам факт интериоризации целостной коллективной деятельности; поэтому необходимо более определенно, разносторонне и точно описывать различные стадии этого процесса, выделяя особое значение условий его осуществления.

Очень долго в общественных науках не обсуждался вопрос о наличии коллективного субъекта деятельности, о его своеобразии. В нашей стране лишь совсем недавно стали употреблять этот термин и анализировать особенности коллективного субъекта (например, в философских работах В.А.Лекторского)¹. При этом подчеркивается, что коллективный субъект в известном смысле существует вне каждого отдельного индивидуального субъекта и выявляет себя не столько через сознание индивидов, сколько через внешнюю предметно-практическую коллективную деятельность.

С этим можно согласиться. Но возникает вопрос: если коллективный субъект в известном смысле существует вне отдельных индивидов, то можно ли его представить в виде совокупности или группы людей и в каком точно смысле он существует вне отдельных индивидов, входящих в эту группу? Далее, какими существенными чертами должна обладать группа людей, осуществляющая совместную деятельность, чтобы ее можно было определить в качестве коллективного субъекта? И еще, по каким качествам можно различать коллективного и индивидуального субъектов, каковы характерные особенности индивидуального субъекта и чем он отличается от личности? Что можно отнести к личностному уровню выполнения индивидуальной деятельности?

На эти вопросы, на наш взгляд, четких ответов пока нет. Поэтому необходимо проводить соответствующие исследования. При их организации важно учитывать те теоретические представления, которые были разработаны в свое время в работах французских ученых Э. Дюркгейма,

Ш.Блонделя, Л. Леви-Брюля и их последователей.

Третья проблема связана с трудностями определения общей структуры деятельности. Согласно представлениям А.Н. Леонтьева, в структуру деятельности входят такие компоненты, как потребность, мотивы, задачи, действия и операции. Анализ этой структуры сразу показывает, что в нее не входят средства решения задачи, — по-видимому, такой компонент также следует включить в эту структуру.

Но главный вопрос состоит в том, как соотносить эту общую структуру деятельности с такими психологическими процессами, традиционно выделяемыми в психологии, как восприятие и воображение, память и мышление, чувства и воля? Можно ли их считать своеобразными компонентами общей структуры деятельности наряду с мотивами, задачами, действиями? Или они сами могут быть представлены в качестве особых и самостоятельных видов деятельности? Если ответить на последний вопрос положительно, то нужно признать наличие сенсорной, мнемической, мыслительной деятельности и даже деятельности чувств и деятельности воли.

Следует отметить, что сейчас в различных научных дисциплинах и особенно в психологии часто указанные психические процессы принимаются в качестве отдельных видов деятельности (например, мышление человека характеризуется как мыслительная деятельность).

На наш взгляд, такой перевод традиционных познавательных процессов в ранг различных видов деятельности неправомерен. Эти процессы являются лишь особыми компонентами общей структуры деятельности, обслуживающими осуществление других ее компонентов. Например, восприятие и мышление позволяют субъекту выявить и уточнить условия решения сенсорной или мыслительной задачи, наметить средства и пути ее решения. Но сама задача — только лишь компонент какой-либо целостной деятельности, например, игровой или художественной.

Рассматривая эти вопросы, мы одновременно затрагиваем и **четвертую проблему**, касающуюся классификации различных видов деятельности. Здесь наблюдается большая путаница, которая обостряется

¹ См.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1981.

следующим обстоятельством. В английском языке русское слово “деятельность” переводится термином “activity”, поэтому любой вид практической или познавательной “энергии” человека называется словом “activity”.

По нашему мнению, не все проявления жизненной энергии человека могут быть отнесены к его “деятельности” — подлинная деятельность всегда связана с *преобразованием* действительности (это мы отметили раньше). Понятию “преобразование” в большей степени соответствуют немецкие слова “Tätigkeit” и “Handlung”, которые переводятся как “деятельность” и “действие” или “поступок”.

Из-за широкого значения английского слова “activity”, которое слабо характеризует процесс преобразования, возникают также трудности классификации различных видов деятельности.

Оснований для такой классификации достаточно много. Так, в социологии принято выделять трудовую, политическую, художественную, научную и другие виды деятельности. В педагогике в качестве основных фигурируют игровая, учебная и трудовая деятельности. В психологии деятельность неправомерно соотносят с каждым психическим процессом (сенсорная, мыслительная и другие виды деятельности). Ясно, что, например, в трудовую или политическую деятельность входят те виды деятельности, которые выделяются психологами. Естественно возникают вопросы, какое основание классификации может быть главным и какова целостная система различных видов деятельности. Эти важные вопросы ждут своего решения.

Мы полагаем, что главным основанием классификации должен стать историко-социологический подход к деятельности. Этот подход позволит положить в фундамент классификации трудовую деятельность во всех исторических формах ее развития и построить на этом фундаменте все многообразие других общественно значимых видов деятельности, исторически возникающих в качестве форм реализации общественно-исторической жизни людей.

По сути дела историческая социология — та научная дисциплина, которая призвана открывать, изучать и даже проектировать становление всех взаимосвязанных видов и форм человеческой деятельности.

Она призвана изучать и объяснять место и роль каждой деятельности в обеспечении целостной общественной жизни человека. Мы уже выше отмечали, что специфика общественно-исторической действительности состоит в том, что единственно возможным способом ее существования и развития выступает именно деятельность.

С данной точки зрения, все научные дисциплины, изучающие деятельность, могут опираться на результаты историко-социологических исследований. В свою очередь, материалы этих дисциплин можно использовать при конкретизации историко-социологических представлений о деятельности. Именно с этим связана необходимость междисциплинарного ее исследования.

В последние годы наши специалисты оживленно обсуждают проблему соотношения понятий деятельности и общения (это **пятая** проблема теории деятельности). Некоторые полагают, что нельзя преувеличивать и абсолютизировать роль деятельности в общественной жизни людей, что важное значение в ней имеет их общение. Предлагается создавать теорию бытия человека на основе этих двух равноправных по значимости понятий. (Этот вопрос мы обсуждали выше.) На наш взгляд, не следует противопоставлять друг другу понятия деятельности и общения и вместе с тем нельзя изучать общение и оценивать его роль в жизни людей без рассмотрения их деятельности, которую общение лишь оформляет.

Шестая проблема теории деятельности определяется связью этой теории с другими подходами к изучению человека. Так, генетическая эпистимология, которую создавали Ж. Пиаже и его последователи, опирается на понятия действия и операции. Теория формирования умственных действий, разработанная П.Я. Гальпериным, своим фундаментом также имеет понятие действия. Нужно провести особую работу по соотношению теории целостной деятельности с основными положениями Ж. Пиаже и П.Я. Гальперина и постараться найти в них нечто общее, что, конечно, обогатит теорию деятельности.

Седьмая проблема этой теории касается способов организации междисциплинарных исследований человеческой деятельности. Сейчас отдельные дисциплины изучают деятельность по преимуществу

независимо друг от друга. Лишь в теоретических ее характеристиках психолог, например, может использовать выводы философа или социолога или эти специалисты иногда подкрепляют свои положения фактическими материалами, полученными психологом. Конечно, само по себе это необходимо и важно. Отметим, что генетическая эпистимология как раз разрабатывается на междисциплинарной основе.

Но до сих пор проводится мало таких экспериментальных исследований деятельности, в которых *сразу* участвуют представители нескольких дисциплин (например, логики, социологи, педагоги, психологи, физиологи). Организация этих исследований, как показывает наш собственный опыт, требует больших средств и предполагает создание специальных условий <...>.

Восьмая проблема теории деятельности связана с пониманием общей природы человека, соотношения в нем “биологического” и “социального”. В последние годы по этому вопросу ведутся острые дискуссии. Все шире используются понятия “биосоциальная природа человека”, “биосоциальная сущность человека”. Проблема очень сложна, и, конечно, необходим ее специальный анализ. Мы же здесь выскажем свою позицию, связанную с нашим пониманием роли деятельности и общественных отношений людей в их жизни.

Если придерживаться принципов диалектико-материалистической философии, то сущность или “природа” человека имеет *социальный характер*. Сущность человека в своей действительности есть, по определению К.Маркса, “совокупность всех общественных отношений”¹. Правда, К.Маркс писал еще о “природных узах”, связывающих множество человеческих индивидов, о том, что человек является непосредственно природным существом, которое наделено природными, жизненными, телесными силами². Но ни для К.Маркса, ни для других сторонников его философии понятие “природные, телесные силы” человека само по себе не равноценно понятию “биологические силы”.

Когда речь идет о “природных силах человека”, то подразумеваются основные

сущностные характеристики чувственно-предметной его деятельности, направленной на преобразование природы, частью которой выступает и сам человек. Но сама эта деятельность имеет общественно-историческую или социальную сущность.

С этой точки зрения сущностное “биологическое” в чувственно-предметной телесной деятельности человека отсутствует, а эта деятельность, согласно современной психологии, является основой всего психического развития человека.

“Биологическое” присуще поведению животных, которое реализуется в единстве потребностей и врожденных способов их удовлетворения. “Врожденность” выступает здесь как предопределенность этих способов особенностями морфофизиологической организации животного данного вида.

Биологическая основа поведения животных и социальная основа деятельности человека — это два принципиально различных типа существования.

Благодаря социальной сущности деятельности способы удовлетворения потребностей человека (даже органических) не предопределены организацией его тела. В процессе антропогенеза у людей сформировался такой организм, который позволяет им создавать и выполнять в принципе любые формы деятельности, — в этом состоит универсальный характер человека как природного телесного существа. Способы удовлетворения его потребностей, способы осуществления его жизнедеятельности связаны с использованием средств и орудий, которые Маркс назвал “неорганическим телом” человека³.

Но, следовательно, у человека есть и “органическое тело”, органические потребности и телесные движения (действия), выполнение которых необходимо для их удовлетворения. Причем “органическое тело” человека само сформировалось в процессе антропогенеза и имеет общественную, социальную сущность. Так, К.Маркс говорил об общественном характере голода человека, удовлетворяемого им с помощью ножа и вилки, который принципиально отличен от голода животных⁴. Тем более общественную природу

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 3.

² См. там же. Т. 42. С. 162.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 92.

⁴ См. там же. Т. 12. С. 718.

имеют движения по употреблению ножа и вилки.

Человек обладает “органическим телом” как природной, естественной предпосылкой его сознательной деятельности, и это тело, эта деятельность человека сами сформировались в процессе его общественной истории и имеют общественную сущность. Конечно, некоторые жизненные характеристики “органического тела” человека (например, на клеточном или на нервно-гуморальном уровнях) общие с животными. И в этой общности проступают закономерности собственно органических образований, но они не определяют сущности предметно-чувственной деятельности человека, хотя и влияют так или иначе на процесс ее онтогенетического развития.

Иногда происходит неправомерное отождествление терминов “природное” и “телесное” с термином “биологическое”. Однако “природное” и “телесное” нельзя однозначно характеризовать как “биологическое” в человеке. “Природное” и “телесное” в человеке лучше обозначить термином “органическое”.

Биологический способ существования, присущий только животным, имеет важнейшую характеристику: единство органических нужд с врожденными механизмами их удовлетворения. Это “единство” как раз и служит основой инстинктов, присущих поведению животных. В процессе же антропогенеза произошел разрыв между органическими нуждами животного существа и механизмами их удовлетворения, т.е. инстинкты у человека исчезли. Органические нужды, приобретшие форму потребностей, у человека, конечно, сохранились, но у него не осталось никаких врожденных механизмов их удовлетворения¹.

Органические же потребности человека стали удовлетворяться *прижизненно* возникающими способами деятельности. Органика, телесность и в этом смысле “природность” человека остались, но “биологическое” как способ существования животных в мире у человека исчезло.

Необходимо различать “нужду” и “потребность”. Лишь потребность человека соотносится с его деятельностью и способами ее выполнения, имеющими общественное происхождение. Например, у человека, как и у животного, есть нужда в кислороде. Она удовлетворяется при непосредственном наличии кислорода врожденными нервно-мышечными механизмами дыхания. Потребность же в кислороде появляется у человека как своеобразное отражение нужды в его сознании лишь тогда, когда в окружающей среде кислорода мало или он исчезает совсем. И эта потребность удовлетворяется уже посредством деятельности, способы выполнения которой человек получает прижизненно (простейший из способов состоит в том, чтобы подойти в душевной комнате к окну и раскрыть его).

На наш взгляд, проблема “биосоциальной природы человека” может быть конкретно решена лишь при междисциплинарном исследовании особенностей инстинктов животных, их исчезновения в процессе антропогенеза, своеобразия связи “органического” и “неорганического” тел человека.

На пути создания междисциплинарной теории деятельности возникает много нерешенных проблем. Мы сформулировали лишь некоторые из них. Без их настойчивого решения невозможно разработать теоретические подходы к практическому совершенствованию способов человеческой жизни.

¹ См.: Гальперин П. Я. К вопросу об инстинктах у человека // Вопросы психологии. 1976. №1.

Раздел III

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

Часть 1. Возникновение и развитие психики в филогенезе

А.Н.Леонтьев

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЩУЩЕНИЯ¹

I. Проблема

<...>Проблема возникновения, т. е. собственно *генезиса*, психики и проблема ее развития теснейшим образом связаны между собой. Поэтому то, как теоретически решается вопрос о возникновении психики, непосредственно характеризует общий подход к процессу психического развития.

Как известно, существует целый ряд попыток принципиального решения проблемы возникновения психики. Прежде всего это то решение вопроса, которое одним

словом можно было бы обозначить как решение в духе “антропсихизма” и которое связано в истории философской мысли с именем Декарта. Сущность этого решения заключается в том, что возникновение психики связывается с появлением человека: психика существует только у человека. Тем самым вся предыстория человеческой психики оказывается вычеркнутой вовсе. Нельзя думать, что эта точка зрения в настоящее время уже не встречается, что она не нашла своего отражения в конкретных науках. Некоторые исследователи до сих пор стоят, как известно, именно на этой точке зрения, т. е. считают, что психика в собственном смысле является свойством, присущим только человеку.

Другое, противоположное этому, решение дается учением о “панпсихизме”, т. е. о всеобщей одухотворенности природы. Такие взгляды проповедовались некоторыми французскими материалистами, например, Робине. Из числа известных в психологии имен можно назвать Фехнера, который тоже стоял на этой точке зрения. Между обоими этими крайними взглядами, с одной стороны, допускающими существование психики только у человека, с другой — признающими психи-

¹ *Леонтьев А.Н.* Проблемы развития психики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 15—27, 34—37, 42—45, 48—57, 69—85, 120—123.

ку свойством всякой вообще материи, существуют и взгляды промежуточные. Они пользуются наибольшим распространением. В первую очередь это тот взгляд, который можно было бы обозначить термином “биопсихизм”. Сущность “биопсихизма” заключается в том, что психика признается свойством не всякой вообще материи, но свойством только живой материи. Таковы взгляды Гоббса и многих естествоиспытателей (Ж. Бернара, Геккеля и др.). В числе представителей психологии, державшихся этого взгляда, можно назвать В. Вундта.

Существует и еще один, четвертый, способ решения данной проблемы: психика признается свойственной не всякой вообще материи и не всякой живой материи, но только таким организмам, которые имеют нервную систему. Эту точку зрения можно было бы обозначить как концепцию “нейропсихизма”. Она выдвигалась Дарвином, Спенсером и нашла широкое распространение как в современной физиологии, так и среди психологов, прежде всего психологов-спенсерианцев.

Можем ли мы остановиться на одной из этих четырех позиций как на точке зрения, в общем правильно ориентирующей нас в проблеме возникновения психики?

Последовательно материалистической науке чуждо как то утверждение, что психика является привилегией только человека, так и признание всеобщей одушевленности материи. Наш взгляд состоит в том, что психика — это такое свойство материи, которое возникает лишь на высших ступенях ее развития — на ступени органической живой материи. Значит ли это, однако, что *всякая* живая материя обладает хотя бы простейшей психикой, что переход от неживой к живой материи является вместе с тем и переходом к материи одушевленной, чувствующей?

Мы полагаем, что и такое допущение противоречит современным научным знаниям о простейшей живой материи. Психика может быть лишь продуктом дальнейшего развития живой материи, дальнейшего развития самой жизни.

Таким образом, необходимо отказаться также и от того утверждения, что психика возникает вместе с возникновением живой материи и что она присуща всему органическому миру.

Остается последний из перечисленных взглядов, согласно которому возникновение психики связано с появлением у животных нервной системы. Однако и этот взгляд не может быть принят, с нашей точки зрения, безусловно. Его неудовлетворительность заключается в произвольности допущения прямой связи между появлением психики и появлением нервной системы, в неучете того, что орган и функция хотя и являются неразрывно взаимосвязанными, но вместе с тем связь их не является неподвижной, однозначной, раз и навсегда зафиксированной, так что аналогичные функции могут осуществляться различными органами.

Например, та функция, которая впоследствии начинает выполняться нервной тканью, первоначально реализуется процессами, протекающими в протоплазме без участия нервов¹. У губок (*Stylotella*), полностью лишенных собственно нервных элементов, установлено, однако, наличие настоящих сфинктеров, действие которых регулируется, следовательно, не нервными аппаратами (М. Паркер)². Мы не можем поэтому принять без дальнейшего конкретного рассмотрения, как это делают многие современные физиологи, также и тот взгляд, согласно которому возникновение психики ставится в прямую и вполне однозначную связь с возникновением нервной системы, хотя на последующих этапах развития эта связь не вызывает, конечно, никакого сомнения.

Таким образом, проблема возникновения психики до сих пор не может считаться решенной, даже в ее самой общей форме.

Такое состояние проблемы возникновения психики, естественно, приводило ряд естествоиспытателей именно в этом вопросе к позициям агностицизма. В последней четверти прошлого столетия Эмиль Дюбуа-Реймон — один из виднейших естествоиспытателей своего времени — указал в своей речи в честь Лейбница (1880)

¹ См. *Child C.M.* The Origin and Development of the Nervous System. Chicago, 1921.

² См. *Bianchi L.* La mécanique du cerveau. Paris, 1921.

на семь неразрешимых для человеческой науки “мировых загадок”¹. Как известно, в их числе стоял и вопрос о возникновении ощущения. Президент Берлинской академии, где Дюбуа-Реймон выступал с этим докладом, подводя итоги обсуждения проблемы непознаваемости для науки некоторых вопросов, отвел целый ряд “загадок”, но сохранил три, подчеркнув их якобы действительную недоступность человеческому познанию. В числе этих трех оказался и вопрос о первом возникновении ощущений, вопрос, который Геккель не случайно назвал “центральной психологической тайной”².

Нет, понятно, ничего более чуждого последовательно материалистической науке, чем взгляды агностицизма, хотя бы и ограниченные одним только участком знания.

Первое, что встает перед исследованием генезиса психики, — это вопрос о первоначальной, исходной форме психического. По этому поводу существуют два противоположных взгляда. Согласно одному из них, развитие психической жизни начинается с появления так называемой гедонической психики, т. е. с зарождения примитивного, зачаточного самосознания. Оно заключается в первоначально смутном еще переживании организмом своих собственных состояний, в переживании положительном при условии усиленного питания, роста и размножения и отрицательном при условии голодания, частичного разрушения и т. п. Эти состояния, являющиеся прообразом человеческих переживаний влечения, наслаждения или страдания, якобы и составляют ту главную основу, на которой в дальнейшем развиваются различные формы “предвидящего” сознания, сознания, познающего окружающий мир.

Этот взгляд может быть теоретически оправдан только с позиций психовиталистического понимания развития, которое исходит из признания особой, заключенной

в самом объекте силы, раньше действующей как чисто внутреннее побуждение и лишь затем “вооружающей” себя органами внешних чувств. Мы не считаем, что этот взгляд может быть принят современным исследованием, желающим остаться на научной почве, и не считаем необходимым вдаваться здесь в его критику.

Как теоретические, так и чисто фактические основания заставляют нас рассматривать жизнь прежде всего как процесс взаимодействия организма и окружающей его среды.

Только на основе развития этого процесса внешнего взаимодействия происходит также развитие внутренних отношений и состояний организма; поэтому внутренняя чувствительность, которая по своему биологическому значению связана с функциональной коадаптацией органов, может быть лишь вторичной, зависимой от “проталлаксихических” (А. Н. Северцов) изменений. Наоборот, первичной нужно считать экстрачувствительность, функционально связанную с взаимодействием организма и его внешней среды.

Итак, мы будем считать элементарной формой психики ощущение, отражающее внешнюю объективную действительность, и будем рассматривать вопрос о возникновении психики в этой конкретной его форме как вопрос о возникновении “способности ощущения”, или, что то же самое, *собственно чувствительности*.

Что же может служить критерием чувствительности, т. е. как можно вообще судить о наличии ощущения, хотя бы в самой простой его форме? Обычно практическим критерием чувствительности является критерий *субъективный*. Когда нас интересует вопрос о том, испытывает ли какое-нибудь ощущение данный человек, то, не вдаваясь в сложные рассуждения о методе, мы можем поступить чрезвычайно просто: спросить его об этом и получить совершенно ясный ответ. Мы можем, далее, проверить

¹ См. *Du Bois-Reumond E. Reden*, В. 1—11. Berlin, 1912; русский перевод “О границах познания природы. Семь мировых загадок”, 2-е изд. М., 1901. См. также: *Огнев И. Ф.* Речи Э. Дюбуа-Реймона и его научное мировоззрение. // Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. 48 (3). Повторяя вслед за Дюбуа-Реймоном положение о неразрешимости “загадки первых ощущений”, О. Д. Хвольсон логически неизбежно приходит к более общему положению “психологического агностицизма”, а именно, что вообще проблемы психологии “фактически чужды естествознанию” (*Хвольсон О. Д.* Гегель, Геккель, Коссут и двенадцатая заповедь. Спб., 1911).

² *Геккель Э.* Мировые загадки. М., 1935.

правильность данного ответа, поставив этот вопрос в тех же условиях перед достаточно большим числом других людей. Если каждый из опрошенных или подавляющее большинство из них будет также отмечать у себя наличие ощущения, то тогда, разумеется, не остается никакого сомнения в том, что это явление при данных условиях действительно всегда возникает. Дело, однако, совершенно меняется, когда перед нами стоит вопрос об ощущении у животных. Мы лишены возможности обратиться к самонаблюдению животного, мы ничего не можем узнать о субъективном мире не только простейшего организма, но даже и высокоразвитого животного. Субъективный критерий здесь, следовательно, совершенно неприменим.

Поэтому когда мы ставим проблему критерия чувствительности (способности ощущения) как элементарнейшей формы психики, то мы необходимо должны поставить задачу отыскания не субъективного, но строго *объективного* критерия.

Что же может служить объективным критерием чувствительности, что может указать нам на наличие или отсутствие способности ощущения у данного животного по отношению к тому или иному воздействию?

Здесь мы снова должны прежде всего остановиться на том состоянии, в котором находится этот вопрос. Р. Иеркс указывает на наличие двух основных типов объективных критериев чувствительности, которыми располагает или якобы располагает современная зоопсихология¹. Прежде всего это те критерии, которые называются критериями функциональными. Это критерии, т. е. признаки психики, лежащие в самом поведении животных.

Можно считать — и в этом заключается первое предположение, которое здесь возможно сделать, — что всякая подвижность вообще составляет тот признак, по наличию или отсутствию которого можно судить о наличии или отсутствии ощущения. Когда собака прибегает на свист, то совершенно естественно предположить, что она слышит его, т. е. что она чувствительна к соответствующим звукам.

Итак, когда этот вопрос ставится по отношению к такому животному, как, на-

пример, собака, то на первый взгляд дело представляется достаточно ясным; стоит, однако, перенести этот вопрос на животных, стоящих на более низкой ступени развития, и поставить его в общей форме, как тотчас же обнаруживается, что подвижность еще не говорит о наличии у животного ощущения. Всякому животному присуща подвижность; если мы примем подвижность вообще за признак чувствительности, то мы должны будем признать, что всюду, где мы встречаемся с явлениями жизни, а следовательно, и с подвижностью, существует также и ощущение как психологическое явление. Но это положение находится в прямом противоречии с тем бесспорным для нас тезисом, что психика, даже в своей простейшей форме, является свойством не всякой органической материи, но присуща лишь высшим ее формам. Мы можем, однако, подойти к самой подвижности дифференцированно и поставить вопрос так: может быть, признаком чувствительности является не всякая подвижность, а только некоторые формы ее? Такого рода ограничение также не решает вопроса, поскольку известно, что даже очень ясно ощущаемые воздействия могут быть вовсе не связаны с выраженным внешним движением.

Подвижность не может, следовательно, служить критерием чувствительности.

Возможно, далее, рассматривать в качестве признака чувствительности не форму движения, а их функцию. Таковы, например, попытки некоторых представителей биологического направления в психологии, считавших признаком ощущения способность организма к защитным движениям или связь движений организма с предшествующими его состояниями, с его опытом. Несостоятельность первого из этих предположений заключается в том, что движения, имеющие защитный характер, не могут быть противопоставлены другим движениям, представляющим собой выражение простейшей реактивности. Отвечать так или иначе не только на положительные для живого тела воздействия, но, разумеется, также и на воздействия отрицательные, есть свойство всей живой материи. Когда, например, амеба втягивает свои псевдоподии в ответ на распространение кислоты в ок-

¹ См. Yerkes R. M. Animal Psychological Criteria // J. of Philosophy. 1905. V. 11. N 6.

ружающей ее воде, то это движение, несомненно, является защитным; но разве оно сколько-нибудь больше свидетельствует о способности амебы к ощущению, чем противоположное движение выпускания псевдоподий при охватывании пищевого вещества или активные движения “преследования” добычи, так ясно описанные у простейших Дженнигсом?

Итак, мы не в состоянии выделить какие-то специальные функции, которые могли бы дифференцировать движения, связанные с ощущением, и движения, с ощущением не связанные.

Равным образом не является специфическим признаком ощущения и факт зависимости реакций организма от его общего состояния и от предшествующих воздействий. Некоторые исследователи (Бон и др.) предполагают, что если движение связано с *опытом* животного, т. е. если в своих движениях животное обнаруживает зачаточную память, то тогда эти движения связаны с чувствительностью. Но и эта гипотеза наталкивается на совершенно непреодолимую трудность: способность изменяться и изменять свою реакцию под влиянием предшествующих воздействий также может быть установлена решительно всюду, где могут быть установлены явления жизни вообще, ибо всякое живое и жизнеспособное тело обладает тем свойством, которое мы называем мнемической функцией, в том широком смысле, в котором это понятие употребляется Герингом или Семоном.

Говорят не только о мнемической функции применительно к живой материи в собственном смысле слова, но и применительно к такого рода неживым структурам, которые лишь *сходны* в физико-химическом отношении с живым белком, но не тождественны с ним, т. е. применительно к неживым коллоидам. Конечно, мнемическая функция живой материи представляет собой качественно иное свойство, чем “мнема” коллоидов, но это тем более дает нам основание утверждать, что в условиях жизни всюду обнаруживается и то свойство, которое выражается в зависимости реакций живого организма от прежних воздействий, испытанных данным органическим телом. Значит, и этот пос-

ледний момент не может служить критерием чувствительности.

Причина, которая делает невозможным судить об ощущении по двигательным функциям животных, заключается в том, что мы лишены объективных оснований для различения, с одной стороны, *раздражимости*, которая обычно определяется как общее свойство всех живых тел приходить в состояние деятельности под влиянием внешних воздействий, с другой стороны — *чувствительности*, т. е. свойства, которое хотя и представляет собой известную форму раздражимости, но является формой качественно своеобразной. Действительно, всякий раз, когда мы пробуем судить об ощущении по движению, мы встречаемся именно с невозможностью установить, имеем ли мы в данном случае дело с чувствительностью или с выражением простой раздражимости, которая присуща всякой живой материи.

Совершенно такое же затруднение возникает и в том случае, когда мы оставляем функциональные, как их называет Иеркс, критерии и переходим к критериям структурным, т. е. пытаемся судить о наличии ощущений не на основании функции, а на основании анатомической организации животного. Морфологический критерий оказывается еще менее надежным. Причина этого заключается в том, что, как мы уже говорили, органы и функции составляют единство, но они, однако, связаны друг с другом отнюдь не неподвижно и не однозначно¹. Сходные функции могут осуществляться на разных ступенях биологического развития с помощью различных по своему устройству органов или аппаратов, и наоборот. Так, например, у высших животных всякое специфическое для них движение осуществляется, как известно, с помощью нервно-мышечной системы. Можем ли мы, однако, утверждать на этом основании, что движение существует только там, где существует нервно-мышечная система, и что, наоборот, там, где ее нет, нет и движения? Этого утверждать, конечно, нельзя, так как движения могут осуществляться и без наличия нервно-мышечного аппарата. Таковы, например, движения растений; это тургорные движения, которые совершают-

¹ См.: Дорн А. Принцип смены функций. М., 1937.

ся путем быстро повышающегося давления жидкости, прижимающей оболочку плазмы к клеточной оболочке и напрягающей эту последнюю. Такие движения могут быть очень интенсивны, так как давление в клетках растений иногда достигает величины в несколько атмосфер (Г. Молиш). Иногда они могут быть и очень быстрыми. Известно, например, что листья мухоловки (*Dionaea muscipula*) при прикосновении к ним насекомого моментально захлопываются. Но подобно тому как отсутствие нервно-мускульного аппарата не может служить признаком невозможности движения, так и отсутствие дифференцированных чувствительных аппаратов не может еще служить признаком невозможности зачаточного ощущения, хотя ощущения у высших животных всегда связаны с определенными органами чувств.

Известно, например, что у мимозы эффект от поранения одного из лепестков конечной пары ее большого перистого листа передается по сосудистым пучкам вдоль центрального черенка, так что по листу пробегает как бы волна раздражения, вызывающего складывание одной пары за другой всех остальных лепестков. Является ли имеющийся здесь аппарат преобразования механического раздражения, в результате которого наступает последующее складывание соседних лепестков, органом передачи ощущений? Понятно, что мы не можем ответить на этот вопрос, так как для этого необходимо знать, чем отличаются аппараты собственно чувствительности от других аппаратов — преобразователей внешних воздействий. А для этого, в свою очередь, нужно умело различать между собой *процессы* раздражимости и процессы чувствительности.

Впрочем, когда мы переходим к структурным критериям, т. е. к анализу анатомического субстрата функций, то на первый взгляд может показаться, что здесь открывается возможность воспользоваться данными сравнительно-анатомического изучения и исходить не только из внешнего сравнения органов, но и из исследования их реальной генетической преемственности. Может быть, именно изучение преемственности в развитии органов поможет сблизить органы, функция кото-

рых нам хорошо известна у высших животных, с органами, совсем не похожими на них, но связанными с ними генетически, и таким образом прийти к установлению общности их функций? Если бы открылась такая возможность, то для решения проблемы генезиса чувствительности следовало бы просто двигаться по этому пути: кропотливо изучать, как данный орган развивается и превращается в орган, имеющий другую структуру, но выполняющий аналогичную функцию. Но и на этом пути мы наталкиваемся на неодолимую трудность. Она заключается в том, что развитие органов подчинено принципу несовпадения происхождения органа, с одной стороны, и его функции — с другой.

Современная сравнительная анатомия выделяет два очень важных понятия — понятие гомологии и понятие аналогии. “В *аналогии* и *гомологии*, — говорит Догель, — мы имеем перед собой две *равноценные*, хотя и разнородные, категории явлений. Гомологии выражают собой способность организмов исходя из одного и того же материала (идентичные органы), в процессе эволюции под влиянием естественного отбора применяться к различным условиям и достигать различного эффекта: из плавников рыб вырабатываются органы плавания, хождения, летания, копуляции и т. д. В аналогиях сказывается способность организмов, исходя из различного основного материала, приходить к одному и тому же результату и создавать образования, сходные как по функции, так и по строению, хотя и не имеющие между собой в филогенетическом отношении ничего общего, например, глаза позвоночных, головоногих и насекомых”¹.

Таким образом, путь прямого сравнительно-морфологического исследования также закрыт для разрешения проблемы возникновения ощущения благодаря тому, что органы, общие по своему происхождению, могут быть, однако, связаны с различными функциями. Может существовать гомология, но может не существовать аналогии между ними, причем это несовпадение, естественно, будет тем резче, чем больший отрезок развития мы берем и чем ниже мы спускаемся по ступеням эволюции. Поэтому если на высших ступенях

¹ Догель В. А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Л., 1938. Ч. 1. С. 9.

биологической эволюции мы еще можем по органам достаточно уверенно ориентироваться в функциях, то, чем дальше мы отходим от высших животных, тем такая ориентировка становится менее надежной. Это и составляет основное затруднение в задаче различения органов чувствительности и органов раздражимости.

Итак, мы снова пришли к проблеме чувствительности и раздражимости. Однако теперь эта проблема встала перед нами в иной форме — в форме проблемы различения органов ощущений и органов, которые раздражимы, но которые тем не менее не являются органами ощущения.

Невозможность объективно различать между собой процессы чувствительности и раздражимости привела физиологи последнего столетия вообще к игнорированию проблемы этого различения. Поэтому часто оба эти термина — чувствительность и раздражимость — употребляются как синонимы. Правда, физиология на заре своего развития различала эти понятия: понятие чувствительности (*sensibilitas*), с одной стороны, и понятие раздражимости (*irribilitas*) — с другой (А. фон Галлер).

В наши дни вопрос о необходимости различения чувствительности и раздражимости снова стал значимым для физиологии. Это понятно: современные физиологи все ближе и ближе подходят к изучению таких физиологических процессов, которые непосредственно связаны с одним из высших свойств материи — с психикой. Не случайно поэтому у Л. А. Орбели мы снова встречаемся с мыслью о необходимости различать эти два понятия — понятие чувствительности и раздражимости. “Я буду стараться пользоваться понятием “чувствительность”... только в тех случаях, когда мы можем с уверенностью сказать, что раздражение данного рецептора и соответствующих ему высших образований сопровождается возникновением определенного субъективного ощущения... Во всех других случаях, где нет уверенности или не может быть уверенности в том, что данное раздражение сопровождается каким-либо субъективным ощущением, мы будем говорить

о явлениях раздражительности и возбудимости”¹.

Таким образом, тот критерий, которым автор пользуется для различения раздражимости и чувствительности, остается по-прежнему чисто субъективным. Если для задач исследования на человеке субъективный критерий чувствительности и является практически пригодным, то для целей изучения животных он является попросту несуществующим. “Понятие ощущения, — писал один из зоопсихологов, Циглер, — совершенно лишено цены в зоопсихологии”. С точки зрения чисто субъективного понимания чувствительности это, конечно, правильно. Но отсюда только один шаг до принципиальных выводов, которые в самом конце прошлого столетия были сделаны в ряде деклараций зоопсихологов (Бете, Бер, Иксюль), совершенно ясно и недвусмысленно выдвигавших следующий парадоксальный тезис: “Научная зоопсихология вовсе не есть наука о психике животных и никогда не сможет ею стать”².

Таким образом, проблема генезиса ощущений (т. е. чувствительности как элементарной формы психики) стоит в конкретных исследованиях совершенно так же, как она стоит и в общетеоретических взглядах. Вся разница заключается лишь в том, что в одних случаях мы имеем *принципиальное* утверждение позиций агностицизма в проблеме возникновения психики, в другом случае — *фактические* позиции агностицизма, выражающиеся в отказе от реальных попыток проникнуть объективным методом, — а это есть единственная возможность по отношению к животным, — в тот круг явлений, которые мы называем явлениями психическими и которые в своей элементарной форме обнаруживаются в форме явлений чувствительности. Именно отсутствие *объективного* и вместе с тем *прямого* критерия чувствительности животных, естественно, приводило к тому, что проблема перехода от способности раздражимости к способности собственно чувствительности как проблема конкретного исследования полностью отрицалась большинством теоретиков психологии на том

¹ Орбели Л. А. Лекции по физиологии нервной системы. 3-е изд. М.; Л., 1938. С. 32.

² Beer, Bethe, Uexküll V. Vorschläge zu einer objektivierenden Nomenklatur in der Physiologie des Nervensystems // Biologisches Zentralblatt. 1899. Bd XIX.

псевдоосновании, что раздражимость и чувствительность суть понятия, относящиеся якобы к двум принципиально различным сферам действительности: одно, раздражимость, — к материальным фактам органической природы, другое, ощущение или чувствительность, — к миру явлений, которые понимались либо как одна из форм выражения особого духовного начала, либо как явления чисто субъективные, лишь “сопутствующие” некоторым органическим процессам и в силу этого не подлежащие естественнонаучному рассмотрению. <...>

В действительности противоположность между субъективным и объективным не является абсолютной и изначально данной. Их противоположность порождается развитием, причем на всем протяжении его сохраняются взаимопереходы между ними, уничтожающие их “односторонность”. Нельзя, следовательно, ограничиваться лишь чисто внешним сопоставлением субъективных и объективных данных, но нужно вскрыть и подвергнуть изучению тот содержательный и конкретный процесс, в результате которого совершается превращение объективного в субъективное. <...>

Что же представляет собой тот реальный процесс, который связывает оба полюса противоположности объективного и субъективного и который, таким образом, определяет то, отражается ли окружающая действительность в психике изучаемого нами субъекта — животного или человека — и какова та конкретная форма, в который это отражение осуществляется? Что, иначе говоря, создает необходимость психического отражения объективной действительности? Ответ на этот вопрос выражен в известном положении В. И. Ленина о том, что “человек не мог бы биологически приспособиться к среде, если бы его ощущения не давали ему *объективно-правильного* представления о ней”¹. Необходимость ощущения, и при этом ощущения, дающего правильное отражение действительности, лежит, следовательно, в условиях и требованиях самой жизни, т. е. в тех процессах, которые реально связывают человека с окружающей его действительностью. Равным образом и то, в какой форме и как

именно отражается соответствующий предмет действительности в сознании человека, зависит опять-таки от того, каков процесс, связывающий человека с этой действительностью, какова его реальная жизнь, иначе говоря, каково его бытие.

Эти положения, правильность которых с очевидностью выступает, когда мы имеем дело с человеческим сознанием, с не меньшей ясностью выступает, как мы увидим, и в том случае, когда мы имеем дело с процессами отражения действительности в их зачаточных формах — у животных.

Итак, для того чтобы раскрыть необходимость возникновения психики, ее дальнейшего развития и изменения, следует исходить не из особенностей взятой самой по себе организации субъекта и не из взятой самой по себе, т. е. в отрыве от субъекта, действительности, составляющей окружающую его среду, но из анализа того процесса, который реально связывает их между собой. А этот процесс и есть не что иное, как процесс жизни. Нам нужно исходить, следовательно, из анализа самой жизни.

Правильность этого подхода к изучению возникновения психики и ее развития явствует еще и из другого.

Мы рассматриваем психику как свойство материи. Но всякое свойство раскрывает себя в определенной форме движения материи, в определенной форме взаимодействия. Изучение какого-нибудь свойства и есть изучение соответствующего взаимодействия.

“*Взаимодействие* — вот первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю... Так естествознанием подтверждается то..., что взаимодействие является истинной *causa finalis* [конечной причиной] вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно потому, что позади его нечего больше познавать”².

Так же ли решается этот вопрос и применительно к психике? Или, может быть, психика есть некое исключительное, “надприродное” свойство, которое никогда и ни в каком реальном взаимодействии не может обнаружить своего истинного лица, как это думают психологи-идеалисты?

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 185.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 546.

Марксизм и на этот вопрос дает совершенно ясный ответ. “То, что Гегель называет взаимодействием, есть *органическое тело*, которое поэтому и образует переход к сознанию...”¹, — говорил далее Энгельс.

Что же в таком случае представляет собой процесс взаимодействия, в котором раскрывает себя то высшее свойство материи, которое мы называем психикой? Это определенная форма жизненных процессов. Если бы не существовало перехода животных к более сложным формам жизни, то не существовало бы и психики, ибо *психика есть именно продукт усложнения жизни*. И, наоборот, если бы психика не возникала на определенной ступени развития материи, то невозможны были бы и те сложные жизненные процессы, необходимым условием которых является способность психического отражения субъектом окружающей его предметной действительности.

Итак, основной вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что для решения вопроса о возникновении психики мы должны начинать с анализа тех условий жизни и того процесса взаимодействия, который ее порождает. Но такими условиями могут быть только условия жизни, а таким процессом — только сам материальный жизненный процесс.

Психика возникает на определенной ступени развития жизни не случайно, а необходимо, т. е. закономерно. В чем же заключается необходимость ее возникновения? Ясно, что если психика не есть только чисто субъективное явление, не только “эпифеномен” объективных процессов, но представляет собой свойство, имеющее реальное значение в жизни, то необходимость ее возникновения определяется развитием самой жизни, более сложные условия которой требуют от организмов способности *отражения* объективной действительности в форме простейших ощущений. Психика не просто “прибавляется” к жизненным функциям организмов, но, возникая в ходе их развития, дает начало качественно новой высшей форме жизни — жизни, связанной с психикой, со способностью отражения действительности.

Значит, для того чтобы раскрыть процесс перехода от живой, но еще не обла-

дающей психикой материи к материи живой и вместе с тем обладающей психикой, требуется исходить не из самих по себе внутренних субъективных состояний в их отделенности от жизнедеятельности субъекта и не из поведения, рассматриваемого в отрыве от психики или лишь как то, “через что изучаются” психические состояния и процессы, но нужно исходить из действительного единства психики и деятельности субъекта и исследовать их внутренние взаимосвязи и взаимопревращения.

II. Гипотеза

<...> Мы видели, что с метафизических позиций проблема генезиса психики не может быть поставлена на почву конкретного научного исследования. Психология до сих пор не располагает сколько-нибудь удовлетворительным *прямым* и *объективным* критерием психики, на который она могла бы опираться в своих суждениях. Нам пришлось поэтому отказаться от традиционного для старой психологии субъективного подхода к этой проблеме и поставить ее как вопрос о переходе от тех простейших форм жизни, которые не связаны необходимым образом с явлениями чувствительности, к тем более сложным формам жизни, которые, наоборот, необходимо связаны с чувствительностью, со способностью ощущения, т. е. с простейшей зародышевой психикой. Наша задача и заключается в том, чтобы рассмотреть обе эти формы жизни и существующий между ними переход. <...>

Возникновение жизни есть прежде всего возникновение нового отношения процесса взаимодействия к сохранению существования самих взаимодействующих тел. В неживой природе процесс взаимодействия тел есть процесс непрерывного, ни на одно мгновение не прекращающегося то более медленного, то более быстро изменяния этих тел, их разрушения как таковых и превращения их в иные тела.

“Скала, — говорит Энгельс, — подвергшаяся выветриванию, уже больше не скала; металл в результате окисления превращается в ржавчину”². Взаимодействие

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 624.

² Там же. С. 83.

неорганических тел является, следовательно, причиной того, что они “перестают быть тем, чем они были”¹. Наоборот, прекращение всякого взаимодействия (если бы это было физически возможно) привело бы неорганическое тело к сохранению его как такового, к тому, что оно постоянно оставалось бы самим собой.

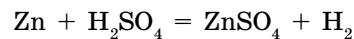
Противоположное этому отношение процесса взаимодействия к сохранению существования взаимодействующих тел мы находим в органическом мире. Если всякое неорганическое тело в результате взаимодействия перестает быть тем, чем оно было, то для живых тел их взаимодействие с другими телами является, как мы видели, необходимым условием для того, чтобы они продолжали свое существование. <...>

Таким образом, переход от процессов взаимодействия в неорганическом мире к процессам взаимодействия как форме существования живых тел связан с коренным изменением принципиального отношения между процессом взаимодействия и сохранением существования взаимодействующих тел. Это отношение обращается в противоположное. Вместе с тем то новое отношение, которое характеризует жизнь, не просто, не механически становится на место прежнего. Оно устанавливается *на основе* этого прежнего отношения, которое сохраняется для *отдельных элементов* живого тела, находящихся в процессе постоянного разрушения и возобновления. Ведь живое взаимодействующее тело остается как целое самим собой именно в силу того факта, что отдельные его частицы распадаются и возникают вновь. Значит, можно сказать, что то новое отношение, которое характеризует жизнь, не просто устраняет прежнее отношение между процессом взаимодействия и существованием взаимодействующего тела, но диалектически снимает его.

Это коренное изменение, образующее узел, скачок в развитии материи при переходе от неорганических ее форм к органическим живым ее формам, выражается еще с одной, весьма важной стороны.

Если рассматривать какой-нибудь процесс взаимодействия в неорганическом мире, то оказывается, что оба взаимодей-

ствующих тела стоят в принципиально одинаковом отношении к этому процессу. Иначе говоря, в неорганическом мире невозможно различить, какое тело является в данном процессе взаимодействия активным (т. е. действующим), а какое — страдательным (т. е. подвергающимся действию). Подобное различие имеет здесь лишь совершенно условный смысл. Так, например, когда говорят об одном из механически сталкивающихся между собой физических тел как о теле движущемся, а о другом — как о теле неподвижном, то при этом всегда подразумевается некоторая система, по отношению к которой только и имеют смысл выражения “движущийся” или “неподвижный”. С точки же зрения содержания самого процесса тех изменений, которые претерпевают участвующие в нем тела, совершенно безразлично, какое из них является по отношению к данной системе движущимся, а какое — неподвижным. Такое же отношение мы имеем и в случае химического взаимодействия. Безразлично, например, будем ли мы говорить о действии цинка на серную кислоту или о действии серной кислоты на цинк; в обоих случаях будет одинаково подразумеваться один и тот же химический процесс:



Принципиально другое положение мы наблюдаем в случае взаимодействия органических тел. Совершенно очевидно, что в процессе взаимодействия живого белкового тела с другим каким-нибудь телом, представляющим для него питательное вещество, отношение обоих этих тел к самому процессу взаимодействия будет различным. Поглощаемое тело является предметом воздействия живого тела и уничтожается как таковое. Разумеется, оно, в свою очередь, воздействует на это живое тело, элементы которого также претерпевают изменения. Однако, как мы видели, живое тело сохраняет при этом в нормальных случаях свое существование и сохраняет его именно за счет изменения отдельных своих частиц. Этот специфический процесс самовосстановления

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 83.

не является уже процессом, одинаково принадлежащим обоим взаимодействующим телам, но присущ только живому телу. <...>

Можно сказать, что процесс жизни, представляющий собой процесс взаимодействия и обмена между телами, принадлежит, однако, как процесс самовосстановления, т. е. как *жизненный* процесс, только живому телу, которое и является его действительным субъектом.

Таким образом, тот процесс, к которому в неорганическом мире участвующие в нем тела стоят в принципиально одинаковом отношении, превращается на ступени органической жизни в процесс, отношение к которому участвующего в нем живого тела будет существенно иным, чем отношение к нему тела неживого. Для первого его изменение есть активный положительный процесс самоохранения, роста и размножения; для второго его изменения — это пассивный процесс, которому он подвергается извне. Иначе это можно выразить так: переход от тех форм взаимодействия, которые свойственны неорганическому миру, к формам взаимодействия, присущим живой материи, находит свое выражение в факте выделения *субъекта*, с одной стороны, и *объекта* — с другой. <...>

Рассматривая процессы, осуществляющие специфические отношения субъекта к окружающей его предметной действительности, необходимо с самого начала отличать их от других процессов. Так, например, если поместить одноклеточную водоросль в достаточно концентрированный раствор кислоты, то она тотчас же погибает; однако можно допустить, что сам организм при этом не обнаружит по отношению к данному воздействию на него веществу никакой активной реакции. Это воздействие будет, следовательно, объективно отрицательным, разрушающим организм, с точки зрения же реактивности самого организма оно может быть нейтральным. Другое дело, если мы будем воздействовать сходным образом, например, на амёбу; в условиях приливания в окружающую ее воду кислоты амёба втягивает свои псевдоподии, принимает форму шара и т. д., т. е. обнаруживает известную активную реакцию. Таковы же, например, и реакции выделе-

ния слизи у некоторых корненожек, двигательная реакция инфузорий и т. д. Таким образом, в данном случае объективно отрицательное воздействие является отрицательным также и в отношении вызываемой им активности организма. Хотя конечный результат в обоих этих случаях может оказаться одинаковым, однако сами процессы являются здесь глубоко различными. Такое же различие существует и в отношениях организмов к объективно положительным воздействиям.

Необходимость этого различия приходится специально отмечать потому, что вопреки очевидности оно далеко не всегда учитывается. Ведь именно этому обязаны своим появлением крайние механические теории, для которых тот факт, что организм, повинувшись силе тяготения, движется по направлению к центру земли, и тот факт, что он активно стремится к пище, суть факты принципиально однопорядковые.

Те специфические процессы, которые осуществляют то или иное жизненное, т. е. активное, отношение субъекта к действительности, мы будем называть в отличие от других процессов процессами *деятельности*.

Соответственно мы ограничиваем и понятие предмета. Обычно это понятие употребляется в двояком значении: в более широком значении — как вещь, стоящая в каком-либо отношении к другим вещам, т. е. как “вещь, имеющая существование”, и в более узком значении — как нечто противостоящее (нем. *Gegenstand*), сопротивляющееся (лат. *objectum*), то, на что направлен акт (русск. “предмет”), т. е. как нечто, к чему относится именно живое существо, как *предмет его деятельности* — безразлично, деятельности внешней или внутренней (например, *предмет питания, предмет труда, предмет мышления* и т. п.). В дальнейшем мы будем пользоваться термином *предмет* именно в этом более узком, специальном его значении.

Всякая деятельность организма направлена на тот или иной предмет; непредметная деятельность невозможна. Поэтому рассмотрение деятельности требует выделения того, что является ее действительным предметом, т. е. предмета активного отношения организма. <...>

Итак, основной “единицей” жизненно-го процесса является деятельность организма; различные деятельности, осуществляющие многообразные жизненные отношения организма к окружающей действительности, существенно определяются их предметом; поэтому мы будем различать отдельные виды деятельности по различию их предметов.

Главная особенность процесса взаимодействия живых организмов с окружающей их средой заключается, как мы видели, в том, что всякий ответ (реакция) организма на внешнее воздействие является активным процессом, т. е. совершается за счет энергии самого организма.

Свойство организмов приходить под влиянием воздействий среды в состояние деятельности, т. е. свойство раздражимости, есть фундаментальное свойство всякой живой материи; оно является необходимым условием обмена веществ, а значит, и самой жизни.

Что же представляет собой процесс жизни в его простейших, начальных формах?

Согласно современным научным представлениям, примитивные, первые жизнеспособные организмы представляли собой протоплазматические тела, взвешенные в водной среде, которая обладает рядом свойств, допускающих наиболее простую форму обмена веществ и наиболее простое строение самих организмов: однородностью, способностью растворения веществ, необходимых для поддержания простейшей жизни, относительно большой теплоустойчивостью и пр. С другой стороны, и сами эти примитивные организмы также обладали такими свойствами, которые обеспечивали возможность наиболее простого взаимодействия их со средой. Так, по отношению к первоорганизмам необходимо допустить, что они получали пищевые вещества из окружающей среды путем прямой адсорбции; их деятельность выражалась, следовательно, лишь в форме внутренних движений, обслуживающих процессы промежуточного преобразования и непосредственного усвоения ассимилируемых веществ¹. А это значит, что в нормальных случаях и диссимилятивные процессы происходили у них лишь в связи с

такими воздействиями, которые способны сами по себе определить положительно или отрицательно процесс ассимиляции, процесс поддержания жизни.

Таким образом, для того чтобы жизнь в ее простейшей форме могла осуществляться, необходимо и достаточно, чтобы живое тело было раздражимо по отношению к таким воздействующим веществам или формам энергии, которые в результате ряда последующих преобразований внутри организма могли бы привести к процессу ассимиляции, способному компенсировать распад (диссимиляцию) собственного вещества организма, за счет энергии которого протекает реакция, вызываемая самими этими воздействиями.

Иначе говоря, чтобы жизнь простейшего протоплазматического тела — первобытной коацерватной капельки или “протамебы” — могла осуществляться, необходимо, чтобы оно могло усваивать из окружающей среды соответствующее вещество или энергию. Но процесс ассимиляции осуществляется лишь в результате деятельности самого организма. Безразлично, протекает ли эта деятельность организма в форме только внутреннего или также и внешнего движения, но она всегда должна быть и она всегда происходит за счет частичного распада и падения энергетического потенциала составляющих его частиц, т. е. за счет диссимиляции. Ведь всякий раз, когда мы имеем некоторое внешнее воздействие, приводящее к ассимиляции, мы также имеем и некоторую диссимиляцию, связанную с деятельностью организма, вызываемой данным воздействием. Если при этом ассимиляция будет превышать диссимиляцию, то мы будем наблюдать явление роста и после известного предела — явление размножения. Если же, наоборот, диссимиляция не будет компенсироваться ассимиляцией, то мы будем наблюдать явление распада организма, так как недостаток ассимилянтов, поступающих извне, будет в этом случае покрываться за счет процесса “самопотребления” организма.

Можем ли мы допустить в качестве *необходимых* для простейшей жизни также такие виды деятельности, при которых энергетические траты организма, связанные с процессами, вызываемыми тем или

¹ См.: *Опарин А. И.* Возникновение жизни на Земле. М.; Л., 1941.

иным воздействием, ни в какой степени не могут быть восстановлены за счет данного воздействующего свойства (вещества или энергии)? Разумеется, нет. Более того, такую деятельность в условиях простейшей жизни мы не можем считать и скольконибудь устойчиво возможной.

Таким образом, мы можем прийти к следующей весьма важной для нас констатации: для осуществления жизни в ее наиболее простой форме достаточно, чтобы организм отвечал активными процессами лишь на такие воздействия, которые способны сами по себе определить (положительно или отрицательно) процесс поддержания их жизни.

Очевидно также, что простейшие жизнеспособные организмы не обладают ни специализированными органами поглощения, ни специализированными органами движения. Что же касается их функций, то та основная общая функция, которая является существенно необходимой, и есть то, что можно было бы назвать *простой раздражимостью*, выражающейся в способности организма отвечать специфическими процессами на то или другое жизненно значимое воздействие.

Эта форма взаимодействия со средой простейших организмов в дальнейшем развитии не сохраняется неизменной.

Процесс биологической эволюции, совершающийся в форме постоянной борьбы наследственности и приспособления, выражается во все большем усложнении процессов, осуществляющих обмен веществ между организмом и средой. Эти процессы усложняются, в частности, в том отношении, что более высокоразвитые организмы оказываются в состоянии поддерживать свою жизнь за счет все большего числа ассимилируемых ими из внешней среды веществ и форм энергии. Возникают сложные цепи процессов, поддерживающих жизнь организмов, и специализированные, связанные между собой виды раздражимости по отношению к соответствующим внешним воздействиям.

Развитие жизнедеятельности организмов, однако, не сводится только к такому, прежде всего количественному, ее усложнению.

В ходе прогрессивной эволюции на основе усложнения процессов обмена веществ происходит также изменение общего типа

взаимодействия организмов и среды. Деятельность организмов качественно изменяется: возникает качественно новая форма взаимодействия, качественно новая форма жизни.

Анализ чисто фактического положения вещей показывает, что в ходе дальнейшего развития раздражимость развивается не только в том направлении, что организмы делаются способными использовать для поддержания своей жизни все новые и новые источники, все новые и новые свойства среды, но также и в том направлении, что организмы становятся раздражимыми и по отношению к таким воздействиям, которые *сами по себе* не в состоянии определить ни положительно, ни отрицательно их ассимилятивную деятельность, обмен веществ с внешней средой. Так, например, лягушка ориентирует свое тело в направлении донесшегося до нее легкого шороха; она, следовательно, раздражима по отношению к данному воздействию. Однако энергия звука шороха, воздействующая на организм лягушки, ни на одной из ступеней своего преобразования в организме не ассимилируется им и вообще прямо не участвует в его ассимилятивной деятельности. Иначе говоря, само по себе данное воздействие не может служить поддержанию жизни организма, и, наоборот, оно вызывает лишь диссимиляцию вещества организма.

В чем же в таком случае заключается жизненная, биологическая роль раздражимости организмов по отношению к такого рода воздействиям? Она заключается в том, что, отвечая определенными процессами на эти сами по себе непосредственно жизненно незначимые воздействия, животное приближает себя к возможности усвоения необходимого для поддержания его жизни вещества и энергии (например, к возможности схватывания или поглощения шуршащего в траве насекомого, вещество которого служит ему пищей).

Рассматриваемая новая форма раздражимости, свойственная более высокоорганизованным животным, играет, следовательно, положительную биологическую роль в силу того, что она опосредствует деятельность организма, направленную на поддержание жизни.

Схематически это изменение формы взаимодействия организмов со средой мо-

жет быть выражено так: на известном этапе биологической эволюции организм вступает в активные отношения также с такими воздействиями (назовем их воздействиями типа α), биологическая роль которых определяется их объективной устойчивой связью с непосредственно биологически значимыми воздействиями (назовем эти последние воздействиями типа α). Иначе говоря, возникает деятельность, специфическая особенность которой заключается в том, что ее предмет определяется не его собственным отношением к жизни организма, но его объективным отношением к другим свойствам, к другим воздействиям, т. е. отношением $\alpha:a$.

Что же обозначает собой это наступающее изменение формы жизни с точки зрения функций организма и его строения? Очевидно, организм должен обнаруживать теперь процессы раздражимости двоякого рода: с одной стороны, раздражимость по отношению к воздействиям, *непосредственно* необходимым для поддержания его жизни (a), а с другой стороны, раздражимость по отношению также и к таким свойствам среды, которые непосредственно не связаны с поддержанием его жизни (α).

Нужно отметить, что этому факту — факту появления раздражимости, соотносящей организм с такими воздействующими свойствами среды, которые не в состоянии сами по себе определить жизнь организма, — долго не придавалось сколько-нибудь существенного значения. Впервые оно было выделено И. П. Павловым. Среди зарубежных авторов только Ч. Чайльд достаточно отчетливо указывал на принципиальное значение этого факта; правда, при этом автора интересовала несколько другая сторона дела, чем та, которая интересует нас, но все же этот факт им специально подчеркивается¹. С точки зрения нашей проблемы этот факт является фактом по-настоящему решающим.

Первое и основное допущение нашей гипотезы заключается именно в том, что функция процессов, опосредствующих деятельность организма, направленную на поддержание его жизни, и есть не что иное, как функция *чувствительности*, т. е. способность ощущения.

С другой стороны, те временные или постоянные органы, которые суть органы преобразования, осуществляющие процессы связи организма с такими воздействиями, которые объективно связаны в среде с воздействиями, необходимыми для поддержания жизни, но которые сами по себе не могут выполнить этой функции, суть не что иное, как органы чувствительности. Наконец, те специфические процессы организма, которые возникают в результате осуществления той формы раздражимости, которую мы назвали чувствительностью, и суть процессы, образующие основу явлений ощущения.

Итак, мы можем предварительно определить чувствительность следующим образом: чувствительность (способность к ощущению) есть генетически не что иное, как раздражимость по отношению к такого рода воздействиям среды, которые относят организм к другим воздействиям, т. е. которые *ориентируют организм в среде*, выполняя сигнальную функцию. Необходимость возникновения этой формы раздражимости заключается в том, что она опосредствует основные жизненные процессы организма, протекающие теперь в более сложных условиях среды.

Процессы чувствительности могут возникнуть и удержаться в ходе биологической эволюции, конечно, лишь при условии, если они вызываются такими свойствами среды, которые объективно связаны со свойствами, непосредственно биологически значимыми для животных; в противном случае их существование ничем не было бы биологически оправдано, и они должны были бы видоизмениться или исчезнуть вовсе. Они, следовательно, необходимо должны соответствовать объективным свойствам окружающей среды и *правильно отражать их в соответствующих связях*. Так, в нашем примере с лягушкой те процессы, которые вызываются у нее шорохом, отражают собой особенности данного воздействующего звука в его устойчивой связи с движением насекомых, служащих для нее пищей.

Первоначально чувствительность животных, по-видимому, является малодифференцированной. Однако ее развитие необходимо приводит к тому, что одни воз-

¹ См. *Child C. M.* The Origin and Development of the Nervous System. Chicago, 1921. P. 21.

действия все более точно дифференцируются от других (например, звук шороха от всяких иных звуков), так что воздействующие свойства среды вызывают у животного процессы, отражающие эти воздействия в их отличии от других воздействий, в качественном их своеобразии, в их специфике. Недифференцированная чувствительность превращается в чувствительность все более дифференцированную, возникают дифференцированные *ощущения*.

Как же происходит переход от раздражимости, присущей всякому живому телу, к первичной чувствительности, а затем и к дифференцированным ощущениям, которые являются свойством уже значительно более высокоорганизованных животных? Вспомним, что процессы, осуществляющие обмен веществ, усложняются в ходе биологического развития в том отношении, что для осуществления ассимиляции веществ из внешней среды становится необходимым воздействие на организм целого ряда различных веществ и форм энергии. При этом отдельные процессы, вызываемые этими различными воздействиями, являются, конечно, взаимозависимыми и обуславливающими друг друга; они образуют *единый* сложный процесс обмена веществ между организмом и средой. Поэтому можно предположить, что некоторые из этих необходимых для жизни организма воздействий, естественно, выступают вместе с тем в роли воздействий, побуждающих и направляющих процессы, соотносящие организм с другими воздействиями, т. е. начинают нести *двойную* функцию. В ходе дальнейшей эволюции, в связи с изменением среды, источников питания и соответствующим изменением строения самих организмов, самостоятельная роль некоторых из этих прежде значимых самих по себе воздействий становится малосущественной или даже утрачивается вовсе, в то время как их влияние на другие процессы, осуществляющие отношение организма к таким свойствам среды, от которых непосредственно зависит его жизнь, сохраняется. Они, следовательно, превращаются теперь в воздействия, лишь опосредствующие осуществление основных жизненных процессов организма.

Соответственно и органы-преобразователи, которые прежде несли функцию

внешнего обмена веществ, утрачивают теперь данную функцию; при этом их раздражимость сохраняется, и они превращаются в органы чувствительности. Значит, судить о том, является ли данный орган у простейших животных органом внешнего обмена или органом чувствительности, можно только исходя из анализа той роли, которую выполняют связанные с ним процессы.

III. Исследование функционального развития чувствительности

Задача экспериментального обоснования и развития выдвигаемой нами гипотезы о природе чувствительности является задачей чрезвычайно сложной. Она не может быть решена иначе как целой системой исследований, идущих по многим различным, перекрещивающимся между собой путям.

Главная трудность состоит здесь в переходе от первоначальных теоретических положений к конкретным экспериментальным данным. Поэтому проблемой является уже самый выбор начального пути.

Раньше всего необходимо было сделать выбор между двумя главными линиями, открывающимися перед исследованием: исследованием на генетическом материале, т.е. на животных (и при этом на животных, стоящих на низших ступенях биологической эволюции), и исследованием непосредственно на человеке. Конечно, только первая линия является здесь линией прямого исследования. Наоборот, поскольку речь идет о явлении *возникновения* чувствительности), второй путь представляется на первый взгляд маловозможным и даже парадоксальным; действительно, он представляет собой как бы обходное движение к главной цели.

Все же мы остановились на этом втором пути. Основным аргументом в его пользу был, так сказать, аргумент исторический: традиционная постановка проблемы, требующая пользоваться при установлении фактов чувствительности субъективным критерием. Это требование исключает, конечно, возможность экспериментирования на животных.

С другой стороны, исследование генезиса чувствительности в условиях наличия высокоразвитых, специализированных органов чувств и сложнейшей нервной организации уже с самого начала наталкивается на двоякую трудность. Прежде всего возникает чисто теоретический вопрос — вопрос о правомерности широких общепсихологических выводов из данных, полученных на человеке, обладающем качественно особенной, специфической формой психики.

Возникающие в связи с этим общие возражения понятны. Однако именно общие возражения являются часто совершенно еще недостаточными, так как нельзя в подобных случаях ограничиваться отвлеченными соображениями, а нужно предварительно подвергнуть анализу то конкретное положение, которое является предметом экспериментальной разработки.

В науке существуют, конечно, такие положения, которые абстрагируются от специфического в явлении и, наоборот, выделяют общее. Когда мы говорим, например, о том, что обмен веществ составляет необходимое условие жизни, то это положение одинаково действительно на любых ступенях ее развития. То же самое, когда мы говорим, например, о труде как о вечном, естественном условии жизни человеческого общества, как о процессе, который одинаково общ всем ее общественным формам. К такого рода положениям принадлежит и положение о принципиальной природе чувствительности.

Если основным общим условием возможности ощущения внешнего воздействия является его соотносящая, ориентирующая в среде функция, то это значит, что, на какой бы ступени развития чувствительности, в какой бы форме психической жизни мы ни встречались с явлением ощущения, данное ощущаемое воздействие должно необходимо опосредствовать отношение субъекта к какому-нибудь другому воздействию. Следовательно, явления чувствительности и у человека в *этом* отношении не могут быть исключением. То же обстоятельство, что они имеют у человека форму явлений сознания, составляет их специфическую особенность, но эта особенность, конечно, не отменяет указанного фундаментально-

го отношения, характеризующего их природу.

Таким образом, остаются лишь затруднения, связанные с возможностью фактической постановки исследования и с выбором соответствующего материала.

Наше основное положение о чувствительности требует учитывать два момента: несовпадение явлений простой раздражимости и явлений чувствительности и возможность превращения раздражимости в чувствительность.

В отношении первого момента, составляющего первую предпосылку исследования, никаких трудностей, разумеется, не существует. Легко выбрать такие агенты, по отношению к которым человек обнаруживает раздражимость, т. е. в ответ на воздействие которых мы наблюдаем определенную биологическую реакцию организма, но которые вместе с тем не вызывают у него в нормальных случаях никаких ощущений; человеческий организм отзывается на такие агенты, но вместе с тем не чувствителен к ним.

Большие трудности представляет второй момент, составляющий вторую предпосылку исследования. Существуют ли, наблюдаются ли у человека переходы, превращения простой раздражимости в ту ее форму, которую мы называем чувствительностью? Возможно ли, чтобы данный агент, обычно не ощущаемый человеком, мог стать для него агентом, вызывающим ощущение? Как показывают обширные, почти необозримые в своей многочисленности научно установленные факты, такого рода явления, бесспорно, наблюдаются у человека.

Они образуют две группы. Первую из них составляют явления возникновения у человека чувствительности к таким воздействующим агентам, по отношению к которым не существует специфического, адекватного органа — рецептора. Таковы, например, своеобразные ощущения, возникающие у слепых. Это так называемое шестое чувство, которое обычно не наблюдается у лиц, недавно потерявших зрение, но существование которого у давно ослепших установлено большим количеством тщательных экспериментальных исследований. Это те ощущения, которые немецкие авторы обозначают терминами Fernsinn или Ferngefühl, которое Леви на-

зывал *perceptio facialis*, а Гергарт гораздо менее определенно — “чувством икс”¹.

Продолжающиеся до сих пор споры вокруг вопроса о природе этих своеобразных ощущений слепых не затрагивают самого факта их существования и касаются лишь вопроса о том, с каким именно органом связывается функция дистантной чувствительности к препятствиям в условиях выключения зрительного рецептора. Для дальнейшего небезынтересно здесь же отметить, что так как анализ фактов, полученных в разных исследованиях, заставляет признавать убедительность порой противоречащих друг другу данных, то остается предположить, что эти ощущения могут строиться на основе раздражимости к воздействиям различного порядка, и следовательно, на основе не всегда одного какого-нибудь, но на основе различных органов-рецепторов.

К той же группе явлений относятся и явления развития вибрационных ощущений у глухих. С точки зрения нашей проблемы особенно значительной является экспериментально установленная А. Кампиком вибрационная чувствительность у лиц с нормальным слухом, которая, по данным автора, возникает лишь в результате некоторого обучения и лишь при условии невозможности рецепции посредством уха².

Наконец, существуют, правда еще не вполне ясные и еще далеко научно не квалифицированные, данные о возникновении неспецифической чувствительности и у лиц, длительно занимающихся некоторыми специальными профессиями; некоторые из них нам были любезно сообщены

С. Г. Геллерштейном. К обсуждению этого вопроса мы еще будем иметь случай вернуться.

Другую большую группу явлений, которые на первый взгляд могут, впрочем, показаться не имеющими прямого отношения к нашей проблеме, составляют общеизвестные явления превращения специфических, но обычно глубоко подпороговых раздражителей в раздражители, вызывающие ощущения. Они относятся к явлению *динамики* адекватной чувствительности и обычно интерпретируются либо в плане проблемы адаптации, либо в плане проблемы сдвига порогов в процессе упражнения.

Итак, оставляя пока эту вторую группу явлений в стороне, мы можем констатировать, что существуют такого рода агенты, по отношению к которым человек является раздражимым, но которые не вызывают у него ощущений, причем в известных условиях по отношению к этим же агентам у человека могут возникать и явления ощущения³. Основной вопрос и заключается в том, каковы эти условия.

Теоретический ответ на этот вопрос, непосредственно вытекающий из нашей гипотезы, заключается в следующем: для того чтобы биологически адекватный, но в нормальных случаях не вызывающий ощущения агент превратился в агент, вызывающий у субъекта ощущения, необходимо, чтобы была создана такая ситуация, в условиях которой воздействие данного агента опосредствовало бы его отношение к какому-нибудь другому внешнему воздействию, соотносило бы его с ним.

¹ См.: *Крогиус А. А.* Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики. Саратов, 1926; *Крогиус А. А.* Из душевного мира слепых. Ч. 1. Процессы восприятия у слепых. Спб., 1909; *Heller T.* Studien zur Blindenpsychologie // Philosophische Studien. 1894. Bd XI; *Villey P.* Le monde aveugles, 1914; *Java I.* La suppléance de la vie la par les autre sens // Bulletin de L'Academie de la Medicine. 1902. Bd XLVII. P. 438.

² См. *Kampik A.* Archiv für die gesammte Psychologie, 1930. Н. 1—2. S. 3—70. См. также: *Hoult H. Robert.* Les sens vibrotactiles // L'Année psychologique. 1934. P. 3.

³ В Западной Европе и в Америке за последние годы появилось большое количество работ, посвященных так называемой Extra-Sensory Perception (См. обзор этих работ: *Kennedy J* // Psychologische Bulletin. 1938. N 2). Конечно, работы исходящие из допущения возможности восприятия воздействий без участия органов, раздражимых в отношении воздействующих агентов, мы не можем считать принадлежащими науке, хотя некоторые факты, представляемые ими в мистифицированной форме, несомненно, имеют сами по себе известное значение. Гораздо больший интерес представляют исследования, посвященные вопросу о подпороговых (subliminal) стимулах, например, работы *K. Collier* (Psychol. Monog.); 1940. V. 52; к их обсуждению мы возвратимся в другой связи.

Следовательно, для того чтобы создать у субъекта ощущения в связи с обычно не ощущаемыми воздействиями, нужно соотносить в эксперименте данное воздействие с каким-нибудь другим внешним воздействием. Если в результате такого соотношения соответствующее ощущение будет закономерно возникать, т. е. явление окажется действительно подчиняющимся вытекающему из нашей общей гипотезы “правилу возникновения чувствительности”, то в этом случае можно считать, что в *одном* из пунктов требуемой цепи доказательств данная гипотеза находит свое экспериментальное подтверждение. Разумеется, при этом следует ожидать, что в этом пункте она найдет также и некоторое дальнейшее свое развитие, дальнейшую свою конкретизацию.

Перед нами оставался последний предварительный вопрос: каким именно агентом, в нормальных случаях не вызывающим ощущения, но по отношению к которому субъект является раздражимым, можно было бы пользоваться в исследовании?

В связи с этим вопросом наше внимание было привлечено работами Н.Б. Познанской, экспериментально изучавшей чувствительность кожи человека к инфракрасным и к видимым лучам. Автором было установлено, что под влиянием длительной тренировки у испытуемых наблюдается понижение порогов чувствительности кожи к воздействию лучистой энергии, причем такое понижение гораздо более резко сказывается в случае воздействия лучей видимой части спектра. Отсюда автор приходил к тому выводу, что “в опытах с облучением видимыми лучами помимо тепловой чувствительности имеет место проявление чувствительности также к видимым лучам, но что последнее сказывается лишь после тренировки и только по отно-

шению к слабым облучениям; при сильных же облучениях чувствительность к свету целиком перекрывается тепловой чувствительностью”¹.

С точки зрения стоявшей перед нами задачи оба факта, лежащие в основе этого вывода, представлялись весьма важными. Во-первых, самый факт появления чувствительности к видимым лучам с тепловой характеристикой, лежащей ниже порога собственно тепловой чувствительности испытуемых. Этот факт хорошо согласуется, с одной стороны, с биологическими данными о существовании кожной фоторецепции у некоторых животных, а с другой стороны, с фактом раздражимости к свету неспецифических нервных аппаратов². Во-вторых, существенно важным представлялось отмечаемое значение тренировки, что тоже хорошо согласуется, например, с уже цитированными данными Кампика, установленными им применительно к возникновению вибрационных ощущений.

Однако, поскольку опыты Н.Б. Познанской преследовали существенно иную задачу, вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с возникновением новой, неадекватной чувствительности кожи к видимым лучам или же с простым понижением порогов тепловой чувствительности, естественно, оставался открытым. Более того, то обстоятельство, что факт чувствительности кожи к видимым лучам был получен в этой работе путем постепенного понижения порогов тепловой чувствительности, скорее говорило *против* допущения возникновения неадекватной чувствительности кожи.

Все же, исходя из ряда чисто теоретических соображений, мы предположили, что в опытах Н.Б. Познанской имеет место именно факт возникновения новой чувствительности и что отмечаемая в резуль-

¹ Познанская Н. Б. Кожная чувствительность к инфракрасным и к видимым лучам // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1936. Т. 2. Вып. 5. С. 368—369; Она же. Кожная чувствительность к видимому и инфракрасному облучению // Физиологический журнал СССР. 1938. Т. XXIV. Вып. 4. См. также: Ehrenwald N. Über einen photo-dermischen Tonus reflex // “Klinische Wochenschrift”, 1933.

² Кожная чувствительность к свету установлена: у кишечнополостных — Haug’ом (1933), у планарий — Merker’ом (1932), у высших червей — Hess’ом (1926), у насекомых — Graber’ом (1855) и Lammert’ом (1926), у моллюсков — Light’ом (1930) и другими, у рыб — Wykes’ом (1933), у амфибий — Pears’ом (1910). В рассматриваемом контексте одной из важнейших работ является исследование Юнга (Jung J. Z. The Photoreceptors of Lampereys // J. of Experimental Biology. 1935. XII. P. 223—238).

тате этих опытов чувствительность кожи человека к видимым лучам представляет собой экспериментально создаваемое но-вообразование.

Задача заключалась, таким образом, в том, чтобы прежде всего проверить это предположение в новых экспериментах, поставленных так, чтобы обстоятельства, затрудняющие выявление действительного значения явлений, были по возможности исключены.

С этой целью нами было проведено первое предварительное исследование¹.

Первое исследование, посвященное проблеме “функционального генезиса” чувствительности, должно было, во-первых, снять момент постепенности понижения порогов тепловой чувствительности и, во-вторых, выяснить отношение процесса образования условной двигательной связи, с одной стороны, и процесса возникновения чувствительности — с другой. Соответственно этой задаче и была построена конкретная методика эксперимента.

В качестве агента, выполняющего по нашей условной терминологии функцию воздействия типа α , мы использовали лучи зеленой части видимого спектра, так как исследованием Н.Б.Познанской было показано, что именно для этого участка спектра удалось получить наиболее низкие пороги². Облучаемым участком была избрана ладонь правой руки испытуемого, что диктовалось прежде всего соображениями технического удобства.

Агент — зеленый свет, падающий на ладонь испытуемого, — оставался по своей физической характеристике на всем протяжении опытов практически постоянным, причем содержание тепловых лучей (в значительной своей части поглощаемых водяным фильтром) было совершенно ничтожным, дававшим эффект, лежащий значительно ниже порога тепловой чувствительности испытуемых.

В качестве агента, выполняющего по нашей терминологии функцию воздействия типа a , был использован электрокож-

ный раздражитель — удар индукционного тока в указательный палец той же правой руки испытуемого.

Установка для опытов была смонтирована на двух столах. На одном из них были установлены приборы для экспериментатора, за другой стол усаживался испытуемый. В крышке этого последнего было вырезано круглое отверстие диаметром около 4 см, приходившееся против ладони лежавшей на столе руки испытуемого; на соответствующем расстоянии от отверстия помещался затопленный в крышку обычный реактивный ключ, приспособленный для подачи электрокожного раздражителя. Под крышкой этого стола помещались: вертикально установленный проекционный аппарат, лучи которого собирались, затем несколько выше водяной фильтр, далее цветной фильтр и, наконец, дополнительная линза, собиравшая лучи так, что они точно покрывали собой площадь, образуемую вырезом в верхней крышке стола. Источником света служила лампа накаливания. Электрическое раздражение давалось при помощи индукционного аппарата Дюбуа-Реймонда. Включение экспериментатором света и снятие руки испытуемого с ключа отмечались электрическим “втягивающим” метчиком, работающим совершенно бесшумно. Испытуемый был отделен от экспериментатора экраном. Во время опытов лаборатория несколько затемнялась (см. схему установки на рис. 1).

Исследование включало в себя две серии опытов. Опыты первой серии проводились следующим образом. Испытуемому предварительно сообщалось, что он будет участвовать в психофизиологических опытах с электрокожной чувствительностью. Когда испытуемый входил в лабораторию, то стол с главной установкой был, как всегда, закрыт сверху черной, светонепроницаемой тканью, так что вырез в столе вообще не был виден. Далее испытуемого усаживали к столу несколько боком, так, что его рука естественно ложилась на стол вдоль и несколько наискось. Затем испы-

¹ Это исследование, как и все нижеописанные, за исключением четвертого, было проведено в Институте психологии (Москва) в лаборатории, руководимой автором (1937—1940).

² См.: Познанская Н. Б., Никитский И. Н., Колодная Х. Ю., Шахназарьян Т. С. Кожная чувствительность к видимым и инфракрасным лучам // Сборник докладов. VI Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков и фармакологов. Тбилиси. 12—18.X.1937. Издание оргкомитета, 1937. С. 309—312.

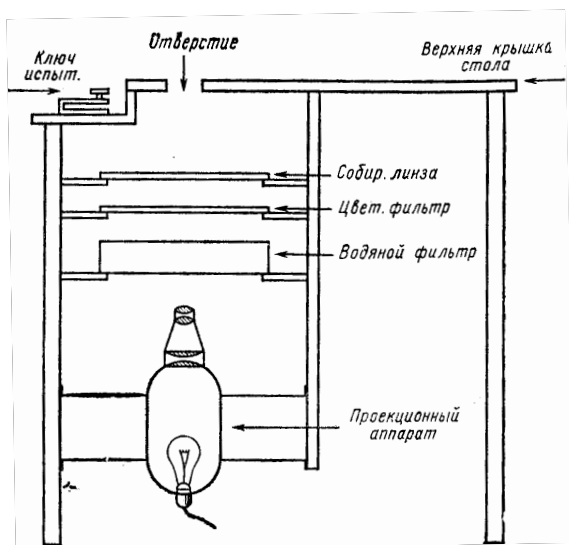


Рис 1. Схема установки

туемого просили отвернуться в сторону и на минуту закрыть глаза. В это время экспериментатор устанавливал соответственным образом руку испытуемого, обращая его внимание на ключ, на котором он должен был держать палец, и накрывал его руку черной материей.

Таким образом, принимались все меры для того, чтобы испытуемый не знал о том, что его рука будет подвергаться действию света. Это была “законспирированная”, как мы ее назвали, серия.

Инструкция, которую получал испытуемый, состояла в том, что он должен был на протяжении всего опыта держать палец на ключе; почувствовав же удар электрического тока, — снять палец¹, соответственно слегка приподняв кисть, но стараясь не сдвигать с места всей руки, что, впрочем, естественно обуславливалось ее позицией на столе; тотчас же после этого испытуемый должен был положить палец обратно на ключ.

Сами опыты протекали следующим образом: раньше с помощью специального ключа давался свет, воздействовавший на протяжении 45 с, затем, тотчас после его выключения — ток. Для того чтобы исключить всякую возможность образования условного рефлекса на время, интервалы между отдельными сочетаниями

всякий раз изменялись (в пределах от 45 с до 6 мин). В течение одного сеанса давалось 10—14 сочетаний; в середине сеанса делался короткий перерыв для того, чтобы дать испытуемому отдых от неподвижного сидения за столом. Опыты регистрировались в протоколе по обычной форме. Через эту серию мы провели четырех испытуемых.

Таким образом, эта серия шла по классической схеме опытов с условными двигательными рефлексам. Свет, который должен был приобрести значение воздействия типа α , выступал в этих опытах как условный раздражитель, ток (воздействие типа a) — как раздражитель безусловный. Непосредственно сблизив в наших экспериментах искомый процесс возникновения чувствительности с процессом образования условного рефлекса, мы имели в виду с самого начала исследования поставить этим проблему их соотношения.

Оказалось, что даже в результате большого числа (350—400) сочетаний *двигательный рефлекс на действие света ни у одного из наших испытуемых не образовался.*

Это легко понять, если мы примем во внимание, что в наших опытах первое воздействие (свет на кожу) не могло вызвать никакого ориентировочного рефлекса, т. е., попросту говоря, оно не ощущалось испытуемым, чем и были нарушены нормальные условия образования условнорефлекторной связи; поэтому в данных условиях, т. е. в условиях простого повторения сочетаний, оно не могло сделаться условным раздражителем. Следовательно, как показывают результаты этой серии, оказалось, что *принципиальные условия процесса образования условного рефлекса не совпадают с условиями искомого процесса возникновения чувствительности.*

В следующей, основной, второй серии этого исследования условия опытов были изменены в соответствии с нашими теоретическими представлениями об искомом процессе.

Это изменение выразилось в том, что мы частично “расконспирировали” опы-

¹ Этой инструкцией мы предупреждали возможность образования “скрытого” двигательного рефлекса по типу, установленному в опытах Беритова и Дзидзишвили (Тр. биолог сектора Академии Наук Груз. ССР. Тбилиси, 1934).

ты, предупредив наших испытуемых, что за несколько секунд до тока ладонная поверхность их руки будет подвергаться очень слабому, далеко не сразу обнаруживающемуся воздействию и что своевременное “снятие” руки в ответ на это воздействие позволит им избежать удара электрическим током. Этим мы поставили испытуемых перед задачей избегать ударов тока и создали активную “поисковую” ситуацию.

Так как под влиянием этой новой инструкции испытуемые могли начать пробовать снимать руку ежеминутно, то мы внесли еще одно дополнительное условие, а именно, что в том случае, если испытуемый снимает руку ошибочно (т. е. в промежутке между воздействиями), он *тотчас же*, как только его рука будет снова на ключе, получит “предупреждающее” воздействие и вслед за ним удар тока, причем на этот раз снимать руку перед током он не должен. Введение этого дополнительного условия не только было необходимо по вышеуказанному соображению, но, как мы впоследствии в этом убедились, имело на определенном этапе опытов для наших испытуемых значение важного дополнительного условия для выделения искомого воздействия. Кроме указанного, все остальные условия опытов были теми же, что и в первой серии.

Через эту вторую, основную серию исследования были проведены также четыре взрослых испытуемых.

В итоге опытов мы получили следующие результаты.

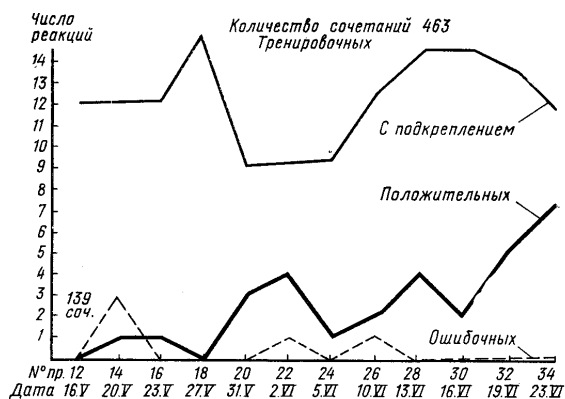


Рис. 2. Испытуемая Фрид.

Объективно все испытуемые в конце серии опытов снимали в ответ на действие видимых лучей руку с ключа, либо вовсе не давая при этом ошибочных реакций, либо делая единичные ошибки.

Так, у испытуемой Фрид., правильные снятия руки впервые появились после 12-го опыта (после 139 сочетаний), начиная с 28-го опыта ошибочные реакции исчезли вовсе; на 34-м опыте испытуемая дала наивысшие результаты: из общего количества 18 воздействий светом было 7 правильных снятий и 11 пропущенных (“подкрепленных”). Общий ход опытов с этой испытуемой приведен на рис. 2.

Вторая испытуемая, Сам., раньше была проведена через первую серию опытов, а после 300 сочетаний, не давших никакого результата, была переведена на вторую серию. Уже после 40 сочетаний в новых условиях она стала давать первые правильные снятия руки, а после 80 сочетаний число правильных снятий резко превысило число ошибок. В конце опытов по этой серии мы имеем следующий результат: количество правильных снятий — 9, пропущенных раздражителей — 4, ошибочных снятий нет (см. рис. 3).

У третьего испытуемого, Гур., мы получили наиболее устойчивые результаты, что позволило поставить с ним значительное число контрольных опытов, описанных ниже. Уже на 9-м опыте у него было 6 правильных снятий, 2 пропущенных раздражителя и 1 ошибочное снятие. В дальнейшем он давал в среднем 5—6 правильных снятий, 2—3 раздра-

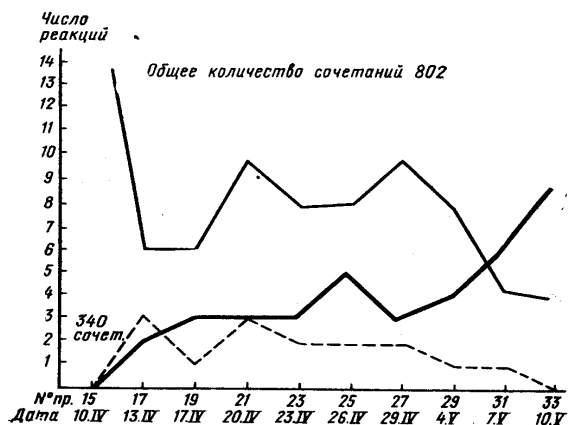


Рис. 3. Испытуемая Сам.

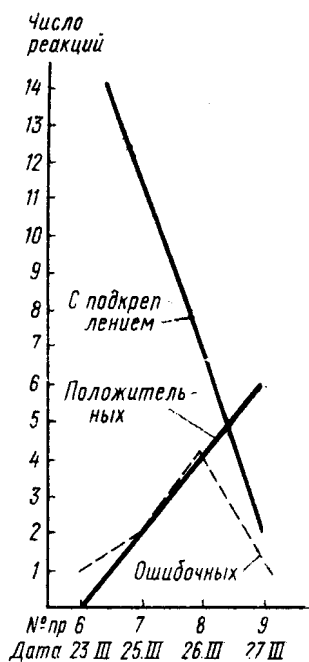


Рис. 4. Испытуемый Гур.

жителя пропускал, количество ошибок колебалось от нуля до 1—2 (см. рис. 4).

Опыты с четвертым испытуемым не были доведены до конца вследствие случайных обстоятельств. Однако полученные у этого испытуемого данные после 15—16 опытов (3—4 правильные реакции; 1—2 ошибки) показывают, что и у него процесс шел так же, как и у других испытуемых.

Если представить себе примерную вероятность существующих при данных условиях случайно правильных снятий руки, то становится очевидным, что полученные объективные результаты свидетельствуют о том, что наши испытуемые действительно отвечали на воздействие видимых лучей на кожу руки.

Разумеется, подобный вывод может быть сделан только в том случае, если исходить из допущения, что другие возможные, но не учтенные факторы, могущие определить правильные реакции испытуемых, в ситуации эксперимента не имели места. Насколько правильно это допущение, мы сможем судить по материалам опытов, которые будут описаны дальше.

Перейдем теперь к субъективным данным, полученным в этой серии.

После того как испытуемый начинал пробовать снимать руку с ключа, мы спра-

шивали у него в конце опыта, почему он снимал руку именно в данный момент. Если отбросить первые, чисто неопределенные (“так просто, показалось что-то...”) и очень разноречивые ответы в условиях, когда снятие руки было еще в большинстве случаев ошибочным, то показания всех испытуемых и в этой серии, и в сериях других, позже проведенных исследований создавали впечатление описывающих неспецифическое переживание. Различие заключалось лишь в способе описания этого переживания.

Вот некоторые из этих описаний: “почувствовал струение в ладони”, “как будто легкое прикосновение крыла птицы” (совершенно такое же показание было получено и в цитированных выше опытах Н. Б. Познанской), “небольшое дрожание”, “будто перебирание какое...”, “как ветрокок...” и т. п.

Чтобы дать более полное представление о показаниях наших испытуемых, приведем подробную протокольную запись беседы (испытуемый К., студент первого курса механико-математического факультета).

“При каких условиях Вы снимали руку?” — “Когда сильная свежесть, то это неверно; и тепло тоже неверно. Верно это, когда проходит такое по руке вроде волны; но только волны как бы отдельные, а это идет непрерывно. Если есть прерывность, то это уже не то”. — “А это ощущение связано с ощущением тепла?” — “Нет, теплового ощущения нет. Один раз я подумал: может быть, должно быть тепло? Когда я это подумал, то мне показалось, что действительно тепло. Я сам тогда удивился, что почувствовал тепло. Но оказалось, что это неверно”. — “Отчетливо ли то ощущение, которое Вы испытываете перед током?” — “Сейчас достаточно отчетливо. Я сомневаюсь, тогда я проверяю так: пошевелю рукой, если оно не пропадает, значит, верно”. — “Может быть, до начала опыта нужно было давать Вам пробу?” — “Я сам, бывает, проверяю: чувствую, а жду, когда будет ток, — верно или неверно”.

Все испытуемые отмечают трудность выразить в словах качество этих ощущений, их неустойчивость и их очень малую интенсивность. Они часто сливаются с другими ощущениями в руке, число которых по мере продолжения опыта все более уве-

личивается (затекание руки?); главная трудность и заключается именно в том, чтобы выделить искомое ощущение из целой гаммы других, посторонних ощущений; этому помогают случаи неправильного снятия руки с последующим “наказанием”, когда испытуемому известно, что именно в данный момент рука подвергается соответствующему воздействию. “Поэтому, — говорит один из наших испытуемых, — я иногда снимаю руку просто для того, чтобы вспомнить, снова схватить это ощущение”.

Многие испытуемые (мы опираемся сейчас на показания испытуемых, собранные во всех сериях исследования) отмечают в конце серии сильную ассоциативную и персеверативную тенденцию этих ощущений. Иногда достаточно положить руку испытуемого на установку еще до сигнала экспериментатора о начале опыта, т. е. когда испытуемый уверен в том, что искомое ощущение не может возникнуть, как оно все же у него появляется. В этих случаях нам приходилось слышать от испытуемых просьбу подождать с началом эксперимента, чтобы “рука успокоилась”. “На ладони прямо черти пляшут”, — жаловался нам один из испытуемых. Столь же ясно выступает персеверативная тенденция: “Опасно снимать, если угадал, потом, во второй раз. Иногда выходит, а в общем труднее: можно вскоре почувствовать еще раз — зря” (испытуемый К.).

Характерной чертой, обнаружившейся в опытах, является также заметным образом возрастающая аффективность для большинства испытуемых самой экспериментальной ситуации: ошибки часто переживаются резко отрицательно; испытуемые как бы аффективно втягиваются в задачу избежать удара электрического тока (хотя объективная сила электрического раздражителя никогда не превышала величины, минимально достаточной для того, чтобы вызвать рефлекторное отдергивание пальца) <...>. Такое аффективное отношение к току резко отличало поведение испытуемых во второй серии от поведения испытуемых в первой серии. По-видимому, в связи с этим стоит также и тот несколько парадоксальный факт, что возникающие ощущения при весьма *малой интенсивности* оказались, однако, *обладающими большой аффективной силой*,

что особенно ясно сказывалось в тех случаях, когда по условиям эксперимента (во втором исследовании) мы просили уже тренированных испытуемых вовсе не снимать руку с ключа при засветах. Наличие аффективного отношения испытуемых к стоящей перед ними в экспериментах задаче является, по-видимому, существенным фактором; мы судим об этом по тому, что именно те из наших испытуемых, у которых аффективное отношение к задаче было особенно ясно выражено, дали и наиболее резко выраженные положительные объективные результаты.

Главное же с точки зрения нашей основной проблемы положение, вытекающее как из данных объективного наблюдения, так и из субъективных показаний, состоит в том, что *правильные реакции испытуемых в связи с воздействием видимых лучей на кожу руки возможны только при условии, если испытуемый ориентируется на возникающие у него при этом ощущения*. Только один из наших испытуемых, прошедший через очень большое число опытов, отметил, что иногда рука снимается у него “как бы сама собой”. У всех же других испытуемых, как только их внимание отвлекалось, правильные реакции становились или вовсе невозможными, или во всяком случае их количество резко понижалось. Необходимость “прислушивания” к своим ощущениям требовала от испытуемых большой активности; поэтому всякого рода неблагоприятные обстоятельства, как, например, недомогание, утомление, наличие отвлекающих переживаний и т. п., обычно всегда отрицательно сказывались на объективных результатах эксперимента. <...>

Серьезнейшим вопросом остается вопрос о природе изучаемых нами явлений чувствительности. При обсуждении этого вопроса можно исходить из двух различных предположений.

Можно исходить прежде всего из того предположения, что в ходе наших опытов у испытуемых возникает новая форма чувствительности и что мы, таким образом, создаем экспериментальный аналог собственно генезиса чувствительности. Можно, однако, исходить и из другого предположения: встать на ту точку зрения, что ощущения, наблюдаемые у наших испытуемых, представляют собой резуль-

тат пробуждения присущей рецепторам кожи филогенетически древней фоточувствительности, которая в нормальных условиях лишь подавлена, заторможена в связи с развитием высших рецепторных аппаратов. С этой точки зрения следует признать, что в ходе наших опытов мы наблюдаем не процесс собственно *возникновения* новой формы чувствительности, но лишь процесс *обнаружения* существующей фоточувствительности, происходящей вследствие выключения возможности зрительного восприятия и резкого снижения действия лучистого тепла, обычно связанного с видимыми лучами большой интенсивности. Это предположение совершенно оправдывается, с одной стороны, действительно установленным фактом существования в филогенетическом ряду фоточувствительности кожи, а с другой стороны, тем, несомненно правильным *в общей своей форме*, положением, согласно которому возникновение новых органов и функций связано с подавлением, с “упрятыванием” функций, филогенетически более древних, но эти более древние функции способны, однако, вновь обнаруживаться, если возможность осуществления новых маскирующих процессов окажется так или иначе устраненной (Л. А. Орбели).

Как же относится это предположение о природе констатированной у наших испытуемых фоточувствительности кожи к основной гипотезе исследования? Очевидно, что если встать на точку зрения именно этого предположения, то тогда необходимо будет несколько видоизменить саму постановку проблемы.

Наше исходное положение мы формулировали следующим образом: из выдвигаемого нами понимания чувствительности как особой формы раздражимости, а именно как раздражимости к воздействиям, *опосредствующим* осуществление фундаментальных жизненных отношений организма, вытекает, что, для того чтобы воздействие, к которому человек является раздражимым, но которое не вызывает у него ощущений, превратилось в воздействие, также и *ощущаемое* им, необходимо, чтобы данное воздействие стало выполнять функцию опосредствования, ориентирования организма по отношению к какому-нибудь другому воздействию.

Значит, для проверки этого исходного принципиального положения нужно соответствующим образом изменить в эксперименте функцию обычно неощущаемого воздействия и установить, действительно ли возникает у испытуемых под влиянием данных экспериментальных условий чувствительность к этому воздействию. С вышеуказанной же точки зрения этот вопрос следует поставить иначе, а именно: если чувствительность к данному воздействию является подавленной в силу того, что с развитием высших, более совершенных аппаратов это воздействие утратило прежде присущую ему функцию опосредствования связи организма с другими воздействующими свойствами среды, *то для восстановления чувствительности организма по отношению к данному воздействию необходимо вновь вернуть этому воздействию утраченную им функцию опосредствования.*

Основной экспериментальный прием нашего исследования и состоял в том, что мы искусственно исключили возможность установления требуемого условиями опыта опосредствованного данным изучаемым нами воздействием (свет) отношения организма к другому воздействию (ток) обычными сенсорными путями (зрение, температурные ощущения); воздействуя вместе с тем видимыми лучами на раздражимые по отношению к ним аппараты кожной поверхности, мы как бы сдвигали весь процесс именно на эти аппараты, в результате чего их чувствительность к видимым лучам действительно восстанавливалась.

Таким образом, для наших выводов безразлично, будем ли мы исходить из первого или из второго предположения, ибо с точки зрения принципиальной гипотезы исследования основным является вопрос о том, *действительно ли в данных экспериментальных условиях обычно неощущаемые воздействия превращаются в воздействия ощущаемые.* Вопрос же о том, возникает ли при этом новая чувствительность или восстанавливается филогенетически древняя чувствительность, представляет собой вопрос относительно второстепенного значения.

Впрочем, опираясь на теоретические соображения, развивать которые сейчас преждевременно, мы все же склоняемся к принципиальному допущению возможно-

сти экспериментального создания генезиса именно новых форм чувствительности. То, насколько правильно это допущение, смогут окончательно выяснить лишь исследования, использующие в качестве посредствующего воздействия такой раздражитель, который не встречается в природных условиях, например, лучи, генерируемые только искусственной аппаратурой.

Следующий вопрос, возникающий при обсуждении результатов проведенных опытов, — это вопрос о физиологическом механизме кожной чувствительности к видимым лучам. Специальное рассмотрение этого вопроса отнюдь не является нашей задачей. Поэтому мы ограничимся всего лишь несколькими замечаниями.

С физиологической точки зрения возможность изменения у наших испытуемых рецепторной функции кожной поверхности может быть, по-видимому, удовлетворительно понятна, если принять во внимание, что по общему правилу эффект раздражения не только определяется свойством данного воздействия, но зависит также от

состояния самой рецептирующей системы. Таким образом, мы можем, принципиально говоря, привлечь для объяснения наблюдаемых изменений факт влияния на рецепторные аппараты кожи центробежной аксессуарной иннервации (Л. А. Орбели).

Второе положение, которое, как нам кажется, должно быть принято во внимание, — это положение об изменяемости “уровня” процессов, идущих от периферии. Гипотетически мы можем представить себе дело так, что процесс, возникающий на периферии под влиянием воздействия видимых лучей, прежде ограниченной функцией специально трофического действия, образно говоря, возвышается, т.е. получает свое представительство в коре, что и выражается в возникновении ощущений. Иначе говоря, возможно гипотетически мыслить происходящее изменение по аналогии с процессом, приводящим к возникновению ощущений, идущих от interoцепторов, обычно ощущений не дающих. <...>

Впрочем, повторяем, все эти замечания являются совершенно предварительными.

П. Я. Гальперин

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХИКИ¹

**Два типа ситуаций.
Ситуации, где психика
не нужна**

Есть такие ситуации, где психика не нужна, и нет никаких объективных оснований для предположения об ее участии во внешних реакциях организма. Но существуют и другие ситуации, в которых успешность поведения нельзя объяснить иначе, как с учетом ориентировки на основе образа наличной ситуации. И теперь наша задача заключается в том, чтобы выявить особенности этих ситуаций.

Сначала рассмотрим ситуации, где успешность реакций организма во внешней среде может быть обеспечена и без психики, где она не нужна.

К ним относятся прежде всего такие ситуации, где весь процесс обеспечивается чисто физиологическим взаимодействием с внешней средой, например, внешнее дыхание, терморегуляция, с определенного момента — поглощение пищи и т.п. Рассмотрим, несколько упрощая и схематизируя, процесс внешнего дыхания у человека. В нормальных условиях он осуществляется таким образом, что определенная степень насыщения крови углекислотой и обеднения ее кислородом являются раздражителями дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозгу. Получив такие раздражения, этот дыха-

тельный центр посылает сигналы к дыхательным мышцам, которые, сокращаясь, расширяют грудную клетку. Тогда между внутренней поверхностью грудной полости и наружной поверхностью легких образуется полость с отрицательным давлением, и наружный воздух проникает в легкие. В нормальных условиях этот воздух содержит достаточный процент кислорода, который в альвеолах легочной ткани вступает во взаимодействие с гемоглобином красных кровяных шариков, и организм получает очередную порцию необходимого ему кислорода. Если содержание кислорода в наружном воздухе уменьшается, дыхание автоматически учащается. Все части этого процесса так прилажены друг к другу, что в нормальных условиях полезный результат обеспечен: если грудная полость расширилась, то внешнее давление воздуха протолкнет его порцию в альвеолы легких, и если в этом воздухе содержится достаточное количество кислорода, что обычно имеет место, то неизбежным образом произойдет и обновление его запасов в крови. Здесь вмешательство психики было бы излишним и нарушало бы этот слаженный, автоматически действующий механизм.

Собственно, то же самое, только другими средствами, имеет место и в механизме терморегуляции, благодаря которому избыток теплоты выделяется из тела с помощью расширения поверхностных сосудов кожи, учащенного дыхания и потоотделения. Если температура внешней среды понижается и организм заинтересован в сохранении вырабатываемой им теплоты, то происходят обратные изменения: просвет кожных сосудов суживается (кожа бледнеет), выделение пота уменьшается или совсем прекращается, отдача тепла дыханием тоже снижается. Здесь, до известных пределов, взаимодействие организма с внешней средой налажено так, что не нуждается ни в каком дополнительном вмешательстве.

К такого рода ситуациям, где психика явно не нужна, относятся не только эти и многие другие физиологические процессы, но и множество реакций, которые нередко рассматриваются как акты поведения. Эти реакции наблюдаются у некоторых так на-

¹ *Гальперин П. Я.* Введение в психологию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С. 104—147.

зываемых насекомоядных растений, у животных, у которых они часто получают название инстинктов. Из такого рода актов у растений можно напомнить о “поведении” листа мухоловки. Лист мухоловки имеет по периферии ряд тонких отростков с легкими утолщениями на конце. На этих утолщениях выделяются блестящие капельки клейкой жидкости. Как только насекомое, привлеченное этой капелькой, коснется ее и, увязнув, начнет делать попытки освободиться, этот “палец” (отросток) быстро загибается к середине листа, на него загибаются и остальные “пальцы”, так что насекомое оказывается в ловушке, из которой оно уже не может вырваться. Тогда лист начинает выделять пищеварительный сок, под влиянием которого насекомое переваривается, а его пищевые вещества усваиваются растением; когда из листа больше не поступает питательный сок, лист снова расправляется, пустая роговая (хитиновая) оболочка насекомого быстро высыхает, сдувается ветром и лист снова готов к очередной “охоте”. В этом случае все звенья процесса подогнаны так, что не нуждаются ни в какой дополнительной регуляции. Правда, бывает, что насекомое оторвется от клейкой капельки, но это случается не так уж часто, и в большинстве случаев механизм вполне себя оправдывает.

Широко известен пример инстинктивного действия, которое производит личинка одного насекомого, называемого “муравьиный лев”. Вылупившись из яичка, эта личинка ползет на муравьиную дорожку, привлекаемая сильным запахом муравьиной кислоты. На этой дорожке она выбирает сухой песчаный участок, в котором выкапывает воронку с довольно крутыми склонами. Сама личинка зарывается в глубину этой воронки, так что снаружи на дне воронки остается только ее голова с мощными челюстями. Как только муравей, бегущий по этой тропке, подойдет к краям воронки и, обследуя ее, чуть-чуть наклонится над ее краями, с них начинают сыпаться песчинки, которые падают на голову муравьиного льва. Тогда муравьиный лев сильным движением головы выбрасывает струю песка в ту сторону,

откуда на него посыпались песчинки, и сбивает неосторожного муравья. А он, падая в воронку, естественно, попадает на челюсти, они захлопываются и муравьиный лев высасывает свою жертву. И в этом случае все части процесса так подогнаны друг к другу, что каждое звено вызывает последующее, и никакое вмешательство, которое регулировало бы этот процесс, уже не требуется. Правда, и здесь возможны случаи, когда муравей не будет сбит песочным “выстрелом” и успеет отойти от края воронки; но других муравьев постигнет печальная участь. В большинстве случаев — а этого для жизни и развития муравьиного льва достаточно — весь процесс заканчивается полезным для него результатом.

Каждый шаг сложного поведения муравьиного льва — его движение к муравьиной дорожке, выбор на ней сухого песчаного места, рытье воронки, зарывание в глубине воронки и затем “охота” на муравьев — имеет строго определенный раздражитель, который вызывает строго определенную реакцию; все это происходит в таких условиях, что в большинстве случаев реакция не может оказаться неуспешной. Все действия и результаты этих действий подогнаны друг к другу, поэтому никакого дополнительного вмешательства для обеспечения их успешности не требуется. Здесь предположение о дополнительном психическом процессе было бы совершенно излишним.

Рассмотрим вкратце еще два примера поведения, в которых тоже нет необходимости предполагать участие психики. Первый из них — поведение птенцов грачей, которое было хорошо проанализировано со стороны его рефлекторного механизма¹.

Характерная реакция птенцов грачей на подлет родителей с новой порцией пищи вызывается тремя разными раздражителями: один из них — низкий звук “кра-кра”, который издают подлетающие к гнезду старшие птицы; второй — одностороннее обдувание птенцов, вызываемое движением крыльев подлетающих родителей, и третий — боковое покачивание гнезда, вызываемое посадкой птиц-родителей на край гнезда. Каждый из этих

¹ См. Анохин П.К. Узловые вопросы в изучении высшей нервной деятельности // “Проблемы высшей нервной деятельности”. М.: Изд-во АМН СССР, 1949. С. 27—31.

раздражителей можно воспроизвести искусственно и каждый из них в отдельности вызывает характерную реакцию птенцов: они выбрасывают прямо вверх шею и голову, широко раскрывают клювы, в которые родители кладут принесенную пищу. Совместное действие этих трех раздражителей, естественно, вызывает усиленную реакцию птенцов. Понятно, что для выполнения такой реакции не требуется ничего, кроме готового врожденного механизма и указанных внешних раздражителей; здесь участие психологического фактора было бы тоже совершенно излишним.

Последний пример: прыжок лягушки за мухой. Этот прыжок вызывается зрительным раздражением от “танцующей” мошки (проделывающей беспорядочные движения на очень ограниченном участке пространства). Когда раздражение от таким образом движущегося предмета падает на глаз лягушки, она подбегает к этому предмету на расстояние прыжка, поворачивая голову, устанавливает направление на этот предмет и совершает прыжок на него с раскрытым ртом. Как правило, т. е. в подавляющем большинстве случаев, лягушка таким способом захватывает добычу. Но оказывается, что аналогичным образом лягушка прыгает и на мелкие колеблющиеся на паутинке кусочки мусора, и тот же самый механизм делает ее добычей змеи. Охота змеи за лягушкой происходит так, что, заметив лягушку, змея поднимает голову, раскрывает пасть, высовывает свой раздвоенный язычок и начинает им шевелить. Это движение язычка действует на лягушку, как описанный выше раздражитель, лягушка прыгает на язычок как на мушку и, таким образом, сама бросается в пасть змеи; рассказы о гипнотизирующем взгляде змеи — это не более чем устрашающие сказки, которые рассказывают люди. На самом деле змея действует на лягушку не своим взглядом, а движением язычка, которое для лягушки не отличается от движения мушки¹. И в этом случае имеется определенный раздражитель, вызывающий действие готового механизма, и все происходит настолько слаженно, что в подавляющем большин-

стве случаев приносит полезный (для змеи) результат. Никакого дополнительного вмешательства для успешного выполнения этой реакции здесь не требуется.

Если сопоставить все случаи, где психика явно не нужна, то можно выделить такие общие характеристики этих ситуаций: во-первых, условия существования животного имеются на месте; во-вторых, эти условия действуют на животное как раздражители готового, наличного в организме механизма, а этот механизм производит нужную в данном случае реакцию. Конечно, предполагается, что этот механизм приводится в состояние активности, готовности к реакции на характерный раздражитель внутренним состоянием, потребностью организма. Если такой потребности нет, например, если лягушка сыта, то внешний раздражитель, действуя на животное, характерную реакцию не вызывает. Но когда такая потребность возникает, то создается такое положение: налицо внешний объект, удовлетворяющий потребность и в то же время являющийся раздражителем механизма полезной в этом случае реакции, а этот механизм приведен (потребностью) в состояние готовности и способен произвести нужную реакцию.

И, в-третьих, самое важное условие заключается в том, что в этих случаях соотношение между действующим органом и объектом воздействия обеспечено настолько, что по меньшей мере в большинстве случаев, т. е. практически достаточно часто, реакция оказывается успешной и приносит полезный результат. В нормальных условиях, если животное производит вдох, оно не может не получить очередную порцию кислорода; если муравей заглядывает за края воронки, то с ее края начинают сыпаться песчинки, которые скатываются на голову муравьиного льва, вызывают направленное раздражение, на которое муравьиный лев отвечает выбросом порции песка в том же направлении, а сбитый с края воронки муравей скатывается по крутой стенке воронки прямо на голову муравьиного льва в его раскрытые челюсти. Птенцам грача достаточно вытянуть шею и раскрыть клюв, чтобы получить очередную порцию пищи от своих родителей; лягуш-

¹ См. Журавлев Г. Е. О “гипнотическом” взгляде змей // Вопросы психологии. 1969. № 5.

ке достаточно прыгнуть на мошку, чтобы заполучить эту порцию корма, и т. д.

Во всех этих случаях готовый механизм производит такую реакцию, которая обеспечивает успешный захват объекта. При такой слаженности отношений между организмом и условиями его существования нет никакой необходимости предполагать участие психики в этом процессе — она ничего не прибавила бы, ничему не помогла, она была бы излишним, практически не оправданным участником этого процесса. Во всех подобных ситуациях психика не нужна. Реакции животных могут быть очень сложными и целесообразными, могут даже казаться целенаправленными, целестремительными, но на самом деле такими не являются¹.

Ситуации, где психика необходима

Теперь проанализируем ситуации, в которых для успешного приспособления к условиям существования или их изменения психика необходима.

Рассмотрим, например, процесс внешнего дыхания. Если мы попадаем в помещение, где, как говорится, “нечем дышать”, то здесь уже недостаточно одних только автоматических приспособлений организма к уменьшенному количеству кислорода. Все, что мог бы сделать автоматический центр, — это увеличить частоту дыхания. Но этим можно обойтись лишь при условии, что в окружающей атмосфере сохраняется такое количество кислорода, которого хватило бы при учащенном дыхании. Но если кислорода оказывается так мало, что даже наибольшее учащение и углубление дыхания не может удовлетворить минимальной потребности в нем, то наличных автоматических приспособлений к такому необычному изменению условий оказывается недостаточно. Здесь нужно перейти на какие-то другие способы приспособлений, в данном случае к поиску выхода из сложившейся ситуации.

Но это другая задача! Чтобы выйти из такой ситуации, надо знать (да, знать!), как

это можно сделать: если мы находимся в душном, переполненном зале и чувствуем, что больше не можем в нем оставаться, то должны наметить себе путь, проход между рядами сидящих и положение двери; другой раз можно ограничиться тем, чтобы открыть форточку или окно и т. д. Но всякое такое поведение (которое своей конечной целью имеет опять-таки обеспечение дыхания) должно учитывать наличную обстановку и способы возможного действия в ней. Для этого готовых физиологических механизмов регуляции дыхания уже, конечно, недостаточно.

Возьмем не физиологические процессы взаимодействия со средой, но акты поведения, казалось бы, самые простые. Например, когда мы идем по благоустроенной улице с хорошо асфальтированным тротуаром, то можем разговаривать с приятелем о довольно сложных вещах; в этом случае движение по тротуару требует от нас так мало внимания, что для этого достаточно мельком брошенных боковых взглядов. Но если мы попадаем на такую улицу, где все время приходится смотреть, куда поставить ногу, то в этих условиях серьезного разговора вести уже нельзя, все время приходится думать, как бы не оступиться. Здесь нужна другая регуляция движений, и хотя основной механизм походки может быть хорошо автоматизирован, но его использование в этих условиях требует активного внимания, управления на основе той картины, которую мы перед собой обнаруживаем. Регуляция действия в этих условиях возможна только на основе образа открывающейся ситуации.

Необходимость такой регуляции особенно демонстративно выступает, когда мы видим, в каком затруднительном положении оказывается слепой, вынужденный ощупывать палкой каждый следующий участок своего пути. Но, собственно, то же самое происходит и с нами, зрячими, когда мы попадаем в незнакомую местность и вынуждены активно осматриваться и выискивать указанные нам приметы. Представьте себе, что вы двигаетесь по знакомому саду ночью в полной темноте; скажем, вы хотите взять со скамейки, находящейся

¹ Такая слаженность отношений между организмом и окружающей средой, по-видимому, имеет место и у паразитирующих животных (гельминты), продельвающих зачастую довольно сложный жизненный цикл развития, нередко со сменой “хозяев” (промежуточных, основных).

ся на определенной дорожке, позабытые на ней очки. Если сад вам хорошо знаком, то даже в полной темноте вы можете двигаться достаточно быстро и уверенно — на основе той картины, которую вы себе при этом представляете и которая составляет непосредственное продолжение маленького участка, видимого у самых ног. Но если это происходит в новом, незнакомом месте, такое продвижение становится очень затруднительным, а то и просто невозможным. Вы просите хозяина проводить вас и, конечно, будете очень рады, если он захватит с собой фонарь, — вам нужно иметь перед собою образ поля, непосредственно раскрывающий перед вами участок местности, чтобы уверенней регулировать свое движение по ней.

Словом, если выделить характерные особенности ситуаций, где психическое отражение, образ окружающего мира необходим для управления действием, то прежде всего нужно указать на отсутствие в этих ситуациях того, что в данный момент непосредственно необходимо индивиду. Это создает особое положение. Если бы в таком положении оказалось растение (а у растений такие ситуации регулярно повторяются вместе с изменением времени года), то все, что может сделать растение при наступлении такого неблагоприятного для жизни сезона, — это замереть. И действительно, растения замирают: на зиму (на севере и в умеренном климате) или на особенно засушливое время (в жарком климате). Если такие неблагоприятные условия наступают слишком резко или длятся чрезмерно долго, то растения просто погибают. Другое дело — животные с подвижным образом жизни. Такие животные переходят к новому способу существования — они отправляются на поиски того, что им необходимо и чего в непосредственном окружении нет. Для подавляющего большинства животных характерен поэтому подвижный образ жизни.

Подвижность становится условием существования, но она принципиально меняет характер жизненных ситуаций. Это изменение заключается в том, что возникает непостоянство отношений между животным и теми объектами, за которыми оно охотится (или которые на него охотятся и от которых оно вынуждено обороняться или убегать). Это непостоянство

отношений между животным и объектами, в которых оно так или иначе заинтересовано, получает более точное и ближайшее выражение в непостоянстве отношений между органами действия животного и объектами, на которые оно воздействует. А если этот объект еще и подвижен, как это бывает в отношениях между животным-охотником и его добычей, то непостоянство этого соотношения возрастает в чрезвычайной степени.

К этому надо добавить еще одно обстоятельство. Объект, с которым взаимодействует животное, должен выступать генерализованно: если это “враг”, то это должен быть не индивидуальный враг, а по крайней мере враг этого рода; если это добыча, то она тоже должна выступать, так сказать, обобщенно; если бы волк набрасывался только на такую овцу, которая была бы в точности похожа на съеденную им раньше, и отказывался от всякой другой овцы, то подобный “волк-педант” очень скоро стал бы жертвой естественного отбора. Овца для волка должна выступать “обобщенно”; может быть, эта обобщенность заключается просто в том, что от овцы исходит определенный запах, характерный для всех овец, и волк узнает свою добычу по этому генерализованному признаку. Оповестительный признак объекта должен быть весьма “общим”, а реакция должна быть точно приспособлена к объекту охоты и условиям действия: наброситься на эту “обобщенную добычу” хищник должен с учетом того, какого она размера, как повернута к нему, на каком расстоянии находится и т. д.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что раздражитель выступает генерализованно, а действие должно быть точно подогнано к частным особенностям объекта и данной ситуации. Если бы в актуальной ситуации волк в точности повторил действие, которое прошлый раз было успешным, то оно легко могло бы оказаться не вполне отвечающим наличным обстоятельствам: волк мог бы недопрыгнуть до овцы, перепрыгнуть через нее или прыгнуть так, чтобы лишь толкнуть, но не схватить ее, и т. д. Одним словом, если бы животное только стандартно повторяло действие, которым оно располагает по своему прошлому опыту, то это действие в измененных обстоятельствах могло

бы оказаться не совсем или даже совсем не подходящим в данной актуальной ситуации. А ведь жертва не стала бы ждать повторения, и неудачное действие привело бы к потере благоприятной возможности.

Известный полярник Э. Кренкель приводит следующее описание охоты белого медведя на тюленя (сделанное им без всякой связи с проблемами психологии). “В бинокль с мыса Выходного, на расстоянии примерно около километра, а может быть поменьше, я увидел однажды, как к лежащему тюленю (а они очень чуткие) по-пластунски подкрадывался белый медведь. Самое интересное, что тюлень изредка поднимает голову, оглядывается — все ли в порядке, все ли спокойно, можно ли продолжать отдых, но медведя не замечает. А тот подкрадывался предельно осторожно, распластавшись на снегу, как меховой платок. Он полз на брюхе и одной лапой прикрывал свой черный нос, чтобы не выделялся на фоне белого снега.

Наконец, медведь оказался совсем рядом, а его жертва так ничего и не замечала. Медведь прыгнул. Но... видимо, это был молодой зверь. Он не рассчитал прыжок и примерно на полметра перемахнул через тюленя. Оглянулся — тюленя не было. И что бы вы думали, сделал медведь? Он пошел обратно и два раза прыгал на лунку, пока не отработал достаточной точности прыжка. Молодой охотник за тюленями явно тренировался... ..Зверь твердо знал, что, если он не отработает номер, останется голодным”.

Чтобы не пропасть с голоду, животному нужно хорошо отработать точную оценку расстояний и усилий прыжка, которые нельзя ни повторить, ни изменить на ходу. И молодой зверь, о котором рассказывает Кренкель, уже “твердо знал” это.

У подвижных животных возникают чрезвычайно непостоянные отношения между ними и объектами, в которых они заинтересованы. А это ведет к тому, что никакой прошлый опыт — ни видовой, ни индивидуальный — при его стереотипном повторении (а ведь повторен он может быть только в том виде, в каком он прежде был успешно выполнен и получил подкрепление) не может быть достаточен для успешного действия в наличных, каждый раз несколько измененных обстоятельствах. Именно для того, чтобы прошлые действия могли быть эф-

фективно использованы в этих индивидуальных обстоятельствах, эти действия нужно несколько изменить, подогнать, приспособить к наличным обстоятельствам. И это надо сделать или до начала действия, или (если возможно) по ходу действия, но во всяком случае до его завершения.

Схема основных уровней действия

Мы рассматриваем психику, точнее ориентировочную деятельность, как важнейший вспомогательный аппарат поведения, аппарат управления поведением. Этот аппарат возникает на том уровне развития активных животных, когда в результате их подвижности и возрастающей изменчивости отношений между ними и объектами среды животные оказываются в непрерывно меняющихся, индивидуальных, одноразовых ситуациях. С этого уровня возникает необходимость приспособлять действия к этим одноразовым условиям. Такое приспособление достигается с помощью примеривания, экстраполяции и коррекции действий в плане образа наличной ситуации, что и составляет жизненную функцию ориентировочной деятельности. Понимая так психическую деятельность, мы можем представить себе ее место в общем развитии мира, если рассмотрим отдельную единицу поведения — отдельное действие — со стороны отношения между его результатом и его механизмом, с точки зрения того, поддерживает ли результат действия производящий его механизм. Тогда общую линию эволюции действия — от неорганического мира до человека включительно — можно схематически разделить на четыре большие ступени, каждой из которых соответствует определенный тип действия: физическое действие, физиологическое действие, действие субъекта и действие личности.

Уровень физического действия. У нас нет оснований исключить действие физических тел из группы тех явлений, которые на всех языках обозначаются словом “действие”. Наоборот, физическое действие составляет основное содержание понятия о действии; оно должно быть нами принято в качестве исходного. Особенность и ограниченность физического действия в

интересующем нас аспекте заключается в том, что в неорганическом мире механизм, производящий действие, безразличен к его результатам, а результат не оказывает никакого, кроме случайного, влияния на сохранение породившего его механизма. “Вода точит камень” — таково действие воды на камень, но результаты этого действия безразличны для источника и не поддерживают ни его существование, ни этого его действия. Существование потока, который прокладывает себе путь через скалы, зависит вовсе не от этого пути, а от того, что снова и снова пополняет воды потока.

Если мы возьмем машины, созданные человеком, то их можно снабдить программой управления, механизмом обратной связи, с помощью которых регулируется действие этой машины. Но результат, который служит объектом обратной связи, не поддерживает существование такой машины. Он только регулирует ее работу. Но работа машины и этого регулирующего механизма ведет к их износу и разлаживанию, к сбою. Если предоставить машину самой себе, то вместе со своим регулирующим механизмом она в конце концов будет давать такой продукт, который будет негоден с точки зрения человека, построившего эту машину. Не результат действий машины, а человек, заинтересованный в этом результате, заботится о сохранении такого механизма (или о его замене более совершенным); результат действия машины не поддерживает ее существование.

Уровень физиологического действия. На этом уровне мы находим организмы, которые не только выполняют действия во внешней среде, но и заинтересованы в определенных результатах этих действий, а следовательно, и в их механизмах. Здесь результаты действий не только регулируют их исполнение, но если эти результаты положительны, то они и подкрепляют механизм, производящий эти действия.

Однако для этого нового уровня развития действий характерно одно существенное ограничение — результаты действуют лишь после того, как они физически достигнуты. Такое влияние может иметь не только конечный, но и промежуточный результат, однако лишь результат, материально уже достигнутый. На уровне чисто

физиологических отношений такой коррекции вполне достаточно.

Уровень действия субъекта. Как мы видели выше, условия подвижной жизни в сложно расчлененной среде постоянно приводят животное к таким одноразовым вариантам ситуаций, в которых прошлый опыт недостаточен для успешного выполнения действий. Наоборот, воспроизведение действий в том виде, в каком они были успешны в прошлом опыте, может привести к неудаче в новых, несколько изменившихся условиях. Здесь необходимо приспособление действия и до его начала, и по ходу исполнения, но обязательно до его окончания. А для этого необходимо прибегнуть к примериванию действий или к их экстраполяции в плане образа. Лишь это позволяет внести необходимые поправки до физического выполнения или, по меньшей мере, до завершения этих действий и тем обеспечить их успешность.

Принципиальное значение в расширении приспособительных возможностей животного на этом уровне действия заключается именно в том, что животное получает возможность установить пригодность действия и внести в него изменения еще до его физического исполнения или завершения. Здесь тоже действуют принципы обратной связи, необходимых коррекций, подкрепления удачно исполненных действий, но они действуют не только в физическом поле, но и в плане образа. Новые, более или менее измененные значения объектов (по сравнению с теми значениями, которые они имели в прошлом опыте) используются без их закрепления, только для одного раза. Но зато каждый раз процедура может быть легко повторена, действие приспособлено к индивидуальным, единичным обстоятельствам и удачный результат подкрепляет не только исполнительный, но и управляющий механизм действия.

Уровень действия личности. Если действие животного отличается от чисто физиологических отношений с окружающей средой тем, что его коррекции возможны в плане образа, восприятия открывающейся перед животным среды, то действие личности означает принципиально новый шаг вперед. Здесь субъект действия учитывает не только свое восприятие предметов, но и накопленные обществом знания о них, и

не только их естественные свойства и отношения, но также их социальное значение и общественные формы отношения к ним. Человек не ограничен индивидуальным опытом, он усваивает и использует общественный опыт той социальной группы, внутри которой он воспитывается и живет.

И у человека в его целенаправленных предметных действиях полностью сохраняются принципы кибернетического управления. Но условия этих действий, факторы, с которыми считается такое управление, — это прежде всего общественная оценка и характеристика целей, вещей и намечаемых действий.

У животного намечаемый план действия выступает лишь как непосредственно воспринимаемый путь среди вещей; у человека этот план выделяется и оформляется в самостоятельный объект, наряду с миром вещей, среди которых или с которыми предстоит действовать. Таким образом, в среду природных вещей вводится новая “вещь” — план человеческого действия. А с ним и цель в прямом смысле слова, т.е. в качестве того, чего в готовом виде нет и что еще должно быть сделано, произведено.

Соотношение основных эволюционных уровней действия. Каждая более высокая ступень развития действия обязательно включает в себя предыдущие. Уровень физиологического действия, конечно, включает физическое взаимодействие и физические механизмы действия. Уровень животного как субъекта действия включает физиологические механизмы, обеспечивающие только физиологическое взаимодействие с внешней средой, однако над ними надстраиваются физиологические механизмы высшего порядка, осуществляющие психические отражения объективного мира и психологическое управление действиями. Наконец, уровень личности включает и физические, и физиологические, и психические механизмы поведения. Но у личности над всем этим господствует новая инстанция — регуляция действия на

основе сознания общественного значения ситуации и общественных средств, образцов и способов действия.

Поэтому каждую более высокую форму действия можно и нужно изучать со стороны участвующих в ней более простых механизмов, но вместе с тем для изучения каждой более высокой ступени одного изучения этих более простых механизмов принципиально недостаточно. Недостаточно не в том смысле, что эти высшие механизмы не могут возникнуть из более простых, а в том, что образование высших из более простых не может идти по схемам более простых механизмов, но требует нового плана их использования. Этот новый план возникает вследствие включения в новые условия, в новые отношения. Возникновение живых существ выдвигает новые отношения между механизмом действия и его результатом, который начинает подкреплять существование механизма, производящего полезную реакцию. Возникновение индивидуально изменчивых одноразовых ситуаций диктует необходимость приспособления наличных реакций в плане образа и, следовательно, необходимость психических отражений. Возникновение таких общественных форм совместной деятельности (по добыванию средств существования и борьбы с врагами), которые недоступны даже высшим животным, диктует необходимость формирования труда и речи, общественного сознания.

Таким образом, основные эволюционные уровни действия намечают, собственно говоря, основную линию развития материи: от ее неорганических форм — к живым существам, организмам, затем — к животным, наделенным психикой, и от них — к человеку с его общественным сознанием. А сознание, по меткому замечанию Ленина, “...не только отражает объективный мир, но и творит его”¹. Творит по мере того, как становится все более полным и глубоким отражением механизмов общественной жизни и ведущим началом совокупной человеческой деятельности.

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 194.

А.Н.Леонтьев

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ЖИВОТНОМ МИРЕ¹

Два главных вопроса, нуждающихся в предварительном решении, неизбежно встают перед исследователем, подходящим к проблеме развития психики животных.

Первый, самый важный из них, это — вопрос о критерии, пригодном для оценки уровня психического развития. С точки зрения, свободной от сложившихся в зоопсихологических исследованиях традиций, решение этого вопроса кажется самоочевидным: если речь идет о развитии психики — свойства, выражающегося в способности отражения, то, следовательно, таким критерием и должно быть не что иное, как развитие самого этого свойства, то есть форм самого психического отражения. Кажется очевидным, что существенные изменения и не могут состоять здесь ни в чем другом, кроме как в переходе от более элементарных форм психического отражения к формам более сложным и более совершенным. С этой независимой, пусть наивной, но зато, несомненно, верной точки зрения весьма парадоксально должна выглядеть всякая теория, говорящая о развитии *психики* и вместе с тем выделяющая стадии этого развития по признаку, например, врожденности или индивидуальной изменемости поведения, не связывая с данными признаками никакой конкретной характеристики тех внутренних состояний

субъекта, которые представляют собой состояния, отражающие внешний мир.

В современной научной зоопсихологии вопрос о том, какова же собственно психика, какова высшая форма психического отражения, свойственная данной ступени развития, звучит как вопрос почти неуместный. Разве недостаточно для научной характеристики психики различных животных огромного количества точно установленных фактов, указывающих на некоторые закономерности поведения той или иной группы исследуемых животных? Мы думаем, что недостаточно, что вопрос о психическом отражении все же остается для зоопсихологии *основным* вопросом, а то, что делает его неуместным, заключается вовсе не в том, что он является *излишним*, а в том, что с теоретических позиций современной зоопсихологии на него *нельзя ответить*. С этих позиций нельзя перейти от характеристики поведения к характеристике собственно психики животного, нельзя вскрыть необходимую связь между тем и другим. Ведь метод (а это именно вопрос метода) лишь отражает движение, найденное в самом содержании; поэтому если с самого начала мыслить мир поведения замкнутым в самом себе (а значит, с другой стороны, мыслить замкнутым в самом себе и субъективно психический мир), то в дальнейшем анализе невозможно найти никакого перехода между ними.

Таким образом, в проблеме развития психики полностью воспроизводит себя то положение вещей, с которым мы уже встретились в проблеме ее возникновения. Очевидно, и принципиальный путь преодоления этого положения остается одинаковым здесь и там. Мы не будем поэтому снова повторять нашего анализа. Достаточно указать на конечный вывод, к которому мы пришли: состояния субъекта, представляющие собой определенную форму психического отражения внешней объективной действительности, связаны внутренне-закономерно и, следовательно, необходимо — с определенным же строением деятельности. И наоборот, определенное строение деятельности необходимо связано, необходимо порождает определенную

¹ Леонтьев А.Н. *Философия психологии*. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 112—141.

форму психического отражения. Поэтому *исследование развития строения деятельности может служить прямым и адекватным методом исследования развития форм психического отражения действительности.*

Итак, мы можем не обходить проблемы и поставить вопрос о развитии психики животных прямо, то есть именно как вопрос о процессе развития психического отражения мира, выражающегося в переходе ко все более сложным и совершенным его формам. Соответственно основанием для различения отдельных стадий развития психики будет служить для нас то, какова форма психического отражения, которая на данной стадии является высшей.

Второй большой вопрос, который нуждается в предварительном решении, это — вопрос о связи развития психики с общим ходом биологического развития животных.

Упрощенное, школьное и по существу своему неверное представление об эволюции рисует этот процесс как процесс *линейный*, в котором отдельные зоологические виды надстраиваются один над другим, как последовательные геологические пласты. Это неверное и никем не защищаемое представление, однако, необъяснимым образом проникло в большинство зоопсихологических теорий. Именно этому представлению мы во многом обязаны и выделению в качестве особой генетической стадии, пресловутой стадии инстинкта, существование которой доказывается фактами, привлекаемыми почти исключительно из наблюдений над насекомыми, пауками и, реже, — птицами. При этом игнорируется самое важное, а именно, что ни одно из этих животных не представляет основной линии эволюции, ведущей к высшим ступеням зоологического развития — к приматам и человеку; что, наоборот, эти животные не только представляют собой особые зоологические типы в обычном смысле этого слова, но что им свойственны и особые типы *приспособления* к среде, глубоко своеобразные и заметным образом не прогрессирующие; что никакой реальной генетической связи, например,

между насекомыми и млекопитающими вообще не существует, а вопрос о том, стоят ли они “ниже” или “выше”, например, первичных хордовых, биологически неправомыслен, ибо любой ответ будет здесь иметь совершенно условный смысл. Что представляет собой более высокий уровень биологического развития — покрытосеменные растения или инфузория? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы его нелепость сразу же бросилась бы в глаза: прежде всего это представители качественно различных типов приспособления, различных типов жизни — жизни растительной и жизни животной; можно вести сравнение внутри этих типов, можно сравнивать сами эти типы жизни, но невозможно сравнивать между собой отдельных конкретных представителей этих различных типов. То, что выступает здесь в своем грубом и обнаженном виде, принципиально сохраняется при любом “прямолинейном” сопоставлении, игнорирующем реальные генетические связи, реальную генетическую преемственность видов.

Именно в зоопсихологии это особенно важно подчеркнуть, потому что, если сравнительно-анатомическая или сравнительно-физиологическая точка зрения вносит с собой достаточную определенность и этим исключает ложные сближения, то, наоборот, традиционный для зоопсихологии способ рассмотрения фактов неизбежно провоцирует ошибки. Слепое следование за генетико-морфологической или генетико-физиологической классификацией, вытекающей из идеи “структурных” или “функциональных” (то есть физиологических) критериев психики, здесь еще недостаточно, ибо, как мы уже много раз подчеркивали, прямого совпадения типа строения деятельности и морфологического или физиологического типа не существует.

Именно отсюда рождается так называемый психологический “парадокс” простейших¹. В чем собственно состоит этот мнимый парадокс? Его основу составляет следующее противоречие: морфологический признак, признак одноклеточности, объединяет соответствующие виды в единый зоологический тип, который действи-

¹ См. *Ruyer R. Le paradoxe de l'amibe // Journal de psychologie, 1938. P. 472; Crow R. The Protista as the Primitive Forms of Life // Scientia, 1933. V. LIV.*

тельно является именно как *морфологический тип* более простым, чем тип многоклеточных; с другой стороны, деятельность, возникающая в развитии этого простейшего типа, является относительно сложной. Конечно, в действительности никакого *разрыва* между деятельностью и ее анатомической основой и здесь нет, потому что внутри данного простейшего общего морфологического типа мы наблюдаем огромное, хотя и весьма своеобразное, усложнение анатомического строения. С каждым новым шагом в развитии исследований морфологии одноклеточных принцип “малое — простое” все более и более обнаруживает свою несостоятельность, как и лежащие в его научной основе теоретические попытки обосновать физическую невозможность сложного строения микроскопических животных (А. Томпсон), попытки, порочность которых состоит уже в том, что все рассуждение ведется с точки зрения интермолекулярных процессов и отношений, в то время как в действительности мы имеем в этом случае дело с процессами и отношениями также и интрамолекулярными. Насколько можно об этом судить по первоначально полученным данным, развитие новой техники электронной микроскопии еще более усложнит наши представления о строении одноклеточных. “В термине “простейшие”, — писал лет двадцать тому назад В. Вагнер, — заключено больше иронии, чем правды”. В наше время еще легче понять всю справедливость этого вывода.

Путь развития, отделяющий гипотетических первобытных монер или даже первичных броненосцев от ресничных инфузорий, конечно, огромен и нет ничего парадоксального в том, что у этих высших представителей своего типа мы уже наблюдаем весьма сложную деятельность, осуществляющую по-видимому опосредствованные отношения к витально значимым свойствам среды, деятельность, необходимо предполагающую, следовательно, наличие внутренних состояний, отражающих воздействующие свойства в их связях, то есть согласно нашей гипотезе, наличие состояний чувствительности. Нет ничего, конечно, парадоксального и в том, что, переходя к многоклеточным живот-

ным, более высоким по *общему* типу своей организации, мы наблюдаем на низших ступенях развития этого типа, наоборот, более простую “до-психическую” жизнь, более простую по своему строению деятельность. Чтобы сделать это очевидным, достаточно указать, например, на тип губок, у которых, кстати говоря, ясно выражена и главная особенность примитивного типа деятельности низших многоклеточных, а именно — подчеркнутая “автономия” отдельных реакций¹.

Мы подробно остановились на этом сложном соотношении, так как мы встречаемся с ним на всем протяжении развития, причем его игнорирование неизбежно ведет к ошибочным умозаключениям. Конечно, мы не сможем вовсе отказаться от сближений, выходящих за пределы реальной генетической преемственности видов, хотя бы уже потому, что в изучении деятельности палеонтологический метод вовсе не применим и мы должны будем иметь дело только с современными видами животных; но в этом и нет никакой необходимости — достаточно избежать прямых генетических сближений данных, относящихся к представителям таких зоологических типов, которые представляют различные, далеко расходящиеся между собой линии эволюции.

Мы должны, наконец, сделать и еще одно, последнее предварительное замечание.

Подходя к изучению процесса развития психики животных с точки зрения задачи наметить главнейшие этапы предыстории психики человека, мы естественно ограничиваем себя рассмотрением лишь основных генетических стадий, или формаций, характеризующихся различием общей формы психического отражения; поэтому наш очерк развития далеко не охватывает ни всех типов, ни всех ступеней внутри каждой данной его стадии. <...>

Мы видели, что возникновение чувствительности живых организмов связано с усложнением их жизнедеятельности. Это усложнение заключается в том, что выделяются процессы внешней деятельности, опосредствующие отношения организма к свойствам среды, от которых непосредственно зависит сохранение и раз-

¹ См. *McNair G. T. Motor Reactions of the Fresh-water Sponge Ephydatia fliviatilis // Biol. Bulletin. 1923. 44. P. 153.*

витие его жизни. Именно с появлением раздражимости к этим, опосредствующим основные витальные свойства организма, воздействиям связано появление и тех специфических внутренних состояний организма — состояний чувствительности, ощущений, функция которых заключается в том, что они с большей или меньшей точностью отражают объективные свойства среды в их связях.

Итак, главная особенность деятельности, связанной с чувствительностью организма, заключается, как мы уже знаем, в том, что она направлена на то или иное воздействующее на животное свойство, которое, однако, не совпадает с теми свойствами, от которых непосредственно зависит жизнь данного животного. Она определяется, следовательно, не отдельно взятыми или совместно воздействующими свойствами среды, но их отношением.

Мы называли такое отражаемое животным отношение воздействующего свойства к свойству, удовлетворяющему одну из его биологических потребностей, инстинктивным смыслом того воздействия, на которое направлена деятельность, то есть инстинктивным смыслом *предмета*.

Что же представляет собой такая деятельность в своей простейшей форме, и на каком конкретном этапе развития жизни она возникает?

Исследуя условия перехода от явлений простой раздражимости к явлениям чувствительности, то есть к способности ощущения, мы вынуждены были рассматривать простейшую жизнь в ее весьма абстрактной форме. Попытаемся теперь несколько конкретизировать наши представления.

Обычное наиболее часто приводимое гипотетическое изображение первоначального развития жизни дается примерно в такой схеме (по М. Ферворну, упрощено; см. рис.1).

Таким образом, уже на низших ступенях развития жизни мы встречаемся с ее разделением на два главнейших общих ее типа: на жизнь растительную и жизнь животную. Это и рождает первую специальную проблему, с которой мы сталкиваемся: проблему чувствительности растений.

Существуют ли ощущения у растений? Этот вопрос, часто отвергаемый, и отвергаемый без всяких, в сущности, оснований,

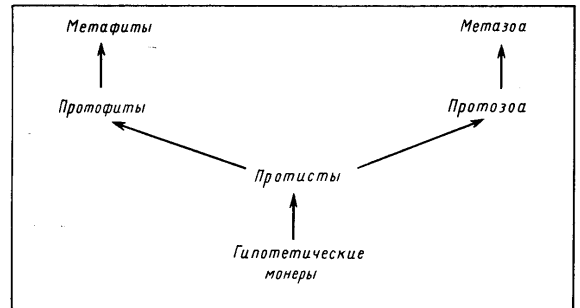


Рис. 1.

является с нашей точки зрения совершенно правомерным. Современное состояние фактических знаний о жизни растительных организмов позволяет полностью перенести этот вопрос из области фехнеровских фантазий о “роскошно развитой психической жизни растений” на почву точного конкретно-научного исследования.

Мы, однако, не имеем в виду специально заниматься здесь этой проблемой; ее постановка имеет для нас прежде всего лишь то значение, что, рассматривая ее с точки зрения нашей основной гипотезы о генезисе чувствительности, мы получаем возможность несколько уточнить и развить эту гипотезу. При этом мы должны раньше всего поставить вопрос о *раздражимости* растений, так как только на высших ступенях развития раздражимости возможен переход к той ее форме, которую мы называем чувствительностью.

Два основных факта, важных в этом отношении, можно считать установленными. Первый из них — это факт раздражимости, по крайней мере высших, растений по отношению к достаточно многочисленным воздействиям, общим с теми воздействиями, которые способны вызвать реакцию также и у большинства животных: это температурные изменения, изменения влажности, воздействие света, гравитация, раздражимость по отношению к газам, к некоторым питательным веществам, наркотикам и, наконец, к механическим раздражениям. Как и у животных, реакции растений на эти воздействия могут быть положительными или негативными. В некоторых случаях пороги раздражимости растений значительно ниже порогов, установленных у животных; например, Х. Фулер (1934) приводит величину давления,

достаточную для того, чтобы вызвать реакцию растения, равную 0,0025 мг.

Другой основной факт заключается в том, что, хотя чаще всего раздражимость растений является диффузной, в некоторых случаях мы все же можем уверенно выделить специализированные зоны и даже органы раздражимости, а также зоны специальной реакции. Значит существуют и процессы передачи возбуждения от одних зон к другим. <...>

Уже в прошлом столетии был поставлен вопрос о приложимости к растениям закона Вебера (М. Массар, 1888). Дальнейшее развитие исследования подкрепило возможность выразить отношение между силой раздражения (степень концентрации вещества в растворе, сила света) и реакцией растения (П. Парр, 1913; П. Старк, 1920)¹.

Если к этим данным присоединить тот, уже указанный нами выше факт, что жизнедеятельность высших растений осуществляется в условиях одновременного действия многих внешних факторов, вызывающих соответствующую сложную реакцию, то принципиально можно допустить также и наличие у них раздражимости по отношению к воздействиям, выполняющим функцию соотношения организма с другими воздействующими свойствами, то есть наличие опосредствованной деятельности, а следовательно, и чувствительности. <...>

Итак, с точки зрения развиваемой нами гипотезы о генезисе чувствительности наличие чувствительности, в смысле способности собственно *ощущения*, у растений допущено быть не может. Вместе с тем, некоторые растения, по-видимому, все же обладают некой особой формой раздражимости, отличной от ее простейших форм. Это — раздражимость по отношению к таким воздействиям, реакция на которые посредствует основные витальные процессы растительного организма. Своеобразие этих отношений у растений, по сравнению с подобными же отношениями у животных, состоит, однако, в том, что в

то время как у последних эти отношения и связанные с ними состояния способны к изменению и развитию, в результате чего они выделяются и начинают подчиняться новым специфическим закономерностям, — у растений эти отношения хотя и возникают, но не способны к развитию и дифференциации; разделение воздействующих свойств, обозначенных нами символами α и a , возможно и у растения, но их несовпадение, несоответствие не разрешается в его деятельности, и эти отношения не могут стать отношениями, порождающими развитие соответствующих им внутренних состояний.

Из этого вытекают два вывода. Во-первых, тот вывод, который мы можем сделать в связи с самой проблемой чувствительности у растений. Очевидно, мы можем говорить о чувствительности растений, но лишь как о чувствительности совершенно особого типа, столь же отличающегося от собственно чувствительности, то есть от чувствительности животных, сколь и сама их жизнедеятельность отличается по своему типу от жизнедеятельности животных. Это, конечно, не исключает необходимости все же различать у растений явления чувствительности и явления раздражимости; наоборот, нам кажется, что применительно к высшим растениям это различие сохраняет некоторое значение и может быть еще сыграть в дальнейшем свою роль в проблеме воспитания их функциональных способностей.

Второй вывод, который может быть сделан из рассмотрения проблемы чувствительности растений, относится к чувствительности животных и той деятельности, в которой она формируется. Своеобразие фиточувствительности объясняется, как мы это пытались показать, особым характером жизнедеятельности растений. Чем же отличается от нее с точки зрения рассматриваемой проблемы деятельность животного? Мы видим ее специфическое отличие в том, что животное способно к активным, отвечающим его потребностям движениям — движениям,

¹ Литература вопроса по фитопсихологии весьма велика, даже если отбросить собственно физиологические исследования реакций, как, например, цитированные выше исследования Г. Молиша и др. Франсэ указывает на Марциуса и на первых авторов, поставивших проблему фитопсихологии. Последующие исследования принадлежат М. Массару (1888), Т. Ноллю (1896), Г. Гоберландту (1901). Более новую литературу см.: Fuller H. J. Plant Behavior // The Journal of general Psychology. 1934. V. XI. № 2. P. 379.

описанным нами как движения “пробующие” или “поисковые”, то есть к такой деятельности, в которой и происходит соотношение между собой воздействующих на организм свойств действительности. Только такая деятельность может быть подлинно направленной, активно находящей свой предмет. Движение зеленого растения к свету также, разумеется, направленно, однако никогда растение не изгибает своего стебля то в одну, то в другую сторону до тех пор, пока оно наконец не окажется в лучах солнца; но даже инфузория, испытывая недостаток в пищевом веществе, ускоряет свое движение и меняет его направление, а гусеница, уничтожившая последний лист на ветке дерева, прекращает свое “фототропическое” восхождение, спускается вниз и принимается за поиск нового растения, который кончается иногда далеко за пределами данного участка сада. Не всегда, конечно, это — движение перемещения; иногда это только движение органа — антенны, щупальца; впоследствии — это почти незаметное внешне движение.

С точки зрения выдвигаемого нами критерия наличие простейших ощущений может быть признано у тех животных, деятельность которых: 1) может быть вызвана воздействием того типа, который мы символически обозначим буквой α ; 2) направлена на это воздействие и 3) способна изменяться в зависимости от изменения отношения $\alpha:a$.

Обращаясь к фактическим данным, мы имеем все основания предполагать, что этими признаками обладает уже деятельность высших одноклеточных животных (ресничные инфузории). Впрочем, для того, чтобы судить об этом с полной основательностью, были бы необходимы данные специальных экспериментальных исследований, которыми мы располагаем. <...>

Впрочем, нас интересует сейчас не столько вопрос о том, у каких именно животных из числа существующих ныне видов мы впервые находим наличие чувствительности, сколько вопрос о том, что представляет собой ее простейшая форма

и какова та деятельность, с которой она внутренне связана.

На низших ступенях развития животного мира мы вправе предполагать существование лишь немногих, весьма мало дифференцированных органов чувствительности, а соответственно и существование лишь весьма диффузных ощущений, по-видимому, возникающих не одновременно, но сменяющих одно другое, так что их деятельность в каждый данный момент определяется всегда одним каким-нибудь воздействием. Отсюда и возникает впечатление машинообразности их поведения. Присмотримся, например, к известным фактам поведения планарии по отношению к свету. Как только планария оказывается под давлением воздействия света, она начинает двигаться параллельно распространяющимся лучам; изменим направление света, и ее путь тотчас же изменится; но мы можем повторить этот опыт еще и еще раз, движение планарии будет столь же послушно следовать за направлением лучей¹. Геометрическая точность, кажущаяся машинообразность подобного поведения не должна вводить нас в заблуждение. Она объясняется именно элементарностью чувствительности животного, а отнюдь не автономностью и автоматичностью его двигательных реакций. Движения выступают и здесь как подчиненные элементы единой простой деятельности, определяющейся в своем целом тем предметом, по отношению к которому она направлена, то есть биологическим инстинктивным смыслом для животного соответствующего воздействия. Выше мы пытались показать это экспериментально установленными фактами изменчивости, приспособляемости деятельности животных, принадлежащих к данному зоологическому типу. Теперь мы можем присоединить к этому некоторые физиологические основания. Так, О. Ольмтедом (1922) и К. Левецовым (1936) было показано, что у червей существует сложная иерархизация двигательных реакций². Последний из указанных авторов описывает у лентопланн и других Polychadae три уров-

¹ Опыты Kühn'a, по: Hempelmann. Tierpsychologie, 1926. S. 146.

² См. Olmtead O. M. The Role of the Nervous System in the Locomotion of certain Marine Polychads // Journal of Experimental Zoology, 1922. V. 36. P. 57; Von Levetzow K. G. Beiträge zur Reizphysiologie der Polychaden Strudewürmer // Zeitschrift für vergleichende Physiologie. XXII. 5. 1936. S. 721.

ня движений: уровень цилиарных движений (*Bewegung durch cilien*), прямо не зависящих от каких бы то ни было центров иннервации, далее — уровень движений мускульных, иннервируемых нервными узлами, и, наконец, — уровень движений, которые автор называет ориентированными, поляризованными и спонтанными (*orientiert, polarisiert, spontan*); последние зависят от цереброидных центров, координирующих поведение в целом. Таким образом, у этих представителей червей принцип общей координированности деятельности выступает как уже ясно оформленный анатомически; очевидно, он сохраняется и у более примитивных животных, принадлежащих к данному зоологическому типу. Важнейший же факт состоит здесь в том, что процессы на этом высшем для данного вида уровне имеют простейший тип афферентации, и при этом чем ниже опускаемся мы по лестнице развития, тем непосредственнее, тем ближе связь координирующего центра с соответствующим “командующим” органом чувствительности. Л. Бианки, опираясь на данные Пуше и Энгельмана, указывает, что у планарий группы клеток, которые можно рассматривать как рудиментарный мозг, одновременно являются и органом светочувствительности¹. Таким образом, эти данные, еще раз и с другой стороны подтверждают то положение, что деятельность низших животных координируется в целом и при этом координируется на основе элементарной (здесь — в смысле “элементарной”) чувствительности.

Резюмируя, мы можем прийти, следовательно, к тому выводу, что деятельность животных на низших ступенях развития характеризуется тем, что она отвечает отдельному воздействующему свойству (или — в более сложных случаях — совокупности отдельных свойств) в силу существующего отношения данного свойства к тем воздействиям, от которых зависит осуществление основных биологических функций животного. Соответственно психическое отражение действительности, связанное с таким строением деятельности, имеет форму чувствительности к отдельным воздействующим свойствам (или совокупности свойств), форму элементарного *ощуще-*

ния. Эту первую стадию в развитии психики мы будем называть поэтому стадией *элементарной сенсорной психики*.

Стадия элементарной сенсорной психики охватывает собой длинный ряд животных до некоторых видов позвоночных включительно. Понятно, что в пределах этой стадии также происходит известное дальнейшее развитие деятельности и психики животных, подготовляющее переход к следующей, новой, более высокой стадии.

Тот общий путь изменений, которые наблюдаются внутри стадии элементарной сенсорной психики (мы называем такие изменения “внутристадиальными”), прежде всего заключается в том, что органы чувствительности животных, стоящих на этой стадии развития психики, все более дифференцируются и их число увеличивается; соответственно дифференцируются и ощущения. Так, например, у низших животных клетки, возбудимые по отношению к свету, рассеяны по всей поверхности тела и, следовательно, эти животные могут обладать лишь весьма диффузной светочувствительностью. Затем, впервые у червей, светочувствительные клетки стягиваются к головному концу тела и, концентрируясь, приобретают форму пластинок; эти органы дают возможность уже достаточно точной ориентации в направлении к свету. Наконец, на еще более высокой ступени развития в результате выгибания этих пластинок возникает внутренняя сферическая светочувствительная полость, действующая как “камера-люцида”, которая позволяет воспринимать движения предметов.

Развиваются и органы движения, органы внешней деятельности животных. Их развитие происходит особенно заметно в связи с двумя следующими главными изменениями: с одной стороны, в связи с переходом к жизни в условиях наземной среды, а с другой стороны, — у гидробионтов — в связи с переходом от простого поиска к преследованию добычи.

Вместе с развитием органов чувствительности и органов движения развиваются также и органы соотнесения, связи и координации — нервная система. <...>

Изменение *деятельности*, наблюдаемое по всем этим линиям эволюции внутри

¹ См. *Bianchi L. Le mécanique du cerveau. Paris, 1921.*

данной стадии развития психики, заключается в своем общем виде во все большем усложнении ее состава, происходящем вместе с развитием органов восприятия, действия и нервной системы животных. Однако, как общее строение деятельности, так и общий тип отражения действительности остается на этой стадии, как мы увидим, тем же самым. Деятельность побуждается и регулируется отражением отдельных свойств или ряда отдельных свойств; отражение действительности никогда, следовательно, не является отражением целостных вещей. При этом у более низкоорганизованных животных (например, у червей) деятельность побуждается всегда *одним* каким-нибудь свойством, так что, например, характерной особенностью поисков пищи является у них, по свидетельству В. Вагнера, то, что их поиск всегда производится “при посредстве какого-либо одного органа чувств, без содействия других органов чувств: осязания, режесобоняния и зрения, *но всегда только одного из них*”¹.

То усложнение деятельности, которое мы здесь наблюдаем, наиболее ярко выражено по линии эволюции, ведущей к паукообразным и насекомым. Оно проявляется в том, что деятельность этих животных приобретает характер иногда весьма длинных цепей, состоящих из большого числа реакций, отвечающих на отдельные последовательные воздействия. Ярким примером такой деятельности у насекомых может служить, например, постоянно приводимое в литературе описание поведения муравьиного льва, которое мы здесь ввиду его общеизвестности не воспроизводим. Хотя против выводов, которые делаются в связи с этим наблюдением Дофлейна, существует ряд возражений, основные факты “элементности” поведения этой личинки остаются непоколебленными. Более тщательные новые исследования полностью подтверждают то положение, что и у пауков и у насекомых мы имеем ориентировку на последовательно действующие отдельные раздражители.

В отношении насекомых мы уже приводили ряд подтверждающих это фактов; ограничимся поэтому только иллюстрацией. Так, *Microplectron fascipennis* откладывает свои яйца в коконы *Diprion'a*; это — весьма сложный процесс, предполагающий участие многих органов чувств. Однако, как показывают специальные опыты G. Ulyett'a, поставленные с фальшивыми коконами, что позволило экспериментально выделить различные воздействия, процесс этот протекает так: ранее, направляясь к кокону, насекомое руководствуется обонянием; далее, после того как насекомое достигло кокона, то отвергнет ли оно его или нет, зависит уже от его формы, воспринимаемой зрительно; наконец, самый акт откладывания яиц решается в зависимости от того, подвижна ли личинка в коконе.

Очень ясно выступает тот же самый характер сложных процессов деятельности у пауков. Если Рабо экспериментально показал, что тем, на что направлена деятельность пауков до момента умерщвления добычи, является вибрация и ничего больше, то последующие исследования позволяют проследить другие ее звенья, афферентируемые уже иначе. Так, М. Тома, возражая против того мнения, что у пауков зрение вообще не играет никакой роли (И. Денис), указывает, что место прокуса жертвы выбирается ими зрительно. Нагель подверг сомнению существование у пауков вкусовой чувствительности; однако в ответ на это Милло в экспериментах с кормлением пауков мухами, импрегнированными различными веществами (хинин и проч.), показал роль вкусовых ощущений в акте поглощения ими пищи и описал специальный орган вкуса в виде клеток бутылочной формы, находящихся в *pharynx*². По-видимому, многие из подобных кажущихся противоречий в данных об ощущениях пауков и насекомых легко разрешаются, если принять во внимание строгую сменность тех воздействий, которые определяют их весьма своеобразную, комплексную, но вместе с тем весьма простую по своей структуре деятельность; ведь

¹ Вагнер В. А. Возникновение и развитие психических способностей, 1928. Вып. 8. С. 4.

² См. *Thomas M.* La vue et la sensibilité tactile chez les Araignées // Bulletin de Société Entomologique. 1936. XLI. P. 95; *Millot J.* Le sens du goût chez les Araignées // Bulletin de la Société zoologique de France. LXI. 1. 1936. P. 27.

вся трудность анализа заключается здесь именно в том, что, например, добыча с самого начала может быть обнаружена пауком не только посредством вибрационного чувства, но и зрительно, однако его деятельность направляется только вибрацией, так что зрения у него как бы не существует; в другом звене его поведения главная роль переходит, наоборот, к зрительным ощущениям и т. д.

Своеобразное усложнение деятельности, близкое по своему типу к вышеописанному, представляет собой поведение головоногих моллюсков. Особенно характерным в этом отношении является поведение осьминога. Внешне оно во многом напоминает поведение высших хищных животных: та же настойчивость в преследовании жертвы, та же стремительность нападения и активность борьбы.

Глаза осьминога также очень близки по своему строению к глазам высших животных. Хотя они имеют другое происхождение, а именно — являются дальнейшим усовершенствованием периферических органов светочувствительности, они, однако, обладают подвижностью и, главное, снабжены преломляющим хрусталиком, благодаря чему возможна достаточно совершенная проекция формы предметов на чувствительные клетки их внутренней поверхности.

Таким образом, можно было бы предположить, что осьминог стоит на более высокой ступени развития психики и обладает способностью отражения вещей. Анализ его деятельности показывает, однако, что мы имеем здесь дело с тем же самым типом отражения, выражающимся в способности *элементарной* чувствительности, то есть чувствительности к отдельным воздействиям.

Когда рыба или какая-нибудь другая добыча движется мимо осьминога, то в результате испытываемого им светового воздействия он стремительно бросается за ней в точном соответствии с направлением и скоростью ее движения. На этом и прекращается участие в его поведении зрительного аппарата, функция которого заключается, таким образом, лишь в ориентации по отношению к движущемуся объекту. Вместе с тем заканчивается и первое звено его поведения, так как к охватыванию добычи данное воздействие

привести уже не может. Для этого необходимо, чтобы его щупальцы коснулись добычи; только при этом условии, то есть в результате прямого прикосновения, разворачивается следующее, второе, звено его деятельности — охватывание жертвы и, наконец, последнее — ее пожирание.

Как и деятельность насекомых и пауков, эта также достаточно сложная и внешне совершенная, но вместе с тем имеющая весьма примитивную внутреннюю структуру деятельность не имеет своего дальнейшего развития, приводящего к переходу на новую стадию. Моллюски, как и насекомые, представляют собой одну из не прогрессирующих далее многочисленных ветвей, по которым шла эволюция животных.

Другое направление в усложнении деятельности и чувствительности, является, наоборот, прогрессирующим. Оно необходимо приводит к изменению самого строения деятельности, а на этой основе и к возникновению новой ведущей формы отражения действительности, характеризующей уже более высокую, вторую стадию развития психики животных — стадию *перцептивной* психики. Это прогрессирующее направление в усложнении деятельности связано с прогрессирующей же в дальнейшем линией эволюции: от полимерных червеобразных к первичным хордовым и далее — к позвоночным животным.

Усложнение деятельности и чувствительности животных выражается по этой линии эволюции в том, что их поведение координируется сочетанием ряда отдельных воздействий. Примером такого поведения может служить поведение рыб. Именно у этих животных можно с особенной отчетливостью наблюдать резкое противоречие между уже относительно сложным содержанием процессов деятельности и высоким развитием отдельных функций, с одной стороны, и еще по-прежнему примитивным общим ее строением — с другой.

Этот тезис нуждается в более детальном обсуждении. Обратимся прежде всего к экспериментальным данным. В исследовании Е. П. Черчилля (1916) у рыб вырабатывалось умение проходить через отверстия, сделанные в двух поставленных одна за другой перегородках. На 50—60-м опыте это умение у рыб вырабатывалось, давая “нормальную” кривую образования навы-

ка в условиях лабиринта. При этом Черчилль для трех различных экспериментальных групп животных создавал различные ориентирующие признаки. В одном случае (незамечаемые рыбами на расстоянии стеклянные перегородки) рыбы могли ориентироваться на преграду только *тактильно*, в другом — к тактильной ориентировке присоединялся локальный зрительный стимул (черная рамка вокруг отверстия), наконец, в третьем случае преграда выделялась полностью оптически (деревянная перегородка). Полученные сравнительные данные являются чрезвычайно важными; главное в них отводится следующим двум фактам: во-первых, оказалось, что введение дополнительно оптического стимула вносит определенное изменение, но изменение парадоксальное — начальное время, требуемое для прохождения через препятствие, возрастает почти в четыре раза (110—405); во-вторых, как показали последующие эксперименты, дальнейший процесс образования умения находить отверстия был связан в обоих случаях с переходом на кинестетическую афферентацию движений, причем указанное начальное различие к концу опытов сглаживалось, — уже на 5-м опыте время в первом случае падало всего в $2\frac{1}{2}$ раза, в то время как во втором случае оно падало почти в 6 раз¹.

Как мы увидим из сопоставления с результатами других исследований, полученные в этих экспериментах данные отнюдь не являются случайными, но выражают действительную особенность психической деятельности рыб. О чем собственно говорят эти данные? С одной стороны, мы видим, что у рыб, как и у нижестоящих животных, сохраняется ориентировка только на одно воздействие — тактильное, и поэтому введение дополнительного признака не упрощает для них ситуации. Кроме того, ситуация этим явно усложняется. Чем это объясняется? Очевидно, рыбы не просто не замечают оптического стимула, но происходит нечто совсем другое: они вступают к нему в новое отношение; только по мере того как соответствующая реакция угасает, процесс научения в основной деятельности начинает идти нормально,

и кривая времени стремительно падает. Таким образом, присоединяемый оптический стимул не интегрируется, но ломает процесс, побуждая ориентировочную реакцию, то есть вызывая новое отношение.

Объяснение, которое мы даем, оправдывается дальнейшим сопоставлением фактов. Прежде всего обратимся к данным того же исследования, полученным в опытах с третьей экспериментальной группой животных. Оказывается, что в этом случае возрастание времени, по сравнению с первой группой, значительно меньше (110—277), зато дальнейшее падение его идет гораздо медленнее (на 5 пробе в первой группе — 42, в третьей — 101). Это понятно: в то время как черные полосы рамки выступают как локальный выделяющий стимул, сплошная перегородка выступает прежде всего как тормозящий фон, то есть только отрицательно; именно поэтому его “сбивающая” роль меньше, но зато преодоление его тормозящего значения, естественно, происходит лишь постепенно.

Насколько, однако, правомерно то основное допущение, на котором основываются наши объяснения, а именно, что животное не интегрирует дополнительный стимул-признак в единый “образ пути”, но отвечает на него как на воздействие, имеющее другой инстинктивный смысл, то есть как на предмет, побуждающий вообще иную деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, необходим опыт, где таким дополнительным признаком был бы стимул, вызывающий не только ориентировку или малоопределенную, диффузную реакцию, но который имел бы для животного вполне определенный инстинктивный смысл; тогда само поведение животного покажет нам, имеем ли мы действительно в подобной ситуации дело с логикой начавшегося процесса и с возникновением новой деятельности. Требуемый опыт мы находим, но лишь в одной из работ с амфибиями; однако сближение фактов является здесь, как мы это увидим ниже, совершенно правомерным.

Работая с жабами в лабиринте, состоящем из двух перегородок с проходами, то есть в условиях, аналогичных условиям опытов Черчилля, Бойтендейк в каче-

¹ См. Churchhill E.P. The Learning of a Maze by Goldfish // Journal of animal behavior. 1916. V.6. N 3. P. 247.

стве дополнительного ориентирующего стимула ввел также черную полосу, наклеенную на одну из перегородок. Так как для этих животных она выступила в смысле укрытия, то вместо попыток прохождения через лабиринт у них возникла новая тенденция — тенденция сближения с черной полосой, и образование навыка затормозилось¹.

Итак, переходя к низшим позвоночным животным, мы находим в деятельности некоторое время содержание, которое отчетливо может быть выделено и которое в приведенных примерах выступает как обходное движение, имеющее свою особую афферентацию и определяемое объективно иным воздействием, чем то, которое определяет деятельность в целом. Объективное различие между этими воздействиями состоит в том, что, в то время как воздействие со стороны предмета деятельности является побуждающим ее, воздействие второго рода, то есть воздействие со стороны условий, в которых дан данный предмет деятельности, *само по себе* может не вызвать у животного никакой активности. Тем не менее мы склонны выдвигать здесь тот тезис, что, несмотря на это усложнение деятельности со стороны ее содержания, само строение ее, как и связанная с ней форма психического отражения, остаются теми же, что и у животных, нижестоящих по основной линии эволюции, или у таких животных, как, например, насекомые. Этим и объясняются наблюдаемые своеобразные черты поведения данных животных, *качественно* отличающие его от поведения животных, еще более высокоорганизованных, даже в том случае, когда оно внешне выступает как более простое.

Чтобы показать это, нам придется обратиться к специально поставленным опытам (А.В.Запорожец и И.Г.Диманштейн, 1939).

В отдельном аквариуме, в котором живут два молодых американских сомика, устанавливается поперечная перегородка, не доходящая до одной из его стенок, так что между ее концом и этой стенкой остается свободный проход. Перегородка сделана из белой марли, натянутой на рамку.

Когда рыбы, обычно держащиеся вместе, находились в определенной, всегда од-

ной и той же стороне аквариума, то с противоположной его стороны на дно бросали кусочки мяса. Побуждаемые распространяющимся запахом мяса рыбы, скользя у самого дна, направлялись прямо к нему. При этом они наталкивались на марлевую перегородку: приблизившись к ней на расстояние нескольких миллиметров, они на мгновение останавливались и далее плыли вдоль перегородки, поворачивая то в одну, то в другую сторону, пока, наконец, случайно не оказывались перед боковым проходом, через который они и проникали дальше, в ту часть аквариума, где находилось мясо.

Наблюдаемая деятельность рыб протекает, таким образом, в связи с двумя основными воздействиями. Она побуждается запахом мяса и разворачивается в направлении этого главного, доминирующего воздействия; с другой стороны, рыбы замечают преграду, в результате чего их движение в направлении распространяющегося запаха приобретает сложный, зигзагообразный характер. Здесь нет, однако, простой цепи движения: раньше реакция на натянутую марлю; *потом* реакция на запах; нет и простого сложения влияний обоих этих воздействий и движения по равнодействующей. Это — сложно координированная деятельность, в которой объективно можно действительно ясно выделить двоякое содержание. Во-первых, определенную направленность деятельности, приводящую к соответствующему результату; это содержание возникает под влиянием запаха, имеющего для животного инстинктивный смысл пищи. Во-вторых, собственно обходные движения. Это содержание деятельности также связано с определенным воздействием (преграда), но данное воздействие отлично от воздействия запаха пищи: оно не может самостоятельно побудить деятельность животного, сама по себе марля, конечно, не вызывает у рыб никакой реакции. Следовательно, это второе воздействие связано не с *предметом*, который побуждает деятельность и на который она направлена, но с теми *условиями*, в которых дан этот предмет. Таково *объективное* различие обоих этих воздействий, их *объективное* соотношение. Соответствует ли, однако,

¹ См. *Buytendijk F. Psychologie des animaux.* P. 207.

этому соотношению отражение этими животными данной ситуации? Выступает ли оно и для животного также *раздельно*, — одно, как связанное с предметом, как то, что побуждает, второе — как относящееся к условиям деятельности, вообще — как *другое*? Чтобы ответить на этот вопрос, продолжим эксперимент. По мере повторения опытов с кормлением рыб в условиях преграды на их пути к пище происходит как бы постепенное “обтаивание” лишних движений, так что в конце концов они с самого начала направляются прямо к проходу между марлевой перегородкой и стенкой аквариума, а затем — непосредственно к пище.

Перейдем теперь ко второй части эксперимента. Для этого перед кормлением рыб снимем перегородку. Хотя перегородка стояла достаточно близко от начального пункта движения рыб, так что они не могли не заметить ее отсутствия, рыбы тем не менее полностью повторяют обходный путь, то есть движутся так, как это требовалось бы, если бы перегородка была на своем месте. В дальнейшем путь рыб, конечно, постепенно спрямляется.

Итак, воздействие, определявшее обходное движение, прочно связывается у исследованных рыб с воздействием самой пищи, с ее запахом. Значит, оно уже с самого начала воспринималось рыбами *наряду* с запахом пищи, а не как входящее в другой комплекс, в другой “узел” взаимосвязанных свойств, то есть как относящееся к другой материальной вещи.

Таким образом, в результате постепенного усложнения деятельности и чувствительности животных мы наблюдаем возникновение ясно развернутого несоответствия, противоречия в их поведении. В деятельности низших позвоночных животных уже выделяется такое содержание, которое объективно отвечает действующим условиям, субъективно же это содержание связывается с теми воздействиями, по отношению к которым направлена их деятельность в целом. Иначе говоря, деятельность животных фактически определяется воздействием уже со стороны отдельных вещей (пища, преграда), в то время как психическое отражение действительности остается у них отражением связей *отдельных* свойств, отражением элементарно-сенсорным.

В ходе дальнейшей эволюции это несоответствие разрешается путем изменения ведущей формы отражения и дальнейшей качественной перестройки общего типа деятельности животных; совершается переход к новой, второй стадии развития психики. <...>

Стадия элементарной сенсорной психики охватывает собой огромное число зоологических видов. Из этого, однако, не следует, что деятельность и чувствительность у всех этих животных одинакова или что между ними существуют только количественные различия. С одной стороны, при рассмотрении разных линий эволюции отчетливо намечаются различные типы деятельности и соответственно чувствительности животных (например, своеобразный “цепной” тип деятельности и чувствительности насекомых и пауков с преобладающей ролью видового опыта). С другой стороны, по восходящей эволюционной линии столь же ясно намечаются различные ступени *внутристадиального* развития, так что при переходе к позвоночным наблюдается уже значительное усложнение поведения животных, происходящее вместе с усовершенствованием их анатомической организации — сливанием нервных стволиков в спинной мозг, сближением чувствительных ганглиев и формированием переднего мозга; к этому моменту развития устанавливаются и основные нервные физиологические процессы. Таким образом, дальнейшее развитие анатомического субстрата психической деятельности может быть адекватно представлено уже как развитие структуры собственно *мозга* животных.

Одну из предпосылок возникновения новой высшей стадии в развитии психики и составляют отмеченные нами анатомо-физиологические особенности позвоночных; другой основной предпосылкой этого является происходящее при переходе позвоночных к чисто наземному существованию все большее усложнение внешней среды — внешних условий их жизни. Это, однако, не более чем *предпосылки*; поэтому понять необходимость возникновения качественно новой формы психики мы можем только, исходя из найденного нами *внутреннего* несоответствия, внутреннего противоречия, которое и находит свое разрешение в происходящем скачке развития. <...>

Изменение в строении деятельности животных, которое следует отметить при переходе к млекопитающим, заключается в том, что уже наметившееся раньше содержание ее, объективно относящееся не к самому предмету, на который направлена деятельность животного, но к тем условиям, в которых этот предмет дан, теперь *выделяется*. Оно уже не связывается для животного с тем, что побуждает его деятельность в целом, но отвечает специальным воздействиям. Иначе говоря, в деятельности млекопитающих, как и в описанном выше поведении рыбы в условиях перегороженного аквариума, мы можем выделить некоторое содержание, объективно определяемое не пищей, на которую она направлена, но перегородкой; однако, в то время, как у рыб при последующем убиении перегородки это содержание деятельности (обходные движения) сохраняется и исчезает лишь постепенно, млекопитающие соотносят свое поведение с изменившимися условиями. Значит, воздействие, на которое направлена деятельность этих животных, уже не связывается у них непосредственно с воздействиями со стороны преграды; то и другое выступает для них раздельно; от воздействия со стороны предмета зависит направление деятельности, а от воздействия со стороны условий — то, *как* она осуществляется, т. е. *способ* ее осуществления, например, обход препятствия. Это особое содержание деятельности, определяемое условиями, в которых дан ее предмет, и выражающееся в способе ее осуществления, мы будем называть *операцией*.

Выделение операции является, с нашей точки зрения, фактом капитального значения, ибо он указывает на то, что воздействующие на животное свойства внешней действительности начинают разделяться и далее связываться между собой теперь уже не в простые комплексы или цели, но в сложные *интегрированные* единства.

Это основное изменение, происходящее при переходе к млекопитающим животным, может быть схематически выражено следующим образом.

Первоначально, то есть на стадии элементарной сенсорной психики, деятель-

ность животного определяется основным воздействующим на него свойством (отношением $\alpha:a$); данное свойство, однако, не является, конечно, единственным воздействием, испытываемым животным. С одной стороны, сам предмет его деятельности воздействует на животное — по крайней мере на более высоких ступенях этой стадии — также и еще целым рядом своих свойств: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$, то есть выступает для животного не только, например, обонятельно, но и зрительно, и своими вкусовыми свойствами. С другой стороны, предмет деятельности животного неизбежно дан в тех или иных условиях, которые в свою очередь воздействуют на животное; обозначим эти воздействия буквами $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \dots$ и т. д. В каких же взаимосвязях и отношениях отражаются животными все эти многочисленные воздействия? Это видно из того, как строится по отношению к ним деятельность животного, то есть как она афферентирована, а об этом особенно ясно можно судить по ее динамике.

Обратимся раньше к тому, как строится деятельность беспозвоночных и низших позвоночных животных в отношении к побуждающим ее воздействиям типа α . Приведенные нами данные ясно показывают, что среди этих воздействующих свойств всегда выделяется какое-нибудь одно свойство, на которое и направляется деятельность животного; в некоторых случаях это ведущее (в прямом смысле слова) воздействие меняется в ходе процесса; деятельность приобретает тогда сложный, “цепной” характер. Какую же роль выполняют при этом остальные воздействия? Принципиальная роль их, очевидно, совершенно одинакова: они обеспечивают “прилаживание” к внешнему пространству, то есть осуществление функции, которая у высших животных выполняется striatum’ом (первый подуровень уровня “пространственного поля” по Н. А. Бернштейну)¹. Таким образом, все они равноправны, соположены и одинаково подчинены ведущему, например, обонятельному воздействию; они образуют как бы его фон, — фон иногда достаточно пестрый, но всегда единый, сплошной.

¹ См.: Бернштейн Н. А. О построении движений и их систематизации по неврофизиологическому признаку. 1939. (рукопись).

Иначе афферентирована деятельность высших позвоночных животных. Как мы видели, прежде рядоположенные воздействия теперь разделяются: часть элементов, прежде входивших в общий “фон”, выступает теперь как не принадлежащие ведущему воздействию; они определяют не направление, но способ деятельности. Во внешней среде для животного выделяется, следовательно, нечто, что *не есть* предмет его деятельности. Но это значит, что выделяются и те воздействующие свойства, которые образуют другой полюс — полюс предмета деятельности; происходит, следовательно, их отделение от остальных “фонов” воздействий и объединение вокруг ведущего воздействия.

Если на предшествующей стадии развития соотношение различных воздействий, по их объективной роли в построении деятельности животного могло быть передано в схеме:

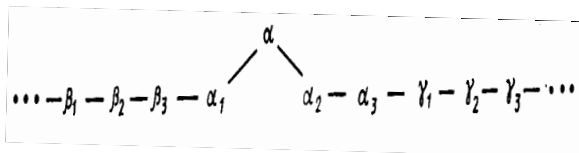


Рис. 2

то на этой новой стадии оно должно быть изображено так:

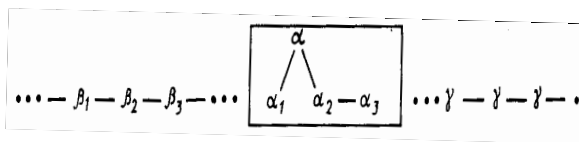


Рис. 3

Что же выражает собой это основное изменение, совершающееся при переходе к высшим позвоночным с точки зрения развития отражения, то есть, если мы будем рассматривать соответствующие сенсорные явления в отношении к вызывающей их объективной действительности? Оно, конечно, выражает собой не что иное, как переход от отдельных ощущений к восприятию *целостных вещей*.

Этот переход связан с фундаментальным морфологическим изменением. Оно состоит в начинающемся быстром развитии переднего мозга и дифференциации мозговой *коры* с образованием сенсорных зон, которым присуща именно *интегра-*

тивная функция; возникает новый, *кортикальный* уровень построения движений.

Итак, на этой новой стадии развития для животного выступают, с одной стороны, взаимосвязанные свойства, характеризующие предмет, на который направлена его деятельность, а с другой стороны — свойства предметов, определяющие способ деятельности, операцию. Если на стадии элементарно-сенсорной психики дифференциация воздействующих свойств была связана с простой их *координацией* вокруг доминирующего воздействия, то теперь, в соответствии с этим новым типом строения деятельности, впервые возникают процессы предметной *интеграции* воздействующих свойств, то есть их объединение как свойств одной и той же вещи. Эта новая стадия развития характеризуется, следовательно, способностью отражения внешней объективной действительности уже не в форме отдельных ощущений или их совокупности, но в форме *образов* вещей, составляющих среду животного. Мы называем эту стадию *стадией перцептивной психики*.

Переход к стадии перцептивной психики, то есть выделение в деятельности животных нового специфического содержания — операции и перестройки восприятия, которое становится теперь образным, может быть адекватно выражен как изменение *предмета* деятельности. Теперь предметом деятельности животного впервые может стать целостная *вещь*; соответственно целостные вещи, а не отдельные воздействия, приобретают для животного инстинктивный смысл. Не вибрация, не распространяющийся запах и т. п. побуждают, направляют, ведут его деятельность; ее побуждает и ведет именно целостная вещь, могущая воздействовать на животное то одним, то другим своим свойством.

Паук замечает добычу по вибрации, по вибрации он выделяет и самку (Хольцапфель, 1935)¹; достаточно снять возможность ощущения вибрации, чтобы соответствующая деятельность паука сделалась невозможной. Иначе у млекопитающих животных. Для них вещи тоже выступают в определенных доминирующих своих свойствах; однако для собаки имеют одинаковый инстинктивный смысл и раздавшееся

¹ См. *Holzappel M.* Experimentelle Untersuchung über das Zusammenfinden der Geschlechter bei der Trichterspinnne *Agelena labirintica* // *Zeitschrift für vergleichende Physiologie*. XXII. 5. 1935. S. 656.

завывание волка, и запах его следов, и показавшийся с подветренной стороны силуэт зверя. У млекопитающих объединение воздействующих свойств одной и той же вещи происходит иначе, чем ассоциация свойств, не связанных между собой в конкретное материальное единство. Это не требует новых доказательств: достаточно вспомнить общеизвестное различие в протекании у высших позвоночных процесса образования связей в случае так называемых “натуральных” и “искусственных” условных рефлексов. Так, например, нейтральный запах, примешиваемый непосредственно к самой вливаемой кислоте, может стать условным раздражителем даже после одного сочетания; тот же запах, подаваемый отдельно, с помощью особого прибора, вступает в условную связь с кислотой лишь после 10—20 сочетаний (опыты Нарбутович, по Павлову). Еще резче это различие выступает при сравнении образования условных рефлексов на искусственные комплексные раздражители (например, звук + мелькающий свет + форма) с образованием реакции животного на натуральный предмет, одновременно выступающий перед животным многими своими сторонами.

Переход к стадии перцептивной психики, как и вообще всякий межстадиальный переход, конечно, нельзя представить себе как простую *смену* структуры деятельности и формы психического отражения животными окружающей их внешней деятельности. С одной стороны, прежние формы удерживаются, хотя перестают быть единственными и подчиняются новым высшим формам; все же при известных условиях они могут быть отчетливо обнаружены. Например, в классических опытах с образованием у собаки условных рефлексов именно изолированный раздражитель становится тем, на что направлена ее деятельность в целом. Происходит, по выражению И. П. Павлова, “чистая замена” этим раздражителем соответствующих воздействий со стороны предмета; животное в этом случае “может лизать вспыхивающую лампу, может как бы хватать ртом, есть сам звук, при этом облизываться, щелкать зубами, как бы имея дело с самой пищей”¹. Таким образом, собака

обнаруживает здесь отношение, характерное для элементарно-сенсорной стадии; но этим, конечно, мы обязаны особым условиям эксперимента.

С другой стороны, новообразования этой новой стадии также и не исчезают вовсе в ходе последующего развития; например, операции, как и образное восприятие, конечно, сохраняются на всем протяжении дальнейшей эволюции, хотя и вступают в более сложное строение деятельности и в более высокоразвитые формы психического отражения действительности. Поэтому, переходя к рассмотрению некоторых специальных вопросов, возникающих в связи с характеристикой перцептивной психики, мы будем в некоторых случаях привлекать данные исследования также и таких животных, которых мы склонны рассматривать как стоящих на следующей, еще более высокой стадии развития.

Первая специальная проблема, с которой мы сталкиваемся, рассматривая факты поведения животных на стадии перцептивной психики, — это проблема навыков.

Выделение операции, характеризующее эту стадию, дает начало развитию новой формы закрепления опыта животных, — закреплению в форме двигательных *навыков* в собственном, узком значении этого термина.

Нередко навыком называют любую двигательную связь, возникшую в процессе индивидуального опыта. Однако при таком расширенном понимании навыка это понятие становится крайне расплывчатым, охватывающим огромный круг совершенно различных процессов, начиная от изменения реакций у инфузорий и кончая сложными действиями человека. В противоположность такому, ничем научно не оправданному расширению понятия навыка, мы называем навыками только закрепленные, фиксированные *операции*.

Это определение навыка совпадает с пониманием навыков, выдвигаемых у нас В. П. Протопоповым, который экспериментально показал, что двигательные навыки у животных формируются из двигательных элементов преодоления воспринимаемой преграды и что содержание навыков определяется характером самой преграды, стимул же (т. е. основное побуждающее

¹ Павлов И. П. Двадцатилетний опыт. 5-е изд. 1932. С. 463.

воздействие) влияет на навык только динамически (на быстроту и прочность закрепления навыка), но на его содержании (форме) не отражается¹.

Двигательные элементы, входящие в состав навыков животных, могут иметь различный характер: это могут быть как движения прежде приобретенные, так и движения, впервые в данной ситуации формирующиеся; наконец, это могут быть движения нижележащих уровней, которые участвуют в процессе осуществления закрепляющейся операции в качестве ее компонента.

Ясно выраженные навыки в собственном смысле наблюдаются впервые лишь у животных, имеющих кору головного мозга. Поэтому анатомической основой образования навыков следует, по-видимому, считать механизм образования именно кортикальных нервных связей.

Собственно навыки (*skilled movements, Handfertigkeiten*) — это не только сложившиеся, но и *закрепленные* операции. В чем же заключается самый процесс их закрепления? Он представляет собой не что иное, как процесс *автоматизации*, возникающий в результате передачи движений, их *retombement* (Бианки) на нижележащий неврологический уровень и, следовательно, необходимо связан с изменением их коррекционных механизмов — ведущей афферентации и эффекторных аппаратов. Этот нижележащий уровень должен обладать следующими чертами: во-первых, иметь хотя и иную, но также обязательно внешне-обращенную, с участием дистантных рецепторов афферентацию, и, во-вторых, быть непосредственно независимым от общей инстинктивно-биологической направленности деятельности животного, сохраняя иерархическую подчиненность ей лишь через свою связь с высшим ведущим уровнем.

Как указывает в своем специальном исследовании Н.А.Бернштейн, автоматизация движений “предметного” уровня происходит путем их передачи на уровень “пространственного поля”, то есть навык реализуется либо премоторными полями коры, либо на другом подуровне — *striatum*’ом, т. е. в обоих случаях на осно-

ве афферентации со стороны воздействия внешней ситуации. (Хотя на более низких ступенях эволюции позвоночных анатомическая локализация этих уровней, благодаря перемещению функций в процессе “прогрессивной церебрации”, неизбежно будет иной, однако общая их характеристика, конечно, будет той же.) Это полностью согласуется с нашим положением, что навыки представляют собой одно из новообразований именно данной стадии развития. Действительно, у беспозвоночных и у низших позвоночных животных тот уровень, который Н.А.Бернштейн называет уровнем “пространственного поля”, является, как мы видели, не только высшим, но и единственным дистантно афферентированным уровнем построения движений, ибо нижележащий уровень является у них уже уровнем проприомоторики, уровнем синергий (соответствующим уровню паллидарных движений у человека); поэтому единственно возможная у них автоматизация движений (образование *квази-навыка*) заключается в передаче их на проприоцепцию, что блестяще подтверждается всей совокупностью известных нам экспериментальных фактов; достаточно вспомнить, например, насекомых, для которых научиться возвратному пути и значит научиться проделывать его, образно говоря, “вслепую” (опыты Бэте, Вагнера и др.).

Вторая выдвигаемая нами особенность навыков в собственном смысле, отграничивающая их от других динамических образований, — приобретаемая независимость от основного направления деятельности в целом — также находит свое подтверждение в неврофизиологических и невропатологических данных. Так, например, при деменции, шизофрении, поражении передних лобных долей, при идеаторной апраксии навыки, как известно, сохраняются. Характеризуя навыки по неврофизиологическим признакам, Н.А.Бернштейн прямо указывает, что сами они не включают в себя никакую определяющую смысловую компоненту, что в содержащихся в них уровнях построения движений и их ведущих афферентациях *нет мотивов*, т. е. воздействий, побуждающих деятельность. Таким образом, данные нашего генетического

¹ См. *Протопопов В. П. Условия образования моторных навыков и их физиологическая характеристика.* Изд. УИЭМ, 1935.

зоопсихологического исследования и в этом отношении полностью согласуются с современными научными физиологическими представлениями.

Итак, рассматривая навык как специфическое новообразование второй выделенной нами стадии развития — стадии перцептивной психики, мы как бы возвращаемся к отвергнутой нами попытке видеть в способности образования навыков, в дрессуре (Бюлер) признак определенного генетического этапа. В действительности мы, конечно, полностью сохраняем свои первоначальные позиции: понятие навыка как формы, или механизма, любого изменения поведения под влиянием индивидуального опыта не имеет с развиваемым нами положением решительно ничего общего; это — одно из тех понятий, традиционное, чрезмерно широкое значение которых должно быть, с нашей точки зрения, вообще отброшено.

В предшествующем изложении мы имели возможность отграничить истинные процессы образования истинного навыка с двоякой стороны: от процесса образования и изменения связей типа $\alpha - a$ и от образования проприомоторных связей типа “patterns”. Нам остается выделить еще один род связей, которые отличаются от навыков тем, что они фиксируются не в результате автоматизации, то есть перехода движения на нижележащий уровень из уровня ведущей афферентации, но с самого начала формируются на этом низшем уровне.

Мы снова воспользуемся для этого данными исследования воспитания двигательных навыков у человека со всеми теми, разумеется, оговорками, которые при этом надлежит сделать.

В опытах В. И. Аснина (1939) испытуемые ставились перед задачей образовать навык последовательных движений на многоклавишном аппарате, для чего первоначально испытуемый должен был руководствоваться последовательно зажигающимися у каждого из клавиш лампочками; эти “обучающие” сигналы подавались автоматически и всегда в одном и том же порядке; в контрольных опытах сигнализация, конечно, выключалась. Однако с

обычной инструкцией эти опыты проводились только с одной группой испытуемых. Другая же группа испытуемых ставилась перед задачей (в тех же объективных условиях) в ответ на вспыхивание лампочки нажимать возможно скорее на соответствующий клавиш. Таким образом, в первом случае *последовательность* движения входила в стоящую перед испытуемым задачу в качестве условия, во втором же случае она лишь фактически наличествовала в движении, но не составляла условия задачи. Соответственно в первом случае последовательность воспринималась испытуемым, и лишь затем движение начинало подчиняться ей автоматически, в то время как во втором случае последовательность с самого начала служила лишь “фоновым” компонентом движения и не участвовала в ведущей его афферентации. В результате повторения опытов требуемые двигательные связи образовались у обеих групп испытуемых, так что движение в целом могло быть воспроизведено ими и при условии выключения лампочек, то есть “наизусть”.

Однако даже самый поверхностный анализ показывает полную несхожесть между собой тех процессов, которые сформировались в условиях эксперимента с первой и со второй группой испытуемых. В первом случае, то есть в случае образования собственно навыка, требовалось всего 10—25 повторений, во втором же случае — иногда до 400 и даже до 500 повторений. В первом случае сформировавшийся навык обнаруживал при переучивании (введение новых элементов, устранение некоторых прежних) обычную лабильность, во втором случае зафиксировавшиеся связи обладали крайней инертностью, ригидностью, они почти не поддавались видоизменению; обладающие этими свойствами двигательные связи, очевидно, вообще не могут иметь никакого значения в осуществлении поведения, протекающего в естественных и, следовательно, всегда изменчивых условиях¹.

Таким образом, мы можем дать характеристику навыка, как и самой операции, еще в одной, новой форме, которая была нам подсказана данными только что цитированного исследования: это — процессы, всегда отвечающие задаче, то есть

¹ См. Аснин В. И. Своєрідність рухових навичок залежно від умов їх утворення // Науч. зап. Харьк. пед. ин-та. Кафедра психологии, 1939. С. 37 (Укр.; на русск.: Аснин В. И. Своєобразіє двигателних навичок в залежності від умов їх утворення).

направленные на воспринимаемые условия, в которых дан предмет деятельности и которые определяют ее способ. Наоборот, процессы, не отвечающие никакой задаче, не суть навыки и не могут служить ни их генетическим, ни их функциональным эквивалентом. <...>

Вместе с изменением строения деятельности животных и соответствующим изменением формы отражения ими действительности происходит перестройка также и их мнемической функции. Прежде, на стадии элементарной сенсорной психики, она выражалась в моторной сфере животных в форме изменения под влиянием внешних воздействий движений, связанных с побуждающим животное воздействием, а в сенсорной сфере в закреплении и связи отдельных ощущений. Теперь на этой более высокой стадии развития мнемическая функция выступает в моторной сфере в форме двигательных навыков, а в сенсорной сфере — в форме примитивной образной памяти.

Еще большие изменения претерпевают при переходе к перцептивной психике процессы дифференциации и обобщения впечатлений воздействующей на животных внешней среды.

Уже на первых ступенях развития психики можно наблюдать процессы дифференциации и объединения животными отдельных воздействий. Если, например, животное, прежде одинаково реагировавшее на различные звуки, поставить в такие условия, что только один из них будет связан с тем или иным биологически важным воздействием, то другой постепенно перестанет вызывать у него какую бы то ни было реакцию. Происходит дифференциация этих звуков между собой; животное реагирует теперь избирательно. Наоборот, если с одним и тем же биологически важным воздействием связать целый ряд разных звуков, то животное будет одинаково отзываться на любой из них; они приобретут для него одинаковый биологический, инстинктивный смысл. Происходит их генерализация, примитивное их обобщение. Таким образом, в пределах стадии элементарной, сенсорной психики наблюдаются процессы как дифференциации, так и обобще-

ния животными отдельных воздействий, отдельных воздействующих свойств. При этом можно заметить, что эти процессы определяются не абстрактно взятым соотношением воздействий, но зависят и от самой деятельности животного. Поэтому то, будут ли животные легко дифференцировать между собой данные, объективно различные воздействия или нет, произойдет и как скоро произойдет их генерализация, зависит не только от степени и характера их абстрактно взятого объективного сходства, но прежде всего от их конкретной биологической роли. Так, например, как известно, пчелы достаточно легко дифференцируют сложные формы, близкие к формам цветка, но гораздо хуже выделяют даже ясно различающиеся отвлеченные формы. Поэтому абстрактное изучение так называемой “эквивалентности” стимулов, предложенное Ключевым (1933), не представляет, с нашей точки зрения, сколько-нибудь серьезного психологического интереса; в его теоретической основе лежит ложное представление о том, что процессы генерализации или дифференциации впечатлений прежде всего зависят от неких имманентных самому восприятию животного особенностей¹.

Главное изменение в процессе дифференциации и обобщения при переходе к перцептивной психике выражается в том, что у животных возникает дифференциация и обобщение образов *вещей*.

Проблема возникновения и развития обобщенного отражения вещей представляет собой уже гораздо более сложный вопрос, на котором необходимо остановиться специально.

Образ вещи отнюдь не является простой суммой отдельных ощущений, механическим продуктом многих одновременно воздействующих свойств, принадлежащих объективно разным вещам *A* и *B*:



Рис. 4

¹ См. *Klüver H. Behavior mechanisms in monkeys, 1933.*

Для возникновение образа необходимо, чтобы воздействующие свойства *a, б, в, г... а, в, с, d...* выступили именно как образующие два различных единства (А и В), т.е. необходимо, чтобы произошла дифференциация между ними именно *в этом отношении*. Это значит также, что при повторении данных воздействий в ряду других прежде выделенное единство их должно быть воспринято как *та же самая вещь*. Однако при неизбежной изменчивости среды и условий самого восприятия это возможно лишь в том случае, если возникающий образ вещи является *обобщенным*.

Как мы уже видели, собака, действующая по отношению к рычагу, запирающему выход из клетки, при известных условиях выделяет его. Если перенести теперь рычаг в другую обстановку (ситуацию), тоже требующую преодоления преграды, то животное находит рычаг и осуществляет соответствующую операцию, то есть ударяет по нему лапой (Протопопов, опыты Хильченко, Харьков, 1931).

В опытах А. В. Запорожца (1939) с молодым котом на высокой, стоящей посередине комнаты, деревянной подставке помещалась приманка; к одной из ее сторон пододвигался стул. Животное безуспешно пробовало влезть на подставку прямо по ее вертикальной стенке, как бы не замечая стоящего вблизи стула. Этот предмет не выделен для него. После этого стул пододвигался вплотную к окну и животное приучалось влезать по нему на подоконник. Спустя некоторое время, первый опыт снова повторяется; теперь животное для того, чтобы достать с подставки приманку, безошибочно пользуется стоящим рядом с ним стулом¹.

В описанных случаях мы наблюдаем двойные взаимосвязанные процессы: процесс *переноса* операции из одной конкретной ситуации в другую, объективно сходную с ней, и процесс выделения, формирования обобщенного образа вещи. Возникая вместе с формированием операции по отношению к данной вещи и на ее основе (ср. эксперимент с собакой, выделяющей рычаг), обобщенный образ этой вещи позволяет в дальнейшем осуществиться переносу операции в новую ситуацию; в этом процессе, благодаря из-

менению объективно-предметных условий деятельности, прежняя операция вступает в некоторое несоответствие, противоречие с ними и поэтому необходимо видоизменяется, перестраивается. Соответственно перестраивается, уточняется и вбирает в себя новое содержание также и обобщенный образ данной вещи, что в свою очередь приводит в дальнейшем к возможности переноса операции в новые предметные условия, требующие еще более точного и правильного их отражения в психике животного, и т. д.

Таким образом, восприятие здесь еще полностью включено во внешние двигательные операции животного, в которых оно вступает в непосредственный контакт с вещами. Обобщение и дифференциация, синтез и анализ происходят при этом в одном и том же едином процессе, осуществляющем приспособление животного к сложной и изменчивой вещевой среде.

Развитие двигательных операций и восприятия вещной среды, окружающей животное, характеризующее стадию перцептивной психики, внутренне связано с возникновением на этой стадии развития одного весьма своеобразного вида деятельности, а именно — *игры*.

В чем же заключается значение игры, впервые появляющейся на этой стадии развития психики? При каких условиях она возникает, чем она отличается от неигровой деятельности и почему ее появление связано именно с данной стадией развития? Если не ограничиваться рассмотрением домашних животных, но приглядеться к животным, живущим в естественных природных условиях, то нужно отметить прежде всего, что игра имеет место только у молодых животных. Что же представляет собой эта форма деятельности? Эта форма деятельности замечательна тем, что она не приводит к удовлетворению той или другой конкретной биологической потребности. Предмет, на который направлена игра, не является тем, что удовлетворяет потребности животного, например, его потребности в пище. В то же время по своему содержанию эта деятельность включает в себя такие черты, которые типичны для деятельности взрослых животных, направленной именно на

¹ См. Запорожец А. В. Уч. зап. Харьк. пед. ин-та, 1940.

удовлетворение той или иной потребности. Молодое животное осуществляет движения преследования, но при этом не преследует никакой реальной добычи, осуществляет движения нападения и борьбы, но при этом никакого реального нападения не происходит. Мы в таких случаях говорим: животное не вступает в борьбу, но играет. Не ловит другое животное, но играет с этим животным, и т. д. Значит, в игре происходит своеобразное отделение процесса от обычных его результатов. Что же составляет содержание игровой деятельности животных, что побуждает и направляет ее? Оказывается, что игровая деятельность отвечает совершенно реальным условиям, воздействующим на животное, и имеет в себе нечто, совпадающее с тем, что мы наблюдаем в неигровой деятельности того же самого рода. Это та система операций, навыков, которые очень близки друг к другу и в игровой, и в неигровой деятельности животного. Значит, в игре *операция отделяется* от деятельности и приобретает самостоятельный характер. Вот почему игра может впервые возникнуть только у тех животных, деятельность которых включает в себя операции, то есть только у животных, стоящих на стадии перцептивной психики; у нижестоящих животных никакой игры не существует.

В силу чего может возникнуть игровая деятельность? Она возникает в силу того, что молодые млекопитающие животные

развиваются в условиях, при которых их естественные потребности удовлетворяются безотносительно к успешности действия самого животного. Молодое животное накормлено животным-матерью и не нуждается в том, чтобы с первых дней своей жизни самостоятельно разыскивать, преследовать, схватывать и убивать добычу. Молодое животное защищено сильным старым животным и не испытывает необходимости в том, чтобы вступать в реальную борьбу с противником. Вмешательство в приспособительную деятельность молодых животных взрослого животного приводит к тому, что она развивается вне связи с ее непосредственными результатами, то есть именно со стороны формирования тех операций и навыков, которые лишь затем выступают как способы биологически необходимой, определяемой ее реальным предметом, деятельности. В естественных условиях, вырастая, животное перестает играть. “Взрослые животные, — замечает Бойтендейк (1933), — воспринимают и делают только то, что необходимо, что определено жизненной необходимостью”¹.

Мы специально отмечаем момент возникновения игры у животных, стоящих на стадии перцептивной психики, так как происходящее в игре отделение операции от деятельности, направленной на предмет, отвечающей *определенной* конкретной биологической потребности, является одной из важнейших предпосылок для перехода к новой, высшей стадии.

¹ *Buytendijk F. Wesen und Sinn des Spiels. 1933. S. 53.*

А.Н.Леонтьев

СТАДИЯ ИНТЕЛЛЕКТА¹

Психика большинства млекопитающих животных остается на стадии перцептивной психики, однако наиболее высокоорганизованные из них поднимаются еще на одну ступень развития.

Эту новую, высшую ступень обычно называют стадией интеллекта (или “ручного мышления”).

Конечно, интеллект животных — это совсем не то же самое, что разум человека; между ними существует, как мы увидим, огромное качественное различие.

Стадия интеллекта характеризуется весьма сложной деятельностью и столь же сложными формами отражения действительности. Поэтому, прежде чем говорить об условиях перехода на стадию интеллекта, необходимо описать деятельность животных, стоящих на этой стадии развития в ее внешнем выражении.

Интеллектуальное поведение наиболее высокоразвитых животных — человекоподобных обезьян — было впервые систематически изучено в экспериментах, поставленных В. Келером. Эти эксперименты были построены по следующей схеме. Обезьяна (шимпанзе) помещалась в клетку. Вне клетки, на таком расстоянии от нее, что рука обезьяны не могла дотянуться, помещалась приманка (банан, апельсин и др.). Внутри клетки лежала палка. Обезьяна, привлекаемая приманкой, могла приблизить ее к себе только при одном условии: если она воспользуется палкой. Как же ведет себя обезьяна в такой ситуации?

Оказывается, что обезьяна прежде всего начинает с попыток схватить приманку непосредственно рукой. Эти попытки не приводят к успеху. Деятельность обезьяны на некоторое время как бы угасает. Животное отвлекается от приманки, прекращает свои попытки. Затем деятельность начинается вновь, но теперь она идет по другому пути. Не пытаясь непосредственно схватить плод рукой, обезьяна берет палку, протягивает ее по направлению к плоду, касается его, тянет палку назад, снова протягивает ее и снова тянет назад, в результате чего плод приближается и обезьяна его схватывает. Задача решена.

По тому же принципу были построены и другие многочисленные задачи, которые ставились перед человекоподобными обезьянами; для их решения также необходимо было применить такой способ деятельности, который не мог сформироваться в ходе решения данной задачи. Например, в вольере, где содержались животные, на верхней решетке подвешивались бананы, непосредственно овладеть которыми обезьяна не могла. Вблизи ставился пустой ящик. Единственно возможный способ достать в данной ситуации бананы заключается в том, чтобы подтащить ящик к месту, над которым висит приманка, и воспользоваться им как подставкой. Наблюдения показывают, что обезьяны и эту задачу решают без заметного предварительного научения.

Итак, если на более низкой ступени развития операция формировалась медленно, путем многочисленных проб, в процессе которых удачные движения постепенно закреплялись, другие же, лишние движения, столь же постепенно затормаживались, отмирали, то в этом случае у обезьяны мы наблюдаем раньше период полного неуспеха — множество попыток, не приводящих к осуществлению деятельности, а затем как бы внезапное нахождение операции, которая почти сразу приводит к успеху. Это первая характерная особенность интеллектуальной деятельности животных.

Вторая характерная ее особенность заключается в том, что если опыт повторить еще раз, то данная операция, несмотря на то, что она была осуществлена только один

¹ *Леонтьев А.Н.* Очерк развития психики // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. I. С. 206—214.

раз, воспроизводится, т. е. обезьяна решает подобную задачу уже без всяких предварительных проб.

Третья особенность данной деятельности состоит в том, что найденное решение задачи очень легко переносится обезьяной в другие условия, лишь сходные с теми, в которых впервые возникло данное решение. Например, если обезьяна решила задачу приближения плода с помощью палки, то оказывается, что если теперь ее лишить палки, то она легко использует вместо нее какой-нибудь другой подходящий предмет. Если изменить положение плода по отношению к клетке, если вообще несколько изменить ситуацию, то животное все же сразу находит нужное решение. Решение, т. е. операция, переносится в другую ситуацию и приспособляется к этой новой, несколько отличной от первой ситуации.

Среди многочисленных данных, добытых в экспериментальных исследованиях человекоподобных обезьян, следует отметить одну группу фактов, которые представляют некоторое качественное своеобразие. Эти факты говорят о том, что человекоподобные обезьяны способны к объединению в единой деятельности двух различных операций.

Так, например, вне клетки, где находится животное, в некотором отдалении от нее кладут приманку. Несколько ближе к клетке, но все же вне пределов досягаемости животного находится длинная палка. Другая палка, более короткая, которой можно дотянуться до длинной палки, но нельзя достать до приманки, положена в клетку. Значит, для того чтобы решить задачу, обезьяна должна раньше взять более короткую палку, достать ею

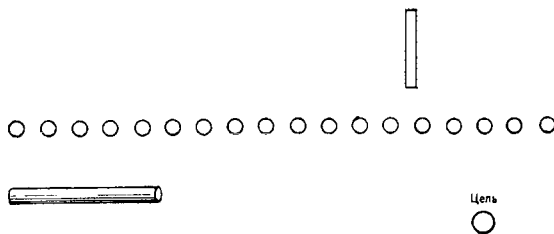


Рис. 1. Схема двухфазной задачи

длинную палку, а затем уже с помощью длинной палки пододвинуть к себе приманку (рис. 1). Обычно обезьяны справляются с подобными “двухфазными” задачами без особого труда. Итак, четвертая особенность интеллектуальной деятельности заключается в способности решения двухфазных задач.

Опыты других исследователей показали, что эти характерные черты сохраняются и в более сложном поведении человекообразных обезьян (Н. Н. Ладыгина-Котс, Э. Г. Вацуро)¹.

В качестве примера решения человекообразной обезьяной одной из наиболее сложных задач может служить следующий опыт (рис. 2). В вольере, где жили обезьяны, ставился ящик, который с одной стороны представлял собой решетчатую клетку, а с другой имел узкую продольную щель. У задней стенки этого ящика клался плод, ясно видимый и через решетку передней его стенки, и через щель сзади. Расстояние приманки от решетки было таким, что рука обезьяны не могла дотянуться до нее. Со стороны задней же стенки приманку нельзя было достать, потому что рука обезьяны не пролезала через имеющуюся в ней щель. Вблизи задней стенки клетки в землю вбивался прочный кол, к которому с помощью не очень длинной цепи прикреплялась палка.

Решение задачи заключается в том, чтобы просунуть палку сквозь щель задней стенки ящика и оттолкнуть ею плод к передней решетке, через которую он может быть взят уже простой рукой.

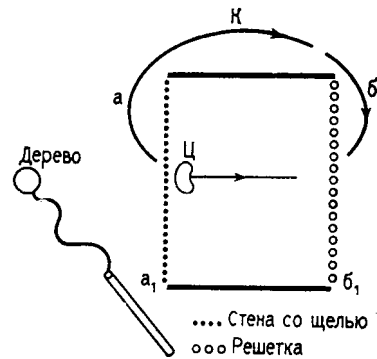


Рис. 2. Схема сложной задачи

¹ См. Ладыгина-Котс Н. Н. Исследование познавательных способностей шимпанзе. М., 1928.

Как же ведет себя животное в этой ситуации? Приблизившись в клетке и заметив плод, обезьяна раньше пытается достать его через решетку. Затем она обходит ящик, смотрит на плод через щель его задней стенки; пытается достать плод через щель с помощью палки, что невозможно. Наконец, животное отталкивает плод палкой, просунутой в щель, от себя и делает обходное движение, чтобы взять его со стороны решетки.

Как формируются все эти сложные операции, которые наблюдаются в описанных опытах? Возникают ли они действительно внезапно, без всякой предварительной подготовки, как это кажется по первому внешнему впечатлению, или же они складываются принципиально так же, как и на предшествующей стадии развития, т. е. путем постепенного, хотя и происходящего во много раз быстрее, отбора и закрепления движений, приводящих к успеху?

На этот вопрос ясно отвечает один из опытов, описанных французскими исследователями. Он проводился так: человекоподобная обезьяна помещалась в клетке. Снаружи у самой решетки ставился небольшой ящик, имеющий выход со стороны, противоположной той, которая примыкала к решетке. Около ближайшей стенки ящика клался апельсин. Для того чтобы достать апельсин в этих условиях, животное должно было выкатить его из ящика толчком от себя. Но такой толчок мог быть делом случайности. Чтобы исключить эту возможность, исследователи применили следующий остроумный способ: они закрыли сверху этот ящик частой сеткой. Ячейки сетки были такого размера, что обезьяна могла просунуть через них только палец, а высота ящика была рассчитана так, что, просунув палец, обезьяна хотя и могла коснуться апельсина, но не могла его сильно толкнуть. Каждое прикосновение могло поэтому подвинуть плод только на несколько сантиметров вперед. Этим всякая случайность в решении задачи была исключена. С другой стороны, этим была предоставлена возможность точно изучить тот путь, который проделывает плод. Будет ли обезьяна двигать плод

в любом направлении, так что путь апельсина сложится из отдельных перемещений, которые случайно приведут его к краю ящика, или же обезьяна поведет плод по кратчайшему пути к выходу из ящика, т. е. ее действия сложатся не из случайных движений, но из движений, определенным образом направленных? Лучший ответ на поставленный вопрос дало само животное. Так как процесс постепенного передвижения апельсина занимает много времени и, по-видимому, утомляет животное, то оно уже на полпути в нетерпении делает промеривающее движение рукой, т. е. пытается достать плод, и, обнаружив невозможность это сделать, снова начинает медленное выталкивание его, пока апельсин не оказывается в поле достижения его руки (П. Гюйом и И. Мейерсон)¹.

В. Келер считал, что главный признак, который отличает поведение этих животных от поведения других представителей животного мира и который сближает его с поведением человека, заключается именно в том, что операции формируются у них не постепенно, путем проб и ошибок, но возникают внезапно, независимо, от предшествующего опыта, как бы по догадке². Вторым, производным от первого признаком интеллектуального поведения он считал способность запоминания найденного решения “раз и навсегда” и его широкого переноса в другие, сходные с начальными условия. Что же касается факта решения обезьянами двухфазных задач, то В. Келер и идущие за ним авторы считают, что в его основе лежит сочетание обоих моментов: “догадки” животного и переноса найденного прежде решения. Таким образом, этот факт ими рассматривается как не имеющий принципиального значения.

С этой точки зрения, для того чтобы понять все своеобразие интеллектуальной деятельности обезьян, достаточно объяснить главный факт — факт внезапного нахождения животным способа решения первой исходной задачи.

В. Келер пытался объяснить этот факт тем, что человекоподобные обезьяны обладают способностью соотносить в восприятии отдельные выделяемые вещи друг с дру-

¹ См. *Guillaume P., Meyerson J. Recherches sur l'usage de l'instrument chez les singes // J. de Psychol. 1930. № 3—4.*

² См. *Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930.*

гом так, что они воспринимаются как об-
разующие единую “целостную ситуацию”.

Само же это свойство восприятия —
его структурность — является, по мысли
В. Келера, лишь частным случаем, выра-
жающим общий “принцип структурнос-
ти”, якобы изначально лежащий не толь-
ко в основе психики животных и человека
и в основе их жизнедеятельности, но и в
основе всего физического мира.

С этой точки зрения “принцип струк-
турности” может служить объяснитель-
ным принципом, но сам далее необъясним
и не требует объяснения. Разумеется,
попытка раскрыть сущность интеллекта
исходя из этой идеалистической “гештал-
ттеории” оказалась несостоятельной. Со-
вершенно ясно, что привлечение струк-
турности восприятия для объяснения сво-
еобразия поведения высших животных
является недостаточным. Ведь с точки зре-
ния сторонников “принципа структурнос-
ти” структурное восприятие свойственно
не только высшим обезьянам. Оно свой-
ственно и гораздо менее развитым живот-
ным, однако эти животные не обнаружи-
вают интеллектуального поведения.

Неудовлетворительным это объяснение
оказалось и с другой стороны. Подчерки-
вая внезапность интеллектуального реше-
ния и изолируя этот факт от содержания
опыта животного, В. Келер не учел целый
ряд обстоятельств, характеризующих пове-
дение обезьян в естественных условиях.

К. Бюлер, кажется, первым обратил
внимание на то, что имеется нечто общее
между приближением плода к себе с помо-
щью палки и привлечением к себе плода,
растущего на дереве, с помощью ветки. Да-
лее было обращено внимание на то, что об-
ходные пути, наблюдаемые у человекооб-
разных обезьян, тоже могут быть объяснены
тем, что эти животные, живя в лесах и пе-
реходя с одного дерева на другое, должны
постоянно предварительно “примеривать-
ся” к пути, так как иначе животное может
оказаться в тупике того естественного ла-
биринта, который образуется деревьями.
Поэтому не случайно, что обезьяны обнару-
живают развитую способность решения
задач на “обходные пути”¹.

В позднейших работах психологов и
физиологов мысль о том, что объяснение

интеллектуального поведения обезьян сле-
дует искать прежде всего в его связи с их
обычным видовым поведением в естествен-
ных условиях существования, стала выс-
казываться еще более определенно.

С этой точки зрения интеллектуаль-
ное “решение” представляет собой не что
иное, как применение в новых условиях
филогенетически выработанного способа
действия. Такой перенос способа действия
отличается от обычного переноса операций
у других животных только тем, что он
происходит в более широких границах.

Итак, согласно этому пониманию ин-
теллектуального поведения обезьян, глав-
ные его признаки, выделенные В. Келером,
должны быть соотнесены друг с другом в
обратном порядке. Не факт переноса най-
денного решения следует объяснять осо-
бым его характером (внезапность), но, на-
оборот, сам факт внезапного решения
экспериментальной задачи нужно понять
как результат способности этих животных
к широкому переносу операций.

Такое понимание интеллектуального
поведения обезьян хорошо согласуется с
некоторыми фактами и обладает тем дос-
тоинством, что оно не противопоставляет
интеллект животного его индивидуально-
му или видовому опыту, не отделяет интел-
лект от навыков. Однако это понимание
интеллектуального поведения встречается
и с серьезными затруднениями. Прежде
всего ясно, что ни формирование операции,
ни ее перенос в новые условия деятельнос-
ти не могут служить отличительными при-
знаками поведения высших обезьян, так
как оба эти момента свойственны также
животным, стоящим на более низкой ста-
дии развития. Оба эти момента мы наблю-
даем, хотя в менее яркой форме, у млекопи-
тающих, у птиц. Получается, что различие
в деятельности и психике между этими
животными и человекоподобными обезья-
нами сводится к чисто количественной ха-
рактеристике: более медленное или более
быстрое формирование операции, более уз-
кие или более широкие переносы. Но пове-
дение человекоподобных обезьян отлича-
ется от поведения низших млекопитающих
и в качественном отношении. употребле-
ние средств и особый характер их операций
достаточно ясно свидетельствуют об этом.

¹ См. Бюлер К. Основы психического развития. М., 1924.

Далее, приведенное выше понимание интеллекта животных оставляет нераскрытым самое главное, а именно то, что же представляет собой наблюдаемый у обезьян широкий перенос действия и в чем заключается объяснение этого факта.

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно еще раз поменять местами указанные В. Келером особенности интеллектуального поведения животных и сделать исходным для анализа третий характерный факт, не имеющий, по мнению В. Келера, принципиального значения, — способность обезьян решать двухфазные задачи.

В двухфазных задачах ясно обнаруживается двухфазность *всякой* интеллектуальной деятельности животного. Нужно раньше достать палку, потом достать плод. Нужно раньше оттолкнуть плод от себя, а затем обойти клетку и достать его с противоположной стороны. Само по себе доставание палки приводит к овладению палкой, а не привлекающим животное плодом. Это — первая фаза. Вне связи со следующей фазой она лишена какого бы то ни было биологического смысла. Это есть фаза приготовления. Вторая фаза — употребление палки — является уже фазой осуществления деятельности в целом, направленной на удовлетворение данной биологической потребности животного. Таким образом, если с этой точки зрения подойти к решению обезьянами любой из тех задач, которые им давал В. Келер, то оказывается, что каждая из них требует двухфазной деятельности: взять палку — приблизить к себе плод, отойти от приманки — овладеть приманкой, перевернуть ящик — достать плод и т.д.

Каково же содержание обеих этих фаз деятельности обезьяны? Первая, подготовительная фаза побуждается, очевидно, не самим тем предметом, на который она направлена, например, не самой палкой. Если обезьяна увидит палку в ситуации, которая требует не употребления палки, а, например, обходного пути, то она, конечно, не будет пытаться взять ее. Значит, эта фаза деятельности связана у обезьяны не с палкой, но с объективным отношением палки к плоду. Реакция на это отношение и есть не что иное, как приготовление дальнейшей, второй фазы деятельности — фазы осуществления.

Что же представляет собой эта вторая фаза? Она направлена уже на предмет, непосредственно побуждающий животное, и строится в зависимости от определенных объективно-предметных условий. Она включает, следовательно, в себя ту или иную операцию, которая становится достаточно прочным навыком.

Таким образом, при переходе к третьей, высшей стадии развития животных наблюдается новое усложнение в строении деятельности. Прежде слитая в единый процесс, деятельность дифференцируется теперь на две фазы: фазу приготовления и фазу осуществления. Наличие фазы приготовления и составляет характерную черту интеллектуального поведения. Интеллект возникает, следовательно, впервые там, где возникает процесс приготовления возможности осуществить ту или иную операцию или навык.

Существенным признаком двухфазной деятельности является то, что новые условия вызывают у животного уже не просто пробующие движения, но пробы различных прежде выработавшихся способов, операций. Как, например, ведет себя курица, если ее гнать из-за загородки? Пробуя выйти наружу, она слепо мечется из стороны в сторону, т. е. просто увеличивает свою двигательную активность, пока, наконец, случайное движение не приведет ее к успеху. Иначе ведут себя перед затруднением высшие животные. Они тоже делают пробы, но это не пробы различных движений, а прежде всего пробы различных операций, способов деятельности. Так, имея дело с запертым ящиком, обезьяна раньше пробует привычную операцию нажимания на рычаг; когда это ей не удается, она пытается грызть угол ящика; потом применяется новый способ: проникнуть в ящик через щель дверцы. Затем следует попытка отгрызть рычаг, которая сменяется попыткой выдернуть его рукой; наконец, когда и это не удается, она применяет последний метод — пробует перевернуть ящик (Ж. Бойтендейк).

Эта особенность поведения обезьян, которая заключается в том, что они могут решать одну и ту же задачу многими способами, представляется нам важнейшим доказательством того, что у них, как и у других животных, стоящих на той же стадии развития, операция перестает быть

неподвижно связанной с деятельностью, отвечающей определенной задаче, и для своего переноса не требует, чтобы новая задача была непосредственно сходной с прежней.

Рассмотрим теперь интеллектуальную деятельность со стороны отражения животными окружающей их действительности.

В своем внешнем выражении первая, основная фаза интеллектуальной деятельности направлена на подготовку второй ее фазы, т. е. объективно определяется последующей деятельностью самого животного. Значит ли это, однако, что животное имеет в виду свою последующую операцию, что оно способно представить ее себе? Такое предположение является ничем не обоснованным. Первая фаза отвечает объективному отношению между вещами. Это отношение вещей и должно быть отражено животным. Значит, при переходе к интеллектуальной деятельности форма психического отражения животными в действительности изменяется лишь в том, что возникает отражение не только отдельных вещей, но и их отношений (ситуаций).

Соответственно с этим меняется и характер переноса, а следовательно, и характер обобщений животных. Теперь перенос операции является переносом не только по принципу сходства вещей (например, преграды), с которыми была связана данная операция, но и по принципу сходства отношений, связей вещей, которым она отвечает (например, ветка — плод). Животное обобщает теперь отношения и связи вещей. Эти обобщения животного, конечно, формируются так же, как и обобщенное отражение им вещей, т. е. в самом процессе деятельности.

Возникновение и развитие интеллекта животных имеет своей анатомо-физиологической основой дальнейшее развитие коры головного мозга и ее функций. Какие же основные изменения в коре мы наблюдаем на высших ступенях развития животного мира? То новое, что отличает мозг высших млекопитающих от мозга низестоящих животных, — это относительно гораздо большее место, занимаемое лобной корой, развитие которой происходит за счет дифференциации ее префронтальных полей.

Как показывают экспериментальные исследования Э. Джекобсена, экстирпация (удаление) передней части лобных долей у высших обезьян, решавших до операции серию сложных задач, приводит к тому, что у них становится невозможным решение именно двухфазных задач, в то время как уже установившаяся операция доставания приманки с помощью палки полностью сохраняется. Так как подобный эффект не создается экстирпацией никаких других полей коры головного мозга, то можно полагать, что эти новые поля специфически связаны с осуществлением животными двухфазной деятельности.

Исследование интеллекта высших обезьян показывает, что мышление человека имеет свое реальное подготавливание в мире животных, что и в этом отношении между человеком и его животными предками не существует непроходимой пропасти. Однако, отмечая естественную преемственность в развитии психики животных и человека, отнюдь не следует преувеличивать их сходство, как это делают некоторые современные зоопсихологи, стремящиеся доказать своими опытами с обезьянами якобы извечность и природосообразность даже такого “интеллектуального поведения”, как работа за плату и денежный обмен¹.

Неправильными являются также и попытки резко противопоставлять интеллектуальное поведение человекообразных обезьян поведению других высших млекопитающих. В настоящее время мы располагаем многочисленными фактами, свидетельствующими о том, что двухфазная деятельность может быть обнаружена у многих высших животных, в том числе у собак, енотов и даже у кошек (правда, у последних, принадлежащих к животным “поджидателям”, — лишь в очень своеобразном выражении).

Итак, интеллектуальное поведение, которое свойственно высшим млекопитающим и которое достигает особенно высокого развития у человекообразных обезьян, представляет собой ту верхнюю границу развития психики, за которой начинается история развития психики уже совсем другого, нового типа, свойственная только человеку, — история развития человеческого сознания.

¹ См. Wolfe Y. B. Effectiveness of Token Rewards for Chimpanzees // Comparative Psychology Monographs. 1936. V. XII. N 5.

К. Э. Фабри

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.Н.ЛЕОНТЬЕВА И ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ПСИХИКИ¹

Научное познание психики человека начинается с зоопсихологии. “Ясно, что исходным материалом для разработки психических фактов должны служить, как простейшие, психические проявления у животных, а не у человека”, — подчеркивал еще 110 лет тому назад И. М. Сеченов, выделив эти слова в качестве одного из основных тезисов своего труда “Кому и как разрабатывать психологию”. Правомерность этого требования и сейчас ни одним серьезным ученым не ставится под сомнение, более того — в наше время эта задача злободневна как никогда. Познание психики невозможно без познания закономерностей ее становления и развития, без выявления ее предыстории и этапов развития психического отражения, начиная от его первичных, наиболее примитивных форм до высших проявлений психической активности животных и сопоставления последних с психическими процессами у человека. Эту поистине гигантскую задачу должна и призвана решать зоопсихология.

Разумеется, при изучении этих вопросов перед исследователем встают неимоверные трудности, в частности, очень трудно получить представление о конкретных предпосылках и условиях возникновения человеческого сознания, о непосредственной предыстории зарождения трудовой деятельности, членораздельной речи, чело-

веческого мышления и социальной жизни. Ведь зоопсихолог может опереться на поведение только современных животных. Но сравнительно-психологический анализ их поведения и поведения человека открывает вполне реальные возможности для решения обозначенных задач и выявления качественных особенностей и отличий человеческой психики. Необходимо только учесть, что история человечества — миг по сравнению с полутора миллиардами лет развития животной жизни на земле, что в результате этого грандиозного процесса эволюции возникло огромное число разнокачественных биологических категорий (и, соответственно, форм психического отражения), что эволюционный процесс развивался не линейно, а всегда несколькими параллельными путями. К тому же количество “экологических ниш” на земле необозримо, а ведь именно экологическими факторами, условиями жизни видов, занявших эти “ниши”, определяются в первую очередь особенности их психической активности, а не их филогенетическим положением. Поэтому число “типичных представителей”, которых необходимо изучать зоопсихологу, огромно (не говоря уже о том, что исследовать поведение всех животных вообще невозможно: число зоологических видов исчисляется миллионами, но даже, например, одних грызунов насчитывается свыше полутора тысяч видов!).

Отсюда следует, что первостепенная задача зоопсихологии состоит в установлении прежде всего самых *общих* закономерностей и основных этапов развития психики. Надежную основу для решения этой задачи представляет собой разрабатываемая советскими психологами теория деятельности. В этом плане большой вклад в разработку общих вопросов психического отражения у животных внес Алексей Николаевич Леонтьев. Мы имеем в виду прежде всего известные работы А.Н.Леонтьева “Проблема возникновения ощущения” и “Очерк развития психики”, впервые опубликованные в 1940–1947 гг. и вошедшие затем в его труд “Проблемы развития психики” (1959), а также посмертно опубликованную работу “Психология образа” (1979). В последней он, в частности, указал, что многие проблемы

¹ А.Н.Леонтьев и современная психология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 101—117.

зоопсихологии могут быть успешно разрешены, если рассматривать приспособление животных к жизни в окружающем их мире как приспособление к его дискретности, к связям наполняющих его вещей, их изменениям во времени и пространстве. Напомним, что в “Очерке развития психики” А.Н.Леонтьев излагает свою концепцию стадияльного развития психики в процессе эволюции животного мира.

Развивая свои идеи, А.Н.Леонтьев исходил из того, что не только у человека, но и у животных психика “включена” во внешнюю деятельность и зависит от нее, что “всякое отражение формируется в процессе деятельности животного” (1959, с. 162). Он подчеркивал, что психический образ является продуктом, практически связывающим субъект с предметной действительностью, что отражение животными среды находится в единстве с их деятельностью, что психическое отражение предметного мира порождается не непосредственными воздействиями, а теми процессами, с помощью которых животное вступает в практические контакты с предметным миром: первично деятельностью управляет сам предмет и лишь вторично его образ как субъективный продукт деятельности. По А.Н.Леонтьеву, возникновение и развитие психики обусловлено тем, “что выделяют процессы внешней деятельности, опосредующие отношения организмов к тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и развитие их жизни” (1959, с. 159). На каждом новом этапе эволюции поведения и психики животных возникает все более полная подчиненность эффекторных процессов деятельности объективным связям и отношениям свойств предметов, во взаимодействие с которыми вступает животное. Предметный мир как бы все более “втягивается” в деятельность. Именно от характера этих связей, по мнению А.Н.Леонтьева, зависит, “будет ли отражаться и насколько точно будет отражаться в ощущениях животного воздействующее на него свойство предмета” (1959, с. 212). При этом “материальную основу развития деятельности и чувствительности животных составляет развитие их анатомической организации” (1959, с. 163), т. е. морфологические структуры, в частности, нервная система развивается вместе с деятельностью.

Напрашивается вывод о том, что деятельность животного является источником познавательных способностей животных и что “познание мира” происходит у животных только в процессе и в итоге активного воздействия на окружающую среду, т. е. в ходе осуществления поведенческих актов. Чем более развиты, следовательно, двигательные возможности животного, тем выше и его познавательные способности. Можно поэтому сказать, что уровень психического отражения у тех или иных животных зависит от того, в какой мере они способны оказать воздействие на компоненты среды, насколько разнообразны и глубоки эти воздействия, а это в конечном итоге зависит от развития их двигательного аппарата. В этом мы видим воплощение теории деятельности в зоопсихологии и значение этой теории для успешного решения вопросов развития психики животных в процессе филогенеза (равно как и онтогенеза).

* * *

Как подчеркивал А.Н.Леонтьев, при изучении происхождения и развития психики необходимо учесть, что материальным субстратом психического отражения не обязательно является нервная система. Неудовлетворительность “нейропсихизма”, согласно которому возникновение психики связано с появлением нервной системы, по А.Н.Леонтьеву, “заключается в произвольности допущения прямой связи между появлением психики и появлением нервной системы, в неучете того, что орган и функция хотя и являются неразрывно взаимосвязанными, но вместе с тем связь их не является неподвижной, однозначной, раз и навсегда зафиксированной, так что аналогичные функции могут осуществляться различными органами” (1959, с. 10). Поэтому нельзя ставить возникновение психики “в прямую и вполне однозначную связь с возникновением нервной системы, хотя на последующих этапах развития эта связь не вызывает, конечно, никакого сомнения” (1959, с. 11). Таким образом, Леонтьев подошел к проблеме происхождения и развития психики с глубоко осознанным пониманием диалектического характера этого процесса: от наиболее примитивных, зачаточных форм, субстратом которых является менее дифференцированная материя —

протоплазма, к высшим формам психического отражения, возникающим на основе все более дифференцированной нервной ткани. Напрашивается вывод, что переход от, можно очевидно сказать, “плазматического” психического отражения к “нервному”, связанный с появлением тканевой структуры у животных организмов, являлся подлинным диалектическим скачком, ароморфозом в эволюции животного мира. Нет нужды доказывать, что такой диалектико-материалистический подход к эволюции психики в корне отличается от плоско-эволюционистического, по существу метафизического подхода, при котором усложнение поведения и психики животных однозначно связывается *только* (и притом часто произвольно) с изменениями в строении нервной системы.

Итак, намеченный А.Н.Леонтьевым подход к проблеме зарождения и развития психики приводит к выводу, что наличие нервной системы не является *исходным* условием развития психики, что, следовательно, психическая деятельность появилась раньше нервной деятельности. Очевидно, последняя возникла на таком уровне развития жизнедеятельности, когда осуществление жизненных функций стало уже настолько сложным, что возникла необходимость в таком специальном регуляторном аппарате, каковым и является нервная система. Затем же, уже в качестве органа психического отражения, нервная система (точнее — высшие отделы центральной нервной системы) стала необходимой основой и предпосылкой для дальнейшего развития психики. Этот сложный вопрос требует, конечно, специального рассмотрения, которое вышло бы за рамки этой статьи. Отметим лишь, что формирование нервной системы определялось решающими функциональными изменениями (коренными изменениями в жизнедеятельности организмов), т. е. имел место примат функции перед формой.

Важно отметить и указание А.Н.Леонтьева на то, что “если бы не существовало перехода животных к более сложным формам жизни, то не существовало бы и психики, ибо психика есть именно продукт усложнения жизни” (1959, с. 26), что характер психического отражения “зависит от объективного строения деятельности животных, практически связываю-

щей животное с окружающим его миром. Отвечая изменению условий существования, деятельность животных меняет свое строение, свою, так сказать, “анатомию”. Это и создает необходимость такого изменения органов и их функций, которое приводит к возникновению более высокой формы психического отражения” (там же). Как мы видим, А.Н.Леонтьев отчетливо отстаивал положение о примате функции в эволюции психики: изменившиеся условия адаптации к окружающей среде обуславливают изменение строения деятельности животных, вследствие чего меняется строение органов и их функционирование, что, в свою очередь, приводит к прогрессивному развитию психического отражения. Другими словами, А.Н.Леонтьев положил в основу своей концепции развития психики положение о том, что сущность этого процесса, его первопричина и движущая сила есть взаимодействие, представляющее собой материальный жизненный процесс, процесс установления связей между организмом и средой. Тем самым А.Н.Леонтьев распространил на сферу психического отражения известное положение марксистской философии о том, что всякое свойство раскрывает себя в определенной форме взаимодействия.

В разработанной А.Н.Леонтьевым периодизации развития психики, охватывающей весь процесс эволюции животного мира, выделяются стадии элементарной сенсорной психики, перцептивной психики и интеллекта. Это было тем более знаменательно, что, за исключением В.А.Вагнера, усилия советских зоопсихологов (Н.Ю.Войтониса, Н.Н.Ладыгиной-Котс и других) были направлены на изучение психики обезьян и не касались более низких уровней эволюции психики. Концепция стадийального развития психики, предложенная А.Н.Леонтьевым, являлась поэтому новым словом в науке, особенно на фоне традиционного упрощенного и сейчас уже вообще неприемлемого деления на три якобы последовательные “ступени” — инстинкта, навыка и интеллекта. Концепция А. Н. Леонтьева принципиально отличается от такого понимания сущности эволюции поведения и психики прежде всего тем, что в ее основу положен не формальный признак деления всего поведения

животных на врожденное (якобы “низшее”) и благоприобретаемое (“высшее”). Сейчас уже хорошо известно, что врожденное, инстинктивное поведение не является более примитивным по сравнению с индивидуально приобретаемыми (научением), а что, наоборот, оба эти компонента эволюционировали совместно, представляя единство целостного поведения, и что, соответственно, на высших этапах филогенеза мощное прогрессивное развитие получили как процессы научения, так и инстинктивные (генетически фиксированные) компоненты поведения животных.

К сожалению, однако, упомянутые упрощенческие, по существу метафизические, представления об этапах эволюции поведения животных, соответствующие уровню знаний 20-х годов, подчас преподносятся и поныне, особенно в работах некоторых физиологов. Так, например, В. Детьер и Э. Стеллар предлагают даже неизвестно по каким количественным данным вычерченное изображение кривых, из которых явствует, что простейшие сильны таксисами, у “простых” (?) многоклеточных же появляется, причем сразу “на полной мощности”, рефлекс, насекомые являются всецело “инстинктивными” и “рефлекторными” животными, рыбы в основном также, но немного способны к обучению, птицы — наполовину “инстинктивными”, наполовину “обучающимися”, а млекопитающие — вполне обучающимися. При этом одна категория якобы сменяет другую: таксисы будто окончательно исчезают у птиц и низших млекопитающих, рефлекс и инстинкты теряют всякое приспособительное значение у низших приматов, которые якобы, как и низшие млекопитающие, адаптируются исключительно с помощью обучения и (приматы) отчасти мышления. Все это всецело противоречит современным знаниям о поведении животных. Можно, например, напомнить, что таксисы, эти ориентирующие компоненты любого поведенческого акта, непременно присущи поведению всех без исключения животных, а также человеку.

Проблемы психики животных не терпят упрощенчества, а тем более “глобальных” псевдорешений и дилетантского отношения, которые подчас встречаются в публикациях, авторы которых далеки от зоопсихологии, не считают нужным при-

нять ее во внимание, но спешат выступить с поверхностными, нередко надуманными сенсационными “объяснениями”. Только зоопсихологии, которая прежде всего является наукой об эволюции психики, по плечу задача научного познания закономерностей психики на всех уровнях филогенеза животных, вплоть до подступов зарождения человеческого сознания.

Иногда в качестве решающего критерия эволюции поведения и психики животных пытаются использовать степень сложности строения центральной нервной системы. В этих случаях за исходное принимается морфологическая структура, якобы определяющая филогенетический уровень и специфику поведения. Разумеется, при решении вопросов эволюции психики непременно надо учитывать строение и функции нервной системы изучаемых животных (наряду с другими их морфофункциональными признаками, например, двигательного аппарата). Но, как мы уже неоднократно указывали, особенности макростроения центральной нервной системы, особенно головного мозга, далеко не всегда отвечают особенностям поведения животных, уровню их психической деятельности. Достаточно указать, например, на птиц, психическая деятельность которых по уровню своего развития вполне может быть приравнена к таковой у млекопитающих, в то время как головной мозг птиц лишен вторичного мозгового свода — серой коры больших полушарий (неопаллиума), содержащей высшие ассоциативные центры. Аналогично поражает сложностью своего поведения, граничащего подчас с интеллектуальным, крыса, мозг которой является весьма примитивным по своему строению: с гладкой поверхностью больших полушарий, лишенной борозд (последние появляются среди грызунов и зайцеобразных только у бобра, сурка и зайцев).

Тем не менее нередко высказывается мнение, будто прогресс в эволюции поведения животных первично определяется морфологическими изменениями в центральной нервной системе (например, увеличением числа нейронов в результате мутации). Совершенно ясно, что единственно верным является противоположный подход, при котором признается примат функции перед формой (строением), подход, успешно осуществляемый и в советской

эволюционной морфологии. При решении вопросов развития психики (как в филогенезе и онтогенезе), и вообще любых зоопсихологических оценках, это означает, что морфологические изменения появляются вторично в результате изменений поведения, которые, в свою очередь, порождаются изменениями в образе жизни, когда возникает необходимость в установлении новых связей с компонентами окружающей среды. А поскольку поведение представляет собой совокупность всех двигательных актов животного, то можно сказать, что связанные с эволюцией психики морфологические изменения были первично обусловлены изменениями в двигательной активности животных, биологическое значение которой и состоит в установлении жизненно необходимых для организма связей со средой. Конечно, надо при этом помнить, что мы имеем здесь дело с диалектическим процессом, ибо затем возникшие новые формы (морфологические новообразования или количественные изменения) уже, в свою очередь, оказывают направляющее, развивающее влияние на функцию (поведение). Но во всяком случае прогрессивные изменения в нервной (и рецепторной) системе возникают как следствие адаптивных изменений двигательной активности животного и сопряженных с ними адекватных изменений в строении двигательного аппарата. Вот где следует искать первоисточник эволюционных преобразований в психической сфере животных.

* * *

Со времени опубликования А.Н.Леонтьевым концепции стадийного развития психики в процессе эволюции прошло более сорока лет и можно с уверенностью сказать, что в целом эта концепция выдержала “проверку временем” и не утратила своего научного значения как общая теория эволюции психики в мире животных. Но это сорокалетие было периодом поистине бурного развития науки о поведении животных, и за эти годы был накоплен огромный материал, заставляющий нас во многом по-новому смотреть на психическую деятельность животных и внести соответствующие поправки в прежние представления, в частности, касающиеся оценки уровня психического развития того

или иного систематического таксона животных. Пришлось нам внести существенные уточнения и в предложенную А.Н.Леонтьевым периодизацию эволюции психики (Фабри, 1976).

Прежде всего оказалось необходимым внести в эту периодизацию новые подразделения — уровни психического развития. Как в пределах элементарной сенсорной, так и перцептивной психики мы выделили низший и высший уровни развития, имея при этом в виду, что в дальнейшем следует ввести дополнительно еще промежуточные уровни. Эти уровни обозначают по существу процесс развития самой элементарной или, соответственно, перцептивной психики.

Исходя из общего положения, что “каждая новая ступень психического развития имеет в своей основе переход к новым внешним условиям существования животных и новый шаг в усложнении их физической организации” (1959, с. 193), А.Н.Леонтьев называет в качестве общего критерия *стадии элементарной сенсорной психики*, обусловленную приспособлением к вещно оформленной среде способность к отражению отдельных свойств среды. При этом двигательная активность, деятельность, по Леонтьеву, “пробуждается тем или иным воздействующим на животное свойством, на которое она вместе с тем направлена, но которое не совпадает с теми свойствами, от которых *непосредственно* зависит жизнь данного животного” (1959, с. 159).

Выделенный нами *низший уровень* стадии элементарной сенсорной психики характеризуется наиболее примитивными, точнее сказать, зачаточными проявлениями психического отражения, когда животные (простейшие, многие низшие многоклеточные) хотя и четко реагируют на биологически незначимые свойства компонентов среды как на сигналы о присутствии жизненно важных условий среды, но еще очень несовершенным образом. Эти реакции еще не носят характер подлинного активного ориентировочного поведения. В основном это — изменение скорости и направления движения (только в водной среде) в градиенте раздражителя определенной модальности (химического, температурного и т.п.), но не активный поиск благоприятных условий среды и жизненно необхо-

димых ее компонентов. К тому же сигнальное значение свойств последних в большой степени еще слито с непосредственно жизненно необходимыми свойствами. По этой причине и отсутствует подлинная ориентация: нет еще топотаксисов, а представлены лишь первичные элементы таксисного (ориентировочного) поведения — ортотаксисы и клинотаксисы, а также фобические реакции, позволяющие животному избегать неблагоприятные внешние условия. Двигательная активность представлена на этом низшем уровне развития психики самыми элементарными формами локомоции — кинезами, осуществляемыми в основном (за исключением амёб и споривиков) с помощью наиболее примитивного, первичного в животном мире двигательного аппарата — жгутиков, у более высокоорганизованных — при помощи ресничек. Вместе с тем, особенно у многоклеточных животных, уже появляются сократительные движения, лежащие в основе поведения всех высших животных. Манипуляционные движения (активное перемещение предметов, чаще всего в сочетании с физическим воздействием на них) ограничиваются у одноклеточных созданием потоков воды в окружающем их пространстве, у примитивных многоклеточных же они уже представлены простыми формами перемещения объектов с помощью щупалец, этих первых специальных эффекторов, т. е. органов манипулирования.

Пластичность поведения на низшем уровне элементарной сенсорной психики еще очень невелика. Выражается это, в частности, в том, что индивидуальная изменчивость поведения ограничена элементарной формой научения — привыканием, и лишь в отдельных случаях возможно встречаются зачатки ассоциативного научения. Особенно это относится к одноклеточным, которым подчас вовсе отказывают в способности к (ассоциативному) научению. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что на этом начальном уровне развития психики не может быть сколь угодно выраженного ассоциативного научения ввиду того, что еще не вполне сформировалась способность животных к реагированию на “биологически нейтральные”, т. е. лишённые жизненного значения, свойства компонентов среды как на сигналы. А без этого, понятно, невозможно обра-

зование временных связей. В целом напрашивается вывод, что на низшем уровне элементарной сенсорной психики психическое отражение еще не приобрело самостоятельного значения, что наряду с психическим отражением внешняя активность животных в большой мере еще детерминируется также элементами допсихического отражения, которые составляют своеобразное единство с элементами зарождающегося психического отражения. Конкретно это означает, что на этом уровне представлены только элементы чувствительности, ее зачатки в самом примитивном виде, сосуществующие в поведении этих животных с ярко выраженной раздражимостью. Очевидно, только на более высоких уровнях эволюции значение раздражимости как детерминанты поведения сводится на нет. Этот вывод относится прежде всего к простейшим. Но при этом следует учесть, что простейшие — особая, рано отклонившаяся филогенетическая ветвь и что, главное, современные простейшие являются продуктом эволюционного процесса, длившегося 1—1,5 миллиарда лет! Поэтому и строение, и поведение современных “простейших” являются уже намного более сложными, чем у их ископаемых предков, и к тому же четко специализированными. Есть поэтому все основания полагать, что на заре зарождения животной жизни должен был существовать еще более низкий, чем у современных одноклеточных, действительно первоначальный уровень психического отражения, который давно уже исчез вместе с древнейшими ископаемыми животными и о характере которого мы можем строить лишь гипотетические предположения. Но правомерно допустить, что на том исходном уровне развития психического отражения первичные формы внешней двигательной активности, поведения детерминировались только раздражимостью.

Высший уровень стадии элементарной сенсорной психики мы определяем как такой этап, на котором психическое отражение, хотя также еще полностью отвечает сформулированным А. Н. Леонтьевым общим признакам данной стадии, т. е. ограничено рамками ощущений, но сочетается с достаточно сложным поведением. Находящиеся на этом уровне животные — высшие (кольчатые) черви,

брюхоногие моллюски (улитки) и некоторые другие беспозвоночные — не только уже четко отличают сигнальное значение “биологически нейтральных” раздражителей, но и обладают уже развитым таксисным поведением: на этом уровне впервые появляются высшие таксисы (топотаксисы), с помощью которых животные способны не только избегать неблагоприятных условий среды и уходить от них, но и вести активный поиск положительных раздражителей, приводящий их не случайно к жизненно необходимым компонентам среды, а “целенаправленно”. Возможность точно локализовать биологически значимые объекты, активно взаимодействовать с ними экономит много энергии и времени при осуществлении поведенческих актов. Все это подняло жизнедеятельность на качественно иной уровень и существенно обогатило психическую сферу этих животных.

Основу такого эволюционного новобретения составляет развитая двигательная активность, которая проявляется в весьма разнообразных формах. Особенно это относится к локомоторным движениям, которые представлены ползанием, рытвом в грунте, плаванием, причем впервые осуществлен выход из воды на сушу (дождевые черви, наземные пиявки и улитки), т. е. в совершенно иную среду обитания с в корне отличными условиями существования. Впервые появился важнейший для дальнейшей эволюции психики орган манипулирования — челюсти, с помощью которых выполняются довольно разнообразные манипуляционные движения, но конечности представлены лишь в примитивнейшем, зачаточном виде, и то лишь у некоторых червей (параподии полихет). Соответственно и локомоторные движения выполняются медленно — за отдельными исключениями животные не способны на этом уровне эволюции психики развить большую скорость. Поведение характеризуется еще низкой пластичностью, индивидуальным опытом, процессы научения играют в жизни этих животных еще небольшую роль, решающее значение имеют жесткие врожденные программы поведения. Но все же на этом уровне уже вполне проявляется способность к образованию подлинных ассоциативных связей, хотя формируются они, как правило, в ограниченных пределах, медленно и на

основе лишь большого числа сочетаний, а сохраняются недолго. Обнаруживаются и некоторые зачатки сложных форм поведения, характерные для представителей стадии перцептивной психики (конструктивной деятельности, территориальности, антагонистического поведения, общения).

В целом психика животных, представляющих высший уровень элементарной сенсорной психики, предстает перед нами в достаточно пестром виде: с одной стороны, эти животные, так же как наиболее низкоорганизованные представители животного мира, ориентируют свое поведение только по отдельным свойствам предметов (или их сочетаниям) и еще отсутствует способность к восприятию предметов как таковых (лишь у некоторых хорошо и быстро плавающих хищных многощетинковых червей, да у некоторых улиток, может быть, существует какое-то элементарное предметное восприятие); с другой стороны, наличие более совершенных двигательных и сенсорных систем, особенно же нервной системы типа ганглионарной лестницы и головы с мозговым ганглием позволяет животным на этом уровне психического развития устанавливать весьма разнообразные и подчас довольно сложные связи с компонентами окружающей среды, в результате чего достигается более многостороннее и более содержательное психическое отражение этих компонентов.

* * *

Стадия перцептивной психики характеризуется А. Н. Леонтьевым прежде всего “способностью отражения внешней объективной действительности уже не в форме отдельных элементарных ощущений, вызываемых отдельными свойствами или их совокупностью, но в форме отражения *вещей*” (1959, с. 176), причем переход к этой стадии связан с изменением строения деятельности животных, которое “заключается в том, что уже наметившееся раньше содержание ее, объективно относящееся не к самому предмету, на который направлена деятельность животного, но к тем условиям, в которых этот предмет объективно дан в среде, теперь выделяется” (там же). И далее: “Если на стадии элементарной сенсорной психики дифференциация воздействующих свойств была связана с простым их объединением вок-

руг доминирующего раздражителя, то теперь впервые возникают процессы интеграции воздействующих свойств в единый целостный образ, их объединение как свойств одной и той же вещи. Окружающая действительность отражается теперь животным в форме более или менее расчлененных образов отдельных вещей” (1959, с. 177). В результате возникает и новая форма закрепления опыта животных — двигательные навыки, определяемая А.Н.Леонтьевым как закрепленные операции, которыми он обозначает “особый состав или сторону деятельности, отвечающую условиям, в которых дан побуждающий ее предмет” (там же).

Применяя эти критерии с учетом современных знаний о поведении животных, нам пришлось значительно понизить филогенетическую грань между элементарной сенсорной и перцептивной психикой по сравнению с представлениями А.Н. Леонтьева, который провел эту грань выше рыб (Фабри, 1976). На самом деле, как сегодня хорошо известно, указанные А.Н.Леонтьевым критерии перцептивной психики вполне соответствуют психической деятельности рыб и других низших позвоночных и даже, правда с определенными ограничениями, высших беспозвоночных. Уже по этой причине нельзя согласиться с высказанным А. Н. Леонтьевым мнением, будто появление перцептивной психики обусловлено переходом животных к наземному образу жизни.

Высшие беспозвоночные (членистоногие и головоногие моллюски) достигли *низшего уровня* перцептивной психики и соответственно проявляют в своем поведении еще немало примитивных черт. Поведение этих животных, составляющих подавляющее большинство всех существующих на земле видов, еще очень мало изучено, и не исключено, что среди низших членистоногих многие виды остались за пределами перцептивной психики. Но и у высших членистоногих, в том числе и у наиболее высокоорганизованных насекомых, в поведении преобладают ригидные, “жестко запрограммированные” компоненты, а пространственная ориентация осуществляется по-прежнему преимущественно по отдельным свойствам предметов. Предметное же восприятие, хотя уже представлено в развитой форме, играет в поведении членистоно-

гих лишь подчиненную роль (значительно большее значение оно имеет, очевидно, для головоногих моллюсков). Но, с другой стороны, ведь и у позвоночных (включая высших) пространственно-временная ориентация осуществляется преимущественно на уровне элементарных ощущений (ольфакторных, акустических, оптических и др.). Достаточно вспомнить, что именно на этом механизме построено реагирование на ключевые раздражители, детерминирующие жизненно необходимые действия как низших, так и высокоорганизованных животных.

Представители низшего уровня перцептивной психики обитают повсеместно, во всех климатических зонах, во всех средах, во всех “экологических нишах”. Локомоторные способности этих животных проявляются в очень разнообразных и весьма сложных формах. В сущности, здесь представлены все виды локомоции, которые вообще существуют в мире животных: разнообразные формы плавания, в том числе реактивное (у головоногих моллюсков), ныряние, ползание (в воде и на суше), ходьба, бег, прыгание, лазание, передвижение с помощью цепляния и подтягивания тела (например, у осьминогов), роющее или грызущее передвижение в субстрате (в грунте, в древесине и т. п.) и другие. Здесь же мы встречаем тех животных, которые впервые освоили воздушное пространство, это первые летающие животные на земле (насекомые), причем полет представлен у них в совершенстве. Помимо этой активной формы (с помощью крыльев) существует и пассивная (с помощью паутинок). Возникновение такой качественно новой формы локомоции, как полет, было, конечно, важным событием в эволюции животного мира. Значительно большее, однако, значение имело для эволюции психики появление на этом уровне подлинных, сложно устроенных конечностей — ног, в результате чего не только существенно расширилась сфера активности животных, но и возникли совершенно новые, принципиально иные условия для активного воздействия на компоненты среды, возникли предпосылки полноценного манипулирования предметами. Конечно, на данном эволюционном уровне манипулирование еще слабо развито, хотя на этом уровне впервые по-

являются специальные хватательные конечности (клешневидные педипальцы скорпионов и лжескорпионов, клешни раков и крабов, хватательные конечности богомолов и т. п.). Однако главным органом манипулирования остается по-прежнему челюстной аппарат, который у членистоногих весьма сложно устроен. Тем не менее, челюсти, как и хватательные конечности членистоногих, производят только весьма однообразные (именно “клещевидные”) движения. Иногда в воздействиях на предметы участвуют и ходильные конечности (креветки, пауки, жук-скарабей и др.). Дифференцированные и разнообразные манипуляционные движения же у членистоногих отсутствуют. У головоногих, правда, манипуляционная активность играет значительно большую роль, и они снабжены превосходными хватательными органами — щупальцами, которые нередко справедливо называют руками, функциональными аналогами которых они действительно являются. Поэтому головоногие (особенно осьминоги) способны, вероятно, к значительно более разностороннему и полноценному двигательному обследованию объектов манипулирования, чем членистоногие, тем более что головоногие обладают превосходным зрением, аналогичным таковому позвоночных, и движения щупалец происходят в поле их зрения. Однако поведение головоногих моллюсков еще крайне слабо изучено.

Изучение форм и уровня развития локомоции и манипулирования имеет, несомненно, исключительное значение для познания психических способностей животных. Мы исходим при этом из того, что психические процессы всегда воплощаются или в локомоторной, или в манипуляционной внешней активности (а также в некоторых особых формах демонстрационного поведения), а первично зависят от уровня развития и степени дифференцированности этих движений. Это относится ко всем формам и возможностям познавательной деятельности животных, вплоть до высших психических способностей; всегда любая встающая перед животным задача может быть решена только или локомоторным, или манипуляционным путем. <...> У членистоногих абсолютно доминирует локомоторное решение задач. Соответственно преоблада-

ет и пространственная ориентация над манипуляционным обследованием предметов. Последнее, вероятно, вообще встречается, причем лишь в самых примитивных формах, среди членистоногих только у некоторых высших насекомых, пауков и некоторых высших ракообразных.

Пространственная ориентация характеризуется на низшем уровне перцептивной психики четко выраженным активным поиском положительных раздражителей (наряду с мощно и многообразно развитым защитным поведением, т. е. избеганием отрицательных раздражителей). Большую роль играют в жизни этих животных и впервые появившиеся в филогенезе мнемотаксисы (ориентация по индивидуально выученным ориентирам). Процессы научения занимают в поведении животных на этом уровне вообще заметное место, но примитивной чертой является их неравномерное распределение по разным сферам жизнедеятельности (преимущественно способность к научению проявляется в пространственной ориентации и пищедобывательной деятельности), а также подчиненное положение научения по отношению к инстинктивному поведению: научение служит здесь прежде всего для совершенствования врожденных компонентов поведения, для придания им должной пластичности, но оно еще не приобрело самостоятельного значения, как это имеет место у представителей высшего уровня перцептивной психики.

Здесь необходимо, однако, вновь сделать оговорку относительно головоногих моллюсков, которых, вероятно, вообще следует поместить на более высокий уровень, чем членистоногих, тем более что они по многим признакам строения и поведения проявляют черты аналогии с позвоночными, а также сопоставимы с последними по размерам. Наряду с высокоразвитыми формами инстинктивного поведения (территориальное и групповое поведение, ритуализация, сложные формы ухода за потомством — икрой), которые, правда, встречаются и у членистоногих, у головоногих описаны проявления “любопытства” по отношению к “биологически нейтральным” объектам и высокоразвитые конструктивные способности (сооружение с помощью “рук” валов и построек-убежищ у осьминога). Головоногие (осьминоги) в

отличие от членистоногих (включая “одомашненных” пчел) способны общаться с человеком (это первый случай на филогенетической лестнице) и поэтому могут даже приручаться!

* * *

Обозначенные выше характеристики дают достаточное представление о том, что низший уровень, точнее, низшие уровни стадии перцептивной психики обнаруживают еще ряд примитивных признаков, унаследованных от элементарной сенсорной психики.

Безусловно, существуют и промежуточные уровни перцептивной психики, которые еще предстоит выделить в ряду позвоночных. Здесь мы вкратце коснемся только *высшего уровня* перцептивной психики. На этом уровне находятся высшие позвоночные (птицы и млекопитающие), к которым А.Н.Леонтьев и относил всю стадию перцептивной психики. Поведение этих животных хорошо изучено. Мы имеем здесь дело с вершиной эволюции психики, с высшими проявлениями психической деятельности животных. Это относится как к двигательной, так и сенсорной сферам, как к компонентам врожденного, так и приобретаемого поведения. Иными словами, здесь достигают наивысшего развития как инстинктивное поведение, так и способность к его индивидуальной модификации, т. е. способность к научению. О наивысших проявлениях этой способности мы говорим как об интеллектуальном поведении, основанном на процессах элементарного мышления. По меньшей мере на высшем уровне перцептивной психики у животных уже складываются определенные “образы мира”. У животных следует, очевидно, понимать под психическим образом практический опыт их взаимодействия с окружающим миром, который актуализируется в результате повторного восприятия его конкретных предметных ситуаций.

О характере этих образов можно судить по результатам изучения ориентировочно-исследовательской деятельности млекопитающих, осуществленного на серых крысах в нашей лаборатории (Мешкова, 1981). Так, например, было установлено, что в ходе активного ознакомления с особенностями нового пространства или нового

предмета у животных наблюдается своеобразный процесс уподобления внешней активности, поведения особенностям обследуемого пространства или предмета. При этом происходит постепенное увеличение степени адекватности поведения животных условиям нового пространственного окружения или свойствам предмета. Вместе с тем, ориентировочно-исследовательская деятельность всегда разворачивается под определяющим влиянием формирующегося образа, который обуславливает возможность дальнейшего обследования пространства или предмета. По мере того как возрастает адекватность поведения в новой ситуации, его соответствие объективным условиям этой ситуации, ориентировочно-исследовательская деятельность угасает и животное возвращается к повседневной жизнедеятельности. Это позволяет говорить о том, что к этому времени образ данной ситуации и действий животного в ней уже сформирован. Эта приспособленность поведения к новым условиям окружающей среды и является биологически адекватным, необходимым для выживания результатом формирования “образов мира” у животных. Проведенное исследование является, вероятно, первой попыткой подойти со стороны зоопсихологии к конкретизации и анализу процесса формирования образа.

Надо думать, что образы будут существенно отличаться друг от друга в зависимости от того, на какой основе они формировались. Так, образы, возникшие на основе лишь локомоторной активности (при ознакомлении с новым пространством) будут иными, чем те, которые формировались на основе манипуляционных действий (при манипуляционном обследовании новых предметов). Локомоция дает животному обширные пространственные представления, манипулирование же — углубленные сведения о физических качествах и структуре предметов. Оно позволяет полноценно выделять предметные компоненты среды как качественно обособленные самостоятельные единицы и подвергнуть их такому обследованию, которое у высших представителей животного мира служит основой интеллекта. Локомоторные формы ориентации и реагирования на ситуации новизны для этого недостаточны.

* * *

А.Н.Леонтьев выделил особую (третью) “стадию интеллекта”, причем специально для человекообразных обезьян. Главный критерий интеллектуального поведения, по Леонтьеву, — перенос решения задачи в другие условия, лишь сходные с теми, в которых оно впервые возникло, и объединение в единую деятельность двух отдельных операций (решение “двухфазных” задач). При этом он указывал на то, что сами по себе формирование операции и ее перенос в новые условия деятельности “не могут служить отличительными признаками поведения высших обезьян, так как оба эти момента свойственны также животным, стоящим на более низкой стадии развития. Оба эти момента мы наблюдаем, хотя в менее яркой форме, также и у многих других животных — у млекопитающих, у птиц” (1959, с. 189). Но от последних операций человекообразных обезьян отличаются особым качеством — двухфазностью, причем первая, подготовительная, фаза лишена вне связи со следующей фазой (фазой осуществления) какого бы то ни было биологического смысла. “Наличие фазы приготовления и составляет характерную черту интеллектуального поведения. Интеллект возникает, следовательно, впервые там, где возникает процесс приготовления возможности осуществить ту или иную операцию или навык” (1959, с. 191).

Следует отметить, что сама по себе двухфазность, наличие подготовительной и завершающей фаз, как мы сегодня знаем, присуща любому поведенческому акту, и, следовательно, в такой общей формулировке этот признак был бы недостаточен как критерий интеллектуального поведения животных. Однако при решении задач на уровне интеллектуального поведения, как подчеркивает А. Н. Леонтьев, “существенным признаком двухфазной деятельности является то, что новые условия вызывают у животного уже не просто пробуемые движения, но пробы различных прежде выработавшихся способов, операций” (1959, с. 191). Отсюда вытекает и важнейшая для интеллектуального поведения способность “решать одну и ту же задачу многими способами” (там же), что, в свою очередь, доказывает, что здесь “операция перестает быть неподвижно связанной с деятельнос-

тью, отвечающей определенной задаче, и для своего переноса не требует, чтобы новая задача была непосредственно сходной с прежней” (там же). В итоге при интеллектуальной деятельности “возникает отражение не только отдельных вещей, но и их отношений (ситуаций)... Эти обобщения животного, конечно, формируются так же, как и обобщенное отражение им вещей, т. е. в самом процессе деятельности” (там же, с. 192).

Общая характеристика и критерии интеллекта животных, предложенные А.Н.Леонтьевым, сохраняют свое значение и на сегодняшний день. Однако следует иметь в виду, что Леонтьев проанализировал эту сложнейшую проблему традиционно только на примере лабораторного изучения способности шимпанзе к решению (искусно придуманных экспериментатором) задач с помощью орудий. Вместе с тем, как мы сейчас знаем, двухфазная орудийная деятельность в весьма разнообразных формах распространена и среди других животных, больше всего даже среди птиц, и, как показывают данные ряда современных авторов, может быть с неменьшим успехом воспроизведена у них в эксперименте. Каждый год приносит новые неожиданные данные, свидетельствующие о том, что антропоиды не обладают монополией на решение таких задач. К тому же орудийная деятельность — не обязательный компонент интеллектуального поведения, которое, как также свидетельствуют современные данные, может проявляться и в других формах, причем опять же не только у антропоидов, но и у разных других животных (вероятно, даже у голубей). А с другой стороны, орудийные действия встречаются и у беспозвоночных, у которых явно не может быть речи об интеллектуальных формах поведения. Наконец, практически невозможно провести четкую грань между разнообразнейшими сложными навыками и интеллектуальными действиями высших позвоночных (например, у крыс), поскольку в ряду позвоночных навыки, постепенно усложняясь, плавно переходят в интеллектуальные действия.

Таким образом, в том или ином виде, часто в более элементарных формах, интеллектуальное поведение (или трудно отделимые от него сложные навыки) доволь-

но широко распространено среди высших позвоночных. Поэтому если исходить из критериев А. Н. Леонтьева, то в соответствии с современными знаниями невозможно провести грань между некоей особой стадией интеллекта и якобы ниже расположенной стадией перцептивной психики. Все говорит за то, что способность к выполнению действий интеллектуального типа является одним из критериев высшего уровня перцептивной психики, но встречается эта способность не у всех представителей этого уровня, не в одинаковой степени и не в одинаковых формах.

Итак, приведенные А. Н. Леонтьевым критерии интеллекта уже не применимы к одним лишь антропоидам, а “расплываются” в поведении и других высших позвоночных. Но означает ли это, что шимпанзе и другие человекообразные обезьяны утратили свое “акме”, свою исключительность? Отнюдь нет. Это означает лишь, что не в этих общих признаках интеллектуального поведения отражаются качественные особенности поведения антропоидов. Решающее значение имеют в этом отношении качественные отличия манипуляционной активности обезьян, позволяющие им улавливать не только наглядно воспринимаемые связи между предметами, но и знакомиться со строением (в том числе и внутренним) объектов манипулирования. При этом движения рук и, соответственно, тактильно-кинестетические ощущения вполне сочетаются со зрением, из чего следует, что зрение у обезьян также “воспитано” мышечным чувством, как это показал для человека еще И.М.Сеченов. Вот почему обезьяны способны к значительно более глубокому и полноценному познанию, чем все другие животные. Эти особенности манипуляционной исследовательской деятельности дают основание полагать, что вопреки прежним представлениям обезьяны (во всяком случае человекообразные)

способны усмотреть и учесть причинно-следственные связи и отношения, но только наглядно воспринимаемые, “прощупываемые” физические (механические) связи. На этой основе и орудийная деятельность обезьян поднялась на качественно иной, высший уровень, как и вообще отмеченные отличительные особенности их манипуляционной активности привели к недостижимому для других животных развитию психики, к вершине интеллекта животных. Главное при всем этом заключается в том, что развитие интеллекта (как и вообще психики) шло у обезьян в принципиально ином, чем у других животных, *направлении* — в том единственном направлении, которое только и могло привести к возникновению человека и человеческого сознания: прогрессивное развитие способности к решению манипуляционных задач на основе сложных форм предметной деятельности легло в основу того присущего только обезьянам “ручного мышления” (термин И.П.Павлова), которое в сочетании с высокоразвитыми формами компенсаторного манипулирования (Фабри) являлось важнейшим условием зарождения трудовой деятельности и специфически человеческого мышления. Сказанное дает, очевидно, основания для выделения в пределах перцептивной психики специально “*наивысшего уровня*”, который, хотя и будет представлен обезьянами, однако, по указанным выше причинам не будет соответствовать “стадии интеллекта”, как она была сформулирована А.Н.Леонтьевым.

Проблема эволюции психики — чрезвычайно сложная и требует еще всестороннего обстоятельного изучения. Советские зоопсихологи с большой благодарностью вспоминают Алексея Николаевича Леонтьева, который не только глубоко понимал значение зоопсихологических исследований, но и сделал очень много для утверждения и прогресса нашей науки.

Часть 2. Возникновение, историческое развитие и структура сознания

А.Н.Леонтьев

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА¹

1. Условия возникновения сознания

Переход к сознанию представляет собой начало нового, высшего этапа развития психики. Сознательное отражение в отличие от психического отражения, свойственного животным, — это отражение предметной действительности в ее отделенности от наличных отношений к ней субъекта, т. е. отражение, выделяющее ее объективные устойчивые свойства.

В сознании образ действительности не сливается с переживанием субъекта: в сознании отражаемое выступает как “предстоящее” субъекту. Это значит, что когда я сознаю, например, эту книгу или даже только свою мысль о книге, то сама книга не сливается в моем сознании с моим переживанием, относящимся к этой книге, сама мысль о книге — с моим переживанием этой мысли.

Выделение в сознании человека отражаемой реальности как объективной имеет в качестве другой своей стороны выделение мира внутренних переживаний и

возможность развития на этой почве самонаблюдения.

Задача, которая стоит перед нами, и заключается в том, чтобы проследить условия, порождающие высшую форму психики — человеческое сознание.

Как известно, причиной, которая лежит в основе процесса очеловечения животного-подобных предков человека, является возникновение труда и образование на его основе человеческого общества. “...Труд, — говорит Энгельс, — создал самого человека”². Труд создал и сознание человека.

Возникновение и развитие труда, этого первого, основного условия существования человека, привело к изменению и очеловечению его мозга, органов его внешней деятельности и органов чувств. “Сначала труд, — так говорит об этом Энгельс, — а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству”³. Главный орган трудовой деятельности человека — его рука — могла достичь своего совершенства только благодаря развитию самого труда. “Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям... человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини”⁴.

Если сравнивать между собой максимальные объемы черепа человекообразных обезьян и черепа первобытного человека, то оказывается, что мозг последнего превы-

¹ Леонтьев А.Н. Очерк развития психики // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. I. С. 222—237.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 486.

³ Там же. С. 490.

⁴ Там же. С. 488.

шает мозг наиболее высокоразвитых современных видов обезьян более чем в два раза (600 см³ и 1400 см³).

Еще резче выступает различие в величине мозга обезьян и человека, если мы сравним его вес; разница здесь почти в 4 раза: вес мозга орангутанга — 350 г, мозг человека весит 1400 г.

Мозг человека по сравнению с мозгом высших обезьян обладает и гораздо более сложным, гораздо более развитым строением.

Уже у неандертальского человека, как показывают слепки, сделанные с внутренней поверхности черепа, ясно выделяются в коре новые, не вполне дифференцированные у человекообразных обезьян поля, которые затем у современного человека достигают своего полного развития. Таковы, например, поля, обозначаемые (по Бродману) цифрами 44, 45, 46, — в лобной доле коры, поля 39 и 40 — в теменной ее доле, 41 и 42 — височной доле (рис. 1).

Очень ярко видно, как отражаются в строении коры мозга новые, специфически человеческие черты при исследовании так называемого проекционного двигательного поля (на рис. 1 оно обозначено цифрой 4). Если осторожно раздражать электрическим током различные точки этого поля, то по вызываемому раздражением сокращению различных мышечных групп можно точно представить себе, какое место занимает в нем проекция того или иного органа. У. Пенфильд выразил итог этих опытов в виде схематического и, конечно,

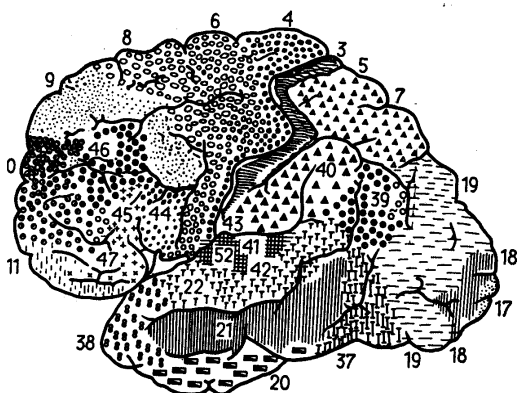


Рис. 1. Ареальная карта мозга (по Бродману)

условного рисунка, который мы здесь приводим (рис. 2). Из этого рисунка, выполненного в определенном масштабе, видно, какую относительно большую поверхность занимает в человеческом мозге проекция таких органов движения, как руки (кисти), и особенно органов звуковой речи (мышцы рта, языка, органов гортани), функции которых развивались особенно интенсивно в условиях человеческого общества (труд, речевое общение).

Совершенствовались под влиянием труда и в связи с развитием мозга также и органы чувств человека. Как и органы внешней деятельности, они приобрели качественно новые особенности. Утончилось чувство осязания, очеловечившийся глаз стал замечать в вещах больше, чем глаза самой дальнорезкой птицы, развился слух, способный воспринимать тончайшие различия и сходства звуков человеческой членораздельной речи.

В свою очередь развитие мозга и органов чувств оказывало обратное влияние на труд и язык, “давая обоим все новые и новые толчки к дальнейшему развитию”¹.

Создаваемые трудом отдельные анатомо-физиологические изменения необходи-

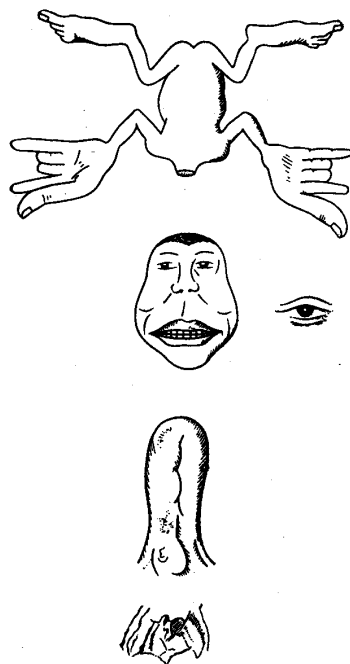


Рис. 2. “Мозговой человек” У. Пенфильда

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 490.

мо влекли за собой в силу естественной взаимозависимости развитие органов и изменение организма в целом. Таким образом, возникновение и развитие труда привело к изменению всего физического облика человека, к изменению его анатомо-физиологической организации.

Конечно, возникновение труда было подготовлено всем предшествующим ходом развития. Постепенный переход к вертикальной походке, зачатки которой отчетливо наблюдаются даже у ныне существующих человекообразных обезьян, и формирование в связи с этим особо подвижных, приспособленных для схватывания предметов передних конечностей, все более освобождающихся от функции ходьбы, — все это создавало физические предпосылки для возможности производить сложные трудовые операции.

Подготавливался процесс труда и с другой стороны. Появление труда было возможно только у таких животных, которые жили целыми группами и у которых существовали достаточно развитые формы совместной жизни, хотя эти формы были, разумеется, еще очень далеки даже от самых примитивных форм человеческой, общественной жизни. О том, насколько высоких ступеней развития могут достигать формы совместной жизни у животных, свидетельствуют интереснейшие исследования Н. Ю. Войтониса и Н. А. Тих, проведенные в Сухумском питомнике. Как показывают эти исследования, в стаде обезьян существует уже сложившаяся система взаимоотношений и своеобразной иерархии с соответственно весьма сложной системой общения. Вместе с тем эти исследования позволяют лишней раз убедиться в том, что, несмотря на всю сложность внутренних отношений в обезьяньем стаде, они все же ограничены непосредственно биологическими отношениями и никогда не определяются объективно предметным содержанием деятельности животных.

Наконец, существенной предпосылкой труда служило также наличие у высших представителей животного мира весьма развитых, как мы видели, форм психического отражения действительности.

Все эти моменты и составили в своей совокупности те главные условия, благодаря которым в ходе дальнейшей эволюции могли возникнуть труд и человеческое, основанное на труде общество.

Что же представляет собой та специфически человеческая деятельность, которая называется трудом?

Труд — это процесс, связывающий человека с природой, процесс воздействия человека на природу. “Труд, — говорит Маркс, — есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы. Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти”¹.

Для труда характерны прежде всего две следующие взаимосвязанные черты. Одна из них — это употребление и изготовление орудий. “Труд, — говорит Энгельс, — начинается с изготовления орудий”².

Другая характерная черта процесса труда заключается в том, что он совершается в условиях совместной, коллективной деятельности, так что человек вступает в этом процессе не только в определенные отношения к природе, но и к другим людям — членам данного общества. Только через отношения к другим людям человек относится и к самой природе. Значит, труд выступает с самого начала как процесс, опосредствованный орудием (в широком смысле) и вместе с тем опосредствованный общественно.

Употребление человеком орудий также имеет естественную историю своего приготовления. Уже у некоторых животных существуют, как мы знаем, зачатки орудийной деятельности в форме употребления внешних средств, с помощью кото-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 188—189.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 491.

рых они осуществляют отдельные операции (например, употребление палки у человекообразных обезьян). Эти внешние средства — “орудия” животных, — однако, качественно отличны от истинных орудий человека — орудий труда.

Различие между ними состоит вовсе не в том, что животные употребляют свои “орудия” в более редких случаях, чем первобытные люди. Их различие еще менее может сводиться к различиям в их внешней форме. Действительное отличие человеческих орудий от “орудий” животных мы можем вскрыть, лишь обратившись к объективному рассмотрению самой той деятельности, в которую они включены.

Как бы ни была сложна “орудийная” деятельность животных, она никогда не имеет характера общественного процесса, она не совершается коллективно и не определяет собой отношений общения осуществляющих ее индивидов. Как бы, с другой стороны, ни было сложно инстинктивное общение между собой индивидов, составляющих животное сообщество, оно никогда не строится на основе их “производственной” деятельности, не зависит от нее, ею не опосредствовано.

В противоположность этому человеческий труд является деятельностью изначально общественной, основанной на сотрудничестве индивидов, предполагающем хотя бы зачаточное техническое разделение трудовых функций; труд, следовательно, есть процесс воздействия на природу, связывающий между собой его участников, опосредствующий их общение. “В производстве, — говорит Маркс, — люди вступают в отношение не только к природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство”¹.

Чтобы уяснить себе конкретное значение этого факта для развития человеческой психики, достаточно проанализировать то, как меняется строение деятельности, когда она совершается в условиях коллективного труда.

Уже в самую раннюю пору развития человеческого общества неизбежно возникает разделение прежде единого процесса деятельности между отдельными участниками производства. Первоначально это разделение имеет, по-видимому, случайный и непостоянный характер. В ходе дальнейшего развития оно оформляется уже в виде примитивного технического разделения труда.

На долю одних индивидов выпадает теперь, например, поддержание огня и обработка на нем пищи, на долю других — добывание самой пищи. Одни участники коллективной охоты выполняют функцию преследования дичи, другие — функцию поджидания ее в засаде и нападения.

Это ведет к решительному, коренному изменению самого строения деятельности индивидов — участников трудового процесса.

Выше мы видели, что всякая деятельность, осуществляющая непосредственно биологические, инстинктивные отношения животных к окружающей их природе, характеризуется тем, что она всегда направлена на предметы биологической потребности и побуждается этими предметами. У животных не существует деятельности, которая не отвечала бы той или другой прямой биологической потребности, которая не вызывалась бы воздействием, имеющим для животного биологический смысл — смысл предмета, удовлетворяющего данную его потребность, и которая не была бы направлена своим последним звеном непосредственно на этот предмет. У животных, как мы уже говорили, предмет их деятельности и ее биологический мотив всегда слиты, всегда совпадают между собой.

Рассмотрим теперь с этой точки зрения принципиальное строение деятельности индивида в условиях коллективного трудового процесса. Когда данный член коллектива осуществляет свою трудовую деятельность, то он также делает это для удовлетворения одной из своих потребностей. Так, например, деятельность загонщика, участника первобытной коллективной охоты, побуждается потребностью в пище или, может быть, потребностью в одежде, которой служит для него шкура

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 441.

убитого животного. На что, однако, непосредственно направлена его деятельность? Она может быть направлена, например, на то, чтобы спугнуть стадо животных и направить его в сторону других охотников, скрывающихся в засаде. Это, собственно, и есть то, что должно быть результатом деятельности данного человека. На этом деятельность данного отдельного участника охоты прекращается. Остальное довершают другие участники охоты. Понятно, что этот результат — спугивание дичи и т. д. — сам по себе не приводит и не может привести к удовлетворению потребности загонщика в пище, шкуре животного и пр. То, на что направлены данные процессы его деятельности, следовательно, не совпадает с тем, что их побуждает, т. е. не совпадает с мотивом его деятельности: то и другое здесь разделено между собой. Такие процессы, предмет и мотив которых не совпадают между собой, мы будем называть действиями. Можно сказать, например, что деятельность загонщика — охота, спугивание же дичи — его действие.

Как же возможно рождение действия, т. е. разделение предмета деятельности и ее мотива? Очевидно, оно становится возможным только в условиях совместного, коллективного процесса воздействия на природу. Продукт этого процесса, в целом отвечающий потребности коллектива, приводит также к удовлетворению потребности и отдельного индивида, хотя сам он может и не осуществлять тех конечных операций (например, прямого нападения на добычу и ее умерщвления), которые уже непосредственно ведут к овладению предметом данной потребности. Генетически (т. е. по своему происхождению) разделение предмета и мотива индивидуальной деятельности есть результат происходящего вычленения из прежде сложной и многофазной, но единой деятельности отдельных операций. Эти-то отдельные операции, исчерпывая теперь содержание данной деятельности индивида, и превращаются в самостоятельное для него действие, хотя по отношению к коллективному трудовому процессу в целом они продолжают, конечно, оставаться лишь одним из частных его звеньев.

Естественными предпосылками этого вычленения отдельных операций и при-

обретения ими в индивидуальной деятельности известной самостоятельности являются, по-видимому, два следующих главных (хотя и не единственных) момента. Один из них — это нередко совместный характер инстинктивной деятельности и наличие примитивной “иерархии” отношений между особями, наблюдаемой в сообществах высших животных, например, у обезьян. Другой важнейший момент — это выделение в деятельности животных, еще продолжающей сохранять всю свою цельность, двух различных фаз — фазы приготовления и фазы осуществления, которые могут значительно отодвигаться друг от друга во времени. Так, например, опыты показывают, что вынужденный перерыв деятельности на одной из ее фаз позволяет отсрочить дальнейшую реакцию животных лишь весьма незначительно, в то время как перерыв между фазами дает у того же самого животного отсрочку, в десятки и даже сотни раз большую (опыты А.В. Запорожца).

Однако, несмотря на наличие несомненной генетической связи между двухфазной интеллектуальной деятельностью высших животных и деятельностью отдельного человека, входящей в коллективный трудовой процесс в качестве одного из его звеньев, между ними существует и огромное различие. Оно коренится в различии тех объективных связей и отношений, которые лежат в их основе, которым они отвечают и которые отражаются в психике действующих индивидов.

Особенность двухфазной интеллектуальной деятельности животных состоит, как мы видели, в том, что связь между собой обеих (или даже нескольких) фаз определяется физическими, вещными связями и соотношениями — пространственными, временными, механическими. В естественных условиях существования животных это к тому же всегда природные, естественные связи и соотношения. Психика высших животных соответственно и характеризуется способностью отражения этих вещных, естественных связей и соотношений.

Когда животное, совершая обходный путь, раньше удаляется от добычи и лишь затем схватывает ее, то эта сложная деятельность подчиняется воспринимаемому животным пространственным отноше-

ям данной ситуации; первая часть пути — первая фаза деятельности с естественной необходимостью приводит животное к возможности осуществить вторую ее фазу.

Решительно другую объективную основу имеет рассматриваемая нами форма деятельности человека.

Вспугивание дичи загонщиком приводит к удовлетворению его потребности в ней вовсе не в силу того, что таковы естественные соотношения данной вещной ситуации; скорее наоборот, в нормальных случаях эти естественные соотношения таковы, что испугивание дичи уничтожает возможность овладеть ею. Что же в таком случае соединяет между собой непосредственный результат этой деятельности с конечным ее результатом? Очевидно, не что иное, как то отношение данного индивида к другим членам коллектива, в силу которого он и получает из их рук свою часть добычи — часть продукта совместной трудовой деятельности. Это отношение, эта связь осуществляется благодаря деятельности других людей. Значит, именно деятельность других людей составляет объективную основу специфического строения деятельности человеческого индивида; значит, исторически, т. е. по способу своего возникновения, связь мотива с предметом действия отражает не естественные, но объективно-общественные связи и отношения.

Итак, сложная деятельность высших животных, подчиняющаяся естественным вещным связям и отношениям, превращается у человека в деятельность, подчиняющуюся связям и отношениям изначально общественным. Это и составляет ту непосредственную причину, благодаря которой возникает специфически человеческая форма отражения действительности — сознание человека.

Выделение действия необходимо предполагает возможность психического отражения действующим субъектом отношения объективного мотива действия и его предмета. В противном случае действие невозможно, оно лишается для субъекта своего смысла. Так, если обратиться к нашему прежнему примеру, то очевидно, что действие загонщика возможно только при условии отражения им связи между ожидаемым результатом лично им совершаемого действия и конечным результатом

всего процесса охоты в целом — нападением из засады на убегающее животное, умерщвлением его и, наконец, его потреблением. Первоначально эта связь выступает перед человеком в своей еще чувственно воспринимаемой форме — в форме реальных действий других участников труда. Их действия и сообщают смысл предмету действия загонщика. Равным образом и наоборот: только действия загонщика оправдывают, сообщают смысл действиям людей, поджидающих дичь в засаде, если бы не действия загонщиков, то и устройство засады было бы бессмысленным, неоправданным.

Таким образом, мы снова здесь встречаемся с таким отношением, с такой связью, которая обуславливает направление деятельности. Это отношение, однако, в корне отлично от тех отношений, которым подчиняется деятельность животных. Оно создается в совместной деятельности людей и вне ее невозможно. То, на что направлено действие, подчиняющееся этому новому отношению, само по себе может не иметь для человека никакого прямого биологического смысла, а иногда и противоречить ему. Так, например, спугивание дичи само по себе биологически бессмысленно. Оно приобретает смысл лишь в условиях коллективной трудовой деятельности. Эти условия и сообщают действию человеческий разумный смысл.

Таким образом, вместе с рождением действия, этой главной “единицы” деятельности человека, возникает и основная, общественная по своей природе “единица” человеческой психики — разумный смысл для человека того, на что направлена его активность.

На этом необходимо остановиться специально, ибо это есть весьма важный пункт для конкретно-психологического понимания генезиса сознания. Поясним нашу мысль еще раз.

Когда паук устремляется в направлении вибрирующего предмета, то его деятельность подчиняется естественному отношению, связывающему вибрацию с пищевым свойством насекомого, попадающего в паутину. В силу этого отношения вибрация приобретает для паука биологический смысл пищи. Хотя связь между свойством насекомого вызывать вибрацию паутины и свойством служить

пищей фактически определяет деятельность паука, но как связь, как отношение она скрыта от него, она “не существует для него”. Поэтому-то, если поднести к паутине любой вибрирующий предмет, например звучащий камертон, паук все равно устремляется к нему.

Загонщик, спугивающий дичь, также подчиняет свое действие определенной связи, определенному отношению, а именно отношению, связывающему между собой убежание добычи и последующее ее захватывание, но в основе этой связи лежит уже не естественное, а общественное отношение — трудовая связь загонщика с другими участниками коллективной охоты.

Как мы уже говорили, сам по себе вид дичи, конечно, еще не может побудить к спугиванию ее. Для того чтобы человек принял на себя функцию загонщика, нужно, чтобы его действия находились в соотношении, связывающем их результат с конечным результатом коллективной деятельности; нужно, чтобы это соотношение было субъективно отражено им, чтобы оно стало “существующим для него”; нужно, другими словами, чтобы смысл его действий открылся ему, был осознан им. Сознание смысла действия и совершается в форме отражения его предмета как сознательной цели.

Теперь связь предмета действия (его цели) и того, что побуждает деятельность (ее мотива), впервые открывается субъекту. Она открывается ему в непосредственно чувственной своей форме — в форме деятельности человеческого трудового коллектива. Эта деятельность и отражается в голове человека уже не в субъективной слитности с предметом, но как объективно-практическое отношение к нему субъекта. Конечно, в рассматриваемых условиях это всегда коллективный субъект, и, следовательно, отношения отдельных участников труда первоначально отражаются ими лишь в меру совпадения их отношений с отношениями трудового коллектива в целом.

Однако самый важный, решающий шаг оказывается этим уже сделанным. Деятельность людей отделяется теперь для их сознания от предметов. Она начинает сознаваться ими именно как их отношение. Но это значит, что и сама природа — пред-

меты окружающего их мира — теперь также выделяется для них и выступает в своем устойчивом отношении к потребностям коллектива, к его деятельности. Таким образом, пища, например, воспринимается человеком как предмет определенной деятельности — поисков, охоты, приготовления и вместе с тем как предмет, удовлетворяющий определенные потребности людей независимо от того, испытывает ли данный человек непосредственную нужду в ней и является ли она сейчас предметом его собственной деятельности. Она, следовательно, может выделяться им среди других предметов действительности не только практически, в самой деятельности и в зависимости от наличной потребности, но и “теоретически”, т. е. может быть удержана в сознании, может стать “идеей”.

2. Становление мышления и речи

Выше мы проследили общие условия, при которых возможно возникновение сознания. Мы нашли их в условиях совместной трудовой деятельности людей. Мы видели, что только при этих условиях содержание того, на что направлено действие человека, выделяется из своей слитности с его биологическими отношениями.

Теперь перед нами стоит другая проблема — проблема формирования тех специальных процессов, с которыми связано сознательное отражение действительности.

Мы видели, что сознание цели трудового действия предполагает отражение предметов, на которые оно направлено, независимо от наличного к ним отношения субъекта.

В чем же мы находим специальные условия такого отражения? Мы снова находим их в самом процессе труда. Труд не только изменяет общее строение деятельности человека, он не только порождает целенаправленные действия; в процессе труда качественно изменяется содержание деятельности, которое мы называем операциями.

Это изменение операций совершается в связи с возникновением и развитием орудий труда. Трудовые операции человека ведь и замечательны тем, что они

осуществляются с помощью орудий, средств труда.

Что же такое орудие? “Средство труда, — говорит Маркс, — есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет”¹. Орудие есть, таким образом, предмет, которым осуществляют трудовое действие, трудовые операции.

Изготовление и употребление орудий возможно только в связи с сознанием цели трудового действия. Но употребление орудия само ведет к сознанию предмета воздействия в объективных его свойствах. Употребление топора не только отвечает цели практического действия; оно вместе с тем объективно отражает свойства того предмета — предмета труда, на который направлено его действие. Удар топора подвергает безошибочному испытанию свойства того материала, из которого состоит данный предмет; этим осуществляется практический анализ и обобщение объективных свойств предметов по определенному, объективированному в самом орудии признаку. Таким образом, именно орудие является как бы носителем первой настоящей сознательной и разумной абстракции, первого настоящего сознательного и разумного обобщения.

Необходимо, далее, учесть еще одно обстоятельство, которое характеризует орудие. Оно заключается в том, что орудие есть не только предмет, имеющий определенную форму и обладающий определенными физическими свойствами. Орудие есть вместе с тем общественный предмет, т. е. предмет, имеющий определенный способ употребления, который общественно выработан в процессе коллективного труда и который закреплен за ним. Например, топор, когда мы рассматриваем его как орудие, а не просто как физическое тело, — это не только две соединенные между собой части — та часть, которую мы называем топорищем, и та, которая является собственно рабочей частью. Это вместе с тем тот общественно-выработанный способ действия, те трудовые операции, которые материально оформлены, как бы кристаллизованы в нем. Поэтому то владеть орудием — значит не просто

обладать им, но это значит владеть тем способом действия, материальным средством осуществления которого оно является.

“Орудие” животных тоже осуществляет известную операцию, однако эта операция не закрепляется, не фиксируется за ним. В тот самый момент, когда палка выполнила в руках обезьяны свою функцию, она снова превращается для нее в безразличный предмет. Она не становится постоянным носителем данной операции. Поэтому, кстати говоря, животные специально и не изготавливают своих орудий и не хранят их. Наоборот, человеческие орудия — это то, что специально изготавливается или отыскивается, что хранится человеком и само хранит осуществляемый им способ действия.

Таким образом, только рассматривая орудия как орудия трудовой деятельности человека, мы открываем их действительное отличие от “орудий” животных. Животное находит в “орудии” только естественную возможность осуществить свою инстинктивную деятельность как, например, притягивание к себе плода. Человек видит в орудии вещь, несущую в себе определенный общественно выработанный способ действия.

Поэтому даже с искусственным специализированным человеческим орудием обезьяна действует лишь в ограниченных пределах инстинктивных способов своей деятельности. Наоборот, в руках человека нередко простейший природный предмет становится настоящим орудием, т. е. осуществляет подлинно орудийную, общественно выработанную операцию.

У животных “орудие” не создает никаких новых операций, оно подчиняется их естественным движениям, в систему которых оно включено. У человека происходит обратное: сама его рука включается в общественно выработанную и фиксированную в орудии систему операций и ей подчиняется. Это детально показывают современные исследования. Поэтому если применительно к обезьяне можно сказать, что естественное развитие ее руки определило собой употребление ею палки в качестве “орудия”, то в отношении человека мы имеем все основания

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 190.

утверждать, что сама орудийная деятельность создала специфические особенности его руки.

Итак, орудие есть общественный предмет, есть продукт общественной практики, общественного трудового опыта. Следовательно, и то обобщенное отражение объективных свойств предметов труда, которое оно кристаллизует в себе, также является продуктом не индивидуальной, а общественной практики. Следовательно, даже простейшее человеческое познание, совершающееся еще в непосредственно практическом трудовом действии, в действии посредством орудий, не ограничено личным опытом человека, а совершается на основе овладения им опытом общественной практики.

Наконец, человеческое познание, первоначально совершающееся в процессе трудовой орудийной деятельности, способно в отличие от инстинктивной интеллектуальной деятельности животных переходить в подлинное мышление.

Мышлением в собственном значении слова мы называем процесс сознательно отражения действительности в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, в которые включаются и недоступные непосредственному чувственному восприятию объекты. Например, человек не воспринимает ультрафиолетовых лучей, но он тем не менее знает об их существовании и знает их свойства. Как же возможно такое познание? Оно возможно опосредствованным путем. Этот путь и есть путь мышления. В общем своем принципе он состоит в том, что мы подвергаем вещи испытанию другими вещами и, сознавая устанавливающиеся отношения и взаимодействия между ними, судим по воспринимаемому нами изменению о непосредственно скрытых от нас свойствах этих вещей.

Поэтому необходимым условием возникновения мышления является выделение и осознание объективных взаимодействий — взаимодействий предметов. Но осознание этих взаимодействий невозможно в пределах инстинктивной деятельности животных. Оно опять-таки впервые совершается лишь в процессе труда, в процессе употребления орудий, с помощью

которых люди активно воздействуют на природу. “Но существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления, — говорит Энгельс, — является как раз изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу”¹.

Этим мышление человека радикально отличается от интеллекта животных, который, как показывают специальные опыты, осуществляет лишь приспособление к наличным условиям ситуации и не может иначе как случайным образом изменить их, так как их деятельность в целом всегда остается направленной не на эти условия, а на тот или иной предмет их биологической потребности. Другое дело — у человека. У человека “фаза приготовления”, из которой и вырастает его мышление, становится содержанием самостоятельных, целенаправленных действий, а впоследствии может становиться и самостоятельной деятельностью, способной превращаться в деятельность целиком внутреннюю, умственную.

Наконец, мышление, как и вообще человеческое познание, принципиально отличается от интеллекта животных тем, что его зарождение и развитие также возможно лишь в единстве с развитием общественного сознания. Общественными по своей природе являются не только цели человеческого интеллектуального действия; общественно выработанными, как мы уже видели, являются также и его способы и средства. Впоследствии, когда возникает отвлеченное речевое мышление, оно тоже может совершаться лишь на основе овладения человеком общественно выработанными обобщениями — словесными понятиями и общественно же выработанными логическими операциями.

Последний вопрос, на котором мы должны специально остановиться, — это вопрос о форме, в какой происходит сознательное отражение человеком окружающей его действительности.

Сознательный образ, представление, понятие имеют чувственную основу. Однако сознательное отражение действительности не есть только чувственное переживание ее. Уже простое восприятие

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 545.

предмета есть отражение его не только как обладающего формой, цветом и т. д., но вместе с тем как имеющего определенное объективное и устойчивое значение, например, как пищи, орудия и т. п. Должна, следовательно, существовать особая форма сознательного отражения действительности, качественно отличающаяся от непосредственно чувственной формы психического отражения, свойственной животным.

Что же является той конкретной формой, в которой реально происходит сознание людьми окружающего их объективного мира? Этой формой является язык, который и представляет собой, по словам Маркса, “практическое сознание” людей. Сознание неотделимо поэтому от языка. Как и сознание человека, язык возникает лишь в процессе труда и вместе с ним. Как и сознание, язык является продуктом деятельности людей, продуктом коллектива и вместе с тем его “самоговорящим бытием” (Маркс); лишь поэтому он существует также и для индивидуального человека.

“Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание...”¹.

Возникновение языка может быть понято лишь в связи с появившейся у людей в процессе труда потребностью что-то сказать друг другу.

Как же формировались речь и язык? В труде, как мы видели, люди необходимо вступают в отношения друг к другу, в общение друг с другом. Первоначально собственно трудовые их действия и их общение представляют собой единый процесс. Трудовые движения человека, воздействуя на природу, воздействуют также и на других участников производства. Значит, действия человека приобретают при этих условиях двойную функцию: функцию непосредственно производственную и функцию воздействия на других людей, функцию общения.

В дальнейшем обе эти функции разделяются между собой. Для этого достаточно, чтобы опыт подсказал людям, что в тех

условиях, когда трудовое движение не приводит по тем или иным причинам к практическому результату, оно все же способно воздействовать на других участников производства, например способно привлечь их к совместному выполнению данного действия. Таким образом, возникают движения, сохраняющие форму соответствующих рабочих движений, но лишённые практического контакта с предметом и, следовательно, лишённые также того усилия, которое превращает их в подлинно рабочие движения. Эти движения вместе с сопровождающими их звуками голоса отделяются от задачи воздействия на предмет, отделяются от трудового действия и сохраняют за собой только функцию воздействия на людей, функцию речевого общения. Они, иначе говоря, превращаются в жест. Жест и есть не что иное, как движение, отделенное от своего результата, т. е. не приложенное к тому предмету, на который оно направлено.

Вместе с тем главная роль в общении переходит от жестов к звукам голоса; возникает звуковая членораздельная речь.

То или иное содержание, означаемое в речи, фиксируется, закрепляется в языке. Но для того чтобы данное явление могло быть означено и могло получить свое отражение в языке, оно должно быть выделено, осознано, а это, как мы видели, первоначально происходит в практической деятельности людей, в производстве. “...Люди, — говорит Маркс, — фактически начали с того, что присваивали себе предметы внешнего мира как средства для удовлетворения своих собственных потребностей и т.д. и т.д.; позднее они приходят к тому, что и словесно обозначают их как средства удовлетворения своих потребностей, — каковыми они уже служат для них в практическом опыте, — как предметы, которые их “удовлетворяют”².

Производство языка, как и сознания, и мышления, первоначально непосредственно вплетено в производственную деятельность, в материальное общение людей.

Непосредственная связь языка и речи с трудовой деятельностью людей есть то главнейшее и основное условие, под влиянием которого они развивались как носи-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 29.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 378.

тели “объективированного”, сознательного отражения действительности. Означая в трудовом процессе предмет, слово выделяет и обобщает его для индивидуального сознания именно в этом объективно-общественном его отношении, т. е. как общественный предмет.

Таким образом, язык выступает не только как средство общения людей, он выступает и как средство, как форма человеческого сознания и мышления, также не отделенного еще от материального производства. Он становится формой, носителем сознательного обобщения действительности. Именно поэтому вместе с происходящим впоследствии отделением языка и речи от непосредственно практической деятельности происходит также и абстракция словесных значений от реального предмета, которая делает возможным существование их только как факта сознания, т. е. только в качестве мысли, только идеально.

Рассматривая условия перехода от до-сознательной психики животных к сознанию человека, мы нашли некоторые черты, характеризующие особенности этой высшей формы психического отражения.

Мы видели, что возникновение сознания возможно лишь в условиях, когда отношение к природе человека становится опосредствованным его трудовыми связя-

ми с другими людьми. Сознание, следовательно, есть именно “изначально-исторический продукт” (Маркс).

Мы видели далее, что сознание становится возможным лишь в условиях активного воздействия на природу — в условиях трудовой деятельности посредством орудий, которая является вместе с тем и практической формой человеческого познания. Следовательно, сознание есть форма активно-познающего отражения.

Мы видели, что сознание возможно лишь в условиях существования языка, возникающего одновременно с ним в процессе труда.

Наконец — и это мы должны особенно подчеркнуть — индивидуальное сознание человека возможно лишь в условиях существования сознания общественного. Сознание есть отражение действительности, как бы преломленное через призму общественно выработанных языковых значений, понятий.

Эти черты, характеризующие сознание, являются, однако, лишь наиболее общими и абстрактными его чертами. Сознание же человека представляет собой конкретно-историческую форму его психики. Оно приобретает разные особенности в зависимости от общественных условий жизни людей, изменяясь вслед за развитием их экономических отношений.

А. Н. Леонтьев

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ФОРМ ЗАПОМИНАНИЯ¹

В той форме памяти, которая возникает на основе употребления вспомогательных стимулов-средств, делающих наше восприятие произвольным, уже заключаются все признаки, отличающие высшую память человека от его низшей, биологической памяти.

Ее дальнейшее развитие идет как бы по двум отдельным взаимосвязанным линиям: по линии развития и усовершенствования средств запоминания, остающихся в форме действующих извне раздражителей, и по линии превращения этих средств запоминания в средства внутренние. Эта первая линия в ее конечном продолжении есть линия развития письменности; развиваясь и дифференцируясь, внешний мнемотехнический знак превращается в знак письменный. Вместе с тем его функция все более специализируется и приобретает новые специфические черты; в своей вполне развитой форме письменный знак уже полностью отрицает ту функцию — память, с которой связано его рождение. Эта линия развития лежит вне поля зрения нашего исследования.

Вторая линия — линия перехода от употребления внешних средств запоминания к употреблению средств внутренних — есть линия развития собственно высшей логической памяти. Как и первая, она не-

посредственно связана с общим процессом культурного, исторического развития человечества. Та социальная, культурная среда, под влиянием которой формируется высшая память человека, с другой стороны, действует в направлении разрушения ее старых биологических форм. “Мы не в состоянии измерить, — говорит один из исследователей памяти, — всего того ущерба, который был нанесен натуральной памяти употреблением печатных книг, навыками письма, потреблением карандаша или пера для заметок, вообще говоря, всеми теми искусственными средствами, которые не только приходят на помощь к памяти, но и избавляют нас от необходимости ею пользоваться”². Тем не менее современный человек обладает памятью, гораздо более могущественной, чем даже поражающая своей точностью естественная память. Память современного человека, будучи даже слабее по своей органической основе, чем память человека примитивной культуры, вместе с тем является гораздо более вооруженной. Подобно тому как мы превосходим своих отдаленных предков не прочностью нашего скелета или силой нашей мускулатуры, не остротой зрения и тонкостью обоняния, но теми средствами производства и теми техническими навыками, которыми мы владеем, подобно этому и наши психологические функции превосходят функции первобытного человека благодаря исторически приобретенным ими более высоким формам своей организации.

В своем изложении мы не пытались построить сколько-нибудь законченной теории филогенетического развития высших форм памяти. Мы воспользовались несколькими искусственно соединенными историко-культурными и этнографическими фактами лишь для того, чтобы на этом конкретном материале подготовить ту гипотезу, которая является рабочей для нашего исследования. Ее основная мысль заключается в том, что та высшая память, которая в своих наиболее развитых формах представляется нам совершенно отличной и даже противоположной по своей природе памяти биологической, в сущности является лишь продуктом нового типа

¹ *Леонтьев А.Н.* Проблемы развития психики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 449—451, 463—469, 474—479.

² *Dugas.* La mémoire et l'oubli. Paris, 1929. P. 164.

психического развития человека, а именно его культурно-исторического развития. Эта социальная, историческая форма памяти так же не похожа на основу, из которой она развивается, как не похож дуб на тот желудь, из которого он вырастает. Специфический механизм этой высшей памяти заключается в том, что она действует как функция опосредствованная, т. е. опирающаяся на двойной ряд стимулов.

Эти положения, как мы уже отмечали, являются для нас пока только гипотезой. Обоснование этой гипотезы и представляет собой центральную задачу настоящего экспериментального исследования.

Разумеется, мы не можем искать в данных нашего исследования, проведенного на онтогенетическом материале, полного совпадения их с той схемой филогенетического развития памяти, предварительный набросок которой мы сделали. Современный ребенок развивается в совершенно иной социальной и культурной среде, чем та среда, которая окружала первобытного человека; те приемы и средства поведения, формировавшие память человечества, которые оно завоевало в процессе своего культурного развития, наследуются ребенком не биологически, а *исторически*, т. е. он усваивает их под влиянием социальной среды, которая, таким образом, не только выступает перед ним в качестве объекта приспособления, но которая вместе с тем *сама создает условия и средства для этого приспособления.*

В соответствии с той центральной идеей, которая лежит в основе нашей общей гипотезы, находится и методика нашего эксперимента. Исходя из того положения, что развитие высших форм памяти происходит на основе перехода от натурального запоминания к приемам запоминания опосредствованного, заключающегося в том, что оно совершается с помощью вспомогательных — безразлично, внутренних или внешних — стимулов-средств, мы должны были в нашем эксперименте вынести наружу этот процесс, сделать его доступным нашему наблюдению. Эту возможность и дает нам разработанная Л.С. Выготским и А.Р. Лурия “функциональная методика двойной стимуляции”, которая строится по принципу введения в экспериментальную задачу, предлагаемую испытуемым, кроме основных исходных стимулов еще второго

дополнительного ряда стимулов (стимулов-средств), могущих служить испытуемым тем “психологическим инструментом”, с помощью которого они могут решить данную задачу. <...>

Резюмируя все изложенное выше, мы могли бы представить процесс развития памяти в следующей предварительной схеме. Первый этап развития памяти — это развитие ее как естественной способности к запечатлению и воспроизведению. Этот этап развития заканчивается в нормальных случаях, вероятно, уже в дошкольном возрасте. Следующий, типичный для первого школьного возраста этап характеризуется изменением структуры процессов запоминания, которые становятся опосредствованными, но которые протекают с преобладающей ролью внешнего средства. В свою очередь, опосредствованное запоминание развивается по двум линиям: по линии развития и совершенствования приемов употребления вспомогательных средств, которые продолжают оставаться в форме извне действующих раздражителей, и по линии перехода от внешних средств к средствам внутренним. Такая память, основанная на высокоразвитой способности инструментального употребления внутренних по преимуществу элементов опыта (внутренних “средств-знаков”), и составляет последний и высший этап ее развития.

Перед своим массовым исследованием мы ставили двойную задачу: с одной стороны, это задача обоснования изложенной гипотезы, которая является исходной для всей нашей дальнейшей работы, с другой стороны, это задача решения вопроса о том, *в каком взаимном отношении находятся обе отмеченные нами линии развития опосредствованного запоминания.* Вскрывая через изучение опосредствованного запоминания на дифференциальном возрастном материале количественную сторону процесса перехода испытуемых от употребления в качестве вспомогательных средств внешних стимулов (знаков) к употреблению стимулов внутренних, мы тем самым сможем подойти к формулировке тех динамических законов, которые лежат в основе развития высшей формы запоминания, запоминания, опирающегося на знак, т. е. запоминания опосредствованного. <...>

Методика нашего массового исследования несколько отличалась от методики

первых ориентировочных экспериментов. Формуляры этого исследования содержали серии слов, число которых было доведено до 15; кроме того, мы ввели в них еще одну (первую) серию, состоявшую из 10 бессмысленных слогов.

Самый эксперимент протекал так же, как и в первом исследовании, с той, однако, разницей, что в инструкции к третьей (и четвертой) серии прием употребления карточек всегда указывался (“Когда я назову слово, посмотри в карточки, выбери и отложи такую карточку, которая поможет тебе припомнить слово”). В случае, если экспериментатор под влиянием той или другой причины изменял форму этой инструкции, это всякий раз отмечалось в соответствующей графе формуляра (“Инструкция”). Называя слова третьей и четвертой серий, экспериментатор записывал в протокол (графа “Картинка”) взятую испытуемым карточку и тотчас после того называл следующее слово. Иногда процесс выбора карточки сопровождался речевыми реакциями испытуемого (“Здесь нет такой”, “Я возьму эту...” и т. п.); в этом случае они также регистрировались в графе “Речевые реакции” протокола. После выбора последней картинке экспериментатор брал у испытуемого отложенные им карточки, располагал их, если порядок был нарушен, в их первоначальной последовательности и предъявлял их по очереди одну за другой испытуемому, предлагая ему называть соответствующее каждой карточке слово. В графе “Р” формуляра знаком + отмечалась вполне точная репродукция слова. Слова, ошибочно воспроизведенные или воспроизведенные только приблизительно верно, вносились в графу “Ошибки репродукции”. <...> Так как бессмысленные слоги предъявлялись тоже на слух, то для оценки степени правильности их воспроизведения мы выработали следующее правило: мы признавали за положительные те случаи неточного воспроизведения, когда различие заключалось лишь в последней согласной слога, замененной согласной созвучной, т. е. *к—г, б—п, т—д* и т. п. (например, вместо *руг—рук*, вместо *бод—бот*). В качестве коэффициента запоминания мы принимали число правильно воспроизведенных членов ряда.

С испытуемыми младшего возраста эксперименты обычно проводились в фор-

ме игры с известной премией (конфеты, картинки), которую ребенок “выигрывал” в процессе опыта.

Наши формуляры заключали в себе ряды, составленные из следующих слов:

Первая серия: *тям, руг, жел, бод, гищ, няб, гук, мых, жин, пяр.*

Вторая серия: *рука, книга, хлеб, дом, луна, пол, брать, нож, лев, мел, серп, урок, сад, мыло, перо.*

Третья серия: *снег, обед, лес, ученье, молоток, одежда, поле, игра, птица, лошадь, урок, ночь, мышь, молоко, стул.*

Четвертая серия: *дождь, собрание, пожар, день, драка, отряд, театр, ошибка, сила, встреча, ответ, горе, праздник, сосед, труд.*

Коллекции картинок, которыми мы пользовались в третьей и четвертой сериях, состояли каждая из 30 цветных карточек размером 5х5 см, на которых были изображены:

В коллекции третьей серии: *диван, гриб, корова, умывальник, стол, ветка земляники, ручка для перьев, аэроплан, географическая карта, щетка, лопата, грабли, автомобиль, дерево, лейка, дом, цветок, тетради, телеграфный столб, ключ, хлеб, трамвай, окно, стакан, постель, экипаж, настольная электрическая лампа, картина в раме, поле, кошка.*

В четвертой серии: *полотенце, стул, чернильница, велосипед, часы, глобус, карандаш, солнце, рюмка, обеденный прибор, расческа, тарелка, зеркало, перья, поднос, домбулочная, фабричные трубы, кувшин, забор, собака, детские штанишки, комната, носки и ботинки, перочинный нож, гусь, уличный фонарь, лошадь, петух, черная доска, рубашка.*

Весь эксперимент продолжался с каждым испытуемым около 20—30 мин, за исключением экспериментов с детьми младшего возраста, которые обычно проходили с небольшими перерывами и занимали несколько большее время.

Для получения нашего “возрастного среза” мы исследовали в индивидуальном эксперименте испытуемых дошкольников, детей школьного возраста и взрослых. По отдельным группам наши испытуемые распределялись следующим образом: дошкольников — 46 чел., детей учащихся “нулевого” класса — 28 чел., учащихся первого класса — 57 чел., второго класса — 52 чел., третьего класса — 44 чел., четвер-

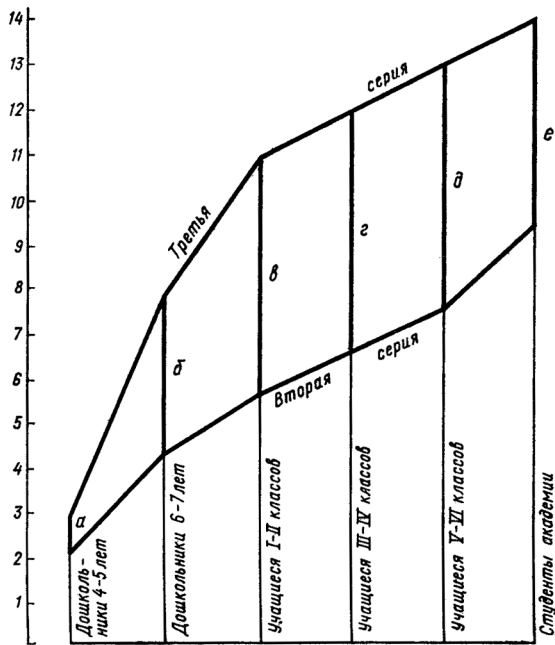


Рис. 1.

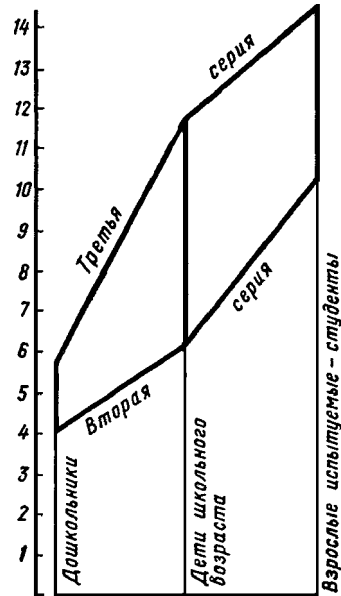


Рис. 2.

того класса — 51 чел., пятого класса — 46 чел., шестого класса — 51 чел., студентов — 35 чел. <...>.

Уже самый поверхностный анализ изменений <...> показателей в зависимости от возраста и группы испытуемых с полной отчетливостью обнаруживает ту основную тенденцию в развитии запоминания, на которую мы указывали выше при изложении результатов нашего первого, ориентировочного исследования. Рассматривая результаты второй и третьей серий опытов (количество слов, запоминаемых без помощи картинок и с помощью картинок), мы констатируем, что то отношение, в котором находятся между собой эти величины, не является постоянным, оно изменяется в определенной закономерности <...>, как это особенно ясно видно на рис. 1, где изображено графически изменение абсолютных показателей этих двух серий. У дошкольников младшего возраста третья серия характеризуется величиной (а), лишь сравнительно немного превышающей соответствующую величину второй серии; однако вместе с дальнейшим достаточно быстрым развитием запоминания, опирающегося на внешние знаки, запоминание без помощи карточек развивается более медленно и различие в их показателях довольно энергично возрастает (б, в). Начиная от этой группы (в) (дети 7—12 лет,

учащиеся I—II классов) показатели обеих серий начинают, наоборот, приближаться друг к другу и разница между ними все более и более сглаживается (г, д, е). Еще более отчетливо это можно проследить, если мы несколько упростим наш рисунок и ограничим его всего тремя суммарными группами: группой испытуемых дошкольного возраста, группой школьного возраста и группой взрослых (рис. 2).

Общую закономерность, которая здесь вырисовывается, можно было бы сформулировать следующим образом: начиная с дошкольного возраста темп развития запоминания с помощью внешних средств значительно превышает темп развития запоминания без помощи карточек; наоборот, начиная с первого школьного возраста повышение показателей внешне непосредственного запоминания идет быстрее, чем дальнейшее возрастание запоминания опосредствованного. Таким образом, в своем условном графическом изображении обе эти линии развития представляют собой две кривые, сближающиеся в нижнем и верхнем пределах и образующие фигуру, которая по своей форме приближается к фигуре не вполне правильного параллелограмма с двумя отсеченными углами. Впрочем, такова лишь форма расположения конкретных величин наших измерений, форма, зависящая от определенного контин-

гента испытуемых и от содержания предлагавшегося нами для запоминания материала. Как мы увидим ниже, в своем *принципиальном* выражении кривые этих двух линий развития могут быть представлены именно в форме вполне законченного параллелограмма, наклоненного одним из своих углов к абсциссе. Однако, в обосновании этого положения, как и в обосновании всякой закономерности, лежащей в основе чрезвычайно сложных явлений, мы встречаемся с целым рядом трудностей, которые могут найти свое разрешение только при достаточно детальном анализе. <...>

Не касаясь пока вовсе данных первой серии наших опытов с бессмысленными слогами и резюмируя лишь изложенные данные исследования развития запоминания осмысленных слов, мы приходим к следующему вытекающему из анализа соответствующих величин положению.

На самых ранних ступенях развития запоминания (дети раннего дошкольного возраста) введение в эксперимент второго ряда стимулов-знаков, которые способны, вступая в операцию в качестве “средства запоминания”, превратить эту операцию в опосредствованную, сигнификативную, почти не увеличивает ее эффективности; операция запоминания еще остается непосредственной, натуральной. На следующей ступени развития запоминания (дети младшего школьного возраста), характеризующейся предварительным чрезвычайно энергичным увеличением показателей внешне опосредствованного запоминания, введение второго ряда стимулов-средств является для эффективности операции, наоборот, обстоятельством решающим; это момент наибольшего расхождения показателей. Вместе с тем именно с этого момента темп их возрастания по обеим основным сериям резко изменяется: увеличение показателей внешне опосредствованного запоминания происходит более медленно и как бы продолжает темп развития запоминания без помощи внешних средств-знаков, в то время как более быстрое до этого развитие запоминания, опирающегося на внешние вспомогательные стимулы, переходит на запоминание внешне непосредственное, что на следующей, высшей ступени развития вновь приводит к сближению коэффициентов. Таким образом, общая динамика этих двух линий раз-

вития может быть наиболее просто выражена в графической форме параллелограмма, одна пара противоположных углов которого образуется сближением показателей в их верхнем и нижнем пределах, а два других угла, соединенных более короткой диагональю, соответствуют моменту наибольшего их расхождения. В дальнейшем мы и будем кратко обозначать эту закономерность развития запоминания условным термином “параллелограмм развития”.

Гипотеза, в которой, с нашей точки зрения, находит свое единственное объяснение констатированная динамика показателей запоминания, в самых общих чертах уже была нами высказана выше. Факты, лежащие в ее основе, — с одной стороны, преимущественное развитие способности запоминания осмысленного материала, с другой стороны, громадное различие в результатах так называемого механического и логического запоминания, которое, по материалам исследовавших этот вопрос авторов, выражается отношением 1 : 25 или 1 : 22, — достаточно свидетельствуют о том, что память современного человека вовсе не представляет собой выражения элементарного, чисто биологического свойства, но является чрезвычайно сложным продуктом длительного процесса культурно-исторического развития. Это развитие, о чем мы уже говорили и к чему мы еще будем неоднократно возвращаться, идет по линии овладения актами своего собственного поведения, которое из поведения натурального тем самым превращается в сложное сигнификативное поведение, т. е. в поведение, опирающееся на систему условных стимулов-знаков. Прежде чем сделаться *внутренними*, эти стимулы-знаки являются в форме действующих извне раздражителей. Только в результате своеобразного процесса их “вращения” они превращаются в знаки внутренние, и таким образом из первоначально непосредственного запоминания вырастает высшая, “логическая” память. У дошкольников в условиях наших экспериментов процесс запоминания остается натуральным, непосредственным; они не способны адекватно употребить тот внешний ряд стимулов, который мы предлагаем им в форме наших карточек-картинок; тем менее, разумеется, оказывается для них возможным

привлечение в качестве средства запоминания внутренних элементов своего опыта. Только испытуемые более старшего возраста постепенно овладевают соответствующим приемом поведения, и их запоминание с помощью внешних знаков в значительной мере, как мы видим, увеличивает свою эффективность. Вместе с тем несколько возрастает эффективность и их запоминания без внешней поддержки, которая также оказывается способной в известной мере превращаться в запоминание опосредствованное. Однако особенно интенсивно оно развивается уже после того, как ребенок полностью овладел операцией запоминания с помощью внешних знаков; для того чтобы сделаться внутренним, знак должен был быть первоначально внешним.

Если у дошкольников запоминание по обоим основным сериям наших экспериментов остается одинаково непосредственным, то на противоположном полюсе — у наших испытуемых студентов — оно также одинаково, но одинаково опосредствованное, с той только разницей, что одна из серий слов удерживается ими с помощью внешних знаков, а другая — с помощью знаков внутренних. Прослеживая в экспериментах переход между этими двумя крайними точками, мы как бы расслаиваем с помощью нашей методики процесс и получаем возможность вскрыть механизм этого перехода. <...>

Мы видели, что психологическое развитие человека протекает под влиянием неизвестной животному миру среды — среды социальной. Именно поэтому оно заключается не только в развертывании готовых биологически унаследованных приемов поведения, но представляет собой процесс приобретения поведением новых и высших своих форм — форм специфически человеческих. Возникновение этих высших форм поведения определяется тем, что социальная среда, выступая в качестве объекта приспособления, вместе с тем сама создает условия и средства для этого приспособления. В этом и заключается ее глубокое своеобразие. Под влиянием социальной среды развитие, прежде биологическое, превращается в развитие, по преимуществу историческое, культурное; таким образом, установленные нашим исследованием закономерности суть закономерности не биологического, а исторического развития.

Взаимодействуя с окружающей его социальной средой, человек перестраивает свое поведение; овладевая с помощью специальных стимулов поведением других людей, он приобретает способность овладевать и своим собственным поведением; так, процессы, прежде интерпсихологические, превращаются в процессы интрапсихологические. Это отношение, выступающее с особенной силой в развитии речи, одинаково справедливо и для других психологических функций. Именно в этом заключается и путь развития высших форм запоминания; мы видели, что память современного человека вовсе не представляет собой элементарного, чисто биологического свойства, но является чрезвычайно сложным продуктом длительного исторического развития. Это развитие, идущее по линии овладения извне актами своей собственной памяти, прежде всего обусловлено возможностью приобретения индивидуальными психологическими операциями структуры операций интерпсихологических. Вместе с тем та внешняя форма промежуточных стимулов-средств, которая составляет необходимое условие их участия в этих интерпсихологических операциях, в операциях интрапсихологических уже лишается своего значения. Таким образом, в результате своеобразного процесса их “вращивания” прежде внешние стимулы-средства оказываются способными превращаться в средства внутренние, наличие которых и составляет специфическую черту так называемой логической памяти.

Выдвигаемый нами принцип “параллелограмма” развития запоминания представляет собой не что иное, как выражение того общего закона, что развитие высших сигнификативных форм памяти идет по линии превращения внешнеопосредствованного запоминания в запоминание внутреннеопосредствованное. Этот прослеженный нами экспериментально процесс “вращивания” отнюдь не может быть понят как простое замещение внешнего раздражителя его энграммой, и он связан с глубочайшими изменениями во всей системе высшего поведения человека. Кратко мы могли бы описать этот процесс развития как процесс социализации поведения человека. Ибо роль социальной среды не ограничивается здесь только тем, что она выступает в качестве цент-

рального фактора развития; память человека, как и все его высшее поведение, остается связанной с ней и в самом своем функционировании.

Если проследить ту генетическую смену психологических процессов и операций, с помощью которых человек осуществляет задачу запоминания и которая составляет реальное содержание исторического развития памяти, то перед нами взамен старого представления о существовании рядом друг с другом двух различных памятей — памяти логической и механической — раскроется единый процесс развития единой функции.

Сущность этого процесса заключается в том, что на место памяти как особого биологического свойства становится на высших этапах развития поведения сложная функциональная система психологических процессов, выполняющая в условиях социального существования человека ту же функцию, что и память, т. е. осуществляющая запоминание. Эта система не только бесконечно расширяет приспособительные возможности памяти и пре-

вращает память животного в память человека, но она иначе построена, функционирует по своим собственным своеобразным законам. Самым существенным в этом процессе развития является возникновение именно такого рода системы вместо ординарной и простой функции. Причем это вовсе не составляет привилегии одной лишь памяти, но является гораздо более общим законом, управляющим развитием всех психологических функций. Такая высшая память, подчиненная власти самого человека — его мышлению и воле, отличается от первичной, биологической памяти не только своей структурой и способом своей деятельности, но также и своим отношением к личности в целом. Это значит, что вместе с культурной трансформацией памяти и само использование прошлого опыта, сохранением которого мы обязаны именно памяти, принимает новые и высшие формы: приобретая господство над своей памятью, мы освобождаем все наше поведение из-под слепой власти автоматического, стихийного воздействия прошлого.

А.Н.Леонтьев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ¹

1. Генезис сознания

Деятельность субъекта — внешняя и внутренняя — опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности. То, что в предметном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его деятельности, должно быть им так или иначе воспринято, представлено, понято, удержано и воспроизведено в его памяти: это же относится к процессам его деятельности и к самому себе — к его состояниям, свойствам, особенностям. Таким образом, анализ деятельности приводит нас к традиционным темам психологии. Однако теперь логика исследования обращается: проблема проявления психических процессов превращается в проблему их происхождения, их порождения теми общественными связями, в которые вступает человек в предметном мире.

Психическая реальность, которая непосредственно открывается нам, — это субъективный мир сознания. Потребовались века, чтобы освободиться от отождествления психического и сознательного. Удивительно то многообразие путей, которые вели к их различению в философии, психологии, физиологии: достаточно назвать имена Г. Лейбница, Г. Фехнера, З.Фрейда, И.М. Сеченова и И.П. Павлова.

Решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях психического отражения. С исторической, генетической

точки зрения это означало признание существования досознательной психики животных и появления у человека качественно новой ее формы — *сознания*. Так возникли новые вопросы: о той объективной необходимости, которой отвечает возникающее сознание, о том, что его порождает, о его внутренней структуре.

Сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния. Перед неискушенным человеком наличие у него этой субъективной картины не ставит, разумеется, никаких теоретических проблем: перед ним мир, а не мир и картина мира. В этом стихийном реализме заключается настоящая, хотя и наивная правда. Другое дело — отождествление психического отражения и сознания, это не более чем иллюзия нашей интроспекции.

Она возникает из кажущейся неограниченной широты сознания. Спрашивая себя, сознаем ли мы то или иное явление, мы ставим перед собой *задачу на осознание* и, конечно, практически мгновенно решаем ее. Понадобилось изобрести тахистоскопическую методику, чтобы экспериментально разделить “поле восприятия” и “поле сознания”.

С другой стороны, хорошо известные и легко воспроизводимые в лабораторных условиях факты говорят о том, что человек способен осуществлять сложные приспособительные процессы, управляемые предметами обстановки, вовсе не отдавая себе отчета в наличии их образа; он обходит препятствия и даже манипулирует вещами, как бы “не видя” их.

Другое дело, если нужно сделать или изменить вещь по образцу или *изобразить* некоторое предметное содержание. Когда я выгибаю из проволоки или рисую, скажем, пятиугольник, то я необходимо сопоставляю имеющееся у меня представление с предметными условиями, с этапами его реализации в продукте, внутренне примериваю одно к другому. Такие сопоставления требуют, чтобы мое представление выступило для меня как бы в одной плоскости с предметным миром, не сливаясь, однако, с ним. Особенно ясно это в задачах,

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. II. С. 166—186.

для решения которых нужно предварительно осуществить “в уме” взаимные пространственные смещения образов объектов, соотносимых между собой; такова, например, задача, требующая мысленного поворачивания фигуры, вписываемой в другую фигуру.

Исторически необходимость такого “предстояния” (презентированности) психического образа субъекту возникает лишь при переходе от приспособительной деятельности животных к специфической для человека производственной, трудовой деятельности. Продукт, к которому теперь стремится деятельность, актуально еще не существует. Поэтому он может регулировать деятельность лишь в том случае, если он представлен для субъекта в такой форме, которая позволяет сопоставить его с исходным материалом (предметом труда) и его промежуточными преобразованиями. Более того, психический образ продукта как цели должен существовать для субъекта так, чтобы он мог *действовать* с этим образом — видоизменять его в соответствии с наличными условиями. Такие образы и суть сознательные образы, сознательные представления — словом, суть явления сознания.

Сама по себе необходимость возникновения у человека явлений сознания, разумеется, еще ничего не говорит о процессе их порождения. Она, однако, ясно ставит задачу исследования этого процесса, задачу, которая в прежней психологии вообще не возникала. Дело в том, что в рамках традиционной диодической схемы *объект* → *субъект* феномен сознания у субъекта принимался без всяких объяснений, если не считать истолкований, допускающих существование под крышкой нашего черепа некоего наблюдателя, созерцающего картины, которые ткнут в мозге нервные физиологические процессы.

Впервые метод научного анализа порождения и функционирования человеческого сознания — общественного и индивидуального — был открыт Марксом. В результате, как это подчеркивает один из современных авторов, предмет исследования сознания переместился от субъективного индивида на социальные системы де-

ятельности, так что “метод внутреннего наблюдения и понимающей интроспекции, долгое время монополично владевший исследованиями сознания, затрещал по швам”¹. На немногих страницах невозможно, разумеется, охватить сколько-нибудь полно даже главные вопросы марксистской теории сознания. Не претендуя на это, я ограничусь лишь некоторыми положениями, которые указывают пути решения проблемы деятельности и сознания в *психологии*.

Очевидно, что объяснение природы сознания лежит в тех же особенностях человеческой деятельности, которые создают его необходимость: в ее объективно-предметном, продуктивном характере.

Трудовая деятельность запечатлевается в своем продукте. Происходит, говоря словами Маркса, переход деятельности в покоящееся свойство. Переход этот представляет собой процесс вещественного воплощения предметного содержания деятельности, которое презентуется теперь субъекту, т.е. предстает перед ним в форме образа воспринимаемого предмета.

Иначе говоря, в самом первом приближении порождение сознания рисуется так: представление, управляющее деятельностью, воплощаясь в предмете, получает свое второе, “объективированное” существование, доступное чувственному восприятию; в результате субъект как бы видит свое представление во внешнем мире; дублируясь, оно осознается. Схема эта является, однако, несостоятельной. Она возвращает нас к прежней субъективно-эмпирической, по сути идеалистической, точке зрения, которая как раз и выделяет прежде всего то обстоятельство, что указанный переход имеет в качестве своей необходимой предпосылки *сознание* — наличие у субъекта представлений, намерений, мысленных планов, схем или “моделей”; что эти психические явления и объективируются в деятельности и ее продуктах. Что же касается самой деятельности субъекта, то, управляемая сознанием, она выполняет по отношению к его содержанию лишь передаточную функцию и функцию их “подкрепления — неподкрепления”.

¹ Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1968. № 6. С. 14.

Однако главное состоит вовсе не в том, чтобы указать на активную, управляющую роль сознания. Главная проблема заключается в том, чтобы понять сознание как субъективный продукт, как преобразованную форму проявления тех общественных по своей природе отношений, которые осуществляются деятельностью человека в предметном мире.

Деятельность является отнюдь не просто выразителем и переносчиком психического образа, который объективируется в ее продукте. В продукте запечатлевается не образ, а именно деятельность, то предметное содержание, которое она объективно несет в себе.

Переходы *субъект* → *деятельность* → *предмет* образуют как бы круговое движение, поэтому может казаться безразличным, какое из его звеньев или моментов взять в качестве исходного. Однако это вовсе не движение в заколдованном круге. Круг этот размыкается, и размыкается именно в самой чувственно-практической деятельности.

Вступая в прямое соприкосновение с предметной действительностью и подчиняясь ей, деятельность видоизменяется, обогащается, в этой своей обогащенности она кристаллизуется в продукте. Осуществленная деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее ее сознание. При этом для сознания субъекта вклады, которые вносятся его деятельностью, остаются скрытыми; отсюда и происходит, что сознание может казаться основой деятельности.

Выразим это иначе. Отношения продуктов предметной деятельности, реализующей связи, отношения общественных индивидов выступают для них как явления их сознания. Однако в действительности за этими явлениями лежат упомянутые объективные связи и отношения, хотя и не в явной, а в снятой, скрытой от субъекта форме. Вместе с тем явления сознания составляют *реальный* момент в движении деятельности. В этом и заключается их не “эпифеноменальность”, их

существенность. Как верно отмечает В. П. Кузьмин, сознательный образ выступает в функции *идеальной меры*, которая овеществляется в деятельности¹.

Подход к сознанию, о котором идет речь, в корне меняет постановку важнейшей для психологии проблемы — проблемы соотношения субъективного образа и внешнего предмета. Он уничтожает ту мистификацию этой проблемы, которую создает в психологии многократно упомянутый мною постулат непосредственности. Ведь если исходить из допущения, что внешние воздействия *непосредственно* вызывают в нас, в нашем мозге, субъективный образ, то тотчас встает вопрос, как же происходит, что образ этот выступает как существующий вне нас, вне нашей субъективности — в координатах внешнего мира.

В рамках постулата непосредственности ответить на этот вопрос можно, только допустив процесс вторичного, так сказать, проецирования психического образа вовне. Теоретическая несостоятельность такого допущения очевидна², к тому же оно находится в явном противоречии с фактами, которые свидетельствуют о том, что психический образ с самого начала уже “отнесен” к внешней по отношению к мозгу субъекта реальности и что он не проецируется во внешний мир, а, скорее, *вычерпывается* из него³. Конечно, когда я говорю о “вычерпывании”, то это не более чем метафора. Она, однако, выражает реальный, доступный научному исследованию процесс — процесс присвоения субъектом предметного мира в его идеальной форме, в форме сознательного отражения.

Этот процесс первоначально возникает в той же системе объективных отношений, в которой происходит переход предметного содержания деятельности в ее продукт. Но для того чтобы процесс этот реализовался, недостаточно, чтобы продукт деятельности, впитавший ее в себя, предстал перед субъектом своими вещественными свойствами; должна про-

¹ См.: История марксистской диалектики. М., 1971. С. 181—184.

² См.: *Рубинштейн С. Л.* Бытие и сознание. М., 1957. С. 34; *Лекторский В. А.* Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии. М., 1965; *Брушлинский А. В.* О некоторых методах моделирования в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1969. С. 148—254.

³ См.: *Леонтьев А. Н.* Образ и модель // Вопросы психологии. 1970. № 2.

изойти такая его трансформация, в результате которой он мог бы выступить как познаваемый субъектом, т.е. идеальное. Трансформация эта происходит посредством функционирования языка, являющегося продуктом и средством общения между собой участников производства. Язык несет в своих значениях (понятиях) то или другое предметное содержание, но содержание, полностью освобожденное от своей вещественности. Так, пища является, конечно, вещественным предметом, значение же слова “пища” не содержит в себе ни грамма пищевого вещества. При этом и сам язык тоже имеет свое вещественное существование, свою *материю*; однако язык, взятый по отношению к означаемой реальности, является лишь формой ее бытия, как и те вещественные мозговые процессы индивидов, которые реализуют ее осознание¹.<...>

2. Чувственная ткань сознания

Развитое сознание индивидов характеризуется своей психологической многомерностью.

В явлениях сознания мы обнаруживаем прежде всего их чувственную ткань. Эта ткань и образует чувственный состав конкретных образов реальности, актуально воспринимаемой или всплывающей в памяти, относимой к будущему или даже только воображаемой. Образы эти различаются по своей модальности, чувственному тону, степени ясности, большей или меньшей устойчивости и т. д. Обо всем этом написаны многие тысячи страниц. Однако эмпирическая психология постоянно обходила важнейший с точки зрения проблемы сознания вопрос: о той особой функции, которую выполняют в сознании его чувственные элементы. Точнее, этот вопрос растворялся в косвенных проблемах, таких, как проблема осмысленности восприятия или проблема роли речи (языка) в обобщении чувственных данных.

Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они придают

реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту. Что, иначе говоря, именно благодаря чувственному содержанию сознания мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а *вне* его сознания — как объективное “поле” и объект его деятельности.

Это утверждение может показаться парадоксальным, потому что исследования чувственных явлений издавна исходили из позиций, приводивших, наоборот, к идее об их “чистой субъективности”, “иероглифичности”. Соответственно, чувственное содержание образов представлялось не как осуществляющее непосредственную связь сознания с внешним миром², а, скорее, как отгораживающее от него.

В послегельмгольцевский период экспериментальное изучение процессов перцепции ознаменовалось огромными успехами, так что психология восприятия наводнена сейчас великим множеством разнообразных фактов и частных гипотез. Но вот что удивительно: несмотря на эти успехи, теоретическая позиция Г. Гельмгольца осталась непоколебленной.

Правда, в большинстве психологических работ она присутствует невидимо, за кулисами. Лишь немногие обсуждают ее серьезно и открыто, как, например, Р. Грегори — автор самых, пожалуй, увлекательных современных книг о зрительном восприятии³.

Сила позиции Г. Гельмгольца в том, что, изучая физиологию зрения, он понял невозможность вывести образы предметов непосредственно из ощущений, отождествить их с теми “узорами”, которые световые лучи рисуют на сетчатке глаза. В рамках понятийного строя естествознания того времени решение проблемы, предложенное Г. Гельмгольцем (а именно, что к работе органов чувств необходимо присоединяется работа мозга, строящего по сенсорным намекам гипотезы о предметной действительности), было единственно возможным.

Дело в том, что предметные образы сознания мыслились как некоторые психические *вещи*, зависящие от других вещей, составляющих их внешнюю причину.

¹ См.: Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2.

² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 46.

³ См.: Грегори Р. Разумный глаз. М., 1972.

Иначе говоря, анализ шел в плоскости двоякой абстракции, которая выражалась, с одной стороны, в изъятии сенсорных процессов из системы деятельности субъекта, а с другой — в изъятии чувственных образов из системы человеческого сознания. Сама идея системности объекта научного познания оставалась неразработанной.

В отличие от подхода, рассматривающего явления в их изолированности, системный анализ сознания требует исследовать “образующие” сознания в их внутренних отношениях, порождаемых развитием форм связи субъекта с действительностью, и, значит, прежде всего со стороны той функции, которую каждое из них выполняет в процессах презентирования (представленности) субъекту картины мира.

Чувственные содержания, взятые в системе сознания, не открывают прямо своей функции, субъективно она выражается лишь косвенно — в безотчетном переживании “чувства реальности”. Однако она тотчас обнаруживает себя, как только возникает нарушение или извращение рецепции внешних воздействий. Так как свидетельствующие об этом факты имеют для психологии сознания принципиальное значение, то я приведу некоторые из них.

Очень яркое проявление функции чувственных образов в сознании реального мира мы наблюдали в исследовании восстановления предметных действий у раненых минеров, полностью ослепших и одновременно потерявших кисти обеих рук. Так как у них была произведена восстановительная хирургическая операция, связанная с массивным смещением мягких тканей предплечий, то они утрачивали также и возможность осязательного восприятия предметов руками (явление асимболии). Оказалось, что при невозможности зрительного контроля эта функция у них не восстанавливалась, соответственно у них не восстанавливались и предметные ручные движения. В результате через не-

сколько месяцев после ранения у больных появлялись необычные жалобы: несмотря на ничем не затрудненное речевое общение с окружающими и при полной сохранности умственных процессов, внешний предметный мир постепенно становился для них “исчезающим”. Хотя словесные понятия (значения слов) сохраняли у них свои логические связи, они, однако, постепенно утрачивали свою предметную отнесенность. Возникла поистине трагическая картина разрушения у больных чувства реальности. “Я обо всем как читал, а не видел... Вещи от меня все дальше” — так описывает свое состояние один из ослепших ампутантов. Он жалуется, что когда с ним здороваются, “то как будто и человека нет”¹.

Сходные явления потери чувства реальности наблюдаются и у нормальных испытуемых в условиях искусственной инверсии зрительных впечатлений. Еще в конце прошлого столетия М. Страттон в своих классических опытах с ношением специальных очков, переворачивающих изображение на сетчатке, отмечал, что при этом возникает переживание нереальности воспринимаемого мира².

Требовалось понять суть тех качественных перестроек зрительного образа, которые открываются субъекту в виде переживания нереальности зрительной картины. В дальнейшем были обнаружены такие особенности инвертированного зрения, как трудность идентификации знакомых предметов³ и особенно человеческих лиц⁴, его аконстантность⁵ и т. п.

Отсутствие прямой отнесенности инвертированного зрительного образа к объективному предметному миру свидетельствует о том, что на уровне рефлектирующего сознания субъект способен дифференцировать восприятие реального мира и свое внутреннее феноменальное поле. Первое представлено сознательными “значимыми” образами, второе — собственно чувственной тканью. Иначе говоря, чувственная

¹ Леонтьев А. Н., Запорожец А. В. Восстановление движений. М., 1945. С. 75.

² См. Stratton M. Some preliminary experiments in vision without inversion of the retinal image // Psychological Review. 1897. № 4.

³ См. Gaffron M. Perceptual experience: an analysis of its relation to the external world through internal processings // Psychology: A Study of a Science. 1963. Vol. 4.

⁴ См. Yin E. Looking an upside-down face // Journal of Experimental Psychology. 1969. Vol. 81 (1).

⁵ См.: Логвиненко А. Д., Столин В. В. Восприятие инверсии поля зрения // Эргономика: Труды ВНИИТЭ. М., 1973. Вып. 6.

ткань образа может быть представлена в сознании двояко: либо как то, в чем существует для субъекта предметное содержание (и это составляет обычное, “нормальное” явление), либо сама по себе. В отличие от нормальных случаев, когда чувственная ткань и предметное содержание слиты между собой, их несовпадение обнаруживается либо в результате специально направленной интроспекции¹, либо в специальных экспериментальных условиях, особенно отчетливо в опытах с длительной адаптацией к инвертированному зрению². Сразу после надевания инвертирующих призм субъекту презентуется лишь чувственная ткань зрительного образа, лишенная предметного содержания. Дело в том, что при восприятии мира через меняющиеся проекцию оптические устройства видимые образы трансформируются в сторону их наибольшего правдоподобия; другими словами, при адаптации к оптическим искажениям происходит не просто иное “декодирование” проекционного образа, а сложный процесс построения воспринимаемого предметного содержания, имеющего определенную предметную логику, отличную от “проекционной логики” сетчаточного образа. Поэтому невозможность восприятия предметного содержания в начале эксперимента с инверсией связана с тем, что в сознании субъекта образ представлен лишь его чувственной тканью. В дальнейшем же перцептивная адаптация совершается как своеобразный процесс восстановления предметного содержания зрительного образа в его инвертированной чувственной ткани³.

Возможность дифференцирования феноменального поля и предметных “значимых” образов, по-видимому, составляет особенность только человеческого сознания, благодаря которой человек освобождается от рабства чувственных впечатлений, когда они извращаются случайными услови-

ями восприятия. Любопытно в этой связи эксперименты с обезьянами, которым надевали очки, инвертирующие сетчаточный образ; оказалось, что, в отличие от человека, у обезьян это полностью разрушает их поведение и они впадают на длительный срок в состояние инактивности⁴.<...>

3. Значение как проблема психологии сознания

<...> У человека чувственные образы приобретают новое качество, а именно свою означенность. *Значения* и являются важнейшими “образующими” человеческого сознания.

Как известно, выпадение у человека даже главных сенсорных систем — зрения и слуха — не уничтожает сознания. Даже у слепоглухонемых детей в результате овладения ими специфически человеческими операциями предметного действия и языком (что, понятно, может происходить лишь в условиях специального воспитания) формируется нормальное сознание, отличающееся от сознания видящих и слышащих людей только своей крайне бедной чувственной тканью⁵. Другое дело, когда в силу тех или иных обстоятельств “гоминизация” деятельности и общения не происходит. В этом случае, несмотря на полную сохранность сенсорной сферы, сознание не возникает. Это явление (назовем его феноменом Каспара Гаузера) сейчас широко известно.

Итак, значения преломляют мир в сознании человека. Хотя носителем значений является язык, но язык не демиург значений. За языковыми значениями скрываются общественно выработанные способы (операции) действия, в процессе которых люди изменяют и познают объективную реальность. Иначе говоря, в значениях представлена преобразованная и свернутая в мате-

¹ Это дало основание ввести понятие “видимое поле” в отличие от понятия “видимый мир” // *Gibson J. J. Perception of the Visual World. Boston, 1950.*

² См.: *Логвиненко А. Д. Инвертированное зрение и зрительный образ // Вопросы психологии. 1974. № 5.*

³ См.: *Логвиненко А. Д. Перцептивная деятельность при инверсии сетчаточного образа // Восприятие и деятельность. М., 1975.*

⁴ См. *Foley J. B. An experimental investigation of the visual field in the Rhesus monkey // Journal of Genetic Psychology. 1940. № 56.*

⁵ См.: *Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети. М., 1974; Гургенидзе Г. С., Ильенков Э. В. Выдающееся достижение советской науки // Вопросы философии. 1975. № 6.*

рии языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной общественной практикой. Поэтому значения сами по себе, т. е. в абстракции от их функционирования в индивидуальном сознании, столь же “не психологичны”, как и та общественно познанная реальность, которая лежит за ними¹.

Значения составляют предмет изучения в лингвистике, семиотике, логике. Вместе с тем в качестве одной из “образующих” индивидуальное сознание они необходимо входят в круг проблем психологии. Главная трудность психологической проблемы значения состоит в том, что в ней воспроизводятся все те противоречия, на которые наталкивается более широкая проблема соотношения логического и психологического в мышлении, логике и психологии понятия.

В рамках субъективно-эмпирической психологии эта проблема решалась в том смысле, что понятия (словесные значения) являются *психологическим* продуктом — продуктом ассоциирования и генерализации впечатлений в сознании индивидуального субъекта, результаты которых закрепляются за словами. Эта точка зрения нашла, как известно, свое выражение не только в психологии, но и в концепциях, психологизирующих логику.

Другая альтернатива заключается в признании, что понятия и операции с понятиями управляются объективными логическими законами; что психология имеет дело только с отклонениями от этих законов, которые наблюдаются в примитивном мышлении, в условиях патологии или при сильных эмоциях; что, наконец, в задачу психологии входит изучение *онтогенетического развития* понятий и мышления. Исследование этого процесса и заняло в психологии мышления главное место. Достаточно указать на труды Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и на многочисленные советские и зарубежные работы по психологии обучения.

Исследования формирования у детей понятий и логических (умственных) опе-

раций внесли очень важный вклад в науку. Было показано, что понятия отнюдь не формируются в голове ребенка по типу образования чувственных генетических образов, а представляют собой результат процесса присвоения “готовых”, исторически выработанных значений и что процесс этот происходит в деятельности ребенка, в условиях общения с окружающими людьми. Обучаясь выполнению тех или иных действий, он овладевает соответствующими операциями, которые в их сжатой, идеализированной форме и представлены в значении.

Само собой разумеется, что первоначально процесс овладения значениями происходит во внешней деятельности ребенка с вещественными предметами и в симпрактическом общении. На ранних стадиях ребенок усваивает конкретные, непосредственно предметно отнесенные значения; впоследствии ребенок овладевает также и собственно логическими операциями, но тоже в их внешней, экстерииоризированной форме — ведь иначе они вообще не могут быть коммуницированы. Интериоризуясь, они образуют отвлеченные значения, понятия, а их движение составляет внутреннюю умственную деятельность, деятельность “в плане сознания”.

Этот процесс подробно изучался последние годы П. Я. Гальпериным, который выдвинул стройную теорию, названную им “теорией поэтапного формирования умственных действий и понятий”; одновременно им развивалась концепция об ориентировочной основе действий, о ее особенностях и о соответствующих ей типах обучения².

Теоретическая и практическая продуктивность этих и идущих вслед за ними многочисленных исследований является бесспорной. Вместе с тем проблема, которой они посвящены, была с самого начала жестко ограничена; это проблема целенаправленного, “не стихийного” формирования умственных процессов по извне заданным “матрицам” — “параметрам”. Соответственно, *анализ* сосредоточился на выполнении заданных действий; что же касается их

¹ В данном контексте нет необходимости жестко различать понятия и словесные значения, логические операции и операции значения.

² См.: Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. 1; его же. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследования мышления в советской психологии. М., 1966.

порождения, т. е. процесса целеобразования и мотивации деятельности (в данном случае учебной), которую они реализуют, то это осталось за пределами прямого исследования. Понятно, что при этом условии нет никакой необходимости различать в системе деятельности собственно действия и способы их выполнения, не возникает необходимости системного анализа индивидуального сознания.

Сознание как форма психического отражения, однако, не может быть сведено к функционированию усвоенных извне значений, которые, развертываясь, управляют внешней и внутренней деятельностью субъекта. Значения и свернутые в них операции *сами по себе*, т. е. в своей абстракции от внутренних отношений системы деятельности и сознания, вовсе не являются предметом психологии. Они становятся им, лишь будучи взяты в этих отношениях, в движении их системы.

Это вытекает из самой природы психического. Как уже говорилось, психическое отражение возникает в результате раздвоения жизненных процессов субъекта на процессы, осуществляющие его прямые биотические отношения, и “сигнальные” процессы, которые опосредствуют их; развитие внутренних отношений, порождаемых этим раздвоением, и находит свое выражение в развитии структуры деятельности, а на этой основе — также в развитии форм психического отражения. В дальнейшем, на уровне человека, происходит такая трансформация этих форм, которая приводит к тому, что, фиксируясь в языке (языках), они приобретают квазисамостоятельное существование в качестве объективных идеальных явлений. При этом они постоянно воспроизводятся процессами, совершающимися в головах конкретных индивидов. Последнее и составляет внутренний “механизм” их передачи от поколения к поколению и условие их обогащения посредством индивидуальных вкладов.

Здесь мы вплотную подходим к проблеме, которая является настоящим камнем преткновения для психологического анализа сознания. Это проблема особенностей функционирования знаний, понятий, мысленных моделей, с одной стороны, в си-

стеме отношений общества, в общественном сознании, а с другой — в деятельности индивида, реализующей его общественные связи, в *его* сознании.

Как уже говорилось, сознание обязано своим возникновением происходящему в труде выделению действий, познавательные результаты которых абстрагируются от живой целостности человеческой деятельности и идеализируются в форме языковых значений. Коммуницируясь, они становятся достоянием сознания индивидов. При этом они отнюдь не утрачивают своей абстрагированности; они несут в себе способы, предметные условия и результаты действий, независимо от субъективной мотивации деятельности людей, в которой они формируются. На ранних этапах, когда еще сохраняется общность мотивов деятельности участников коллективного труда, значения как явления индивидуального сознания находятся в отношениях прямой адекватности. Это отношение, однако, не сохраняется. Оно разлагается вместе с разложением первоначальных отношений индивидов к материальным условиям и средствам производства, возникновением общественного разделения труда и частной собственности¹. В результате общественно выработанные значения начинают жить в сознании индивидов как бы двойной жизнью. Рождается еще одно внутреннее отношение, еще одно движение значений в системе индивидуального сознания.

Это особое внутреннее отношение проявляет себя в самых простых психологических фактах. Так, например, все учащиеся постарше, конечно, отлично понимают значение экзаменационной отметки и вытекающих из нее следствий. Тем не менее отметка может выступить для сознания каждого из них существенно по-разному: скажем, как шаг (или препятствие) на пути к избранной профессии, или как способ утверждения себя в глазах окружающих, или как-нибудь иначе. Вот это-то обстоятельство и ставит психологию перед необходимостью различать сознаваемое объективное значение и его значение для субъекта. Чтобы избежать удвоения терминов, я предпочитаю говорить в последнем случае о *личностном смысле*. Тогда

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. Т. 46. Ч. 1. С. 17—48.

приведенный пример может быть выражен так: значение отметки способно приобретать в сознании учащихся разный личностный смысл.

Хотя предложенное мною понимание соотношения понятий значения и смысла было неоднократно пояснено, оно все же нередко интерпретируется совершенно неправильно. По-видимому, нужно вернуться к анализу понятия личностного смысла еще раз.

Прежде всего несколько слов об объективных условиях, приводящих к дифференциации в индивидуальном сознании значений и смыслов. В своей известной статье, посвященной критике А. Вагнера, Маркс отмечает, что присваиваемые людьми предметы внешнего мира первоначально словесно обозначались ими как *средства удовлетворения их потребностей*, как то, что является для них “благами”. “...Они приписывают предмету характер полезности, как будто присущий самому предмету”¹, — говорит Маркс. Эта мысль оттеняет очень важную черту сознания на ранних этапах развития, а именно, что предметы отражаются в языке и сознании слитно с конкретизованными (опредмеченными) в них потребностями людей. Однако в дальнейшем эта слитность разрушается. Неизбежность ее разрушения заложена в объективных противоречиях товарного производства, которое порождает противоположность конкретного и абстрактного труда, ведет к отчуждению человеческой деятельности.

Эта проблема неизбежно возникает перед анализом, понимающим всю ограниченность представления о том, что значения в индивидуальном сознании являются лишь более или менее полными и совершенными проекциями “надындивидуальных” значений, существующих в данном обществе. Она отнюдь не снимается и ссылками на тот факт, что значения преломляются конкретными особенностями индивида, его прежним опытом, своеобразием его установок, темперамента и т.д.

Проблема, о которой идет речь, возникает из реальной двойственности существования значений для субъекта. Последняя состоит в том, что значения выступают перед субъектом и в своем независимом

существовании — в качестве объектов его сознания и вместе с тем в качестве способов и “механизма” осознания, т. е. функционируя в процессах, презентующих объективную действительность. В этом функционировании значения необходимо вступают во внутренние отношения, которые связывают их с другими “образующими” индивидуального сознания; в этих внутренних отношениях они единственно и обретают свою *психологическую* характеристику.

Выразим это иначе. Когда в психическое отражение мира индивидуальным субъектом вливаются идеализированные в значениях продукты общественно-исторической практики, то они приобретают новые системные качества. Раскрытие этих качеств и составляет одну из задач психологической науки.

Наиболее трудный пункт создается здесь тем, что значения ведут двойную жизнь. Они производятся обществом и имеют свою историю в развитии языка, в развитии форм общественного сознания; в них выражается движение человеческой науки и ее познавательных средств, а также идеологических представлений общества — религиозных, философских, политических. В этом объективном своем бытии они подчиняются общественно-историческим законам и вместе с тем внутренней логике своего развития.

При всем неисчерпаемом богатстве, при всей многосторонности этой жизни значений (подумать только — все науки занимаются ею!) в ней остается полностью скрытой другая их жизнь, другое их движение — их функционирование в процессах деятельности и сознания конкретных индивидов, хотя посредством этих процессов они только и могут существовать.

В этой второй своей жизни значения индивидуализируются и “субъективируются”, но лишь в том смысле, что *непосредственно* их движение в системе отношений общества в них уже не содержится; они вступают в иную систему отношений, в иное движение. Но вот что замечательно: они при этом отнюдь не утрачивают своей общественно-исторической природы, своей объективности.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 378.

Одна из сторон движения значений в сознании конкретных индивидов состоит в том “возвращении” их к чувственной предметности мира, о котором шла речь выше. В то время как в своей абстрактности, в своей “надындивидуальности” значения безразличны к формам чувственности, в которых мир открывается конкретному субъекту (можно сказать, что сами по себе значения лишены чувственности), их функционирование в осуществлении его реальных жизненных связей необходимо предполагает их отнесенность к чувственным впечатлениям. Конечно, чувственно-предметная отнесенность значений в сознании субъекта может быть не прямой, она может реализоваться через как угодно сложные цепи свернутых в них мыслительных операций, особенно когда значения отражают действительность, которая выступает лишь в своих отдаленных косвенных формах. Но в нормальных случаях эта отнесенность всегда существует и исчезает только в продуктах их движения, в их экстерииризациях.

Другая сторона движения значений в системе индивидуального сознания состоит в особой их субъективности, которая выражается в приобретаемой ими *пристрастности*. Сторона эта, однако, открывает себя лишь при анализе внутренних отношений, связывающих значения с еще одной “образующей” сознания — *личностным смыслом*.

4. ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ

Психология издавна описывала субъективность, пристрастность человеческого сознания. Ее проявления видели в избирательности внимания, в эмоциональной окрашенности представлений, в зависимости познавательных процессов от потребностей и влечений. В свое время Г. Лейбниц выразил эту зависимость в известном афоризме: “...если бы геометрия так же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность, то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Эвклида и Архимеда...”¹.

Трудности заключались в психологическом объяснении пристрастности созна-

ния. Явления сознания казались имеющими двойную детерминацию — внешнюю и внутреннюю. Соответственно, они трактовались как якобы принадлежащие к двум разным сферам психики: сфере познавательных процессов и сфере потребностей, аффективности. Проблема соотношения этих сфер — решалась ли она в духе рационалистических концепций или в духе психологии глубинных переживаний — неизменно интерпретировалась с антропологической точки зрения, с точки зрения взаимодействия разных по своей природе факторов-сил.

Однако действительная природа как бы двойственности явлений индивидуально-го сознания лежит не в их подчиненности этим независимым факторам.

Не будем вдаваться здесь в те особенности, которые отличают в этом отношении различные общественно-экономические формации. Для общей теории индивидуального сознания главное состоит в том, что деятельность конкретных индивидов всегда остается “втиснутой” (*inseré*) в наличные формы проявления этих объективных противоположностей, которые и находят свое косвенное феноменальное выражение в их сознании, в его особом внутреннем движении.

Деятельность человека исторически не меняет своего общего строения, своей “макроструктуры”. На всех этапах исторического развития она осуществляется сознательными действиями, в которых совершается переход целей в объективные продукты, и подчиняется побуждающим ее мотивам. Что радикально меняется, так это характер отношений, связывающих между собой цели и мотивы деятельности.

Эти отношения и являются психологически решающими. Дело в том, что для самого субъекта осознание и достижение им конкретных целей, овладение средствами и операциями действия есть способ утверждения его жизни, удовлетворения и развития его материальных и духовных потребностей, опредмеченных и трансформированных в мотивах его деятельности. Безразлично, осознаются или не осознаются субъектом мотивы, сигнализируют ли они о себе в форме переживаний интереса, желания или страсти; их функция, взятая со стороны сознания,

¹ Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме. М.; Л., 1936. С. 88.

состоит в том, что они как бы “оценивают” жизненное значение для субъекта объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах, придают им личностный смысл, который прямо не совпадает с понимаемым объективным их значением. При определенных условиях несовпадение смыслов и значений в индивидуальном сознании может приобретать характер настоящей чуждости между ними, даже их противопоставленности.

В товарном обществе эта чуждость возникает необходимо и притом у людей, стоящих на обоих общественных полюсах. Наемный рабочий, конечно, отдает себе отчет в производимом им продукте, иначе говоря, он выступает перед ним в его объективном значении (*Bedeutung*), по крайней мере в пределах, необходимых для того, чтобы он мог разумно выполнять свои трудовые функции. Но смысл (*Sinn*) его труда для него самого заключается не в этом, а в зарплате, ради которой он работает. “Смысл двенадцатичасового труда заключается для него не в том, что он тклет, прядет, сверлит и т. д., а в том, что это — способ *заработка*, который дает ему возможность поесть, пойти в трактир, поспать”¹. Эта отчужденность проявляется и на противоположном общественном полюсе: для торговцев минералами, замечает Маркс, минералы не имеют *смысла* минералов².

Уничтожение отношений частной собственности уничтожает эту противопоставленность значений и смыслов в сознании индивидов; их несовпадение, однако, сохраняется.

Необходимость их несовпадения заложена уже в глубокой предыстории человеческого сознания, в существовании у животных двух видов чувственности, опосредствующих их поведение в предметной среде. Как известно, восприятие животных ограничено воздействиями, сигнально связанными с удовлетворением их потребностей, хотя бы только эвентуально, в возможности³. Но потребности могут осуществлять функцию психической регуляции, лишь выступая в форме побуж-

дающих объектов (и, соответственно, средств овладения ими или защиты от них). Иначе говоря, в чувственности животных внешние свойства объектов и их способность удовлетворять те или иные потребности не отделяются друг от друга. Вспомним: собака в ответ на воздействие условного пищевого раздражителя рвется к нему, лижет его⁴. Однако неотделимость восприятия животным внешнего облика объектов от его потребностей вовсе не означает их совпадения. Напротив, в ходе эволюции их связи становятся все более подвижными и до чрезвычайности усложняются, сохраняется лишь невозможность их обособления. Они разделяются только на уровне человека, когда во внутренние связи обеих этих форм чувственности вклиниваются словесные значения.

Я говорю, что значения *вклиниваются* (хотя, может быть, лучше было бы сказать “вступают” или “погружаются”), единственно для того, чтобы заострить проблему. В самом деле: ведь в своей объективности, т. е. как явления общественного сознания, значения преломляют для индивида объекты независимо от их отношения к *его* жизни, к *его* потребностям и мотивам. Даже для сознания утопающего соломинка, за которую он хватается, все же сохраняет свое значение соломинки; другое дело, что эта соломинка — пусть только иллюзорно — приобретает в этот момент для него смысл спасающей его жизнь.

Хотя на первоначальных этапах формирования сознания значения выступают слитно с личностными смыслами, однако в этой слитности имплицитно уже содержится их несовпадение, которое далее неизбежно приобретает и свои открытые, эксплицированные формы. Последнее и делает необходимым выделять в анализе личностный смысл в качестве еще одной образующей систему индивидуального сознания. Они-то и создают тот “утаенный”, по выражению Л. С. Выготского, план сознания, который столь часто интерпретируется в психологии не как формирую-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 432.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 122.

³ Это и послужило основанием для немецких авторов различать *окружение* (*Umwelt*) как то, что воспринимается животными, и *мир* (*Welt*), который открывается только сознанию человека.

⁴ См.: Павлов И. П. Полн. собр. соч.. Т. III. Кн. 1. С. 157.

щийся в деятельности субъектов, в развитии ее мотивации, а как якобы непосредственно выражающий изначально заключенные в самой природе человека внутренние движущие им силы.

В индивидуальном сознании извне усваиваемые значения действительно как бы раздвигают и одновременно соединяют между собой оба вида чувственности — чувственные впечатления внешней реальности, в которой протекает его деятельность, и формы чувственного переживания ее мотивов, удовлетворения или неудовлетворения скрывающихся за ними потребностей.

В отличие от значений личностные смыслы, как и чувственная ткань сознания, не имеют своего “надындивидуального”, своего “непсихологического” существования. Если внешняя чувственность связывает в сознании субъекта значения с реальностью объективного мира, то личностный смысл связывает их с реальностью самой его жизни в этом мире, с ее мотивами. *Личностный смысл и создает пристрастность человеческого сознания.*

Выше говорилось о том, что в индивидуальном сознании значения “психологизируются”, возвращаясь к чувственно данной человеку реальности мира. Другим, и притом решающим, обстоятельством, превращающим значения в психологическую категорию, является то, что, функционируя в системе индивидуального сознания, значения реализуют не самих себя, а движение воплощающего в них себя личностного смысла — этого для-себя-бытия конкретного субъекта.

Психологически, т. е. в системе сознания субъекта, а не в качестве его предмета или продукта, значения вообще не существуют иначе, как реализуя те или иные смыслы, так же как его действия и операции не существуют иначе, как реализуя ту или иную его деятельность, побуждаемую мотивом, потребностью. Другая сторона состоит в том, что личностный смысл — это всегда смысл *чего-то*: “чистый”, непредметный смысл есть такой же абсурд, как и непредметное существо.

Воплощение смысла в значениях — это глубоко интимный, психологически содержательный, отнюдь не автоматически и одномоментно происходящий процесс. В творениях художественной литературы, в практике морального и политического вос-

питания этот процесс выступает во всей своей полноте. Научная психология знает этот процесс только в его частных выражениях: в явлениях “рационализации” людьми их действительных побуждений, в переживании муки перехода от одной мысли к слову (“Я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется”, — цитирует О. Э. Мандельштама Л. С. Выготский). <...>

Более пристальный анализ такого перевоплощения личностных смыслов в адекватные (более адекватные) значения показывает, что оно протекает в условиях борьбы за сознание людей, происходящей в обществе. Я хочу этим сказать, что индивид не просто “стоит” перед некоторой “витриной” покоящихся на ней значений, среди которых ему остается только сделать выбор, что эти значения — представления, понятия, идеи — не пассивно ждут его выбора, а энергично врываются в его связи с людьми, образующие круг его реальных общений. Если индивид в определенных жизненных обстоятельствах и вынужден выбирать, то это выбор не между значениями, а между сталкивающимися общественными позициями, которые посредством этих значений выражаются и осознаются. <...>

Не исчезает, да и не может исчезнуть, постоянно воспроизводящее себя несовпадение личностных смыслов, несущих в себе интенциональность, пристрастность сознания субъекта и “равнодушных” к нему значений, посредством которых они только и могут себя выразить. Потому-то внутреннее движение развитой системы индивидуального сознания и полно драматизма. Он создается смыслами, которые не могут “высказать себя” в адекватных значениях; значениями, лишенными своей жизненной почвы и поэтому иногда мучительно дискредитирующими себя в сознании субъекта; они создаются, наконец, существованием конфликтующих между собой мотивов-целей.

Нет надобности повторять, что это внутреннее движение индивидуального сознания порождается движением предметной деятельности человека, что за его драматизмом скрывается драматизм его реальной жизни, что поэтому научная психология сознания невозможна вне исследования деятельности субъекта, форм ее непосредственного существования.

В заключение я не могу не затронуть здесь проблемы так называемой “жизненной психологии”, *психологии переживаний*, которая в последнее время вновь обсуждается в нашей литературе¹. Из того, что было изложено, прямо вытекает, что хотя научная психология не должна выбрасывать из поля своего зрения внутренний мир человека, но его изучение не может быть отделено от исследования деятельности и не составляет никакого особого направления научно-психологического исследования. То, что мы называем внутренними переживаниями, суть явления, возникающие на поверхности системы сознания, в форме которых сознание выступает для субъекта в своей непосредственности. Поэтому сами переживания интереса или скуки, влечения или угрызений совести еще не открывают субъекту своей природы; хотя они кажутся внутренними силами, движущими его деятельностью, их реальная функция состоит лишь в наведении субъекта на их действительный источник, в том, что они сигнализируют о личностном смысле событий, разыгрывающихся в его жизни, заставляют его как бы приостановить на мгновение поток своей активности, всмотреться в сложившиеся у него жизненные ценности, чтобы найти себя в них или, может быть, пересмотреть их.

Итак, сознание человека, как и сама его деятельность, не аддитивно. Это не плоскость, даже не емкость, заполненная образами и процессами. Это и не связи отдельных его “единиц”, а внутреннее движение его образующих, включенное в общее движение деятельности, осуществ-

ляющей реальную жизнь индивида в обществе. Деятельность человека и составляет субстанцию его сознания.

Психологический анализ деятельности и сознания раскрывает лишь их общие системные качества и, понятно, отвлекается от особенностей специальных психических процессов — процессов восприятия и мышления, памяти и научения, речевого общения. Но сами эти процессы существуют только в описанных отношениях системы, на тех или иных ее уровнях. Поэтому, хотя исследования этих процессов составляют особую задачу, они отнюдь не являются независимыми от того, как решаются проблемы деятельности и сознания, ибо это и определяет их методологию.

И наконец, главное. Анализ деятельности и индивидуального сознания, конечно, исходит из существования реального телесного субъекта. Однако первоначально, т. е. *до* и *вне* этого анализа, субъект выступает лишь как некая абстрактная, психологически “не наполненная” целостность. Только в результате пройденного исследованием пути субъект открывает себя и конкретно-психологически — как личность. Вместе с тем обнаруживается, что анализ индивидуального сознания, в свою очередь, не может обойтись без обращения к категории личности. Поэтому в этот анализ пришлось ввести такие понятия, как понятия о “пристрастности сознания” и о “личностном смысле”, за которыми скрывается дальнейшая, еще не затронутая проблема — *проблема системного психологического исследования личности*.

¹ См.: *Бассин Ф. В.* “Значение переживания” и проблема собственно-психологической закономерности // Вопросы психологии. 1972. № 3. С. 105—124; *Бойко Е. И.* В чем состоит “развитие взглядов”? // Вопросы психологии. 1972. № 1. С. 135—141; *Ветров А. А.* Замечания по вопросу о предмете психологии (психология и кибернетика) // Вопросы психологии. 1972. № 2. С. 124—127; *Ярошевский М. Г.* Предмет психологии и ее категориальный строй // Вопросы психологии. 1971. № 5. С. 110—121.

В.В.Давыдов

[СОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО]¹

С деятельностью человека неразрывно связаны *идеальное* и *сознание*. Исходным или всеобщим видом всех видов деятельности является материальное производство (труд). Вместе с тем производство предполагает потребление. Характеризуя их единство, К. Маркс писал: "...Производство доставляет потреблению предмет в его внешней форме, ...потребление *полагает* предмет производства *идеально*, как внутренний образ, как потребность, как влечение и как цель"². Потребление служит "двигателем" производства (труда) постольку, поскольку имеет образ предмета, потребность в нем, которые позволяют человеку ставить цель получения этого предмета. "Внутренний образ", "потребность", "влечение", "цель" хотя и отличаются по содержанию друг от друга, однако могут быть объединены единым понятием *идеального* как способом обозначения той стороны трудовой деятельности человека, которая предшествует производству предмета, осуществляемому уже посредством реальных действий.

"В конце процесса труда, — отмечал К. Маркс, — получается результат, который уже в начале этого процесса имелся

в представлении человека, т.е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинить свою волю"³.

Многие специалисты в области исторической социологии и психологии полагают, что все виды материальной и духовной деятельности имеют принципиально общее строение с трудом. Так, А.Н. Леонтьев общую структуру деятельности связал <...> со строением трудовой деятельности (*потребность — цель — действие*). Поэтому любой вид деятельности содержит при своем осуществлении идеальную сторону. В каждой деятельности процессу получения ее предметного результата предшествует возникновение потребности в этом предмете, внутреннего его образа, или цели, которые позволяют человеку в идеальном плане *предвидеть, предусматривать* и *опробовать* возможные действия, направленные к реальному достижению результата, удовлетворяющего потребность.

В истории философии с античного времени и до сих пор проблемам идеального уделяется много внимания. Напомним, что сам термин "идеальное" был использован для обозначения одного из основных философских направлений — идеализма (так же как термин "материя" послужил основанием названия другого основного философского направления — материализма). Диалектико-материалистическая философия признает наличие идеального и, более того, полагает, что оно служит существенной стороной человеческой деятельности. В русле этой философии разрабатываются фундаментальные проблемы идеального. На наш взгляд, наиболее глубокое их понимание содержится в трудах Э.В. Ильенкова (хотя иные представления об идеальном изложены в работах других авторов)⁴. Остановимся кратко на его понимании идеального <...>.

¹ Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 33—44.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 28.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189.

⁴ См.: Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 6—7; Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Дубровский Д. И. Проблема идеального. М., 1983; Лишиц Мих. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. 1984. №10; Классен Э. Г. Идеальное: концепция К. Маркса. Красноярск, 1985.

Идеальное — это отражение внешнего мира в общественно определенных формах деятельности человека. “Когда Маркс определяет идеальное как “материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней, — писал Э.В. Ильенков, — он отнюдь не понимает эту “голову” натуралистически, естественнонаучно. Здесь имеется в виду общественно развитая голова человека, все формы деятельности которой, начиная с форм языка, его словарного запаса и синтаксического строя и кончая логическими категориями, суть продукты и формы общественного развития. Только будучи выражено в этих формах, внешнее, материальное превращается в общественный факт, в достояние общественного человека, т.е. в идеальное”¹.

Идеальная форма материального предмета обнаруживается в способности человека активно воссоздавать его, опираясь на слово, чертеж, модель, в способности превращать слово в дело, а через дело — в вещь. Материальное становится идеальным, а идеальное — реальным лишь в постоянно воспроизводящейся деятельности, осуществляющейся по схеме: *вещь — действие — слово — действие — вещь*. В этих постоянных переходах внутри человеческой деятельности только и существует идеальный образ вещи. Идеальное — это бытие внешней вещи в фазе ее становления в деятельности субъекта, в виде ее потребности и внутреннего образа. Поэтому идеальное бытие вещи отличается от ее реального бытия, как и от тех телесно-вещественных мозга и языка, посредством которых оно существует внутри субъекта. “Идеальное есть... форма вещи, но вне этой вещи, а именно в человеке; в форме его активной деятельности...”².

Однако человек в отличие от животного не сливается со своей жизнедеятельнос-

тью воедино, а благодаря общественному своему бытию отделяет ее от себя и превращает ее в предмет собственной особой деятельности, имеющей идеальный план. Человек обретает этот план только и исключительно в ходе приобщения к исторически развивающимся формам общественной жизни, только вместе с социальным планом своего существования, только вместе с культурой. “Идеальность, — писал Э.В. Ильенков, — есть не что иное, как аспект культуры, как ее измерение, определенность, свойство”³.

Превращение самой деятельности человека в особый предмет, с которым он может иметь дело, не изменяя до поры до времени реального предмета, является процессом формирования ее идеального плана, идеального образа. Измениться же идеальный образ может тогда, когда человек будет опредмечивать его, например, в языковых значениях, в чертежах и т.д., действовать с ним как с вне себя существующим предметом. Непосредственно идеальное проявляется через “тело” слова, которое, оставаясь самим собой, в то же время оказывается “идеальным бытием” другого тела, его *значением*. Значение “тела” слова — это представитель другого тела, создаваемый человеком благодаря наличию у него соответствующей способности или умения. Когда человек оперирует со словом, а не создает предмет, опираясь на слово, то он действует не в идеальном, а лишь в словесном плане⁴.

Позиция Э.В. Ильенкова в истолковании сущности идеального позволяет высказать нам гипотезу о происхождении идеальных форм деятельности человека. На наш взгляд, условия их происхождения внутренне связаны с процессом общественно-исторического наследования подрастающими поколениями умений

¹ Ильенков Э.В. Диалектическая логика. С. 171.

² Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 221.

³ Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 7. С. 156.

⁴ Это обстоятельство было продемонстрировано нами на материале экспериментального исследования, направленного на изучение закономерностей формирования математического действия сложения чисел у детей дошкольного возраста. Было показано, что с “идеальным бытием” словесно заданных чисел-слагаемых соотносится особая форма идеального действия сложения, связанная со своеобразным (“сквозным”) движением руки ребенка вдоль предполагаемого ряда предметов, которые создают требуемое слагаемое. Без такого движения (и, следовательно, без создания слагаемого в идеальном плане) ребенок оперировал не с числом-слагаемым, а со словом-числительным (см.: Давыдов В. В., Андронов В. П. Психологические условия происхождения идеальных действий // Вопросы психологии. 1979. №5).

(шире — способностей) производить орудия, различные вещи, реально-материальное и духовное общение. Для того, чтобы одно поколение людей могло передать другим поколениям такие свои реально проявляющиеся умения (способности), оно должно предварительно создать и соответствующим образом оформить их общественно значимые, всеобщие эталоны. Возникает необходимость в особой сфере общественной жизни, которая создает и языковым способом оформляет эти эталоны — они могут быть названы идеальными формами орудий, вещей, реального общения (т.е. формами вещей вне вещей). Это и есть сфера культуры. Присвоение новыми поколениями ее продуктов (эталонных умений как идеальных форм вещей) служит основой исторического наследования ими реальных производственных и прочих умений и способностей.

Подход к такому пониманию связи идеального и культуры содержится в работах Э.В. Ильенкова. Он, в частности, писал: “Идеальность” вообще и есть в исторически сложившемся языке философии характеристика таких вещественно зафиксированных (объективированных, овеществленных, опредмеченных) образов общественно-человеческой культуры, т.е. исторически сложившихся способов общественно-человеческой жизнедеятельности, противостоящих индивиду с его сознанием и волей как особая “сверхприродная” объективная действительность, как особый предмет, сопоставимый с материальной действительностью, находящейся с нею в одном и том же пространстве (и именно поэтому часто с нею путаемый)”¹.

Преыдушие поколения передают последующим не только материальные условия производства, но и способности создавать вещи в этих условиях. Способности есть деятельная память общества о его всеобщих производительных силах.

Перед учеными возникает задача специального исследования исторического процесса становления способностей людей, средств и способов их выражения в культуре как идеальной форме человеческой деятельности, изучения процессов их присвоения и дальнейшего развития новыми поколениями².

Чтобы раскрыть содержание понятия сознания и его связь с понятием идеального необходимо иметь в виду, что деятельность людей носит общественный характер. Согласно К. Марксу, общественная деятельность людей существует как в форме непосредственно коллективной деятельности, проявляющейся в их реальном общении, так и в форме индивидуальной деятельности, когда индивид сознает себя как общественное существо³. “Практическое созидание *предметного мира*... есть самоутверждение человека как сознательного — родового существа, т.е. такого существа, которое относится к роду как к своей собственной сущности или к самому себе как к родовому существу”⁴.

Сущность человека — это совокупность всех общественных отношений. Следовательно, человек относится к своим общественным отношениям как к собственной сущности, а тем самым и к самому себе как к родовому существу. Здесь наличествует отношение индивида к общественным отношениям, т.е. удвоение отношений, которое как раз и характерно для сознания: “...Человек удваивает себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно...”⁵. В своем сознании человек “...только повторяет в мышлении свое реальное бытие...”⁶.

Таким образом, благодаря сознанию индивид вместе с тем есть и родовое (или всеобщее) существо. “Индивидуальная и родовая жизнь человека не является чем-то *различным*, хотя по необходимости способ существования индивидуальной жизни

¹ Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. №6. С. 139—140.

² Д.Б. Эльконин на историко-этнографическом материале показал, как употребление детьми некоторых слаборазвитых народов простых игрушек позволяет им “присвоить” ряд общих сенсорных способностей, необходимых в дальнейшем для овладения конкретными профессиональными умениями и навыками (см.: Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978. С. 54—64).

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 118.

⁴ Там же. С. 93.

⁵ Там же. Т. 42. С. 94.

⁶ Там же. С. 119.

бывает либо более *особенным*, либо более *всеобщим* проявлением родовой жизни...”¹.

Всеобщность реальных общественных отношений может быть представлена в сознании (мышлении) индивида благодаря идеальной природе сознания. “...Если человек, — писал К. Маркс, — есть некоторый *особенный* индивид и именно его особенность делает из него индивида и действительное *индивидуальное* общественное существо, то он в такой же мере есть также и *тотальность*, *идеальная* тотальность, субъективное для-себя-бытие мыслимого и ощущаемого общества...”².

Идеальная, субъективная представленность индивиду его реальных общественных отношений (*реального бытия*) и есть его *сознание*. В идеальной форме индивиду дана целостность (тотальность) его реального бытия.

Иными словами, сознание людей есть своеобразная функция идеального плана их общественной деятельности, общественных отношений, функция их культуры.

Этот момент природы сознания был специально выделен Э.В. Ильенковым: “Сознание, собственно, только и возникает там, где индивид оказывается вынужденным смотреть на самого себя как бы со стороны, как бы глазами другого человека, глазами всех других людей, только там, где он должен соразмерять свои индивидуальные действия с действиями другого человека, то есть только в рамках совместно осуществляемой жизнедеятельности”³.

Идеальное как основа сознания возникает, как отмечалось выше, благодаря речевому общению людей, связанному с языковыми значениями. Последние опираются на общественно выработанные способы действия — в них представлена “свернутая” в материи языка идеальная форма существенных связей и отношений предметного и социального мира, раскрытых совокупной общественной практикой⁴.

“...Язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание...”⁵.

Высказывания людей — это социальные (общественные) события их речевого взаимодействия. Поэтому при построении своих высказываний каждый человек стремится учитывать, например, взгляды, убеждения, симпатии и антипатии своих слушателей⁶. При этом “высказывание занимает какую-то определенную позицию в данной сфере общения, по данному вопросу, в данном деле и т.п. Определить свою позицию, не соотнося ее с другими позициями, нельзя”⁷.

В сознании индивида благодаря идеальному воспроизведению в нем определенных общественных отношений тем самым идеально представлены и определенные потребности, интересы, позиции других людей, включенных в эти отношения и первоначально участвующих вместе с данным индивидом в коллективной деятельности. Поскольку собственная деятельность этого индивида при ее идеальном воспроизведении является особым предметом его сознания, то он может рассматривать, оценивать и планировать свою деятельность как бы со стороны, так сказать, глазами других людей, с учетом их потребностей, интересов и позиций. Иными словами, данный человек начинает действовать как общественный человек. Вместе с тем он и сам выступает при этом в качестве представителя определенных общественных отношений.

Эти особенности сознания обнаруживаются уже на уровне перцептивной деятельности человека, его непосредственного созерцания. “Уметь видеть предмет по-человечески, — писал Э.В. Ильенков, — значит уметь видеть его “глазами другого человека”, глазами всех других людей, значит в самом акте непосредственного созерцания выступать в качестве полномочного

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 94.

² Там же.

³ Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. №7. С. 155.

⁴ См.: Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.: В 2 т. М., 1983. Т. II. С. 176.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 29.

⁶ См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 276.

⁷ Там же. С. 271.

представителя “человеческого рода”...¹. Вместе с тем “уметь смотреть на мир глазами другого человека — значит, в частности, уметь “принимать близко к сердцу” интерес другого человека, его запросы к действительности, его потребность. Это значит уметь сделать всеобщий “интерес” своим личным и личностным интересом, потребностью своей индивидуальности, ее пафосом”².

Отметим, что, с точки зрения Э.В. Ильенкова, указанные умения, позволяющие индивиду видеть предметы и действовать сознательно, т.е. по-человечески, в качестве представителя рода, тесно связаны с развитым воображением, которое позволяет индивиду как бы “сразу” и интегрально видеть вещь глазами всех других людей, не ставя себя на место каждого из них³.

В индивидуальном сознании можно выделить несколько основных функций. Во-первых, сознание идеально представляет в индивиду позиции людей, включенных вместе с ним в определенные общественные отношения. Во-вторых, оно позволяет индивиду самому быть представителем этих отношений. В-третьих, индивид благодаря сознанию постоянно строит собственную деятельность (это становится возможным благодаря идеальному образу самой деятельности)⁴.

Междисциплинарный подход к изучению структуры сознания позволил выделить в нем несколько образующих. Первая — биодинамическая ткань как обобщенное выражение различных характеристик предметного действия. Вторая — чувственная ткань образа как обобщенное выражение различных перцептивных характеристик, из которых он строится. Третья — значения, имеющие различные виды (предметные и операциональные значения, не фиксируемые в слове, и собственно вербальное значение). Четвертая образующая — смысл деятель-

ности и действий⁵. Значение и смысл характеризуют рефлексивный слой сознания, биодинамическая и чувственная ткань — его бытийный слой⁶.

Остановимся на характеристике третьей функции сознания, выделенной нами при его анализе. Человек как общественное существо имеет много материальных и духовных нужд. Поиск и опробование средств их удовлетворения приводят индивида к построению образов объектов этих нужд, т.е. к возникновению потребностей в соответствующих предметах материальной и духовной культуры, которые побуждают субъекта к деятельности. Потребность вначале направлена на широкий и еще неопределенный круг предметов. Поиск и опробование конкретных предметов, соответствующих потребности, приводят к возникновению мотивов деятельности. В условиях общественной жизни индивид не может непосредственно получить требуемый мотивом предмет — его необходимо произвести. Этот предмет становится целью действий. При поиске и опробовании цели индивид определяет задачу, при решении которой он может произвести требуемый предмет. Для решения задачи индивид должен найти и опробовать соответствующее действие, которое затем нужно реально произвести, контролируя его выполнение волей, выраженной во внимании.

Индивид при построении идеальных составляющих своей деятельности (потребностей, мотивов, целей) и образов ситуаций, в которых осуществляются действия, должен постоянно учитывать потребности, интересы и позиции других индивидов, т.е. поступать как сознательное, общественное существо. Поиск и опробование составляющих деятельности происходят на основе того предметного материала, который предоставляется индивиду ощущениями, восприятием, памятью, воображением и мышлением.

¹ Ильенков Э. В. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. М., 1964. Вып. 6. С. 60.

² Там же.

³ См. там же. С. 61.

⁴ “...Единство сознательности и деятельности... должно строиться постоянно” (Велихов Е. П., Зинченко В. П., Лекторский В. А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода // Вопросы философии. 1988. №11. С. 6).

⁵ См.: Велихов Е. П., Зинченко В. П., Лекторский В. А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода. С. 24—26.

⁶ См. там же. С. 21—23.

Наличие у индивида идеального плана его собственной деятельности позволяет ему рассматривать наедине с самим собой ее основания (т.е. рефлексировать), изменять замыслы своих действий, контролировать свои намерения, желания и чувства, формулировать высказывания, соответствующие конкретной ситуации. Поэтому идеальный план деятельности можно назвать ее внутренним планом в отличие от внешнего, в котором деятельность реально осуществляется.

Формирование у человека функций сознания происходит таким образом: вначале эти функции включены в построенное коллективной деятельности, а затем в измененном виде они начинают обеспечивать выполнение индивидуальной деятельности¹.

Опираясь на результаты проведенного анализа проблем индивидуального сознания, можно дать следующую его общую характеристику: *сознание — это воспроизведение человеком идеального плана своей целеполагающей деятельности и идеального представительства в ней позиций других людей*. Сознательная деятельность человека опосредствована коллективом — при ее осуществлении индивид учитывает позиции других его членов.

Таким образом, понятия деятельности, идеального и сознания имеют глубокие взаимосвязи. Эти понятия необходимо рассматривать в непрерывном единстве, но вместе с тем и четко их различать.

Остановимся на основных этапах комплексного изучения сознательной деятельности человека, имеющей идеальный план. Опыт нашей работы дает основание полагать, что одна из главных задач **первого этапа** исследования какой-либо конкретной деятельности состоит в том, чтобы определить предметное содержание ее потребности, задач, действий и операций.

На втором этапе требуется выявить строение коллективной формы этой деятельности, взаимосвязь отдельных ее составляющих и способы обмена ими, различных их трансформаций, условия и закономер-

ности возникновения индивидуальной деятельности, основные ее характеристики (например, взаимосвязь и трансформацию составляющих и т.д.). Хотя деятельность человека в обеих своих формах и является сознательной, процесс возникновения сознания и его функций в деятельности на этом этапе специально изучить трудно, поскольку предварительно необходимо составить “морфологическую картину” двух форм деятельности и определить характер их генетической взаимосвязи.

Третий этап исследования деятельности связан с изучением происхождения ее идеального плана, его компонентов (потребности, цели, а также представлений, предваряющих получение результата деятельности). При этом важно выявить особую роль языка, чертежей и различных моделей в опредмечивании этих компонентов, в придании им соответствующей общественной формы.

На этом этапе можно раскрыть условия и закономерности формирования у человека в процессе совместной деятельности способности производить и воссоздавать предметы (идеальное функционирует в процессе реализации именно этой способности).

На четвертом этапе уже можно приступить к изучению такого существенного качества деятельности, как сознательность, которая возникает при трансформациях самой деятельности. Это трансформация совместной деятельности, выполняемой коллективным субъектом, в индивидуальную. Иными словами, при изучении процесса интериоризации возможно, на наш взгляд, вплотную подойти к раскрытию закономерностей происхождения сознания, его основных функций.

Таким образом, четыре этапа исследования деятельности позволяют выявить ее содержание и структуру с такими существенными и неотъемлемыми качествами, как идеальность и сознательность. При этом в центре внимания исследователя должна стоять именно деятельность. Междисциплинарное ее понимание подведет его к изучению личности человека.

¹ См.: *Выготский Л. С. Собр. соч.*: В 6 т. М., 1983. Т. 3. С. 145.

Д.Б.Эльконин

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ¹

Периодизация психического развития в детском возрасте — фундаментальная проблема детской психологии. Ее разработка имеет важное теоретическое значение, поскольку через определение периодов психического развития и через выявление закономерностей переходов от одного периода к другому в конечном счете может быть решена проблема движущих сил психического развития. Можно утверждать, что всякое представление о движущих силах психического развития должно быть прежде всего проверено на “основе” периодизации.

От правильного решения проблемы периодизации во многом зависит стратегия построения системы воспитания и обучения подрастающих поколений. Практическое значение этой проблемы будет нарастать по мере разработки принципов единой общественной системы воспитания, охватывающей весь период детства.

В настоящее время в нашей детской психологии используется периодизация, построенная на основе фактически сложившейся системы воспитания и обучения. Процессы психического развития теснейшим образом связаны с обучением и воспитанием ребенка, а само членение воспитательно-образовательной системы основано на громадном практическом опыте. Установленное на педагогических

основаниях членение детства относительно близко подходит к истинному, но не совпадает с ним, а главное, не связано с решением вопроса о движущих силах развития ребенка, о закономерностях перехода от одного периода к другому. Изменения, происходящие в системе воспитательно-образовательной работы, вскрывают то обстоятельство, что “педагогическая периодизация” не имеет должных теоретических оснований и не в состоянии ответить на ряд существенных практических вопросов (например, когда надо начинать обучение в школе, в чем заключаются особенности воспитательно-образовательной работы при переходе к каждому новому периоду и т. д.). Назревает своеобразный кризис существующей периодизации.

В 30-е гг. вопросам периодизации большое внимание уделяли П. П. Блонский и Л. С. Выготский, заложившие основы развития детской психологии в нашей стране. К сожалению, с того времени у нас не было фундаментальных работ по этой проблеме.

П. П. Блонский указывал на историческую изменчивость процессов психического развития и на возникновение в ходе исторического развития новых периодов детства. Так, он писал: “Современный человек при благоприятных социальных условиях развития развивается... быстрее человека прежних исторических эпох. Таким образом, детство — не вечно неизменное явление: оно — иное на иной стадии развития животного мира, оно — иное и на каждой иной стадии исторического развития человечества. Чем благоприятнее экономические и культурные условия развития, тем быстрее темпы развития” (1934, с. 326). И далее: “В то же время мы видим, что сейчас еще юность, т. е. продолжение роста и развития после полового созревания, является далеко не общим достоянием: у находящихся в неблагоприятных условиях развития народов... рост и развитие заканчивается вместе с половым созреванием. Таким образом, юность не есть вечно явление, но составляет позднее, почти на глазах истории происшедшее приобретение человечества” (там же).

¹ Эльконин Д.Б. Избранные психологические произведения. М.: Международная педагогическая академия, 1995. С. 23—43.

П.П.Блонский был противником чисто эволюционистских представлений о ходе детского развития. Он считал, что детское развитие — прежде всего процесс качественных преобразований, сопровождающихся переломами, скачками. Он писал, что эти изменения “могут происходить резко, критически и могут происходить постепенно, литически. Условимся называть эпохами и стадиями времена детской жизни, отделенные друг от друга кризисами, более (эпохи), или менее (стадии) резкими. Условимся также называть фазами времена детской жизни, отграниченные друг от друга литически” (1930, с. 7).

В последние годы жизни Л.С.Выготский работал над большой книгой по детской психологии. Отдельные главы были им написаны, а некоторые только намечены и сохранились в виде стенограмм его лекций. Самим Л.С.Выготским была подготовлена к печати глава “Проблема возраста”, в которой дается обобщение и теоретический анализ материалов по проблеме периодизации психического развития в детстве, накопленных к тому времени в советской и зарубежной психологии¹.

“Каковы же должны быть принципы построения подлинной периодизации? Мы уже знаем, — писал Л. С. Выготский, — где следует искать ее реальное основание: только внутренние изменения самого развития, только переломы и повороты в его течении могут дать надежное основание для определения главных эпох построения личности ребенка, которые мы называем возрастными” (1984, т. 4, с. 247).

Охарактеризовав основные особенности переходных периодов развития, Л.С.Выготский заключает: “Таким образом, перед нами раскрывается закономерная картина. Критические периоды перемежаются стабильными, и они являются переломными, поворотными пунктами в развитии, лишней раз подтверждая, что развитие ребенка есть диалектический процесс, в котором переход от одной ступени к другой совершается не эволюционным, а революционным путем.

Если бы критические возрасты не были открыты чисто эмпирическим путем, по-

нятие о них следовало бы ввести в схему развития на основании теоретического анализа. Сейчас теории остается только осознать и осмысливать то, что уже установлено эмпирическим исследованием” (там же, с. 252).

На наш взгляд, подходы к проблеме периодизации, намеченные П.П.Блонским и Л.С.Выготским, должны быть сохранены и вместе с тем развиты в соответствии с современными знаниями. Это, во-первых, исторический подход к темпам развития и к вопросу о возникновении отдельных периодов детства в ходе исторического развития человечества. Во-вторых, подход к каждому возрастному периоду с точки зрения того места, которое он занимает в общем цикле психического развития ребенка. В-третьих, представление о психическом развитии как о процессе диалектически противоречивом, протекающем не эволюционным путем, а путем перерывов непрерывности, возникновения в ходе развития качественно новых образований. В-четвертых, выявление как обязательных и необходимых переломных, критических точек в психическом развитии — важных объективных показателей переходов от одного периода к другому. В-пятых, выделение неоднородных по своему характеру переходов и в связи с этим различие в психическом развитии эпох, стадий, фаз.

П.П.Блонскому и Л.С.Выготскому не довелось реализовать выдвинутые ими принципы периодизации, так как в их время еще не было условий для решения вопроса о движущих силах психического развития ребенка. Решение этого вопроса вращалось тогда вокруг проблемы факторов развития, относительной роли среды и наследственности в психическом развитии. Хотя оба исследователя искали выход из тупика, создаваемого теорией “факторов развития”, видели ее методологические и конкретно научные недостатки, хотя Л.С.Выготский заложил основания для разработки проблемы обучения и развития, тем не менее их теоретические поиски не привели к решению указанного вопроса. Это затрудняло и специальное изучение проблемы периодизации.

¹ Этот текст опубликован в т. 4 Собрания сочинений Л.С.Выготского (1984).

В конце 30-х гг. А.Н.Леонтьев и С.Л.Рубинштейн начали рассматривать проблему становления и развития психики и сознания, вводя в нее понятие деятельности. Новый подход кардинально менял как представления о движущих силах психического развития, так и принципы выделения его отдельных стадий. И впервые решение вопроса о движущих силах психического развития непосредственно смыкалось с вопросом о принципах выделения отдельных стадий в психическом развитии детей.

Наиболее развернутую форму это новое представление нашло в работах А.Н.Леонтьева. В изучении развития психики ребенка, считал А. Н. Леонтьев, следует исходить из анализа развития его деятельности так, как она складывается в данных конкретных условиях его жизни. Жизнь или деятельность в целом не складывается, однако, механически из отдельных видов деятельности. Одни виды деятельности являются на данном этапе ведущими и имеют большее значение для дальнейшего развития личности, другие — меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие — подчиненную. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще, а от ведущей деятельности. В соответствии с этим можно сказать, что каждая стадия психического развития характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом его деятельности. “Признаком перехода от одной стадии к другой является именно изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к действительности” (1983, т. 1, с. 285).

В экспериментальных исследованиях А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца и их сотрудников, а также А.А.Смирнова, П.И.Зинченко, сотрудников С.Л.Рубинштейна, выявлена зависимость уровня функционирования психических процессов от характера их включенности в ту или иную деятельность, т.е. зависимость психических процессов (от элементарных сенсорно-двигательных до высших интеллектуальных) от мотивов и задач деятельности, от их места в ее структуре (действия, операции). Эти данные имели важное значение для решения ряда мето-

дологических проблем психологии. Но, к сожалению, они не привели к разработке соответствующей теории психического развития и его стадийности. Основная причина этого состояла, на наш взгляд, в том, что при поисках психологического содержания деятельности игнорировалась ее содержательнопредметная сторона, как якобы не психологическая, и основное внимание обращалось лишь на структуру деятельности, на соотношение в ней мотивов и задач, действий и операций. Решение вопроса о стабильности психического развития ограничивалось и тем, что были изучены только два типа деятельности, непосредственно относящиеся к психическому развитию в детстве, — игра и учение. На самом деле процесс психического развития нельзя понять без глубокого исследования содержательно-предметной стороны деятельности, т. е. без выяснения того, с какими сторонами действительности взаимодействует ребенок в той или иной деятельности и, следовательно, какая ориентация в них при этом формируется.

До настоящего времени существенный недостаток рассмотрения психического развития ребенка — разрыв между процессами умственного развития и развития личности. Развитие личности без достаточных оснований сводится при этом к развитию аффективно-потребностной или мотивационно-потребностной сферы.

Еще в 1930-х гг. Л. С. Выготский указывал на необходимость рассмотрения развития аффекта и интеллекта в динамическом единстве. Но до сих пор развитие познавательных сил ребенка и развитие аффективно-потребностной сферы рассматриваются как процессы, имеющие свои, независимые, взаимно пересекающиеся линии. В педагогической теории и практике это находит выражение в отрыве воспитания от обучения и обучения от воспитания.

Картина развития интеллекта в отрыве от развития аффективно-потребностной сферы наиболее ярко и законченно представлена в концепции Ж. Пиаже. Пиаже выводил всякую последующую ступень в развитии интеллекта непосредственно из предыдущей (впрочем, такое рассмотрение развития интеллекта у детей в разной степени присуще почти всем интеллектуа-

листическим концепциям). Основной недостаток этой концепции — в невозможности объяснить переходы от одной стадии развития интеллекта к другой. Почему ребенок переходит от дооперациональной стадии к стадии конкретных операций, а затем к стадии формальных операций (по Пиаже)? Почему ребенок переходит от комплексного мышления к предпонятийному, а затем к понятийному (по Л.С.Выготскому)? Почему происходит переход от практически-действенного мышления к образному, а затем к вербально-дискурсивному (по ныне принятой терминологии)? На эти вопросы нет четкого ответа. А при его отсутствии легче всего сослаться или на “созревание”, или на какие-либо другие силы, внешние для самого процесса психического развития.

Аналогично рассматривается и развитие аффективно-потребностной сферы, которое, как мы уже указывали, часто отождествляется с развитием личности. Его стадии выстраиваются в линию, независимую от интеллектуального развития. Переходы от одних потребностей мотивов деятельности к другим остаются при этом необъясненными.

Таким образом, при рассмотрении психического развития имеет место, с одной стороны, своеобразный дуализм, с другой, параллелизм двух основных линий развития: мотивационно-потребностной сферы и интеллектуальных (познавательных) процессов. Без преодоления этого дуализма и параллелизма нельзя понять психическое развитие ребенка как единый процесс.

В фундаменте подобного дуализма и параллелизма лежит натуралистический подход к психическому развитию ребенка, характерный для большинства зарубежных теорий и, к сожалению, не до конца преодоленный в советской детской психологии. При таком подходе, во-первых, ребенок рассматривается как изолированный индивид, для которого общество представляет лишь своеобразную “среду обитания”. Во-вторых, психическое развитие берется лишь как процесс приспособления к усло-

виям жизни в обществе. В-третьих, общество рассматривается как состоящее, с одной стороны, из “мира вещей”, с другой — из “мира людей”, которые по существу между собою не связаны и выступают двумя изначально данными элементами “среды обитания”. В-четвертых, механизмы адаптации к “миру вещей” и к “миру людей”, развитие которых и представляет собой содержание психического развития, понимаются как глубоко различные.

Рассмотрение психического развития как развития адаптационных механизмов в системах “ребенок — вещи” и “ребенок — другие люди” как раз и породило представление о двух не связанных линиях психического развития. Из этого же источника родились две теории — интеллекта и интеллектуального развития Ж.Пиаже и аффективно-потребностной сферы и ее развития З.Фрейда и неофрейдистов. Несмотря на различия в конкретном психологическом содержании, эти концепции глубоко родственны по принципиальному истолкованию психического развития как развития адаптационных механизмов поведения. Для Ж. Пиаже интеллект есть механизм адаптации, а его развитие — развитие форм адаптации ребенка к “миру вещей”. Для З.Фрейда и неофрейдистов механизмы вытеснения, цензуры, замещения и т. п. выступают как механизм адаптации ребенка к “миру людей”.

Необходимо подчеркнуть, что при рассмотрении приспособления ребенка в системе “ребенок — вещи” последние выступают прежде всего как физические объекты с их пространственными и физическими свойствами. При рассмотрении приспособления ребенка в системе “ребенок — другие люди” последние выступают как случайные индивиды со своими чертами характера, темперамента и т. п. Если вещи рассматриваются как физические объекты, а другие люди как случайные индивидуальности, то приспособление ребенка к этим “двум мирам” действительно можно представить как идущее по двум параллельным, в основе самостоятельным линиям¹.

¹ В нашу задачу не входит анализ исторических условий возникновения такого дуализма и параллелизма в рассмотрении психического развития. Отметим только, что эти представления являются отражением реально существующего в обществе отчуждения человека от продуктов его деятельности.

Преодоление указанного подхода крайне затруднено, и прежде всего потому, что для самого ребенка окружающая его действительность выступает в двух формах. С таким разделением для ребенка действительности на “мир вещей” и “мир людей” мы встретились в одном своем экспериментальном исследовании, посвященном вопросу о природе ролевой игры детей дошкольного возраста. Выясняя сензитивность ролевой игры к двум обсуждаемым сферам действительности, мы в одних случаях знакомили детей с вещами, их свойствами и назначением. Так, во время посещения зоопарка детям рассказывали о зверях, их повадках, внешнем виде и т. п. После экскурсии в детскую комнату вносились звери-игрушки, но ролевая игра не развертывалась. В других случаях во время такой же экскурсии детей знакомили с людьми, обслуживающими зоопарк, с их функциями и взаимоотношениями — с кассиром и контролером, с экскурсоводом и служителями, кормящими зверей, со “звериным доктором” и т. д. В результате такой информации, как правило, развертывалась длительная и интересная ролевая игра, в которой дети моделировали задачи деятельности взрослых людей и отношения между ними. Теперь уже находили себе место и приобретали смысл и ранее полученные детьми знания о зверях. Анализируя результаты исследования, мы обнаружили, что ролевая игра сензитивна именно к “миру людей” — в ней в особой форме “моделируются” задачи и мотивы человеческой деятельности и нормы отношений между людьми. Вместе с тем мы экспериментально установили, что для ребенка окружающий мир как бы разделен на две сферы, а между действиями ребенка в них существует тесная связь (правда, особенности этой связи в данном исследовании выяснить не удалось).

Преодоление натуралистического представления о психическом развитии требует радикального изменения взгляда на взаимоотношения ребенка и общества. К этому выводу нас привело специальное исследование исторического возникновения ролевой игры. В противоположность взглядам на ролевую игру как на вечную, внеисторическую особенность дет-

ства мы предположили, что ролевая игра возникла на определенном этапе развития общества, в ходе исторического изменения места ребенка в нем. Игра — деятельность социальная по происхождению, и поэтому она социальна по своему содержанию.

Наша гипотеза об историческом происхождении игры подтверждается большим антропологическим этнографическим материалом, из которого следует, что возникновение ролевой игры определяется изменением места, занимаемого ребенком в обществе. В ходе исторического развития менялось место ребенка в обществе, но везде и всегда дети были его частью. На ранних этапах развития человечества связь ребенка с обществом была прямой и непосредственной — дети с самого раннего возраста жили общей жизнью со взрослыми. Развитие ребенка проходило внутри этой целокупной жизни как единый нерасчлененный процесс. Ребенок составлял органическую часть совокупной производительной силы общества, и его участие в ней ограничивалось лишь его физическими возможностями.

По мере усложнения средств производства и общественных отношений связь ребенка с обществом трансформируется, превращаясь из непосредственной в опосредствованную процессом воспитания и обучения. При этом система “ребенок — общество” не изменяется. Она не превращается в систему “ребенок и общество” (союз “и”, как известно, имеет не только соединительное, но и противительное значение). Правильнее говорить о системе “ребенок в обществе”. В процессе общественного развития функции образования и воспитания все больше передаются семье, которая превращается в самостоятельную экономическую единицу, а ее связи с обществом становятся все более опосредствованными. Тем самым система отношений “дети в обществе” вуалируется, закрывается системой отношений “ребенок — семья”, а в ней — “ребенок — отдельный взрослый”.

При рассмотрении формирования личности в системе “ребенок в обществе” радикально меняется характер связи систем “ребенок — вещь” и “ребенок — отдельный взрослый”. Из двух самостоятельных они превращаются в единую систему, вслед-

ствие чего существенно изменяется содержание каждой из них. При рассмотрении системы “ребенок — вещь” теперь оказывается, что вещи, обладающие определенными физическими и пространственными свойствами, открываются ребенку как общественные предметы, в них на первый план выступают общественно выработанные способы действий с ними.

Система “ребенок — вещь” в действительности является системой “ребенок — общественный предмет”. Общественно выработанные способы действий с предметами не даны непосредственно как некоторые физические характеристики вещей. На предмете не написаны его общественное происхождение, варианты действий с ним, способы и средства его воспроизведения. Поэтому овладение таким предметом невозможно путем адаптации, путем простого “уравновешивания” с его физическими свойствами. Внутренне необходимым становится особый процесс усвоения ребенком общественных способов действий с предметами. При этом физические свойства вещи выступают лишь как ориентиры для действий с нею¹.

При усвоении общественно выработанных способов действий с предметами происходит формирование ребенка как члена общества, включая его интеллектуальные, познавательные и физические силы. Для самого ребенка (как, впрочем, и для взрослых людей, непосредственно не занятых организованным процессом воспитания и обучения) это развитие представлено прежде всего как расширение сферы и повышение уровня овладения действиями с предметами. Именно по этому параметру дети сравнивают свой уровень и возможности с уровнем и возможностями других детей и взрослых. В процессе такого сравнения взрослый открывается ребенку не только как носитель общественных способов действий с предметами, но и как человек, осуществляющий определенные общественные задачи.

Особенности открытия ребенком человеческого смысла предметных действий были показаны в ряде исследований. Так,

Ф. И. Фрадкина (1946) описала то, как на определенном этапе овладения предметными действиями маленький ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого человека. Это проявляется в своеобразном двойном назывании себя одновременно собственным именем и именем взрослого человека. Например, изображая действия взрослого человека, читающего газету или что-то пишущего, ребенок говорит: “Миша — папа”, а при укладывании куклы в кроватку, заявляет: “Вера — мама”. Л. С. Славина (1948) в своем исследовании показала, как ребенок, однажды раскрыв человеческий смысл предметных действий, затем цепко держится за него, придавая его даже простым манипуляциям.

Упомянутые исследования построены на ограниченном материале развития предметных действий у детей раннего возраста. Но они дают основание предполагать, что овладение ребенком способами действий с предметами закономерно подводит его к пониманию взрослого как носителя общественных задач деятельности. Каков психологический механизм этого перехода в каждом конкретном случае и на каждом отдельном этапе развития — проблема дальнейших исследований.

Система “ребенок — взрослый”, в свою очередь, также имеет существенно иное содержание. Взрослый прежде всего выступает перед ребенком не со стороны случайных и индивидуальных качеств, а как носитель определенных видов общественной по своей природе деятельности, осуществляющий конкретные задачи, включенный при этом в разнообразные отношения с другими людьми и подчиняющийся выработанным нормам. Но на самой деятельности взрослого человека не указаны ее задачи и мотивы. Внешне она выступает перед ребенком как преобразование предметов и их производство. Осуществление этой деятельности в ее законченной реальной форме и во всей системе общественных отношений, внутри которых только и могут быть раскрыты ее задачи и мотивы, для детей недо-

¹ Процесс усвоения общественно выработанных способов действий наиболее подробно показан в исследованиях П.Я.Гальперина и его сотрудников (См. *Гальперин П.Я.*, 1976; *Обухова Л. Ф.*, 1972 и др.).

ступно. Поэтому становится необходимым особый процесс усвоения задач и мотивов человеческой деятельности и тех норм отношений, в которые вступают люди в процессе ее осуществления.

К сожалению, психологические особенности этого процесса исследованы явно недостаточно. Но есть основания полагать, что усвоение детьми задач, мотивов и норм отношений, существующих в деятельности взрослых, осуществляется через воспроизведение или моделирование этих отношений в собственной деятельности детей, в их сообществах, группах и коллективах. Примечательно, что в процессе этого усвоения ребенок сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых нельзя осуществлять деятельность взрослых. Таким образом, взрослый человек выступает перед ребенком как носитель новых и все более сложных способов действий с предметами, общественно выработанных эталонов и мер, необходимых для ориентации в окружающей действительности.

Итак, деятельность ребенка внутри систем “ребенок — общественный предмет” и “ребенок — общественный взрослый” представляет единый процесс, в котором формируется его личность. Но этот единый по своей природе процесс жизни ребенка в обществе в ходе исторического развития раздваивается, расщепляется на два. Расщепление создает предпосылки для гипертрофированного развития любой из сторон. Эту возможность и использует школа классового общества, воспитывая одних детей главным образом как исполнителей операционно-технической стороны трудовой деятельности, а других по преимуществу как носителей задач и мотивов той же деятельности. Такой подход к исторически возникшему расщеплению единого процесса жизни и развития ребенка в обществе присущ лишь классовым формациям.

Изложенные теоретические положения имеют прямое отношение к проблеме периодизации психического развития ребенка. Обратимся к фактическим материалам, накопленным в детской психологии. Из всех многочисленных исследований, проведенных психологами за последние 20–30 лет, мы выберем те, которые обогатили наши знания об основных типах

деятельности детей. Рассмотрим кратко главнейшие из них.

1. До самого последнего времени не было ясности относительно предметно-содержательной характеристики деятельности младенцев: в частности в вопросе о том, какая деятельность является в этом возрасте ведущей. Одни исследователи (Л. И. Божович и др.) считали первичной потребность ребенка во внешних раздражителях, а поэтому наиболее важным моментом — развитие у него ориентировочных действий. Другие (Ж. Пиаже и др.) основное внимание обращали на развитие сенсомоторно-манипулятивной деятельности. Третьи (Г. Л. Розенгарт—Пупко и др.) указывали на важнейшее значение общения младенца со взрослыми.

В последние годы исследования М.И.Лисиной и ее сотрудников (1974) убедительно показали существование у младенцев особой деятельности общения, носящего непосредственно-эмоциональную форму. “Комплекс оживления”, возникающий на 3-м месяце жизни и ранее рассматривавшийся как простая реакция на взрослого (наиболее яркий и комплексный раздражитель), в действительности является сложным по составу действием, имеющим задачу общения со взрослыми и осуществляемым особыми средствами. Важно отметить, что это действие возникает задолго до того, как ребенок начинает манипулировать с предметами, до формирования акта хватания. После формирования этого акта и манипулятивной деятельности, осуществляемой со взрослыми, действия общения не растворяются в совместной деятельности, не сливаются с практическим взаимодействием со взрослыми, а сохраняют свое особое содержание и средства. Эти и другие исследования показали, что дефицит эмоционального общения (как, вероятно, и его избыток) оказывает решающее влияние на психическое развитие в данный период.

Таким образом, есть основания считать, что непосредственно-эмоциональное общение со взрослым представляет собой ведущую деятельность младенца, на фоне и внутри которой формируются ориентировочные и сенсомоторно-манипулятивные действия.

2. В этих же исследованиях было установлено время перехода ребенка (на

границе раннего детства) к собственно предметным действиям, т.е. к овладению общественно выработанными способами действий с предметами. Конечно, овладение этими действиями невозможно без участия взрослых, которые показывают и выполняют их совместно с детьми. Взрослый выступает хотя и главным, но все же лишь элементом ситуации предметного действия. Непосредственное эмоциональное общение со взрослым отходит здесь на второй план, а на первый выступает деловое практическое сотрудничество. Ребенок занят предметом и действием с ним. Эта связанность ребенка полем непосредственного действия, при которой наблюдается своеобразный “предметный фетишизм” — ребенок как бы не замечает взрослого, который “закрыт” предметом и его свойствами, — неоднократно отмечалась исследователями.

Многие отечественные и зарубежные авторы отмечают, что в этот период происходит овладение предметно-орудийными операциями, формируется так называемый практический интеллект. По данным детальных исследований генезиса интеллекта у детей, проведенных Ж. Пиаже и его сотрудниками, именно в этот период происходит развитие сенсомоторного интеллекта, подготавливающего возникновение символической функции.

Ф.И.Фрадкина (1946) считает, что в процессе усвоения действия как бы отделяются от предмета, на котором они были первоначально усвоены: происходит перенос этих действий на другие предметы, сходные, но не тождественные исходному. На этой основе формируется обобщение действий. Ф.И.Фрадкина экспериментально установила, что именно на основе отделения действий от предмета и их обобщения становится возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребенка в задачи и смысл человеческих действий.

Итак, есть основания полагать, что именно предметно-орудийная деятельность, в процессе которой происходит овладение общественно выработанными способами действий с предметами, является ведущей в раннем детстве.

Данному положению, на первый взгляд, противоречит факт интенсивного развития в этот период вербальных форм

общения ребенка со взрослыми. Из бессловесного существа, пользующегося для общения со взрослыми эмоционально-мимическими средствами, ребенок превращается в говорящего человека, пользующегося относительно богатым лексическим составом и грамматическими формами. Однако анализ речевых контактов ребенка показывает, что речь используется им главным образом для налаживания сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной деятельности. Иными словами, она выступает как средство деловых контактов ребенка со взрослыми. Более того, есть основания думать, что предметные действия, успешность их выполнения становятся для ребенка способом налаживания общения со взрослыми. Само общение опосредуется предметными действиями ребенка. Следовательно, факт интенсивного развития речи как средства налаживания сотрудничества со взрослыми не противоречит положению о том, что ведущей деятельностью в этот период все же является предметная деятельность, внутри которой происходит усвоение общественно выработанных способов действия с предметами.

3. После работ Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и других в советской детской психологии установлено, что в дошкольном возрасте ведущая деятельность — игра в ее наиболее развернутой форме (ролевая игра). Значение игры для психического развития детей дошкольного возраста многосторонне, а главное состоит в том, что благодаря особым игровым приемам (принятию ребенком на себя роли взрослого и его общественно-трудовых функций, обобщенному изобразительному характеру воспроизведения предметных действий и переносу значений с одного предмета на другой и т.д.) ребенок моделирует в ней отношения между людьми.

На самом предметном действии, взятом изолированно, “не написано”, ради чего оно осуществляется, каков его общественный смысл, действительный мотив. Только тогда, когда предметное действие включается в систему человеческих отношений, раскрывается его подлинно общественный смысл, его направленность на других людей. Такое “включение” и происходит в игре. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой осуществля-

ется ориентация ребенка в самых общих, в самых фундаментальных смыслах человеческой деятельности. На этой основе у ребенка формируется стремление к общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности, которое выступает основным показателем готовности и школьному обучению. В этом заключается ее ведущая функция.

4. Л.С.Выготский в самом начале 1930-х гг. выдвинул положение о ведущем значении обучения для умственного развития детей школьного возраста. Конечно, не всякое обучение так влияет на развитие, а только “хорошее”. Качество обучения все более и более начинает оцениваться именно по тому воздействию, которое оно оказывает на интеллектуальное развитие ребенка. По вопросу о том, каким образом обучение влияет на умственное развитие, психологами проведено большое количество исследований. Здесь обозначались различные взгляды, которые невозможно специально рассматривать в данной статье. Отметим лишь, что большинство исследователей, как бы они ни представляли себе внутренний механизм такого влияния, какое бы значение ни приписывали разным сторонам обучения (содержанию, методике, организации), сходятся на признании ведущей роли обучения в умственном развитии детей младшего школьного возраста.

Учебная деятельность детей, т.е. та деятельность, в процессе которой происходит усвоение новых знаний и управление которой составляет основную задачу обучения, является ведущей деятельностью в этот период. При ее осуществлении у ребенка происходит интенсивное формирование интеллектуальных и познавательных сил. Ведущее значение учебной деятельности определяется также и тем, что через нее опосредуется вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми, вплоть до личностного общения в семье.

5. Выделение ведущей деятельности подросткового периода представляет большие трудности. Они связаны с тем, что для подростка основной деятельностью остается его учение в школе. Успехи и неудачи на этом поприще продолжают служить основными критериями оценки подростков со стороны взрослых. С пере-

ходом в подростковый возраст в нынешних условиях обучения с внешней стороны также не происходит существенных изменений. Однако именно переход к подростковому периоду выделен в психологии как наиболее критический.

Естественно, что при отсутствии каких-либо перемен в общих условиях жизни и деятельности причину перехода к подростковому возрасту искали в изменениях самого организма, в наступающем половом созревании. Конечно, половое развитие оказывает влияние на формирование личности в этот период, но оно (влияние) не является первичным. Как и другие изменения, связанные с ростом интеллектуальных и физических сил ребенка, половое созревание оказывает свое влияние опосредованно, через отношение ребенка к окружающему миру, через сравнение себя со взрослыми, с другими подростками, т. е. только внутри всего комплекса происходящих изменений.

На возникновение в начале этого периода новой сферы жизни указывали многие исследователи. Наиболее ясно эту мысль выразил А. Валлон: “Когда дружба и соперничество больше не основываются на общности или антагонизме выполняемых задач или тех задач, которые предстоит разрешить, когда дружбу и соперничество пытаются объяснить духовной близостью или различием, когда кажется, что они касаются личных сторон и не связаны с сотрудничеством или деловыми конфликтами, значит, уже наступила половая зрелость” (1967, с. 194).

В последние годы в исследованиях, проведенных под руководством Т.В.Драгуновой и Д.Б.Эльконина (Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков, 1967), было установлено, что в подростковом возрасте возникает и развивается особая деятельность, заключающаяся в установлении интимно-личных отношений между подростками. Эта деятельность была названа деятельностью общения. В отличие от других форм взаимоотношений, которые имеют место в деловом сотрудничестве товарищей, в этой деятельности основное ее содержание — другой подросток, как человек с определенными личными качествами. Во всех формах коллективной деятельности подростков наблюдается подчинение отноше-

ний своеобразному кодексу товарищества. В личном общении отношения могут строиться и строятся на основе не только взаимного уважения, но и полного доверия и общности внутренней жизни. Данная сфера общей жизни с товарищем занимает в подростковом периоде особо важное место.

Формирование отношений в группе подростков на основе кодекса товарищества и особенно тех личных отношений, в которых этот кодекс дан в наиболее выраженной форме, имеет важное значение для становления личности подростка. Кодекс товарищества по своему объективному содержанию воспроизводит наиболее общие нормы взаимоотношений, существующих между взрослыми людьми в данном обществе.

Деятельность общения выступает здесь своеобразной формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей. В процессе общения происходит углубленная ориентация в нормах этих отношений и их освоение. Таким образом, есть основания полагать, что ведущей деятельностью в этот период развития является деятельность общения, заключающаяся в построении отношений с товарищами на основе определенных этических норм, которые опосредуют поступки подростков.

Дело, однако, не только в этом. Построенное на основе полного доверия и общности внутренней жизни, личное общение становится той деятельностью, внутри которой оформляются свойственные участникам взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, — одним словом, формируются личные смыслы жизни. Благодаря этому появляются предпосылки для возникновения новых задач и мотивов дальнейшей собственной деятельности, которая превращается в деятельность, направленную на будущее и приобретающую в связи с этим характер профессионально-учебный.

В кратком обзоре мы могли представить только самые существенные факты, касающиеся содержательно-предметных характеристик ведущих типов деятельности, выделенных к настоящему времени. Эти характеристики позволяют разделить все типы на две большие группы.

В первую группу входят деятельности, внутри которых происходит интенсивная ориентация в основных смыслах человеческой деятельности и освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми. Это деятельности в системе “ребенок — общественный взрослый”. Конечно, непосредственно-эмоциональное общение младенца, ролевая игра и интимно-личное общение подростков существенно различаются по своему конкретному содержанию, по глубине проникновения ребенка в сферу задач и мотивов деятельности взрослых, представляя собой своеобразную лестницу последовательного освоения ребенком этой сферы. Вместе с тем они общи по своему основному содержанию. При осуществлении именно этой группы деятельностей у детей развивается преимущественно мотивационно-потребностная сфера.

Вторую группу составляют деятельности, внутри которых происходит усвоение общественно выработанных способов действий с предметами и эталонов, выделяющих в предметах те или иные их стороны. Это деятельности в системе “ребенок — общественный предмет”. Конечно, разные виды этой группы существенно отличаются друг от друга. Манипулятивно-предметная деятельность ребенка раннего возраста и учебная деятельность младшего школьника, а тем более учебно-профессиональная деятельность старших подростков внешне мало похожи друг на друга. В самом деле, что общего между овладением предметным действием с ложкой, или стаканом и овладением математикой или грамматикой? Но существенно общим в них является то, что все они выступают как элементы человеческой культуры. Они имеют общее происхождение и общее место в жизни общества, представляя собой итог предшествующей истории.

На основе усвоения общественно выработанных способов действия с этими предметами происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире и формирование его интеллектуальных сил, его становление как компонента производительных сил общества.

Необходимо подчеркнуть, что когда мы говорим о ведущей деятельности и ее значении для развития ребенка в тот или иной период, то это вовсе не означает,

будто одновременно не осуществляется развитие по другим направлениям. Жизнь ребенка в каждый период многогранна, и деятельности, посредством которых она осуществляется, многообразны. В жизни возникают новые виды деятельности, новые отношения ребенка к действительности. Их возникновение и превращение в ведущие не отменяет прежде существовавших, а лишь меняет их место в общей системе отношений ребенка к действительности, которые становятся все более богатыми.

Если расположить выделенные нами виды деятельности детей по группам в той последовательности, в которой они становятся ведущими, то получится следующий ряд:

непосредственно-эмоциональное общение	— первая группа,	
предметно-манипулятивная деятельность	— вторая	”
ролевая игра	— первая	”
учебная деятельность	— вторая	”
интимно-личное общение	— первая	”
учебно-профессиональная деятельность	— вторая	”

Таким образом, в детском развитии имеют место, с одной стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми и на этой основе — развитие мотивационно-потребностной сферы, с другой стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение общественно выработанных способов действий с предметами и на этой основе — формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических возможностей.

Рассмотрение последовательной смены одних периодов другими позволяет сформулировать гипотезу о периодичности процессов психического развития, заключающейся в закономерно повторяющейся смене одних периодов другими.

В детской психологии накоплен значительный материал, дающий основание для выделения двух резких переходов в психическом развитии детей. Прежде всего, переход от раннего детства к дошкольному возрасту, известный в литературе как кризис трех лет, а также переход от младшего школьного возраста к подростковому, — “кризис полового созревания”. При сопоставлении симптоматики двух названных переходов между ними обнаруживается большое сходство. В обо-

их переходах появляется тенденция к самостоятельности и ряд негативных проявлений, связанных с отношениями со взрослыми. При введении указанных переломных точек в схему периодов детского развития мы получим ту общую схему периодизации детства на эпохи, периоды и фазы.

Каждая эпоха состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. Она открывается периодом, в котором идет преимущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности, развитие мотивационно-потребностной сферы. Здесь подготавливается переход ко второму периоду, в котором происходит преимущественное усвоение способов действий с предметами и формирование операционно-технических возможностей.

Все три эпохи (раннего детства, детства, подросткового возраста) построены по одному и тому же принципу и состоят из закономерно связанных двух периодов. Переход от одной эпохи к следующей происходит при возникновении несоответствия между операционно-техническими возможностями ребенка и задачами, и мотивами деятельности, на основе которых они формировались. Переходы от одного периода к другому и от одной фазы к другой внутри периода изучены в психологии очень слабо.

В чем теоретическое и практическое значение гипотезы о периодичности процессов психического развития и построенной на ее основе схемы периодизации? Во-первых, ее основное теоретическое значение мы видим в том, что она позволяет преодолеть существующий в детской психологии разрыв между развитием мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сторон личности, показать противоречивое единство этих сторон развития личности. Во-вторых, эта гипотеза дает возможность рассмотреть процесс психического развития не как линейный, а как идущий по восходящей спирали. В-третьих, она открывает путь к изучению связей, существующих между отдельными периодами, к установлению функционального значения всякого предшествующего периода для наступления последующего. В-четвертых, наша гипотеза направлена на такое расчленение психического развития на эпохи и стадии, которое соответствует

внутренним законам этого развития, а не каким-либо внешним по отношению к нему факторам.

Практическое значение гипотезы состоит в том, что она помогает приблизиться к решению вопроса о сензитивности отдельных периодов детского развития к определенному типу воздействий, помогает по-новому подойти к проблеме связи между звеньями существующей системы образовательных учреждений. Согласно требованиям, вытекающим из этой гипо-

тезы, там, где в системе наблюдается разрыв (дошкольные учреждения — школа), должна существовать более органичная связь. Наоборот, там, где ныне существует непрерывность (начальные классы — средние классы), должен быть переход к новой воспитательно-образовательной системе.

Конечно, только дальнейшие исследования покажут, насколько в нашей гипотезе правильно отражена действительность психического развития детей.

Часть 3. Введение в психологию личности

У.Джемс

ЛИЧНОСТЬ¹

Личность и “я”. О чем бы я ни думал, я всегда в то же время более или менее осознаю самого себя, свое личное существование. Вместе с тем ведь это я сознаю, так что мое самосознание является как бы двойственным — частью познаваемым и частью познающим, частью объектом и частью субъектом; в нем надо различать две стороны, из которых для краткости одну мы будем называть *личностью*, а другую — “я”. Я говорю “две стороны”, а не “две обособленные сущности”, так как признание тождества нашего “я” и нашей личности даже в самом акте их различения есть, быть может, самое неукоснительное требование здравого смысла, и мы не должны упускать из виду это требование с самого начала, при установлении терминологии, к каким бы выводам относительно ее состоятельности мы ни пришли в конце исследования. Итак, рассмотрим сначала 1) познаваемый элемент в сознании личности, или, как иногда говорят, наше эмпирическое Его, и затем 2) познающий элемент в нашем сознании, наше “я”, чистое Его, как выражаются некоторые авторы.

А. Познаваемый элемент в личности

Эмпирическое “я” или личность. Трудно провести черту между тем, что человек называет самым собой и своим. Наши чувства и поступки по отношению к некоторым принадлежащим нам объектам в значительной степени сходны с чувствами и поступками по отношению к нам самим. Наше доброе имя, наши дети, наши произведения могут быть нам так же дороги, как и наше собственное тело, и могут вызывать в нас те же чувства, а в случае посягательства на них — то же стремление к возмездию. А тела наши — просто ли они наши или это мы сами? Бесспорно, бывали случаи, когда люди отрекались от собственного тела и смотрели на него как на одеяние или даже тюрьму, из которой они когда-нибудь будут счастливы вырваться.

Очевидно, мы имеем дело с изменчивым материалом: тот же самый предмет рассматривается нами иногда как часть нашей личности, иногда просто как “наш”, а иногда — как будто у нас нет с ним ничего общего. Впрочем, в самом широком смысле личность человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим: не только его физические и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, лошади, его яхта и капиталы. Все это вызывает в нем аналогичные чувства. Если по отношению ко всему этому дело обстоит благополучно — он торжествует; если дела приходят в упадок — он огорчен; разумеется, каждый из перечисленных нами объектов неодинаково влияет на состояние его духа, но все они

¹ Джемс У. Психология. М.: Педагогика, 1991. С. 80—99.

оказывают более или менее сходное воздействие на его самочувствие. Понимая слово “личность” в самом широком смысле, мы можем прежде всего подразделить анализ ее на три части в отношении 1) ее составных элементов; 2) чувств и эмоций, вызываемых ими (самооценка); 3) поступков, вызываемых ими (заботы о самом себе и самосохранение).

Составные элементы личности могут быть подразделены также на три класса: 1) физическую личность, 2) социальную личность и 3) духовную личность.

Физическая личность. В каждом из нас телесная организация представляет существенный компонент нашей физической личности, а некоторые части тела могут быть названы нашими в теснейшем смысле слова. За телесной организацией следует одежда. Старая поговорка, что человеческая личность состоит из трех частей: души, тела и платья, — нечто большее, нежели простая шутка. Мы в такой степени присваиваем платью нашей личности, до того отождествляем одно с другой, что многие из нас, не колеблясь ни минуты, дадут решительный ответ на вопрос, какую бы из двух альтернатив они выбрали: иметь прекрасное тело, облеченное в вечно грязные и рваные лохмотья, или под вечно новым костюмом скрывать безобразное, уродливое тело. Затем ближайшей частью нас самих является наше семейство, отец и мать, жена и дети — плоть от плоти и кость от кости нашей. Когда они умирают, исчезает часть нас самих. Нам стыдно за их дурные поступки. Если кто-нибудь обидел их, негодование вспыхивает в нас тотчас, как будто мы сами были на их месте. Далее следует наш домашний очаг, наш home. Происходящее в нем составляет часть нашей жизни, его вид вызывает в нас нежнейшее чувство привязанности, и мы неохотно прощаем гостю, который, посетив нас, указывает недостатки в нашей домашней обстановке или презрительно к ней относится. Мы отдаем инстинктивное предпочтение всем этим разнообразным объектам, связанным с наиболее важными практическими интересами нашей жизни. Все мы имеем бессознательное влечение охранять наши тела, облекать их в платья, снабженные украшениями, лелеять наших родителей, жену и детей и приискивать себе собственный уголок, в котором мы

могли бы жить, совершенствуя свою домашнюю обстановку.

Такое же инстинктивное влечение побуждает нас накапливать состояние, а сделанные нами ранее приобретения становятся в большей или меньшей степени близкими частями нашей эмпирической личности. Наиболее тесно связаны с нами произведения нашего кровного труда. Многие люди не почувствовали бы своего личного уничтожения, если бы производство их рук и мозга (например, коллекция насекомых или обширный рукописный труд), созидавшееся ими в течение целой жизни, вдруг оказалось уничтоженным. Подобное же чувство питает скупой к своим деньгам. Хотя и правда, что часть нашего огорчения при потере предметов обладания обусловлена сознанием того, что мы теперь должны обходиться без некоторых благ, которые рассчитывали получить при дальнейшем пользовании утраченными ныне объектами, но все-таки во всяком подобном случае сверх того в нас остается еще чувство умаления нашей личности, превращения некоторой части ее в ничто. И этот факт представляет собой самостоятельное психическое явление. Мы сразу попадаем на одну доску с босяками, с теми *pauvres diables* (отребьем), которых мы так презираем, и в то же время становимся более чем когда-либо отчужденными от счастливых сынов земли, властелинов суши, моря и людей, властелинов, живущих в полном блеске могущества и материальной обеспеченности. Как бы мы ни взывали к демократическим принципам, невольно перед такими людьми явно или тайно мы переживаем чувства страха и уважения.

Социальная личность. Признание в нас личности со стороны других представителей человеческого рода делает из нас *общественную личность*. Мы не только стадные животные, не только любим быть в обществе себе подобных, но имеем даже прирожденную склонность обращать на себя внимание других и производить на них благоприятное впечатление. Трудно придумать более дьявольское наказание (если бы такое наказание было физически возможно), чем если бы кто-нибудь попал в общество людей, где на него совершенно не обращали внимания. Если бы никто не оборачивался при нашем появлении, не

отвечал на наши вопросы, не интересовался нашими действиями, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и обходился с нами как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы своего рода бешенство, бессильное отчаяние. Здесь облегчением были бы жесточайшие телесные муки, лишь бы при них мы чувствовали, что при всей безвыходности нашего положения мы все-таки не пали настолько низко, чтобы не заслуживать ничего внимания.

Собственно говоря, у человека столько социальных личностей, сколько индивидов признают в нем личность и имеют о ней представление. Посягнуть на это представление — значит посягнуть на самого человека. Но, принимая во внимание, что лица, имеющие представление о данном человеке, естественно распадаются на классы, мы можем сказать, что на практике всякий человек имеет столько же различных социальных личностей, сколько имеется различных групп людей, мнением которых он дорожит. Многие мальчики ведут себя довольно прилично в присутствии родителей или преподавателей, а в компании невоспитанных товарищей бесчинствуют и бранятся, как пьяные извозчики. Мы выставляем себя в совершенно ином свете перед нашими детьми, нежели перед клубными товарищами; мы держим себя иначе перед нашими постоянными покупателями, чем перед нашими работниками; мы — нечто совершенно другое по отношению к нашим близким друзьям, чем по отношению к нашим хозяевам или к нашему начальству. Отсюда на практике получается деление человека на несколько личностей; это может повести к дисгармоничному раздвоению социальной личности, например, в случае, если кто-нибудь боится выставить себя перед одними знакомыми в том свете, в каком он представляется другим; но тот же факт может повести к гармоничному распределению различных сторон личности, например, когда кто-нибудь, будучи нежным по отношению к своим детям, является строгим к подчиненным ему узникам или солдатам.

Самой своеобразной формой социальной личности является представление влюбленного о личности любимой им особы. Ее судьба вызывает столь живое учас-

тие, что оно покажется совершенно бессмысленным, если прилагать к нему какой-либо иной масштаб, кроме мерила органического индивидуального влечения. Для самого себя влюбленный как бы не существует, пока его социальная личность не получит должной оценки в глазах любимого существа, в последнем случае его воисторг превосходит все границы.

Добрая или худая слава человека, его честь или позор — это названия для одной из его социальных личностей. Своеобразная общественная личность человека, называемая его честью, — результат одного из тех раздвоений личности, о которых мы говорили. Представление, которое складывается о человеке в глазах окружающей его среды, является руководящим мотивом для одобрения или осуждения его поведения, смотря по тому, отвечает ли он требованиям данной общественной среды, которые он мог бы не соблюдать при другой житейской обстановке. Так, частное лицо может без зазрения совести покинуть город, зараженный холерой, но священник или доктор нашли бы такой поступок несовместимым с их понятием о чести. Честь солдата побуждает его сражаться и умирать при таких обстоятельствах, когда другой человек имеет полное право скрыться в безопасное место или бежать, не налагая на свое социальное “я” позорного пятна.

Подобным же образом судья или государственный муж в силу своего положения находит бесчестным заниматься денежными операциями, не заключающими в себе ничего предосудительного для частного лица. Нередко можно слышать, как люди проводят различие между отдельными сторонами своей личности: “Как человек я жалею вас, но как официальное лицо я не могу вас пощадить”; “В политическом отношении он мой союзник, но с точки зрения нравственности я не выношу его”. То, что называют мнением среды, составляет один из сильнейших двигателей в жизни. Вор не смеет обкрадывать своих товарищей; карточный игрок обязан платить карточные долги, хотя бы он вовсе не платил иных своих долгов. Всегда и везде кодекс чести фешенебельного общества возбранял или разрешал известные поступки единственно в угоду одной из сторон нашей социальной личности. Вообще вы не должны лгать, но в том, что касается

ваших отношений к известной даме, — лгите, сколько вам угодно; от равного себе вы принимаете вызов на дуэль, но вы засмеетесь в глаза лицу низшего по сравнению с вами общественного положения, если это лицо вздумает потребовать от вас удовлетворения, — вот примеры для пояснения нашей мысли.

Духовная личность. Под духовной личностью, поскольку она связана с эмпирической, мы не разумеем того или другого отдельного преходящего состояния сознания. Скорее, мы разумеем под духовной личностью полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и свойств. Это объединение в каждую отдельную минуту может стать объектом нашей мысли и вызвать эмоции, аналогичные эмоциям, производимым в нас другими сторонами нашей личности. Когда мы думаем о себе как о мыслящих существах, все другие стороны нашей личности представляются относительно нас как бы внешними объектами. Даже в границах нашей духовной личности некоторые элементы кажутся более внешними, чем другие. Например, наши способности к ощущению представляются, так сказать, менее интимно связанными с нашим “я”, чем наши эмоции и желания. Самый центр, самое ядро нашего “я”, поскольку оно нам известно, святое святых нашего существа — это чувство активности, обнаруживающееся в некоторых наших внутренних душевных состояниях. На это чувство внутренней активности часто указывали как на непосредственное проявление жизненной субстанции нашей души. Так ли это или нет, мы не будем разбирать, а отметим здесь только своеобразный внутренний характер душевных состояний, обладающих свойством казаться активными, каковы бы ни были сами по себе эти душевные состояния. Кажется, будто они идут навстречу всем другим опытным элементам нашего сознания. Это чувство, вероятно, присуще всем людям.

За составными элементами личности в нашем изложении следуют характеризующие ее чувства и эмоции.

Самооценка. Она бывает двух родов: самодовольство и недовольство собой. Самолюбие может быть отнесено к третьему отделу, к отделу поступков, ибо сюда по большей части относят скорее известную

группу действий, чем чувствований в узком смысле слова. Для обоих родов самооценки язык имеет достаточный запас синонимов. Таковы, с одной стороны, гордость, самодовольство, высокомерие, суетность, самопочитание, заносчивость, тщеславие; с другой — скромность, униженность, смущение, неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, сознание собственного позора и отчаяние. Указанные два противоположных класса чувствований являются непосредственными, первичными дарами нашей природы. Представители ассоцианизма, быть может, скажут, что это вторичные, производные явления, возникающие из быстрого суммирования чувств удовольствия и неудовольствия, к которым ведут благоприятные или неблагоприятные для нас душевные состояния, причем сумма приятных представлений дает самодовольство, а сумма неприятных — противоположное чувство стыда. Без сомнения, при чувстве довольства собой мы охотно перебираем в уме все возможные награды за наши заслуги, а, отчаявшись в самих себе, мы предчувствуем несчастье; но простое ожидание награды еще не есть самодовольство, а предвидение несчастья не является отчаянием, ибо у каждого из нас имеется еще некоторый постоянный средний тон самочувствия, совершенно не зависящий от наших объективных оснований быть довольными или недовольными. Таким образом, человек, поставленный в весьма неблагоприятные условия жизни, может пребывать в невозмутимом самодовольстве, а человек, который вызывает всеобщее уважение и успех которого в жизни обеспечен, может до конца испытывать недоверие к своим силам.

Впрочем, можно сказать, что нормальным возбудителем самочувствия является для человека его благоприятное или неблагоприятное положение в свете — его успех или неуспех. Человек, эмпирическая личность которого имеет широкие пределы, который с помощью собственных сил всегда достигал успеха, личность с высоким положением в обществе, обеспеченная материально, окруженная друзьями, пользующаяся славой, едва ли будет склонна поддаваться страшным сомнениям, едва ли будет относиться к своим силам с тем недоверием, с каким она относилась к ним в юности. (“Разве я не взрастила сады ве-

ликого Вавилоня?”) Между тем лицо, потерпевшее несколько неудач одну за другой, падает духом на половине житейской дороги, проникается болезненной неуверенностью в самом себе и отступает перед попытками, вовсе не превосходящими его силы.

Чувства самодовольства и унижения одного рода — их можно считать первичными видами эмоций наряду, например, с гневом и болью. Каждое из них своеобразно отражается на нашей физиономии. При самодовольстве иннервируются разгибающие мышцы, глаза принимают уверенное и торжествующее выражение, походка становится бодрой и несколько покачивающейся, ноздри расширяются и своеобразная улыбка играет на губах.

Вся совокупность внешних телесных выражений самодовольства в самом крайнем проявлении наблюдается в домах умалишенных, где всегда можно найти лиц, буквально помешанных на собственном величии; их самодовольная наружность и чванная походка составляют печальный контраст с полным отсутствием всяких личных человеческих достоинств. В этих же “замках отчаяния” мы можем встретить яркий образец противоположного типа — добряка, воображающего, что он совершил смертный грех и навек загубил свою душу. Это тип, униженно пресмыкающийся, уклоняющийся от посторонних наблюдений, не смеющий с нами громко говорить и глядеть нам прямо в глаза. Противоположные чувства, подобные страху и гневу, при аналогичных патологических условиях могут возникать без всякой внешней причины. Из ежедневного опыта нам известно, в какой мере барометр нашей самооценки и доверия к себе поднимается и падает в зависимости скорее от чисто органических, чем от рациональных причин, причем эти изменения в наших субъективных показаниях нисколько не соответствуют изменениям в оценке нашей личности со стороны друзей.

Заботы о себе и самосохранение. Под это понятие подходит значительный класс наших основных инстинктивных побуждений. Сюда относится телесное, социальное и духовное самосохранение.

Заботы о физической личности. Все целесообразно-рефлекторные действия и движения питания и защиты составляют

акты телесного самосохранения. Подобным же образом страх и гнев вызывают целесообразное движение. Если под заботами о себе мы условимся разуметь предвидение будущего в отличие от самосохранения в настоящем, то мы можем отнести гнев и страх к инстинктам, побуждающим нас охотиться, искать пропитание, строить жилища, делать полезные орудия и заботиться о своем организме. Впрочем, последние инстинкты в связи с чувством любви, родительской привязанности, любознательности и соревнования распространяются не только на развитие нашей телесной личности, но и на все наше материальное “я” в самом широком смысле слова.

Наши заботы о социальной личности выражаются непосредственно в чувстве любви и дружбы, в желании обращать на себя внимание и вызывать в других изумление, в чувстве ревности, стремлении к соперничеству, жажде славы, влияния и власти; косвенным образом они проявляются во всех побуждениях к материальным заботам о себе, поскольку последние могут служить средством к осуществлению общественных целей. Легко видеть, что непосредственные побуждения заботиться о своей социальной личности сводятся к простым инстинктам. В стремлении обращать на себя внимание других характерно то, что его интенсивность нисколько не зависит от ценности достойного внимания заслуг данного лица, ценности, которая была бы выражена в сколько-нибудь осязательной или разумной форме.

Мы из сил выбиваемся, чтобы получить приглашение в дом, где бывает большое общество, чтобы при упоминании о каком-нибудь из виденных нами гостей иметь возможность сказать: “А, я его хорошо знаю!” — и раскланиваться на улице чуть не с половиною встречных. Конечно, нам всего приятнее иметь друзей, выдающихся по рангу или достоинствам, и вызывать в других восторженное поклонение. Теккерей в одном из романов просит читателей сознаться откровенно, не доставит ли каждому из них особенного удовольствия прогулка по улице Pall Mall с двумя герцогами под ручку. Но, не имея герцогов в кругу своих знакомых и не слыша гула завистливых голосов, мы не упускаем и менее значитель-

ных случаев обратить на себя внимание. Есть страстные любители предавать свое имя гласности в газетах — им все равно, в какую газетную рубрику попадет их имя, в разряд ли прибывших и выбывших, частных объявлений, интервью или городских сплетен; за недостатком лучшего они не прочь попасть даже в хронику скандалов. Патологическим примером крайнего стремления к печатной гласности может служить Гито, убийца президента Гарфильда. Умственный горизонт Гито не выходил из газетной сферы. В предсмертной молитве этого несчастного одним из искреннейших выражений было следующее: “Здесьняя газетная пресса в ответе пред Тобой, Господи”.

Не только люди, но местность и предметы, хорошо знакомые мне, в известном метафорическом смысле, расширяют мое социальное “я”. “Ga me connait” (оно меня знает), — говорил один французский работник, указывая на инструмент, которым владел в совершенстве. Лица, мнением которых мы вовсе не дорожим, являются в то же время индивидами, вниманием которых мы не брезгуем. Не один великий человек, не одна женщина, разборчивая во всех отношениях, с трудом отвергнут внимание ничтожного франта, личность которого они презирают от чистого сердца.

В рубрику “Попечение о духовной личности” следует отнести всю совокупность стремлений к духовному прогрессу — умственному, нравственному и духовному в узком смысле слова. Впрочем, необходимо допустить, что так называемые заботы о своей духовной личности представляют в этом более узком смысле слова лишь заботу о материальной и социальной личности в загробной жизни. В стремлении магометанина попасть в рай или в желании христианина избегнуть мук ада материальность желаемых благ сама собой очевидна. С более положительной и утонченной точки зрения на будущую жизнь многие из ее благ (сообщество с усопшими родными и святыми и сопresутствие Божества) суть лишь социальные блага наивысшего порядка. Только стремление к искуплению внутренней (греховной) природы души, к достижению ее безгрешной чистоты в этой или будущей жизни могут считаться заботами о духовной нашей личности в ее чистейшем виде.

Наш широкий внешний обзор фактов, наблюдаемых в жизни личности, был бы неполон, если бы мы не выяснили вопроса **о соперничестве и столкновениях между отдельными ее сторонами**. Физическая природа ограничивает наш выбор одними из многочисленных представляющихся нам и желаемых нами благ, тот же факт наблюдается и в данной области явлений. Если бы только было возможно, то уж, конечно, никто из нас не отказался бы быть сразу красивым, здоровым, прекрасно одетым человеком, великим силачом, богачом, имеющим миллионный годовой доход, остряком, бонвиваном, покорителем дамских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным деятелем, военачальником, исследователем Африки, модным поэтом и святым человеком. Но это решительно невозможно. Деятельность миллионера не мирится с идеалом святого; филантроп и бонвиван — понятия несовместимые; душа философа не уживается с душой сердцееда в одной телесной оболочке.

Внешним образом такие различные характеры как будто и в самом деле совместимы в одном человеке. Но стоит действительно развить одно из свойств характера, чтобы оно тотчас заглушило другие. Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы искать спасения в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего “я”. Все другие стороны нашего “я” призрачны, только одна из них имеет реальное основание в нашем характере, и потому ее развитие обеспечено. Неудачи в развитии этой стороны характера суть действительные неудачи, вызывающие стыд, а успех — настоящий успех, приносящий нам истинную радость. Этот факт может служить прекрасным примером умственных усилий выбора, на которые я выше настойчиво указывал. Прежде чем осуществить выбор, наша мысль колеблется между несколькими различными вещами; в данном случае она выбирает одну из многочисленных сторон нашей личности или нашего характера, после чего мы не чувствуем стыда, потерпев неудачу в чем-нибудь, не имеющем отношения к тому свойству нашего характера, которое остановило исключительно на себе наше внимание.

Отсюда понятен парадоксальный рассказ о человеке, пристыженном до смерти тем, что он оказался не первым, а вторым в мире боксером или гребцом. Что он может побороть любого человека в мире, кроме одного, — это для него ничего не значит: пока он не одолеет первого в состязании, ничто не принимается им в расчет. Он в собственных глазах как бы не существует. Тщедушный человек, которого всякий может побить, не огорчается из-за своей физической немощи, ибо он давно оставил всякие попытки к развитию этой стороны личности. Без попыток не может быть неудачи, без неудачи не может быть позора. Таким образом, наше довольство собой в жизни обусловлено всецело тем, к какому делу мы себя предназначим. Самоуважение определяется отношением наших действительных способностей к потенциальным, предполагаемым — дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а знаменатель наши притязания:

самоуважение = успех/притязания

При увеличении числителя или уменьшении знаменателя дробь будет возрастать. Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облегчение, как и осуществление их на деле, и отказываться от притязания будут всегда в том случае, когда разочарования беспрестанны, а борьбе не предвидится исхода. Самый яркий из возможных примеров этого дает история евангельской теологии, где мы находим убеждение в греховности, отчаяние в собственных силах и потерю надежды на возможность спастись одними добрыми делами. Но подобные же примеры можно встретить и в жизни на каждом шагу. Человек, понявший, что его ничтожество в какой-то области не оставляет для других никаких сомнений, чувствует странное сердечное облегчение. Неумолимое “нет”, полный, решительный отказ влюбленному человеку как будто умеряют его горечь при мысли о потере любимой особы. Многие жители Бостона, *crede experto* (верь тому, кто испытал) (боюсь, что то же можно сказать и о жителях других городов), могли бы с легким сердцем отказаться от своего музыкального “я”, чтобы иметь возможность без стыда

смешивать набор звуков с симфонией. Как приятно бывает иногда отказаться от притязаний казаться молодым и стройным! “Слава Богу,— говорим мы в таких случаях,— эти иллюзии миновали!” Всякое расширение нашего “я” составляет лишнее бремя и лишнее притязание. Про некоего господина, который в последнюю американскую войну потерял все свое состояние до последнего цента, рассказывают: сделавшись нищим, он буквально валялся в грязи, но уверял, что никогда еще не чувствовал себя более счастливым и свободным.

Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. “Приравняй свои притязания к нулю, — говорит Карлейль, — и целый мир будет у ног твоих”. Справедливо писал мудрейший человек нашего времени, что жизнь начинается только с момента отречения.

Ни угрозы, ни увещания не могут воздействовать на человека, если они не затрагивают одной из возможных в будущем или настоящих сторон его личности. Вообще говоря, только воздействием на эту личность мы можем завладеть чужой волей. Поэтому важнейшая забота монархов, дипломатов и вообще всех стремящихся к власти и влиянию, заключается в том, чтобы найти у их “жертвы” сильнейший принцип самоуважения и сделать воздействие на него своей конечной целью. Но если человек отказался от того, что зависит от воли другого, и перестал смотреть на все это как на части своей личности, то мы становимся почти совершенно бессильны влиять на него. Стоическое правило счастья заключалось в том, чтобы заранее считать себя лишенными всего того, что зависит не от нашей воли, — тогда удары судьбы станут нечувствительными. Эпиктет советует нам сделать нашу личность неуязвимой, суживая ее содержание и в то же время укрепляя ее устойчивость: “Я должен умереть — хорошо, но должен ли я умирать, непременно жалуясь на свою судьбу? Я буду открыто говорить правду, и если тиран скажет: “За твои речи ты достоин смерти”, — я отвечу ему: “Говорил ли я тебе когда-нибудь, что я бессмертен? Ты будешь делать свое дело, а я — свое: твое дело — казнить, а мое — умирать бесстрашно; твое дело — изгонять, а мое — бестрепетно удаляться.

Как мы поступаем, когда отправляемся в морское путешествие? Мы выбираем кормчего и матросов, назначаем время отъезда. На дороге нас застигает буря. В чем же должны в таком случае состоять наши заботы? Наша роль уже выполнена. Дальнейшие обязанности лежат на кормчем. Но корабль тонет. Что нам делать? Только одно, что возможно, — бесстрашно ждать гибели, без крика, без ропота на Бога, хорошо зная, что всякий, кто родился, должен когда-нибудь и умереть”.

В свое время, в своем месте эта стоическая точка зрения могла быть достаточно полезной и героической, но надо признаться, что она возможна только при постоянной склонности души к развитию узких и несимпатичных черт характера. Стоик действует путем самоограничения. Если я стоик, то блага, какие я мог бы себе присвоить, перестают быть моими благами, и во мне является склонность вообще отрицать за ними значение каких бы то ни было благ. Этот способ оказывать поддержку своему “я” путем отречения, отказ от благ весьма обычен среди лиц, которых в других отношениях никак нельзя назвать стоиками. Все узкие люди ограничивают свою личность, отделяют от нее все то, чем они прочно не владеют. Они смотрят с холодным пренебрежением (если не с настоящей ненавистью) на людей, непохожих на них или не поддающихся их влиянию, хотя бы эти люди обладали великими достоинствами. “Кто не за меня, тот для меня не существует, т. е., насколько от меня зависит, я стараюсь действовать так, как будто он для меня вовсе не существовал”. Таким путем строгость и определенность границ личности могут вознаградить за скудость ее содержания. Экспансивные люди действуют наоборот: путем расширения своей личности и приобщения к ней других. Границы их личности часто бывают довольно неопределенны, но зато богатство ее содержания с избытком вознаграждает их за это. *Nihil humanum a me alienum puto* (ничто человеческое мне не чуждо). “Пусть презирают мою скромную личность, пусть обращаются со мною, как с собакой; пока есть душа в моем теле, я не буду их отвергать. Они — такие же реальности, как и я. Все, что в них есть действительно хорошего, пусть будет достоянием моей личности”. Вели-

кодушие этих экспансивных натур иногда бывает поистине трогательно. Такие лица способны испытывать своеобразное тонкое чувство восхищения при мысли, что, несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение, они все-таки составляют неотделимую часть мира бодрых людей, имеют товарищескую долю в силе ломовых лошадей, в счастье юности, в мудрости мудрых и не лишены некоторой доли в пользовании богатствами Вандербильдтов и даже самих Гогенцоллернов.

Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое “я” пытается утвердиться во внешнем мире. Тот, кто может воскликнуть вместе с Марком Аврелием: “О, Вселенная! Все, что ты желаешь, то и я желаю!”, имеет личность, из которой удалено до последней черты все, ограничивающее, суживающее ее содержание — содержание такой личности всеобъемлюще.

Иерархия личностей. Согласно почти единодушно принятому мнению, различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке, и в связи с этим различные виды самоуважения человека можно представить в форме иерархической шкалы с физической личностью внизу, духовной — наверху и различными видами материальных (находящихся вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке. Часто природная склонность заботиться о себе вызывает в нас стремление расширять различные стороны личности; мы преднамеренно отказываемся от развития в себе лишь того, в чем не надеемся достигнуть успеха. Таким-то образом наш альтруизм является “необходимой добродетелью”, и циники, описывая наш прогресс в области морали, не совсем без основания напоминают при этом об известной басне про лису и виноград. Но таков уж ход нравственного развития человечества, и если мы согласимся, что в итоге те виды личностей, которые мы в состоянии удерживать за собой, являются (для нас) лучшими по внутренним достоинствам, то у нас не будет оснований жаловаться на то, что мы постигаем их высшую ценность таким тягостным путем.

Конечно, это не единственный путь, на котором мы учимся подчинять низшие виды наших личностей высшим. В этом

подчинении, бесспорно, играет известную роль этическая оценка, и, наконец, немаловажное значение имеют здесь суждения, высказанные нами о поступках других лиц. Одним из курьезнейших законов нашей (психической) природы является то обстоятельство, что мы с удовольствием наблюдаем в себе известные качества, которые кажутся нам отвратительными у других. Ни в ком не может возбудить симпатии физическая неопрятность иного человека, его жадность, честолюбие, вспыльчивость, ревность, деспотизм или заносчивость. Предоставленный абсолютно самому себе, я, может быть, охотно позволил бы развиваться этим наклонностям и лишь спустя долгое время оценил положение, которое должна занимать подобная личность в ряду других. Но так как мне постоянно приходится составлять суждения о других людях, то я вскоре приучаюсь видеть в зеркале чужих страстей, как выражается Горвич, отражение моих собственных и начинаю мыслить о них совершенно иначе, чем их чувствовать. При этом, разумеется, нравственные принципы, внушенные с детства, чрезвычайно ускоряют в нас появление наклонности к рефлексии.

Таким-то путем и получается, как мы сказали, та шкала, на которой люди иерархически располагают различные виды личностей по их достоинству. Известная доля телесного эгоизма является необходимой подкладкой для всех других видов личности. Но чувственный элемент стараются приуменьшить или в лучшем случае уравновесить другими свойствами характера. Материальным видам личностей, в более широком смысле слова, отдается предпочтение перед непосредственной личностью — телом. Жалким существом почитаем мы того, кто не способен пожертвовать небольшим количеством пищи, питья или сна ради общего подъема своего материального благосостояния. Социальная личность в ее целом стоит выше материальной личности в ее совокупности. Мы должны более дорожить нашей честью, друзьями и человеческими отношениями, чем здоровьем и материальным благополучием. Духовная же личность должна быть для человека высшим сокровищем: мы должны скорее пожертвовать друзьями, добрым именем, собственностью и даже

жизнью, чем утратить духовные блага нашей личности.

Во всех видах наших личностей — физическом, социальном и духовном — мы проводим различие между непосредственным, действительным, с одной стороны, и более отдаленным, потенциальным, с другой, между более близоруким и более дальновидным точками зрения на вещи, действуя наперекор первой и в пользу последней. Ради общего состояния здоровья необходимо жертвовать минутным удовольствием в настоящем; надо выпустить из рук один доллар, имея в виду получить сотню; надо порвать дружеские сношения с известным лицом в настоящем, имея в виду при этом приобрести более достойный круг друзей в будущем; приходится проигрывать в изяществе, остроумии, учености, дабы надежнее стяжать спасение души.

Из этих более широких потенциальных видов личностей потенциальная общественная личность является наиболее интересной вследствие некоторых парадоксов и вследствие ее тесной связи с нравственной и религиозной сторонами нашей личности. Если по мотивам чести или совести у меня хватает духу осудить мою семью, мою партию, круг моих близких; если из протестанта я превращаюсь в католика или из католика в свободомыслящего; если из правоверного практика аллопата я становлюсь гомеопатом или каким-нибудь другим сектантом медицины, то во всех подобных случаях я равнодушно переношу потерю некоторой доли моей социальной личности, ободряя себя мыслью, что могут найтись лучшие общественные судьбы (надо мной) сравнительно с теми, приговор которых направлен в данную минуту против меня.

Апеллируя к решению этих новых судеб, я, быть может, гонюсь за весьма далеким и едва достижимым идеалом социальной личности. Я не могу рассчитывать на его осуществление при моей жизни; я могу даже ожидать, что последующие поколения, которые одобрили бы мой образ действий, если бы он им был известен, ничего не будут знать о моем существовании после моей смерти. Тем не менее чувство, увлекающее меня, есть, бесспорно, стремление найти идеал социальной личности, такой идеал, который по

крайней мере заслуживал бы одобрение со стороны строжайшего, какой только возможен, судьи, если бы таковой был налицо. Этот вид личности и есть окончательный, наиболее устойчивый, истинный и интимный предмет моих стремлений. Этот судья — Бог, Абсолютный Разум, Великий Спутник. В наше время научного просвещения происходит немало споров по вопросу о действенности молитвы, причем выставляется много оснований pro и contra. Но при этом почти не затрагивается вопрос о том, почему именно мы молимся, на что не трудно ответить ссылкой на неудержимую потребность молиться. Не лишено вероятия, что люди так действуют наперекор науке и на все будущее время будут продолжать молиться, пока не изменится их психическая природа, чего мы не имеем никаких оснований ожидать. <...>

Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собой высшим; в лице Верховного Судии идеальный трибунал представляется наивысшим; и большинство людей или постоянно, или в известных случаях жизни обращаются к этому Верховному Судии. Последнее исчадие рода человеческого может таким путем стремиться к высшей нравственной самооценке, может признать за собой известную силу, известное право на существование.

Для большинства из нас мир без внутреннего убежища в минуту полной утраты всех внешних социальных личностей был бы какой-то ужасной бездной. Я говорю “для большинства из нас”, ибо индивиды, вероятно, весьма различаются по степени чувств, какие они способны переживать по отношению к Идеальному Существо. В сознании одних лиц эти чувства играют более существенную роль, чем в сознании других. Наиболее одаренные этими чувствами люди, наверное, наиболее религиозны. Но я уверен, что даже те, которые утверждают, будто совершенно лишены их, обманывают себя и на самом деле хоть в некоторой степени обладают этими чувствами. Только нестадные животные, вероятно, совершенно лишены этого чувства. Может быть, никто не в состоянии приносить жертвы во имя права, не олицетворяя до некоторой степени принцип права, ради которого совершает-

ся известная жертва, и не ожидая от него благодарности. Другими словами, полнейший социальный альтруизм едва ли может существовать; полнейшее социальное самоубийство едва ли когда приходило человеку в голову. <...>

Телеологическое значение забот о своей личности. На основании биологических принципов легко показать, почему мы были наделены влечениями к самосохранению и эмоциями довольства и недовольства собой. <...> Для каждого человека прежде всего его собственное тело, затем его ближайшие друзья и, наконец, духовные склонности должны являться в высшей степени ценными объектами. Начать с того, что каждый человек, чтобы существовать, должен иметь известный минимум эгоизма в форме инстинктов телесного самосохранения. Этот минимум эгоизма должен служить подкладкой для всех дальнейших сознательных актов, для самоотречения и еще более утонченных форм эгоизма. Если не прямо, то путем переживания приспособленнейшего все духи привыкли принимать живейший интерес в участии своих телесных оболочек, хотя и независимо от интереса к чистому “я”, интереса, которым они также обладают.

Нечто подобное можно наблюдать и по отношению к судьбам нашей личности в воображении других лиц. Я бы теперь не существовал, если бы не научился понимать одобрительные или неодобрительные выражения лиц, среди которых протекает моя жизнь. Презрительные же взгляды, которые окружающие меня люди бросают друг на друга, не должны производить на меня особенно сильного впечатления. Мои духовные силы также должны интересоваться меня более, чем духовные силы окружающих, и на том же основании. Меня бы не было в той среде, где я теперь нахожусь, если бы я не влиял культурным образом на других и не оказывал бы им поддержки. При этом закон природы, научивший меня однажды дорожить людскими отношениями, с тех пор навсегда заставляет меня дорожить ими.

Телесная, социальная и духовная личности образуют *естественную личность*. Но все они являются, собственно говоря, объектами мысли, которая во всякое время совершает свой процесс познания; по-

этому при всей правильности эволюционной и биологической точек зрения нет оснований думать, почему бы тот или другой объект не мог первичным инстинктивным образом зародить в нас страсть или интерес. Явление страсти по происхождению и сущности всегда одно и то же, независимо от конечной цели; что именно в данном случае является объектом наших стремлений — это дело простого факта. Я могу в такой же степени и так же инстинктивно быть увлечен заботами о физической безопасности моего соседа, как и моей собственной телесной безопасности. Это и наблюдается на наших заботах о теле собственных детей. Единственной помехой для чрезмерных проявлений неэгоистических интересов является естественный отбор, который искореняет все то, что было бы вредным для особи и для ее вида. Тем не менее

многие из подобных влечений остаются неупорядоченными, например, половое влечение, которое в человечестве проявляется, по-видимому, в большей степени, чем это необходимо; наряду с этим еще остаются наклонности (например, наклонность к опьянению алкоголем, любовь к музыке, пению), влечения, не поддающиеся никаким утилитарным объяснениям. Альтруистические и эгоистические инстинкты, впрочем, координированы. Стоят они, насколько мы можем судить, на том же психологическом уровне. Единственное различие между ними в том, что так называемые эгоистические инстинкты гораздо многочисленнее.

Итог. Следующая таблица может служить итогом сказанного выше. Эмпирическая жизнь нашей личности может быть подразделена следующим образом.

	Материальная	Социальная	Духовная
Самосохранение	Телесные потребности и инстинкты. Любовь к нарядам, франтовство, умение приобретать средства, создавать себе обстановку	Желание нравиться, быть замеченным и т.д. Общительность, соревнование, зависть, любовь, честолюбие и т.д.	Интеллектуальные, моральные и религиозные стремления, добросовестность
Самооценка	Личное тщеславие, скромность. Гордое сознание обеспеченности, страх бедности	Социальная и семейная гордость, тщеславие, погоня за модой; приниженность, стыд и т.д.	Чувство нравственного и умственного превосходства, чистоты и т.д., чувство вины

Э. Фромм

[ДВА ОСНОВНЫХ СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ: ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ]¹

Первый взгляд

Значение различия между обладанием и бытием

Альтернатива “обладание или бытие” противоречит здравому смыслу. *Обладание* представляется нормальной функцией нашей жизни: чтобы жить, мы должны обладать вещами. Более того, мы должны обладать вещами, чтобы получать от них удовольствие. Да и как может возникнуть такая альтернатива в обществе, высшей целью которого является иметь — и иметь как можно больше — и в котором один человек может сказать о другом: “Он стоит миллион долларов”? При таком положении вещей, напротив, кажется, что сущность бытия заключается именно в обладании, что человек — ничто, если он ничего не *имеет*.

И все же великие Учители жизни отводили альтернативе “обладание или бытие” центральное место в своих системах. Как учит Будда, для того чтобы достичь наивысшей ступени человеческого развития, мы не должны стремиться обладать имуществом. Иисус учит: “Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку

приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?” [Евангелие от Луки, IX, 24–25]. Согласно учению Майстера Экхарта, ничем не обладать и сделать свое существо открытым и “незаполненным”, не позволить “я” встать на своем пути — есть условие обретения духовного богатства и духовной силы. По Марксу, роскошь — такой же порок, как и нищета; цель человека *быть* многим, а не *обладать* многим. (Я говорю здесь об истинном Марксе — радикальном гуманисте, а не о той вульгарной фальшивой фигуре, которую сделали из него советские коммунисты.)

Долгие годы различие между бытием и обладанием глубоко интересовало меня, и я пытался найти его эмпирическое подтверждение в конкретном исследовании индивидов и групп с помощью психоаналитического метода. Полученные результаты привели меня к выводу, что различие между бытием и обладанием, так же как и различие между любовью к жизни и любовью к смерти, представляет собой коренную проблему человеческого существования; эмпирические антропологические и психоаналитические данные свидетельствуют о том, что *обладание и бытие являются двумя основными способами существования человека, преобладание одного из которых определяет различия в индивидуальных характерах людей и типах социального характера*.

Примеры из различных поэтических произведений

Чтобы лучше пояснить различие между этими способами существования — обладанием и бытием, — я хотел бы сначала проиллюстрировать его на примере двух близких по содержанию стихотворений, к которым покойный Д. Т. Судзуки обращался в своих “Лекциях по дзэн-буддизму”. Одно из них — хокку² японского поэта XVII века Басе (1644–1694), другое принадлежит перу английского поэта XIX века — Теннисона. Оба поэта описали сходные переживания: свою реакцию на цветок, увиденный во время прогулки. В стихотворении Теннисона говорится:

¹ Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990. С. 21—27, 74—98, 103—114.

² Хокку — жанр японской поэзии, нерифмованное трехстишие.— *Прим. перев.*

Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень, стебелек,
здесь, на моей ладони.
Ты мал, цветок, но *если* бы я понял,
Что есть твой корень, стебелек,
и в чем вся суть твоя, цветок,
Тогда я Бога суть и человека суть познал бы.

Трехстишие Басе звучит так:

Внимательно взглядысь!
Цветы “пастушьей сумки”
Увидишь под плетнем!¹

Поразительно, насколько разное впечатление производит на Теннисона и Басе случайно увиденный цветок! Первое желание Теннисона — *обладать* им. Он срывает его целиком, с корнем. И хотя он завершает стихотворение глубокомысленными рассуждениями о том, что этот цветок может помочь ему проникнуть в суть природы бога и человека, сам цветок обрекается на смерть, становится жертвой проявленного таким образом интереса к нему. Теннисона, каким он предстает в этом стихотворении, можно сравнить с типичным западным ученым, который в поисках истины умертвляет все живое.

Отношение Басе к цветку совершенно иное. У поэта не возникает желания сорвать его; он даже не дотрагивается до цветка. Он лишь “внимательно взглядывается”, чтобы “увидеть” цветок. Вот как комментирует это трехстишие Судзуки: “Вероятно, Басе шел по проселочной дороге и увидел у плетня нечто малоприметное. Он подошел поближе, внимательно взгляделся и обнаружил, что это всего лишь дикое растение, довольно невзрачное и не привлекающее взгляда прохожего. Чувство, которым проникнуто описание этого незамысловатого сюжета, нельзя назвать особенно поэтическим, за исключением, может быть, последних двух слов, которые по-японски читаются как “кана”. Эта частица часто прибавляется к существительным, прилагательным или наречиям и привносит ощущение восхищения или похвалы, печали или радости

и может быть при переводе в некоторых случаях весьма приблизительно передана с помощью восклицательного знака. В данном хокку все трехстишие заканчивается восклицательным знаком”.

Теннисону, как представляется, необходимо обладать цветком, чтобы постичь природу и людей, и в результате этого *обладания* цветок погибает. Басе же хочет просто *созерцать*, причем не только смотреть на цветок, но стать с ним единым целым — и оставить его жить. Различие в позициях Теннисона и Басе в полной мере объясняет следующее стихотворение Гете:

НАШЕЛ²

Бродил я лесом...
В глуши его
Найти не чаял
Я ничего.
Смотрю, цветочек
В тени ветвей,
Всех глаз прекрасней,
Всех звезд светлей.

Простер я руку,
Но молвил он:
“Ужель погибнуть
Я осужден?”

Я взял с корнями
Питомца рос
И в сад прохладный
К себе отнес.

В тиши местечко
Ему отвел,
Цветет он снова,
Как прежде цвел.

Гете прогуливался в лесу без всякой цели, когда его взгляд привлек яркий цветок. У Гете возникает то же желание, что и у Теннисона: сорвать цветок. Но в отличие от Теннисона Гете понимает, что это означает погубить его. Для Гете этот цветок в такой степени живое существо, что он даже говорит с поэтом и предостерегает его; Гете решает эту проблему иначе, нежели Теннисон или Басе. Он берет цве-

¹ Перевод с японского В. Марковой. Цит. по.: Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М.: Худож. лит. 1977. С. 743.

² Перевод с немецкого Н. Миримского. Цит. по.: *Гете И.-В.* Избр. произв.: В 2 т. М.: Правда, 1985. Т.1. С. 158.

ток “с корнями” и пересаживает его “в сад прохладный”, не разрушая его жизни. Позиция Гете является промежуточной между позициями Теннисона и Басе: в решающий момент сила жизни берет верх над простой любознательностью. Нет нужды добавлять, что в этом прекрасном стихотворении Гете выражена суть его концепции исследования природы. Отношение Теннисона к цветку является выражением принципа обладания, или владения, но обладания не чем-то материальным, а знанием. Отношение же Басе и Гете к цветку выражает принцип бытия. Под бытием я понимаю такой способ существования, при котором человек и не *имеет* ничего, и не *жаждет иметь* что-либо, но счастлив, продуктивно использует свои способности, пребывает в *единении* со всем миром. Гете, безмерно влюбленный в жизнь, один из выдающихся борцов против одностороннего и механистического подхода к человеку, во многих своих стихотворениях выразил свое предпочтительное отношение к бытию, а не к обладанию. Его “Фауст” — это яркое описание конфликта между бытием и обладанием (олицетворением последнего выступает Мефистофель). В небольшом стихотворении “Собственность” Гете с величайшей простотой говорит о ценности бытия:

СОБСТВЕННОСТЬ

Я знаю, не дано ничем мне обладать,
Моя — лишь мысль, ее не удержать,
Когда в душе ей суждено родиться,
И миг счастливый — тоже мой,
Он благосклонною судьбой
Мне послан, чтоб сполна им насладиться.

Различие между бытием и обладанием не сводится к различию между Востоком и Западом. Это различие касается типов общества — одно ориентировано на человека, другое — на вещи. Ориентация на обладание — характерная особенность западного индустриального общества, в котором главный смысл жизни состоит в погоне за деньгами, славой и властью. В обществах, в которых отчуждение выражено в меньшей степени и которые не заражены идеями современного “прогресса”, например в средневековом обществе, у индейцев зуни и африканских племен, существуют свои Басе. Возможно, что

через несколько поколений в результате индустриализации и у японцев появятся свои Теннисоны. Дело не в том, что (как полагал Юнг) западный человек не может до конца постичь философские системы Востока, например, дзэн-буддизм, а в том, что современный человек не может понять дух общества, которое не ориентировано на собственность и алчность. И действительно, сочинения Майстера Экхарта (которые столь же трудны для понимания, как и произведения Басе или дзэн-буддизм) и Будды — это в сущности лишь два диалекта одного и того же языка.

Идиоматические изменения

Некоторое изменение смыслового значения понятий “бытие” и “обладание” нашло в последние несколько столетий отражение в западных языках и выразилось во все большем использовании для их обозначения существительных и все меньшем — глаголов.

Существительное — это обозначение вещи. Я могу сказать, что *обладаю* вещами [*имею* вещи], например: у меня есть [я имею] стол, дом, книга, автомобиль. Для обозначения действия или процесса служит глагол, например: я существую, я люблю, я желаю, я ненавижу и т. д. Однако все чаще *действие* выражается с помощью понятия *обладания*, иными словами, вместо глагола употребляется существительное. Однако подобное обозначение действия с помощью глагола “иметь” в сочетании с существительным является неправильным употреблением языка, так как процессами или действиями владеть нельзя, их можно только осуществлять или испытывать.

Давние наблюдения

Пагубные последствия этой ошибки были замечены еще в XVIII веке. Дю Маре очень точно изложил эту проблему в своей посмертно опубликованной работе “Истинные принципы грамматики” (1769). Он пишет: “Так, в высказывании “У меня есть [я имею] часы” выражение “У меня есть [я имею]” следует понимать буквально; однако в высказывании “У меня есть идея [я имею идею]” выражение “У меня есть [я имею]” употребляет-

ся лишь в переносном смысле. Такая форма выражения является неестественной. В данном случае выражение “У меня есть идея [я имею идею]” означает “Я думаю”, “Я представляю себе это так-то и так-то”. Выражение “У меня есть желание” означает “Я желаю”; “У меня есть намерение” — “Я хочу”, и т. д.”.

Спустя столетие после того, как Дю Марэ обратил внимание на это явление замены глаголов существительными, Маркс и Энгельс в “Святом семействе” обсудили эту же проблему, но только более радикальным образом. Их критика “критической критики” Бауэра включает небольшое, но очень важное эссе о любви, где приводится следующее утверждение Бауэра: “Любовь... есть жестокая богиня, которая, как и всякое божество, стремится завладеть всем человеком и не удовлетворяется до тех пор, пока человек не отдаст ей не только свою душу, но и свое физическое “я”. Ее культ, это — страдание, вершина этого культа — самопожертвование, самоубийство”.

В ответ Маркс и Энгельс пишут: Бауэр “превращает любовь в “богиню”, и притом в “жестокую богиню”, тем, что из *любящего человека*, из *любви человека* он делает человека *любви*, — тем, что он отделяет от человека “*любовь*” как особую сущность и, как таковую, наделяет ее самостоятельным бытием” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т. 2. С. 22–23). Маркс и Энгельс указывают здесь на важную особенность — употребление существительного вместо глагола. Существительное “любовь” как некое понятие для обозначения действия “любить” отрывается от человека как субъекта действия. Любовь превращается в богиню, в идола, на которого человек проецирует свою любовь; в результате этого процесса отчуждения он перестает испытывать любовь, его способность любить находит свое выражение в поклонении “богине любви”. Он перестал быть активным, чувствующим человеком; вместо этого он превратился в отчужденного идолопоклонника. <...>

Что такое модус обладания?

Общество приобретателей — основа модуса обладания

Наши суждения чрезвычайно предвзяты, ибо мы живем в обществе, которое зиждется на трех столпах: частной собственности, прибыли и власти. Приобретать, владеть и извлекать прибыль — вот священные и неотъемлемые права индивида в индустриальном обществе¹. Каковы источники собственности — не имеет значения, так же как и сам факт владения собственностью не налагает никаких обязательств на ее владельцев. Принцип таков: “Где и каким образом была приобретена собственность, а также как я собираюсь поступить с ней, никого, кроме меня, не касается; пока я действую в рамках закона, мое право на собственность абсолютно и ничем не ограничено”.

Такой вид собственности можно назвать *частной, приватной* собственностью (от латинского “privare” — “лишать”), так как личность или личности, владеющие собственностью, являются ее единственными хозяевами, облеченными всей полнотой власти лишать других возможности употребить ее для своей пользы или удовольствия. Хотя предполагается, что частная собственность является естественной и универсальной категорией, история и предистория человечества, и в особенности история неевропейских культур, где экономика не играла главенствующей роли в жизни человека, свидетельствует о том, что на самом деле она скорее исключение, чем правило. Помимо частной собственности, существуют еще и *созданная своим трудом* собственность, которая является всецело результатом труда своего владельца; *ограниченная* собственность, которая ограничена обязанностью помогать своим ближним; *функциональная*, или *личная*, собственность, которая распространяется либо на орудия труда, либо на объекты пользо-

¹ Книга Р. Тауни “The Acquisitive Society” (1920) остается непревзойденной по глубине понимания современного капитализма и возможных перспектив социального и человеческого развития. Работы Макса Вебера, Брентано, Шапиро, Паскаля, Зомбарта и Крауса также содержат важные и глубокие мысли о влиянии индустриального общества на человека.

вания; *общая* собственность, которой совместно владеет группа людей, связанных узами духовного родства, как, например, киббуцы — фермы или поселения-коммуны в Израиле.

Нормы, в соответствии с которыми функционирует общество, формируют также и характер членов этого общества (“социальный характер”). В индустриальном обществе такими нормами является стремление приобретать собственность, сохранять ее и приумножать, то есть извлекать прибыль, и владеющие собственностью становятся предметом восхищения и зависти как существа высшего порядка. Однако подавляющее большинство людей не владеют никакой собственностью в полном смысле этого слова — то есть капиталом или товарами, в которые вложен капитал, и в связи с этим возникает такой озадачивающий вопрос: как же эти люди могут удовлетворять свою страсть к приобретению и сохранению собственности и как они могут справляться с этой обуревающей их страстью? Иначе говоря, как им удастся чувствовать себя владельцами собственности, если они ее практически не имеют?

Естественно, напрашивается следующий ответ на этот вопрос: как бы беден ни был человек, он все-таки *чем-нибудь* владеет и дорожит этой малостью так же, как владелец капитала — своим богатством. И точно так же, как крупных собственников, бедняков обуревают стремление сохранить то немногое, что у них есть, и приумножить пусть даже на ничтожно малую величину (к примеру, сэкономив на чем-либо жалкие гроши). Кроме того, наивысшее наслаждение состоит, возможно, не столько в обладании материальными вещами, сколько в обладании живыми существами. В патриархальном обществе даже самые обездоленные представители мужского населения из беднейших классов могут быть собственниками: по отношению к жене, детям, домашним животным или скоту они могут чувствовать себя полновластными хозяевами. Для мужчины в патриархальном обществе большое число детей есть единственный путь к владению людьми без необходимости зарабатывать право на эту собственность, к тому же не требующий больших капиталовложений. Учитывая,

что все бремя рождения ребенка ложится на женщину, вряд ли можно отрицать, что произведение на свет детей в патриархальном обществе является результатом грубой эксплуатации женщин. Однако у матерей в свою очередь есть свой вид собственности — малолетние дети. Итак, круг бесконечен и порочен: муж эксплуатирует жену, жена — маленьких детей, а мальчики, став юношами, вскоре присоединяются к старшим и тоже начинают эксплуатировать женщин, и так далее.

Гегемония мужчин в патриархальном обществе сохранялась примерно 6 или 7 тысячелетий и по сей день преобладает в слаборазвитых странах и среди беднейших классов. Эта гегемония тем не менее постепенно теряет силу в более развитых обществах — эмансипация женщин, детей и подростков увеличивается вместе с повышением уровня жизни общества. В чем же будут находить удовлетворение своей страсти к приобретению, сохранению и приумножению собственности простые люди в хорошо развитом индустриальном обществе по мере постепенного исчезновения устаревшего патриархального типа собственности на людей? Ответ на этот вопрос лежит в расширении рамок собственности, которая может включать в себя и друзей, возлюбленных, здоровье, путешествия, произведения искусства, бога, собственное “я”. Блестящая картина буржуазной одержимости собственностью дана Максом Штирнером. Люди превращаются в вещи; их отношения друг с другом принимают характер владения собственностью. “Индивидуализм”, который в позитивном смысле означает освобождение от социальных пут, в негативном есть “право собственности на самого себя”, то есть право — и обязанность — посвятить всю свою энергию достижению собственных успехов. Наше “я” является наиболее важным объектом, на который направлено наше чувство собственности, поскольку оно включает в себя многое: наше тело, имя, социальный статус, все, чем мы обладаем (включая наши знания), наше представление о самих себе и тот образ, который мы хотим создать о себе у других людей. Наше “я” — это смесь реальных качеств, таких, как знания и профессиональные навыки, и качеств фик-

тивных, которыми обросло наше реальное “я”. Однако суть не в том, каково содержание нашего “я”, а скорее в том, что оно воспринимается как некая вещь, которой обладает каждый из нас, и что именно эта “вещь” лежит в основе нашего самосознания.

При обсуждении проблемы собственности необходимо иметь в виду, что основной тип отношения к собственности, распространенный в XIX веке, начал после первой мировой войны постепенно исчезать и в наши дни стал редкостью. В прежние времена человек относился ко всему, чем он владел, бережно и заботливо, и пользовался своей собственностью до тех пор, пока она могла ему служить. Делая покупку, он хотел надолго сохранить ее, и лозунгом XIX века вполне могло бы быть: “Все старое прекрасно!” В наше время акцент перенесен на сам процесс потребления, а не на сохранение приобретенного и сегодня человек покупает, чтобы в скором времени выбросить покупку. Будь то автомобиль, одежда или какая-нибудь безделушка — попользовавшись своей покупкой в течение некоторого времени, человек устает от нее и стремится избавиться от “старой” вещи и купить последнюю модель. Приобретение — временное обладание и пользование — выбрасывание (или, если возможно, выгодный обмен на лучшую модель) — новое приобретение — таков порочный круг потребительского приобретения. Лозунгом сегодняшнего дня поистине могли бы стать слова: “Все новое прекрасно!”

Наиболее впечатляющим примером феномена современного потребительского приобретения является, вероятно, личный автомобиль. Наше время вполне заслуживает названия “века автомобиля”, поскольку вся наша экономика строится вокруг производства автомобилей и вся наша жизнь в очень большой степени определяется ростом и снижением потребительского спроса на автомобили. Владельцам автомобилей они представляются жизненной необходимостью. Для тех же, кто еще не приобрел автомобиль, особенно для людей, живущих в так называемых социалистических странах, автомобиль — символ счастья.

Очевидно, однако, что любовь к собственной машине не столь глубока и постоянна, а скорее напоминает мимолетное ув-

лечение, так как владельцы автомобилей склонны их часто менять; двух лет, а иногда и одного года достаточно, чтобы владелец автомобиля устал от “старой машины” и стал предпринимать энергичные попытки заключить “выгодную сделку” с целью заполучить новый автомобиль. Вся процедура от приценивания до собственно покупки кажется игрой, главным элементом которой может иной раз стать даже надувательство, а сама “выгодная сделка” доставляет такое же, если не большее, удовольствие, как и получаемая в конце награда: самая последняя модель в гараже.

Чтобы разрешить загадку этого на первый взгляд вопиющего противоречия между отношением владельцев собственности к своим автомобилям и их быстро угасающим интересом к ним, следует принять во внимание несколько факторов. Во-первых, в отношении владельца к автомобилю присутствует элемент деперсонализации; автомобиль является не каким-то конкретным предметом, дорогим сердцу его обладателя, а неким символом статуса владельца, расширяющим границы его власти: автомобиль творит “я” своего обладателя, ибо, приобретая автомобиль, владелец фактически приобретает некую новую частицу своего “я”. Второй фактор заключается в том, что, приобретая новую машину каждые два года вместо, скажем, одного раза в шесть лет, владелец испытывает больший трепет и волнение при покупке; сам акт приобретения новой машины подобен дефлорации — он усиливает ощущение собственной силы и чем чаще повторяется, тем больше возбуждает и захватывает. Третий фактор состоит в том, что частая смена автомобиля увеличивает возможности заключения “выгодных сделок” — извлечения прибыли путем обмена. Склонность к этому весьма характерна сегодня как для мужчин, так и для женщин. Четвертый фактор, имеющий большое значение, — это потребность в *новых* стимулах, поскольку старые очень скоро исчерпывают себя и теряют привлекательность. Рассматривая проблему стимулов в своей книге “Анатомия человеческой деструктивности”, я проводил различие между стимулами, “повышающими активность”, и стимулами, “усиливающими пассивность”, и предложил следующую формулировку: “Чем больше стимул

способствует пассивности, тем чаще должна изменяться его интенсивность и (или) его вид; чем больше он способствует активности, тем дольше сохраняется его стимулирующее свойство и тем меньше необходимость в изменении его интенсивности и содержания”. Пятым и самым важным фактором является изменение социального характера, которое произошло за последнее столетие,— замена “накопительского” характера “рыночным” характером. Хотя это изменение и не свело на нет ориентацию на обладание, оно привело к серьезнейшей ее модификации. <...>

Собственнические чувства проявляются и в других отношениях — к примеру, в отношении к врачам, дантистам, юристам, начальникам и подчиненным. Эти чувства выражаются, когда говорят: “мой врач”, “мой дантист”, “мои рабочие” и т.д. Но помимо собственнической установки в отношении к другим человеческим существам, люди рассматривают в качестве собственности бесконечное число различных предметов и даже чувств. Рассмотрим, например, такие две вещи, как здоровье и болезни. Говоря с кем-либо о своем здоровье, люди рассуждают о нем, как собственники, упоминая о *своих* болезнях, *своих* операциях, *своих* курсах лечения — *своих* диетах и *своих* лекарствах. Они явно считают здоровье и болезнь собственностью человека; их собственническое отношение к своему скверному здоровью можно сравнить, пожалуй, с отношением акционера к своим акциям, когда последние теряют часть своей первоначальной стоимости из-за катастрофического падения курса на бирже.

Идеи, убеждения и даже привычки также могут стать собственностью. Так, человек, имеющий привычку каждое утро в одно и то же время съедать один и тот же завтрак, вполне может быть выбит из колеи даже незначительным отклонением от привычного ритуала, поскольку эта привычка стала его собственностью и потеря ее угрожает его безопасности.

Такая картина универсальности принципа обладания может показаться многим читателям слишком негативной и одно-сторонней, но в действительности дело обстоит именно так. Я хотел показать преобладающую в обществе установку прежде всего для того, чтобы нарисовать как мож-

но более четкую и ясную картину того, что происходит. Однако есть один элемент, который может придать этой картине некоторое равновесие, и этим элементом является все шире распространяющаяся среди молодого поколения установка, в корне отличная от взглядов большинства. У молодых людей мы находим такие типы потребления, которые представляют собой не скрытые формы приобретения и обладания, а проявление неподдельной радости от того, что человек поступает так, как ему хочется, не ожидая получить взамен что-либо “прочное и основательное”. Эти молодые люди совершают дальние путешествия, зачастую испытывая при этом трудности и невзгоды, чтобы послушать музыку, которая им нравится, или своими глазами увидеть те места, где им хочется побывать, или встретиться с теми, кого им хочется повидать. Нас в данном случае не интересует, являются ли цели, которые они преследуют, столь значительными, как это им представляется. Даже если им недостает серьезности, целеустремленности и подготовки, эти молодые люди осмеливаются *быть*, и при этом их не интересует, что они могут получить взамен или сохранить у себя. Они кажутся гораздо более искренними, чем старшее поколение, хотя часто им присуща некоторая наивность в вопросах философии и политики. Они не заняты постоянным наведением глянца на свое “я”, чтобы стать “предметом повышенного спроса”. Они не прячут свое лицо под маской постоянной лжи, вольной или невольной; они в отличие от большинства не тратят свою энергию на подавление истины. Нередко они поражают старших своей честностью, ибо старшие втайне восхищаются теми, кто осмеливается смотреть правде в глаза и не лгать. Эти молодые люди образуют всевозможные группировки политического и религиозного характера, но, как правило, большинство их не имеют никакой определенной идеологии или доктрины и могут утверждать лишь, что они просто “ищут себя”. И хотя им и не удастся найти ни себя, ни цели, которая определяет направление жизни и придает ей смысл, тем не менее они заняты поисками способа быть самими собой, а не обладать и потреблять.

Однако этот позитивный элемент картины нуждается в некотором уточнении.

Многие из тех же молодых людей (а их число с конца шестидесятых годов продолжает явно уменьшаться) так и не поднялись со ступени свободы *от* на ступень свободы *для*; они просто протестовали, не пытаясь даже найти ту цель, к которой нужно двигаться, и желая только освободиться от всякого рода ограничений и зависимостей. Как и у их родителей — буржуа, их лозунгом было “Все новое прекрасно!”, и у них развилось почти болезненное отвращение ко всем без разбора традициям, в том числе и к идеям величайших умов человечества. Впав в своего рода наивный нарциссизм, они возомнили, что им по силам самим открыть все то, что имеет какую-либо ценность. Их идеалом, в сущности, было снова стать детьми, и такие авторы, как Маркузе, подбросили им весьма подходящую идеологию, согласно которой возвращение в детство — а не переход к зрелости — и есть конечная цель социализма и революции. Их счастье длилось, пока они были достаточно молоды, чтобы пребывать в этом состоянии эйфории; однако для многих этот период закончился жестоким разочарованием, не принеся им никаких твердых убеждений и не сформировав у них никакого внутреннего стержня. В итоге их уделом нередко становится разочарование и апатия или же незавидная судьба фанатиков, обуреваемых жадной разрушения.

Однако не все, кто начинали с великими надеждами, пришли к разочарованию. К сожалению, число таких людей невозможно определить. Насколько мне известно, не существует сколько-нибудь достоверных статистических данных или обоснованных оценок, но даже если бы они были, дать точную характеристику этих индивидов все равно едва ли было бы возможно. Сегодня миллионы людей в Америке и Европе пытаются обратить свой взор к традициям прошлого и найти учителей, которые наставили бы их на правильный путь. Однако в большинстве случаев доктрины этих учителей либо являются чистым надувательством, либо искажаются атмосферой общественной шумихи, либо смешиваются с деловыми и престижными интересами самих “наставников”. Некоторые люди могут все-таки извлечь какую-то пользу из предлагаемых

ими методов, несмотря даже на обман, другие же прибегают к ним без серьезного намерения изменить свой внутренний мир. Но лишь путем тщательного количественного и качественного анализа неопитов можно установить их число в каждой из этих групп.

По моей оценке, число молодых людей (и людей более старшего возраста), действительно стремящихся к изменению своего образа жизни и замене установки на обладание установкой на бытие, отнюдь не сводится к немногим отдельным индивидам. Я полагаю, что множество индивидов и групп стремятся к тому, чтобы быть, выражая тем самым новую тенденцию к преодолению свойственной большинству ориентации на обладание, и именно они являются собой пример исторического значения. Уже не впервые в истории меньшинство указывает путь, по которому пойдет дальнейшее развитие человечества. Тот факт, что такое меньшинство существует, вселяет надежду на общее изменение установки на обладание в пользу бытия. Эта надежда становится все более реальной, поскольку факторами, обусловившими возможность возникновения этих новых установок, являются те исторические перемены, которые едва ли могут быть обратимы: крах патриархального господства над женщиной и родительской власти над детьми. Хотя потерпела неудачу политическая революция XX века — русская революция (еще рано подводить окончательные итоги китайской революции), единственными победоносными революциями нашего века, пусть не вышедшими еще из начальной стадии, стали революции женщин и детей, а также сексуальная революция. Их принципы уже проникли в сознание огромного множества людей, и в их свете старая идеология с каждым днем представляется все более нелепой.

Природа обладания

Природа обладания вытекает из природы частной собственности. При таком способе существования самое важное — это приобретение собственности и мое неограниченное право сохранять все, что я приобрел. Модус обладания исключает все другие; он не требует от меня каких-либо дальнейших усилий с целью сохранять

свою собственность или продуктивно пользоваться ею. В буддизме этот способ поведения описан как “ненасытность”, а иудаизм и христианство называют его “алчностью”; он превращает всех и вся в нечто безжизненное, подчиняющееся чужой власти.

Утверждение “Я обладаю чем-то” означает связь между субъектом “Я” (или “он”, “мы”, “вы”, “они”) и объектом “О”. Оно подразумевает, что субъект постоянен, так же как и объект. Однако присуще ли это постоянство субъекту? Или объекту? Ведь я когда-то умру; я могу утратить свое положение в обществе, которое гарантирует мне обладание чем-то. Столь же непостоянным является и объект: он может сломаться, потеряться или утратить свою ценность. Разговоры о неизменном обладании чем-либо связаны с иллюзией постоянства и неразрушимости материи. И хотя мне кажется, что я обладаю всем, на самом деле я не обладаю ничем, так как мое обладание, владение объектом и власть над ним — всего лишь преходящий миг в процессе жизни.

В конечном счете утверждения “Я [субъект] обладаю О [объектом]” — это определение “Я” через мое обладание “О”. Субъект — это не “я как таковой”, а “я как то, чем я обладаю”. Моя собственность создает меня и мою индивидуальность. У утверждения “Я есть Я” есть подтекст “Я есть Я, поскольку Я обладаю X”, где X обозначает все естественные объекты и живые существа, с которыми я соотношу себя через мое право ими управлять и делать их своей постоянной принадлежностью.

При ориентации на обладание нет живой связи между мной и тем, чем я владею. И объект моего обладания, и я превратились в вещи, и я обладаю *объектом*, поскольку у меня есть сила, чтобы сделать его моим. Но здесь имеет место и обратная связь: *объект обладает мной*, потому что мое чувство идентичности, то есть психическое здоровье, основывается на моем обладании *объектом* (и как можно большим числом вещей). Такой способ существования устанавливается не посредством живого, продуктивного процесса между субъектом и объектом; он превращает в *вещи* и субъект, и объект. Связь между ними смертоносна, а не животворна.

Обладание — Сила — Бунт

Стремление расти в соответствии со своей собственной природой присуще всем живым существам. Поэтому мы и сопротивляемся любой попытке помешать нам развиваться так, как того требует наше внутреннее строение. Для того чтобы сломить это сопротивление — осознаем мы его или нет — необходимо физическое или умственное усилие. Неодушевленные предметы способны в разной степени оказывать сопротивление воздействию на их физическое строение благодаря связующей энергии атомной и молекулярной структур, но они не могут воспротивиться тому, чтобы их использовали. Применение гетерономной силы (то есть силы, воздействующей в направлении, противоположном нашей структуре и пагубной для нормального развития) по отношению к живым существам вызывает у них сопротивление, которое может принимать любые формы — от открытого, действительного, прямого, активного до непрямого, бесполезного и очень часто бессознательного сопротивления.

Свободное, спонтанное выражение желаний младенца, ребенка, подростка и, наконец, взрослого человека, их жажда знаний и истины, их потребность в любви — все это подвергается различным ограничениям.

Взрослеющий человек вынужден отказаться от большинства своих подлинных сокровенных желаний и интересов, от своей воли, и принять волю и желания, и даже чувства, которые не присущи ему самому, а навязаны принятыми в обществе стандартами мыслей и чувств. Обществу и семье как его психосоциальному посреднику приходится решать трудную задачу: *как сломить волю человека, оставив его при этом в неведении?* В результате сложного процесса внушения определенных идей и доктрин, с помощью всякого рода вознаграждений и наказаний и соответствующей идеологии общество решает эту задачу в целом столь успешно, что большинство людей верит в то, что они действуют по своей воле, не сознавая того, что сама эта воля им навязана и что общество умело ею манипулирует.

Наибольшую трудность в подавлении воли представляет сексуальная сфера, поскольку здесь мы имеем дело с сильными влечениями естественного порядка, манипулировать которыми не так легко, как многими другими человеческими желани-ями. По этой причине общество более упорно борется с сексуальными влечениями, чем с любыми другими человеческими желаниями. Нет нужды перечислять различные формы осуждения секса, будь то по соображениям морали (его греховность) или здоровья (мастурбация наносит вред здоровью). Церковь запрещает регулирование рождаемости, но вовсе не потому, что она считает жизнь священной (ведь в таком случае эти соображения привели бы к осуждению смертной казни и войн), а лишь с целью осуждения секса, если он не служит продолжению рода.

Столь ревностное подавление секса трудно было бы понять, если бы оно касалось лишь секса как такового. Однако не секс, а подавление воли человека является причиной подобного осуждения. Во многих так называемых примитивных обществах не существует вообще никаких табу на секс. Поскольку в этих обществах нет эксплуатации и отношений господства, им нет нужды подавлять волю индивида. Они могут позволить себе не осуждать секс и получать наслаждение от сексуальных отношений, не испытывая при этом чувства вины. Самое поразительное, что подобная сексуальная свобода не приводит в этих обществах к сексуальным излишествам, что после периода относительно кратковременных половых связей люди находят друг друга, и после этого у них не возникает желания менять партнеров, хотя они могут расстаться друг с другом, если любовь прошла. Для этих групп, свободных от собственнической ориентации, сексуальное наслаждение является одной из форм выражения бытия, а не результатом сексуального обладания. Это не значит, что следовало бы вернуться к образу жизни этих примитивных обществ — да мы и не могли бы при всем желании этого сделать по той простой причине, что порожденный цивилизацией процесс индивидуализации и индивидуальной дифференциации сделал любовь иной, чем она была в примитивном обществе. Мы не можем вернуться

назад; мы можем двигаться лишь вперед. Важно то, что новые формы свободы от собственности полагат конец сексуальным излишествам, характерным для всех обществ, ориентированных на обладание.

Сексуальное влечение — это одно из выражений независимости, проявляемое уже в очень раннем возрасте (мастурбация). Всеобщее осуждение помогает сломить волю ребенка и заставить его испытывать чувство вины, сделав его, таким образом, более покорным. В большинстве случаев стремление нарушить сексуальные запреты по сути своей есть не что иное, как попытка мятежа с целью вернуть себе прежнюю свободу. Но простое нарушение сексуальных запретов не делает человека свободным; мятеж, так сказать, растворяется, гасится в сексуальном удовлетворении... и возникающем затем чувстве вины. Лишь достижение внутренней независимости помогает обрести свободу и сводит на нет необходимость бесплодного бунта. Это справедливо и для любых других видов поведения человека, когда он стремится к чему-либо запретному, пытаясь вернуть себе таким образом свободу. *Фактически всякого рода табу порождают сексуальную озабоченность и извращения, а сексуальная озабоченность и извращения не создают свободы.*

Бунт ребенка находит множество других форм выражения: ребенок не желает приучаться к чистоте; отказывается есть или, наоборот, проявляет неумеренность в еде; он может быть агрессивным и проявлять садистские наклонности, а кроме того, прибегать к самым различным способам причинить себе вред. Зачастую этот бунт обретает форму своего рода “итальянской забастовки” — ребенок теряет ко всему интерес, становится ленивым и пассивным — вплоть до предельно патологических форм медленного самоуничтожения. Результаты этой ожесточенной борьбы между детьми и родителями являются темой исследования Дэвида Шектера “Развитие ребенка”. Все данные свидетельствуют о том, что в *гетерономном вмешательстве в процесс развития ребенка, а позднее и взрослого человека, скрыты наиболее глубокие корни психической патологии и особенно деструктивности.*

Следует, однако, ясно понять, что свобода — это отнюдь не вседозволенность и

своеволие. Человеческие существа — как и особи любого другого вида — обладают специфической структурой и могут развиваться лишь в соответствии с этой структурой. Свобода не означает свободу от всех руководящих принципов. Она означает свободу *расти* и *развиваться* в соответствии с законами человеческого существования (автономными ограничениями). А это означает подчинение законам оптимального развития человека. Любая власть, которая способствует осуществлению этой цели, является “рациональной”, если это достигается мобилизацией активности ребенка, его критического мышления и веры в жизнь. Власть же, которая навязывает ребенку чуждые ему нормы, служащие самой этой власти, а не соответствующие специфической природе ребенка, является “иррациональной”.

Принцип обладания, то есть установка на собственность и прибыль, неизбежно порождает стремление к власти — фактически потребность в ней. Чтобы управлять людьми, мы нуждаемся во власти для преодоления их сопротивления. Чтобы установить контроль над частной собственностью, нам необходима власть, ведь нужно защищать эту собственность от тех, кто стремится отнять ее у нас, ибо они, как и мы сами, никогда не могут довольствоваться тем, что имеют; стремление обладать частной собственностью порождает стремление применять насилие для того, чтобы тайно или явно грабить других. При установке на обладание счастьем заключается в превосходстве над другими, во власти над ними и, в конечном счете, в способности захватывать, грабить, убивать. При установке на бытие счастье состоит в любви, заботе о других, самопожертвовании.

Другие факторы, на которые опирается ориентация на обладание

Важным фактором усиления ориентации на обладание является *язык*. Имя человека — а у каждого из нас есть имя (причем когда-нибудь его может заменить номер, если и в дальнейшем сохранится присущая нашему времени тенденция к деперсонализации) — создает иллюзию, будто он или она — бессмертное существо. Человек и его имя становятся равноцен-

ны; имя показывает, что человек — это устойчивая неразрушимая субстанция, а не процесс. Такую же функцию выполняют и некоторые существительные: например, любовь, гордость, ненависть, радость, — они создают видимость постоянных, неизменных субстанций, однако за ними не стоит никакая реальность; они только мешают понять то, что мы имеем дело с процессами, происходящими в человеческом существе. Но даже те существительные, которые являются наименованиями *вещей*, такие, как “стол” или “лампа”, тоже вводят нас в заблуждение. Слова означают, что мы ведем речь о постоянных субстанциях, хотя предметы — это не что иное, как некий энергетический процесс, вызывающий определенные ощущения в нашем организме. Однако эти ощущения не представляют собой *восприятия* конкретных вещей, таких, например, как стол или лампа; эти восприятия есть результат культурного процесса обучения — процесса, под влиянием которого определенные ощущения принимают форму специфических перцептов. Мы наивно считаем, что столы или лампы существуют как таковые, и не можем понять, что это общество учит нас превращать наши ощущения в восприятия, которые позволяют нам управлять окружающим нас миром, чтобы мы могли выжить в условиях данной культуры. Как только такие перцепты получают название, создается впечатление, будто это название гарантирует их окончательную и неизменную реальность.

Потребность в обладании имеет еще одно основание, а именно *биологически заложенное в нас желание жить*. Независимо от того, счастливы мы или несчастны, наше тело побуждает нас стремиться к бессмертию. Но поскольку нам известно из опыта, что мы не можем жить вечно, мы пытаемся найти такие доводы, которые заставили бы нас поверить, что, несмотря на противоречащие этому эмпирические данные, мы все-таки бессмертны. Жажда бессмертия принимала самые различные формы: вера фараонов в то, что их захороненные в пирамидах тела ожидают бессмертия; многочисленные религиозные фантазии охотничьих племен о загробной жизни в изобилующем дичью крае; христианский и исламский рай. В современном обществе, начиная с XVIII века, такие понятия, как

“история” и “будущее”, заменили традиционно бытовавшее христианское представление о царстве небесном: сейчас известность, слава, — пусть даже и дурная — все то, что гарантирует хотя бы коротенькую запись в анналах истории, — в какой-то мере является частицей бессмертия. Страстное стремление к славе — это не просто выражение мирской суеты; оно имеет религиозное значение для тех, кто больше уже не верит в традиционный потусторонний мир. (Это особенно заметно в среде политических лидеров.) Паблисити прокладывает путь к бессмертию, а представители средств массовой информации превращаются как бы в священников нового типа.

Однако владение собственностью, возможно, больше, чем что-либо иное, представляет собой реализацию страстного стремления к бессмертию и именно по этой причине столь сильна ориентация на обладание. Если мое “я” — это то, что я *имею*, то в таком случае я бессмертен, так как вещи, которыми я обладаю, неразрушимы. Со времен Древнего Египта и до сегодняшнего дня — от физического бессмертия через мумификацию тела и до юридического бессмертия через изъявление последней воли — люди продолжали жить за пределами своего психофизического существования. Посредством законной силы завещания определяется передача нашей собственности грядущим поколениям; благодаря закону о праве наследования я — в силу того что являюсь владельцем капитала — становлюсь бессмертным.

Принцип обладания и анальный характер

Понять суть принципа обладания нам поможет обращение к одному из наиболее важных открытий Фрейда, считавшего, что все дети в своем развитии после этапа чисто пассивной рецептивности и этапа агрессивной эксплуатирующей рецептивности, прежде чем достичь зрелости, проходят этап, названный Фрейдом *анально-эротическим*. Фрейд обнаружил, что этот этап часто продолжает доминировать в процессе развития личности и в таких случаях ведет к развитию *анального характера*, то есть такого характера, при котором жизненная энергия человека направлена в основном на то, чтобы иметь,

беречь и копить деньги и вещи, а также чувства, жесты, слова, энергию. Это характер скупца, и скаредность обычно сочетается в нем с такими чертами, как любовь к порядку, пунктуальность, упорство и упрямство — причем каждая из них выражена сильнее обычного. Важным аспектом концепции Фрейда является указание на существование символической связи между деньгами и фекалиями — золотом и грязью, связи, примеры которой он приводит. Его концепция анального характера как характера, застывшего в своем развитии и не достигшего полной зрелости, фактически представляет собой острую критику буржуазного общества XIX века, в котором качества, присущие анальному характеру, были возведены в норму морального поведения и рассматривались как выражение “человеческой природы”. Фрейдовское уравнивание денег с фекалиями выражает скрытую, хотя и неумышленную, критику буржуазного общества и его собственнической природы, критику, которую можно сравнить с анализом роли и функции денег в “Экономическо-философских рукописях” Маркса.

В данном контексте не имеет столь большого значения то, что Фрейд считал первичной особую стадию развития либидо, а вторичной — формирование характера (хотя, по моему мнению, характер — это продукт межличностного общения в раннем детстве, и прежде всего продукт социальных условий, способствующих его формированию). Важно то, что Фрейд считал, что *превалирующая ориентация на собственность возникает в период, предшествующий достижению полной зрелости, и является патологической в том случае, если она остается постоянной*. Иными словами, для Фрейда личность, ориентированная в своих интересах исключительно на обладание и владение, — это невротическая, большая личность; следовательно, из этого можно сделать вывод, что общество, в котором большинство его членов обладают анальным характером, является больным обществом.

Аскетизм и равенство

В центре многих дискуссий на моральные и политические темы стоит вопрос: “иметь или не иметь?” На морально-ре-

лигиозном уровне этот вопрос означает альтернативу “аскетический или неаскетический образ жизни”, причем последний включает и продуктивное наслаждение, и неограниченное удовольствие. Эта альтернатива почти теряет свой смысл, если акцент делается не на единичном акте поведения, а на лежащей в его основе установке. Аскетическое поведение, при котором человек постоянно поглощен заботой о том, чтобы не наслаждаться, может быть всего лишь отрицанием сильных желаний обладания и потребления. У аскета эти желания могут быть подавлены, однако в самой попытке подавить стремление к обладанию и потреблению личность может быть в равной степени озабочена желанием обладать и потреблять. Такой отказ посредством сверхкомпенсации, как свидетельствуют данные психоанализа, встречается очень часто. Он наблюдается и тогда, когда фанатичные вегетарианцы подавляют свои деструктивные влечения, и когда фанатичные противники аборта подавляют свои агрессивные импульсы или фанатичные поборники “добродетели” подавляют свои “греховные” побуждения. Во всех этих случаях имеет значение не определенное убеждение как таковое, а фанатизм, который его поддерживает. И как всегда, когда мы сталкиваемся с фанатизмом, возникает подозрение, что он служит лишь ширмой, за которой скрываются другие, как правило, противоположные влечения.

В экономической и политической сфере столь же ложной является альтернатива “неограниченное неравенство или абсолютное равенство доходов”. Если собственность каждого является функциональной и личной, то тот факт, что один имеет больше, чем другой, не представляет собой социальной проблемы: поскольку собственность не имеет существенного значения, между людьми не возникает зависти. Вместе с тем, те, кто печется о равенстве, о том, чтобы доля каждого была в точности равна доле любого другого человека, тем самым показывают, что их собственная ориентация на обладание остается столь же сильной, хотя они и пытаются отрицать ее посредством своей приверженности идее полного равенства. За этой приверженностью просматривается истинная мотивация их поведения: зависть. Те, кто требует, чтобы никто не имел

больше, чем другие, защищают таким образом самих себя от зависти, которую они стали бы испытывать, если бы кто-нибудь другой имел что-нибудь хоть на унцию больше, чем они сами. Важно то, чтобы были искоренены и роскошь, и нищета, равенство не должно сводиться к количественному уравниванию в распределении всех материальных благ; равенство означает, что разница доходов не должна превышать такого уровня, который обуславливает различный образ жизни для разных социальных групп. В “Экономическо-философских рукописях” Маркс подчеркивал это, говоря о “грубом коммунизме”, “отрицающем повсюду *личность* человека”; этот тип коммунизма “есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из *представления* о некоем минимуме” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 114—115).

Экзистенциальное обладание

Чтобы полнее охарактеризовать принцип обладания, который мы здесь рассматриваем, необходимо сделать еще одно уточнение и показать функцию *экзистенциального обладания*; само человеческое существование в целях выживания требует, чтобы мы имели и сохраняли определенные вещи, заботились о них и пользовались ими. Это относится к нашему телу, пище, жилищу, одежде, а также к орудиям производства, необходимым для удовлетворения наших потребностей. Такую форму обладания можно назвать *экзистенциальным обладанием*, потому что оно коренится в самих условиях человеческого существования. Оно представляет собой рационально обусловленное стремление к самосохранению — в отличие от *характерологического обладания*, страстного желания удержать и сохранить, о котором шла речь до сих пор и которое не является врожденным, а возникло в результате воздействия социальных условий на биологически данный человеческий вид.

Экзистенциальное обладание не вступает в конфликт с бытием; характерологическое же обладание необходимо вступает в такой конфликт. Даже те, кого называют “справедливыми” и “праведными”, должны желать обладать в экзистенциальном смысле, поскольку они люди,

тогда как средний человек хочет обладать и в экзистенциальном и характерологическом смысле (см. обсуждение экзистенциальной и характерологической дихотомий в моей книге “Человек как он есть”).

Что такое модус бытия?

Большинство из нас знают больше о модусе обладания, чем о модусе бытия, так как в нашей культуре модус обладания встречается гораздо чаще. Однако нечто более важное затрудняет определение модуса бытия по сравнению с модусом обладания, а именно сама природа различия между этими двумя способами существования.

Обладание относится к *вещам*, а вещи стабильны и *поддаются описанию*. Бытие же относится к *опыту*, а человеческий опыт в принципе невозможно описать. Полностью поддается описанию лишь наша persona — маска, которую носит каждый из нас, “я”, которое мы представляем, — ибо эта persona есть вещь. Напротив, живое человеческое существо — не некий мертвый, застывший образ и потому не может быть описано как вещь. Фактически живое человеческое существо вообще невозможно описать. В самом деле, можно многое сказать обо мне, моем характере, моей общей жизненной ориентации. Подобное пронизательное знание может достичь большой глубины в понимании и описании моей психической структуры. Но весь я, вся моя индивидуальность, мое своеобразие, которое столь же уникально, как и отпечатки моих пальцев, никогда не могут быть полностью постигнуты даже с помощью эмпатии, ибо двух идентичных людей не существует¹. Лишь в процессе живой взаимосвязи мы — я и другой человек — можем преодолеть барьер разобщенности, так как мы оба участвуем в круговороте жизни. Тем не менее никогда невозможно достичь полного отождествления друг с другом. Даже единичный поведенческий акт не может быть описан исчерпывающим образом. Можно исписать целые страницы, пытаясь описать улыбку Моны Лизы, а улыбка, запечатленная на картине, так и останется неуловимой, но не потому, что

она так “загадочна”. Загадочна улыбка каждого человека (если только это не заученная, искусственная улыбка на рекламном плакате). Никто не может точно описать выражение интереса, энтузиазма, любви к жизни, ненависти или нарциссизма, которое можно увидеть в глазах другого человека, как и все многообразие выражений лица, походок, поз и интонаций, характеризующих людей.

Быть активным

Модус бытия имеет в качестве своих предпосылок независимость, свободу и наличие критического разума. Его основная характерная черта — это активность не в смысле внешней активности, занятости, а в смысле внутренней активности, продуктивного использования своих человеческих потенциалов. Быть активным — значит дать проявиться своим способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований, которыми — хотя и в разной степени — наделен каждый человек. Это значит обновляться, расти, изливаться, любить, вырваться из стен своего изолированного “я”, испытывать глубокий интерес, страстно стремиться к чему-либо, отдавать. Однако ни одно из этих переживаний не может быть полностью выражено с помощью слов. Слова — это сосуды, наполненные переполняющимися их переживаниями. Слова лишь указывают на некое переживание, но сами не являются этим переживанием. В тот момент, когда с помощью мыслей и слов я выражаю то, что я испытываю, само переживание уже исчезает: оно иссушается, омертвляется — от него остается одна лишь мысль. Следовательно, бытие невозможно описать словами, и приобщиться к нему можно, только разделив мой опыт. В структуре обладания правят мертвые слова, в структуре бытия — живой невыразимый опыт (а также, разумеется, мышление, живое и продуктивное).

Лучше всего, вероятно, модус бытия может быть описан символически, как это предложил мне Макс Хунзигер: синий стакан кажется синим, когда через него проходит свет, потому что он поглощает все другие цвета и, таким образом, не пропускает

¹ Эта ограниченность присуща даже самой лучшей психологии; я подробно рассмотрел этот вопрос, сравнив “негативную психологию” и “негативную теологию” в статье “Об ограничениях и опасностях психологии” (1959).

кает их. Значит, мы называем стакан “синим” именно потому, что он не задерживает синие волны, то есть не по признаку того, что он сохраняет, а по признаку того, что он сквозь себя пропускает.

Лишь по мере того, как мы начинаем отказываться от обладания, то есть небытия, а значит, перестаем связывать свою безопасность и чувство идентичности с тем, что мы имеем, и держаться за свое “я” и свою собственность, может возникнуть новый способ существования — бытие. “Быть” — значит отказаться от своего эгоцентризма и себялюбия, или, пользуясь выражением мистиков, стать “незаполненным” и “нищим”.

Однако большинство людей считает, что отказаться от своей ориентации на обладание слишком трудно; любая попытка сделать это вызывает у них сильное беспокойство, будто они лишились всего, что давало им ощущение безопасности, будто их, не умеющих плавать, бросили в пучину волн. Им невдомек, что, отбросив костыль, которым служит для них их собственность, они начнут полагаться на свои собственные силы и ходить на собственных ногах. То, что их удерживает, — это иллюзия, будто они не могут ходить самостоятельно, будто они рухнут, если не будут опираться на вещи, которыми они обладают.

Активность и пассивность

Бытие в том смысле, в каком мы его описали, подразумевает способность быть активным; пассивность исключает бытие. Однако слова “активный” и “пассивный” принадлежат к числу слов, которые чаще всего неправильно понимаются, так как их современное значение полностью отличается от того, какое эти слова имели со времен классической древности и средневековья до периода, начавшегося с эпохи Возрождения. Для того чтобы понять, что означает понятие “бытие”, нужно прояснить смысл таких понятий, как “активность” и “пассивность”.

В современном языке активность обычно определяется как такое качество поведения, которое дает некий видимый результат благодаря расходованию энергии. Так, например, активными можно назвать фермеров, возделывающих свои земли; рабочих, стоящих у конвейера; торговцев, уго-

варивающих покупателей купить ту или иную вещь; людей, помещающих свои или чужие деньги в какое-то предприятие; врачей, лечащих своих пациентов; клерков, продающих почтовые марки; чиновников, подшивающих бумаги. И хотя эти виды деятельности могут требовать разной степени заинтересованности и усилий, с точки зрения “активности” это не имеет значения. Таким образом, активность — это *социально признанное целенаправленное поведение, результатом которого являются соответствующие социально полезные изменения.*

Активность — в современном смысле слова — относится только к *поведению*, а не к личности, стоящей за этим поведением. Неважно, активны ли люди потому, что их побуждает к этому какая-то внешняя сила, как, например, рабы, или же они действуют по внутреннему побуждению, как, например, человек, охваченный тревогой. Неважно и то, интересна ли этим людям их работа — как может быть интересна она для плотника или писателя, ученого или садовника — или же им совершенно безразлично, что они делают, и они не испытывают никакого удовлетворения от своего труда, как рабочие на конвейере или почтовые служащие.

В современном понимании активности не делается различия между *активностью* и простой *занятостью*. Однако между этими двумя понятиями существует фундаментальное различие, соответствующее терминам “отчужденный” и “неотчужденный” применительно к различным видам активности. В случае отчужденной активности я не ощущаю себя как деятельного субъекта своей активности; скорее я воспринимаю *результат* своей активности как нечто такое, что находится “вне меня”, выше меня, отделено от меня и противостоит мне. При отчужденной активности *я*, в сущности, не действую, *действие совершается надо мной* внешними или внутренними силами. Я отделился от результата своей деятельности. Наилучшим примером отчужденной активности в области психопатологии является активность людей, страдающих навязчивыми состояниями. Движимые внутренним побуждением совершать какие-то действия помимо их собственной воли, например, считать шаги, повторять определенные

фразы, совершать определенные ритуалы, они могут быть чрезвычайно активными в преследовании этой цели; как убедительно показали психоаналитические исследования, этими людьми движет некая неосознаваемая ими внутренняя сила. Столь же ярким примером отчужденной активности может служить постгипнотическое поведение. Люди, которым во время гипнотического внушения предлагалось сделать что-то, после пробуждения будут совершать все эти действия, совершенно не осознавая, что они делают не то, что им *хочется*, а следуют соответствующим приказаниям, данным им ранее гипнотизером.

В случае неотчужденной активности я ощущаю *самого себя* как *субъекта* своей деятельности. Неотчужденная активность — это процесс рождения, создания чего-либо и сохранения связи с тем, что я создаю. При этом подразумевается, что моя активность есть проявление моих потенций, что я и моя деятельность едины. Такую неотчужденную активность я называю *продуктивной активностью*¹.

Слово “продуктивная” в том смысле, в котором оно здесь употребляется, относится не к способности создавать что-то новое или оригинальное, то есть не к творческой способности, какой может обладать, например, художник или ученый. Оно относится также и не к результату моей активности, а к ее *качеству*. Картина или научный трактат могут быть совершенно непродуктивными, бесплодными; напротив, тот процесс, который происходит в людях с глубоким самосознанием, или в людях, которые действительно “видят” дерево, а не просто смотрят на него, или в тех, кто читая стихи, испытывает те же движения души, что и поэт, выразивший их словами, этот процесс может быть очень продуктивным, несмотря на то что в результате его ничего не “производится”. Продуктивная активность означает состояние внутренней активности; она не обязательно связана с созданием произведения искусства, или научного труда, или просто чего-то “полезного”. Продуктивность — это ориентация характера, которая может быть присуща всем человеческим существам, если только они не эмоционально ущербны. Про-

дуктивные личности оживляют все, чего бы они ни коснулись. Они реализуют свои собственные способности и вселяют жизнь в других людей и в вещи.

И “активность”, и “пассивность” могут иметь два совершенно различных значения. Отчужденная активность в смысле простой занятости фактически является “пассивностью” в смысле продуктивности, тогда как пассивность, понимаемая как незанятость, вполне может быть и неотчужденной активностью. Причина того, что сегодня все это трудно понять, в том, что активность чаще всего является отчужденной “пассивностью”, в то время как продуктивная пассивность встречается крайне редко. <...>

Бытие как реальность

До сих пор я раскрывал значение понятия “бытие”, противопоставляя его понятию “обладание”. Однако еще одно столь же важное значение бытия обнаруживается при противопоставлении его *видимости*. Если я кажусь добрым, хотя моя доброта — лишь маска, прикрывающая мое стремление эксплуатировать других людей; если я представляюсь мужественным, в то время как я чрезвычайно тщеславен или, возможно, склонен к самоубийству; если я кажусь человеком, любящим свою родину, а на самом деле преследую свои эгоистические интересы, то видимость, то есть мое открытое поведение, находится в резком противоречии с реальными силами, мотивирующими мои поступки. Мое поведение отличается от моего характера. Структура моего характера, истинная мотивация моего поведения составляют мое реальное бытие. Мое поведение может частично отражать мое бытие, но обычно оно служит своего рода маской, которой я обладаю и которую я ношу, преследуя какие-то свои цели. Бихевиоризм рассматривает эту маску как достоверный научный факт; истинное же проникновение в сущность человека сосредоточено на его внутренней реальности, которая, как правило, неосознаваема и не может быть непосредственно наблюдаема. Подобное понимание бытия

¹ В своей книге “Бегство от свободы” я использовал термин “спонтанная активность”, а в более поздних работах — “продуктивная активность”.

как “срывания масок”, по выражению Экхарта, находится в центре учений Спинозы и Маркса и составляет суть фундаментального открытия Фрейда.

Понимание несоответствия между поведением и характером, между маской, которую я ношу, и реальностью, которую она скрывает, является главным достижением психоанализа Фрейда. Он разработал метод (свободных ассоциаций, анализ сновидений, трансфера, сопротивления), направленный на раскрытие инстинктивных (главным образом, сексуальных) влечений, подавляемых в раннем детстве. И хотя в дальнейшем развитии теории и терапии психоанализа большее значение стали придавать скорее травмирующим событиям в сфере ранних межличностных отношений, чем инстинктивной жизни, принцип остался тем же самым: подавляются ранние и — как я считаю — более поздние травмирующие влечения и страхи; путь к избавлению от симптомов или вообще от болезней лежит в раскрытии подавленного материала. Иными словами, то, что подавляется, — это иррациональные, инфантильные и индивидуальные элементы жизненного опыта.

Вместе с тем предполагается, что мнения здравомыслящих, нормальных — то есть социально приспособленных — граждан являются рациональными и не нуждаются в глубоком анализе. Это, однако, совершенно неверно. Осознаваемые нами мотивации, идеи и убеждения представляют собой смесь из ложной информации, предубеждений, иррациональных страстей, рационализаций и предрассудков, в которой лишь изредка попадаются жалкие обрывки истины, придавая нам ложную уверенность, будто вся эта смесь реальна и истинна. В процессе мышления делается попытка навести порядок в этой клоаке иллюзий, организовав все в соответствии с законами логики и правдоподобия. Считается, что этот уровень сознания отражает реальность; это карта, которой мы руководствуемся, планируя свою жизнь. Эта ложная карта сознанием не подавляется. *Подавляется знание реальности, знание того, что истинно.* Таким образом, если мы спросим: “Что же такое бессознательное?”, то должны ответить: “Помимо иррациональных страстей, бессознательным является почти все наше знание реальнос-

ти”. Бессознательное в основе своей детерминируется обществом, которое порождает иррациональные страсти и снабжает своих членов всякого рода вымыслами, превращая таким образом истину в пленницу мнимой рациональности.

Утверждение, что истина подавляется, основано, конечно, на предпосылке, что мы знаем истину и подавляем это знание; иными словами, что существует “бессознательное знание”. Мой опыт психоаналитика, касающийся как меня самого, так и других людей, подтверждает правильность сказанного выше. Мы постигаем реальность и не можем не постигать ее. Подобно тому, как наши органы чувств устроены так, чтобы мы могли видеть, слышать, обонять и осязать, когда вступаем в контакт с действительностью, наш разум устроен так, чтобы постигать действительность, то есть видеть вещи такими, каковы они есть, постигать истину. Я, конечно, не имею в виду ту часть действительности, изучение и постижение которой требует применения научных инструментов или методов. Я имею в виду то, что познается с помощью сосредоточенного, пытливого “видения”, в особенности же реальность, скрытую в нас самих и в других людях. Когда мы встречаемся с опасным человеком, мы знаем, что он опасен; мы знаем, когда перед нами человек, которому можно полностью доверять; мы знаем, когда нам лгут или когда нас эксплуатируют, или дурачат и обманывают и когда нам удастся перехитрить самих себя. Мы знаем почти все, что важно знать о человеческом поведении, точно так же, как наши предки обладали поразительными познаниями о движении звезд. Но если они *осознавали* свое знание и применяли его на практике, мы свое знание немедленно подавляем, потому что будь оно осознано, жизнь сделалась бы слишком трудной и, по нашему убеждению, слишком “опасной”.

Доказательства этого утверждения найти нетрудно. Оно и во многих снах, где мы обнаруживаем глубокую проницательность в отношении других людей и самих себя — способность, которая начисто отсутствует у нас в дневное время. (Примеры “снов-прозрений” я привел в своей книге “Забытый язык”.) Другим доказательством являются частые случаи, когда какой-нибудь человек внезапно предстает

перед нами в совершенно новом свете, а потом нам начинает казаться, будто мы всегда знали его таким. Еще одним доказательством может служить феномен сопротивления, когда горькая правда грозит выйти наружу в обмолвках, оговорках, в состоянии транса или в тех случаях, когда человек произносит как бы в сторону слова, противоречащие тем мнениям, которых он всегда придерживается, а потом, через минуту, казалось бы, об этих словах забывает.

В самом деле, большая часть нашей энергии расходуется на то, чтобы скрывать от самих себя все, что мы знаем; значение таких подавляемых знаний едва ли можно переоценить. В одной из легенд Талмуда в поэтической форме выражена концепция подавления истины: когда рождается ребенок, ангел касается его лба, чтобы он забыл ту истину, которую он знал в момент рождения. Если бы ребенок не забывал ее, его дальнейшая жизнь стала бы невыносимой.

Итак, вернемся к нашему основному тезису: бытие относится к реальной, а не к искаженной, иллюзорной картине жизни. В этом смысле любая попытка расширить сферу бытия означает более глубокое проникновение в реальную сущность самого себя, других и окружающего нас мира. Главные этические цели иудаизма и христианства — преодоление алчности и ненависти — не могут быть осуществлены без учета того фактора, который является центральным в буддизме, хотя играет определенную роль и в иудаизме и в христианстве: путь к бытию лежит через проникновение в суть вещей и познание реальности.

Стремление отдавать, делиться с другими, жертвовать собой

В современном обществе принято считать, что обладание как способ существования присуще природе человека и, следовательно, практически неискоренимо. Эта идея находит выражение в догме, согласно которой люди по природе своей ленивы, пассивны, не хотят работать или делать что-либо, если их не побуждает к этому материальная выгода... голод... или

страх перед наказанием. Эту догму едва ли кто ставит под сомнение, и она определяет наши методы воспитания и работы. Однако на самом деле она есть не что иное, как выражение желания оправдать все наши социальные установления тем, что они якобы вытекают из потребностей человеческой природы. Членам многих других обществ как в прошлом, так и в настоящем, представление о врожденной лени и эгоизме человека показалось бы столь же странным и нелепым, сколь нам кажется обратное.

Истина состоит в том, что оба способа существования — и обладание, и бытие — суть потенциальные возможности человеческой природы, что биологическая потребность в самосохранении приводит к тому, что принцип обладания гораздо чаще берет верх, но тем не менее эгоизм и лень — не единственные внутренне присущие человеку качества.

Нам, людям, присуще глубоко укоренившееся желание быть: реализовать свои способности, быть активными, общаться с другими людьми, вырваться из тюрьмы своего одиночества и эгоизма. Истинность этого утверждения подтверждается таким множеством примеров, что их хватило бы еще на одну книгу. Суть этой проблемы в самой общей форме сформулировал Д.О. Хебб, сказав, что *единственная проблема поведения состоит в том, чтобы объяснить отсутствие активности, а не активность*. Этот общий тезис подтверждают следующие данные¹:

1. Данные о поведении животных. Эксперименты и непосредственные наблюдения показывают, что многие виды с удовольствием выполняют трудные задания даже тогда, когда не получают за это никакого материального вознаграждения.

2. Нейрофизиологические эксперименты свидетельствуют об активности нервных клеток.

3. Поведение детей. Недавние исследования обнаруживают у младенцев способность и даже потребность активно реагировать на сложные стимулы. Это открытие противоречит предположению Фрейда, будто ребенок воспринимает внешние стимулы лишь как угрозу и мобилизует свою агрессивность, чтобы устранить эту угрозу.

¹ В своей книге «Анатомия человеческой деструктивности» я уже рассматривал некоторые из этих данных.

4. Поведение в процессе обучения. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что дети и подростки ленивы потому, что изучаемый материал преподносится им в сухой и скучной форме и не может вызвать у них настоящего интереса; если же устранить принуждение и скуку и преподнести материал в живой, интересной форме, они обнаруживают необыкновенную активность и инициативу.

5. Поведение в процессе работы. Классический эксперимент Э. Мэйо показал, что даже скучная сама по себе работа может стать интересной, если рабочие знают, что участвуют в эксперименте, который проводит энергичный и одаренный человек, способный пробудить их любопытство и вызвать интерес к участию в этом эксперименте. О том же свидетельствует и опыт ряда заводов в Европе и Соединенных Штатах. Стереотип рабочих в глазах предпринимателей таков: рабочие отнюдь не заинтересованы в том, чтобы активно участвовать в деятельности предприятия; все, чего они хотят, — это повышение заработной платы, следовательно, участие в прибылях может служить побудительным мотивом для повышения производительности труда, но не для более активного участия в работе предприятия. Хотя предприниматели и правы в отношении предлагаемых ими методов работы, опыт показал — и он оказался достаточно убедительным для немалого числа предпринимателей, — что если создать такие условия работы, при которых рабочие могут проявлять активность, ответственность и осведомленность, то те, кто прежде не испытывал интереса к своей работе, существенно изменяют свое отношение к ней и проявляют удивительную изобретательность, активность и воображение, получая при этом большое удовлетворение¹.

6. Многочисленные данные из области социальной и политической жизни. Представление, что люди не хотят приносить жертвы, заведомо неверно. Когда Черчилль в начале второй мировой войны заявил, что ему приходится требовать от англичан крови, пота и слез, он не пугал своих сооте-

чественников; напротив, он взывал к глубоко укоренившемуся стремлению принести жертвы, жертвовать собой. Реакция англичан — так же, как немцев и русских — на тотальные бомбардировки населенных пунктов является свидетельством того, что общее страдание не сломило их дух; оно усилило их сопротивление и доказало неправоту тех, кто считал, будто ужас бомбежек может деморализовать противника и ускорить окончание войны.

Как, однако, прискорбно, что в нашей цивилизации не мирная жизнь, а скорее война и страдания мобилизуют готовность человека жертвовать собой; периоды мира, по-видимому, способствуют главным образом развитию эгоизма. К счастью, и в мирное время возникают такие ситуации, когда в поведении человека находит выражение стремление к солидарности и самопожертвованию. Забастовки рабочих, особенно в период, предшествовавший первой мировой войне, — один из примеров подобного поведения, в котором, по существу, отсутствует насилие. Рабочие добились повышения заработной платы, но в то же время подвергались риску и суровым испытаниям, чтобы отстаивать свое достоинство и испытать удовлетворение от ощущения человеческой солидарности. Забастовка была одновременно и “религиозным” и экономическим явлением. Хотя такие забастовки происходят и в наши дни, большинство из них возникает по причинам экономического порядка, правда, в последнее время участились забастовки, цель которых — добиться улучшения условий труда.

Потребность отдавать, делиться с другими, готовность жертвовать собой ради других все еще можно встретить у представителей таких профессий, как сиделки, медсестры, врачи, а также среди монахов и монахинь. Многие, если не большинство из них, лишь на словах признают помощь и самопожертвование как свое назначение; тем не менее характер значительного числа этих специалистов соответствует тем ценностям, за которые они ратуют. То, что людям присущи такие потребности, подтверждалось в различные периоды исто-

¹ В своей книге “The Gamesmen: The New Corporate Leaders”, которую я имел возможность прочесть еще в рукописи, Майкл Маккоби упоминает некоторые недавние демократические проекты участия, в особенности свои собственные исследования в рамках “Проекта Боливара”.

рии человечества: их выражением были многочисленные коммуны — религиозные, социалистические, гуманистические. То же желание отдавать себя другим мы находим у доноров, добровольно (и безвозмездно) отдающих свою кровь; оно проявляется в самых различных ситуациях, когда человек рискует своей жизнью ради спасения других. Проявление этого стремления посвятить себя другому человеку мы находим у людей, способных по-настоящему любить. “Фальшивая любовь”, то есть взаимное удовлетворение эгоистических устремлений, делает людей еще более эгоистичными (что стало явлением далеко не редким). Истинная же любовь развивает способность любить и отдавать себя другим. Тот, кто любит по-настоящему кого-то одного человека, любит весь мир¹.

Известно, что существует немало людей, особенно молодых, для которых становится невыносимой атмосфера роскоши и эгоизма, царящая в их богатых семьях. Вопреки ожиданиям старших, которые считают, что у их детей “есть все, что им хочется”, они восстают против однообразия и одиночества, на которые их обрекает подобное существование. Ибо на самом деле у них нет того, чего они хотят, и они стремятся обрести то, чего у них нет.

Ярким примером таких людей являются сыновья и дочери богачей времен Римской империи, принявшие религию, проповедовавшую любовь и нищету; другим таким примером может служить Будда — царевич, к услугам которого были любые радости и удовольствия, любая роскошь, какую только он мог пожелать, и который обнаружил, что обладание и потребление делают несчастным. В более близкий к нам период (вторая половина XIX века) таким примером могут служить сыновья и дочери представителей привилегированных слоев русского общества — *народники*, восставшие против праздности и несправедливости окружавшей их действительности. Оставив свои семьи, эти молодые люди

“пошли в народ” к нищему крестьянству, жили среди бедняков и положили начало революционной борьбе в России.

Мы являемся свидетелями подобного явления среди детей состоятельных родителей в США и ФРГ, считающих свою жизнь в богатом родительском доме скучной и бессмысленной. Более того, для них невыносимы присущие нашему миру бессердечное отношение к бедным и движение к ядерной войне ради удовлетворения чьих-то индивидуальных эгоистических устремлений. Они покидают свое окружение, пытаясь найти какой-то иной стиль жизни, — но их желание остается неудовлетворенным, так как какие бы то ни было конструктивные попытки в этой области не имеют шансов на успех. Многие из этих молодых людей были вначале идеалистами и мечтателями; однако, не имея за плечами ни традиций, ни зрелости, ни опыта, ни политической мудрости, они становятся отчаявшимися, нарциссичными людьми, склонными к переоценке собственных способностей и возможностей, и пытаются достичь невозможного с помощью силы. Они создают так называемые революционные группы и надеются спасти мир с помощью актов террора и разрушения, не сознавая того, что лишь способствуют тем самым усилению общей тенденции к насилию и бесчеловечности. Они уже утратили способность любить; на смену ей пришло желание жертвовать своей жизнью. (Самопожертвование вообще нередко становится решением всех проблем для индивидов, которые жаждут любви, но сами утратили способность любить и считают, что самопожертвование позволит им испытать высшую степень любви.) Однако такие жертвующие собой молодые люди весьма отличаются от *великомучеников*, которые хотят жить, потому что любят жизнь, и идут на смерть лишь тогда, когда им приходится умереть, чтобы не предать самих себя. Современные молодые люди, склонные жертвовать собой, являются од-

¹ Одним из наиболее важных источников, способствующих пониманию естественной для человека потребности отдавать и делиться с другими, является классическая работа П. А. Кропоткина “Взаимная помощь как фактор эволюции” (1902), а также книга Ричарда Титмаса “The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy” (в которой он рассказывает о проявлениях человеческой самоотверженности и подчеркивает, что наша экономическая система препятствует осуществлению людьми этого своего права) и книга под редакцией Эдмунда С. Фелпса “Altruism, Morality and Economic Theory”.

новременно и обвиняемыми и обвинителями, ибо их пример свидетельствует о том, что в нашей социальной системе лучшие из лучших молодых людей чувствуют такое одиночество и безысходность, что в своем отчаянии видят единственный выход в фанатизме и разрушении.

Присущее человеку стремление к единению с другими коренится в специфических условиях существования рода человеческого и является одной из самых сильных мотиваций поведения человека. Вследствие минимальной детерминированности человеческого поведения инстинктами и максимального развития способности разума мы, человеческие существа, утратили свое изначальное единство с природой. Чтобы не чувствовать себя в жестокой изоляции, которая фактически обрекла бы нас на безумие, мы нуждаемся в каком-то новом единстве: это единство со своими ближними и с природой. Эта человеческая потребность в единении с другими может проявляться по-разному: как симбиотическая связь с матерью, с каким-нибудь идолом, со своим племенем, классом, нацией или религией, своим братством или своей профессиональной организацией. Часто, конечно, эти связи перекрещиваются и нередко принимают экстатическую форму, как, например, в некоторых религиозных сектах, в бандах линчевателей или при взрывах националистической истерии в случае войны. Начало первой мировой войны, например, послужило поводом для возникновения одной из самых сильных экстатических форм «единения», когда люди внезапно, буквально в течение дня отказывались от своих прежних пацифистских, антимилитаристских, социалистических убеждений; ученые отказывались от выработавшегося у них в течение жизни стремления к объективности, критическому мышлению и беспристрастности только ради того, чтобы приобщиться к великому большинству, именуемому МЫ.

Стремление к единению с другими проявляется как в низших формах поведения, то есть в актах садизма и разрушения, так и в высших — солидарности на основе общего идеала или убеждения. Оно является также главной причиной, вызывающей потребность в адаптации; люди боятся быть отверженными даже больше, чем смерти. Для любого общества решающим

является вопрос о том, какого рода единство и солидарность оно устанавливает и *может* поддерживать в условиях данной социоэкономической структуры.

Все эти соображения, по-видимому, говорят о том, что людям присущи две тенденции: одна из них, тенденция *иметь* — обладать — в конечном счете черпает силу в биологическом факторе, в стремлении к самосохранению; вторая тенденция — *быть*, а значит, отдавать, жертвовать собой — обретает свою силу в специфических условиях человеческого существования и внутренне присущей человеку потребности в преодолении одиночества посредством единения с другими. Учитывая, что эти два противоречивых стремления живут в каждом человеке, можно сделать вывод, что социальная структура, ее ценности и нормы определяют, какое из этих двух стремлений станет доминирующим. Те культуры, которые поощряют жажду наживы, а значит, модус обладания, опираются на одни потенции человека; те же, которые благоприятствуют бытию и единению, опираются на другие. Мы должны решить, какую из этих двух потенций мы хотим культивировать, понимая, однако, что наше решение в значительной мере предопределено социоэкономической структурой данного общества, побуждающей нас принять то или иное решение.

Что касается моих наблюдений в области группового поведения людей, то могу лишь предположить, что две крайние группы, — соответственно демонстрирующие глубоко укоренившиеся и почти неизменные типы обладания и бытия, составляют незначительное меньшинство; в огромном же большинстве реально присутствуют обе возможности, и какая из них станет преобладающей, а какая будет подавляться, зависит от факторов окружающей среды.

Это предположение противоречит широко распространенной психоаналитической догме, согласно которой окружающая среда вызывает существенные изменения в развитии личности в младенчестве и в раннем детстве, а в дальнейшем сформировавшийся характер уже практически не меняется под влиянием внешних событий. Эта психоаналитическая догма смогла получить признание потому, что у большинства людей основные условия, в которых проходит их детство, сохраняются и в бо-

лее поздние периоды жизни, поскольку в общем продолжают существовать те же социальные условия. Однако есть множество примеров того, что коренные изменения окружающей среды ведут к существенным изменениям в поведении человека: негативные силы перестают получать поддержку, а позитивные — поддерживаются и поощряются.

В заключение можно сказать, что нет ничего удивительного в том, что стремление человека к самоотдаче и самопожертвованию проявляется столь часто и с такой силой, если учесть условия существования человеческого рода. Удивительно скорее то, что эта потребность может с такой силой подавляться, что проявление эгоизма в индустриальном обществе (как и во многих других) становится правилом, а проявление солидарности — исключением. Вместе с тем, как это ни парадоксально, именно этот феномен вызван потребностью в единении. Общество, принципами которого являются стяжательство, прибыль и собственность, порождает социальный характер, ориентированный на обладание, и как только этот до-

минирующий тип характера утверждается в обществе, никто не хочет быть аутсайдером, а вернее, отверженным; чтобы избежать этого риска, каждый старается приспособиться к большинству, хотя единственное, что у него есть общего с этим большинством, — это только их взаимный антагонизм.

Как следствие господствующей в нашем обществе эгоистической установки наши лидеры считают, что поступки людей могут быть мотивированы лишь ожиданием материальных выгод, то есть вознаграждений и поощрений, и что призывы к солидарности и самопожертвованию не вызовут у людей никакого отклика. Поэтому, за исключением периодов войн, к таким призывам прибегают крайне редко, так что мы не имеем возможности наблюдать их вероятные результаты.

Лишь совершенно иная социоэкономическая структура и радикально иная картина человеческой природы могли бы показать, что подкуп, посулы и подачки — не единственный (или не наилучший) способ воздействия на людей.

В. Франкл

ЧТО ТАКОЕ СМЫСЛ¹

Я старался передать мысль, что существование колеблется, если отсутствует “сильная идея”, как назвал это Фрейд, или идеал, к которому можно стремиться. Говоря словами Альберта Эйнштейна, “человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни”.

Однако существование не только интенционально, но также и трансцендентно. Самоотрансценденция — сущность существования. Быть человеком — значит быть направленным не на себя, а на что-то иное. Среди этого иного, как пишет Рудольф Аллерс <...>, также “инакость” интенционального референта, на который указывает человеческое поведение. Тем самым конституируется, вновь процитируем Аллерса <...>, “область транссубъективного”. Однако стало модным оставлять эту транссубъективность в тени. Под воздействием экзистенциализма на первый план выходит субъективность человеческого бытия. В действительности это неправильное понимание экзистенциализма. Авторы, которые делают вид, что преодолели дихотомию объекта и субъекта, не сознают, что подлинный феноменологический анализ обнаружит, что нет такой вещи, как познание вне поля напряжения, возникающего между объектом и субъектом. Эти авторы привыкли говорить о “бытии-в-мире”.

Но чтобы правильно понять эту фразу, нужно признать, что быть человеком в глубоком смысле — значит быть вовлеченным, втянутым в ситуацию, быть противопоставленным миру, объективность и реальность которого несколько не умаляется субъективностью того “бытия”, которое находится “в мире”.

Сохранение “инакости”, объективности объекта означает сохранение напряжения, устанавливаемого между объектом и субъектом. Это то же напряжение, что напряжение между “я есмь” и “я должен” <...>, между реальностью и идеалом, между бытием и смыслом. И чтобы сохранить это напряжение, нужно оградить смысл от совпадения с бытием. Я бы сказал, что смысл смысла в том, что он направляет ход бытия.

Я люблю сравнивать эту необходимость с историей, рассказанной в Библии. Когда сыны Израиля скитались в пустыне, Божья слава двигалась впереди в виде облака: только таким образом Бог мог руководить Израилем. Но представьте себе, что случилось бы, если бы присутствие Бога, символизируемое облаком, оказалось бы посреди израильтян: вместо того чтобы вести их, это облако покрыло бы все туманом, и Израиль сбился бы с пути.

В этом смысле понятна рискованность “слияния фактов и ценностей”, происходящего “при предельных переживаниях и у самоактуализирующихся людей” <...>, поскольку в предельном переживании “есмь” и “должен” сливаются друг с другом <...>. Однако быть человеком означает быть обращенным к смыслу, требующему осуществления, и ценностям, требующим реализации. Это значит жить в поле напряжения, возникающего между полюсами реальности и идеалов, требующих материализации. Человек живет идеалами и ценностями. Человеческое существование не аутентично, если оно не проживается как самоотрансценденция.

Изначальной и естественной заботе человека о смысле и ценностях угрожают преобладающие субъективизм и релятивизм, подрывающие идеализм и энтузиазм.

¹ Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С. 284—306.

Я хочу привлечь ваше внимание к примеру, взятому из статьи американского психолога: “Чарльз... особенно “сердился”, как он называл это, когда получал счет за профессиональные услуги, например, от дантиста или врача, и либо оплачивал часть счета, либо не платил вовсе... Я лично иначе отношусь к долгам, я высоко ценю аккуратность в оплате своих счетов. В этой ситуации я не обсуждаю мои собственные ценности, я сосредоточиваю внимание на психодинамике его поведения... потому что моя собственная компульсивная потребность аккуратно оплачивать счета мотивирована невротически... Ни при каких обстоятельствах я не пытаюсь сознательно направлять или убеждать пациента принять мои ценности, потому что я убежден, что ценности... скорее относительны... нежели абсолютны” <...>.

Я полагаю, что оплачивание счетов имеет смысл независимо от того, нравится ли это кому-то, и независимо от бессознательного значения, которое это может иметь. Гордон У. Олпорт справедливо сказал однажды: “Фрейд был специалистом по части как раз тех мотивов, которые не могут быть приняты за чистую монету” <...>. То, что такие мотивы существуют, не меняет того факта, что в общем и целом мотивы могут приниматься в своем истинном значении. А если это отрицается, то каковы могут быть бессознательные мотивы, скрывающиеся за таким отрицанием?

Вот что пишет д-р Юлиус Хойшер в рецензии на два тома, которые известный фрейдистски ориентированный психоаналитик посвятил Гете: “На 1538 страницах автор представляет нам гения с признаками маниакально-депрессивных, параноидальных и эпилептоидных расстройств, гомосексуальности, склонности к инцесту, половым извращениям, эксгибиционизму, фетишизму, импотенции, нарциссизму, обсессивно-компульсивному неврозу, истерии, мегаломании и пр. ... Он, по-видимому, обращает внимание исключительно на инстинктивные динамические силы, лежащие в основе... художественного продукта. Мы должны поверить, что гетевское творение — это всего лишь результат прегенитальных фиксаций. Его борьба имеет целью не идеал, не красоту, не ценности, а преодоление беспокоящей проблемы преж-

девременной эякуляции...” “Эта книга показывает вновь, — заключает автор рецензии, — что основные позиции (психоанализа) в действительности не изменились” <...>.

Теперь мы можем понять, насколько прав Уильям Ирвин Томпсон, задавая вопрос: “Если наиболее образованные люди нашей культуры продолжают рассматривать гениев как скрытых половых извращенцев, если они продолжают думать, что ценности — это особые фикции, нормальные для обычных людей, но не для умного ученого, который лучше знает, как обстоит дело, — можно ли бить тревогу по поводу того, что массы в нашей культуре выказывают мало уважения к ценностям и вместо этого погружаются в оргии потребления, преступления и безнравственности?” <...>.

Неудивительно, что такое положение дел имеет место. Совсем недавно Лоренс Джон Хэттерер <...> указывал, что “многие художники и артисты покидают кабинет психиатра в ярости по поводу его интерпретаций, что они пишут, потому что являются собирателями несправедливостей или садомазохистами, играют, потому что они эксгибиционисты, танцуют, потому что хотят сексуально соблазнить аудиторию, рисуют, чтобы преодолеть ограничения навыков туалета посредством свободы размазывать нечто”.

Как мудр и осторожен был Фрейд, заметив однажды, что иногда сигара может быть просто сигарой, и ничем иным. Или само это утверждение было защитным механизмом, способом рационализации собственного курения? Возникает *regressus in infinitum*. В конце концов, мы не разделяем веру Фрейда в тождественность “детерминации” и “мотивации”, как пишет Маслоу <...>, обвинивший Фрейда в ошибке отождествления “детерминированного” с “мотивированным бессознательно”, как будто поведение не может быть детерминировано иным образом.

Существует определение, гласящее, что смыслы и ценности — не что иное, как реактивные образования и механизмы защиты. Что до меня, то я не хотел бы жить ради моих реактивных образований, и еще менее — умереть за мои механизмы защиты.

Но являются ли смыслы и ценности столь относительными и субъективными, как полагают? В некотором отношении да, но в ином, нежели это понимается релятивизмом и субъективизмом. Смысл относителен постольку, поскольку он относится к конкретному человеку, вовлеченному в особую ситуацию. Можно сказать, что смысл меняется, во-первых, от человека к человеку и, во-вторых, — от одного дня к другому, даже от часа к часу.

Конечно, я предпочел бы говорить об уникальности, а не об относительности смыслов. Уникальность, однако, — это качество не только ситуации, но и жизни как целого, поскольку жизнь — это вереница уникальных ситуаций. Человек уникален как в сущности, так и в существовании. В предельном анализе никто не может быть заменен — благодаря уникальности каждой человеческой сущности. И жизнь каждого человека уникальна в том, что никто не может повторить ее — благодаря уникальности его существования. Раньше или позже его жизнь навсегда закончится вместе со всеми уникальными возможностями осуществления смысла.

Я нигде не видел это сформулированным более точно и сжато, чем в словах Гиллеля, великого еврейского мудреца, жившего около двух тысячелетий тому назад. Он говорил: “Если я не сделаю этого — кто сделает? И если я не сделаю этого прямо сейчас — то когда же мне это сделать? Но если я сделаю это только для себя самого — то кто я?”. “Если я не сделаю этого” — это, как мне кажется, относится к уникальности моей самости. “Если я не сделаю этого прямо сейчас” — относится к уникальности текущего момента, который дает мне возможность осуществления смысла. “Если я сделаю это только для себя самого” — это выражение не более и не менее как самотрансцендентного качества человеческого существования. <...> Потому что характерная составляющая человеческого существования — трансцендирование, превосхождение себя, выход к чему-то иному. Говоря словами Августина, человеческое сердце не находит себе покоя, пока оно не найдет и не осуществит смысл и цель жизни. Это формулировка резюмирует многое в теории и терапии того типа неврозов, который я назвал ноогенными.

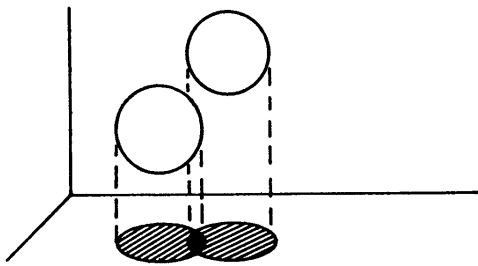
Но вернемся к уникальности смыслов. Из сказанного следует, что нет такой вещи, как универсальный смысл жизни, есть лишь уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Однако мы не должны забывать, что среди них есть и такие, которые имеют нечто общее, и, следовательно, есть смыслы, которые присущи людям определенного общества, и даже более того — смыслы, которые разделяются множеством людей на протяжении истории. Эти смыслы относятся скорее к человеческому положению вообще, чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями. Таким образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все человечество.

Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, так как, по крайней мере в типичных ситуациях, он избавлен от принятия решений. Но, к сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что в отличие от уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две ценности входят в противоречие друг с другом. А противоречия ценностей отражаются в душе человека в форме ценностных конфликтов, играя важную роль в формировании ноогенных неврозов.

Представим себе уникальные смыслы в виде точек, а ценности — в виде кругов. Понятно, что две ценности могут пересекаться друг с другом, в то время как с уникальными смыслами этого не может произойти (см. рис.).



Но мы должны задать себе вопрос, действительно ли две ценности могут войти в противоречие друг с другом, иными словами, справедлива ли аналогия с кругами на плоскости. Не будет ли более правильным сравнить ценности с трехмерными шарами? Два шара, проецируемые на плоскость, могут давать два круга, пересекающие друг друга, в то время как сами сферы даже не касаются друг друга (см. рис.).



Впечатление, что две ценности противоречат друг другу, является следствием того, что упускается целое измерение. Что это за измерение? Это иерархический порядок ценностей. По Макс Шелеру, оценивание имплицитно предполагает предпочтение одной ценности другой. Таков конечный результат его глубокого феноменологического анализа процесса оценивания. Ранг ценности переживается вместе с самой ценностью. Иными словами, переживание определенной ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой. Для ценностных конфликтов нет места.

Однако переживание иерархического порядка ценностей не избавляет человека от принятия решений. Влечения толкают человека; ценности притягивают. Человек всегда волен принять или отвергнуть ценность, которая предлагается ему ситуацией. Это справедливо также относительно иерархического порядка ценностей, которые передаются моральными и этическими традициями и нормами. Они должны пройти проверку совестью человека — если только он не отказывается подчиняться своей совести и не заглушает ее голоса.

Разобравшись с вопросом об относительности смыслов, перейдем к вопросу о том, насколько они субъективны. Разве не верно, что в конечном счете смыслы — это вопрос интерпретации? И разве не подразумевает интерпретация всегда решения? Разве нет ситуаций, которые допускают различные интерпретации, так что человек должен делать выбор? Мой собственный опыт говорит, что есть <...>.

Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили во вторую мировую войну, я получил приглашение из американского посольства в Вене прийти и полу-

чить визу для въезда в Штаты. В то время я жил в Вене с моими родителями. Они, разумеется, не ждали от меня ничего иного, нежели что я получу визу и поспешу уехать. Но в последний момент я начал сомневаться, спрашивая себя: “Следует ли мне делать это? Могу ли я так поступить?” Потому что мне внезапно пришло в голову, чем это будет для моих родителей, а именно: через пару недель — такова была ситуация в то время — они будут брошены в концентрационный лагерь, то есть в лагерь уничтожения. И должен ли я оставлять их на произвол судьбы в Вене? До сих пор я мог избавить их от этой участи, поскольку возглавлял отдел неврологии в Еврейском госпитале. Но если бы я уехал, ситуация тут же изменилась бы. Размышляя о своей ответственности, я почувствовал, что в такой ситуации естественно просить совета у неба. Я отправился домой и, когда пришел, заметил кусок мрамора на столе. Я спросил отца, откуда он взялся, и отец сказал: “О, Виктор, я подобрал его на месте, где стояла синагога” (она была сожжена национал-социалистами). “А почему ты взял его с собой?” — спросил я. “Потому что это часть двух плит, на которых написаны десять заповедей”, — и он показал мне сохранившуюся позолоченную еврейскую букву на мраморе. “Я могу сказать тебе больше, если хочешь, — продолжал он. — Эта буква является сокращением одной из десяти заповедей”. Я в нетерпении спросил: “Какой же?” Ответ был: “Почитай отца своего и мать свою, и пребудешь на земле”. Тут же я решил остаться в стране вместе с родителями, отказавшись от визы.

Вы будете правы, утверждая, что это — проективный тест, что я, по-видимому, принял решение в глубине души еще до этого и лишь проецировал его на подвернувшийся кусок мрамора. Но если бы я увидел в куске мрамора всего лишь карбонат кальция, это тоже было бы результатом проективного теста, то есть выражением чувства бессмысленности, той внутренней пустоты, опустошенности, которую я называю экзистенциальным вакуумом.

Таким образом, смысл — это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны. И в свете этой нейтральности реальность может казаться лишь экраном, на который мы проецируем свои

неосознанные мечты, так сказать, пятном Роршаха. Если бы это было так, смысл был бы не более чем средством самовыражения, то есть чем-то глубоко субъективным¹.

Однако единственно, что субъективно, — это перспектива, в которой мы видим реальность, и эта субъективность в конце концов не умаляет объективности реальности как таковой. Я давал такое объяснение этого феномена студентам моего семинара в Гарварде: “Посмотрите в окна лекционного зала на Гарвардскую часовню. Каждый из вас видит часовню по-своему, в своей особой перспективе, в зависимости от того, где он сидит. Если кто-нибудь будет утверждать, что видит часовню точно так же, как его сосед, я должен буду сказать, что один из них галлюцинирует. Но уменьшает ли хоть сколько-нибудь различие взглядов объективность и реальность часовни? Конечно, нет”.

Человеческое познание не похоже на калейдоскоп. Когда вы смотрите в калейдоскоп, вы видите только то, что находится внутри его. Но когда вы смотрите в телескоп, вы видите нечто, что находится вне самого телескопа. И когда вы смотрите на мир или на нечто в мире, вы также видите больше, чем, скажем, перспективу; то, что *видится* в перспективе, сколь бы субъективной она ни была, — это объективный мир. “Увиденное сквозь” — буквальный перевод латинского слова *perspectum*.

У меня нет возражений против замены слова “объективный” более осторожным термином “трансубъективный”, как он употребляется, например, Аллерсом <...>. Это безразлично. Также безразлично, говорим мы о вещах или о смыслах. И то и другое “трансубъективно”. Эта трансубъективность в действительности предполагалась все время, когда мы говорили о самотрансценденции. Люди трансцендируют себя в направлении смыслов, и эти смыслы суть нечто иное, чем сами эти люди; смыслы не являются просто выражением самости человека, они — больше, чем проекция самости. Смыслы обнаруживаются, а не придумываются.

Это противоположно утверждению Жана-Поля Сартра, что идеалы и ценности выдумываются человеком. Или, как это

у Сартра, человек придумывает сам себя. Это напоминает мне трюк факира. Факир утверждает, что бросит веревку в воздух, в пустое пространство и, хотя она не будет ни к чему прикреплена, мальчик влезет по этой веревке. Не хочет ли и Сартр заставить нас поверить, что человек “проецирует” (что буквально означает — бросает вперед и вверх) идеал в пустоту и все же он, человек, может вскарабкаться к актуализации этого идеала и совершенству своей самости. Но это полярное напряжение, которое совершенно необходимо человеку для его душевного здоровья и моральной целостности, не может быть установлено, если не сохраняется объективность объективного полюса, если трансубъективность смысла не переживается человеком, который должен осуществить смысл.

Что эта трансубъективность переживается человеком в действительности, видно из того, как он говорит о своем опыте. Если его понимание себя не искажено предвзятыми стереотипами интерпретации, чтобы не сказать — индоктринации, человек говорит о смысле как о том, что нужно найти, а не создать. Феноменологический анализ, который попытается описать такой опыт неискаженным эмпирическим образом, покажет, что действительно смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — ее истинный смысл.

Во время одного из моих лекционных турне по Соединенным Штатам аудитории было предложено оформлять вопросы печатными буквами и подавать их теологу, который передавал их мне. Передавая мне вопросы, теолог предложил пропустить один из них, так как это совершенная чепуха. “Кто-то хочет узнать, — сказал он, — как вы в своей теории экзистенции определяете шесть сотен”. Когда я посмотрел на записку, я увидел в ней нечто иное: “Как Вы определяете бога в Вашей теории экзистенции?” Написание печатными буквами “GOD” трудно отличить от 600. Не был ли это ненамеренный проективный тест? И в

¹ Нильсен <...> говорит, что “у жизни нет смысла, который можно было бы открыть... что она имеет тот смысл, который мы придаем ей”. Он опирается на сходное утверждение Айера <...>.

конце концов теолог прочел “600”, а невролог — “бог”¹. Но только один способ прочтения вопроса был правильным. Только один способ прочтения был таким, который имелся в виду тем, кто задавал вопрос. Так мы пришли к определению того, что такое смысл. *Смысл — это то, что имеется в виду*: человеком, который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже подразумевает вопрос, требующий ответа. Я не могу сказать: “Вот мой ответ — правильный он или неправильный”. Как говорят американцы: “Права она или не права — это моя страна”. Я должен приложить все силы, чтобы найти истинный смысл вопроса, который мне задан.

Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Ее нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за *правильность* ответа на вопрос, за нахождение *истинного* смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать. Крамбо и Махлик <...> указывают, что нахождение смысла в ситуации имеет нечто общее с восприятием гештальта. Это предположение подтверждается гештальтпсихологом Вертгеймером, который пишет: “Ситуация “семь плюс семь равно...” — это система с лакуной, пробелом. Пробел можно заполнить по-разному. Одно заполнение — “четырнадцать” — соответствует ситуации, заполняет пробел и является тем, что структурно требуется системой на этом месте, со своей функцией в контексте целого. Это правильно входит в ситуацию. Другие заполнения, такие, как “пятнадцать”, не подходят. Они неправильны. Здесь мы сталкиваемся с представлением о нужном в ситуации: о “требуемости”. “Требуемость” такого рода — это объективное качество” <...>.

Я сказал, что смыслы не могут даваться произвольно, а должны находиться ответственно. Я мог бы также сказать, что смысл следует искать при помощи совести. И действительно, совесть руководит человеком в его поиске смысла. Совесть

может быть определена как интуитивная способность человека находить смысл ситуации. Поскольку смысл — это нечто уникальное, он не подпадает под общий закон, и такая интуитивная способность, как совесть, является единственным средством схватывать смысловые гештальты.

Кроме того что совесть интуитивна, она является творческой способностью. Вновь и вновь совесть человека приказывает ему сделать нечто, противоречащее тому, что проповедуется обществом, к которому он принадлежит, например, его племенем. Предположите, например, что это племя каннибалов; творческая совесть индивидуума может решить, что в определенной ситуации более осмысленно сохранить жизнь врагу, чем убить его. Таким образом, его совесть может начать революцию, и то, что поначалу было уникальным смыслом, может стать универсальной ценностью — “не убий”. Уникальный смысл сегодня — это универсальная ценность завтра. Таким способом творятся религии и создаются ценности.

Совесть также обладает способностью обнаруживать уникальные смыслы, противоречащие принятым ценностям. За только что упомянутой заповедью следует другая — “не прелюбодействуй”. В этой связи мне приходит в голову история человека, который попал в Освенцим вместе со своей молодой женой. Когда они оказались там, рассказывал он мне после освобождения, их разделили, и в этот момент он вдруг почувствовал сильное стремление умолять ее выжить “любой ценой — вы понимаете? — любой ценой...”. Она поняла, что он имел в виду: она была красива, и в недалеком будущем для нее мог возникнуть шанс сохранить жизнь, согласившись на проституцию среди СС. И поскольку такая ситуация могла возникнуть, муж хотел заранее, так сказать, отпустить ей грех. В последний момент совесть заставила его, приказала ему освободить жену от заповеди “не прелюбодействуй”. В уникальной — поистине уникальной — ситуации уникальный смысл состоял в том, чтобы отказаться от универсальной ценности супружеской верности, нарушить одну из заповедей. Разу-

¹ Позже я намеренно использовал это как тест, сделав слайд и показывая его своим американским студентам в Венском университете. Хотите верьте, хотите нет, 9 студентов прочли “600”, другие 9 прочли “GOD”, еще четыре колебались между этими прочтениями.

меется, это была единственная возможность исполнить другую из десяти заповедей — “не убий”. Если бы он не дал ей этого разрешения, он принял бы на себя долю ответственности за ее смерть.

Ныне мы живем в эру разрушающихся и исчезающих традиций. Поэтому, вместо того чтобы новые ценности создавались посредством обнаружения уникальных смыслов, происходит обратное. Универсальные ценности приходят в упадок. Поэтому все большее число людей охватывается чувством бесцельности и пустоты, или, как я это называю, экзистенциальным вакуумом. Тем не менее, даже если все универсальные ценности исчезнут, жизнь останется осмысленной, поскольку уникальные смыслы останутся не затронутыми потерей традиций. Конечно, чтобы человек мог найти смыслы даже в эру отсутствия ценностей, он должен быть наделен в полной мере способностью совести. Можно, следовательно, утверждать, что в такие времена, как наши, во времена, так сказать, экзистенциального вакуума, основная задача образования состоит не в том, чтобы довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать способность, которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы. Сегодня образование не может оставаться в русле традиции, оно должно развивать способность принимать независимые аутентичные решения. Во времена, когда десять заповедей теряют, по видимому, свою безусловную значимость, человек более чем когда-либо должен учиться прислушиваться к десяти тысячам заповедей, возникающих в десяти тысячах уникальных ситуаций, из которых состоит его жизнь.

И в том, что касается *этих* заповедей, он может опираться и полагаться только на совесть. Живая, ясная и точная совесть — единственное, что дает человеку возможность сопротивляться эффектам экзистенциального вакуума — конформизму и тоталитаризму.

Мы живем во времена изобилия во многих отношениях. Средства массовой информации бомбардируют нас стимулами до такой степени, что мы должны защищаться от них посредством, так сказать, фильтрации. Нам предлагается множество возможностей, и мы должны выбирать среди них. Короче говоря, мы должны прини-

мать решения относительно того, что существенно, а что нет.

Истинная совесть не имеет ничего общего с тем, что я бы назвал “псевдоморалью суперэго”. Ее нельзя также смешивать с процессом обусловливания. Совесть — это определенно человеческий феномен. Но мы должны добавить, что это также “всего лишь” человеческий феномен. Она подвержена общим условиям человеческого существования в том отношении, что несет на себе отпечаток конечности человека. Он не только руководствуется совестью в поиске смысла, но иногда и вводится ею в заблуждение. Если он не перфекционист, то согласится с тем, что и совесть может ошибаться.

Действительно, человек свободен и ответствен. Но его свобода конечна. Человеческая свобода — это не всемогущество. И человеческая мудрость — это также не всезнание. Человек никогда не знает, истинен ли смысл, который он принял для себя. И он не узнает этого даже на смертном одре. *Ignoramus et ignorabimus* — мы не знаем и никогда не узнаем, как сформулировал это однажды Эмиль Дюбуа-Реймон, хотя и в совершенно ином контексте, в контексте психофизической проблемы.

Но чтобы не противоречить своей человечности, человек должен безусловно подчиняться своей совести, хотя он и сознает возможность ошибки. Я бы сказал, что *возможность ошибки* не избавляет его *от необходимости пытаться*. Как сказал это Гордон У. Олпорт, “мы можем быть одновременно уверены наполовину, но преданы всем сердцем” <...>.

Возможность, что моя совесть ошибается, подразумевает возможность, что совесть другого может быть права. Это влечет за собой смирение и скромность. Если я хочу искать смысл, я должен быть уверен, что смысл есть. Если же, с другой стороны, я не могу быть уверен в том, что я найду его, я должен быть терпимым. Это никоим образом не подразумевает какого бы то ни было индифферентизма. Быть терпимым — не значит присоединяться к верованию другого. Но это значит, что я признаю право другого верить в его собственную совесть и подчиняться ей.

Из этого следует, что психотерапевт не должен навязывать ценностей пациенту.

Пациент должен быть направлен к своей собственной совести. И если меня спросят — как часто спрашивают, — следует ли поддерживать такой нейтралитет даже по отношению к Гитлеру, я отвечу утвердительно, потому что я убежден, что Гитлер никогда не стал бы тем, чем он стал, если бы он не *подавил* в себе голос совести.

Само собой разумеется, что в случае крайней опасности психотерапевт не должен быть привязан к своему нейтралитету. Перед лицом суицидального риска вполне законно вмешаться, потому что только ошибающаяся совесть может приказывать человеку совершить самоубийство. Это утверждение согласуется с моим убеждением, что только ошибающаяся совесть может приказывать человеку совершить убийство, или, если снова упомянуть Гитлера, геноцид. Но и помимо такого предположения, сама клятва Гиппократова заставит врача удерживать пациента от совершения самоубийства. Я лично с радостью принимаю на себя ответственность за то, что был директивным, предлагая жизнеутверждающее мировоззрение, когда работал с суицидальным пациентом.

Как правило же, психотерапевт не будет навязывать пациенту ту или иную мировоззренческую позицию. Логотерапевт не составляет исключения. Никакой логотерапевт не будет утверждать, что у него есть ответы. Ведь не логотерапевт, а “змея” “сказал женщине: “Вы будете как Бог, знающий добро и зло””. Никакой логотерапевт не будет притворяться, что он знает, что ценно, а что нет, что имеет смысл, а что нет.

Редлих и Фридман <...> отвергают логотерапию как попытку придать смысл жизни пациента. В действительности справедливо противоположное. Я, например, не устаю повторять, что смысл должен быть найден и не может быть дан, менее всего — врачом <...>. Пациент должен найти его спонтанно. Логотерапия не раздает предписаний. Несмотря на то что я постоянно объясняю это, логотерапию вновь и вновь обвиняют в “придании смысла и цели”. Никто не обвиняет психоаналитиков-фрейдистов, занимающихся сексуальной жизнью пациента, в предоставлении пациенту девочек. Никто не обвиняет адлерианскую психологию, занимающуюся социальной жизнью пациента, в подыскивании ему

работы. Почему же тогда логотерапию, занятую экзистенциальными стремлениями и фрустрациями пациентов, обвиняют в “наделении смыслами”?

Такие обвинения логотерапии тем менее понятны, что даже *поиск* смыслов — проблема, ограниченная областью ноогенных неврозов, которые составляют лишь 20 процентов случаев, проходящих через наши клиники и приемные. И едва ли какие-либо проблемы смыслов и ценностных конфликтов затрагиваются в технике парадоксальной интенции — аспекте логотерапии, созданном для работы с психогенными неврозами.

Не логотерапевт, а психоаналитик, вновь цитируя Международный журнал психоанализа <...>, “является моралистом прежде всего” — в том смысле, что “он оказывает влияние на людей в отношении их морального и этического поведения”. Я лично полагаю, что моралистическая дихотомия эгоизма и альтруизма устарела. Я убежден, что эгоист может лишь выиграть, если будет считаться с другими, и наоборот, альтруист — хотя бы ради других — должен заботиться о себе. Я убежден, что моралистический подход в конце концов уступит место онтологическому, в котором хорошее и плохое определяются с точки зрения того, что способствует, а что мешает осуществлению смыслов, независимо от того, мой ли это собственный смысл или чей-либо еще.

Действительно, мы, логотерапевты, убеждены и при необходимости убеждаем наших пациентов, что *есть* смысл, ждущий осуществления. Но мы не делаем вида, что мы знаем, в чем состоит смысл. Читатель может заметить, что мы пришли к третьему принципу логотерапии — наряду со свободой воли и стремлением к смыслу — к смыслу жизни. Иными словами, мы убеждены в том, что у жизни есть смысл — тот, который человек все время ищет, — и также что человек обладает свободой предпринять осуществление этого смысла.

Но на чем основано наше предположение, что жизнь является и остается осмысленной в любом случае? Основание, которое я имею в виду, не моралистично, а совершенно эмпирично в самом широком смысле слова. Нам достаточно обратиться к тому, как человек с улицы в действительности переживает смыслы и ценности,

и перевести это на научный язык. Я бы сказал, что это как раз та работа, которую должна выполнить так называемая феноменология. Логотерапия же имеет обратную задачу — перевести то, что обнаружено таким путем, в простые слова, чтобы мы могли научить наших пациентов, как и они могут найти смысл в своей жизни. Не нужно предполагать, что это основывается на ведении философских дискуссий с пациентами; есть другие способы довести до них убеждение, что жизнь, безусловно, осмысленна. Я хорошо помню, как после публичной лекции, которую меня пригласили прочесть в Университете Нового Орлеана, ко мне подошел человек, хотевший лишь пожать мою руку и поблагодарить меня. Это был действительно “человек с улицы”: он был дорожным рабочим, который провел одиннадцать лет в тюрьме, и единственное, что внутренне поддерживало его, была книга “Человек в поисках смысла”, которую он нашел в тюремной библиотеке. Так что логотерапия — это не просто интеллектуальное занятие.

Логотерапевт — не моралист и не интеллектуал. Его работа основывается на эмпирическом, то есть феноменологическом, анализе, а феноменологический анализ процессов переживания ценностей простым человеком с улицы показывает, что человек может найти смысл жизни в создании творческого продукта, или совершении дела, или в переживании добра, истины и красоты, в переживании природы и культуры; или — последнее по порядку, но не по значению — во встрече с другим уникальным человеком, с самой его уникальностью, иными словами — в любви. Однако наиболее благороден и возвышен смысл жизни для тех людей, кто, будучи лишен возможности найти смысл в деле, творении или любви, посредством самого отношения к своему тяжелому положению, которое они выбирают, поднимаются над ним и перерастают собственные пределы. Значима позиция, которую они выбирают, — позиция, которая позволяет превратить тяжелое положение в достижение, триумф и героизм.

Если говорить в этом контексте о ценностях, можно разделить их на три основные группы. Я называю их ценностями творчества, ценностями переживания и ценностями отношения. Этот ряд отража-

ет три основных пути, какими человек может найти смысл в жизни. Первый — это что он *дает* миру в своих творениях; второй — это что он *берет* от мира в своих встречах и переживаниях; третий — это *позиция, которую он занимает* по отношению к своему тяжелому положению в том случае, если он не может изменить свою тяжелую судьбу. Вот почему жизнь никогда не перестает иметь смысл, потому что даже человек, который лишен ценностей творчества и переживания, все еще имеет смысл своей жизни, ждущий осуществления, — смысл, содержащийся в праве пройти через страдание, не сгибаясь.

В качестве иллюстрации я хочу процитировать рабби Е. А. Гролмана, который однажды был вызван к женщине, умиравшей от неизлечимой болезни. “Как мне справиться с мыслями о реальности смерти?” — спросила она. — Рабби рассказывает: “Мы говорили с ней не один раз; как раввин, я рассказывал ей о понятии бессмертия, как оно представлено в нашей вере. Как дополнение я упомянул также и о ценностях отношения д-ра Франкла. Теологические соображения произвели на женщину мало впечатления, ценности же отношения возбудили ее любопытство, в особенности когда она узнала, что создателем этого понятия является психиатр, сидевший в концентрационном лагере. Этот человек и его учение захватили ее воображение, потому что ему были известны не только теории по поводу страдания. И тогда она немедленно решила, что, раз она не может избежать страдания, она зато может выбрать, как переносить свою болезнь. Она стала оплотом силы для всех вокруг нее, чьи сердца разрывались от боли. Сначала это было бравадой, но со временем действие все больше наполнялось смыслом. Она говорила мне: “Может быть, моим единственным движением к бессмертию будет способ, каким я встречаю несчастье. Хотя моя боль временами невыносима, я достигла внутреннего мира и удовлетворения, каких я никогда не знала раньше”. Она умерла, окруженная почетом, и ее до сих пор помнят в нашей общине как пример неукротимого мужества”.

Я не собираюсь в этом контексте рассматривать отношения между логотерапией и теологией <...>. Достаточно сказать, что принцип ценности отношения прием-

лем независимо от того, исповедует ли человек религиозную философию жизни. Понятие ценности отношения вытекает не из моральных или этических предписаний, а из эмпирического и фактического описания того, что происходит в человеке, когда он оценивает собственное поведение или поведение другого. Логотерапия основывается на *утверждениях о ценностях как фактах*, а не на *суждениях о фактах как ценностях*. А это факт, что человек с улицы ценит того, кто несет свой крест с “неукротимым мужеством” (как пишет рабби Гролман), больше, чем того, кто просто достигает успеха, даже если это очень большой успех, будь то в денежных делах бизнесмена или в любовных утехх плейбоя.

Позвольте мне подчеркнуть, что я имею в виду лишь “судьбу, которую нельзя изменить”. Принятие страдания при излечимой болезни, например, операбельном раке, не содержит никакого смысла. Это своеобразная форма мазохизма, а не героизма. Не столь абстрактный пример может пояснить эту мысль. Однажды я наткнулся на объявление, сформулированное в виде следующего стихотворения:

Принимай без суеты,
Что судьба тебе приносит.
Но клопы — другое дело:
Обратись-ка к Розенштейну!

Ричард Тротмен, касаясь в своем книжном обзоре <...> моей немецкой книги “*Homo patiens*” <...>, совершенно справедливо говорит о “страдании как о том, что должно быть элиминировано любой ценой”. Однако можно предполагать, что, будучи доктором медицины, он знает, что человек иногда сталкивается со страданием, которого невозможно избежать; что человек есть существо, которое рано или поздно должно умереть, должно страдать — несмотря на все успехи столь почитаемых прогресса и сциентизма. Закрывать глаза на эти экзистенциальные “факты жизни” — значит усиливать эскапизм наших невротических пациентов. Желательно избегать страдания, насколько это возможно. Но как быть с неизбежным страданием? Логотерапия учит, что боли нужно избегать, пока только возможно ее избегать. Но если уж несущая боль судьба не может быть изменена, она не только должна быть принята, но может быть пре-

вращена в нечто осмысленное, в достижение. Я сомневаюсь, чтобы такой подход действительно “показывал регрессивную тенденцию к саморазрушительной покорности”, как утверждает Ричард Тротмен.

В определенном смысле понятие ценностей отношения шире, чем смысл, который можно найти в страдании. Страдание — это лишь один аспект того, что я называю “трагической триадой” человеческого существования. Эта триада состоит из боли, вины и смерти. Ни один человек не может сказать, что он не терпел неудачи, что он не страдал и что он не умрет.

Читатель может заметить, что здесь вводится третья триада. Первая триада состояла из свободы воли, воли к смыслу и смысла жизни. Смысл жизни представлен второй триадой — ценностями творчества, переживания и отношения. А ценности отношения подразделяются на третью триаду — осмысленное отношение к боли, вине и смерти.

Разговор о “трагической” триаде не должен приводить читателя к мысли, что логотерапия пессимистична, как говорят об экзистенциализме. Логотерапия скорее — оптимистическое отношение к жизни, потому что она учит тому, что нет трагических и негативных аспектов, которые не могли бы посредством занимаемой по отношению к ним позиции быть превращены в позитивные достижения.

Но есть различия в позициях, которые человек может занять по отношению к боли и вине. В случае боли человек занимает определенную позицию по отношению к своей судьбе. Иначе страдание не будет иметь смысла. В случае же вины человек занимает позицию по отношению к самому себе. Что еще более важно, судьба не может быть изменена — иначе это не была бы судьба. Человек же может изменить себя, иначе он не был бы человеком. Способность формировать и переформировывать себя — прерогатива человеческого существования. Иными словами, это привилегия человека — становиться виновным, и его ответственность — преодолеть вину. Как писал мне в письме редактор тюремной газеты “Сан-Квентин Ньюс”, человек “имеет возможность преобразования себя”.

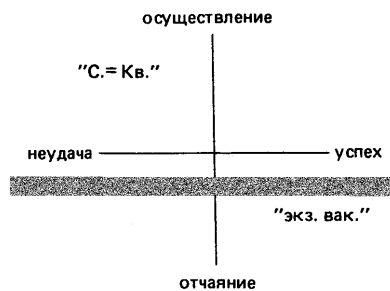
Никто не дал такого глубокого феноменологического анализа этого преобразо-

вания, как Макс Шелер в одной из своих книг <...>, в главе “Раскаяние и возрождение”. Он также указывает, что человек имеет *право* считаться виновным и быть наказанным. Если мы рассматриваем человека как жертву обстоятельств и их влияния, мы не только перестаем считать его человеком, но также *наносим ущерб* его воле к изменению.

Вернемся к третьему аспекту трагической триады человеческого существования, то есть бренности жизни. Человек видит обычно лишь стерню бренности и не обращает внимания на полный амбар прошлого. В прошлом ничто не является неправомерно утраченным, но все неотторжимо сохраняется в полной безопасности и надежности. Никто и ничто не может лишить нас того, что мы сохраняем в прошлом. То, что мы сделали, не может быть переделано. Это увеличивает ответственность человека. Перед лицом бренности жизни он отвечает за использование возможностей для актуализации потенций, реализации ценностей — будь то ценностей творчества, переживания или отношения. Иными словами, человек отвечает за то, что он делает, кого он любит и как страдает. Если он реализовал ценность, если он осуществил смысл, то осуществил его раз и навсегда.

Вернемся теперь к простому человеку с улицы и бизнесмену. Первый оценивает успех второго как в определенном “измерении” более низкий по сравнению с тем, кто смог превратить приговор судьбы в достижение. “Многомерная” антропология, о которой говорилось выше, может помочь нам понять, что означает высшее и низшее. Обычно в своей повседневной жизни человек движется в измерении, позитивным полюсом которого является успех, а негативным — неудача (см. рис.). Это измерение компетентного человека Homo sapiens. Но Homo patiens, страдающий человек, который посредством своей человеческой сути способен подняться над своим страданием и занять позицию по отношению к нему, движется в измерении, так сказать, перпендикулярном предыдущему, в измерении, позитивным полюсом которого является осуществление, а негативным — отчаяние. Человек, даже если он стремится к успеху, не зависит от своей судьбы, которая *допускает или не допускает* ус-

пех. Человек посредством отношения, которое он выбирает, способен найти и осуществить смысл даже в безнадежной ситуации. Этот факт понятен только в многомерном подходе, который отводит ценностям отношения более высокое положение, чем ценностям творчества и переживания. Ценности отношения — самые высокие из возможных. Смысл страдания — лишь неизбежного страдания, конечно, — самый глубокий из всех возможных смыслов.



Рольф Экартсберг провел в Гарвардском университете исследование приспособленности к жизни его выпускников. В результате оказалось, что среди 100 человек, окончивших университет двадцатью годами ранее, значительная часть пережила кризис. Люди жаловались на то, что их жизнь бесцельна и бессмысленна, — и это несмотря на то, что они вполне успешно справлялись со своей профессиональной работой в качестве адвокатов, врачей, хирургов и (последнее по порядку, но не по значению) — психоаналитиков, как мы можем предположить; они также не испытывали неудач в семейной жизни. Они были охвачены экзистенциальным вакуумом. В нашей диаграмме они должны быть помещены в точку “экз. вак.”, под успехом и справа от отчаяния. Феномен *отчаяния, несмотря на успех*, может быть выражен только в рамках двух независимых измерений.

С другой стороны, существует феномен, который может быть назван *осуществлением, несмотря на неудачу*. Он помещен в верхнем левом углу и назван “С-Кв.”, по названию тюрьмы Сан-Квентин, потому что именно там я встретил человека, свидетелем которого я был в пользу моего утверждения, что смысл может быть обнаружен в жизни буквально в последнее мгновение, перед лицом смерти. Меня пригласили посетить

редактора “Сан-Квентин Ньюс” в калифорнийской государственной тюрьме, который сам был заключенным этой тюрьмы. После того как он опубликовал в газете обзор моей книги, решено было, чтобы он встретился со мной. Это интервью передавалось по радио в камерах тюрьмы тысячам заключенных, включая смертников. Одному из них, который должен был быть казнен в газовой камере четыремя днями позже, меня попросили специально сказать несколько слов. Как я должен был это сделать? Обращаясь к личному опыту, почерпнутому из другого места, где людей также отправляли в газовые камеры, я выразил свою убежденность в том, что жизнь либо имеет смысл и в таком случае этот смысл не зависит от ее продолжительности, либо она не имеет смысла и в таком случае было бы бесцельным продолжать ее.

Затем я обратился к повести Толстого “Смерть Ивана Ильича”. Таким способом я хотел показать узникам, что человек может подняться над самим собой, вырасти выше себя — даже в последнее мгновение — и таким образом внести смысл даже в потерянную прошлую жизнь. Поверите ли вы, что обращение было воспринято заключенными? Позже из письма администратора калифорнийской государственной тюрьмы я узнал, что “статья в “Сан-Квентин Ньюс”, описывавшая посещение доктора Франкла, заняла первое место в конкурсе тюремных журналов, организованном Университетом Южного Иллинойса. Она получила высшую оценку в представительных группах, собранных из более чем 150 американских исправительных заведений”. Когда я поздравил в письме победителя конкурса, он ответил, что “запись нашего разговора получила широкое распространение в тюрьме, но что высказывалась критика вроде того, что это “хорошо в теории, но в жизни все иначе””. Далее он сообщил мне следующее: “Я собираюсь написать очерк от редакции, основанный на нашей теперешней ситуации, на наших непосредственных трудностях, показывающий, что и в жизни это действительно так”.

Давайте извлечем урок как из Сан-Квентина, так и из Гарварда. Люди, приговоренные к пожизненному заключению

или к смерти в газовой камере, имеют возможность “триумфа”, в то время как люди, пользующиеся успехом, могут находиться в “отчаянии”. Два американских автора изучали психологию заключенных концентрационных лагерей. Как они интерпретировали то, что должны были пережить эти заключенные? Как описывается смысл этого страдания при проецировании его в измерение аналитического и динамического психологизма? “Заключенные, — пишет один из авторов, — регрессировали к нарциссическому положению. пытки...” — каким, вы полагаете, мог быть смысл, который заключенные могли извлечь из страданий под пытками? Слушайте: “Пытки, которым их подвергали, имели для них бессознательный смысл кастрации”.

Даже если мы согласимся, что материал исследования репрезентативен, очевидно, что смысл страдания не может быть понят в рамках чисто аналитической и динамической интерпретации.

В заключение давайте послушаем человека, который должен знать это лучше, чем психоаналитические теории, — человека, который в детстве был заключенным Освенцима и вышел оттуда все еще мальчиком: Иегуда Бэкон, один из ведущих артистов Израиля, однажды опубликовал следующие воспоминания о своих переживаниях в течение первого периода после освобождения из концентрационного лагеря: Я помню одно из моих первых впечатлений после войны; я увидел похоронную процессию с огромным гробом и с музыкой, и я начал смеяться: “Что они, с ума сошли, что поднимают такой шум по поводу одного трупа?” Когда я оказывался на концерте или в театре, я подсчитывал в уме, сколько потребовалось бы времени, чтобы умертвить газом данное количество людей, сколько одежды, золотых зубов осталось бы, сколько мешков волос получилось бы. Это по поводу страданий Иегуды Бэкона. Теперь — об их смысле: Мальчиком я думал: “Я расскажу им, что я видел, в надежде, что люди изменятся к лучшему. Но люди не менялись и даже не хотели знать. Гораздо позже я понял смысл страдания. Оно может иметь смысл, если оно меняет к лучшему *тебя самого*” <...>.

А.Н.Леонтьев

[СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ]¹

1. Индивид и личность

Изучая особый класс жизненных процессов, научная психология необходимо рассматривает их как проявления жизни материального *субъекта*. В тех случаях, когда имеется в виду отдельный субъект (а не вид, не сообщество, не общество), мы говорим *особь* или, если мы хотим подчеркнуть также и его отличия от других представителей вида, *индивид*.

Понятие “индивид” выражает неделимость, целостность и особенности конкретного субъекта, возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. Индивид как целостность — это продукт биологической эволюции, в ходе которой происходит процесс не только дифференциации органов и функций, но также и их интеграции, их взаимного “слаживания”. Процесс такого внутреннего слаживания хорошо известен, он отмечался Ч. Дарвином, описывался в терминах коррелятивного приспособления Ж. Кювье, Ж. Плате, Дж. Осборном и другими. Функцию вторичных коррелятивных изменений организмов, создающих целостность их организации, особенно подчеркнул в своей “гипотезе корреляции” А. Н. Северцов.

Индивид — это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, и в онтогенезе, прижизненно.

Поэтому в характеристику индивида входят также свойства и их интеграции, складывающиеся онтогенетически. Речь идет о возникающих “сплавах” врожденных и приобретенных реакций, об изменении предметного содержания потребностей, о формирующихся доминантах поведения. Наиболее общее правило состоит здесь в том, что, чем выше мы поднимаемся по лестнице биологической эволюции, чем сложнее становятся жизненные проявления индивидов и их организация, тем более выраженными становятся различия в их прирожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более, если можно так выразиться, *индивиды индивидуализируются*.

Итак, в основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности субъекта и наличия свойственных ему особенностей. Представляя собой продукт филогенетического и онтогенетического развития в определенных внешних условиях, индивид, однако, отнюдь не является простой “калькой” этих условий, это именно продукт развития *жизни*, взаимодействия со средой, а не среды, взятой самой по себе.

Все это достаточно известно, и если я все же начал с понятия индивида, то лишь потому, что в психологии оно употребляется в чрезмерно широком значении, приводящем к неразличению особенностей человека как индивида и его особенностей как личности. Но как раз их четкое различение, а соответственно и лежащее в его основе различение понятий “индивид” и “личность” составляет необходимую предпосылку психологического анализа личности.

Наш язык хорошо отражает несовпадение этих понятий: слово *личность* употребляется нами только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого этапа его развития. Мы не говорим “личность животного” или “личность новорожденного”. Никто, однако, не затрудняется говорить о животном и о новорожденном как об индивидах, об их индивидуальных особенностях (возбудимое, спокойное, агрессивное животное и т. д.; то же, конечно, и о новорожденном). Мы всерьез не говорим о личности даже двух-

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения: В. 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. С. 195—205, 214—219.

летнего ребенка, хотя он проявляет не только свои генотипические особенности, но и великое множество особенностей, приобретенных под воздействием социального окружения; кстати сказать, это обстоятельство лишний раз свидетельствует против понимания личности как продукта перекрещивания биологического и социального факторов. Любопытно, наконец, что в психопатологии описываются случаи раздвоения личности, и это отнюдь не фигуральное только выражение; но никакой патологический процесс не может привести к раздвоению индивида: раздвоенный, “разделенный” индивид есть бессмыслица, противоречие в терминах.

Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целостность субъекта жизни; личность не состоит из кусочков, это не “полипняк”. Но личность представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не рождаются, личностью *становятся*. Поэтому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на ранних ступенях онтогенеза не менее ярко, чем на более поздних возрастных этапах. *Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека*. Об этом писал, в частности, и С. Л. Рубинштейн¹.

Это положение может быть, однако, интерпретировано по-разному. Одна из возможных его интерпретаций состоит в следующем: врожденный, если можно так выразиться, индивид не есть еще индивид вполне “готовый”, и вначале многие его черты даны лишь виртуально, как возможность; процесс его формирования продолжается в ходе онтогенетического развития, пока у него не развернутся все его особенности, образующие относительно устойчивую структуру; личность якобы является результатом процесса вызревания генотипических черт под влиянием воздействий социальной среды. Именно эта интерпретация свойственна в той или иной форме большинству современных концепций.

Другое понимание состоит в том, что формирование личности есть процесс *sui*

generis, прямо не совпадающий с процессом прижизненного изменения природных свойств индивида в ходе его приспособления к внешней среде. Человек как природное существо есть индивид, обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими силами биологических потребностей, аффективности и многими другими чертами, которые в ходе онтогенетического развития частью разворачиваются, а частью подавляются, словом, многообразно меняются. Однако не изменения этих врожденных свойств человека порождают его личность.

Личность есть специальное человеческое образование, которое так же не может быть выведено из его приспособительной деятельности, как не могут быть выведены из нее его сознание или его человеческие потребности. Как и сознание человека, как и его потребности (Маркс говорит: *производство* сознания, *производство* потребностей), личность человека тоже “производится” — создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельство, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности.

Выразим это иначе: особенности, характеризующие одно единство (индивида), не просто переходят в особенности другого единства, другого образования (личности), так что первые уничтожаются; они сохраняются, но именно как особенности индивида. Так, особенности высшей нервной деятельности индивида не становятся особенностями его личности и не определяют ее. Хотя функционирование нервной системы составляет, конечно, необходимую предпосылку развития личности, но ее тип вовсе не является тем “скелетом”, на котором она строится. Сила или слабость нервных процессов, уравновешенность их и т.д. проявляют себя лишь на уровне механизмов, посредством которых реализуется система отношений индивида с миром. Это и определяет неоднозначность их роли в формировании личности.

¹ См.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940. С. 515—516.

Чтобы подчеркнуть сказанное, я позволю себе некоторое отступление. Когда речь заходит о личности, мы привычно ассоциируем ее психологическую характеристику с ближайшим, так сказать, субстратом психики — центральными нервными процессами. Представим себе, однако, следующий случай: у ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, обрекающий его на хромоту. Подобная грубо анатомическая исключительность очень далека от того класса особенностей, которые входят в перечни особенностей личности (в так называемую их “структуру”), тем не менее ее значение для формирования личности несопоставимо больше, чем, скажем, слабый тип нервной системы. Подумать только, сверстники гоняют во дворе мяч, а хромающий мальчик — в сторонке; потом, когда он становится постарше и приходит время танцев, ему не остается ничего другого, как “подпирать стенку”. Как сложится в этих условиях его личность? Это невозможно предсказать, невозможно именно потому, что даже столь грубая исключительность индивида однозначно не определяет формирования его как личности. *Сама по себе* она не способна породить, скажем, комплекса неполноценности, замкнутости или, напротив, доброжелательной внимательности к людям и вообще никаких собственно психологических особенностей человека как личности. Парадокс в том, что предпосылки развития личности по самому существу своему безличны.

Личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того особого образования, которое мы называем личностью. Оно определяется природой самих порождающих его отношений: это специфические для человека *общественные* отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности. Как мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они характеризуются общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регулирование, т. е. наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосознания субъекта.

Так же как и сами эти деятельности, процесс их объединения — возникновение, развития и распада связей между ними — есть процесс особого рода, подчиненный особым закономерностям.

Изучение процесса объединения, связывания деятельностей субъекта, в результате которого формируется его личность, представляет собой капитальную задачу психологического исследования. Ее решение, однако, невозможно ни в рамках субъективно-эмпирической психологии, ни в рамках поведенческих или “глубинных” психологических направлений, в том числе и их новейших вариантов. Задача эта требует анализа предметной деятельности субъекта, всегда, конечно, опосредствованной процессами сознания, которые и “сшивают” отдельные деятельности между собой. Поэтому демистификация представлений о личности возможна лишь в психологии, в основе которой лежит учение о деятельности, ее строении, ее развитии и ее преобразованиях, о различных ее видах и формах. Только при этом условии полностью уничтожается упомянутое выше противопоставление “личностной психологии” и “психологии функций”, так как невозможно противопоставлять личность порождающей ее деятельности. Полностью уничтожается и господствующий в психологии фетишизм — приписывание свойства “быть личностью” самой *натуре* индивида, так что под давлением внешней среды меняются лишь проявления этого мистического свойства.

Фетишизм, о котором идет речь, является результатом игнорирования того важнейшего положения, что субъект, вступая в обществе в новую систему отношений, обретает также новые — системные — качества, которые только и образуют действительную характеристику личности: психологическую, когда субъект рассматривается в системе деятельностей, осуществляющих его жизнь в обществе, социальную, когда мы рассматриваем его в системе объективных отношений общества как их “персонификацию”¹.

Здесь мы подходим к главной методологической проблеме, которая кроется за различием понятий “индивид” и “личность”. Речь идет о проблеме двойственно-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 244; Т. 46. Ч. 1. С. 505.

сти качеств социальных объектов, порождаемых двойственностью объективных отношений, в которых они существуют. Как известно, открытие этой двойственности принадлежит Марксу, показавшему двойственный характер труда, производимого продукта и, наконец, двойственность самого человека как “субъекта природы” и “субъекта общества”¹.

Для научной психологии личности это фундаментальное методологическое открытие имеет решающее значение. Оно радикально меняет понимание ее предмета и разрушает укоренившиеся в ней схемы, в которые включаются такие разнородные черты, или “подструктуры”, как, например, моральные качества, знания, навыки и привычки, формы психического отражения и темперамент. Источником подобных “схем личности” является представление о развитии личности как о результате наслаивания прижизненных приобретений на некий предсуществующий метаспсихологический базис. Но как раз с этой точки зрения личность как специфически человеческое образование вообще не может быть понята.

Действительный путь исследования личности заключается в изучении тех трансформаций субъекта (или, говоря языком Л. Сэва, “фундаментальных переворачиваний”), которые создаются самодвижением его деятельности в системе общественных отношений². На этом пути мы, однако, с самого начала сталкиваемся с необходимостью переосмыслить некоторые общие теоретические положения.

Одно из них, от которого зависит исходная постановка проблемы личности, возвращает нас к уже упомянутому положению о том, что внешние условия действуют через внутренние. “Положение, согласно которому внешние воздействия связаны со своим психическим эффектом опосредствованно через личность, является тем центром, исходя из которого определяется теоретический подход ко всем проблемам психологии личности...”³. То, что внешнее действует через внутреннее, верно, и к тому же безогово-

рочно верно, для случаев, когда мы рассматриваем эффект того или иного воздействия. Другое дело, если видеть в этом положении ключ к пониманию внутреннего как *личности*. Автор поясняет, что это внутреннее само зависит от предшествующих внешних воздействий. Но этим возникновение личности как *особой* целостности, прямо не совпадающей с целостностью индивида, еще не раскрывается, и поэтому по-прежнему остается возможность понимания личности лишь как обогащенного предшествующим опытом индивида.

Мне представляется, что, для того чтобы найти подход к проблеме, следует с самого начала обернуть исходный тезис: внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет. Положение это имеет совершенно реальный смысл. Ведь первоначально субъект жизни вообще выступает лишь как обладающий, если воспользоваться выражением Энгельса, “самостоятельной силой реакции”, но эта сила может действовать только через внешнее, в этом внешнем и происходит ее переход из возможности в действительность: ее конкретизация, ее развитие и обогащение, — словом, ее преобразования, которые суть преобразования и самого субъекта, ее носителя. Теперь, т.е. в качестве преобразованного субъекта, он и выступает как преломляющий в своих текущих состояниях внешние воздействия.

Конечно, сказанное представляет собой лишь теоретическую абстракцию. Но описываемое ею общее движение сохраняется на всех уровнях развития субъекта. Повторю еще раз: ведь какой бы морфологической организацией, какими бы потребностями и инстинктами ни обладал индивид от рождения, они выступают лишь как предпосылки его развития, которые тотчас перестают быть тем, чем они были виртуально, “в себе”, как только индивид начинает действовать. Понимание этой метаморфозы особенно важно, когда мы переходим к человеку, к проблеме его личности.

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 50; Т. 46. Ч. 1. С. 89; Т. 46. Ч. II. С. 19.

² См.: Сэв Л. Марксизм и теория личности. М., 1972. С. 413.

³ Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 118.

2. Деятельность как основание личности

Главная задача состоит в том, чтобы выявить действительные “образующие” личности — этого высшего единства человека, изменчивого, как изменчива сама его жизнь, и вместе с тем сохраняющего свое постоянство, свою аутоидентичность. Ведь независимо от накапливаемого человеком опыта, от событий, которые меняют его жизненное положение, наконец, независимо от происходящих физических его изменений, он как *личность* остается и в глазах других людей, и для самого себя тем же самым. Он идентифицируется не только своим именем, его идентифицирует и закон, по крайней мере в пределах, в которых он признается ответственным за свои поступки.

Таким образом, существует известное противоречие между очевидной физической, психофизиологической изменчивостью человека и устойчивостью его как личности. Это и выдвинуло проблему “я” в качестве особой проблемы психологии личности. Она возникает потому, что черты, включаемые в психологическую характеристику личности, выражают явно изменчивое и “прерывное” в человеке, т. е. то, чему как раз противостоит постоянство и непрерывность его “я”. Что же образует это постоянство и непрерывность? Персонализм во всех своих вариантах отвечает на этот вопрос, постулируя существование некоего особого начала, образующего ядро личности. Оно-то и обрастает многочисленными жизненными приобретениями, которые способны изменяться, существенно не затрагивая самого этого ядра.

При другом подходе к личности в его основу кладется категория предметной человеческой деятельности, анализ ее внутреннего строения: ее опосредствований и порождаемых ею форм психического отражения.

Такой подход уже с самого начала позволяет дать предварительное решение вопроса о том, что образует устойчивый базис личности, от которой и зависит, что именно входит и что не входит в характеристику человека именно как *личности*. Решение это исходит из положения, что

реальным базисом личности человека является совокупность его общественных отношений к миру, но отношений, которые *реализуются*, а они реализуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообразных деятельностей.

Имеются в виду именно *деятельности* субъекта, которые и являются исходными “единицами” психологического анализа личности, а не действия, не операции, не психофизиологические функции или блоки этих функций; последние характеризуют деятельность, а не непосредственно личность. На первый взгляд это положение кажется противоречащим эмпирическим представлениям о личности и, более того, обедняющим их. Тем не менее оно единственно открывает путь к пониманию личности, в ее действительной психологической конкретности.

Прежде всего на этом пути устраняется главная трудность: определение того, какие процессы и особенности человека относятся к числу психологически характеризующих его личность, а какие являются в этом смысле нейтральными. Дело в том, что, взятые сами по себе, в абстракции от системы деятельности, они вообще ничего не говорят о своем отношении к личности. Едва ли, например, разумно рассматривать как “личностные” операции письма, способность чистописания. Но вот перед нами образ героя повести Гоголя “Шинель” Акакия Акакиевича Башмачкина. Служил он в некоем департаменте чиновником для переписывания казенных бумаг, и виделся ему в этом занятии целый разнообразный и притягательный мир. Окончив работу, Акакий Акакиевич тотчас шел домой. Наскоро пообедав, вынимал баночку с чернилами и принимался переписывать бумаги, которые он принес домой, если же таковых не случалось, он снимал копии нарочно, для себя, для собственного удовольствия. “Написавшись всласть, — повествует Гоголь, — он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра”.

Как произошло, как случилось, что переписывание казенных бумаг заняло центральное место в его личности, стало смыслом его жизни? Мы не знаем конкретных обстоятельств, но так или иначе обстоятельства эти привели к тому, что произошел сдвиг одного из главных мотивов на

обычно совершенно безличные операции, которые в силу этого превратились в самостоятельную деятельность, в этом качестве они и выступили как характеризующие личность.

Можно, конечно, рассуждать и иначе, проще: что в этом-де проявилась некая “каллиграфическая способность”, заложенная в Башмачкине от природы. Но рассуждение это уже совершенно в духе начальников Акакия Акакиевича, которые постоянно видели его все тем же самым прилежным чиновником для письма, “так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет...”.

Иногда дело обстоит иначе. В том, что с внешней стороны кажется действиями, имеющими для человека самоценное значение, психологический анализ открывает иное, а именно, что они являются лишь средством достижения целей, действительный мотив которых лежит как бы в совершенно иной плоскости жизни. В этом случае за видимостью одной деятельности скрывается другая. Именно она-то непосредственно и входит в психологический облик личности, какой бы ни была осуществляющая ее совокупность конкретных действий. Последняя составляет как бы только оболочку этой другой деятельности, реализующей то или иное действительное отношение человека к миру, — оболочку, которая зависит от условий, иногда случайных. Вот почему, например, тот факт, что данный человек работает техником, сам по себе еще ничего не говорит о его личности; ее особенности обнаруживают себя не в этом, а в тех отношениях, в которые он неизбежно вступает, может быть, в процессе своего труда, а может быть, и вне этого процесса. Все это почти трюизмы, и я говорю об этом лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что, исходя из набора отдельных психологических или социально-психологических особенностей человека, никакой “структуры личности” получить невозможно, что реальное основание личности человека лежит не в заложенных в нем генетических программах, не в глубинах его природных задатков и влечений и даже не в приобретенных им навыках, знаниях и умениях, в том числе и профессиональных, а в той системе деятельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями.

Общий вывод из сказанного состоит в том, что в исследовании личности нельзя ограничиваться выяснением предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и форм и тех связей, в которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет значение самих этих предпосылок. Таким образом, направление исследования обращается — не от приобретенных навыков, умений и знаний к характеризующим ими деятельности, а от содержания и связей деятельностей к тому, как и какие процессы их реализуют, делают их возможными.

Уже первые шаги в указанном направлении приводят к возможности выделить очень важный факт. Он заключается в том, что в ходе развития субъекта отдельные его деятельности вступают между собой в иерархические отношения. На уровне личности они отнюдь не образуют простого пучка, лучи которого имеют свой источник и центр в субъекте. Представление о связях между деятельностями как о коренящихся в единстве и целостности их субъекта является оправданным лишь на уровне индивида. На этом уровне (у животного, у младенца) состав деятельностей и их взаимосвязи непосредственно определяются свойствами субъекта — общими и индивидуальными, врожденными и приобретаемыми прижизненно. Например, изменение избирательности и смена деятельности находятся в прямой зависимости от текущих состояний потребностей организма, от изменения его биологических доминант.

Другое дело — иерархические отношения деятельностей, которые характеризуют личность. Их особенностью является их “отвязанность” от состояний организма. Эти иерархии деятельностей порождаются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности.

Иначе говоря, “узлы”, соединяющие отдельные деятельности, завязываются не действием биологических или духовных сил субъекта, которые лежат в нем самом, а завязываются они в той системе отношений, в которые вступает субъект.

Наблюдение легко обнаруживает те первые “узлы”, с образования которых у ребенка начинается самый ранний этап формирования личности. В очень выразительной форме это явление однажды выступило в

опытах с детьми-дошкольниками. Экспериментатор, проводивший опыты, ставил перед ребенком задачу — достать удаленный от него предмет, непременно выполняя правило — не вставать со своего места. Как только ребенок принимался решать задачу, экспериментатор переходил в соседнюю комнату, из которой и продолжал наблюдение, пользуясь обычно применяемым для этого оптическим приспособлением. Однажды после ряда безуспешных попыток малыш встал, подошел к предмету, взял его и спокойно вернулся на место. Экспериментатор тотчас вошел к ребенку, похвалил его за успех и в виде награды предложил ему шоколадную конфету. Ребенок, однако, отказался от нее, а когда экспериментатор стал настаивать, то малыш тихо заплакал.

Что лежит за этим феноменом? В процессе, который мы наблюдали, можно выделить три момента: 1) общение ребенка с экспериментатором, когда ему объяснялась задача; 2) решение задачи и 3) общение с экспериментатором после того, как ребенок взял предмет. Действия ребенка отвечали, таким образом, двум различным мотивам, т. е. осуществляли двоякую деятельность: одну — по отношению к экспериментатору, другую — по отношению к предмету (награде). Как показывает наблюдение, в то время, когда ребенок доставал предмет, ситуация не переживалась им как конфликтная, как ситуация “сшибки”. Иерархическая связь между обеими деятельностями обнаружилась только в момент возобновившегося общения с экспериментатором, так сказать, *post factum*: конфета оказалась горькой, горькой по своему субъективному, личностному смыслу.

Описанное явление принадлежит к самым ранним, переходным. Несмотря на всю наивность, с которой проявляются эти первые соподчинения разных жизненных отношений ребенка, именно они свидетельствуют о начавшемся процессе формирования того особого образования, которое мы называем личностью. Подобные соподчинения никогда не наблюдаются в более младшем возрасте, зато в дальнейшем развитии, в своих несоизмеримо более сложных и

“спрятанных” формах они заявляют о себе постоянно. Разве не по аналогичной схеме возникают такие глубоко личностные явления, как, скажем, угрызения совести?

Развитие, умножение видов деятельности индивида приводит не просто к расширению их “каталога”. Одновременно происходит центрирование их вокруг немногих главных, подчиняющих себе другие. Этот сложный и длительный процесс развития личности имеет свои этапы, свои стадии. Процесс этот неотделим от развития сознания, самосознания, но не сознание составляет его первооснову, оно лишь опосредствует и, так сказать, резюмирует данный процесс.

Итак, в основании личности лежат отношения соподчиненности человеческих деятельностей, порождаемые ходом их развития. В чем, однако, психологически выражается эта подчиненность, эта иерархия деятельностей? В соответствии с принятым нами определением мы называем деятельностью процесс, побуждаемый и направляемый мотивом — тем, в чем опредмечена та или иная потребность. Иначе говоря, за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов. Мы приходим, таким образом, к необходимости вернуться к анализу мотивов и рассмотреть их развитие, их трансформации, способность к раздвоению их функций и те их смещения, которые происходят внутри системы процессов, образующих жизнь человека как личности.

3. Мотивы, эмоции и личность

В современной психологии термином “мотив” (мотивация, мотивирующие факторы) обозначаются совершенно разные явления. Мотивами называют инстинктивные импульсы, биологические влечения и аппетиты, а равно переживание эмоций, интересы, желания; в пестром перечне мотивов можно обнаружить такие, как жизненные цели и идеалы, но также и такие, как раздражение электрическим током¹. Нет никакой надобности разбираться во всех

¹ В советской литературе достаточно полный обзор исследований мотивов приводится в книге: Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969. Последняя вышедшая книга, дающая сопоставительный анализ теорий мотивации, принадлежит К. Медсену (*Madsen K. B. Modern Theories of Motivation. Copenhagen, 1974*).

тех смещениях понятий и терминов, которые характеризуют нынешнее состояние проблемы мотивов. Задача психологического анализа личности требует рассмотреть лишь главные вопросы.

Прежде всего это вопрос о соотношении мотивов и потребностей. Я уже говорил, что собственно потребность — это всегда потребность в чем-то, что на психологическом уровне потребности опосредствованы психическим отражением, и притом двояко. С одной стороны, предметы, отвечающие потребностям субъекта, выступают перед ним своими объективными сигнальными признаками. С другой — сигнализируются, чувственно отражаются субъектом и сами потребностные состояния, в простейших случаях — в результате действия интерцептивных раздражителей. При этом важнейшее изменение, характеризующее переход на психологический уровень, состоит в возникновении *подвижных* связей потребностей с отвечающими им предметами.

Дело в том, что в самом потребностном состоянии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего первого удовлетворения потребность “не знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет — свою побудительную и направляющую деятельность функции, т. е. становится мотивом¹.

Подобное понимание мотивов кажется по меньшей мере односторонним, а потребности — исчезающими из психологии. Но это не так. Из психологии исчезают не потребности, а лишь их абстракты — “голые”, предметно не наполненные потребностные состояния субъекта. Абстракты эти появляются на сцену в результате обособления потребностей от предметной деятельности субъекта, в которой они единственно обретают свою психологическую конкретность.

Само собой разумеется, что субъект как индивид рождается наделенным потребностями. Но, повторяю это еще раз, потребность как внутренняя сила может реализоваться только в деятельности. Иначе говоря,

потребность первоначально выступает лишь как условие, как предпосылка деятельности, но, как только субъект начинает действовать, тотчас происходит ее трансформация, и потребность перестает быть тем, чем она была виртуально, “в себе”. Чем дальше идет развитие деятельности, тем более эта ее предпосылка превращается в ее результат.

Трансформация потребностей отчетливо выступает уже на уровне эволюции животных: в результате происходящего изменения и расширения круга предметов, отвечающих потребностям, и способов их удовлетворения развиваются и сами потребности. Это происходит потому, что потребности способны конкретизироваться в потенциально очень широком диапазоне объектов, которые и становятся побудителями деятельности животного, придающими ей определенную направленность. Например, при появлении в среде новых видов пищи и исчезновении прежних пищевая потребность, продолжая удовлетворяться, вместе с тем впитывает теперь в себя новое содержание, т. е. становится *иной*. Таким образом, развитие потребностей животных происходит путем развития их деятельности по отношению ко все более обогащаемому кругу предметов; разумеется, изменение конкретно-предметного содержания потребностей приводит к изменению также и способов их удовлетворения. <...>

Осознание мотивов есть явление вторичное, возникающее только на уровне личности и постоянно воспроизводящееся по ходу ее развития. Для совсем маленьких детей этой задачи просто не существует. Даже на этапе перехода к школьному возрасту, когда у ребенка появляется стремление пойти в школу, подлинный мотив, лежащий за этим стремлением, скрыт от него, хотя он и не затрудняется в мотивировках, обычно воспроизводящих *знаемое* им. Выяснить этот подлинный мотив можно только объективно, “со стороны”, изучая, например, игры детей “в ученика”, так как в ролевой игре легко обнажается личностный смысл игровых действий и, соответственно, их мотив². Для осознания действительных мотивов своей деятельности

¹ См.: Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1972.

² См.: Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры // Дошкольное воспитание. 1947. № 9; Божович Л. И., Морозова Н. Г., Славина Л. С. Развитие мотивов учения у советских школьников // Известия АПН РСФСР. М., 1951. Вып. 36.

субъект также вынужден идти по “обходному пути”, с той, однако, разницей, что на этом пути его ориентируют сигналы-переживания, эмоциональные “метки” событий.

День, наполненный множеством действий, казалось бы вполне успешных, тем не менее может испортить человеку настроение, оставить у него некий неприятный эмоциональный осадок. На фоне забот дня этот осадок едва замечается. Но вот наступает минута, когда человек как бы оглядывается и мысленно перебирает прожитый день, в эту-то минуту, когда в памяти всплывает определенное событие, его настроение приобретает предметную отнесенность: возникает аффективный сигнал, указывающий, что именно это событие и оставило у него эмоциональный осадок. Может статься, например, что это его негативная реакция на чей-то успех в достижении общей цели, единственно ради которой, как ему думалось, он действовал; и вот оказывается, что это не вполне так и что едва ли не главным для него мотивом было достижение успеха для себя. Он стоит перед “задачей на личностный смысл”, но она не решается сама собой, потому что теперь она стала задачей на соотношение мотивов, которое характеризует его как *личность*.

Нужна особая внутренняя работа, чтобы решить такую задачу и, может быть, отторгнуть от себя то, что обнажилось. Ведь беда, говорил Н. И. Пирогов, если вовремя этого не заметишь и не остановишься. Об этом писал и А. И. Герцен, а вся жизнь Л. Н. Толстого — великий пример такой внутренней работы. Процесс проникновения в личность выступает здесь со стороны субъекта, феноменально. Но даже и в этом феноменальном его проявлении видно, что он заключается в уяснении иерархических связей мотивов. Субъективно они кажутся выражающими психологические “валентности”, присутствующие самим мотивам. Однако научный анализ должен идти дальше, потому что образование этих связей необходимо предполагает трансформирование самих мотивов, происходящее в движении всей той системы деятельности субъекта, в которой формируется его личность.

4. Формирование личности

Ситуация развития человеческого индивида обнаруживает свои особенности уже на самых первых этапах. Главная из них — это опосредствованный характер связей ребенка с окружающим миром. Изначально прямые биологические связи *ребенок — мать* очень скоро опосредствуются предметами: мать кормит ребенка из чашки, надевает на него одежду и, занимая его, манипулирует игрушкой. Вместе с тем связи ребенка с вещами опосредствуются окружающими людьми: мать приближает ребенка к привлекающей его вещи, подносит ее к нему или, может быть, отнимает ее у него. Словом, деятельность ребенка все более выступает как реализующая его связи с человеком через вещи, а связи с вещами — через человека.

Эта ситуация развития приводит к тому, что вещи открываются ребенку не только в их физических свойствах, но и в том особом качестве, которое они приобретают в человеческой деятельности — в своем функциональном значении (чашка — из чего пьют, стул — на чем сидят, часы — то, что носят на руке, и т.д.), а люди — как “повелители” этих вещей, определяющие связи ребенка с вещами. Предметная деятельность ребенка приобретает орудийную структуру, а общение становится речевым, опосредствованным языком¹.

В этой исходной ситуации развития ребенка и содержится зерно тех отношений, дальнейшее развертывание которых составляет цепь событий, ведущих к формированию его как личности. Первоначально отношения к миру вещей и к окружающим людям слиты для ребенка между собой, но дальше происходит их раздвоение, и они образуют разные, хотя и взаимосвязанные, переходящие друг в друга линии развития.

В онтогенезе эти переходы выражаются в чередующихся сменах фаз: фаз преимущественно развития предметной (практической и познавательной) деятельности — фазами развития взаимоотноше-

¹ См.: *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. М., 1972. С. 368—378.

ний с людьми, с обществом¹. Но такие же переходы характеризуют движение мотивов внутри каждой фазы. В результате и возникают те иерархические связи мотивов, которые образуют “узлы” личности.

Завязывание этих узлов представляет собой процесс скрытый и на разных этапах развития выражающийся по-разному. Выше я описывал одно из явлений, характеризующих механизм этого процесса на стадии, когда включение предметного действия ребенка в его отношение к отсутствующему в данный момент взрослому хотя и меняет смысл достигнутого результата, но само действие еще полностью остается “полевым”. Как же происходят дальнейшие изменения? Факты, полученные в исследовании дошкольников разного возраста, показывают, что изменения эти подчиняются определенным правилам.

Одно из них состоит в том, что в ситуации разнонаправленной мотивации раньше возникает подчинение действия требованию человека, позже — объективным межпредметным связям. Другое открытое в опытах правило тоже выглядит несколько парадоксально: оказывается, что в условиях двояко мотивированной деятельности предметно-вещественный мотив способен выполнить функцию подчиняющего себе другой раньше, когда он дан ребенку в форме только представления, мысленно, и лишь позже — оставаясь в актуальном поле восприятия.

Хотя правила эти выражают генетическую последовательность, они имеют и общее значение. Дело в том, что при обострении ситуаций описанного типа возникает явление смещения (*décalage*), в результате которого обнажаются эти более простые управляющие отношения; известно, например, что подняться в атаку легче по прямому приказу командира, чем по самокоманде. Что же касается формы, в какой выступают мотивы, то в сложных обстоятельствах волевой деятельности очень ясно обнаруживается, что только идеальный мотив, т. е. мотив, лежащий вне векторов внешнего поля, способен подчинять себе действия с противоположно направленными внешними мотивами. Гово-

ря фигурально, психологический механизм жизни-подвига нужно искать в человеческом воображении.

Процесс формирования личности со стороны изменений, о которых идет речь, может быть представлен как развитие воли, и это не случайно. Безвольное, импульсивное действие есть действие безличное, хотя о потере воли можно говорить только по отношению к личности (ведь нельзя потерять то, чего не имеешь). Поэтому авторы, которые считают волю важнейшей чертой личности, с эмпирической точки зрения правы². Воля, однако, не является ни началом, ни даже “стержнем” личности, это лишь одно из ее выражений. Действительную основу личности составляет то особое строение целокупных деятельностей субъекта, которое возникает на определенном этапе развития его человеческих связей с миром. Человек живет как бы во все более расширяющейся для него действительности. Вначале это узкий круг непосредственно окружающих его людей и предметов, взаимодействие с ними, чувственное их восприятие и усвоение известного о них, усвоение их значения. Но далее перед ним начинает открываться действительность, лежащая далеко за пределами его практической деятельности и прямого общения: раздвигаются границы познаваемого, представляемого им мира. Истинное “поле”, которое определяет теперь его действия, есть не просто наличное, но существующее — существующее объективно или иногда только иллюзорно.

Знание субъектом этого существующего всегда опережает его превращение в определяющее его деятельность. Такое знание выполняет очень важную роль в формировании мотивов. На известном уровне развития мотивы сначала выступают как только “знаемые”, как возможные, реально еще не побуждающие никаких действий. Для понимания процесса формирования личности нужно непременно это учитывать, хотя само по себе расширение знаний не является определяющим для него; поэтому-то, кстати говоря, воспитание личности и не может сводиться к обучению, к сообщению знаний.

¹ См.: *Эльконин Д.Б.* К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. 1971. № 4.

² См.: *Селиванов В.И.* Личность и воля // Проблемы личности: Материалы симпозиума. С. 225—233.

Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и, соответственно, развития действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их мотивами. Явления такого перерастания хорошо известны и постоянно описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в других терминах; они-то и образуют так называемые кризисы развития — кризис трех лет, семи лет, подросткового периода, как и гораздо меньше изученные кризисы зрелости. В результате происходит сдвиг мотивов на цели, изменение их иерархии и рождение новых мотивов — новых видов деятельности; прежние цели психологически дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или превращаются в безличные операции.

Внутренние движущие силы этого процесса лежат в исходной двойственности связей субъекта с миром, в их двоякой опосредованности — предметной деятельностью и общением. Ее развертывание порождает не только двойственность мотивации действий, но благодаря этому также и соподчинения их, зависящие от открывающихся перед субъектом объективных отношений, в которые он вступает. Развитие и умножение этих особых по своей природе соподчинений, возникающих только в условиях жизни человека в обществе, занимает длительный период, который может быть назван этапом стихийного, не направляемого самосознанием складывания личности. На этом этапе, продолжающемся вплоть до подросткового возраста, процесс формирования личности, однако, не заканчивается, он только подготавливает рождение сознающей себя личности.

В педагогической и психологической литературе постоянно указывается то младший дошкольный, то подростковый возраст как переломные в этом отношении. Личность действительно рождается дважды: первый раз — когда у ребенка проявляются в явных формах полимотивированность и соподчиненность его действий (вспомним феномен “горькой конфеты” и подобные ему), второй раз — когда возникает его сознательная личность. В последнем слу-

чае имеется в виду какая-то особая перестройка сознания. Возникает задача — понять необходимость этой перестройки и то, в чем именно она состоит.

Эту необходимость создает то обстоятельство, что, чем более расширяются связи субъекта с миром, тем более они перекрещиваются между собой. Его действия, реализующие одну его деятельность, одно отношение, объективно оказываются реализующими и какое-то другое его отношение. Возможное несовпадение или противоречие их не создает, однако, альтернатив, которые решаются просто “арифметикой мотивов”. Реальная психологическая ситуация, порождаемая перекрещивающимися связями субъекта с миром, в которые независимо от него вовлекаются каждое его действие и каждый акт его общения с другими людьми, требует от него ориентировки в системе этих связей. Иными словами, психическое отражение, сознание уже не может оставаться ориентирующим лишь те или иные действия субъекта, оно должно также активно отражать иерархию их связей, процесс происходящего подчинения и переподчинения их мотивов. А это требует особого внутреннего движения сознания.

В движении индивидуального сознания, описанном раньше как процесс взаимопереходов непосредственно-чувственных содержаний и значений, приобретающих в зависимости от мотивов деятельности тот или иной смысл, теперь открывается движение еще в одном измерении. Если описанное раньше движение образно представить себе как движение в горизонтальной плоскости, то новое движение происходит как бы по вертикали. Оно заключается в соотношении мотивов друг с другом: некоторые занимают место подчиняющих себе другие и как бы возвышаются над ними, некоторые, наоборот, опускаются до положения подчиненных или даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление этого движения и выражает собой *становление связанной системы личностных смыслов* — становление личности.

Конечно, формирование личности представляет собой процесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. Поэтому, прослеживая

последовательное его течение, мы замечаем лишь отдельные сдвиги. Но если взглянуть на него как бы с некоторого удаления, то переход, знаменующий собой подлинное рождение личности, выступает как *событие*, изменяющее ход всего последующего психического развития.

Существуют многие явления, которые отмечают этот переход. Прежде всего это перестройка сферы отношений к другим людям, к обществу. Если на предшествующих стадиях общество открывается в расширяющихся общениях с окружающими и поэтому преимущественно в своих персонифицированных формах, то теперь это положение оборачивается: окружающие люди все более начинают выступать через объективные общественные отношения. Переход, о котором идет речь, и начинается с собой изменения, определяющие главное в развитии личности, в ее судьбе.

Необходимость для субъекта ориентироваться в расширяющейся системе его связей с миром раскрывается теперь в новом своем значении: как порождающая процесс развертывания общественной сущности субъекта. Во всей своей *полноте* это развертывание составляет перспективу исторического процесса. Применительно же к формированию личности на том или ином этапе развития общества и в зависимости от места, занимаемого индивидом в системе наличных общественных отношений, перспектива эта выступает лишь как эвентуально содержащая в себе идеальную “конечную точку”.

Одно из изменений, за которым скрывается новая перестройка иерархии мотивов, проявляется в утрате самооценности для подростка отношений в интимном круге его общения. Так, требования, идущие со стороны даже самых близких взрослых, сохраняют теперь свою смыслообразующую функцию лишь при условии, что они включены в более широкую социальную мотивационную сферу, в противном случае они вызывают явление “психологического бунтарства”. Это вхождение подростка в более широкий круг общения вовсе, однако, не значит, что интимное, личностное как бы отходит теперь на второй план. Напротив, именно в этот период и именно поэтому происходит интенсивное развитие внутренней жизни: наряду с приятельством возникает дружба, питаемая взаим-

ной конфиденциальностью, меняется содержание писем, которые теряют свой стереотипный и описательный характер, и в них появляются описания переживаний: делаются попытки вести интимные дневники и начинаются первые влюбленности.

Еще более глубокие изменения отмечают последующие уровни развития, включительно до уровня, на котором личностный смысл приобретает сама система объективных общественных отношений, ее выражения. Конечно, явления, возникающие на этом уровне, еще более сложны и могут быть по-настоящему трагическими, но и здесь происходит то же самое: чем более открывается для личности общество, тем более наполненным становится ее внутренний мир.

Процесс развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, неповторимым. Он дает сильные смещения по абсциссе возраста, а иногда вызывает социальную деградацию личности. Главное — он протекает совершенно по-разному в зависимости от конкретно-исторических условий, от принадлежности индивида к той или иной социальной среде. Он особенно драматичен в условиях классового общества с его неизбежными отчуждениями и парциализацией личности, с его альтернативами между подчинением и господством <...>.

5. [Некоторые параметры личности как возможные основания личностных типологий]

<...> Личность создается объективными обстоятельствами, но не иначе как через целокупность его деятельности, осуществляющей его отношения к миру. Ее особенности и образуют то, что определяет тип личности. Хотя вопросы дифференциальной психологии не входят в мою задачу, анализ формирования личности тем не менее приводит к проблеме общего подхода в исследовании этих вопросов.

Первое основание личности, которое не может игнорировать никакая дифференциально-психологическая концепция, есть богатство связей индивида с миром. Это богатство и отличает человека, жизнь которого охватывает обширный круг разно-

образной деятельности, от того берлинского учителя, “мир которого простирается от Моабита до Кепеника и наглухо заколочен за Гамбургскими воротами, отношения которого к этому миру сведены до минимума его жалким положением в жизни”¹. Само собою разумеется, что речь идет о *действительных*, а не об отчужденных от человека отношениях, которые противостоят ему и подчиняют его себе. Психологически мы выражаем эти действительные отношения через понятие деятельности, ее смыслообразующих мотивов, а не на языке стимулов и выполняемых операций. К этому нужно прибавить, что деятельности, составляющие основания личности, включают в себя также и деятельности теоретические и что в ходе развития круг их способен не только расширяться, но и оскудевать; в эмпирической психологии это называется “сужением интересов”. Одни люди этого оскудения не замечают, другие, подобно Ч. Дарвину, жалуются на это как на *беду*².

Различия, которые здесь существуют, являются не только количественными, выражающими меру широты открывшегося человеку мира в пространстве и времени — в его прошлом и будущем. За ними лежат различия в содержании тех предметных и социальных отношений, которые заданы объективными условиями эпохи, нации, класса. Поэтому подход к типологии личностей, даже если она учитывает только один этот *параметр*, как теперь принято говорить, не может не быть конкретно-историческим. Но психологический анализ не останавливается на этом, ибо связи личности с миром могут быть как беднее тех, что задаются объективными условиями, так и намного превосходить их.

Другой, и притом важнейший, параметр личности есть степень иерархизованности деятельностей, их мотивов. Степень эта бывает очень разной, независимо от того, узко или широко основание личности, образуемое ее связями с окружающим. Иерархии мотивов существуют всегда, на всех уровнях развития. Они-то и образуют относительно самостоятельные единицы жизни личности, которые могут быть

менее крупными или более крупными, разьединенными между собой или входящими в единую мотивационную сферу. Разьединенность этих иерархизованных внутри себя единиц жизни создает психологический облик человека, живущего *отрывочно* — то в одном “поле”, то в другом. Напротив, более высокая степень иерархизации мотивов выражается в том, что свои действия человек как бы примеривает к главному для него мотиву-цели, и тогда может оказаться, что одни стоят в противоречии с этим мотивом, другие прямо отвечают ему, а некоторые уводят в сторону от него.

Когда имеют в виду главный мотив, побуждающий человека, то обычно говорят о *жизненной цели*. Всегда ли, однако, этот мотив адекватно открывается сознанию? С порога ответить на этот вопрос нельзя, потому что осознание в форме понятия, идеи происходит не само собою, а в том движении индивидуального сознания, в результате которого субъект только и способен преломить свое внутреннее через систему усваиваемых им значений, понятий. Об этом уже говорилось, как и о той борьбе, которая ведется в обществе за сознание человека.

Смысловые единицы жизни могут собраться как бы в одну точку, но это формальная характеристика. Главным остается вопрос о том, какое место занимает эта точка в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя не всегда видимую индивидом, подлинную действительность. Вся жизнь Скупого рыцаря направлена на одну цель: возведение “державы золота”. Эта цель достигнута (“Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных все это стоило?”), но жизнь обрывается ничем, цель оказалась бессмысленной. Словами “Ужасный век, ужасные сердца!” заканчивает Пушкин трагедию о Скупом.

Иная личность, с иной судьбой складывается, когда ведущий мотив-цель возвышается до истинно человеческого и не обособливает человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их благом. В за-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 253.

² См.: Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера: Автобиография. М., 1957. С. 147—148.

висимости от обстоятельств, выпадающих на долю человека, такие жизненные мотивы могут приобретать очень разное содержание и разную объективную значительность, но только они способны создать внутреннюю психологическую оправданность его существования, которая составляет смысл и счастье жизни. Вершина этого пути — человек, ставший, по словам А. М. Горького, *человеком человечества*.

Здесь мы подходим к самому сложному параметру личности: к общему типу ее строения. Мотивационная сфера человека даже в наивысшем ее развитии никогда не напоминает застывшую пирамиду. Она может быть сдвинута, эксцентрична по отношению к актуальному пространству исторической действительности, и тогда мы говорим об односторонности личности. Она может сложиться, наоборот, как многосторонняя, включающая широкий круг отношений. Но и в том, и в другом случае она необходимо отражает объективное несоответствие этих отношений, противоречия между ними, смену места, которое они в ней занимают.

Структура личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизованных, мотивационных линий. Речь идет о том, что неполно описывается как “направленность личности”, неполно потому, что даже при наличии у человека отчетливой ведущей линии жизни она не может оставаться *единственной*. Служение избранной цели, идеалу вовсе не исключает и не поглощает других жизненных отношений человека, которые, в свою очередь, формируют смыслообразующие мотивы. Образно говоря, мотивационная сфера личности всегда является многовершинной, как и та объективная система аксиологических понятий, характеризующая идеологию данного общества, данного класса, социального слоя, которая коммуницируется и усваивается (или отвергается) человеком.

Внутренние соотношения главных мотивационных линий в целокупности деятельностей человека образуют как бы общий “психологический профиль” личности. Порой он складывается как уплощенный, лишенный настоящих вершин, тогда малое в жизни человек принимает за великое, а великого не видит совсем. Такая

нищета личности может при определенных социальных условиях сочетаться с удовлетворением как угодно широкого круга повседневных потребностей. В этом, кстати сказать, заключается та психологическая угроза, которую несет личности человека современное общество потребления.

Иная структура психологического профиля личности создается рядоположенностью жизненных мотивов, часто сочетающейся с возникновением мнимых вершин, образуемых только “знаемыми мотивами” — стереотипами идеалов, лишенных личностного смысла. Однако такая структура является преходящей: сначала рядоположенные линии разных жизненных отношений вступают затем во внутренние связи. Это происходит неизбежно, но не само собой, а в результате той внутренней работы, о которой я говорил выше и которая выступает в форме особого движения сознания.

Многообразные отношения, в которые человек вступает с действительностью, являются объективно противоречивыми. Их противоречивость и порождает конфликты, которые при определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности. Так, исторически возникшее отделение внутренней теоретической деятельности от практической не только порождает односторонность развития личности, но может вести к психологическому разладу, к расщеплению личности на две посторонние друг другу сферы — сферу ее проявлений в реальной жизни и сферу ее проявлений в жизни, которая существует только иллюзорно, только в аутистическом мышлении. Нельзя описать такой разлад психологически более проникновенно, чем это сделал Ф. М. Достоевский: от жалкого существования, заполненного бессмысленными делами, его герой уходит в жизнь воображения, в мечты; перед нами как бы две личности: одна — личность человека униженно-робкого, чудака, забившегося в свою нору, другая — личность романтическая и даже героическая, открытая всем жизненным радостям. И все-таки это жизнь одного и того же человека, поэтому неотвратимо наступает момент, когда мечты рассеиваются, приходят годы угрюмого одиночества, тоски и уныния.

Личность героя “Белых ночей” — явление особенное, даже исключительное. Но

через эту исключительность проступает общая психологическая правда. Правда эта состоит в том, что структура личности не сводится ни к богатству связей человека с миром, ни к степени их иерархизованности, что ее характеристика лежит в соотношении разных систем сложившихся жизненных отношений, порождающих борьбу между ними. Иногда эта борьба проходит во внешне неприметных, обыденно драматических, так сказать, формах и не нарушает гармоничности личности, ее развития; ведь гармоничная личность вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы. Однако иногда эта внутренняя борьба становится главным, что определяет весь облик человека, — такова структура трагической личности.

Итак, теоретический анализ позволяет выделить по меньшей мере три основных параметра личности: широту связей человека с миром, степень их иерархизованности и общую структуру. Конечно, эти параметры еще не дают дифференциально-психологической типологии, они способны служить не более чем скелетной схемой, которая еще должна быть наполнена живым конкретно-историческим содержанием. Но это задача специальных исследований. Не произойдет ли, однако, при этом подмена психологии социологией, не утратится ли “психологическое” в личности?

Вопрос этот возникает вследствие того, что подход, о котором идет речь, отличается от привычного в психологии личности антропологизма (или культур-антропологизма), рассматривающего личность как индивида, обладающего психофизиологическими и психологическими особенностями, измененными в процессе его адаптации к социальной среде. Он, напротив, требует рассматривать личность как *новое качество*, порождаемое движением системы объективных общественных отношений, в которое вовлекается его деятельность. Личность, таким образом, перестает казаться результатом прямого наслаивания внешних влияний; она выступает как то, что человек делает из себя, утверждая свою *человеческую* жизнь. Он утверждает ее и в повседневных делах и общениях, и в людях, которым он передает частицу себя, и на баррикадах классовых боев, и на полях сражений за Родину, порою сознательно утверждая ее даже ценой своей жизни.

Что же касается таких психологических “подструктур личности”, как темперамент, потребности и влечения, эмоциональные переживания и интересы, установки, навыки и привычки, нравственные черты и т. д., то они, разумеется, отнюдь не исчезают. Они только иначе открывают себя: одни — в виде условий, другие — в своих порождениях и трансформациях, в сменах своего места в личности, происходящих в процессе ее развития. <...>

В.В.Петухов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ¹

При организации знаний в курсах общей психологии, фундаментальных и прикладных, особое и постоянное место занимает проблема определения человека как предмета изучения. Следует признать, что понятийные содержания терминов, обозначающих человека — “*субъект*”, “*индивид*”, “*личность*”, “*индивидуальность*”, — часто пересекаются, оказываются размытыми. Несомненно, надежное теоретическое основание для самой постановки проблемы, освоенное в психологической классике и обсуждаемое до сих пор, заключается в том, что человек принадлежит миру и не может быть адекватно рассмотрен как независимый от него. По разумной традиции, так или иначе принятой представителями разных научных дисциплин и психологических направлений, действительные условия существования и развития человека, источники различных видов его опыта, жизненных проблем и средств их разрешения разделяют на три основных. Это — природа, общество и культура.

Не претендуя на полноту, определим природного, социального и культурного субъектов. Так, человек как часть природы (животное) есть субъект активного приспособления к ее изменяющимся условиям на основе врожденного опыта, сформированного в биологической эволюции. Как член определенного общества он является субъектом присвоения и полноценного использования наличных социальных норм (в том

числе — коллективных сознательных представлений), обладателем психических качеств, способностей, правил общения, отвечающих занимаемой им социальной позиции (и допустимых в ней). Наконец, субъект культуры — это человек, который самостоятельно и ответственно опирается в своих поступках, мыслях, переживаниях (прежде всего, в ситуациях мотивационного конфликта) на общечеловеческие нравственные принципы и способен, в частности, к осмысленному преобразованию собственных природных свойств и уже присвоенных социальных правил.

Конечно, понятие субъекта требует отнесения с понятием личности. В современной психологии, советской и мировой, объем этого понятия имеет, по крайней мере, три варианта (связанные с разными его содержаниями), и в первом из них фактически совпадает с понятием субъекта как “внутреннего условия” деятельности (Рубинштейн, 1989). Так, в большинстве учебников и пособий по общей психологии (см., напр.: Петровский, 1986; Платонов, 1980) к личности, понимаемой в широком смысле, относят любые, в том числе природные, социальные особенности человека, а в дифференциальной психологии их конкретная совокупность соответствует его индивидуальности. Для обсуждения же специфики человеческих свойств, отличающих его от животного, обычно пользуются известным по работам А.Н. Леонтьева (1982) различием личности и индивида, и во втором варианте понятие личности уже не включает природного субъекта, представителя биологического вида *Homo Sapiens*, особенности которого относят лишь к органическим предпосылкам его развития. Показательно, что субъектов общества и культуры, в данном случае объединенных, все же приходится разделять, но уже в самой личности, например, как социально-типическое и индивидуальное в ней (Асмолов, 1990). Наконец, в третьем варианте личность пытаются рассмотреть в узком смысле, охватывающем критические моменты (периоды) жизненного пути человека, как раз и требующие ответственного выбора, самостоятельного решения значимых проблем, в результате

¹ Петухов В.В. Природа и культура. М.: Тривола, 1996. С. 8—10.

которого происходит становление, осознание, преобразование его мотивационной сферы. Тогда личность следует отличать от индивида, имея в виду не только природную особь, но и представителя конкретного общества — социального индивида: в своем культурном, нравственном развитии личность может не совпадать с носителем любых сложившихся общественных установлений. Природный организм, социальный индивид, личность — так мы и будем теперь называть определенных выше субъектов (подробнее см. Петухов, Столин, 1989, с.26-31).

Нетрудно узнать в этой триаде классическое, предложенное У. Джемсом (1982) различие физического, социального и духовного “Я”. Именно оно нередко служило опорой для классификации психических, например, эмоциональных процессов (Левин, 1984): от природных, произвольных аффектов к собственно эмоциям, регулирующим социальное поведение, и до ус-

тойчивых, закрепленных культурными средствами личностных чувств. Действительно, для научного описания наблюдаемой эмпирии удобно абстрагировать природного, социального, культурного субъектов, обсуждая специфику каждого, однако в реальном человеке они, конечно, не разделены. Под новыми, необычными именами возникали эти субъекты в практической психологии — в знаменитой метафоре З. Фрейда (“Оно”, “Я”, “Сверх-Я”) и популярной модели Э. Берна (“Ребенок”, “Взрослый”, “Родитель”), образуя динамическое разнородное единство, источник мотивационных конфликтов, возможных невротических расстройств, продуктивного личностного развития. Очевидно, что в реальности человек выступает, прежде всего, как социальный индивид. Проблема соотношения в нем природы и культуры — это проблема его полноценной жизни, предполагающая разные решения — подлинные и мнимые.

Часть 4. Психофизиологическая проблема

А.Н.Леонтьев

[ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ]¹

Соотношение психического и физиологического рассматривается во множестве психологических работ. В связи с учением о высшей нервной деятельности оно наиболее подробно теоретически освещено С. Л. Рубинштейном, который развивал мысль, что физиологическое и психическое — это одна и та же, а именно рефлекторная отражательная деятельность, но рассматриваемая в разных отношениях и что ее психологическое исследование является логическим продолжением ее физиологического исследования². Рассмотрение этих положений, как и положений, выдвинутых другими авторами, выводит нас, однако, из намеченной плоскости анализа. Поэтому, воспроизводя некоторые из высказывавшихся ими положений, я ограничусь здесь только вопросом о месте физиологических функций в структуре предметной деятельности человека.

Напомню, что прежняя, субъективно-эмпирическая психология ограничивалась

утверждением параллелизма психических и физиологических явлений. На этой основе и возникла та странная теория “психических теней”, которая — в любом из ее вариантов, — по сути, означала собой отказ от решения проблемы. С известными оговорками это относится и к последующим теоретическим попыткам описать связь психологического и физиологического, основываясь на идее их морфности и интерпретации психических и физиологических структур посредством логических моделей³.

Другая альтернатива заключается в том, чтобы отказаться от прямого сопоставления психического и физиологического и продолжить анализ деятельности, распространив его на физиологические уровни. Для этого, однако, необходимо преодолеть обыденное противопоставление психологии и физиологии как изучающих разные “вещи”.

Хотя мозговые функции и механизмы бесспорный предмет физиологии, но из этого вовсе не следует, что эти функции и механизмы остаются вне психологического исследования, что “кесарево должно быть отдано кесарю”.

Эта удобная формула, спасая от физиологического редуционизма, вместе с тем вводит в пущий грех — в грех обособления психического от работы мозга. Действительные отношения, связывающие между собой психологию и физиологию, похожи скорее на отношения физиологии и биохимии: прогресс физиологии *необходимо* ведет к углублению физиологического анализа до уровня биохимических процессов; с другой стороны, только развитие физиологии (шире — биологии) порождает ту осо-

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. С. 159—165.

² См.: Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. С. 219—221.

³ См., например: Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм // Экспериментальная психология / Под ред. П.Фресса, Ж.Пиаже. М., 1966. Вып. I, II.

бую проблематику, которая составляет специфическую область биохимии.

Продолжая эту — совершенно условную, разумеется, — аналогию, можно сказать, что и психофизиологическая (высшая физиологическая) проблематика порождается развитием психологических знаний; что даже такое фундаментальное для физиологии понятие, как понятие условного рефлекса, родилось в “психических”, как их первоначально назвал И.П.Павлов, опытах. Впоследствии, как известно, И.П.Павлов высказывался в том смысле, что психология на своем этапном приближении уясняет “общие конструкции психических образований, физиология же на своем этапе стремится продвинуть задачу дальше — понять их как особое взаимодействие физиологических явлений”¹. Таким образом, исследование движется не от физиологии к психологии, а от психологии к физиологии. “Прежде всего, — писал И.П.Павлов, — важно понять психологически, а потом уже переводить на физиологический язык”².

Важнейшее обстоятельство заключается в том, что переход от анализа деятельности к анализу ее психофизиологических механизмов отвечает *реальным* переходам между ними. Сейчас мы уже не можем подходить к мозговым (психофизиологическим) механизмам иначе, как к продукту развития самой предметной деятельности. Нужно, однако, иметь в виду, что механизмы эти формируются в филогенезе и в условиях онтогенетического (особенно функционального) развития по-разному и, соответственно, выступают не одинаковым образом.

Филогенетически сложившиеся механизмы составляют готовые предпосылки деятельности и психического отражения. Например, процессы зрительного восприятия как бы записаны в особенностях устройства зрительной системы человека, но только в виртуальной форме — как их возможность. Однако последнее не освобождает психологическое исследование восприятия от проникновения в эти особенности. Дело в том, что мы вообще ничего не можем сказать о восприятии, не апеллируя к этим особенностям. Другой вопрос, делаем ли мы эти морфофизиологические особенности

самостоятельным предметом изучения или исследуем их функционирование в структуре действий и операций. Различие в этих подходах тотчас же обнаруживается, как только мы сравниваем данные исследования, скажем, длительности зрительных послеобразов и данные исследования постэкспозиционной интеграции сенсорных зрительных элементов при решении разных перцептивных задач.

Несколько иначе обстоит дело, когда формирование мозговых механизмов происходит в условиях функционального развития. В этих условиях данные механизмы выступают в виде складывающихся, так сказать, на наших глазах новых “подвижных физиологических органов” (А.А.Ухтомский), новых “функциональных систем” (П.К.Анохин).

У человека формирование специфических для него функциональных систем происходит в результате овладения им орудиями (средствами) и операциями. Эти системы представляют собой не что иное, как отложившиеся, овеച്ചественные в мозге внешневидательные и умственные, например логические, операции. Но это не простая их “калька”, а скорее их физиологическое иносказание. Для того чтобы это иносказание было прочитано, нужно пользоваться уже другим языком, другими единицами. Такими единицами являются мозговые функции, их ансамбли — функционально-физиологические системы.

Включение в исследование деятельности уровня мозговых (психофизиологических) функций позволяет охватить очень важные реальности, с изучения которых, собственно, и началось развитие экспериментальной психологии. Правда, первые работы, посвященные, как тогда говорили, “психическим функциям” — сенсорной, мнемической, избирательной, тонической, оказались, несмотря на значительность сделанного ими конкретного вклада, теоретически бесперспективными. Но это произошло именно потому, что функции исследовались в отвлечении от реализуемой или предметной деятельности субъекта, т. е. как проявления неких способностей — способностей души или мозга. Суть дела в том, что в обоих случаях они рас-

¹ Павлов И. П. Павловские среды. М., 1934. Т. 1. С. 249—250.

² Павлов И. П. Павловские клинические среды. М.; Л., 1954. Т. 1. С. 275.

смаивались не как порождаемые деятельностью, а как *порождающие* ее.

Впрочем, уже очень скоро был выявлен факт изменчивости конкретного выражения психофизиологических функций в зависимости от содержания деятельности субъекта. Научная задача, однако, заключается не в том, чтобы констатировать эту зависимость (она давно констатирована в бесчисленных работах психологов и физиологов), а в том, чтобы исследовать те преобразования деятельности, которые ведут к перестройке ансамблей мозговых психофизиологических функций.

Значение психофизиологических исследований состоит в том, что они позволяют выявить те условия и последовательности формирования процессов деятельности, которые требуют для своего осуществления перестройки или образования новых ансамблей психофизиологических функций, новых функциональных мозговых систем. Простейший пример здесь — формирование и закрепление операций. Конечно, порождение той или иной операции определяется наличными условиями, средствами и способами действия, которые складываются или усваиваются извне; однако спайвание между собой элементарных звеньев, образующих состав операций, их “сжатие” и их передача на нижележащие неврологические уровни происходит, подчиняясь физиологическим законам, не считаясь с которыми психология, конечно, не может. Даже при обучении, например, внешнедвигательным или умственным навыкам мы всегда интуитивно опираемся на эмпирически сложившиеся представления о мнемических функциях мозга (“повторение — мать учения”), и нам только кажется, что нормальный мозг психологически безмолвен.

Другое дело, когда исследование требует точной квалификации изучаемых процессов деятельности, особенно деятельности, протекающей в условиях дефицита времени, повышенных требований к точности, избирательности и т. п. В этом случае психологическое исследование деятельности неизбежно включает в себя в качестве специальной задачи ее анализ на психофизиологическом уровне.

Наиболее, пожалуй, остро задача разложения деятельности на ее элементы, определения их временных характеристик и пропускной способности отдельных реагирующих и “выходных” аппаратов встала в инженерной психологии. Было введено понятие об элементарных операциях, но в совершенно другом, не психологическом, а логико-техническом, так сказать, смысле, что диктовалось потребностью распространить метод анализа машинных процессов на процессы человека, участвующего в работе машины. Однако такого рода дробление деятельности в целях ее формального описания и применения теоретико-информационных мер столкнулось с тем, что в результате из поля зрения исследования полностью выпадали главные образующие деятельности, главные ее определяющие, и деятельность, так сказать, расчеловечивалась. Вместе с тем нельзя было отказаться от такого изучения деятельности, которое выходило бы за пределы анализа ее общей структуры. Так возникла своеобразная контраверза: с одной стороны, то обстоятельство, что основанием для выделения “единиц” деятельности служит различие связей их с миром, в общественные отношения к которому вступает индивид, с тем, что побуждает деятельность, с ее целями и предметными условиями, — ставит предел дальнейшему их членению в границах данной системы анализа; с другой стороны, настойчиво выступила задача изучения интрацеребральных процессов, что требовало дальнейшего дробления этих единиц.

В этой связи в последние годы была выдвинута идея “микроструктурного” анализа деятельности, задача которого состоит в том, чтобы объединить генетический (психологический) и количественный (информационный) подходы к деятельности¹. Потребовалось ввести понятия о “функциональных блоках”, о прямых и обратных связях между ними, образующих структуру процессов, которые физиологически реализуют деятельность. При этом предполагается, что эта структура в целом соответствует макроструктуре деятельности и что выделение отдельных “функциональных блоков” позволит углубить анализ, продолжая его в более дробных единицах.

¹ См.: Зинченко В. П. О микроструктурном методе исследования познавательной деятельности / Труды ВНИИТЭ. М., 1972. Вып. 3.

Здесь, однако, перед нами встает сложная теоретическая задача: понять те отношения, которые связывают между собой интрацеребральные структуры и структуры реализуемой ими деятельности. Дальнейшее развитие микроанализа деятельности необходимо выдвигает эту задачу. Ведь уже сама процедура исследования, например, обратных связей возбужденных элементов сетчатки глаза и мозговых структур, ответственных за построение первичных зрительных образов, опирается на регистрацию явлений, возникающих только благодаря последующей переработке этих первичных образов в таких гипотетических “семантических блоках”, функция которых определяется системой отношений, по самой природе своей являющихся экстрацеребральными и, значит, не физиологическими <...>.

Анализ структуры интрацеребральных процессов, их блоков или констелляций представляет собой, как уже было сказано, дальнейшее расчленение деятельности, ее моментов. Такое расчленение не только возможно, но часто и необходимо. Нужно только ясно отдавать себе отчет в том, что оно переводит исследование деятельности на особый уровень — на уровень изучения переходов от единиц деятельности (действий, операций) к единицам мозговых процессов, которые их реализуют. Я хочу особенно подчеркнуть, что речь идет именно об изучении *переходов*. Это и отличает так называемый микроструктурный анализ предметной деятельности от изучения высшей нервной деятельности в понятиях физиологических мозговых процессов и их нейронных механизмов, данные которого могут лишь *сопоставляться* с соответствующими психологическими явлениями.

С другой стороны, исследование реализующих деятельность интерцеребральных процессов ведет к демистификации понятия о “психических функциях” в его прежнем, классическом значении — как пучка способностей. Становится очевидным, что это проявления общих функциональных физиологических (психофизиологических) свойств, которые вообще не существуют как отдельности. Нельзя же

представить себе, например, мнемическую функцию как отвызанную от сенсорной и наоборот. Иначе говоря, только физиологические системы функций осуществляют перцептивные, мнемические, двигательные и другие операции. Но, повторяю, операции не могут быть сведены к этим физиологическим системам. Операции всегда подчинены объективно-предметным, т. е. экстрацеребральным, отношениям.

По другому очень важному, намеченному еще Л. С. Выготским, пути проникновения в структуру деятельности со стороны мозга идут нейропсихология и патопсихология. Их общепсихологическое значение состоит в том, что они позволяют увидеть деятельность в ее распаде, зависящем от выключения отдельных участков мозга или от характера тех более общих нарушений его функций, которые выражаются в душевных заболеваниях.

Я остановлюсь только на некоторых данных, полученных в нейропсихологии. В отличие от наивных психоморфологических представлений, согласно которым внешне психологические процессы однозначно связаны с функционированием отдельных мозговых центров (центров речи, письма, мышления в понятиях и т.д.), нейропсихологические исследования показали, что эти сложные, общественно-исторические по своему происхождению, прижизненно формирующиеся процессы имеют динамическую и системную локализацию. В результате сопоставительного анализа обширного материала, собранного в экспериментах на больных с разной локализацией очаговых поражений мозга, выявляется картина того, как именно “откладываются” в его морфологии разные “составляющие” человеческой деятельности¹.

Таким образом, нейропсихология со своей стороны, т.е. со стороны мозговых структур, позволяет проникнуть в “исполнительские механизмы” деятельности <...>. *Системный* анализ человеческой деятельности необходимо является также анализом поуровневым. Именно такой анализ и позволяет преодолеть противопоставление физиологического, психологического и социального, равно как и сведение одного к другому.

¹ См.: Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. М., 1969; Цветкова Л. С. Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. М., 1972.

А.Р.Лурия

[ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА И МОЗГОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ]¹

В исследовании высших психических функций мы шли двумя путями: прослеживали их развитие и изучали процесс их распада в клинике локальных поражений мозга. В середине 20-х гг. Л. С. Выготский впервые предположил, что исследование локальных поражений мозга может быть очень плодотворным для анализа высших психических процессов. В то время ни структура самих высших психических процессов, ни функциональная организация мозга не были достаточно изучены.

В объяснениях того, как работает мозг, тогда превалировали два диаметрально противоположных подхода. С одной стороны, сторонники узкой локализации пытались непосредственно соотнести каждую психическую функцию с определенной узкоограниченной зоной мозга, а с другой — представители антилокализационного подхода считали, что все области мозга эквивалентны и равно ответственны за психические функции, выраженные в поведении. Согласно этой точке зрения характер дефектов определялся не местом повреждения, а объемом поврежденного мозга.

Научные исследования нарушений сложных психических процессов в клинике локальных поражений мозга нача-

лись в 1861 г., когда французский анатом Поль Брока дал описание мозга больного, который не мог говорить, хотя и понимал устную речь. После смерти больного Брока смог получить точную информацию о пораженной зоне мозга. Брока первым показал, что моторная речь, т. е. двигательные координации, результатом которых является произнесение слов, связаны с задней третью нижней лобной извилины левого полушария. Брока утверждал, что эта зона является “центром моторных образов слов” и что повреждение в этой зоне ведет к особому виду нарушения экспрессивной речи, которое он первоначально назвал “афемией”; позже это нарушение получило название “афазия”, как оно и называется в наше время. Открытие Брока представляло собой первый случай, когда сложная психическая функция, подобная речи, была четко локализована на базе клинических наблюдений. Это наблюдение дало также Брока возможность дать первое описание различия функций левого и правого полушарий мозга.

За открытием Брока последовало открытие Карла Вернике, немецкого психиатра. В 1874 г. Вернике опубликовал описание нескольких случаев, когда повреждения задней трети верхней височной извилины левого полушария вызывали потерю способности понимать слышимую речь. Он назвал эту зону “центром сенсорных образов слов”, или центром понимания устной речи.

Открытия Брока и Вернике вызвали огромный энтузиазм в неврологической науке. В течение короткого времени обнаружили много других мозговых “центров”: “центр понятий” в нижней теменной зоне левого полушария и “центр письма” в передней части средней лобной извилины левого полушария и др. К 1880-м годам неврологи и психиатры начали создавать “функциональные карты” коры головного мозга. Создавалось впечатление, что проблема отношений между структурой мозга и психической деятельностью уже решена.

С теорией узкого локализационизма с самого начала не соглашались некоторые ученые. Среди них выделялся английский

¹ Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: Научная автобиография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 110—121, 130—138.

невролог Хьюлингс Джэксон. Он утверждал, что мозговая организация психических процессов бывает различной в зависимости от сложности психического процесса.

Идеи Джэксона возникли на основе наблюдений, которые шли вразрез с локализационной теорией Брока. В своих исследованиях двигательных и речевых нарушений Джэксон установил, что ограниченные повреждения отдельной зоны мозга никогда не вызывают полной потери функции. Возможны, казалось бы, парадоксальные случаи, которые никак не согласовывались с концепцией узкого локализационизма. Например, больной не мог выполнить просьбу: “Произнесите слово “нет””, хотя и пытался сделать это. Однако несколько позже в состоянии аффекта больной мог сказать: “Нет, доктор, я не могу сказать “нет””.

Объяснение таким парадоксам, когда произнесение слова одновременно и возможно, и невозможно, Джэксон находил в том, что все психические функции имеют сложную “вертикальную” организацию. Согласно Джэксону, каждая функция представлена на трех уровнях: на “низком” уровне — в спинном мозге или стволе, на “среднем” — сенсорном или моторном уровне коры головного мозга и, наконец, на “высоком” уровне — в лобных долях мозга.

Он рекомендовал тщательно изучать уровень, на котором осуществляется данная функция, а не искать ее локализацию в одной определенной зоне мозга.

Гипотеза Джэксона, оказавшая огромное влияние на нашу работу, была по-настоящему оценена лишь 50 лет спустя, когда она вновь возникла в трудах таких неврологов, как Антон Пик (1905), фон Монаков (1914), Генри Хэд (1926) и Курт Гольдштейн (1927, 1944, 1948). Не отрицая того, что элементарные психологические “функции”, например зрение, слух, кожная чувствительность и движение, представлены в четко определенных зонах мозга, эти неврологи выражали сомнения относительно применимости принципа узкой локализации к сложным формам психической деятельности человека. Однако, забывая выводы Джэксона, они подходили к сложной психической деятельности с прямо противоположной точки

зрения. Так, отмечая сложный характер психической деятельности человека, Монаков пытался описать ее при помощи туманного термина “семантический характер поведения”, Гольдштейн говорил об “абстрактных установках” и “категориальном поведении” и т. д. Они или просто постулировали, что сложные психические процессы, которые они называли “семантикой” или “категориальным поведением”, являются результатом деятельности всего мозга, или совершенно отрывали их от работы мозга и выделяли в особую “духовную сущность”.

С нашей точки зрения ни одна из этих двух позиций не обеспечивала необходимой научной базы для дальнейших исследований в этой области. Мы отвергали холистические антилокализационные теории, так как абсурдно поддерживать устаревшее мнение о раздельности “духовной жизни” и мозга и отрицать возможность обнаружения материальной базы мышления. Эта теория возродила идеи о некоем “потенциале массы”, которые мы считали неприемлемыми, согласно которым мозг представляет собой однородную недифференцированную массу, одинаково функционирующую во всех своих отделах.

Равным образом мы отвергали и узколокализационные теории, считая их несостоятельными. Приступая к изучению проблемы “мозг и психические функции”, мы видели прежде всего необходимость пересмотреть понятие “функция”.

Большинство исследователей, рассматривавших вопрос о локализации элементарных функций в коре головного мозга, понимали термин “функция” как функцию той или иной ткани. Так, выделение желчи есть функция печени, а выделение инсулина — функция поджелудочной железы. Казалось бы, столь же логично рассматривать восприятие света как функцию светочувствительных элементов сетчатки глаза и связанных с нею высокоспециализированных нейронов зрительной коры. Однако такое определение не исчерпывает всех аспектов понятия “функция”.

Даже когда мы говорим о такой физиологической функции, как функция дыхания, ее понимание как функции определенной ткани является явно недостаточным. Конечной “задачей” дыхания является доведение кислорода до легоч-

ных альвеол и его диффузия через стенки альвеол в кровь. Весь этот процесс осуществляется не как простая функция особой ткани, а как целая функциональная система, включающая много звеньев, расположенных на разных уровнях секреторного, двигательного и нервного аппаратов. Такая “функциональная система” — термин, введенный П. К. Анохиным в 1935 г., — отличается не только сложностью своего строения, но и пластичностью своих составных частей. Исходная “задача” дыхания (восстановление нарушенного гомеостаза) и его конечный результат (доведение кислорода до легочных альвеол) остаются явно инвариантными. Однако способ выполнения этой задачи может сильно варьироваться. Например, если диафрагма, основная группа мышц, работающих при дыхании, перестает почему-либо действовать, в работу включаются межреберные мышцы, но если почему-либо и эти мышцы повреждены, мобилизуются мышцы гортани и человек (или животное) начинает заглатывать воздух, который затем доводится до легочных альвеол совершенно иным путем. Наличие инвариантной задачи, выполняемой с помощью вариативных механизмов, является одной из основных особенностей, свойственных работе каждой “функциональной системы”.

Второй отличительной чертой функциональной системы является ее сложный состав, всегда включающий ряд афферентных (настраивающих) и эфферентных (осуществляющих) звеньев. Это сочетание можно продемонстрировать, например, на функции движения, которая была детально проанализирована советским физиологом-математиком Н. А. Бернштейном. Движения человека, стремящегося перейти из одного места в другое, попасть в какую-то точку или выполнить какое-то действие, никогда не осуществляются просто посредством эфферентных, двигательных импульсов. Движение в принципе управляемо одними эфферентными импульсами, так как двигательный аппарат человека с его подвижными суставами имеет много степеней свободы, и в любом движении участвуют различные группы суставов и мышц, причем каждая стадия движения изменяет первоначальный тонус мышц. Чтобы движение осуществилось,

необходима постоянная коррекция его афферентными импульсами, которые информируют мозг о положении движущейся конечности в пространстве и об изменении тонуса мышц. Это сложное строение двигательного аппарата необходимо для обеспечения возможности в любых условиях сохранить инвариантность задачи и выполнить ее разными вариативными средствами. Тот факт, что каждое движение имеет характер сложной функциональной системы и что многие элементы, составляющие его, могут быть взаимозаменяемы, очевиден, поскольку один и тот же результат может быть достигнут совершенно различными способами.

В опытах Вальтера Хантера крыса в лабиринте достигала цели, бегая по определенному пути, но когда один фрагмент лабиринта заменили водой, крыса достигла цели посредством плавательных движений. В опытах Карла Лешли крыса, натренированная проходить определенный путь, радикальным образом меняла структуру своих движений после удаления мозжечка. Она уже не могла передвигаться обычным образом, но достигала своей цели, передвигаясь кубарем. Тот же самый взаимозаменяемый характер движений, необходимых для достижения определенной цели, отчетливо виден при тщательном анализе любых локомоторных актов человека, как, например, попадания в цель, осуществляемого различным набором движений в зависимости от исходного положения тела, манипулирования предметами, которое можно осуществить различными способами, письма, которое можно осуществить или карандашом или ручкой, правой или левой рукой, или даже ногой и т. д.

Это “системное” строение характерно для всех сложных форм психической деятельности. Можно с полным основанием сказать, что элементарные функции, подобные светоразличительной функции сетчатки глаза, непосредственно связаны с определенным типом клеток, однако нам казалось абсурдным считать, что сложные функции также можно рассматривать как прямой результат работы ограниченной группы клеток и что их можно связывать с работой определенных участков коры мозга. Наш подход к строению функциональных систем в целом и высших психических функций в частности заставил

нас поверить в необходимость коренного пересмотра идей локализации, выдвинутых теоретиками начала века.

Основываясь на наших с Л.С. Выготским представлениях о строении высших психических функций, которые вытекали из результатов нашей работы с детьми, мы считали, что высшие психические функции представляют собой сложные функциональные системы, опосредованные по своему строению. Они включают сформировавшиеся в ходе исторического развития символы и орудия. Мозговая организация высших функций должна отличаться от того, что мы наблюдаем у животных. Более того, поскольку для формирования человеческого мозга потребовались миллионы лет, а история человечества насчитывает лишь тысячи лет, теория мозговой организации высших психических функций должна объяснять такие процессы, как процесс письма, чтения, счет и т.д., зависящие от исторически обусловленных символов. Иными словами, Л. С. Выготский считал, что его исторический подход к развитию таких психических процессов, как произвольное запоминание, абстрактное мышление и др., должен найти свое отражение и в принципах их мозговой организации.

Изучение развития высших психических функций у детей привело Л. С. Выготского также к выводу, что роль мозга в организации высших психических процессов должна изменяться в процессе развития индивидуума. Наше исследование показало, что любая сложная сознательная психическая деятельность сначала носит развернутый характер. На первых этапах абстрактное мышление требует ряда внешних опорных средств, и только позднее, в процессе овладения определенным видом деятельности, логические операции автоматизируются и превращаются в “умственные навыки”. Можно предположить, что в процессе развития меняется не только функциональная структура мышления, но и его мозговая организация. Участие слуховых и зрительных зон коры, существенное на ранних этапах формирования различной познавательной деятельности перестает играть такую роль на поздних этапах, когда мышление начинает опираться на совместную деятельность разных систем коры мозга. Например, у ребенка сенсорные зоны коры создают базу для развития познава-

тельных процессов, включая речь. Но у взрослых с уже развитыми речью и сложными познавательными процессами сенсорные зоны теряют эту функцию и познавательная способность становится менее зависящей от сенсорной информации. Рассуждая таким образом, Л. С. Выготский объяснил, почему ограниченные поражения зон коры могут иметь совершенно различные последствия в зависимости от того, произошло повреждение в раннем детстве или в зрелом возрасте. Например, поражение зрительных сенсорных отделов коры в раннем детстве приводит к недоразвитию познавательной способности и мышления, в то время как у взрослого такое же поражение может компенсироваться влиянием уже сформировавшихся высших функциональных систем.

Наши первоначальные представления о работе мозга находились под сильным влиянием английского невролога Хэда, суммировавшего большой объем исследований афазии, относящихся к девятнадцатому и началу двадцатого столетия, и предложившего убедительную интерпретацию взаимоотношения между нарушениями речи и мышления. В своей классической монографии по афазии Хэд приходит к заключению, что нарушения функции речи вызывают нарушения мышления. Хэд считал, что афазия вызывает снижение интеллекта, потому что мышление вместо речи должно опираться на примитивные, непосредственные связи между предметами и действиями.

В качестве примера Хэд описал большого афазией, который легко мог подобрать к показанному ему предмету такой же, лежащий на столе, но не справлялся с заданием, если задача усложнялась и его просили выбрать из лежащих на столе два подходящих предмета. Хэд объяснял эту трудность тем, что при предъявлении двух предметов больной пытался запомнить их с помощью слов. Хэд писал об этом: “Была введена символическая формула и акт перестал быть прямым подбором подходящего предмета”. В другом месте Хэд отмечал в полном соответствии с нашей собственной теорией, что “животное или даже человек в определенных обстоятельствах имеет склонность непосредственно реагировать на эмоциональные или связанные с восприятием аспекты ситуации,

но символы дают нам возможность под-вергнуть их анализу и соответственным образом регулировать свое поведение”.

Это свидетельство ведущего ученого в области изучения мозга настолько глубоко совпадало с нашим собственным разграничением опосредствованных и естественных процессов, что вначале мы думали, что афазия, разрушая основные средства анализа и обобщения опыта, возможно, действует как фактор, побуждающий человека действовать в ответ на стимулы естественным, неопосредствованным образом. Наши предположения были подкреплены данными, представленными Гийомом и Мейерсоном, которые утверждали, что их больные-афазики решали задачи путем, свойственным маленьким детям. Однако, как показали многочисленные последующие исследования афазии, это положение оказалось неправильным. Мы очень сильно упростили как сущность афазии, так и интеллектуальные процессы у больных с поражением мозга. Однако вначале эти идеи нам очень импонировали и давали основание считать, что изучение поражений мозга приведет к пониманию сущности высших психических функций человека и также обеспечит средство для понимания их мозговой организации.

Мы начали свои исследования с наблюдений за больными паркинсонизмом. При паркинсонизме поражаются подкорковые узлы, что вызывает нарушение плавности движения и появление гиперкинеза. Мы обнаружили (как это было описано много раз), что вскоре после того, как больные, страдающие этой болезнью, начинали выполнять какое-то действие, у них появлялся тремор. Когда мы просили их пройти по комнате, они могли сделать лишь один—два шага, затем тремор резко усиливался и они не могли идти дальше.

Мы отметили парадоксальный факт, что больные, которые не в состоянии были сделать два шага подряд, идя по ровному полу, могли в то же время подниматься по лестнице. Мы предположили, что когда человек поднимается по лестнице, каждый шаг представляет собой для него специальную двигательную задачу. При подъеме по лестнице последовательная, автоматическая плавность движений ходьбы по ровной поверхности заменяется цепью отдельных двигательных актов. Другими словами,

структура двигательной деятельности реорганизуется и сознательные ответы на каждый изолированный сигнал замещают непроизвольную обычную ходьбу, имеющую подкорковую организацию.

Л. С. Выготский применил простой прием, чтобы создать лабораторную модель реорганизации движения такого типа. Он раскладывал на полу кусочки бумаги и просил больного перешагивать через каждый из них. Произошло удивительное явление. Больной, который только что не мог сделать самостоятельно более двух или трех шагов, долго ходил по комнате, перешагивая через кусочки бумаги, как будто бы он шел по лестнице. Компенсация двигательных нарушений оказалась возможной на основе реорганизации психических процессов, которые он использовал при ходьбе. Деятельность была перенесена с подкоркового уровня, где находились очаги поражения, на уровень более сохранной коры больших полушарий.

Мы еще раз попытались применить тот же самый принцип, чтобы создать экспериментальную модель саморегулирующегося поведения, но наши эксперименты были очень наивны и полученные результаты малоубедительны. Мы просили больного-паркинсоника последовательно стучать в течение полминуты. Он был совершенно не в состоянии выполнить это. Через полминуты появлялся мышечный тремор и движения тормозились. Но мы обнаружили, что если просить того же больного стучать в ответ на речевые сигналы экспериментатора “раз” и “два” — он мог стучать несколько дольше.

Нас интересовало, что произойдет, если больной создаст свои собственные сигналы, которые будут служить командой для его действий. В качестве сигнала мы выбрали мигание, потому что эти движения меньше пострадали от болезни, чем ходьба или движения рук. Мы просили больного мигать и после мигания нажимать резиновую грушу, записывающую его движения. Мы обнаружили, что мигания служили надежным саморегулирующим приемом. Больные, которые не могли в обычных условиях делать несколько нажимов подряд, могли по команде мигать и сжимать резиновую грушу в ответ на это.

В последней серии экспериментов с паркинсониками мы использовали соб-

ственную речь больного для регуляции его поведения. Наши первые попытки потерпели неудачу. Больные произносили словесные инструкции и начинали нажимать, но мышечный тремор препятствовал завершению их действий.

Тогда мы решили реорганизовать двигательный акт паркинсоника так, чтобы решающая стимуляция исходила не от речевого акта, а от интеллектуальных процессов.

Мы осуществили это, изменив методику так, чтобы двигательная реакция появлялась в ответ на интеллектуальную проблему, которую больной решал в уме. Мы просили больных отвечать на вопросы стуком. Вопросы были такого рода: “Сколько углов в квадрате?”, “Сколько колес у автомобиля?” и т. д.

Мы обнаружили, что хотя ограничения движения, связанные с патологическим повышением мышечного тонуса, оставались, структура двигательного акта больного в этих условиях изменялась. Когда мы давали больному просто инструкцию “Нажмите пять раз”, его первые движения были сильными, но интенсивность последующих движений снижалась и тремор усиливался. Теперь, когда больному движениями сигнализировал свои принятые в уме решения, он не проявлял подобных признаков утомления. <...>

Мне было поручено организовать тыловую восстановительный госпиталь в первые месяцы войны. Я выбрал для этой цели недавно открытый санаторий на 400 мест в маленькой деревне Кисегач близ Челябинска. Все помещения санатория были переоборудованы для терапевтического лечения и восстановительной работы, и уже через месяц я с группой моих бывших московских сотрудников начал работать в госпитале.

Перед нами стояли две основные задачи. Во-первых, мы должны были разработать методы диагностики локальных мозговых поражений, а также осложнений, вызванных ранениями (воспалительные процессы и т. д.). Во-вторых, мы должны были разработать рациональные, научно обоснованные методы восстановления нарушенных психических функций.

Наша группа состояла только из тридцати человек, и мы понимали всю невероятную сложность стоявших перед нами

проблем. В моем личном багаже был лишь небольшой запас практического опыта, приобретенного за пять или шесть лет работы в неврологической и нейрохирургической клиниках, а также некоторый опыт экспериментального подхода к изучению поражений мозга. Госпиталь был скромно оборудован нейрофизиологическими приборами, нейрохирургической аппаратурой и аппаратурой гистологической лаборатории. В таких условиях нам приходилось ставить диагнозы и лечить самые разнообразные нарушения психических функций, начиная с дефектов ощущений, восприятия и движения до нарушений интеллектуальных процессов. Выручала нас наша преданность делу.

Мы работали на Урале в течение трех лет, затем нас перевели обратно в Москву, где мы продолжали эту работу до окончания войны. В этот трагический для страны период мы имели возможность — вследствие большого числа мозговых ранений — углубить наше понимание мозга и мозговой организации психических процессов. Именно во время войны и ближайший послевоенный период нейропсихология превратилась в самостоятельную отрасль психологической науки.

Мои довоенные исследования оказались неоценимой отправной точкой для нашей работы. Но необходимо было расширить сферу наших исследований, чтобы охватить различные, в том числе и обширные, поражения мозга, ставшие обычными вследствие применения новых взрывчатых веществ, и обеспечить рациональную основу для восстановления психических функций. Хотя внешне эти две задачи казались различными, логика нашего подхода требовала совмещения диагностики и описания природы мозговых поражений с различными реабилитационными и терапевтическими методами, требующимися для лечения разных форм поражений мозга.

В некоторых случаях мы применяли фармакологические средства, растормаживающие пострадавшие функции. Особенно полезными эти средства были тогда, когда нужно было ускорить выздоровление. Наилучшие результаты наблюдались при особых “шоковых состояниях”, приводивших к затормаживанию определенных областей мозга. Однако, как правило, наши основные методы восстановления функций

требовали сочетания химической терапии с программой специального восстановительного обучения. Одной из областей, в которой мы разработали тренировочные методы для реорганизации психических функций, было письмо.

Исследования Н.А.Бернштейна показали, что любое организованное движение образует сложную функциональную систему, включающую определенный набор мышц, обеспечивающих данный вид движения. Движения типа ходьбы, бега, игры в футбол и т.д. осуществляются мышцами ног, но в каждом случае система мышечной активности является иной. Более того, если некоторые мышцы, обычно вовлекаемые в локомоцию, разрушаются, то движение может быть компенсировано применением других мышц, оставшихся интактными. При серьезной травме можно снабдить существующие мышцы добавлением протезов, которые могут быть включены в двигательную функциональную систему для обеспечения если и не нормальной, то достаточной локомоции.

Должно быть очевидным, что если подходить к интеллектуальным процессам как к сложным функциональным системам, а не как к отдельным способностям, следует пересмотреть идеи о возможности узкой локализации этих функций. Мы отвергли и холистическую теорию, говорящую, что каждая функция равномерно распределена по всему мозгу, и теорию локализации всех, в том числе и сложных, психических функций в узкоспецифических зонах мозга. Мы видели решение этой проблемы в идее функциональных систем, понимаемых как комплекс звеньев, соответствующий определенному комплексу зон мозга, обеспечивающих психическую деятельность. Письмо представляет собой отличный пример деятельности, которая не может быть закодирована в человеческом мозгу генетическим способом, потому что она включает использование орудий, сделанных человеком.

Работа по написанию отдельного слова, пишется ли оно самостоятельно или под диктовку, начинается с процесса анализа его фонетического состава. Другими словами, деятельность письма начинается с расчленения звукового потока речи на его отдельные фонемы. Этот процесс фонетического анализа и синтеза играет

важную роль во всех европейских языках, он не нужен лишь в некоторых языках, подобных китайскому, использующих идеографическую транскрипцию, представляющую понятия непосредственно в виде символов. Он осуществляется височными зонами левого полушария, которые ответственны за анализ акустической словесной информации, за расчленение потока нормальной речи на составляющие ее фонемы. Когда эти области коры повреждены и выделение стабильных фонем из потока речи становится невозможным, как это происходит при сенсорной афазии, письмо нарушается. В таких случаях возникает замена близких (оппозиционных) фонем (например, “б” вместо “п” или “д” вместо “т”), пропуск некоторых букв, замена слова (например, “кот” вместо “год”) и другие показатели того, как речевой поток не анализируется надлежащим образом.

В случаях кинестетической или афферентной моторной афазии при письме наблюдается иной вид ошибок. У таких больных нарушен “артикуляторный” анализ звуков, который помогает говорящему отличить данное слово от сходного по произношению. На первых этапах обучения письму, как известно, произнесение слова помогает пишущему написать его правильно. Произнеся слово, он анализирует его артикуляционный состав. По этой же причине, когда человек больше не в состоянии правильно артикулировать слово, в его письме появляются артикуляторные ошибки. Обычными в таких случаях бывают замены букв, близких по артикуляции (“б” вместо “м”, “н” вместо “л” и “т”), в результате вместо слова “стол” получается “слот”, а вместо слова “слон” получается “стон” и т. д.

Когда речевой поток правильно проанализирован, пишущий должен изобразить отдельную фонематическую единицу соответствующей графической единицей. Он должен выбрать из памяти необходимый визуальный символ, чтобы изобразить его с помощью соответствующих пространственно организованных движений, в соответствии со слуховым образом. Эти требования, необходимые для процесса письма, вовлекают в действие височно-затылочные и теменно-затылочные отделы коры левого полушария, отвечающие за простран-

ственный анализ и синтез. При поражении этих отделов коры нарушается пространственная организация графем. Зрительно сходные буквы подставляются одна вместо другой, встречаются ошибки, связанные с зеркальным изображением букв, и даже если фонематический анализ звуков интактен, письмо нарушается.

Все это лишь подготовительные шаги к фактическому акту письма. На следующем этапе визуальные образы букв трансформируются в моторные акты. На ранних этапах обучения письму двигательный процесс письма состоит из большого числа отдельных самостоятельных актов. По мере того как процесс письма становится все более автоматизированным, двигательные “единицы” увеличиваются в размере и человек начинает писать сразу целые буквы, а иногда и сочетания нескольких букв. Такое явление можно наблюдать в работе опытной машинистки, которая печатает часто встречающиеся сочетания букв единой группой движений. Когда письмо становится автоматическим навыком, некоторые слова, особенно знакомые, пишутся единым сложным движением и теряют свою, составленную из отдельных звеньев, структуру. В осуществлении автоматизированного письма решающую роль играют различные области коры, особенно передние отделы “речевой зоны” и нижние отделы премоторной зоны. Повреждение этих отделов коры приводит к трудностям в переключении от одного движения к другому и в результате письмо становится деавтоматизированным. Иногда нарушается правильный порядок букв в слове или повторяются некоторые элементы слова. Этот синдром часто бывает связан с кинетической моторной афазией.

И наконец, подобно всякой другой произвольной психической деятельности, письмо требует постоянного сохранения цели или плана и непрерывного контроля за результатами деятельности. Если больной не может сохранять постоянную цель, не получает непрерывную информацию относительно своих действий и не сверяет ее с целью, он теряет стабильность цели, программу своих действий. В этих условиях письмо также нарушается, но в этом случае дефект сказывается на смысле и содержании написанного. Посторонние ассоциации и стандартные выраже-

ния вторгаются в процесс письма. Подобные ошибки типичны для больных с поражениями лобных долей мозга. Из этого описания явствует, что в сложной функциональной системе, на которой основано письмо, участвует много различных отделов мозга. Каждая зона отвечает за определенный аспект этого процесса, и поражение различных зон приводит к различным нарушениям письма.

Следует сформулировать ряд основных принципов, лежащих в основе диагностики и восстановления психических процессов, нарушенных вследствие поражений мозга. Ставя диагноз, мы определяем, какое звено или звенья функциональной системы поражены у данного больного. Одновременно мы пытаемся определить, какие звенья остались незатронутыми. Только после указания на область поражения можно предпринять лечение. Лечение и диагноз тесно связаны. В процессе лечения нарушения мы пытаемся использовать незатронутые звенья функциональной системы, а также дополнительные внешние средства, чтобы перестроить деятельность на основе новой функциональной системы. Для построения и закрепления новой системы может понадобиться значительный период переучивания, но к концу этого периода больной должен получить возможность заниматься этой деятельностью без посторонней помощи. Во время перестройки функции мы пытаемся обеспечить больному как можно больший объем “обратной” информации об имеющихся у него нарушениях и их влиянии на функцию. Эта “обратная” информация является решающей в требуемой реорганизации функциональной системы.

Сформулированные здесь принципы звучат несколько абстрактно, однако на практике они отнюдь не абстрактны. Для доказательства этого постараюсь проиллюстрировать, каким образом данные принципы использовались для реорганизации функциональных систем как способа восстановления нарушенных функций, с одной стороны, и для получения информации о мозге и организации психических процессов — с другой.

Как уже говорилось выше, одной из тем наших исследований была афферентная моторная афазия, при которой вследствие поражения заднего отдела моторной рече-

вой зоны нарушалась кинестетическая основа артикуляционных движений. Центральным нарушением при этом виде афазии является нарушение акта артикуляции, в результате чего больной не может правильно произносить отдельные звуки речи. Нарушения артикуляционной речи могут, конечно, быть результатом различных локальных поражений. Прежде чем разработать для больного программу восстановления речевой моторики, нужно провести тщательный анализ, чтобы определить основные факторы, лежащие в основе данного нарушения. Следует убедиться в том, что мы имеем дело именно с кинестетической афазией, а не с другой формой афазии, иногда дающей сходные симптомы. Программа восстановительного обучения должна быть направлена на реконструкцию функциональной системы артикуляционной речи путем замещения распавшихся кинестетических схем новыми кинестетическими афферентными системами. Подняв артикуляторные процессы, являющиеся у здорового человека автоматическими и бессознательными, на уровень сознательных, мы можем дать больному новую базу для перестройки артикуляции.

Обычно не все уровни, участвующие в работе артикуляторного аппарата при афферентной моторной афазии, бывают поражены в равной степени. У больных могут нарушаться преимущественно имитационные или символические движения артикуляционного аппарата, в то время как элементарные “инстинктивные” и “нецелевые” движения языка и губ остаются интактными. В этих случаях больной по инструкции не может коснуться языком верхней губы или плюнуть, но в реальных, спонтанно возникающих ситуациях легко выполняет эти движения. Наиболее эффективный метод восстановления речевой моторики у этих больных состоит в том, что сначала врач определяет остаточные движения губ, языка и гортани, а затем использует их при тренировке больного в произнесении звуков. Например, чтобы заставить больного сознательно произнести звук, обозначаемый буквой “п”, врач дает больному зажженную спичку, которую он задувает привычным движением, когда пламя достигает его пальцев. Это движение повторяется много раз, и внимание больного постепенно сосредото-

чивается на компонентах, создающих нужное движение. Врач показывает больному, как следует расположить губы, чтобы произнести соответствующий звук, и как использовать движения выдоха. Чтобы больной многократно осознал компоненты этого движения, врач сжимает и быстро отпускает губы больного, одновременно нажимая на его грудь, чтобы движения губ и движения выдоха были скоординированы.

Другие звуки образуются сходными приемами. Звуки “б” и “м” образуются координированным сочетанием физических актов, которые сходны с формирующими звук “п”, за исключением того, что регуляция выдоха воздуха, производящего их, требует слегка иного положения мягкого неба и иной степени сжатия губ. Звуки “в” и “ф” образуются другим сочетанием координированных движений, общим для них является прикус нижней губы. Чтобы произнести звук “у”, больной складывает губы “трубочкой”, образуя круглое, узкое отверстие. Для звука “а” его рот открывается пошире и т.д. Основываясь на такого рода анализе артикуляций, необходимых для воспроизведения каждого звука, программа восстановления артикуляции звуков речи начинается с использования реальных, целенаправленных движений губ, языка и гортани, оставшихся сохранными. Затем это движение доводится до сознания больного и с помощью различных внешних средств он обучается сознательному произношению того или иного звука.

Из внешних средств мы использовали схемы, зеркала и даже написание букв. Больного можно обучить артикуляции звука, сверяя звук со схемой, изображающей положения речевого двигательного аппарата, нужные для образования звука. Полезно также и зеркало. Сидя рядом с врачом и наблюдая в зеркале за артикуляцией, необходимой для произношения данного звука, больной начинает строить и собственную артикуляцию. В течение длительного времени наглядная схема и зеркало являются для больного главными средствами при обучении произношению различных звуков. Затем можно применять написание букв. Письмо представляет собой мощное вспомогательное средство, так как оно предоставляет больному возможность как отнесения различных вари-

антов одного и того же звука к одной и той же категории, так и дифференциации звуков, тесно связанных по своему артикуляторному составу. Применение этих вспомогательных средств, в особенности письма, ведет к радикальной перестройке всей функциональной системы артикуляции, так что в ней начинают участвовать совершенно иные механизмы. Подобная реконструкция, использующая сложную, культурно опосредствованную, внешнюю систему знаков, иллюстрирует тот принцип, что после поражений мозга в процессе восстановления высшие функции могут быть использованы для замещения низших.

Этот тип восстановления труден и требует упорной работы. Каждая операция, совершаемая здоровым человеком автоматически, без размышления, должна стать сознательной. Как правило, когда найдена артикуляция необходимых звуков, больной легко переходит к артикуляции слогов и целых слов. Однако в течение долгого времени восстановленная речь звучит еще искусственно и сознательный характер каждого движения выдает тяжелую восстановительную работу. Лишь постепенно больной начинает говорить более автоматически и естественно.

Н.А.Бернштейн

НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ АКТОВ¹

Очевидная огромная биологическая значимость двигательной деятельности организмов — почти единственной формы осуществления не только взаимодействия с окружающей средой, но и активного воздействия на эту среду, изменяющего ее с небезразличными для особи результатами, — заставляет особенно остро недоумевать перед тем теоретическим отставанием, которое наблюдается в физиологии движений по сравнению с разделами рецепторики или физиологии внутренних процессов, и перед тем пренебрежением, в каком до настоящего времени находится раздел движений в физиологических руководствах, уделяющих ему обычно от нуля до нескольких страниц. Необходимо вкратце показать, как велик был ущерб, понесенный вследствие этого общей физиологией.

Если классифицировать движения организма с точки зрения их биологической значимости для него, то ясно, что на первом плане по значимости окажутся акты, решающие ту или иную возникшую перед особью *двигательную задачу*. Отсрочивая пока анализ этого понятия, заметим, что *значимые* задачи, разрешаемые двигательной акцией, как правило, возникают из внешнего окружающего организма мира. Сказанное сразу устраняет из

круга значимых акций как все “холостые” движения, не связанные с преодолением внешних сил, так и значительную часть мгновенных, однофазных движений типа отдергивания лапы и т.п. Уже отсюда видно, что лабораторная физиология, за малыми исключениями оставившая за порогом рабочей комнаты все движения, кроме болевых, оборонительных, самое большее — чесательных рефлексов², тем самым обедняла свои познавательные ресурсы не только количественно, но и качественно и, как мы сейчас увидим, отнюдь не только в отношении узко двигательной проблематики.

Прежде всего, если относительно “холостых” движений (показывание, проведение линии по воздуху и т.п.) требуются некоторые сведения из механики и биомеханики, чтобы усмотреть для них неотвратимую необходимость кольцевых сенсорных регуляций, то в отношении двигательных актов, сопряженных с преодолением *внешних сил*, эта необходимость понятна с первого слова. Состоит ли решаемая двигательная задача в локомоции (особенно чем-либо осложненной: бежать по неровному месту, вспрыгивать на возвышение, плыть при волнах и многое другое), в борьбе с другим животным, в рабочем процессе, выполняемом человеком, — всегда предпосылкой для решения является преодоление сил из категории *неподвластных*, а следовательно, непредусмотримых и не могущих быть преодоленными никаким стереотипом движения, управляемым только изнутри. Неосторожное отметание из поля зрения этих процессов активного взаимодействия с неподвластным окружением (видимо, самоограничение одними “атомами движений” выглядело вполне оправданным для механицистов-атомистов прошлого века, считавших, что целое есть всегда сумма своих частей и ничего более) повело прежде всего к тому, что принцип сенсорной обратной связи, который именно на двигательных объектах мог быть легко усмотрен и обоснован уже 100 лет назад, оставался в тени до недавнего времени.

¹ Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. С. 373—392.

² Реакция, обозначаемая как ориентировочный рефлекс, была относима к категории значимых акций только терминологически и, насколько мне известно, никогда не использовалась для прямого исследования рефлекторной деятельности в точном значении этого термина.

Долгие годы в физиологии непреодолимо держался в качестве ведущего и универсального принцип разомкнутой рефлекторной дуги. Нельзя исключить возможности того, что действительно в таких элементарных процессах, как рефлекс слюноотделения, или в таких отрывистых и вообще второстепенных по биологическому значению, как рефлекс болевого отдергивания и т.п., дуга не замыкается в *рефлекторное кольцо*, характерное для схемы управляемого процесса, либо из-за кратковременности акта, либо вследствие его крайней элементарности. Но возможно и вероятно также, что в силу тех же причин краткости и элементарности имеющаяся и здесь циклическая структура ускользала до сих пор от внимания и регистрации (для слюноотделительного процесса это уже почти несомненно). Так или иначе, но представляется очень правдоподобным, что рефлекс по схеме *дуги* есть лишь рудимент или очень частный случай физиологического реагирования¹.

Остается сказать еще об одном ущербе, понесенном физиологией от подмены реальных двигательных актов, разрешающих возникшую объективную задачу, обломками движений почти артефактного характера. Этот последний ущерб, до сего времени не подчеркивавшийся в достаточной степени, очень сильно обеднил наши познания в области *рецепторной* физиологии и при этом содержал в себе корни важных методологических ошибок.

Нельзя не заметить, что в роли приемника *пусковых сигналов*, включающих в действие ту или иную рефлекторную дугу, — единственной роли, изучавшейся физиологами классического направления, рецепторные системы, по крайней мере у высокоорганизованных животных и у человека, функционируют существенно и качественно иначе, нежели в роли следящих и корригирующих приборов при выполнении двигательного акта. Это различие можно уяснить, если, став снова на точку зрения биологической значимости, направить внимание на те качества, которые в том и другом случае должны были отсеиваться путем естественного отбора.

Для сигнально-пусковой функции рецептору существенно иметь высокую чувствительность, т.е. максимально низкие пороги как по абсолютной силе сигнала, так и по различию между сигналами. На первый план по биологической значимости здесь выступают *телерецепторы* обоняния, слуха (также ultrasлуха) и зрения в различных ранговых порядках у разных видов животных. Для вычленения далее значимых сигналов из хаотического фона “помех” нужна и необходимо вырабатывается совершенно аналитическая или *анализаторная* способность реципирующих аппаратов центральной нервной системы (вполне естественно, что И.П.Павлов, в столь большой степени углубивший наши знания по сигнально-пусковой функции рецепторов, присвоил им название *анализаторов*, только в самые последние годы его жизни дополненное приставкой “синтез”).

Наконец, для этой же сигнально-пусковой роли важнейшим механизмом (который предугадывался уже И.М. Сеченовым и был впоследствии отчетливо экспериментально выявлен исследователями, отправлявшимися от практических задач военного наблюдения) является совокупность процессов активного систематизированного *поиска* (scanning), или “просматривания”, своего диапазона каждым из телерецепторов. Это процессы целиком активные, использующие эффекторную в полной аналогии с тем, как последняя эксплуатирует афферентацию в управлении движениями, но, замечу сразу, не имеющие ничего общего с процессами привлечения организованных двигательных актов к целостному активному восприятию объектов внешнего мира, о чем будет речь дальше.

Когда же двигательный смысловой акт уже “запущен в ход” тем или иным сенсорным сигналом, требования, предъявляемые биологической целесообразностью и приведшие к сформированию в филогенезе механизмов кольцевого *сенсорного корригирования*, оказываются существенно иными. Что бы ни представляли собой возникшая двигательная задача и тот внеш-

¹ Я не решился бы даже исключить возможность того, что первый в мире рефлекс по схеме разомкнутой дуги появился на свет там же, где возникло первое в мире “элементарное ощущение” — то и другое в обстановке лабораторного эксперимента.

ний объект, на который она направлена, для правильной, полезной для особи реализации этой задачи необходимо *максимально полное и объективное* восприятие как этого объекта, так и каждой очередной фазы и детали собственного действия, направленного к решению данной задачи.

Первая из названных черт рецепторики в этой ее роли — полнота, или синтетичность, обеспечивается хорошо изученными как психо-, так и нейрофизиологами сенсорными синтезами (или сенсорными полями). К их числу относятся, например, схема своего тела, пространственно-двигательное поле, синтезы предметного или “качественного” (топологического) пространства и др. Роль этих “полей” в управлении двигательными актами автор (1947) пытался подробно обрисовать в книге о построении движений. Здесь достаточно будет только напомнить: 1) что в этой функциональной области синтетичность работы рецепторных приборов фигурирует уже не декларативно (как было выше), а как реально прослеженный на движениях в их норме и патологии основной факт и 2) что в каждом из таких сенсорных синтезов, обеспечивающих процессуальное управление двигательными актами, структурная схема объединения между собой деятельности разных проприо-, танго- и телерецепторов имеет свои специфические, качественно и количественно различные свойства. При этом слияние элементарных информации, притекающих к центральным синтезирующим аппаратам от периферических рецепторов, настолько глубоко и прочно, что обычно почти недоступно расчленению в самонаблюдении. И в описываемой функции принимают участие все или почти все виды рецепторов (может быть, только за исключением вкусового), но уже в существенно иных ранговых порядках. На первом плане оказывается здесь обширная система проприорецепторов в узком смысле. Далее она обрастает соучастием всей танго- и телерецепторики, организовавшейся на основе всего предшествующего практического опыта для выполнения роли “функциональной проприорецепторики”. О других, еще только намечающихся чертах чисто физиологического своеобразия работы рецепторов в обсуждаемом круге функций — параметрах адаптации, поро-

гах “по сличению”, периодичности функционирования и др. — будет сказано во второй части очерка.

Вторая из названных выше определяющих черт рецепторики как участника кольцевого координационного процесса — *объективность* — имеет настолько важное принципиальное значение, что на ней необходимо остановиться более подробно.

В той сигнальной (пусковой или тормозной) роли, которая одна только и могла быть замечена при анализе рефлексов по схеме незамкнутой дуги и которая повела к обозначению всего комплекса органов восприятия в центральной нервной системе термином “*сигнальная система*”, от афферентной функции вовсе не требуется доставления объективно верных информации. Рефлекторная система будет работать правильно, если за каждым эффекторным ответом будет закреплен свой неизменный и безошибочно распознаваемый пусковой сигнал — код. Содержание этого кода, или шифра, может быть совершенно условным, нимало не создавая этим помех к функционированию системы, если только соблюдены два названных сейчас условия. То, что подобный индифферентизм центральной нервной системы к смысловому содержанию сигнала не является каким-то странным, чисто биологическим феноменом, а заложен в самом существовании сигнально-пусковой функции, лучше всего доказывается тем, что такими же условными кодированными сигналами безукоризненно осуществляются все необходимые включения и переключения в телеуправляемых автоматах. Можно построить два совершенно одинаковых автомата (самолет-снаряд, мотокатер и т.п.) с одинаковыми моторами, рулями, схемами их радиореле и т.д. и, не внося никаких конструктивных различий, сделать при этом так, чтобы на радиокоды А, Б, В, Г первый отвечал реакциями 1, 2, 3, 4, а второй — реакциями 4,2,1,3 или как угодно иначе.

Совершенно иными чертами характеризуется работа рецепторной системы при несении ею контрольно-координационных функций по ходу решаемой двигательной задачи. Здесь степень *объективной верности* информации является решающей предпосылкой для успеха или неуспеха совершаемого действия. На всем протяже-

нии филогенеза животных организмов естественный отбор неумолимо обуславливал отсев тех особей, у которых рецепторы, обслуживавшие их двигательную активность, работали, как кривое зеркало. В ходе онтогенеза каждое столкновение отдельной особи с окружающим миром, ставящее перед собой требующую решения двигательную задачу, содействует, иногда очень дорогой ценой, выработке в ее нервной системе все более верного и точного *объективного отражения* внешнего мира как в восприятии и осмыслении побуждающей к действию ситуации, так и в проектировке и контроле над реализацией действия, адекватного этой ситуации. Каждое смысловое двигательное отправление, с одной стороны, необходимо требует не условного, кодового, а объективного, количественно и качественно верного отображения окружающего мира в мозгу. С другой стороны, оно само является активным орудием правильного познания этого окружающего мира. Успех или неуспех решения каждой активно пережитой двигательной задачи ведет к прогрессирующей шлифовке и перекрестной выверке показаний упоминавшихся выше сенсорных синтезов и их составляющих¹, а также к познанию через действие, *проверке через практику*, которая является краеугольным камнем всей диалектико-материалистической теории познания, а в разбираемом здесь случае служит своего рода биологическим контекстом к ленинской теории отражения².

Проведенное на предшествующих страницах сопоставление двух родов функционирования воспринимающих систем организма, пока еще столь неравных по давности их выявления наукой и по степени изученности, позволит осветить несколько по-новому и некоторые черты механизма действия “классических” сиг-

нальных процессов включения или дифференцировочного торможения рефлекторных реакций.

Еще задолго до того, как телемеханика подтвердила существенную принципиальную *условность*³ пусковых или переключательных кодов, этот же факт был установлен на биологическом материале знаменитым открытием И.П. Павлова. Факт, что любой раздражитель из числа доступных восприятию может быть с одинаковой легкостью превращен в пусковой сигнал для того или другого органического (безусловного) рефлекса, оказался в дальнейшем чрезвычайно универсальным.

Как показали последующие работы павловской школы (А.Д. Сперанский), во всем комплексе физиологических функций, вплоть до самых, казалось бы, недостижимых глубинных процессов гормонального или клеточно-метаболического характера, нет ни одного отправления, которое не могло бы быть подсоединено (в принципе одним и тем же методом) к любому пусковому раздражителю. Этот замечательный индифферентизм нервных систем к содержанию и качеству пусковых сигналов был отмечен И.П. Павловым уже в самом начальном периоде изучения открытого им круга явлений. Об этом свидетельствует и наименование, данное раздражителям, вновь искусственно прививаемым к стволам старых прирожденных рефлексов, — *условные раздражители*. Название, предложенное В.М. Бехтеревым, — сочетательные раздражители и рефлексы — менее глубоко в отношении внутреннего смысла явлений, но зато вплотную подводит к схеме их механизмов, которая к нашему времени уяснилась уже вполне отчетливо.

Для превращения любого надпорогового агента в условный пусковой раздражитель

¹ Бесспорный факт существования в центральной нервной системе человека *нескольких* качественно различных между собой сенсорных синтезов не противоречит сказанному об объективности мозговых отражений и находит достаточное объяснение в физиологии координации движений.

² “Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно верного отражения в голове человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть объективная, абсолютная, вечная истина” (Ленин В. И. Полн собр. соч., 4-е. изд. Т. 14. С. 177).

³ *Условность* в обсуждаемом плане, не требуя объективности, разумеется, не исключает ее и не противоречит ей. К тому же сделанное здесь противопоставление и разграничение сигнально-пусковой и коррекционной функций рецепторов намеренно проведено более резко и альтернативно, чем это имеет место в физиологической действительности, где, несомненно, оба вида функционирования могут и налажаться друг на друга во времени, и переходить один в другой.

того или другого органического рефлекса требуется всегда обеспечение двух условий: 1) главного — встречи или сочетания в пределах обычно небольшого интервала времени этого агента с реализацией данного рефлекса и 2) побочного — некоторого числа повторений такого сочетания. Первое из этих условий прямо относит разбираемый феномен к циклу *ассоциаций по смежности*, как раз характеризующихся безразличием к смысловому содержанию ассоциируемых представлений или рецепций. Интересно отметить, что для преобразования индифферентного раздражителя в условнопусковой существенно совмещение его с *эффекторной*, а не с *афферентной* частью безусловного рефлекса, которая мобилизуется в типовом эксперименте только как средство заставить сработать эффекторную полудугу. Это доказывается, например, фактом осуществимости так называемых условных рефлексов второго порядка, когда индифферентный раздражитель приобретает пусковые свойства для данного рефлекса, несмотря на то что эффекторная часть последнего запускается в действие не безусловным, а ранее привитым к рефлексу условным же раздражителем первого порядка.

Другое доказательство сказанного можно усмотреть в том, что в методах, применяемых при дрессировке, поощрительное подкрепление “безусловным” афферентным импульсом подкормки животного производится *после* правильного выполнения им требуемого действия по соответствующей условной команде и не является при этом безусловным пусковым раздражителем дрессируемого действия. Эта недооценивавшаяся раньше деталь заслуживает внимания в настоящем контексте потому, что образование ассоциативной связи в мозгу между условным *афферентным* процессом и *эффекторной* частью рефлекса, как нам кажется, можно осмыслить, только если эффекторная реализация рефлекса отражается (опять-таки по кольцевой об-

ратной связи) назад в центральную нервную систему и может уже сочетаться ассоциативно с афферентным же процессом условного раздражения. Это могло бы послужить еще одним подтверждением того, что возвратно-афферентационные акты как непосредственные соучастники процесса и в классических рефлексах — “дугах” — не отсутствуют, а лишь пока ускользают от наблюдения.

Второе из условий образования условной связи, названное выше побочным, а именно надобность некоторого числа повторных сочетаний, было бы трудно объяснить сейчас иначе, как необходимостью для подопытной особи выделить прививаемую новую рецепцию из всего хаоса бомбардирующих ее извне воздействий. Число повторений должно оказаться достаточным для того, чтобы определилась *неслучайность* совмещения во времени интеро- или проприоцепции реализующего рефлекса именно с данным элементом всей совокупности экстерорецепций. В этом смысле — в отношении необходимого и достаточного числа повторений — раздражитель, индифферентный по своему смысловому содержанию, может оказаться относительно труднее и длительнее вычленяемым как могущий не привлечь к себе интереса и внимания (“ориентировочной реакции”) особи. Старую наивно-материалистическую концепцию о постепенных “проторениях” путей или синаптических барьеров в центральной нервной системе можно уже считать сданной в архивы науки¹.

В нескольких словах заслуживает упоминания факт, который и в свете новых приобретений регуляционной физиологии продолжает оставаться неясным. Структура почти всех изучавшихся условных сочетаний такова, что к органической, *безусловной эффекторной* полудуге прививается новый *условный афферентный* пусковой сигнал. Разнообразие как безусловных эффекторных процессов, так и афферентных “позывных”, которые могут быть привязаны к первым, совершенно безгранич-

¹ Если какая-либо индифферентная рецепция раз за разом, без пропусков сопутствует во времени тому или иному безусловному процессу, например, интерорецепции слюноотделения и т.п., то так называемая вероятность *a posteriori* того, что это совмещение не случайно, сама по себе растет очень быстро и уже после десятка повторений весьма мало отличается от единицы. Но для образования замыкания необходимо еще, чтобы сам индифферентный раздражитель и факт постоянства совмещения обеих стимуляций привлекли к себе внимание, т.е. процессы активной рецепции особи.

но; но неизвестно почти ни одного случая, который обнаружил бы *обратную* структуру условной связи: прицепление нового условного эффекторного окончания к безусловной афферентной полудуге. До некоторой степени случаи такого обратного типа наблюдались в давнишних опытах М.Е. Ерофеевой (1912), но сам И.П. Павлов¹, цитировавший их в своих “Лекциях о работе больших полушарий”, сопровождает их описание рядом ограничений и оговорок. Как бы ни был объяснен в дальнейшем такой “структурный парадокс”, ясно, что инертная неизменяемость именно эффективной полудуги реально осуществимых условно-двигательных рефлексов чрезвычайно затрудняет использование их структурного механизма для обучения незнакомым движениям, образования и усовершенствования двигательных навыков и сноровок и т.п.

Рассмотрение вопроса о сигнальных кодах и их сочетательной роли в аспекте регуляционной физиологии способно, как нам кажется, по-новому осветить вопрос о так называемой *второй сигнальной системе*. Из всего проанализированного выше ясно, что при ничем не ограниченном разнообразии возможных условно-сигнальных кодов в их число могут входить и речевые фонемы, вовсе не образуя в этой своей роли какого-либо особого класса и нуждаясь, как и все раздражения, пригодные для роли сигналов, только в воспринимаемости и распознаваемости. Никто не приписывал собаке, медведю, морскому льву, кошке обладание второй сигнальной системой или архитектурными полями, гомологичными полю Вернике человека. Между тем любое из этих животных (даже не сплошь “высших” млекопитающих) дрессируется на словесные сигналы с такой же легкостью, с какой образуются у них условные замыкания и дифференцировки на другие

виды раздражений. Эти фонематические сигнальные коды, ничем существенным не выделяющиеся из других кодов, могли генетически у первобытного человека явиться зародышами фонем — приказов, своего рода рудиментарными повелительными наклонениями, из которых впоследствии эволюционировали речевые формы глагола².

С другой стороны, *назывательные* элементы речи, из которых у человека сформулировалась категория *имен*, никогда не несли и не могли, разумеется, нести какой-либо сигнальной функции в определенном выше смысле. Поэтому трактовка “второй сигнальной системы” как системы словесного отображения *предметов* (вообще первичных рецепций внешних объектов, образующих по этой концепции в совокупности “первую сигнальную систему”), что полностью проявляется и в составе словника, применяемого в экспериментах по так называемой речедвигательной методике, представляется результатом глубоко ошибочного смешения двух резко различных физиологических функций и речевых категорий. *Слова как сигналы* не образуют никакой особой системы и в роли пусковых фонем полностью доступны многим животным, еще чрезвычайно далеким от функции речи. *Слова и речь как отражение внешнего мира* в его статике (имена) и динамике действий и взаимодействий с субъектом (глаголы, суждения) действительно образуют систему, доступную и свойственную только человеку. Но обозначать *речь*, достигшую этой ступени значения и развития, как *сигнальную* систему, — значит подменять ее одним из самых несущественных и рудиментарных ее проявлений³.

Идея второй сигнальной системы, несомненно, явилась одним из следствий упоминавшегося выше методологического ущерба, понесенного физиологией из-за

¹ См. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. IV. С. 43—45.

² Должен оговорить здесь, во-первых, что в сказанном не заключается никакой попытки предпринять *хронологический порядок*, в каком у первобытного человека могли возникнуть и формироваться глагольные и номинативные категории речи, и, во-вторых, что я оставляю совершенно в стороне известные языковедам явления *вторичного* приобретения номинативными элементами примитивных языков побудительно-сигнальных значений.

*** К сказанному стоит добавить, что построение автомата-робота, способного к пониманию *речи*, для сегодняшней техники — задача совершенно безнадежная. Робот же, способный дифференцированно реагировать на несколько разных подаваемых ему голосов словесных приказов-фонем, может быть уже теперь создан без каких-либо принципиальных затруднений.

признания ею одной только сигнально-пусковой роли рецепторики и недооценки ее важнейших биологических и социальных функций: познания через действие и регуляции активного воздействия на окружающий мир. Знак равенства, ставившийся между понятиями рецепции и сигнала, вынуждал относить к категории сигналов и перцепируемое слово. Между тем нельзя было пройти мимо огромного качественного своеобразия речи как специфически присущего виду *Homo sapiens* символического отображения воспринимаемого мира и себя самого в нем. Упомянутая уже выше терпимость к атомизму легко позволила зато пройти мимо *структурности* речи (делающей ее не скоплением слов, а орудием мышления) и трактовать ее как сумму слов — сигналов преимущественно конкретно-предметного содержания.

Отечественная физиология сумела избегнуть другой, гораздо более важной гносеологической ошибки, в которую легко впадали многие мыслители западного мира и которая также целиком проистекает из одностороннего понимания рецепторной функции: от несомненного факта примитивности безукоризненного функционирования рефлекторных приборов с полной условностью вызывающих их сенсорных кодов очень легко соскользнуть на путь признания символичности всяких вообще рецепций, условности картины мира в мозгу и психике, непознаваемости объективной реальности и прочих идеалистических концепций, давно ниспровергнутых подлинной наукой.

* * *

Перейдем к уточненному анализу механизмов двигательной координации у высших организмов, имея в виду две задачи: 1) извлечь из этого анализа максимум доступных на сегодняшний день указаний на общие закономерности механизмов управления и 2) попытаться выявить, в чем состоит то своеобразие моторики высших животных, в особенности человека, которое резко качественно отграничивает ее действия и ресурсы от всего того, чего мы можем ожидать от автоматной техники сегодняшнего и, вероятно, даже завтрашнего дня. Мне неизбежно придется касаться многих пунктов, в свое время уже подроб-

но проанализированных (Бернштейн, 1946, 1947). Во избежание неуместных повторений я в настоящем очерке буду излагать их как можно более кратко, лишь для соблюдения непрерывности логической линии изложения. Здесь будет более правильным постараться дополнить и углубить затрагивавшиеся там вопросы, преимущественно касающиеся основных, принципиальных механизмов координационного управления, попутно исправляя ошибки, выяснившиеся к настоящему времени.

Первое резкое биомеханическое отличие двигательного аппарата человека и высших животных от любого из искусственных самодействующих устройств, неоднократно подчеркивавшееся, состоит в огромном, выражающемся трехзначными числами количестве доступных ему *степеней свободы* как кинематических, зависящих от многозвенности его свободно сочлененных кинематических цепей, так и эластических, обусловленных упругостью движущих тяг — мышц и отсутствием в силу этого однозначных отношений между мерой активности мышц, ее напряжением, длиной и скоростью ее изменения. Для уяснения того, как осложняет управление движением каждая лишняя степень свободы, ограничусь здесь двумя примерами.

Судно на поверхности моря имеет три степени свободы (если пренебречь движениями качки), но практически достаточным является управление *одной*-единственной степенью — направлением, или *курсом*, так как на морских просторах, если судно, отклоненное чем-нибудь от курса, восстановит прежнее *направление*, то ему нет необходимости возвращаться на старую *трассу* и вполне достаточно продолжать путь параллельно ей, в паре кабельтовых в ту или другую сторону. Эта задача успешно решается компасным автопилотом. Но представим себе автомобиль, который должен ехать по *шоссе ограниченной ширины*, автоматически выполняя все встречаемые кривизны и повороты. Здесь управлению практически подлежат *всего две степени* свободы его подвижности.

Анализ показывает, что независимо от способа получения машинной информации о ходе шоссе (относительно, например, его средней линии), будут ли они восприниматься фото-, электро-, механорецептора-

ми и т.д., блок-схема такого автомата рулевого управления, способного вести автомобиль по изгибам шоссе, удерживая его близ средней линии, должна содержать: 1) рецептор расстояния от линии с его знаком, 2) рецептор угла между осью машины и средней линией с его знаком, 3) рецептор фактической кривизны пути, 4) суммирующий смеситель и 5) систему регуляторов для гашения паразитных “болтаний” машины в ту и другую сторону от курса. Столько осложнений вносится в проблему автоматизации всего одной лишней степенью свободы. Насколько мне известно, автомат подобного рода еще никогда не был создан.

Полезно отметить, что огромная трудность его осуществления отнюдь не в сигнализации или устройстве рецепторов названных типов: то и другое имеется и сейчас на вооружении автоматики. Вся трудность состоит в организации *центральной перешифровки* информации, получаемых на входе от фотоэлементов или магнитных реле, в качество, силу и последовательность импульсов, управляющих сервомоторами рулевого аппарата.

Второй пример для сопоставления приведу из области нормальной координации движений человека при нормальной работе всех его афферентных органов и лишь в условиях необычной двигательной задачи. Прицепите спереди к пряжке своего пояса верхний конец лыжной палки, на конце, несущем колесико, прикрепите груз в 1—2 кг, а к колесу справа и слева привяжите по резиновой трубке достаточной длины для того, чтобы можно было взять концы каждой в правую и левую руку. Направив палку острием вперед, станьте перед вертикальной доской, на которой крупно начерчен круг, квадрат или иная простая фигура, и постарайтесь, манипулируя только потягиванием за резиновые трубки, обвести острием палки начерченную фигуру. Палка изображает здесь одно звено конечности с двумя кинематическими степенями свободы, трубки — аналоги всех мышца-антагонистов, привносящих в систему еще две упругие степени свободы. Этот опыт (очень демонстративный при его показе в аудитории) убедит каждого, испробовавшего его в роли исследуемого, какая нелегкая и малопослушная для координирования вещь — всего четыре степени свободы, ког-

да к услугам человека, даже находящегося во всеоружии всех своих рецепторов, не имеется моторного опыта, приобретаемого по отношению к костно-мышечному двигательному аппарату с самых первых недель жизни.

Определение координации, данное мной в упоминавшихся работах, кажется мне и сейчас наиболее строгим и точным. *Координация движений есть преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа, иными словами — превращение его в управляемую систему.* Короче, координация есть *организация управляемости* двигательного аппарата. В основном определении с намерением говорится не о закреплении, протормаживании и т.п. избыточных степеней свободы, а об их *преодолении*. Как показали экстенсивные работы с детьми <...>, фиксация, устраняющая упомянутый избыток, применяется как наиболее примитивный и невыгодный путь лишь в самом начале осваивания двигательного умения, сменяясь затем более гибкими, целесообразными и экономичными путями преодоления этого избытка *через организацию* всего процесса. Какую преобладающую роль может играть именно организация регуляционных взаимодействий даже в нехитром случае управления только двумя степенями свободы, мог показать уже наш первый пример с автопилотажем вдоль шоссе.

В своих работах о построении движений и частично в предыдущих очерках этой книги я подробно останавливался на причинах, создающих биодинамическую необходимость организованных по кольцевому принципу механизмов двигательной координации, и на некоторых обнаруженных наблюдением чертах тех физиологических процессов контрольного взаимодействия, которые обеспечивают координационное руководство движением при посредстве сенсорных синтезов разных уровней построения. Там было показано, какое огромное место в ряду непредусмотримых и практически неподвластных сил, требующих непрерывного восприятия и преодоления, занимают наряду с внешними силами *реактивные силы*, неизбежно возникающие при движениях в многозвенных кинематических цепях органов движения и усложняющиеся в огромной прогрессии с каждым

лишним звеном сочленовой цепи и с каждой новой степенью свободы подвижности. Не затрагивая здесь более этой чисто биодинамической стороны проблем, обратимся к вопросу, оставшемуся в тени в названных выше работах, но все более назревающему в ходе современного развития физиологической мысли. Если двигательная координация есть система механизмов, обеспечивающая *управляемость* двигательного аппарата и позволяющая утилизировать с уверенностью всю его богатую и сложнейшую подвижность, то что можно сказать к настоящему времени о путях и механизмах самого *управления* двигательными актами? В каких отношениях могут уловимые для нас в настоящее время закономерности этого управления оказаться полезными для интересов прикладной кибернетики (бионики) и какие из сторон или свойств этих закономерностей отсеются как наиболее специфические для нервных систем высших животных и человека и поэтому наиболее способные осветить ту пропасть, которая пока еще (и, видимо, надолго) качественно разделяет достижения автоматике от реализующейся в двигательных актах жизнедеятельности высокоразвитых организмов?

Предварительно нужно вкратце остановиться на некоторых вопросах терминологии и попытаться систематизировать известные на сегодняшний день принципиальные схемы саморегулирующихся устройств (в дальнейшем для краткости мы будем обозначать этот термин первыми буквами — СУ) с интересующих нас проблемных позиций.

Все системы, саморегулирующиеся по какому-либо параметру, постоянному или переменному, обязаны, как минимум, содержать в своем составе следующие элементы:

1) *эффектор* (мотор), работа которого подлежит регулированию по данному параметру;

2) *задающий элемент*, вносящий тем или другим путем в систему *требуемое значение* регулируемого параметра;

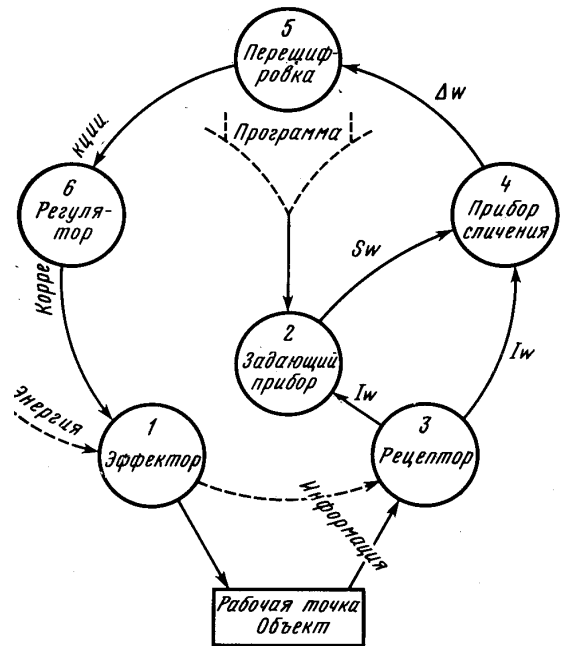
3) *рецептор*, воспринимающий *фактические* текущие значения параметра и сигнализирующий о них каким-либо способом в прибор сличения;

4) *прибор сличения*, воспринимающий *расхождение* фактического и требуемого значений с его величиной и знаком;

5) *устройство, перешифровывающее* данные прибора сличения в коррекционные импульсы, подаваемые по обратной связи на регулятор;

6) *регулятор*, управляющий по данному параметру функционированием *эффектора*.

Вся система образует, таким образом, замкнутый контур взаимодействий, общая схема которого дана на рис. 1. Между перечисленными элементами нередко бывают включены не имеющие принципиального значения вспомогательные устройства: усилители, реле, сервомоторы и т.п.



Для значений регулируемого параметра очень удобными представляются краткие термины, применяемые немецкими авторами; ими целесообразно пользоваться и у нас. *Требуемое* значение будет в последующем тексте обозначаться *Sw* (от немецкого Sollwert), *фактическое* значение — *Iw* (Istwert), *расхождение* между тем и другим, воспринимаемое элементом 4, точнее говоря, избыток или недостаток *Iw* над *Sw* ($Iw - Sw$) — символом Δw .

В примере, приводимом *Wiener* по идее его партнера *Rosenbluth*, координационное управление жестом взятия видимого предмета со стола рассматривается как непрерывная оценка уменьшения того куса пути, какой еще остается пройти кисти руки до намеченного предмета. При всей правомерности обозначения места предме-

та как Sw , текущего положения кисти — как Iw , а планомерно убывающего расстояния между ними — как переменной $\Delta w = (Iw - Sw)$ я должен пояснить здесь же, что и выше, и в дальнейшем рассматриваю координационный процесс в *микроинтервалах* пути и времени, опираясь на данные, собранные за годы работы моей и моих товарищей. Поэтому в рамках настоящего очерка я рассматриваю как переменный Sw *весь непрерывный запланированный путь, или процесс движения* органа, а как Iw — фактически текущие координаты последнего. В связи с этим Δw в настоящем контексте — это порогово-малые отклонения, корригируемые более или менее исправно *по ходу движения*. Примером их могут служить отклонения линии, проводимой от руки карандашом или острием планиметра, от начерченной линии, которую требуется обвести. В нашем смысле, следовательно, Δw есть не планомерно убывающая макродистанция, а колеблющаяся, то возникающая, то погашаемая с тем или иным успехом малая величина переменного знака и направления.

Центральным командным постом всей кольцевой системы СУ является, конечно, ее задающий элемент 2. По характеру задаваемого им Sw все мыслимые виды СУ разделяются на два больших класса: СУ с фиксированным, постоянным значением Sw (так называемые стабилизирующие системы) и СУ с меняющимися по тому или другому принципу значениями Sw (следящие системы). Закон хода изменений задаваемого Sw принято именовать программой функционирования СУ. Смена последовательных этапов реализации программ может быть скачкообразной или непрерывной и являться в разных случаях функцией времени, пути рабочей точки мотора — эффектора, промежуточного результативного этапа и т.д. В наиболее сложных и гибких системах могут переклаиваться, сменяя одна другую, и сами программы.

Наиболее примитивные по своим функциям *стабилизирующие системы* представляют в нашем аспекте наименьший интерес, хотя напоминающие их по типу рефлекторно-кольцевые регуляции можно встретить и среди физиологических объектов. Технические примеры подобных систем многочисленны, начиная с центробеж-

ного регулятора скорости паровых машин, изобретенного еще Watt. Биологическим примером может служить прессо-рецепторная система стабилизации артериального давления, подробно экспериментально изучавшаяся с этой точки зрения Wagner (1954). Двигательный аппарат организма во всех своих отправлениях и по самому существу биодинамики двигательных процессов организован по принципу *СУ следящего типа с* непрерывной программной сменой последовательных регуляционных Sw в каждом конкретном случае того или иного движения.

Все элементы простейшей схемы кольцевого управления, содержащиеся в нашем перечне и в составе чертежа (см. рис. 1), обязательно должны иметься в том или другом виде и в органических регуляционных системах, в частности в системе управления движениями. Наши познания об этих структурных элементах живого двигательного аппарата очень неравномерны. О физиологических свойствах и даже о нервных субстратах элементов 5 и 6 мы совершенно ничего не знаем. Движущие элементы 1, мотор-эффекторы наших движений — скелетные мышцы, наоборот, принадлежат к числу объектов, наиболее глубоко и обстоятельно изученных физиологией и биофизикой. Работа элемента 3 схемы — рецепторного комплекса — изучена подробно, но односторонне, как было показано в первой части очерка, и в нашем аспекте содержит в себе еще чрезвычайно много невыясненных сторон. Здесь я попытаюсь подытожить в последовательном порядке то, что можно высказать как утвердительно, так и предположительно (с порядочной степенью вероятности) о физиологическом облике элементов 2, 4 и 3 схемы управления двигательными актами, и попутно постараюсь отметить как очередные в этой области те вопросы, к которым мы уже подходим вплотную, но которые еще очень далеки сейчас от своего решения. Начать этот обзор следует с “командного пункта” схемы — с задающего элемента 2.

Каждое осмысленное, целенаправленное движение возникает как ответ на двигательную задачу, определяющуюся прямо или косвенно совокупной ситуацией. В том, каким именно двигательным актом индивид (животное или человек) наметит решение этой задачи, заложен и корень той

или другой программы, которая будет реализоваться задающим элементом. Что же представляет собой такая программа управления движением и чем она управляется в свою очередь?

В книге “О построении движений” (1947) я подробно останавливался на том, как возникают и как возвратно действуют на движение сенсорные коррекции. Здесь надлежит коснуться другого вопроса: *что именно* они корректируют и *что* может направлять ход и сущность этого корректирования.

Наблюдение над простейшими движениями из категории “холостых” (проведение прямой линии по воздуху, показ точки и т.п.) может создать впечатление, что ведущим принципом программной смены *Sw*, по которым реализуются коррекции движения, является геометрический образ этого движения: соблюдение прямолинейности, если требовалось провести прямую, соблюдение направления, если нужно было показать пальцем точку, и т.д. Между тем в таком суждении содержится ошибка принятия частного за общее. В названных видах движений корректирование действительно ведется по геометрическому образу, но только потому, что именно в этом и заключается здесь поставленная задача. Уже во втором из наших примеров геометрический ведущий элемент движения сжимается в одну точку в поле зрения, и достаточно познакомиться с циклографическими записями движений показа пальцем точки, выполненных с оптимальной точностью и ловкостью, чтобы убедиться, что *N* повторных жестов одного и того же субъекта было выполнено по *N* не совпадающих между собой траекторий, собирающихся, как в фокус, только близ самой целевой точки показа. Значит, геометрический принцип корректирования ограничивается тем возможным по смыслу минимумом протяжения, движения, который существенно необходим, уступая в остальных частях движения место каким-то другим ведущим принципам. А в том, что они, несомненно, имеются в каждом микроэлементе жеста показа, убеждает уверенность и быстрота его протекания (сравните с жестом атактика!), а также завершение его безупречным попаданием в цель.

Ошибка “принятия частного за общее” становится очевидной, как только мы пе-

реключимся от движений, геометрических по смыслу задания, к двигательным актам других типов. Если взять под наблюдение относительно простые целевые двигательные акты из числа тех, которые повторяются много раз и в связи с этим поддаются так называемой автоматизации, то можно убедиться, что обуславливающая их двигательная задача (обычная или спортивная локомоция, трудовой процесс и т.п.) начинает разрешаться достаточно удовлетворительно во много раз раньше, чем движение автоматизируется и стабилизируется до значительной геометрической стандартности повторений, в очень многих случаях уже с первых проб. Таким образом, кинематический двигательный состав акта, его геометрический рисунок, отнюдь не является той обязательной инвариантой, которая обуславливала бы успех выполняемого действия. Если же от простейших и часто повторяемых двигательных актов перейти к более сложным, нередко цепным, предметным действиям, связанным с преодолением внешних переменных условий и сопротивлений, то широкая вариативность двигательного состава действия становится уже всеобщим правилом.

Неизбежен вывод, что, говоря макроскопически о программе двигательного акта в целом, мы не находим для нее другого определяющего фактора, нежели образ или представление того результата действия (концевого или поэтапного), на который это действие нацеливается осмыслением возникшей двигательной задачи. Как именно, какими физиологическими путями может образ предвидимого или требуемого эффекта действия функционировать как ведущий определитель двигательного состава действия и программы отправления задающего элемента, — это вопрос, на который еще и не начал намечаться сколько-нибудь конкретный и обоснованный ответ. Но какой бы вид двигательной активности высших организмов, от элементарнейших действий до цепных рабочих процессов, письма, артикуляции и т.п., ни проанализировать, нигде, кроме смысла двигательной задачи и предвосхищения искомого результата ее решения, мы не найдем другой ведущей инварианты, которая определяла бы от шага к шагу то фиксированную, то перестраиваемую на

ходу программу осуществления сенсорных коррекций.

Привлечение мной для характеристики ведущего звена двигательного акта понятия образа или представления результата действия, принадлежащего к области психологии, с подчеркиванием того факта, что мы еще не умеем назвать в настоящий момент физиологический механизм, лежащий в его основе, никак не может означать непризнания существования этого последнего или исключения его из поля нашего внимания. В неразрывном психофизиологическом единстве процессов планирования и координации движений мы в состоянии в настоящее время нащупать и назвать определенным термином психологический аспект искомого ведущего фактора, в то время как физиология, может быть, в силу отставания ее на фронте изучения движений (о котором было сказано выше), еще не сумела вскрыть его физиологического аспекта. Однако *ignoramus* не значит *ignorabimus*. Уже самое название настоящего очерка подчеркивает, что его задачей в большей мере было поставить и заострить еще не решенные очередные вопросы, нежели ответить на поставленные раньше.

В 8-й главе упомянутой книги был дан подробный разбор того, как и под действием каких причин оформляется и стабилизируется двигательный состав многократно выполняемого действия при образовании так называемого двигательного навыка путем упражнений. В порядке короткого извлечения подчеркну здесь, что даже в таких однообразно повторных актах изменчивость двигательного рисунка и состава вначале бывает очень большой, и более или менее фиксированная программа находится, а тем более осваивается упражняющимся не сразу.

Самая суть процесса упражнения по овладению новым двигательным навыком состоит в постепенно ведущем к цели искании оптимальных двигательных приемов решения осваиваемой задачи. Таким образом, правильно поставленное упражнение повторяет раз за разом не то или другое *средство решения* двигательной задачи,

а *процесс решения* этой задачи, от раза к разу изменяя и совершенствуя средства. Сейчас уже для многих очевидно, что “упражнение есть своего рода повторение без повторения” и что двигательная тренировка, игнорирующая эти положения, является лишь механическим зазубриванием — методом, давно дискредитированным в педагогике¹.

Несколько более конкретно можно высказаться относительно *микроструктуры* управления непрерывно текущим двигательным процессом. В какой бы форме ни конкретизировался ход перешифровки общей ведущей директивы образа предвосхищаемого решения в детализированные элементы *Sw* направления скорости, силы и т.д. каждого предельно малого (точнее, порогово-малого — см. ниже) отрезка движения, неоспоримо, что в низовые инстанции задающего комплекса поступают именно раздетализированные подобным микроскопическим образом *Sw*. Нужно отметить, что столкновение каждой текущей проприоцепции (в широком или функциональном смысле понятия) с очередным мгновенным направляющим значением *Sw* выполняет минимум три различные, одинаково важные для управления нагрузки.

Во-первых, та или иная мера расхождения между *Iw* и *Sw* (Δw) определяет, проходя через кольцевую схему, те или другие коррекционные импульсы. Об этой стороне процесса скажем более подробно при обсуждении “элемента сличения” 4. Во-вторых, в рецепции — информации о том, что такой-то очередной пункт реализации двигательного акта достигнут, содержится и побудительная импульсация к переводу или переключению *Sw* на следующий очередной микроэлемент программы. Эта сторона функционирования более всего напоминает то, что обозначается П.К. Анохиным (1949) термином “санкционирующая афферентация”.

Наконец, в этой же текущей рецепции содержится и третья сторона, по-видимому, одно из тех явлений, которые всего труднее поддадутся модельному воспроизведению. В каждом двигательном акте, связанном

¹ В спортивно-гимнастических упражнениях двигательный состав (так называемый стиль) входит как неотъемлемая часть в смысловую сторону осваиваемой задачи. Поэтому здесь необходима пристальная забота тренера об определенном оформлении и быстрейшей стабилизации двигательного состава у учащегося, но это ни в чем не противоречит высказанному выше положению о правильной постановке упражнения.

с преодолением внешних неподвластных и изменчивых сил, организм беспрестанно сталкивается с такими нерегулярными и чаще всего непредвидимыми осложнениями, сбивающими движение с намеченной программой дороги, которые невозможно или крайне нецелесообразно осилить коррекционными импульсами, направленными на восстановление во что бы то ни стало прежнего плана движения. В этих случаях рецепторная информация действует как побудитель к приспособительной перестройке самой программы “на ходу”, начиная от небольших, чисто технического значения переводов стрелки движения на иную, рядом пролегающую трассу и кончая качественными реорганизациями программы, изменяющими самую номенклатуру последовательных элементов и этапов двигательного акта и являющимися, по сути дела, уже принятиями новых тактических решений. Такие переключения и перестройки программ, по данным рецепторных информаций, гораздо более часты, чем можно подумать, так как во многих случаях они осуществляются низовыми координационными уровнями, не привлекая на помощь сознательного внимания (с этим согласится каждый ходивший хотя бы раз в жизни не по паркету).

В книге “О построении движений” (1947) подробно изложено, как при организации и освоении двигательного акта многочисленные виды и ранги коррекционных процессов распределяются между взаимодействующими “фоновыми” уровнями координационного управления. Как было там сформулировано, то, что мы называем *автоматизацией* двигательного акта, есть постепенно осуществляющаяся передача многочисленных технических (фоновых) коррекций в нижележащие координационные системы, сенсорные синтезы которых организованы наиболее адекватно для коррекций именно данного рода и качества. Общее, почти не знающее исключений правило об уходе из поля сознания всех слагающих процессов коррекционного управления, кроме прямо относящихся в ведущему уровню данного двигательного акта, и явилось причиной придания такой поуровневой разверстки коррекций наименования автоматизации. Здесь полезно будет подчеркнуть, что имеющая место у высших орга-

низмов (а в наибольшей мере у человека) столь разносторонняя и богато сенсорно оснащенная иерархическая система координационных уровней, способных в порядке кольцевого управления как к реализации, так и к мгновенным смысловым перестройкам разнообразнейших программ движения, является, видимо, в равной степени и следствием громадного упоминавшегося ранее обилия степеней свободы двигательного аппарата (который только такая сложная система и способна сделать управляемым), и биологической причиной того, что организмы, владеющие столь мощным центральным аппаратом управления движениями, могли безопасно для себя формировать в филогенезе органы движения, наделенные без счета степенями кинематической и динамической свободы подвижности.

Теперь следует обратиться к элементу 4 схемы, приведенной на рис. 1. Этот элемент — прибор сличения (как он был там условно обозначен) — представляет собой интереснейший и пока глубоко загадочный физиологический объект, однако уже вполне созревший для того, чтобы поставить на очередь его систематическое изучение.

Как и во всех искусственно создаваемых СУ, кольцевая регуляция нуждается в элементе, сопоставляющем между собой текущие значения Iw и Sw и передающем в следующие инстанции регуляционной системы ту оценку их расхождения между собой (Δw), которая и служит основой для подачи на периферию эффекторных коррекционных импульсов. Не будь наличие подобного функционального элемента в координационной системе мозга, последняя в одних только рецепциях Iw самих по себе не могла бы найти никакой почвы для включения каких бы то ни было коррекций. Здесь мы сразу сталкиваемся с совершенно своеобразным процессом, при котором сличение и восприятие разницы производится *не между двумя рецепциями*, симультанными или сукцессивными (как, например, при измерениях порога различения какого-либо рецептора), а между *текущей рецепцией* и представленным в какой-то форме в центральной нервной системе *внутренним руководящим элементом* (представлением, энграммой и т.п., мы еще не знаем точно), вносящим в процесс

сличения значение Sw . И в этом процессе имеют место своеобразные пороги “по сличению”, как их можно было бы назвать. В простейших случаях они очевидны и легко доступны измерению. Таковы, например, пороги наступления вестибулярно-зрительной коррекционной реакции на начавшееся отклонение велосипедиста с его машиной от вертикальности; пороги, характеризующиеся началом коррекции движения карандаша, отклонившегося от воображаемой прямой, которую требуется провести между точками на бумаге; пороги вокального управления, которые можно определить по звуковой осциллограмме обучающегося пению, стремящегося выдерживать голосом ноту неизменной высоты, и т.п. Но наиболее интересные и своеобразные черты обсуждаемого прибора вскрываются дальше.

Одним из важных элементов контроля над двигательными процессами является рецепция текущих переменных Iw скорости. Тахометры искусственных СУ бывают построены по различным принципам, всегда, однако, привлекающим к делу какую-либо физическую величину, доступную прямому аппаратурному замеру и связанную со скоростью однозначной зависимостью (силу трения, сопротивление якоря на пружине, увлекаемого магнитным полем, и т.п.). Для нас существенно, что рецепторных приборов, способных к непосредственному восприятию скорости, не имеется и в наших организмах. Но эта задача решается в центральной нервной системе совершенно особым образом и явно при помощи либо того же самого прибора сличения, либо его ближайшего гомолога. Рецепция текущего мгновенного положения движущегося организма сопоставляется в нем со свежим следом такой же рецепции мгновенного положения, имевшего место Δt времени назад. Величину Δt можно даже ориентировочно оценить порядком 0,07—0,12 с, как я постараюсь обосновать ниже.

Если всмотреться в протекание синтетических рецепторных процессов самого различного рода, то вышеназванный феномен свежих следов (условно обозначим его этим термином) предстанет как нечто, по видимому, чрезвычайно универсальное и обладающее фундаментальной значимостью. При зрительном восприятии движе-

ния мы не могли бы перцепировать не только скорость, но и направление этого движения, если бы процесс восприятия не базировался на непрерывном сличении текущих рецептов со свежими следами едва прошедших. Когда мы воспринимаем слухом мелодию или слово, перцепируются не только отдельные последовательные элементы — звуки, но также временное течение мелодической линии или временной рисунок фонемы вместе с их темпом. Мы качественно разно ощущаем секвенцию тонов, идущую вверх, от идущей вниз, фонему “ва” от фонемы “ав” и т.д. Если при закрытых глазах я почувствую, что по моей коже провели линию палочкой, то восприму не просто и не только места, на которые она последовательно надавливала, но и направление, и скорость ее движения по коже как два отдельных качества, ощущаемые как нечто совершенно первичное. Этой своей синтетичной, слитой первичностью, а также тем, что они: а) качественно во всем подобны “сырым” рецепциям и б) держатся в активной форме только в течение малых долей секунды, “свежие следы” резко отличаются от обычных явлений памяти — орудия длительного сохранения центрально переработанных представлений.

Управление движением требует в ряде случаев непрерывного восприятия не только текущих значений расхождения (Δw), но и скорости, с которой нарастают или убывают эти расхождения. Как справедливо отметил Wagner, часто, например, в случаях небольших, но быстро нарастающих отклонений Iw управлению принесет наибольшую пользу именно рецептор скорости изменений Δw , способный чутко реагировать на самое начало развития вредного отклонения еще раньше, чем успеет стать надпороговой сама абсолютная величина этого отклонения. Неоспоримый факт способности наших сенсорных сигналов также откликаться различно на разные скорости изменений Δw говорит о том, что и в обсуждаемом приборе сличения феномен “свежих следов” может иметь место, обуславливая процесс сопоставления уже не Iw с Sw , а свежего следа их разности (Δw), имевшейся доли секунды тому назад, со значением этой разности сейчас. Говоря математически, это процесс восприятия производной $d(\Delta w)/dt$.

Несомненно, что процессы восприятия скоростей и направлений, процессы сопоставлений Iw и Sw с их “свежими следами” по всем качествам рецепции и т.п. протекают фактически *не непрерывно*, не по дифференциалам времени dt , а по каким-то конечным малым интервалам Δt , которые следовало бы назвать пороговомалыми. В их основе лежат значения особого рода порогов — *временных*, видимо, находящихся в близком физиологическом сродстве как с пороговыми, характеризующимися скоростью психомоторных реакций, так и с физиологическими параметрами группы лабильности, рефрактерности, константы адаптации и т.п. и требующих, конечно, безотлагательного пристального изучения. Нет сомнения, что уже сейчас психофизиологи — специалисты по органам чувств — будут в состоянии дополнить и исправить высказанное по поводу “свежих следов” важными для освещения вопроса материалами¹. Я же хотел бы в порядке рабочей гипотезы изложить здесь следующие соображения.

Еще в 30-х годах М.Н. Ливанов нашел, что амплитуды пиков бета-волн на электроэнцефалограммах заметным образом изменяют свою величину от вершин к впадинам альфа-волн, как бы модулируясь последними, что могло свидетельствовать о каких-то периодических колебаниях возбудимости корковых элементов, протекающих в ритме альфа. Walter (1954) отметил, что нижний пороговый предел частоты слияния мельканий, киноизображений и т.д. в зрительном аппарате близко совпадает с частотой альфа-ритма, даже индивидуально меняясь параллельно с последней. Не случайным кажется, что нижний порог частоты, уже сливаемой слухом в специфическое сенсорное качество звука, лежит в той же полосе частот. Далее, еще не опубликованные ориентировочные наблюдения В.С. Гурфинкеля над держанием и движением незагруженной руки, а также цик-

лограмметрические наблюдения Л.В. Чхаидзе (1956) над ритмами импульсов ускорений стоп велосипедиста² указывают в полном взаимном согласии на чередование обнаруживающихся тут и там коррекционных импульсов в рамках все той же частотной полосы альфа 8—14 Гц.

Не будет ли правильным думать, что эта частота есть проявление ритмических колебаний возбудимости всех или главных элементов рефлекторного кольца СУ нашего двигательного аппарата, несомненно, нуждающихся во взаимной синхронизации по ритму? Тогда мы могли бы видеть в ней и основу упомянутой выше разбивки сенсорного и координационного процессов на пороговомалые интервалы Δt , разделяющие промежутками частичной рефрактерности моменты обостренной восприимчивости, которая удерживает мгновенное впечатление Iw в виде “свежего следа” до следующего такого же взлета возбудимости.

Распространенность альфа-волн по всей мозговой коре с особым преобладанием в рецепторных зонах и их синхронность по всему этому протяжению могут как будто также говорить в пользу сделанного предположения. Тогда мы могли бы рассматривать альфа-ритм как механизм, задающий координационным процессам их временной определяющий параметр, своего рода Sw времени, а интервалы Δt — как отсчеты внутреннего, физиологического маятника, являющегося для этих процессов тем, что британские физиологи называют *pace-maker*. Нельзя не подчеркнуть, конечно, что вне всякой зависимости с тем, связан ли этот *pace-maker* с альфа-ритмом или нет, физиологическое значение его как важнейшего регуляционного фактора и неотложная необходимость его метрического изучения и определения его связей с такими психофизиологическими показателями, как время простой реакции, личное уравнение и т.п., неоспоримы.

¹ В частности, на очередь ставится естественный вопрос о том, в каком отношении стоят механизмы “свежих следов” к психофизиологическим механизмам всей обширной категории энграммирования и памяти. Данные последних лет со все возрастающей убедительностью говорят о сложности и многоликости той биологической первостепенной по значимости категории процессов, которые обеспечивают запечатление, хранение и передачу информации. Дальнейшие исследования покажут, насколько особняком стоят феномены “свежих следов” от других, ранее изучавшихся видов запечатлевающей функции, каковы их анатомо-физиологические субстраты и т.д.

² Выражаю признательность В.С. Гурфинкелю и Л.В. Чхаидзе за сделанные мне персональные сообщения.

Мне остается остановиться вкратце еще на одной важной черте координационного процесса, самым тесным образом связанной с феноменом “свежих следов” и параметром Δt .

В процессах управления движениями встречаются ситуации, при которых большую, иногда решающую важность имеют коррекции предвосхищающего, антеципирующего характера, становящиеся особенно заметными в тех случаях, когда на протяжении какого-то отрезка движения коррекции следящего типа становятся вообще невозможными. Существует целый класс таких двигательных актов (так называемые баллистические движения), осуществление которых только и возможно посредством подобной антеципации: метание с попаданием в цель (бросание камня, копьа, всевозможные игры с мячом и т.д.), перепрыгивание через ров или высотное препятствие, размахной удар тяжелым молотом и т.д.

Нельзя не заметить аналогичных антеципаций и в ряде таких двигательных актов, где они необходимо соучаствуют с коррекциями обычного следящего типа. Это возможные *движения с упреждением*, подобные тем, которые производят гончие, преследуя зверя, делающего “угонки” и устремляясь не к видимому мгновенному положению жертвы, а наперерез к предвосхищаемой или экстраполируемой точке пересечения траекторий их бега. Таковы же бесчисленные случаи схватывания рукой движущегося предмета, “пятнания” мячом убегающего партнера, подстановки ракетки под подлетающий мяч или шарик пинг-понга и многие другие. Mittelstaedt (1954) прямо предлагает разграничивать оба типа коррекций, рассматривая их как два равноценных по значению класса, обозначаемые им как *Regelung* и *Steuerung*. В настоящем контексте более важно другое.

Существование и встречаемость — гораздо более частая, чем кажется с первого взгляда, — коррекций предваряющего типа заставляет обратить внимание на то многостороннее значение, какое имеют антеципации для реализации какого бы то ни было целенаправленного двигательного акта. Уже само его программирование, определяемое, как было показано выше, осмыслением возникшей двигательной задачи, представляет собой предвосхищение как требующегося результата ее решения, так и тех двигательных средств, которые понадобятся для этого (последнее хотя бы в самых общих чертах).

На подобном же “заглядывании в будущее” целиком базируется и огромный класс психофизиологических процессов, носящих название *установки*, лишь к последнему времени достигшей признания всей ее значимости. Так же как при анализе отправлений задающего комплекса 2 мы обнаружили в нем иерархические ранги (уровни построения), начиная от организующих программу двигательного акта в ее целом и до уровня, уточняющего “микро-Sw” от мгновения к мгновению или от Δt к Δt , так и сейчас мы не можем пройти мимо факта, что, в сущности, для того, чтобы обеспечивать выполнение микропрограммных элементов и вести за собой управляемый двигательный процесс, последование задаваемых Sw должно все время *идти впереди фактического движения*, опережая его хотя бы на порогово-малые отрезки времени Δt , но уже достаточные для того, чтобы нарушенное этим равновесие (между достигнутым Iw и влекущим дальше Sw) обеспечивало динамику устремления к конечному результату. Таким образом, говоря полуфигурально, текущая микрорегуляция движения развертывается все время между настоящим моментом t и границами интервала от $t - \Delta t$ (“свежие следы”) до $t + \Delta t$ (опережение Sw).

Н.А.Бернштейн

УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ¹

Уровень тонуса (А)

...По знаку летчика парашютист выбрался на крыло. Механический ветер рвал и свистел. Казалось, что шири пейзажа внизу, до краев налитые в глубокую чашу горизонта, мерно покачиваясь, трепещут пружинящей дрожью. Не хотелось разжимать инстинктивно стиснутых рук. Парашютист преодолел слабость и, свернувшись комочком, выронил себя вниз.

Свист оборвался разом, как отзвучавший выстрел. Человек стукнулся о мягкие подушки воздуха и пошел книзу ласточкой, расправив тело и откинув голову.

Опытный в затяжных прыжках, он спокойно ограждал себя от штопора, не напрягаясь и лишь легко шевеля левой рукой. Тело само принимало нужные положения, пока стрелка секундомера оттикивала условленные километры...

Зарисовка, которую начат этот раздел, — один из очень не частых примеров выступления уровня А в роли ведущего уровня. В далеко преобладающем числе движений он уступает ведущее положение более молодым своим собратьям, но не стушевывается окончательно. Напротив, вряд ли найдутся такие движения, в которых не лежала бы в самом их основании работа этого “фона всех фонов”. То, что она не бросается сразу в глаза, вполне вяжется с ролью этого уровня как глубокого фундамента движений — ведь и фундаменты зданий глубоко скрыты под

землю, и ребенок или дикарь и не подозревают об их существовании. В более или менее чистом виде он выступает как ведущий уровень в те быстротечные доли секунды, пока длятся полетные фазы некоторых (но не всех) видов прыжков: стартового прыжка и прыжка с вышки в воду, прыжка на лыжах с трамплина и т.д. Эта редкость его появлений в качестве инструмента, исполняющего “соло” при молчании остального оркестра, объясняется его крайней древностью. Уровень А и выполняемые им движения — солиднейший документ-доказательство нашего прямого происхождения от праматери рыбы, старейшего из позвоночных. Редкость его выступлений в ведущей роли прямо связана с тем, что человеку только в очень исключительных случаях доводится оказываться в положении, в котором рыба проводит все свои дни: *в положении равновесия с окружающей средой, вне осязаемого действия силы тяжести*. Очевидно, что у нас это может случаться только в редкие и краткие моменты так называемых состояний свободного падения. У водных существ как нельзя более у места были эти плавные движения, даже не столько движения, сколько выравнивающие шевеления, наклоны и округления тела. Уровень А, как уже было сказано о нем в очерке III, был уровнем еще доконечностным, естественно специализировавшимся на мускулатуре *туловища и шеи*. Таким же туловищно-шейным он остался и по сию пору, вплоть до нас, людей, в то время как более новым образованием — конечностями — завладели и более новые уровни, начиная с В и выше.

Каждый, кто приглядывался к своим движениям, несомненно, знает по себе, как разно между собою ведут себя в движении, с одной стороны, ствольная система тела — туловище-шейная, а с другой — его же конечностное оборудование. Достаточно вникнуть в такие движения, как метание, прыжок с разбега, косьба, упражнения на снарядах и т. п., чтобы обнаружить упомянутую разницу со всей ясностью. В поведении *туловища и шеи*, держащей голову, преобладают плавные,

¹ Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: Физкультура и спорт, 1991. С. 139—141, 144—158, 160—184; Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. С. 135—141.

упругие, выносливые движения: это приспособительное, подвижное поддерживание, которое представляет собою своего рода смесь равновесия и движения — статики и динамики. Оно удачно названо *статокинетикой*¹. Наоборот, движения *конечностей* сильны, резки, они часто состоят из чередований (туда и обратно) и нацело и насквозь *динамичны*.

Объяснение этому приходит опять-таки из истории движений. С переходом жизни из водной среды на сушу получили сильно повышенный спрос движения твердые, резкие и сухие, как сама почва, на которой они совершаются, и отошли на далекий задний план движения плавные и текучие, как вода. В эту же пору выработались и конечности, а с конечностями пришел и новый верховный уровень В, с самого начала приладившийся к ним.

Можно было бы подумать, что самая суть этой яркой разницы движений — в различиях костно-суставных устройств туловища и конечностей. В шейно-туловищном стволе — мелкие звеньишки многочисленных позвонков, упруго, но не очень подвижно скрепленных в один гнущийся прут, подобный резиновой палке. В конечностях — жесткие, длинные звенья, между которыми находятся подвижные шарниры-суставы, отлично смазанные и сгибаемые почти без всякого трения. Однако первоисточник различия — не в этом. Без сомнения, и костно-суставные устройства, и нервно-мышечная система развивались, все время взаимно влияя друг на друга, но первую скрипку заведомо играла нервно-мышечная система. В итоге их взаимного срабатывания природе удалось возродить в туловищно-шейной системе почти всю допозвоночную, древнюю мягкость и изгибаемость. О чем хоть мало-мальски подобном могли бы помыслить для себя членистоногие — насекомые или раки? Что-то сходное имеется среди них разве лишь у сороконожек. И уж совсем своеобразно, что эта *беспоз-*

воночная по своему складу гибкость получилась у нас не в каком-нибудь ином месте тела, а как раз в области нашего *позвоночника*.

По самой грубой схеме уровни А и В так и поделили между собой территорию тела: уровню А — ствол и опора, уровню В — движители² (конечности). Разумеется, это разделение является очень упрощенным, прежде всего потому, что над работой как того, так и другого уровня у человека довлеют высшие, корковые отделы головного мозга. Но, кроме этого, указанное разделение труда осложнилось и неизбежным взаимным вмешательством. Уровню В необходимо пришлось принимать участие и в работе *мышц туловища*, поскольку старинные и слабоватые “моторы” уровня А не управлялись с мощными и быстрыми движениями всего тела и отставали от конечностей. Наоборот, для уровня А нашлось настолько важное ответственное применение в управлении движениями *конечностей*, что он твердо вышел там на очень видные роли, но только в качестве “уровня фонов”. <...>

Так как наши *мышцы* не могут толкать кости, а способны только тянуть их в свою сторону, т.е. *обладают односторонним действием*, то, естественно, что для каждого из направлений подвижности в наших суставах должна иметься *пара мышц взаимно противоположного действия*. В локтевом суставе, например, одна мышца работает как сгибатель — это всем широко известный бицепс плеча³, другая, на задней стороне руки, — как разгибатель локтя (за свою трехглавость она называется трицепсом). Как легко понять, для беспрепятственной сгибательной работы бицепса необходимо, чтобы разгибатель — трицепс, растягиваемый при сгибании локтя, не сопротивлялся бы, не тянул бы свою сторону, как взводимая пружина, а безропотно уступал бы дорогу. В следующей фазе движения очередь

¹ Кинетика — раздел механики, изучающий движения тел под действием.

² Движители — части машины, служащие для приведения ее в движение за счет энергии, получаемой ими от источников последней — от двигателей. Примеры: паровозное колесо, пропеллер самолета, гребной винт и т. д.

³ В локтевом суставе есть и еще одна мышца-сгибатель, работающая сообща с бицепсом, — внутренняя плечевая мышца. Ее наличие ни в чем не меняет дела в тех физиологических взаимоотношениях, которые рассматриваются в тексте.

дойдет до него, он начнет сокращаться и разгибать локтевой сустав; тут, наоборот, сгибателью — бицепсу придется озаботиться тем, чтобы как можно меньше обременять это движение своею упругой особой.

Тут и начинается закулисная управляющая работа уровня А. Он делает с пусковыми клетками и мионами мышц противоположного действия как раз то, что делают с цилиндрами паровых машин их *золотниковые механизмы*. Как эти механизмы поочередно включают в работу один из цилиндров и выключают другой или другие, так и импульсы уровня А действуют через спинномозговые клетки на возбудимость мышц. Когда надо отключить разгибатель, спинномозговые клетки его мионов становятся невозбудимыми, а их тонус падает, т. е. длина и степень растяжимости увеличиваются; в следующей фазе движения — наоборот. Не требует особых разъяснений и подчеркиваний то, насколько этот скрытый, черновой *фоновый механизм* важен для гладкого и экономичного протекания движения.

Как велика и значительна в общем и целом фоновая работа уровня А, ярче всего заметно на болезненных случаях, когда по каким-либо причинам она нарушается в ту или другую сторону. Тут появляется либо общая скованная одеревенелость всего тела, мертвенная маска ничего не выражающего лица, скудные, с большим трудом начинаемые движения либо, наоборот, глубокая разболтанность и расслабленность во всех суставах. Такому больному, лишенному тонуса, можно легко закинуть обе ноги за голову или завязать его всего чуть ли не узлом, сам же он ни одного связного движения, ни одного даже умеренного усилия произвести не может.

Здесь нельзя обойти вопрос о том, имеет ли рассматриваемый уровень какое-либо *касательство к ловкости* и какое-нибудь значение для последней. Так как уровень А *не ведет* у человека никаких движений и даже по отношению к позам тела бывает ведущим только в совсем особых, исключительных случаях, то, очевидно, можно ставить эти вопросы только применительно к его *фоновой службе*. Мы должны выяснить, имеет ли какое-либо значение для проявления качества ловко-

сти та или другая степень развития или совершенства фонов, доставляемых уровнем А?

Несомненно, имеет, и немалое. Сутулая, согбенная фигура, вялость мышц, руки, обвисшие вдоль тела, как белье на веревке, легко наступающие головокружения — вот, может быть, в несколько сгущенных красках, что получается при неблагоприятии с уровнем А, даже не имеющем под собой никаких непоправимых, анатомических мозговых повреждений. Ясно, что пытаться проявлять ловкость с таким двигательным аппаратом — все равно что писать сломанным карандашом.

Однако если чрезмерно расширять границы понятия *ловкости*, имеется опасность довести их до совпадения с границами того, что вообще называется *хорошей координацией движений*. Между тем оба эти понятия — не одно и то же, и было бы жаль лишиться по невнимательности четкого понятия настоящей ловкости, ценного и нужного во многих отношениях. Поэтому приходится сказать, что необходимой предпосылкой для ловкости является хорошая двигательная координация, а уж для этой последней столь же необходима безупречная фоновая работа уровня тонуса и осанки (А). Подобно этому для того, чтобы испечь хлеб, нужна мука, а для того, чтобы выросло зерно, из которого она делается, нужен дождик; однако было бы неточно сказать, что необходим дождик для того, чтобы испечь хлеб.

В последующих уровнях построения мы встретим гораздо более четкие и непосредственные предпосылки для ловкости. В заключение этой характеристики необходимо прибавить, что действия уровня А — и в роли ведущего, и в роли фонового — почти полностью *непроизвольны* и в большой степени ускользают от нашего сознания. Он — глубоко внизу, в трюмах мозга, и нам очень редко доводится спускаться туда, чтобы обзреть и проверить его работу сознательным наблюдением. Но он обычно хорошо оправдывает доверие, не любит вмешательств и так же благополучно обходится без них, как и внутренние органы тела. Двенадцатиперстная кишка или селезенка тоже ведь не часто докладывают нашему сознанию о своей работе!

Уровень мышечно-суставных уязок (В). Его строение

<...> *Уровень мышечно-суставных уязок*, иначе — *уровень синергий*, с присвоенным ему буквенным знаком В, читателю уже знаком. Это именно он выработался для обслуживания разнообразных *локомоций* по суше, а потом и по воздуху, когда в них приспела необходимость у позвоночных. Он — современник и партнер их *количественностей*. Он, наконец, первый уровень построения у позвоночных животных, применивший для длительных и сильных сокращений поперечнополосатых мышц тела те частые цепочки импульсов (по 50—100 в секунду), так называемые *тетанусы* <...>.

Каждый *уровень построения движений* — это ключ к решению определенного *класса двигательных задач*. <...> И задачи синергий больших мышечных хордов, и задачи всяческих локомоций возникли очень давно: они гораздо старше всех позвоночных животных и родились вместе с продолговатыми животными формами и их телерецепторами. Оттуда ведет свое происхождение и уровень В. Это почтенный старец, он, по сути дела, старше, чем “рыбий” уровень А. Именно вследствие его старости не удивительно, что на его долгом веку ему довелось пережить много биологических изменений. Он обитал в передних (грудных и головных) нервных узлах членистоногих, обосновался у позвоночных в системе нервных ядер так называемого промежуточного мозга, когда эти ядра еще были верховными во всей нервной системе, и, как увидим вскоре, вынужден был сдать многие из своих позиций и наследственных прав, когда пришли и захватили власть более молодые и сильные передние отделы мозга.

В истории развития головного мозга очень ярко проявляется один неуклонно совершающийся процесс, который получил название *энцефализации*¹. Он состоит в том, что по мере возникновения новых этажей и надстроек в мозгу в них одни за другими перекочевывают отправления, которые

раньше обитали в более низовых и старых отделах мозга. Несколько выше у нас был случай упомянуть о том, как постепенно все больше утрачивал свою самостоятельность спинной мозг. Еще у лягушки после полного ее обезглавливания он в состоянии управлять многими сложными и целесообразными рефлексамии. Быстро обезглавленная курица может пробежать сотню своих шагов, может даже взлететь на высокий балкон. Кошка после отделения у нее спинного мозга от головного путем перерезки уже не может ходить, но у нее сохраняется один из важных фонов ходьбы: чередующееся переступательное движение лапами, которое можно обнаружить, если подвесить ее туловище на лямки. У человека, как показывают соответствующие заболевания, и этот чередовательный, переступательный фон требует для своего управления сохранности уровня В, т.е. уже середины головного мозга.

Таким же порядком ушло кверху и многое из того, что долгие миллионы лет было неотъемлемым достоянием уровня В. Он все еще *уровень синергий* и мышечно-суставных уязок, но уже не уровень локомоций, как был когда-то. Мы застаем его у человека на очень и очень ответственных *фоновых ролях*, но значительная часть тех отправлений, по которым он был ведущим еще у низших пресмыкающихся, с тех пор эмигрировала из него кверху, к более современно и тонко оборудованным разделам мозга. Мы и найдем их все в следующих разделах, под буквою С.

Ознакомимся вкратце с анатомической основой уровня В у человека. Это стоит сделать еще и потому, что как раз у этого уровня она очень отчетливо отражает в себе принцип *сенсорных коррекций*, который мы выдвинули как самую главную основу всей двигательной координации.

Двигательные ядра уровня В, так называемые паллидумы, или бледные шары, находятся в самой глубине головного мозга. Исходящие из них двигательные нервные проводники тянутся от них не дальше как на 2—3 сантиметра книзу, до так называемых красных ядер, как составы груженных вагонов с городских скла-

¹ Энцефализация — от греческого слова “энцефалон” (буквально — “внутриголовное”), означающего головной мозг. Слово это, быть может, знакомо читателю по вошедшему в быт выражению “энцефалит” (воспаление мозга).

дов до ближайшей большой товарной станции в предместье. Эти красные ядра представляют собою исполнительные нервные центры низового уровня А: на них-то кроме их самостоятельных отправлений по специальности этого уровня и ложится добавочная нагрузка по переправке импульсов уровня В вниз, к пусковым клеткам.

Конечно, красные ядра не оставляют “грузов”, прибывающих к ним сверху, от паллидумов, “нераспечатанными”, они их видоизменяют и перерабатывают. При этом, несомненно, красные ядра отправляют вниз импульсы своего собственного уровня А, одним физиологическим способом, так сказать, на одном языке, а транзитные импульсы уровня В — на совсем другом. Здесь физиологии предстоит еще многое доисследовать.

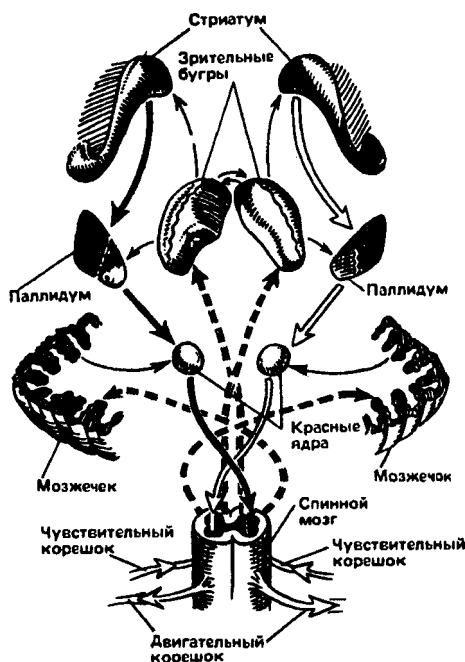


Рис.1. Главные чувствительные и двигательные ядра экстрапирамидной системы. Схема связей и проводящих путей: двигательные пути — сплошные, чувствительные — пунктирные стрелки

Чувствительными (или рецепторными) центрами уровня В служат самые боль-

шие из внутримозговых ядер (см. рис.1): это пара нервноклеточных скоплений, носящих старинное анатомическое название *зрительных бугров* или, по-латыни, *талямусов*. Эпитет “зрительные” — очень неудачный, отразивший в себе всю глубину неведения тех давнишних ученых, которые были первыми путешественниками по дебрям мозга и окрестили именами все образования, встречавшиеся им на пути. Как раз к зрительным нервам и к зрению талямусы, как оказалось впоследствии, имеют очень слабое касательство.

Талямусам очень пристало название мозговых *центров*. В них собираются со всех без исключения пунктов тела нервные проводящие пути *всей осязательной чувствительности* с множеством ее подразделений: чувством прикосновения, давления, тепла — холода, боли и т.д. и *всей суставно-мышечной чувствительности*, которой мы, еще во втором очерке, присвоили название *проприоцептивной*. Все эти нервные пути прибывают в талямусы непосредственно от чувствительных нервных окончаний в коже, мышцах, сухожилиях и оболочках суставов, без каких-либо прерывов или промежуточных станций. Поэтому талямусы получают всю чувствительную сигнализацию указанных видов самым прямым и быстрым порядком, так сказать, из первых рук.

Исторически талямусы были еще богаче. По своему строению они очень напоминают собою большие мировые столицы. Как вокруг Москвы или Нью-Йорка постепенно создались целые семейства предместий и пригородов, почти слившихся с самими этими мировыми центрами и образовавших вкупе с ними огромные скопления (“Большая Москва”, “Большой Нью-Йорк” и т.п.), — так приблизительно получилось и с талямусами. Если причислить к ним мелкие нервные ядра и ядрышки, примыкающие к ним со всех сторон, то окажется, что эта система “больших талямусов” включает в себя буквально всю телесную чувствительность без изъятия. В “пригороды” талямусов сходятся и зрительные нервы, и слуховые, и обонятельные; к ним же подходят и те нервные ветви, которые связывают головной мозг с нервным оборудованием внутренностей и, значит, доводят до “больших талямусов” и сигнализацию внутренней чувствительности.

Легко представить себе, что при таком абсолютно всестороннем и прямом чувствительном оснащении таламусы стали действительно “центрами” всей телесной рецепторики, и ни один отдел мозга не был в состоянии соперничать с ними по части *сенсорных коррекций*. Пока не существовало ни телерецепторики, ни попеременнополосатых мышц, ни локомоций, мало-мальски заслуживающих этого названия, природа кое-как обходилась без сенсорных коррекций. Но уж зато, когда они потребовались неотвратимо, эволюция создала для них первым же делом орган, действительно честно отвечающий своему назначению. Зато ни один уровень, ни уже описанный А, ни один из последующих более новых, не имеет способности управлять такими обширными, всеобъемлющими синергиями, как описываемый сейчас уровень В. Такие движения, как бег, прыжки, кувыркания, упражнения на снарядах, борьба, плавание и так далее, возможны только благодаря богатствам информации, собираемой таламусами.

Неумолимая “энцефализация” наложила свою руку и на уровень В. Проводящие нервные пути телерецепторов, органов *зрения, слуха и обоняния*, делают у человека в области таламусов лишь пересадку, перепряжку и *направляются* далее, кверху, в *кору мозговых полушарий*, захватывая в ней большие, тонко расчлененные территории. *Контактная чувствительность*, осязание, боль, суставно-мышечное чувство тоже пробили себе пути в кору и основали там свои крупные представительства, но они сохранили все-таки *тесную связь с главными ядрами таламусов*, куда их сигналы заходят в первую очередь на своем пути от разных точек тела. По части же дальнедействующих рецепторов таламусы высших млекопитающих и человека сильно слеповаты и глуховаты.

Этим перекочеванием объясняется и обеднение списка движений, самостоятельно выполняемых уровнем В. Он сохранил влиятельнейшее положение в качестве *фонового уровня*; это видно хотя бы из только что сделанного беглого перечня движений с крупными синергиями, необходимо заинтересованных в нем, но для положения *ведущего уровня* ему, с его подслеповатостью, уже многого не хватает.

Уровень мышечно-суставных увязок (В). Его отправления

Для того, чтобы ясно представить себе служебное положение и рабочую нагрузку уровня В у человека, просмотрим сперва вкратце его плюсы и минусы.

Главный плюс этого уровня уже указан. Это — его исключительная, не повторившаяся ни в одном из позднейших уровней способность управлять большими хорами мышц, большими синергиями <...>.

Движения, лежащие на ответственности других, более высоких уровней, несравненно более сдержанны и скупы в отношении одновременно запрягаемых ими мышц, если только они не делают займа из уровня В, привлекая его в качестве фона, например, при всякого рода локомоциях. Указанная особая способность уровня В делает его, так сказать, главным пультом управления по всем мышечным двигателям нашего тела. Он выступает в роли важнейшего фона отнюдь не только тогда, когда требуется мобилизация всех сотен мышц тела, сверху и донизу; не будучи таким гордым, он с готовностью берет на себя всякие синергии, даже в пределах одной только руки (например, в действиях письма, вязания крючком, завязывания узелка одной рукой).

Опять-таки благодаря теснейшей связи уровня В со всей рецепторикой движения под его управлением получаются всегда очень складными и стройными. Они выходят грациозно даже у совсем не грациозных людей. Они прекрасно налажены не только в каждый данный момент; этот же уровень мастерски организует движения и во времени, *управляет ритмом* движения, обеспечивает чередование работы мышц сгибателей и разгибателей и т.д. Что еще очень характерно для движений, за управление которыми берется этот уровень, — это необычайная, отчеканенная *одинаковость* последовательных повторений движения (так называемых *циклов* его) при всевозможных ритмических движениях. Последовательные шаги при ходьбе или беге получаются одинаковыми, как монеты одной и той же чеканки: последовательные циклы движений при работе пи-

лой, напильником, косой, молотом и т.д. похожи друг на друга гораздо больше, чем две капли воды.

Это свойство очень тесно связано с образованием *двигательных навыков* и с *автоматизацией движений* <...>.

При таких богатых возможностях, казалось бы, уровень мышечно-суставных увязок (В) мог бы управлять очень большим числом всякого рода движений. Препятствием для этого оказывается уже упомянутый пробел в его чувственной информации: *он плохо связан у человека с телерецепторами* зрения и слуха, нервные пути которых ушли от него кверху. Поэтому, как очень легко представить себе, он прекрасно приспособлен к тому, чтобы обеспечить всю *внутреннюю увязку* движения, согласовать между собою поведение мышц, наладить нужные синергии и т. д. Но приноровить скомпанованное таким порядком сложное и стройное движение к внешним условиям, к реальной окружающей обстановке — вот это ему не по силам.

В качестве примера взглянем на *ходьбу*. Даже при выпрямленной, двуногой походке, присущей человеку, в этот двигательный акт втянуты все четыре конечности, качающиеся взад и вперед в общем ритме. Нет такой мышцы во всем теле, которая не была бы как-то вовлечена в работу либо опорную, либо основную динамическую шагательную. Если бы человек оказался вдруг где-то в межзвездном беспредельном пространстве, то, наверное, уровень В сумел бы без добавочной помощи обеспечить ему в этом “отсутствии всякой обстановки” точное выполнение всех движений нормальной ходьбы. К сожалению, только она была бы там бесполезной. Действительная же ходьба, от которой может получиться реальный прок, совершается по какой-то поверхности, в каком-то направлении, в каких-то условиях: почва твердая, мягкая, скользкая, неровная и т. д.; под ногою то камешек, то канавка, то лужа, то ступенька, в пути то уклон, то поворот, то порыв ветра, то встречный пешеход... На все это нужно своевременно и соответственно откликаться. В первую голову для всего этого нужны *сигналы телерецепторов*; главное же, как увидим в следующем разделе, даже не они сами по себе (слепые могут же ходить без помощи зрения!), а

особенная форма организации всех внешних впечатлений в целом, до которой уровень В “не дорос” и которая одна только в состоянии доставить потребные для всего перечисленного сенсорные коррекции.

Здесь напрашивается одно сравнение, которое лучше всего пояснит роль уровня В и его слабые места. В движениях, подобных ходьбе, бегу и т. д., этот уровень делает то же, что бортмеханик на самолете: следит за правильной работой и главных ведущих моторов, и всех вспомогательных механизмов на борту, и всех приборов управления, и т. д. Роль же ведущего уровня при ходьбе или беге (это будет, как увидим ниже, уровень С) — это роль летчика-пилота, который ведет машину по требуемому курсу, выравнивает ее при качаниях, воздушных ямах, переменах ветра и т. д., уже не заботясь о том, что творится внутри машины. Уровень В *неоценим для внутреннего управления* движением, когда какой-либо из *вышестоящих уровней берет на себя его пилотирование*.

Как призванный *фоновый уровень*, он работает по большей части *без привлечения сознания* — это вообще участь всех фонов. Много в его отправлениях *непроизвольно*, полностью или в какой-то мере, хотя они несравненно более доступны для произвольного вмешательства, чем глубокие, “подземные”, тонические фоны из уровня А. Нельзя, конечно, ожидать, чтобы в уровне мышечно-суставных увязок имелись в каком-то заранее заготовленном виде фоновые, вспомогательные координаты для всевозможных движений и навыков, приобретаемых человеком в течение его жизни. Этого и нет на самом деле. Уровень В хорошо приспособлен у человека к *усвоению жизненного опыта*, к построению новых координат и хранению их в сокровищнице двигательной памяти. (Это будет рассмотрено подробнее в следующем очерке). К зрелому возрасту уровень В бывает переполнен всевозможными фонами, выработанными им по заявкам вышележащих уровней, которым эти фоны требовались по ходу выработки навыков. Эти “фоны на заказ” и есть то, что называется *автоматизмами* (о них будет речь ниже). Нет ничего удивительного, что такой обогащенный всяческими “заказными” фонами зрелый уровень В легко мо-

жет подобрать в своей, так сказать, фонотеке прекрасно подходящие или, на худой конец, более или менее подходящие фоны для очень многих незнакомых или непривычных движений, с которыми человек столкнется впервые в эту пору своей жизни. Это дает ему большую маневренность, легкость овладения самыми различными навыками и сноровками и очень увеличивает его средства к быстрой ориентировке в любом положении. Человеку с хорошо разработанной коллекцией фонов в “фонотеке” уровня В несравненно легче, чем другому, без промедления найти двигательный выход из любого положения. А это, как мы видели во вступительном очерке, и есть первоначальное и самое основное определение ловкости.

Анализ следующих вышестоящих уровней построения покажет, что двигательные возможности, заключенные в хорошо развитом уровне В, не есть еще сама ловкость, но это необходимейшие предпосылки для нее. В дальнейшем придется в связи с проводимой нами классификацией движений по уровням расчленить проявления ловкости на два больших класса, один из которых мы будем называть телесною ловкостью, а другой — ручной ловкостью, предметной ловкостью или ручной сноровкой. Мы увидим тогда, что двигательные средства уровня В являются важнейшей и единственной опорой для первой и одною из важных предпосылок для второй. Самое качество телесной ловкости мы впервые отчетливо обнаружим в ближайшем следующем уровне С. Но один этот уровень, если он будет предоставлен самому себе или будет обречен опираться в своей работе на плохой беспомощный уровень мышечно-суставных увязок, в состоянии будет сделать по части ловкости не больше, чем смелейший и искуснейший рыцарь, если он оседлает себе для турнира хромого клячу.

После всего сказанного читатель уже не будет удивлен, увидев список самостоятельных движений, ведущихся на уровне В, осыпавшемся, как дерево осенью. Большая часть того двигательного слоя, которым он ведал когда-то, ушла от него к вышестоящим отделам мозга.

Что ему осталось по части самостоятельных движений? Полунепроизвольные, полунеосознаваемые двигательные акты в

преобладающей части — более нежели второстепенной жизненной значимости.

Осталась в его ведении мимика <...>. Осталась пантомима или мимика телодвижений — те выразительные непроизвольные жесты, сопровождающие и речь и все поведение, на которые сравнительно скупы сдержанные северяне и которыми пересыщен весь обиход живых, темпераментных жителей юга. <...>

Остается уровню В, наконец, из этой же группы движений — пластика, не движения западноевропейского, бального танца или народной пляски, близкие скорее к локомоторным актам, а танцевальные движения ленивого Востока, то тягучие, полные сладостной истомы, то прорывающиеся змеистым, страстным устремлением. Дальше пройдут перед нами движения ласки, нежности, осуществленной страсти; движения расправления своего тела, потягивания, зевка; кое-что из вольногимнастических телодвижений в духе Мюллера; наконец, ряд привычных, у каждого человека своих, полумашинальных жестов вроде почесывания за ухом, верчения пуговицы, поигрывания перстами, как у толстого Увара Ивановича из тургеневского “Накануне”, и т.п. (эта последняя группа жестов, по существу, очень близка к вилянию хвостом у четвероногих). Вот более или менее и все, что уровень В может нам предъявить.

Совсем другая картина получается, когда мы берем в руки список его же фоновых выступлений. Здесь уровень В преобладает, приосанивается и показывает себя во всем блеске и разнообразии своих дарований. Из изложенного уже ясен стиль и смысл его фоновой работы; перечисление же конкретных примеров будет гораздо более уместным в следующих разделах, при характеристиках самих движений, которые он вспомогательно обслуживает.

Уровень пространства (С). Его строение

“Другим его преимуществом была способность верно оценивать время и расстояние. Он, понятно, не делал этого сознательно. Все было автоматически. Его глаза видели верно, а нервы верно передавали видимое его мозгу. Он обладал наилучшей, далеко наилучшей нервной, умственной и мышечной координацией. Когда его глаза препровожд-

дали в мозг движущееся изображение действия, то мозг его, без осознаваемого усилия, знал уже то пространство, в котором заключено действие, и то время, которое требуется, чтобы выполнить его”.

(Джек Лондон “Белый Клык”)

<...> Новый уровень построения входит в приемную на наш очередной смотр.

Это — чрезвычайно интересный и сложный уровень. Он имел бы право на наше пристальное внимание уже потому, что в нем мы впервые сталкиваемся с носителем огромных, богатейших списков самостоятельных движений, а не одних только фонов, как было сплошь раньше. К тому же, как это скоро выяснится, именно в нем нашли себе опору очень многие из движений, интересных для физкультурника: почти вся гимнастика, легкая атлетика, акробатика и еще многое, не говоря о фонах, которыми он обслуживает всю область физической культуры.

Уровень С не так-то просто разгадать и осмыслить у человека с первого взгляда. Он значительно сложнее предыдущих по своему строению и производит впечатление какого-то двойственного, двойного. Он обладает двумя очень разнородными и никак не связанными между собой *системами двигательных нервных центров* в мозгу и двумя же не менее разнохарактерными *системами чувственной, сенсорной сигнализации*. Он имеет такой вид, как будто полностью занимает в головном мозгу два этажа. Между тем это, вне всякого сомнения, один уровень, а не два отдельных, и при этом уровень очень слитный, цельный, обнаруживающий чрезвычайно характерные, больше нигде не повторяющиеся черты.

Что до этой двойственности, то при внимательном анализе дело разрешается просто. Мы застаем уровень С у человека в *переходном состоянии*: в самом разгаре того самого *процесса энцефализации*, о котором уже было у нас несколько упоминаний. Он как раз теперь покидает верхний этаж экстрапирамидной двигательной системы (*эдс*) — этаж уже известного нам (по птицам) стриатума, в котором он обитал нацело до образования у млекопитающих пирамидной, новодвигательной системы. Он завел дело своего переезда на другую квартиру настолько далеко, что в

его новом адресе тоже сомневаться не приходится: все низовые разделы корковой двигательной системы — пирамидной (*пдс*) — уже полностью им освоены. Половина имущества и обстановки еще внизу, у старого очага, половина расставлена по просторной жилплощади передних центральных извилин коры больших полушарий. Конечно, *увидеть динамику* этого переселения по энцефализационному порядку нашей сегодняшней науке не под силу. Объективному изучению мозга еще нет 150 лет, а такие переселения заведомо требуют не меньшего количества тысячелетий. Заметить их так же невозможно, как заметить движение часовой стрелки, проследив за ней в течение четверти секунды. Но через 100—200 тысяч лет, несомненно, уровень С человека станет уже окончательно корковым, пирамидным, а стриатумы отойдут скорее всего в распоряжение уровня мышечно-суставных увязок (*В*), которому они обеспечат лучшие, более тонкие и совершенные отправления, чем те, что доступны ему сейчас.

У преобладающей части высших млекопитающих, уже имеющих у себя в мозгу *пдс*, уровень С все еще в основном гнездится в системе стриатума. У этих животных (например, у кошки и собаки) полная перерезка с опытной целью пирамидного проводящего пути одной стороны вызывает только небольшую хромоту, проходящую через короткое время без остатка. У человека расстройства, вызываемые выходом *пдс* из строя (это часто бывает после так называемого “удара”; говорят: “с ним случился удар”, “его хватил удар”), не выправляются до конца жизни.

Ознакомимся с работой уровня С. Класс двигательных задач, которые вызвали его к жизни и по общему характеру которых мы называем его “*уровнем пространства*”, очень стар. Он заведомо старше *пдс*, он старше и стриатума. Это — тот самый класс задач, который возник в связи с переходом позвоночных животных на сушу и в воздушную стихию и с образованием у них конечностей: класс сперва главным образом одних локомоций, а потом, с его развитием, класс вообще владения окружающим пространством. Особенно заострилась необходимость такого высокоразвитого обособленного уровня пространства, когда оно ста-

ло обширным — со времени возникновения телерецепторов — и притом доступным во всех частях благодаря сильным рычажным конечностям, вооруженным поперечнополосатой мускулатурой. Энцефализация переселила этот уровень из паллидумов в стриатумы; на протяжении последних страниц эволюционной истории ему уже стало тесно и в стриатумах, и вот мы застаем его между небом и землей, между *эде* и *пде*, на двух стульях.

Конечно, уровню пространства просторнее и лучше в новом корковом обиталище — мы увидим это воочию на примерах движений. Но он очень хорошо сумел извлечь все выгоды и из того двойственного, переходного положения, в котором он сейчас находится. Для тех движений, которыми он управляет, он использует обе двигательные системы — и экстрапирамидную, и пирамидную, со всеми оттенками и особенностями обеих; для своих сенсорных коррекций он опирается на чувственные сигнализации той и другой системы, а они очень заметным образом отличаются друг от друга и по составу, и по способу слияния и переработки сырых чувственных впечатлений. Это создает ему такие богатые сенсорные “фонды”, которые смело могут поспорить с фондами уровня В. Особенно богато и тонко расчленена чувствительная информация, которую доставляет кора полушарий мозга для верхнего этажа обсуждаемого уровня пространства. Здесь имеются обширные зрительные и слуховые области (первые — в затылочных, вторые — в височных долях полушарий) и особенно развитая, подробно отображающая всю поверхность тела осязательная область в самом непосредственном соседстве с пирамидной областью. Она же содержит в себе и представительство мышечно-суставной чувствительности. <...>

Пирамидная двигательная область коры и чувствительная область осязательных и мышечно-суставных (проприоцептивных) ощущений тянутся на каждом из полушарий мозга вдоль по обоим берегам глубокого, прямого оврага, называемого центральной или Роландовой бороздой; первая по переднему, вторая по заднему берегу. Нервные клетки — начала и концы соответственных нервных проводников — не разбросаны по этим областям коры как придется. Наоборот, здесь царит самый точ-

ный и рациональный порядок. В чувствительной полосе в точности отображается все тело сверху донизу, только в дважды обращенном виде а) левая половина тела отображена в правой полушарии мозга и наоборот; б) как в правой, так и в левой области тело воспроизводится *вверх ногами и вниз головой*.

Пункты двигательной, передней, полосы коры приходятся против соответствующих пунктов задней, чувствительной, полосы, размещаясь точно наравне с ними: как раз “через дорогу” от участка, на котором представлена, например, чувствительность кожи и мышечно-суставной оснастки бедра, находится участок, содержащий двигательные нервные клетки мышц бедра и т.д.

Пункты поверхности передней, двигательной полосы обладают электрической раздражимостью; если подвести слабый переменный ток к обнаженной поверхности мозга в пирамидной области (у человека это удобно и совершенно безвредно можно сделать во время операции на мозге), то можно получить сокращения любой мышечной группки тела по желанию, аккуратно перемещая концы проводников от точки к точке. Таким именно способом и составлены карты пирамидной области <...>.

Однако та чувствительная сигнализация, на которую опираются сенсорные коррекции разбираемого уровня, обслуживает его не в сыром виде. Уже была речь о том, что снизу вверх по уровням все больше и больше возрастает переработка чувственного материала, слияние сигналов разных органов чувств друг с другом и сплетение их всех с многочисленными следами прежних воспоминаний. То сложное, тонко расчлененное соединение, или синтез, на котором покоится работа уровня С, мы называем пространственным полем.

Что такое пространственное поле?

Пространственное поле — это, во-первых, точное объективное (т.е. соответствующее действительности) восприятие внешнего пространства при сотрудничестве всех органов чувств, опирающемся вдобавок на весь прежний опыт, сохраняемый памятью.

Во-вторых, это есть своего рода *владение* этим внешним окружающим *пространством*. Мы можем без всякого труда и раздумья попасть пальцем в любую точку пространства, которую мы видим перед собой или ясно представляем себе. Это значит, что мы умеем мгновенно включить в работу то сочетание мышц руки, в той самой силе и последовательности, какие нужны для немедленного и безошибочного попадания в эту точку. Конечно, такое умение мгновенно сделать “перевод” с языка нашего представления о точке пространства на язык потребного сочетания мышц (как говорят, “мышечной формулы” движения) относится отнюдь не только к руке и пальцу. Нам также легко, не задумываясь, попасть в ту же точку пространства кончиком ноги, носом, ртом и т.п., не труднее сделать это и концом любого предмета, который мы держим в руке или в зубах. При несколько большей ловкости мы можем попасть в любую наметенную точку и путем меткого броска. Вот это и есть то, что называется “*владение пространством*” — вторая определяющая черта *пространственного поля*.

Нельзя обойти молчанием нескольких основных свойств пространственного поля, очень важных для уяснения работы разбираемого уровня построения.

Во-первых, это поле пространства, в котором мы “*владеем*” в указанном смысле каждой точкой, *обширно*, простирается далеко во все стороны от нашего тела.

Во-вторых, мы с уверенностью воспринимаем его как нечто *несдвигаемое*. Когда мы, например, поворачиваемся кругом на полный оборот, то нам ни на мгновение не кажется, что весь окружающий мир повернулся вокруг нас, хотя сырые, непосредственные ощущения всех органов чувств говорят нам именно это. Те случаи (например, головокружение), когда нам начинает мерещиться, что поворачиваемся не мы, а внешний мир, мы относим, конечно, уже к болезненным нарушениям нормальной работы уровня пространства.

В-третьих, мы воспринимаем внешнее пространство как совершенно *однородное*, одинаковое во всех своих частях. Наши глаза, как известно, изображают нам все предметы в перспективе: близкие — крупными, далекие — маленькими; параллельные между собой рельсы кажутся нашим

глазам сходящимися в одну точку на горизонте и т. д. И для нашего осязания, и для мышечно-суставного чувства разные точки пространства, безусловно, неравноценны между собой: на коже чередуются сильно и слабо чувствительные участки, с часто или редко размещенными по ним осязательными точками; мышечное чувство также имеет очень разную степень восприимчивости (в зависимости от положения тела или конечностей и т. д.). И тем не менее, несмотря на все это, внутренняя переработка этих сырых впечатлений в мозгу так глубока, что, когда целостное и слитное *восприятие пространственного поля* доходит до нашего ясного сознания, все части и кусочки его становятся уже такими же однородными между собой, как в учебнике геометрии. Все те, очень многочисленные, искажения действительности, которые содержатся в непосредственных показаниях органов чувств, погашаются, исключаются и выправляются настолько полно, что мы и не подозреваем о многих из них. Многие из этих искажений действительности (так называемых чувственных иллюзий) и наукой-то были открыты всего лишь за последнее столетие — так полно умеет освободиться от всех них законченное, “набело переписанное” отображение пространственного поля, каким оно попадает в наше сознание и каким оно руководит коррекциями уровня С.

К этим трем важнейшим свойствам пространственного поля — его *обширности*, *несдвигаемости* и *однородности* — надо добавить еще то, что мы отчетливо воспринимаем *размеры* находящихся в нем вещей и *расстояния* их между собой, ясно отдаем себе отчет в *форме* предметов, окружающих нас, верно оцениваем *углы* и *направления*, узнаем и можем воспроизвести движения (например, нарисовать) подобные друг другу фигуры и формы и т. д.

Свойства движений в уровне С

Вот в этом-то пространственном поле и разворачиваются движения уровня С. Теперь нам легко будет уяснить себе, почему эти движения наделены такими, а не другими свойствами.

Они очень непохожи на те плавные, огромные, гармоничные синергии, какие мы видели на витрине движений предыдущее-

го уровня В. Движения уровня пространства (конечно, если только они не пересыщены фонами из уровня В) обычно скупы и кратки. Они обладают какой-то деловой сухостью, не втягивая в дело сколько-нибудь больших мышечных коллективов. Это, так сказать, камерные выступления мускулатуры.

Типичные движения уровня пространства — это *целевые переместительные движения*. Очень большая часть их — однократные. Они всегда ведут *откуда-то, куда-то и зачем-то*. Они переносят тело с места на место, преодолевают внешнюю силу, изменяют положение вещи. Это движения, которые что-то показывают, берут, переносят, тянут, кладут, перебрасывают. Они все имеют начало и конец, приступ и исход, замах и удар или бросок. Они непременно приводят к какому-то определенному конечному результату. Даже в тех случаях, когда движения повторительные (например, вбивание гвоздя, раскладывание карт по столу, ловля мух), то за этой повторительностью, относящейся только к внешнему оформлению движений, всегда скрывается ясный целевой финал: гвоздь будет рано или поздно вбит по шляпку, карты все выложены и мухи переловлены.

С этим свойством движений уровня С стоит сравнить то, что типично для ранее описанного уровня В: можно ли говорить о целевом результате улыбки или о конечной цели, достигаемой зевком?

Вторая черта движений, ведущихся на уровне пространства, не менее выразительна, нежели описанный сейчас их целевой характер. Прежде всего, им присуща большая или меньшая степень *точности и меткости*, во всяком случае, оценка качества движений этого уровня прямым образом зависит от того, насколько они точны или метки. Ехать на велосипеде надо уметь так, чтобы проехать по узкой прямой доске; бросить или отразить ракеткой мяч так, чтобы этот выстрел мог потягаться с выстрелом Вильгельма Телля или Одиссея <...>, и т. д. Оглянемся снова на уровень В: какая может быть точность у нахмуренных бровей или у движения ребенка, ласкающегося к своей матери?

С другой стороны, эта же сторона движений уровня пространственного поля проявляется еще в одном свойстве, имеющем самое близкое *отношение к ловкости*.

Возьмите несколько раз подряд с одного и того же места какой-нибудь небольшой предмет, например, коробку спичек. Сделайте это быстрыми и точными движениями и постарайтесь наблюдать за ними. Если вы опасаетесь, что наблюдение за собой сможет исказить ваши движения, сделайте те же наблюдения над другим лицом, не сообщая ему о цели опыта.

Вы непременно убедитесь, что *концы* всех повторяемых вами движений — моменты прикосновения к коробочке — очень точно сходятся в одно место, как лучи света собираются в фокус. Самые же *пути* движения руки от исходного согнутого положения к цели окажутся все непреднамеренно *разными*, расходящимися друг от друга больше чем на десяток сантиметров.

Непосредственная *причина* этого факта легко угадывается. Ответственная, смысловая часть проделанных движений — это их конец, взятие коробочки. За этой частью и следят со всей пристальностью коррекции уровня С, ведущего эти движения. Промежуточные, средние части движения не имеют значения для результата — ведущий уровень и остается к ним совершенно равнодушным.

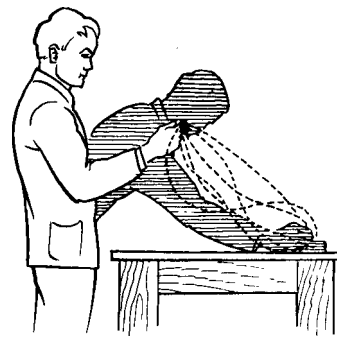


Рис.2. Взятие спичечной коробки со стола (подробности в тексте)

Гораздо труднее понять то, каким образом такая полная *беззаботность коррекций* к средней части движения *уживается с их высокой бдительностью* к его концу — ведь кончик движения “насажен” на его предыдущую часть, как стальное перо на ручку или как наконечник копья на древко. Если древко копья будет раз-

болтанное и непрочное, то какой меткости можно ожидать от острия?

Не углубляясь далеко в этот сложный вопрос нервной механики, наметим только в кратких словах, как разрешается в действительности эта трудность. Мы уже говорили, что огромный, накопленный день за днем, за всю жизнь опыт выработал в нашем мозгу — именно в уровне С — навык быстрого и безошибочного перевода с языка представления о точке пространства на язык мышечной формулы движения к этой точке. Каждый уголок пространства, до которого могут достигнуть наши конечности, так хорошо освоен нами, что все возможные способы достать до него или попасть в него для нас равны. Благодаря этому опыту, обработанному и впитанному в себя полушарий, нами давно достигнута полная взаимозаменяемость всех движений, ведущих к одной и той же пространственной цели. И в тех случаях, когда нам действительно все равно, которую из тысячи мышечных формул, ведущих к пространственной точке N, включить в работу, уровень С и включает первую, какая ему подвернется.

В этом свойстве заключается существенная разница между поведением коррекций уровней В и С. Уровень мышечно-суставной увязки (В) всегда исходит из собственного тела. Его чувствительность непрерывно и обстоятельно информирует его о положениях частей тела, напряжениях отдельных мышц, суставных углах и т. д. Естественно, что, когда строить движение доводится ему, он всячески сообразуется с биомеханической стороной движения; соблюдает наиболее удобный и экономный порядок включения мышц, заботится о выборе наиболее плавного и “обтекаемого” пути движения из того бесчисленного множества возможностей, которые предоставляются ему обилием степеней свободы. Именно поэтому его движения обычно так складны, непринужденны, даже изящны.

Не то уровень С. Он исходит из пространственного поля, из отметки той или другой требуемой точки пространства, растилающегося перед глазами. Как сказано, это пространство — внешнее, обособленное от нас и не зависящее от нас. Поэтому понятно, что и коррекции уровня С, направляя движение, следят только за тем, как оно вписывается в это внешнее, чуждое

нашему телу пространство. Как при этом оформится биомеханическая сторона движения, как будут изменяться положения суставов, даже то, удобно или неудобно расположатся промежуточные позы действующей конечности, — до всего этого уровню С чрезвычайно мало дела. Ему твердо известно одно: степеней свободы у руки достаточно, чтобы кисть ее могла быть приведена в любую точку досягаемого пространства, и даже многими способами. А как именно будут для этой цели группироваться между собой суставные углы — его это не касается. Может быть, как раз в этом причина известной угловатости, сухости движений, когда их исполняет уровень С.

Зато полученное этой ценой двигательное “владение пространством” дает нам столько преимуществ, что с избытком окупает эти незначительные минусы. Оно обеспечивает нам выбор среди не десятков и не сотен, а неисчислимых тысяч способов пробиться к одной и той же определенной пространственной цели. Когда движение течет без всяких осложнений (вроде взятия коробки со стола), то этот широкий выбор выливается просто в ненамеренное разнообразие неотчетливых частей движения, как мы только что видели. Но если по ходу движения возникнут какие бы то ни было непредвиденные затруднения, уровень С тотчас же мобилизует свои широкие возможности (а у него есть, из чего выбирать). Там, где уровень мышечно-суставной увязки, с его чеканными формулами движений, прекрасно приспособленными к свойствам мышц и нравам суставов, встанет в тупик, там уровень пространства шутя покажет всю свою приспособительность и изворотливость.

Отсюда прямо проистекает третья характерная черта движений уровня пространства: переключаемость. Попасть в заданную точку пространства одинаково легко не только различными движениями одной и той же конечности, это так же легко сделать и правой и левой рукой, и локтем, и кончиком ноги, и носом и т. д.

Когда мы поднимаемся на высокую гору, мы беспрестанно переключаемся на самые разнообразные формы локомоций: движемся то шагом, то ползком, то карабкаемся, то цепляемся на руках. Гармонисту очень легко бывает переключиться с

одной системы гармонии на другую, хотя расположение ладов или клавишей у различных систем разное. Скрипач легко переходит со скрипки на альт, хотя это требует значительных изменений в движениях левой руки. Лыжники знают, сколько существует разных взаимозаменяемых способов для поворота, торможения на спуске, подъема на косогор. Число примеров можно приумножать без конца, но они все говорят об одном: как только на сцену выступает *уровень пространства*, он неизменно приносит с собой *гибкость и маневренность*. А это свойство, если оно хорошо развито, оказывает движениям серьезные услуги, делая их приспособительными, “спортивными”, “обладающими неоспоримой ловкостью”.

Движения уровня пространства

После той тощей тетрадки, какую выглядела опись самостоятельных движений уровня мышечно-суставной увязки, полное собрание движений, управляемых уровнем пространства, выглядит неисчерпаемым морем. На этот раз речь уже идет не о фонах, которые он доставляет вышележащему уровню действий, а именно о самостоятельных, законченных двигательных актах. Нет никакой возможности составить что-либо вроде их каталога. Все, что здесь можно сделать, это выделить среди их изобилия самые главные и характерные группы так, чтобы в них уместилось все наиболее важное, и привести по каждой из групп по несколько типичных примеров.

Самые старинные и основные движения уровня пространства, ради которых он, несомненно, и организовался в самом начале, — это *локомоции*, передвижения всего тела в пространстве с одного места на другое. Перечислить их со всеми разновидностями, конечно, невозможно. Во главе их шествия выступают прародители всех сухопутных локомоций *ходьба и бег*. Каждая из обеих первичных локомоций ответвляет от себя по целому семейству разновидностей: пригибной шаг, ходьба на носках, церемониальные марши, бег на различные дистанции и т.д. Их окружает толпа локомоций всевозможных других видов: предок всех вообще локомоций на земном шаре плавание, пол-

зание, лазанье, карабкание и т. д., вплоть до ходьбы на четвереньках и на руках. За всеми этими локомоциями, состоящими из бесчисленных повторений одних и тех же *циклов* движений (их так и называют — *циклическими*), следует ряд локомоций однократного, *нециклического* типа: всяческие прыжки в высоту, с высоты и на дальность.

Если во всех перечисленных видах локомоций человек выступал одной только собственной своею особой и мог бы каждую из них выполнять нагишом, без единого предмета на себе и при себе, то дальше в этой процессии локомоций мы увидим передвижения, связанные с *применением* тех или других *вещей*. Перед нами проходят локомоции с простейшими приспособлениями: лыжи, коньки ледовые и роликовые, ходьба на ходулях, прыжки с шестом. Дальше — вереница локомоций, перемещающих вещи: переноска всевозможными способами тяжестей на себе; затем носилки, тележки, санки, тачки, бурлацкая лямка и т.п. Читатель вряд ли ожидал, что в нашем распоряжении такой объемистый каталог локомоторных передвижений.

Все эти локомоции — целостные движения всего тела, не оставляющие на нем без рабочей нагрузки ни единой мышцы. Вполне понятно, что спрос на вспомогательные фоны во всех этих движениях очень высок, особенно на фоны из уровня мышечно-суставной увязки (В). Здесь, в этих сложных, обширных движениях, где требуется стройная, чеканная увязка между десятками суставов и сотнями мышц, конечно, мышечно-суставному уровню выпадает много дела. Можно смело сказать, что девять десятых всей мышечной нагрузки при ходьбе или беге приходится на долю этого фонового уровня и не более одной десятой ложится на уровень, ведущий рулевое управление этими локомоциями. Это и не удивительно. На автомобиле или пароходе, например, мышечная работа водителя или рулевого тоже ведь ступшевывается перед рабочей мощностью, которую отдает движущая машина. Тем не менее именно эти небольшие по величине коррекции, управляющие всем движением, являются самыми ответственными; без них как автомобиль, так и шагающий человек тотчас же превратились бы в слепые разрядники энергии, бесперспективные или даже опасные. <...>

Во *вторую группу* естественно будет объединить такие же большие, всеобъемлющие *движения всего тела в пространстве*, как и те, что относятся к числу локомоций, но только не переносащие человека с одного места на другое. Эта группа составит главным образом из спортивных, гимнастических и плясовых движений: всякого рода упражнений на брусках, на кольцах, на перекладине, на трапеции; всевозможных видов кувырканий, сальто и т. п. Очень многое внесут в эту группу движений акробатика и балет.

С этой группой мышечно-суставному фоновому уровню не меньше, а, может быть, больше хлопот, чем с предыдущей. *Ходить* по улицам, *бегать* за трамваем, *прыгать* с подножки приходится повседневно и каждому, но нельзя сказать того же об антраша и кувырках. А последние движения, помимо того что их нельзя отнести к числу привычных, предъявляют к координации и более высокие требования. Нужные для них коррекции и мышечные синергии не формируются естественным порядком в детстве, как это случается с большинством локомоции. Эти коррекции в большинстве своем тоньше и строже, они, почти в буквальном смысле слова, головоломнее; их приходится специально вырабатывать путем упражнения. Чем богаче накопленные человеком запасы, или “фонды” фонов, в мышечносуставном уровне, чем искуснее и находчивее умеет извлекать их и пользоваться ими ведущий уровень пространства (С), тем лучше и ловче будут строиться у него движения этой группы.

От всего тела в целом переходим к его частям. В *третьей группе* движений, которыми управляет уровень пространства, мы поместим *точные, целенаправленные движения рук* (и других органов) *в пространстве*. Наши руки и пальцы тоже умеют “ходить” и “бегать”, — это не исключительная монополия ног. К очень многим движениям и в разговорной речи привились выражения: “беглость пальцев”, “пальцы забегали по клавишам”, “руки с рабочим инструментом заходили взад и вперед” и т. п. Встретятся в этой же группе и движения, делающие основной упор не на беглость, а на *точность*. Это те самые уверенные, целенаправленные простые движения руки, которые послужили нам

первыми образцами и представителями движений уровня пространства: движения, которые что-то берут, несут, выхватывают, показывают и т. п. Они всевозможными способами перемещают вещи: куда-то кладут, бросают, передвигают, сталкивают их. Уровень пространства не умеет сделать с вещью ничего более сложного — на это, как увидим вскоре, нужно уже руководство более высокостоящего *уровня действий*. Но перемещать вещи туда или сюда в пространстве — это прямая специальность уровня С.

С фоновой нагрузкой мышечно-суставного уровня (В) в этой группе движений дело обстоит очень неравномерно. В таких движениях, как, например, простое указывание, ему почти нечего делать; наоборот, в “локомоциях пальцев”, как у пианиста или баяниста, он так же ответственно занят взаимной пригонкой всех мышечных сокращений, как и в настоящей ходьбе и беге.

От передвиганий вещей естественно перейти к *преодолеванию сопротивлений*: здесь, в *четвертой группе*, мы сосредоточим всякого рода силовые движения. Не задерживаясь на них долго, вызовем для знакомства пяток представителей их, какие подвернутся первыми: подъем тяжести с земли, подтягивание своего тела на кольцах, натягивание лука, работа тяжелоатлета со штангой, кручение рукояти колодезя или лебедки. Мышечная нагрузка в этих движениях большая, значит, и фоновым уровням здесь много дела. Каждый знает по себе, насколько улучшает все эти движения выработанный навык или сноровка.

Теперь мы подходим к одной из интереснейших групп движений уровня пространства: к размашно-метательным, или *баллистическим, движениям*. К этой же, *пятой, группе* принадлежат и *ударные движения*. В самом деле, если вдуматься, движение удара с размаху топором или тяжелой кувалдой отличается от движения броска только самым последним моментом. Если пальцы, держащие предмет, разожмутся и выпустят его в тот миг, когда он движется с наибольшей скоростью, это будет бросок. Если пальцы не сделают этого легкого добавочного движения, то получится удар. В основном же те и другие движения очень родственны друг другу: в обеих разновидностях задача сводится к

разгону некоторого предмета до возможно большей скорости.

Гораздо целесообразнее разбить эту группу на две части по другому признаку. Одни из размашно-метательных движений делают установку главным образом на *силу* удара или броска. Другие делают главный упор на их *меткость*. Примерами первых могут служить удар молотобойца, рывок штанги, удар топором при грубой рубке, толкание ядра, метание диска, молота или гранаты на дальность. Образцами метких баллистических движений будут: метание копья или мяча в цель, движения при игре в теннис, лапту, городки, крокет; работа жонглера; укол штыком; удары кузнеца, слесаря, обойщика, тонкие ударные движения плотника, хирурга, механика и т. д.

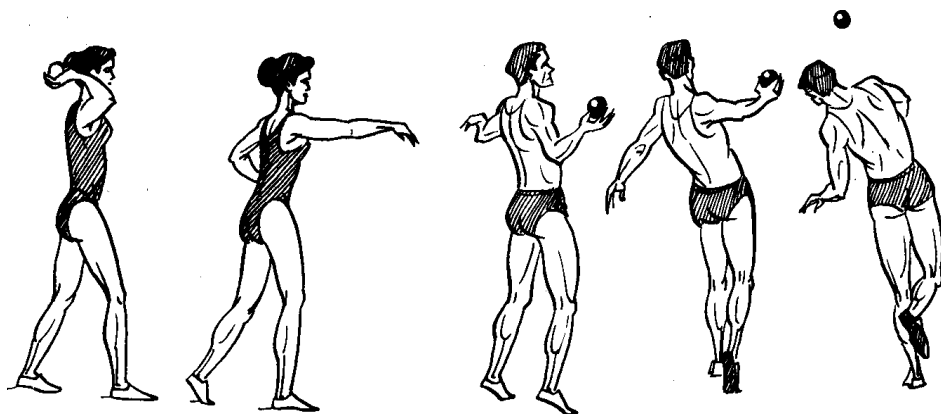
Как важен для баллистических движений хорошо выработанный навык, видно уже из того, как редко встречается умение хорошо и метко ударять и метать. *А раз движение нуждается в навыке, это значит, что оно нуждается в фонах*, — это положение мы уже установили прочно. Действительно, у размашно-метательных движений самая суть и основа — тонко слаженные синергии из уровня В. Вспомните в общеизвестную разницу между метательными жестами девочек и мальчиков. Девочка бросает почти тем же самым жестом, каким она указывает, только несколько более размашистым. Это — просто распухшее движение указывания, на чистых, прямолинейных коррекциях из уровня пространства. Но когда мальчишка изовьется всем телом вправо, как взво-

димая пружина, и черкнет по воздуху сложную кривую линию замаха наружу, назад и вниз и когда затем взметнется вперед, выстреливая своим камешком, точно ракетой, и с силой перекидывая свой центр тяжести на выставленную вперед левую ногу, — вот тогда перед нами хорошо отработанная большая синергия мышечно-суставного уровня. Здесь трудно сказать, какая мускулатура в большей мере работает: правое ли плечо или левые мышцы таза (на счет последних мальчишка вряд ли бы и поверил вам).

Последняя, *шестая, группа движений*, управляемых уровнем пространства, получится у нас сборная, в нее войдут не размещившиеся по предыдущим группам остатки. Нам остается упомянуть движения прицеливания всякого рода и движения подражания и передразнивания. Когда обезьяна копирует движения человека, производящего перед ней какое-нибудь сложное предметное действие из верхнего уровня D, к которому мы сейчас перейдем, то она производит их на своем “потолочном” уровне — уровне пространства, и именно поэтому у нее ничего не выходит: “Очки не действуют никак”...

Уровень действий (D). Что такое действия?

“... Уже у обезьян существует известное разделение функций между руками и ногами”. “... Первыми пользуются преимущественно для целей собирания и удержания пищи, как это уже делают некоторые низ-



Женский прием броска

Мужской прием броска

Рис.3.

шие млекопитающие при помощи своих передних лап. При помощи рук некоторые обезьяны строят себе гнезда на деревьях или даже, как шимпанзе, навесы между ветвями для защиты от непогоды. Руками они схватывают дубины для защиты от врагов или бомбардируют последних плодами и камнями. При помощи рук они выполняют в плену целый ряд простых операций, подражая соответствующим действиям людей. Но именно тут-то и обнаруживается, как велико расстояние между неразвитой рукой даже наиболее подобных человеку обезьян и усовершенствованной трудом сотен тысячелетий человеческой рукой. Число и общее расположение костей и мускулов одинаковы у обеих, и тем не менее даже рука первобытного дикаря способна выполнить сотни работ, не доступных никакой обезьяне. Ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хоть бы самого грубого каменного ножа”.

“... До того, как первый булыжник при помощи человеческих рук мог превратиться в нож, должен был, пожалуй, пройти такой длинный период времени, что в сравнении с ним знакомый нам исторический период является совершенно незначительным. Но решительный шаг был сделан, *рука стала свободной*¹ и могла совершенствоваться в ловкости и мастерстве, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и умножалась от поколения к поколению.

Рука таким образом является не только органом труда, *она также его продукт*. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем особенного развития мускулов, связок и за более долгие промежутки времени также и костей, так же как благодаря все новому применению этих передаваемых по наследству усовершенствований к новым, все более сложным операциям, — только благодаря всему этому человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, “как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини”.

“Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга, не только у каждого индивидуума в отдельности, но и в обществе, люди приобрели способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все

более высокие цели и достигать их. Процесс труда становился от поколения к поколению более разнообразным, более совершенным, более многосторонним”. (Ф. Энгельс. Диалектика природы. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIV, с. 453, 459).

*Уровень действий*², которому мы приписываем буквенный знак D, по целому ряду свойств резко отличается от всех тех уровней, которые были описаны раньше.

Прежде всего все три ранее рассмотренных уровня построения — A, B и C — происходят вместе со своими задачами из очень глубокой старины. Уровень пространства (C) — наиболее молодой из них по истории развития — и тот своими истоками достигает времен зарождения поперечнополосатой мышцы и суставчатых скелетов. Правда, следуя закону “энцефализации”, все более расширяя и обогащая круг доступных ему задач, уровень C непрерывно передвигался вперед и вперед по мозгу, меняя свои места обитания на квартиры со все возрастающим числом “удобств”. Мы застали его у человека как раз в самом разгаре такого переезда в кору полушарий мозга — жилище, оборудованное хорошим телефоном (слухом) и телевизором (зрением). Но все же, несмотря на это безостановочное движение вперед, уровень C уже по всем признакам перевалил через вершину своего развития. Какое бы из движений, характерных для этого уровня, ни назвать, почти по каждому из них нам легко будет указать млекопитающее или даже птицу, которые превосходят нас, людей, по совершенству выполнения этого движения. Есть немало животных, которые обладают гораздо более резвым и выносливым бегом, нежели человек, многие и многие из них лучше и ловчее нас лазают, прыгают, плавают, владеют равновесием и т. д.

С уровнем *действий* (D) дело обстоит совершенно иначе. Самые ранние зачатки его проявлений встречаются только у наиболее развитых млекопитающих: у лошади, собаки, слона. Заметно больше их у обезьян, но даже и у них *действий* еще так

¹ Т. е. освободилась от несения опорных и локомоторных обязанностей ноги. (Пояснение мое. — Н.В.).

² В нервной физиологии этому уровню даются еще названия: уровня предметных действий, цепных действий, смысловых цепей и т. д.; из дальнейшего будет видно, насколько эти обозначения подходят для его характеристики.

мало, они так зачаточны, что уровень D можно с полным правом и без натяжек назвать именем *человеческого уровня*. Может быть, и человеком-то человек стал в немалой мере благодаря этому уровню и в связи с ним.

Первым делом необходимо пояснить, что мы подразумеваем под *действиями*. Действия — это уже не просто движения. По большей части это — целые цепочки последовательных движений, которые все вместе решают ту или другую двигательную задачу. Каждая подобная цепочка состоит из разных между собой движений, которые сменяют друг друга, планомерно приближая нас к решению задачи. Все движения — звенья такой цепочки — связаны между собою *смыслом* решаемой задачи. Пропустить одно из таких необходимых звеньев или перепутать их порядок — и решение задачи будет сорвано.

В качестве простейшего, но очень выразительного примера разберем действие закуривания папиросы. Курильщик достает из кармана портсигар, открывает его, вынимает папиросу, разминает ее, вкладывает в рот; достает коробку спичек, открывает ее, достает спичку, беглым взглядом проверяет целостность ее головки, поворачивает коробку, чиркает спичкой один или несколько раз, смотря по надобности, пока она не вспыхнет; поворачивает ее как надо, чтобы она хорошо разгорелась; если нужно, загораживает ее от ветра, подносит к папиросе и насаживает в нее пламя спички; тушит спичку и бросает ее, наконец убирает все по местам.

Такой бытовой пустяк, как закуривание, оказался, может быть, даже несколько неожиданно для читателя, состоящим не менее чем из двух десятков последовательных различных движений-звеньев, которые все нужно выполнить без пропуска, не перепутав их порядка и притом приспособившись к не всегда одинаковым обстоятельствам. Попробуйте проследить пять-шесть раз за одним и тем же человеком при закуривании им папиросы: как ни просто это действие, как оно ни автоматизировано у старого курильщика, ни в одном из этой полдюжины повторений в точности не повторится ни перечень движений, ни их количество.

Те же самые свойства обнаружатся и во всевозможных других действиях. В области быта: надевание той или иной принад-

лежности одежды, очинка карандаша, умывание, бритье, приготовление яичницы или чая, застилка постели и т.д. В области профессионального труда — необозримое обилие действий, из которых складывается работа по любой из специальностей: закладка детали в станок; заправка нитки в швейную или прядильную машину, обточка, штамповка, поковка, сверление, закалка, закладка бумаги в пишущую машину; все это — лишь бесконечно малая горсточка действий, зачерпнутая наудачу из океана производственного труда. Из области спорта: действия ведущего, гонящего футбольный мяч к воротам противника; тактика бегуна на состязании, направленная к выигрышу дистанции, действия борца, стремящегося положить на обе лопатки уже поверженного на землю противника; деятельность шофера, управляющего мчащейся автомашиной и т.д., и т.п.

В каждом из действий, подобных перечисленным, десятки новых примеров которых без труда подыщет сам читатель, обнаружатся оба указанных свойства: *цепное строение и приспособительная изменчивость* от раза к разу в составе и строении цепочек.

Нетрудно объяснить, почему такая большая часть двигательных актов из уровня D обладает цепным строением, слагаясь из целого, иногда и длинного, ряда последовательных движений разного смысла и назначения. Двигательные задачи, одна за другой включающиеся в круг потребностей человека, все более усложняются в смысловом отношении, и это усложнение происходит несравненно более быстрыми темпами, нежели развитие и обогащение двигательных аппаратов человека — конечностей, которые являются его основными, природными орудиями. Даже если поставить им на службу какие угодно вспомогательные инструменты и вооружить их самыми тонкими коррекциями из высших мозговых уровней, и то одиночное движение не будет в состоянии целиком обеспечить и осуществить в каждом и любом случае то, чего требует смысл двигательной задачи. Это видно из уже приводившихся примеров действия.

Рука человека неотрывно и несменяемо связана с ними и потому по самой сути должна являться универсальным инструментом, пригодным для наиболее разнородных видов деятельности. Именно в таком направлении и совершалось ее постепенное эволюционное развитие. Но при этом с нею случилось то же, что постоянно имеет место и в области техники. По отношению к любому виду инструмента или станка универ-

сальность и разносторонность применения стоят в прямой противоположности с быстрой их работы. Винт, гайку, шестерню можно изготовить на универсальном токарном станке в течение нескольких минут и посредством сотни последовательных движений, но зато на подобном станке можно изготовить и винт, и гайку любого размера и формы, и еще бесчисленное множество разнородных изделий. В то же время высокоспециализированный автомат способен нарезать сотни гаек в минуту, выкидывая их одну за другой из своих железных челюстей быстрее, чем мы будем успевать их считать, но уж на этом автомате ничего больше и нельзя делать, кроме именно таких гаек. Выигрыш темпа (иногда и качества) покупается не иначе как ценою узкой и жесткой специализации.

В развитии организмов можно наблюдать крайне сходные с этим явления. Те органы, которые могут по характеру разрешаемых ими жизненных задач узко и четко специализировать свою работу, достигают в ней зато очень большой быстроты, решая свою привычную, однообразную задачу в один прием. Так действует, например, рефлекторный аппарат слюноотделения, производя почти мгновенно очень тонкий и сложный химический анализ пищи, попавшей в рот, и откликающийся на этот анализ выделением слюны совершенно точно подходящего химического состава. Так действует — в двигательной области — тончайший и крайне сложный автоматический механизм согласованного вожделения глазами <...> или механизм родового акта. Разнообразие же того, что приходится выполнять руке, не может быть перекрыто иначе как только путем длинных и приспособительно-изменчивых цепочек более или менее элементарных движений.

Следующее характерное *свойство действий* — это то, что они очень часто (хотя и не всегда) *совершаются* над вещью, *над предметом*. Этим объясняется и одно из названий, прилагаемых к этому типу двигательных актов, — *предметные* действия. С *вещью* нередко имеют дело и движения уровня пространства (С), но там все ограничивается либо простым *перемещением* ее с одного места на другое (переложить, достать, вставить, подвинуть и т.п.), либо приложением к ней известного усилия (придавить, ударить, поднять, толкнуть, метнуть и т.д.).

Предметные действия изменяют вещь гораздо глубже; тут речь идет уж не о простой перемене ее местоположения.

Папироса загорается, яйцо варится, фотографическая пластинка проявляется — это все химические изменения. Металлическая деталь обтачивается, борода подстригается, из глины возникает сосуд или статуя — здесь налицо перемены величины и формы. Мяч забивается в ворота, ферзь берет слона или ладью, металлические литеры, проходя через руки наборщика, образуют типографский набор и т. д. В последних примерах дело сводится как будто только к перемещениям, однако, вникнув, легко убедиться, что это не так. Ведь если бы вся задача футбольных игроков состояла только в том, чтобы мяч оказался за воротами, то было бы гораздо скорее и проще прямо взять и отнести его туда. Если бы самая суть шахматной борьбы состояла только в передвижении фигурок, то, во-первых, тогда игра без доски и фигурок, “вслепую”, была бы уже не игрой; во-вторых, тогда передвижение фигурок, производимое двухлетним сынишкой, забравшимся в отсутствие отца в его кабинет, было бы равноценно с действиями Ботвинника; в-третьих, наконец, в том же случае, надо полагать, искусный игрок в бирюльки был бы и самым лучшим игроком в шахматы.

Ясно, что и в этих примерах за передвижениями предметов всюду скрыт совсем иной и особый смысл, который и связывает движения во всех таких случаях в целостные смысловые цепи.

Здесь нельзя не отметить одно очень интересное и характерное свойство действий, которое покажет нам заодно, до чего способны бывают подняться в их применении разные животные. Очевидно, что если за движениями, из которых составляется смысловая цепочка действия, кроется нечто большее, чем простые перемещения и передвижения вещей, то в числе промежуточных движений такой цепочки будут нередко попадаться такие, которые передвигают вещь совсем *не туда*, куда она должна будет попасть в конце концов, после решения задачи.

Если, например, нужно расстегнуть пояс, застегнутый крючком, для снятия петельки с крючка нужно первым делом еще туже стянуть пояс. Если требуется снять присосавшуюся лечебную банку с тела, то надо не тянуть ее прочь от кожи, а подсунуть под нее ноготь, чтобы выпустить внутрь воздух. Если хочется сорвать яблоко, висящее слишком высоко, то следует не прыгать и рваться к нему понапрасну, а сходить в сторону за стулом, влезть на него и спокойно вознаграждать себя за труд.

Посмотрим теперь, как поступают в подобных случаях животные и маленькие дети.

За сквозною проволочной решеткой находится тарелка с кормом. Курица (не обладающая уровнем действий), увидя его, начинает суетливо рваться к нему по прямой линии, пытается перелететь через загородку, долбит клювом проволоку и т. д. Умная собака, может быть, тоже согрешив вначале подобным же “куриным” поведением по отношению к лакомому куску, очень скоро вслед за тем повернется и пойдет *прочь от него*, туда, где имеется, как ей известно, калитка, т. е. сумеет *переключиться из уровня пространства в уровень действий*. У кур и подобных им низкоорганизованных существ есть в распоряжении, кстати сказать, один вспомогательный вид поведения, который, несомненно, выработался у них в порядке приспособления к жизни и который иногда выручает их. Курица начинает возбужденно метаться во все стороны и этим увеличивает свои шансы *случайно попасть* в распахнутую калитку. Может статься, что она действительно с размаху и вбежит в нее. Обезьяна проделала в своем развитии еще один шаг вперед по сравнению с собакой: она способна *сходить за орудием* — за палкой и, просунув ее сквозь решетку, загрести ею приманку.

Полуторагодовалому ребенку досталось большое деревянное разъемное яйцо. Он видывал такие и прежде и твердо знает, во-первых, что яйцо состоит из двух плотно сложенных половинок, а во-вторых, что внутри находится, побрякивая, сюрприз, не менее привлекательный для него, чем пшено для курицы или банан для обезьяны. Но как открыть яйцо? Ребенок делает, по сути, совершенно то же самое, с чего в предыдущем примере начала курица. Он включает в работу *уровень пространства (С)*, наивысший из уровней, какие успели у него дозреть к этому возрасту. Действуя в этом же уровне, курица устремляется к корму *по тому самому направлению* — по прямой линии, — по которому он ей виден. Ребенок принимается раскрывать яйцо *по тому самому направлению*, по которому должны будут разойтись уже разомкнувшиеся половинки. Он и начинает, напрягая все свои силки, тянуть обе половины в стороны *прочь одну от другой*, в какой-то момент они разлетаются в обе стороны, а вождельный сюрприз летит в третью. Лишь гораздо позднее, когда у ребенка уже дозреет и включится в работу *уровень действий (D)*, он дой-

дет до уразумения того, что в подобных случаях надо *не тянуть* половинки туда, куда хочется их в конце концов сместить, а покачивать или откручивать их.

Винт, который извлекается *не выдергиванием, а вывинчиванием*, чемоданная крышка с застежкой, которую надо сперва придавить *книзу*, чтобы поднять *кверху*, висящий плод, который для того, чтобы сбить и заполучить *к себе*, приходится иной раз ударять палкой *от себя*; футбольный мяч, который посылается ведущим *влево*, потому что в создавшемся положении это — наивернейший путь вогнать его в ворота, находящиеся *справа*; лодочный руль, который нужно повернуть *против* направления часовой стрелки, чтобы лодка повернулась по часовой стрелке, — вот целая пригоршня примеров движений, которые ведут “не туда”. Все это — составляющие звенья *цепных действий*. Все эти и подобные им движения лишены прямого смысла с наивных и прямолинейных точек зрения уровня пространства, и все они (или, по крайней мере, подавляющее большинство их) недоступны ни сколь угодно умным животным, ни маленькому ребенку.

Для полноты характеристики действий остается добавить, что к ним же принадлежит еще одна форма цепных двигательных актов, быть может несколько неожиданная для читателя, а именно — *речь*. Если вдуматься, то все существенные, необходимые признаки цепных действий окажутся в ней налицо. Это тоже целая последовательность отдельных движений-звеньев, в данном случае — движений языка, губ и головных связок; здесь тоже отдельные звенья цепочки объединены общим смыслом, отнюдь не сводящимся к перемещению чего бы то ни было; и здесь, наконец, тоже возможны и постоянно на самом деле имеют место всяческие мелкие изменения и отклонения (в произношении, интонации, высоте голоса и т. п.), не искажающие смысла. Тесная связь *трудовых действий, совершающихся на уровне D*, и *членораздельной речи* была подчеркнута еще Ф. Энгельсом в той же статье, из которой заимствован нами и эпиграф¹.

Отметим, что так называемые центры речи в коре мозговых полушарий, т. е. те участки коры, повреждения которых сейчас же влекут за собою потерю речи, вхо-

¹ “Сначала труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны мог постепенно превратиться в человеческий мозг, который при всем сходстве в основной структуре превосходит первый величиной и совершенством”.

дят в состав как раз тех обширных отделов мозговой коры, которые представляют собою нервно-двигательный аппарат описываемого сейчас уровня D.

Основные свойства уровня действий

Теперь, обрисовав, *что такое* действия, мы можем вернуться к *характеристике уровня*, при посредстве которого они выполняются.

Первое резкое отличие его от всех предыдущих уровней было уже указано — это его неоспоримое право именоваться “*человечьим*” уровнем. Еще и другое свойство сильно отличает его от описывавшихся раньше. Уровень пространства (C) живет у человека уже наполовину в коре мозговых полушарии, но, без сомнения, он совсем неплохо чувствовал себя и на старом своем месте жительства, в экстрапирамидной системе. Вспомним хотя бы таких замечательных мастеров по “*владению пространством*”, как орел, или сокол, или альбатрос, а ведь у птиц нет еще никаких следов пирамидной коры. Что касается уровня действий (D), то он связан с корою полушарий совершенно неразрывно, и, судя по всему, просто не мог бы существовать без нее. Развитие этого уровня идет рука об руку с образованием в коре новых участков совсем особого строения, которые частью вырабатываются мало-помалу у самых высших млекопитающих, частью же имеются только в мозгу человека.

Отрывок из прославленного сочинения Ф. Энгельса, который мы предпослали в качестве эпиграфа описанию этого уровня, хорошо обрисовывает еще одно характерное его свойство: его близкую *связь с рукою человека*. Не то, чтобы его мозговые центры или проводящие нервные пути были более тесно связаны с мышцами рук, чем с мускулатурой других органов тела. Этого нет, и нам хорошо известны факты, когда человек, лишившийся в результате несчастного случая обеих рук, отлично научался выполнять многочисленные и очень точные действия ногою или ртом (держа то или иное орудие в зубах). Просто рука человека как рабочий инструмент настолько богата по части подвижности <...> и настолько великолепно приспособлена к самым тонким рабочим действиям всяко-

го рода, что, естественно, уровень D предпочитает ее всем остальным частям тела в качестве исполнительного органа. Нет сомнения, что развитие уровня действий (D) подгоняло и направляло своими требованиями и запросами развитие человеческой руки, а она, в свою очередь, развиваясь и все далее отходя от былой лапы, подхлестывала и поощряла к усовершенствованию уровень D. Подобные клубки взаимодействий и взаимовлияний двух органов, связанных общей работой, встречаются в истории развития очень часто.

Наконец, несколько слов еще об одном свойстве уровня действий, также обособляющем его от всех прочих. В то время как среди внутренних органов тела, заполняющих собой грудную и брюшную полости, очень много непарных, несимметричных, лежащих резко вправо или влево от средней плоскости тела (например, сердце, печень, селезенка, желудок), *весь костно-суставно-мышечный двигательный аппарат*, наоборот, *строго симметричен*. В прямой связи с этим и все типичные движения и координации, которые мы рассматривали выше, по уровням А, В и С, точно так же двусторонни и симметричны. Возьмем такие характерные для уровня пространства движения, как всякого рода локомоции, всевозможные гимнастические и акробатические движения этого же уровня, движения мимики, пантомимы и пластики из уровня мышечно-суставной увязки (В) и т. д. Все эти движения совершенно симметричны, правая сторона в них равноценна с левой. А в отправлениях *уровня действий* (D), о котором сейчас идет речь, по совершенно неизвестной и пока не объяснимой причине *правая рука резко опережает левую*, во много раз превосходит ее и точностью, и сноровкой в освоении новых координаций, и даже силой. В сравнительно нечастых случаях так называемого левшества или леворукости такими же преимуществами бывает наделена левая рука, но и эти случаи, конечно, тоже асимметрия, только с другого бока. Случаи же *полной симметрии*, или “*двурукости*” (так называемой *амбидекстрией*), т.е. такие случаи, когда и правая и левая руки одинаково ловки к действиям, *очень редки*.

Чрезвычайно любопытно, что указанное яркое превосходство правой руки над левой в отношении ручной или предмет-

ной ловкости нашло себе отражение даже в языке: на большинстве европейских языков слово, обозначающее *ловкость*, происходит от того же корня, что и слово *правый*, т. е. звучит как “праворукость”¹.

Суть этой асимметрии заведомо не в каких-либо особенностях правой руки самой по себе. Ведь, участвуя в простых движениях уровней С или В, она ведет себя совершенно одинаково с левой. Действительная суть в том, что *левое полушарие мозга*, в котором размещено управление всей *правой половиной тела*², является у большинства людей *ведущим*, или преобладающим, по очень многим отправлениям, а не только по одним движениям рук. Параличи правой половины тела сопровождаются, как правило, потерей речи, а левосторонние параличи — нет; это доказывает, что и для управления речью нужна целостность все того же левого полушария мозга. Оно же необходимо и для того, чтобы понимать смысл слышимых слов, и для возможности чтения, и еще многого другого, не относящегося к предмету нашего изложения. Но преобладание левого полушария над правым (у левшей, конечно, наоборот) начинается только с тех верховных, чисто корковых отделов, которые управляют действиями уровня D. И в отношении пирамидных полей, которые были раньше описаны нами как мозговое двигательное оснащение верхнего подуровня пространства (С2), и в отношении лежащих в глубине полушарий нервных ядер уровней С1, В и А оба полушария *вполне симметричны*.

Как этого и следует ожидать от истории развития, полушария млекопитающих животных, у которых “человечьего” уровня D еще нет, тоже симметричны и равноценны между собой. То же самое справедливо и по отношению к мозгу ребенка до того возраста, как у него созреют центральнонервные приборы уровня действий, т. е. до полутора-двух лет.

Нужно, конечно, принять в расчет, что превосходство правой руки над левой в

действиях уровня D не могло не отразиться *вторичным порядком* и на общем развитии этой руки самой по себе, и на совершенстве ее координаций уже по любому из уровней.

Дело в том, что чем человек становится старше и зрелее (тотчас по его выходе из отроческого возраста), тем более значительную часть всех его движений начинают составлять именно цепные, предметные, смысловые действия в уровне D. Об этом будет подробнее рассказано в разделе “Разновидности действий” настоящего очерка; сейчас же можно отметить, что ребенок 5—7-летнего возраста еще почти не выходит из круга движений уровня пространства: он ходит, бегает, прыгает, лазит — словом, “резвится” всевозможными локомоторными способами. Недаром он так любит, особенно мальчишки, игры “в лошадки” или в более современные средства транспорта, недаром в его компанейских играх обычно вся соль и суть — в беготне, недаром, наконец, он так быстро истощается, устает и соскучивается, как только его запрягут в какую бы то ни было деятельность по предметному уровню D. По мере же того как у него начинают один за другим формироваться двигательные навыки по всевозможным действиям и действия начинают вытеснять у него движения более низких уровней построения, в этих низовых уровнях, естественно, начинают вырабатываться и накапливаться во все больших количествах *фоновые координации* для этих действий и навыков. Понятно, что их будет больше по правой руке, на долю которой с этой поры выпадает более значительная и все возрастающая нагрузка. В конце концов, за счет этих праворучных действий, захватывающих себе решающее преобладание, правая рука обогащается немалыми координационными “фондами” и по всем низовым уровням. Правосторонний уровень, как знатный родственник, оказывает покровительство своей более скромной низовой, провинциальной, пра-

¹ По-французски: правый — *droit*, ловкий — *adroit* (и наоборот: неловкий — *gauche*, левый — также *gauche*); по-латыни: правый — *dexter*, ловкость — *dexteritas*; по-английски: ловкость, совсем как и по-латыни, — *dexterity*; по-итальянски: правый — *destra*, ловкость — *destrezza*; по-испански: правый — *diestro*, ловкость — *dexteridad* или *destreza* и т. д.

² Напоминаем, что все нервные пути, соединяющие головной мозг с частями тела — и чувствительные и двигательные, — *перекрещиваются* с правой стороны тела в левое полушарие мозга и наоборот.

восторженной родне, пристраивая и ее на работу в столице.

Более значительная нагрузка, падающая на правую руку, и ее намного большая упражненность постепенно увеличивают даже объем и силу ее мускулатуры; это сказывается, например, в том, что и в таких типичных движениях из уровня пространства (С), как *удар* или *бросок*, правая рука взрослых оказывается не только ловчее, но и сильнее и дальнбойнее левой.

Уровень действий.

Коррекции и автоматизмы

Теперь нужно сказать несколько слов об очень своеобразных чертах уровня действий (D) в том, что касается свойственных ему сенсорных коррекций и строящихся в нем двигательных навыков.

По всем предыдущим уровням мы первым делом ставили себе вопросы: откуда этот уровень почерпает свою чувствительную сигнализацию, которая необходима ему для управления движениями посредством сенсорных коррекций? Какова эта сигнализация? Уже когда речь шла об уровне пространства (С), мы обнаружили, что его управляющая сигнализация очень далека от сырых, непосредственных впечатлений, даваемых органами чувств. На месте их там оказался очень сложно организованный и глубоко переработанный слепок или синтез — “пространственное поле”. Очень важная черта этого синтеза, которую мы и подчеркнули в своем месте, это то, что в его состав входит много следов предшествующего опыта, сохраненных *памятью*. *Уровень действий (D) управляет действиями* и их составными частями — движениями-звеньями, как мы их назвали, — *посредством* еще более сложного *синтеза* или слепка. В нем уже совсем мало прямых чувственных впечатлений. Его собственные ведущие коррекции, те самые ответственные коррекции, которые определяют, решится ли двигательная задача или сорвется, опираются уже почти целиком на общие представления и понятия. Как мы подробнее увидим в следующем очерке, источники ведущих коррекций уровня D — это представления о плане действия, о порядке и связи его частей между собой и т.д.

В связи с этим сами его ведущие коррекции проистекают из непрерывного осмысляющего наблюдения за тем, правильно ли идет постепенное решение двигательной задачи, делает ли очередное текущее движение-звено то самое, что требуется от него по сути и смыслу этой задачи. Все остальное, все непосредственные подробности движений-звеньев он целиком передоверяет фоновым, нижележащим уровням. Это создает совсем особенные взаимоотношения между самим ведущим уровнем D и его фоновыми помощниками; в них необходимо разобраться, тем более что ручная или предметная ловкость (см. о ней ниже) целиком зависит своими свойствами от этих взаимоотношений.

Каждое *смысловое цепное действие* составляется из элементов, из *движений-звеньев*. И каждое такое движение-звено — это более или менее самостоятельный двигательный акт в одном из нижележащих, фоновых уровней. При развертывании такой смысловой цепочки перед нами проходят гуськом одно за другим то движение-звено, построенное в верхнем подуровне пространства С2, то звено в уровне мышечно-суставных уязвок В и т.д.

Однако эти движения-звенья имеют две яркие особенности, четко отличающие их от настоящих самостоятельных движений, которые ведутся на соответственных низовых уровнях.

Во-первых, ведущий уровень D, образно говоря, “не спускает глаз” ни с одного из этих движений-звеньев, разворачивающихся под его верховным надзором и руководством. Он предоставляет им очень широкую свободу в их протекании, но тем не менее на каждом из них ставит как бы свою утверждающую подпись или гриф: всего каких-нибудь один-два мазка свойственных ему коррекций, но уже кладущие свой отпечаток на течение всего движения-звена, как один-два мазка учителя-художника, от которых разом меняется весь облик рисунка ученика. Ни низовые, фоновые уровни, ни выводимые ими движения-звенья ни на миг не должны воображать себе, что они делают что-то самодовлеющее, имеющее значение независимо от всей смысловой цепочки в целом. Они должны правильно обслуживать эту цепочку и делать свой очеред-

ной шаг вперед к решению той задачи, на которую и нацеливается эта цепочка.

Во-вторых, происхождение описываемых движений-звеньев особенное. Каждый уровень построения сам строит свои движения для решения тех двигательных задач, которые ему под силу и по плечу: таким порядком нижний подуровень пространства (С1) строит локомоции, перекладывания и переносы вещей и т.п.; таким путем верхний подуровень пространства (С2) строит свои меткие броски, уколы, указывания, попадания и т.д. Но ни уровню С, ни лежащим еще ниже его уровням В и А не под силу *смысл тех предметных, цепных задач*, ради которых и выработался у человека специально “человечий” уровень действий (D). Тем более не может у них быть ни способностей, ни даже побудительных причин к тому, чтобы формировать для самих себя и по своему почину отдельные движения-звенья таких действий.

Подуровень С1, например, полностью оснащен всеми коррекциями для того, чтобы обеспечить движение-звено чиркания спичкой по коробке, но среди задач, доступных этому уровню по смыслу, нет такой, которая заключалась бы в таком вот именно чиркающем движении палочкой по коробочке и истерпывалась бы им. Ни одно животное, кроме, может быть, чисто подражательной, “обезьянничавшей” обезьяны, не предпримет подобного движения чиркания спичкой и не сумеет исполнить его. *Смысл и задача* этого движения лежат за пределами потолка этого подуровня (С1) и недоступны ему.

Поэтому получается, что низовые, фоновые уровни построений вырабатывают движения-звенья, нужные для какого-нибудь цепного действия, не сами по себе, не по собственному почину, как они вырабатывают, например, ходьбу, бег или бросок, а по прямым и точным *заявкам от уровня действий (D)*. <...> При выработке нового двигательного навыка центральная нервная система сперва прощупывает и проектирует, где взять наиболее подходящие коррекции для каждого последовательного звена действия и какому фоновому уровню нужно его в соответствии с этим передоверить. И вот тогда-то и начинается отправка в низовые уровни заявок или заказов на построение тех или иных движений-звеньев. “Вы можете пол-

ностью обеспечить такое-то движение-звено, — как бы говорит уровень действий (D), соединяясь по телефону с низовым уровнем В или С. — У вас есть все потребное для этого оборудование. Более того, ни один из других фоновых уровней не оснащен качественно до такой степени удачно и подходяще для этого звена, как именно ваш. Направляем вам точные рабочие чертежи”.

Интересно, что хотя современная нервная физиология не имеет еще никакого представления о том, как именно осуществляется этот вымышленный нами разговор по телефону между уровнями и что представляют собою те импульсы, посредством которых уровень D дает понять фоновому уровню, в чем состоит его заявка, тем не менее те *органы мозговой коры*, которые осуществляют это диспетчерское распределение заявок и их передачу в низовые уровни, *известны* нам уже *совершенно точно*. <...> Эти диспетчирующие отделы уровня действий носят в анатомии мозга название “*премоторных полей*”. Сравнительная анатомия показывает, что корковые поля с таким именно микроскопическим строением вычленяются и обособляются впервые только у *самых высших млекопитающих*, в полном согласии со всем тем, что было выше сказано о происхождении и развитии уровня D. Таким образом, движения-звенья описываемого рода, составляющие обычно преобладающую часть цепочек действий уровня D, управляются целиком (кроме лишь пары пригоночных, “утверждающих” коррекционных мазков из ведущего уровня) теми или иными низовыми уровнями, но формироваться в них могут не иначе как по заявкам и точным заказам со стороны уровня D, передаваемым через посредничество премоторных полей коры мозга. <...> Все фоновые коррекции протекают у нас, как правило, без участия сознания, автоматически. Соответственно этому и в движениях-звеньях обсуждаемого типа в сознание попадают только верховные коррекционные мазки, все же прочее совершается в них автоматически.

Те “наборы” сенсорных коррекций, которые вырабатываются описанным порядком в низовых уровнях (В и С) для обеспечения таких движений-звеньев специального назначения, будут обозначаться в

последующем как *высшие автоматизмы*. В разговорной речи они именуется в разных случаях по-разному: *двигательные навыки, специальные навыки, умения, сноровки* и т. д.¹ Название “высшие автоматизмы”, несомненно, точнее и правильнее всех прочих, хотя и несколько длинно; зато его уже ни с чем не смешаешь. <...> Действительно высшие автоматизмы образуют собою одну часть или группу автоматизмов вообще, которые и получают там точное определение.

Высшие автоматизмы переполняют собою всевозможные привычные, натренированные действия из уровня D. Они могут образовываться во всех без исключения уровнях построения.

Уровни, лежащие выше уровня действий (группа E)

Общие характеристики существенных черт движений и действий уровня D <...> ясно показывают, что еще не все высшие интеллектуальные двигательные акты могут найти себе место в этом уровне. В координационный уровень действий не попадают, например, символические или условные смысловые действия, к которым в первую очередь относятся не технички-исполнительные, а ведущие в смысловом отношении координации *речи и письма*, двигательные цепи, объединяемые не предметом, а мнестической схемой, отвлеченным заданием или замыслом и т.д., например, художественное исполнение, музыкальное или хореографическое; движения, изображающие предметное действие при отсутствии реального объекта этого действия; предметные действия, для которых предмет является уже не непосредственным объектом, а вспомогательным средством для воспроизведения в нем или с его помощью абстрагированных, непредметных соотношений. Существование подобных движений и действий убедительно свидетельствует о наличии в инвентаре человеческих координаций одного или нескольких уровней, иерархически более высоких, нежели уровень D.

Необходимо оговориться, что наличие у человека мотивов и психологических

условий для действий, значительно возвышающихся над конкретным, элементарным обращением с предметами, не подлежит никакому сомнению. Трудность заключается только в том, чтобы выяснить, сказываются ли, и если да, то в какой мере, эти отличия мотивировки и психологической обусловленности действий и *на внешнем, координационном оформлении* и корригировании движений, о чем здесь только и идет речь. Когда животное бежит один раз потому, что ему необходимо быстро перекрыть известное расстояние (подуровень C1), а другой раз бежит нацелившись на то, чтобы с разбега схватить подвешенный плод или намеченную жертву (фон в C1 к основному акту в C2), то разница в построении и сенсорных коррекций, и самого результирующего движения в обоих случаях не вызывает сомнений. Но когда человек наносит другому удар кинжалом в порядке элементарной самозащиты или грабительского нападения (уровень D), то у нас еще не может быть достаточных оснований ожидать существенно иного координационного оформления, если субъектом подобного же акта будет Дамон, Занд или Шарлотта Кордэ. Необходимо обратиться прежде всего к анализу *двигательного состава* подобных действий, за которыми подзреваются высшие координационные уровни.

Анализ некоторых особенно сложных и интеллектуализированных актов поведения, например, письма или речи, устанавливает в них наличие большего числа иерархически наслоенных этажей, или, что сводится к тому же самому, наличие иерархически наслоенных одна на другую координационных перешифровок в большем количестве, нежели число насчитываемых нами уровней до предметного включительно. В акте письма, например, мы имеем налицо уровень синергий, задающий основную колебательную синергию скорописи; уровень пространственного поля C, обеспечивающий адаптацию движения пера к поверхности бумаги и соблюдение геометрических особенностей почерка при допущении пластической вариативности величины букв, положение листа, позы пишущего и т.д.; наконец, уровень действий D,

¹ В английской литературе они называются *skills*, в немецкой — *Handfertigkeiten* или просто *Fertigkeiten*.

определяющий топологические особенности почерка, верховно управляющий высшим автоматизмом скорописи и осуществляющий правильные алфавитные начертания букв (то, что мы выше назвали модулированием скорописной колебательной синергии уровня *B*). Легко убедиться, что над всеми этими уровнями или перешифровками остаются еще по меньшей мере две координационных перешифровки, не нашедшие себе места в уровнях построения, рассмотренных до этого момента. Во-первых, идя снизу вверх, это будет перешифровка фонетическая и грамматическая (один или даже два отдельных, подчиненных один другому процесса), т.е. перевод *фонетического образа речевого звука* на язык азбучного начертания, и перевод *фонетического образа слова* на язык грамматически верного буквенного подбора (spelling): “счетчик”, когда звучит “щоччик”, “Worcester” когда звучит “Vuste”, и т.п. Во-вторых, это будет перешифровка смысловая, т.е. превращение зерна мысли или фразы на знакомом, но не родном языке или высказывания, помнящегося лишь по его общему смыслу, и т.д., в звуковой и, далее, графический образ слов, которые мы намерены написать. Еще более отчетлив *пример написания чисел*, где над фонетической перешифровкой (“три” — “3”, “двести” — “200”) стоит еще смысловая или арифмо-грамматическая перешифровка (“триста семь” — 307, а не 300 — 7; “einundzwanzig” — 21, а не 1 — 20; “quartevindt dix-huit” — 98, а не 4 — 20 — 10 — 8 и т.д.). Под каждой из таких иерархических перешифровок угадывается свой особый уровень построения. Наконец, и патологические признаки, в особенности признак персеверации <...>, тоже в целом ряде случаев указывает на отдельные уровни лежащие выше *D*, каждый из которых просвечивает в патологических случаях своей особой, иначе построенной персеверацией. Нижеследующий пример из области уже проанализированных нами уровней может пояснить сказанное. Пациент, персеверирующий в уровнях *B* или *C1*, исполняя задание нарисовать кружок, не может остановиться после первого обведения контура и рисует или нескончаемый клубок

на одном месте, или штопоровидную спираль <...>. Если же персеверация обусловлена поражением в уровне действий, то подобное же задание вызывает появление целой вереницы отдельных кружков, каждый из которых ничем не патологичен сам по себе, но которые в совокупности могут заполнить собой целый лист. Разные уровни из числа уже знакомых нам дали на одно и то же задание совершенно различные персеверации.

Аналогичным образом при поражении в предметном уровне *D* пациент, способный написать по заданию, например, цифру 8, но склонный к персеверации, может воспроизвести заданную цифру в виде целого клубка восьмерок по одному месту (персеверация в высших автоматизмах уровня действий) или в виде бесконечной серии восьмерок: 8888... (персеверация в смысловой схеме самого уровня *D*). Этот же больной на задание написать “сто двадцать” пишет 122222..., т.е. уже на втором звене верно начатого действия впадает в персеверацию последнего из указанных типов, но другой пациент на то же самое отвечает такой персеверацией: 120120120... Несомненно, что переход в предыдущей паре наблюдений от штопоровидной персеверации кружка к нескончаемой серии безупречных кружков вполне аналогичен описанному сейчас переходу от 122222... к 120 120 120, и если там этот переход был связан с повышением персеверации на один уровеньный этаж, то у нас есть все основания ожидать и здесь подобного же соотношения. Налицо более сложный и высокий тип персеверации, явно говорящий за то, что здесь затронута перешифровка, стоящая выше уровня *D*. То же, по-видимому, справедливо и по отношению к больному, который задание написать 120 исполняет так “10020”, т.е. уже без персеверационных явлений обнаруживает разрушение в той области, где должна в норме совершаться арифмо-грамматическая перешифровка, и этим подтверждает действительное существование такой области.

В ответ на предложение нарисовать дом больной¹, персеверирующий в уровне *D*, изображает либо общепринятую схему до-

¹ Ряд приводимых здесь примеров больных автор заимствует из наблюдений А. Лурия, которому приносит живейшую благодарность.

мика много раз по одному месту, либо целую улицу схематических домиков. Но к какому уровню отнести персеверацию большого, который исполняет это задание, рисуя сперва крышу в виде буквы Д, а под ней — запутанный клубок линий, ясно обнаруживающий, однако, что за Д-образной крышей последовали сначала круговые, О-образные, а под конец — ломаные, М-образные линии? Это уже не схема дома в уровне D, а какая-то сложная смесь схематического рисунка, идеографического иероглифа и письменного обозначения “ДОМ”, свидетельствующая о нарушении по меньшей мере в еще одном возвышающемся над D уровне, в котором смыкаются между собой предметные схемы и речевые, письменные начертания. Ведь несомненно, что и исторически иероглифы египтян и китайцев возникли не в результате чисто интеллектуалистически продуманной условной символики, а в порядке слитного, синкретического мышления более примитивного типа, которое в ту пору могло проявиться и в соответственных синтетических графических координациях в норме, а в наше время всплывает тут и там в патологических случаях, как и еще многие другие формы примитивного мышления, а может быть, и моторики.

Все эти факты — и существование целостных двигательных актов, не укладывающихся в рамки уровня D, и многоярусные перешифровки, замечаемые в норме, и многоэтажные выпадения или персеверации, наблюдающиеся в патологии, — говорят в пользу существования по меньшей мере еще одного уровня, доминирующего над уровнем действий D, а вероятнее, еще нескольких подобных уровней. Однако недостаточность материала в этом направлении пока еще настолько ощутима, что единственно правильный выход для настоящего момента — объединить провизорно все возможные здесь высшие уровни в одну группу E, поскольку даже при этом условии их удастся охарактеризовать только в самых суммарных чертах. Для этой уровневой группы сейчас невозможно, как кажется, конкретизировать ни ее ведущих афферентаций, ни кортикальной локализации (кроме только явно существенных для ее эффекторики лобных долей полушарий, в частности, полей 9 и 10 Brodmann).

Прежде всего нужно обосновать утверждение, что в группе E мы имеем дело действительно с координационными уровнями, а не только с чисто психологическими надстройками, т.е. что двигательные акты, относящиеся к этой группе, не являются суммами движений, полностью управляемых и координируемых более низовыми уровнями и только сцепляемых между собой психологическими мотивами нового рода, а представляют собой настоящие целостные координации с особыми качествами. При всей недостаточности экспериментального материала и связанной с этим очень большой трудности найти достаточно веские обоснования для этого положения можно все-таки и сейчас высказать ряд аргументов в его пользу.

Первый аргумент вытекает из того понимания структуры актов уровня действий и функций премоторной системы, которые явились результатом приведенного выше анализа этого уровня. Этот анализ доказал возможность координационного управления двигательными процессами “сверху вниз”, позволив установить, что высшие автоматизмы, встреченные нами там, не являются ни в какой мере суммами движений уровней B и C, а представляют собой совершенно особые координационные комбинации, управляемые по специфическим директивам предметного уровня, через его собственный эффекторный выход — премоторные поля. Эти автоматизированные компоненты и фоны предметного уровня, эти “высшие автоматизмы” текут в силу своей автоматизированности ниже порога сознания, всегда пребывающего в ведущем в данный момент уровне. Совершенно естественно заключить, что если мы встретимся с целостным предметным действием или цепью таких действий, текущими автоматизированно и бессознательно и приводящими при этом к смысловому результату, возвышающемуся над возможностями самого предметного уровня, то перед нами будет проявление аналогичного координационного процесса, локализованного на одну уровневую ступень выше процессов уровня действий. Такие факты действительно существуют. К ним прежде всего следует причислить движения *речи и письма*.

Как уже было указано в предыдущем разделе, речедвигательный процесс представляет собой координацию, текущую на уровне действий, с техническими фонами во всех нижележащих уровнях. Это доказывается и близким клиническим сродством между моторными афазиями и апраксиями премоторной группы, и близостью, локальной и иннервационной, между премоторными полями коры и речедвигательным полем Вроса, и схемно-топологическим характером построения речедвигательных отправлений, и наличием в них черт, совершенно аналогичных почерку, — произношения или акцента, т.е. качественной манеры, не нарушающейся при изменениях метрической стороны речи (громкости, быстроты, высоты тона голоса); доказывается, наконец, ясно выраженной монополярной смысловой связью их с предметом на некоторых ранних стадиях онтогенетического развития речи. *Называние* предмета, так же как *написание* буквы или *списывание* слова, строится в уровне предметного действия D. Когда же мы встречаемся с этими полностью принадлежащими предметному уровню координациями в служебной, подчиненной, роли в бессознательном или автоматическом протекании и в таких цепных синтезах, которые в целом не могут быть мотивированными предметным уровнем, т.е. встречаемся со *смысловой связной речью или таким же письмом*, мы имеем очень много оснований признать управляющие ими механизмы за особый координационный уровень в точном смысле этого слова. Аналогия речедвигательного процесса с высшими автоматизмами действительно очень велика, и хотя подробное ее прослеживание выходит из рамок этой книги, но одну существенную ее черту необходимо указать.

Выше было установлено, что движения, из которых построены автоматизмы уровня действий, несмотря на то, что координируются всегда в уровнях ниже его, тем не

менее представляют собой такие двигательные формы и комбинации, которые не могли бы возникнуть в своих низовых уровнях сами по себе, без директивного управления свыше, за полным отсутствием в этих уровнях мотивов к формированию подобных двигательных отправлений. Точно так же, если в предметном уровне находятся достаточные мотивы к возникновению *речевого называния* воспринимаемого конкретного предмета, то как для появления более высокоорганизованных *семантических* (словесных) *форм* (глаголы, числительные, союзы и т.д.), так и для появления высших *грамматических форм* (склонение, спряжение, синтаксическое построение речи) в предметном уровне мотивов нет и не может быть. Таким образом, управление речью с того момента, как оно переходит от уровня D к более высокой уровневой группе E, отнюдь не сводится к сцеплению или нанизыванию уже имеющихся (фактически или потенциально) в предметном уровне речевых форм, а создает на этом последнем уровне новые формы — и семантические, и грамматические, столь же речедвигательные, как и наименования конкретно воспринимаемых предметов, столь же полно координационно связанные с уровнем D, но генетически совершенно чуждые ему¹.

К подобным же случаям возникновения особых координаций уровня действий, бессознательно протекающих под контролем более высокого уровня, следует отнести некоторые формы координаций музыкального исполнения. Сюда нужно прежде всего причислить *координации смычка*. Выше, при разборе движений уровня пространственного поля <...>, было указано, что этот уровень практически никак не участвует в построении движений смычковой руки. Зато уровень действий непосредственно связан с манипулированием этим своеобразным орудием, манипулированием, никак не сводимым ни к одной только хватке, ни к перемещению вещей в про-

¹ Одна интересная подробность характеризует отличие этих “сверхвысших” автоматизмов, процедирующихся из E в D, от обыкновенных, являющихся проекциями из D в C и ниже. Выработка предметного автоматизма, т.е. автоматизационная передача координаций из предметного уровня в уровень пространственного поля или в уровень синергий, сопровождается по разъясненным уже причинам *превращением топологического движения в метричное*. Действительно, автоматизмы предметного уровня всегда метричны, как известно всякому наблюдавшему их. Наоборот, автоматизмы, которые мы назвали “сверхвысшими” (из E и D), как речь, письмо, движения смычковой руки скрипача, могут при любой степени автоматизации сохранять *топологический характер*.

странстве. Если, несмотря на это, движения со смычком не были рассмотрены среди актов уровня действий, то именно потому, что эти движения *ведутся* не им, а выше его лежащей группой *E*. Мотивы к тому, чтобы именно вот так водить волосами смычка по жилам, натянутым на грифе, не могут возникнуть на уровне смысловых предметных действий уже потому, что такое вождение лишено какого бы то ни было прямого смысла, связанного с вещью. Еще существеннее и самым тесным образом смыкается с нашим основным определением координации то, что уровень *D* не имеет в своем распоряжении *средств для адекватной сенсорной коррекции* подобного движения: ни художественно ценный звук, ни тем более выразительная динамика звукового последования, определяемая целостной художественной концепцией исполнителя, не содержатся в афферентационном синтезе предметного уровня, а между тем именно они и определяют собой управление всей совокупностью координационных коррекций скрипача или виолончелиста.

Итак, общая схема построения координаций смычковой руки скрипача следующая:

E — ведущий уровень, создающий мотив для двигательного акта и осуществляющий его основную смысловую коррекцию — приведение звукового результата в соответствие с намерением.

D — манипулирование с предметом — “сверхвысший” автоматизированный навык.

C — не участвует.

B — основные синергии (вторичные фоны), реализующие “сверхвысший” автоматизм уровня *D*.

A — специфическая хватка.

Неверно было бы думать, что для подобных схем построения под ведущим контролем высшей уровневой группы *E* фоновое участие уровня *D* является неизменным условием. Для них существенно именно ведущее положение, занимаемое группой *E*, а отнюдь не тот или иной фоновый состав. Например, движения руки пианиста строятся по следующей примерной схеме:

E — ведущий уровень (см. сказанное о нем выше).

D — видимо, не участвует.

C — пространственные целевые, сило-

вые и меткие движения в пространственном поле.

B — фоновые синергии: а) туше, связанного с позой тела и постановкой рук; б) фоновый компонент для уровня *C*.

Таким образом, во-первых, существование автоматизмов, управляемых и мотивационно, и коррекционно из уровней, расположенных выше предметного и даже не всегда нуждающихся в его посредничестве, явно свидетельствует о том, что эти верховные уровни не только создают особые чисто психологические надстройки для мотивации движений, но и имеют на эти последние несомненное прямо координационное влияние. Во-вторых, как было отмечено вначале, с этими верховными уровнями связаны *перешифровки и патологические персеверации*, не уместяющиеся в более низких уровнях построения. Это также убедительно говорит в пользу того, что перед нами настоящие уровни построения, имеющие свои особые координационные механизмы. Наконец, в-третьих, эта верховная группа *E* имеет и свои качественно особые *выпадения*. Выпадения этой группы *E* приходится (в очень близкой аналогии с уровнем действий *D*) разбить на два класса. К первому из них нужно отнести группу клинических расстройств, в свое время объединенных Monakow под названием *асемических*: сенсорные афазии, алексию, асимболию, амузию и т.д., т.е. соответственно утраты смысловой речи, чтения, запаса слов, способности к музыкальному восприятию и т.д. Все эти виды выпадений объединяются одним общим признаком: потерей в той или иной области *смысловых* (уже не предметных) *мотивов*, и таким образом приближаются по характеру к выпадениям в афферентационном поле по типу апраксий Липмана. Второй класс выпадений в уровневой группе *E* дает характерный “лобный синдром” с определяющей его разрозненностью поведения, утерей связи между сделанным и тем, что предстоит сделать, распадом соответствия между ситуацией и действием и т.д., т.е. синдром с эффорторным обликом выпадения. И те и другие выпадения вызываются поражениями головного мозга в отделах, отличающихся по своей локализации от пораженных, дающих практические расстройства,

и создают двигательные нарушения других типов по сравнению с апраксиями.

Таковы доводы, которые могут быть приведены в настоящее время в пользу самостоятельного существования системы *E* как особый координационной группы.

Мы не решимся предпринимать какой-либо классификационной попытки двигательных актов в охарактеризованной верховной уровневой группе. Помимо всего, здесь слишком велик риск впасть в ошибку, относя к числу актов, *координируемых* этой уровневой группой, и движения, толь-

ко *мотивированные* ею, но почти наверное строящиеся координационно полностью на нижележащих уровнях с *D* включительно. С полной уверенностью можно отнести к координациям верховной группы: 1) *все разновидности речи и письменности* (устная речь, пальцевая речь глухонемых, морзирование, сигнализация флажками и т.п.; письмо от руки, машинопись, стенография, работа на буквопечатающем телеграфе и наборных машинах и т.п.) и 2) *музыкальное, театральное и хореографическое исполнение* — non multa, sed multum.

Краткие сведения об авторах

Асмолов Александр Григорьевич (р. 1949) — отечественный психолог, автор книг, статей и учебников по психологии личности, деятельности, установки, бессознательного, памяти, трудов по теоретико-методологическим проблемам психологии, а также по проблемам высшего и среднего образования и др.

Бернштейн Николай Александрович (1896—1966) — отечественный психофизиолог, создатель концепций “физиологии активности” и уровней построения движений, лауреат Сталинской (Государственной) премии (1947), автор трудов по проблемам психофизиологии трудовых, спортивных и других движений и действий в норме и патологии, психологии труда, кибернетики и др.

Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог и философ, автор одной из программ построения психологии как самостоятельной науки (60—70-е гг. XIX в.), создатель первой в мире лаборатории экспериментальной психологии при Лейпцигском университете (1879), автор многочисленных трудов и учебников по различным разделам психологии, в том числе 10-томной “Психологии народов”.

Выготский Лев Семенович (1896—1934) — отечественный психолог, автор культурно-исторической концепции развития высших психических функций, автор трудов по методологическим и теоретическим вопросам психологической науки, психологии мышления и речи, детской психологии, дефектологии, психологии искусства и др., оказавших значительное влияние на современную психологию.

Гальперин Петр Яковлевич (1902—1988) — отечественный психолог, автор оригинальной концепции планомерно-поэтапного формирования умственных действий, работ по теоретико-методологическим проблемам психологической науки, психологии познавательных процессов, проблемам восстановления движений, истории психологии и др.

Гиппенрейтер Юлия Борисовна (р. 1930) — отечественный психолог, автор книг и статей по проблемам зрительного восприятия, психологии мышления и способностей, учебника по курсу “Введение в психологию”, научно-популярных книг по проблемам детской психологии и воспитания, редактор-составитель хрестоматий по разделам курса “Общая психология”.

Давыдов Василий Васильевич (1930—1998) — отечественный психолог, один из создателей концепции развивающего обучения, известной как система Д.Б.Эльконина—В.В.Давыдова и нашедшей широкое прикладное применение, автор трудов по философско-методологическим проблемам теории деятельности, общей и педагогической психологии и др.

Джемс (Джеймс) Уильям (1842—1910) — американский психолог и философ, родоначальник американского варианта функционализма, автор концепции “потока сознания”, а также одной из первых в психологии теорий личности; один из авторов т.н. “периферической теории эмоций”, создатель известных обобщающих руководств по психологии и др.

Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский социолог, философ и педагог, основатель французской социологической школы, автор трудов по социологии религии, морали, воспитания и др. Идеи Дюркгейма об общественной обусловленности сознания оказали значительное влияние на психологическую науку.

Иванников Вячеслав Андреевич (р. 1940) — отечественный психолог, автор книг и статей по проблемам психофизиологии, психологии потребностей, мотивации и волевой регуляции деятельности.

Келер Вольфганг (1887—1967) — немецкий психолог, один из основателей гештальт-психологии, автор трудов по психологии продуктивного мышления у животных, психологии и электрофизиологии восприятия, обобщающих руководств по гештальтпсихологии и др.

Ланге Николай Николаевич (1858—1921) — отечественный психолог и философ, создатель “моторной теории внимания”, автор трудов по теоретико-методологическим вопросам психологии, проблемам экспериментальной психологии восприятия, философии, педагогики и др.

Леонтьев Алексей Николаевич (1903—1979) — отечественный психолог, лауреат Ленинской премии, автор наиболее теоретически и экспериментально разработанного варианта деятельностного подхода в психологии, основатель и первый декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (1966—1979). Автор трудов по теоретико-методологическим вопросам психологии, проблемам развития психики и сознания, психологии деятельности, личности, различных психических процессов, исследований по проблемам детской, педагогической, инженерной психологии и др.

Лурия Александр Романович (1902—1977) — отечественный психолог, один из основоположников нейропсихологии как науки, создатель теории системной динамической локализации высших психических функций. Автор более 500 трудов по проблемам нейропсихологии, общей психологии, психофизиологии, дефектологии и др.

Петровский Артур Владимирович (р. 1924) — отечественный психолог, автор более сорока монографий и научно-популярных книг по проблемам теории и истории психологии, социальной психологии, психологии личности, автор и редактор учебников по психологии для вузов, психологических словарей.

Петухов Валерий Викторович (р. 1950) — отечественный психолог, лауреат Ломоносовской премии (1993), автор трудов по проблемам психологии мышления, личности, воображения.

Роджерс Карл (1902—1987) — американский психолог и психотерапевт, один из создателей гуманистической психологии, автор трудов по общей, социальной, детской психологии, индивидуальным и групповым формам терапии, “центрированной на клиенте”, и др.

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889—1960) — отечественный психолог и философ, один из создателей “деятельностного подхода” в психологии. Автор монографий по теоретико-методологическим вопросам психологии, проблемам общей и педагогической психологии, философии, логики и др.; автор фундаментального университетского учебника по общей психологии, удостоенного в 1942 г. Сталинской (Государственной) премии; организатор психологической науки.

Солсо Роберт — современный американский психолог, профессор, автор трудов по различным проблемам когнитивной психологии, в том числе обобщающих руководств по психологии познания.

Теплов Борис Михайлович (1896—1965) — отечественный психолог, основатель школы дифференциальной психологии, автор трудов по психофизиологии индивидуальных различий, психологии способностей, теоретико-методологическим вопросам психологии и истории психологии, учебников по психологии и др.

Толмен Эдвард Чейс (1886—1959) — американский психолог, создатель “когнитивного” (или “молярного”) необихевиоризма. В своих экспериментальных исследованиях для объяснения поведения животных и человека Толмен вводит понятие “промежуточных переменных” (цель, гипотеза, “когнитивная карта” и др.).

Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886—1950) — грузинский психолог и философ, автор общепсихологической теории установки и глава грузинской психологической школы. Автор трудов по теоретической и экспериментальной психологии установки, а также исследований по теории познания, общей и возрастной психологии, университетских учебников по психологии и др.

Уотсон Джон (1878-1958) — американский психолог, основатель бихевиоризма, автор трудов по поведению животных и человека, по сравнительной психологии, научно-популярных книг по воспитанию детей и др.

Фабри Курт Эрнестович (1923—1990) — отечественный зоопсихолог, автор трудов по различным проблемам зоопсихологии и этологии, сравнительной психологии, антропогенеза, учебника по зоопсихологии.

Фолькельт Ганс (1886—1964) — немецкий психолог, представитель Лейпцигской школы целостной психологии, автор трудов по детской психологии, методологии целостной психологии, зоопсихологии и др.

Франкл Виктор (1905—1997) — австрийский психолог, психиатр и психотерапевт, создатель логотерапии (“терапии смыслом”), автор трудов по философско-психологическим проблемам смысла жизни, свободы и ответственности личности, гуманистической психологии, психотерапии и др.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог, психиатр и невропатолог, создатель психоанализа, открывший пути эмпирического исследования бессознательных психических явлений. Основные труды посвящены проблемам структуры психической жизни человека и его личности, проблемам сексуальных и других влечений, сновидений, психоаналитической терапии, а также психоанализу культуры, искусства, религии и др.

Фромм Эрих (1900—1980) — немецко-американский психолог и философ, создатель “гуманистического психоанализа”, автор трудов по проблемам философии и психологии личности, характера, свободы, отчуждения и др.

Челпанов Георгий Иванович (1862—1936) — отечественный философ и психолог, создатель первого в России Института экспериментальной психологии при Московском университете (1912, официальное открытие — 1914), автор трудов по психологии, философии, логике, учебников по психологии и экспериментальной психологии и др.

Эльконин Даниил Борисович (1904—1984) — отечественный психолог, автор оригинальной концепции периодизации психического развития в онтогенезе, один из авторов концепции развивающего обучения, автор трудов по возрастной психологии, психологии игры, формированию личности в онтогенезе, создатель ряда экспериментальных букварей и др.

Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и психиатр, создатель одного из вариантов психоанализа — аналитической психологии, автор трудов по проблемам психологии бессознательного, личности, сновидений и др., а также исследований проблем философии, мифологии, культуры, религии и др.

Ярошевский Михаил Григорьевич (р. 1915) — отечественный психолог, автор более 20 монографий по проблемам истории и теории психологии, психологии научного творчества, автор и редактор психологических словарей и учебников.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
------------------	---

РАЗДЕЛ I ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКЕ

<i>Петровский А.В., Ярошевский М.Г.</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	7
---	---

<i>Лурия А.Р.</i> [НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ]	23
--	----

<i>Гиппенрейтер Ю.Б.</i> [ПСИХОЛОГИЯ ЖИТЕЙСКАЯ И НАУЧНАЯ]	35
--	----

<i>Иванников В.А.</i> [ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ]	40
---	----

РАЗДЕЛ II ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

<i>Петровский А.В., Ярошевский М.Г.</i> ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ — ОСОБАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ	68
--	----

<i>Петровский А.В., Ярошевский М.Г.</i> [ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА О ДУШЕ]	73
--	----

<i>Рубинштейн С.Л.</i> [РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ]	87
---	----

<i>Вундт В.</i> СОЗНАНИЕ И ВНИМАНИЕ.....	95
---	----

<i>Джемс У.</i> ПОТОК СОЗНАНИЯ	106
---	-----

<i>Челпанов Г.И.</i> [ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ]	119
<i>Теплов Б.М.</i> [ОБ ИНТРОСПЕКЦИИ И САМОНАБЛЮДЕНИИ]	126
<i>Ланге Н.Н.</i> БОРЬБА ВОЗЗРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ	133
<i>Выготский Л.С.</i> [ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ]	148
<i>Фрейд З.</i> ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ	151
<i>Фрейд З.</i> НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХОАНАЛИЗЕ	158
<i>Юнг К.Г.</i> [СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА]	162
Узнадзе Д.Н. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ	167
<i>Асмолов А.Г.</i> НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, УСТАНОВКА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	181
<i>Уотсон Джон Б.</i> БИХЕВИОРИЗМ	193
<i>Толмен Э.Ч.</i> ПОВЕДЕНИЕ КАК МОЛЯРНЫЙ ФЕНОМЕН	200
<i>Келер В.</i> НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ГЕШТАЛТПСИХОЛОГИИ	205
<i>Фолькельт Г.</i> [ЦЕЛОСТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ]	211
<i>Роджерс К.</i> ПОЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК	215
<i>Солсо Р.Л.</i> [ВВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНУЮ ПСИХОЛОГИЮ]	222

<i>Дюркгейм Э.</i> [СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА]	233
<i>Дюркгейм Э.</i> [ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ]	237
<i>Выготский Л.С.</i> ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА	242
<i>Лурия А.Р.</i> КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	253
<i>Леонтьев А.Н.</i> [КАТЕГОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ]	265
<i>Леонтьев А.Н.</i> ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ	281
<i>Давыдов В.В.</i> [ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ]	284

РАЗДЕЛ III

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

<i>Леонтьев А.Н.</i> ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЩУЩЕНИЯ	297
<i>Гальперин П.Я.</i> ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХИКИ	322
<i>Леонтьев А.Н.</i> РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ЖИВОТНОМ МИРЕ	330
<i>Леонтьев А.Н.</i> СТАДИЯ ИНТЕЛЛЕКТА	350
<i>Фабри К. Э.</i> НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.Н.ЛЕОНТЬЕВА И ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ПСИХИКИ	356
<i>Леонтьев А.Н.</i> ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА	368
<i>Леонтьев А.Н.</i> РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ФОРМ ЗАПОМИНАНИЯ	379
<i>Леонтьев А.Н.</i> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ	386

<i>Давыдов В.В.</i> [СОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО]	399
<i>Эльконин Д.Б.</i> К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ	405
<i>Джемс У.</i> ЛИЧНОСТЬ	417
<i>Фромм Э.</i> [ДВА ОСНОВНЫХ СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ: ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ].....	428
<i>Франкл В.</i> ЧТО ТАКОЕ СМЫСЛ	450
<i>Леонтьев А.Н.</i> [СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ]	462
<i>Петухов В.В.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	477
<i>Леонтьев А.Н.</i> [ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ В ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ]	479
<i>Лурия А.Р.</i> [ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА И МОЗГОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ].....	483
<i>Бернштейн Н.А.</i> НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ АКТОВ	493
<i>Бернштейн Н.А.</i> УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ	509
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	539

Учебное издание

**ХРЕСТОМАТИЯ
ПО КУРСУ
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ**

Редактор-составитель *Е.Е. Соколова*

Редактор *М.И. Черкаска*
Оригинал-макет *О.В. Кокорева*

Российское психологическое общество
ЛР №030651 от 14.07.1995
Гарнитура SchoolBook. Тираж 2000 экз.